

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ

ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

25/26

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 6



Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Портрет работы Б. М. Кустодиева, масло

Местонахождение оригинала неизвестно

ОТ РЕДАКЦИИ

В данном случае нет необходимости говорить об историческом значении деятельности Чернышевского и Добролюбова, как идеологов крестьянской демократии 60-х гг. Это значение выяснено; достаточно указать те многочисленные оценки шестидесятников, которые обильно рассеяны в трудах Владимира Ильича Ленина.

Ограничимся здесь характеристикой принципов, которые положены редакцией в основу настоящего тома. Посвящая том Добролюбову, редакция сочла, однако, нецелесообразным ограничиваться материалами, относящимися исключительно к Добролюбову. Такое ограничение было бы чисто внешним, условным; оно искусственно вырывало бы Добролюбова из исторического контекста эпохи. И прежде всего нельзя было обойти здесь великого учителя и друга Добролюбова — Чернышевского.

В настоящем сборнике печатается ряд ранних его работ — семинарских и студенческих, ряд текстов, не увидевших в свое время света по причинам цензурного порядка, три его рецензии, напечатанные анонимно в «Современнике», принадлежность которых Чернышевскому устанавливается здесь впервые, одна его статья на историческую тему.

Литературное наследие Добролюбова учтено к настоящему времени полнее, и количество его творческих, в точном значении этого слова, текстов, которые оставались бы неизвестны читателю, менее значительно. Но переписка его до сих пор не собрана. Впервые видят свет в настоящем томе его письма к Чумикову и Паульсону, к Ипполиту Панаеву, а также письма к нему названных корреспондентов. Кроме того, в саратовском Доме-музее Чернышевского удалось выявить два письма Некрасова к Добролюбову.

Этими публикациями редакция продолжает работу по изучению наследия классиков революционно-демократической мысли 60-х гг., начатой на страницах журнала уже давно (см. в № 3 публикацию запрещенных цензурой текстов Н. Г. Чернышевского и юношеского рассказа Н. А. Добролюбова «Провинциальная холера»).

Не вовлечены в орбиту исследовательской работы интереснейшие воспоминания о Добролюбове его друзей и ряд других биографических материалов, относящихся к раннему периоду его жизни. Все эти материалы довольно полно представлены в настоящем томе. Особых оговорок требуют помещенные здесь воспоминания Шемановского. Они были опубликованы сравнительно недавно. Публикация эта лишена, однако, почти всякого сопроводительного аппарата; поэтому редакция сочла возможным перепечатать здесь эти воспоминания.

Далее следуют новые документальные материалы по истории «Современника» — основного органа революционно-демократической мысли той эпохи. Печатаемые здесь письма Некрасова к известному фольклористу Афанасьеву,

а также неизданная переписка Пыпиных, представляются редакции не лишенными интереса.

То же самое можно сказать о печатаемых здесь новых текстах представителей революционно-демократической поэзии тех лет: Серно-Соловьевича, Гольц-Миллера, Щиголева и др. Значительный интерес представляет статья Шелгунова о «добролюбовском» и «писаревском» направлениях в общественном сознании 60-х гг.

Статья Фета о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» представляет собою один из наиболее развернутых откликов, вызванных романом в редакционно-крепостническом лагере. В этом смысле статья известным образом перекликается с материалом, собранным в печатающемся здесь же исследовании Берлинера о литературных противниках Добролюбова. Сотрудничество в фетовской статье Боткина, устанавливаемое комментатором, еще раз наглядно демонстрирует единение крепостников с либералами в борьбе против общего врага — революционной демократии.

Разнообразный материал сосредоточен в последнем разделе сборника. Здесь особенно следовало бы выделить публикации, связанные с именем Писарева: новые его эпистолярные тексты, а также — новые материалы, относящиеся ко времени его заключения в Петропавловской крепости.

В заключение, редакция выражает надежду, что при всем богатстве литературы, посвященной революционно-демократической мысли 60-х гг., настоящий том займет в ней свое место.

Ближайшее участие в организационной работе по сборнику и в редактировании материалов принимал Б. П. Козьмин.

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ В ОЦЕНКЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Статья А. Нифонтова

Среди многочисленных и разнообразных по своему содержанию трудов основоположников марксизма-ленинизма мы не имеем ни одной работы, специально посвященной Н. А. Добролюбову. Но наряду с этим и в работах, предназначенных для печати (и опубликованных), и в частной переписке, наконец, и в личных заметках и рабочих записях Маркса, Энгельса и Ленина имя Добролюбова упоминается неоднократно. Эти тексты не дают развернутой характеристики Добролюбова, как правило, очень лаконичны, встречаются довольно редко и при сплошном чтении их в контексте обычно играют подсобную роль — служа примерами и аналогиями для уяснения основной мысли авторов. При внимательном ознакомлении с этими текстами становится совершенно ясно, что яркая фигура ближайшего соратника Н. Г. Чернышевского не только привлекала пристальное внимание Маркса, Энгельса и Ленина, не только им была хорошо известна, но получила в их работах меткую и четкую характеристику, основанную на внимательном изучении произведений и всей деятельности Н. А. Добролюбова.

I

Маркс и Энгельс имели возможность познакомиться с произведениями Добролюбова в оригинале, так как изучали русский язык и в подлиннике читали русские книги, посылаемые им из России. На этом вопросе следует несколько задержаться, так как, помимо непосредственного отношения к рассматриваемой нами проблеме, он несомненно имеет самостоятельный интерес.

Исключительные лингвистические способности Маркса и Энгельса общеизвестны. Но и при таких способностях совершенно поразительны их успехи в овладении русским языком, столь отличным от других европейских языков и являющимся для иностранцев особенно трудным.

Изучать русский язык Энгельс начал раньше Маркса — в 1854—1856 гг., в связи с Крымской войной. Однако, к концу 60-х годов, очевидно благодаря отсутствию постоянной практики, приобретенные в этой области знания он в значительной мере утратил, в чем откровенно признавался в переписке с Марксом (см. его письма к Марксу от 23 января 1868 г. и от 3 марта 1869 г.) [1]. Энгельс возобновил свои занятия по русскому языку в середине 70-х годов, что оказалось необходимым при работе над статьями «Об эмигрантской литературе» (для «Volksstaat'a»). К этому времени Маркс уже изучил русский язык и у него, как и у Энгельса, установились прочные связи с рядом русских революционеров и ученых, снабжавших их, как увидим дальше, русскими изданиями не только по экономике, но и по самым разнообраз-

ным вопросам. Все это несомненно давало Энгельсу постоянную практику по русскому языку.

Изучение русского языка Марксом относится к самому концу 1869 г. и к началу 1870 г. После выхода в свет I тома «Капитала» (в 1867 г.) Маркс усиленно работал над подготовкой к печати II тома, который по первоначальному замыслу должен был охватить и процесс обращения капитала и характеристику процесса капиталистического производства в целом,—разбивка этих вопросов на два самостоятельных тома (второй и третий) произведена позднее, после смерти Маркса.

Работая над теорией земельной ренты, Маркс естественно особый интерес проявлял к аграрному вопросу, предприняв и в этой области самостоятельные исследования. Занятия аграрным вопросом заставили его обратить внимание на историю и современное положение Ирландии и России, а углубленное изучение обильных материалов на многие годы задержало окончание подготовки к печати II тома «Капитала» и сделало необходимым изучение русского языка. По этому вопросу мы имеем свидетельство самого Маркса— в письме его к Л. Кугельману от 27 июня 1870 г.: «Что касается настойчивых требований Майснера по поводу II тома, то не одна только моя болезнь мешала его окончанию в течение всей зимы. Я нашел нужным приняться за русский язык, потому что при изучении аграрного вопроса необходимо штудировать по первоисточнику русские отношения земельной собственности» [2].

Непосредственным толчком для занятий русским языком послужило получение Марксом из России работы Н. Флеровского «Положение рабочего класса в России» (изд. Полякова, СПБ. 1869 г.). Эта книга не могла не заинтересовать Маркса, и 23 октября 1869 г. он пишет Энгельсу: «Из Петербурга мне прислали том Флеровского в 500 страниц, о положении русских крестьян и рабочих. К сожалению, *п о-р у с с к и*. Человек этот работал над книгою 15 лет» [3]. Таким образом Маркс в это время русским языком еще не владел.

Но, как мы уже указали, к концу 1869 г. у Маркса назрела потребность самостоятельно разбираться в подлинниках русских изданий и он, отказавшись от посредничества Энгельса и Боркгейма, которые, обычно в форме конспективных переводов, знакомили его с русскими изданиями, принимается за изучение русского языка в ноябре того же года. В письме от 29 ноября к Кугельману Маркс мельком замечает: «Я кроме того начал изучать р у с с к и й я з ы к ввиду того, что мне прислали из Петербурга книгу о положении рабочего класса (конечно, включая сюда и крестьян) в России» [4]. А 17 января 1870 г. жена Маркса писала Энгельсу, что Маркс «стал с пылом и жаром изучать русский язык» [5].

Изучение русского языка Маркс начал с чтения «Тюрьмы и ссылки» Герцена. Сохранившиеся экземпляры первых прочитанных Марксом книг носят следы тех приемов, к которым он прибегал при своих занятиях неизвестным ему языком. Вот как об этом пишет В. Зензинов, разбиравший русские книги из библиотеки Маркса в 1900—1901 гг.:

«...Маркс изучал русский язык — методом, который я встретил только здесь и который сам я по этому примеру позднее успешно применял при изучении иностранных языков. А именно: встречая незнакомое слово, Маркс ставил над ним цифру и значение этого слова выписывал здесь же на полях под соответствующими цифрами по-немецки. Этим соблюдалась экономия в выписывании слов в отдельную тетрадку, и, кроме того, при вторичном просмотре легче было из общей связи фразы догадаться и запомнить смысл каждого выписанного слова. Благодаря такому способу многие русские книги, которые читал Маркс, были испещрены на полях сплошной сеткой выписанных слов. Толстая книга Флеровского была вся таким образом про-

работана Марксом. Но, как я выше сказал, Маркс очень охотно вообще *делал примечания* на полях и по существу прочитанного, при чем припоминаю, что нередко эти примечания носили чрезвычайно резкий и язвительный характер. Я уже тогда обратил внимание на особенность книг, которыми Маркс пользовался, — видно было, что книг, над которыми Маркс работал, он не жалел, оставляя на них крепкую печать своей работы» [6].

Чтение книги Герцена было закончено 9 января, о чем свидетельствует пометка, сделанная рукой Маркса в конце ее [7]. Очевидно непосредственно после этого Маркс принялся за чтение упомянутой выше книги Флеровского. 10 февраля он писал Энгельсу: «Из книги Флеровского я прочел первые 150 страниц (они посвящены Сибири, Северной России и Астрахани)» [8]. По-видимому, уже к 24 марта чтение книги было закончено,—в письме к русской секции Интернационала от 24 марта 1870 г. Маркс о труде Флеровского пишет, как о прочитанном [9].

Таким образом усилия Маркса увенчались полным успехом, — буквально в течение 3—4 месяцев он смог овладеть русским языком и с середины 1870 г. имел полную возможность в оригинале читать русские издания.

В начале 70-х годов крепнут личные связи Маркса с русскими, которые присылают ему в изобилии русскую литературу, — Маркс имел постоянную практику, закрепляющую приобретенные познания, и действительно компетентных лиц в знании нового для него языка [10].

Достаточно напомнить, что с 1870 г. в Лондоне поселился Г. А. Лопатин, предпринявший перевод «Капитала» на русский язык и часто встречавшийся с Марксом. В том же 1870 г. эмигрировал за границу (бежав из ссылки) и П. А. Лавров, примкнувший к Интернационалу. В начале того же года Маркс принял предложение быть представителем в Интернационале от русской колонии в Женеве, о чем 24 марта 1870 г. писал Энгельсу [11].

С начала 70-х годов оживляется переписка Маркса с Даниельсоном [12] и около середины 70-х годов устанавливается знакомство с М. М. Ковалевским, находившимся с 1872 по 1879 г. за границей.

Как видим, все эти личные связи Маркса с новым поколением русских— с эмигрантами-революционерами и литераторами в первую очередь — завязываются с начала 70-х годов, т. е. как раз в то время, когда Маркс, овладев русским языком, имел возможность широко ознакомиться как с современным положением России, так и с ее историей.

Неудивительно поэтому, что к этому же периоду относится уточнение Марксом и Энгельсом оценки русских. Широко известна следующая характеристика русских, данная Марксом в его письме к Кугельману от 12 октября 1868 г.

«Такова ирония судьбы: русские, с которыми я в течение 25 лет беспрерывно боролся, и не только по-немецки, но и по-французски и по-английски, всегда были моими «доброжелателями». В 1843—1844 гг. в Париже, тамошние русские аристократы носили меня на руках. Мое сочинение против Прудона (1847) и то, что издал Дункер (1859), нигде не нашло такого сбыта, как в России. И первым переводом «Капитала» на иностранный язык оказывается перевод на русский. Но этому не следует придавать большого значения. Русская аристократическая молодежь воспитывается в немецких университетах и в Париже. Она гонится всегда за самым крайним, что только дает Запад. Это чистейшее гурманство, такое же, каким занималась часть французской аристократии в XVIII столетии. «Это не для портных и сапожников — говорил тогда Вольтер о своих просветительных идеях. Это не мешает тем же русским, поступив на государственную службу, делаться негодяями» [13].

Эта отрицательная характеристика была выводом из личного знакомства Маркса с теми представителями русской интеллигенции, которых он

встречал в течение 40-х и 50-х годов. Все они вышли из рядов дворянства. Только в начале 70-х годов Маркс и Энгельс познакомились с представителями другого типа русских интеллигентов.

14 июня 1872 г. Энгельс писал И. Беккеру: «Русское издание [«Капитал». — *А. Н.*] уже вышло и оказалось очень удачным. Что касается русских вообще, то между приехавшими в Европу еще раньше русскими дворянами-аристократами, к которым принадлежат Герцен и Бакунин и которые все жулики, и теми русскими — выходцами из народа, которые приезжают теперь, — разница огромная. Среди них есть люди, которые по своим способностям и характеру безусловно принадлежат к лучшим людям нашей партии; люди, у которых выдержка, твердость характера и в то же время теоретическое понимание прямо поразительны»[14]. К этой характеристике нам в дальнейшем придется еще раз вернуться.

«Русские друзья», как их не раз именуют в переписке Маркс и Энгельс, с 1870 г. начинают в изобилии снабжать последних русскими изданиями. Русские книги по самым разнообразным вопросам посылали Марксу и Энгельсу многие лица и прежде всего П. Л. Лавров, Н. И. Утин, Г. А. Лопатин, М. М. Ковалевский, Н. Даниельсон и др. Письма Маркса к названным лицам в 70-х годах пестрят упоминаниями о полученных им изданиях, при чем в ряде случаев речь идет о целых партиях книг[15].

На Энгельса и в первую очередь на Маркса с начала 70-х годов обрушился целый поток русских изданий, едва только стало известно, что эти издания доступны основоположникам марксизма в оригинале. Нет ничего удивительного в том, что отдел русских книг в библиотеке Маркса насчитывал не одну тысячу томов[16].

Неудивительно также то, что среди этих книг имелись и сочинения Добролюбова. Во-первых, отдельные статьи его могли оказаться в тех же томах «Современника», о которых упоминает Зензинов, а во-вторых, мы имеем прямые указания, что в библиотеке Маркса был экземпляр, а вероятнее всего и не один, а два экземпляра собрания сочинений Добролюбова. Последнее подтверждается прямым указанием Маркса в письме его к Даниельсону от 9 ноября 1871 г., где Маркс благодарит за присылку сочинений Добролюбова: «Горячо благодарю Вас за проявленное Вами по отношению ко мне участие. С сочинениями Эрлиба [т. е. Добролюбова, — по конспиративным соображениям в письме, направляемом в Россию, Маркс дает его фамилию по-немецки — Erlieb. — *А. Н.*] я отчасти уже знаком»[17]. Кроме того в числе русских книг из библиотеки Маркса, хранящихся в архиве «Vorwärts'a», Ф. Гинзбург упоминает несколько томов собрания сочинений Н. А. Добролюбова (изд. 1862 г.) с пометками рукой Маркса в тексте некоторых статей[18].

Таким образом можно считать установленным, что с сочинениями Добролюбова Маркс познакомился вскоре после изучения им русского языка. Пометки рукой Маркса в тексте описанного исследователем экземпляра сочинений Добролюбова, находившегося в архиве «Vorwärts'a», имеются только в первом томе и то лишь в отдельных статьях[19]. Повидимому, впервые Маркс читал другой экземпляр сочинений Добролюбова, до нас не дошедший, а описанные книги являются как раз теми, которые были присланы Даниельсоном. Всего нам известно три случая упоминания имени Добролюбова в сочинениях Маркса и Энгельса: один из них принадлежит Марксу (в цитированном письме к Даниельсону от 9 ноября 1871 г.) и два Энгельсу — в одной из статей «Об эмигрантской литературе», опубликованной в газете «Der Volksstat» (№ 118 за 1874 г.) и в письме к Е. Паприц. от 26 июня 1884 г.). Следовательно, все случаи упоминания имени Добролюбова в сочинениях основоположников научного социализма относятся к тому времени, когда они уже имели полную возможность ознакомиться с его сочинениями, когда они установили личные связи с новым поколением революционеров-эмигрантов из

России, получивших хвалебную характеристику Энгельса, и, наконец, когда они имели ясное представление о современном положении в России и ее недавнем прошлом из обильного печатного материала (в том числе и из нелегальных изданий), доступного им в оригинале.

Обратимся к рассмотрению текстов Маркса и Энгельса, содержащих упоминание имени Добролюбова. В одном из писем к Марксу, направляя ему сочинения Добролюбова, Даниельсон писал: «На днях я послал вам произведения одного из лучших русских публицистов и критиков — Добролюбова. В часы отдыха они доставят вам настоящее наслаждение. Надо заметить, что автор умер очень молодым: ему было только двадцать пять лет. Он был другом автора «On Mill's Pol. Economy» [20]. В ответе на это письмо Маркс 9 ноября 1871 г. благодарит Даниельсона за присланные книги и добавляет при этом: «С сочинениями Эрлиба я отчасти уже знаком. Как писателя я ставлю его наравне с Лессингом и Дидро» [21].

Одна из статей Энгельса «Об эмигрантской литературе» (третья по порядку в этой серии), опубликованная в конце 1874 г., в той части, которая содержит упоминание имени Добролюбова, посвящена разбору примиренческой позиции редактируемого П. Л. Лавровым обозрения «Вперед» в борьбе бакунистов с вождями Интернационала. Указывая, что решение Гаагского конгресса об исключении бакунистов из Интернационала тактически и принципиально было вполне обосновано и что неизбежно было опубликование «грязной стороны русского движения», Энгельс заканчивает: «Впрочем, русское движение может перенести спокойно подобного рода разоблачения. Страна, выдвинувшая двух писателей масштаба Добролюбова и Чернышевского, двух социалистических Лессингов, не погибнет от того, что как-то породила такого пройдоху, как Бакунин, и нескольких незрелых студентиков, которые, произнося громкие фразы, пыжатся, как лягушки, и, в конце концов, пожирают друг друга. Ведь и среди молодого поколения русских мы знаем людей выдающегося теоретического и практического дарования и высокой энергии, людей, которые благодаря своему знанию языков превосходят французов и англичан близким знакомством с движением различных стран, а немцев — светской гибкостью. Те русские, которые понимают рабочее движение и сами в нем участвуют, могут усмотреть в том, что их освободили от ответственности за бакунистские мошенничества, лишь услугу, оказанную им» [22].

Упоминание имени Добролюбова в письме Энгельса к Е. Паприц, датированном 26 июня 1884 г., наименее известно, так как текст письма впервые опубликован лишь в конце 1935 г. На этом документе следует задержаться подробнее, приведя текст его, и связанных с ним материалов, полностью и попытаясь установить, кто был адресатом Энгельса [23].

В архиве Энгельса было обнаружено письмо Е. Паприц, послужившее поводом для ответного письма Энгельса от 26 июня 1884 г. Привожу текст его полностью [24].

31, Bedford Place, Russel Square
26 июня 1884 г.

Многоуважаемый г. Энгельс!

Я позволяю себе обратиться к вам с просьбою о совете, в надежде, что он, несомненно, будет лучшим из всех, которые могут быть мне даны по интересующему меня вопросу.

Существует достаточно широко распространенное мнение, что русские социалисты лучше всех других подготовлены для революции. Мне кажется, что этот взгляд верен только наполовину. Репрессии вызывают у них большую силу сопротивления, быть может увеличивают энергию. Но, с другой

стороны, русские являются невеждами в общественных делах. В случае революции, русские социалисты не будут знать, что делать со своей победой, они ее потеряют, потому что у них нет прочных принципов, организации, настоящих научных знаний (некоторые счастливые исключения имеются). Если бы вы могли познакомиться с социалистическими брошюрами, которые распространяются среди русской молодежи, я уверена, вы согласились бы со мной. Они продиктованы чувствами, а не идеями, не знанием. Они возбуждают революционное чувство, но не дают глубокого понимания. Возможно, что почва для революции в России подготовлена, но разве может быть хорошей жатва, если плохи семена?

Именно с этой целью, — с целью распространения в русском обществе идей научного социализма, — в Москве предпринято издание литографированного журнала (печатать, к несчастию, невозможно) «Социальное знание» («La Science Sociale»). Программа включает переводы работ о научном социализме.

Не будете ли вы так добры перечислить те из мало известных статей ваших и Маркса, которые были опубликованы в журналах. За исключением «Положения рабочего класса в Англии», «Жилищного вопроса», «Социализма научного и утопического» ничего не переведено. Теперь я перевожу «Очерки критики политической экономии». Я очень хотела бы иметь последний манифест к английским рабочим, но не могу его найти. Не будете ли вы так добры дать мне указания, где его можно найти в Лондоне, а также, где можно было бы купить «Анти-Дюринга».

Я вас прошу, не откажите нам в помощи. Мы действительно самым искренним образом хотим серьезно учиться, убежденные, что невежество не может привести ни к чему хорошему и что только наука может осветить нашу дорогу.

Всегда готовая к вашим услугам

Евгения Паприц
(Eugénie Paprietz)

На это письмо, дошедшее до Энгельса в тот же день, Энгельс сразу же написал следующий ответ [25].

Лондон, 26 июня 1884 г.
122, Regent's Park Road, N. W.

Сударыня!

Про литографированную газету, о которой Вы говорите, я уже слыхал, хотя мне не удалось еще увидеть ни одного экземпляра.

Мне кажется, что Вы несправедливы к Вашим соотечественникам. Мы оба, Маркс и я, не можем на них пожаловаться. Если некоторые школы и отличались больше своим революционным пылом, чем научными исследованиями, если были и есть различные блуждания, то, с другой стороны, была и критическая мысль и самоотверженные искания чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского. Я говорю не только об активных революционных социалистах, но и об исторической и критической школе в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой. И даже среди революционеров-практиков наши идеи и экономическая наука, коренным образом переработанная Марксом, всегда встречали понимание и симпатию. Вы наверное знаете, что в самое последнее время были переведены и изданы по-русски многие из наших работ, а вскоре будут переведены и напечатаны еще некоторые, в частности «Нищета философии» Маркса. Его небольшая работа, написанная до 1848 г., «Наемный труд

и капитал» [заглавие написано Энгельсом по-русски. — *А. Н.*], тоже принадлежит к этой серии и напечатана под этим заглавием.

Я чрезвычайно польщен тем, что Вы считаете полезным перевести мои «Очерки [критики политической экономии]». Хотя я еще немножко горжусь этой своей первой работой в области социальных наук, я очень хорошо знаю, что теперь она совершенно устарела и полна не только ошибок, но и грубых промахов («boulettes»). Боюсь, что она принесла бы больше вреда, чем пользы.

Посылаю Вам по почте экземпляр «Анти-Дюринга».

Что касается наших старых газетных статей, то их теперь было бы трудно разыскать. Большинство из них сейчас утратило свою злободневность. Когда после напечатания рукописей, оставленных Марксом, у меня будет достаточно свободного времени, я думаю их издать в виде сборника с примечаниями и т. д. Но это — дело будущего.

Не совсем понимаю, о каком манифесте к английским рабочим Вы говорите. Может быть Вы имеете в виду «Гражданскую войну во Франции», манифест Интернационала по поводу Парижской коммуны? Могу его Вам послать.

Если бы здоровье мне позволяло, я попросил бы разрешения навестить Вас. Хотя дома я себя чувствую сносно, но ходить по городу мне, к сожалению, запрещено. Если Вы окажете мне честь своим посещением, я всегда в Вашем распоряжении около семи или восьми часов вечера.

Примите, сударыня, уверения в моем совершенном почтении

Ф. Энгельс

Наводящую нить для установления того, кто такая была Евгения Паприц, дает юбилейный сборник статей, посвященный 50-летию «Русских Ведомостей» [26]. В этом сборнике, в алфавитном списке сотрудников газеты за период в 50 лет, указана Линева, Евгения Эдуардовна, урожденная Паприц, занимавшаяся исследованием русской музыки и давшая несколько статей («Жива ли народная песня», «Народная консерватория») для «Русских Ведомостей».

Собранный в специальных справочниках материал и полученные сведения от лиц, лично знавших Е. Э. Линеву, дают возможность восстановить основные контуры интересующей нас биографии [27].

Е. Э. Линева (урожденная Паприц) родилась 28 декабря 1853 г. в Брест-Литовске в семье преподавателя кадетского корпуса. Семья Паприц впоследствии переехала на постоянное жительство в Москву, где Евгения Эдуардовна училась в Екатерининском институте. Проявляя с детства большие музыкальные способности (14 лет Е. Паприц дирижировала хором), она получила законченное музыкальное образование, обучаясь пению сначала у матери (ученицы Глинки), а затем в Петербургской консерватории (по классу Росси) и в Вене (у Маркези). Вначале Е. Э. Паприц выступала как концертная и оперная певица в ряде иностранных городов (Вена, Лондон и др.), а в 1882—1883 гг. пела в оперной труппе Большого театра в Москве.

Очевидно около 1883 г., оставив сцену, Е. Паприц уехала за границу, где вышла замуж за инженера Александра Лонгиновича Линева, эмигранта 70-х годов, сотрудника «Вперед» П. Л. Лаврова. Отказавшись от оперной карьеры, она посвятила себя изучению, собиранию и исполнению народных песен, и ряд лет (до 1897 г.) жила за границей. Позднее, в 1891 г., она организовала в Америке из эмигрантов большой хор по исполнению русских песен, с которыми успешно выступала во многих крупных американских городах (Нью-Йорк, Чикаго и др.).

Вернувшись из-за границы в 1897 г. в Москву, Е. Э. Линева организовала хор, ряд лет с успехом исполнявший народные песни. К этому периоду относятся ежегодные экскурсии Е. Э. Линевой в глухие места Поволжья, Севера, Украины и др. для записи народных песен, при чем ею впервые был с успехом применен фонограф. В результате многолетней работы было собрано значительное количество народных песен, впоследствии опубликованных Линевой в издании Академии Наук (всего было выпущено 3 сборника: «Великорусские песни» — 1904 г., «Новгородские песни» — 1909 г. и «Украинские песни» — ок. 1910—1911 гг.). Одновременно с этим с начала XX в. Е. Э. Линева состояла секретарем музыкальной комиссии при Московском обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии.

В 1905—1906 гг. по инициативе Е. Э. Линевой открыта была в Москве Народная консерватория (см. статью Линевой «Народная консерватория» в № 259 «Русских Ведомостей» за 1905 г.) Организованная на общедоступных началах (при годовой плате за обучение в размере 3 руб.), при участии среди преподавателей Энгеля, Танеева, Брюсовой, Яворского, Гречанинова и др. Народная консерватория пользовалась большой популярностью и количество учащихся исчислялось в ней сотнями (по составу это были мелкие служащие, учащиеся, в некоторых районах рабочие, например печатники в районе Тверской улицы). Занятия производились в 10 районных базах, в помещении школ. Постоянным членом бюро, руководившим работой консерватории, являлась Е. Э. Линева. Народная консерватория просуществовала до передачи ее в ведение МУЗО Наркомпроса и выпустила ряд законченных музыкантов.

Е. Э. Линева умерла в первых числах января 1919 г.

Никаких прямых указаний на связь Е. Э. Линевой с революционными организациями 80-х годов и на обстоятельства, толкнувшие ее обратиться с письмом к Энгельсу, мы не имеем. Однако целый ряд косвенных данных дают нам возможность подтвердить предположение Б. Николаевского о составе издательской группы в Москве и участии в ней Линевой [28].

Б. Николаевский предполагает, что поскольку, судя по фамилии (Паприц), адресатка Энгельса является полькой или литовкой, ее коллег по издательской группе следует искать среди польских и литовских социалистов, живших в начале 80-х годов в Москве. Наиболее вероятными соучастниками Е. Паприц по издательской деятельности он считает Людвига Яновича (студент Петровской сельскохозяйственной академии) и Болеслава Малиновского (воспитанник технического училища). И Янович и Малиновский уже в те годы связаны были с польским «Пролетариатом», — через них «Общестуденческий союз» получал литературу «Пролетариата». Кроме того Янович всегда обнаруживал интерес к европейскому рабочему движению и тяготение к научному социализму, но несмотря на это в 1884 г. примкнул к «Народной воле». Что же касается участия в революционном движении Е. Паприц-Линевой, то, не ставя под сомнение искренность сочувствия ее революционному движению, тот же автор отмечает, что адресатка Энгельса «не сливает себя целиком с русскими революционерами, смотрит на них в известных пределах со стороны».

Правильность этих предположений подтверждается целым рядом обстоятельств. Популярность Е. Паприц-Линевой среди московского студенчества засвидетельствована лично знавшими ее людьми. Брат ее Константин Эдуардович Паприц учился в той же Петровской сельскохозяйственной академии, что и Янович [29]. Наконец, сопоставление заграничной жизни и развивающегося на Западе рабочего движения, несомненно бросившегося Е. Паприц в глаза в годы учения и начала самостоятельной жизни ее за границей, с той российской действительностью, которая предстала перед ней

по возвращении в 1882 г. в Москву, могло оказаться достаточным толчком для того, чтобы Е. Паприц приняла деятельное участие в «распространении в русском обществе идей научного социализма» (из письма Паприц к Энгельсу).

Но, с другой стороны, ряд моментов в биографии Е. Э. Линевой дают нам основание подчеркнуть в ней типично либерально-народническое настроение. Характерно, что по отношению к ней мы не имеем ни одного случая правительственных репрессий и что то же народническое настроение бросалось в глаза и тем, кто лично знал Линеву в период с 1897 г.[30]. В полном соответствии с этим стоит и интерес Е. Э. Линевой к народному музыкальному творчеству и систематические ее экспедиции в «народную массу» для записи песен, наконец, принадлежащая ей идея «Народной консерватории», потребовавшая для ее претворения в жизнь несомненно огромных усилий и энергии.

Это народническое настроение Е. Паприц-Линевой дает нам основание счесть обмен письмами между Е. Паприц и Энгельсом второстепенным эпизодом в биографии Е. Э. Линевой — недаром в памяти ее современников она сохранилась прежде всего как собирательница образцов народного музыкального творчества и как общественница-педагог в области музыкального образования. Но этому эпизоду мы обязаны тем, что до нас дошла наиболее развернутая характеристика Н. А. Добролюбова, принадлежащая одному из основоположников научного социализма.

Какая же сводная характеристика Н. А. Добролюбова может быть дана на основании приведенных отзывов о нем Маркса и Энгельса?

В первых двух отрывках (Маркс — письмо к Даниельсону и Энгельс — статья об «Эмигрантской литературе») Добролюбов характеризуется прежде всего как писатель крупного масштаба, равный Лессингу и Дидро (Маркс), как «социалистический Лессинг» (Энгельс). Если вспомнить ту высокую оценку, которую давали Маркс и Энгельс Лессингу и Дидро, понятно будет сколь почетным в их глазах было сравнение с ними Добролюбова. Ведь в своей статье 1842 г. («Дебаты о свободе печати») Маркс писал: «Если немец оглянется назад, на свою историю, то главную причину своего медленного политического развития, а также и жалкой литературы до Лессинга, он увидит в «компетентных писателях»[31]. Что же касается Дидро, то оценка его дана Энгельсом в 1878 г. («Анти-Дюринг», Введение) и дословно повторена им в 1880 г. («Развитие социализма от утопии к науке»): «Однако, — пишет Энгельс, — вне этой области [имеется в виду область философии. — *А. Н.*] они [французы XVIII в. — *А. Н.*] смогли оставить нам высокие образцы диалектики; припомним только «Племянника Рамо» Дидро и сочинение Руссо «О происхождении неравенства между людьми»[32]. А в 1888 г. («Людвиг Фейербах») Энгельс пишет: «Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь служению «истине и праву» (в хорошем смысле этих слов), то именно Дидро»[33].

В письме к Е. Э. Паприц-Линевой Энгельс дает более развернутую оценку Добролюбова не только как ведущего писателя «исторической и критической школы в русской литературе, которая стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой», но и как типичного представителя «критической мысли и самоотверженных исканий чистой теории».

Такая оценка явно расширяет характеристику Добролюбова за обычные рамки чисто литературной деятельности и, судя по всему контексту письма, содержит прямой намек на полное признание Энгельсом исключительно большого общественного значения Добролюбова, с одной стороны, и огромной роли его в деле подготовки «русских социалистов» для революции, о котором пишет Е. Э. Паприц-Линева в своем письме к Энгельсу.

Крайне характерно также, что из трех приведенных цитат Маркса и Энгельса в двух случаях (обе цитаты Энгельса) имя Добролюбова упомянуто рядом с именем Чернышевского, при общей для них обоих характеристике. Это дает нам основание для оценки Добролюбова Марксом и Энгельсом привлечь более законченные отзывы последних о Чернышевском.

Имя Чернышевского упоминается в произведениях и письмах Маркса и Энгельса в 13 случаях на протяжении периода с 1870 г. по 1894 г. Из этих 13 текстов лишь 4 принадлежат Энгельсу, а остальные написаны Марксом. Нельзя не отметить, что первое упоминание имени Чернышевского относится к тому же 1870 г., когда Маркс имел возможность, овладев русским языком, самостоятельно и широко ознакомиться с русской действительностью. Характерно, что первые точные сведения о судьбе Чернышевского получены были Марксом только в 1870 г., — по крайней мере такое впечатление создается из чтения письма его к Энгельсу от 5 июля 1870 г., в котором эти сведения сообщаются как новость [34].

Прежде всего обращает на себя внимание огромный интерес Маркса и Энгельса к Чернышевскому и его произведениям. Уже 2 августа 1870 г., в письме к И. Беккеру Маркс просит прислать ему IV том сочинений Чернышевского, только что вышедший в Женеве и содержащий основную экономическую работу Николая Гавриловича: «Очерки из политической экономии по Миллю» [35]. А из письма Маркса к Даниельсону от 19 января 1873 г. мы узнаем, что «значительная часть» сочинений Чернышевского Марксу уже известна [36]. Насколько внимательно Маркс знакомился с произведениями Чернышевского, мы можем судить по сохранившемуся экземпляру «Очерков из политической экономии по Миллю» из библиотеки Маркса. Эта книга вся испещрена подчеркиваниями и замечаниями последнего, как правило, весьма благожелательными и одобрительными для автора [37].

Марксу и Энгельсу Чернышевский был известен не только как «великий русский ученый и критик» [38], но и как последовательный революционер, полностью использовавший свои огромные научные познания и талант публициста в борьбе с самодержавно-крепостническим строем. Уже в упомянутом письме к Энгельсу от 5 июля 1870 г. Маркс подчеркивает следующие слова из приговора по делу Чернышевского (в передаче Лопатина): Чернышевский «сохраняет в своих сочинениях неуязвимую с точки зрения закона форму и вместе с тем открыто изливает в них яд». Маркс читает непропущенные царской цензурой «Письма без адреса» и в письме к Даниельсону от 12 декабря 1872 г. замечает: «Рукопись очень интересная. С нетерпением ожидаю обещанной критики (рукописной), а также всякого печатного материала, которым вы обладаете по этому вопросу» [39]. Маркс хорошо осведомлен о жестокой расправе царского правительства с Чернышевским, принимает близкое участие в предпринятой Лопатиным попытке организовать побег Николая Гавриловича из Сибири и, выражая в письмах к Даниельсону желание «напечатать что-нибудь о жизни, личности и т. д. Чернышевского, чтобы вызвать сочувствие к нему на Западе», спрашивает совета (письмо от 18 января 1873 г.): «должен ли я [т. е. Маркс. — *А. Н.*] говорить только о его [Чернышевского. — *А. Н.*] научных заслугах или могу затронуть и другую сторону его деятельности?» [40].

Но наиболее полно развернутая характеристика Чернышевского как мыслителя, оказавшего огромное влияние на развитие революционного движения в России, дается Энгельсом в его послесловии к статье «О России» (1894 г.). Указывая, что среди защитников русской общины был и Чернышевский, «великий мыслитель, которому столь бесконечно многим обязана Россия и медленное убийство которого долголетней ссылкой в Якутской тайге останется навсегда позорным пятном на правительстве Александра II «Освободителя», — Энгельс продолжает: «Вера в чудодейственную

силу общинного землевладения, из недр которого будто бы может и должно явиться социальное перерождение, — вера, от которой не был совсем свободен и Чернышевский, — сделала свое дело, подняв воодушевление и энергию героических русских борцов. Их было едва несколько сот человек, но своей самоотверженностью и отвагою они довели царский абсолютизм до того, что он уже принужден был подумывать о возможности и об условиях капитуляции...»[41]. Как видим, эта характеристика Чернышевского Энгельсом в основном совпадает с характеристикой его Добролюбова и Чернышевского в письме к Е. Э. Паприц-Линевой и дается лишь в более точной и не дающей оснований для сомнений формулировке.

Из всех приведенных отзывов Маркса и Энгельса о Добролюбове с Чернышевским следует не только глубокое уважение и безусловное признание за русскими «социалистическими Лессингами» их исключительного литературного и научного значения, но и высокая их оценка как мыслителей-революционеров, оказавших решающее влияние на развитие революционного движения в России.

Особую ценность характеристике Добролюбова и Чернышевского в работах основоположников научного социализма придает то, что она давалась на основании тщательного изучения их произведений и тех условий русской действительности, в которой эти произведения были созданы. Маркс и Энгельс не могли не видеть слабых мест в мировоззрении как Добролюбова, так и Чернышевского, — в подтверждение этого достаточно указать на целый ряд серьезных замечаний Маркса к ряду мест в произведениях Чернышевского[42]. Но они учитывали условия, в которых жили и работали Добролюбов с Чернышевским и которые не давали объективной возможности преодолеть им свои недостатки.

Оценка основоположниками научного социализма Добролюбова и Чернышевского чужда была формальной критики. Они оценивали русских революционеров-публицистов, если так можно сказать, — в историческом контексте и подчеркивали не слабые их стороны, которые были вполне объяснимы, а основное их значение с точки зрения перспектив революционного движения. Именно это значение имеет следующий абзац в послесловии к статье Энгельса «О России»: «Чернышевский, благодаря интеллектуальному барьеру, отделяющему Россию от Западной Европы, никогда не читал произведений Маркса, а когда появился «Капитал», Чернышевский давно уже сидел в Средне-Вилюйске, среди якутов[43]. Все его духовное развитие по необходимости протекало в тех условиях, которые созданы были цензурным гнетом. Чего не пропускала в Россию цензура, то почти или даже совсем не существовало для русских. Поэтому если мы находим у него в отдельных случаях ограниченность кругозора, то приходится только удивляться, что подобных случаев сравнительно мало» [подчеркнуто мною. — *А. Н.*][44].

В лице Добролюбова и Чернышевского Маркс и Энгельс видели не только талантливых исследователей и литераторов, но и воспитателей и руководителей того нового поколения русских революционеров, тех «выходцев из народа», которые пришли на смену прежним эмигрантам из дворян-аристократов (Герцен, Бакунин и др.) и у которых, как уже указывалось выше (см. выше — письмо Энгельса от 14 июня 1874 г.), «выдержка, твердость характера и в то же время теоретическое понимание прямо поразительны».

II

Оценка Н. А. Добролюбова Лениным более известна и при ее определении нет необходимости привлекать побочные материалы, как то приходилось делать при работе над текстом из работ Маркса и Энгельса.

Упоминание имени Добролюбова встречается в восьми законченных и опубликованных в печати работах Ленина. Работы эти написаны в период с 1901 по 1918 г. включительно, но поскольку статья 1901 г. («Начало демонстраций») не содержит никаких элементов оценки Добролюбова [45], мы в праве ограничить этот период более узкими рамками: с декабря 1909 г. («О вехах») по апрель 1918 г. («Очередные задачи советской власти»).

Приведем соответствующие отрывки из этих произведений Ленина, указав положение их в контексте.

Статья «О вехах» (1909 г. — декабрь) посвящена сборнику под этим названием, выпущенному влиятельными кадетскими публицистами (П. Струве, Бердяев, Булгаков и др.) после поражения революции 1905—1907 гг. Разоблачая авторов сборника, подтверждающего полный разрыв «русского кадетизма и русского либерализма вообще с русским освободительным движением, со всеми его основными задачами, со всеми его коренными традициями», Ленин пишет: «...«Вехи» неустанно громят атеизм «интеллигенции» и стремятся со всей решительностью и во всей полноте восстановить религиозное миросозерцание. Вполне естественно, что, уничтожив Чернышевского, как философа, «Вехи» уничтожают Белинского, как публициста. Белинский, Добролюбов, Чернышевский — вожди «интеллигентов» (134, 56, 32, 17 и др.). Чаадаев, Владимир Соловьев, Достоевский — «вовсе не интеллигенты». Первые — вожди направления, с которым «Вехи» воюют не на живот, а на смерть» [46].

В статье «Избирательная кампания в IV Думу» (1912 г. — май), выясняя расстановку политических сил в предвыборную кампанию, при которой либеральные буржуа надеялись «ехать к триумфу» на «тройке» («кадеты — оппозиционный центр, коренник; пристяжки («фланги») — прогрессисты справа, трудовики и ликвидаторы слева»), Ленин дает следующую характеристику ликвидаторов, особенно подчеркивая ревизию ими демократической позиции Добролюбова: «Посмотрите на ликвидаторов. Как ни виляют, как ни вертятся Мартыновы, Мартовы и К°, а всякий добросовестный и толковый читатель признает, что Р-ков именно их взгляды подытожил, когда сказал: «Не надо делать себе иллюзий: готовится торжество весьма умеренного буржуазного прогрессизма»... Неужели не ясно, что ту же песенку поют и Левицкие, философски углубляющие либеральные идеи о борьбе за право, и Неведомские с их новым «пересмотром» идей Добролюбова задом наперед, от демократизма к либерализму, и Смирновы, делающие глазки «прогрессизму», и все прочие рыцари «Нашей Зари» и «Живого Дела» [47].

В статье «Памяти Герцена» (1912 г. — май), давая известную характеристику Герцена как представителя «первого поколения» русских революционеров, колеблющегося между либерализмом и демократизмом, Ленин противопоставляет ему Добролюбова и Чернышевского как последовательных демократов: «...Герцен принадлежал к помещичьей, барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная аппеляция к «верхам». Отсюда его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представляющие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму...» [48].

К краткой статье «Либералы и свобода союзов» (1913 г. — май), разоблачая поворот буржуазии, даже «самой либеральной», вправо, Ленин указывает, что навязывание рабочим «либеральной узости», выдавая ее за мнение самих рабочих, избитый прием либералов, успешно разоблаченный последовательными демократами Добролюбовым и Чернышевским еще в период

отмены крепостного права: «Последовательные демократы Добролюбов и Чернышевский справедливо высмеивали либералов за реформизм, в подкладке которого было всегда стремление укротить активность масс и отстоять кусочек привилегий помещиков, вроде выкупа и так далее»[49].

Статья «Нужен ли обязательный государственный язык» (1914 г. — январь) посвящена выяснению истинной позиции в этом вопросе либералов. Ленин приходит к выводу, что взгляды либералов на обязательный государственный язык тождественны взглядам реакционеров и отмечает лишь, что «позиция либералов — гораздо «культурнее» и «тоньше». Добролюбов в этой статье упомянут наравне с Тургеневым, Толстым и Чернышевским, как один из писателей, язык которого «велик и могуч».

В статье «Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический» (1917 г. — январь) во второй главе, посвященной разбору замаскированного буржуазного пацифизма Каутского и Турати, при котором «на деле у обоих добреньких пацифистов получилось именно оправдание войны», Ленин отводит все возможные оправдания этих «социалистов» и напоминает: «что даже в крепостной России Добролюбов и Чернышевский умели говорить правду — то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 г., то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов, говоривших точь-в-точь такие речи, как Турати и Каутский»[50].

Наконец, последнее упоминание о Добролюбове мы имеем в известной статье Ленина «Очередные задачи советской власти» (1918 г. — март — апрель). В этой статье, Ленин дает анализ существовавшего в тот момент «трудного» и «опасного» международного положения советской республики и тяжелых условий строительства внутри страны советов и указывает, что — «борьба с бюрократическими извращениями Советской организации обеспечивается прочностью связи Советов с «народом», в смысле трудящихся и эксплоатируемых, гибкостью и эластичностью этой связи. Буржуазных парламентов даже лучшей в мире по демократизму капиталистической республики беднота не считает «своими» учреждениями. А Советы — «свое», а не чужое, для массы рабочих и крестьян. Современным «социал-демократам», оттенка Шейдемана или, что почти одно и то же, Мартова, так же претят Советы, их так же тянет к благопристойному буржуазному парламенту, или к Учредительному собранию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к умеренной монархической и дворянской конституции, как ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского»[51].

Мы привели все случаи упоминания имени Добролюбова в ленинских произведениях и можем, на основании приведенных текстов, установить общую оценку Добролюбова Лениным и выяснить причины особого интереса его к этому «просветителю» 60-х годов.

Прежде всего, при чтении этих текстов бросается в глаза исключительно положительная оценка Добролюбова — во всех случаях упоминания его имени Ленин выставляет Добролюбова как образец. Ленин признает исключительно высокую роль Добролюбова в русской литературе, ставя его литературный талант на одном уровне с талантом Тургенева, Толстого и Чернышевского (см. статью «Нужен ли обязательный государственный язык») и чрезвычайно высоко оценивает его публицистические способности (см. статью «Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический»).

Но главное внимание Ленина привлекает основная черта в деятельности Добролюбова — черта последовательного революционного демократизма. Не случайно Ленин приводит имя Добролюбова как раз в тех своих работах, основной удар которых направлялся против либералов всех толков и направлений (статьи периода 1909—1914 гг.) или против соглашательской и контрреволюционной позиции социал-демократии (статьи 1917—1918 гг.). Ленин вспоминает Добролюбова и его непримиримую борьбу с либералами

при анализе позиции либеральной буржуазии в XX в., «предающей» революцию «во всякий серьезный момент» и по существу, после поражения революции 1905—1907 гг., вставшей на сторону контрреволюции (см. статьи «О Вехах», «Избирательная кампания в Думу», «Либералы и свобода союзов»).

В этих статьях Ленин упоминает о попытках ревизии демократических идей Добролюбова со стороны либеральных публицистов и ликвидаторов, идущих на поводу у либералов, и характеризует Добролюбова как последовательного демократа, в свое время высмеивавшего либералов за реформизм. Касаясь оценки соглашательской и по существу контрреволюционной роли социал-демократии в годы империалистической войны и пролетарской революции (см. статьи «Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический» и «Очередные задачи советской власти»), Ленин опять-таки указывает на Добролюбова, как на истинного демократа, публициста-бойца, умеющего защищать интересы широких трудящихся масс в самых тяжелых условиях полицейского гнета.

Таким образом в текстах произведений Ленина Добролюбов рисуется нам прежде всего как образец последовательного революционного демократизма, использовавшего в интересах трудящихся все средства борьбы с самодержавно-крепостническим строем и ведшего неустанную, последовательную борьбу с либералами, предававшими интересы трудящихся.

Крайне любопытно, что в рассмотренных нами текстах Ленина имя Добролюбова в шести случаях из семи (из общего их числа отрывок из статьи 1901 г. « Начало демонстраций» мы, как уже указывалось, исключили — см. стр. 29—30) упомянуто наравне с именем Н. Г. Чернышевского, при чем изложенная выше характеристика Добролюбова в равной мере отнесена и к Чернышевскому. Количество отрывков из произведений Ленина о Чернышевском, как известно, значительно большее и из текста их еще ярче вырисовывается та же черта «великого просветителя» 60-х годов, выдвигаемая Лениным на первый план — черта последовательного революционного демократизма.

Оставляя в стороне другие тексты Ленина о Чернышевском, как хорошо известные[52], остановимся лишь на замечаниях Ленина к работам Плеханова[53] о Чернышевском. Эти замечания сделаны Лениным в конце 1910 г. или в начале 1911 г. и обнаруживают тщательную критическую проработку книги Плеханова, с детальным сличением новой редакции его работы о Чернышевском с редакцией статей 1890—1892 гг. Читая книгу, Ленин на полях отмечал случаи изменения старого текста, иногда сопровождая их замечаниями, а также выделяя ряд .положений Плеханова, путем отчеркивания соответствующих фраз и абзацев. Некоторые из этих текстовых выделений и замечаний Ленина имеют для разбираемого нами вопроса особый интерес. Так, в тексте книги Плеханова Лениным подчеркнуты два места, относящиеся к Добролюбову: «Чернышевский рассказывает, что Тургенев мог еще выносить его до некоторой степени, но зато уже окончательно не терпел Добролюбова. «Вы простая змея, а Добролюбов — очковая», — говорил он Чернышевскому [выделенные слова подчеркнуты Лениным. — *А. Н.*]. Таким же образом выделено Лениным следующее место текста: «Впрочем, большинство статей в «Свистке», вызывавшем особенное неудовольствие благовоспитанных либералов, принадлежало не Н. Г. Чернышевскому. Он только изредка принимал в нем участие, так как был завален другой работой».

Любопытно также, что Ленин подчеркнул то место у Плеханова, где говорится, что «Чернышевский сближался с такими материалистами, как Ламетри и Дидро», что невольно заставляет нас вспомнить характеристику Добролюбова, данную Марксом и Энгельсом.



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Портрет работы Б. М. Кустодиева, масло

Местонахождение оригинала неизвестно

Но наиболее четкое подтверждение установленного нами выше отношения Ленина к Чернышевскому мы находим в двух замечаниях Ленина, сделанных на полях книги Плеханова. Плеханов пишет: «Подобно своему учителю, Чернышевский также сосредоточивает свое внимание почти исключительно на «теоретической» деятельности человечества...». Подчеркнув эти слова, Ленин на полях замечает: «Таков же недостаток книги Плеханова о Чернышевском»[54]. Эта же мысль, но в раскрытой форме дается Лениным в другом замечании к такому тексту Плеханова. Вот это место: «Если иногда этот, по существу своему идеалистический, взгляд на политику уступает место другому взгляду, являющемуся как бы зачатком материалистического понимания, то это есть лишь исключение, совершенно подобное тому, с которым мы встречались при изучении исторических взглядов Чернышевского: читатель помнит, что в этих взглядах, тоже идеалистических по своему существу, тоже встречались зачатки материалистического взгляда на историю». И на полях, рядом с приведенным текстом, имеется следующее замечание Ленина: «Из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа»[55].

Таким образом в этих замечаниях Ленина еще раз подчеркнута основная черта, определявшая в его глазах оценку и значение «просветителей 60-х годов — их практическая деятельность, на основе четкой политической и классовой позиции, резко отличающей их, как демократов-разночинцев от либералов-дворян.

Подведем итоги. Мы можем констатировать полное тождество в оценках Н. А. Добролюбова Марксом, Энгельсом и Лениным, совпадающих иногда до мелких деталей. Оценка эта, исключительно для Добролюбова благоприятная, свидетельствует об огромном интересе и о глубоком уважении к нему со стороны основоположников марксизма-ленинизма.

Маркс, Энгельс и Ленин высоко ценят литературный талант Добролюбова, ставя его в ряд крупнейших писателей своего времени. Но в первую очередь они видят в нем яркого представителя революционной публицистики, мыслителя-революционера, основной чертой деятельности которого является единство мысли и действия, вождя и учителя революционной молодежи — нового поколения революционеров «из народа», неутомимого и последовательного борца за интересы трудящихся масс.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 16 и 168.

[2] Там же, т. XXVI, стр. 58—59. О. Мейснер, издатель работ Маркса, выпустивший I том «Капитала».

[3] Там же, т. XXIV, стр. 239.

[4] Там же, т. XXVI, стр. 32.

[5] Там же, т. XXIV, стр. 278.

[6] Цит. по тексту «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, 1929 г. стр. 357.

[7] Там же, стр. 369. См. также письмо Маркса к Энгельсу от 22/I 1870 г.— Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 281.

[8] Маркс и Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 286.

[9] См. «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, стр. 369.

[10] Уже в июле 1870 г. Марксу от Лопатина стало известно, что Боркгейм, услугами которого он раньше пользовался для ознакомления с русскими изданиями, имеет очень сомнительные познания в русском языке, о чем он немедленно и сообщил Энгельсу — см. письмо от 5/VII 1870 г. (Маркс и Энгельс. Соч., т. XXIV, стр. 348).

[11] Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 309—310.

[12] До 1871 г. мы имеет одно письмо Маркса к Даниельсону (1868 г.), в 1871 г. таких писем уже 4, в 1872 г.— 3, в 1873 — 3, в 1878 г.— 2, в 1879 г.— 2, в 1880 г.— 1 и в 1881 г.— 2.

[13] Маркс и Энгельс. Соч., т. XXV, стр. 534.

[14] Там же, т. XXVI, стр. 267.

[15] Там же, т. XXVI, стр. 122, 315, 351, 381, 382, 456 и др.

[16] «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, 1929 г., стр. 357.

[17] Маркс и Энгельс, Соч. т. XXVI, стр. 164.

[18] «Архив Маркса и Энгельса» т. IV, 1929 г., стр. 384. См. также т. IV сборников «Группа Освобождение труда» — Ф. Гинзбург: «Русские книги в библиотеке Маркса и Энгельса», стр. 387.

[19] Там же.

[20] Цит. по книге В. Полянского, Н. А. Добролюбов, изд. «Academia», 1933 г., стр. 10.

[21] Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 164.

[22] Там же, т. XV, стр. 235.

[23] В именном указателе к т. XXVII сочинений Маркса и Энгельса, в котором письмо опубликовано, это лицо не установлено. Б. Николаевский в своей статье «Русские книги в библиотеке Маркса и Энгельса» (см. «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, 1929 г., стр. 355—423) приводит текст письма Евгении Паприц, но о личности Е. Паприц высказывает лишь самые общие предположения (стр. 364) и лишь предполагает существование ответа Энгельса.

[24] Текст письма Е. Паприц взят из «Архива Маркса и Энгельса», т. IV, 1929 г., стр. 363—364.

[25] Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVII, стр. 389—390.

[26] «Русские Ведомости», 1863—1913 гг., М. 1913 г. Это издание, как путь для выяснения личности Е. Паприц, указано мне Б. П. Козьминым.

[27] Ценные указания мною получены от Е. Д. Денисовой, А. В. Никольского, В. В. Пасхалова и С. С. Попова, охотно сообщивших известные им сведения о Е. Э. Линевой.

[28] См. статью Николаевского в «Архиве Маркса и Энгельса», т. IV, 1929 г., стр. 364—366.

[29] Паприц К. Э., по окончании курса в Петровской сельскохозяйственной академии в течение недолгого времени работал в статистическом комитете самарского земства и 9/X 1883 г. умер в Москве. Им написан ряд стихотворений, повесть «На Волге» (см. «Русская Мысль» за 1881) и очерки «Келейник» и «Бурлак» «Русский Курьер» за 1883 г.).—См. Д. Д. Языков «Обзор жизни и трудов покойных русских писателей», вып. III, СПБ. 1887 г., стр. 64.

[30] Те же черты можно усмотреть и в краткой биографической справке о ее брате—К. Э. Паприц (см. предыдущее примечание).

[31] Маркс и Энгельс, Соч., т. I, стр. 184.

[32] Там же, т. XIV, стр. 20 и т. XV, стр. 520.

[33] Там же, т. XIV, стр. 654.

[34] Там же, т. XXIV, стр. 349.

[35] Там же, т. XXVI, стр. 66.

[36] Там же, т. XXVI, стр. 315.

[37] «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, 1929 г., стр. 385—390.

[38] См. Послесловие ко 2-му изд. «Капитала», помеченное 24/I 1873 г. (Маркс «Капитал», т. I, изд. 8-е, Соцэкгиз, 1931 г., стр. XIX).

[39] Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 306.

[40] Там же, т. XXVI, стр. 315.

[41] Энгельс — О России, изд. «Пролетарий», 1923 г., стр. 28, 37—38.

[42] «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, 1929 г., стр. 385—391.

[43] Здесь некоторая неясность. В год появления 1-го издания «Капитала» на немецком языке (1867 г.) Чернышевский находился на каторге в Александровском заводе. Но возможно, судя по контексту, здесь Энгельс имеет в виду год выпуска русского издания «Капитала» (1872 г.). В этом году Чернышевский действительно был переведен в Вилюйск, и тогда неточность Энгельса заключается лишь в том, что он это место называет «Средне-Вилюйском».

[44] Энгельс — О России, изд. «Пролетарий», 1923 г., стр. 28.

[45] В этой работе лишь упоминается о демонстрации по поводу запрещения вечера в память Н. А. Добролюбова (Ленин, Соч., т. IV, стр. 346). Все цитаты Ленина даны по 3-му изданию его сочинений.

[46] Ленин, Соч., т. XIV, стр. 218.

[47] Там же, т. XV, стр. 459.

[48] Там же, т. XV, стр. 466—467.

[49] Там же, т. XXX, стр. 211.

[50] Там же, т. XIX, стр. 371.

[51] Там же, т. XXII, стр. 466—467.

[52] Основные из них даны в работе Института Ленина «Ленин о Чернышевском», ГИЗ 1928 г.

[53] См. «Ленинский сборник», т. XXV, Партиздат. 1933 г., стр. 206—244.

[54] Там же, стр. 221.

[55] Там же, стр. 231.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ—ИСТОРИК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статья Валерьяна Полянского

I

В. Г. Белинский в своей литературно-критической работе не раз делал обзоры русской литературы. Эти обзоры были своего рода конспектами, набросками предполагавшейся истории русской литературы, которую великий критик написать, однако, не успел. Таким наброском, ярким и оригинальным, который вызвал к себе всеобщее внимание литературного мира и поставил «недоучившегося студента», как в классовой злобе отзывались о Белинском его враги, в первые ряды русской критики, была и его первая большая статья «Литературные мечтания. (Элегия в прозе)». В ней великий критик смело заявил: «у нас нет литературы». «В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов — вот все ее представители; других покуда нет и не ищите их».

Н. А. Добролюбов подробных обзоров не писал, если не считать его большой статьи «Русская сатира в век Екатерины», статьи замечательной, но все же охватывающей ограниченный период времени и разрабатывающей узко специальную тему, и статьи «О степени участия народности в развитии русской литературы»; но у него имеется большое количество отдельных высказываний о больших и малых писателях, и эти высказывания дают достаточный материал, чтобы судить о Добролюбове, как об историке русской литературы.

Необходимо сразу же оговорить, что в данной статье нас интересует не специфически литературная сторона дела, а преимущественно, и даже пожалуй исключительно, сторона политическая. Конечно, специфически литературные проблемы эстетики, стиля, формы, языка, образности и т. п. при написании истории литературы подлежат обязательному и всестороннему рассмотрению, в определенной мере они переплетаются и с вопросами политики, но эти сложные проблемы требуют особой работы и мы в данном случае трогать их не будем.

Белинский представлял задачу истории русской литературы в таком виде: «Написать историю русской литературы значит: показать, каким образом, как следствие общественной реформы, произведенной Петром Великим, началась она рабским подражанием иностранным образцам, принявши чисто риторический характер; как потом постепенно стремилась к освобождению из формальности и риторизма и приобретению для себя жизненных элементов и самостоятельности; и как, наконец, развилась до полной художественности и сделалась выражением жизни своего общества, стала русскою. Вместе с этим должно показать, что русская литература положила у нас основание публичности и общественного мнения, была проводником в обществе всех человеческих идей и постоянно, не без успеха, боролась с предрассудками и пороками, завещанными нам невежественною, полуазиатскою страною»[1].

Исходя из тех или иных философских систем, в зависимости от которых Белинский наполнял свои принципы конкретным содержанием, он в основу своего исследования развития русской литературы неизменно клал принцип народности, художественной правды, не в смысле фотографического изображения жизни, а в смысле раскрытия ее внутреннего развития, показа ростков будущего, перспектив грядущего, выявления отмирающего, уходящего в прошлое.

Добролюбов, не теряя и не умаляя своего колоссального и самостоятельного значения в истории русской общественности, критики и публицистики, считал себя, да таковым был и на самом деле, продолжателем революционно-демократической линии Белинского. Добролюбов принял и политические и эстетические выводы великого критика, которые последний сделал, отказавшись от немецкой идеалистической, романтической философии и став на позиции материализма Людвига Фейербаха. Как самостоятельный гениальный ум, Добролюбов естественно не просто взял готовые положения Белинского, механистически измеряя ими достоинство и историческое значение русской литературы и литературных явлений, — он развивал их дальше в соответствии со всей обстановкой русской жизни, экономическими, политическими и культурными течениями того времени. Он взял эти положения, как демократ-революционер, действующий в обстановке назревавшей крестьянской революции.

В «Литературных мечтаниях» Белинский доказывал, что Петр Великий железной рукой гения, осуществляя исторически необходимые реформы, оторвал общество от народа, в силу чего и литература, утратив свою прежнюю народность, т. е. перестав быть выражением русского народного самосознания, стала литературой привилегированного общества, перенимавшего культуру Западной Европы. Добролюбов так же на протяжении всей своей литературно-критической деятельности утверждал и совершенно, конечно, законно, что у нас нет литературы народа, а есть литература незначительной верхушки образованного общества. Это образованное меньшинство даже при всем своем расположении к народу и готовности пострадать за него, не может дать литературы народа, потому что оно не может отказаться от своих классовых интересов. «Мысль о помещичьих правах и выгодах так сильна в пишущем классе, — писал Добролюбов, обозревая литературу, касавшуюся крестьянской реформы 1861 г., — что, как бы ни хотел человек даже с особыми натяжками п е р е т я н у т ь на сторону крестьян, а все н е д о т я н е т». «Если и трактуются предметы, прямо касающиеся народа и для него интересные, то трактуются опять не с обще-справедливой, не с человеческой, не с народной точки зрения, а непременно в видах частных интересов той или другой партии, того или другого класса» [2]. Вместе с Белинским Добролюбов, однако, верил, что придет время и появится богатая литература народа.

Добролюбов, как и Белинский, очень часто пользовался социологически расплывчатым и неопределенным термином народ, разумея под ним в первую очередь крестьянство, а затем и всех трудящихся, но он поднимался и на бо́льшую высоту мысли, хотя и не всегда на этой высоте удерживался. Он поднимался до классовой точки зрения. «Даже поэзия, — писал он, — всегда столь сочувствовавшая всему доброму и прекрасному и презиравшая мелкие, своекорыстные расчеты, — даже поэзия постоянно увлекалась духом партий и классов» и «редко спускалась до простого люда». Критик не возражал против того, что та или другая партия высказывала свои мнения. Дурно, по его глубокому убеждению, другое. «Дурно вот что: между десятками различных партий почти никогда нет партии народа в литературе» [3], т. е. нет литературы, которая отражала и защищала бы интересы закрепощенного, и измученного крестьянства.

Это основная исходная точка зрения Добролюбова. Она руководила им не только при анализе содержания литературного произведения, но и при определении и оценке его формы. Так, например, говоря о А. Кантемире, критик отмечает, что «сатира явилась у нас, как привозный плод, а вовсе не как продукт, выработанный самой народной жизнью», равно как и содержание сатиры ни в какой мере не было выражением народных интересов.

Не видя в литературе «партии народа», Добролюбов с исключительной тщательностью отыскивал в ней элементы народности. Если у Белинского в период увлечения немецкой романтической философией народность была средством выражения абсолютного начала, духа, единой, вечной идеи и только в последние годы его жизни стала выражением политической сущности крестьянской жизни, то у Добролюбова с первых шагов на литературном поприще выявление народности вело к раскрытию ужасного положения крестьянства, к обнаружению тех черт характера и сил народных масс, которые были нужны крестьянству в назревающей борьбе с самодержавно-крепостническим строем. Нет литературы «партии народа»; критик начинает собирать отдельные элементы народности, показывает их и пропагандирует их историческую обусловленность и неизбежность. Это было своеобразное собирание и организация сил крестьянской демократии. Значение этого совершенно не понял даже такой большой человек, как Д. И. Писарев, разошедшись с Добролюбовым в оценке Катерины из «Грозы» Островского.

Неустанно повторяя, что литература самостоятельного значения не имеет, что ее роль чисто служебная, а достоинство и значение ее определяется тем, что и как она пропагандирует, Добролюбов требовал от художника-писателя, чтобы он стоял на уровне современных ему знаний, чтобы он проникал в дух событий, расчищал путь к осуществлению «естественных устремлений» народа, т. е. стремлений к социальному равенству. Естественно критик ищет критики самодержавия и крепостничества, критики всех общественных и политических теорий и мероприятий, которые могли бы оправдывать и поддерживать существующее положение вещей; критики всех деятелей, которые субъективно или объективно, все равно, ищут путей примирения между революционным крестьянством, самодержавием и помещиками. Добролюбов, не говорим о закоренелых крепостниках, жестоко бичевал либералов, вскрывал их изменническую делу народа природу. Они говорили много красивых фраз о страданиях и благе народа, но ни на какое практическое дело не были способны. Помимо критики существующего режима, Добролюбов искал в художественном произведении показа страданий народа и барства господствующих, жизнь которых была полна всяких политических и бытовых мерзостей.

Белинский утверждал, что гений, истинный художник, не может быть не народен, а что народно, то верно. Такой же точки зрения держался и Добролюбов. Он был глубоко и искренно убежден, что настоящий художник независимо от его воли, хочет он или не хочет того, непременно, так или иначе, прямо или косвенно, отразит интересы народа. Ошибочность взглядов обоих великих критиков очевидна. Суть дела в данном конкретном случае не в этих ошибках, в самой постановке вопроса; а постановка эта сводилась к тому, если писатель ни в какой мере не выражает интересы народа, он уже не является истинным талантом, его произведения теряют свое значение, как не показывающие добра и возвеличивающие зло. Правильную политическую мысль своего времени Добролюбов не сумел применить к проблеме художественности, но предъявленное им к литературе требование критики существующего режима и всего, что могло быть им использовано в целях своей защиты, оставалось незыблемым, непоколебимым.

Итак, Добролюбов в своей литературно-критической деятельности руководился следующими основными политическими требованиями: 1) среди ли-

тературы других партий должна быть и литература «партии народа», — литература, отражающая интересы закабаленного, но уже поднимающего голову крестьянства; 2) поскольку такой литературы еще нет, надо элементы народности отыскивать и собирать в имеющейся литературе, пропагандируя их как элементы прогресса, и 3) наконец, понимая интересы народа в широком историческом плане, литература должна быть критикой самодержавно-крепостнического строя, всего примыкающего к нему, должна быть показом несчастной жизни и стремлений народа.

Выявляя этот политический подход Добролюбова к литературе, было бы величайшей наивностью думать, что критик механически пользовался своей схемой. Если бы это было так, Добролюбов не был бы гениальным умом и гениальным критиком. Его критика была бы шаблонна, однообразна, скучна, сам он давным-давно был бы забыт потомством, да его не чтили бы и его современники. Добролюбов в своих суждениях был глубоко историчен, ему не чужда была диалектика. Всякое явление он брал в процессе исторического развития, с учетом общественных условий, и прекрасно понимал, что сегодня имеет одно значение, завтра оно может иметь совершенно другое и даже прямо противоположное. Его политические требования, которые он предъявлял к литературе, всегда наполнялись конкретным содержанием текущего момента, всегда прямо, точно и ясно отвечали политическим интересам крестьянской демократии, крестьянской революции.

Часто возвращаясь к общим вопросам исторического развития, Добролюбов писал: «Благодаря историческим трудам последнего времени и еще более новейшим событиям в Европе [т. е. революциям. — *В. П.*], мы начинаем немножко понимать внутренний смысл истории народов, и теперь менее, чем когда-нибудь, можем отвергать постоянство во всех народах стремления, — более или менее сознательного, но всегда проявляющегося в фактах, — к восстановлению своих естественных прав на нравственную и материальную независимость от чужого произвола. В русском народе это стремление не только существует наравне с другими народами, но, вероятно, еще сильнее, нежели у других [4]. Критик хотел, чтобы история русской литературы была и отражением данного процесса и служила ему в движении вперед.

Теперь, когда мы имеем марксистско-ленинскую методологию, все эти установки кажутся простыми до очевидности, само собою разумеющимися. В шестидесятые годы это было совсем не просто, а наоборот, носило на себе печать гениальности. Великими провидцами были оба великие критика, когда высказали мнение, что Россия, учтя опыт революций в Западной Европе, скорее и лучше разрешит основной социальный вопрос. Это сбылось.

Добролюбов не мыслил историю литературы, как историю знаменитых писателей, как историю их творческого развития, их творческих достижений. Всего этого он не отрицал, но для него это только материал для истории. История литературы не внешнее описание литературных фактов: биографии писателя, перечисления его произведений со старошкольным пониманием содержания их, не эстетическая оценка мастерства и языка. То, что Добролюбов писал о гражданской истории, в известной мере должно быть перенесено и на его понимание истории литературы. Конечно, литература есть специфическое, образное явление и требует в обработке матриала особых специальных подходов, но история всякого явления, всякого знания, есть все же история, и как таковая несомненно имеет основные принципы общие со всякой историей, и прежде всего с гражданской.

По поводу же гражданской истории Добролюбов писал, что история до сих пор писалась как история царей, писалась «преимущественно в смысле внешне-государственной» жизни; необходимо, чтобы история была историей народа, народных движений, борьбы народа за свои попранные эксплуататор-

скими классами права. Он убежден, что жизнь отдельных исторических деятелей может быть понята и оценена только в связи с историей народа. Иначе будет не история, а собрание случайных, разрозненных фактов, хотя бы и интересных и освещенных какой-либо идеей. В истории же народа развернется борьба эксплуатируемых и эксплуататоров, угнетенных и поработителей, борьба «естественных» и «искусственных» стремлений.

Все предыдущие высказывания дают полное основание утверждать, что Добролюбов представлял себе историю русской литературы, как историю художественного показа действительности в отношении «к характеру, положению и степени развития народа». Он так и писал: «Всякое историческое изложение, не одушевленное этой идеей, будет сбором случайных фактов, может быть и связанных между собою, но оторванных от всего окружающего, от всего прошедшего и будущего»[5]. Это не значит, что Добролюбов игнорировал специфику предмета; это только означает, что ее он подчинял все той же идее народности, идее борьбы крестьянства за свои интересы. Это не значит, что для Добролюбова история литературы была иллюстрацией к гражданской истории. Это значит только то, что как история гражданской жизни общества, так и история искусства и литературы, если она претендует на серьезное научное значение, несмотря на свои особые специфические особенности, не может писаться, если явление, подлежащее историческому рассмотрению, не будет связано с идеей борьбы народа. Вне этого возможна только узко-эстетическая история, но это уже не история литературы ни в нашем понимании, ни в понимании Добролюбова.

Критик высказал убеждение, что когда изложенный им взгляд на историю будет осознан, «тотчас исторические сведения о явлениях внутренней жизни народа будут иметь гораздо более цены для исследователей и, может быть, изменят многое из доселе господствовавших теорий». Невольно напрашивается вывод, что и нам в советской социалистической стране следует писать историю литературы, положив в основу великую идею народности, борьбы народа с угнетателями, выправив недоговоренности и ошибки великих критиков, исходя из принципов диалектического развития и классовой борьбы. Тогда все явления литературы, вся ее специфика будут на своем месте и найдут свое историческое объяснение и свою оценку.

II

Теперь обратимся к конкретному литературному материалу и посмотрим, как эти политические установки наполнялись живым содержанием. Обратимся к литературным высказываниям и оценкам критика. Будем следовать в хронологическом порядке и таким образом в первую очередь возьмем литературу времен Петра и Екатерины. Начнем с Кантемира.

Верный своему политическому взгляду на задачи литературы, Добролюбов прежде всего констатирует, что Кантемир — аристократ, человек независимый, а что делает, то делает по влечению своего сердца. Он обличал приверженцев старины, которые никак не могли понять ни сущности, ни полезности, ни исторической необходимости и неизбежности петровских реформ, которые держались за все старое, не различая живого от мертвого, полезного от ненужного. Обличал он и приверженцев новизны, когда они воспринимали только внешность европейской культуры и притом извращая ее, «делая смешной». Обличая, Кантемир выразил «не думу русского народа», на которого реформы ложились тяжелым гнетом, а «идеи иностранного князя, пораженного тем, что русские не так принимают европейское образование, как бы следовало по плану преобразователя России». Служа царю Петру он не обличал того, что было действительно дурно «для удобства жизни самого народа». Когда «народ от притеснений и непонятных ему новостей всякого рода бежал в раскол», князь Кантемир «смеялся над мерт-

вою обрядностью раскольников», и ничуть не касался ни самой системы проведения реформы, ни чинимых насилий. Когда «народ нуждался в грамоте, а у нас учреждалась Академия Наук, он обличал тех, которые говорили, что можно жить, не зная ни латыни, ни Эвклида, ни алгебры»[6].

Добролюбов прекрасно понимал историческое значение реформы Петра, считал царево дело народным, поскольку реформы поднимали русскую жизнь на высшую ступень. Он, конечно, понимал и пользу сатиры Кантемира и все же, имея в виду непосредственные и ближайшие интересы народа, подчеркнул, что эта сатира «привозной плод, а не продукт, выработанный самой народной жизнью». Народ, идя против реформ, обличая ее сторонников, думал не о том, что обличал Кантемир, а о совершенно другом, как бы избежать новых тягот и без того тяжелой жизни.

Это было почти дословным повторением Белинского, который указывал, что «сатиры Кантемира — явление чисто случайное; что дух народный в них не участвовал; что они вышли не из этого духа, не его выразили и не к нему возвратились. Одно уже иностранное происхождение их автора показывает, что они не имели в себе самих никакой необходимости, могли и быть и не быть, а потому самому и были-то они словно не были»[7].

Значительно суровее отнесся критик к Ломоносову. Он признает в нем ученого, профессора, ценит его заслуги в области науки, как основоположника русского естествознания, как создателя науки о языке, признает в нем поэта, но безоговорочно заявляет, что «в отношении к общественному значению литературы он не сделал ничего. Как до него схоластическая поэзия ограничивалась изображением «Орла российского» или сочинением аллегорического «Плача и утешения» в виршах Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева, так точно и Ломоносова поэзия не шагнула далее дидактического нравоучения, да напыщенного воспевания бранных подвигов». Кантемир был иностранный князь, Ломоносов — сын народа и Добролюбов никак не может простить этому сыну народа, что «действительной жизни он не хотел знать, и даже полагал, кажется, что о ней можно говорить не иначе, как низким слогом, которого должен избегать порядочный писатель». Все это и заставило критика сказать, что в поэзии Ломоносова нет народности, что он был «чем вам угодно, но уж не человеком, сочувствующим тому классу народа, из которого вышел он»[8].

Анализируя творчество Сумарокова, Хераскова, Княжнина, Добролюбов, порицая их за подражание французам, за классицизм, за разного рода грубые дидактические тенденции, не обольщаясь тем, что у Сумарокова есть сцены, положения, фразы, картины, взятые из непосредственной жизни народа, что Сумароков призывал владеть людьми не по-скотски, а по-людски, т. е. милостиво и справедливо, указывал, что всем им чужды интересы, нужды, страдания народа. Особенно круто нападал он на Хераскова и Княжнина. «Сии высокопарные пииты» «мало чуяли дух русской народности». Все обличало в их литературной деятельности «отчуждение от народности, пренебрежение к нуждам и страданиям людей, если они только не пользуются громкими титулами». Признавая в Фонвизине одного из «ценнейших и благороднейших представителей здравого направления мыслей в России», критик одновременно с сожалением отмечал, что, в силу ряда обстоятельств, эти горячие стремления, оказались бесплодны и не нашли нужного воплощения в художественной продукции Фонвизина.

«Державин все воспевал ничтожество людей вообще и величие некоторых сановников в особенности; о правах же человеческих думал так мало, что умиленно восторгался тем, как ему — «И знать, и мыслить позволяют»... Нападая на его мертвую схоластику, грубое эпикурейство, отсутствие здравой мысли и изящного вкуса, на шутовство, критик припоминает восклицание поэта: «Прочь чернь непросвещенная и презираемая мной!» Одного

этого восклицания было «довольно», чтобы дать Добролюбову основание заявить: «Что же касается до взгляда на народ, его нужды и стремления, то Державин продвинулся немного со времен Ломоносова или даже Симеона Полоцкого» [9]. А. Милюков утверждал, что Державина от Ломоносова отделяет целый век, что Державин ушел значительно вперед. Против этого как раз и возражал Добролюбов. Как всегда его не обольщали сентенции в роде того, «что самый презренный и даже преступный человек есть тем не менее брат наш». Эти сентенции он приписывал влиянию у нас идей Ж. Ж. Руссо и видел, что они не гармонировали с русской действительностью и никто серьезно ими не проникнулся. К Державину Добролюбов отнесся строже чем Белинский, который не раз повторял: «Тут [в русской жизни того времени. — *В. П.*] нечего было и думать о содержании для поэзии—и поэзия Державина осталась без всякого содержания». «Вместе с Державиным Фонвизин есть полное выражение екатерининского времени». Время же это было такое, что «Россия была навеки оторвана от своего прошедшего»... «настоящее ее было неверным и косвенным отражением чужого: откуда же было возникнуть в ней своеобразному созерцанию жизни, сумме тех общих для всех и для каждого понятий, посредством которых в обществе сливаются воедино все частности и личности, которые составляют цвет, характеристи*ку, душу общества и, как в зеркале, отражаются в его поэзии и литерату*ре?... Их не было и не могло быть. И вот отчего поэзия Державина так чужда всякого содержания». «Поэзия всегда верна истории, потому что история есть почва поэзии. Я сказал, что вельможество было единственным образованным сословием того времени и это не могло не отразиться в поэзии Державина, дав ей хоть и бедное и одностороннее содержание» [10]. Белинский ценит Державина как «первую ступень» рождающейся впервые поэзии и объясняет его исторически, Добролюбов строже, беспощаднее, он осуждает поэта, не прибегая к истории и не ища там оправдания.

Можно было бы привести еще достаточное количество высказываний о русской литературе данного времени, чтобы показать, с какой настойчивостью и последовательностью Добролюбов искал в литературе идею народности, отражения народной борьбы, но достаточно и этого. Понятно, что особо важное значение в данном отношении имеет для нас полемика с А. Милюковым. Она показывает, что, несмотря на то, что Добролюбов берет литературу за целый век, он не находит в ней развития идеи народности, не видит изменения отношения к народу, отношения барского, презренного. Ломоносов — сын народа, но и он стал по отношению к народу «дворянином». Иронизируя над Ломоносовым, Добролюбов писал: «Нельзя же было, в самом деле, рассказывая хоть бы например о затруднениях мужика, у которого последняя лошадь пала, возвыситься до того пафоса, до какого доходили наши поэты, описывая ужин и фейерверк, данный знатным боярином. Тут уже не только чувства не те, самый язык не тот будет. Возвышенным, красноречивым, витиеватым слогом можно воспеть только высокие явления жизни — взятие неприятельского города, отбитие у врага нескольких пушек, торжество по случаю победы, иллюминацию, раздачу наград и т. п. Вследствие таких соображений лучшие представители тогдашней литературы старались, так сказать, вести себя сколько можно аристократичнее в отношении к самому этому народу, к подлому народу, как называли тогда публику, не принадлежавшую к высшему кругу» [11].

Это суждение, относящееся к Ломоносову, может быть отнесено и ко всей литературе, о которой идет речь. Среди поэтов того времени нет истинного поэта, нет действительного таланта, следовательно, нет литературы, — сказал бы Белинский. Добролюбов этого не говорит, но его приговор не мягче, в известном отношении даже суровее. Белинский признал хоть Державина и даже нашел у него народность, хотя бы и по невежеству. Добролю-

бов же поставил поэта почти рядом с Ломоносовым и Симеоном Полоцким и народности в нем не нашел. Такая оценка была естественным результатом приложения к литературному явлению идеи об отношении этого писателя к жизни народа. Пренебрежительное отношение к нуждам народа, служение господствующим классам, все это вызвало отрицательное отношение Добролюбова к этой литературе, все это определило и место каждого писателя в истории русской жизни. А это место в свою очередь обусловило жанр творчества, язык и образность писателя.

В своей характеристике сатиры времен Екатерины и, в частности, журналов Новикова, Добролюбов бил все в одну и ту же точку. Он отдавал должное живости, меткости, правдивости изображения, добрым стремлениям по отношению к народу, радовался этому, и одновременно в своей характеристике настойчиво убеждал, во-первых, что «сатира Новиковская нападала не на принцип, не на основу зла, а только на злоупотребления того, что в наших понятиях есть уже само по себе зло», — во-вторых, что все сатирики времен Екатерины отличались осторожностью, а осторожность эта вытекала из убеждения, что «здание само по себе совершенно хорошо, но что его нужно только очистить несколько от накопленного в нем мусора», но не следует разрушать его. В острой напряженности выявления идеи на*родности, временами даже в ущерб разработки вопроса о месте писателя* в истории литературы, сказалось страстное стремление Добролюбова от литературы дворянской, от литературы либеральной перейти к литературе народной, крестьянской, революционной, демократической.

Замечательны и характерны суждения Добролюбова о Карамзине и Жуковском. У Карамзина «точка зрения на все попрежнему отвлеченная и крайне аристократическая». Он «изображает нежные чувства, привязанность к природе, простой быт. Но как все это изображается! Природа берется из Армидиных садов, нежные чувства — из сладостных песен труверов и из повестей Флориана, сельский быт — прямо из счастливой Аркадии». «Главная мысль та, что умеренность есть лучшее богатство и что природа каждому человеку дает даром такие наслаждения, каких ни за какие деньги получить невозможно. Это проповедует человек, живущий в довольстве и который, после вкусного обеда и опрятного обеда с гостями, садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы. Выходит умилительная картина, в которой есть слова: природа, простота, спокойствие, счастие, но в которой на деле нет ни природы, ни простоты, а есть только самодовольное спокойствие человека, недумающего о счастьи других» [12].

В то время как Белинский подчеркнул, что «в повестях Карамзина русская публика в первый раз увидела на русском языке имена любви, дружбы, радости, разлуки и пр. не как пустые, отвлеченные понятия и риторические фигуры, но как слова, находящие себе отзыв в душе читателя», что «в лице Карамзина русская литература в первый раз сошла на землю с ходуль, на которые ее поставил Ломоносов» [13]. Добролюбов, наоборот, как последовательный демократ 60-х годов подчеркнул ее аристократический, антинародный характер, затемняя этими подчеркиваниями историческое значение Карамзина.

Романтическая поэзия Жуковского также полна мечтательности, стремления к неведомому, к успокоению «в заоблачном тумане», к примирению с жизнью, она полна патриотических чувств, обращенных к русским шлемам, панцырям, щитам и стрелам. «Из русской народности Жуковский отобразил в «Светлане» только одно народное суеверие, во всем остальном поэзия поэта отделяется от народного духа «неизмеримой пропастью». Характер его поэзии консервативен». Такие сокрушительные отзывы, направленные против тех критиков, которые писали о Карамзине как о писателе

народном и приблизившемся к действительности, не помешали Добролюбову согласиться с тем, что «Карамзин и Жуковский получили в русском обществе такое значение, какого не имел ни один из предшественников писателей». Оды Ломоносова и Державина обслуживали людей придворного круга, повести Карамзина и баллады Жуковского читались всем дворянством, следовательно, удовлетворяли потребностям более широкого круга. Хотя эти писатели и давали суррогат вместо жизни, все ж они в какой-то степени приближались к действительности. Временами, например, у Жуковского даже вырываются настроения недовольства миром во имя каких-то высших стремлений человеческого духа. Добролюбов отмечает, что ко времени Карамзина и Жуковского в русском обществе появилась потребность в литературе, отображающей действительность. Дать эту действительность «живьем», как выражается Добролюбов, боялись, страшась нарушить эстетические каноны. И вместо действительности дали суррогат, разукрашенную природу, счастливую жизнь аркадских пастушков. И тем не менее, Карамзин и Жуковский далеко ушли от Ломоносова и Державина. Этим определяется их историческое место и большое историческое значение. Поставив в один ряд Карамзина и Жуковского, Ломоносова и Державина и других, поскольку им всем было чуждо сознание общечеловеческих интересов, поскольку они *были чужды идеи народности*, Добролюбов сумел оценить всех этих писателей по отношению к жизни, которой жило дворянство. Эта жизнь имела свою историю, свои светлые и темные стороны. В этом случае писатели получали оценку в зависимости от того, какие стороны дворянской жизни они отражали и как служили историческому прогрессу.

Первым поэтом, вырвавшимся из рутины державинского и карамзиновского творчества, Добролюбов считает Пушкина. Критик писал про величайшего русского поэта: «Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть. Но сила его таланта, уменье чуять, ловить и воссоздавать естественную красоту предметов — победили дикое упорство фантазеров, и в этом-то приближении к реализму в природе состоит величайшая литературная заслуга Пушкина» [14].

Всю литературу до Пушкина Добролюбов считал искусственной, носившей грубо «внешне-утилитарный» характер. Народные начала, оказавшиеся в песнях, преданиях и т. д., утрачены в историческом развитии. Пушкин обращается к этим народным началам, вносит их в свою поэзию.

Усиленно подчеркивая прогрессивный характер произведений поэта, критик указывает, что под давлением самодержавия, после разгрома движения декабристов, лира поэта не раз исторгала неверные ноты, но это произошло не в силу «естественных потребностей души» поэта, а по слабости характера его. То же самое критик повторяет о Лермонтове, хотя это был человек твердый и энергичный. Добролюбов понимал, что этих двух великих поэтов убило в сущности русское самодержавие, калеча их талант, а затем и истребив их физически руками своих холопов.

Лермонтов в глазах критика потому выше Пушкина, что он рано умел понять недостатки современного общества, умел понять, что спасение от всего этого только в народе. Особенно Добролюбов ценил стихотворение «Родина», в котором поэт «становится решительно выше всех предрассудков патриотизма и понимает любовь к отечеству истинно, свято и разумно». И тут же критик отмечает два серьезнейших обстоятельства, стоявших на пути поэта «русский поэт не может полностью высказать всю свою любовь к народу, полностью отобразить свой гуманнейший идеал». «Ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общества с тою широтою взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов» [15].

Как известно, в 60-е годы шли страстные споры о пушкинском и гого-

левском направлениях в литературе. Чернышевский и Добролюбов были за гоголевское направление. Причина следующая. Пушкин принес реалистическое изображение природы и чувств, Гоголь этот реализм перенес «от явлений природы к явлениям нравственной жизни». Он хотя и бессознательно, художественным чутьем, в лучших своих произведениях «очень близко подошел к народной точке зрения». Когда же от Гоголя потребовали с этой народной точки зрения пересмотреть всю русскую действительность, он испугался, оставил ее и занялся проповедью идеального самосовершенствования. Конечно, Добролюбов понимал, что поворот Гоголя куда круче поворота Пушкина. Для Гоголя критик не нашел никаких оправданий, но он стоит за его направление. Добролюбов верен своей идее народности и идее, что история не есть история знаменитых людей, а их место определяется отношением к народным интересам, понимал, что именно Гоголь, и в этом его величайшая заслуга, поднял русскую литературу на следующую высшую ступень развития, перенеся реализм на человеческие отношения, сатирически бичуя язвы общества. Романтическая полоса Карамзина, Жуковского с их сентиментальной идеализацией природы и человеческих отношений была преодолена творчеством Пушкина и Гоголя. Первый внес реализм в изображение природы и чувств, второй человеческих отношений. Все это разрушало ту фальшь и иллюзии, которые сеяли тогда романтики.

С наибольшей полнотой идея народности, по мнению критика, сказалась у Кольцова, но последний не обладал большим талантом и не имел влияния на литературное движение. У него не хватало «всесторонности взгляда; простой класс народа является у него в уединении от общих интересов, только с своими частными житейскими нуждами». Поэт «даже своими стремлениями иногда удаляется от народа». Народным и великим поэтом Добролюбов считал Шевченко. У него «весь круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни». «Он — поэт совершенно народный, такой, какого мы не можем указать у себя» [16].

Добролюбов выносил много суровых приговоров писателям, но не выкидывал их за борт истории. Он понимал, что каждый исторический момент выделяет людей своего времени. «В свое время», — писал критик, — нужными людьми для нашего общества были — не только Пушкин и Лермонтов, но даже и Карамзин и Державин. Теперь, если бы явился опять поэт с тем же содержанием, как Пушкин, мы бы на него и внимания не обратили; Лермонтов и теперь еще мог бы занять многих, но и он все-таки не то, что нам теперь нужно. Нам нужен был бы теперь поэт, который бы с красотою Пушкина и самого Лермонтова умел продолжить и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений Кольцова» [17]. Добролюбов был убежден, что история уже пришла к такому этапу своего развития, когда, наравне с литературой других партий, должна быть литература «партии народа», т. е. литература, отражающая интересы крестьянской демократии, вплоть до крестьянской революции. Грустные и лишенные простора стихи Полонского не удовлетворяют значительную часть современных читателей, потому что, по объяснению критика, «нам теперь нужны энергия и страсть; мы и без того слишком кротки и незлобивы».

Итак, литературу от Карамзина, кончая Гоголем и Кольцовым, критик расценивает в зависимости от того, насколько она носит реалистический характер, и самое главное, насколько этот реализм проникал в изображение человеческих отношений.

Естественно Добролюбов преклонялся перед Белинским. Его влияние он видел «на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного». Его статьи открыли новый мир знаний, размышлений и деятельности, «в Белинском наши лучшие идеалы».

Оценка современной Добролюбову литературы, оценка Тургенева, Гон-

чарова, Островского, Щедрина, Достоевского идет уже с других позиций, которые были закономерным развитием предыдущих оценок, закономерным *развитием демократически-революционной мысли.* Критик уже не довольствуется реалистическим изображением действительности, сочувствием «к классу народа», изобличением тех или иных общественных недостатков и язв, вытекающих из самых основ существующего порядка. То, что несомненно вызвало бы восторг во времена Карамзина, то теперь осуждается и является предметом смертельной борьбы.

Тургенев — реалист, но его реализм дворянский, его «Записки охотника» имеют несомненное общественое значение, в них налицо элементы народности, но если повести Карамзина в историческом движении стояли между творчеством Пушкина и Державина, то народные рассказы Тургенева стоят между творчеством новой социальной силы разночинной демократии и Пушкина. Народные повести Тургенева Добролюбов находит прикрашенными, в них он чувствует барское отношение к мужику, снисходительно покровительственное, он требует отношения к мужику, как к равному, говоря ему открыто и смело о всех его недостатках. Сочувствие народу он требует заменить делом для народа.

Устанавливая общественную родословную Обломова, упрекая тогдашнее образованное русское общество в обломовщине, критик ищет в литературе сначала людей дела вообще, а потом людей дела крестьянской революции. Благородные порывы и благородное пустословие дворян-либералов он гневно отрицал, считая все это предательством народного дела. Он требовал, чтобы литература показала не только «лишних людей», но и поднимающуюся народную массу и ее вождей, чтобы она показала характеры и силы крестьянской революции. Его не увлекала, а, наоборот, сильно раздражала так называемая обличительная литература. Она обличала частные пороки, зло, вытекающее из основ существующего государственного порядка, в самой сущности своей являющееся злом, а между тем оставленным обличительной литературой нетронутым.

Словом, Добролюбов искал и ждал такой литературы, которая полностью выражала бы жизнь народа, его положение, его страдания и нужды, его стремление к борьбе за свои «естественные» права, которая оформляла и воодушевляла бы массу революционно-демократической идеологией и вела бы к крестьянской революции. Он внушал, чтобы литература полностью признала стремление крестьянства к социальному равенству, как оно рисовалось демократии, и начисто отвергала самодержавно-крепостническое государство. В этом отношении он строг, ему чужд всякий компромисс. Тургеневскую школу беллетристов он ценил за то, что основной мотив ее творчества: «среда заедает человека». Мотив этот он считал очень хорошим и сильным. Он досадовал, что мотив этот не разработан с надлежащей полнотой. Тургеневская школа показывала главным образом человека «заеденного средой», но самая среда рисовалась ей бледно и слабо. Добролюбов же, как исследователь гоголевского направления в искусстве, как последователь реалистически-критического направления в литературе, прежде всего хотел, чтобы показана была среда со всеми ее ужасами, дикостью, бесчеловечностью. Он преследовал цель вызвать наивысшую ненависть к русской тогдашней государственности и жажду борьбы с ней. То, что не выполнила тургеневская школа, взяла на себя щедринская школа. Она взялась за изображение среды, но и эта школа по мнению критика, «взяла только официальную сторону дела, да и то (и что главное) — в проявлениях чрезвычайно мелких». И тут же, как всегда, критик добавляет: «нельзя не видеть, что у г. Щедрина «обличение» перетягивает. Ни в одном из «Губернских очерков» его мы не нашли в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в «Запутанном де-

ле, напечатанном 12 лет тому назад». Добролюбов хотел рубить под корни и всегда опасался, как бы литература, обличающая среду по мелочам и частностям, не заслонила основной задачи крестьянской революции и не внушила мысли, что если государственное здание не удобно, то все же оно может быть отремонтировано и может быть вполне удобным. Когда Гончаров бросил мысль, что обломовщина в русской жизни изживается, Добролюбов тотчас разъяснил, что это пагубная, вредная мысль, которая может помешать борьбе с русской обломовщиной. Эта обломовщина может подточить те силы, которые организуются на борьбу за интересы крестьянства.

Высоко Добролюбов ценил литературу и так выбирал ее для своих больших статей, чтобы она давала возможность художественными средствами доказать, что самодержавно-крепостная Россия — «темное царство», омут, темница, смрадная яма, жить в этом «темном царстве» нельзя, оно должно быть разрушено. Разрушить его может только сам народ, в котором имеются нераскрытые, но богатые силы; народ уже приходит в себя, расправляет свои силы, у него появляются первые герои, такие сильные в этих условиях, как Катерина. Он убежден, что скоро явятся русские Инсаровы и поведут народ на вооруженное восстание против русского самодержавия и помещиков. Когда Тургенев, отмечая в «Накануне» новое стремление в русском обществе, разработал и отразил его, как либерал-постепеновец, Добролюбов жестоко напал на писателя за то, что он повторяет истины, ставшие избитыми.

Мобилизуя силы революции, Добролюбов приветствовал писателей, которые, как, например, М. Вовчок, давая народные рассказы, показывали не Калиныча или Касьяна, а людей по мере сил и возможностей уже не мирящихся со своим положением и протестующих. Он приветствовал, когда видел в творчестве протест, когда видел, как писатели, например Гоголь и Достоевский, показывали, что слепой не совсем слепой и что и в самом забитом существе теплится какая-то искра протеста, только надо ее поддержать и раздуть. Во всей этой литературе критик видел организующую силу революции. Всякую иную литературу он не отрицал, но поскольку она отражала литературу господствующих классов, отводил ее на задворки истории. Эта классовая политическая заостренность в оценке основных литературных явлений, наиболее характерных для своего времени, ни в какой мере не затемняла специфики литературного факта. Великий критик Добролюбов, как и великий критик Белинский, умел видеть, как различные общественные условия определяли форму художественного творчества даже в отдельных частных проявлениях. Разница между двумя критиками только в том, что Белинский значительно больше, чем Добролюбов, обращал внимание и писал о форме литературы, всегда обусловливая ее содержаним, — Добролюбов же сильнее подчеркивал, в силу требований времени, политическую сторону литературы. В статьях Добролюбова разбросано немало чисто эстетических замечаний, которые свидетельствуют, что критик умел чувствовать и понимать красоту, но ему не до нее было. Он не раз собирался заняться эстетической критикой, как говорили в то время, но не успел. Политическая обстановка в связи с уничтожением крепостного права требовала в первую очередь разрешения задач социальных, но не эстетических. Белинский, несмотря на все свое преклонение перед эстетикой, в определенный исторический момент сумел выдвинуть на первый план «Антона Горемыку» и «Деревню» Д. Григоровича, произведения в художественном отношении бесспорно довольно слабые. То же самое повторил и Добролюбов, когда, например, он высоко художественным «Запискам охотника» Тургенева противопоставил народные повести Вовчок, Кокорева и других, не идущих в художественном отношении в сравнение с повестями Тургенева.

Классовая политическая заостренность, историческая последователь-

ность, принцип народности — основные черты Добролюбова, как историка русской литературы. Эти принципы он проводил в своих статьях не в форме политических схематических характеристик, а в строго литературном анализе литературных явлений, беря их во всех связях современности, выясняя, насколько писатель шел в ногу со временем, насколько он отвечал чаяниям крестьянской демократии. Он не вдавался в анализ таланта, но он брал преимущественно лучшие произведения лучших писателей — Гончарова, Островского, Достоевского, Щедрина, Тургенева и других.

В наше время, до самых последних дней, еще не изжита совсем тенденция исчерпать историю литературы, расклассифицировав писателей по рубрикам: дворянский, буржуазный, пролетарский, введя подразделения по принципу — крупный, средний и мелкий. В соответствии с этим, исходя из характеристики в данный исторический момент определенного класса, дают соответствующую характеристику писателю. У некоторых профессоров истории литературы все сводится к тому, чтобы, например, показать, что Достоевский и Чехов представители мелкой городской буржуазии. Сказав это, они считают задачу разрешенной. Фактически же они ее не только не разрешили, но надлежаще и не поставили. Вырванные из живой действительности во всех ее связях, вставленные в безжизненные, схоластические литературоведческие схемы, писатели теряют свою индивидуальность и принадлежащее им историческое место. Выяснение классовой сущности и функции литературы необходимо, но одно это еще не является историей литературы. Это сознавал и Белинский и Добролюбов. Если бы Добролюбов стал на путь схоластической схематизации, от чего он неоднократно предостерегал, его история русской литературы могла начаться и кончиться заявлением, что русская литература в своем подавляющем большинстве является дворянской, консервативный или либеральный характер ее это уже другой признак, и только еще появляются слабые ростки литературы демократической. Но ведь Белинский и Добролюбов прекрасно знали роль каждого писателя в определенных политических условиях, знали их место в отношении к идее народности. И мы только можем сожалеть, что ни одному из этих великих критиков не удалось написать истории русской литературы, со своей революционно-демократической точки зрения. Эта история могла многому научить и нас, строителей социализма.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. Г. Белинский, Сочинения, СПБ. 1919, т. II, стр. 135.
[2] Н. А. Добролюбов, Сочинения, М., 1934, т. I, стр. 211.
[3] Там же.
[4] Назв. изд., т. II, стр. 272.
[5] Назв. изд., т. III, стр. 120.
[6] Назв. изд., т. II, стр. 138.
[7] Назв. изд., т. I, стр. 1003.
[8] Назв. изд., т. I, стр. 229.
[9] Назв. изд., т. I, стр. 231.
[10] Назв. изд., т. II, стр. 251 — 259.
[11] Назв. изд., т. I, стр. 230.
[12] Назв. изд., т. I, стр. 232.
[13] Назв. изд., т. II, стр. 261—262.
[14] Назв. изд., т. II, стр. 577.
[15] Назв. изд., т. I, стр. 238.
[16] Назв. изд., т. II, стр. 562.
[17] Назв. изд., т. II, стр. 578.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОТИВНИКИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Статья Г. Берлинера

Как известно, литературная деятельность Добролюбова была очень кратковременна. После первых статей, напечатанных в «Современнике» летом и осенью 1856 г., участие Добролюбова в журнале прервалось и возобновилось только в середине 1857 г., а 17 (29) ноября 1861 г. его уже не было в живых. Таким образом активная и непрерывная работа Добролюбова в «Современнике» продолжалась каких-нибудь четыре года с небольшим.

Кратковременность литературной деятельности Добролюбова предопределила до известной степени и ход литературной борьбы с ним. Если литературная борьба с Чернышевским началась сразу же после того, как Чернышевский перешел из «Отечественных Записок» в «Современник», и наибольшего напряжения достигла в последние годы перед арестом Чернышевского, то ход литературной борьбы с Добролюбовым был несколько иным. Правда, первое выступление Добролюбова в печати тоже вызвало ожесточенные нападки на него и послужило поводом к довольно оживленной полемике. Но настоящая литературная борьба с Добролюбовым началась только после того, как был основан «Свисток» и появились известные статьи об обличительной литературе и о романе Гончарова «Обломов». До этого предпочитали нападать не на Добролюбова, а на Чернышевского. Сам Чернышевский в статье «В изъявление признательности», написанной вскоре после смерти Добролюбова, говорит: «когда Добролюбов только что начал писать в «Современнике», его статьи приписывались мне, — но с прибавками нелестными для моего самолюбия. «Из бывших статей в нынешней книжке самая удачная вот такая-то», — говорил мне какой-нибудь знакомый и называл статью не мою, а Добролюбова» [1]. В дальнейшем Чернышевский говорит, что настоящая известность Добролюбова началась в конце 1858 или в начале 1859 г. Действительно, непрерывная и обостренная полемика с Добролюбовым началась лишь в 1859 г. (если не считать некоторых мелких чисто случайных выпадов). Через два года с лишним в самом разгаре этой борьбы Добролюбов умер. Эта неожиданная смерть нисколько не смутила его противников, и самые ожесточенные выпады против Добролюбова падают на первые годы после его смерти.

История литературной борьбы с Добролюбовым за исключением отдельных эпизодов и моментов до сих пор не привлекла внимания исследователей; между тем, эта история весьма важна и поучительна.

Первая крупная статья Добролюбова, напечатанная в «Современнике», — статья о «Собеседнике любителей российского слова» («Современник», 1856, август и сентябрь) была написана на историко-литературную тему: в ней шла речь о журналах, издававшихся Екатериной II. Несмотря на такую академическую тему статья послужила поводом к весьма ожесточенной полемике с «Отечественными Записками».

Статья Добролюбова была избрана мишенью для нападок, которые дол-

жны были убедить читателя, что в научном отделе «Современника» дают место авторам, не имеющим никакого представления о предмете своих исследований. В октябрьской книжке «Отечественных Записок», в заметке от редакции, посвященной «Современнику», после общих фраз об исследованиях, которые «способны тешить празднословное невежество или невежественное празднословие и напоминают фабрикацию мыльных пузырей», прямо говорилось, что статья Добролюбова напоминает карточный домик, который должен рассыпаться от первого соприкосновения с фактами. Для того, чтобы доказать это, Краевский предоставил в октябрьской книжке «Отечественных Записок» место статье известного в то время историка литературы Галахова «Были и небылицы, сочинение императрицы Екатерины второй». Выбрав из всей статьи Добролюбова мимоходом брошенное утверждение, что сатира журнала Екатерины II «Были и небылицы» имела поверхностный и несерьезный характер, Галахов пытался опровергнуть это утверждение, расточая в то же время казенно-патриотические дифирамбы самой Екатерине. Он приводил множество выписок из различных сочинений Екатерины II и из произведений разных авторов XVIII века; выписки эти в своей совокупности должны были доказать, что объектом сатиры «Былей и небылиц» служили пороки и недостатки русского общества, которые действительно были очень распространены в то время, которое высмеивалось не только Екатериной, но и другими писателями XVIII века, и что, следовательно, сатира Екатерины II не имела того поверхностного характера, на который намекал Добролюбов. В противовес Добролюбову Галахов определял журнал «Были и небылицы», как живую и меткую сатиру и как характеристику темных явлений русского общества екатерининской эпохи.

Однако из попытки «Отечественных Записок» дискредитировать Добролюбова при помощи ученого специалиста ничего не вышло. Галахов мог казаться крупной научной величиной только редакции «Отечественных Записок». В действительности это был только добросовестный компилятор и популяризатор. Добролюбов без всякого труда разоблачил научную и методологическую несостоятельность возражений Галахова, указав в своем ответе, напечатанном в октябрьской книжке «Современника» за 1859 г., что выписки Галахова, сделанные из самых разнообразных источников, но только не из «Былей и небылиц» Екатерины II, в сущности говоря, не имеют никакого отношения к делу и ничего не доказывают [2].

Исторический интерес этого столкновения заключается, конечно, не в спорах о журналах Екатерины II, а в его принципиальной стороне. Излагая свои взгляды на задачи истории литературы и литературной критики, Добролюбовь писал: «Теперь дорожат каждым малейшим фактом биографии и библиографии. Где первоначально были помещены такие-то стихи, какие в них опечатки, как они изменены при последних изданиях, кому принадлежит подпись «А» или «Б» или «В» в таком-то журнале или альманахе, в каком доме бывал известный писатель, с кем он встречался, какой он табак курил, какие носил сапоги, какие книги переводил по заказу книгопродавцев, на котором году написал первое стихотворение — вот важнейшие задачи современной критики, вот любимые предметы ее исследований, споров, соображений... Она занимается фактами, она собирает факты, и что ей за дело до выводов! Выводы делайте сами». Нападая на мелочную фактографию, действительно характерную для некоторых историко-литературных статей, печатавшихся в русских журналах в эпоху цензурного террора, Добролюбов противопоставлял методологически несостоятельным историко-литературным работам публицистическую критику, которая, по его словам, дает верную, полную, всестороннюю оценку писателя или произведения, произносит новое слово в науке или искусстве и распространяет в обществе «светлый взгляд, истинные благородные убеждения». Не имея возможности упомянуть имя Белинского,

Добролюбов иносказательно заявлял о своем глубоком уважении к одному критику, который удовлетворяет всем этим требованиям. «И долго будет в обществе отзываться звучный, ясный голос этого критика», — писал Добролюбов: «долго будет чувствовать народ благотворное влияние его горячей смелой проповеди».

Возражения «Отечественных Записок» на эти замечания Добролюбова сводились к указаниям на невозможность обойтись без библиографии в серьезной научной работе. «Каждому литератору», — писал анонимный оппонент Добролюбова, — «если только он не самозванец, известно, каким образом возникла и сильно развилась у нас библиография. Она явилась вследствие серьезного воззрения на тот предмет, которому обязана служить, — историю литературы»[3].

«Отечественные Записки», конечно, извратили мысль Добролюбова, приписав ему непонимание значения библиографии.

Добролюбов понимал, что в научной работе библиография играет большую роль — иначе он не приложил бы к своей статье обширных библиографических примечаний. Но Добролюбов считал, что не следует подменять библиографическими справками и голой фактографией подлинно научной работы и в особенности возмущался тем, что всякого рода библиографические и биографические статьи вытеснили в журналах настоящую литературную критику.

Таким образом Добролюбов уже в этой ранней статье на чисто академическую тему выступил в роли борца за революционно-демократическое направление в литературной критике. Его выступление в значительной мере было направлено и против либерально-буржуазных «Отечественных Записок». Именно в литературно-критическом отделе «Отечественных Записок», главным образом, и печатались те бесцветные историко-литературные статьи, над которыми посмеивался Добролюбов, и неудивительно поэтому, что редакция «Отечественных Записок» была склонна рассматривать всякий призыв к внесению социально-ценного содержания в литературную критику, как выпад против направления своего журнала. Всего за два года до полемики с Добролюбовым по аналогичным причинам вспыхнула полемика между «Отечественными Записками» и «Современником» из-за статьи Чернышевского «Об искренности в критике». И, конечно, такой опытный буржуазный журналист, как Краевский, который и в данном случае сразу понял, как много обещает в будущем новый сотрудник «Современника», не смог равнодушно отнестись к усилению идеологически враждебного ему журнала.

Весь описанный нами эпизод, оказавшийся только прелюдией к дальнейшим боям с Добролюбовым, приходится, таким образом, рассматривать, как одно из проявлений борьбы буржуазно-либеральных и революционно-демократических тенденций в русской журналистике.

Как мы уже указывали выше, настоящая литературная борьба с Добролюбовым началась в 1859 г.

В январской и апрельской книжках «Современника» за 1859 г. Добролюбов поместил статью «Литературные мелочи прошлого года». Статья была направлена против либералов, упивавшихся внезапно возникшей в России «гласностью». Добролюбов доказывал, что политическое значение этой «гласности» ничтожно, а практические ее результаты весьма невелики. Для того, чтоб доказать это, Добролюбов подробно излагал мнения, высказывавшиеся в русской консервативной и либеральной печати по важнейшим вопросам внутренней политики. Выводы получались самые печальные: оказывалось, например, что многие из статей по крестьянскому вопросу, напечатанные в русских журналах и газетах в момент наибольшего увлечения «гласностью» — в том числе и статьи, печатавшиеся в органах, претендовавших на либерализм, вроде «Отечественных Записок»,—представляли собой беззастенчивое отстаивание классовых интересов владеющего крепостными крестьянами дво-

рянства. В других же областях печать «пробудившегося» общества, по словам Добролюбова, просто плелась в хвосте за властью, подымая вопросы о пользе различных преобразований лишь тогда, когда они уже были возбуждены правительством.

Наконец, возможность высказываться с большей, чем прежде, свободой об отрицательных сторонах русской жизни, по мнению Добролюбова, была использована русской печатью самым смехотворным образом. Так называемая «обличительная литература», по его словам, целиком погрузилась в изобличение уездных властей и чиновников низших судебных инстанций. Все эти обличенья имели чрезвычайно мелочный и трусливый характер: нигде не указывалась тесная связь, существовавшая между представителями отдельных инстанций, не было вовсе попыток критиковать всю политическую систему в целом.

Основная мысль статьи Добролюбова заключалась в том, что русскому обществу нужна подлинно революционная публицистика и литература, и что такой публицистики и литературы еще нет. Статья «Литературные мелочи прошлого года» — одна из самых ранних статей Добролюбова, в которых он выступает в качестве идеолога крестьянской революции.

В той же апрельской книжке «Современника» одновременно со статьей «Литературные мелочи прошлого года» был помещен и очередной номер «Свистка», почти целиком написанный Добролюбовым; значительная часть этого номера также была направлена против либералов, превозносивших русскую «гласность». Ряд остроумных пародий, насмешливых фельетонов и юмористических стихотворений бил не в бровь, а прямо в глаз тогдашней либеральной публицистике.

Наконец в майской книжке «Современника» за тот же год Добролюбов поместил свою статью «Что такое обломовщина?». Роман Гончарова «Обломов» был использован Добролюбовым для новой атаки на русский дворянский либерализм, художественным воплощением которого Добролюбов считал наряду с Обломовым также и прежних литературных героев, — Рудина, Бельтова, Печорина и Онегина; образ Обломова, по мнению Добролюбова, являлся наиболее типическим образом, обобщавшим характерные черты той части дворянской интеллигенции, у которой благие порывы никогда не переходят в дело.

«Остановите этих людей в их шумном разглагольствовании, — говорил Добролюбов о таких представителях дворянской интеллигенции,—и скажите: вы говорите, что нехорошо то и то; что же нужно делать? Они не знают. Предложите им самое простое средство, — они скажут: «Да как же это так вдруг?».

«Простое средство», на которое намекал здесь Добролюбов, — это, конечно, революция. Статья таким образом доказывала непригодность для «дела», т. е. для революции даже лучших представителей господствовавшего в то время класса.

Все это вместе взятое не могло не вызвать очень острой полемики. В России выпады против Добролюбова пошли главным образом в плоскости борьбы со «Свистком». Из-за границы же Добролюбов и в его лице «Современник» неожиданно получили сильный удар со стороны Герцена. История этого инцидента столько раз и так подробно освещалась в нашей научно-исследовательской литературе, что в настоящий момент трудно уже сказать по этому вопросу что-нибудь новое[4].

Как известно, в 144-м листе «Колокола» от 1 июня 1859 г. Герцен напечатал очень резкую статью, которую он озаглавил «Very dangerous» («Очень опасно») и в которой не только резко критиковалась позиция, занятая Добролюбовым по отношению к современной ему русской литературе и публицистике, но даже делался намек на недобросовестность образа действий До-

бролюбова. «В последнее время в нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то развратом мысли; мы их вовсе не принимаем за выражение общественного мнения, а за наитие наставительного и назидательного цензурного триумвирата», — такими словами начиналась статья Герцена. Смысл этих слов был крайне оскорбителен. Не довольствуясь этим оскорбительным намеком, Герцен заканчивал свою статью следующими словами: «Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что на этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но и (чего боже сохрани!) до Станислава на шею».

Чтобы уяснить вполне политическое значение этого эпизода, напомним некоторые обстоятельства, характеризующие политическую позицию Герцена в это время. В. И. Ленин в своей заметке «Памяти Герцена» указывал, что после 1848 г. Герцен переживал состояние скептицизма и пессимизма, переживал настоящий духовный крах, который был крахом буржуазных иллюзий в социализме. «Герцен создал вольную русскую прессу за границей, в этом его великая заслуга, — говорит Ленин. — Но Герцен принадлежал к помещичьей барской среде. Он покинул Россию в 1847 г., он не видел революционного народа и не мог верить в него. Отсюда его либеральная апелляция к «верхам». Отсюда его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которые теперь нельзя читать без отвращения. Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму» [5].

Сказанного достаточно, чтобы объяснить выпад Герцена против Добролюбова. Добролюбов должен был показаться Герцену «свирепо-красным демократом», «холодным доктринером», который в своем узком доктринерстве впадает в грубые тактические ошибки, и которого необходимо одернуть и поставить на свое место.

Но всех исследователей, писавших об этом выпаде Герцена, приводила в недоумение та форма, в которую он вылился. Как известно, обвинение в подверженности влиянию комитета по делам печати, брошенное Герценом в начале статьи, настолько встревожило Некрасова, что он счел долгом специально командировать Чернышевского в Лондон для объяснений с Герценом.

После того, как Чернышевский приехал в Лондон и объяснился с Герценом, Герцен напечатал разъяснение, в котором заявил, что его слова о подверженности русских журналов «наитию» цензурного комитета были только ироническим предупреждением, а отнюдь не констатированием уже существующего факта.

Но как объяснить ту характеристику Добролюбова, как критика, которую дал в своей статье Герцен? Как известно, Герцен обвинял Добролюбова в том, что он отрицательно относится к обличительной литературе из эстетических соображений и придерживается принципа «искусство для искусства». «Чистым литераторам, людям звуков и форм», — писал Герцен, — надоело гражданское направление нашей литературы, их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало «Обломовых» и антологических стихотворений» [6]. Герцен защищал даже от предполагаемого презрения Добролюбова очерки Салтыкова-Щедрина и писал: «Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь гулом бросить с «Обломовым» на шее в воду? Слишком роскошничаете, господа!» [7].

Откуда могли взяться такие странные обвинения? Ведь Добролюбов был ярым противником так называемой «эстетической критики» и уже по одному этому как будто не мог быть приверженцем теории искусства для искусства. Статья «Что такое обломовщина?», с которой полемизировал Герцен, была

написана публицистическим методом и начиналась с резкого выпада против так называемой «эстетической критики».

Как же в таком случае можно объяснить обвинение Добролюбова в эстетизме? Полагаем, что для ответа на этот вопрос, надо принять во внимание следующие обстоятельства. В «Современнике» в критико-библиографическом отделе в эпоху цензурного террора до середины 50-х годов господствовало течение аполитического эстетизма, представителями которого были Анненков, Боткин и Дружинин. А Добролюбов ведь печатался все-таки в «Современнике». К этому нужно добавить, что в начале своей литературной деятельности Добролюбов очень много писал о своем отрицательном отношении к так называемой тенденциозной литературе и неоднократно высказывал свое сочувствие литературным произведениям, обладавшим большими художественными достоинствами, прямо противопоставляя их так называемой «обличительной» литературе. Такой характер имел, например, его отзыв о драме Островского «Воспитанница» за 1859 г. (т. е. за несколько месяцев до статьи «Very dangerous»).

В начале этого отзыва Добролюбов жаловался на бедность талантливых произведений в русской беллетристике и при этом говорил: «В массе читающей публики интерес к легкой литературе поддерживался еще рассказами и очерками, посвященными разным о б щ е с т в е н н ы м вопросам. Но строгие ценители, для которых общественные вопросы не были новостью, постоянно отделяли в этих произведениях живую общественно-полезную остроту от того, ч т о, с о б с т в е н н о, н а з ы в а е т с я х у д о ж е с т в е н н ы м т а л а н т о м»[8]. И вслед за этим Добролюбов с удовлетворением отмечал, что текущий год (1859) начался для русской литературы блестящим образом, так как появились в печати произведения, способные удовлетворить «художественное чувство эстетически развитых читателей» — «Дворянское гнездо» Тургенева, «Обломов» Гончарова и «Гроза» Островского.

В дальнейшем уже в статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов, очень сочувственно отзываясь о художественом таланте Гончарова, особенно выдвигал то обстоятельство, что Гончарову чужда всякая тенденциозность и всякая задняя мысль; характеризуя творческий процесс писателей, подобных Гончарову, Добролюбов выставлял на первый план его спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым явлениям, его внимание к мелким подробностям, его объективность и свободу от всяких «теоретических предубеждений», его большую восприимчивость к явлениям действительности, т. е. как раз те качества и свойства, которые обыкновенно выдвигала на первый план «эстетическая критика».

Самая возможность такого недоразумения, однако, весьма показательна. Упрек в эстетизме, брошенный Герценом Добролюбову, не мог бы иметь места, если бы Добролюбов, которого, как мы увидим ниже, очень много упрекали в тенденциозности и игнорировании художественности, действительно был тенденциозным критиком, игнорирующим художественную сторону литературных произведений.

Следует заметить еще, что по цензурным обстоятельствам Добролюбов не мог разъяснить в печати, в чем заключалась ошибка Герцена, и даже не мог упомянуть имени Герцена. Но уже М. К. Лемке в примечаниях к полному собранию сочинений Добролюбова, вышедшему в 1911 г. под его редакцией, указал, что рецензия Добролюбова на сборник «Весна», напечатанная в июньской книжке «Современника» за 1859 г., является замаскированным ответом Герцену[9]. «Нас многие обвиняют,—говорит в этой рецензии Добролюбов,— что мы смеемся над обличительной литературой и над самой гласностью, но мы никому не уступим в горячей любви к обличению и гласности, и едва ли найдется кто-нибудь, кто желал бы придать им более широкие размеры, чем мы желаем. Оттого ведь и смех наш происходит: мы хотим более цельного

и основательного образа действий, а нас потчуют какими-то ребяческими выходками да еще хотят, чтобы мы были довольны и восхищались».

Заявление Добролюбова, конечно, вполне соответствовало действительности: основанный по его инициативе в качестве отдела «Современника» «Свисток» в значительной степени и должен был удовлетворять этому назначению — придать обличению и гласности широкие размеры.

Как известно, вопреки опасениям Некрасова, выпад Герцена против Добролюбова ни в какой мере не отразился на престиже «Современника». Из мемуаров об этой эпохе видно, что на рубеже 60-х годов Чернышевский и Добролюбов приобрели совершенно исключительную популярность в среде радикально настроенных читателей и, в частности, в среде университетской молодежи [10]. Если в 1859 г. тираж «Современника» был равен приблизительно 5 500 экземплярам, то в 1860 г. он возрос до 6 000 экземпляров, т. е. увеличился сразу на 20% [11].

Однако статья Герцена, несомненно, отразилась на последующей полемике с Добролюбовым. Определение «Свистка», впервые употребленное Герценом — «особые балаганчики для освистывания первых опытов свободной литературы» — было, как увидим из дальнейшего изложения, подхвачено в России и постепенно вошло в обиход.

Впрочем у Герцена были и предшественники в этом отношении. Еще в начале апреля некий Н. Ч. поместил в «Московских Ведомостях» письмо в редакцию, в котором выражал свое возмущение по поводу телесных наказаний над крестьянами и при этом писал: «а у нас есть еще господа (см. в IV кн. «Современника» статью «Русская литература» и балаганный отдел»... под названием «Свистка»), без застенчивости печатающие, что наша литература, занимаясь вопросами о распространении грамотности, о телесных наказаниях и т. п., давая даже гласность некоторым общественным явлениям без прямого указания на лица, собственно повторяет только то, что и без нее известно! Впрочем, лучшая часть нашего общества умеет ценить этих господ по достоинству, и попытки литературного мальчишества и паясничества убить в литературе всякую живую связь с той средой, которой она служит органом, никогда не могут иметь успеха» [12].

Добролюбов ответил на этот выпад в третьем номере «Свистка» заметкой «Раскаяние Конрада Лилиеншвагера», заканчивавшейся стихотворением «Мое обращение», в котором были такие строфы:

...Но от стихов моих шутовских
Я отвратил со страхом взор,
Когда в «Ведомостях Московских»
Прочел презрительный укор.
Я лил потоки слез нежданных
О том, что презрен я в Москве...

Этот шуточный ответ не выражал, конечно, подлинного отношения Добролюбова к подобным обвинениям,— подлинный ответ на них, как сказано выше, был дан в рецензии на сборник «Весна».

Перейдем теперь к истории дальнейшей полемики с Добролюбовым. Если уже выпад Герцена был в значительной степени вызван содержанием одного из номеров «Свистка», то последовавшая за ним полемика по преимуществу сосредоточилась вокруг этого отдела «Современника».

Однако выпады против «Свистка» были столько же многочисленны, сколько однообразны. Почти все противники «Свистка» говорили одно и то же, и разница заключалась только в большей или меньшей степени озлобленности. В этой крайней озлобленности нет ничего удивительного. Добролюбов считал, что всякая сатира и всякое обличение должны быть направлены против вполне определенных лиц, и ожесточенно боролся со всякого

рода анонимными обличениями. Этот принцип Добролюбов со всею решительностью и последовательностью начал проводить с первого же номера «Свистка», в котором он по разнообразным поводам задел целый ряд лиц, полностью называя их имена и фамилии. В прошении в цензурный комитет, составлявшемся в тот момент, когда еще предполагали придать «Свистку» характер самостоятельного органа, Добролюбов, между прочим, указывал, что в «Свистке» будут высмеиваться всякого рода забавные промахи и все современные происшествия, «замечательные в юмористическом смысле».

Как мы уже говорили выше, Добролюбов ставил себе задачей осмеяние буржуазного либерализма в печати. Весь второй номер «Свистка» был написан в этом направлении, при чем в одном только стихотворении «Наш демон» Добролюбов задел несколько человек: сотрудника «Отечественных Записок», умеренно-либерального публициста С. Громеку, начальника петербургских женских учебных заведений Вышнеградского, посредственного драматурга Львова, известного откупщика-капиталиста Кокорева, экономиста Вернадского, печатавшего статьи, в которых доказывалась необходимость уничтожения русской общины, автора патриотических виршей третьестепенного поэта Розенгейма, графиню Ростопчину и др.

В последующих номерах «Свистка» (четвертом, пятом и шестом) Добролюбов опять по самым разнообразным поводам задел много разных лиц— Н. И. Пирогова, который был в это время попечителем киевского округа и не сумел уничтожить телесные наказания в гимназиях (стихотворение «Грустная дума гимназиста лютеранского исповедания не киевского округа»), того же Кокорева, известного историка и журналиста реакционно-славянофильского направления М. П. Погодина, поэта Случевского (скрывшись под псевдонимом «Аполлон Капелькин», Добролюбов зло пародировал его стихотворения в «Свистке» № 5 и 6). В «Свистке» № 4 была помещена стихотворная «Дружеская переписка Москвы с Петербургом» с ядовитыми библиографическими примечаниями; в самой «Переписке» и в примечаниях были затронуты тот же Кокорев, экономист Бабст, директор коммерческого училища в Москве Киттары, известный славянофил А. С. Хомяков, Шевырев, Погодин, публицист «Отечественных Записок» Громека и поэт Щербина (перечисляя список женщин-писательниц, Добролюбов нарочно включил в него мужчин Громеку и Щербину), ученые профессора Чичерин и Забелин и многие другие.

Не следует, однако, думать, что Добролюбов ставил себе целью задеть и высмеять как можно больше лиц: его сатира, по существу, имела резко классовый характер.

Историческое значение «Свистка» заключается вовсе не в том, что Добролюбов удачно острил над неловкими промахами разных публицистов и профессоров: важен тот факт, что в том же «Свистке» Добролюбов умел, когда это было нужно, не только высмеивать, но также беспощадно разоблачать разные отвратительные явления современной ему действительности. В этом отношении наибольший интерес представляют выпады Добролюбова против известного капиталиста-откупщика В. А. Кокорева. Биржевые махинации Кокорева были разоблачены Добролюбовым в заметке «Материалы для нового сборника «образцовых сочинений (по поводу статей о «Сельском хозяине»), вошедшей в состав третьего номера «Свистка». А гнусные приемы эксплоатации рабочих, применявшиеся Кокоревым, были подробно и на основании документальных данных охарактеризованы Добролюбовым в заметке «Опыт отучения людей от пищи (отчего иногда люди мрут как мухи)», вошедшей в состав пятого номера «Свистка» [13].

Как же реагировала на эти разоблачения и выпады Добролюбова современная ему «либеральная» журналистика? Журналистика эта не замедлила обнаружить свое классовое лицо.

В сентябрьской книжке «Отечественных Записок» за 1860 г. в отделе критики появилась заметка о «Свистке», имевшая характер доноса и прямо призывавшая к палочной или какой-нибудь иной расправе над Добролюбовым. Автор заметки выражал недвусмысленное сожаление по поводу того, что русское общество не выработало решительных мер борьбы с такими явлениями, как «Свисток». «Что если б подобный свист раздался,—не говорим в Германии и Англии,— но даже в теперешней Франции,— писал он,— как бы взглянуло на свистунов долго живущее литературой общество? Там бы оно ответило личной расправой, которая весьма действительна для лиц, скрывающихся под псевдонимами, а потом и общим презрением покрыло бы людей, которые глумятся без цели, смеются над тем, что их же вскормило».

Заканчивалась эта явно провокационная и погромная заметка утверждением, что и в России общество, в лице лучших своих представителей и журналов, должно защищать себя от оскорблений [14].

Но этим дело не ограничилось. С начала 1861 г. Катков организовал в «Русском Вестнике» настоящую травлю «Современника», уделив при этом большое внимание «Свистку». В январской книжке «Русского Вестника» за 1861 г. была помещена заметка «Несколько слов вместо современной летописи», в которой сообщалось, что с начала 1861 г. в «Русском Вестнике» вводится критический отдел и будет отводиться больше места обзору современной журналистики. В связи с этим давалась отрицательная характеристика современной журналистике, при чем автор заметки (по всей вероятности сам Катков) делал довольно прозрачные намеки на «Современник» и особенно на «Свисток». «Ни одна литература в мире,—заявлял он,—не представляет такого изобилия литературных скандалов, как наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь литература, литература без науки, едва только выработавшая себе язык. Очевидно, что такого рода занятие литературой...— признак бессилия и выражение ничтожества... Выгодно ли будет для России, чтобы русская народность и русское слово оставалось позади всякой другой народности и всякого другого слова в Европе? Хорошо ли будет для России, чтобы мы оставались вечными мальчишками-свистунами, способными только на мелкие дела, на маленькие сплетни и скандалы... Когда же это русский язык, слагавшийся так долго и так трудно, как бы предназначавшийся к чему-то великому и всемирному, когда же окажется он в своей литературе достойным этого предназначения?.. Когда же перестанет этот язык чувствовать себя в положении малого школьника, занимающегося науками по указке и неспособного ни к чему, кроме свиста и визга?» [15].

В заключение автор заметки не постеснялся заявить, что не откажется и впредь, как он выражался, от «полицейских обязанностей в литературе» и будет помогать добрым людям «в изловлении беспутных бродяг и воришек». Это обещание было исполнено. В мартовской книжке «Русского Вестника» была помещена заметка «Наш язык и что такое свистуны», в которой «Свисток» снова обвинялся в том, что он нападает на лица, которые не заслуживают «глупых поруганий», и высказывалось сожаление, что «низменные инстинкты эти не возбуждают никакой реакции» в литературе. Вслед за этим и в связи с развернувшейся кампанией против Чернышевского выпады против «Свистка» и «свистунов» печатались почти в каждом номере «Русского Вестника».

Само собой разумеется, что «Отечественные Записки», призывавшие общество чуть ли не к кулачной расправе с Добролюбовым, встретили эту кампанию с восторгом. В майской книжке «Отечественных Записок» в отделе современной хроники, Громека, над которым Добролюбов, как мы видели, иногда посмеивался в «Свистке», объявил о полной своей солидарности с «Русским Вестником» и со своей стороны добавил, что «свистуны» виновны

не только в тех прегрешениях, в которых обвиняет их «Русский Вестник», но в гораздо больших. «...Пусть бы и свистуны оскорбляли лица, сколько их душе угодно,— писал Громека,— мы за этим не стоим: на Руси это не в диковинку, иногда выходит даже очень смешно; но когда они бросают грязью в лучшие человеческие верования, когда они осмеивают всякое благородное увлечение, когда они прямо объявляют, что весь мир наполнен одними глупцами и негодяями и когда наконец знаешь, что все это делается из одного только фокусничанья и привлечения почтеннейшей публики, тогда мы понимаем, как далеко может простираться негодование и презрение к подобному художеству...» [16]

Довольно любопытную позицию в этой травле занял журнал Достоевского «Время». Сам Достоевский после появления в «Русском Вестнике» статьи Каткова «Несколько слов вместо современой летописи» сначала выступил против травли «Свистка»; в большой иронической статье «Свисток» и «Русский Вестник», помещенной в мартовской книжке «Времени», он защищал «Свисток» от обвинений «Русского Вестника», оговорившись, правда, что не разделяет убеждений «свистунов». Полемика Достоевского с Катковым по вопросу об отношении к «Свистуну» продолжалась и в майской книжке «Времени», где Достоевский в заметке «Ответ «Русскому Вестнику» очень удачно защищал «Свисток» от приведенных выше обвинений. «Свисток» по-нашему даже отчасти нормальное явление в литературе,— писал Достоевский,— он не хочет утешиться побасенками и разными приятными грезами. От деятелей он требует деятельности, а не тупого самодовольства. Он хочет называть каждую вещь своим именем, а не принимать журавля за соловья... Видя, что невозможно называть каждую вещь по имени, он предпочитает иногда посвистать, т. е. похохотать над самодовольными болтунами, над скоро удовлетворяющимися деятелями, над пошлым буквоедством, над литературным чинобесием и пр. и пр.» [17].

Однако «Время» очень недолго удержалось на этих позициях. Если сам Достоевский в начале 60-х годов еще обнаруживал некоторую двойственность убеждений, некоторые тактические колебания, то его соратники по журналу были гораздо прямолинейнее и, в частности, имели вполне определенную точку зрения на «Свисток» и «Современник». В августовской книжке «Времени» уже можно было прочитать статью Страхова «Нечто с полемике», в которой «свистуны» могли найти следующее рассуждение: «Кто мыслит и рассуждает, тот ничем не злоупотребляет; кто свистит, тот может злоупотреблять своим авторитетом, потому что действует бездоказательно, ибо свист есть бездоказательный приговор, бездоказательное осуждение» [18].

В сущности все эти выпады были очень однообразны: их исторический интерес — только в том, что они иллюстрируют степень озлобления, до которой доходили противники Добролюбова.

Иной характер имела посмертная оценка «Свистка». Реакционный публицист 60-х годов Н. Соловьев поместил в 1865 г. в июльской и августовской книжках «Отечественных Записок» три статьи, в которых пытался охарактеризовать всю литературную деятельность Добролюбова; между прочим, он посвятил несколько страниц доказательству того положения, что литературная деятельность Добролюбова в «Свистке» имела будто бы самое неблаготворное влияние на русскую литературу и на журналистику и чуть ли даже не на нравы русского общества.

При этом Соловьев находил даже, что деятельность Добролюбова в «Свистке» убила русскую поэзию [19].

К этим обвинениям для полноты картины можно еще прибавить известный выпад Тургенева, содержащийся в его «Воспоминаниях о Белинском», опубликованных в апрельской книжке «Вестника Европы» 1869 г. Выпад

Тургенева заслуживает внимания между прочим потому, что Тургенев противопоставляет Добролюбову Белинского. «Еще одно замечательное качество Белинского как критика, — говорит он, — состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, in earnest: он не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с самим собою, а позднейшее столь распространенное глумление он бы отвергнул, как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком случае он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность своих собственных убеждений. Человек свистит, хохочет. Поди, угадай, разумей его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть может и над собственным смехом — зубы скалит» [20].

Почти все противники Добролюбова обвиняли его прежде всего в несерьезном отношении к серьезным фактам, в пустом хихиканьи; но уже Достоевский в своем ответе «Русскому Вестнику», как мы видели, правильно заметил, что шуточный тон давал Добролюбову возможность говорить о таких фактах, о которых невозможно было бы говорить серьезно по цензурным условиям (и, конечно, враги Добролюбова прекрасно знали это). Притом, изобличая действительно возмутительные явления, Добролюбов и в «Свистке» умел быть серьезным: примером может служить упоминавшийся нами его фельетон о Кокореве. Добролюбова обвиняли в том, что его пример вызвал множество подражаний и много способствовал расцвету русской сатирической журналистики; но это является скорее заслугой Добролюбова, — все зависит от точки зрения. Добролюбову противопоставляли Белинского, который якобы никогда не шутил, всегда был серьезен; но как будто Белинский не писал стоящих на грани памфлета и часто проникнутых веселой иронией заметок о Булгарине, о реакционном публицисте Леопольде Брандте, о Шевыреве и т. д.

О таких обвинениях, как обвинение в шаткости собственных убеждений, в том, что Добролюбов якобы сам не знал, чего хотел, теперь после всего, что мы знаем о нем, странно даже говорить: Добролюбов хотел крестьянской революции и вся его литературная деятельность направлялась этим основным стимулом.

А между тем приведенные выше рассуждения об отрицательных сторонах «Свистка» были усвоены и позднешей русской критикой идеалистического толка и прежней академической наукой. Стоит прочитать главы, посвященные Добролюбову в книге А. Волынского (Флексера) «Русские критики» (1896) или в «Истории русской критики» И. Иванова, и мы найдем там верное и точное воспроизведение той оценки «Свистка», которую дали в свое время Страхов, Соловьев и Тургенев. Даже аргументация осталась та же самая, ничего по существу не прибавлено.

Остановимся теперь на выпадах против Добролюбова, вызванных его статьями на общественные и политические темы. Из чисто публицистических статей Добролюбова наиболее страстному обсуждению в свое время подверглись его статьи против известного деятеля 60-х годов Н. И. Пирогова. Эпизод столкновения Добролюбова с Пироговым в общих чертах рисуется в следующем виде: известный хирург, педагог и общественный деятель Н. И. Пирогов в конце 60-х годов был назначен попечителем сначала Одесского, а потом Киевского учебного округа. Столкнувшись на практике с вопросом о допустимости телесного наказания в учебных заведениях, Пирогов не сумел побороть сопротивление наиболее отсталой, реакционной части

учительства и проявил совершенно недопустимый оппортунизм: в 1859 г. за его подписью были опубликованы «Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа», в которых после пространных рассуждений о нежелательности телесных наказаний в школе утверждалось, что в некоторых случаях розга все же необходима, и точно указывалось, за какие проступки сколько именно следует давать розог.

К моменту своего назначения на должность попечителя Пирогов пользовался огромной популярностью не только как выдающийся ученый, имеющий европейскую известность, но и как общественный деятель; при таких условиях его оппортунистический образ действий мог иметь особенно печальные последствия. Именно поэтому Добролюбов предпослал своей статье «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» эпиграф «И ты, Брут!..»

Смысл этой статьи заключался в том, что не следует доверять никаким авторитетам, потому что в условиях русской действительности даже такие люди, как Пирогов, могут позорно отступать перед представителями самой черной крепостнической реакции.

Казалось бы, за исключением явно реакционных органов, никакие журналы и газеты не должны были выступить против статьи, в которой доказывалось, что в таких вопросах, как вопрос о телесных наказаниях, всякие колебания и уступки позорны и преступны. И, действительно, сначала статья Добролюбова вызвала растерянность в лагере его противников и почти в течение года оставалась без ответа. Но весной 1861 г. Пирогов ушел в отставку, и это событие послужило поводом к тому, чтобы вспомнить о статье Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрешаемые розгами». В № 54 газеты «Русская Речь» появилось письмо в редакцию Драгоманова, в то время студента Киевского университета, а впоследствии известного украинского буржуазного демократа, публициста и эмигранта, обвинявшего Добролюбова в грубом и несправедливом оскорблении выдающегося общественного деятеля. Драгоманов не только не находил ничего предосудительного в оппортунистическом отношении Пирогова к вопросу о телесных наказаниях, но даже ставил ему его оппортунизм в заслугу. По мнению Драгоманова, Пирогов проявил большой такт, отказавшись от возможности единолично решить вопрос о допустимости телесных наказаний и подчинившись мнению реакционных педагогов. «Это подчинение коллегии,— писал Драгоманов,— не отрицательно, только хороший факт, не порок только[21], но добродетель. Пирогов не только подчинился решению коллегии, которую созвал — он не хотел иначе действовать как посредством коллегии. На коллегиальном принципе была основана вся его деятельность — в этом его главная заслуга»[22].

Таким образом неумение Пирогова сломить сопротивление реакционеров истолковывалось Драгомановым как истинный демократизм.

«Отечественные Записки» также именно в это время сочли нужным выступить в защиту Пирогова. В апрельской книжке этого журнала в «Заметках праздношатающегося» мимоходом напоминалось читателю, что Пирогов год тому назад был предметом оскорбительной статьи Добролюбова[23].

Затем в майской книжке «Отечественных Записок» в отделе «Современной хроники» Громека после упоминавшегося уже выпада против «Свистка» делал, между прочим, такое замечание: «И есть люди, которые простодушно верят, что в этом фиглярстве скрывается глубокая, недосказанная мудрость!.. Куда же ведет эта мудрость, чего хочет, каких героев приготовляет для будущего? Можно поручиться, что из ее школы не выйдет ни одного Пирогова, можно быть уверену, что она никого не подвинет ни на какое общественное дело»[24].

Наконец в июньской книжке «Отечественных Записок» было напечатано письмо, подписанное псевдонимом «Е. Суд.» (Е. Судовщиков), в кото-

ром также бросалось Добролюбову обвинение в том, что он во имя либерализма и гуманности разрушил авторитет Пирогова.

«Бойкая статейка Г-бова производила свое желанное влияние даже на киевлян, — говорил автор этого письма, — на тех людей, которые могли бы, кажется, получше присмотреться к характеру общественной деятельности своего попечителя... Статейка, по виду весьма гуманная и либеральная, соблазнительно подействовала на неопытную публику, подрывая во многих уважение к тому, кого она привыкла уважать»[25].

Автор письма оправдывал Пирогова точно таким же образом, как и Драгоманов. «Пирогов уступил большинству, — писал он; — за такие уступки его еще больше стали уважать люди, разумно следившие за ходом его общественной деятельности. Мы видели в Пирогове начальника, который уважает общее мнение, никому не навязывает своего». По мнению автора письма, если бы Пирогов поступил так, как этого требовал Добролюбов, т. е. своей властью изгнал бы розги, не считаясь с мнением педагогов, он оказался бы «щедринским озорником... благодаря неусыпному попечительству которого мужик понимает, что сам он ничего, и сход его ничего — и только просвещенный взгляд администратора может осветить этот хаос»[26].

На выпад Громеки, как в отношении «Свистка», так и в отношении статьи о Пирогове, ответил Чернышевский во второй статье своих «Полемических красот», помещенной в июльской книжке «Современника» за 1861 г. На утверждение Громеки, что из школы Добролюбова не выйдет ни одного Пирогова, Чернышевский отозвался так: «нет, не выйдет, потому что г. Пирогов старался связать вещи несовместимые, — розги с гуманностью; по-нашему что-нибудь одно: или секи или не секи, —

А смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников, мы не из их числа.

Г. Пирогов не виноват в том, что был непоследователен, он в такое время воспитался. Но стыдно было бы нам, если бы мы ставили свой идеал на том же уровне, на каком стоял он во времена воспитания г. Пирогова»[27].

Сам Добролюбов по достоинству ответил своим противникам статьей «От дождя да в воду», напечатанной в августовской книжке «Отечественных Записок» за 1861 г. Добролюбов, конечно, без труда разбил нелепое утверждение Драгоманова и Е. Судовщикова, что нельзя «насильно» приказывать учителям быть либералами. «Мы с вами, простосердечный читатель, думали до сих пор, что есть разница между положительными и отрицательными фактами, — писал Добролюбов, — оказывается, что никакой. Вы не допускаете вора стянуть ваш кошелек, — вы, значит, насильно заставляете его быть честным человеком, вам запрещают драться — хотят из вас насильно сделать либерала...»[28].

Что касается до упрека в оскорблении уважаемого общественного деятеля, то Добролюбов на него ответил указанием, что в его статье даже среди самых горячих тирад беспрестанно проглядывал мотив этой горячности, состоящий в том, что автор чрезвычайно высоко ценит Пирогова, и что именно такого-то человека и тяжело ему видеть слабеющим и падающим под гнетом среды, в которую поставлен[29].

Как известно, Чернышевский с начала 1858 г. предоставил Добролюбову отделы литературной критики и библиографии, а сам стал писать на общественно-экономические и чисто политические темы. Однако и Добролюбов поместил в «Современнике» несколько статей политического харак-

тера, из которых последние три — «Непостижимая странность», «Из Турина» и «Жизнь и смерть графа Камилла Бензо Кавура» — были посвящены политическим событиям, происходившим в это время в Италии.

Добролюбов проявил особый интерес к этим событиям по вполне понятным причинам: как раз в конце 50-х и в начале 60-х годов в Италии в результате продолжительного революционного движения быстро продвигался вперед процесс объединения самостоятельных итальянских государств. После побед, одержанных Гарибальди в 1860 г. над неаполитанским королем Франциском II, королевство которого с давних пор было оплотом феодальной реакции, в Неаполе был произведен плебисцит, в результате которого оказалось, что значительная часть населения неаполитанского королевства желает присоединиться к Пьемонту (Сардинскому королевству); в феврале 1861 г. в Турине собрался парламент, назначение которого заключалось в том, чтобы провозгласить сардинского короля Виктора-Эммануила королем объединенной Италии.

Добролюбов, уехавший за границу для поправления здоровья еще в мае 1860 г., и успевший уже побывать в Германии, Швейцарии, Франции и Италии, в январе 1861 г. вторично отправился в Италию из Ниццы, где он жил до этого, и в феврале находился как раз в Турине. Совершенно естественно, что Добролюбов не упустил случая описать в «Современнике» свои впечатления от тех исключительно важных политических событий, очевидцем которых он случайно оказался. Впечатления эти были описаны в статье «Из Турина», которую Добролюбов поместил в мартовской книжке «Современника» за 1861 г. под псевдонимом «Н. Т-нов».

Может быть, ни одна из статей Добролюбова не вызвала немедленно после своего появления в печати таких яростных откликов, как эта. Отчасти это понятно: в других политических статьях Добролюбов то разрушал теорию официальной народности, господствовавшую в царствование Николая I («Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым»), то высказывал свои симпатии к утопическому социализму («Роберт Овен и его попытки политических реформ»), то описывал феодальную реакцию в неаполитанском королевстве («Непостижимая странность»). Все это было еще сравнительно терпимо. Наоборот, в статье «Из Турина» Добролюбов очень ясно выразил не только свои классовые симпатии, но и свое резко отрицательное отношение к тому, что составляло и составляет идеал для буржуазных либералов всех стран и эпох: к буржуазному парламентаризму и конституционализму. В статье Добролюбова довольно подробно и довольно жестко описывались обычные для буржуазно-демократических, конституционных государств злоупотребления и мошенничества, имевшие место при парламентских выборах в 1861 г.: подкуп, фактическая невозможность агитировать за оппозиционных депутатов, распространение ложных слухов, искусственное сокращение состава избирателей в Неаполе, где масса населения была настроена более оппозиционно, чем в Сардинии и т. д. При этом Добролюбов резко критиковал не только правительство, виновное в предвыборных махинациях, но и оппозицию, которая, по его мнению, не позаботилась своевременно о своей популярности в народе.

Переходя к характеристике первого министра Кавура, Добролюбов ясно показывал классовое лицо этого государственного деятеля. Добролюбов утверждал, что власть приносит Кавуру не только почет, но и значительные материальные выгоды, и что Кавур — не только государственный деятель, но и буржуа-капиталист, отлично умеющий под видом защиты государственных интересов отстаивать свои собственные. В подтверждение этого Добролюбов приводил следующие факты: в таможенном тарифе, изданном во время пребывания Кавура у власти, была введена необычайно высокая пошлина на фосфор. Всем это казалось непонятным, пока не узнали,

что Кавур является пайщиком одной химической фабрики, изготовляющей преимущественно фосфор. Другой факт, сообщавшийся Добролюбовым, был еще одиознее: во время неурожая, когда цены на хлеб поднялись необычайно высоко, оказалось, что Кавур является главным акционером предприятия, спекулирующего на зерне и муке. Когда сведения об этом проникли в печать, перед великолепным домом Кавура собрались толпы голодного народа; Кавур приказал полиции разогнать их, при чем было произведено несколько арестов.

Для того, чтобы понять, какое впечатление могла произвести такая интерпретация событий, совершившихся в Италии, и такая характеристика Кавура на русского читателя начала 60-х годов, необходимо учесть, как изображала все эти события и как характеризовала Кавура буржуазная пресса того времени. С точки зрения буржуазных публицистов туринский парламент выражал подлинную волю итальянского народа, никакой классовой борьбы в Италии не было, между населением и правительством, которое возглавлял Кавур, существовало полное единство, а сам Кавур был выдающимся государственным деятелем и гениальным дипломатом. Добролюбов же давал такую оценку дипломатической деятельности Кавура:

«... Тут не то, что Гарибальди; ему говорят: «безумство итти на Сицилию», а он идет; грозят: «не смей трогать Неаполь», а он берет; кричат: «не ходи на Рим, а он говорит: «пойду»—и все знают, что он пойдет и на Рим и на Венецию, если без него Рим и Венеция не освободятся. Имея в виду подобных людей, движимых идеей и твердых в ней, и дипломатия принимается за ту же идею; но не в ее характере твердо итти к цели».

Смысл этого противопоставления хорошо истолкован в монографии Лебедева-Полянского «Н. А. Добролюбов». «Критик как бы спрашивает, — говорит автор монографии, — «кто же лучше, благороднее, за кем нужно итти, — за либералом Кавуром, который боится риска, лавирует между классовыми силами, предавая интересы народа, или же за Гарибальди, который осуществляет свою программу отважно, смело, не боясь потерять жизнь свою и своих товарищей. Параллель сделана так, что все симпатии на стороне Гарибальди». «Читая о графе Кавуре, — говорит Лебедев-Полянский, — русский человек... невольно приходит к выводу: а разве наши либералы лучше?» [30].

Вероятно, именно по этой причине представители русской либеральной журналистики встретили статью Добролюбова «Из Турина» форменной истерикой. Впрочем выражение «истерика» еще недостаточно сильно для того, чтобы охарактеризовать реакцию русской либеральной буржуазной журналистики на статью Добролюбова.

Конечно, больше всего неистовствовали «Отечественные Записки», этот оплот буржуазного либерализма. Политическое обозрение в этом журнале вел публицист Н. Альбертини, которого Чернышевский в своих «Полемических красотах» характеризовал, как человека, не обладающего твердым характером, и чрезвычайно склонного поддаваться всякого рода внушениям. Именно этот Альбертини уже в мартовской книжке «Отечественных Записок», т. е. непосредственно после выхода в свет «Современника» со статьей Добролюбова, разразился в своем политическом обозрении гневной тирадой о публицистах и политических обозревателях, которые не понимают, насколько серьезны их обязанности в стране, «где политические мысли и политические знания не в большом почете, где самый интерес к ним поддерживается искусственно».

«Мы ненавидим, — писал Альбертини, — наглые глумления над тем, что достойно, что благотворно, во что мы веруем, во что — мы позволяем себе думать — веруют и все, у кого душевная пустота не уничтожила «потребности живой веры...». «С легкой руки «Современника» легкомысленное отно-

шение к вопросам науки, жизни, ко всему тому, что мы считаем общественным делом, находит себе более и более подражателей ...Неужели же русской публицистике суждено быть гаерством? Нет, этого быть не может!..»[31]

Альбертини, однако, не разъяснял читателям смысл всех этих намеков, предпочитая отложить это разъяснение до следующей книжки журнала. Но еще до выхода апрельской книжки «Отечественных Записок» статья Добролюбова стала предметом обсуждения в двухнедельном журнале «Русская Речь». В № 28 этого журнала появилась заметка «Нечто о невежестве в нашей литературе», автор которой возмущенным тоном заявлял: «едва ли в европейской литературе найдется несколько образчиков того безобразного тона в приговорах и суждениях, которыми отличаются наши так называемые публицисты». В качестве примера автор приводил статью Добролюбова «Из Турина» и, не затрудняя себя ни разбором этой статьи, ни какой-либо аргументацией, просто на-просто сравнивал Добролюбова с Булгариным[32].

Альбертини, принимаясь за окончательное сведение счетов с Добролюбовым в апрельской книжке «Отечественных Записок», встретил эту статейку, напечатанную в «Русской Речи», просто с восторгом. Он приветствовал тот факт, что «Русская Речь» пришла к сознанию необходимости пустить в бой свои силы «против грубых гайдамаков, безнаказанно гарцующих в нашей журналистике, против невежества, гаерства, срамословия, сквернomыслия».

Интересно, однако, какие доводы помимо совершенно бездоказательной ругани могли выдвинуть либеральные публицисты для того, чтоб доказать, что статья Добролюбова о Кавуре так возмутительна?

Доводы Альбертини заключались в следующем: Добролюбов оклеветал весь итальянский парламент, описав его как сборище идиотов и мошенников, а самого Кавура охарактеризовал как какого-то заурядного взяточника. «Кавур берет взятки!» — с возмущением восклицал Альбертини, намекая на приведенные нами выше разоблачения Добролюбова относительно связей Кавура с буржуазным деловым миром, — вы этому не верите? Прочитайте 205 страницу мартовской книжки «Современника», там г. Т-нов рассказывает, что Кавур в самом деле берет взятки»[33].

Общий смысл статьи Добролюбова Альбертини истолковывал следующим образом: «Есть в Европе один уголок, о котором существует в народе доброе мнение; там, в этом уголке божьего мира люди верят, имеют убеждения, увлекаются... «Современнику» нужно, чтоб ничего этого не было, чтоб все это было не больше как чистым вздором, порождением тупого идиотизма или младенческого легковерия...

И вот является «Письмо из Турина», в котором уже не помоями, — нет, этого мало, — а раствором ассафетиды, какою-то такою гадостью, которой уже нет названия, облито все, что составляет славу современной Италии, чем она гордится... «Высокие доблести в итальянском народе! — где же они? Их нет,—говорит корреспондент «Современника»,—есть только одно громадное мошенничество... Народ в Италии глуп, как и везде, он ничего не смыслит в том, что делается; его кругом обманывает Кавур и его кабальные и делают из него, что им хочется... Таков смысл статьи, а господствующий тон в ней, ее манеру передать невозможно. Это такой верх умственного и нравственного безобразия и цинизма, о котором трудно составить себе понятие, не понюхав одуряющего смрадного запаха самой статьи»[34].

Исступленный истерический тон Альбертини показывает только, как беспощадно разрушал Добролюбов иллюзии конституционализма и демократизма, вскрывая истинную классовую природу политических событий.

Добролюбов не был, конечно, марксистом, его учителями были идеологи домарксовского социализма, но, как мы видим, он ясно понимал классовый смысл современных ему политических событий. Его статья «Из Турина» действительно представляет собой изумительный по исторической проницательности анализ событий, происходивших в Италии в 1860 и 1861 гг., и, именно за это, Добролюбова облили помоями буржуазные либералы. Истерические вопли их представляют собой не что иное, как выражение ужаса буржуазных умеренных демократов-конституционалистов перед откровенным изображением того, что представляет собой в действительности буржуазная «демократия».

Следует заметить, что Чернышевский не оставил без ответа выходку Альбертини. В своих «Полемических красотах» он терпеливо и обстоятельно объяснил Альбертини, почему наивно считать Кавура таким великим государственным деятелем, каким его изображала буржуазная пресса. Чернышевский перечислял политические промахи и ошибки, которые Кавур допустил только в течение одного года, и приводил факты, иллюстрирующие лицемерное и двуличное отношение Кавура к Гарибальди.

«Вы живете в мире иллюзий, которыми уже почти никто не обманывается, — говорил в заключение Чернышевский, — желаем вам выйти поскорее из этого незавидного обольщения. А пока вы не вышли из него, «Современник» не будет вам нравиться. Вы лучше читайте пока «Историю государства Российского» Карамзина, похвальные слова Ломоносова, «Леонида» г. Р. Зотова, «Рославлева» и «Юрия Милославского» Загоскина — да и мало ли есть прекрасных книг!» [35].

Вскоре после этого Добролюбову снова пришлось говорить о Кавуре. 6 июня 1861 г. Кавур скоропостижно скончался; само собой разумеется, в буржуазной западно-европейской и отчасти в русской прессе появились некрологи, в которых эта потеря расценивалась, как бедствие для всего цивилизованного мира, а сам Кавур характеризовался, как величайший государственный деятель. «Современник», с своей стороны, отозвался на эту смерть двумя статьями: коротенькой статьей Чернышевского и пространной статьей Добролюбова «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура».

Эта статья делала совершенно бессмысленными всякие разговоры о «невежестве» Добролюбова, о том, что он унижает итальянский народ и т. д. Статья была построена на огромном фактическом материале. Добролюбов рассказывал русскому читателю всю жизнь Кавура от ранней юности до смерти; показывал, как формировалось его общественно-политическое миросозерцание, как проявлял он себя в качестве политического деятеля в различные периоды своей жизни, и вывод получался все тот же: Кавур был чисто буржуазным политиком, оппортунистом и врагом революции, а путь к власти и почестям ему расчистили настоящие герои борьбы за освобождение Италии в роде Гарибальди. Статья Добролюбова настолько изобиловала фактами, что после нее спорить с Добролюбовым было уже довольно трудно. Однако и эта статья Добролюбова ни в коей мере не подействовала на представителей либерального течения в русской литературе. Это видно хотя бы из позднего отзыва Тургенева о статьях Добролюбова, посвященных Кавуру. В своих «Воспоминаниях о Белинском», напечатанных в «Вестнике Европы» в 1869 г., Тургенев так отозвался об этих статьях: «Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас в России

в 1862 г.) подобных нападений; он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им»[36].

По мнению Тургенева, резкая критика буржуазного парламентаризма, до которой сумел возвыситься Добролюбов, критика слева, в русских условиях должна была оказать услугу представителям махровой реакции, сторонникам самодержавия и противникам всякой, даже самой умеренной конституции.

Если Тургенев действительно так думал, то это свидетельствует только о том, что он совершенно не понял настоящего смысла статей Добролюбова и его подлинной точки зрения.

Перейдем теперь к истории борьбы с Добролюбовым, как с литературным критиком. Чтобы понять крайнюю ожесточенность всех выпадов против литературно-критической деятельности Добролюбова, о которых нам сейчас придется говорить, нужно прежде всего учесть, что литературно-критическая деятельность Добролюбова протекала во время подготовки крестьянской реформы, в обстановке самой ожесточенной классовой борьбы, когда решался вопрос, удастся ли правительству надолго укрепить самодержавный строй посредством реформы, совершавшейся руками крепостников, или же, наоборот, непрекращающиеся крестьянские бунты выльются в крестьянскую революцию.

Журнальная полемика этого времени — в частности и полемика по чисто эстетическим и литературным вопросам — имела политический характер и определялась ходом классовой борьбы.

При этом нужно учесть еще следующее: как известно, уже в эпоху 30-х и 40-х годов в литературу и в журналистику начала входить новая сила — мелкобуржуазная интеллигенция, состоявшая из так называемых «разночинцев», т. е. из выходцев из духовенства и мещанства, мелких чиновников, деклассировавшихся помещиков и т. д. К числу этих разночинцев принадлежали и Чернышевский и Добролюбов, которые стали на позиции революционной демократии и стремились к крестьянской революции. Однако далеко не все литераторы-разночинцы становились на эти позиции: многие из них примыкали к буржуазно-дворянскому лагерю, возлагая все надежды на подготовлявшуюся реформу и принципиально отвергая революцию. Реформизм и либерализм таких публицистов принимал иногда псевдодемократический и националистический оттенок, как у так называемых «почвенников», а иногда носил резко выраженный буржуазный, не только антиреволюционный, но и антисоциалистический характер.

Из дальнейшего изложения мы увидим, что именно идеологи буржуазного либерализма сыграли наиболее активную роль в борьбе с эстетической теорией Добролюбова и с его литературно-критическим методом. Это было вполне закономерно. Русской буржуазии, пережившей эпоху быстрого подъема в царствование Николая I, органически были чужды идеи всякого политического протеста, всякие попытки борьбы с русским самодержавием. Ограничение и тем более свержение царской власти резко противоречило интересам подымающейся русской буржуазии, которая на каждом шагу нуждалась в поддержке правительства, которая без этой поддержки просто не смогла бы существовать в феодально-крепостническом государстве. Правда, классовые интересы промышленной буржуазии требовали отмены крепостного права, но выход из положения идеологи русской буржуазии видели не в революции, а в подготовлявшейся крестьянской реформе. «Либералы так же, как и крепостники, — читаем мы у Ленина, — стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием вся-

кие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти» [37].

С другой стороны, общеизвестно, что почти все большие литературно-критические статьи Добролюбова, — такие статьи, как «Что такое обломовщина?», «Темное царство», «Луч света в темном царстве», «Когда же придет настоящий день?», «Черты для характеристики русского простонародья» и др., — имели явно выраженный антиреформистский, антилиберальный характер. Добролюбов придавал им такой характер совершенно сознательно; в письме его к С. Т. Славутинскому, относящемуся к началу марта 1860 г., можно найти такие характерные строки: «Точно вы в самом деле верите, что мужикам будет лучше жить, как только редакционная комиссия кончит свои занятия... Мы знаем (и вы тоже), что современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это воздействие хотя бы в той части общества, которая доступна нашему влиянию, нам надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху до того, чтобы противно стало читателю такое море грязи..., чтобы он задетый за живое вскочил с азартом и вымолвил: «Да что ж это наконец за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиваться, и вот чем объясняется тон критик моих...» [38].

Понятно, какое раздражение должны были вызывать такие статьи в среде политических противников Добролюбова. Из выступлений этих противников прежде всего следует сказать о выступлении Аполлона Григорьева, представителя так называемого «почвенничества» и одного из самых оригинальных идеологов молодой русской буржуазии. Буржуазная ориентация Аполлона Григорьева ясно выразилась в его письме к известному славянофилу Кошелеву, где он между прочим писал: «убежденные, как Вы же, что залог будущего России коренится только в классах народа..., мы не берем таковым исключительно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу видим мы старую извечную Русь с ее самобытностью, пожалуй, с ее подражательностью» [39].

Понимая таким образом идею «народности» в духе буржуазного национализма, Аполлон Григорьев искал воплощения этой идеи в художественной литературе. Творчество такого писателя, как Островский, — писателя, талантливо изображавшего быт и нравы русского купечества, должно было в этом отношении особенно импонировать Аполлону Григорьеву. В истолковании творчества Островского Аполлон Григорьев и столкнулся с Добролюбовым.

В 1859 г. Добролюбов напечатал в июльской и сентябрьской книжках «Современника» статью «Темное царство», представлявшую собой обстоятельный разбор вышедших к тому времени в свет пьес Островского. Статья имела боевой политический характер и произвела огромное впечатление на читающую публику.

Начало ее представляло собой остроумный выпад против критиков, вкривь и вкось разбиравших творчество Островского и высказывавших совершенно несостоятельные суждения о его пьесах в течение десяти с лишним лет. При этом особенно досталось Аполлону Григорьеву: Добролюбов извлек из забвения его очень плохую элегию-оду «Искусство и правда» (1854 г.), вызванную первым представлением комедии «Бедность не порок», и процитировал наиболее забавные места из этой оды, в которых герой пьесы Островского, опустившийся пропойца Любим Торцов, провозглашался представителем «чистой русской души» и ставился в укор «Европе старой» и Америке «беззубо-молодой, собачьей старостью больной».

При таких обстоятельствах по всем законам журнальной полемики следовало ждать соответствующего ответа от Аполлона Григорьева. Ответ этот

действительно был напечатан Аполлоном Григорьевым в нескольких номерах газеты «Русский Мир» за 1860 г. под заглавием «После «Грозы» Островского (Письма к И. С. Тургеневу)».

Аполлон Григорьев обвинил Добролюбова прежде всего в относительности истолкования творчества Островского. Он понял, что в статье «Темное царство» Добролюбов поставил себе чисто публицистическую задачу, и решил использовать это обстоятельство для борьбы с Добролюбовым. Публицистических выводов, сделанных Добролюбовым, Аполлон Григорьев не оспаривал, а переносил вопрос исключительно в плоскость истолкования и оценки творчества Островского.

Аполлон Григорьев заявлял, что публицистический метод вообще несостоятелен, так как критики-публицисты обыкновенно следят только за теми деталями содержания литературных произведений, которые подтверждают их собственные теории. Все остальное их не интересует: так, например, Добролюбов в своей статье «Темное царство» должен был совершенно отказаться от критики художественных достоинств пьес Островского, потому что иначе он не мог бы сделать из этих пьес необходимые для него публицистические выводы. Статья Добролюбова построена на произвольном предположении, что пьесы Островского совершенно непогрешимы в художественном отношении, и что творчество этого писателя является абсолютно верным зеркалом действительности.

«Совершилось на глазах читателей одно из удивительнейших превращений», — писал Аполлон Григорьев, — драматург, которого обвиняли, — иногда без оснований, иногда с основаниями, — во множестве недостатков, недоделок и недосмотров; писатель... которому советовали преимущественно думать и думать, превратился из народного драматурга в чистого сатирика, в обличителя самодурства, но за то положительно был оправдан от всех обвинений. Все вины были взвалены на «Темное царство», сатирик же явился решительно безупречным» [40].

Впрочем, по мнению Аполлона Григорьева, Добролюбов игнорировал и художественные достижения Островского, и чрезвычайно обеднил и упростил содержание его пьес, подводя все под одну мерку — под обличение самодурства.

Аполлон Григорьев последовательно разбирал пьесы Островского «Семейная картина», «Свои люди, сочтемся», «Утро молодого человека», «Бедная невеста», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи как хочется», «В чужом пиру похмелье» и приходил к выводу, что многие из этих пьес Островского — не сатира на самодурство, а «поэтическое изображение целого мира с весьма разнообразными началами и пружинами», и что быт, изображенный в этих пьесах, показан Островским не сатирически, а с любовью и симпатией и даже с религиозным культом «существенно народного». «Самодурство — это только накипь, пена, комический осадок, — писал Аполлон Григорьев, — оно, разумеется, изображается поэтом комически, — да как же иначе его изображать? — но не оно ключ к его созданиям... Имя для этого писателя, для такого большого несмотря на его недостатки писателя — не сатирик, а народный поэт. Слово для разгадки его деятельности — не самодурство, а «народность». Только это слово может быть ключом к пониманию его произведений».

Не самодурство, а горькие и трагические стороны русской жизни являются темой пьес Островского, — вот основная идея Аполлона Григорьева. В виде примера он приводил опубликованную незадолго до появления его статьи пьесу «Гроза». «Имя сатирика, обличителя, писателя отрицательного весьма мало идет к поэту, который играет на всех тонах, на всех ладах народной жизни, который создает... страстно — трагическую задачу личности Катерины, высокое лицо Кулигина», — говорил Аполлон Григорьев.

Когда Аполлон Григорьев писал это, он, повидимому, был уверен, что «Гроза» Островского своим содержанием совершенно опровергла теорию Добролюбова. Однако, Аполлон Григорьев вовсе не учел силы публицистического таланта Добролюбова, не учел его способности делать нужные публицистические выводы на основе самого разнообразного литературного материала. На его утверждения, что появление «Грозы» опровергло будто бы все, что говорит Добролюбов о творчестве Островского, Добролюбов ответил статьей «Луч света в темном царстве»; статья эта показывала, что и «Гроза» Островского прекрасно может быть использована для тех публицистических выводов, которые уже были сделаны Добролюбовым в его «Темном царстве».

В начале этой статьи Добролюбов, отвечая Аполлону Григорьеву на его упреки, указал между прочим, что Аполлон Григорьев, считая главной особенностью творчества Островского «народность», нигде не говорит, что он собственно понимает под этим словом.

«Как будто мы не признавали народности у Островского, — писал Добролюбов. — «...Но мы не кричали про нее с восклицательными знаками через каждые две строки, а постарались определить ее содержание, чего г. Григорьеву не заблагорассудилось ни разу сделать. А если б он это попробовал, то, может быть, пришел бы к тем же результатам, которые осуждает у нас, и не стал бы попусту обвинять нас, будто мы заслугу Островского заключаем в верном изображении семейных отношений купцов, живущих по-старинке» [41].

Предположение Добролюбова, что если б Аполлон Григорьев пожелал более детально проанализировать понятие «народность», то он, может быть, пришел бы к тем же самым результатам, как и сам Добролюбов, было, конечно, неосновательно. Вся сущность славянофильства и возникшего вслед за ним почвенничества заключалась в том, чтобы понимать под народностью совсем не то, что понимал под этим словом Добролюбов. Добролюбов понимал под «народностью» все творческие силы русского народа (в первую очередь, конечно, крестьянства), — в том числе и задавленную, но постоянно готовую прорваться способность к протесту и бунту. Именно такое понимание особенно четко проступает в статье «Луч света в темном царстве», где героиня «Грозы» Катерина охарактеризована, как протестантка против семейного гнета. Для Аполлона Григорьева, наоборот, «народность»— это совокупность чисто консервативных устремлений. Аполлон Григорьев смеется над утверждением, что среди представительниц «Темного царства» могут быть протестантки, и считает это утверждение страшной натяжкой.

Добролюбов не счел нужным детально останавливаться на всех обвинениях, которые выдвинул против него Аполлон Григорьев и опровергать их. Для него при создании этой статьи на первом плане стояли действительно публицистические задачи, и историческая ценность ее заключается вовсе не в удачной характеристике творчества Островского. «Он прежде всего дает, — говорит исследователь творчества Добролюбова Лебедев-Полянский, — общую картину русской действительности. Эта картина не менее красочна, сильна и убедительна, не менее страстна и волнующа, чем знаменитое письмо Белинского к Гоголю... Каждая строчка Добролюбова гневно и страстно кричит: эта жизнь должна быть разрушена. В переводе на политический язык это означает: «Долой самодержавно-крепостнический строй!» [42].

Но для Аполлона Григорьева, как для идеолога консервативной торговой буржуазии и буржуазного националиста, именно такая характеристика крепостнически-самодержавной России была неприемлема. Аполлон Григорьев великолепно понимал политический смысл статьи «Темное царство». Правда, в статье «После «Грозы» Островского» Аполлон Григорьев ничего не говорит об этом, предпочитая вести борьбу исключительно в литературной пло-

скости. Но в своих письмах Аполлон Григорьев был откровеннее. Чрезвычайно интересно его письмо к М. П. Погодину от 29 сентября 1859 г., в котором Аполлон Григорьев сравнивает современную ему Россию с Россией начала XVII века, с Россией эпохи междуцарствия, и скорбит, что он видит везде измеников, «тушинцев, воровских людей», но не видит «земских людей, людей порядка, людей дела». «Воровские люди», «тушинцы» — это, конечно, передовые вожди революционной демократии, идеологи ненавистной для Аполлона Григорьева крестьянской революции. Добролюбов в их числе.

Что это действительно так, видно из того места письма, где Аполлон Григорьев, заявляя, что сам он —

«никогда не переставал быть православным по душе и по чувству, консерватором в лучшем смысле этого слова», противупоставляет себя «тушинцам». «Стеганул же их за первую выходку лондонский консерватор: не знаю, раскусит ли он всю прелесть статьи «Темное царство» [43], — пишет дальше Аполлон Григорьев в этом письме.

Мы видим таким образом, что, нападая на литературную сторону статьи «Темное царство», Аполлон Григорьев ожидал, что политическая идея этой статьи вызовет отповедь Герцена. Является вопрос, в какой мере были обоснованы выпады Аполлона Григорьева против литературной стороны «Темного царства». Правильно ли, что Добролюбов совершенно неудовлетворительно охарактеризовал художественное творчество Островского и, как утверждает Аполлон Григорьев, совершенно исказил смысл его пьес? Это можно было бы утверждать только в том случае, если бы Добролюбов приписал самому Островскому тот взгляд на русскую действительность, который лежит в основе статьи «Темное царство». Но Добролюбов был слишком проницателен для того, чтобы повторить ошибку многих критиков (в том числе и самого Аполлона Григорьева), пытавшихся сделать из Островского выразителя их взглядов и теорий. В том-то и дело, что Добролюбов в отличие от других критиков резко разграничил эти две проблемы: характеристику мировоззрения писателя и выяснение объективного, независимого от намерений писателя смысла и значения его произведений.

В первой же главе статьи «Темное царство» Добролюбов с иронией отмечал все противоречия и неувязки в суждениях русских критиков западнического и славянофильского лагеря об Островском и при этом говорил: «причина безалаберности, господствующей в суждениях об Островском, заключается именно в том, что его хотели сделать представителем известного рода убеждений и затем карали за неверность этим убеждениям или возвышали за укрепление в них и наоборот». Далее Добролюбов прямо указывал, что он не считает Островского последовательным писателем, обладающим вполне четкой идеологией. «Его литературная деятельность», — говорил Добролюбов об Островском,—не совсем чужда была тех колебаний, которые происходят вследствие разногласия внутреннего художнического чувства с отвлеченными, извне усвоенными понятиями... Но сила непосредственного художнического чувства не могла оставить автора, и потому частные положения и отдельные характеры, взятые им, постоянно отличаются неподдельною истиной».

По мнению Добролюбова, чувство художественной правды постоянно спасало Островского и он часто как-будто отступал от своей идеи из желания остаться верным действительности. Характеризуя идеологию Островского на основании его пьес, Добролюбов вовсе не утверждает, что Островский — самый передовой из русских писателей. Наоборот, Добролюбов посмеивается над критиками-западниками, которые к величайшему своему изумлению заметили, что Островский, сравнивая старинные начала русской жизни с новыми началами европеизма в купеческом быту, постоянно скло-

няется в сторону первых. Сам же Добролюбов характеризует идеологию Островского следующим образом: «... теперь уже для всякого читателя ясно, что Островский — не обскурант, не проповедник плетки, как основания семейной нравственности, не поборник гнусной морали, предписывающей терпение до конца, равно как и не слепой ожесточенный пасквилянт, старающийся во что бы то ни стало выставить на позор грязные пятна нашей жизни». Другими словами, Добролюбов вовсе не стремится сделать из Островского исключительно сатирика и обличителя, искусственно подводя содержание его пьес под свою «теорию», т. е. под свое представление о России, как о темном царстве, как о стране, в которой необходима революция. Сам же Аполлон Григорьев во втором своем «письме» вынужден был признать, что по крайней мере некоторые пьесы Островского давали достаточный материал для публицистических выводов Добролюбова [44]. Следовательно, Добролюбову не было надобности прибегать к таким натяжкам, в которых его обвинял Аполлон Григорьев.

Далее, как мы видели, Аполлон Григорьев ставил в особую вину Добролюбову игнорирование художественных недочетов Островского. Действительно, Добролюбов совершенно сознательно отказался от детальной оценки пьес Островского, считая, что именно эта задача более или менее удовлетворительно решена уже предшествующими критиками. При этом Добролюбов все-таки резюмировал результаты работ этих критиков, указывая, что почти все критики, писавшие об Островском, признают самыми отличительными особенностями его таланта дар наблюдательности, умение представить верную картину быта тех сословий, представителей которых он изображает, меткость и верность народного языка и склонность изображать совершенно обыденные, ничем не возвышающиеся над окружающей их пошлой средою характеры. Добролюбов отмечал и недостатки пьес Островского, правильно установленные предшествующими критиками: недостаточность экономии в плане и в построении пьесы, неумение органически слить интригу пьесы с ее идеей и развивать драматическое действие последовательно и непрерывно, слишком случайные и не вытекающие из хода действия развязки. Но Добролюбов, действительно, не счел нужным подробно развивать или проверять все эти утверждения, заявив: «...К сожалению мы не чувствуем в себе призвания воспитывать эстетический вкус публики ...представляя это гг. Алмазову, Ахшарумову и им подобным. Мы изложили здесь только те результаты, которые дает нам изучение Островского относительно изображаемой им действительности». Таким образом Добролюбов сосредоточил все свое внимание на той проблеме, которая с его точки зрения меньше всего была разрешена предшествующей критикой.

Следует заметить, что после появления статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве», Аполлон Григорьев почувствовал, что он потерпел поражение. Письмо Аполлона Григорьева к Страхову от 18 июня 1861 г. полно безнадежности, — и он прямо говорит в этом письме, что пока в русской литературе господствуют люди, подобные Добролюбову, «честному и уважающему свой образ мыслей писателю нельзя обязательно литературствовать — негде! Рано или поздно мысль его или форма его «мысли» встретят сильный толчок» [45]. Таким толчком, очевидно, было неожиданное появление статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве», имевшей огромный успех у читателей 60-х годов.

Перейдем теперь к обзору высказываний тех противников Добролюбова, которые оспаривали его эстетическую теорию и пытались опорочить его критический метод, используя для этого уже не какую-либо отдельную его статью или цикл статей о каком-либо писателе, а всю его литературно-критическую продукцию, которая была им известна. Именно эти высказывания представляют наибольший интерес для нас, — так как они на долгое время

удержались в обиходе домарксистских историков литературы, которые брали их за основу при оценке критического метода Добролюбова. (Для примера можно назвать оценки этого метода, содержащиеся в упоминавшихся трудах Волынского и И. Иванова.)

В 1861 г. Ф. М. Достоевский напечатал в февральской книжке «Времени» статью «Г-бов и вопрос об искусстве», представлявшую собой критику эстетических принципов Добролюбова. Эта статья была первым по времени развернутым выступлением против всей критической системы Добролюбова. Что такую статью написал Ф. М. Достоевский, защищавший только за год до этого Добролюбова от нападок Каткова, удивляться не приходится. Позиция, занятая Достоевским на рубеже 60-х годов, была двойственна; отрицательное отношение к дореформенным порядкам и вражда к идеологам феодальной реакции, заставлявшая Достоевского полемизировать с Катковым, уживались в его сознании с отрицательным отношением к революционному движению и к классовой борьбе. Катков для него был недостаточно демократичен, а демократизм Добролюбова представлялся ему уже слишком опасным.

Политическая позиция Достоевского в 1861 г. — это позиция убежденного либерала-реформиста, верящего в благодетельность идущей сверху реформы и считающего, что в России невозможна и ненужна классовая борьба. Эту точку зрения Достоевский выразил в статье, напечатанной в январской книжке журнала «Время» за 1861 г. под заглавием: «Ряд статей о русской литературе. Введение». В этой статье Достоевский, полемизируя с представителями западно-европейского цивилизованного мира, заявляет, что в России давно уже есть нейтральная почва, на которой сливаются все сословия, «мирно, согласно, братски», и что всякий русский — прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию. «И начало этому порядку положено уже давно, — говорит Достоевский, — с незапамятных времен, и последнее, внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, благословенным из благословенных на веки веков за то, что он для нас делает»[46].

Вся сущность так называемого почвенничества, на котором сошлись Достоевский и Аполлон Григорьев, заключалась в этом реакционном по сути признании своеобразия русского исторического процесса, в этом исключении классовой борьбы и подмене ее классовым миром на основе культурного влияния, оказываемого представителями привилегированных классов на трудящиеся массы.

Понятно, что литература и искусство должны были играть огромную роль в этом обрисованном Достоевским идеальном царстве классового мира и содружества, именно они должны были в первую очередь содействовать примирению и объединению враждующих классов на базе взаимного понимания. Уже на этой почве могло произойти столкновение Достоевского с Добролюбовым, ставившим литературе как раз противоположные задачи. Но, как увидим из дальнейшего изложения, Достоевский в своей статье «Г-бов и вопрос об искусстве» тщательно прикрыл чисто-политическую сторону своего расхождения с Добролюбовым, чтобы с тем большей силой обрушиться на его литературную деятельность. Это было, конечно, только тактическим приемом.

В сентябре 1861 г. Добролюбов умер, не успев дать исчерпывающий ответ Достоевскому. Смерть Добролюбова, приключившаяся в момент чрезвычайного обострения полемики с «Современником», послужила сигналом для новых необыкновенно наглых выпадов против него. Из всего, что было напечатано в это время, особенного внимания заслуживает статья буржуазного публициста А. Е. Зарина «Небывалые люди», появившаяся в январской книжке «Библиотеки для Чтения» за 1862 г. и представлявшая собой попыт-

ку опорочить литературно-критический метод Добролюбова, исходя из разбора всей его литературно-критической деятельности.

Через три года подобную же попытку дискредитировать Добролюбова как критика повторил уже на страницах «Отечественных Записок» другой буржуазный публицист 60-х годов Н. Соловьев, напечатавший в апрельской, июльской и августовской книжках этого журнала целых пять статей под заглавием «Вопрос об искусстве»; в этих статьях давалась отрицательная оценка эстетических принципов Чернышевского, Добролюбова и Писарева, при чем довольно подробно характеризовался литературно-критический метод Добролюбова.

Следует заметить, что в качественном отношении статьи Достоевского, Зарина и Соловьева стояли далеко не на одинаковом уровне: статья Достоевского была написана с гораздо большей силой и внешней убедительностью, чем последовавшие за ней статьи Зарина и Соловьева. Достоевский с самого начала оговаривался, что признает литературный талант Добролюбова и придает его деятельности огромное значение, и заявлял даже, что основное начало убеждений Добролюбова справедливо и возбуждает симпатии публики. Зарин и Соловьев никаких оговорок не делали и никаких положительных сторон в литературной деятельности Добролюбова не видели.

Тем не менее статьи Достоевского, Зарина и Соловьева приходится рассматривать в связи друг с другом, так как во всех этих статьях развиваются в сущности одни и те же мысли, и разница заключается только в приемах аргументации.

И Достоевский, и Зарин, и Соловьев прежде всего обвиняли Добролюбова в том, что он смешивал задачи публициста с задачами художественного критика. «Г-бов — теоретик, — писал Достоевский: — иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действительностью он обходится подчас чересчур уж бесцеремонно: нагибает ее в ту или другую сторону, как захочет, только б ставить ее так, чтобы она доказывала его идею» [47].

Ту же мысль мы находим в статье Зарина. «Критический способ Г-бова относиться к писателям в «Библиотеке для Чтения» слишком известен, — пишет он: — он преимущественно, если не совершенно исключительно смотрел на них как на случай написать собственное исследование о предмете данного произведения, и он, главным образом, свои похвалы и порицания соизмерял с этим, со степенью благоприятности или неблагоприятности случая, который представлялся ему к выражению его собственных гуманных мыслей» [48].

«Недостаток этих статей, — писал через два года Н. Соловьев, разбирая литературно-критические статьи Добролюбова, — не в отдельных мыслях, а в общем и совершенно неудавшемся стремлении придать широкий политический смысл явлениям обыденной жизни... Выводы Добролюбова из художественных произведений объясняли большею частью нечто другое, а не талант автора, который таким образом после его критики не выигрывал в своем влиянии на общество» [49].

Противники Добролюбова твердо были убеждены в том, что публицистика и критика — совершенно различные сферы деятельности, которые не должны смешиваться ни при каких обстоятельствах. «Сфера деятельности публициста и критика различна, — писал Н. Соловьев. — Две деятельности эти, положим, могут сталкиваться, но никогда не должны сливаться в одно,— иначе они взаимно друг друга уничтожают, критика переходит в крик».

Для критика, пользующегося публицистическим методом, важнее всего мысль, содержащаяся в произведении, его идея, а всем остальным он должен пренебрегать — так рассуждали противники Добролюбова. Поэтому

они обвиняли Добролюбова в пренебрежении к художественности и в непонимании значения литературной формы.

«...Художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы, — писал Достоевский, — способ представления в образах именно того самого дела, о котором хлопочете вы, самый деловой если хотите вы, деловой человек. Что же вы ее презираете и преследуете, когда ее именно нужно поставить на первый план прежде всяких требований?.. Ведь и в дельном человеке мало пользы, если не умеет высказаться... Писатель без таланта — тот же хромой солдат. Неужели вы предпочитаете для выражения вашей мысли заику?».

Зарин после смерти Добролюбова повторил это обвинение. «У Г-бова, — читаем мы в его статье, — не один раз можно было встретить прямое и положительное признание, что он и знать-то не хочет, есть ли у писателя умение обращаться с жизненными явлениями, то есть дарование, что такими тонкостями он предоставляет заниматься празднословам, не знающим что делать из своих бесполезных досугов, а что для него важнее всего явление, подмеченное писателем в жизни...». И в дальнейшем Зарин обвинял Добролюбова в непонимании той простой истины, что литература оказывает такое сильное воздействие на общество именно в силу тех совершенно специфических особенностей, которые отличают литературно-художественные произведения от публицистических или научных работ.

С точки зрения противников Добролюбова публицистический характер его критики неизбежно должен был приводить и к неправильной оценке художественных произведений. По мнению Достоевского и Зарина, Добролюбов искал во всех литературных произведениях прежде всего подтверждения своим социально-политическим идеям. Поэтому он неизбежно должен был допускать двоякого рода ошибки: во-первых, недооценивать выдающиеся высокохудожественные произведения, которые не давали ему материала для его публицистических выводов; во-вторых — переоценивать малохудожественные и посредственные литературные произведения, которые ему такой материал давали.

Обвинение в недооценке выдающихся литературных талантов и высокохудожественных произведений русской литературы впервые наметилось в статье Достоевского. В первой половине статьи Достоевский сначала говорит о так называемых «утилитаристах», т. е. о критиках, считающих, что «искусство должно служить человеку прямой, непосредственной практической и даже определенной обстоятельствами пользой». Достоевский обвиняет этих «утилитаристов», к числу которых он относит и Добролюбова, в том, что им будто бы даже особенно приятно позлиться на иное литературное произведение, если в нем главное достоинство — художественность. «Они, например, ненавидят Пушкина», — пишет Достоевский: — называют все его вдохновения вычурами, кривляниями, фокусами и фиоритурами, а стихотворения его — альбомными побрякушками. Мы вовсе не преувеличиваем. Все это почти ясно выражено Г-бовым в некоторых критических статьях его прошлого года. Заметно еще, что Г-бов начинает высказываться с каким-то особенным нерасположением и о г. Тургеневе, самом художественном из современных русских писателей».

Таким образом Достоевский обвинил Добролюбова в недооценке творчества Пушкина и Тургенева; Зарин пошел еще дальше и обвинял его уже в том, что он своей недооценкой творчества некоторых великих писателей способствовал оскудению русской литературы. «Мы принимаем в расчет все возможные точки зрения, — писал Зарин, — и все-таки не видим, с какой из них логическим путем можно дойти до того, чтобы признать добром обнищание родной литературы, потому что узаконивать ее односторонность

и из любви к маленьким именам стараться уронить великие[50] — значит добиваться ее обнищания, как какого-нибудь блага».

Н. Соловьев еще более заострил все эти упреки и обвинил Добролюбова в том, что он никогда не заботился о литературном росте поэтов и художников, а всегда старался заслонить их собою.

С обвинением в недооценке Пушкина, Тургенева и других выдающихся писателей теснейшим образом было связано обвинение в переоценке малодаровитых писателей, произведения которых давали Добролюбову благодарный материал для его публицистических выводов. Инициатива и в данном случае исходила от Ф. М. Достоевского. Его статья «Г-бов и вопрос об искусстве» была в основном направлена против статьи Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья», представлявшей яркую картину крепостного быта, которая разворачивалась параллельно с разбором рассказов украино-русской писательницы Марко Вовчок (Н. Маркович).

Достоевский восстал в своей статье прежде всего против той оценки художественных достоинств рассказов Марка Вовчка, которую дал Добролюбов, и доказывал, что рассказы Марка Вовчка совершенно бездарны. Яростно напал Достоевский на один из этих рассказов, о котором Добролюбов отозвался с наибольшим сочувствием, — на рассказ «Маша», представлявший собой историю крепостной девушки, которая долго не желала работать на барщине из-за отвращения к подневольному состоянию и рьяно взялась за работу, как только у ней появилась надежда выкупиться на свободу. Достоевский утверждал, что этот рассказ Маркович ниже всякой критики, что он представляет собой неправдоподобное, уродливое и бестолковое произведение. Следовательно, Добролюбов, высоко оценивающий бездарные рассказы, не понимает, какое значение в литературе имеет художественность. «Поймите наше главное, — пишет Достоевский, обращаясь к Добролюбову:— Мы на Марка Вовчка нападаем вовсе не потому, что он пишет с направлением, но... мы именно за то нападем на автора народных рассказов, что он не умел хорошо сделать свое дело, сделал его дурно и тем повредил делу, а не принес ему пользу».

В искренности этого утверждения Достоевского, впрочем, можно усомнится. Вряд ли Достоевский был так уж заинтересован в успехе того дела, которое должны были, по мысли Добролюбова, сделать рассказы Марка Вовчка. «В личности Маши», — писал Добролюбов о героине высмеянного Достоевским рассказа, — схвачено и воплощено стремление, общее всей массе русского народа. А если потребность восстановить независимость личной жизни существует, то во всяком случае она проявится в фактах народной жизни».

Ясно, что Добролюбов и здесь, как во многих других своих статьях, намекал на активное противодействие крестьян феодалам-крепостникам, которое может перерасти в крестьянскую революцию. А Достоевский даже отказывается верить, что в России есть крепостники-феодалы, недовольные идущей свыше реформой. «Не понимаю, про каких это людей говорит Г-бов, — заявляет он, — и много ли он таких нашел?» Как относился в начале 60-х годов Достоевский к идее крестьянской революции, можно судить по его собственному рассказу, имеющемуся в «Дневнике писателя» за 1873 г. в главе «Нечто личное». Достоевский рассказывает здесь о том, как он однажды нашел у дверей своей квартиры революционную прокламацию «К молодому поколению» и настолько возмутился и взволновался, что немедленно отправился к Чернышевскому, чтобы выразить ему свой протест и уговорить его воздействовать соответствующим образом на составителей прокламации. Что такой визит Достоевского к Чернышевскому действительно имел место, видно из опубликованного в 1928 г. отрывка из воспоминаний Чернышевского[51].

Но как бы то ни было, у Достоевского упрек в переоценке творчества отдельных писателей опирался все-таки на какие-то конкретные факты, хотя бы и неверно истолкованные; наоборот, Зарин и Соловьев в своей посмертной оценке уже голословно повторили этот упрек и еще более заострили его, обвинив Добролюбова уже в намеренном потакании бездарностям и поощрении грубой тенденциозности. Последнее и самое тяжкое из обвинений, возводившихся на Добролюбова Достоевским, Зариным и Н. Соловьевым, — это обвинение в том, что Добролюбов вообще оказывал скверное влияние на писателей и способствовал снижению художественного уровня русской литературы.

Пытаясь доказать это положение, критики Добролюбова (в особенности Зарин и Соловьев) поусердствовали во всю и не остановились ни перед извращением фактов, ни перед явной клеветой. Достоевский предъявил Добролюбову обвинение в стеснении свободы творчества, в стремлении насиловать свободную волю писателя. «Теперь надо писать не про маркиза Позу, а про свои дела, про известные вопросы, про гласность, про полезность, про Крутогорск, про темное царство, — так определял Достоевский требования, предъявляемые Добролюбовым к современной ему литературе и вслед за этим начинал поучать его: — ...определить, что именно надо и что не надо на вес или на цифры, довольно трудно; можно загадывать, можно рассчитывать, позволительно и законно требовать на деле... Но писать в «Современнике» указы, но требовать, но предписывать — пиши, дескать, вот непременно об этом, а не об этом — и ошибочно и бесполезно... Гадайте, желайте, доказывайте, подзывайте за собой, — все позволительно, но быть деспотом непозволительно...»

В качестве примера «деспотизма» Добролюбова Достоевский приводил его отзыв о стихотворениях Никитина. Никитин, по словам Достоевского, желал итти вслед за Пушкиным, видел в нем свой «хлеб духовный», а Добролюбов своею статьей запретил ему это, предписал ему взамен этого описывать «нужды и потребности своего сословия» и таким образом обошелся с поэтом «деспотически».

Обвинение же в дурном влиянии на литературу было также намечено Достоевским в следующих словах: «Конечно, робкого народу у нас много — беда как иные боятся критики да й самолюбие: отстать от передовых не хочется — вот и пишут с направлением, да как пишут-то не по-своему вдохновению, то и выходит все почти дрянь...»

Зарин также обвинял Добролюбова в стремлении подчинить художественное творчество русских писателей узко-тенденциозному направлению и в деспотизме: «Есть что-то чересчур недальновидное, противоречивое, недодуманное, — писал он, — в этом болезненном желании видеть все душевные порывы загнанными в одну колею, все работающие силы посаженными на оброчное положение».

А Соловьев, писавший свою статью в 1865 г., уже красноречиво описывал печальные последствия господства добролюбовского метода. «Вся современная беллетристика есть чистая искусственность, — писал Соловьев, — и чистое неуменье авторов пользоваться своими способностями. Одни пишут повести не потому, чтобы у них было дарование, а потому, чтобы легче скрыть в своих повестях слабенькие публицистические способности. Если бы последние не были слабы, им бы в голову не пришло взяться за беллетристику, которую они не уважают. Другие же, напротив, имеют способность наблюдать, группировать явления, изображать характеры; но им засела в голову чужая идея, — они и гнут под нее. Если бы это была их идея, то она, будучи сообразна с способностями, и гармонировала бы с рассказом. Но в том то и беда, что у гг. Решетникова, Михайлова и др. нет своих идей, или они не хотели, не смели вывести их из сделанных ими наблюдений».

Из дальнейшего изложения мы увидим, в какой мере правилен был предъявленный Добролюбову упрек в поощрении тенденциозного творчества. Пока же заметим, что приведенное выше упоминание о Решетникове и Михайлове не менее характерно, чем яростные выпады Достоевского против рассказа Марко Вовчок. Н. Соловьев делает Добролюбова ответственным за направление литературной деятельности писателей революционной демократии. Этим самым он раскрывает в сущности классовый смысл своих выпадов против литературно-критического метода Добролюбова.

Уничтожение крепостного права было проведено в интересах промышленного капитала. Критики-публицисты, выражавшие буржуазно-капиталистические тенденции в журналистике, должны были ставить себе задачу полной дискредитации творчества писателей революционной демократии, потому что эти писатели протестовали не только против пережитков крепостничества, но и против капиталистической эксплоатации. И вот мы видим, что если для Достоевского неприемлемо антикрепостническое содержание рассказов Марка Вовчка, то для Соловьева, печатавшего свои статьи о Добролюбове в 1865 г., неприемлем уже Решетников, повесть которого «Подлиповцы», напечатанная в «Современнике» за год до этого, описывала эксплоатацию бурлаков на Волге и могла пробудить в читателе антикапиталистические и антибуржуазные мысли и настроения. Все дело в том, что Соловьев расценивает и литературную деятельность Решетникова, и литературно-критическую деятельность Добролюбова с точки зрения той части интеллигенции, которая целиком стала на позиции капитализма, на позиции буржуазии. Борьба с антикапиталистическими тенденциями в художественной литературе и в литературной критике ведется под флагом защиты чистой художественности, но совершенно ясно, что она ведется из чисто классовых побуждений. Если Аполлон Григорьев и Достоевский, выступавшие против Добролюбова, — первый в момент подготовки, второй — в момент осуществления крестьянской реформы, старались парализовать антиреформистскую революционную деятельность Добролюбова, то Зарин и Соловьев, выступившие уже после реформы, как бы стараются закрепить победу вступивших в союз дворянства и буржуазии, закрепить то положение вещей, при котором развитие капитализма должно пойти вперед с невероятной быстротой.

Что смысл их выпадов против литературно-критической деятельности Добролюбова был именно таков, ясно видно из статей Соловьева. Цитируя известное место из статьи «Темное царство» о том, что если ни в чем не спускать самодурам, ни в чем не уступать им и постоянно вступать с ними в борьбу, то из ста случаев в девяносто девяти можно взять верх, Соловьев говорит: «Едва ли этот счет верен. Не наоборот ли... А считать и соображать тут нужно хорошо, потому что малейшая ошибка и промах ведут к печальным последствиям». Не явный ли намек это на крах крестьянской революции?

А вслед за этим Соловьев высказывается еще яснее и еще откровеннее.

«Да если... насилие и возьмет верх над другим насилием, — говорит он,—то малый от этого выигрыш для человечества... История представляет нам многочисленные примеры, как люди с самыми благороднейшими стремлениями, вооружившись во время давления, огрубели и, столкнувши деспотов, стали разыгрывать их роль».

Другими словами, Соловьев хочет сказать, что у революции большей частью бывает мало шансов на победу, если же она и побеждает, то это ведет только к новому гнету и деспотизму. И вслед за этим он ясно раскрывает политические предпосылки проводимой им защиты чистой художественности, во имя которой он и выступает против Добролюбова.

«Самодурство, деспотизм могут быть побеждены только талантом, искусством, — говорит он. — И слово искусство имеет в этом смысле значе-

ние глубокое и в высшей степени прогрессивное, почти священное. «Будьте мудры, как змеи», сказал спаситель».

Мы видим, что Соловьеву так же, как и Достоевскому, нужны такое искусство и такая литература, которые призывали бы к классовому сотрудничеству, к примирению враждующих классов, между тем как вся литературно-критическая деятельность Добролюбова имела своей целью использование художественной литературы в диаметрально противоположном направлении.

Таким образом, борьба Достоевского, Зарина и Соловьева с Добролюбовым, как с литературным критиком — это борьба за упрочение не только экономической и политической, но и культурной гегемонии победивших классов.

Обвинения классовых врагов Добролюбова, конечно, не выдерживают никакой критики и давным-давно опровергнуты историей.

Тем не менее все-таки любопытно проверить, в какой мере приведенные выше обвинения и упреки соответствуют фактам.

С формальной точки зрения наибольшего внимания заслуживает упрек в смешении задач публициста и критика. Неужели Добролюбов не мог строить свои публицистические выводы не на литературном материале, а на материале, взятом из самой жизни?

На этот вопрос в свое время дал ответ уже Плеханов. В статье «Добролюбов и Островский» Плеханов указывает, что в литературной деятельности Добролюбова публицист всегда преобладал над литературным критиком, и даже признает, что публицистика Добролюбова, с одной стороны, и его литературная критика, с другой стороны, немало бы выиграли, отмежевавшись друг от друга: тогда они еще сильнее действовали бы на читателей.

«Но, — говорит Плеханов, — он, наверно, и сам ничего не имел бы против размежевания публицистики с литературной критикой» и вслед за этим напоминает о Белинском, который был несравненным литературным критиком и тем не менее очень не прочь был бы отмежевать критику от публицистики, заявляя: «Ну, какой я литературный критик? Я рожден быть памфлетистом!»

Однако ни Белинский в 30-х и 40-х годах, ни Добролюбов в начале 60-х годов не могли это сделать. «Почему же? Потому», — говорит Плеханов, — что «существовал некто в сером, мешавший выходить из определенных рам: цензор» [52].

Действительно, стоит пересмотреть текст политических статей Добролюбова в тех изданиях его сочинений, где наглядно показаны цензурные купюры и даны интерполяции по «Современнику», чтобы убедиться в том, как беспощадно уродовала цензура именно политические статьи Добролюбова. Конечно, статьи на литературные темы также уродовались цензурой, но здесь основная мысль обыкновенно не искажалась или искажалась в гораздо меньшей степени.

Противники Добролюбова великолепно знали и понимали это: мы видели, что когда Достоевский, полемизируя с Катковым, считал нужным выступать в защиту Добролюбова, он указывал, что «Свисток» имеет raison d'être вследствие цензурной обстановки. Но такой же raison d'être имели публицистические статьи Добролюбова на литературном материале. Однако, может быть, публицистический метод Добролюбова действительно не позволял ему правильно оценивать явления современной ему художественной литературы? Может быть Добролюбов действительно пренебрегал художественной стороной разбираемых им произведений и оценивал их только как материал, более или менее пригодный для его публицистических выводов?

Для ответа на этот вопрос лучше всего обратиться к статьям Добролюбова.

В целом ряде статей Добролюбов с достаточной ясностью указал, какие

требования он предъявляет к идейной стороне литературных произведений и к их художественным достоинствам. Добролюбов не скрывал, что при оценке того или иного произведения чисто формальные достоинства не могут компенсировать для него малоценность или неприемлемость содержания. Так, например, в статье о «Повестях и рассказах» С. Т. Славутинского Добролюбов прямо заявил: «Если уж выбирать между искусством или действительностью, то пусть лучше будут неудовлетворяющие эстетическим теориям, но верные смыслу действительности рассказы, нежели безукоризненные для отвлеченного искусства, но искажающие жизнь и ее истинное значение». Подобным же образом в статье о «Стихотворениях Ивана Никитина» Добролюбов советовал начинающему поэту не слишком увлекаться «пластикой» в поэзии, а обратить больше внимания на содержание своего творчества и при этом писал: «пластика в поэзии — роскошь, прихоть, аксессуар; поэтам, ничего не имеющим кроме пластического таланта, мы можем удивляться, но удивляться точно так же, как блестящему виртуозу, которого все достоинство состоит в преодолении технических трудностей».

Однако давали ли все эти высказывания право обвинять Добролюбова в пренебрежении к художественности и в непонимании ее значения?

Если Добролюбов придавал содержанию литературного произведения решающее значение сравнительно с формой, то значит ли это, что он не понимал значения художественной формы и не признавал специфических особенностей литературного творчества? Посмотрим, как высказывался он по этому вопросу в своих статьях.

Еще в статье «Новые стихотворения В. Бенедиктова», напечатанной в январской книжке «Современника» за 1858 г., Добролюбов совершенно ясно выразил свой взгляд на зависимость идеологического воздействия литературных произведений от их художественных достоинств, указав, что писатели, обладающие правильным взглядом на вещи, но недостаточно талантливые, не могут увлечь за собой массы именно по той причине, что их произведения не стоят на должной высоте в художественном отношении. «Такие писатели пользуются большим успехом в избранных кружках, — говорит в этой статье Добролюбов, — но не увлекают за собой массы именно потому, что до их воззрений она не доросла, а художественная сторона их произведений не настолько совершенна, чтобы говорить душе читателя»[53].

Выпады Добролюбова против эстетической критики, сводящей оценки литературного произведения исключительно к разбору особенностей их художественной формы, общеизвестны. Однако в некоторых случаях Добролюбов, для которого на первом плане стояли, конечно, публицистические задачи, считал нужным говорить не о содержании, а о форме разбираемого им произведения, подвергать его именно эстетическому анализу. Так, например, поступил он с комедией Потехина «Мишура» (статья в августовской книжке «Современника» за 1858 г.), подробно указав на длинноты пьесы, на искусственность мотивировок при изображении поступков действующих лиц, на неестественность характера главного действующего лица пьесы, на мелодраматизм интриги и недостаток истинного комизма. «Признаемся, — писал Добролюбов об авторе этой комедии, — цели своей он достиг, но достиг, как диалектик, как моралист, как юридический обвинитель, но не как художник».

Точно так же классический, поистине бессмертный разбор романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» представляет собой отнюдь не истолкование идейного смысла этого произведения, а именно оценку его художественных достоинств. Этим разбором, написанным через несколько месяцев после статьи Достоевского «Г-бов и вопрос об искусстве», Добролюбов как бы ответил Достоевскому на выставленное им требование разбора

художественной стороны литературных произведений и, обнаружив тонкое художественное чутье, с убийственной для Достоевского убедительностью показал ненатуральность и неправдоподобие фабулы «Униженных и оскорбленных», ряд несообразностей и натяжек в развертывании сюжета, неестественность и преувеличение в изображении характеров, слабость психологических мотивировок при изображении поступков действующих лиц, фальшивость тона и стиля всего произведения.

Установка на публицистику не мешала Добролюбову понимать специфические особенности литературного творчества. Разница же между Добролюбовым и его противниками в подходе к произведениям художественной литературы заключалась не в том, что противники Добролюбова принимали в качестве критерия для оценки литературных произведений их художественные достоинства, а Добролюбов этот критерий отвергал: разница заключалась в том, что принципы классификации литературных произведений у Добролюбова и у его критиков действительно не совпадали.

Критики Добролюбова были не только эстетами и идеалистами: все они были безусловными противниками крестьянской революции. На словах они заявляли, что требуют от литературного произведения исключительно художественных достоинств, что их критерием при оценке литературных произведений является исключительно художественность. На деле это было не совсем так: как мы уже видели, очень часто противники Добролюбова, обрушиваясь на того или иного писателя якобы за несостоятельность его творчества в художественном отношении, на самом деле были возмущены неприемлемой для них классовой идеологией.

Обвиняя Добролюбова в неправильных тенденциозных оценках литературных произведений, его противники сами впадали в гораздо большую тенденциозность и допускали гораздо более неправильные оценки. Так, например, тот же Соловьев с пеной у рта неоднократно выступал против романа Чернышевского «Что делать?» и при этом нападал не столько на художественную сторону романа, сколько на его основную идею.

Что же касается до критических оценок, которые давал Добролюбов творчеству отдельных писателей, то они были во всяком случае не менее объективны, чем оценки его противников. В самом деле, можем ли мы упрекать Добролюбова в недооценке творчества таких крупных художников, произведения которых не давали ему материала для нужных ему публицистических выводов?

Противники Добролюбова, бросившие ему этот упрек, забывали, что Добролюбов умел делать нужные ему публицистические выводы из творчества таких писателей, идеология которых вовсе не совпадала с его собственной идеологией, — достаточно вспомнить его статьи «Что такое обломовщина?» и «Темное царство». Ни Островский, ни тем более Гончаров отнюдь не были близки по своей идеологии к Добролюбову. Однако даже Зарин и Соловьев понимали, что смешно было бы обвинять Добролюбова в недооценке творчества именно этих писателей, и не обвиняли его в этом. Достоевский и последовавшие за ним критики обвиняли Добролюбова в недооценке творчества Пушкина и Тургенева, и нельзя отрицать, что это обвинение заслуживает некоторого внимания. Об отношении Добролюбова к творчеству Пушкина мы скажем впоследствии и в другой связи, теперь же посмотрим, насколько справедлив был упрек в недооценке творчества Тургенева. Здесь с самого начала нужно оговориться. Поднимая этот вопрос, мы имеем в виду не позицию журнала «Современник», не тактику, усвоенную редакцией этого журнала по отношению к Тургеневу. Нас интересует исключительно то, как Добролюбов характеризовал и оценивал Тургенева-художника. История конфликта Тургенева с «Современником» и роль Чернышевского и Добролюбова в этом конфликте достаточно освещены в нашей литературе; в настоящий

момент на частном примере Тургенева интересно установить только, насколько справедливо утверждение противников Добролюбова, что он неспособен был объективно оценивать художественное творчество тех крупных писателей, которые не удовлетворяли его в идеологическом отношении.

Как раз пример оценки творчества Тургенева, произведенной Добролюбовым, в данном случае особенно показателен. Нет сомнения, что уже роман «Накануне» во многом не удовлетворил Добролюбова своей идейной стороной, и что Добролюбов уже в статье «Когда же придет настоящий день?» дал отчасти отрицательную оценку идейного содержания творчества Тургенева. В сущности говоря, именно это обстоятельство и сыграло решающую роль в истории разрыва Тургенева с «Современником».

Однако как оценил и как охарактеризовал в этой статье Добролюбов Тургенева-художника?

Как известно, Тургенев при всем своем нерасположении к Добролюбову вынужден был признать, что как раз его художественному таланту Добролюбов в своей статье воздал должное. Больше того: Тургенев оправдывался от упрека, что его «Отцы и дети» — не что иное, как памфлет на Добролюбова, указывая на то обстоятельство, что у него не могло быть никаких побуждений писать такой памфлет именно вследствие того, что Добролюбов очень высоко оценил его художественный талант. В «Заметке по поводу «Отцов и детей» Тургенев прямо говорит, что статья Добролюбова о последнем его произведении пред «Отцами и детьми» — о «Накануне» была исполнена самых горячих, говоря по совести, самых незаслуженных похвал». Мы знаем теперь, что Тургенев несколько покривил душой: побуждения бороться с Добролюбовым у него были и даже очень сильные: во-первых, Добролюбов в своей статье «Когда же придет настоящий день?» и в других своих статьях предъявил к с о д е р ж а н и ю художественной литературы такие требования, которые были совершенно неприемлемы и чуть ли не оскорбительны для «либерала-постепеновца» Тургенева; во-вторых, пренебрежительное отношение Добролюбова к эстетической критике задевало за живое эстета и идеалиста Тургенева. Но в одном Тургенев был прав: статья «Когда же придет настоящий день?» действительно не дает никаких оснований обвинить Добролюбова в том, что он не понимает художественной стороны творчества Тургенева или недооценивает эту сторону, — для того, чтобы убедиться в этом достаточно вспомнить хотя бы то место статьи, в котором Добролюбов говорит о впечатлении, произведенном на него историей сближения Елены с Инсаровым.

Можно спорить с несколько пренебрежительной оценкой художественного таланта Достоевского, которую дал Добролюбов в своей статье «Забитые люди». Но не следует забывать, что когда Добролюбов писал эту статью еще не существовало ни «Записок из Мертвого дома», ни «Преступления и наказания», ни «Идиота», и, следовательно, литературная репутация Достоевского, сильно потускневшая в конце 40-х годов, еще не была восстановлена.

Но, может быть, более справедливо другое предъявленное Добролюбову обвинение — обвинение в переоценке посредственных писателей, произведения которых давали ему богатый материал для его публицистических выводов? Может быть Добролюбов действительно был «литературным потатчиком», как назвал его Зарин?

Дело в том, что противники Добролюбова, бросавшие ему такое обвинение, не желали считаться с особенностями его положения. Особенности положения, в котором находился Добролюбов, заключались в том, что он должен был отстаивать идеи крестьянской революции в легальной печати.

Выше мы сказали, что принципы классификации литературных произведений, которых придерживались Добролюбов и его противники, были неодинаковы. Так, например, Достоевский считал, что критик обязан классифици-

ровать литературные произведения только по принципу большей или меньшей их художественности и совершенно безотносительно к содержанию самого произведения. Но Добролюбов не мог поступать подобным образом. Добролюбов неоднократно заявлял, что его прежде всего интересуют идеи и положения, развиваемые у данного автора, общий характер его убеждений и воззрений на жизнь, его симпатии и антипатии. Но в классовом обществе всякие идеи и воззрения являются выражением психологии и идеологии известного класса. Следовательно, Добролюбов, в сущности, делил литературные произведения по классовому принципу. При этом он действительно в некоторых случаях для своих публицистических выводов предпочитал в качестве материала творчество второстепенного, но классово-близкого ему писателя высокохудожественному творчеству, которое было порождением чуждой ему классовой психологии или идеологии.

В статье о «Повестях и рассказах» С. Т. Славутинского Добролюбов прямо заявлял, что некоторые второстепенные писатели заслуживают внимания, если «хоть одну черту разъяснили или даже только указали нам в этой жизни, которая у всех у нас пред глазами, всех задевает собою и однако же так немногих наводит на серьезную думу, так немногими понимается».

Именно по этой причине Добролюбов построил свою публицистическую статью «Черты для характеристики русского простонародья» на материале рассказов Марка Вовчка, именно поэтому он нашел интерес в повестях малоизвестного беллетриста Славутинского, в которых, как он говорит, хоть и «нет ни малейшей претензии на эстетические украшения, но есть верная передача действительных фактов без прикрас, без натянутостей, без дидактических основ».

В этой же статье о повестях Славутинского Добролюбов прозрачно намекнул, что произведения дворянских писателей, изображающие жизнь крепостной деревни, при всех своих художественных достоинствах не дают этой верной передачи действительных фактов, что авторы этих произведений никогда не показывают, например, «как мужик с своей деревней связан, кем управляется, какие несет повинности, в каких отношениях находится он с барином, с управляющим, с окружным начальником» и т. д.

Рассуждая таким образом, Добролюбов рассуждал не как литературный критик, а как публицист, как практический деятель, как политик, которому совершенно необходим литературный материал для тех или иных публицистических построений (почему Добролюбову был необходим именно литературный материал, мы уже указывали выше). В момент обострения классовой борьбы Добролюбов не мог поступать иначе. Он вовсе не был «литературным потатчиком», он был только превосходным публицистом, умевшим создавать совершенно самостоятельные картины действительности не только на первосортном, но и на второсортном литературном материале. Добролюбов умел делать из литературных произведений такие выводы, которые и в голову не приходили их авторам, и выводы эти были вполне обоснованы.

Зарин и Соловьев упрекали его за это в том, что он якобы поощряет бессознательное творчество, отучает писателей мыслить и таким образом развращает их. Но эти упреки уже настолько бессмысленны, что на них даже не стоит отвечать.

С другой стороны, Достоевский, как мы видели, обвинял Добролюбова в том, что он заставляет писателей насиловать свой талант в угоду тенденции. Но действительно ли Добролюбов требовал этого от каждого писателя? Можно ли его обвинить в стеснении свободы творчества, в стремлении насиловать творческую волю писателя?

Свое отношение к тенденциозному творчеству Добролюбов выразил в лучших своих статьях — в статьях «Что такое обломовщина?», «Темное

царство» и «Луч света в темном царстве». В этих трех статьях Добролюбс выказал себя убежденным противником тенденциозной литературы. Так, в на чале статьи «Что такое обломовщина?» Добролюбов сочувственно подчерк нул, что Гончаров — не «тенденциозный писатель», и при этом с явной ирс нией отозвался о писателях, которые тратят всю свою энергию на разъясне ние цели и смысла своих произведений. «У таких авторов каждая страница,— писал Добролюбов, — бьет на то, чтобы вразумить читателя и много нужн недогадливости, чтобы не понять их... зато плодом чтения их бывает боле или менее полное согласие с идеею, положенною в основание произведе ния... Остальное все улетучивается через два часа по прочтении книги».

Точно так же в начале статьи «Темное царство» Добролюбов заявляе себя противником тенденциозных критиков, которые хотят видеть в писа теле поборника своих собственных убеждений, и противопоставляет тенден циозной критике критику реальную, которая не допускает навязывани автору чужих мыслей.

Наконец, в начале статьи «Луч света в темном царстве» Добролюбо высказывается еще яснее по вопросу о тенденциозности в литературе.

«Мы нисколько не думаем, чтобы всякий автор должен был создават свои произведения под влиянием известной теории, — говорит он здесь, — о может быть каких угодно мнений, лишь бы талант его был чуток к худо жественной правде. Художественное произведение может быть выражение известной идеи не потому, что автор задался этой идеей пр его создании, а потому, что автора его поразили такие факты дей ствительности, из которых эта идея вытекает сама собой... Талант ест принадлежность натуры человека, и он не отдает себя на служение неправд и бессмыслице не потому, чтобы не хотел, а просто потому, что не может не выйдет у него ничего хорошего, если б он и вздума понасиловать свой талант»[53].

Мы видим, таким образом, что основные законы художественного твор чества, в непонимании которых упрекали Добролюбова его противники, был ему прекрасно известны. Добролюбов вовсе не требовал от писателей, чтобь они насиловали свой талант в угоду тенденции: он первый не удовлетворилс бы результатами такого вымученного творчества. Добролюбов требовал, что бы те писатели, творчество которых не удовлетворяло его своим содержа нием, научились понимать современную им социально-политическук действительность, и был уверен, что при этом условии их творчество есте ственным путем приобретет иное содержание и другой политический смысл, при чем художественный его уровень не только не понизится, нс даже повысится.

Мы видим, таким образом, насколько нелепы и чудовищны обвинения Зарина и Соловьева в том, что Добролюбов, предъявлявший такие высокие требования и к содержанию и к форме литературных произведений, был будтс бы «литературным потатчиком», приучал писателей к бессознательному творчеству, или требовал от писателей узко-тенденциозных произведений и поощрял бездарности.

Начиная наш очерк истории литературной борьбы с Добролюбовым, мы отнюдь не ставили себе задачей осветить историю этой борьбы исчерпывающим образом. Мы сознательно старались говорить только о наиболее важных с нашей точки зрения моментах, оставляя в стороне многие второстепенные факты и детали и сознательно ограничили свой обзор пределами эпохи 60-х годов. О более поздней полемике нам не дают возможности говорить размеры статьи, но мы считаем необходимым отметить тот факт, что эта полемика велась еще в 80-х годах, и даже позже.

В суждениях о литературной деятельности Добролюбова так много чудовищных ошибок, преувеличений, натяжек, извращений, фактов, странного

непонимания самых простых и ясных вещей, явной бессмыслицы и клеветы. Только условиями обостренной классовой и политической борьбы можно объяснить утверждения, что Добролюбов — агент цензурного триумвирата, что он нападает на обличительную литературу из эстетических побуждений, что его «Свисток» убил русскую поэзию, что его статья о Кавуре напоминает статьи Булгарина и сближает его с приверженцами крайней реакции. Только классовое ослепление могло подсказать такие, например, общие оценки деятельности Добролюбова после его смерти: «Бедный человек этот Добролюбов. Он умер так рано. Несколько статеек, написанных в «Современнике», несколько стишков в «Свистке» отличаются бойкостью и развязностью чувства, которая подавала надежду, что со временем, став позрелее, он понял бы, что такое его друзья, и что за атмосфера, в которой он жил» [54].

Или: «Мы чувствуем желание взглянуть свысока на Добролюбова, потому что находим у него очевидные недостатки, промахи всякого рода, мысли неточные, недодуманные, мелкие, фальшивые, вопиющие противоречия и плоскости... И потому, если бы нам предложили вопрос, принадлежим ли мы к поклонникам Добролюбова, мы могли бы обидеться, как Гамлет Щигровского уезда, и отвечать: «помилуйте, за кого вы нас принимаете? Я Гегеля изучал, я Гете знаю наизусть, как же я могу быть поклонником Добролюбова» [55].

Это писалось не в ироническом смысле, а совершенно серьезно.

Добролюбов таким образом испытал участь очень многих крупных политических деятелей и революционеров. На него беззастенчиво клеветали при жизни и еще более беззастенчиво стали клеветать после смерти. Однако можно ли считать литературно-критический метод Добролюбова абсолютно неуязвимым для всякой критики?

Как известно, Добролюбов был последовательным материалистом-фейербахианцем. Главный недостаток материалистической философии Фейербаха заключался в том, что эта философия не применяла материалистический метод к области истории, к области общественных наук вообще. Правда, Добролюбов, как и Чернышевский, понимал значение классовой борьбы, как движущего фактора истории, и умел анализировать современные ему политические события с классовой точки зрения. Но он не имел четкого представления о законах, управляющих развитием капиталистического общества, и ему неясна была роль пролетариата в деле ликвидации капиталистического строя. Эти недостатки мировоззрения Добролюбова сказались на его эстетике. Эстетика Добролюбова — это эстетика идеолога крестьянской революции. С нашей современной точки зрения эта эстетика иногда кажется слишком аскетической.

В своем эстетическом аскетизме Добролюбов шел иногда даже дальше Чернышевского. Так, например, он разошелся с последним в оценке лирики Пушкина. Чернышевский считал Пушкина человеком «необыкновенного ума и чрезвычайно образованным». «Каждый стих, каждая строка беглых заметок Пушкина затрагивала, возбуждала мысль, если читатель мог пробудиться к мысли. Это значение Пушкин продолжает еще сохранять до нашего времени» [56].

Добролюбов же рассматривал Пушкина, как типичного представителя дворянского общества его времени, и утверждал, что лучшие лирические стихотворения Пушкина, как, например, «Я вас люблю, любовь еще быть может», или «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...» — только альбомные побрякушки. Поневоле приходится признать что Достоевский, упрекавший в своей статье Добролюбова за такую оценку лирики Пушкина, в данном частном случае был прав.

Однако значение подобных ошибок Добролюбова не следует преувеличивать. В той же статье, где было высказано приведенное выше суждение

о лирике Пушкина, Добролюбов говорил и о значении Пушкина в истории русской литературы, отмечая, что до Пушкина в русской литературе господствовало «отвращение от всякого естественного чувства и верного изображения предметов», что Пушкин первый осмелился находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, каков он есть, и что в этом приближении к реализму и к природе и состоит величайшая литературная заслуга Пушкина.

Вообще и положительные стороны и недочеты литературно-критической деятельности Добролюбова были вполне обусловлены соотношением классовых сил его времени и могут быть правильно установлены только марксистской критикой. Историческое значение Добролюбова вовсе не в том, что он дал абсолютно непогрешимый анализ творчества Пушкина или Гончарова, Островского или Тургенева. Этого Добролюбов, может быть, и не сделал, он был занят другим более важным делом. Историческое значение Добролюбова в том, что он дал непревзойденные до нашего времени образцы публицистического использования не только классово близкой, но и классово чуждой ему дворянской и буржуазной литературы, которая в пору его деятельности переживала эпоху расцвета. Высокие требования, предъявлявшиеся Добролюбовым к содержанию литературно-художественных произведений свидетельствовали о том, какое огромное значение придавал Добролюбов художественной литературе. В этом отношении между Добролюбовым и такими «разрушителями эстетики», как Писарев и Зайцев, была огромная разница. Нет сомнения, что в деле укрепления влияния художественной литературы на общество Добролюбов своими публицистическими статьями сделал неизмеримо больше любого эстета-идеалиста. Вот чего не понимали или не желали понять такие противники Добролюбова, как Аполлон Григорьев и Достоевский. А именно в этом-то и заключается основное значение блестящей литературной деятельности Добролюбова. Недаром Карл Маркс сравнивал Добролюбова с Лессингом и Дидро, недаром Энгельс утверждал, что страна, породившая таких людей, как Добролюбов, не погибнет, недаром Ленин, полемизируя с социал-реформистами, ставил им в пример Добролюбова, умевшего говорить правду даже в крепостной России.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Чернышевский, Н. Г. В изъявление признательности. Полн. собр. соч. СПБ, 1906, т. IX, стр. 102—103.

[2] См. Добролюбов, Н. А. Ответ А. Д. Галахову. Полн. собр. соч., ред. М. К. Лемке., СПБ, 1911, стр. 229—230. В дальнейшем все цитаты из сочинений Добролюбова сделаны по этому изданию.

[3] «Отечественные Записки», 1856, октябрь. Литературные и журнальные заметки, стр. 79—82.

[4] Фактическая сторона инцидента с наибольшей полнотой освещена в примечаниях М. К. Лемке к III тому собрания сочинений Добролюбова издания 1911 г. (стр. 139—156) и к X тому собрания сочинений Герцена издания 1919 г. (стр. 16—23). О политическом же смысле инцидента см.: Стеклов, Ю. Чернышевский, Н. Г. Его жизнь и деятельность. ГИЗ, М.-Л., 1928, т. II, глава 8. Герцен как инициатор либерального похода на революционную демократию, стр. 43—60. (Здесь впервые разъяснено и убедительно доказано, что сущность конфликта заключалась в споре об отношении к крестьянской революции).

[5] Ленин, В. И. Собр. соч., изд. 1-е, т. XII, ч. I, стр. 96.

[6] Герцен, А. И. Полн собр. соч., ред. М. К. Лемке, т. IX.

[7] Там же, стр. 13.

[8] Разрядка моя. — *Г. Б.*

[9] См. Добролюбов, Н. А. Соч. под ред. М. К. Лемке, СПБ, 1911, т. II, стр. 153 и 242, подстрочные примечания.

[10] Шелгунов, М. В. Воспоминания, ГИЗ, М.-Л. 1923, стр. 36.

[11] Чернышевский, Н. Г. Сведения о числе подписчиков на «Современник» по губерниям и городам. Полн. собр. соч. СПБ, 1906, т. VII, стр. 67.

[12] «Московские Ведомости», 1859, № 95. Разрядка моя. — *Г. Б.*

[13] «Современник», 1860, май.

[14] «Отечественные Записки», 1860, сентябрь, отдел критики, стр. 37—39. Разрядка моя. — *Г. Б.*

[15] «Русский Вестник», 1861, январь. «Несколько слов вместо современной летописи».

[16] «Отечественные Записки», 1861, май, Современная хроника России, стр. 19.

[17] Достоевский, Ф. М. Собр. соч. изд. ГИХЛ, М.-Л., 1930, т. XIII, стр. 203.

[18] «Время», 1861, август.

[19] Соловьев, Н. Искусство и жизнь. Критические сочинения Николая Соловьева, ч. I, М., 1869, стр. 173.

[20] Тургенев, И. С. Собр. соч., т. XI, ГИХЛ, М.-Л. стр. 412 и сл.

[21] Очевидно Драгоманов хочет сказать: «не только не порок».

[22] «Русская Речь», 1861, № 54, стр. 29.

[23] «Отечественные Записки», 1861, апрель. «Заметки праздношатающегося», стр. 62.

[24] «Отечественные Записки», 1861, май. «Современная хроника России», стр. 19.

[25] «Отечественные Записки», 1861, VI, стр. 138.

[26] Там же, стр. 140.

[27] Чернышевский, Н. Г. Полемические красоты. Статья вторая. Полн. собр. соч., СПБ, 1906, т. VIII, стр. 202.

[28] Добролюбов, Н. А. От дождя да в воду. Полн. собр. соч. СПБ, 1911, т. III, стр. 357.

[29] Через тридцать с лишним лет А. Волынский снова повторил упреки, сделанные Добролюбову Драгомановым и публицистами «Отечественных Записок», и снова обвинял Добролюбова в мальчишеском неуважении к выдающемуся ученому и общественному деятелю. См. Волынский, А. Русские критики, СПБ., 1896, стр. 177.

[30] Полянский, В. (П. Лебедев), Н. А. Добролюбов, М. 1933, стр. 187 и 189.

[31] «Отечественные Записки», 1861, март, Альбертини, Н. Политическое обозрение, стр. 24 и след.

[32] «Русская Речь», 1861, № 28.

[33] «Отечественные Записки», 1861, апрель. Альбертини. Политическое обозрение, стр. 96—98.

[34] Там же.

[35] Чернышевский, Н. Г. Полемические красоты, статья вторая. Полн. собр. соч., СПБ, т. VIII, стр. 249—250.

[36] Тургенев, И. С. Соч., т. XI, ГИХЛ, М.-Л., стр. 414—415.

[37] Ленин, В. И. Собр. соч., т. XV, стр. 143.

[38] Сборник «Огни», П. 1916.

[39] «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии». Ред. В. Княжнина, П. II, 1917.

[40] Григорьев, Аполлон. После «Грозы» Островского. (Письма к И. С. Тургеневу). Соч., т. I, СПБ, 1876, стр. 453.

[41] Добролюбов, Н. А. «Луч света в темном царстве». Полн. собр. соч., СПБ, 1911, т. IV, стр. 381—382.

[42] Полянский, В. (П. Лебедев), Н. А. Добролюбов, М.—Л., 1933.

[43] «Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии». Ред. В. Княжнина. П. 1917, стр. 252.

[44] Григорьев, Аполлон. Собр. соч., т. I, стр. 466.

[45] Григорьев, Аполлон. Воспоминания. Ред. Р. Иванова-Разумника. Изд. «Academia», М.—Л., 1930, стр. 445.

[46] Достоевский, Ф. М. Соч., ГИЗ, М.—Л. 1930, стр. 445.

[47] Достоевский, Ф. М. Г-бов и вопрос об искусстве. Соч. ГИЗ. М.—Л. 1930, т. XIII, стр. 73—74.

[48] «Библиотека для Чтения», 1862. Январь. Зарин, А. Е. Небывалые люди, стр. 34. В дальнейшем все цитаты из статьи Зарина взяты из этого же номера «Библиотеки для Чтения».

[49] Соловьев, Н. Вопрос об искусстве.—«Отечественные Записки», 1865, июль кн. I. Цитируя по книге Соловьева «Искусство и жизнь», ч. I, стр. 137.

[50] Разрядка моя. — *Г. Б.*

[51] См. Чернышевский, Н. Г. Мои свидания с Достоевским.—«Литературное наследие», М.—Л. 1930, т. III.

[52] Плеханов, Г. В. Добролюбов и Островский. Соч., т. XXIV.

[53] Разрядка моя. — *Г. Б.*

[54] «Русский Вестник», 1861, № 10, Современная Летопись, стр. 14.

[55] «Время», 1862, т. VIII. Критическое обозрение, стр. 32, 33, 34.

[56] Чернышевский, Н. Г. Полн. собр. соч., СПБ, 1906, т. I, стр. 291.

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ БЕЛЛЕТРИСТИКА 60-х ГОДОВ

Статья Н. Бельчикова

I

Революционно-демократическая беллетристика в последнее время начинает получать достойную себе оценку. Ряд интересных сообщений, появившихся в последнее время, говорит о том, что в прошлом в дореволюционное время эта беллетристика не была забыта, а имела большое значение в жизни деятелей революции и литературы.

Так, тов. Г. Димитров в своем выступлении в Доме Советского Писателя в прошлом году указал на роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», как произведение, оказавшее ршающее влияние на формирование его мировоззрения и характера, как революционного борца.

Многие читали, с каким волнением отзывался А. М. Горький о творчестве шестидесятника Н. Г. Помяловского и о воздействии творчества этого писателя на творчество М. Горького: «Возможно, что Помяловский влиял на меня сильнее Лескова и Успенского. Он первый решительно встал против старой, дворянской литературной церкви. Первый решительно указал литераторам на необходимость «изучать всех участников жизни», нищих, пожарных, лавочников, бродяг и прочих» [1]. Справедливо и другое замечание М. Горького, что хорошие повести Помяловского «недооценены». Это относится и ко всей революционно-демократической беллетристике 60-х годов, которую мы недостаточно хорошо знаем.

На III пленуме Союза Советских Писателей М. Шагинян выступала по вопросу о жанре современного производственного романа; она искала источники этого жанра на Западе, у Клода Фаррера, например, и не могла там найти близких «прототипов» для нашего советского романа, характерной композиционной чертой жанра которого она считает построение из ряда новелл. В литературе 60-х годов мы найдем аналогии для такого построения и тоже «производственного» романа. Разумеем романы Ф. М. Решетникова с заводской, горнопромышленной тематикой. Не преувеличивая художественных достоинств романов «мрачного» (по меткому выражению М. Горького) Решетникова, мы хотим указать на сходство композиции романа 60-х годов с производственным романом наших дней. Романы Решетникова («Горнорабочие» и др.) также распадаются на ряд новелл, объединяемых, понятно, единством замысла и идейно-политических тенденций.

Наконец, в нашей растущей литературе широкое развитие получил очерк. Некоторыми критиками очерк считался — что явно неверно и несправедливо — низшим видом литературы. Очерк в наше время несет функции разведывательно-боевого орудия. Те же задачи ставили перед собой и проводили в очерках шестидесятники; таковы нашумевшие в свое время решительным ниспровержением либеральной легенды о счастливом Осташкове очерки В. А. Слепцова, печатавшиеся в «Современнике», публицистические очерки Салтыкова-Щедрина и др.

Перед современной литературой встала проблема создания политического романа в целях борьбы с фашизмом и нащупывания путей будущего общества. У беллетристов 60-х гг. есть чему поучиться в этом смысле современным литераторам. Весьма значительны и весьма поучительны разоблачения российского либерализма, смыкавшегося с реакцией, какие впервые дал в беллетристике того времени революционный демократ Чернышевский. Ленин, цитируя «Пролог к прологу», указывал на гениальность разоблачений Чернышевским крестьянской «реформы», проведенной в интересах классов, «бесповоротно враждебных трудящимся».

Чернышевский, вождь шестидесятников, создал политический роман «Что делать?», значение которого признавали даже враги революционной демократии в 60-е годы. Сошлемся на любопытное суждение о романе «Что делать?» известного почвенника-консерватора Н. Н. Страхова: «Направление «Современника» весьма распространено; оно имеет своих поэтов, политико-экономов, юристов, критиков и т. д. Всем им, как я полагал и полагаю, предназначено весьма быстро кануть в Лету... Но есть явление, в этом множестве, которое имеет бóльшую прочность. Именно роман «Что делать?», по-моему мнению, останется в литературе. Ибо он вовсе не производит смешного впечатления. Как бы кто ни был расположен смеяться, он потеряет свое расположение к смеху, перечитывая эти тридцать печатных листов. Роман написан с таким воодушевлением, что к нему невозможно отнестись хладнокровно и объективно» [2]. Проблема рождения нового человека — человека революционно-демократического склада занимала сознание людей 60-х годов. Писатели-шестидесятники — Н. Г. Чернышевский, Н. Г. Помяловский, Н. Благовещенский, отразили в своих романах и повестях эти искания и дали попытки художественно обобщить реально-исторические черты этого образа и сумели предугадать будущее этого нового человека.

Все это приводит к мысли, что литература 60-х годов имеет немало созвучий с нашей молодой растущей литературой и в области проблематики и в исканиях способов художественного отображения новых людей и нового социалистического строя. Знакомство с литературой 60-х годов далеко не бесполезно для современного писателя. Среди шестидесятников он может увидеть пример, как тогда писатели почерпали и пополняли свои знания о жизни, слагавшейся после глубоких социально-политических сдвигов. Разве не поучительный пример—В. А. Слепцов, с котомкой за плечами, прошедший путь от Москвы до Коврова по линии строившейся тогда Московско-Нижегородской железной дороги, и составивший в итоге своих наблюдений над бесчеловечной эксплоатацией землекопов очерки «Владимирка и Клязьма». Не менее интересны и также не утратили значения и другие его очерки об Осташкове. Заметка в «Правде» (1935, за 24 июля № 202 (6448) под названием «Уездные прожектеры» свидетельствует, что «воскресший Слепцов произвел большое впечатление на местных работников. Они впервые взглянули на город с исторической, так сказать, точки зрения... В ноябре прошлого года на сцене осташковского театра докладчиком о выборах в совет выступил несколько неожиданный оратор. Это был писатель и притом умерший более полувека назад: в образ писателя Слепцова воплотился местный актер. Речь, произнесенная им, была составлена по слепцовским «Письмам из Осташкова».

Порожденная эпохой 60-х годов, эта беллетристика носит яркие черты новой литературы, литературы революционного демократизма.

Проводя параллель между литературой 60-х годов и нашей, мы не забываем о существенных различиях их, обусловленных различием исторических эпох.

60-е годы — эпоха нарастания крестьянской революции, но революции неудавшейся. Была революционная ситуация, была возможность крестьянской буржуазно-демократической революции. Ленин, разбирая составленную цар-

ским министром Витте секретную записку «Самодержавие и земство», в 1901 г. писал: «Тот казенный, чиновнический взгляд на общественные явления, который обнаруживает везде автор «Записки», сказывается и здесь, сказывается в игнорировании революционного[3] движения, в затушевывании тех драконовских мер репрессии, которыми правительство защищалось от натиска революционной «партии». Правда, на наш современный взгляд кажется странным говорить о революционной «партии» и ее натиске в начале 60-х годов. Сорокалетний исторический опыт сильно повысил нашу требовательность насчет того, что можно назвать революционным движением и революционным натиском. Но не надо забывать, что в то время, после тридцатилетия николаевского режима, никто не мог еще предвидеть дальнейшего хода событий, никто не мог определить действительной силы сопротивления у правительства, действительной силы народного возмущения. Оживление демократического движения в Европе, польское брожение, недовольство в Финляндии, требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России «Колокола», могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, появление прокламаций, возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови заставлять принять «Положение», обдирающее их, как липку, коллективные отказы дворян — мировых посредников — применять такое «Положение», студенческие беспорядки, — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной»[4].

Десятью годами позже, характеризуя ту же эпоху, Ленин писал в статье «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция»: «...Революционные мысли не могли не бродить в головах крепостных крестьян. И если века рабства настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что кроме раздробленных, единоличных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во главе этих крайне немногочисленных тогда революционеров стоял Н. Г. Чернышевский»[5].

В этот момент нарастания революционной ситуации оформилось размежевание двух социальных лагерей, произошло обособление между силами революционной демократии и буржуазно-дворянским либерализмом. В только что цитированной статье В. И. Ленин говорит: «Либералы 60-х годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию»[6].

Конкретное содержание борьбы этих двух сил Ленин характеризует так: «Без насильственной, без революционной ломки устоев старой русской деревни не может быть развития России. Борьба идет,—хотя этого не сознают очень и очень многие из ее участников, — только [подчеркнуто автором — *Н. Б.*] из-за того, будет это насилие насилием помещичьей монархии над крестьянами или крестьянской республики над помещиками. В обоих случаях неизбежна буржуазная, а не иная какая-либо, аграрная революция в России, но в первом случае медленная и мучительная, во втором — быстрая, широкая и свободная»[7].

Этот великий раскол крестьянской демократии и буржуазно-дворянского либерализма нашел себе литературное выражение. В эпоху огромных социально-политических сдвигов пришла новая группа писателей.

«Падение крепостного права вызвало, — говорит Ленин, — появление разночинца, как главного, массового деятеля освободительного движения вообще *и демократической, бесцензурной печати в частности*» [8].

II

Каков же социально-политический и философский профиль писателей, выражавших интересы революционной крестьянской демократии? Общая биография их проста; они — разночинцы. Но понятие разночинца сложно и неопределенно. Разночинец — представитель мелкой буржуазии или выходец из мелкопоместного и среднего дворянства — приобретал революционность, если сумел опереться на крестьянскую демократию, которая внушала ему революционные настроения. У Ленина на этот счет есть прямые указания. В 1906 г. он писал: «Городская беднота не представляет ни самостоятельных интересов, ни самостоятельного фактора силы, по сравнению с пролетариатом и крестьянством. Решающая роль за деревней, не в смысле руководства борьбой (об этом не может быть и речи), а в смысле обеспечения победы» [9].

От этого проистекало то, что разночинцы, которые в 60-е годы не попадали в орбиту полного влияния революционной демократии, колебались между революцией и либерализмом (Писарев) или вовсе подпали под влияние феодально-крепостнической реакции и правительственной идеологии (Достоевский).

Группа писателей, разночинцев, во главе с Чернышевским, непосредственным идеологом и вождем революционного авангарда крестьянской демократии, стремившейся к революционному ниспровержению феодально-крепостнического строя, была проникнута интересами народа, боролась за эти интересы и проводила в литературе идеи крестьянской революции, идею борьбы с буржуазно-дворянским либерализмом и реакцией.

Проникаясь интересами народа, писатель-демократ искал средств для своего идейного вооружения. Самостоятельная русская мысль не давала таких источников. По традиции же, унаследованной от петрашевцев, через Ханыкова к Чернышевскому, таким источником оказывался утопический социализм. В системе Фурье и унаследовали его наши демократы. Вождь их Чернышевский был, по определению Ленина, утопическим социалистом, который «мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способны создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма» [10].

В своем романе «Что делать?» Чернышевский рисовал будущие формы социалистического строя и условий жизни в коммунистическом обществе в духе фаланстеров Фурье.

Идейно-теоретически наши демократы были социалистами-утопистами, а по существу выразителями интересов демократического и крестьянского капитализма, американского типа.

Мы считаем необходимым подчеркнуть разграничение моментов самосознания эпохи и объективный смысл сознания той же эпохи. На самосознании эпохи нельзя строить и обосновывать познание объективно-исторического характера этого сознания. Но, с другой стороны, надо отметить и другое, что в условиях русской действительности 60-х годов, в обстановке нарастания революционной ситуации «в социализме Чернышевского мелкобуржуазная ограниченность утончалась настолько, насколько это только возможно для до-марксовского социализма. Но и основное значение Чернышевского заключалось в том, что он был выразителем революционных требований русского крестьянства» [11].

Революционная ситуация 60-х годов, «крайняя революционность мужика, доведенного вековым гнетом крепостников, — как говорит Ленин [12], — до самого отчаянного положения и до требования конфискаций помещичьих земель», помогла преодолеть выразителям взглядов крестьянской демократии ограниченность фантастических «выдумок» социалистов-утопистов, отвергавших борьбу классов, проповедывавших мирное сожительство богатых и бедных и возлагавших надежду на бесплодные увещания богатых поступиться своими интересами. Чернышевский и его группа осознавали необходимость и закономерность революции, верили в революционные пути разрешения назревшего аграрно-политического вопроса в интересах закабаленного крестьянства.

Преодолена была тогда и другая черта, характерная в философском мировоззрении утопического просветителя, — именно, убеждение, что мнения правят миром. Чернышевский и Добролюбов сознавали, что только политическая революция может покончить с азиатскими порядками русской жизни.

III

Как глубоко проникало революционное настроение в широкие массы разночинцев 60-х годов, свидетельствует неопубликованное письмо одного разночинца-плебея, которое было задержано III Отделением и погребено было до сих пор в недрах архива этого учреждения. Посмотрим, как воспринял этот демократ царский Петербург и как свое отвращение и ненависть к самодержавно-полицейскому режиму он выразил в письме к своей знакомой, в Казань: «Петербург нравится мне только в одном отношении—это по памятникам. Здесь все факты можно видеть в лицах, все места, на которых происходили деспотические порывы варваров.

Например, вы выходите на Исаакиевскую площадь и глазам вашим представляется два предмета. Это Исаакий и М о н у м е н т в е л и к о г о м у ж а XIX с т. Н и к о л а я, говоря словами Гримма. [Подчеркнуто автором.—*Н. Б.*] Вы всматриваетесь в памятник и находите тут всевозможные цвета, какие только существуют. Потом вы, конечно, начинаете смотреть на Николая, сидящего на лошади, и вам живо представляется все царствование его. Наконец, вы вспоминаете при этом вновь вышедшую книгу, которая начинается словами: «Если я буду хоть час государем, то докажу, что я этого достоин». Вам невольно при этом придет на мысль, что правды не существует, что вы живете еще в мире лести и лести подлой. Потом вы начинаете всматриваться в статуи, которые окружают этот памятник: видите богиню целомудрия, лицо которой снято с Марии Николаевны; видите богиню силы и могущества с лицом дряхлой старушки Александры Федоровны. Потом вы начинаете всматриваться в барельефы, которые изображены на пьедестале. Вы видите на переднем плане 14 декабря. Вам невольно приходит на мысль Петрашевский. Вам живо представляются его слова, которые он сказал, когда был у виселицы. «Что сказать твоей матери?»,—спрашивает Петрашевского один из друзей его. Он, показывая на веревку, отвечает: «Скажи, что видишь». Потом, когда уже прочли ему указ деспота, и оставалось только надеть на шею веревку, вдруг видят скачущего курьера с криком: «Прощение, прощение и ссылка навечно в каторгу». Петрашевский, услыша это, сходит с платформы и с желчью говорит: «Вечно с своими неуместными экспромтами». Слова страшно потрясающие. Потом вы переходите к другому, видите мятеж Польши. Наконец, к третьему, который помещен, впрочем, на заднем плане — это издание Николаем законов. Рассмотревши все это, невольно улыбнешься и поверишь словам, что п а м я т н и к Н и к о л а я—н а с м е ш к а...» «Вы выходите из Исаакия. Вам снова бросается в глаза памятник. Тут вы только начинаете находить гармонию и то еще не полную, потому что нет

виселицы между Исаакием и Николаем. Конечно, лучше бы было, если бы памятник и виселицу поместили внутри Исаакия»[13].

Это письмо рядового разночинца, — тем оно и характерно, что выражает массовое настроение разночинческой революционной демократически настроенной молодежи.

Правда, настроения антиправительственного характера, настроения против феодально-самодержавного строя испытывали и радикальные элементы. Различие между революционными и радикальными разночинцами, понятно, лежало глубже, в том, что мы выше сказали о степени приближения к революционной крестьянской демократии. Всеми этими чертами — революционным демократизмом, утопическим социализмом и фейербахианским материализмом в основе мировоззрения — революционные демократы решительно не похожи были на радикальных разночинцев типа Писарева. Для лагеря последних характерно было колебание между демократизмом и либерализмом, а после спада революционной волны отход на либеральные позиции. «Грубо механистический характер материализма Писарева, его зависимость от естественно-научного материализма типа Фохта и Молешотта и привели его к увлечению позитивистической системой Огюста Конта. Эмпиризм и агностицизм Конта проник в материалистическое мировоззрение Писарева и еще более понизил его теоретический уровень»[14].

В связи с этим и характер социалистической окраски, которой сопровождалась у Писарева пропаганда технико-промышленного прогресса в промышленности и земледелии была иной. «В социалистических симпатиях Писарева, — говорит тот же исследователь, — не чувствовалось непосредственного отображения крестьянских интересов»[15].

Революционные демократы типа Чернышевского ставили ставку на массовое движение, надеялись, что массы крестьянства сделают революцию. Политическое сознание радикальных разночинцев находилось под воздействием демократической революции, но в то же время имело свою логику развития. «Давление крестьянского моря на политическую ситуацию ослабевало, шансы революции уменьшались, реакция торжествовала — Писарев становился умеренней, правей, либеральней и в своем социализме и в своей тактике. Писарев был горожанином, который шел на союз, на смычку с крестьянским движением»[16].

Такого колебания между либерализмом и революцией, какое мы находим у Писарева, революционные демократы типа Чернышевского не проявляли. Они шли на разрыв, на борьбу с враждебным лагерем. Захваченный жандармами 2 июня 1862 г. и посаженный в крепость Н. А. Серно-Соловьевич писал, озираясь на прошлое и оценивая свои цели:

Теперь я беден и страдаю.
Но если б мне могли отдать
Взамен того, чем обладаю,
То, чем я мог бы обладать:
Богатство, почести и мненье
Твое, — чиновный, важный свет,
Во мне вскипело б отвращенье
И гордо я сказал бы: нет!

За свои убеждения эта группа расплачивалась тюрьмой, каторгой, Сибирью. Писарев же трезвел; проявлял признаки политического «благоразумия», умеренности. Любопытно отметить, что после разгрома революции 1861 г. деление на чернышевцев и писаревцев стало сказываться явственнее. Оно и понятно, в момент подъема революционного настроения ряды радикальных разночинцев сближались с революционными демократами, пережи-

вая, как и последние, воздействия, шедшие со стороны революционных крестьянских масс; с ослаблением революционной ситуации они разошлись.

Факты идейных разногласий и споров партии Чернышевского — Добролюбова, с одной стороны, и партии Писарева, с другой — собраны в работе Б. П. Козьмина [17]. Здесь приведены свидетельства П. Ф. Николаева и В. Черкезова, члена революционного кружка ишутинцев; свидетельство печатающейся впервые в настоящем номере «Литературного Наследства», задержанной цензурой в конце 1869 г., статьи Н. В. Шелгунова о том, что «в каждом городе, где есть читающая и думающая молодежь, вы найдете две партии: одна поклоняется Добролюбову, другая — Писареву. Если эти партии имеют возможность где-нибудь сходиться, они немедленно вступают в ратоборство, и бывали случаи, когда разгоряченные борцы готовы были прибегать к аргументации более сильной, чем простое красноречие».

Известно, что Гр. Потанин, член кружка независимости Сибири, в своих показаниях в 1865 г. отрицательно отзывался о писаревцах [18]. Члены кружка «Рублевое Общество» (1869) Ф. Волховской и Г. Лопатин также проявляли определенным образом интерес к сочинениям Чернышевского и симпатии к нему как личности.

В литературе того времени мы имеем изображение разночинца-демократа 60-х годов в романе Н. А. Благовещенского «Перед рассветом» [19]. Сознательная жизнь Трепетова, выходца из духовной среды, началась уходом из душного мира глухой провинции под влиянием бесед с «ссыльным» человеком Березиным.

Трепетов в столице находит Березина, но Березин стал либералом, и Трепетов, не мирясь с этим, уходит от него без копейки денег в кармане и подвергает себя надолго всем тягостям беспросветной нужды, всем лишениям, какими награждает жизнь городского бедняка. Молодой Трепетов хочет работать, но поиски заработка безуспешны.

«И в этих напрасных поисках труда он провел около полугода, спустил с себя все, что только можно было спустить, пользовался по разным захолустьям копеечным ночлегом, спал не раз под открытым небом, питался зачастую одной колбасой да студнем за грош, когда порой заводился в кармане этот несчастный грош, и только бурсацкая закалка натуры позволила ему вынести эту полуголодную агонию и сохранить еще при этом некоторую бодрость духа. Зато тут он, лицом к лицу, впервые увидел ту голодную и забитую нищету, которая составляет исключительную принадлежность столиц и больших городов и редко встречается в провинции, и убедился, что он не один, что от недостатка работы ежегодно осаждаются на дно столичного населения целые слои голодных, ограбленных, брошенных людей, никому не нужных, бесполезных, к числу которых он должен был причислить и себя».

Судьба и жизненный опыт Трепетова характерны для разночинцев 60-х годов; тот же путь прошли герои Чернышевского, Помяловского, Решетникова и сами писатели. Так, Решетников, например, в ранней юности дважды убегал из бурсы, голодал, ночевал на реке, скитался среди рабочих, даже бродил с нищими. М. Горький очень ярко обрисовал жизненный путь и судьбу этих «отщепенцев»: «Литераторы-«разночинцы» — тоже «отщепенцы» и «блудные дети», их история — «мартиролог», т. е. перечень мучеников. Помяловского за время его ученья в семинарии секли розгами около 400 раз. Левитов был выпорот в присутствии всего класса; он рассказывал Каронину, что у него «выпороли душу из тела» и что живет он «как будто чужой сморщенной душой». Кущевский написал рассказ об одном литераторе, которого отец отпускал в столицу «на оброк» — так же, как помещики отпускали крепостных, и если сын не присылал ему денег, он требовал его в деревню и там сек. Сам Кущевский работал грузчиком на Неве, упал в воду, простудился, написал свой роман «Николай Негорев или благополучный рос-

сиянин» в больнице, ночами, покупая огарки свечек на больничный паек, затем он спился и умер, не дожив до 30 лет. Решетников, 14-ти лет попав под суд, два года сидел в тюрьме, потом был сослан на три месяца в Соликамский монастырь; он умер 29-ти лет». Н. Помяловский умер, прожив 28 лет.

«Редкий из литераторов-разночинцев доживал до 40 лет, и почти все испытывали голодную, трущебную, кабацкую жизнь»[20]. Эти скитания, эта жизнь среди «низов» обогащала писателя знанием подлинной жизни народной массы, ее невзгод и тяжелых сторон. Эти-то наблюдения способствовали пробуждению критического отношения к существующему порядку.

Понятно, эти дети бедных уездных лекарей, бедных мелких чиновников и сельского духовенства, каковыми были и Благовещенский, и Помяловский, и Благосветлов, — все эти необеспеченные, униженные представители нового молодого «поколения», обреченные на тяжелый труд добывания куска хлеба, не иначе как с ненавистью смотрели на представителей обеспеченных классов — дворянства и буржуазии.

«Со злостью и отвращением,—рассказывает Благовещенский, — начинал он [Трепетов. — *Н. Б.*] смотреть на прихоти изнеженного и избалованного барства, точно это барство ограбило его. Не мог он видеть равнодушно, как наши богачи беззаботно катались по городским улицам в щегольских экипажах; с ожесточением глядел он на самодовольные лица щеголей и щеголих; он начинал от души ненавидеть эту безучастную светскость и считал эту ненависть законною, естественною».

Добролюбов дал не менее яркое изображение этого социального расхождения людей двух классов в стихотворении:

Когда среди зимы холодной,
Лишенный средств, почти без сил,
Больной, озябший и голодный,
Я пышный город проходил;
Когда чуть не был я задавлен
Четверкой кровных рысаков,
И был на улице оставлен
Для назидания глупцов;
Когда, оправясь, весь разбитый,
Присел я где-то на крыльцо,
А в уши ветер дул сердито,
И мокрый снег мне бил в лицо, —
О сколько вырвалось проклятий,
Какая бешеная злость
Во мне кипела против братий,
Которым счастливо жилось
Средь этой роскоши безумной
И для которых — брата стон
Веселым бегом жизни шумной
И звоном денег заглушен.

Так вырастали конфликт и столкновение классовых групп дворянства, буржуазии и революционных разночинцев. Последние устами одного из своих представителей в литературе (И. И. Гольц-Миллера) в ответ на роман писателя другой стороны (либерального дворянства) И. С. Тургенева («Отцы и дети») бросили смелый вызов в стихотворении «Отцам».

Вы — отжившие прошлого тени,
Мы — душою в грядущем живем;

Вас страшит рой предсмертных видений, —
Новой жизни рассвета мы ждем.
Вы томитесь под игом преданий
И в поросшей веками грязи, —
Наша жизнь — жизнь надежд, упований,
Все святое для нас — впереди.
Путь перед вами один — покаянье,
Ваша сила в глаголе молитв, —
Труд, борьба, — это наше призванье,
И мы сильны для будущих битв;
Сильны верой живой в человека,
Сильны к правде любовью святой;
Сильны тем, что нас ржавчина века
Не коснулась тлетворной рукой...
Мы ли, вы ли в бою победите, —
Мы — враги, и в погибели час
Вы от нас состраданья не ждите,
Мы не примем пощады от вас.

Для «детей», для разночинцев всех лагерей характерно стремление к делу, к действиям: «труд, борьба — это наше призванье», как говорит в своем манифесте революционный разночинец И. Гольц-Миллер.

П. А. Шипов, арестованный в июне 1862 г., в своей рукописной статье писал: «Наступила для нас та историческая эпоха, когда каждый начинает ощущать ж г у ч у ю п о т р е б н о с т ь д е л а, давно обдуманного, давно осознанного, давно вымеренного и рассчитанного... Слово и дело... Мы переживаем именно то время, когда передовые люди уже выходят на борьбу. Что же им делать?» [21].

Революционно-демократическая беллетристика в романах Чернышевского дала ответ на этот вопрос своим последователям и всему русскому обществу. В произведениях других беллетристов она сказала о новых путях жизни, о новых задачах деятельности, направленной на разрешение первоочередных назревших интересов порабощенных вековым рабством крестьян.

Разночинцы — революционные демократы, ненавидевшие барство, взяли на себя защиту интересов народа, они боролись за то, чтобы лучше жилось народу.

IV

Завоевав при помощи Чернышевского и Некрасова в свое распоряжение журнал «Современник», революционные демократы начали усиленную литературную деятельность.

Всем известно, как необычайно трудолюбив был сам Чернышевский. Известно, что на журнальной работе сгорел Добролюбов. Пафосом такой же деятельности горели и многие другие демократы. «Михайлов, — по воспоминаниям П. В. Быкова, — горячо любил свое дело, свою профессию, свою работу, трудясь, что называется, до самозабвения, порой с утра и до глубокой ночи... когда он писал повесть или рассказ, он глубоко проникался жизнью выводимых в этом произведении героев, улыбался, расцветал, видя их счастье, искренно мучился, замечая их ошибки, или страдания, словно это были живые люди, а не созданные его воображением, его пламенной фантазией» [22].

Писатели-демократы трудились в разных «жанрах»; Добролюбов был публицистом, литературным критиком, сатириком, писал стихи, был редактором. Чернышевский нес те же примерно обязанности и много писал.

Для этих писателей литература была не профессией только, а трибуной

для борьбы с помещичьей литературой за свои убеждения и интересы своих доверителей — крестьян и рабочих. Поучительно бережное отношение этих писателей к изображению своего доверителя; поучительно стремление дать по возможности точное, проверенное в реальной обстановке изображение жизни рабочих и крестьян. Примером может служить Решетников. Написав первую часть романа «Горнорабочие», он писал Некрасову в письме от 2 сентября 1865 г. следующее: «*По-моему мнению, этот роман, задуманный* мной еще в Екатеринбурге в 1861 г., будет лучше «Подлиповцев», потому что я проверил ныне сам себя на заводах». Писатель отправился прямо на завод и работал. Из письма Решетникова от 10 июня 1865 г. к другу Н. А. Благовещенскому мы узнаем не лишенные интереса подробности об этом пребывании писателя на производстве: «Был я на четырех заводах, находящихся в Пермской губернии. Работал на Мотовилихе в литейной фабрике, да чуть меня не зашибло воротом. Работать можно только в крестьянской одежде, я работал под именем семинариста, готового поступить хоть в рекруты. Смеху надо мною было много... Буду писать роман «Семейство Глумовых», в двух частях, из горнорабочего быта. Некрасов с братией могут успокоиться на счет того, что из бывшей в их редакции статьи [точнее очерка, как мы знаем из письма к Некрасову от 2 сентября 1865 г. — *Н. Б.*] «Горнорабочие» в роман попадет очень немного».

Другой пример — В. Слепцов, который для создания очерков («Владимирка и Клязьма», «Осташков») путешествовал с котомкой за плечами; жил в провинциальном городе. Всем памятна колоритная фигура П. И. Якушкина, неутомимого путешественника этнографа-очеркиста, бытописателя крестьянства.

Писатель-демократ, осознав фальшь и узость дворянского реализма в показе мужика, усиленно стремился к правдивому, т. е. наиболее адэкватному по его мнению изображению. Это правдивое изображение масс крестьянства писателем-демократом было для того времени и наиболее объективно-верным, *ибо оно давалось с точки зрения наиболее объективно-верного* понимания действительности писателем, отражавшим интересы революционной крестьянской демократии. У того же Решетникова мы встречаем весьма характерное мнение на этот счет. В письме к Некрасову, беспокоясь о «Подлиповцах», которых могла задержать цензура, Решетников высказал свое писательское profession de foi: «по-моему, написать это иначе — значит говорить ложь... Наша литература должна говорить правду». О правде «без всяких прикрас» (Н. Чернышевский), «трезвой правде» (Тургенев), о «голой правде», (Н. Александров), о «кошмарно-страшной правде» (проф. С. А. Венгеров), о правде «без дурацких прикрас» (М. Протопопов) у Н. Успенского, Решетникова и других писателей-демократов недаром много спорили представители буржуазно-дворянского либерализма (напр. Тургенев), которых, естественно, должна была привлечь именно эта сторона в творчестве наших писателей.

V

Про 60-е годы реакционеры (В. Авсеенко) говорили, что литература этого времени провоняла мужиком. В этой насмешливой, а, по сути дела, издевательской, характеристике есть зерно истины.

Вопреки эстетическому канону дворянской литературы, вопреки «артистической теории» искусства и усиленным крикам со стороны критики того же лагеря, раздавшимся в 50-е годы, о том, что мужик, простой народ не может быть предметом литературного изображения, революционно-демократическая беллетристика ввела мужика в «салоны современной беллетристики» (выражение П. Ткачева).

П. В. Анненков, разбирая роман Д. В. Григоровича «Рыбаки», в 1853 г. высказал такую точку зрения: «Григорович создал роман в трех частях из истории одного рыбацкого семейства. Легко видеть, какая тяжелая задача предстояла автору — развить в форме художественного романа жизнь до того несложную, что первое слово каждого лица заключает в себе все остальные его речи, и первая мысль его отражает уже целый ряд мыслей, какие будут приходить к нему во все существование его» [23]. Либерал П. В. Анненков перекликался в этом вопросе с Ф. В. Булгариным, который уверял читателей «Северной Пчелы» в разгар появления произведений натуральной школы, что утомительно скучно было бы произведение, если бы писатель взялся описывать подробно «житье-бытье, приемы и занятия какого-нибудь кузнеца, лавочника, извозчика» [24]. Демократ-писатель, напротив, старался «вбить в себя народные интересы». Щедрин, например, писал о мужике, как единственном источнике литературы: «Иной среды, от которой можно было бы ждать живого, не заеденного отрицанием слова, пока еще не найдено, а потому литература не только имеет право, но даже обязана обращаться прежде всего к исследованию именно этой грубой среды и понимать даваемый ею материал в том виде, как он есть, не смущаясь некрасивой внешностью и не отвращаясь от темных сторон, которые ее обусловливают» [25]. Больше того, писатель-демократ, по справедливому указанию М. Горького, в лице Н. Помяловского решительно «указал литераторам на необходимость «изучать всех участников жизни», нищих, пожарных, лавочников, бродяг». Он же показал и нищету петербургских низов. Другой писатель, Н. Решетников, еще более расширил тематику и показал р а б о ч и х того времени, их быт, жизнь и борьбу за свои интересы. В. А. Слепцов в своих очерках обрисовал новую кабалу и новую жестокую эксплоатацию, уносившую силы и жизнь выброшенных деревней крестьян — рабочих, кабалу, созданную новым распорядителем жизни — капиталом.

Работы для писателя в деле изображения этих новых героев литературы был непочатый край.

Но перед писателем-демократом одновременно встала разрушительная задача. Одни из писателей-демократов взяли на себя задачу разрушения иллюзий, созданных либерально-дворянской прессой вокруг «пресловутого» освобождения крестьян. Другие стали разоблачать «фальшивые» отношения эксплоататоров, всякого рода либералов-помещиков, кулаков-мироедов, кулаков-торгашей и т. п. Третьи — внедрять в сознание народной массы новые понятия о человеческой жизни в новых условиях.

У Ленина имеется исчерпывающая характеристика взглядов революционных просветителей 60-х годов. Их вдохновляла «горячая вражда к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная «черта» просветителя. Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещенья, самоуправленья, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта просветителя это — отстаивание интересов народных масс, главным образом, крестьян» [26].

Со всем этим надо было спешить. Эпоха была настолька интересна и любопытна, что наши писатели должны были охапками хватать материал и претворять его в литературные произведения. Жизнь требовала срочных ответов на поставленные вопросы. Беллетристы-демократы писали повести, рассказы, романы, очерки. Чернышевский создает большой социально-политический роман. Н. Успенский пишет очерки и рассказы, Н. Помяловский — повести, В. Слепцов дает ряд очерков, рассказов и большой роман.

В то же время была необычайная тяга, стремление знать новую жизнь «которая только что переворотилась и укладывается»; нужен был новый

материал. Создана была своеобразная теория собирания материала беллетристом. «Прием натуралиста — вот тот новый прием, которым следует вооружиться новому беллетристу, собирание новых идей и фактов для будущих выводов — вот задача нашего времени», — писал Н. В. Шелгунов.

Кроме того, условия цензурной печати толкали на путь использования фактов для достижения пропагандистско-агитационных целей. Добролюбов в письме к С. Т. Славутинскому в апреле 1860 г. давал совет и пояснение, как читать затаенные мысли автора, излагаемые «между фактов». «Чтобы ваши труды не пропадали в цензуре, необходимо говорить фактами и цифрами, не только не называя вещей по именам, но даже иногда называя их именами, противоположными их существенному характеру». Здесь не только ясно характеризованы условия работы революционных демократов, но и объяснены причины эзоповского языка их произведений. Подцензурные условия необходимо учитывать.

В ответ на эти требования создается демократическая беллетристика: рассказы, очерки, записки, дневники, — словом, свой литературный стиль, в центре произведений которого стоит деревня, мужик, его быт, его интересы. Этот стиль противостоял дворянской литературе и в отношении идейно-политического осмысления явлений и в отношении изобразительных средств; отличался он и от лагеря радикальных разночинцев.

Семейно-усадебному роману дворянской литературы революционными демократами противопоставлен социально-политический роман, бытовому очерку — боевой публицистический очерк, взрывавший иллюзии либеральных повествований о пресловутых реформах того времени.

Для иллюстрации своеобразия поэтики демократической литературы возьмем теорию сатиры, созданную революционным демократом Н. А. Добролюбовым, и сопоставим ее с теорией Писарева.

VI

Сатира, по убеждению Добролюбова [27], должна быть направлена на разрушение основ феодально-крепостнического строя, на ниспровержение всей политической системы в ее основаниях. Сатирики в «прошлом», по мнению Добролюбова, не возвышались до критики общественного порядка в самом его корне, до бичевания и осуждения всего строя в целом. «Старики в прошлом,—писал Добролюбов,—нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращении с низшими, подлость перед высшими и пр. Но весьма редко в этих обличениях проглядывала мысль, что все эти частные явления суть не что иное, как неизбежное следствие ненормальности всего общественного устройства. Большею частью нападали они на взяточников, так, как будто бы все зло взяточничества зависело единственно от личной наклонности таких-то к обдиранию просителей. Никогда в сатирах наших вопрос о взятках не переходил в рассмотрение общего вреда бюрократии и тех обстоятельств, которыми сама бюрократия порождена и развита». Анализ «обстоятельств», породивших бюрократию с ее отвратительными чертами, — поставил бы сатирика в резко враждебное отношение к существовавшему режиму и господствующим классам. До этого сатирики екатерининского времени, ставившие себе цели воспеть Фелицу или угодить меценату-вельможе, люди, тяготевшие к господствующему классу, — не поднялись». В качестве основного порока этой сатиры Добролюбов справедливо указывает на то, что эта сатира не выдвинула вопроса о в р е д е л и ч н о г о п р о и з в о л а и о необходимости для блага общества «общей силы закона», которою бы всякий равно мог пользоваться. Так намеками («личный произвол», «общая польза закона» для всех, а не только для «высших классов») Добролюбов указывал на основные проблемы для той новой сатиры, какую он противопоставлял

прежней, созданной дворянским флангом писателей, сатиры действенной, актуальной и полезной. «Обличения были безуспешны в век Екатерины, — заключает критик.—Причиною же безуспешности мы признаем, главным образом, наивность сатириков, воображавших, что прогресс России зависит от личной честности какого-нибудь секретаря, от благосклонного обращения помещика с крестьянами, от точного исполнения указов о винокурении. Они не хотели видеть связи всех частных беззаконий с общим механизмом тогдашней организации государства [разрядка здесь наша. — *Н. Б.*] и от ничтожнейших улучшений ожидали громадных следствий, как, например, уничтожения взяточничества от учреждения прокуроров и т. п.». Иными словами, «постоянная связь сатиры с официальным ходом русской жизни» (выражение Добролюбова) обрекала сатиру прежнего времени на бесплодие, слабость, бесцельность усилий.

Бичевание нравов, по мысли критика, не исчерпывает всей сатиры. Нравы производны, они зависят от более глубоких причин. И Добролюбов высказывает правильное осуждение сатире екатерининской эпохи за то, что сатирики этой поры «никогда не добирались до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, отчего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия. Характер обличений был частный, мелкий, поверхностный, и вышло то, что сатира наша, хотя, повидимому, и говорила о деле, но, в сущности, постоянно оставалась пустым звуком».

Словом, эта сатира шла обыкновенно вслед за административными распоряжениями и карала зло, уже официально пораженное. Критика основ этого строя,—развенчание зла в самой его сущности, вот что составляет сущность сатиры по мысли Добролюбова. Революционный демократ, отстаивавший мысль о революционной борьбе с царизмом, последовательно проводит ту же мысль и в решении вопроса о том, чем должна стать сатира в руках сторонников его партии, какие цели она должна преследовать в деле достижения интересов крестьянской демократии 60-х годов. Если «осторожностью, чтобы не повредить зданию существующего порядка, постоянно руководились сатирики времен Екатерины», то сатирики 60-х годов, по мнению Добролюбова, должны были направить удары по этому зданию, расшатать его стены и разрушить его до основания.

Если по глубокому убеждению революционного демократа Н. А. Добролюбова, сатира должна быть беспощадной, должна была давать оценку самодержавно-крепостнической России с точки зрения угнетенных и эксплоатируемых крестьян, должна была до баррикад быть орудием борьбы против основ царской России, то радикальный разночинец Писарев ставил сатире более умеренные задачи. Мы имеем прямые высказывания Писарева о сатире одного из представителей революционной демократии 60-х годов — Салтыкова-Щедрина и они-то (высказывания) прекрасно показывают все расстояние между Писаревым и лагерем революционной демократии. Правда, надо учесть, что критическую статью о Щедрине Писарев писал после спада революционного подъема 60-х годов, когда радикальный разночинец стал колебаться, «трезветь», склоняться к либерально-буржуазным позициям.

Оценка Писаревым сатиры демократов, разоблачавших крепостнический характер крестьянской реформы, вытекала из его социально-политических убеждений, что реформа 1861 г. целиком устранила крепостничество и существующий порядок не подлежит осмеянию с тех именно сторон, какие бичевали революционные демократы. «Крестьянскую реформу» 61-го года... либералы сначала подкрашивали, а потом даже прославляли», — говорит Ленин [28].

Возражая Щедрину, вскрывавшему в своих произведениях смело и решительно мерзости феодальных порядков, поддерживаемых крепостниками и

после «пресловутого» освобождения крестьян, Писарев дал такой совет сатирику.

«Все внимание сатирика, — писал он, — направлено на вчерашний день и на переход к нынешнему дню. Хотя этот переход совершился очень недавно, но он очевидно составляет для нас прошедшее, совершенно законченное и имеющее чисто исторический интерес; а историю эту писать еще слишком рано, да и совсем это не щедринское дело. Конечно, крепостное право так глубоко отравило все отправления нашей народной жизни, что тяжелая старина долго еще будет давать себя чувствовать в разных воспоминательных ощущениях весьма неприятного свойства... все это так, но все эти отпрыски срубленных деревьев надо изучать именно в их теперешних видоизменениях; и, чтобы изучать их, нет никакой необходимости восходить ни к тем векам, когда деревья стояли на корню, ни к тем минутам, когда деревья стали трещать под топором. Прошедшее само по себе, переход сам по себе, а настоящее тоже само по себе. В истории все эти моменты, разумеется, связаны между собой и объясняют друг друга, как необходимое сцепление причин и следствий, но опять-таки никому в голову не приходит требовать и ожидать от Щедрина истории, а сатира хороша только тогда, когда она современна. Что мне за охота и за интерес смеяться над тем, что не только осмеяно, но даже уничтожено законодательным распоряжением правительства» [20].

Как видно Писарев недооценивал значение борьбы с пережитками крепостничества в современности. Неверная в политическом смысле позиция критика оказалась чреватой ошибками в литературно-художественной области.

Добролюбов не только размышлял над судьбами русской сатиры в прошлом, не только осмысливал характер и пути сатиры своего направления, не только создал продуманную теорию этого жанра, не утратившую значения и интереса по сию пору, но и выступал как сатирик, он владел этим пером и оставил значительное наследство, как политический поэт.

В полном согласии со своими социально-политическими взглядами Добролюбов сам выступил сатириком. В студенческом рукописном журнале «Слухи», за три-четыре года до большой принципиальной статьи «Русская сатира» (1859) Добролюбов бросил изумительно смелый, для юноши студента, вызов самодержавному деспоту. В одной из этих ранних сатир (1855), появление которых в печати стало возможным только после революции, Добролюбов, в момент усиленных попыток со стороны правительства поднять патриотический дух после падения Севастополя, решился сказать следующие слова, полные сарказма и негодования по адресу царей: «Говорят, не может быть преданности к царю более той, какую имеют русские; но, кажется, если бы одна из этих карет (в каких ехала царская семья на церемонию 30 августа 1855 г. по случаю именин наследника, будущего Александра II) помазана была господом богом на царство русское, то народ в тысячу раз более имел бы благоговения к такому помазаннику». Для того, чтобы сказать это в эпоху жестокой реакции Николая, нужна была не только огромная смелость, но и глубокая уверенность в истине. Так и было на самом деле: «Жизнь, безопасность личную отдам я на жертву великому делу»,— признавался юный Добролюбов в «Дневнике» 1855 г.

Сатира Добролюбова была беспощадна не только в отношении бездарных носителей «личного произвола», но и в смысле разоблачения лжи самого принципа самодержавия. «Он (т. е. Николай), — писал в сатире «Николай 1-й» (1855) Добролюбов, — в своем уложении положил уголовное наказание тому, кто будет заниматься из русских подданных продажею негров, а между тем он спокойно смотрел на продажу и покупку крестьян — этих белых негров».

В «Оде на смерть Николая I-го» (1855) Добролюбов отозвался на это событие так, как подобает противнику самовластья:

Один тиран исчез, другой надел корону,
И тяготеет вновь тиранство над страной.
И ни попыткою, ни кликом, ни полсловом
Не обнаружились трусливые сердца,
И будут вновь страдать при сыне бестолковом,
Как тридцать лет страдали при отце.

Обращаясь к новому тирану, юный демократ угрожал:

Поверь, на зло царям, к свободе Русь придет,
Тогда не пощадит тирана род несчастный.
И будет без царей блаженствовать народ.

Революционный подвиг молодого студента Розенталя послужил сюжетом целого стихотворения Добролюбова «К Розенталю» (1856), в котором он приветствовал этого «поборника истины, друга вольности народной», разбудившего «дремлющих рабов». В одной из юношеских сатир Добролюбов выступает против крепостного права, — вопроса, из-за формы разрешения которого шла ожесточенная борьба в те годы между крепостниками и представителями буржуазно-дворянского либерализма, с одной стороны — и представителями крестьянской демократии, с другой.

Добролюбов решительно стоял за устранение всей системы крепостнического строя и всех остатков феодализма в стране. В сатире он звал к решительному переустройству общественных отношений. Не осмеяния обыкновенных человеческих слабостей, а разрешения коренных политических вопросов требовал в теории и проводил в своей ранней сатире Добролюбов.

В сатирах Добролюбов обрушился со всей силой на порядки и нравы царской сатрапии, на отталкивающую презренную личность самого Незабвенного (Николая): «Не лист, не два, а несколько томов можно наполнить рассказами его (Николая) ужасных отвратительных деяний. Каждое имя из приближенных к нему людей давно уже сделалось символом низости, грубости, воровства, невежества. А сколько произвола, сколько неуважения даже к тем правилам, которые ими самими постановлены».

С 1857 г. Добролюбов становится одним из главных сотрудников «Современника» и печатает в этом журнале и «Искре» свои сатирические произведения. С 1859 г. он создает, печатавшийся как приложение к «Современнику», знаменитый «Свисток». В девяти номерах последнего Добролюбов поместил большую часть своих сатир. Печатание в подцензурной журналистике, разумеется, оказало влияние на тематику сатиры Добролюбова; касаться политической власти он не мог. Но актуальность содержания его сатиры не снизилась. Добролюбов нашел не менее острые и злободневные объекты, заслуживавшие беспощадной критики. Буржуазно-дворянский либерализм подвергся в сатире Добролюбова этого времени двойной критике,— с одной стороны, как политическая доктрина, с другой, как теория искусства. То и другое в представлении Добролюбова тесно связано и взаимно дополняло одно другое.

«В дворянской и прогрессивной части буржуазии, — писал Добролюбов, — существуют либеральные наклонности, но у них, кажется, никогда не было никакой определенной программы. Это — либерализм надежд и желаний, который охотно мирился бы со всяким правительством, лишь бы оно [было] не так безнравственно и позорно, как нынешнее». Вскрыть так определенно политическое единство либерализма с правительственной организа-

цией царской России в те годы, когда к ней сочувственно относились такие люди, как Герцен, когда она преследовала либералов, когда либерализм принимал позу протеста, — для этого надо было иметь большую политическую прозорливость.

С не меньшей решительностью в сатирическом искусстве Добролюбов показал, что либерализм не был силой в борьбе против социальной несправедливости. Либеральный фрондер нападал на отдельные установления власти и отдельные пороки общества, но не в силах был подняться до критики основ политического строя. Добролюбов вскрыл оппортунизм либеральной сатиры М. Розенгейма. Добролюбов показал, что либерал Розенгейм при кажущейся смелой критике действительности «не может взять на себя каких бы то ни было изменений и улучшений в общественном порядке» (Добролюбов). В своих критических статьях он заклеймил мелкотравчатость либерального обличительства (например, в статье «Литературные мелочи прошлого года», 1857). В сатирических стихотворениях образ либерального деятеля наделен теми же чертами. В стихотворении «Страдания вельможного филантропа» (1858) и «Общественный деятель» (1859) разоблачается показная отзывчивость болтуна-филантропа, все «благие намерения» которого останавливаются «из-за помех ничтожных и смешных» (не может ехать на тройке, так как четвертая лошадь больна). Стих. «Пора» (1858), «Хор литературных обличителей», «Моему ближнему» (1858), «Мысли помощника винного пристава» (1859) направлены против либеральных «прогрессистов», лжеобличителей, разглагольствовавших об «отдельных недостатках общества», подлежащих устранению путем мирных реформ, — и лицемерно взывающих о подвиге, самопожертвовании и т. п. с «позволения начальства... и в пределах дозволенных».

Коль наскучил ему нашей песнею,
Долг его (генерала) — приказать нам молчать,

так говорит либеральный болтун в сатире Добролюбова.

Большинство сатир является откликами на тогдашние события русской и западноевропейской жизни. В этом смысле интересно указать на «Опыты австрийских стихотворений» соч. Якова Хама (псевдоним Добролюбова). Австрией сатирик воспользовался для разоблачения порядков царской России, так как социально-политическое состояние России и Австрии в те годы представляло разительное сходство: в этих монархиях были расстроены финансы, обременительные налоги давили народ, угнетала строгость цензуры, шла борьба с вольномыслием и наукой, назревал глубокий кризис в стране после неудачных войн (Австрия потерпела поражение в войне с Италией в 1854 г., Россия — в Севастополе в 1856 г.). Издеваясь над Австрией, Добролюбов, несомненно, метил и в Россию, о которой он не мог прямо говорить из-за строгостей цензуры. Также сравнением с Сирией Добролюбов вынужден был показать современникам жестокость колониальной завоевательной войны России на Кавказе. В стихотворении «Сирия и Крым. Ода на выселение татар из Крыма» в серии стихотворений Конрада Лилиеншвагера Добролюбов изображает «поэтический контраст» мудрого и кроткого правления в России и волнений в Сирии, смысл которого в том, что под видом прославления России обличается угнетение и грабеж царскими сатрапами крымских татар, вынужденных бежать из Крыма:

Никто не принуждал их к перемене веры,
Не отнимал ни хлеба, ни земли,
Но обольщенные невежеством и ленью
Татары самовольству предались,

И вдруг, покорствуя какому-то внушенью,
Все наутек из Крыма поднялись.

Добролюбов сумел в подцензурной прессе открыто и с поразительной точностью показать противоположность социальных программ «черни» (народа) и прогресса (либерализма).

Чернь:

Прогресс стопою благородной
Шел тихо горною стезей,
А вкруг него, в толпе голодной,
К идеям выспренним несродной,
Носился жалоб гул глухой.
И толковала чернь тупая:
«Зачем так тихо он идет,
Так величаво выступая?
Куда с собой он нас ведет?
Что даст он нам? Чему он служит?
Зачем мы с ним теперь идем?
И нынче всяк, как прежде, тужит,
И нынче с голоду мы мрем...
Все в ожиданьи благ грядущих
Мы без одежды, без угла,
Обманов жертвы вопиющих
Среди царюющего зла.

Прогресс на эти вопли отвечает:

Молчи, безумная толпа!
Ты любишь наедаться сыто,
Но к высшей правде ты слепа,
Покамест брюхо не набито!..

. . . .

Раба нужды материальной
И пошлых будничных забот,
Чужда ты мысли идеальной!

Добролюбов был кровно заинтересован в отстаивании интересов бедняков. В стихотворении «Бедняку» (1858) Добролюбов восторженно отзывается о вопле бедняка, как единственного живого человека в мертвой стране:

Горькой жалобой, речью тоскливой
Ты минуту отрады мне дал:
Я средь этой страны молчаливой
Уж и жалоб давно не слыхал...

Горе и разоренье в деревне, тяжелая доля солдата, социальное расслоение в городе — все это нашло отклик в ряде сатирических стихов Добролюбова («Газетная Россия», «Перед дворцом» и др.).

Социальный контраст богатства и бедности в капиталистическом городе Добролюбов не только осудил с позиций защитника беспомощной нищеты («Перед дворцом»), но сумел показать зарождение в этих условиях плебея борца, бросающего вызов эксплоататорам. (См. выше приведенное стих. на стр. 79).

Добролюбов гневно упрекал сатириков екатерининского времени за то что они «не спускались до простого люда», чуждались народных интересов

Как политическая экономия того времени, «гордо провозглашающая себя наукою о народном богатстве», заботилась «о возможно скорейшем увеличении капитала», так литература и сатира служили «классу капиталистов, весьма мало обращая внимания на массу людей, бескапитальных, не имеющих ничего кроме собственного труда», — писал Добролюбов.

Вполне естественно, что революционный демократ в своей сатире подверг осмеянию барскую эстетику и ее представителей. В «Стихотворениях Аполлона Капелькина» (1860) он высмеял К. Случевского, как провозвестника «чистого искусства». «Юное дарование, обещающее проглотить всю современную поэзию» — это синтетический образ поэта версификатора, человека без убеждений. Он пародировал поэзию эстета и крепостника Фета, вскрывая гипертрофию эротики в дворянской поэзии (стих. «Вечер. В комнате уютной»). Контрастом черт натурализма и обнаженностью сюжета Ап. Капелькин (Добролюбов) разрушил покров романтики фетовской лирики. Он пародировал либеральные стихи М. Розенгейма, едко иронизировал над Вл. Соллогубом и его героем Надимовым, чиновником, праздно мечтавшим о подвиге и т. п. (стих. «Пора. Обновление Руси»).

Добролюбов использовал в комическом смысле песенку Мэри из «Пира во время чумы» Пушкина.

В целом сатира Добролюбова в ряду жанров, созданных революционно-демократическим крылом литературы 60-х годов, занимает видное место. Ее значение вынужден был признать даже умеренно-либеральный критик Аничков, писавший, что «политические стихи (Добролюбова) имели в свое время успех, как таковые, да и до сих пор, по справедливости, успех этот за ними, общественное значение их немаловажно».

Однако, сатира Добролюбова, несправедливо обруганная мракобесом А. Волынским, усмотревшим в «Свистке» ряд «грубых и бестактных ошибок на публицистической почве», была несправедливо забыта. При своем появлении она вызвала острые споры, — признание со стороны революционной демократии, резкое осуждение со стороны реакционеров. Варф. Зайцев склонен был ценить в Добролюбове только талант поэта и публициста и отказывал ему в значении литературного критика. «Добролюбов, будучи плохим или вовсе не будучи критиком, был сатириком, публицистом», — писал он в 1864 г. В том же году П. А. Вяземский, с которым Добролюбов сталкивался как с товарищем министра народного просвещения из-за резкой сатиры на юбилей Греча, поэт и когда-то либерально настроенный друг Пушкина, отверг поэзию Добролюбова. В эпиграмме на Добролюбова он заявил:

Как ни хвали его усердный круг друзей,
Плохой поэт был их покойник;
А если он и соловей,
То только — соловей-разбойник.

Добролюбов был в критике социалистическим Лессингом, по меткому определению Ф. Энгельса. Таковым он выступает и в своей сатире. В этом была сильная, революционная сторона его сатиры. Революционный демократ звал и в сатире и в статьях к социальной революции и убеждал, что сатира, создаваемая в защиту интересов народа, должна не плестись за законом, а итти впереди жизни, бичуя ее «аномалии». Отвечая реакции и либералам и обращаясь к демократии, Добролюбов писал: «С изменением форм общественной жизни, старые принципы тоже принимают другие, бесконечно различные формы, и многие этим обманываются. Но сущность дела остается всегда та же и вот почему необходимо, для уничтожения зла, начинать не с верхушки и побочных частей, а с основания». В полном согласии с этой программой Добролюбов писал сатиры, делая их орудием политической борьбы с царизмом, с реакцией и либерализмом.

В глазах Добролюбова в 60-е годы в эпоху нарастания революции сатира была наиболее приемлемым средством борьбы. Расцвет сатиры знаменовал, по его мысли, не только повышение общественной сознательности, но и приближение самой революции. Сатира — это предвестник революции. Именно так осознавал Добролюбов генезис сатиры того времени «...является ропот, негодование, и в литературе он выражается сатирой, сначала глухой, действующей намеками в басне, потом более открытой—в сатире лирической и драматической» (1858). В этом иносказании можно видеть, что Добролюбов связывал зарождение и развитие сатиры с революцией.

Как понять такую оценку сатиры Добролюбовым?

Добролюбов, в силу условий самодержавно-полицейского строя России, высоко ценил литературу, он был беззаветно предан ее интересам. Литература в его глазах вырастала в союзницу революции. Пока нет революции, нет открытой борьбы, нет баррикад, литература — агитатор и пропагандист революционных идей в массе народа. Сатира из всех литературных жанров, по преимуществу, может стать рупором для выражения протеста и критики, средством для выражения призывов к решительному ниспровержению существующего строя, а также и для провозглашения революционных идей. Добролюбов и выступал в сатире против царизма и его произвола, против основ помещичье-барской России, против крепостничества и его остатков, против представителей буржуазно-дворянского либерализма и реакции в литературе, против эстетов и чистого искусства.

К стихотворной форме Добролюбов нередко прибегал для быстрого отпора и спешного разоблачения политических выступлений своих врагов. Так, всем памятна сатирическая атака Добролюбова на либеральных болтунов, почтивших память Белинского «пышным обедом». Вернувшись с обеда, происходившего 6 июня 1858 г., Добролюбов немедленно написал «Тост в память Белинского» и тут же разослал участникам свои гневные инвективы.

Требуя от сатиры действенности и злободневности, Добролюбов восставал против «голого дидактизма», что видел в стихах Жемчужникова и А. Плещеева. «Если у нас нет еще... общественной живой поэзии, а все попытки на нее сбиваются на памфлеты, то нужно жалеть об этом явлении и желать, чтобы поэты наши посвятили себя серьезнее поэзии жизни» (Дневник 1857 г.). Реализм, историческая правдивость сатиры Добролюбова, объективно-историческое содержание, отражавшее очередные и коренные вопросы эпохи, нередко были облечены Добролюбовым в высокую художественную форму. В сатире Добролюбова чувствуется усиленное биение новой жизни, высказана непримиримая критика и суд над отсталыми явлениями общественной жизни; здесь звучит не пассивное страдание, а пламенное приятие новой жизни, активная жизнедеятельность и несгибаемая твердость убеждений революционного демократа. Сатира Добролюбова органически объединялась с публицистикой и критической деятельностью Добролюбова; она росла в связи с подъемом революционно-политического сознания демократа. Сатира была в руках Добролюбова таким же оружием, как отточенное перо критика. Обоими оружиями Добролюбов владел в совершенстве и разил врагов революции.

VII

Борьба с дворянской литературой сочетается у вождей революционной демократии с построением новой демократической эстетики: искусство должно подражать жизни, должно быть реалистическим искусством. Такой реалистической в своих основах и была демократическая беллетристика. Напи-

санный Чернышевским трактат: «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), стал эстетическим манифестом для писателей революционной демократии. Выход в свет этого трактата совпал с выходом первых очерков Н. Успенского, зачинателя демократической литературы о мужике.

Н. В. Успенский (1837—1889) начал печататься в «Современнике» с приходом туда Чернышевского. Первый его очерк появился в 1858 г.

Н. Успенский первый безраздельно посвятил свои очерки раннего демократического периода (с 1857 по 1860 г. приблизительно) мужику, деревне, мужицкой темноте и невежеству. Чернышевский ценил в творчестве Н. Успенского то, что он пишет «правду без всяких прикрас». Впервые в очерках Н. Успенского раздался голос смелого, правдивого повествователя о мужике, отличного по типу и манере изображения от деревенских очерков писателей дворян.

Чернышевский в статье «Не начало ли перемены?» (1861) развил мысль о зарождении демократической литературы, отличной от либерально-дворянской; о размежевании этих двух литературных потоков и необходимости демократическим писателям при изображении деревни и мужика итти дальше писателей либерально-дворянского лагеря. «Таково было отношение прежних наших писателей к народу. Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть, который может получать себе пользу только от нашего сострадания. И вот писали о народе точно так, как писал Гоголь об Акакии Акакиевиче. Ни одного слова жестокого или порицающего. Все недостатки прячутся, затушевываются, замазываются. Налегается только на то, что он несчастен, несчастен, несчастен. Посмотрите, как он кроток, и безответен, как безропотно переносит он обиды и страдания! Как он должен отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это забитое существо, с таким благоговением смотрящее на нас, столь готовое проникаться беспредельною признательностью к нам за малейшую помощь, за ничтожнейшее внимание, за одно ласковое слово от нас. Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича».

Иной характер носит изображение и показ народа у Н. Успенского; причину этого Н. Чернышевский видел в различии отношения писателя-демократа к народу. «Замечали ли вы, какую разницу в суждениях о человеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему, — говорить в ином тоне было бы вам совестно. Но совершенно другое дело, когда вы полагаете, что беда, тяготеющая над человеком, может быть отстранена, если захочет он сам и помогут ему близкие к нему по чувству. Тогда вы не распространяетесь о его достоинствах, а беспристрастно вникаете в обстоятельства, от которых происходит его беда. Обыкновенно вы находите, что нужно перемениться и ему самому, чтобы изменилась его жизнь; вы замечаете, что напрасно он делал в известных случаях так, а не иначе, что ошибался он относительно многих предметов, что в характере его есть слабости, от которых надобно ему исправляться, что в привычках его есть дурное, которое должен он бросить, что в образе его мыслей есть неосновательность, которую должен он уничтожить более серьез-

ным размышлением. Как бы ни началась ваша речь о таком человеке, незаметно для вас самих переходит она в укоризны ему. А вы, когда действительно желаете ему добра, ни мало уже не конфузитесь этим, — вы чувствуете, что в суровых ваших словах слышится любовь к нему и что они полезны для него, гораздо полезнее всяких похвал».

Чернышевский не только истолковал творчество Н. Успенского, как начало новой литературы, но в связи с этим поставил проблему эстетического порядка и проблему об отношении литературы к революции. Противопоставляя Н. Успенскому творчество писателей-дворян, идеализировавших крестьянина, Чернышевский утверждал, что «прежние отношения к народу, как будто к невинному в своем злосчастии Акакию Акакиевичу, никуда не годятся». Успенский знает это и берет на себя задачу показать недостатки живых мужиков. «Успенский выставил нам русского простолюдина простофилею, — говорит Чернышевский, — и если находим какое-нибудь качество в дюжинных людях русского мужицкого сословия, изображенных у г. Успенского, то в этом же самом качестве мы готовы уличить и огромное большинство людей всякого сословия». Однако в этом критик видит решительный поворот писателя к мужику, к народу: «Очерки Успенского производят тяжелое впечатление на того, кто не вдумывается в причину разницы тона у него и у прежних писателей. Но, вдумавшись в дело, чувствуешь, что очерки г. Успенского — очень хороший признак. Мы замечали, что решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большей разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного».

«Нынешние времена», столь отличные «от недавней поры», — это была революция 1861 года, вернее говоря, перспектива революции. Но революционная обстановка, не приведшая к революции, все-таки была обстановкой революции, и понять Чернышевского невозможно, если не рассматривать его деятельность во всех ее деталях в связи с тем, что она была лишь отражением подготовки и нарастания революционного кризиса. Статья об Успенском писана в разгар, в момент подъема революционной волны в крестьянстве [30], напечатана она была в ноябрьской кн. «Современника» (1861) и отзвуки революционных настроений в статье Чернышевского явственно звучат. До сих пор в литературе недостаточно обращено внимания на эту сторону дела; недостаточно оценили эту статью Чернышевского, как призыв к революции. Но этот призыв в ней есть, хотя и выражен в весьма скрытой форме. Придя к выводу, что в очерках Успенского дана картина народной жизни «непривлекательная: на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость», Чернышевский заканчивает статью намеком на революционный путь выхода из этого положения для крестьянства. «Но не спешите выводить, — говорит Чернышевский, обращаясь к читателю «Современника»,— из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших описаний, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергичных усилий, отважных решений. То же са-

мое встречается и в истории каждого народа» [разрядка здесь наша. — *Н. Б.*]. Вместе с этим указанием на революционный путь борьбы, неизбежный для крестьянства, Чернышевский сумел протащить через цензуру и другое не менее важное указание на массовость революции, на участие в ней народа, ее низов, «дюжинных», «бесцветных» людей. Больше того, Чернышевский, писавший эту статью в атмосфере революционных сдвигов и приближающейся крестьянской революции, бросил смелую мысль о революционном восстании масс. Этот намек ясен в следующем рассуждении Чернышевского. Указав, что Успенский показал «простофильство» мужика и приведя слова некрасовской «Песни убогого странника», Чернышевский говорит: «Жалкие ответы, слова нет, но глупые ответы... Ответы твои понятны только тогда, когда тебя признать простофилею. Не так следует жить и не так следует отвечать, если ты не глуп» [разрядка наша. — *Н. Б.*]).

Проводя мысль о революционизирующем значении творчества Н. Успенского, Чернышевский выдвинул вопрос о реализме его очерков. Это особенно ясно проступает в оценке Чернышевским рассказа «Обоз», о котором так много писала в те годы критика всех лагерей: «Кажется, — говорит Чернышевский, — если бы г. Успенский написал только эти три-четыре страницы о народе, (что составляют «Обоз»), мы и тогда должны были бы назвать его человеком, которому удалось так глубоко заглянуть в народную жизнь и так ярко выставить перед нами коренную причину ее тяжелого хода, как никому из других беллетристов».

Чернышевский обошел молчанием связь художественного творчества Н. Успенского с его социально-политическими убеждениями, он умолчал и о политических взглядах писателя, что, естественно, было из-за политических и цензурных условий. Сейчас у исследователей мало материалов для суждения об этом, но все же небольшой, но ценный и надежный источник есть. Сохранилось письмо Н. В. Успенского к К. К. Случевскому из Парижа от 24 июня 1861 г., в котором Н. Успенский высказал ясно свои социально-политические взгляды. Он писал:

«Но находятся же такие пакостные люди, как, например, Боткин, которые стоят за Александра Николаевича (т. е. за царя). Боткин, когда я сказал, — пишет Н. Успенский, — что мне Рим не понравился, как всякий город, задыхающийся от бедности и лишений, потом, что манифест русский — вероятно вздор, и что я не верю в освобождение, он меня принялся ругать закорузлым невеждой (я у него спросил, не болит ли у него желудок, — он сказал, что точно, пищеварение трудно совершается), потом сказал:

«Новые положения, недавно объявленные правительством, — превосходны, и пусть ваш мужик околеет, если не воспользуется этими положениями, — наконец он заключил: а я давно говорил Герцену про Александра Никол[аевича]: «Не ругай ты его, пожалуйста»! Да, как Герцену, так и Боткину пора-пора прочитать отходную, а то просто спеть вечную память! Знаете, что теперь Герцен пишет: «Мозг разлагается, кровь стынет в жилах при рассказах о ужасах в России». Это говорит тот, кто до сей поры все изливал свою веру и надежду на Алекс[андра] Н., да! По всей вероятности — у этих людей мозг уже разлагается... а у Боткина первого, это я знаю верно»[31]. Н. Успенский идейно отмежевался от Боткина и от Герцена, он не в стане либерализма, ни на стороне колеблющегося между либерализмом и демократизмом Герцена. Успенский на стороне революционных разночинцев, т. е. на стороне Чернышевского. Это письмо значительно восполняет пробел в политическо-идейном облике Н. Успенского. Оно вполне определяет если не социальную программу, то ту тенденцию, которую отстаивал писатель в своем творчестве,— тенденцию, близкую Чернышевскому, ставя-

щую Н. Успенского безусловно в ряды революционных демократов, стоявших за «американский» путь развития капитализма.

Всего этого было достаточно, чтобы Н. Успенский после появления в печати первых же очерков стал знаменем враждебной литературы в глазах буржуазно-дворянских писателей. Это отношение очень характерно прорвалось в оценке Тургеневым рассказа В. Слепцова, появившегося в 1861 г. Тургенев в письме к В. Боткину от 21 сентября 1863 г. для наибольшей понятности человеку своего кружка сравнил очерк нового писателя В. Слепцова с творчеством известного Н. Успенского: «Прочел ли ты в «Современнике» рассказ вроде Успенского под названием «Питомка» некоего Слепцова? — Это пробирает до мозга костей, — и, пожалуй, тут сидит большой талант. Но один реализм губителен; правда, как ни сильна, не художество. Но в этом рассказе есть что-то «кроме одной правды» [32].

Любопытно, что Тургенев не только указал на «партийность» очерка В. Слепцова, но отметил беспристрастно художественную сторону очерков Н. Успенского.

Актуальность тематики (деревня и мужик) и демократическая трактовка ее, более прогрессивная, чем своекорыстная — дворянская или либеральная — трактовка были причиной популярности творчества Н. Успенского в 60—70-е годы и длительной, страстной и оживленной полемики вокруг его произведений в те же годы. Полемика длилась годами; погасая, она вновь вспыхивала с появлением нового издания его очерков. В полемике высказались представители всех основных социально-общественных и литературно-критических группировок 60—70-х годов [33].

Основным в этой полемике было страстное стремление опровергнуть оценку революционного демократа Н. Чернышевского творчества Н. Успенского и противопоставить мнению его о революционизирующем значении очерков Н. Успенского понимание Н. Успенского то как незатейливого бытописателя, чуждого глубоких замыслов и далекого от революционного реализма, то как беззлобного юмориста и т. п. Словом, представители всех групп пытались «снизить» Н. Успенского и дать свое истолкование его, показав художественно слабые стороны его очерков. Видя угрозу либерально-дворянской литературе в этой новой силе, они всячески доказывали мысль о том, что этот писатель якобы «повторяет» Тургенева.

В ранний демократический период своего творчества Н. Успенский развернул в своих очерках борьбу на два фронта: против феодально-крепостнических порядков и его учреждений (напр. очерк «Старуха», 1854), угнетавших крестьян и «мелкий люд», и против либерализма. В очерке «Сельская аптека» (1859) Н. Успенский задолго до реформы 1861 г. и «массового появления» либеральных помещиков и проведения ими в своих усадьбах «мероприятий», направленных по видимости к улучшению «быта крестьян», разоблачал ярко и смело всю ложь этого типа помещика, проводившего улучшения за счет своих крепостных рабов и по сути остававшегося эксплоататором, как и все крепостники.

Мы ограничили свой анализ ранним периодом творчества Н. Успенского, закрепленного им в издании «Очерки народного быта», куда вошли очерки 1858—1860 гг. В эти годы ведущей тенденцией в творчестве этого писателя был демократизм. Позднее в творчестве Н. Успенского, хотя и изображавшего, например, хищническую буржуазию в деревне («Федор Петрович», 1866) или разоблачавшего либералов-земцев, оберегавших кулацкую эксплоатацию крестьянской бедноты (очерк «Старое по старому», 1870), однако наметился отход от просветительско-демократических позиций и трезво-правдивого, критически-реалистического освещения жизни крестьянства и разоблачения буржуазно-дворянского либерализма, о чем писал Н. Черны-

шевский. Надо отметить, что и в раннюю пору Н. Успенский как писатель был неровен; при наличии общих недостатков — как эмпиризм, временами отсутствие широких обобщений, глубины идейного замысла — юмор Н. Успенского был тяжел; попытки Некрасова (и надо предполагать, — Н. Чернышевского) повысить его культурность и побудить его писать романы закончились безуспешно. Поездку за границу, организованную ему Некрасовым, Н. Успенский не использовал должным образом и в начале 70-х годов он уходит из большой прессы.

Ранний демократический этап в творчестве Н. Успенского связан с работой в «Современнике», когда писатель, несомненно, подпадал под влияние Чернышевского. Этот период наиболее ценный в его творчестве и отмечен существенными чертами. Менее ценный период колебаний, шатаний и ската к «Русскому Вестнику» и мелкой прессе в 70-е годы мы оставляем в стороне.

VIII

Литературное направление, возглавлявшееся Чернышевским, было литературным авангардом революционной крестьянской демократии. Но применяя это положение, следует особенно остерегаться всякого упрощенства, всякой вульгаризации, всякого схематизма. Процесс становления этого стиля был в высокой степени сложным и противоречивым. А в 60-х годах стиль этот как раз находился в процессе становления.

Литературные, как и политические идеологи революционной крестьянской демократии рекрутировались в то время из среды разночинной интеллигенции.

Эта интеллигенция была многослойна и находилась под влиянием разных классов. Часть разночинной интеллигенции вовлеклась в орбиту влияния правящего крепостнического дворянства и — частью корыстно, а частью и искренне — превращалась в один из отрядов идеологической армии правящего класса. Противоположная часть разночинной интеллигенции превращалась в авангард революционной крестьянской демократии. Огромный же массив образованных разночинцев был неразрывными узами связан с городской мелкой буржуазией. Этот социальный строй, сыгравший такую выдающуюся роль во французской революции, в России играл совершенно иную роль.

Крестьянская демократия, внушая революционные настроения своему авангарду, оказывала воздействие на слои городской мелкой буржуазии. Вполне закономерно, что в сложном сплетении становящейся в 60-е годы революционно-демократической литературы вливавшаяся в нее струя мелкой городской буржуазии в лице лучших своих представителей прорывалась через барьер своей классовой ограниченности и выражала широкие общедемократические настроения и требования.

Яркий пример тому Н. Г. Помяловский (1835—1863). Находясь под прямым и непосредственным влиянием «Современника» и вождя революционной демократии Н. Г. Чернышевского, этот писатель, которого до сих пор упорно расценивают в критике как ограниченного идеолога мелкой городской буржуазии, отразил основные стремления подлинно революционной демократии. Выдвинутая им и развиваемая в ряде образов (Молотов, Потесин, Лесников) проблема формирования нового человека того времени — плебея-демократа является яркой иллюстрацией перерастания его из рамок узко-классовых до понимания общедемократических, наиболее исторически-объективных требований эпохи.

В критике установилось признание за творчеством Н. Помяловского того, что его произведения проникнуты неприязнью к барству, плебейским

самоуважением, стремлением к безбоязненно-правдивому показу суровой действительности. Критики указывают, что нередко в произведениях Помяловского звучат ноты гневного протеста против страданий и унижений, выпавших на долю трудящейся бедноты. Но зато-де тщетно искать здесь четкой революционной программы, что здесь протест заканчивается заботами о личном преуспеянии. Утверждают, что Помяловский в своем творчестве не сумел подняться на соответствующую идейную высоту; он, как художник, ограничивался показом относительно узкого круга городского мещанства и мелкого чиновничества.

Подобные оценки свидетельствуют только о том, что исследователи и критики не разобрались в том, какую значительную эволюцию проделал Н. Помяловский в сравнительно недолгий срок своего писательства (с 1856 до 1862 гг.).

Прежде всего отметим, что воинствующий демократизм — характернейшая черта его, как писателя и как человека. Близкий друг его Н. А. Благовещенский вспоминает: «На каждую силу, выходящую из мещанства или вообще из низших слоев общества, Помяловский смотрел с уважением и гордостью». «Вот это наши трогаются, — говорил он в восторге. — На барство-то рассчитывать нечего, а вот, ужо, погоди, наши выставят свои силы, не то будет» [34].

Помяловский был сторонником взглядов Н. Г. Чернышевского. В письме к последнему он заявил: «Я вас уважаю, мало того, я ваш воспитанник; — я, читая «Современник», установил свое мировоззрение» [35].

Помяловский сосредоточился на художественном изображении плебея-демократа, на проблеме роста его самосознания и самоопределения, как нового человека, как силы, отличной от барства, враждебной ему и презираемой барством. Нарисованы Помяловским четыре образа, в которых отразилась эволюция плебея в понимании писателя-демократа. Два из них всем известные — Молотов и Череванин; и третий менее известный Потесин, герой неоконченного романа «Брат и сестра» (1862), и четвертый — совершенно несправедливо игнорируемый образ учителя Лесникова.

Молотов, главный герой повести «Мещанское счастье», сын слесаря-мещанина, взятый на воспитание профессором, получил высшее образование. Попав в качестве учителя в усадьбу помещиков Обросимовых, он сталкивается с барским пренебрежением к себе, понимает свою чуждость, несродность с барской средой. В Молотове внезапно пробуждается гордость плебея, демократа. «Всю душу его *поворотило. Плебей?.. Нищий?..* Дворянского гонору нет?.. А я, дурак, думал, что они меня любят и доверяют мне... Черти, черти... Белая порода. Чем мы, люди черной породы, хуже вас? Мы мещане, плебеи, дворянского гонору у нас нет? У нас есть свой гонор».

В столкновении с «барами-кулаками, аристократишками» (выражение Помяловского) сформировался Молотов. «Он почувствовал, — пишет Помяловский, — что отделяется от общей массы людей, перестает быть какой-то неопределенной личностью, он находит свое место в обществе и занимает его».

Но место это, в силу исторических обстоятельств, как-то: незрелости освободительного движения в стране, быстрой ликвидации революционной ситуации, наступившей жестокой реакции, оказалось местом обывателя, пожертвовавшего исканиями и порывами своей молодости ради «мещанского счастья» и культурного уюта. Помяловский в своей повести показывает этот путь плебея. Устами того же Молотова в беседе с Надей Дороговой автор с грустью констатирует провал мечтаний героя о широкой общественной борьбе: отказ «от побуждений иных, высших» и примирение на «благонравной чичиковщине»: «Выделился я из народа и потерялся. Натура звала на какое-то другое дело; во мне было пылкое желание определить себя, оты-

скать свою дорогу, самостоятельно выбрать род жизни и ничего не мог я сделать — судьба насильно надела на меня мундир чиновника и осудила на архивную карьеру».

Существенно важно, что писатель не считает достигнутое положение Молотовым идеалом; напротив, он показывает его как печальный итог, как крах, к которому приводит окружающая жизнь. В повести проведена отчетливо мысль о том, что Молотов не удовлетворен «благочестивым приобретением» и комфортом жизни, на что в свое время указывал и Писарев. Молотов понимал, что есть другие общественные условия жизни, но создать их он бессилен. Еще менее удовлетворен положением героя сам автор. «Эх, господа, что-то скучно».

Череванин — мрачный отщепенец, неспособный удовлетвориться ни прозябанием и примирением Молотова, ни процветанием Негодящева (подр. см. о нем далее), но в то же время не умеющий стать на путь революционной борьбы и бесплодно растрачивающий силы. Но он также носитель демократических настроений, резко враждебных самодержавно-дворянскому строю.

В незаконченном романе «Брат и сестра» (1862) Помяловский нарисовал образ Потесина, плебея по воспитанию, тогда как Молотов был плебеем и по рождению. «Потесин был барской крови, но закал души его был мужицкий» [36]. Писателя занимала здесь сложная задача, показать, как слагался этот плебей в условиях тогдашней жизни: «В детских годах героя должно показать те влияния, которые создали в его характере честные стремления. Как на своей шкуре, так и на родных, он должен был почувствовать весь гнет окружавшей его обстановки. Любя старуху-няньку Прасковью, кривоглазую девку, слушая сказки и песни народа, играя с мужичонками в разные игры, он полюбил народ и тогда уже у него стал складываться особый взгляд на мужика, — он понимал его. Он видел предрассудки и суеверия, бездольную бедность и пьянство, замкнутость и глубоко сокрытое в душе ожесточение, но понимал, что первые истекают из положения мужика: ни от кого нет ему защиты, и простолюдин обращается поневоле к разным домовым и лешим; что его никто ничему не учил, и вот он потешается Милитрисой Кирбитьевной; что в вине он топит свое горе. Эта среда переделала натуру Потесина в мужичью; она, по своей сущности, и осталась мужичьей. Он даже разделял тяжелый труд народа... Но он был поставлен счастливее мужика...» [37]. Памяловский к этому прибавляет, что в городе «особенное влияние на него имело семейство политического преступника, который был сослан в рудники» [38].

В выделенном из этого романа очерке «Андрей Федорович Чебанов» (1862) Помяловский вывел учителя Лесникова, «мещанского происхождения, прошедшего огонь и воду и исходившего почти всю Русь пешком». Лесников по убеждениям «был не то, чтобы славянофил, а чересчур верил в народные силы и, будучи сам мужицкий сын, верил именно в мужика. Поэтому между учителем и учеником (Андреем Федоровичем Чебановым, отпрыском дворянства, «обладателем» огромных поместий и земель») возникла рознь. Любопытные диалоги на тему о мужике, происходившие между учителем-плебеем и учеником: «Если Андрюша ссылался на бедность, неопрятность и невежество русского простолюдина, учитель... прямо ему говорил, что мужик наш оттого беден, что он крепостной. И во всем так. Мы сказали, что Лесников не был славянофилом, но он всегда отстаивал перед учеником народ» [39]. Лесников «много принес пользы Андрюше». Не то было с Потесиным. Оказалось, что его взгляды нельзя было привить ни в своей семье, ни в «высшем кругу», где он вращался благодаря связям своего дяди. «Проповедывать им (родным) свои убеждения — значило бы даром терять время, подтягивать им — значило бы лгать, но он умел как-то пройти между этими двумя край-

ностями, плутовски изворачиваясь. Также он вел себя и в высшем кругу». В итоге «прожив положительно несчастно день за днем всю жизнь, сознавая, что она была честна, но бесплодна, в страшной предсмертной тоске Потесин глубоко клянет свою долю».

Этот герой был выше среды, он опережал ее, но он не находил в себе сил бороться с окружающим миром. Он не умел найти ту силу, опираясь на которую мог бы выступить в бой за свои убеждения. Умирая, он «повторил брату те же мрачные, болезненно-дикие уроки, что одною прямою честностью, одними обличениями в обществе ничего не поделаешь, что лбом стены не пробьешь» [40]. В этих словах ясно сквозит мысль о необходимости революционного действия; обличение недостаточно. Пусть Помяловский не вошел в стан революционных борцов; в своих образах Потесина и Лесникова он отразил в известном смысле идеи революции, показал тех борцов-плебеев, которые были преданы революционной крестьянской демократии.

Одновременно с тем Помяловский разоблачал либерализм. В образе Негодящева (повесть «Мещанское счастье», 1861) он изобличил карьериста, слугу господствующих классов. Это делец-служака — превратившийся из либерально-настроенного студента. Не менее интересны страницы в незаконченном романе «Брат и сестра» (1862), посвященные изобличению либеральных помещиков, которые «делают реформы в буквальном смысле, то есть усваивают новые формы жизни, а дух ее остается прежний» [41]. Он показывает, какая крутая перемена совершилась в психологии и взглядах либеральной помещичьей семьи, после того как она лишилась усадьбы и крепостных. «Это было прекраснейшее семейство, когда оно владело поместьем; мужики не могли нахвалиться ими; но теперь оно далеко не то, что было прежде. Будучи господами, они проповедывали равенство, и многие соседи были недовольны ими за то, что они позволяли себе короткое сближение с народом и очень доброе отношение к нему. Они были либералы. Но когда пришлось разделить судьбу одного из бедных классов, они возненавидели этот класс и прокляли свои демократические замашки» [42].

Помяловский уделил еще немало внимания проблеме воспитания новых людей. В 60-е годы этот вопрос обсуждался широко и ставился почти всеми органами тогдашней печати (не исключая и консервативной) в смысле изменения дореформенной школы. Понятно, что революционная демократия отвергала всю систему старой школы и ее устои. Она требовала коренного переустройства. Но старая школа была еще жива; обреченная историей на слом, она продолжала калечить юное поколение. Помяловский взял на себя задачу показать тогдашнему обществу один, особенно отсталый, угол в школьной системе, — это бурсу. По меткому сравнению Писарева, бурса готовила население для каторги и бурса была тяжелее тогдашней тюрьмы; в последней тяжелый физический труд был осмыслен, имел всегда какую-либо цель. В бурсе вся организация жизни и учеба, основанная на порке и долбне, «ужасающей и мертвящей», превратилась в сплошную и мучительную пытку, убивающую волю и мысль и человеческое достоинство бурсака. Напечатанные в 1862—1863 гг. «Очерки бурсы» Помяловского, по словам свидетеля А. М. Скабичевского, «произвели впечатление бомбы, внезапно упавшей среди смятенной толпы» [43].

Раскрывая такой очаг ужасов в школе, «Очерки бурсы» оказались ударом в набатный колокол. Давая несокрушимое оружие в руки реформаторов русской жизни, боровшихся за свободу личности от крепостнических предрассудков, «Очерки» оказались жестоким бичующим политическим памфлетом, направленным по адресу одного из столпов тогдашнего строя — церкви. Тогдашняя цензура приняла меры и удалила из «Очерков» страницы, в корне разоблачающие негодность системы воспитания в бурсе даже с точки зрения задач правительственно-церковной реакции. Цензура вычеркнула страницы,

на которых писатель-демократ имел смелость говорить о бурсаках «материалистической натуры», о своем понимании атеизма, как «формы развития», т. е. известной степени культурного развития, о Фейербахе и переведенной на русский язык его книги, имени которого не мог упомянуть Чернышевский в первом издании «Эстетических отношений искусства к действительности», и насмешливо-циническом отношении бурсаков к церковно-обрядовой стороне религии. Приведем здесь рассуждение Помяловского о полнейшем крахе бурсацкого воспитания: «Бурсацкая религиозность — знаете ли, чем она окажется в большинстве случаев? — Она окажется полным абсолютным атеизмом... Мы думаем, что бурсацкое начальство постепенно незаметно, однако, самым радикальным путем направляет миросозерцание своих учеников к полному атеизму... При дальнейшем развитии большинство бурсаков, чуя человеческим чутьем негодность своей науки, делается вполне равнодушно к той вере, за которую так долго и так жестоко секли их». Это одна категория надломленных, разочарованных в своем деле людей.

Но есть и другая, худшая категория. В запрещенном цензурой отрывке Помяловский характеризует эту категорию так: «Бурса из умных учеников своих создает еще ряд людей, которые, ставши атеистами, прикрывают свое неверие священнической рясой. Вот эти господа бывают существами отвратительными — они до глубины души проникаются смрадною ложью... Эти... атеисты развивают эгоизм — источник деятельности всякого атеиста, но который у хороших атеистов является прекрасным качеством, а у этих, оскверняясь в их душе, становится гнусным» [44].

Помяловский, как видим, был знаком с материализмом Фейербаха, усвоил и убеждение просветителей 60-х годов о разумном эгоизме, как двигателе человеческой деятельности, вел борьбу средствами литературы за нового человека эпохи, деятеля и борца демократической складки и материалистически-атеистической убежденности.

В связи с этим существенно важно рассмотреть созданные Помяловским женские образы и вопрос об эмансипации женщин, как решал его Помяловский. В «Мещанском счастье» он поставил этот вопрос в общей принципиальной широте, доступной для того времени. «Ныне многие стремятся восстановить права женщины, дать ей воспитание полное, как и мужчине, свободу в выборе мужа, в выборе занятий, участие не только в семейной, но и в гражданской жизни, личную независимость; хотят восстановить права женщины, которые не должны быть меньше прав мужчины. Понимаете? Это и называется эмансипациею».

Борьба за свободу женщины в 60-е годы конкретно протекала как разрушение устоев домостроевских порядков в семье. Помяловский в повести «Молотов» показал такую сложившуюся семью, где судьба девушки решалась властью родителей, и где, пережив серьезную драму и стойко перенеся ее, Надя одержала победу. Надя Дорогова яркий положительный и жизнеспособный тип в галлерее женских образов, созданных русской литературой XIX ст. Но этот тип почему-то мало освещен критикой. Большую популярность в широких массах приобрел образ «бедного кисейного создания», тип кисейной барышни, выведенной Помяловским в лице Леночки Илличовой в повести «Мещанское счастье».

Тип «кисейной девушки», нарисованный с симпатией художником, дан как собирательный тип девушки, обреченной условиями тогдашней жизни на косность, бесцветное прозябание: «Никому мы не нужны... кому любить таких».

В творчестве Помяловского (в образах, в конкретной обстановке, даваемой в повестях, в описаниях природы, в приемах изображения, в изобразительно-языковых средствах) легко увидеть и точно установить не только намерение, но и прямое противопоставление и противодействие писателя-

демократа дворянской литературе. У Помяловского, как ни у кого из беллетристов, демократов 60-х годов, находим яркие суждения о характере дворянской литературы и заявления о своих замыслах дать иную литературу. Надя Дорогова в повести «Молотов» от имени автора так говорит о дворянской литературе: «Там все помещики — и герой помещик, и поэт помещик... Барина описывают с заметной к нему любовью», хотя бы он был дрянной человек... притом барин всегда на первом плане, а чиновники, попадьи, учителя, купцы всегда выходят негодными людьми, безобразными личностями, играют унизительную роль... Пусть безобразна среда, в которой родилась я, все же она не совсем мертвая... Так или иначе, а надо искать добрую сторону в своих людях».

Помяловский в той же повести указал на различие характера демократического романа от дворянского. Череванин говорит Наде Дороговой, что ее роман с Молотовым не будет похож на классический роман: «В трагедиях участвуют боги, царь и герои, а вы чиновник и чиновница; поэтому и роман ваш будет мирный, без классических принадлежностей, без яду, бешеной борьбы, проклятий и дуэлей. Ваше положение уже таково, что ничего грандиозного не должно случиться. В монастырь вы не пойдете, из окна не броситесь, к Молотову не убежите и не обвенчаетесь с ним тайно — все это принадлежность высоких драм. У вас выйдет простенький роман, с веселыми пейзажами вместо трагических событий». Исследователи видят здесь намеки на героев тургеневских романов — Лизу Калитину из «Дворянского гнезда», которая ушла в монастырь; на Елену Стахову, обвенчавшуюся тайно с любимым человеком.

Помяловский задумывал некоторые образы как явные пародии тургеневских образов. Сестру Потесина в незаконченном романе «Брат и сестра» (1862) он предполагал изобразить как «Пигасова в юбке». Другую героиню Таню в романе «Брат и сестра» (1862) он также хотел дать в полемическо-критическом ракурсе: «Здесь мы должны изобразить тип женщины, на которую с одной стороны намекнул Гончаров в своей Софье Николаевне, с другой — Тургенев в Одинцовой. Мы этот тип выведем на чистоту — дело-то лучше будет».

Но и не имея авторских заявлений писателя, исследователь в праве посмотреть на образы Помяловского, как антитезы образов дворянской литературы. Очень ценна на наш взгляд для изучения Помяловского в этом направлении брошенная мимоходом мысль М. Горького, что Череванин это — анти-Базаров. «Герой Помяловского, Череванин, — писал в 1930 г. М. Горький, — «нигилист», рожденный в один год с Базаровым Тургенева, но гораздо более «совершенный» нигилист, чем Базаров» [45]. Эта мысль до сих пор не подхвачена и не воплощена в специальное исследование.

В пародийном, антитургеневском плане дана родословная Дороговых. Дороговы не дворяне, не помещики, и пародия «родословной» была явно подчеркнутой. «По мужской линии род Дороговых восходит до времен Анны Ивановны... так что лет через тысячу будет очень древний... Прадед Дорогова был придворным конюхом, служил под начальством Волынского, который однажды пожаловал его сотней рублей, в другой раз — шубой, а однажды ни за что отодрал кошками».

Изучение Помяловского с этой стороны повысит значение творчества этого писателя, покажет большую содержательность его, как полемиста и борца с крупными писателями либерально-дворянского крыла литературы. На очереди стоит изучение таких образов, которыми Помяловский оспаривает правду изображения у Тургенева, у Гончарова.

К сожалению, наша критика и история литературы недостаточно хорошо разобралась в творчестве Помяловского в целом. До сих пор почему-то некоторые критики принимают во внимание только образы Молотова и ки-

сейной девушки и на этом основании утверждают, что Помяловский не сумел показать тип передового борца-революционера, подобно Лопухову (в «Что делать?»), что Помяловский-де ограничился показом относительно узкого круга городского мещанства и мелкого чиновничества. Но эти критики совершенно упускают из внимания, что Помяловский уловил процессы, происходившие в толще широких народных масс, что он сумел возвыситься до отражения демократических настроений, до показа и критики существующего с точки зрения демократических низов, что он сумел выразить плебейско-демократическую злобу против господствующих классов. Упускают из внимания эти критики, что развитие Помяловского шло совершенно определенно в направлении Чернышевского; что он поднимался в литературе к позициям Чернышевского. Образы Потесина — человека с «мужичьей натурой» и Лесникова — демократа, который «верил именно в мужика», тому порукой; образы задуманы незадолго перед смертью писателя. Не виноват художник-реалист в том, что оба героя не сделали многого, что он не сблизил их с революцией. Но тенденция развития этого художника-реалиста вела к признанию революционной борьбы. Намеки на это мы выше показали при анализе образа Потесина.

Нам кажется, есть *все основания Помяловского причислить к группе демократов-чернышевцев* и начать изучение его творчества с таких сторон, которые обнаруживают наиболее полное раскрытие его плебейско-демократической сущности.

Эволюция взглядов Помяловского шла все время в плане демократизма. Упреки по адресу Помяловского, что его интересовали заботы о личном преуспеянии героев, неосновательны; подобные упреки говорят о близорукости критиков. Равным образом, нельзя обвинять Помяловского за то, что Потесин считал бесплодным распространять в своей среде революционизирующие взгляды. Не было подходящих условий, — он видел это и молчал. Это уравновешенное здоровое отношение писателя к окружавшим условиям нисколько не должно закрывать от нас то, что писателю известна была другая, — революционная возможность. Эти рассуждения приоткрывают скрытую за ними мысль об иной более благоприятной для революции обстановке, и в такой обстановке есть смысл начать борьбу с окружающей средой. Помяловский, как подлинный художник-реалист, не мог выдумывать; он отображал процессы так, как он их видел в подлинной действительности. Иное дело, что он не видел героев и деятелей революции. Но занимавшую его сознание проблему формирования рядового плебея он развивал, как подлинный демократ.

Процесс развития плебея от Молотова (1861) до Потесина и Лесникова (1862) шел вперед; в год нарастания революции Помяловский создал образ Лесникова, плебея-демократа, живущего интересами народа. Последний этап в создании образа плебея-демократа оборван был смертью писателя. Но тенденция его развития неоспоримо демократическая. Эта-то сущность и поднимала Помяловского на смелые попытки разоблачения фальши либерально-дворянского реализма. Недаром Чернышевский, сдержанный на похвалы, писал по поводу его преждевременной смерти, как о невознаградимой утрате: «Я любил радоваться на сильнейшего из нынешних прозаиков, как Г. Помяловского. Это был человек гоголевской и лермонтовской силы. Его потеря — великая потеря для русской поэзии, страшная, громадная потеря».

IX

Восприятие творчества Ф. М. Решетникова (1841—1871) заслонено было до последнего времени либерально-народнической легендой. Легенда эта развенчивала его как художника и как мыслителя, отразившего точку зре-

ния на мир рабочего класса. Решетников ценен также и тем, что он расширил тематику беллетристики 60-х годов, введя в свои романы не только обездоленные массы деревни, но жизнь и быт рабочего ранней поры; он стихийно, как чуткий художник, явился выразителем настроений и стремлений рабочей массы, на заре ее формирования в класс в исторических условиях эпохи 60-х годов. Но все это новаторство Решетникова не укладывалось в рамки народнического мировоззрения и вызывало протест со стороны народнической критики.

Дискуссия о Решетникове, начавшись позднее, чем споры о Н. Успенском, приковала на долгое время внимание критиков.

В критических столкновениях, происшедших в 60—70-х годах, по вопросу о понимании и значении творчества Решетникова, обнажился глубокий классовый антагонизм, резкий политический конфликт, выросший к этому времени между представителями интересов буржуазно-дворянского либерализма и помещичьей реакции, с одной стороны, и выразителями взглядов крестьянской демократии — с другой. Через голову этого писателя критики разных лагерей высказывали свои идеалы общественного переустройства. Так, идеолог российского либерализма в критике и публицистике «Вестника Европы» Евг. Утин заявил о необходимости постепенных, либеральных реформ. Представитель мещанского радикализма А. М. Скабичевский заговорил о массах, как о «пестрой безличной толпе».

Для представителей подлинно-революционной демократии тех лет М. Е. Салтыкова-Щедрина [46] и Н. В. Шелгунова [47] творчество Решетникова послужило материалом для опровержения сетований правого лагеря на оскудение литературы [48]. В последней своей статье (1871) Н. В. Шелгунов сделал решительную попытку выдвинуть Решетникова как реалиста-демократа и противопоставить его как зачинателя новой демократической литературы старому барскому искусству. «Отношение писателей (Тургенева, Гончарова и др.), — говорит Шелгунов, — к простому человеку было отношение художественное; в мужике видели новый литературный материал, материал модный, попавший в запрос. Мужики под пером дилетантствующих литературных идеалистов превратились в дворян в зипунах, а бабы — в барышень-крестьянок и горничных барских домов. Только с освобождением крестьян народный реализм стал на ноги, когда писателями выступали те, кто мог говорить о себе и за себя, а не за других, как это было до тех пор.

Решетников становится на новую почву обеими ногами и искренно. По богатству и характеру материала, который затрагивает и дает Решетников,— он первый на этом пути» [49].

Народническая «легенда» о Решетникове была представлена в двух вариантах; один был разработан А. М. Скабичевским, представителем правого мещанского народничества, в духе эстетско-лавристского понимания литературы и другой — П. Н. Ткачевым, представителем левого крыла народничества. У Скабичевского наряду с похвалами Решетникову, как писателю реалисту, высказано порицание художественному методу его: «Подлиповцы, — эстетски заявлял Скабичевский, — не повесть, не рассказ, а в полном смысле протокол». П. Н. Ткачев развил в статьях об этом реалисте свою бланкистскую теорию о примате революционного меньшинства [50].

Третий вариант оценки Решетникова был дан не присяжным критиком, а писателем Тургеневым.

И. С. Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском (1868), сводя счеты через Белинского с Некрасовым и другими деятелями революционно-демократического лагеря в литературе, отзывался с похвалой о художественном таланте Решетникова. «Как бы порадовался Белинский поэтическому дару Л. Толстого, — писал Тургенев, — силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова». Было бы наивностью, одна-

ко, счесть отзыв либерала полным признанием творчества демократа. Лестное сопоставление Решетникова с Л. Толстым умеряется более откровенным суждением Тургенева в письме к Я. П. Полонскому от 2 января 1868 г. «Способности нельзя отрицать во всех этих Слепцовых, Решетниковых, Успенских и т. д., но где же вымысел, сила, воображение, выдумка где? Они ничего выдумать не могут — и, пожалуй, даже радуются тому: этак мы, полагают они, ближе к правде. Правда — воздух, без которого дышать нельзя; но художество — растение, иногда даже довольно причудливое, которое зреет и развивается в этом воздухе. А эти господа — бессемянники, и посеять ничего не могут» [51].

Резкость тона последнего выражения Тургенева приоткрывает завесу над смыслом и значением слов его о «трезвой правде» Решетникова. После этого понятным становится та решительная отповедь, какую дал Тургеневу критик органа, руководимого группой участников революционного движения — журнала «Библиограф» после появления его воспоминаний. Именно за Решетникова вступился этот автор (Н. Александров).

Дав высокую оценку творчества этого писателя, критик «Библиографа» в противовес «пустозвонкой критике» Скабичевского и Утина квалифицировал, как высоко художественное, творчество Решетникова, выразившего «голую правду о народе, в безукоризненно-удачной форме» [52]. Н. Александров подчеркнул понятие «голой правды» и явно противопоставил свою оценку отзыву Тургенева о трезвой правде Решетникова. В эпитетах (трезвая и голая правда) для современников был заложен определенный смысл; журнал революционной группы обнажил замаскированный, скрытый смысл отзыва либерального писателя.

Имеется еще отзыв Достоевского о Решетникове. Почвенник Достоевский противопоставляет Решетникова Тургеневу и всей помещичьей литературе, как представителя того нового течения в литературе, которое имеет тенденцию устранить «помещичью» литературу. Достоевский уловил антагонизм литературных направлений помещичьей и «не-помещичьей» литературы и увидел зародыш, правда, слабый, незрелый в Решетникове нового. В письме к Н. Н. Страхову в мае 1871 г. по поводу статьи Страхова о Тургеневе Достоевский высказал такую мысль: «А знаете ведь это (т. е. Тургенев, Л. Толстой и др.) все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове уже не помещичьего, хотя и выражают в безобразном виде».

Мы не будем здесь вскрывать ту конкретную обстановку, в какой создалась, выросла и развилась в непримиримую ненависть к Тургеневу вражда к нему Достоевского, что до известной степени усилило стремление Достоевского отграничить себя от помещичьей литературы и противопоставить ей новые литературные побеги, полные жизни и интереса к ней. Но ни таланта художника, ни силы мыслителя в Решетникове реакционный почвенник Достоевский не признавал, он только сдержанно указал на проблески нового социального содержания в творчестве Решетникова. Напротив, ошибочно и тенденциозно утверждение Достоевского о «безобразном виде» творений Решетникова.

В идейном споре Достоевского с Тургеневым Решетников сыграл роль водораздела; но социальное несродство продиктовало почвеннику отрицание большого мастерства у Решетникова, помешало объективно оценить его. Это не были «союзники». Решетников в качестве оселка пригодился Достоевскому, чтобы разглядеть, какая идет новая сила, устраняющая помещичью литературу.

Творчество Решетникова уходило корнями в почву глубокого демократизма. В письме к Некрасову по поводу повести «Подлиповцы» Решетников высказал глубокого смысла признание: «Зная хорошо жизнь этих бедняков (т е. бурлаков), потому что я двадцать лет провел на берегу реки Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и идут тысячи тысяч бурлаков, я задумал написать бурлацкую жизнь, с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь в этом очерке невозможное для пропуска; по-моему написать все это иначе — значит говорить против совести, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы во время его мучений».

Бурлак — это классовая категория, это «самый старый образчик эксплоатируемого рабочего в России» (М. Н. Покровский). От бурлаков «Подлиповцев» прямая линия к последующим романам Решетникова, посвященным заводским пролетариям, литейщикам, кузнецам, ремесленникам, плотовщикам — «Глумовы» (1866), «Горнорабочие» (1866), «Где лучше» (1868).

Решетников, разумеется, касался и крестьянства; он изображал мелкое чиновничество, захолустное мещанство, обитателей подвалов, жизнь столичной голытьбы. В ту эпоху рабочий далеко еще не выделился из общей массы трудящегося и эксплоатируемого населения в стране.

Два слова к характеристике того исторического момента, когда писал этот ранний пролетарский художник. «Патриархальная деревня,— говорил Ленин в статье о Толстом,— вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску... Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно, державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой... Крестьяне голодали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, бежали в города, забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы, благодаря «дешевому» труду разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность». В связи с ростом и развитием промышленности развивался и пролетариат. В произведениях Решетникова и освещена жизнь рабочих в 60-е годы, т. е. в ту раннюю пору, когда пролетариат еще был связан с крепостной деревней и только начал обособляться в класс, отличный от других. Эти-то сложные процессы социально-политического характера — процессы образования и роста пролетариата, зари его идейного пробуждения, и нашли отражение в творчестве Решетникова.

Эпигон либерально-народнической критики, проф. С. А. Венгеров расценивал творчество Решетникова, как узко-этнографический очерк, лишенный конкретно-исторических черт, и выражал недоумение по поводу того, как «усмотрели в действительно этнографическом очерке быта дикарей не русского происхождения изображение жизни русского крестьянства. Подлиповцы, жители деревни Подлипной — «пермяки, т. е. язычники-инородцы монгольского племени... подлиповцы совершенно в той же степени могут пригодиться для изучения быта русского народа, сколько папуасы, с которыми они стоят на одном уровне культуры» [53].

Как бы предвидя такое возражение, высказанное почти 50 лет спустя после появления «Подлиповцев» (1864), Решетников в цитированном письме к Некрасову указал: «Таких людей, как подлиповцы, в настоящее время [т. е. в 1862—1865 гг. — *Н. Б.*] еще очень много не только в Чердынском уезде Пермской губернии, местности самой глухой и дикой, но и в смежных с нею — Вятской, Вологодской, Архангельской. Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я двадцать лет провел на берегу Камы...» В этом заявлении писателя содержится социально-исторический комментарий, разрушающий ложное обвинение либерала по адресу писателя-реалиста.

Тот же историк литературы дал также полное выражение либерально-народнической точки зрения на Решетникова. «Подлиповцы»,— писал он,— были первым и последним произведением Решетникова, которое произвело впечатление. И в них притом произвела впечатление только первая часть, посвященная изображению более животной, чем человеческой жизни в Подлипной. Вторая часть, посвященная похождениям Пилы и Сысойка в качестве бурлаков... не привлекла внимания читателя 60-х годов с его чуткостью ко всякому страданию» [54].

Картины бедноты и забитости крестьянства трогали читателя и критика-народника; судьба же, страдания и гибель пауперизованных эксплоатируемых рабочих-бурлаков не вызывали интереса. Это вполне понятно и закономерно для народнических кругов. Тем не менее Решетников одним из первых показал в литературе жизнь рабочего класса: бурлаков (во второй части «Подлиповцев»), горнорабочих («Горнорабочие»), заводских («Глумовы», «Где лучше»).

Какими же идейными настроениями проникнуты романы Решетникова о рабочих «первой волны». Стремление этой массы к лучшей жизни — таково содержание творчества Решетникова. Его герои — бедняки — ищут «богачества» и мечтают иметь «много хлеба». Проблема бедных, обездоленных людей занимает внимание писателя-демократа. Какие сильные слова нашел он для защиты бурлаков? «Есть люди, которые называют бурлаков самыми последними, бросовыми людьми. Есть даже и такие, которые называют их негодяями, вредными. Но они ошибаются: бурлаки только люди необразованные, грубые, самые бедные люди. Ведь у бурлаков только и есть, что на нем надето, да что он съедает... И для этого он трудится больше, нежели другой» («Подлиповцы»).

Автор ясно представляет себе смысл совершающегося. В словах Решетникова: «Поплывайте, добры молодцы, за богачеством. Не знаете вы, что богачество-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для вас все это»,— высказана правильная точка зрения на тех, кто эксплоатирует и кого эксплоатируют. Резкое противопоставление несчастных и бедных богатым и счастливым пронизывает его романы.

«Бедный человек и его горе», устроение положения его, стремление к богатству — «богатому везде хорошо, а бедному везде плохо» — в чем же социальный смысл этих требований оформлявшегося класса рабочих тружеников?

Историк И. Игнатов решительно утверждал, что это — идеал мещанский. «Стремлением к тишине, к спокойной, хотя бы обеспеченной жизни, к существованию мирному, без злобы, без унижений, без постоянной озабоченности, желанием своего очага проникнуты его (Решетникова) произведения. За этими желаниями скрывается уравновешенная натура, надорванная и надломленная массой особенно тяжелых обстоятельств. Его героям хочется счастья, тихого «мещанского счастья», и в описании действующих лиц Решетников никогда не доходит до противопоставления их обществу, до вызова». Последнее неверно. Как покажем дальше, Решетников возвысился до показа борьбы пролетариата за свои интересы. Неверна и оценка, данная Игнатовым «стремлению героев» к счастью. Она ошибочна, в силу того, что ею не учитывается классовый носитель (пролетариат) этого настроения и исторический момент в положении пролетариата. Одно дело — стремление к личному устройству купца,— оно корыстно и ограничено. Другое дело — такое же стремление пролетариата. Первое развертывается в капиталистическое хищничество, второе постепенно, диалектически превращается в стремление к переустройству жизни всего общества. «Немудреная философия» героев Решетникова объясняется тем, что они, по выражению Е. Соловьева-Андреевича, «люди первой волны».

В современной литературе мы находим попытки дать эволюцию тематики романов Решетникова. С этой задачей наши критики до известной степени справляются. Возьмем, например, освещение этой стороны у Л. Шептаева: «Его (Решетникова) романы — это удачные попытки углубиться в картину жизни [sic!—*Н. Б.*] социальных низов и присмотреться к другим группам рабочего класса. Особенно ценно здесь внимание Решетникова к посессионным крестьянам горных заводов Урала. Романы «Горнорабочие» и «Глумовы» задуманы как единое целое, и содержат материал горнозаводской жизни. Правда, во втором романе автор больше останавливается на семейном быте рабочего, чем на картинах этого тяжелого труда. Однако, это первые в русской литературе страницы в этом роде... В романе «Свой хлеб» мы видим уже отход [sic! — *Н. Б.*] Решетникова от горнозаводских тем и большое внимание к проблеме безработицы послереформенной деревни и посессионных заводов. Его герои уходят из Приуралья скитаться и движутся по направлению к Петербургу. Здесь [sic! — *Н. Б.*] находит свое художественное выражение быт этой безработной чернорабочей массы, которая не менее двух указанных категорий русских рабочих была значительна» [55].

Эта трактовка основной идеи романа «Свой хлеб» выпячивает бытовой момент, но в романе эта сторона увязана с более широкими социально-политическими условиями жизни рабочих того времени. Кроме того, вовсе не поставлен до сих пор в критической литературе вопрос об и д е й н о й эволюции автора, о р о с т е с о ц и а л ь н о-п о л и т и ч е с к о г о сознания масс и автора, романы которого дают богатый материал для освещения этой важной проблемы. В первом напечатанном очерке «Горнозаводские люди» (1865) Решетников, показав выросшее в массах посессионных рабочих сомнение в благах проводимой царским правительством реформы освобождения, как художник не мог скрыть и присущего массам патриотизма. «Дождались мы и матушки-воли, и шабаш..., а когда нам растолковали, что еще два года остается прежний труд, мы долго не могли понять: зачем еще два года?». Иронически далее изображает писатель восхваление царя-освободителя: «Работал ты, били тебя, драли, как сидорову козу, и вдруг ты вольный, хоть в купцы ступай. Эх, диво! Эко счастье, эва куда пошло!.. Да мы, братец-ты мой, хороший человек... целую неделю, как прочитали положение, из кабаков не выходили, а дома все батюшку-царя родного благодарили. На что наши жены — дуры и те себе по обновке купили да по гривенской свечке за царя поставили в церкви... Ой да батюшка-царь, большое тебе спасибо, не ты бы, голубчик, так поедом нас и заели». Он уловил инстинктивную ненависть трудящихся масс к эксплоататорам. В «Подлиповцах» прорывался протест бурлаков; в заводских рабочих постоянно горел гнев по адресу угнетателей: «Все они от пятилетнего ребенка до последней минуты ненавидели всякого начальника». Но поднявшись до возмущения против угнетателей, эти массы не дошли до сознательной и последовательной борьбы. Только в романе «Где лучше» (1868) писатель и з о б р а з и л п о п ы т к и р а б о ч и х п у т е м с т а ч е ч н о й б о р ь б ы о т с т о я т ь л у ч ш и е у с л о в и я т р у д а; п о к а з а л и т и п р а б о ч е г о о р г а н и з а т о р а И г н а т и я. Но эта «незрелость» политической активности рабочих объясняется историческими условиями.

В заслугу Решетникову, как подлинному художнику-реалисту, надо поставить столь строгую историческую точность в отображении настроений масс, сочетавших ростки новых революционных убеждений с вековыми предрассудками в ту эпоху. Как реалист Решетников видел много такого, что только последующие события раскрыли как непреложный факт.

Решетников питал глубокую ненависть к дворянству, к барской культуре и дворянскому либеральничанью. В повести «Скрипач» он вывел на

показ ничтожество дворянина Тумского, на словах бунтаря в интересах рабочих, на деле — безвольного труса. И. И. Векслер приводит ряд весьма ценных записей Решетникова, где писатель высказывается и о дворянском либерализме. «Этот «барин»—корчит из себя либерала и душою хочет сделать добро бедным людям, на деле не умеет сойтись с крестьянами, будет тянуть на сторону помещика» [56],— так характеризует писатель-демократ помещика Кройнского.

Несколько слов о форме произведений Решетникова. По своим литературным вкусам, этот писатель был ригорист. «Я на красоту смотрю, как на приманку и всегда вопию, как против красоты, так и против всяких украшений». На упреки, что он мало заботится о художественности, об отделке своих произведений, Решетников отвечал: «Это правда. Если бы я имел средства жить в о т д е л ь н о й к о м н а т е, не забирать вперед денег, я писал бы гораздо спокойнее и лучше». Но исследователи не могут отрицать сильной драматизации в произведениях Решетникова, особого уменья владеть стилем «летописно-ровного повествования о множестве самых мелких, повседневных явлений быта, и тут же рядом, тем же ровным тоном протокола — о бесчеловечных ужасах пролетарской судьбы». Вот пример такого метода Решетникова в романе «Горнозаводские люди». Полесовщик спокойно рассказывает о своей свадьбе и также просто говорит о своем истязании: «На свадьбе моей весело было. А на другой день после свадьбы меня выстегали».

Говорят критики о мрачности красок, о натурализме картин и своеобразном упрощении Решетниковым действительности, об ограниченности показа им рабочих и т. п., но, к сожалению, дальше вкусовых, поспешных наблюдений и поверхностных утверждений в этом вопросе наша критика не пошла. Творчество Решетникова ждет серьезного изучения.

X

Наиболее существенным звеном в потоке революционно-демократической литературы была беллетристика Н. Г. Чернышевского. Преимущественное внимание уделим роману «Что делать?» (1863). Чернышевский написал его в каземате равелина, когда реакция вырвала у него из рук перо публициста и полемиста. Брошенный в крепость, великий революционер не сложил рук и средствами художественной литературы выразил многое из того, что в цензурных условиях того времени едва ли бы удалось ему доказать в публицистических статьях. Роман появился в печати («Современник», 1863 г., кн. 3—5) по оплошности цензуры.

Роман Чернышевского посвящен революции, изображению ее деятелей, новых людей и будущей жизни в коммунистическом обществе.

Роман «Что делать?» — программный, социально-политический роман. Идеями революции и социализма этот роман покорял современников. Об этом мы имеем красноречивое свидетельство А. М. Скабичевского. Последний рассказывает, как до появления романа в печати эстеты и консерваторы, посетители салона поэта Майкова «хихикали и радостно потирали руки в предвкушении падения идола молодежи с его высокого пьедестала», но каково же было удивление, когда роман произвел потрясающее впечатление именно своей политической стороной: «Я нимало не преувеличу,— писал А. М. Скабичевский, — когда скажу, что мы читали роман чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на устах, с каким читают богослужебные книги. Влияние романа было колоссально на все наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низве-

дя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него, как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый» [57].

Роман отвечал на запросы молодого поколения, что надо предпринять для осуществления своих идеалов. Еще Н. А. Добролюбов в своей статье «Когда же придет настоящий день?» отвечал на этот вопрос в том смысле, что не надо болтать, а делать; надо не только заявлять о своей ненависти к произволу и о преданности народу, но и итти на революционные меры. Писарев не разделял таких взглядов Добролюбова и, более скептически настроенный в отношении возможности революции, ослаблял принципиальность ответа Добролюбова. В статье о Базарове Писарев рекомендовал: «Жить пока живется; есть сухой хлеб, когда нет ростбифу; быть с женщинами, когда нельзя любить женщину, и вообще не мечтать об апельсиновых деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры».

Весьма вероятно, что Чернышевский полемизировал и с Писаревым, зная его совет молодому поколению, Базарову, любимому герою Писарева— противопоставляя Рахметова. Выше мы указывали на признание шестидесятника. А. Шипова о том, что молодежь 60-х годов решала по-серьезному вопрос, что делать? Отметим еще сообщение П. Н. Ткачева, который в предисловии к французскому переводу романа «Что делать?» (1880) писал: «Основной вопрос, который обсуждался тогда, в кружках молодых людей,— это вопрос о том, что делать — что делать для того, чтобы освободить страну от подлого политического и экономического деспотизма, который подавлял, уничтожал и разорял ее на глазах цивилизованного мира,— что делать для того, чтобы реализовать в частной и общественной жизни моральные и социальные идеи, запечатленные в сердцах молодежи. Чернышевский в своем романе подошел ко всем этим вопросам...» [58].

После этого очевидно, что неправы и те критики, которые расценивают «Что делать?» как роман философский, пропагандирующий на языке образов одни только философские воззрения Людвига Фейербаха.

Фейербахизм входил составной частью в роман; он лежал в основе философского мировоззрения автора и художественного метода изображения типов и характеров. Фейербахизм, как увидим далее, оказал свое влияние, определил некоторые слабые стороны в художественном методе романа. Но для Чернышевского — понимание человеческой природы в духе фейербахианского антропологизма было подчинено и служило средством для решения вопроса о революционной переделке русской жизни. Не философия, а политика была ведущей в этом романе.

Неправы и те, кто считает основной темой романа вопрос о любви, о новых семейно-бытовых отношениях и «женский вопрос». Все эти вопросы разбираются в романе, но они являются опосредствованными. Еще Плеханов опровергал это мнение: «Ошибочно было бы рассматривать этот роман исключительно только как проповедь разумных отношений в любви. Любовь Веры Павловны к Лопухову и Кирсанову — это только канва, по которой располагаются другие, важные мысли автора. Мы уже говорили об ассоциациях, заведенных Верой Павловной, заставляя ее браться за эту деятельность, автор хочет указать своим последователям на практические задачи социалистов в России. В снах Веры Павловны яркими красками рисуются социалистические идеалы автора» [59].

Агитационную действенность социально-политической программы «Что делать?» не отвергали и реакционеры, боровшиеся с Чернышевским (Цитович, гр. Капнист и др.) [60].

Не менее спорно воспринималась до сих пор и художественная сторона романа. Ее отвергали в прошлом многие. Д. Н. Овсянико-Куликовский был уверен, что роман Чернышевского «не художественное произведение, и не

следует искать в нем обобщений и того истолкования действительности, которое дает искусство» [61].

Народнический эпигон В. Е. Чешихин-Ветринский еще больше снижал значение романа: «Испытания времени роман не выдержал ни в какой мере и сейчас может быть прочитан с интересом только как исторический документ своей эпохи, и то читателем, хорошо осведомленным о подробностях ее» [62]. По мнению П. Е. Щеголева, Н. Г. Чернышевский «не был художником» [63]. Наконец, пролетарский писатель А. Фадеев поставил роман Чернышевского вне литературы: «Произведения некоторых писателей даже восходящих классов (например, «Что делать?» Чернышевского), где непосредственные впечатления от действительности в большей мере подменяются рассуждениями о ней, в такой же мере выходят за пределы искусства» [64].

В свое время Плеханов пытался смягчить осуждающие роман приговоры и указать на некоторые художественные его достоинства. «Чернышевский сам заявил, что у него совсем нет никакого художественного таланта, и этому поверили слишком охотно. В действительности его роман не лишен некоторых, правда, небольших художественных достоинств; в нем много юмора и наблюдательности; наконец он пропитан таким горячим энтузиазмом к истине, что он до сих пор читается с большим интересом. Нужно много предубеждения, основывающегося на распространенных у нас теперь и в корне ошибочных эстетических теориях, чтобы презрительно пожимать плечами по поводу этого романа, как это делают многие из нынешних даже «передовых читателей» [65].

В последние годы началась переоценка традиционной точки зрения. П. С. Коган выступил против мнения о нехудожественности, искусственности и фальши «Что делать?» [66]. И. К. Ипполит в своих статьях о романах Чернышевского и Тургенева [67] без колебаний проводит мысль о высокой художественности романа революционного демократа. Наконец, А. В. Луначарский весьма лестно отозвался о художественном таланте Чернышевского и называл его романы «в высокой степени замечательными произведениями» [68]. Вал. Полянским поставлен вопрос о Чернышевском беллетристе, как зачинателе нового литературного стиля революционной демократии [69].

Сложнее спор с теми историками литературы, которые, признавая в известной мере художественность в романе «Что делать?», ограничивают степень этого качества. Такова, например, точка зрения на роман А. П. Скафтымова. Последний утверждает: «В романе Чернышевского все дано в логике отвлеченной мысли. Здесь все высказано готовыми рассуждениями и отвлеченной схемой. Имеющиеся блестки живого художественного выражения настолько погружены в обнаженную теоретичность, что роман перестает быть романом и превращается в публицистическую статью. Вот почему «Что делать?» нельзя рассматривать и судить вместе с произведениями художественными в собственном смысле слова» [70].

Не будем разбирать всех этих неверных утверждений А. П. Скафтымова, а перейдем к анализу художественной ткани романа. После этого читателю будет ясна вся ошибочность оценки А. П. Скафтымова.

Вопреки мнению о теоретичности романа, «Что делать?» изображает картину светлой и счастливой жизни, жизни будущего человечества на фоне конкретной исторической действительности 60-х годов, в свете борьбы старого мира с новым в разных областях человеческой жизни. В романе проходит галерея лиц, представителей старого и нового мира. Революционный демократ понимал сущность конфликта «отцов» и «детей» глубже, чем либерал Тургенев. Он рисовал это столкновение в более глубоком социальном плане. Защитники «старого» связаны с господствующими классами — барством и народившейся буржуазией. «Новые люди»—демократы, выходцы из социальных низов. Лопухов — мещанин по происхождению; Кирсанов — то-

же. «Оба грудью без связей, без знакомств пролагали себе дорогу». Они— прямая противоположность невежественным, праздным, узко-корыстным людям «старого мира». «Каждый из них — человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющий взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него, так что оно не выскользнет из рук: это одна сторона их свойств; с другой стороны — каждый из них человек безукоризненной честности»,— говорит Чернышевский.

Наиболее ярко тип передового бойца-революционера воплощен в Рахметове; по происхождению он помещик, но стал на сторону народа, порвал со своим классом, и отдал свое состояние на дело революции. Все эти герои — борцы за дело народа. Они не выдуманы автором, а представляют типические обобщения автором жизненных наблюдений.

Многим из них историки находят прототипы. Много автобиографических черт самого Чернышевского улавливают в Лопухове и Рахметове. Вера Павловна, по неоспариваемому мнению,— синтетический образ, в котором нашли отражения характеры жены романиста Ольги Сократовны Чернышевской и передовой женщины того времени, Марьи Александровны Обручевой, жены известного в свое время врача Петра Ивановича Бокова (1835—1915), а затем — знаменитого физиолога Ивана Михайловича Сеченова (1829—1905). Для Лопухова послужил прототипом еще Боков; а для Кирсанова — Сеченов.

Сложнее вопрос о прототипах для образа Рахметова. Большинство исследователей склоняется к мысли о нескольких прототипах. Называют прототипом известного Бакунина, польского революционера Сераковского, которого вывел Чернышевский под именем Соколовского в «Прологе»; саратовского помещика Бахметева, который вручил Герцену одну часть своего капитала на революционную пропаганду, а с другой частью он направился на Маркизские острова для создания социалистических организаций. Наконец, узнают в Рахметове черты Добролюбова и самого Чернышевского.

Даже личные взаимоотношения живых людей нашли, по мнению исследователей, отражение в интриге романа. История отношений Лопухова-Кирсанова и Веры Павловны воспроизводит реальную историю отношений шестидесятников — Бокова, Сеченова и Марьи Александровны. На основе непосредственных наблюдений Чернышевский создал обобщающие образы, образы глубокого смысла.

В романе отражены не только идейные воззрения, но и весь внутренний мир интимных переживаний людей 60-х годов со всей его непосредственной и волнующей искренностью.

Но мы должны подчеркнуть, что все эти образы, имея прямое соприкосновение с миром реальных людей, воспроизводя мир реальных отношений, представляли собой типическое обобщение того, что в жизни является существенным, важным, «принадлежащим к сущности события» [71], раскрывали своему читателю будущее, предуказывали пути дальнейшего. Они направляли мысль читателя в сторону ожидаемого, предполагаемого. В полном согласии со своими эстетическими воззрениями Чернышевский запечатлел в своих героях не только то, что было реальным, но и то, что могло быть «по необходимости», что было заложено в действительности как возможность. Чернышевский требовал от литературы прозрения, предугадывания и сам в своей художественной практике осуществлял это и весьма удачно. Разумеем созданный им гигантский образ Рахметова. По общему убеждению, Рахметов — революционер. Он дан в романе с той целью, чтобы сказать революционерам и идущему в революцию молодому поколению, что революция необходима, неизбежна; и чтобы участвовать в ней, надо готовить себя. В образе Рахметова предвосхищены типические черты будущих революционеров-народни-

ков: опрощение, обучение физическому труду, чтобы сблизиться с народом. Понимая качества своего врага (русского царизма), Рахметов подготовляет себя на всякий случай для перенесения пыток. Эти черты сделали фигуру Рахметова пророческой. «Рахметов — это человек, который тренирует себя для борьбы с самодержавием, который подготовляет себя для борьбы с капитализмом. Он тренирует себя, чтобы стать настоящим и подлинным бойцом революции и творцом нового жизненного уклада. И когда мы так подойдем, мы проникаемся к нему горячей симпатией... Если не брать Рахметова в... атмосфере подготовки к чему-то [т. е. к революции.— *Н. Б.*], то он остается непонятен... Фигура его получается почти курьезной и нисколько не привлекательной» [72]. Писарев не понял смысла Рахметова в романе. Он, конечно, разглядел, что речь идет о деятеле революционного подполья, но он не признавал неизбежности революции и надобности таких деятелей. «Кто (Чернышевский или Писарев) правильней понимал характер надвигающейся эпохи, видно и по отдельным деталям. Рахметов в романе Чернышевского истязует свою плоть, приучая себя к физическим мукам. Он пробует спать на ложе, утыканном гвоздями. Писарев считает эту черту характера Рахметова чудачеством. Он отказывается ее понимать, считая ее неразумной, извиняя эту особенность «особенного человека» всеми остальными достоинствами Рахметова, перед которыми он преклоняется. История в этой подробности рассудила Чернышевского и Писарева. Суровая аскетичность характера, готовность и способность итти на жесточайшие физические страдания и великое самопожертвование становились в самом деле необходимыми свойствами для передовых русских людей, вступивших на тернистое поприще революционеров» [73].

Этим свойством романа, его органической связью с подлинно существенными процессами жизни, объясняется воздействие романа и его образов на последующие ряды революционеров. Среди многих свидетельств о прошлом, находим прямые указания, что героям романа Чернышевского подражали деятели революционного подполья; с ними, с их преданностью делу революции, и с их стойкостью хотели сравняться последующие революционеры. Похвалой звучало в прошлом сравнение революционера с Рахметовым. Революционером «высокого нравственного калибра рахметовского типа», у которого на первом плане стояли интересы народа, по словам В. А. Тихоцкого, члена кружка долгушинцев, был Лев Адольфович Дмоховский [74].

Рахметовым, а затем и близким ему по времени, по замыслу и идейно-политическому смыслу образом Алферьева, Чернышевский наносил удар буржуазно-дворянскому либерализму, разоблачив в этих образах либеральную трактовку типа революционера-шестидесятника, напр. у Тургенева.

Мы не будем здесь подробно освещать вопрос о том, что семейно-бытовые отношения, отражавшие крепостнический характер тогдашней русской жизни, были взяты в романе как участок борьбы с крепостничеством. Борьба за раскрепощение женщины, пробуждение в ней личности — это в романе «Что делать?» не уход в мир морали, а смелая революционная попытка, выражающая объективно исторический смысл борьбы с крепостничеством во всех его проявлениях тогдашней жизни. Отметим, что в романе изложена теория «разумного эгоизма», — это также один из центральных пунктов программы романа [75].

В связи с этим стоят коммунистические представления автора. В романе в снах Веры Павловны показаны, как мечты, картины будущей счастливой жизни человечества и указаны реальные способы достижения и осуществления этих новых отношений в существующих условиях. Роман овеян революцией и заканчивается скрытым апофеозом в честь будущей революции и освобожденного из крепости безыменного персонажа, т. е. Черны-

шевского. Также понимает это место в романе и В. Я. Кирпотин; в предисловии к роману он пишет: «Совершенно естественно, что Чернышевский, рисуя себя освобожденным из крепости революцией, предполагал, что первым делом он направится в Пассаж, привычное место собраний прогрессивной публики и молодежи Петербурга, чтобы выступить с речью на митинге, принять участие в революционном собрании и т. п. Иначе поездку в Пассаж объяснить невозможно. При другом понимании она превращается в бессмысленную пошлость, которую никак не припишешь автору «Что делать?» [76].

Чернышевский был реалистом. Мы видели, что он сумел дать подлинно реальные черты действительности в типических обобщениях. В своих образах он проявил талант подлинного художника, в том смысле, что его герои некоторыми своими чертами предвосхищали будущее, и в то же время эти образы выражали существенное в проявлениях действительности. Великое новаторство Чернышевского было в том, что он дал в поэтическом претворении идеи революционной демократии, совокупность которых ниспровергала идейную установку литературы буржуазно-дворянского либерализма и реакции. Созданные им образы и романы находятся в тесной органической связи с эстетическо-философскими воззрениями великого демократа.

«Чернышевский, — говорит Ленин, — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х годов вплоть до 1888 года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее, не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» [77]. Последнее и сказалось на «построении» образов. В романе мы не видим процесса диалектического развития образов. Одни герои — носители отсталых взглядов; другие — новые люди. Последние даны как сразу сложившиеся люди; в них нет борьбы старого с новым, нет диалектики сознания. В «новых людях» новые качества возникают сразу, они (качества) ждали только проявления. Психологическая оправданность их настроений в романе недостаточно показана; более «диалектики» борьбы заложено в образе Веры Павловны; она, правда, поставлена была романистом в более выгодное положение в этом смысле; она должна выбирать, решать, бороться с своими чувствами и т. п. Чернышевский вместо «диалектики» вынужден был, как художник, изображать разнообразие живой действительности наделением разных героев разными свойствами и качествами. Но этот прием, не лишая образов психологической глубины и содержательности, ослаблял формально-художественную сторону романа «Что делать?». В «Прологе» эта слабая сторона была преодолена Чернышевским [78].

Однако, это «не снижает» в основном глубоко реалистического в лучшем смысле слова характера романа «Что делать?».

В тесной связи с беллетристикой Чернышевского стоит творчество В. А. Слепцова (1836—1878), который начал работать при Чернышевском в «Современнике» и в своей повести «Трудное время» (1865) продолжил разоблачение российского либерализма, лжи, прославляемой либералами реформы освобождения крестьян, реакционный характер ее и путем своеобразного шифра в духе Чернышевского намекал на возможность разрешения крестьянского вопроса лишь революционным путем. Высокая художественность, по справедливости признанная за этим романом, делает «Трудное время» ярким произведением революционно-демократической беллетристики. Два образа — Щетинина и Рязанова — либерала и революционного демократа — противопоставлены в этой повести, узел которой в том, что демократу понятна та «партизанская» война, какая ведется либеральным

помещиком и его сообщниками — попом, управляющим, посредником и лавочником против крестьянства. Слепцов выступает ярким сатариком, бичующим либерализм и реакцию. К. И. Чуковский в своей статье «Тайнопись Василия Слепцова в повести «Трудное время» расшифровал те два плана, в которых ведется повествование беллетристом [79].

Критика улавливала в Рязанове черты Чернышевского. Нам кажется, справедливо видеть в Рязанове («Пролог») целостный облик революционного деятеля, характерный для эпохи реакции. Черты характера его — мрачность, крайняя сдержанность — выражают исторически верно тяжелую общественную ситуацию «трудного времени», эпохи белого террора. Здесь не может быть речи о «распаде» образа революционного демократа на подобие «распада» героя в современном западно-европейском буржуазном романе. У Слепцова можно констатировать иное: сокрытие, меньшую степень ясности, прозрачности выражения революционной мысли и пламенности Рязанова. Писатель не договаривал, укрывал выводы, он только наталкивал мысль читателя на догадки и делал это, понятно, из-за цензуры, в силу социально-политической «сумрачности» того времени. Некоторые на основании этих соображений склонны относить Слепцова к сторонникам писаревского лагеря. Это не верно по существу; творчество Слепцова определенным образом как в своих идейных основах, так и в смысле художественного метода связано с потоком революционно-демократической литературы. Даже самый характер сатиры Слепцова легко сближается с творчеством Чернышевского и Салтыкова-Щедрина.

Идеи крестьянской революции и крестьянского социализма выражал в своем творчестве Некрасов, деклассированный дворянин, сумевший превратиться в художественного идеолога революционной крестьянской демократии. Плечом к плечу с Некрасовым выступали такие художники, как Василий Курочкин. Социальные стремления этого отряда писателей чрезвычайно ярко выражены в агитационной песне, напечатанной в заграничном сборнике «Лютня» в 1869 г. и приписываемой Василию Курочкину:

Долго нас помещики душили,
Становые били,
И привыкли всякому злодею
Подставлять мы шею...
. . . .
Что тут делать, долго-ль до напасти —
Покоримся власти?!
Мироеды тем и пробавлялись:
Над нами ломались;
Мы де глупы, как овечье стадо —
Стричь да брить нас надо.
Про царей попы твердили миру,
Спьяна или с жиру —
Сам де бог помазал их елеем,
Как же пикнуть смеем...
. . . .
Не найдется, что ль, у нас инова
Друга, Пугачева,
Чтобы крепкой грудью встал он смело
За святое дело.

XI

Группа писателей, объединяемых Чернышевским, была значительной. Созданная ею литература была в эпоху 60-х годов ведущей, передовой, отражавшей наиболее революционно-демократические устремления эпохи и противостоявшей буржуазно-дворянскому либерализму и крепостничеству с его грубыми формами азиатской эксплоатации и политического угнетения масс и крестьянства в особенности.

Чернышевский в 50-е годы, не поступаясь своими основными убеждениями, вынужден был поддерживать писателей либерально-дворянского лагеря — Тургенева, Толстого, Островского и др., отлично зная слабые стороны их реализма. В 60-е годы он имел уже около себя группу писателей, выступавшую единым сомкнутым строем против дворянской литературы. Эта группа, как мы видели, по-разному отразила идеи и настроения крестьянской демократии. Эта группа, расслаиваясь социально и сохраняя своеобразие художественного метода в творчестве каждого отдельного писателя, была единством, «диалектическим единством» в исторической борьбе с буржуазно-дворянским либерализмом и остатками крепостничества.

То же самое произошло и в области художественного творчества. Литература группы, возглавляемой Чернышевским, противостояла буржуазно-дворянской литературе в смысле идейно-политического осмысления явлений, в смысле эстетическо-литературном: в отношении тематики, в отношении изобразительных, языковых средств. Новое идейное содержание и новое отношение писателей этой группы к явлениям жизни определялось, как известно, в основном стремлением «поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества» (Ленин).

Ведущий отряд писателей-демократов (Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и др.) выражал наиболее полно идеи крестьянской революции. Другие, как, например, Н. Успенский сделали первые шаги навстречу авангарду революционной крестьянской демократии, но не сумели до конца остаться на этой дороге; отошли. Третьи, как, например, Н. Помяловский, приблизились в значительно большей степени к революционной демократии, но все же не завершили вполне своего слияния с ней. В целом же эта группа, проникаясь интересами крестьянских масс, впервые заговорила о мужике «правду без всяких прикрас».

Революционно-демократический реализм шел на борьбу с феодально-монархическим строем, с крепостничеством, с буржуазно-дворянским либерализмом. Он был овеян революцией, стремлением ниспровергнуть существующий строй. Действительность представала перед ним в отвратительном, отталкивающем виде. Добролюбов выдвигал на первый план сатиру; сатирический метод изображения глубоко был усвоен затем Салтыковым-Щедриным. Отрицанием барства было пропитано творчество Н. Помяловского. Все это понятно в условиях тогдашнего времени.

В период нарастания революции глашатаям ее естественно было думать о борьбе, о средствах борьбы. Сатира и могла и была мощным, дальнобойным орудием в руках революционных демократов. Перо сатирика жалило беспощадно врагов демократии. Вот почему в революционно-демократическом реализме сильна была именно струя критическая, развенчивающая, разоблачающая существовавший строй крепостников, поддерживаемых российским либерализмом всех оттенков.

Но мы видели, что в революционно-демократической беллетристике была сильна и положительная сторона. Она несла в себе большую познавательную ценность, раскрывая перед читателем картины возможной счастливой жизни будущего человечества, пути осуществления этого, очерчивая контуры новых положительных героев, новых людей, которые соединят «требо-

вания долга с потребностями внутреннего существа своего» (Добролюбов), показывая, как мучительно тяжела и полна бесправия жизнь плебея-демократа в условиях существовавшего тогда строя.

Из полемики революционного демократа Добролюбова с Тургеневым, из прикровенных и иносказательных рассуждений первого о «высших стремлениях», о том, что конституционализм — пройденная ступень в развитии человечества, читатель догадывался, что речь шла о революции, о свержении произвола. То же он узнавал из сатир Добролюбова, из поэзии Некрасова, Курочкина, из романа В. Слепцова «Трудное время» и еще больше из романа вождя революционной демократии Чернышевского «Что делать?»

В момент нарастания революции гегемония в литературе переходила в руки этой группы, успешно разоблачавшей либерализм, реакцию и крепостничество и показывавшей ограниченность либерально-дворянского реализма.

Для последнего приход «разночинца» и выдвижение революционных демократов в литературе внушали большую тревогу, большие опасения.

Вполне естественно, что писатели-художники буржуазно-дворянского либерализма, как и писатели крепостнического дворянства, встретили литературных деятелей демократии весьма недружелюбно, враждебно.

Фет в письме к Некрасову по поводу раскола редакции «Современника», происшедшего в связи с приходом туда Чернышевского и Добролюбова, с полной откровенностью заявлял о классовой розни дворян с «разночинцами». «Хотя в то время (началю 60-х годов), — писал Фет, — вся художественно-литературная сила сосредоточивалась в дворянских руках, но умственный и материальный труд издательства давно поступил в руки разночинцев, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправлял сам издатель. При тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий неизломанный инстинкт Льва Толстого так возмущался. Что же сказать о той среде, в которой возникли «Искра» и всемогущий «Свисток» «Современника», перед которым должен был замолчать сам Некрасов? Понятно, что туда, куда люди этой среды, чувствуя свою силу, появились как домой, они вносили и свои приемы общежития».

Этот отрывок из письма прекрасно характеризует столкновение групп и обрисовывает всю разницу интересов представителей этих групп. Фета в дружеском кружке звали «закоренелым и остервенелым крепостником, консерватором и поручиком старинного закала». И вот этот матерый представитель чутьем крепостника верно угадал в Чернышевском и Добролюбове непримиримых врагов дворянства, его интересов.

Авдотья Панаева свидетельствует также о неприязни к новым людям со стороны писателей-дворян, сотрудников журнала: «Старые сотрудники находили, что общество Ч[ернышевского] и Добролюбова нагоняет тоску. «Мертвечиной от них несет!» — находил Тургенев. — «Ничто их не интересует». Литератор Г[ригорович] уверял, что он даже в бане сейчас узнает семинариста, когда тот моется: запах деревянного масла и копоти чувствуется от присутствия семинариста, лампы тускло начинают гореть, весь кислород они втягивают в себя, и дышать делается тяжело» [80]. В другом месте Панаева передает следующие слова Тургенева о Добролюбове и его соратниках: «Вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости, это какие-то нравственные уроды» [81]. Воспоминания Панаевой нередко грешат неточностями, но как раз эти ее

свидетельства подтверждаются многочисленными документальными материалами и не вызывают сомнений.

«Рьяный крепостник» Фет вспоминает в своей беседе с реакционным публицистом Катковым о великом романе Чернышевского «Что делать?»: «Мы с Катковым не могли прийти в себя от недоумения и не знали только, чему удивляться более: цинической ли нелепости всего романа или явному сообщничеству существующей цензуры с проповедью двоеженства, фальшивых паспортов, преднамеренной проповеди атеизма и анархизма...» [82]. Патриархальный барин Лев Толстой писал Некрасову про Чернышевского: «Срам с этим клоповоняющим господином» [83].

Но и либеральный Тургенев не отставал от Фета и Толстого. Прочтя диссертацию Чернышевского об искусстве, Тургенев писал Григоровичу: «Я имел неоднократно несчастье заступаться перед вами за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю) — примите мое раскаяние и клятву — отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами...» [84].

Не менее колоритно отношение Тургенева к революционно-демократической поэзии Некрасова. В одном из писем Тургенева к Полонскому мы читаем: «Г-н Некрасов — поэт с натугой и штучками; пробовал я на-днях перечесть его собрание стихотворений... нет! Поэзия и не ночевала тут — бросил я в угол это жеванное папье-маше с поливкой из острой водки» [85]. Немного позднее в письме к редактору «С.-Петербургских Ведомостей» Тургенев повторил эту оценку: «Я убежден, что любители русской словесности будут еще перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя г. Некрасова покроется забвением. Почему же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия, и что в белыми нитками сшитых, всякими пряностями приправленных, мучительно высиженных измышлениях «скорбной музы» г. Некрасова — ее то, поэзии-то и нет на грош...» [86]. Тургенев совершенно последовательно распространял свою антипатию не только на Чернышевского и Некрасова, но и на всю плеяду художников демократии: «Способности нельзя отрицать во всех этих Слепцовых, Решетниковых, Успенских и т. д. Но где же вымысел, сила, воображение, выдумка где?» [87].

Этот единый литературный фронт крепостника Фета и либерала Тургенева является прекрасным подтверждением слов Ленина, посвященных характеристике 60-х годов: «Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой внутри господствующих классов, большею частью внутри помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы уступок. Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об уничтожении этой собственности, о полном свержении этой власти» [88]. Недаром царская цензура находила, что «Записки охотника» не могут произвести взаимного раздражения между сословиями, но влияние их, как истинно художественного произведения,— примирительное [89].

Вражда Фета и Толстого, Тургенева и Григоровича, Достоевского и Дружинина к Чернышевскому внушила Г. Берлинеру следующую неверную мысль: «В сущности это русская литература боролась с Чернышевским, и ей было за что бороться» [90]. Но с Чернышевским боролась не вся русская литература, а только определенные отряды этой литературы, — литературные идеологи крепостничества и буржуазно-дворянского либерализма. Но за то существовали другие литературные отряды, которые отнюдь не боролись с Чернышевским, а, наоборот, справедливо считали его своим вождем, своим учителем (Н. Помяловский, В. Слепцов и др.).

В свою очередь писатели-демократы платили своим противникам отрицанием и антипатией. Н. Помяловский «восстал против дворянской литературной церкви» (М. Горький) и решительно отрицал эстетический канон усадебной литературы. Н. Г. Чернышевский также критически относится к поэтическому мастерству писателей-дворян и либералов и выдвигал художественное мастерство своих единомышленников.

«Мой рассказ, — Чернышевский разумеет свой роман «Что делать?», — слишком слаб сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных сильным талантом, например, с «Мещанским счастьем», «Молотовым», с маленькими пьесами г. Успенского, но ведь ты, моя добрейшая публика, еще не разобрала, что эти вещи разнятся, как небо от земли, от восхищающих тебя сочинений прославленных твоих художников [91]; с этими-то сочинениями ты смело ставь на ряду мой рассказ по достоинству исполнения, а по содержанию он выше их» [92].

В 1883 г. Пыпин предложил Чернышевскому написать воспоминания о знаменитых писателях, сотрудничавших в «Современнике». Чернышевский ответил Пыпину: «Мой милый, я не считаю возможным, чтобы воспоминания о Тургеневе и остальной компании заключали в себе что-нибудь способное навевать на меня какое-нибудь настроение духа, кроме склонности задремать... Те люди были просто-на-просто не интересны мне, и в воспоминаниях моих об этих — впрочем, или милейших или очень почтенных людях — нет ровно ничего интересующего меня... Я не охотник щадить то, что не нравится мне, когда речь идет о вопросах науки или литературы или чего-нибудь такого, не личного, а общего. Поэтому, я далеко не такого высокого мнения о некоторых из поэтов и беллетристов моего времени, как люди более мягкого характера. По-своему, я сужу о них совершенно добродушно. Но они мелкие люди, кажется мне» [93].

В. Курочкин выступал не раз, высмеивая убожество критики либералов и реакционеров идейного содержания романа «Что делать?»:

Нет, положительно роман
    «Что делать?» не хорош!
Великосветскости в нем нет
    Малейшего следа.
Герой не щеголем одет
И под жилеткою корсет
    Не носит никогда.
Великосветскости в нем нет
    Малейшего следа.
Жена героя — что за стыд?
    Живет своим трудом!
Не наряжается в кредит
И с белошвейкой говорит —
    Как с равной ей лицом.
Жена героя — что за стыд,
    Живет своим трудом.
    Нет, я не дам жене своей
    Читать роман такой!
Не надо новых нам людей
И идеальных этих швей
    В их новой мастерской!
Нет, я не дам жене своей
    Читать роман такой.

Е. Г. Бартенева в письме к К. И. Порозовой 3 августа 1904 г. писала: «Помяловский написал несравненно меньше (чем Чехов), быть может и та-

лант Чехова был крупнее, а стилист Чехов был куда более изящный. Но смерть и не только смерть, а поминки на могиле Помяловского 25 лет спустя после его смерти взволновали меня совсем иначе: чувствовалась связь с этим писателем, родное, пережитое, перечувствованное, а не только холодно признаваемое» [94].

И к Некрасову определенные литературные отряды относились совершенно иначе, чем Тургенев. Для Добролюбова Некрасов — «любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором теперь есть жизнь и сила» [95]. Для Чернышевского Некрасов — «лучшая, можно сказать, единственная прекрасная надежда нашей литературы» [96]. В письме к Пыпину по поводу известия о смертельной болезни Некрасова, томившийся на каторге Чернышевский просил своего корреспондента передать великому поэту свое прощальное приветствие: «Скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов» [97]. Так относились к поэзии Некрасова отнюдь не только Добролюбов и Чернышевский, но и широкие слои писателей-разночинцев и революционной молодежи. Вспомним знаменитый рассказ Плеханова о похоронах Некрасова, сопровождавшихся возгласами молодежи, что Некрасов выше Пушкина.

XII

Ленин в статье «Крестьянская реформа и пролетарски-крестьянская революция» говорит о размежевании либеральной и революционно-демократической тенденции: «Эти две исторические тенденции развивались в течение полувека, прошедшего после 19-го февраля, и расходились все яснее, определеннее и решительнее. Росли силы либерально-монархической буржуазии, проповедывавшей удовлетворение «культурной» работой и чуравшейся революционного подполья. Росли силы демократии и социализма — сначала смешанных воедино в утопической идеологии и в интеллигентской борьбе народовольцев и революционных народников, а с 90-х годов прошлого века начавших расходиться по мере перехода от революционной борьбы террористов и одиночек-пропагандистов к борьбе самих революционных классов» [98].

По мере развития этого процесса в демократическом лагере происходила *глубокая диференциация*. Из общедемократического потока постепенно *выделялась пролетарская струя*, как сила, единственно способная последовательно бороться за социализм и как *гегемон демократической революции*. В лице революционного пролетариата крестьянская демократия получила вождя, способного привести ее к окончательной победе над пережитками крепостничества. В 60-е годы в литературе разночинцев-шестидесятников мы встречаем первые признаки намечающегося зарождения рабочей литературной струи.

Пролетариат привлекает внимание писателей-демократов, как *объект* художественного воспроизведения. Например, в 1861 г. вышла книжка А. Голицынского «Очерки фабричной жизни». В предисловии автор подчеркивает обобщающее значение своих образов: «Предстоящие фабричные очерки не составляют картины одной какой-либо фабрики — это черты общие многим таким заведениям, а лица, мною очертанные, не портреты, снятые с какого-либо из деятелей на фабричной сцене, — это общие типы тех господ, которых мне удалось встречать на этой арене». Очерки Голицынского сыграли большую роль в революционном движении следующего десятилетия: они значились в числе основных брошюр, употреблявшихся революционными народниками для массовой агитации и пропаганды.

Решетников выступил выразителем начального, зачаточного момента пробуждения самосознания в формирующемся пролетариате. Решетников не сумел вырваться за пределы общедемократической литературы, но внутри этой последней он представлял намечающуюся рабочую тенденцию первых этапов развития пролетариата в России.

В основном охарактеризованная выше литература была демократическая народная литература, литература о народе, о мужике, литература, пропитанная народными интересами, созданная представителями революционной демократии и фалангой писателей, ведомых первыми или примыкавшими к ним. Это был народный революционно-демократический реализм, созданный на основе фейербахианского материализма в духе утопического социализма. Познавательная и агитационно-пропагандистская ценность этой литературы устанавливается достаточно ясно и убедительно. Существующие в литературе и приведенные выше свидетельства Г. Димитрова, М. Горького и других говорят о том, как эта беллетристика влияла на деятелей пролетарской революции. Познавательная ее ценность очевидна, если мы знаем, что эта литература была вершиной, наиболее ярким выражением идей и настроений революционной демократии в 60-е годы.

Сложнее вопрос о значении этой литературы в смысле литературно-художественного метода. Чем ценна и насколько отлична эта литература от задач социалистического реализма нашей эпохи?

Различие в социально-историческом и философско-эстетическом отношениях революционно-демократического реализма от социалистического реализма очевидно. Иная эпоха, иные человеческие характеры, утопический социализм и научный социализм; основы философского мировоззрения также различны. Но писатели-демократы были большими реалистами и великими демократами. Следуя эстетическим заветам своего великого вождя, они поставляли «верховным началом искусства воспроизведение действительности». Для них «живая действительность должна служить материалом и образцом». Они раскрывали не «идею прекрасного», как отстаивали эстеты, а более широкий, правдивый мир человеческих отношений, где эксплоатация человеком человека была законом жизни. Их пламенный протест против произвола, насилия и т. п. обеспечил выполнение следующего важного завета Чернышевского: «Поэзия должна изображать человеческую жизнь — пусть же она не искажает ее картин посторонними примесями» [99].

Выше мы указали, что фейербахианский материализм накладывал свои черты на художественный метод Чернышевского: он, как мы показали выше, не давал писателям-демократам диалектического метода изображения характеров героев. Социалистический реализм основным принципом творческой работы современного писателя полагает пользование методом диалектики. Не механицизм, не элементарный показ людей из «целого камня», а подлинно-диалектическое изображение борений в душе героев свежих, новых социалистических стремлений и коммунистического сознания с пережитками прошлого, — вот что ставит основной задачей социалистический реализм.

Проблема рождения нового человека, поставленная и по-своему освещенная революционно-демократической беллетристикой, связывалась в сознании писателей этой группы с разрушительной задачей — борьбой и разоблачением всего старого, косного, гнилого, мешавшего новым людям строить новую жизнь. Эта сторона в произведениях писателей-демократов может сослужить немалую пользу в наше время. На это не раз указывал и М. Горький. «Повести Помяловского («Мещанское счастье» и «Молотов»), — писал он в 1928 г., — весьма современны и очень полезны для наших дней, когда оживающий мещанин довольно успешно начинает строить для себя дешевень-

кое благополучие в стране, где рабочий класс заплатил потоками крови своей за свое право строить социалистическую культуру» [100]. Образы, созданные талантливыми реалистами-демократами, являются социально-емкими. Недаром В. Ленин в своей полемике с политическими врагами не раз использовал, например, образы бурсаков и «кисейной барышни» Помяловского. «У Помяловского бурсак, — *пишет* Ленин, — хвастает тем, как он «наплевал в кадушку с капустой». Г.г. бундисты пошли вперед. Они выпускают Либманов, чтобы сии джентльмены публично плевали в собственную кадушку» [101].

Не менее яркое применение дано Лениным и образу «кисейной девушки»: «Старые социалисты-утописты воображали, что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика» [102]. Это свидетельствует о социальной глубине и насыщенности, с какой созданы эти типы реалистом-демократом. Бичуя бурсу, Помяловский ратовал за нового человека, за новые пути создания этого человека, и он со всей страстью бичевал бурсу, этот рассадник косности, невежества. Антисоциальный, грубый бурсак, именем которого Ленин заклеймил политическое обывательство, еще не вполне закончил свой век. Подобные образы, созданные революционно-демократическим реализмом, могут быть зеркалом, в отражении которого лучше всего можно рассмотреть пережитки того прошлого в сознании отдельных людей нашего общества, с которым должен вести неустанную борьбу и социалистический реализм.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. сб. статей «О литературе», Гослитиздат, 1935, стр. 261.

[2] «Из истории литературного нигилизма». СПБ. 1890, стр. 313—314. Цитата взята из статьи «Счастливые люди», напечатанной в «Библиотеке для Чтения», 1865, апрель).

[3] Подчеркнуто автором. — [*Н. Б.*].

[4] Соч., т. IV, стр. 125—126. Здесь и далее цитаты приводятся по 3-му изданию.

[5] Соч., т. XV, стр. 143.

[6] Соч., т. XV, стр. 143—144.

[7] Соч., т. XII, стр. 377.

[8] Соч., т. XVII, стр. 341.

[9] Соч., т. X, стр. 179.

[10] Соч., т. XV, стр. 144.

[11] В. Я. Кирпотин, Радикальный разночинец Писарев, М. 1933, стр. 247.

[12] Соч., т. XII, стр. 206.

[13] См. «Производство высочайше утвержденной следственной Комиссии о классной даме Родионовского в Казани Института Констанции Петровне Вальдон и студенте Ергине». Дело III Отделения, I экспед., 1862, № 44.

[14] В. Я. Кирпотин, назв. соч., стр. 103—104.

[15] Там же, стр. 248.

[16] Там же, стр. 249.

[17] См. в его сб. «От девятнадцатого февраля к первому марта», изд.-во Политкаторжан, М. 1933, стр. 76—79.

[18] См. в деле III Отделения, I экспед., 1865, № 196 «О воззвании к патриотам Сибири»; те же отзывы и в его письмах к Н. М. Ядринцеву, изданных в 1919 г.

[19] Напечатано в журн. «Русское Слово», 1866, кн. I.

[20] «О литературе», Гослитиздат, 1935, стр. 266—267.

[21] «Политические процессы 60-х годов». Центрархив. ГИЗ. 1923, стр. 76—77.

[22] П. Быков, Силуэты недавнего прошлого, М.—Л., 1930, стр. 152.

[23] См. «Воспоминания и критические очерки. Собр. статей и заметок 1849—1868 гг. П. В. Анненкова». СПБ. 1879, отд. 2, стр. 50—51.

[24] «Северная Пчела», 1841, № 22.

[25] «Отеч. Записки», 1868, кн. 10, стр. 182—183.

[26] Соч., т. II, стр. 314.

[27] Сатире Добролюбов посвятил три больших своих статьи: 1) «Собеседник

любителей российского слова» (1856); 2) «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858) и 3) «Русская сатира екатерининского времени» (1859).

[28] См. в статье «Крестьянская реформа и пролетарски-крестьянская революция», Соч., т. XV.

[29] Избр. соч., ГИХЛ, 1933, т. I, стр. 521.

[30] Следует напомнить известный факт, что с апреля по июнь 1861 г. произошло 647 крестьянских волнений, как это видно из отчета министерства внутренних дел (А. Герцен, Собр. соч., под ред. М. Лемке, т. XI, стр. 110).

[31] «Щукинский сборник», вып. 7, М. 1907, стр. 330.

[32] См. «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка». Под ред. и с предисловием Н. Л. Бродского, изд. «Academia», 1931, стр. 184.

[33] Подробнее см. в нашей статье «Н. Успенский и классовая борьба в критике 60—70-х годов», напечатанной в книге «Народничество в литературе и критике», М. 1933, стр. 74—112.

[34] Полн. собр. соч. Н. Г. Помяловского, изд. «Academia», 1936, т. I, стр.

[35] См. «Литературное Наследство Н. Г. Чернышевского», т. II, 1930, стр. 404.

[36] *См. Полн. собр. соч. изд. «Academia», 1935, т. II, стр. 177.*

[37] Там же, стр. 167.

[38] Там же, стр. 172—173.

[39] Там же, стр. 224.

[40] Там же, стр. 219.

[41] Там же, стр. 178.

[42] Там же, стр. 180.

[43] «История новейшей русской литературы», 6-е изд. СПБ, 1906, стр. 317.

[44] Там же, т. II, стр. 142, 143, 144.

[45] См. сб. «О литературе», Гослитиздат, 1935, стр. 259.

[46] Разумеем его статью «Напрасные опасения», в «Отечественных Записках», 1868, № 10.

[47] Разумеем статью: 1) «Глухая пора», «Дело» 1870, № 4 и 2) «Народный реализм в литературе», «Дело», 1871, № 5.

[48] Мы не будем здесь излагать подробно мыслей этих критиков; отсылаем интересующихся к статье И. И. Векслера «Ф. М. Решетников в критике», напечатанной в «Известиях Академии Наук», 1932, кн. 1 и 2.

[49] См. Сочинения Шелгунова, 2-е изд., СПБ, 1885, т. II. стр. 572, статья «Народный реализм в литературе».

[50] Подробнее см. в названной статье И. И. Векслера, «Известия Академии Наук», 1932, кн. 1, стр. 560—562.

[51] См. «Первое собрание писем Тургенева», 1885, стр. 129.

[52] См. «Библиограф», 1869, № 3, стр. 84.

[53] См. «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», т. VI, стр. 184.

[54] См. там же, стр. 187.

[55] См. его статью «Повести и романы Ф. М. Решетникова», напеч. в «Ученых Записках Пермского Государственного университета», 1929, № 1 стр. 133.

[56] См. «Из литературного наследия Ф. М. Решетникова», ред., вступ. статья и примечания И. И. Векслера, Л., 1932, стр. 24.

[57] См. «Литературные воспоминания». М.—Л., 1928, стр. 248, 249.

[58] См. «Избр. соч.» П. Н. Ткачева, т. IV, М., 1932, стр. 414.

[59] Соч., т. V, стр. 118.

[60] См. подробнее в книге М. Лемке Эпоха цензурных реформ, СПБ, 1904, стр. 487—488.

[61] См. «История русской интеллигенции», ч. II, М. 1924, стр. 93.

[62] См. «Н. Г. Чернышевский», т. II, 1923, стр. 128.

[63] См. предисловие к изд. «Н. Г. Чернышевский. Объективные очерки». М. 1927, стр. 7.

[64] См. сборник «Творческие пути пролетарской литературы», ч. II, М.-Л. 1929, стр. 201.

[65] Соч., т. V, стр. 311—312.

[66] См. его «Историю русской литературы с древнейших времен до наших дней». М.—Л., 1927, стр. 129.

[67] См. в журнале «Литература и марксизм», 1931, № 1; «Пролетарская литература», 1931, № 4.

[68] См. статью «Романы Н. Г. Чернышевского» (предислов. к V тому «Избранных сочинений Н. Г. Чернышевского». М.-Л., 1932), стр. 6 и 16.

[69] См. Б. С. Э., «Чернышевский — литературовед и писатель», т. 61. М. 1934, стр. 404—405.

[70] См. его статью о романе «Что делать?» в сб. «Н. Г. Чернышевский», Саратов, 1926, стр. 4.

[71] См. Полное собр. соч. Н. Г. Чернышевского, 1906 г., т. I, стр. 42.

[72] См. А. В. Луначарский, Литература шестидесятых годов, «Лит. Критик», 1936, кн. 2, стр. 33—34.

[73] См. В. Я. Кирпотин, Радикальный разночинец Писарев, М., 1933, стр. 369—370.

[74] См. А. Кункль, Долгушинцы, М., 1932, стр. 55—56.

[75] В вышеназванной статье А. В. Луначарского эта проблема освещена достаточно полно.

[76] См. «Что делать?» М. 1933, стр. 13.

[77] Соч., т. XIII, стр. 295.

[78] Подробнее см. в нашем предисловии к «Прологу», Гослитиздат, 1936, стр. 15.

[79] См. предисловие к I тому изд. Сочинений В. А. Слепцова. М., 1932, стр. 15—30.

[80] «Воспоминания», изд. «Academia», М., 1928, стр. 351.

[81] Там же, стр. 367.

[82] См. «Мои воспоминания», 1894, стр. 187.

[83] В. Евгеньев-Максимов, Некрасов и его современники, Л., 1929, стр. 128.

[84] Первое собрание писем, 1885, стр. 118.

[85] Там же, стр. 154—155.

[86] «Русские Пропилеи», т. III, стр. 201.

[87] Первое собр. писем И. С. Тургенева, 1885, стр. 129.

[88] Соч., т. XXV, стр. 143.

[89] «Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие», 1865 г., секретно.

[90] «Н. Г. Чернышевский и его литературные враги», стр. 219.

[91] Речь идет о дворянских писателях — Л. Толстом, И. Тургеневе и др.—Н. В.

[92] См. «Что делать?» Предисловие к изд. изд-ва Политкаторжан, М. 1929, стр. 20.

[93] «Литературное Наследие Н. Г. Чернышевского», ГИЗ, 1930, т. III, стр. 28—29.

[94] «Каторга и ссылка», 1930, № 2, стр. 182—183.

[95] В. Евгеньев-Максимов, цит. соч. стр. 232.

[96] «Литературное Наследие Н. Г. Чернышевского», стр. 199.

[97] Там же, стр. 210.

[98] Соч., т. XV, стр. 144.

[99] Полн. собр. соч., т. I, стр. 42.

[100] См. сб. «О литературе», Гослитиздат, 1935, стр. 198.

[101] Соч., т. XVII, стр. 469; ср. т. XXII, стр. 437.

[102] Соч., т. XXIV, стр. 64.

МОЛОДОЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Публикации Н. Алексеева и В. Каплинского

Предисловия А. Нифонтова и В. Каплинского

I. НЕИЗДАННЫЕ СЕМИНАРСКИЕ СОЧИНЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В архиве саратовского Дома-музея имени Н. Г. Чернышевского хранится много ранних ученических работ Николая Гавриловича — среди них имеются его школьные работы, семинарские сочинения и университетские доклады. Большинство этих рукописей мало доступно для исследователей — написаны они часто на латинском языке, нередко при помощи особой условной скорописи (придуманной Чернышевским в семинарские годы) и до сего времени не опубликованы.

Впервые публикуемые ниже тексты Н. Г. Чернышевского относятся к 1845 г.

Семинарское сочинение «Смерть есть понятие относительное» написано в 1845 г. и сохранилось в двух вариантах.

Н. Г. Чернышевский учился в саратовской семинарии с 1 сентября 1844 г. по начало января 1846 г.— 9 января 1846 г. он получил увольнительное свидетельство из семинарии, решив держать экзамены в Петербургский университет.

Таким образом это сочинение написано им 16 — 17-ти лет от роду.

Преподавание в семинариях 40-х годов носило архаический, средневековый характер. Весьма распространены были диспуты учеников с учителем и писание «задач» или сочинений на заданные преподавателем темы. К числу таких работ на заданную «задачу» и относится публикуемое семинарское сочинение Н. Г. Чернышевского. Вот как он сам позднее вспоминал об этих семинарских занятиях:

«У кого эти «задачи» составляли толстую книгу, тому было обеспечено благоволение начальства. Количество тем, находившихся в обращении при задании задач, было не слишком многочисленное: «страдания приближают нас к богу», «о пользе терпения», «дурное общество развращает нравы» и т. п. — в риторическом классе или низшем отделении семинарии; «о различии души и тела», «о преимуществе умозрительного метода над опытным» и т. п. — в философском классе или среднем отделении; всех различных тем, задававшихся в течение целых 5 или 6 курсов, т. е. 10 или 12 лет, набралось бы не больше ста; а каждый год писалось несколько десятков «задач», стало быть, одни и те же темы очень часто повторялись» (Собр. соч., т. IX, стр. 9—10).

Судя по характеру темы сочинения написано оно было во 2-й половине 1845 г., когда Николай Гаврилович учился на среднем (философском) отделении семинарии. В этом сочинении проводятся, конечно, вполне ортодоксальные положения православного религиозного мировоззрения, от основ которого Чернышевский отошел лишь в свои студенческие годы (см. его «Дневник» за 1848—1850 гг.). Но и в этой оригинальной работе молодого семинариста можно найти элементы критической мысли — в рассуждении его об условности физической смерти. Ведь не надо забывать, что в 1845—1846 гг. Н. Г. Чернышевский систематически читал самый передовой научный журнал того времени — «Отечественные Записки», в котором за эти годы между прочим печатались известные «Письма об изучении природы» Герцена, прочтенные Николаем Гавриловичем еще до отъезда в Петербург (См. А. Н. Пыпин — «Мои заметки», стр. 58).

А. Нифонтов.

Среди многочисленных ученических работ Н. Г. Чернышевского сочинение его «An scholae publicae privatis sunt praeferendae?» («Следует ли отдавать предпочтение школьному воспитанию перед домашним?») занимает особое место.

Если в подавляющем большинстве семинарских работ Чернышевский имел дело с уже готовым материалом (переводы, подражание, изложение пройденного), то в данном случае ему было предложено высказаться по такому вопросу, который его глубоко затрагивал. Как известно, Чернышевский, благодаря преимущественно стараниям отца получил прекрасное домашнее образование и, повидимому, лишь числясь в духовном училище, поступил в семинарию юношей, не искушенным в школьной жизни. Можно себе представить, какое тягостное впечатление произвела на него семинария: состав учителей был не блестящий, уровень познаний у товарищей — очень низкий, а о господствовавших тогда школьных нравах можно прочитать красноречивые рассказы современников — А. И. Розанова, Ф. В. Духовникова и др. (См. Н. М. Чернышевская-Быстрова, Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников, гл. I в сб. «Литературные беседы» в. 2, Саратов, 1930). В письме к А. Ф. Раеву от 3 февраля 1844 г. мы имеем высказывания о семинарском преподавании самого Чернышевского: «Разумеется, скучно в семинарии, но не так, как в гимназии: здесь не учат наизусть уроков, хоть это отрадно. Уж если разобрать только, то лучше всего не поступать бы никуда, прямо в университет... А уж в семинарии что делается, и не знаю. Было житье раньше, а ныне уже из огня да в полымя. Об учениках уж и говорить нечего: в класс не пришел — к архиерею. Но и между собой перекусались. Ректор на профессоров к архиерею, инспектор тоже на И. Ф. (разумеется Чернышевским Синайский, преподаватель греческого языка) — поздно ходит в класс. Дрязги семинарские превосходят все описание. Час от часу все хуже, глубже и пакостнее... G. S. (вероятно, Гавриил Степанович Воскресенский, преподаватель латинского языка, известный своей грубостью) умеет только ругаться, а толку от него ничего нет. По-латыни переводят курам на-смех, а того же ругают, кто так, как должно, переводит» (Н. Г. Чернышевский, Дневник, часть II, М. 1932, стр. 263).

На ученической работе Чернышевского несомненно отразились впечатления от хорошо известных ему семинарских порядков, вызвавших в нем отрицательное отношение к школьному преподаванию вообще. Позднее, в дневнике 1848 г. Н. Г. Чернышевский писал: «Дурак в школе обыкновенно бывает умнее хороших и талантливых учеников в жизни: те, учась, следуют авторитету и не имеют времени свободно жить, чувствовать и мыслить, остаются детьми, забитыми людьми». В результате много из них выходят в «бестолковые люди». (Там же, часть I, стр. 23).

При таком положении дел естественно, что вопрос, какому воспитанию отдавать предпочтение — домашнему или школьному, Чернышевский мог решать только в пользу первого. Однако высказать это публично, в сочинении, было не просто: такая мысль, конечно, шла вразрез с официальным толкованием проблемы (о школах заботится высшая власть и пр.) и была далеко не комплиментом по адресу учителей. Но Чернышевский решился ответить на поставленный вопрос прямо: с большой горячностью рисует он в своем сочинении тяжелое положение в школе ученика, любящего науку (легко видеть, что этот ученик — сам Чернышевский), и твердо заявляет: домашнее воспитание лучше школьного. Отрицательный отзыв о содержании сочинения, данный названным выше Воскресенским (принадлежность ему устанавливается сличением почерка с другими отзывами, несомненно принадлежащими этому преподавателю — на переводах с латинского был только естественен. Отметив достоинства стиля (как известно, Чернышевский был прекрасным латинистом), — «изложение ясное и очень хорошее», Воскресенский продолжает: «но направление мыслей, обращение внимания только на школьные злоупотребления — ложно. Ничего не сказано о цели, к которой направляет школу высшая власть». Как часто потом приходилось Чернышевскому слышать упреки в «ложном» направлении мыслей! Рассматриваемое сочинение — первый

решительный протест будущего революционера против господствующего порядка вещей: это, действительно,—«когти льва».

Когда — более точно — было написано это сочинение? На черновике (имеются две рукописи данной работы — черновая, № 833, и беловая, с отзывом преподавателя, — № 875) в конце Чернышевский поставил дату: Саратов, 1 февраля 1845 г. (по-латыни и римскими цифрами). Несмотря на решительную приписку сына Чернышевского, Михаила Николаевича: «По почерку это не может быть 1845, скорее 1843», мы все же думаем, что Чернышевский вряд ли описался римскими цифрами, и относим сочинение к 1845 г. Соображения от почерка в данном случае не могут быть решающими, ибо в черновой рукописи он — один, небрежный и меняющийся, а в беловой — другой, очень старательный; в то же время обе рукописи, конечно, связаны одной датой. По содержанию своему сочинение заставляет предполагать как более или менее продолжительные наблюдения над школьной жизнью, так и приобретение уже Чернышевским известного авторитета. От работы веет желанием автора уйти из семинарии, что и было, как известно, сделано Чернышевским в начале 1846 г.

Печатаемый перевод сделан с беловика. При этом, так как при механическом переписывании Чернышевским были сделаны некоторые описки и допущен в одном месте даже пропуск, не замеченный преподавателем, то для восстановления правильного чтения приходилось пользоваться и черновиком. Все сочинение написано по точнейшему плану с применением известных правил школьной риторики, так что разъяснений к отдельным местам текста не требуется. Отметки преподавателя на полях, если они касаются содержания, а не стилистических ошибок, оговорены в примечаниях; там же дан и образец латинского оригинала.

В. Каплинский.

СМЕРТЬ ЕСТЬ ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ

Нет в мире ничего мертвого, — говорят одни философы: на что я ни взгляну, везде, во всем вижу бытие, деятельность, движение, жизнь. Нет в мире ничего живого, — говорят другие: везде, во всей природе одна смерть, одно разрушение.

Откуда такое противоречие?

Абсолютное всем и всегда кажется одинаковым, об нем не может быть спора. Одно относительное может казаться то тем, то другим, смотря по тому, с какой точки зрения и в каком отношении будем мы его рассматривать.

Николай Чернышевский

Поэтому и всякое состояние какого бы то ни было предмета, принадлежащего к миру, может быть названо и жизнью, и смертью, смотря по тому, в каком отношении будем на него взирать.

Степени развития жизни неодинаковы в мире; высшая из них принадлежит существам чисто духовным: но что жизнь их пред полнотою жизни Существа Бесконечного? одно отрицание жизни, небытие, смерть. Но сравним их состояние с состоянием существ духовных же, так же сознающих себя, но скованных цепями материи, с которою они соединены [исправлено учителем: в которую они погружены]: как бедна, ничтожна жизнь этих последних перед жизнию первых! Духи, не связанные телом, в сравнении с ними наслаждаются вполне жизнию, а состояние этих последних ничто иное пред состоянием их, как смерть.

Но можно ли не назвать полною жизнью состояния существа, сознающего себя и свое бытие, в отношении к существованию бессознательному? Мертва природа органическая, но лишенная сознания, пред существами одаренными сознанием: но и она жива, естьли мы сравним ее с природою неорганическою. Но и самая неорганическая природа, мертвая пред природою

органическою, существует же, имеет же бытие: и состояние ее не жизнь ли, естьли сравнить его с состоянием ничтожества?

То же самое должно сказать и о том нашем состоянии, которое называется смертью. Мы умираем: но не переходит ли этою так называемою смертью душа наша в новое состояние, которому собственно, по отношению к душе должно принадлежать имя жизни, и сравнительно с которым жизнь наша на земле есть смерть? Только тело разрушается от этой перемены: итак, эта смерть есть смерть только для тела, а для души жизнь. Но и для тела состояние после разделения души с телом можно назвать смертью только в известном отношении, именно только в отношении к прежнему его состоянию. И самое тело разве тогда перестает существовать? Оно разрушается, но части его продолжают тем не менее бытие свое, только в другом измененном, разрозненном виде. А что же такое, как не жизнь есть бытие? Так одно и то же состояние можно назвать и жизнью, и смертью по тому, с какой точки зрения и в каком отношении будем на него смотреть. Нет в мире неотносительной, безусловной смерти; нет в нем и безусловной жизни: и нет ее нигде, кроме Существа Бесконечного.

[Пометка учителя: Умно и основательно. Весьма хорошо.]

РАССУЖДЕНИЕ

СЛЕДУЕТ ЛИ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ПЕРЕД ДОМАШНИМ

Существует преимущественно два метода воспитания: школьный и домашний. Как известно, первый из них был распространен, чуть ли по всей земле, в древнее время, а второй — в средние века. Так как в наши дни почти одинаково пользуются и тем и другим, то справедливо можно поставить вопрос: которому же из указанных методов отдать предпочтение? Вопрос этот чрезвычайно важный, ибо жизнь человека, ее уклад в очень многом зависит от воспитания.

Так как целью воспитания является развитие наших духовных способностей, а таковых преимущественно две (это, разумеется, ум и чувство), то ясно, что воспитание складывается из двух моментов: есть воспитание умственное и воспитание нравственное.

Первое состоит также из двух вещей: во-первых, из возможно полного развития умственных способностей, во-вторых, из возможно большего обогащения их знаниями.

И то и другое, можно думать, лучше достигается дома.

Так как в домашней обстановке, обычно, вместе учатся только или братья или родственники и самые близкие друзья-однолетки, вследствие чего число учеников естественно никогда не бывает велико, то для учителя не представляет труда разобраться в задатках и способностях всех своих учеников и с величайшим старанием беречь и заботиться о каждом из них. Таким образом, он может с большим удобством, весьма удачно и быстро развивать духовые силы учеников, заботиться об их скорейших успехах, обогащать их способности, узнавать, к каким искусствам или наукам они имеют природную склонность, направлять твердой рукой их занятие и вести их той дорогой, какой, по его мнению, они легче всего достигнут поставленной цели.

Да и самое украшение ума знаниями при домашнем воспитании достигается гораздо легче. В этом случае наставник может прекрасно знать, насколько одарены и знающи его ученики, каким именно способом им передать знания, как велики их способности, к каким наукам имеют они природное расположение (если б мы слушались благожелательную мать-природу, то не было бы среди нас людей негодных), т. е. он прекрасно знает, какие изучать науки и в каком объеме.

СЕМИНАРСКОЕ СОЧИНЕНИЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «СМЕРТЬ ЕСТЬ ПОНЯТИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ»
ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ ЧЕРНОВОЙ И БЕЛОВОЙ РУКОПИСЕЙ
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

Наконец, так как при домашнем воспитании характер занятий устанавливается учителем совместно с родителями, то ему не приходится беспокоиться, как бы дети не отвлекались (это губило бы его труды) другими делами.

Что касается воспитания школьного, то при нем собирают в кучу множество учеников самых разных способностей, степени развития, возраста, одаренности, прилежания: может ли учитель достаточно хорошо разобраться в каждом из них? И коль скоро ученики идут по пути образования каждый своей дорогой, то возможно ли от учителя требовать, чтобы он достаточно внимательно наблюдал, не выпускал из виду каждого из них? чтобы он мог одновременно развивать всех учеников, занимаясь с каждым в отдельности, по-разному? чтобы он имел возможность всем преподать столько же, сколько отдельным воспитанникам? А ведь очень часто то, что полезно и нужно одному, совсем не нужно и даже вредно другому.

Сюда нередко присоединяется то, что родители учеников (держась иного мнения, чем учитель, о преподаваемом в школе) порицают школьную науку в присутствии детей; порой они даже уговаривают их бросить ее и заняться другим. Разве это не полное разрушение дома того, что в школе строится учителем? [1]

Мы уже не говорим о том, что ученики, выходя из стен школы, делаются свободными от всякой власти учителя; он теряет свое руководство, а молодежь в руководстве всегда нуждается. При домашнем же воспитании с уходом учителя меняется только руководитель; направление же остается прежним.

Время летних вакаций и более продолжительных отпусков в другое время года, на праздники, для большинства учащихся проходит без всякой пользы. Больше того: очень часто ученики забывают то, что выучили в школе. Но при школьном воспитании это неизбежно: родители учеников очень редко живут в том же городе, где находится школа, часто не могут и приехать, чтоб повидать детей — а нельзя же сделать, чтоб родители своих сыновей совсем не видели. Так перерывы почти во всех школах занимают третью часть года. При домашнем же воспитании они совсем излишни [2].

Два, главным образом, возражения можно привести против вышеизложенного, в восхваление школьного воспитания (в деле развития ума): во-первых, в школе среди учеников поднимается соперничество, польза которого общеизвестна, и во-вторых, в школе дети обогащают друг друга сведениями.

Что касается первого, то его можно лишить силы следующим указанием: не может соперничество принести столько хороших результатов, сколько вреда всегда приносит мысль: Есть много хуже меня! Если же ученику к тому же покажется, что учитель несправедливо ценит его старания и т. д., что ему предпочитают тех, кто ниже его (а показаться может очень легко, ибо юность по природе склонна к самоуверенности и слишком себя переоценивает), тогда такой «ценитель себя» думает: А! Долой все занятия! К чему работать, если меня не хотят ценить по заслугам! Небрежностью стремится он отомстить за мнимую обиду [3].

Второе возражение есть в сущности утверждение, что ленивых учеников в школе легко можно тянуть вперед (они этого, однако, не хотят) за счет ущерба для более прилежных. Но если и считать, что этот обмен занятиями действительно приносит благие результаты, то все же в школе мы наблюдаем, помимо этого, два недостатка в деле развития ума, из которых каждый легко перевешивает все положительные стороны упомянутого обмена.

Один из них — следующий:

Как мы уже сказали, учитель в школе хорошо узнать своих учеников не может (некоторых он, конечно, может узнать, но речь идет о всей массе). В силу этого каждый из них может ввести учителя в заблуждение отно-

сительно своих знаний, прилежания и даже способностей. Но разве много есть среди них таких правдивых и честных, чтобы показывать себя такими, какие они есть на самом деле, раз можно выставить себя в виде лучшем? в особенности — человеку, в чьей власти находится их собственное благополучие? Ведь на основании отзыва учителя устанавливается, в какой разряд по образованию отнести ученика, а от этого разряда в очень многом зависит правовое и общественное положение человека. Но как легко учитель вводится в обман! Почти всякий ученик стремится не к тому, чтобы действительно получить знания, а лишь к симулированию этого, любым путем, в глазах учителя; не имея собственных сил выдвинуться, он почти всегда старается выделиться, выдавая за свою работу чужую; если этого сделать нельзя (в низших классах, например, задания проверяются устно учителем), то он стремится всеми силами представить свою работу и свои знания лучшими, чем есть на самом деле, и дорог к этому находит множество. В результате, не говоря о том, что привычка лгать и обманывать портит и губит нравственность, в учениках развивается склонность к ничегонеделанию и лени. Само соперничество, вследствие этого, дает плохие плоды [4].

Другой недостаток школы (и притом такой, что его никак нельзя вырвать с корнем) состоит в следующем:

После всего того, что нами сказано, не приходится сомневаться, что в школах всегда будет очень много лентяев, если не явных, то скрытых. И вот, эти лентяи не только сами не занимаются, но и другим мешают. Представим себе, что какой-нибудь юноша хочет прилежно учиться. Он будет постоянно подвергаться со стороны лентяев таким многочисленным насмешкам, что ему надо иметь очень твердую уверенность в своих способностях — оставить всех этих насмешников далеко за собой; это необходимо, чтобы переносить подобные шутки. Ибо в конце концов, если даже он не добьется с их стороны уважения (впрочем, оно никого не зажжет желанием подражать ему), то по крайней мере они перестанут постоянно издеваться над ним в лицо. Если же он обладает только прилежанием и любовью к наукам, а соответствующих способностей не имеет, то эти насмешки, пусть пошлые и неостроумные, но тем более неприятные, увеличиваясь в числе со дня на день, дойдут до такой степени, что нужно не юношеское терпение, чтобы их переносить.

Предположим, он перенесет. Но вот новые несчастия на него обрушиваются. Учитель обратит внимание на его работу, при первом же случае выразит ему свое расположение. Что же следует? Те, кого учитель раньше считал равными ему, теперь видят, что этот юноша их далеко обогнал. Этого никоим образом нельзя простить! Не будучи в состоянии выставить его в глазах учителя плохим учеником, они, из зависти, мстят наговорами. По школе идет молва: новый «ревнитель знания» выдвигается ябедничеством, доносами на товарищей. Кто не разбирается (а таких в школе большинство) — верит, и этот несчастный друг наук почти никогда не избавляется от общего недоброжелательства со стороны товарищей. Очень часто бывает, что недоброжелательство не проходит даже по выходе его из школы. Скольких учеников подобные случаи отпугивают от занятий? [5] Мы знаем, этому нельзя легко поверить. Но нужно верить: примеры налицо [6]. Мы могли бы указать на целый ряд, если бы речь шла не вообще о школе, а об отдельных лицах.

При домашнем же воспитании и тот и другой из разобранных недостатков вообще не имеет места.

Итак, без всякого сомнения, первая цель воспитания — умственное развитие — гораздо лучше и легче достигается дома, нежели в школе.

Теперь рассмотрим второй пункт: при каком воспитании — домашнем или школьном — лучше развиваются добрые нравы.

Учеников дурного поведения всех исключить из школы нельзя, во-пер-

вых, потому, что их очень много, а во-вторых, инспектура не всех их может заметить: исключая некоторых очень уж буйных, такие ученики прилагают все усилия к тому, чтобы иметь вид добропорядочных. Но как вредно их общество для товарищей! Один негодный ученик может загрязнить нравы всех остальных. Невозможно ведь совсем не иметь сношений с тем, кто — чувствуешь — приносит тебе вред: сочтут гордецом, все станут плохо относиться. Но даже самой высокой нравственности человек не может не пострадать от дурного сообщества. Конечно, он не станет подражать грязным делам, но естественно — чистоту души потеряет. А для юноши она должна быть ценнее всего; это — его гордость и краса.

Что же? Значит не нужно совсем и в жизнь вступать? Там (скажете вы) тоже найдешь дурное общество? — Но почему? Разве школу и жизнь можно сравнивать? Вовсе нет. В жизнь вступают взрослыми, с уже сложившимися нравственными воззрениями и образом мыслей (они должны быть выработаны); в школу же — детьми, у которых, можно сказать, вовсе нет нравственных воззрений. Не говоря о том, что люди, участвующие в общественной жизни, в тысячу раз легче могут избегнуть дурных друзей, нежели дети, обучающиеся в школе, все это возражение можно отвести простой ссылкой на одно часто употребляемое выражение: «Худое узнать — никогда не поздно» (С. П. Шевырев) [7].

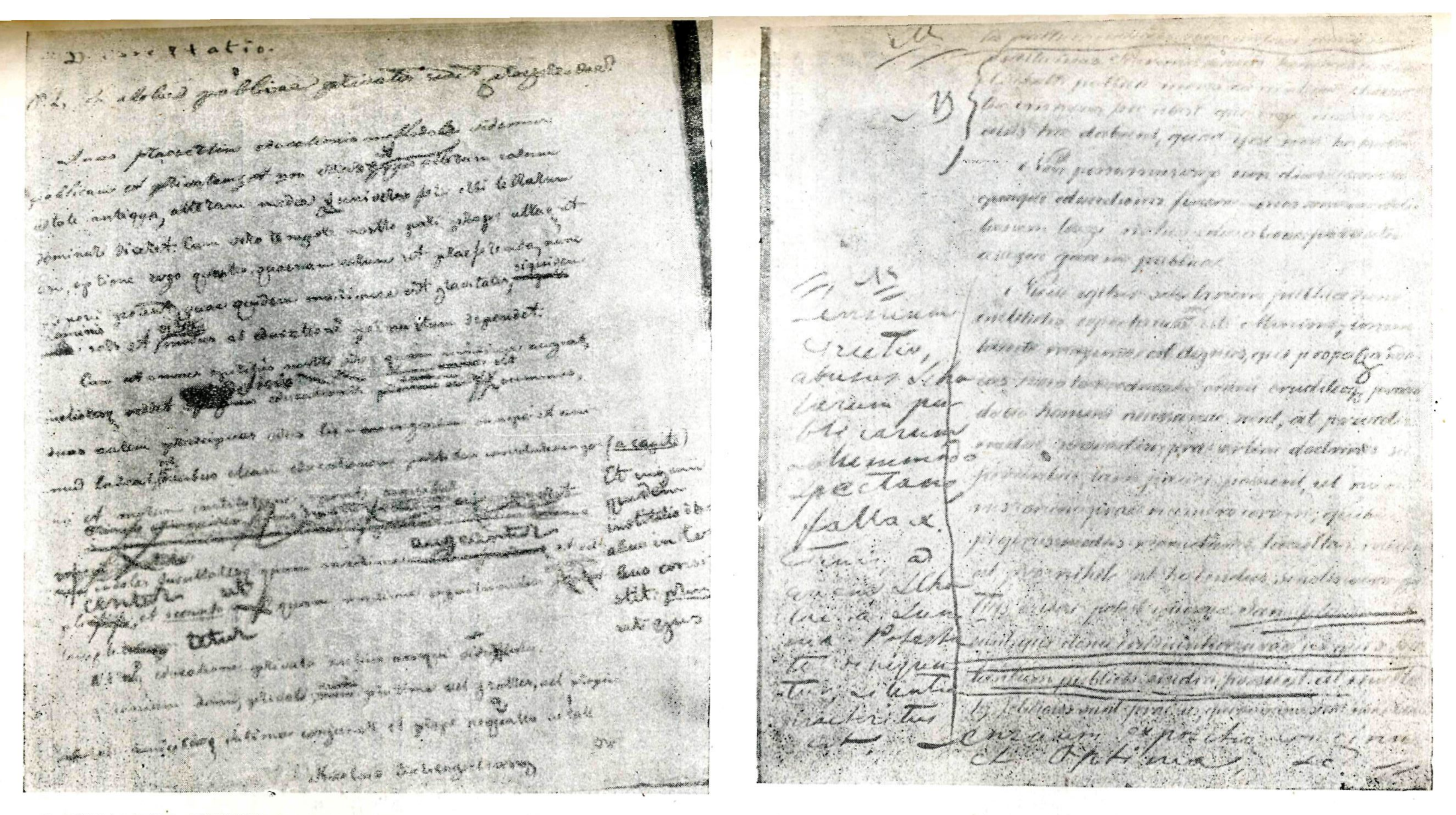
Даже относительно хороших нравов, в деле их улучшения, школа приносит новые трудности.

Для того, чтобы меры по улучшению нравов приносили желаемые плоды, необходимо, во-первых, чтобы тот, кого исправляют, имел к исправлению полное доверие и любовь: чтобы он, далее, верил, что его наказывают не по прихоти или излишней строгости, а потому, что это нужно ему самому; что к наказанию не обратились бы, если бы можно было обойтись без него; что полученное наказание соответствует проступку; это даже самому наказывающему тяжело, что он принужден так поступить. В противном случае тому, кого наказывают, наказание или выговор не только не принесут ничего хорошего, но даже наоборот, — заставят его упорствовать в пороке. При домашнем же воспитании доверие подобного рода иметь совсем не трудно, ибо блюстителями нравов должны быть там сами родители или же, если их нет, самые близкие родственники.

Но с каким трудом оно достигается в школе! Лицо, наблюдающее здесь за поведением, не только не родственник поступающему ученику, но обычно совсем неизвестный для него человек. Мальчик его еще не знает, а в голове у него уже ходят мысли о тиранстве, заносчивости, жестокости (среди школьных инспекторов люди с подобным характером попадаются слишком часто, для того чтоб можно было за такие мысли упрекать); он заранее настроен к своему воспитателю враждебно. В связи с этим малейшее замечание кажется бесчеловечностью; самый душевный воспитатель — тираном; ничтожное ограничение свободы — невыносимым рабством, и наказания или выговоры приводят не к благим, а к дурным последствиям. А как трудно разбить эту предубежденность! Но предположим, что ученик поступает в школу даже без нее. Кто же все-таки может проявлять по отношению к человеку совсем чужому столько же уважения, доверия и любви, сколько мы проявляем к нашим родителям и родным?

Допустим еще больше — что наблюдающий за поведением учеников снискал их веру, уважение и даже любовь. И все-таки: кто может заменить отца и мать? Даже ангел-хранитель не может. В деле исправления нравов больше имеет значения одно слово отца, чем любые, самые веские аргументы, постоянное наблюдение и требовательность чужого человека [8].

Учитель в школе хорошо узнать всех своих учеников не может; тем более — инспектор. Результаты те же: пренебрежение к подлинной чистоте



СЕМИНАРСКОЕ СОЧИНЕНИЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «СЛЕДУЕТ ЛИ ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ШКОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ ПЕРЕД ДОМАШНИМ»
ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦЫ
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

нравов и стремление представиться в глазах начальства лучшим, чем есть на самом деле. Другими словами — привычка обманывать и хитрить.

Одно можно сказать, по вопросу о нравственном воспитании, в защиту школы: здесь господствуют определенные нравственные нормы. Но если это и считать правильным, то все же указанное обстоятельство не может перевесить всех трудностей и отрицательных сторон школьного воспитания нравственности. Да что пользы в том, что пятидесяти или сотне людей привиты определенные нравственные нормы! Разве не все равно, если бы они имели разные понятия? Эта сотня разольется и бесследно исчезнет среди миллионов [9]. Правда, окончившие высшую школу не так легко растворяются и теряются в толпе и посему имеют не малое влияние на нравственную сторону остальных людей. Но число высших школ, а, следовательно, и кончающих эти школы, так мало по сравнению с числом низших, что веса это не имеет. Да и верно ли, что в школе господствуют определенные нравственные нормы? Сомневаемся [10]. У большинства людей, а значит и у инспекторов, развитых норм почти не имеется. Каким же образом они передадут другим то, чего сами не имеют? [11]

Итак, мы не можем не утверждать, что и вторая цель воспитания — развитие нравственное — гораздо лучше достигается при воспитании дома, нежели в школе.

Значит ли это, что следует отвергать самый институт школы? Вовсе нет. Больше того: величайшей хвалы заслуживает тот, кто заботится об их распространении. Воспитание и образование, несомненно, человеку весьма нужны, а обучаться частным образом, в особенности — наукам высшим, могут столь немногие, что число их сравнительно с теми, у кого нет возможности учиться на свои средства, можно считать равным нулю, в школе же может учиться каждый. Конечно, те, кто учится дома, в высокой степени счастливы, по сравнению с теми, кто может учиться только в школе; но эти последние — счастливее тех, кто вовсе не получил образования [12].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Против всего этого абзаца сделана отметка: «Мысль выражена неясно» (indefinite sensa expressa dantur).

[2] Против начала и середины настоящего абзаца поставлено по два вопросительных знака.

[3] Конец абзаца отмечен вопросительным знаком.

[4] Выводы, сделанные в конце этого абзаца, вызвали вопросительный знак.

[5] При этой фразе вопросительный знак.

[6] Над каждым словом фразы: Примеры налицо (cum exempla sunt prae oculis) по вопросительному знаку, а на полях кроме того так называемая «нотабене».

[7] Русский перевод приведенного выражения и ссылка на С. М. Шевырева сделаны Чернышевским в примечании.

[8] Абзац украшен четырьмя вопросительным знаками — двумя в начале и двумя в конце.

[9] К этим словам, начиная «Да что пользы»..., поставлен знак «нотабене».

[10] То же самое.

[11] То же самое.

[12] Весь заключительный абзац отчеркнут линией, начало отмечено знаком «нотабене», а слова «конечно, те, кто учится дома... только в школе» дважды подчеркнуты. Затем следует отзыв (ср. Предисловие): «Изложение ясное и очень хорошее, но направление мыслей, обращение внимания только на школьные злоупотребления,—ложно. Ничего не сказано о цели, к которой направляет школу высшая власть» (Sensuum expositio concinna et optima, sed sensuum directio, abusus scholarum publicarum solummodo spectans, fallax. Finis, ad quem scholae a Summa Potestate diriguntur, silentio praeteritus est).

Вот, для образца латыни Чернышевского, этот последний абзац в оригинале: Num igitur scholarum publicarum institutio reprehenda est? Minime; immo laude maxima est dignus, qui propagandas eas curatur: educatio enim eruditioque procul

dubio homini necessariae sunt, at privatis mediis se erudire, praesertim doctrinis superioribus, tam pauci possunt, ut numerus eorum prae numero eorum, quibus propriis mediis se erudiendi facultas nulla est, pro nihilo sit habendus; scholis vero publicis erudiri potest quisque. Sane, felicissimi sunt, qui domi erudiuntur prae iis, qui scholis tantum publicis erudiri possunt; at multo hi feliciores sunt prae iis, qui omnino sunt non eruditi.

II. СТУДЕНЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Н. Г. Чернышевский учился в Петербургском университете с осени 1846 г. до середины 1850 г. С лета 1848 г. он вел ежедневные записи в своем «Дневнике». В этих записях уделялось много внимания университетским занятиям, и «Дневник», а также переписка с родными в Саратове за 1846—1849 гг. дают нам путеводную нить для определения времени составления этих сочинений.

Работа Николая Гавриловича, основанная «на сочинениях знаменитейших историков», посвящена общему анализу древнейших памятников исторической литературы, главным образом по истории Греции. В «Дневнике» об этой работе упоминаний нет.

Курс всеобщей истории в Петербургском университете в эти годы читал Михаил Семенович Куторга (начинал с древней истории) и продолжал курс хронологически в течение ряда лет. В 1846 1847 г. Куторга читал, например, историю Афин от Пелопонесской войны до Демосфена. В 1847/1848 уч. году он довел лекции до средней истории и остановился на начале феодального периода («Литературное наследие», т. II, стр. 121, 136). Таким образом, тематика сочинений Чернышевского совпадает с тематикой лекций М. С. Куторги в 1846—1848 гг. Нам кажется, что вероятнее всего эту работу отнести к 1847/1848 уч. году, когда Чернышевский был на втором курсе. Ведь в письме к родителям с описанием экзамена по древней истории за первый курс 1846/1847 г., Чернышевский беседу с Куторгой описывает, как первую встречу: «Мною он, кажется, остался доволен, спросил (что, конечно, не делает обыкновенно) откуда я». «Литературное наследие», т. II, стр. 121). Таким образом едва ли эта работа была им сделана в 1846/1847 учебном году.

Более точные данные мы имеем о втором публикуемом студенческом сочинении Николая Гавриловича — на тему «Участвовали ли поэты в развитии народной жизни». В «Дневнике» за 1850 г., под 19 января («вторник») Чернышевский сделал следующую запись: «У Никитенки некому, конечно, было читать, поэтому я, сидя в аудитории, написал несколько... об историческом роде поэзии. Он сказал, что лучше не читать, а говорить, и поэтому мы говорили. Моя главная мысль была, что же изменяет исторические характеры — это недостатки [здесь запись неразборчива.—Прим. редакции]. Тогда я начал читать о влиянии поэзии, которое начал было писать для Плетнева, тут же говорил с Данилевским. Никитенко, хотя с трудом, согласился со мною». («Литературное Наследие», т. I, стр. 492). Очевидно работа о «влиянии поэзии» и была тем сочинением, текст которого нас интересует. Что прочитана она была на занятиях проф. Никитенки— тоже понятно. Ведь о характере этих занятий в 1849/1850 уч. году Николай Гаврилович писал осенью 1849 г. родителям в Саратов следующее: «Никитинкины лекции педагогические, т. е. посвящаются на чтение наших статей, разговоры об относящихся к литературе вопросах и т. п.» («Литературное наследие», т. II, стр. 136).

Написаны обе работы скорописью и расшифрованы для публикации Н. А. Алексеевым.

А. Нифонтов

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СОЧИНЕНИЯХ
ЗНАМЕНИТЕЙШИХ ИСТОРИКОВ И Т. Д.

Тот, кто писал эту статью, не имел случая узнать форму китайских летописей, вероятно самую древнейшую в своем роде. Но вероятно она не отличается многим от обычной формы летописей, той формы, какую видим мы в хрониках Средних веков (Прокопий и др.). От индийцев нам не осталось ни летописей, ни вообще каких бы то ни было исторических сочинений, единственные воспоминания о древнейшем времени жизни индийского общества остались нам в их религиозных поэмах, отношение которых к истории довольно похоже на то отношение, какое мы видим в Илиаде и Одиссее, но в которых еще больше фантастической примеси: действительные события, которые рассказываются в них, тоже имеют историческое основание, как и сказания Илиады и Одиссеи; но в Илиаде и Одиссее герои только действуют под непосредственным влиянием богов, фантастически чудесное только покровительствует им или преследует их, а сами они чисто люди, создавая их поэт не вложил в них ничего фантастического, не придал им никаких нечеловеческих свойств; а в Рамаяне и Магабгарате и сами герои или фантастические существа, или одарены чудесными, божественными качествами и силами. Поэтому эти исторические поэмы еще менее принадлежат области истории, чем Илиада и Одиссея. Зендавеста скорее должна называться богословским, чем историческим сочинением, хотя в ней есть некоторые исторические факты. Другие исторические сочинения Средней Азии, имевшие форму саг или при рассказе о последующих временах общую форму простой летописи, не дошли до нас. (Зач.: точно так же, как не дошли до нас богатые) летописи финикийские и летописи Египта. Отрывки Бероса, Санхуниатона и Манефона так незначительны, что нельзя по ним судить с достоверностью о характере летописей вообще в древнейшее время у народов, составлявших Персидское государство. То же самое должно сказать об отрывках Санхуниатона, несколько страниц которых одни уцелели для нас из огромных собраний богатых и подробных финикийских летописей. По отрывкам тем менее можно судить о характере финикийских летописей, что отрывки из них, которые дошли до нас, относятся к временам мифическим и имеют потому более характер теогонии, чем истории. (Зач: вероятно, однако, что характер хроник финикиян, когда они говорили о временах чисто исторических, когда летописцы описывали события современные или близкие к ним, приближались к той форме, какую имеют Книги царств, Паралипоменона — отрывочные анекдоты, рассказанные подробно и едва связанные между собою несколькими фразами, из которых едва можно судить о том, что было в промежутке между этими отдельными фактами). То же самое должно сказать и о Манефоне, отрывки которого единственный остаток, который уцелел для нас от египетских летописей. Таким образом из древних восточных исторических сочинений остаются у нас одни еврейские. Священные книги еврейского народа, в которых рассказывается история его до возвращения из пленения вавилонского, все имеют один характер. Это собрание подробно рассказанных анекдотов. Рассказы об отдельных происшествиях едва связаны один с другим несколькими словами, из которых невозможно вывести даже хоть самое общее понятие о том, что было в промежутке между этими подробно рассказанными (событиями), так что, правду говоря, мы знаем только один какой-нибудь частный случай, относящийся к известной эпохе, и вовсе ничего не можем сказать о самой эпохе, и не в состоянии связать этих отрывков в целое иначе, как произвольными предположениями. Зато эти отдельные события рассказаны живо, лица, в них действующие, очерчены ярко.

Но если нет в этих книгах связного рассказа, нельзя сказать, чтоб в них не было общей мысли, которая должна придавать известную цель

этой истории: такая мысль, напротив того, выводится в них ясно, постоянно и идет через все книги, через все события очень последовательно: Эта мысль — бог непосредственно управляет своим избранным народом, он его царь и судия, неизменно и скоро вознаграждающий свой народ за любовь к себе, за добрые нравы и наказывающий за забвение о себе, за неверие, за неисполнение своих заповедей, уклонение к богам чуждым. Эта основная мысль придает рассказу священных книг истории еврейского народа единство, известный колорит, очень выгодным образом действующий на читателя и в эстетическом отношении. Благодаря подробностям, с которыми изложены [?] все эти отдельные анекдоты, почти исключительно составляющие содержание этих книг, мы очень хорошо знаем нравы евреев, их религиозные верования и домашний быт, и их понятия о вещах. Таким образом источники их истории читаются с удовольствием, вовсе не сухи и не скучны и дают нам возможность очень хорошо понимать состояние еврейского народа, в котором он находился на таких ступенях развития, жизнь на которых у других народов осталась либо совершенно не записанной, либо если записана, то или сухо и безжизненно, или украшена, т. е. воображением, расцвечиваниями переделывателей старых хроник, переносящих взгляды и понятия своего времени в те времена, или, пока ее записать успели, приняла мифический вид, переходя от одного поколения к другому изустно.

Таким образом форма еврейских летописей, священных книг еврейского народа такова, что очень хорошо было бы для истории, еслиб летописцы Средних веков захотели подражать ей: большая часть летописей Средних веков не может итти в сравнение в этими книгами. Конечно, это не история в том смысле, как мы понимаем ее, но нам кажется, что эти книги очень приближаются к ней. А например история Фукидида что: хочет рассказать о чисто политических событиях и почти исключительно о военных действиях.

Греческих хроник в том виде, в каком имеем мы хроники Средних веков, до нас не дошло. Сочинение Геродота уж сборник и переделка хроник, в ней они утратили свой прежний характер. У него даже хронология уж уступила место внутренней связи событий, если не объективно, то по крайней мере субъективно — он говорит обо всем, что в его уме приплетается к известному факту, не стесняясь хронологическими соображениями. История—полный жизни рассказ, усеянный множеством эпизодов, иногда очень длинных, отступлений, анекдотов, описаний того, что удавалось видеть или слышать, рассуждений о том, что интересовало его или его современников, если хоть сколько-нибудь можно было приплести эти отступления к главному рассказу. Главное, что он описывает, это военные действия, но у него множество и других рассказов, которые для нас гораздо драгоценнее рассказов о военных действиях: он говорит и о религии, и об образе правления, и о нравах, и о домашней жизни различных народов, о которых приходится ему рассказывать (описывая) войны греков и персов; у него есть и географические и топографические подробности, и ученые рассуждения, и все что вам угодно. Он совершенно не думал ни о какой системе, говорил о всем, что только мог знать. Его сочинение—энциклопедия всего, что можно было знать греку в его время, только энциклопедия, связанная не какою-нибудь научною системою, а ходом военных действий. Основная мысль его — рассказать войны греков с персами и сказать по этому поводу все, что знает он о тех народах и странах, которых коснется его рассказ. Хотели видеть у него и другую основную мысль: «божество завистливо к счастью человека и заставляет его искупать несчастным концом счастие жизни». Эта мысль действительно ясно высказывается у него во многих случаях (например, в рассказе о Крезе, о том, как был у него Солон и как потом он был возведен на эшафот, о Кире, о Поликрате), но едва ли можно сказать, чтоб она была

проведена у него через все сочинение. — Это его взгляд на отношение судьбы к человеку, взгляд, который очень занимает его и который он высказывает при всяком удобном случае, но просто его глубокое убеждение, его любимая мысль, а не идея, положенная им в основание его сочинения. Большая часть тех подробностей, тех отступлений, анекдотов и рассуждений, которые находим у него, не имеют к ней никакого отношения.

Таким образом, в сочинении Геродота нет ни внешней хронологической или какой бы то ни было другой системы, ни внутреннего единства; это просто рассказ словоохотливого человека, не слишком думающего о связи между различными частями своего рассказа, человека, который начинает за здравие и сводит за упокой. Нам нет нужды говорить, что от этого-то собственно и приобретает его сочинение для нас такую важность, что он говорит о всем, что только знал, но как бы то ни было, это сборник рассказов о всевозможных вещах, фон которого составляют исторические рассказы, но это вовсе не история, точно так же, как, например, путешествие Марко Поло вовсе не география, хотя фон сочинения Марко Поло — географические рассказы.

У Фукидида есть строгий хронологический порядок, которого он никогда не нарушает. Он собственно рассказывает Пелопоннесскую войну и кроме военных действий и планов все остальное занимает очень мало места в его истории. Свои взгляды на причины и результаты военных предприятий излагает он, как и все греческие и римские историки, в речах, которые заставляет говорить главные действующие лица своего рассказа, в них выказывается большой его ум и знание политического положения греческих городов. Но несмотря на эти речи история его, кажется нам, еще менее, чем Геродотова, может называться историею в нашем смысле. — Он говорит почти исключительно о военных действиях; ни о нравах, ни о понятиях тех племен, о которых говорит он, не находим у него ничего; может быть, это происходит оттого, что он пишет историю своего времени и говорит почти только о племенах греческих,— следовательно, не находит нужды говорить об общественном состоянии и быте их, которые и без того известны, как он предполагает, каждому его читателю. Но и политическая сторона событий, нам кажется, мало его занимает,— у него мало говорится о борьбе партий, о планах их, если только они не имеют прямого отношения к военным действиям, зато военные действия рассказаны у него все, без малейшего пропуска; если 20 человек вышло из одного города и ограбило несколько хижин на неприятельских землях, он не забывает и этого, отчего его история, если сказать правду, монотонна, и прочитать ее без пропусков от начала до конца вещь довольно скучная потому, что большая часть тех военных действий, о которых говорит он, не имеет [пропуск в оригинале] «вышли, ограбили, затем воротились»; «вышли, другие пошли на встречу, победили их, или победили они, воротились» — вот содержание всех его рассказов, почти не оживленное даже никакими подрбностями, — нельзя не согласиться, что это очень монотонно. Никакого значения и для современников его, кроме разве тех, которые были ограблены вследствие этих экспедиций, а тем менее могут возбудить наше любопытство. Анекдотов он не любит, и характеры действующих лиц у него совершенно не очерчены, так что о Демосфене или Ламахе мы ничего не можем сказать, да если захотим сказать, что знаем что-нибудь — из рассказов Фукидида — и о характере Никия, Бразида, Клеона и т. д., то это будет большею частью натяжка.

УЧАСТВОВАЛИ ЛИ ПОЭТЫ В РАЗВИТИИ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ И Т. Д.

Было время, когда считали поэтами одних стихотворцев и когда считали поэтов только краснобаями, больше ничего, поэзия,— воображали себе,— род игрушки, забава для ушей в том роде, как какая-нибудь точеная

вещица забава для глаз. И правы были с той стороны эти люди, что поэты их эпохи или по крайней мере люди, считавшиеся в то время поэтами, писали в самом деле такие стишки, что нечего было делать с ними, кроме того, что почитать их в свободную минуту, сказать: «как это мило!» и положить в сторону. Только гениальные поэты, если родились в такую эпоху, не подчинялись таким понятиям на деле, хоть и соглашались с ними в теории: и если, принимаясь за перо, хотели они написать лишь безделушку, то выходила из под пера вовсе не милая безделушка, а серьезная вещь, которая поболее иного указа имела влияние на судьбу их народа. Но что раньше делали инстинктивно, сами того не хотя, часто против воли, только немногие гении, к тому теперь стремятся с ясным сознанием все поэты, и вероятно гениальные поэты, действуя с сознанием и с намерением, в большей полноте достигают своей цели, чем тогда, когда писали, не думая о ней, а только инстинкт направлял его шаги туда, куда он вовсе и не думал итти; а писатели не гениальные, которые раньше не имели никакого влияния на общество, теперь, идя вслед за гениями, стремятся дружно к тому же, к чему и великие люди, под влиянием которых находятся они, тоже делают очень, очень многое для развития общества, среди которого живут. Мы теперь вообще ясно понимаем то, что поэт — такой же деятель на общество, как и ученый, только может быть влияние его сильнее, что он гораздо сильнее на него [действует,] чем даже законы, под управлением которых живет народ, что нам кажется только странно то, как могли раньше не понимать этого: если какая-нибудь эпоха и была бы уж так бедна интересами и силами, что не могла родить ни одного истинного поэта, и потому нельзя было бы видеть тем людям на современном им обществе, какое влияние имеют поэты на свой народ, — а такие бедные эпохи едва ли когда-нибудь бывали у народов, вышедших на поприще исторической жизни: но еслиб даже и можно было найти такую эпоху, в которую жизнь народная была слаба, что не было у народа истинных поэтов, то история совершенно ясно показывает людям [на]шего времени влияние поэзии на развитие человечества, и объяснить то, как могли они создать себе такую теорию, по которой поэзия не больше как забава, средство приятно провести время, когда серьезного ничего не хочется, или нечего делать, или милая безделушка, — можно только тем, что тогда и истории настоящим образом вовсе не знали: она ведь по тогдашним понятиям состояла в длинных, как можно длиннее и подробнее, рассказах о войнах, — только и заботились о том, чтоб знать историю походов, только и занимательны казались описания сражений и осад. Да и о том очень мало думали, когда писали и читали эти так называемые истории, отчего была известная война и какие были ее следствия, — только именно сами-то военные действия и обращали на себя внимание и писателей, и читателей, остальное оставлялось без внимания, до того оставлялось без внимания, что для истории более половины жизни человечества с тех пор, как начали записывать исторические события, только и записаны одни войны. Много, если к этому догадывались прибавлять летописцы и компиляторы, носившие имя историков, хоть очерки характеров государей и полководцев да по нескольку анекдотов о тех из них, которые были в самом деле исполины. Но мы теперь понимаем историю не так. Достаточно посмотреть только, чтоб видеть, как именно тогда действовали поэты на развитие своего народа, как сильно было их действие и на какие стороны народной жизни оно обращалось.

Насколько мы можем судить об индийской поэзии, она имела исключительно религиозное направление и чрезвычайно сильно должна была содействовать укоренению в народе философско-религиозных пантеистических взглядов на мир и человека. И драмы, и эпопеи санскритские проникнуты этим духом и развиваются чрезвычайно глубоко и очень поэтически. О сте-

пени их влияния в древности мы можем судить по тому, что теперь еще чтение, соединенное с представлением религиозных поэм (особенно, кажется, Рамаяны) привлекает сотни тысяч народа в пустыни, и эта огромная масса народа по целым неделям странствует по лесам, по долинам Индии, по берегам Ганга, смотря по тому, куда переносится рассказ Рамаяны (когда действие происходит в лесу, идут читать и представлять Рамаяну в лес; когда действие переходит на Ганг, идут к Гангу, и т. д. Конечно, при этом чрезвычайно сильно должно возбуждаться в народе религиозно-философские верования и чувствования, проповедуемые в Рамаяне. И вероятно мы не ошибемся, если скажем, что вместе с другими религиозными процессиями эти религиозные представления одна из самых главных причин, почему ни мухаммеданство, ни христианство не могут найти в Индии последователей, почему индийцы так верны браминскому учению. Только одна причина есть, которая действует может быть еще сильнее этих индийских мистерий — это именно глубоко укоренившееся в душе народа деление на касты, вследствие которого индийцы никак не могут понять учения о равенстве перед богом и братстве людей, проповедуемого и в Коране, и в Евангелии.

У евреев также поэзия, поскольку она известна нам, вся имела религиозное направление. Мы не думаем, чтоб нужно было много говорить о чрезвычайно сильном влиянии, какое имели и имеют еще на развитие религиозного чувства в еврейском народе псалмы и другие произведения религиозно-лирической поэзии. Но и пророков должно назвать поэтами и великими поэтами, особенно некоторых из них, например, Исаию и Иеремию. Мы не знаем, успели ли в последнее время так хорошо узнать все видоизменения и условия поэтической формы по понятиям, соответствующим у евреев тому, что у нас называется метром, чтоб решить окончательно, писаны ли книги пророков стихами или прозою. Раньше это могли сказать наверное. Но во всяком случае все равно: все пророки более или менее истинные поэты, а Исаия, например, останется навсегда одним из величайших поэтов, какие только нам известны. Нечего и говорить о том огромном влиянии, какое их предсказания, особенно предсказания о пришествии мессии и восстановлении царства израилева, имели на евреев до самого того времени, как они были, возбужденные до фанатизма ложным пониманием этого пророчества, большею частью истреблены римлянами, против которых восстали; должно приписать во многом и той увлекательности, пламенному поэтическому чувству, с которым написаны эти пророчества, независимо от того, что они в том виде, как их понимали евреи около времени рождества Христова, слишком лестны и приманчивы были для их патриотизма: и мы, если будем читать книги пророков в хорошем переводе, не будем в состоянии не увлечься пламенною поэзиею, которою они проникнуты. Но и само чувство национальности, которое заставило евреев восставать против римлян, которое так глубоко проникло в жизнь каждого еврея, обязано своим происхождением религии: она породила и поддерживала и поддерживает это чувство. А уж в том едва ли кто будет сомневаться, что религия всего сильнее действует на человека своею поэтическою стороною.

Точно так же и Коран имеет такое могущественное действие на мусульманские народы, конечно, своею поэтическою стороною. Мухаммеда тоже мы должны признать одним из величайших поэтов, какие только существовали в мире: как пламенно-поэтически прославляет он в Коране величие и могущество божие! Напрасно приписывать быстрое распространение мухаммедова учения и ту необыкновенную твердость в вере, которою отличаются мусульмане, позволению многоженства и чувственным краскам, какими описывается загробная жизнь: многоженство ввел на Востоке не Мухаммед, и мусульманство в этом отношении не имеет никаких выгод в глазах чув-

ственного человека перед другими восточными религиями; все народы, стоящие на подобной или высшей ступени образованности, представляли себе ее в точно таком же чувственном виде, даже в более чувственном, если возможно: ни Валгалла, ни Елисейские поля не уступают в чувственных наслаждениях Мухаммедову раю. Только ясно сознаваемое пантеистическое направление спасало от таких взглядов на загробную жизнь (потому в будущей жизни по учению браминизма и буддизма нет ничего чувственного). И это опять не могло заставить обращаться в мусульманство и так сильно привязываться к нему. Да еслиб и в самом деле чувственные наслаждения в раю были главною причиною распространения и непоколебимости мусульманства, то неужели возможно возвести до такой твердости, несомненности эту надежду иначе как силою поэтического гения? Доказательств тут нельзя представить, и одною только степенью яркости и живости изображения должна измеряться сила убеждения, пробуждаемого проповедью о будущей жизни. Напротив, для чувственного человека мухаммеданство имело ту чрезвычайно большую невыгоду, что запрещает вино — прекрасное правило, особенно в жарких странах, но мы должны только вспомнить ответ, какой у Нестора дает Владимир мусульманским миссионерам, чтоб понять, что чисто чувственные чаяния мусульманства вовсе не привлекательны для *большей части народов, которые приняли эту религию, она была великим*, великим шагом вперед из совершенной чувственности к духовности; теперь кажется все согласны, что мухаммеданству чрезвычайно много обязана цивилизация Востока, да, говоря строго, и Запада—через Испанию и Крестовые походы. И неужели так заманчива для чувственности заповедь благотворительности, которую так строго налагает Мухаммеди, которая в самом деле строже чем кем бы то ни было соблюдается мусульманами? Поэтому мухаммеданство вовсе не потому было принимаемо и так крепко укоренилось в сердцах своих последователей, что льстит их чувственности,— вовсе нет, а потому, что такою могущественною силою поэзии облек гений Мухаммеда чистый деизм, который проповедывал он, религию высокую, до того высокую, что она даже не могла удержаться на своей первоначальной высоте в чисто богословском отношении у его последователей. И в самом деле, стоит прочитать несколько страниц корана, чтоб убедиться, что это — великое произведение в поэтическом отношении. Вспомним хоть отрывки, которые перевел из него Пушкин — это перевод из вторых рук, а как много еще в нем огня!

Переходим из Азии в Европу. Здесь прежде всего встречаем мы Гомера. Едва ли нужно много говорить о том, как сильно содействовал он образованию греческой национальности, пробуждению национального сознания и любви к своей народности в греках. Гомеровы песни всегда были одной из самых сильных связей между различными племенами Греции. Нечего говорить и о том, как всегда герои его были идеалами древних воинов и полководцев, как чтение Илиады воспламеняло их стремление к славе и подвигам, нечего напоминать о том, что Илиада была любимым чтением Александра Македонского, Ахиллес — идеалом, с которым он стремился сравняться, и верно цивилизация обязана Гомеру тем, что имела Александра. Но нельзя не сказать и того, что с Гомеровыми песнями начинается новый период греческой религии, можно сказать — новая религия: они установили и лица богов, и круг державы каждого бога, и аттрибуты их; Гомер — отец той греческой мифологии, которая нам осталась. Раньше боги были другие, и значение их другое, и аттрибуты их другие, и вероятно весь дух религии другой. После Гомера его дело в Греции продолжал Гезиод, и его песни, специально избравшие себе мифологию, сделались чем-то в роде священной истории греков. После полумифических ликургик, которым Спарта обязана своим могуществом, должно, прежде чем перейдем к поэтам, личность которых

принадлежит уже совершенно достоверной истории, сказать, что греки считали влияние поэзии на возникновение гражданского общества и образование человека до того сильным, что считали поэтов первыми основателями городов и отцами гражданских обществ, первыми образователями людей, выведшими их из полудикого состояния, научившими их почитанию богов и тому, что человек должен жить под защитою власти, а не как волк, и в браке, иметь семейство, приписывали все Орфею, Лину, Амфиону. Верно в самом деле было подобное влияние поэзии на переход греков из дикого состояния к полуобразованному.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О БЕЛИНСКОМ

Публикация Г. Берлинера

Публикуемые нами отрывки из пятой главы «Очерков гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского не попали своевременно в печать, по всей вероятности, по цензурным обстоятельствам. В общеизвестном тексте пятой главы «Очерков гоголевского периода русской литературы» имеется место, в котором Чернышевский объясняет, почему в его статье, посвященной главному деятелю критики гоголевского периода Белинскому, нет ни биографических сведений о критике, ни даже его характеристики. Чернышевский заявляет, что в план его «Очерков» не входит сообщение биографических подробностей и исследование частной жизни и личного характера писателей; притом же критика гоголевского периода всецело была обусловлена исторической необходимостью, — «если представителем критики в это время был Белинский, то потому только, что его личность была именно такова, какой требовала историческая необходимость».

Однако Чернышевский делает тут же очень характерную оговорку. Заявив, что в его план не входит сообщение сведений о личности того или иного писателя, он добавляет: «Мы сами первые чувствуем неполноту и, так сказать, отвлеченность этого плана и утешаемся только тем, что и неполный и сухой разбор имеет все-таки некоторое, хотя временное, значение, пока не появятся труды более живые и полные» (Чернышевский, Н. Г., Собр. соч., изд. 1906 г., т. II, стр. 164). [Разрядка моя. — *Г. Б.*].

Вынужденный тон объяснения Чернышевского и прорвавшееся у него замечание о том, что он сам сознает неполноту и сухость плана, не оставляют никаких сомнений в том, что Чернышевский считал совершенно необходимым включить в свою статью характеристику Белинского.

В самом деле, если Белинский стал выдающимся критиком только потому, что его личность была такова, какой требовала историческая необходимость, то тем более интересно установить, что это была за личность.

Почему же все-таки Чернышевский не дает характеристики Белинского, как человека? Дело уясняется при сопоставлении общеизвестного печатного текста пятой главы «Очерков гоголевского периода» с рукописью и с корректурами этой главы, хранящимися в Саратовском доме-музее имени Н. Г. Чернышевского. В рукописи и в корректурах вовсе нет трех абзацов окончательного текста статьи, содержание которых мы изложили выше, — нет целого отрывка, который начинается словами: «Главным деятелем критики гоголевского периода был Белинский...», и кончается фразой: «...от его личности зависело только то, удачно ли, сильно ли высказывалась мысль» (См. Чернышевский, Н. Г. Собр. соч. изд. 1906 г., т. II, стр. 164, строка 13-я снизу — стр. 165, строка 19-я снизу).

Вместо этого в рукописи и в корректурах имеется пространная характеристика Белинского, как общественного деятеля, как критика и как человека, — характеристика, сопровождающаяся интересными теоретическими рассуждениями. После ознакомления с этой характеристикой не только окончательно уясняется отношение Чернышевского к Белинскому, но становится понятным, какие качества интеллекта и характера считал Чернышевский особенно важными для всякого кри-

тика вообще. Качествами этими оказываются прежде всего страстная любовь к общественному благу, затем — ясность и последовательность мышления, твердость убеждений, проницательный здравый смысл и умение самостоятельно приобретать необходимые сведения, не впадая в рабскую зависимость от академической науки своего времени. Так называемый «эстетический вкус» Чернышевский считает производным явлением и придает ему второстепенное значение.

В корректуре эта характеристика Белинского вычеркнута; установить, кто именно ее вычеркнул, по внешнему виду корректуры невозможно. Если даже предположить, что это сделал сам Чернышевский, то крайне трудно допустить, что он сделал это по соображениям композиционного или стилистического характера. Гораздо вероятнее, что характеристика Белинского была вычеркнута или самим Чернышевским, или кем-либо из членов редакции, как совершенно безнадежная в цензурном отношении. Слишком уже откровенно говорит здесь Чернышевский, что он ценит Белинского не как художественного критика, а как последовательного мыслителя (читай: материалиста-фейербахианца) и как политического борца, думавшего исключительно о благе своей родины и лишь по необходимости сделавшегося художественным критиком.

Начало этой характеристики, в котором Чернышевский дает свое определение понятию «гениальность», опубликовано в примечаниях к четвертому тому «Избранных сочинений» Н. Г. Чернышевского издания 1930 г. (см. Чернышевский, Н. Г. Избранные сочинения в пяти томах. Подготовили к печати и снабдили примечаниями Н. В. Богословский, В. В. Буш, Н. М. Чернышевская-Быстрова, Н. А. Щелканов, ГИЗ, М.-Л., 1930, т. IV, прим. 212, стр. 502—503).

Однако редакторам этого издания, использовавшим только часть сохранившейся рукописи и не сверившим ее с корректурой, осталось неизвестным продолжение опубликованного ими отрывка, которое мы и публикуем. Наша публикация начинается с того места, до которого доведена публикация в издании 1930 г.

НЕИЗДАННЫЕ ВАРИАНТЫ ПЯТОЙ ГЛАВЫ «ОЧЕРКОВ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА»

I. ЧАСТЬ ТЕКСТА, ВЫЧЕРКНУТОГО В КОРРЕКТУРЕ

По своему значению для развития русского общества деятельность человека, который был органом этой критики [1], занимает в истории нашей литературы столь же важное место, как произведения самого Гоголя. Автор статей о Пушкине [2] был одарён редким красноречием; написанные наскоро, непересмотренные, неисправленные его статьи по универсальности изложения все бесспорно принадлежат к лучшему, что только до сих пор есть в нашей прозе; едва ли кто-нибудь писал у нас так, как он. Многое из написанного им может быть по силе и прелести изложения сравнено с лучшими страницами подобного рода у величайших европейских писателей [3]. Впрочем, и тут нет ничего удивительного: истинное красноречие дает[ся] человеку вместе с благородною натурою и энергическим стремлением к истинному [и] доброму. Великие ораторы были красноречивы, потому что душа у них была великая и благородная.

Надобно ли упоминать о могучей силе его диалектики? Ведь это только опять всегдашнее качество людей с великим умом. Надобно ли говорить об идеальном благородстве его характера? Ведь это опять необходимый дар природы людям, которых обрекает она жить только для провозглашения высоких идей добра, которые не знают ни счастья, ни покоя, ни желания

вне одного стремления служить благу своей родины, людей, о которых можно сказать как о нем:

Он знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

Мы не знаем, назначала ли его природа исключительно к критической деятельности: гениальной натуре доступны бывают многие поприща, она действует на том, которое в данных обстоятельствах находит самым широким и плодотворным. Нам кажется, что в Англии этот человек был бы парламентским оратором, в Германии того времени—философом, во Франции—публицистом, — в России он сделался автором статей о Пушкине.

Вообще говоря по общей физиономии трех первоклассных наших критиков, — Полевого, Надеждина и автора статей о Пушкине, — мы можем заключить, что замечательный критик не родится, а делается критиком вследствие особенных условий, представляемых ему сосредоточением жизненных интересов его страны на литературных вопросах. То же говорит нам пример знаменитых германских критиков прошедшего и нынешнего столетия. Служению эстетике они обрекли себя добровольно, обдуманно не потому, что сочинять именно рецензии было для них особенно приятным делом, а просто потому, что это был лучший из доступных им путей к действованию на жизнь общества. Таковы были Лессинг, Мерк, Шлегель [4].

И однако же, — странное, повидимому, дело, — именно эти люди, для которых эстетические вопросы были второстепенным предметом мысли, занимавшим их только потому, что искусство имеет важное значение для жизни, а художественное достоинство необходимо литературному произведению для высокого значения в литературе,— именно эти люди имели на развитие литературы не только по содержанию, но и в отношении художественной формы решительное влияние, какого не достигал ни один критик, думавший преимущественно о художественных вопросах.

Этот, повидимому, странный закон объясняется тем, что необходимый для критики дар природы, — эстетический вкус — есть только результат способности живо сочувствовать прекрасному в соединении с проницательным здравым смыслом. Эти качества в очень высокой степени принадлежали автору статей о Пушкине, — поэтому не будем удивляться, что он отличался чрезвычайно тонким вкусом. Людей с тонким вкусом встречается много; но были у него качества более редкие: беспристрастие и твердость. Он был готов отдать каждому должное, забывая личные отношения, но несмотря на пылкость характера редко расточал излишние похвалы, на которые критика обыкновенно бывает так щедра относительно писателей, принадлежащих к одному с нею литературному лагерю. Одним словом, характер его критики был таков, что внушал только доверие читателям и писателям.

Все это — необходимые условия для могущественного влияния критики. Но жизнь и силу им давала страстная любовь ко всему живому и благому. Без этой любви все остальные достоинства были бы бесплодны. Во всем этом мы повторяем голос общего мнения, с которым едва ли кто вздумает не соглашаться [5].

Но теперь мы должны коснуться и того вопроса, в ответе на который несогласны с довольно многими из людей, нами уважаемых. Имел ли автор статей о Пушкине столько знаний, сколько требовало высокое место в литературе, усвоенное ему природными дарованиями? Повидимому, ответ на это дается самым достоинством его критики,—тем, что из всех литературных битв он выходил победителем, хотя часто имел противниками людей, слывущих великими учеными. Какого еще спрашивать лучшего доказательства на то, что он обладал знаниями для него нужными? И однако же некоторые в том сомневаются. «Когда было ему время приобрести обширные знания?»—

говорят они — «он всегда был так обременен работою для приобретения насущного хлеба, что не мог дать себе основательного ученого образования». «Мы сами лично знали его», — прибавляют иные, — «нам положительно известно, что он не был человеком ученым».

Отвечаем на эти сомнения из уважения к некоторым из людей, введенных ими в странное недоразумение [6].

Автор статей о Пушкине не читал в подлиннике ни греческих классиков, ни Тассо, ни Шекспира, он не знал санскритского языка и чешского наречия, не мог отличить славянского манускрипта XI века от манускрипта XIII века, — кому эти знания кажутся необходимыми, тот может жалеть о его необразованности. Но мы заметим, что если мерить русских ученых по строгим требованиям так называемой основательной западной учености, то очень немногие (конечно, мы не говорим о специалистах: математиках, естествоиспытателях, медиках, филологах и т. п., — между ними много людей, истинно ученых, но, разумеется, не такой учености требуют от литератора) имеют право на имя ученых людей, и мы положительно утверждаем, что именно те люди, которые наиболее толкуют об учености и хвалятся своею ученостью и прослыли за великих ученых, на деле оказываются очень плохими учеными. Из наших ученых (кроме специалистов) мы знаем только одного, который действительно заслуживал имя человека с европейскою ученостью, — это был покойный Надеждин [7]. Другие мнимые ученые могут сказать о себе, если будут откровенны:

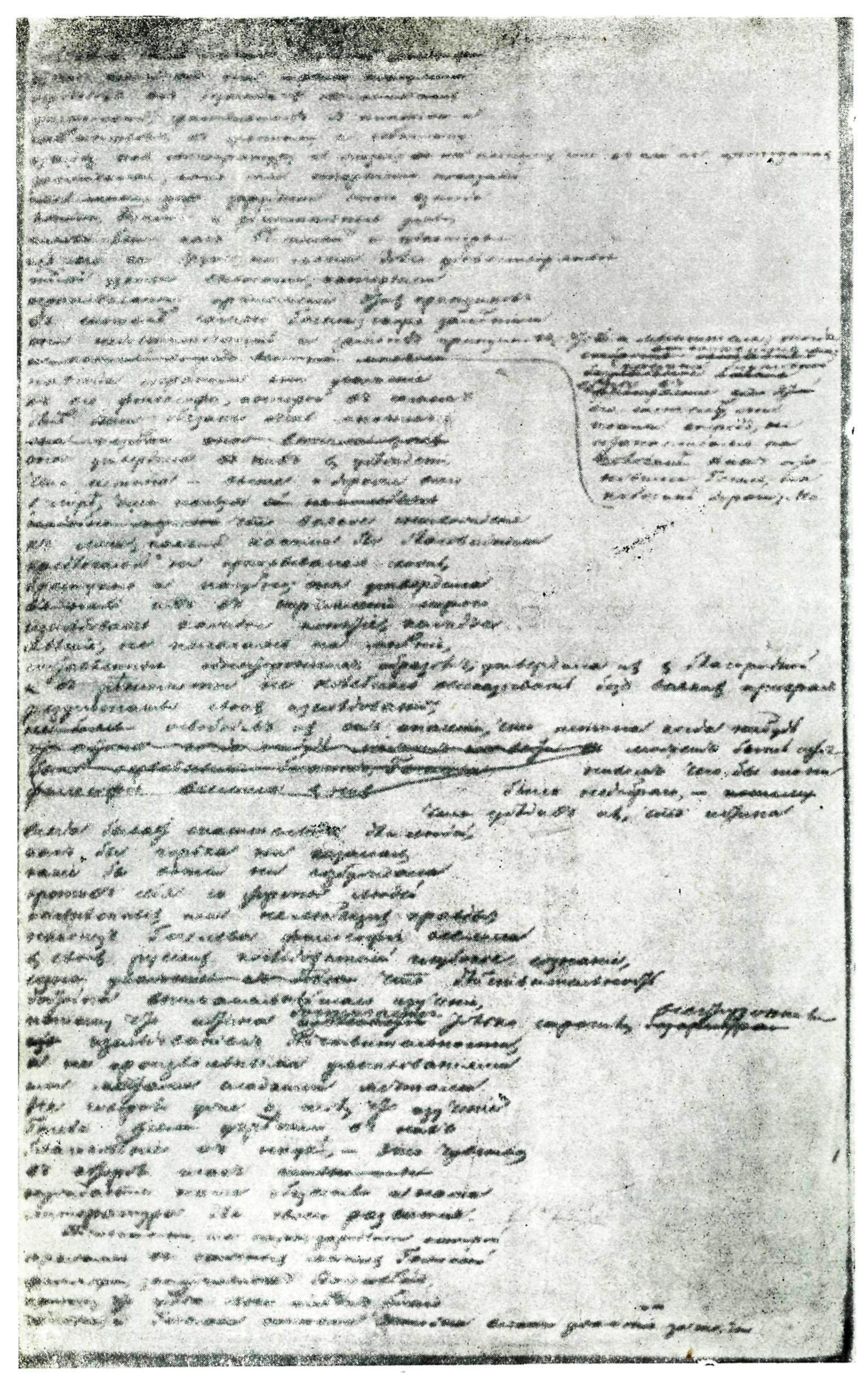
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

Именно, они знают кое-что и кое-о-чем и за то им честь, потому что прежде и таких людей у нас было очень мало. Но они не должны упрекать других в недостатке того, чего не имеют сами. Итак, вопрос становится определеннее: дело идет не о том, имел ли автор статей о Пушкине такую ученость, какой обладают некоторые из европейских литераторов, а только о том, имеют ли основание думать наши так называемые великие ученые, что он уступал им основательностью знаний.

На это можно отвечать решительно: не имеют никакого основания. Чем он занимался, о чем он говорил, что ему нужно было знать, то знал он очень хорошо, как очень немногие у нас. Если бы спор шел о предметах малоизвестных, мы не приняли бы на себя отважности говорить с такою уверенностью; но сомневаются в чем? Хорошо ли он знал русскую литературу, о которой судил; были ли ему известны иностранные литераторы, насколько нужно знать их русскому критику?

Не нужно иметь чрезвычайных познаний или особенной смелости, чтобы судить, действительно ли доказал тот или иной литератор свои основательные знания в подобных предметах — ведь это спор не о китайском языке. Мы решительно думаем, что люди, которые, зная критику автора статей о Пушкине, сомневаются, достаточно ли ему известны были иностранные литературы и Гегелева философия, обнаруживают только собственное незнание в этих предметах. Еще забавнее сомнения, относящиеся к русской литературе, которой никто не знал так хорошо, как он. Нам кажется, что толковать о недостаточности его знаний могут только или люди малообразованные или педанты, еще менее имеющие право на имя образованных людей. Доказать это самым подробным образом очень легко, если только будет надобно, но мы хотим надеяться, что в этом не будет нужды.

Надобно сказать, что надлежащему его развитию много помогли те самые обстоятельства его судьбы, которые для некоторых служат основанием к недоразумению, которого мы коснулись: дело в том, что автор статей



СТРАНИЦА РУКОПИСИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» С НЕПРОПУЩЕННЫМИ ЦЕНЗУРОЙ ОТРЫВКАМИ
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

о Пушкине был человек бедный, предоставленный в очень ранней молодости самому себе, и что до двадцати двух или трех, быть может, до двадцати пяти лет, когда сблизился он со Станкевичем, никто не заботился о его развитии. Нужда, как известно, прекрасная школа для тех немногих, которые способны пройти эту школу. А еще лучшая школа для умного человека то, когда его голова не набивается с малолетства различными кривыми толками, которые так трудно потом бывает исправить. Выучиться легче, нежели разучиваться и переучиваться. Он с свежими силами, с непритупленным софизмами чувством истины начал свое образование, когда был уже в юношеских летах: прежде учился он мало, следовательно и забывать ему было нужно немногое. Это важная выгода. Потому и натурально, что он постигал истину быстрее, нежели кто-нибудь. Он сам дал себе образование — потому и натурально, что он дал себе такое образование, какое было ему нужно. Он не имел возможности успокаивать себя предубеждением, которому поддается большая часть людей, получивших так называемое основательное образование: «это мне уж известно; это я давно уж знаю» — потому очень естественно было ему приобресть знания действительно основательные и полные в той мере, как то было нужно. И в самом деле несмотря на положительные доказательства того, что средства к образованию, которые он имел, были скудны, очень мало найдется людей, которые обладали бы такою основательною и прочною образованностью. В том нет сомнения, что многое в этом отношении, как и вообще во всем развитии автора статей о Пушкине, надобно приписать влиянию Станкевича и его друзей [8].

Иметь более или менее обширные знания — еще не особенная редкость или важность. Важнее быть человеком с прочным образованием, но еще гораздо важнее для писателя, который имеет решительное влияние на публику, гораздо важнее иметь твердую, стройную систему воззрений, в которой одно понятие не противоречило бы другому, одно понятие не опровергалось бы другим. У нас это встречается очень редко при запутанности и бессвязности понятий, которые вливаются в нас воспитанием и обществом. Вообще говоря, почти у каждого из нас в образе мыслей есть что-то хаотическое, случайное. Человеку, привыкшему к логической последовательности, трудно даже понять, каким образом в одной голове могут соединяться понятия и привычки совершенно несовместимые. Даже лучшие умы несвободны от этого недостатка—в пример укажем на Пушкина: с одинаковой искренностью писал он страницы, совершенно разноречащие по своему духу, так что, повидимому, автор одной тирады должен был бы ненавидеть автора другой, — а между тем они написаны одним человеком, который и не понимал, что жестоко противоречит сам себе [9]. Еще резче эта хаотичность понятий в Гоголе: она так велика, что многие могли объяснять ее только необразованностью или умственной болезнью. С нашими так называемыми мыслителями та же самая история. Даже в Надеждине, едва ли не сильнейшим из них, очень заметен этот общий недостаток. Шаткость понятий и бесвязность, хаотичность мнений — самая общая черта у нас. Обыкновенно даже наиболее развитые люди сами не знают, к чему ведет принимаемое ими основание, из каких посылок выведено отвергаемое ими следствие. Исключение составляют и теперь очень немногие люди, а пятнадцать или двадцать лет тому назад число их было еще гораздо менее. Автор статей о Пушкине был так счастлив, что не только развил в себе стройный и твердый образ воззрений на литературные вопросы,—этому чрезвычайно много помогли обстоятельства, о которых упомянули мы выше,—но и распространил его в публике, которая теперь в свою очередь начала иметь прекрасное влияние на литературу и не допускает ее уклониться от прочных оснований, положенных автором статей о Пушкине, по крайней мере не позволяет уклониться так далеко, как без охранения со стороны публики могло бы это случиться при стремлении

многих талантливых писателей возвратиться на прежнюю догоголевскую колею [10].

Все эти редкие качества ума и характера, которыми природа наделила автора статей о Пушкине, были посвящены, как мы уже указали в предыдущей статье, служению одной высшей идее, — служению на пользу родной страны без страха и лицеприятия. Любовь к родине, мысль о благе ее одушевляла каждое его слово, — и только этим страстным увлечением объясняется и непреклонная, неутомимая энергия его деятельности, и его могущественное влияние на публику и литературу. Постараемся теперь обозреть эту деятельность в ее последовательном развитии.

Автор статей о Пушкине начал с того самого, на чем остановился Надеждин — с чрезвычайно резкого и горького отрицания нашей литературы [11].

II. ЧАСТЬ ТЕКСТА, ЗАЧЕРКНУТАЯ В РУКОПИСИ

Итак, мы дошли до вопроса о системе литературных воззрений в критике гоголевского периода и постараемся изложить по возможности ясно и точно этот предмет, важнейший в истории нашей литературы, — только Гоголь, как мы сказали, равняется своим значением для общества [и] литературы автору статей о Пушкине.

Факт столь значительный, как критика гоголевского периода не мог возникнуть внезапно в одно прекрасное утро, — так являются только литературные грибы; не мог вырасти из ничего — так надуваются собственною пустотою только литературные мыльные пузыри, которые лопались в глазах нашей улыбающейся публики несмотря на все крики своих записных поклонников, которые, впрочем, на другой же день забывали об их эфемерном существовании.

Критика гоголевского периода росла долго прежде, нежели достигла своего полного развития — предшественником «Отечественных Записок» был Надеждин, — один из замечательнейших людей в нашей истории литературы (Человек необычайного ума и громадной учености... Человек, какого не являлось между нашими учеными со времени Ломоносова...).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Этой критики» — критики «гоголевского периода русской литературы» (так называл Чернышевский эпоху 30-х и 40-х годов). Приведем для связи последние абзацы отрывка, опубликованного в IV томе «Избранных сочинений» Н. Г. Чернышевского издания 1930 г., непосредственно предшествующие публикуемому нами тексту: «Непонятно и мудрено заблуждение, тупоумие, потому что оно противоестественно, а гений прост и понятен, как истина: ведь естественно человеку видеть вещи в их истинном виде.

Такое впечатление совершенной простоты и ясности производит критика гоголевского периода. Она привела в наше литературное сознание самые простые истины, ныне для каждого здравомыслящего человека ясные, как светлый день. Назначение этих истин очень велико: они произвели решительную эпоху в нашей умственной жизни».

2 Автор статей о Пушкине — Белинский. В первых четырех главах «Очерков гоголевского периода русской литературы» и в рукописи пятой главы Чернышевский ни разу не упоминает имени Белинского, так как в последние годы царствования Николая I и в первое время после его смерти такие упоминания не допускались цензурой.

3 Зачеркнуто: «у Лессинга и Руссо, которые считаются лучшими...»

4 Лессинг, Мерк, Шлегель.

Лессинг, Готгольд-Эфраим (1729—1781) — знаменитый немецкий писатель. Чернышевский считал Лессинга не только великим писателем, но и крупным историческим деятелем и в предисловии к своей монографии «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность», помещенном в октябрьской книжке «Современника» за 1856 г., писал о нем: «Лессинг был главным в первом поколении тех деятелей, которых историческая необходимость вызвала для оживления его родины... сам

Фридрих II не имел такого сильного влияния на развитие немецкого народа, как Лессинг» (Чернышевский, Н. Г. Собр. соч., изд. 1901 г., т. II, стр. 586—589).

Мерк, Иоганн-Генрих (1741—1791) — немецкий писатель, критик, историк искусства, поэт и беллетрист. Был другом Гете; прославился беспощадной резкостью своей критики, которая некоторым биографам и критикам дала повод считать его прототипом гетевского Мефистофеля.

Шлегель — повидимому, Август-Вильгельм Шлегель (1767—1845), старший из двух братьев Шлегелей, выдающийся идеолог немецкого романтизма, критик, историк литературы, филолог и поэт-переводчик. В качестве публициста выступил уже в очень зрелом возрасте, выпустив несколько книг, направленных против политики Наполеона I. В дневнике Н. Г. Чернышевского имеется о нем упоминание (см. Чернышевский, Н. Г. Дневник, изд-во политкаторжан. М., 1930, т. I, стр. 205).

[5] Все это рассуждение имеет большое историко-литературное значение, так как в нем частично раскрыты предпосылки той непрерывной и ожесточенной борьбы с так называемой «эстетической» критикой, которую вел уже в это время Чернышевский и которую повел вскоре после этого Добролюбов. Из приведенного рассуждения мы ясно видим, как понимал Чернышевский свои задачи в 1856 г., и как он вообще смотрел на литературно-критическую деятельность. Особенно интересны, во-первых, высказанный Чернышевским взгляд на условия, при которых только и возможен, по его мнению, расцвет литературной критики, и, во-вторых, высказанное им убеждение, что критики-публицисты даже на развитие формы литературных произведений оказывают более сильное воздействие, чем критики, оперирующие исключительно эстетическим методом.

[6] Возможно, что говоря об «уважаемых людях», высказывающих неправильные суждения о Белинском, Чернышевский имел в виду известного слависта И. И. Срезневского, лекции которого он слушал в свое время в университете. В дневнике Чернышевского, в записи от 4 сентября 1848 г., читаем: «Срезневский говорил против наших беллетристов и критиков. Это меня несколько встревожило; он, однако, увлекает и показался одним из лучших, кого я слышал; он сказал, между прочим: «например, хоть в «Отеч. Записках» писал критики человек, который кроме новой литературы ничего не знал...» (Чернышевский, Н. Г. Дневник, изд-во политкаторжан, ч. I, стр. 76)

[7] Надеждин, Николай Иванович (1804—1856) — известный литератор и ученый эпохи 20-х и 30-х годов — журналист, критик и этнограф. Был профессором Петербургского университета, издавал журнал «Телескоп», закрытый в 1834 г. по распоряжению Николая I. Высокая оценка, которую дает Чернышевский Надеждину здесь и ниже, объясняется тем, что Чернышевский, посвятивший этому критику всю четвертую главу и начало пятой главы «Очерков гоголевского периода русской литературы», считал его важнейшим предшественником Белинского.

[8] О влиянии кружка Станкевича на Белинского см. у Герцена, «Былое и думы», ч. I, гл. XXX. Круг Станкевича».

[9] Это суждение Чернышевского о Пушкине заслуживает исключительного внимания, в частности, его интересно сопоставить с тем местом статьи 1857 г. «Сочинения и письма Н. В. Гоголя», где Чернышевский говорит, что идейное влияние Пушкина на Гоголя не могло быть особенно благотворным. См. Чернышевский, Н. Г. Собр. соч., изд. 1906 г., т. III, стр. 341—342.

[10] После этого следуют два вычеркнутых абзаца, которые помещены выше под заглавием: «Часть текста, зачеркнутая в рукописи».

[11] После этих строк рукописный текст совпадает с общеизвестным печатным текстом. См. Чернышевский, Н. Г. Собр. соч., изд. 1906 г., т. II, стр. 165, стр. 18—20 снизу.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О ДОБРОЛЮБОВЕ

Публикация В. Сушицкого

I. [НЕКРОЛОГ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА]

[Первоначальная редакция]

Николай Александрович Добролюбов родился в Нижнем Новгороде 24 января 1836 года. Отец его, Александр Иванович, был священник нижегородской Никольской церкви. Имя его матери было Зинаида Васильевна.

Александр Иванович и Зинаида Васильевна очень сильно любили друг друга, так что когда скончалась Зинаида Васильевна [еще в молодых летах] (весною 1854 года) [2], муж не мог перенести этой потери: здоровье его быстро разрушилось, и он умер летом того же года [3].

Николай Александрович, способности которого развились очень рано (мы имеем тетрадь его стихотворений, писанных в 1849 году, когда ему было 13 лет; в числе этих пьес есть переводы из Горация) [4], поступил в четвертый (высший) класс Нижегородского уездного училища и должен был кончить семинарский курс в 18 лет* (обыкновенно, кончают курс в 21 или 22 года) и тогда, как отличный ученик, был бы отправлен на казенный счет в Московскую или Казанскую духовную академию. Но ему очень хотелось ехать в университет. Однако же, по чрезвычайной деликатности характера, он не стал говорить об этом, когда из косвенных расспросов у отца заметил, что родителям было бы не совсем легко уделять хотя рублей по 200 в год на его содержание в университете. А между тем, оставаться в семинарии стало ему слишком скучно. Чтобы выиграть время, он, пробыв один год в богословском (высшем) классе, поехал в Петербургскую духовную академию, курсы которой начинаются с нечетных годов, между тем как в Казанской и Московской, ближайших к Нижнему Новгороду, они начинаются с четных годов (по которым идут курсы и в Нижегородской семинарии). По приезде в Петербург, он увидел возможность поступить также на казенное содержание в Педагогический институт, который казался ему все-таки привлекательнее духовной академии, и сделался студентом института. Это было в августе 1853 года.

Весною следующего года внезапно скончалась его мать, которую он любил чрезвычайно нежно. Эта неожиданная весть страшно поразила его, и по всей вероятности нанесла первый сильный удар его здоровью. На каникулы (1854) он поехал в Нижний — и на его руках скончался отец, убитый смертью жены (1854 год).

---

* Далее следовали зачеркнутые запятая и следующие слова: «что бывает очень редко. Но ему хотелось ехать в Казанский университет. Недостаточные средства на содержание его по чрезвычайной деликатности характера, он стал настойчиво высказывать».

Николай Александрович остался старшим в семействе, которое состояло, кроме него, из пяти сестер и двух братьев. Денежные дела семьи находились в расстройстве. Отец, незадолго перед смертью, построил дом и вошел через это в долги, очень обременительные. Кроме дома, у сирот не было никакого состояния, а доход с дома почти весь поглощался уплатою процентов по займам из строительной комиссии и от частных лиц. Николай Александрович, с обыкновенным своим благородством, хотел пожертвовать всеми личными надеждами, чтобы поддержать сестер и братьев: он решился выйти из Педагогического института и просить места учителя уездного училища в Нижнем Новгороде. Родные, отцовские знакомые и институтские друзья едва могли соединенными усилиями отклонить его от этого намерения, доказав ему, что скудным жалованьем уездного учителя он не в силах будет содержать семейство, для самых выгод которого необходимо, чтобы он кончал курс в институте. Ему представили также, что три года, оставшиеся ему до окончания курса, сестры и братья его будут безбедно жить — одни у родственников, другие у некоторых из прихожан, уважавших его отца. Так и было сделано. [Через несколько времени, Николаю Александровичу и друзьям его отца удалось достичь того, что архиерей, не хотевший «зачислить» отцовского места за старшею сестрою Николая Александровича, согласился исполнить это обыкновенное в духовном звании правило, то есть, предоставить сироте-дочери получать часть доходов от остающегося праздным отцовского места, а по достижении ею совершеннолетия отдать вакантное место тому, за кого она выйдет] *. Но всего этого было слишком мало. Родные, взявшие на себя содержание сирот, сами были люди очень небогатые и Николай Александрович, не щадя себя, приобретал уроками деньги на содержание сестер и братьев.

[Через несколько времени Николай Александрович принял на себя новую тяжелую обязанность, — обязанность борьбы против стеснений и злоупотреблений, существовавших в Педагогическом институте. Личных причин становиться в оппозицию он не имел, — ему не делали никаких неприятностей, с ним были внимательны и предупредительны; но его товарищи страдали, и он стал их адвокатом, рискуя быть раздавленным [5]. Он повел дело так благоразумно и твердо, что справедливость жалоб, им представленных, была признана князем П. А. Вяземским, тогдашним товарищем министра народного просвещения] **.

Мы познакомились с Николаем Александровичем летом 1856 года, за год до окончания им курса в Педагогическом институте [6]. Он отдал *** нам тогда для напечатания в «Современнике» историко-литературную статью о «Собеседнике любителей российского слова» и вскоре потом разбор «Акта Главного Педагогического института» [7]. Институтское начальство не должно было знать автора этой рецензии [, которого могло погубить] ****, и она доставила бесчисленные овации тому из сотрудников «Современника», которому была приписана [8]. Опасно было бы для Николая Александровича даже и совершенно невинное участие в журнале, поместившем эту убийственную рецензию; потому мы просили Николая Александровича отложить до окончания курса сотрудничество в «Современнике», как ни тяжело было для нас на целый год лишать себя помощи такого товарища.

---

* В рукописи не зачеркнуто. Видимо, опущено автором в корректуре.

** В рукописи не зачеркнуто. В окончательной редакции заключительные слова последнего предложения имеют такую редакцию: «была признана министерством народного просвещения».

*** Первоначально: «доставил».

**** В рукописи не зачеркнуто.

№ 1143

[illegible]

Николай Александрович Добролюбов
родился в Нижнем Новгороде 24 января
1836 года. Отец его, Александр Иванович,
был священником нижегородской Никольской
церкви. Имя его матери было Зинаида Ва-
сильевна. ——

Александр Иванович и Зинаида Василье-
вна очень любили друг друга, так
что когда скончалась Зинаида Васильевна
[illegible] (весною 1854 года)
муж не мог перенести этой потери:
здоровье его быстро разрушилось, и он
умер ~~[illegible]~~ летом того же года.

Николай Александрович, способности кото-
рого развились очень рано (как показы-
вают его стихотворения, начинающиеся с
[illegible]
1849 года, когда ему было 13 лет; в [illegible]
[illegible] из Гораци[illegible]
поступил в четвертый (высший) класс
нижегородского уездного училища, и [illegible]
[illegible] курс семинарии [illegible]

[illegible]

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА НАПИСАННОГО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ
НЕКРОЛОГА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

Но с начала 1857 года он стал помещать статьи в педагогическом журнале гг. Чумикова и Паульсона [9] [, сношения с которыми не составили бы преступлечия в глазах институтского начальства, если бы и были узнаны им *]. По окончании курса, он отправился в Нижний — повидаться с сестрами и отдохнуть. Перед отъездом он отдал нам статью «Несколько слов о воспитании», напечатанную в № 5 «Современника» за 1857 год [10]; тотчас по возвращении в Петербург началось его постоянное сотрудничество в «Современнике» (с № 7 в 1857 году), а скоро (с конца 1857 года) он принял в свое заведывание отдел критики и библиографии в нашем журнале. [Читающая публика знает с каким блеском повел он эту часть журнала] **. Ему еще не было 22 лет в это время.

Он работал чрезвычайно много, но не по каким-нибудь внешним побуждениям, а по непреоборимой страсти к деятельности. Едва ли прошло полгода времени между тою порою, как он стал нашим товарищем и тем временем, когда мы заметили, что его надобно удерживать от работы. С начала 1858 года не проходило ни одного месяца без того, чтобы несколько раз мы настойчиво не убеждали его работать меньше, беречь себя. Он отшучивался, говорил, что напрасно мы думаем, будто он утомляет себя. Впрочем, он был прав: не труд убивал его, — он работал беспримерно легко, — его убивала гражданская скорбь. Иногда обещался он отдохнуть, но никогда не в силах был удержаться от страстного труда. [Да и мог ли он беречь себя? Он чувствовал, что его труды могущественно ускоряют ход нашего развития, и он торопил, торопил время...] ***.

Видя, что он не может дать себе отдыха на родине, и думая, что южный климат поможет ему, мы с зимы 1858 — 1859 годов, стали убеждать его ехать за границу. Он не хотел. Но следующею зимою он был уже очень хил. Почти насильно мы заставили его ехать за границу весною 1860 года. Через два-три месяца он уже хотел возвратиться. Он никогда не хотел верить, что его здоровье слабо, изнеможение свое он приписывал мимолетным причинам, влияние которых пройдет само собою. С трудом убедили его остаться на зиму за границей. Он нетерпеливо стремился в Россию работать, работать [11].

[Вдруг, в начале весны, мы получили от него письмо, противоречившее всем прежним: он говорил, что думает навсегда остаться в Италии и поручал нам устроить его денежные дела так, чтобы этому не было затруднений. Но через месяц он писал, что в Италии делать ему уже... [12]] ****.

Он возвратился в начале августа нынешнего года, нисколько не поправившись в здоровье, и тотчас же по приезде должен был начать лечиться. Тут подошли тревоги *****, ускорившие его смерть [13].

После изнурительной болезни он тихо скончался в 2 часа 15 минут утра 17 ноября.

Ему было только 25 лет. Но уже 4 года он стоял во главе русской литературы, — [нет, не только русской литературы, — во главе всего развития русской мысли.] ******.

Для своей славы он сделал довольно. Для себя, ему не за чем было жить дальше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби. [Но невозградима его потеря для народа, любовью к которому горел и так рано сгорел он. О, как он любил тебя, на-

* В рукописи не зачеркнуто.

** В рукописи не зачеркнуто.

*** В рукописи не зачеркнуто.

**** В рукописи этот незаконченный абзац зачеркнут, а слово «делать« зачеркнуто по ходу письма.

***** В рукописи слово «тревоги» заменено словами — «внешние события», которые в напечатанной редакции заменены словами — «внешние обстоятельства».

****** В рукописи не зачеркнуто.

род! До тебя, не доходило его слово, но когда ты будешь тем, чем хотел он тебя видеть, ты узнаешь, как много для тебя сделал этот гениальный юноша, лучший из сынов твоих.] *.

Приготовляя к изданию сочинения Николая Александровича Добролюбова [14], мы здесь помещаем перечень важнейших из статей его, напечатанных в «Современнике» **.

Николай Александрович Добролюбов погребен рядом с Виссарионом Григорьевичем Белинским (на Волковом кладбище).

Почитатели памяти этих честных граждан намерены поставить один памятник им обоим вместе ***.

Портрет Николая Александровича будет вырезан на меди и приложен к «Современнику» ****.

Редакция [16]

II. В ИЗЪЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ.

ПИСЬМО К З—НУ

[Первоначальная редакция]

Прочитав статью вашу в январской книжке «Библиотеки для чтения» [17], хотел я, милостивый государь, просить у вас свиданья, чтобы в частном разговоре раскрыть вам глаза на неловкость, сделанную вами в этой статье. Но скоро я передумал: вы отличились публично, стало быть публично надобно и показать вам, как вы отличились.

Вы имеете на деятельность Добролюбова взгляд, различный от нашего, это еще не заставило бы меня входить с вами в прения: ваше мнение не так важно, чтобы кому-нибудь стоило обращать на него внимание. Но есть в вашей статье несколько строк, претендующих определить мое отношение к Добролюбову, с похвальными эпитетами мне. Вы хотите засвидетельствовать для истории литературы факт, который был бы очень почетен для меня; если я оставлю ваши слова без ответа, то должно показаться, что я без возражений принимаю их за правду *****. Такую роль я не могу взять на себя.

На страницах 38 и 39 вашей статьи вы говорите, что в литературном кругу, к которому принадлежал Добролюбов, был человек, более его замечательный по дарованиям; этого человека вы почитаете учителем Добролюбова, вы приписываете этому человеку энергию убеждений, гораздо большую той, какую находите в Добролюбове [18]. На 34 стр. [19] вы о том же человеке говорите: «мы совершенно искренно уважаем некоторых из друзей покойного — бова, в особенности одного, о лицемерном непризнавании заслуг которого, мы, кажется, первые сказали, что оно переступило меру». Очевидно, что вы тут упоминаете статью обо мне, помещенную в одной из осенних книжек вашего журнала за прошлый год. Очевидно, что под че-

---

* В рукописи не зачеркнуто.

** Далее следуют списки статей Добролюбова, напечатанных им в «Современнике» и «Свистке», который мы опускаем, так как разницы нет между текстами рукописи и «Современника».

*** Далее в рукописи идут зачеркнутые недописанные предложения, смысл которых сводится к тому, что редакция «Современника» будет принимать пожертвования на памятник Белинскому и Добролюбову.

**** Далее в рукописи идут недописанные предложения, содержание которых сводится к тому, что, во-первых, редакция «Современника» занимается собиранием материалов о Добролюбове, во-вторых, что она собирается напечатать его биографию, над которой работает один из друзей Добролюбова.

***** Последних трех слов в корректуре нет. Видимо, их не дописал автор не добрал наборщик.

ловеком, который был учителем Добролюбова, превосходил его талантом и энергиею, вы разумеете меня. Это принуждает меня разъяснить вам мои отношения к развитию образа мыслей Добролюбова, сказать, как представляется мне самому отношение моих сил к силам его и какая разница* действительно существует, по степени энергии, между мною и им.

Учителем Добролюбова я не мог быть, во-первых, уже и потому, что не был его учителем никто из людей, писавших по-русски. Довольно много пользы принесли ему статьи Белинского и других людей того литературного круга. Но не под их главным влиянием сложился его образ мыслей. Поступив в Педагогический институт летом 1853 года он вскоре привык читать книги по-французски, а с немецкими книгами начал знакомиться еще до поступления в институт. Если же даровитый человек в решительные для своего развития годы читает книги наших общих западных великих учителей [20], то книги и статьи, писаные по-русски, могут ему нравиться, могут восхищать его (как и Добролюбов восхищался тогда некоторыми вещами, писанными по-русски) [21], но ни в коем случае не могут они служить для него важнейшим источником тех знаний** и понятий, которые почерпает он из чтения. [Каковы Пушкин или Лермонтов перед Байроном и Мицкевичем, таковы же наши публицисты и мыслители перед западными]. Что же касается влияния моих статей на Добролюбова, этого влияния не могло быть даже и в той, не очень значительной степени, какую могли иметь статьи Белинского. [Того, чтобы иметь работу в журналах, я добился только к весне 1854 года [22], еще с год прошло прежде, чем получил я возможность писать так и о таких предметах, чтобы сколько-нибудь проглядывали мои особенные понятия в моих статьях. Да и то все продолжали мешать ясности и значительности моих работ разные условия, находившиеся отчасти в личных недостатках моего характера, отчасти в тогдашних журнальных отношениях к тогдашним литературным знаменитостям. В доказательство сошлюсь на первые книжки «Современника» 1855 года. В первых четырех книжках его помещены статьи: «О мысли в произведениях изящной словесности по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л. Н. Т. (графа Л. Толстого)», статья П. В. Анненкова [23]; «Первые драматические опыты Шекспира», статья В. П. Боткина [24]. Если бы мой голос был тогда значителен в «Современнике», то понятно, что ни г. Боткин, ни г. Анненков не почли бы приятным и не нашли бы удобным печатать в этом журнале свои статьи [25]. Позволю себе для разъяснения дела коснуться некоторых случаев частной жизни, характеризующих тогдашнее мое положение в литературе. Я тогда пользовался благосклонным покровительством г. Тургенева [26] и г. Боткина [27]; такой факт решительно показывает, что в моей литературной деятельности тогда еще не выступали заметным образом особенности, которые лишили бы меня их милостивого одобрения. Эти отношения, показывающие незначительность и неопределенность тогдашней моей роли, продолжались весь 1855 и почти 1856 годы. В свидетельство беру первые четыре книжки «Современника» 1856 года. В них были между прочим помещены статьи: «Георг Крабб и его произведения» А. В. Дружинина [28], «Героическое значение поэта» В. П. Боткина [29], статья о путешествии г. Гончарова, не подписанная, но очевидно принадлежащая тому же направлению [30] как и разбор «Семейной хроники» С. Аксакова, подписанный П. В. Анненковым [31]. Когда же это успел я до появления Добролюбова в литературе приобрести такой заметный голос в ней, чтобы могли тогда быть у меня ученики? Ведь Добролюбов начал

---

* Этого слова в корректуре нет. Видимо, его не дописал автор или не добрал наборщик.

** В собр. соч.—«занятий», что является явным искажением. Исправляем по корректуре.

помещать статьи в «Современнике» с половины того же 1856 года [32]. Убедиться в неосновательности ваших предположений вы могли бы, милостивый государь, если бы потрудились заглянуть в книжки тех годов того журнала, о сотрудниках которого говорите.] *.

Для человека сообразительного было бы довольно этих ** фактов, отпечатанных курсивными и заглавными шрифтами в оглавлениях тогдашнего «Современника». Но для вас, милостивый государь, быть может мало иметь факты, к которым самому надобно прилагать некоторые соображения; быть может вам необходимы готовые, пережеванные заключения. Вы могли бы слышать их от каждого, имеющего близкие сведения об отношениях Добролюбова ко мне. Число этих людей не так мало, чтобы не приводилось встречаться с ними каждому, находящемуся в порядочном литературном кругу. Я должен заключить, милостивый государь, что или вы совершенно чужды ему, или не умеете понимать разговоров, в которых участвуете. Но в том и в другом случае все-таки остается неизвинительна ваша опрометчивость. Вы имели в печати прямое мое свидетельство о факте, который совершенно опровергает вашу фантазию, будто я был учителем Добролюбова. Г. Пятковский вскоре по смерти Добролюбова напечатал в «Книжном вестнике» [33] его некролог, в котором прямо говорил, что биографические данные о Добролюбове получил от меня. Тут рассказывает он между прочим, что, когда Добролюбов познакомился со мною, его образ мыслей уже был вполне установившийся; стало быть с этой стороны я не мог иметь на него влияния. Всякому другому на вашем месте, милостивый государь, было бы понятно, что в этом случае г. Пятковский основывается на моем собственном признании.

Вам не случилось знать или не удалось понять ничего этого; иначе не могла бы вам притти в голову фантазия, будто я был учителем Добролюбова. Но вы оказываетесь незнающим и неумеющим понимать уже не каких-нибудь частных фактов, а и ровно ничего, когда фантазируете об отношениях моих дарований к дарованиям Добролюбова. Положим, вы не заглядывали в «Современник» 1854—1856 годов; положим, вы не читали того, что писалось о Добролюбове по его смерти; положим, вам не случалось встречаться ни с кем из людей порядочного литературного круга, — ни из «Отечественных записок» или «Русского слова», ни из «Времени» или «Современника», но все-таки ведь читали же вы какие-нибудь статьи Добролюбова и какие-нибудь мои статьи; вы сами говорите, что читали многие из них. Как же могли вы не заметить, что слишком смешно ставить написанное мною выше написанного им. [После этого вы способны ставить г. Островского выше Гоголя, г. Тургенева выше Пушкина. С другим человеком не нужно было бы рассуждать о разнице дарований во всех этих трех параллелях: он сам мог бы замечать ее. Но вам, милостивый государь, надобно, как я выразился, давать совершенно пережеванную пищу. Потому сообщу вам факты с прибавкой выводов из них.]

С той поры, как Добролюбов мог беспрепятственно отдаться литературной деятельности [(тотчас по его выходе из Педагогического института и по возвращении из Нижнего, куда он на короткое время ездил повидать-

---

* В окончательной редакции этот отрывок, начиная от слов: «Того, чтобы иметь работу», был сильно сокращен, приняв следующий вид: «Я не имел тогда важного влияния в литературе. В доказательство сошлюсь на «Современник» 1855 и 1856 гг. Пересмотрев эти журналы, вы увидите незначительность и неопределенность тогдашней моей роли. Когда же это успел я до появления Добролюбова в литературе приобрести такой заметный голос в ней, чтобы могли быть у меня ученики? Ведь Добролюбов начал помещать статьи в «Современнике с половины того же 1856 г.».

** Слово «этих», благодаря предыдущему сокращению, видимо, было выброшено автором в последней корректуре, так как в «Современнике», его нет.

ся с родными)] до самого отъезда его за границу, я не писал о тех предметах, о которых писал он. Я уже не разбирал ни одной беллетристической книги и ни одной книги по предметам, имеющим близкую связь с русской жизнью. Отчего это могло происходить? Неужели ни разу в эти три с половиною года не приходила мне охота написать что-нибудь по этой отрасли дела, по которой прежде писал я постоянно и иногда не без внутреннего влечения к такой работе? Нет, я просто понимал, что для меня было бы невыгодно, если бы мои статьи могли быть сближаемы с статьями Добролюбова для сравнительной оценки нас обоих. Поэтому я старался и вовсе* не писать для отдела критики и библиографии, а когда Добролюбов говорил мне, что он не успеет наполнить этих отделов в какой-нибудь книжке журнала и что нужна для них моя статья, я брал предметы, не входившие в круг его обыкновенных работ, — писал, например, об Англии и Франции по поводу книги г. Чичерина [34], или о Тюрго по поводу диссертации г. Муравьева [35]. Даже в первую половину прошлого года, — когда он, оставаясь за границею, уже не имел под руками новых русских книг и потому необходимо стало мне писать для отдела критики, — и я все-таки не писал ничего о беллетристических книгах и о сочинениях по тем отраслям литературы, которыми прежде занимался он. Я хотел избегать невыгодного для меня сравнения, надеясь, что он возвратится к нам поправившись здоровьем, и возобновит свою деятельность [, перед которою моя казалась бы слаба].

[Вот видите ли, милостивый государь: приписывая мне такие преимущества, допускать присвоение которых себе было бы с моей стороны недобросовестно, вы забыли указать во мне одно достоинство, за которое, когда меня не станет, помянут меня добрым словом все знавшие меня: каковы бы ни были мои дарования, но если я встречу в другом превосходство передо мной, я умею понимать такой факт и принимаю его; и я делаю это с искреннею радостью, что вот нашелся человек, который лучше меня может служить делу, которому обрекла и меня служить природа; и я делаю все от меня зависящее, чтобы открыть простор для деятельности такого человека, и, насколько допускает слабость моего характера, стараюсь оградить этого человека от стеснительного влияния разных литературных авторитетов.

Вот эта черта действительно существовала в моих первоначальных отношениях к Добролюбову. Когда он начал писать, я был уже не молод. Печатным образом могли называть тогда и могут еще много лет называть меня мальчишкою; но видя мое лицо уже и тогда, в 1856 — 1857 годах, видели, что не одну пару бритв износил мой подбородок, а в разговорах со мной замечали, что я давно пережил увлечения молодости и совершенно степенен. Притом же, я и тогда имел, хотя не бог знает какое видное, но все-таки некоторое прочное положение в литературном кругу: с оттенком покровительства, но не с совершенным пренебрежением удостоивали меня знакомства наши тогдашние литературные знаменитости в это время, когда Добролюбов только что кончил курс и еще имел 21 год от роду и не был знаком ни с кем из почтенных в литературе людей. Благодаря солидности моих лет, мне удалось несколько облегчить Добролюбову путь к беспрепятственной деятельности в «Современнике». Я говорил кому было нужно, что этот человек обладает великим умом и талантом и что наш брат не должен опекунствовать над ним; когда доходил до меня слух, что ту или другую статью его находят неосновательною люди, имевшие тогда голос в литературном кругу нашего журнала, я отвечал, что он умнее их и основательнее понимает вещи. Это могло до некоторой степени уменьшить число стес-

* Слова — «и вовсе» в окончательной редакции опущены.

нительных для него столкновений. Этою заслугою перед ним я горжусь. Но не очень продолжительно было время, когда мое дружеское охранение от вмешательства стеснительных влияний могло быть нужно ему. Через год или меньше по начале его постоянного сотрудничества, к лету 1858 года, или даже несколько раньше, ему уже не требовалось ни чьей поддержки в этом отношении. Он уже имел преобладающее влияние в журнале] *. Почему это могло быть, когда тут был и я? Я не могу объяснить этого ничем другим, кроме его превосходства. Слава-богу, настолько-то все же есть у меня ума и добросовестности, чтобы понимать подобные факты.

Но если вам мало моего собственного суждения об этом предмете, вы могли бы, милостивый государь, узнать, то же самое от кого вам угодно из людей не совсем глупых или не совсем ничего не знающих о «Современнике». Они рассказали бы вам следующие факты: когда Добролюбов только-что начал писать в «Современнике», [не подписывая своей фамилии, и за пределом нашего небольшого дружеского круга никому в литературе не было еще известно, что существует человек, имеющий фамилию Добролюбов], его статьи приписывались мне,—но с прибавками, [ни мало] не лестными для моего самолюбия. «Из ваших статей в нынешней книжке самая удачная вот такая-то»,—говорил мне какой-нибудь знакомый и назвал статью не мою, а Добролюбова. [Во многих других на моем месте такие отзывы возбуждали бы зависть, иных, пожалуй, настроили бы к тому, чтобы стараться оттеснить или затереть Добролюбова. Я поступал наоборот, но в этом не вижу особенной доблести: я мог бы сообразить, что затереть такого человека мне не удастся, и старания об этом только выказали бы меня человеком слишком пошлым. Но ценю я себя за то, что не было мне надобности обуздывать такими соображениями внешние проявления зависти, потому что не было зависти, а была двойная радость: радость тем, что является человек, способный лучше меня служить общему делу, и тем, что мне случилось узнать и полюбить этого человека, не только как общественного деятеля, но и как человека. Такое чувство относительно людей, подобных Добролюбову, надеюсь, никогда меня не покинет, да и теперь вновь я испытываю относительно одного человека. Но возвращаюсь к внешним фактам]. Но очень недолго было время, когда статьи Добролюбова смешивались с моими [: скоро все, понимающие что-нибудь, заметили разницу]. А в конце 1858 и в начале 1859 годов уже не было ни одного человека в порядочных литературных кругах, который не выражался бы в том смысле, что Добролюбов — самый сильный талант в «Современнике». Наш круг знал это и гораздо раньше. Из этого вы можете видеть, милостивый государь, как не верны ваши слова, будто бы мы считали его «меньшим из своих братий, второстепенным человеком своего кружка» (стр. 30). и будто бы «друзья покойного — бова ни при его жизни, ни после его смерти, никогда не могли думать о — бове, чтобы он был первым человеком между ними, или даже вторым, или даже третьим» (стр. 31). Мы не были, милостивый государь, так тупы и глупы, чтобы не считать его первым человеком в своем кругу. [Да и не мы одни, а все порядочные люди в литературном мире находили то же самое, как я уже имел честь сказать вам]. Но вы можете не поверить моему свидетельству [об общем характере фактов, если я не представлю вам определенных фактов в пример общего их характера, — ведь вы, как по всему видно, ровно ничего не знаете о мнениях и отношениях порядочного литературного общества]. Со-

* Выпущенный отрывок, вернее, первая половина его второго абзаца, принял в окончательной редакции следующий вид: «Всем известно, что через год или меньше, в начале своего постоянного сотрудничества, к лету 1858 года, или даже несколько раньше, Добролюбов имел уже преобладающее влияние в журнале».

общу же вам два случая, бывшие со мной *. Первый из них относится к концу 1858 года. Я сидел у г. Кавелина, в доме которого Добролюбов стал близким человеком с начала того года. «Странное дело», — сказал мне между прочим г. Кавелин, — «я не могу чувствовать к Добролюбову того мирного расположения, как, например, к вам. Отчего это? Образ мыслей у нас, повидимому, одинаков, а как человек он — превосходнейший человек, мое мнение о его сердце и характере доказывается тем, что я допустил его совершенно овладеть мыслями моего сына, чего не сделал бы, если бы б мог считать что-нибудь дурным в Добролюбове. Но отчего же я чувствую, что он совершенно чужд мне, между тем, как например вы не-вовсе чужды?» — Я сказал тогда: «Это оттого, что в Добролюбове нет тех слабостей и шаткостей в уме ** и характере, которые дают вам некоторые точки опоры, чтобы притягивать мой образ мыслей и поступков в некоторое согласие с вашими требованиями. Взгляд его тверже и яснее, чем у меня, потому не остается для вас возможности понимать его в вашем смысле, как можете вы в значительной степени делать с моим взглядом».— «Да»,—сказал г. Кавелин с искренностью чувства, которое влечет к нему, как к человеку, сколько бы ни желал иной раз рассердиться *** на него,— «Да»,—сказал он, «вот вы принадлежите к поколению, которое должно итти дальше нашего, а поколение Добролюбова должно находиться в таком же отношении к вашему; между нами и вами есть связь; между вами и ими тоже есть связь, а между нами и ими видно уже нет связи. Что ж делать? Это грустно для нас; но так нужно для прогресса». — Сходный с этим разговор имел я через несколько времени, в начале 1860 года, с г. Тургеневым. Это было на первом литературном чтении в пользу «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» [36]. Члены комитета этого общества и лица, участвовавшие в чтении, собрались в галлереях, окружающих залу Пассажа, где происходило чтение. В одной из них случилось как-то остаться троим или четверым из нас, в том числе г. Тургеневу и мне. Он был тогда недоволен одною из статей Добролюбова и в заключение спора со мною о ней сказал: «Вас я могу еще переносить, но Добролюбова не могу». — «Это оттого, — сказал я, что Добролюбов умнее и взгляд на вещи у него яснее и тверже».—«Да,—отвечал он с добродушной шутливостью, которая очень привлекательна в нем [37], да, вы—простая змея, а Добролюбов—очковая змея». Вот вам, милостивый государь, два случая, показывающие, как понимались отношения мои к Добролюбову. Вы можете видеть из них, что он давно уже считался самым полным представителем того направления, которое далеко не с такой определенностью и силой выражалось во мне [38].

Для совершенной точности определения должен я прибавить еще третье слово: и далеко не с такою непреклонностью. [Но для объяснения этой прибавки я должен перейти к новому предмету речи. До сих пор я рассуждал с вами об убеждениях; теперь] **** следует коснуться личных характеров Добролюбова и моего, насколько это нужно для показания вам, как смешна ваша догадка, будто Добролюбов уступал мне энергиею натуры. У меня характер уклончивый до фальшивости, это свойство сходное с мягкостью в личном обращении, может очаровывать моих знакомых, действительно ли очаровывает или возбуждает в них некоторую долю презрения, я

* Это предложение в окончательной редакции приняло следующий вид: «Сообщу же вам два из многих случаев, бывших со мной».

** В окончательной редакции слова — «в уме» заменены словами — «в мыслях».

*** В окончательной редакции: «посердиться».

**** В окончательной редакции этот отрывок сильно сокращен и принял следующий вид: «Для объяснения этой прибавки».

СОБЕСѢДНИКЪ

ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССІЙСКАГО СЛОВА.

Изданіе кн. Дашковой и Екатерины II

1783—1784.

Николаю Гавриловичу

Чернышевскому

глубоко уважающий

Н. Добролюбов

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

Послѣ отвлеченныхъ философскихъ разсужденій, которыми отличалась наша критика въ сороковыхъ годахъ, наступило время обращенія къ фактамъ исторіи литературы. Любопытно наблюдать этотъ крутой поворотъ направленія, — одинъ изъ тѣхъ, которыхъ такъ много представляетъ исторія нашей словесности. За 10—20 лѣтъ предъ этимъ, ко всему хотѣли прилагать эстетическія и философскія начала, во всемъ искали внутренняго смысла, всякій предметъ оцѣнивали по тому значенію, какое имѣетъ онъ въ общей системѣ знаній или между явленіями дѣйствительной жизни. Тогда господствовали высшіе взгляды, тогда старались уловить духъ, характеръ, направленіе, оставляя въ сторонѣ мелкія подробности, не выставляя напоказъ всѣхъ данныхъ, а выбирая изъ нихъ только наиболѣе характерныя. Тогда критика обыкновенно рисовала намъ прежде всего фасадъ зданія, потомъ представляла намъ его планъ, говорила о матеріалахъ, изъ которыхъ онъ построенъ, разсказывала о внутреннемъ убранствѣ и затѣмъ анализировала впечатлѣніе, которое производитъ это зданіе.

ОТТИСК СТАТЬИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА «СОБЕСЕДНИК ЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОГО СЛОВА» С ЕГО ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

не знаю; [думаю только, что в людях умных и безукоризненно прямых скорее производит она последний результат, чем первый]. Но как бы то ни было, вы согласитесь, что при таком изгибающемся, податливом характере никак не могу я сравниться энергиею чувства с людьми прямого и, сказать без церемоний, честного характера. В Добролюбове этого недостатка решительно не было *.

Вот, милостивый государь, [и были бы кончены мои объяснения для вас, и оставалось бы **], начинать заключительную часть письма с обычным ее содержанием, — изъявлением чувств пишущего к получающему письмо [, если бы обнаруженные вами размеры знаний и сообразительности не показывали бы мне надобности изложить вам еще одну сторону дела, которая и без моих слов была бы ясна для] ***.

Вы принудили меня в опровержение ваших вздорных соображений выставлять самому такие черты моей литературной деятельности и моего личного характера, которыми не слишком доволен я сам. Человек, принужденный выставлять свои слабости и недостатки, досадует на того, кто принудил его к этому.

Вы наговорили мне комплиментов, очень пошло отзываясь о статьях Добролюбова, которые лучше моих. Какое чувство должно было родиться во мне от этого? «Вот господин, который не в состоянии ценить действительно хорошего; а мои статьи он высоко ценит. Что же это значит? Есть молодцы, которым не нравится Гоголь; эти молодцы хвалят повести гр. Соллогуба [39] и комедии г. Львова: [40] неужели от подобного свойства моих статей произошли похвалы им со стороны г. З—на?» — Это неизбежное впечатление от вашей статьи было для меня очень оскорбительно.

А ведь по всему видно, что вы вовсе не хотели оскорблять меня, — напротив, вы ждали, что я буду очень доволен. Вы не могли сообразить, в какое положение вы меня ставите. Я проникаюсь состраданием к вашей умственной слабости.

Но сострадание мое, смешанное с досадою и чувством обиды, соединяется, — извините, это резкое слово, — соединяется с отвращением. Ругаясь над мертвым, льстить живому! Да, впрочем, понимали ли вы, что именно это вы делаете?

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Написанный Н. Г. Чернышевским некролог Н. А. Добролюбова и статья «В изъявление признательности» были напечатаны в «Современнике» 1861 г. № 11 и 1862 г. № 2. Исследователи творчества и деятельности двух великих шестидесятников широко использовали содержащийся в них материал, особенно, по вопросу об оценке Чернышевским Добролюбова. В сущности говоря, именно на данных этих статей и базировались исследователи. Поэтому вполне понятно, что публикация этих статей в их первоначальном виде представляет крупный интерес. В Доме-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове хранятся рукопись некролога и корректура статьи «В изъявление признательности», являющаяся за неимением рукописи также первоисточником. Ни корректура, ни тем более рукопись не несут на себе следов цензорской правки. В рукописи Чернышевский кое-что «самоизъял». В корректуре, пользуясь другой ее копией, не дошедшей до нас, Н. Г-ч, видимо, также сам опустил многие места. Если некоторые из них он устранил, несомненно, по стилистическим соображениям, то изъятие других мест было уступкой со стороны автора редакторскому такту Некрасова (М. А. Антонович, Воспоминания, «Academia», 1933 г., стр. 201 — 202).

Зарин, которого Чернышевский разоблачил в статье «В изъявление призна-

---

* В окончательной редакции последнее предложение приняло такой вид: «В Добролюбове такого, как во мне, недостатка решительно не было».

** В окончательной редакции последние два слова заменены одним — «остается».

*** На этом корректура обрывается. Окончание статьи даем по окончательной редакции.

тельности», при жизни Добролюбова неоднократно нападал на него. На могилу врага он принес наглые уверения, что Добролюбов был мелкой сошкой в «Современнике», что он в нем даже не занимал третьего места. («Небывалые люди», «Библиотека для чтения», 1862, январь, стр. 30—31). Широко известного, популярного и влиятельного литературного критика, автора ряда блестящих политических статей, неукротимого публициста, ярко проводившего линию революционной демократии, Зарин расценивал, как автора пустяковых рецензий, как писателя, о котором не приходится говорить всерьез. Отвечая Зарину, Чернышевский ставил своей целью доказать, что только тупой противник может говорить о малом значении Добролюбова.

[2] Мать Добролюбова умерла 8 марта 1854 г.

[3] Ослабленный организм отца Добролюбова не перенес холеры, от которой он и умер 6 августа 1854 г.

[4] Хранится в архиве ИРЛИ (б. Пушкинском Доме). См. описание В. Княжнина — «Архив Н. А. Добролюбова» («Временник Пушкинского Дома». 1913 г. СПБ., стр. 16), а также его статью — «Добролюбов как поэт» («Полн. собр. соч.» Добролюбова. Под ред. Е. Аничкова, т. IX, стр. 12—15). Ода Горация, Ad se ipsum [перечеркн.]. 14 сент. 1850 г.

[5] Об отношении Добролюбова к администрации Педагогического института, с одной стороны, и к товарищам по институту, с другой, см. в помещенных в настоящем номере «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» и в примечаниях к ним.

[6] Добролюбов учился в институте вместе с Н. П. Турчаниновым, бывшим учеником Чернышевского по Саратовской гимназии. Вот, что писал о своем сближении с Чернышевским Н. А—ч Турчанинову, при посредстве которого и состоялось знакомство: «С Ник. Гавр. я сближаюсь все более и более научаюсь ценить его... Знаешь ли, этот один человек может помирить с человечеством людей самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине, — я не только не находил, но не предполагал найти. Я до сих пор не могу различать время, когда сижу у него. Два раза должен был ночевать у него: до того засиделся». («Литературное наследие», т. III, стр. 509).

[7] Напечатано в 8-й и 9-й книжках «Современника» за 1856 г. В издании Панифидиной, под ред. Лемке, т. I, стр. 111 — 214, в издании ГИХЛ, т. I, стр. 29—100. В 8-й же книжке «Современника» за 1856 г. появилась рецензия Добролюбова на книги: «Описание Главного Педагогического института в нынешнем его состоянии», СПБ. 1856 г. и «Акт девятого выпуска студентов Главного Педагогического института, 21 июня 1856 г.», СПБ. 1856. В издании, под ред. Лемке, т. I, стр. 213—220.

[8] Н. Г. Чернышевскому.

[9] «Журнал для воспитания». А. Чумиков, его редактор, привлек к участию в журнале Добролюбова, К. Д. Ушинского, Редкина. См. ниже стр. 249 сл.

[10] Речь идет о статье, помещенной в 5-й кн. «Современника» и перепечатанной в издании сочинений под ред. Лемке под названием: — [О значении авторитета в воспитании]. Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова» (т. I, стр. 259—286).

[11] Добролюбов уехал за границу в конце мая 1860 г. Важнейшим источником для характеристики его заграничной поездки является переписка Чернышевского с Н. А—чем. («Литературное наследие», т. II, стр. 369—388 и 390—395) и письма Некрасова (т. V, ГИЗ. 1930, стр. 352 — 353).

[12] Стремление Добролюбова остаться навсегда в Италии было связано с увлечением итальянкой Ильдегондой Фиокки, родители которой, как догадываются биографы Н. А—ча, требовали, чтобы он остался на родине их дочери.

[13] Последние месяцы жизни Добролюбова характеризуются ростом революционного движения. Распространились прокламации «Великорусса» и «К молодому поколению». Студенческие волнения повели к закрытию Петербургского университета. Студенты вынесли свой протест на улицы. Добролюбов был не только в курсе событий дня, но и жил интересами революции и тогдашнего подполья. Его волнуют деревенские впечатления Некрасова о том, что «ничего не будет». Он воспламеняется верой в приход революции, когда Н. В. Шелгунов, сам работавший в подполье, передает ему, больному, о студенческих волнениях и аресте Михайлова: «его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы и свои лучшие силы». («Воспоминания», ГИЗ. 1923, стр. 170).

[14] В 1862 г. вышел четырехтомник «Сочинений Н. А. Добролюбова», приготовленный к печати Чернышевским, с которого механически и воспроизводились многократные переиздания по 1908 г. включительно. Предполагаемый пятый том в свет не вышел, так как редактор был арестован.

[15] Под некрологом в рукописи была подпись редакции «Современника». В жур-

нальном тексте ее нет, но статья напечатана впереди текста, вне основной пагинации, т. е. идет от имени редакции.

[16] Зарин, Ефим Федорович (З-ъ, Incognito) реакционный критик, переводчик (1829—1892). М. Лемке отмечает, что Зарин первый указал на «рабское совпадение» высказываний Добролюбова и Чернышевского, чтобы свести старые счеты с «Современником». Выпячивая Чернышевского, как учителя Н. А—ча и всячески подчеркивая ничтожество последнего, Зарин стремился уколоть Н. Г—ча, который, превознося своего ученика, тем самым как бы пытался возвеличить себя». («Первое полное собрание сочинений», т. I, стр. CVI).

[17] «Небывалые люди». («Униженные и оскорбленные.» Роман Ф. М. Достоевского. «Время», №№ 1—7). «Библ. для чтения», 186, 2 янв., стр. 29—56.

[18] Чернышевский делает этот вывод из следующих слов Зарина: «Еще менее в них [в статьях *Добролюбова,—В. С.*] было того свободолюбивого чувства, которое так умел воспитывать всегда пламенный и всегда ровно глубокий в своей любви и ненависти Белинский, и которое, говоря вообще, с таким искусством поддерживает тот, кого мы — если только не ошибаемся — почитаем учителем — бова и в ком апатия и монотонность, умственная и нравственная неразвязность находят такого энергичного ненавистника» (стр. 38—39).

[19] Не на странице 34-й, а на 32-й. Далее идет речь о статье «Повальное недоразумение» (по поводу спора Чернышевского с Юркевичем). «Библ. для чтения», 1861, № 8, стр. 24—50.

[20] В. Полянский считает, что «Добролюбов пришел к Фейербаху через Герцена, Белинского и через непосредственное знакомство с сочинениями Фейербаха... Постоянное подчеркивание Чернышевского, что он не был учителем Добролюбова, что последний был всегда самостоятелен в своих суждениях тоже нельзя упускать из виду и игнорировать.» («Н. А. Добролюбов.» М., 1933 г., стр. 96—97). Вместе с тем, тот же исследователь не отрицает, что «Чернышевский сильно влиял на Добролюбова, но он не учил его, не перевоспитывал, а влиял на него в процессе совместной работы.» (стр. 96). О характере влияния Чернышевского на Добролюбова, есть показания самого Н. А—ча. В письме к Турчанинову он писал (1856): «С Н. Г. толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом как Станкевич, Герцен учили Белинского, Белинский Некрасова, Грановский Забелина и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь, но в моем смысле вся честь сравнения относится к Н. Г... этот отзыв [Чернышевского о Герцене—*В. С.*] меня, конечно, порадовал, потому что оба эти человека для меня авторитетны.» («Литер. наследие», т. III, стр. 510). В примечании к этому письму Добролюбова Чернышевский разъяснил, что он «тогда имел образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена, и, сохраняя уважение к нему, уже не интересовался его новыми произведениями. Видя, что Н. А. огорчается холодными отзывами о них, [он] перешел от разъяснения причины своего недовольства некоторыми понятиями Герцена к похвалам тому, что находит у него хорошим». Чернышевский помогал Добролюбову перешагнуть через Герцена. Через три года Н. А—ч, возмущенный статьей редактора «Колокола» — «Very dangerous», запишет у себя в дневнике — «Однако, хороши наши передовые люди. Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он не слышался и в каких бы формах не являлся» (стр. 256—257). Если фейербахианцем и утопическим социалистом Добролюбов стал без помощи Чернышевского, то, несомненно, влияние на литературно-критическую практику автора работ — «Эстетические отношения искусства к действительности» и «Очерков гоголевского периода.»

[21] Автор разумеет, вероятно, статьи Герцена.

[22] Чернышевский начал печататься в «Современнике» с начала (с № 1) 1854 г.

[23] «Современники», № 1, стр. 1—126.

[24] Там же, № 3, стр. 1—36.

[25] Нельзя отрицать правоту заявления Чернышевского в первой ее части, но все же следует указать, что за 1855 г. им было напечатано в «Современнике» до 70 рецензий (в 11 книгах) и две больших критических статьи (в 6 книгах).

[26] О склонности автора «Записок охотника» барски покровительствовать Чернышевский много позднее писал в деликатной форме: «Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям. В начале моей журнальной деятельности испытал это и я.» («Литер. наследие», т. III, стр. 464).

[27] В. П. Боткин, подобно своему другу Тургеневу, относясь отрицательно к диссертации Чернышевского — «Эстетические отношения искусства к действительности», не мог не признать, что «в ней очень много умного и дельного... Прежние понятия об искусстве очень обветшали и никуда не годятся». Давая положительные отзывы о многих статьях Н. Г-ча, он считает, что его необходимо приручить, заставить работать в направлении полезном для либералов. Но в 1865 г., когда либералы уже открыто находились в лагере крепостнической диктатуры,

Боткин поставил все точки над и. В письме к тому же Тургеневу он писал: «В русской революционной партии сосредоточилось все, что есть гадкого, желчного и омерзительного в России — и прибавлю слабоумного. Когда эта партия выставляет во главе своей таких людей, как Чернышевский, Михайлов и tutti quanti — нечего к рассуждать, на какую сторону становиться,— на стороне ли мирных реформ или на стороне смут и волнений, лжи, легкомыслия и варварства.» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. Academia. 1930 г., стр. 222).

[28] «Совр.», 1856, № 1 (статья третья), стр. 1—32, № 2 (статья четвертая), стр. 55—91, № 3 (статья пятая), стр. 47—74.

[29] «Совр.», 1856, № 2, стр. 92—104.

[30] «Русские в Японии, в начале 1853 и в конце 1854 гг.» (Из путевых заметок). И. Гончарова, СПБ. 1855. «Совр.», 1856, № 1, стр. 1—26.

[31] «Совр.», 1856, № 3, стр. 1—24.

[32] В 1856 г. Чернышевский поместил в «Современнике» свои знаменитые «Очерки гоголевского периода», печатавшиеся в продолжение всего года, заметки о журналах и до 80 рецензий, что впоследствии в «Полн. собр. соч.» составило весь второй том (658 стр.). Добролюбов, эпизодически напечатавший в этом же году две статьи, начал постоянно работать в журнале с сентября 1857 г. О «незначительности и неопределенности... роли» Чернышевского в «Современнике» в 1856 г. можно говорить лишь с позиций Чернышевского 1861 г., когда он уже был во главе журнала.

[33] «Книжный Вестник», 1861 г., № 22.

[34] «Г. Чичерин, как публицист». (Очерки Англии и Франции. Б. Чичерина. М., 1859). «Совр.», 1859, № 5; «П. С. С.», т. IV, стр. 464—486.

[35] Тюрго. Его ученая и административная деятельность, или начало преобразований во Франции XVIII века. Сочинение С. Муравьева, М. 1858 г. «Совр.», 1858, № 9, «Полн. собр. соч.», т. IV, стр. 220—239.

[36] 10 января 1860 г.

[37] Позднее Чернышевский вспоминал: «Вероятно талантливость и добродушие Тургенева заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня, закрывать глаза на те особенности его качеств, которые не могли быть симпатичными Добролюбову или мне («Литер. наследие», т. III, стр. 464).

[38] Об этом эпизоде с большими подробностями рассказывается в воспоминаниях Чернышевского — «Об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым» («Лит. наследие», т. III, стр. 464—484).

[39] В. А. Соллогуб был жестоко высмеян Добролюбовым в специальной статье, посвященной разбору пяти томов его сочинений.

[40] Львов Ник. Мих., драматург и редактор сатирического журнала «Весельчак», примыкал к либерально-буржуазному лагерю. Его пьесы и гр. Соллогуба Добролюбов характеризовал, как «представления, поражающие полным искажением понятий о долге и чести». («П. С. С.», т. II. ГИХЛ. 1935 г., стр. 345).

НЕИЗДАННЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ ТЕКСТЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

I. «В ОПРАВДАНИЕ ПАМЯТИ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Публикация Н. Чернышевской

Из всех выступлений Н. Г. Чернышевского в печати нет более горячего, искреннего и сильного как то, что было написано им «в оправдание памяти честного человека». Неподкупно благородная личность великого революционера встает здесь перед нами во весь могучий свой рост. Чернышевский вступается за жертву нелепых понятий, господствовавших в военной среде разлагающейся феодально-крепостнической России. Этой жертвой пал двадцатилетний юноша, корнет Десятов. Клевета, его погубившая, не могла быть снята с него в силу гнилых моральных традиций его круга. Неизвестный немец, по всей вероятности, ловкий аферист, об'являет о пропаже у него денег. Честь мундира запрещает офицерам произвести обыск между собою. Обвинение падает голословно и бездоказательно на одного из них. Он невиновен. Без всякого суда и следствия ему предлагается выйти из полка. Он не может доказать своей невиновности иным способом, кроме самоубийства. Тогда эта же самая военная корпорация, которая довела его до такого шага, поступает с его телом по всем правилам существующего законодательства и, не внимая последней просьбе о погребении, оставленной в завещании, хоронит его как попало, видя в нем лишь презренного нарушителя законов церкви и государства.

Предание гласности вопиющего инцидента и разоблачение гнилых морально-правовых устоев дворянства, доводившего, в лице кадрового офицерства, понятия о чести до чудовищных форм — вот какова была цель выступления Чернышевского в оправдание классово-чуждого ему молодого человека.

В это время цензура особенно свирепствовала по отношению к Чернышевскому: цензор Рахманинов целиком запрещает главу «История Мальтусовой теоремы» из «Очерков политической экономии, по Миллю», искажает статью «Нынешние английские виги» и подвергает значительным изъятиям рецензии на «Новые периодические издания». «Ну их к чорту всех, от Ковалевского до Рахманинова, — пишет Чернышевский Добролюбову 28 ноября 1860 г., — проходя через Делянова и уже не говоря о Медеме—все до одного скоты» [1].

Законодательство царской России, опиравшееся на основы христианской морали, рассматривало самоубийство как тяжкий грех, который вел за собою «недействительность духовного завещания и лишение христианского погребения». В данном случае, призывая русское общество выразить сочувствие матери Десятова, Чернышевский восставал против существующего в монархической России законодательства. Таким образом, в глазах цензуры, статья, написанная «в оправдание памяти честного человека», являлась орудием попрания существующего государственного строя и потому также пропущена к печати быть не могла.

Горячо вступаясь за жертву клеветы, Чернышевский, тем не менее, не мог оправдывать самоубийства как такового: мы знаем, как он отнесся к самоубий-

ству И. А. Пиотровского. Л. Ф. Пантелеев рассказывает в своих воспоминаниях, что Николай Гаврилович выразился тогда так: «Если Пиотровский не дорожил своей жизнью, то мог бы сделать из нее более разумное употребление, чем пустить себе пулю». «Мы эти слова истолковали в том смысле, что Пиотровский лучше сделал бы, если бы отдался политической агитации, чем покончить с собой»[2]. Это истолкование слов Н. Г. Чернышевского следует признать безусловно правильным.

Публикуемая рукопись найдена в архиве Дома-музея Н. Г. Чернышевского в Саратове. Содержание статьи дает возможность заключить, что она была написана в самом конце 1860 г. или в начале 1861 г., и предназначалась к помещению в «Современнике», в котором, однако, не появилась. В литературе о Чернышевском и в его переписке не встречается никаких указаний на это предполагавшееся его выступление в печати. Осталось также неизвестным и истории, и литературе имя безвременно погибшего юноши. Единственное, что можно извлечь из литературного наследия Н. Г. Чернышевского и поставить в связь с данной статьей — это записка его к цензору Ф. Ф. Веселаго, относимая комментаторами «Литературного наследия» к началу 1861 г., где Чернышевский просит Веселаго спешно прочесть «одну статейку, которую неудобно было бы отлагать»[3]. Название статейки он не сообщает. Возможно, что этой «статейкой» и было то собрание документов, которое Чернышевский объединил под названием «В оправдание памяти честного человека», присоединив к нему вступление и заключительные слова.

Рукопись заключает в себе 9 листов различного формата, исписанных несколькими лицами. Автографом Н. Г. Чернышевского являются начало статьи со слов: «Нам доставлены с просьбою» до «каждую подробность рассказываемого дела, контексты, связующие рассказ неизвестного, дневник Десятова и его письма, затем примечание к письму Десятова к поручику Рейцу и конец статьи, начинающийся словами: «Что прибавить к этим бумагам». Рассказ неизвестного, писанный карандашом, в некоторых местах вычеркнут чернилами, повидимому, рукою Чернышевского, и, ввиду неразборчивости почерка, для облегчения наборщикам, почти сплошь переписан также рукою Н. Г. Чернышевского поверх строк. Дневник Десятова и четыре его письма переписаны рукою жены Н. Г. Чернышевского, Ольги Сократовны. Это говорит за крайнюю спешность работы.

Рукопись была набрана; на полях ее встречаются написанные карандашом фамилии наборщиков: «Кузьмин», «Федоров» «Михайлов» и еще двоих, что также свидетельствует о спешности работы: такой незначительный по об'ему материал набирают сразу пять человек. Здесь типография следует просьбе Н. Г. Чернышевского на обороте последней страницы его рукописи: «Эту статью набрать как можно поскорее. Если бы часам к 4 был готов набор, я зашедши тогда в типографию, отвез бы статью эту сам к ценсору хотя в первой корректуре». Возможно, что Чернышевский и отвозил корректуру к Веселаго и, не застав его дома, оставил ее вместе с вышеуказанной запиской.

Как бы то ни было, статья была приобщена цензурой к наиболее опасным и потому целиком положенным под сукно обличительным страницам Н. Г. Чернышевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 375.

[2] Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. Ред. и комментарии С. А. Рейсера. Изд. «Academia», М. 1934, стр. 261. Подробно о самоубийстве И. А. Пиотровского см. там же, а также в воспоминаниях А. Я. Панаевой, изд «Academia». М. 1928, стр. 361—362.

[3] Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. II, стр. 396.

«В ОПРАВДАНИЕ ПАМЯТИ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Нам доставлены, с просьбою о напечатании, следующие бумаги. Всякие комментарии с нашей стороны только ослабили бы глубокое [1], потрясающее душу впечатление, производимое простыми словами, написанными несчастным юношею за несколько часов до смерти и безыскусственным, наскоро набросанным рассказом, который объясняет весь ход ужасного недоразумения, разрешившегося смертью Десятова. Скажет иной: «Но разве не было ему другого средства восстановить чистоту своего имени»? [2]. Едва ли было другое средство. А если бы было, пылкий юноша не мог ждать.

Вот во-первых рассказ, написанный лицом, знающим все подробности. Он торопливо набросан карандашом. Мы не почли нужным переделывать его — в своей подлинной отрывочной форме, он тем ярче кладет печать истины на каждую подробность рассказываемого дела.

«11-го ноября в г. Бежецке, молодой человек 20 лет, Ямбургского Уланского принца Фридриха Виртембергского полка корнет Десятов кончил жизнь пулею в сердце.

«Вот как было дело:

«Между 5-м и 10-м числом Октября корнет Гончаров, одного полка с Десятовым, на пути из Москвы в Тверь, познакомился с одним немцем (не знаю фамилии), тоже ехавшим в Тверь. Остановились в гостиннице Гальяни. На другой день утром пришел к Гончарову Десятов, бывший в Твери проездом. Вслед за ним пришли Уланского Е. В. В. К. Николая Николаевича полка корнеты Мальковский и Чагин, бывшие в то время членами судной комиссии, судившей Гончарова за самовольную восьмимесячную отлучку. Гончаров велел подать шампанское. Начали пробовать силу — бороться, — и когда Десятов боролся с немцем, вошел слуга и сказал немцу, что его кто-то спрашивает. Немец вышел и, возвратясь чрез несколько минут, подошел к столу и взял лежавший на столе кошелек. — «В этом кошельке было 250 рублей серебром, а теперь их нет» — сказал немец. Что тут произошло, рассказывают весьма различно. Вошел солдат, сказал Мальковскому и Чагину, что их требуют в комиссию; они ушли; вслед за ними ушел и Десятов. Все рассказы со всеми вариантами в итоге тождественны: обыска сделано не было.

«В тот же или на другой день немец пришел к губернатору. «У меня пропало 250 рублей серебром так-то и так-то; тут были такой-то и такой-то; не смею подозревать гг. офицеров; у меня пропало последнее; теперь не имею с чем ехать» (он ехал в Сибирь гувернером к какому-то графу).

«Губернатор (граф Баранов) предложил немцу 50 рублей серебром с тем, чтобы он ехал немедля и не заводил дела. Немец согласился. Правитель канцелярии губернатора, г. Преферанский, тут же заметил графу: «Надо дать делу законный ход; нечего щадить мундиры». Граф не захотел.

«На другой день после происшествия в гостиннице Гальяни Десятов уехал из Твери в деревню к своему дяде. В первых числах ноября получает он в деревне записку от полкового адъютанта, явиться к командиру полка. 9 ноября приезжает в полковой штаб, в г. Бежецк, — в тот же день является к полковому командиру. Разговор полковника с корнетом одни рассказывают так, другие иначе; положительно известно только, что полковник предложил корнету отставку и прочитал ему следующее письмо: (письмо написано дивизионным адъютантом Юрьевым к полковнику Альфтону, как видно из письма, по поручению графа Беннигсена, командовавшего дивизиею за отсутствием генерал-адъютанта Безобразова).

Въ оправданіе памяти честнаго человѣка

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «В ОПРАВДАНИЕ ПАМЯТИ ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

«Милостивый Государь
Алексей Карлович,

«До слуха его сиятельства графа Беннигсена дошло, что офицер вверенного Вам полка корнет Десятов во время своего проезда чрез г. Тверь из отпуска к полку сделал такого рода поступок, который заставил говорить весь город, начиная с губернатора, и положил пятно на весь полк.

«В немногих словах я объясню Вам это дело: корнет Гончаров, следуя по железной дороге из Москвы в Тверь, познакомился с некиим иностранцем, отправляющимся в Сибирь на какое-то место, и пригласил его остановиться в одной гостиннице и №. На другой день утром к Гончарову собралось несколько офицеров, а в числе их корнет Десятов; чрез известный промежуток времени у иностранца не оказалось 250 р. с. единственного его средства доехать до места своего назначения. Подозрение пало, как меня уверял сам Гончаров, на корнета Десятова.

«Вследствие всего этого, граф поручил мне написать Вам и просить Вас предпринять меры для удаления корнета Десятова из полка, ибо, как он сказал, все, касающееся дивизии, чувствительно и для него.

«С истинным уважением и таковою же преданностью имею честь быть Вам покорнейший слуга

Ал. Юрьев».

11-го ноября утром Десятов застрелился. До той минуты, когда полковник показал Десятову письмо дивизионного адъютанта, Десятов не знал молвы, обвинявшей его; не знал он и того, что молва между прочим говорила будто драгунского полка поручик Рейц назвал его в глаза вором, и будто он смолчал. Последнее ему сообщил г. Попов, бывший у него за несколько часов до его смерти. Пред самой смертью Десятов протестовал против этого письма к Рейцу [3].

Десятов застрелился не в минуту порыва, когда человек от сильного душевного потрясения теряет сознание своего поступка, когда, обезумев от боли, ищет исхода, бьется головой об стену, хватает что попало под руку, и если то пистолет, пускает в себя пулю; убьет ли его эта пуля, или не убьет — он в ту минуту не думает о том; он ни о чем не думает, ничего не хочет: ни жить, ни умереть, — он ищет исхода, — прошел кризис, и если остался жив—живет и благодарит судьбу, как благодарит вставший от смертельной болезни. Не так застрелился Десятов. Он застрелился обдуманно: за полтора суток, решился умереть — и умер. Промахнись первая пуля, он бы верно всадил в себя другую, третью. Что же вызвало такую решимость? Положение Десятова было безвыходно. Где убийцы?

Некто сказал, что Десятов вор. Господствующие понятия в той среде, в которой жил Десятов и к которой принадлежал вполне по своему воспитанию и по своим личным понятиям, указывали на личную расправу: стреляться с этим некто. Здравый смысл говорил... если этот некто — честный человек... [4].

Вот набросанный карандашом на полулисте бумаги рассказ, который мы печатаем, не изменив в нем ни одного слова. Он дышит полным беспристрастием и несомненною правдивостью. Теперь следуют бумаги, найденные по смерти Десятова. Во первых дневник самого Десятова о последних 24 часах его жизни.

ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ...

Вчера утром приходил ко мне полковник, но не застал дома. Добрый человек! Вероятно, хотел меня успокоить; я уважаю этого человека. Подосадовав, что выписанные на мое имя пистолеты не поспели во время, я отправился в 10 часов утра из дому. Главною моею целью было найти писто-

леты. Иду, не знаю куда, совершенно машинально забрел в первую попавшуюся лавочку и накупил всякой дряни. Лавочник воспользовался тем, вероятно, что я не об том думал, и в итоге оказалось пряников на 2 рубля серебром. Прошел всю большую улицу отвратительного Бежецка и незаметно очутился на базаре. Шум разношерстной толпы, крики всевозможного рода животных, начиная от млекопитающих и кончая моллюсками, заставили меня разогнать черные мысли.

Чего не перечувствуешь, твердо решившись умереть завтра!.. Первое, что мне представилось в это время или, лучше сказать первое, что я подумал, относилось к тому, что еще десятков шесть лет, и немногие из них останутся на поприще жизненной деятельности.

Но главное, что первым из них должен умереть я!..

Кто знал из этой огромной массы народа, что среди них стоит полумертвец?..

Мысль о пистолетах меня не оставляла.

Я хотел было уже бежать на постоялый двор и лететь в Москву отыскивать Гончарова, но вспомнил данное полковнику слово не отлучаться из города; я совершенно повиновался ему. Вижу, идет Шитеньев, мы раскланялись; мне бы хотелось знать, что он тогда обо мне подумал. Пролетел на тройке корнет Хомяков и успел крикнуть: «Где это вы все пропадаете?»

Все вокруг живет, кажется жизнию, а на душе у меня свинец. Простояв несколько времени на площади, я сел на первые попавшиеся розвальни и велел ехать в Кобылино (к г. Гейсту, управляющему именьем моего родственника). Гадкая кляча, заплетая ноги, кое-как протащила меня эти семь верст. Чтоб хоть чем-нибудь развлечь себя и разогнать рисующуюся передо мной картину своего погребения, я начал грызть пряники и щелкать орехи, везенные маленькому сыну Гейста. Вхожу в дом, раскланиваюсь с хозяевами, которые мне очень обрадовались и, как я заметил, куда-то собирались ехать. После я узнал, что они собирались к г. Гофмейстеру лесничему графини Паниной, который в это время был у них.

Извиняясь пред хозяевами, что попал в такое время и получив от них в свою очередь много извинений, я был приглашен г. Гофмейстером ехать вместе к нему. Гофмейстер очень мило играет на фортепьяно и потому, пока лошади еще не были поданы, сыграл несколько маленьких пьес и танцев. Не показывая хозяевам признаков грустного настроения духа, я принужденно веселился, пел, танцовал с крошечной их дочкой и старался скрыть свои чувства. Несмотря на все это, они, кажется, заметили, что я, как говорится, был не в своей тарелке. Прошел в кабинет и не заметив висевших там прежде пистолетов, обратился по этому случаю к г. Гейсту, с вопросом, на что получил ответ, что они в починке. «Ах! подумал я, и тут неудача!» Присутствие же Гофмейстера меня однако ободрило: я знал, что он большой охотник и смело рассчитывал, что у него есть всякого рода оружие.

Лошади поданы, и мы отправились. Дорогой пел любимый мой романс «Матушка голубушка» и в то же время обдумывал, каким образом и для чего выпросить у Гофмейстера пистолеты. План составлен. Мы приехали. Я не ошибся: оружия много, и на столе лежит пара пистолетов. Речь об них не замедлила скоро начаться. Он рассказал мне об их превосходном достоинстве, и кончилось тем, что я попросил у него завтра их попробовать на предполагаемой как будто бы завтра пальбе в цель. Он согласился. Дело осталось только за пулями, но вот уже и определен кусок свинца, назначенный рассечь мое сердце. Гофмейстер вылил несколько пуль и вместе со всеми припасами положил в бумагу. Я казался веселым. M-me Гофмейстер премилая особа, прекрасно образованная, с ней я провел весело

время, и завтрашний план мало по малу стал оставлять меня, пока я не зашел в кабинет и не заметил пистолеты уже заряженными. Один из них я пробовал, и пуля пробила две доски, довольно толстые. Пистолет этот я зарядил сам, чтоб не умереть от пули, вложенной другим. Меня просили быть осторожным с пистолетами, потому что у них есть пружина, вследствие нажимания которой курок спускается без малейшего усилия. Я обещался.

Часов в 8 мы отправились оттуда опять к г. Гейсту и, несмотря на его усиленные просьбы остаться ночевать, я не согласился и просил приготовить лошадей к 9 часам.

Прощаясь, он опять напомнил мне, чтобы я был как можно более осторожен с пистолетами. Положив их в боковой карман шинели, я незаметно доехал до Бежецка, потому что уснул и проснулся уже тогда, как кучер сказал: «приехали-с!» Сны были черные...

Улегшись заснуть, я решительно не мог заснуть, мысли одна чернее другой кружили мне голову. Весь я был в каком то жару. Собака выла почти под самым окном... Я схватился правой рукой за левый бок и стал отыскивать точку биения сердца, чтобы завтра не промахнуться; оно билось так сильно, что даже рука приподнималась. Пистолеты и письма во всю ночь лежали в изголовьи, человек мой не видал даже, как я внес их в комнату. Но вот миновалась мучительная ночь! Я велел подать себе чистое белье и — не скрою чувств своих... увидал на нем вензель, вышитый матерью... горько заплакал, поцеловал его... одевшись, принялся писать и сделал кое-какие распоряжения. Сейчас, т. е. за несколько часов до смерти, которую я назначил себе, приезжал Попов. Но рана, которая запала мне в душу, кажется, не уступает той, которая будет от пули... Он не успокоил меня... Пошлю за фельдшером: быть может, прицелюсь неверно, и тогда его пособие необходимо.

1860 года
11 ноября.

Наконец, вот письма, оставленные Десятовым; их четыре: 1) к товарищам; 2) к г. Семенову; 3) к Рейцу; 4) к матери.

1

«Товарищи и добрые сослуживцы!

Меня более уже не существует, потому что, как видите, пуля не промахнулась, следовательно рука не дрогнула. Прочитав мое письмо, Вы убедитесь, что умирая совесть моя была чиста. Согласитесь, что сказание Ярослава «Мертвые бо срама не имут» совершенно правильно. Мне теперь все равно; но при всем том поклянусь вам тем светом, в котором нахожусь теперь, что приписанный мне поступок — сущая клевета. Клевета, которая глубоко запала мне в душу. Уважая вас и ценя честь нашего полка, я решился на самоубийство. Не вините меня, потому что чувство совести, всосанное мною вместе с молоком матери и не позволившее бы мне сделать преступление, в то же время заставило меня поднять на себя руку. Полковник тут сторона, он исполнил свой долг, показав мне нелепое письмо. К чести его отношу то, что он не скоро на это решился.

Горжусь, добрые товарищи, что умираю в мундире того полка, на котором не существует черных пятен. Распорядителем после смерти в лице целого полка избираю командира лейб-эскадрона ротмистра Семенова, которого прошу успокоить добрую мать и написать ей, что я умер после болезни. Знаю, что ей, как женщине образованной и безгранично меня любящей, трудно будет перенести потерю сына, но что делать?.. Неужели для того, чтоб ее успокоить, нельзя будет закрыть простреленное сердце?.

Умоляю вас похоронить меня у вновь построенной Линевым церкви Вознесенья. Как довезти меня туда, я напишу Алексею Павловичу.

Теперь позвольте мне Вам [сказать] последнее прости и умереть с истинным к Вам расположением и преданностью. Не поминайте лихом и постарайтесь раскрыть истину.

Ямбургского Уланского его королевского высочества принца Фридриха Вюртембергского полка

Корнет Десятов

2

Многоуважаемый Алексей Павлович!

Примите на себя труд сделать все как следует. Деньги на гроб и на что следует по расчету, возьмите у Романа Егоровича Гейста, скажите ему, что фон Бок за все заплотит. Потребуйте от него тройку, чтоб свезти мое тело в с. Расторопово, где и прошу похоронить. Пока будут делать гроб, чтоб он послал в Расторопово записку Феодору Карловичу Крузе о высылке новой тройки для встречи тела и доставки по принадлежности. Мне очень нравится церковь Вознесенья. Пока меня повезут, можете известить родственников, о которых спросите у Павлушки, он всех знает.

Вещи мои продайте с аукциона, как-то: новую шинель, седло, белье, два новые чемодана, все платье, кроме новой полной парадной формы, в которой прошу положить в гроб. Все вещи, которые на столе, одним словом все. На вырученные деньги отдайте долги. Зубовичу 25 руб. В клуб хорошо не знаю, посмотрите в книге. Максимову 29 р. 30 коп. Кондитеру Мишелю 15 руб. Миллер Гейсу 6 руб. У знакомого моего в Москве обер-кондуктора Бари брал 15 руб. Вам за продовольствие лошади следует 15 руб. За квартиру за три месяца 12 руб. Донину 20. Гродгусу 10. Что составляет около 150 руб. Надеюсь, что хватит, а если что останется, перешлите фон Боку на сохранение до приезда наших из Петербурга. Портфель со всем, что в нем находится, не продавать, а отдать туда же. Узнайте, молю Вас, от этого поганца немца, который на меня осмелился сочинить такую небылицу, было ли у него за душой 250 руб. Знаю только, что бог его накажет, потому что на меня сказанное, — чистая ложь. Остальное сделайте по вашему усмотрению.

Прощайте, мой дорогой.

Желаю вам наслаждаться жизнью.

Н. Десятов

3 *

Поручик Рейц!

Вы никогда не говорили мне фразы, в которой предлагали с Вами расчитаться. Будьте уверены, что я никогда не отказался бы отвечать Вам. Поклянитесь, что Вы говорили, тогда я виноват перед Вами. Вы хотели себя выставить с хорошей стороны пред другими и решились так нагло врать. Не здесь, так на том свете отомщу Вам. Скажите то же Гончарову.

Десятов

---

* Из этого письма мы выпускаем несколько слов резкого упрека. Мы желали бы, чтобы г. Рейц и г. корнет Гончаров мог доказать, что молва, передавшая Десятову, будто бы они говорили против него, была клеветою. Страницы «Современника» открыты для их объяснений, это разумеется само собою. (Примечание Н. Г. Чернышевского).

Выпущено начало письма: «Вы подлец, потому что» (Н. Чернышевская).

4

Милая!

Чувствую, что я очень болен и не знаю, переживу ли болезнь, меня терзающую. Не плачьте, умоляю Вас, потому что Вы расстроите свое здоровье, которое берегите для сестры и брата. Целую Вас и прошу благословенья.

Н. Десятов

Что прибавить к этим бумагам, так [5] неподдельно рисующим [6] мужественную, простую, чистую душу несчастного молодого человека?

Надобно прибавить одно только, от лица всего русского общества, — сказать слово — если не утешения — что может утешить в такой потере? то сочувствия бедной [7] матери несчастного [8].

Да скажет [9] ей каждая и каждый в нашей земле: Вы имели сына, благороднее которого не имела ни одна мать, и какова бы ни была Ваша скорбь о нем [10] гордитесь ею, и да укрепится дух Ваш [11] сочувствием всего русского общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Зачеркнуто: «Непоколебимое».

[2] Переправлено из: «доказать свою невинность».

[3] Зачеркнуто: «16 ноября Десятова зарыли между валом и оградой Бежецкого городского кладбища. В письме к товарищам Десятов пишет: «Умоляю Вас похоронить меня близ церкви Вознесения». Церковь эта в с. Растороповe в 60 верстах от г. Бежецка. Почему же не исполнили его последнего: умоляю?—Не позволили.

«Просили разрешения у графа Баранова, — отказал: по закону тело Десятова должно зарыть в черте города Бежецка. Самоубийца не может делать никаких завещаний. И после, что есть же люди, которые кричат, будто у нас не исполняют законов.

«17 ноября ночью приезжает из Петербурга в Бежецк отец Десятова. Он ничего не знает. Посланная к нему эстафета не застала его в С.-Петербурге. Ночью он ищет квартиру сына. В хлебопекарне огонек. Отец стучится в окно: «Где квартира корнета Десятова?» — Какого Десятого? Что сорок тысяч-то украл? Его зарыли сегодня!

«Корнету Десятову было 20 лет: в 1859 году выпущен из Новгородского Кадетского корпуса; не имел независимого состояния».

---

[4] Рукопись неизвестного обрывается на полулисте, неровно оторванном и повидимому уничтоженном, вследствие чего содержание его полностью не дошло до нас.

[5] Зачеркнуто: «живо».

[6] Зачеркнуто: «благородную».

[7] Зачеркнуто: «мысль о которой была последней мыслью умирающего».

[8] Зачеркнуто: «страдальца».

[9] Зачеркнуто: «вместе с нами».

[10] Зачеркнуто: «многие позавидуют вам».

[11] Зачеркнуто: «общим».

II. НЕИЗВЕСТНЫЕ РЕЦЕНЗИИ НА ВОРОНЕЖСКИЕ ИЗДАНИЯ

Публикация Н. Богословского

Рецензии на «Воронежский литературный сборник» 1861 г. и на «Воронежскую беседу» 1861 г. впервые были опубликованы без всякой подписи в журнале «Современник», 1861 г., № 12, стр. 189—194 и стр. 195—210.

Принадлежность их Чернышевскому устанавливается на основании собственноручной записи Чернышевского, содержащей список его статей и рецензий.

Незначительные с первого взгляда рецензии эти представляют определенный

интерес. Они косвенно связаны с давними спорами о народности в литературе, разгоревшимися *с новой силой* в журналах конца 50-х и начала 60-х годов.

Появление провинциальных сборников, посвященных изучению «элементов народного быта» на «местном» материале, не могло не привлечь к себе внимания столичных журналов. Так, например, в 1860 г. на выход «Пермского сборника» (о котором Чернышевский говорит в первых же строках данной рецензии) откликнулись и «Отечественные Записки» и «Современник». Чрезвычайно характерно то обстоятельство, что в «Отечественных Записках» рецензия на «Пермский сборник» шла под общей рубрикой «*Различные направления в изучении русской народности*» и самому разбору сборника предшествовала вводная статья, дававшая краткий обзор теорий народности в литературе от екатерининских времен до конца 50-х годов XIX века (см. «Отеч. Зап.», 1860, т. CXXIX (март), стр. 24—36). Вводная статья эта заканчивалась следующими словами: «Мы еще не знаем элементов нашего народного быта и нашего народного характера, но *благодаря трудам наших ученых*, мы надеемся их узнать. Вот почему мы намерены с особенным вниманием следить за всеми трудами в этом направлении...»

Далее шла рецензия на «Пермский сборник», в которой «Отечественные Записки» продемонстрировали бесстрастие «академического» подхода к материалу. Вся рецензия была посвящена главным образом статье М. Рогова «О свадебных обрядах в Пермском уезде»; «Отечественные Записки» старались заинтересовать читателей чисто этнографическим и фольклорным материалом, напечатанным в сборнике.

Совершенно иначе подошел к тому же сборнику «Современник» (см. № 5 1860 г.). «Современник» отодвинул на второй план этнографический материал «Пермского сборника» и заострил внимание читателей на документах и статьях, действительно касавшихся *народной* жизни в прошлом и настоящем. «Современник» писал: «В «Сборнике» приведено несколько документов о Пугачевском бунте, об осаде Кунгура в 1774 г., передается биография архимандрита Иакинфа [виновника крестьянских волнений в Зауралье, известных под именем «дубинщины». — *Н. Б.*, г. Зырянов рассказывает о смутах в Шадринском уезде в 1842 г.— все домашние истории, в *которых хорошо отражается внутреннее положение страны*, отдаленной от центра государства и часто делавшейся жертвой безурядицы (Последняя часть фразы несомненно вызвана цензурными соображениями. «Современник» лучше других журналов знал, что жертвой безурядицы была *вся* страна, а не только отдаленные провинции, но высказать это совершенно открыто было конечно немыслимо).

Подробнее всего «Современник» останавливается именно на статье об архимандрите Иакинфе, который «с необузданным самовластием» угнетал крестьян и был убит в конце концов восставшими крестьянами. «В этой истории,— писал анонимный рецензент «Современника»,— мы найдем много фактов для объяснения *народного характера, как он представляется нам в настоящую минуту*».

Нетрудно заметить, что тут в подцензурной рецензии передавалось в сущности то, что с полной ясностью могло быть сказано лишь в прокламациях идеологов крестьянской революции.

Надо сказать, что в «Отечественных Записках» эти «домашние истории» «Пермского сборника» почти обойдены молчанием. Там об этом материале мимоходом брошено лишь беглое безразличное замечание.

Вслед за Пермью свою лепту в дело изучения «элементов народности» и «народного характера» попытался внести и Воронеж. В 1861 г. появились там два огромных печатных тома: «Воронежский литературный сборник» и «Воронежская беседа». Появление их, в особенности первого сборника, могло вызвать только разочарование у Чернышевского.

Беллетристический отдел «Воронежского литературного сборника» был забит

никуда негодными стихами и доморощенными переводами, а в «научно-публицистическом» разделе главное место было отведено таким «ученым» трудам, как «Жизнеописание митрополита киевского и галицкого Евгения», статья свящ. Никонова «О благочестивых обычаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской епархии», «Очерки поверий, обрядов, примет и гаданий» и т. д. и т. д.

Само собою разумеется, что эти трактаты богомольных воронежских краеведов не могли получить одобрение Чернышевского. С первых же строк рецензии Чернышевский напомнил о «Пермском сборнике», «дельное направление которого было в 1860 г. отмечено в «Современнике». По отношению к «Воронежскому литературному сборнику» он берет скрыто-иронический тон. Осудить «церковный уклон» «Воронежского сборника» открыто нельзя, и Чернышевский прибегает к излюбленному им способу подбора цитат, которые говорят сами за себя. Короткие язвительные реплики его, заключенные в скобки, с первого взгляда невинны, но в действительности весьма ядовиты.

Пустота, бессодержательность статей, наполняющих «Воронежский литературный сборник», становится ясней и ясней по мере развертывания красноречивых цитат.

В рецензии Чернышевский разбирает упомянутую статью Никонова. Желая подчеркнуть, что восхваление свящ. Никоновым одной «чудотворной» воронежской иконы не бескорыстно, Чернышевский вставляет под видом продолжения цитаты замечания от себя. Никонов пишет: «У старожилов города и в целых некоторых фамилиях живо хранится в памяти постоянное и всегда особенное уважение, каким чествуется икона сия. Чернышевский добавляет, не закрывая кавычек: находящаяся в церкви, при которой служит автор».

В рецензии на «Воронежскую беседу» Чернышевский отдает ей полное предпочтение перед «Сборником», поскольку в «Беседе» напечатаны интересные документы о Пугачевщине, стихи Никитина и автобиографический «Дневник семинариста», стихи Н. Берга, статья о Кольцове (не блещущая, правда, особыми достоинствами, но по крайней мере тематически приемлемая) и т. д.

Отметив, что «Беседа» не сумела удержаться от напечатания некоторых «провинциальных пустяков и наивностей», Чернышевский подробно остановился на поэме Никитина «Тарас» и на его «Дневнике семинариста». Надо сказать, что незадолго до появления «Беседы» И. Никитин скончался (16.X. 1861 г.). Чернышевский в свое время выступал с резкой оценкой стихотворений Никитина, которые он считал эпигонскими, книжными и оторванными от жизни (см. «Современник», 1856, № 4, Собр. соч. т. II, стр. 349—354).

В «Тарасе» и в «Дневнике семинариста» Чернышевский усмотрел сдвиг Никитина в сторону сближения с действительностью и с большой похвалой отозвался об авторе этих произведений, составивших по его словам украшение «Воронежской беседы».

ВОРОНЕЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК, ИЗДАВАЕМЫЙ Н. ГАРДЕНИНЫМ ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. МАЛЫХИНА. ВЫПУСК I. ВОРОНЕЖ. 1861.

«Пермский сборник» хорошо зарекомендовал перед публикой провинциальные сборники. Ободренные и соблазненные благосклонным приемом, который был сделан ему петербургскими журналами[1], провинциальные сборники с его легкой руки стали появляться и в других местах и тоже обратили на себя внимание публики, которая вообще как-то снисходительно смотрит на провинциальные издания, и всегда ожидает от них чего-нибудь дельного. И это ожидание имеет свои основания; столичные журналы, газеты и всякие периодические издания — дело обыкновенное, так сказать, будничное: они являются каждый месяц, каждую неделю и даже каждый день;

заготовление и обработка их ограничены тесным пределом известного срока для выхода книжек; все делается наскоро, чтобы только поспеть к назначенному сроку. В столицах такое множество периодических изданий, и выход в свет журнальной книжки или газетного листка есть явление. нисколько не замечательное в общем течении столичной жизни. В провинциях же, напротив, появление какого-нибудь туземного сборника есть явление далеко выступающее из ряда обыкновенных; к изданию сборника приготовляются долго, в составлении его участвуют все знаменитости туземные, весь цвет и сок провинции. Предметами для статей избираются какие-нибудь местные особенности, или интересные достопримечательности, которыми славится провинция, и которые, так сказать, составляют ее специальность и гордость. Такие-то предметы особенно интересуют столичных и других провинциальных читателей, на них они прежде всего и бросаются в провинциальных сборниках. А между тем эти последние, по свойственной провинциалам скромности, как-то не охотно говорят об особенностях и достопримечательностях своей родины, боясь и конфузясь особенно пред столичными читателями, которых провинциалы считают людьми гордыми, холодными и эгоистическими, которые интересуются только тем, что их окружает, а на провинцию смотрят с презрением и не имеют ни малейшего желания узнать то, чем славна она. Но зато, с другой стороны, провинциалы слишком наивны; если вы из вежливости покажете вид, что готовы слушать рассказы об их родине и интересуетесь ее достопримечательностями, они замучат вас самыми подробными повествованиями о том, что у них и как у них, воображая, что какие-нибудь провинциальные пустяки и для вас так же важны и интересны, какими кажутся для них. В таких случаях провинциала нельзя слушать без смеха и сожаления. Все это — провинциальная недоверчивость и наивность — отразилось и на «Воронежском сборнике».

В ученом отделе «Сборника» помещен «Очерк жизни и ученых трудов Евгения митрополита киевского», уроженца воронежского[2]. Автору очерка почему-то представилось вот что: «никак не смеем думать, чтобы наша статья заинтересовала кого-либо из просвещенных соотечественников нашего отечества» (стр. 244). Помилуйте, отчего-же? Митрополит Евгений личность известная, ученые труды его тоже очень почтенны, и ваша статья заинтересует не только соотечественников вашего отечества, может быть даже сделается известною «в ученом мире отдаленной Европы». А и в самом деле, подумал автор; потому что «исследовав пути промысла в сумраке веков минувших и воскресив из праха забвения славу и просвещение умерших, Евгений оставил по себе избыток разума и глубоких исследований о древности, сделался вторым русским Нестором, философом и богословом, прославившим Россию в ученом мире отдаленной Европы» (стр. 235). Затем автор вошел в свою колею и пошел повествовать в таком роде.

«Евфимий Алексеич (Евгений) 4 ноября 1793 г. вступил в законный брак с девицей тамбовского наместничества города Липецка, дочерью купца Антона Филиппова Расторгуева, Анною Антоновною. 25 марта 1796 г. определен присутствующим воронежской консистории, имея постоянное жительство в городе Воронеже, в собственном доме, близ Ильинской церкви (знаете?). От этого брака имел он трех детей, именно: 26 августа 1794 г. родился у него сын Адриан, который 25 марта 1795 г. скончался; 9 марта 1797 г. родился еще у него сын Николай, умерший так же в младенчестве; 3 августа 1798 г. родилась дочь Пулхерия, умершая одного году; 21 августа 1799 г. скончалась и супруга его Анна Антоновна на 22-м году от рождения. Где погребены первые его два сына Адриан и Николай, неизвестно (жаль; отчего бы не исследовать этого?); а жена его Анна Антоновна (а не Анна Ивановна?) и дочь Пулхерия покоятся в пригородной

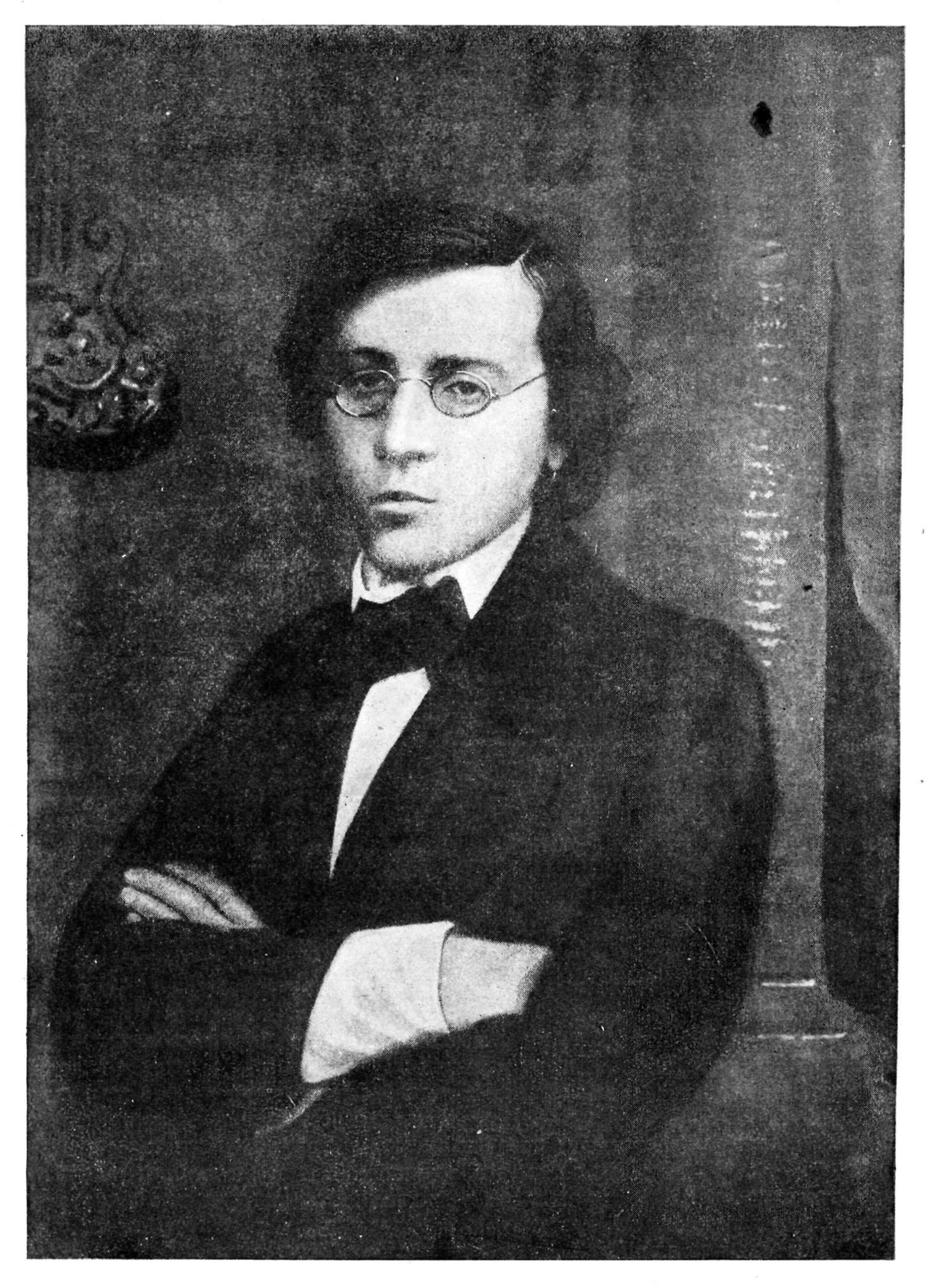
слободе города Воронежа, Чижевке, близ самого алтаря Сошествия Св. Духа; над ними воздвигнут памятник самим протоиереем Евфимием Болховитиновым (Евгений) и, судя по шрифту, с его собственноручной надписью. Примеч. Памятник этот сложен из кирпича, в виде небольшой пирамидки. В нее вделаны две каменные плиты, одна с восточной, а другая с западной стороны, на коих начертаны означенные надписи. Малые дети испортили эту надпись (увы!), да и самая пирамидка ветшает. Нет родственной руки, которая поддержала бы этот памятник (еще более увы!). Выпишем буквально здесь эту эпитафию (ах, сделайте одолжение!).

Здесь погребены
Анна и Пулхерия
Супруга и дщерь
Болховитиновы,
Скончавшиеся
Первая на 22-м году жизни,
Августа 21-го дня 1799 года,
Вторая на 1-м году от рождения,
2-го июля того же года,
Которым.....»

и еще десять стихообразных строчек. «По овдовении, в 1799 году протоиерей и т. д. и т. д.» (стр. 227—8).

Скажите, кто же из соотечественников нашего отечества не заинтересуется статьею, в которой сообщают такие интересные местные достопримечательности? Другая ученая статья повествует «о благочестивых обычаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской епархии» [3].

«В заглавии нашей статьи», говорит автор ее, «указываются как будто два различных предмета; но мы большого различия в них не допускаем. Правда, между понятиями «благочестивый обычай» и «учреждение», представляется такая же разница, как между делом самопроизвольным и делом по заказу. Но «...оказывается вот что: «для иного народно-религиозного явления, или по-просту дела, вовсе никогда не было никакого заказа, или приказа, — а оно между тем, это явление или дело, держится в народе так же твердо, как и законное; с другой стороны,— если основанием какого-либо подобного явления и был приказ, т. е. какое-либо распоряжение, какой-либо власти, да забыт, потому что не был записан, или и был записан да запись утратилась, и никто не может даже сказать ничего определенного о времени и обстоятельствах этого приказа, — между тем явление, одолженное ему своим бытием, всегда существовало и живет в народе неистребимо: то будем ли мы правы и проч. и проч.» (стр. 324).— «В Дивногорский монастырь путешествуют жители Воронежской епархии к иконе божией матери, именуемой Сицилийскою. Икона в длину около пяти четвертей и около аршина в ширину, украшена сребро-позолоченою ризой с жемчугом» (стр. 331).— «Местных и случайных крестных ходов, совершаемых в Воронежской епархии, много; но из них, о более благолепных и торжественных, каковыми они удобнее могут быть в городах, мы к сожалению, имеем мало сведений. В городе Воронеже, к числу таковых ходов относятся: а) крестные ходы из кафедрального собора в кафедральный Митрофанов монастырь; б) крестные ходы меньшего размера, совершаемые из собора к четырем из приходских церквей.— После крестных ходов, совершаемых в городе Воронеже, все прочие ходы можно разделить на следующие 4 класса: а) ходы вокруг церквей; b) ходы от одного места до другого с какой-либо замечательной иконой; c) ходы в поля, и наконец d) ходы, совершаемые во время бедствий» (подробности см. стр. 338—40).



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Фотография 1859 г.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

—«Крестный ход из Дивногорского монастыря совершается с иконой божией матери Сицилийской, и притом в два места: в г. Коротояк и г. Острогожск. Ходы эти замечательны тем, что учреждены в недавнее время. Жители г. Острогожска 1847 г. 29 августа, упросили настоятеля монастыря опустить икону к ним в город. Настоятель дозволил им нести икону в их город. В следующем 1848 г. граждане Острогожска снова испросили чудотворную икону в свой город. Но на этот раз усердию их помешали другие молитвенники. 30-го июня явились в Острогожске жители г. Коротояка с тем, чтобы по давнему обыкновению взять икону к себе. Граждане острогожские не давали, и вошли к владыке прошением, о дозволении им брать икону из монастыря ежегодно, на том же праве, как это делают жители г. Коротояка; именно на два месяца. В такое время, писали просители, и усердие наших граждан будет исполнено и благолепие церковное в монастыре от сборов значительно умножится. Хотя повелено было удовлетворить благочестивое желание граждан острогожских, но в соглашении о сем предмете с гражданской властью для просителей возникло новое затруднение. Начальнику губернии, крестный ход с иконой из монастыря в г. Острогожск неприменно хотелось приурочить к десятой пятнице по пасхе, так как в это время бывает в городе скотная ярмарка. Наконец крестный ход был разрешен» (стр. 342). «Говоря о крестных ходах с замечательными иконами, автор погрешил бы, умолчав об иконе божией матери всех скорбящих радости, находящейся в Иоанно-Богословской церкви города Воронежа — тем более, что на него возложено промыслом и служение пред сей иконой. О сей иконе прилично здесь сказать и потому, что если с ней одной, или для чествования ей одной, и нет особых ходов, зато без нее не бывает в городе ни одного крестного хода. Это уже одно показывает, каким уважением чествуется помянутая икона. У старожилов города и в целых некоторых фамилиях живо хранится в памяти постоянное и всегда особенное уважение, каким чествуется икона сия, находящаяся в церкви, при которой служит автор. Она всегда считалась явленною и чудотворною. Всегда прибегали к ней, носили ее по домам с особенным усердием и уважением, приглашая конечно и служащих пред сею иконой[4]. Величина иконы: 1 аршин и 6 вершков длины и 1 аршин ширины, почти квадратная; лик самой пресвятой богородицы, давно уже покрыт слюдой, а равно и лики других соприсутствующих ей» (стр. 344—5). «Почти во всех доселе описанных нами крестных ходах легко можно усмотреть побуждения, породившие их; это — или чувство благодарения к богу и святым его за дарованные благодеяния, или желание торжественнее почтить праздники господни, равно как и самые иконы, от коих когда-либо проистекала или проистекает благодатная помощь» (стр. 345). «Род местных благочестивых обычаев у жителей воронежской епархии составляет еще особого рода празднование некоторых праздников. Накануне нового года, вечером, парубки и дивчата с молодицами ходят по улицам, останавливаются под окнами домов и поют щедривку: «сев Исус Христос ужинать, пришла к ему божа мати: ой, дай, сынку, золоты ключи отпереть рай» и т. д. Накануне рождества и богоявления варят кутью и вывар из разных плодов и ставят их на покуте (угол под образами). Вообще воронежская епархия, отличается особенным благочестием» (стр. 357)[5].

Статья «Город Нижнедевицк и его уезды»[6] представляет много интересных подробностей; в ней говорится, что «цивилизация Нижнедевицка идет медленно и на пути просвещения жители его не делают заметных успехов». Рассказывается — чему впрочем мы не совсем верим — будто бы крестьяне Нижнедевицкого уезда живут в курных избах не совсем чистых, едят щи, кашу, грибы, лук и картофель, а иногда и молоко, будто бы

«мужья спят с женами, особенно молодые» (стр. 277), верят в леших, домовых, ведьм и «в обыкновенных своих житейских делах подчиняются предрассудкам» и т. д. Другие ученые статьи не представляют местного интереса и написаны не соотечественниками нашего отечества, а учеными отдаленной Европы[7], и попали в «Воронежский Сборник» к величайшему своему изумлению. Чисто литературный отдел «сборника» чрезвычайно богат и разнообразен: есть тут повести, романы, драмы с прологом и эпилогом, и оригинальные и переводные; стихов целая бездна; одних стихотворений г. Кельта больше десятка нумеров. В них воспеваются красы природы, в особенности любовь, любовь счастливая, когда она говорит ему:

Приди ко мне во мраке ночи —
И много счастья ждет тебя.
Смотри какое совершенство (?)
Сосредоточено во мне!

и любовь несчастная, когда

...Отдалась она вся безраздельно
Ему, но он не дал ей счастья.
Страшна ему стала семейная ноша,
Несносны заботы, занятья.
И стал бедняком он: в кармане ни гроша,
В душе пустота и проклятья,
С утра по трактирам, он целый день рыщет
Отраду там жизни находит,
А вечером к дому дороги не сыщет,
Когда кто-нибудь не проводит.

Подумаешь, что это пародия; а ведь поэт поет совершенно серьезно и думает нас разжалобить своими стихами и возбудить сострадание к той, которая

...все трудится, горючие слезы
В прекрасной душе подавляя.

ВОРОНЕЖСКАЯ БЕСЕДА НА 1861 год, ИЗДАНИЕ М. ДЕ-ПУЛЕ и И. ГЛОТОВА. СПБ. 1861.

В последнее время Воронеж отличился во многих отношениях, обратил на себя общее внимание и приобрел даже европейскую известность. Важны же, должно быть, воронежские события, когда на них обратила внимание Европа[8]; как же нам оставаться равнодушными к славе Воронежа? Отличаясь пред лицом Европы, Воронеж не забывает и своего отечества и зараз кладет на алтарь отечественного просвещения две лепты в виде двух огромных печатных томов. В провинциальном городе, не имеющем официального ученого центра, вдруг появляются два учено-литературные сборника; как хотите, а это много значит. Конечно, тут дело не обошлось без конкуренции: «Беседа» и «Сборник» знали о существовании друг друга еще до своего появления в свет, и, разумеется, во что бы то ни стало, старались перещеголять друг друга; соревнование было самое усиленное и труд употреблялся самый напряженный. Кто перещеголял и кому принадлежит пальма первенства,— об этом пусть судят сами читатели. «Беседа» пошла иным путем и обнаружила другие вкусы, чем «Сборник»; вместо «Очерка ученых трудов Евгения», находящегося в «Сборнике», в «Беседе» помещена критическая статья о Кольцове г. де-Пуле, не представляющая впрочем ничего замечательного, кроме того, что автор ее

чрезвычайно усиливался поставить «Кольцова на историческую почву» и все-таки не поставил [9]; вместо статьи «об обычаях и учреждениях», украшающей «Сборник», в «Беседе» есть «нечто о воронежских пустосвятах и юродивых», где между прочим говорится, что «Воронеж не только, не отстал от Москвы, породившей пресловутого Ивана Яковлевича [10], но едва ли не превзошел нашу первопрестольную столицу»,— что, к досаде хвастливых москвичей, можно сказать обо всех богоспасаемых градах российских; вместо стихотворений Кельта, наполняющих «Сборник», в «Беседе» помещены стихотворения Никитина и Берга; вместо описаний крестных ходов и плача над разрушенною «малыми детьми» пирамидкою Анны и Пульхерии, умилившего нас при чтении «Сборника», в «Беседе» помещены «Материалы для статистики Воронежской губернии», очень подробные и обстоятельные, и несколько интересных исторических документов о местных самозванцах, выдававших себя за Петра III. На основании одного этого, читатель, не задумываясь решит, кому из конкурентов отдать преимущество. Есть, впрочем, в «Беседе» провинциальные наивности, рассказы про виды, виданные везде. «Рождественские святки» у малороссиян Павловского уезда» рассказывают, например, что ожидая праздника, малороссияне рано укладываются спать, что первый удар утреннего благовеста пробуждает их и первым делом их бывает благодарение господу; оно выражается крестным знамением, которым они осеняют чело свое. и возжением свечей пред иконами; что малороссияне Павловского уезда во время праздников едят, пьют, ходят в гости к родичам, хорошо знакомым и т. д. «Некоторые черты из вседневной жизни помещиков Бирючевского уезда прошлого и настоящего времени» повествуют, что «с водкой встречали гостей и утром и в полдень, и во всякий час после обеда. В то время не пить водку в доме хозяина, значило его обидеть. Чарующее влияние горелки еще более способствовало к удлиннению помещичьих визитов, продолжавшихся иногда несколько дней,— явление впрочем обыкновенное во всем русском помещичьем мире» (то-то и есть).— «Еще замечателен другой способ лечений лихорадки: на лоскутке бумаги пишут слова магического треугольника: абракадабра; под этим словом, внизу пишут: бракадабр; ниже этого — ракадаб. и т. д. сокращая слово...» Провинциалы должно быть, не знают, что нам все это очень хорошо известно из «Энциклопедического Лексикона»; известно даже, что это слово, быть может, произошло от абраксас. «Как в старину бывало, так и теперь ведется обыкновение, при поздравлении молодых с бракосочетанием, или с желанием будущего счастия, при каждом приговоре приветствующего: «горько» — музыка играет туш, а молодые целуются». Вишь, что придумали бирючевские помещики,— обыкновенно музыка играет! Мы отроду не видали бирючевских помещиков, а знаем однако ж, что они при встрече подают друг-другу руки, некоторые целуются, охотятся, разъезжают на тройках, плодят детей и величают своих супругов «душеньками!»

Украшение «Беседы» составляют произведения Никитина «Тарас» — поэма, и «Дневник семинариста» [11]. Содержание поэмы очень просто. Тарасу, молодому парню, хотелось жить, как живут люди, и как требовала его богатая и сильная натура; он искал доли и счастья, житья полного и привольного, которое было бы «по нем». Сил у него было много, и он не жалел их, готов был работать сколько угодно; но ему казалось, что труд не должен быть напрасным и ни к чему не ведущим, что работа должна спасать от горя и нищеты. Не все же беспрестанно работать и трудиться из-за куска хлеба, быть в заботах и хлопотах, не зная отдыха не видя приволья и нигде не слыша ни ласки, ни привета; можно когда-нибудь пожить, вздохнуть свободно, отвести душу, порадоваться сердцем. А в жизни Тараса все выходило наоборот: неустанная работа не давала

ему ни на минуту опомниться и перевести дух; он метался в разные стороны, не жалел молодецких сил, работал, работал, а нищета и нужда везде шли за ним по пятам.

Нужда, нужда! Все старые избенки,
В избенках сырость, темнота;
Из-за куска и грязной одежонки
Все бьются... прямо нищета!
Житье, житье! закован, точно в цепи,
Молчи, да чахни от тоски...
Эх, если бы махнуть мне на Дон в степи,
Или на Волгу в бурлаки!
Так изнывал Тарас от дум-заботы;
И грезя про чужую даль,
Он шел межами с полевой работы,
Домой, на горе и печаль.

Дома мать старушка рыдает, пьяный отец бушует, бранится и дерется. Прежде он тоже был степенным человеком, трудился и работал, и видно, подобно Тарасу, надеялся жить по-людски, думал доработается до доли и до счастья. А потом увидел, что все напрасно, что труд не привел его ни к чему, что сколько ни трудись, никогда не уйдешь от горькой доли и нищеты. Вот он и перестал работать, надоело ему: пусть-ко еще поработает сын, благо вырос большой, а сам с утра до ночи в кабаке.

«Ну, кто тут? Эй, жена, зажги лучину!
Я шапку пропил... да! смотри.
Весь век работал... ну, пора и сыну
Работать, черт вас побери!»
«Весь век пахал... все нищий... чтожь работа?
Вестимо так. И хлеб и квас —
Мы все добудем! Важная забота!
Ну, пьян. Никто мне не указ!

Сын не отказывался от работы, работал как вол, и за себя, и за отца. Труд для него не страшен, был бы толк в труде, была бы возможность жить.

«Эх-ма, уж день!» Тарас тряхнет кудрями:
Ну, видно после, мол, поспишь...
И вот с сохою едет он полями:
Дорога — скатерть, в поле — тишь.
Заря погасла. Кончена работа.
Уснуть бы, кажется, пора.
Да спать-то парню не дает забота —
Коней ведет он со двора.

Но напрасно трудится парень; нет ему счастья, доля его все горька. Вот он решается искать счастья на чужбине, оставляет родимую сторону, прощается с рыдающей матерью, оставляет даже «милую» и отправляется в чужую даль, в степи. Еще усерднее принимается за труд, работа кипит в его руках.

Стога ростут. Покос к концу подходит.
Степь засыпает в тишине
И на сердце, нагая, грусть находит...
Косарь не рад своей казне:
Так много нужд! Он пролил столько пота
Казны так мало накопил...
Куда ж итти? опять нужда, работа;

Опять нужда, растрата сил!
К чему казна, когда растратишь силы
И будешь сыт... так до сырой могилы
Трудись, трудись... но жить когда?
К чему казна, когда растратишь силы
И надорвешься от труда?

В самом деле, положение очень неловкое и незавидное. Наконец Тарас отправился бурлаковать на Дону с той же непреклонной решимостью работать до пота, только бы найти долю-счастье. Но и тут он не нашел ничего.

И думал он: вот я и дом покинул...
Была бы только жизнь по мне,
Ведь кажется, я б гору с места сдвинул,—
Да что... заботы все одне!
Припомнил он, как расставался с милой!
Зачем? Что ждало впереди?
Где же доля-счастье?.. Как она любила!..
И сердце дрогнуло в груди.

И так Тарас ничего не добился своими трудами, лишениями и жертвами; спасая потопавшего плотника, он и сам утонул.— Вот экземпляр и обыкновенная история растений, во множестве произрастающих на нашей почве; и мы рекомендуем поэму Никитина вниманию людей, особенно заботящихся о сближении с почвой [12].

Живется ж людям в нужде без печали!
Так наши деды жизнь вели,
Росли в грязи, пахали, да пахали,
С нуждою бились, в гроб легли!
И с ними... Точно смерть утеха!
Ищи добра, броди в потьмах,
Покуда, свету божьему помеха,
Лежит повязка на глазах.
Не весела ты, глушь моя родная!
Поникли ивы над рекой,
Молчит дорожка, травкой заростая,
И бродит люд, как испитой.

«Дневник семинариста» имеет почти такое же содержание, как и поэма; здесь даровитый юноша тоже ищет доли-счастья, хочет жизни разумной, человеческой. Душа ищет простора, ум стремится к знанию, любознательность требует пищи, мысль жаждет света, порывается к свободной и сознательной деятельности; чувство так же заявляет свои права и требует удовлетворения. В уме юноши возникает множество вопросов, везде он встречает предметы, возбуждающие его пытливость и вызывающие на размышление; все бы ему хотелось узнать и понять. Способности у него отличные, усердия и прилежания много; подобно Тарасу он трудится не жалея сил, учится, заучивает уроки, слушает наставления, читает, сочиняет. Но все напрасно; удовлетворения своим стремлениям он не находит, его нравственная натура инстинктивно чувствует продолжающийся голод, недостаток света и свежего здорового воздуха, он сознает, что у него «лежит повязка на глазах». И отчего это произошло, когда были налицо все внутренние средства и условия для развития и просвещения? Бедный юноша не в силах был сам собою справиться с той великой и трудной задачей, которую задавала ему его богато одаренная натура.

Даже при величайшем напряжении своих сил, что он мог сделать один, без указаний и руководства, без совета и наставлений? Разве воспитание не нужная вещь, и даже более, разве оно не неизбежно необходимо? И что такое эти дети природы, и чего они достигают предоставленные сами себе? Самые дикие мысли могут приходить им в голову; но их никак нельзя осуждать за это, они просто достойны сожаления. Белозерский семинарист в начале своего дневника вдается, по его собственному признанию, «в самые странные рассуждения» и оправдывает их таким образом:

«Вы забываете, что я связан по рукам и по ногам. Если бы я спросил о чем-либо, не прямо относящемся к моему делу — к лекции, кого-чибудь из наших профессоров, меня назвали бы дураком; если бы я спросил кого-либо из моих товарищей,— более скромный из них посмеялся бы надо мною, более дерзкий послал бы меня к чорту. На всякий возникающий во мне вопрос, на всякое рождающееся во мне сомнение я должен искать ответа только в самом себе. За что ж лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли? Если всюду и перед всеми мне приходится скромно потуплять глаза и покорно наклонять свою голову, по крайней мере в те минуты, когда работает моя голова — когда перо мое не успевает следить за быстрой мыслью, пусть я буду независим, пусть я буду человеком, свободно проявляющим дар своего живого слова» (стр. 133).

Конечно, можно находить ответ и в самом себе, свободно работая мыслью, можно самому разрешать свои сомнения, особенно когда силен ум и крепка мысль; можно пользоваться и внешними посторонними средствами наставления и учения, читать книги, пользоваться наблюдениями и опытами других. Но ведь часто внешние обстоятельства искусственным образом так располагаются вокруг юноши, что он совершенно запутывается в них своею мыслью; искусственные влияния окружают его со всех сторон и нарочно направляются таким образом, чтобы запереть ум юноши в известный заколдованный круг, из которого ему не было бы никакого исхода, или и был исход, да только известного рода. Вследствие этого он. и вертится в одном ограниченном кругу понятий, как белка в колесе; и таким хитрым манером у него совершенно отнимается свобода мысли. Он со всех сторон окружен мутным, закопченным стеклом, через которое все предметы непременно должны представляться ему в мрачном, грязном и извращенном виде; ему нет возможности никогда высвободиться из под такого стеклянного колпака, всегда он носит его на себе, и потому в нем не может быть и мысли о том, что предметы могут существовать и могут казаться совершенно в другом виде, чем как они представляются ему; всякое новое понятие, выходящее из круга его условных искусственных воззрений, пугает его, отталкивает его от себя кажущеюся нелепостью и невозможностью. Он принужден заниматься такими сухими и окаменевшими предметами, что об них невольно притупляется ум; их не переваривает мысль, они только обременяют ее, расстроивают ее здоровье и силы. Из внешних средств учения к нему попадают только такие, которые соответствуют грязному цвету окружающего его колпака, и которые могут содействовать развитию его воззрений в известном только направлении; доступ к нему всего постороннего, чистого и свежего прегражден; ко всему внешнему он питает искусственно и тщательно возбужденное недоверие и даже презрение. Вот и пусть свободно движется его мысль в этой ограниченной рамке, в искусно устроенной тесной клетке, это неволя и тюрьма, а не свобода. Куда бы он ни пошел непременно придет к одной известной данной точке и непременно на ней остановится. Если в таком положении юноша станет искать в самом себе ответов на свои вопросы, то он их вовсе не найдет, или найдет одни только фальшивые и ложные, своих сомнений он не разрешит, а только затушует и затемнит их. Он потеряет даже веру в законность своих есте-

ственных стремлений и требований чувства, которые покажутся ему чем-то омерзительным, что нужно подавлять. Все это волей-неволей заставляет нас сказать, что воспитание полезно и необходимо. Но мы удалились от нашего предмета, «Дневника». Чтобы дать понятие о «Дневнике», выпишем из него наудачу несколько мест.

«Маменька подчивала меня, как гостя. Добрая она, право! Она давала мне совет относительно занятий, разумеется, в отсутствии батюшки, который не терпит, чтобы женщины вмешивались в дела науки. Взгляд батюшки еще не так строг. Другие смотрят на женщину, как на аспида и василиска. Правда, я много читал, но от всего мною прочитанного выходит заключение такого именно рода, что женщина — аспид и василиск (стр. 133),» — «Мне нужно подумать о плане, заданного нам на каникулярное время, рассуждения на тему: каким образом ум, как источник идей, может служить средством к приобретению познаний (тема изощряющая ум)». — «По выходе из церкви, на паперти, меня встретили две чернички, одна старая, другая молодая и прехорошенькая. Оне пригласили меня к себе. Молодая черничка сидела против меня и так близко, что ее горячее дыхание касалось моего лица. Черное платье, застегнутое на груди белою перламутровою пуговкой, растегнулось, и я сгорел от стыда и еще от другого, доселе незнакомого мне чувства. Совесть моя говорила мне, что я поступаю не хорошо, но непонятная сила удерживала меня на месте, занятом мною против чернички. В другой раз я зашел к ним... И лица моего коснулось ее горячее дыхание, моего плеча коснулось полуобнаженное, горячее плечо. По всему моему телу пробежал сладостный трепет. Я крепко обнял обеими руками ее тонкий стан, и на губах моих, в первый раз в моей жизни, загорелся поцелуй... Несколько дней я не брался за перо. Теперь горячка моя поутихла и я могу спокойнее и глубже заглянуть в мою душу. Ясно, что я с намерением не давал воли своему рассудку. Я горю со стыда, когда батюшка останавливает на мне свой взор, будто хочет сказать: «Ах, Вася, не хорошее дело ты сделал» (стр. 141). — В семинарию отец отдал Васю Белозерского под особенный надзор и руководство профессора Федора Федоровича К., у которого на квартире он и жил. «Ну, Белозерский, дай-ко мне папиросу; они вон на окне лежат», — сказал мне Федор Федорович, выходя из-за стола: «да пожалуйста, будь поразвязнее и уж извини, брат, что я начинаю с тобой обращаться на ты. Смешно же нам церемониться; ты проживешь у меня не один день...» Так, подумал я, вот и первое сближение ученика с профессором. Посмотрим, что будет далее. — Позвольте узнать, что вы посоветуете мне прочитать по части философии? Он рекомендовал мне следующее: «Опыт науки философии», Надеждина, «Опыт системы нравственной философии», Дроздова, «Опыт философии природы», Кедрова, и несколько разных руководств по логике и психологии. Все это, сказал он, вы можете спросить в семинарской библиотеке. Ну, подумал я, эта песня потянется на долго. Библиотекарь, занимающий вместе с тем и должность профессора, когда попросишь у него какую-нибудь книгу, или отзывается недосугом, или тем, что ключ от библиотеки забыт им дома, или, когда бывает не в духе, просто откажет так: «вы просите книги, а наверное урока не знаете... Читатели! Трепать берете, а не читать... ступайте откуда пришли!» (стр. 153). — «Федор Федорович вошел в класс и в речи своей сказал: «силы ваши теперь (после каникул) освежились. Итак — вам предстоит с новым рвением взяться за труд, ожидающий вас на широком поле науки. Что касается меня, я употреблю все, зависящие от меня средства, чтобы не пропало даром то время, которое вы проведете со мною в этих стенах»... И он торжественно указал левою рукою на стены. «Садитесь!» Мы сели. Сел и Федор Федорович к своему четырехугольному столику и вынул из бокового кармана своего сюртука небольшую тетрадку. Это были его собственные, или

лучше сказать, академические записки о психологии, по которым когда-то учился он сам, и которые переделывает и сокращает теперь для нас. Последовало медленное чтение. Федор Федорович взвешивал каждое слово, как иной купец взвешивает на руке червонец, пробуя, не попался ли ему фальшивый. «Самонаблюдение, какого требует психология, повидимому, не представляет собою занятия трудного, потому что предмет самонаблюдения для каждого человека есть он сам. Но то самое обстоятельство, от которого зависит, повидимому, легкость психологических исследований, что каждый человек есть сам для себя и предмет и содержание психологических наблюдений, составляет одну из главнейших трудностей в деле самонаблюдения; потому что человек меньше всего знает то, что он есть. Чтобы наша душа могла наблюдать самое себя, для этого ее мысль, ее сознание должны быть обращены на нее же саму; между тем: А) познание, приобретаемое нами таким образом о нашей душе, совсем не так ясно, как познание о внешнем мире и других предметах. Познание об этих предметах может быть для нас ясным оттого, что они противопоставляются нашей душе, как отличное от нее; но наше я не может противопоставить самого себя, как внешний предмет. Правда, что при самонаблюдении возможно раздвоение некоторым образом и самопротивопоставление нашего сознания потому, что кроме акта наблюдения должны также продолжаться действия наблюдаемые, но при таком наблюдении сознания обыкновенно ослабляется сила и живость наблюдаемых им психологических явлений. Тогда как в внешнем мире предметы представляются нам в раздельности, мир внутренний является пред внутренним оком в совершенном смешении...»—«Я привожу здесь этот отрывок лекции с тою целью, чтобы он поглубже, так сказать, засел в мою голову.»—«Случайно я достал и прочитал Гоголя. Так вот, кто этот Гоголь!.. И об этом-то Гоголе одному из наших наставников угодно было выразиться, что произведения его пахнут кухнею и конюшнею, что им выведены на сцену какие-то обжоры и разная сволочь, что все это уродливо и безобразно. Ну, нет, почтеннейший наставник!! Уж на этот раз позвольте с вами не согласиться. Чичиков, Плюшкин, Собакевич, Ноздрев, — это такие личности, которые никогда не выйдут из моей памяти. Читая книгу, мало того, что я их вижу, мне кажется, я их осязаю, мне кажется, я чувствую их дыхание. Жизнь ключом бьет из каждой строки! Господи, да какой же я дурак! Прожить 19 лет и не прочитать ни одной порядочной книги... Все живое до того мне чуждо, как будто я существую на другой планете и нет у меня ни костей, ни плоти» (стр. 161).—«Вчера Федор Федорович праздновал день своего рождения. Вечером собиралось несколько профессоров; пришел и Иван Ермолаевич. Вступив прямо из академии в должность профессора, он хотел было ввести в своем классе новый метод преподавания, советовал ученикам знакомиться с русскою литературою и выписывать общими силами журналы. Ученики его полюбили. Начальство поставило ему на вид, что он читает не в светском учебном заведении, и приказало ему вперед не умничать. Иван Ермолаевич покорился не вдруг. Ему снова сделали замечание. Он решился оставить семинарию и занять место гражданского чиновника; к сожалению, места не нашлось; бедняга притих, стал запивать и заниматься делом спустя рукава. — Между тем началось приготовление к закуске. В это время Иван Ермолаевич, никем не замеченный, вышел в переднюю и стал отыскивать свои калоши. Я подал ему его шинель. «Вы семинарист?» — спросил он меня.—Да, семинарист. — «А к лакейской должности не чувствуете особенного призвания?» — Нет, — отвечал я с улыбкою. «Ну, слава Богу. Что ж вы третесь в передней. Шли бы лучше в свою комнату и на досуге читали бы там порядочную книгу... До свидания». — Он надвинул на глаза свой картуз — и ушел. Я не оставался без дела: помогал кухарке перетирать тарелки, сбегал однажды за квасом, которого оказалось мало и за ко-

торым кухарка отказалась итти в погреб, сказав, что по ночам она ходить всюду боится и не привыкла, и ломать своей шеи на скверной лестнице не намерена. Потом опять взялся перетирать тарелки и, по неуменью с ними обходиться, одну разбил. Кухарка назвала меня разинею, а Федор Федорович крикнул: «нельзя ли поосторожнее?» Наконец, каждому гостю поочередно я розыскал и подал калоши, накинул на плечи верхнее платье, и усталый, вошел в свою комнату. Сальная свеча нагорела шапкою и едва освещала ее неприветные стены. Федор Федорович заглянул ко мне в дверь. — «Вот видишь, мы там сидели, а тут целая свеча сгорела даром. Ты, пожалуйста, за этим смотри» (стр. 169—70)». «Не скажу, чтобы я сделался ленивым оттого, что пристрастился к чтению. Уроки выучиваются мною попрежнему. Но все это делается ex officio, а уже никак не con amore. Ни одно слово из бесчисленного множества остающихся в моей памяти слов не проникает в мою душу, ни одно слово не веет на меня освежительным дыханием жизни, близкой моему уму или моему сердцу» (стр. 179). «Наступил экзамен нашему классу. Ученики выходили по вызову друг за другом. И вот один, малый впрочем не глупый (относительно) замялся и стал в тупик. «Ну что ж. Вот дурак. Повтори, что прочитал.» — Хотя творчество фантазии, как свободное преобразование представлений, не стесняется необходимостью строго следовать закону истины, однако ж показуясь представлениям, взятыми из действительности, оно тем самым примыкает уже к миру действительному. Оно только расширяет действительность до правдоподобия и возможности... «Что ты разумеешь под словом: показуясь? — Слово: проявляясь. «Ну, хорошо. объясни, как это расширяется действительность до правдоподобия». Ученик молчал. «Ну, что ж, объясни...» Опять молчание. — «Вот и дурак. Ведь тебе объяснили? «Объяснили.» — Ну, что ж молчишь? — «Забыл». Федор Федорович двигал бровями, делал ему какие-то непонятные знаки рукой; ничто не помогло. Не утерпел он — и слова два шепнул. «Нет, что ж. Подсказывать не надо.» «Вы напрасно затрудняетесь», сказал ученику один из профессоров. «Юрия Милославского читали?»—Читал. «Что же там—действительность, или правдоподобие?» — Действительность. «Почему вы так думаете?»—Это исторический роман. — «Нет, что ж, дурак. Положительный дурак! сказал отец-ректор и махнул рукою.» История в этом роде повторилась со многими. Едва доходило дело до объяснений и примеров, ученики становились втупик. В числе других вышел ученик второго разряда, очень молодой, красивый и застенчивый, за что товарищи прозвали его прелестною Машенькою. Он робко читал по билету, который ему выпал, и во время чтения не поднимал ресниц. «Так, так», говорил отец-ректор: «продолжай». И затем он обратился с улыбкою к профессорам: «какой он хорошенький, а? не правда ли? Как тебя зовут?» — Александром. К концу экзамена отец-ректор, как видно, утомился. Стал смыкать свои глаза и пропускать нелепые ответы мимо ушей. Ученики не преминули этим воспользоваться, однако один попал впросак: заговорив об органах чувств, он приплел сюда и память, и творчество и прочее, и прочее, лишь бы не молчать. Вот, сколько мне помниться, образчик на выдержку: «Органы чувств суть: глаза, уши, нос, язык и вся поверхность тела. Заучивание бывает механическое и разумное... однако ж бывают случаи, фантазия может создать крылатую лошадь, но только тогда, когда мы уже имеем представление о лошади и крыльях и сверх того... и... напрасно строгие эмпирики отвергают в нас действительность кма, акт высшей, познавательной способности...» — Так, так! — говорил отец-ректор, бессознательно кивая головою. Федор Федорович не прерывал этой галиматьи, что было очень понятно» (стр. 181—2). «Григорий, слуга Федора Федоровича, заболел простудою и слег в постель. Таким образом волею-неволею мне пришлось заменить его должность, т. е. состоять на посылках и исполнять разные поручения и прихоти моего наставника. Только-

что я возьмусь за книгу, — «Василий!» — раздается знакомый мне голос: «сходика-ко на рынок и купи мне орехов, да смотри, выбирай, какие посвежее». Орехи принесены, молоток, чтобы разбивать их, подан, я опять берусь за книгу и читаю при громком стуке молотка. «Василий! поди-ко собери скорлупу и вынеси ее на двор». Скорлупа вынесена, я снова принимаюсь за книгу. «Василий! поди-ко вычисти мне сапоги». И вот я развожу на старом блюдечке ваксу и чищу сапоги, а наставник мой покоится на диване, заложив под голову свои руки, курит папиросу и смотрит на потолок. Теперь я окончательно убежден, что он строго следит за ходом моего развития. Сегодня за обедом у меня был с ним следующий разговор: «Чем ты занимаешься?» — спросил он у меня, накладывая себе на тарелку новую порцию жареного поросенка. — Читаю Фон-Визина. — «Читал бы что-нибудь серьезное если уж есть охота к чтению, вот и была бы польза. Эти Фон-Визины с братиею отнимают у тебя только время. Что это за сочинение? Вымысел и больше ничего. Кажется, я говорил тебе, какие книги ты должен читать из нашей библиотеки». «Да, — подумал я, — просьбою о выдаче мне этих книг я надоел библиотекарю так же, как надоедает иной заимодавец своему должнику об уплате ему денег. Кончилось тем, что победа осталась на моей стороне. Библиотекарь, выведенный из терпения, плюнул и крикнул с досадою: «возьми их, возьми! Отвяжись пожалуйста!...» — Я читал «Опыт философии» Надеждина, сухо немножко, сказал я, стараясь по возможности смягчить вертевшийся у меня в голове ответ: темна вода во облацех. — «Смыслишь мало, оттого и выходит для тебя сухо. А ты делай так: если прочитал страницу и ничего не понял, опять ее прочитай, опять и опять... вот и останется что-нибудь в памяти и не будет сухо». На последнем слове он сделал ударение. Очевидно, ответ мой ему не понравился. — «Чтение журналов», — продолжал он, — «тоже напрасная трата времени. Ты видишь, я сам их не читаю, а разве проигрываю от этого? Тебе, например, дается тема: знание и ведение суть ли тождественны, или в чем состоит простота души, — ну что же ты почерпнешь из журналов для своих рассуждений на обе эти темы? Ровно ничего. Нет, ты читай что-нибудь дельное, а не занимайся пустяками» (стр. 189—90).—Однажды к Федору Федоровичу пришел Иван Ермолаич и завел с ним спор. «Но помилуйте! Что ж это такое? Чем я виноват? — вскричал Иван Ермолаич, поднимаясь со стула и вдруг одушевляясь: — вот ученики собрали 30 руб. сер. и просили меня, слушайте: чтобы я составил им по своему выбору библиотеку, которою они могли б постоянно пользоваться и от времени до времени ее увеличивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошел к отцу-ректору и объяснил ему, в чем дело. «Вы, сказал он, спросились бы прежде у того, кто постарше вас, тогда и сбирали бы деньги».— Деньги, отвечал я, мне принесли собранными. «Так, так. Ну, что ж вы хотите купить?»—Конечно, говорю я, что-нибудь для легкого чтения, например: сочинения Пушкина, романы Вальтер Скотта, Купера... «Ну, вот, вот! Пушкина... стишки, больше ничего, стишки. Опять вот Купера. Кто это такой Купер? О чем он писал? Нет, нет! романы нам не годятся.» — Да ведь у нас читают Поль-де-Кока и тому подобное. Ведь это помои! Не лучше ли дать ученикам что-нибудь порядочное... «Нет, что ж... нам это не годится. Вы уж пожалуйста не ходите ко мне вперед с такими пустяками А деньги отдайте назад, непременно отдайте». — Помилуйте! — возразил я: устройство библиотеки... «Занимайтесь своим делом, вот что! Мне некогда пересыпать с вами из пустого в порожнее. До свидания!..»—«Скажите по совести, что ж это такое? заключил Иван Федорович» (стр. 197).

Выше мы говорили о необходимости образования, а теперь нам пришло в голову сказать, что с некоторыми юношами и образование ничего не может сделать, т. е. никак не может переделать их по своему. Их не спутывают ни внешние искусственные обстоятельства, ни искусственные влияния; они

смело выходят из тесного заколдованного круга, сами себе пробивают дорогу и смотрят на все неотуманенным взглядом. Но это натуры редкие, избранные и дорога их усеяна терниeм. Чрезвычайных усилий и борьбы стоит им разорвать оковы, связывающие их мысль; эти оковы оставляют на них кровавые и часто смертельные следы и язвы. Выбиваясь из ограниченной, окружающей их среды, они должны выносить тысячи нравственных пыток, терпеть оскорбления, преследования, испытывать огорчения, оканчивающиеся мучительною болью в груди. Участь их вообще очень незавидна. — Ах, мы опять уклонились от предмета и чуть было не позабыли сказать, что у Белозерского был товарищ, Яблочкин, тоже умный, но строптивый юноша и уж не такого хорошего поведения и прилежания, как сам Белозерский. Вот что между прочим рассказывает об нем последний.

«Однажды в классе, когда профессор говорил о месте пребывания души в человеческом теле и решил этот вопрос тем, что душа обитает во всем нашем теле, — Яблочкин неожиданно поднялся со скамьи: «Позвольте предложить вам возражение», — сказал он профессору.

— «Так как в сумасшедшем человеке душа не может проявлять разумно своего существования, а по существу своему, не деятельною она быть не может, то чем душа эта бывает занята в продолжение иногда многих лет, т. е. до самой смерти сумасшедшего?»

Профессор стал втупик, и, после долгого молчания, сурово ответил: «садитесь на место и вперед прошу поменьше рассуждать, а слушать внимательно то, что вам скажут» (стр. 134—135).

«Вчера, в начале класса (рассказывал Яблочкин), было обращено к нам вступительное слово такого рода: «теперь мы снова приступаем к занятиям. На экзамене перед каникулами отцу-ректору угодно было заметить, что некоторые из вас отвечали ему вяло. На будущее время я требую, чтобы каждый, кого я ни прошу, читал мне лекцию без запинки. А кто во время чтения будет посматривать на потолок, да выделывать эти: гм, гм... того, хотя бы он стоял в первом десятке, я сопхну в 3-й разряд. Вот вам и все!» — «Что ты на это скажешь?»—Уж мы это не раз слышали. Приказано,—стало быть, нужно исполнить, отвечал я. — «Ну, нет, душа моя! Зубрить я не стану. Если бы в самом деле пришлось мне во время ответа взглянуть на потолок, или в сторону — преступление было бы неважное. Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменела: ни молодеет, ни стареется» (стр. 159).

«В другой раз» * отец-ректор в классе спросил урок у Яблочкина. Встал он, и начал объяснять лекцию своими словами, и ничего, так знаете, свободно. Объяснил и стоит — улыбается. «Кончил?» спросил его отец-ректор? — Кончил. «Ну, что ж, вот и дурак... и забудешь все через полгода». Яблочкин побледнел, я тоже немного потерялся. Отец-ректор обратился ко мне «у вас в классе 80 человек. Этак нельзя, нельзя! Если каждый из них будет сочинять ответы из своей головы, вавилонское столпотворение выйдет, непременно выйдет...» Я хотел оправдываться. — «Нет, говорит, этак нельзя. Пусть основательно знают то, что для них напечатано, или написано; в их возрасте и этого достаточно...» Повернулся, —и ушел. Я и остался, как оплеванный, и с досады так пробрал Яблочкина, что у него брызнули слезы. Бедный Яблочкин, подумал я: чего ему стоили слезы» (стр. 167—8). «Заходил я к Яблочкину. После нескольких слов со мною, он прилег на кровать. — «Грудь, душа моя, болит, сказал он, смотря на меня задумчиво и грустно: вот что скверно!» — Помнишь ли, сказал я, как тебе досталось за объяснение лекции? — «Еще бы не помнить!» Яблочкин вскочил с кровати. — «Это не беда, это в порядке вещей, что я был оскорблен, и уничтожен моим наставником. Ему все простительно. Его уже

* Рассказ учителя, Ивана Ермолаевича.

поздно переделывать. Но эта улыбка, которую я заметил на лицах моих товарищей в то время, когда у меня брызнули неуместные, проклятые слезы,— эта глупая улыбка довела меня до последней степени стыда и негодования. Дело не в том, что здесь пострадало мое самолюбие, а в том, что эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть восприимчивою и впечатлительною, успела уже теперь, в стенах учебного заведения, сделаться тупою и бесчувственною. Вот что мне больно! Что ж выйдет из нее после, в жизни?»— Охота тебе волноваться, сказал я: говоришь, что грудь у тебя болит. — «Как, Вася, не волноваться! Я опять попал было недавно в беду: на-днях в присутствии нескольких человек я имел неосторожность высказать свое мнение на счет одной, известной тебе иезуитской личности, поставившей себе главною задачею в жизни пресмыкаться перед всем, что имеет некоторую силу и некоторый голос и давит все бессильное и безответное!.. «Инспектора?» прервал я его в испуге.— Ну, да! Через два часа слова мои были ему переданы, и он позвал меня к себе.—«Ты говорил вот-то и то?» спросил он меня. Представь себе мое положение! Ответить да, значило обречь себя на погибель; я подумал и сказал решительно: нет! — «А если, продолжал он, я призову двух сторожей и заставлю тебя сказать правду под розгами»? Я молчал. Сторожа явились. «Признавайся», говорит он,—прощу...» Заметь, какая невинная хитрость: Простит!.. «Не в чем», отвечал я, смотря ему прямо в глаза и дав себе слово скорее умереть на месте, чем лечь под розги.— «Позовите тех, при ком я говорил». Я чувствовал в себе какую-то неестественную силу. Глаза мои, наверное, метали искры. Инспектор отвернулся и крикнул: «Вытолкните его, мерзавца, вон и отведите в карцер!» И я просидел до вечера в карцере без хлеба, без воды, едва дыша от нестерпимой вони... Ну, ты знаешь наш карцер. — Яблочкин снова прилег на свою кровать. Грудь его высоко поднималась. Лицо горело (стр. 173—4). «Яблочкин лежит в больнице. Вот что вчера случилось. Во время перемены классов, он закурил в коридоре папироску и стоял на лестнице, которая ведет в комнаты инспектора. Инспектор увидал и позвал его к себе. Через четверть часа Яблочкин вышел от него бледный, как полотно. «Принеси мне, ради бога, немножко воды», сказал он первому попавшемуся на глаза товарищу, прислонился головою к стене и все кашлял, кашлял; наконец, его ноги подкосились, из горла показалась кровь. Его взяли под руки и отвели в больницу. Доктор сказал, что организм его слишком истощен, да кроме того, вероятно, с ним было какое-то потрясение. — Яблочкин умирал: дыхание становилось все тише и тише; руки холодели. — «Это ты, Вася?» — Я, мой милый, сказал я. «Ступай в университет, а здесь...» Голова его упала ко мне на плечо. Я послушал — не дышит. И тихо я опустил его на подушку, перекрестил, закрыл ему глаза и склонился на колени у изголовья его кровати. И долго, долго текли из глаз моих горькие слезы. Вот что он написал мне на память:

Вырыта заступом яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая, —
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,—
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонек, замерла.
Что же, усни, моя доля суровая!
Крепко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только одним человеком убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о нем никому не нужна!..
Вот она,— слышится песнь беззаботная,
Гостья погоста, певунья залетная,

В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается...
Тише!.. о жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!»

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Пермский сборник»—повременное издание, печатавшееся в Москве. Ко времени написания Чернышевским рецензии вышло две книги. Первая — в 1859 г., вторая — в 1860 г. Говоря о благосклонном приеме, оказанном этому сборнику в петербургских журналах, Чернышевский имеет в виду рецензии, напечатанные в «Отечественных Записках» 1860 г., т. CXXIX, стр. 36—44, и в «Современнике» 1859 г. № 10, стр. 357—372 и 1860 г. № 5, стр. 62—66.

[2] Биографический очерк А. Данского («Воронежск. лит. сборник» 1861.).

Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767 — 1837), митрополит киевский и галицкий.

[3] Статья свящ. Ф. Никонова (ibid, стр. 321—372).

[4] Фраза, цитируемая Чернышевским: «Находящаяся в церкви, при которой служит автор» в действительности отсутствует в статье Ф. Никонова (см. «Воронеж, лит. сборник» 1861, стр. 344—345). Отсутствуют в ней и слова: «приглашая, конечно, и служащих перед сей иконой».

[5] Сличение «цитаты», приводимой Чернышевским, с подлинным текстом статьи показывает, что приводимые им выражения взяты не с одной 357 стр. «Воронежского сборника», и что последовательность выражений умышленно нарушена Чернышевским с целью оттенить нелепость резюме автора статьи, утверждающей, что «воронежская епархия отличается особенным благочестием».

[6] Статья П. Малыхина (ibid, стр. 265—320).

[7] Имеются в виду помещенные в «Воронежском сборнике» переводы статьи Годри «Д'Орбиньи, его путешествия и открытия» из «Revue des deux Mondes» и статьи Грэссе «Верования в духов и мертвецов в классической древности».

[8] Ироническое замечание это перекликается с цитатой из «Воронежского сборника», приводимой Чернышевским в его рецензии. В жизнеописании митрополита Евгения (уроженца Воронежа) говорится, что он сделался «вторым русским Нестором... прославившим Россию в ученом мире отдаленной Европы»...

[9] Статья де Пуле о Кольцове, в которой автор намеревался «поставить Кольцова на историческую почву», не заключала в себе ничего, кроме некоторых биографических сведений о Кольцове. Общий невысокий уровень виден хотя бы из заключительных строк ее «Светлый образ его [Кольцова. — *Н. Б.*] точно так же, как и привлекательная личность Пушкина, до такой степени обаятелен, что невозможно не простить ему темных сторон, которых он, как человек, не мог не иметь, но которые, как бы по преднамеренному определению судьбы, до сих пор—по прошествии 18 лет после его кончины—остаются неизвестными»...

Сам Чернышевский ставил Кольцова, как поэта, очень высоко (см. его письма к Некрасову)—«Переписка Чернышевского»—«Московский Рабочий», 1925, стр. 23, 29, «Очерки Гоголевского периода» и рецензии на «Стихотворения Кольцова» 1856 («Звенья» 1934 г. № 3—4, стр. 570—576).

[10] «Пресловутый Иван Яковлевич — И. Я. Корейша (1781—1861) — широко известный в свое время юродивый и «прорицатель».

В журнальной литературе 60-х годов именем Корейши пользовались в политических целях — чтобы охарактеризовать нелепость взглядов того или иного противника, его сравнивали с Корейшей. Так, в «Северной Пчеле» 1862 г., № 70 в полемических целях связали имя Чернышевского с именем Корейши. В одной из статей там говорилось, что «Чернышевский и Корейша одного поля ягоды».

Упоминаемая Чернышевским анонимная статья «Нечто о воронежских пустосвятах и юродивых», помещенная в «Воронежском сборнике» 1861, стр. 145—146, принадлежит И. Г. Прыжову (см. комментарий Альтмана к книге Прыжова «Очерки, статьи, письма». Academia, 1934, стр. 436). В очерках Прыжова Корейше уделена глава в статье «26 московских лжепророков, юродивых, дур и дураков.

[11] Несколько раньше Чернышевского о «Воронежской беседе» и о помещенном в ней «Дневнике семинариста» Никитина упомянул в «Современнике» в своих «Заметках нового поэта» И. И. Панаев (см. «Совр.» 1861, № 10, стр 322—323).

[12] Слова Чернышевского *о почве перекликаются со статьей* М. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «времени»), которая напечатана, как и данная рецензия Чернышевского в XII книге «Современника» за 1861 г. (стр. 171 — 188). Статья Антоновича направлена против тогдашних «лженароднических» теорий в литературе.

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

I. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ВОПРОС О ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМАХ

Публикация И. Морозова

I

Публикуемая ниже рецензия написана Н. Г. Чернышевским. Она перепечатывается из «Современника» 1861 г. (т. 87, кн. 5, «Современное обозрение», стр. 161—172), где в свое время появилась без подписи автора. Авторство Чернышевского установлено лишь совсем недавно на основании вновь найденного собственноручного списка его произведений. (Список хранится в Москве, в частном собрании).

Перед нами — едкая и меткая критика вздорной апологетической брошюрки о Петре I — брошюрки, где действительно на каждом шагу «дичь и чепуха страшная», так что «из всей многословной болтовни нельзя вывести решительно никакой мысли, а не то, что еще какого-нибудь заключения за или против Петра». Главный интерес рецензии заключается, однако, не в сокрушительном, полном уничтожающего сарказма опровержении благоглупостей рецензируемого автора, а в том, что попутно высказывает сам рецензент по существу рассматриваемой темы.

С точки зрения Чернышевского в современной ему историографии вопрос о петровских реформах не только не получил сколько-нибудь основательной разработки, но даже не был правильно поставлен. «Бедный Петр, — говорит Чернышевский, — когда-то он дождется для себя хоть сколько-нибудь сносного историка, который бы взглянул на него прямо и смело, с исторической точки зрения и определил бы настоящую цену и достоинство его исторической деятельности. А то (не говоря о славянофилах, у которых ничего нельзя разобрать) до сих пор за историю его принимались или отчаянные панегиристы, которые в буквальном почти смысле были без ума от Петра, были совершенно ослеплены блеском его деяний, закрывали глаза, чтобы ничего не видеть и не понимать, падали пред ним ниц и повергались в прах; или же поддельные и натянутые смельчаки, комически важные и неподкупные судьи». Последние «quasi-историки Петра», обнаруживая «заносчивость моськи», изощрялись во всякого рода мелочных придирках, вызывали столь же мелочную антикритику и таким образом превращали дело серьезного научного изучения петровских реформ в праздную болтовню человека, которому «решительно нечего делать» и который «от скуки придумывает разные вопросы, раскладывает, так сказать, исторический гранд-пасьянс», забивая головы читателей «страшной чепухой». Образцом такого рода «quasi-историков» и является зло высмеиваемый Чернышевским Задлер.

Отсюда, разумеется, вовсе не следует, будто сам Чернышевский отмахивается от конкретно-исторического анализа, считает никчемной детальную разработку фактической истории петровского времени даже во всех ее, казалось бы, малосущественных подробностях. «Конечно, — говорит он, — наука не должна

пренебрегать никакими мелочами и изучение мелочей очень часто приводит к важным результатам; и было бы очень хорошо, если бы при общей истории эпохи существовали частные подробные монографии не только о славнейших деятелях эпохи, но и других личностях, имевших к ним какое-нибудь отношение». Однако необходимость изучения «мелочей» исторического прошлого обусловлена у Чернышевского двумя решающими соображениями. 1) Историку позволительно переходить ко второстепенным «мелочам» только после того как «порядочно исследованы и рассмотрены» относящиеся к теме «более общие и более крупные факты». 2) Мелочи представляют научный интерес не сами по себе, а лишь тогда и постольку, когда и поскольку помогают лучше понять «главное и существенное». Каковы же по Чернышевскому «более общие и более крупные факты» из истории петровских реформ? В чем видит Чернышевский «главное и существенное» произведенных Петром I преобразований? Ответ на эти вопросы мы получим, приведя в систему все важнейшие высказывания Чернышевского и его единомышленника Н. А. Добролюбова о петровских реформах. Вскрыть своеобразие точки зрения обоих революционных демократов «просветителей» всего естественнее путем сопоставления их взглядов на реформы Петра I со взглядами современных им представителей главных направлений помещичьей и помещичье-буржуазной историографии.

II

В период подготовки и проведения реформ 60-х годов XIX в. вопрос о петровских реформах для историографии и публицистики приобретает сугубую научную и политическую актуальность. Проводимые крепостниками буржуазные реформы 60-х годов перестраивали «чиновничьи-дворянскую монархию» [1], принявшую законченные очертания в результате петровских реформ: естественно, что к петровским реформам публицисты и историки 50—60-х годов XIX в. обращались как к историческим корням той полосы развития России, политические итоги которой подводила переживаемая этими публицистами и историками современность. Разбирая посвященные Петру I тома «Истории» С. М. Соловьева, Кавелин подчеркивал, что «для верной оценки Петра Великого наше время едва ли не самое благоприятное. Мы всеми путями порываемся выйти из того периода русской истории — периода заимствований у Европы — который он собою открыл и начал» [2]. Сопоставление реформ 60-х годов XIX в., в частности готовящейся отмены крепостного права с петровскими реформами находим мы и у Чернышевского, который еще в начале 1858 г. в известной статье «О новых условиях сельского быта» писал: «С царствования Александра II начинается для России новый период, как с царствования Петра. История России с настоящего года будет столь же различна от всего предшествовавшего, как различна была ее история со времен Петра от прежних времен» [3].

Помещичье-буржуазный либерал Кавелин и революционный демократ «просветитель» Чернышевский порывались выйти из периода русской истории, открывшегося петровскими реформами, совершенно различными путями. Отсюда и оценка ими «важнейшего явления нашей истории — реформы Петра Великого» [4] была далеко неодинакова. Чернышевский, Кавелин и все остальные писавшие в это время о Петре I историки и публицисты освещали историческое прошлое светом политической современности, рассматривали социальные и государственные преобразования начала XVIII в. так или иначе в зависимости от своего отношения к подготовлявшимся и осуществлявшимся реформам 60-х годов XIX в. Чем более прогрессивным было то или иное направление общественной мысли в условиях революционной ситуации конца 50-х—начала 60-х годов, тем ближе к объективной действительности удавалось подойти соответствующим историкам и публицистам при характеристике петровских реформ, хотя, конечно, подлинно научного, вполне адэкватного действительности представления о петровских реформах тогда в России не дал и не мог дать еще никто.

III

В самом начале публикуемой ниже рецензии Чернышевский, вспоминая о том, казалось бы, недавнем времени, «когда исторические витии и риторы не находили достаточно сильных выражений для восхваления преславных деяний пресветлого «отца отечества», одного из таких «витий» и «риторов» называет прямо по имени. Это «Шевырев с «Москвитянином», которые «горой стояли за Петра и доказывали историческую и даже физическую необходимость самых мелочных преобразований петровых». С. П. Шевырев и его соратник по «Москвитянину» М. П. Погодин, будучи идеологами так называемой «официальной народности», выступают в 40-х годах безоговорочными апологетами реакционной помещичье-бюрократической монархии Николая I. Тем более злачную почву для безудержной апологии открывает им эпоха петровских реформ — один из важнейших периодов в истории российского самодержавия, период, когда царизм был относительно прогрессивен.

Погодин считает правительственную власть, особенно царское самодержавие, главным и единственным двигателем прогресса в России на всех этапах исторического развития. Самодержавному государю обязана, по Погодину, Россия в частности и всеми своими культурными достижениями. «Кто доставляет нам, — рассуждает Погодин, — средство учиться, понимать себя, чувствовать человеческое свое достоинство? П р а в и т е л ь с т в о». И вот тут в качестве наиболее выразительной конкретно-исторической иллюстрации выдвигается «Петр Великий», который «насильно дает нам мирские книги в руки, представляет пример собою и тридцать лет держит над нами свою мощную десницу, опасаясь, чтоб мы не возвратились в прежний свой восточный заповедный круг»[5].

Апологетическая характеристика петровских реформ дана Погодиным всего более развернуто в статье «Петр Великий». Статьей этой открывается первый номер «Москвитянина»[6].

Погодин исходит из того, что «нынешняя Россия, т. е. Россия европейская, дипломатическая, политическая, военная, Россия коммерческая, мануфактурная, Россия школьная, литературная — есть произведение Петра Великого». А так как «нынешняя Россия» для Погодина — образец социально-политического совершенства, то столь же безупречными выглядят в его глазах и реформы, давшие этой «нынешней России» начало. Именно погодинскую статью имеет, конечно, в виду Чернышевский, напоминая читателям своей рецензии о том, как на страницах «Москвитянина» «доказывали историческую и даже физическую необходимость самых мелочных преобразований петровых». Такого рода доказательствам Погодин действительно посвящает не мало красноречивых тирад. «Что теперь ни думается нами, ни говорится, ни делается, — заключает он свою аргументацию, — все, труднее или легче, далее или ближе, повторяю, может быть доведено до Петра Великого. У него ключ — или замок».

Преклоняясь перед Петром I, Погодин в то же время усиленно подчеркивает, что начало всем петровским преобразованиям было положено «гораздо прежде» Петра I. В качестве одной из первоочередных тем для истории петровского времени он ставит вопрос о том, «в каком отношении были его [Петра] учреждения к прежним?», при чем сам убежден, что «многие его [Петра], по нашему и даже собственному его мнению, нововведения, суть ничто иное, как древние постановления, имеющие глубокий корень в русской почве, только в новых формах, с новыми именами». Провести такого рода точку зрения Погодину особенно важно потому, что «тогда вместе возвратится подобающая честь и нашей древней истории...» В итоге под пером Погодина Петр I выглядит не столько преобразователем, сколько «довершителем» того, что в основном было сделано задолго до него. Идеолог «официальной народности», сопротивляющийся каким бы то ни было существенным преобразованиям социально-политического строя Николаевской монархии, при рассмотрении крупных правительственных реформ

в прошлом старается придать им как можно более консервативный характер, стремится представить их минимальной ломкой старины.

Однако отношение представителей «официальной народности» к петровским реформам не отличалось особенной последовательностью. Только что рассмотренная статья Погодина, целиком оправдывавшая европеизацию России Петром I, плохо вязалась с неистовыми воплями погодинского соратника по «Москвитянину» Шевырева на тему о Западе, носящем в себе «злой заразительный недуг», окруженном «атмосферою опасного дыхания» германской реформации, а в особенности — Великой французской буржуазной революции[7].

В годы, непосредственно предшествующие крестьянской реформе, вопрос о реформах Петра I продолжает оставаться для Погодина одним из важнейших вопросов русской истории, приобретая вместе с тем особую политическую злободневность[8]. Что же касается упоминаемого Чернышевским критического выступления, которое предпринял Погодин, «тронутый до слез несчастною судьбою царевича Алексея Петровича», то погодинские благочестивые сетования по поводу несколько излишней суровости великого императора в обращении с родным сыном, разумеется, не носили характера сколько-нибудь серьезной критики и петровских реформ.

Еще в 1829 г. Погодин высказал убеждение, что «гибель Алексея вообще была спасительна для Петровой России»[9]. Такое убеждение сохранил он и тридцать лет спустя, выступая со статьей, навеянной только что вышедшим VI томом «Истории Петра Великого» Устрялова: эту погодинскую статью и имеет в виду Чернышевский. «Какой же приговор произнесем мы Петру, по его делу с сыном, соображая все вышепредложенные обстоятельства?» — спрашивает Погодин, подробно изложив фактическую сторону темы. И отвечает: «Если велики были его вины, при производстве этого рокового дела, как будто требованного таинственно самою историею, в образе искупительной жертвы, если велики были его увлечения и преступны различные меры, то не беспримерны ли, не чудны ли были прочие его действия и труды, беспрерывно, между тем, продолжавшиеся?» Отсюда следует конечный вывод: осуждать Петра I и в данном случае никак нельзя, можно и должно только «молиться за упокой его тоскующей души»[10].

IV

Несколько иначе рассматривают петровские реформы представители двух оформившихся еще в 40-е годы XIX в. направлений общественной мысли: «славянофилы» и «западники». Начнем со «славянофилов» — идеологов помещичьей реакции на развивающийся капитализм. Точке зрения «западников» «славянофилы» противопоставляют взгляд, получивший наиболее отчетливое выражение и историческое обоснование в относящихся как раз к 50-м годам XIX в. произведениях К. С. Аксакова, в частности, на страницах его известной записки 1855 г. «О внутреннем состоянии России». Согласно «славянофильскому» взгляду «Россия представляет в себе две стороны: государство и землю», при чем естественные взаимоотношения между этими обеими сторонами определяются крылатой формулой: «П р а в и т е л ь с т в у п р а в о д е й с т в и я и, следовательно, закона; н а р о д у — п р а в о м н е н и я и, следовательно, слова»[11].

Такого рода взгляд объективно выражает собою недовольство «славянофилов» бюрократическими крайностями самодержавного режима, недовольство, вполне закономерное и в среде господствующего класса, поскольку «классовый характер царской монархии нисколько не устраняет громадной независимости и самостоятельности царской власти и «бюрократии»[12]. Что же касается апелляции «славянофилов» к интересам народа, то это призрачное народолюбие объективно имеет смысл той же социальной демагогии, о которой говорили К. Маркс и Ф. Энгельс применительно к феодальному социализму на Западе. «Чтобы возбудить сочувствие, — читаем мы по этому поводу в «Манифесте Коммунистической

партии»,— аристократия должна была сделать вид, что она уже не заботится о своих собственных интересах и составляет свой обвинительный акт против буржуазии только в интересах эксплоатируемого рабочего класса»[13].

С охарактеризованной выше точки зрения подходят «славянофилы» и к петровским реформам, которым они дают отрицательную оценку, хотя у них и «нет намерения восставать на величие Петра, величайшего из великих людей». Социально-политические причины недовольства «славянофилов» петровскими реформами всего более четко представлены опять-таки в писаниях К. С. Аксакова. К. С. Аксаков считает время Петра I эпохой, «когда со стороны правительства, а не народа были нарушены начала гражданского устройства России, когда был оставлен русский путь»[14]. Суть «русского пути», оставленного Петром I, заключалась, по К. С. Аксакову, в том, что «правительство древней России было в тесном союзе с народом и уважало народ», прислушивалось к общественному мнению на вече, а позднее на Земских соборах[15]. Социальный строй допетровской Руси под пером «славянофильских» историков принимает идиллические черты. Если верить «славянофилам» — даже «крепостного состояния в России до Петра не было. Крепостное состояние есть дело преобразованной России»[16].

В чем же видят «славянофилы» корень зла петровских реформ? Их прежде всего пугает «насилие, неотъемлемая принадлежность действий Петра». «Это насилие,— разъясняет К. С. Аксаков,— в свою очередь изменило все дело; что делалось доселе свободно и естественно, то стало делаться принужденно и насильственно. Поэтому преобразования Петра есть решительно уже п е р е в о р о т, р е в о л ю ц и я, а в этом и заключается особенность и историческое значение его дела». *Такого рода крайне неприятная для «славянофилов» особенность* петровских преобразований неприятна им не просто сама по себе. «Славянофилы» видят пагубность «петровского пути» не только в том, что реформами Петра I (реформами, которые «славянофилам» представляются революцией) в свое время «переломлен был весь строй русской жизни»[17], но и в том, что эти реформы, приведя к разрыву между царем и народом, создали постоянную и все растущую угрозу революционного взрыва для будущих времен — вплоть до близкой «славянофилам» современности.

Губительный разрыв и послужил главной причиной последующих политических потрясений — потрясений, которые все без разбора, от дворцового переворота, возведшего на престол Екатерину I, до восстания декабристов, фигурируют у К. С. Аксакова под одной и той же рубрикой «революционных попыток». К. С. Аксаков подчеркивает при этом, что имевшие место после Петра I «революционные попытки» неизменно предпринимались только ощутившими «в себе политическое властолюбие» представителями «верхних классов», «оторванных от народного быта», тогда как «народ, не изменивший русским началам», «все это время, как и следовало ожидать, был спокоен». Мнимое народное спокойствие представляется К. С. Аксакову лучшим доказательством того «как противна всякая революция русскому духу»[18].

Но «петровская система», действующая уже целых полтора столетия, «начинает, наконец, проникать и в народ своею повидимому пустою, но вредною стороною», вытравляя благословенный «русский дух» и тем самым делая неизбежной близкую катастрофу. «Чем долее будет продолжаться петровская правительственная система», тем более, по мнению К. С. Аксакова, «будут колебаться основы русской земли, тем грознее будут революционные попытки, которые сокрушат наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией»[19].

Реакционный характер развернутой К. С. Аксаковым помещичьей концепции петровских реформ станет особенно ясным, если вспомнить в чем видели «славянофилы» суть «русского духа». Главные, наиболее дорогие «славянофильскому» сердцу «русские начала» это — смирение, долготерпение, чистота православной веры, беспримерное повиновение властям. Прочную «нравственную связь» между помещиками и крестьянами как наиболее надежную гарантию от революции,

связь, которая, с «славянофильской» точки зрения, налагала на феодально-крепостные отношения допетровской Руси отпечаток патриархальности и была раздавлена под колесами новой бюрократической машины Петра I, — вот что оплакивают «славянофилы», критикуя петровские реформы.

Укрепление «нравственной связи» между помещиками и крестьянами становится для «славянофилов» исключительно актуальным именно накануне крестьянской реформы, в условиях революционной ситуации конца 50-х,—начала 60-х годов XIX в., когда наиболее здравомыслящие представители самого же «славянофильского» лагеря начинают говорить о том, что «прежняя безропотная покорность крепостных людей, доходившая иногда до изумительного самозабвения, слабеет с каждым поколением», что «крепостное право отживает свой век, становится в тягость и что терпение народное истощается»[20].

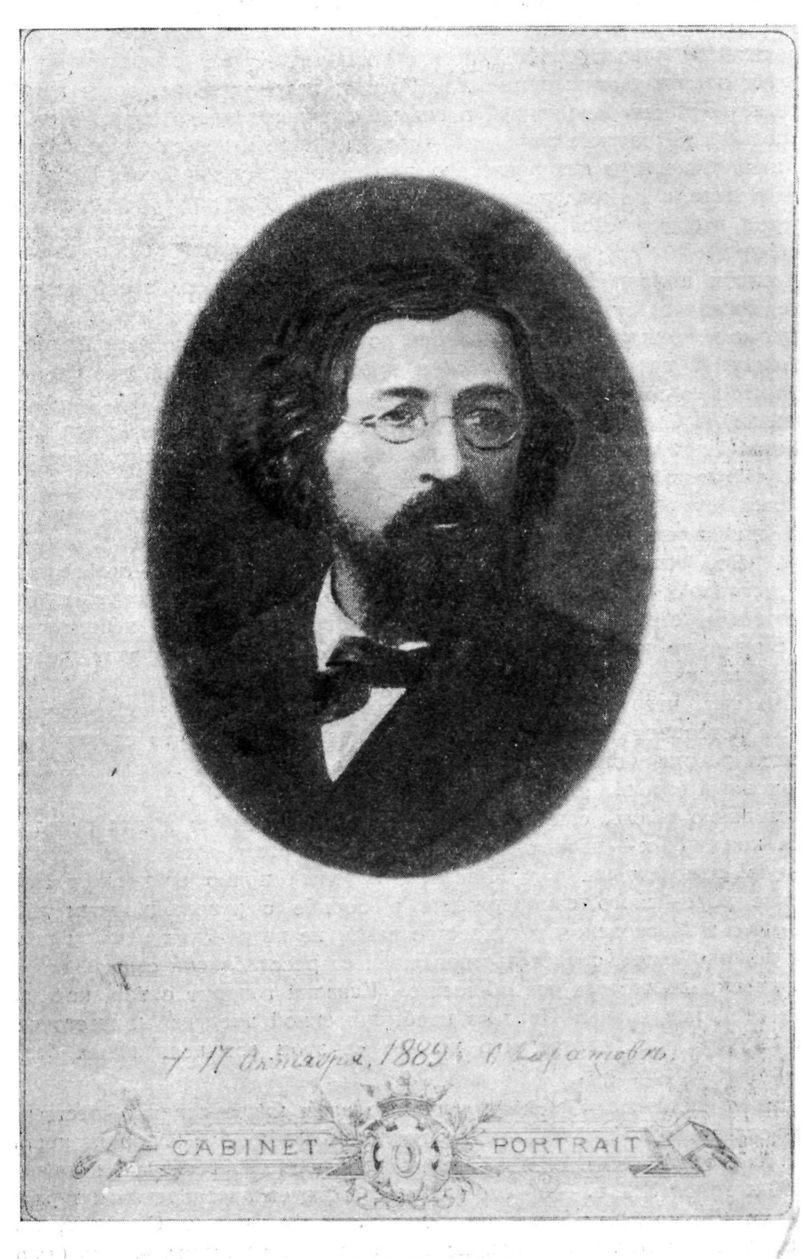
Вот почему теперь «славянофилы» особенно недовольны бюрократическими крайностями в работе Редакционных комиссий, вот почему так настойчиво добиваются они предоставления помещичьей общественности более широкой возможности обсуждать подготовляемую реформу, вот почему им кажется необходимым сохранение помещичьей «опеки» над крестьянами и после отмены крепостного права. При этом с точки зрения «славянофилов» сторонники бюрократических методов разрешения крестьянского вопроса обнаруживают «Либерализм деспотов-бюрократов, нивелирующий, искажающий начала народной жизни, поклоняющийся петровской палке»[21].

V

«Западники», в большинстве своем идеологи прусского пути развития капитализма, по отношению к петровским реформам занимают позицию, как будто бы прямо противоположную «славянофильской». Но противоположные выводы вырастают в данном случае на почве одной и той же исходной политической установки и эта общая исходная установка отчетливо демонстрирует единство классовой природы обоих рассматриваемых групп, борьба между которыми, по известной характеристике Ленина, не отражала собой «противуположность интересов труда и капитала»[22].

Правое крыло «западников» в годы непосредственной подготовки и проведения крестьянской реформы также, как и «славянофилы», охвачено боязнью революционного взрыва, проникнуто непримиримой враждебностью к растущему в стране крестьянскому движению, к поднявшим знамя борьбы идеологам революционной демократии. Два наиболее крупных публициста право-«западнического» лагеря — К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин, при всех взаимных расхождениях по ряду второстепенных вопросов, в этом решающем пункте своей политической программы совершенно единодушны[23]. Корифей помещичье-буржуазной историографии С. М. Соловьев обосновывает антиреволюционные установки своих политических единомышленников опытом изучения исторического прошлого. «Народы в своей истории не делают прыжков[24] — таков один из главных тезисов Соловьева, сказавшийся и на его оценке петровских реформ.

Величие петровской эпохи для людей типа Кавелина и Соловьева в том, что она «была, во всех отношениях, приготовлением, при помощи европейских влияний, к самостоятельной и сознательной народной жизни»[25]. В своем стремлении связать петровские реформы с социально-политической современностью середины XIX в. представители помещичье-буржуазной историографии порою заходят даже дальше, чем следует, приписывая политике Петра I черты, на самом деле свойственные лишь временам, гораздо более поздним: характерна с этой точки зрения проскальзывающая местами у Соловьева тенденция представить Петра I чуть ли не провозвестником отмены крепостного права[26]. Центральное звено помещичье-буржуазной концепции петровских реформ — мысль о том, что реформа Петра I, вопреки антиисторическим представлениям «славянофилов», «есть органическое продолжение старины, вытекла из нее необходимо и естественно, и представ-



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Фотография 1860-х гг. с надписью В. И. Ленина
Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

ляется нам каким-то скачком потому только, что вводилась у нас одним из величайших деятелей истории, который, своею необыкновенною личностью и делами, затмил обыденный ход нашей исторической жизни»[27].

Таким образом идеологи прусского пути развития капитализма, ожесточенные противники революционной ломки крепостничества, стремятся представить, с их точки зрения благотворные для России, петровские реформы преобразованием, не являвшимся революцией в смысле насильственного разрыва со стариной Для Соловьева петровские реформы — «естественное и необходимое явление в народной жизни, в жизни исторического, развивающегося народа»[28]. Петр же являлся «вождем в деле, а не создателем дела»[29], был «представителем стороны, смотревшей вперед, стремившейся к новому, стороны, не им созданной, но до него образовавшейся»[30].

Идеологи помещичье-буржуазных реформ, сторонники преобразования (далеко не последовательного, полукрепостнического, но все же преобразования) социально-политического строя России по образцу буржуазной Европы, разумеется, считают великим историческим прогрессом европеизацию форм русской жизни, имевшую место при Петре I.

Однако, и Соловьеву и Кавелину преобразования Петра I, при полнейшей своей исторической закономерности, представляются все же актом, до известной степени, насильственным. И Соловьев и Кавелин называют петровские реформы революцией, а у Соловьева мы находим даже сравнительную характеристику российской «революции» начала XVIII в. и Великой французской буржуазной революции. «Во Франции,—подчеркивает при этом Соловьев,—слабое правительство не устояло и произошли известные печальные явления, которые до сих пор оказываются в стране; в России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства»[31]. Таким образом, Петр I велик для Соловьева не только тем, что его реформы произвели исторически необходимый и благотворный переворот в жизни русского народа, но и тем, что своими реформами он обуздал революционную стихию, сумел предотвратить гибельный для России революционный взрыв.

Последнюю мысль, еще более отчетливо выраженную и для революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в., разумеется, политически крайне актуальную, находим мы и у Кавелина, который прямо восхваляет Петра I за укрепление российского самодержавия в борьбе с революционным движением. Отметив, что в Московском государстве накануне петровских реформ росли «волнения и неустройства», свидетельствовавшие «о расслаблении связей, которыми до тех пор крепко держалось все общество», Кавелин говорит о том, как явившийся «посреди этой неурядицы» Петр «с необыкновенной энергией и жестокостью подавляет смуты», и добавляет, что именно «в этом его величайшая бессмертная заслуга перед Россией»[32].

А что представители рассматриваемого нами направления общественной мысли сами отчетливо представляли себе сугубо политическую злободневность такого рода «бессмертной заслуги» в условиях революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в. — об этом свидетельствует красноречивая тирада в воспоминаниях Соловьева. «Крайности — дело легкое, — пишет Соловьев, вспоминая о политической обстановке накануне крестьянской реформы,—легко было завинчивать при Николае, легко было взять противоположное направление и поспешно судорожно отвинчивать при Александре II; но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было». И дальше следует знаменательная историческая параллель: «Преобразования производятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI-е и Александры II-е. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен; но преобразо-

ватели второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель»[33].

Поскольку же для рассматриваемых нами представителей помещичье-буржуазной историографии «вся русская история, как древняя, так и новая, есть по преимуществу г о с у д а р с т в е н н а я, п о л и т и ч е с к а я»[34], поскольку с их точки зрения государство, т. е. помещичье самодержавие «было исходною точкою всего общественного развития России с XV века»[35], постольку Петр I — умелый строитель самодержавной империи — на страницах исторических работ Соловьева и Кавелина выступает в ореоле «великого народного воспитателя», как «вождь своего народа в великом движении, обхватившем весь организм народной жизни»: о классовой природе петровского самодержавия тут, конечно, не может быть и речи. Соловьев, правда, вынужден признать, что петровские реформы сопровождались достаточно разорительным для народных масс усилением податного гнета, но по его мнению «все эти тяжести и труд русский народ должен был поднять временно, чтоб вдвинуть Россию в Европу и приобрести средства усиления и обогащения». Что же касается неприятных для «славянофилов» воспоминаний о петровской дубинке, то они в сознании Соловьева целиком заслонены радужной мыслью о том, что усилиями Петра I возникла «целая система учреждений, имевших воспитательное значение для народа» — система, показывающая, что «*преобразователь употреблял другие, более действительные средства к тому,* чтоб вывести русских людей из детского возраста относительно общественной жизни, и упразднить внешние, детские побуждения, упразднить дубинку»[36].

VI

Н. Г. Чернышевский и его ближайший единомышленник Н. А. Добролюбов противостоят всему фронту помещичьей и помещичье-буржуазной общественной мысли в целом. Чернышевский и Добролюбов — передовые бойцы революционной демократии, корифеи русского «просветительства», их мировоззрение достигло огромной философской глубины и политической остроты в условиях революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов. «Если века рабства, — говорит Ленин, — настолько забили и притупили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чернышевский»[37].

Изучению исторического прошлого, прежде всего — истории России, и Чернышевский, и Добролюбов придают очень важное значение: история для них — надежный ключ к уразумению современности, так как «исторические соображения многим людям помогают утвердиться в уверенности о необходимости и основательности решения, требуемого настоящим»[38]. При этом Чернышевский, протестуя против пустой абстракции и схематизма, подчеркивает необходимость тщательно изучать исторические факты — отдельные исторические события, конкретных исторических деятелей. Он «вполне согласен... относительно того, что быт народов — самый важный предмет исторического знания», однако, по его мнению, «без истории в старом смысле слова, в смысле геродотовском, фукидидовском *и т. д., хоть до Маколе и до Грота, до Нибура или Сисмонди, история быта* необъяснима», ибо «крупные факты и крупные отдельные лица, конечно, результаты быта, но черты быта видоизменялись ими». Вот почему Чернышевский отнюдь не разделяет «пренебрежения к так называемой «внешней» истории, проповедуемого многими из ученых, занимающихся так называемою «историей культуры»[39].

Исторические факты осмысливаются Чернышевским и Добролюбовым с точки

зрения интересов закабаленного, но поднимающегося на борьбу крепостного крестьянства: по глубокому убеждению обоих революционных демократов-«просветителей» «современное состояние исторических знаний и вообще просвещения» диктует историку необходимость руководствоваться в своем исследовании идеей «об отношении исторических событий к характеру, положению и степени развития народа», и потому «история самая живая и красноречивая будет все-таки не более как прекрасно сгруппированным материалом, если в основание ее не будет положена мысль об участии в событиях всего народа, составляющего государство»[40]. Мысль эта пока встречается на страницах исторических трудов лишь в виде редкого исключения. Добролюбов, констатируя, что «множество есть историй, написанных с большим талантом и знанием дела, и с католической точки зрения, и с рационалистической, и с монархической, и с либеральной», ставит скорбный вопрос: «но много ли являлось в Европе историков народа, которые бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рассматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпоху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полководцев и т. п.»[41].

Задача создания такой подлинной народной истории — истории, главным содержанием которой должно служить изображение борьбы «трудящихся» с «дармоедами»[42] — эта задача определяет собою и трактовку революционными демократами-«просветителями» петровских реформ. Установление правильного взгляда на петровские реформы Чернышевский и Добролюбов считают особенно важным и политически актуальным потому, что, с их точки зрения, характеру этих реформ «совершенно соответствовал характер всей последующей государственной деятельности» и стало быть «взглядом на реформу, произведенную в начале XVIII века, определяется взгляд на продолжение этой реформы, до последнего времени»[43].

Преобразования Петра I представляются Чернышевскому и Добролюбову, конечно, закономерным продуктом предшествующего исторического развития — в этом отношении оба революционных демократа-«просветителя» выступают на стороне «западников» против «славянофилов». «Напрасно приверженцы старой Руси, — говорит Добролюбов, — утверждают, что то, что внесено в нашу жизнь Петром, было совершенно несообразно с ходом исторического развития русского народа и противно народным интересам»; по мнению самого Добролюбова, на Петра I следует смотреть «как на великого исторического деятеля, понявшего и осуществившего действительные потребности своего времени и народа, а не как на какой-то внезапной скачек в нашей истории, ничем не связанный с предыдущим развитием народа»[44]. «Предыдущее развитие народа» Чернышевский и Добролюбов — опять-таки в противовес «славянофилам», и как будто бы вслед за «западниками» — рисуют достаточно безотрадным; эта безотрадная картина представлена особенно красочно Чернышевским — в его известной статье об изданном П. Бартеневым «Собрании писем царя Алексея Михайловича»[45], Добролюбовым — в не менее замечательном разборе «Русской цивилизации» Жеребцова и в первой из статей, посвященных устряловской «Истории царствования Петра Великого»[46]. При этом оба революционные демократы-«просветители», критикуя «славянофилов», противопоставляют их фантастическим представлениям «строго ученый взгляд новой исторической школы, главными представителями которой были гг. Соловьев и Кавелин»[47].

Но уже в изображении допетровской Руси налицо существенная черта, отчетливо размежевывающая Чернышевского и Добролюбова — с одной стороны, Соловьева и Кавелина, а тем более Чичерина — с другой. Чернышевский и Добролюбов, изучая допетровскую Русь, интересуются не столько развитием государственных принципов и учреждений, сколько реальным положением народа. Они протестуют против смешения «двух точек зрения: государственной и собственно

народной», ибо, по их мнению, в истории часты случаи, когда «или государственные интересы вовсе не сходятся с интересами народных масс, или между государством и народом являются посредники — в роде каких-нибудь сатрапов, мытарей и т. п., — не имеющие, конечно, силы унизить величие своего государства, но имеющие возможность разрушить благоденствие народа»[48].

Отсюда понятна и трактовка революционными демократами-«просветителями» реформ Петра I — трактовка резко отличная от всего высказываемого о петровских реформах современными Чернышевскому и Добролюбову представителями помещичьей и помещичье-буржуазной историографии. Революционно-демократическая «просветительская» концепция петровских реформ всего более законченно, лучше сказать — заостренно, сформулирована Чернышевским, который сам отлично понимал, что его взгляд на преобразования Петра I далеко не сходится с соответствующими представлениями даже людей, казалось бы, близких ему по литературному кружку «Современника». «Я имел о деятельности Петра Великого мнение, существенно различное от мнения того круга замечательных людей, в котором сформировался образ мыслей Некрасова (Белинский, Герцен, их друзья)», — пишет Чернышевский в своих позднейших заметках при чтении посмертного издания стихотворений Некрасова[49].

В чем своеобразие высказанного Чернышевским мнения о петровских реформах? На этот вопрос лучше всего ответить словами самого Чернышевского опять-таки из позднейшего письма к Пыпину, где Чернышевский сжато, но выразительно определяет и свою исходную установку и свои конечные выводы по интересующему нас вопросу. «Я смотрю на дело, — говорит в этом письме Чернышевский, — исключительно с точки зрения существенных интересов русского населения тогдашнего государства. Оно было бедно и невежественно. Ему нужно было облегчение лежавших на нем тяжестей. Петр увеличил их. Русским нужно было просвещение. Но было ли нужно принуждать их учиться у западных народов? Я полагаю, нет, потому что они сами имели, я полагаю, влечение к этому»[50].

Вся необычная новизна такой постановки вопроса о петровских реформах для публицистики и историографии интересующего нас периода станет особенно наглядной, если сопоставить взгляд Чернышевского на реформы Петра I с мнением о них не только представителей помещичьей и помещичье-буржуазной общественной мысли, но и двух крупнейших корифеев русского «просветительства», боровшихся в одних с Чернышевским рядах революционной демократии. Имеем в виду Белинского и Добролюбова.

В. Г. Белинский выступает в 40-х годах XIX в. одиноким пока, непосредственным предшественником революционных демократов-«просветителей». Социально-политическая обстановка его эпохи — эпохи, когда, по известной характеристике Ленина «в с е о б щ е с т в е н н ы е в о п р о с ы с в о д и л и с ь к б о р ь б е с к р е п о с т н ы м п р а в о м и е г о о с т а т к а м и»[51] — не давала еще Белинскому возможности по всем вопросам и до конца отмежеваться от находившихся в одном с ним «западническом» лагере представителей помещичье-буржуазной общественности. Правда, «крестьянские «бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобождением»[52], еще за два десятилетия до этого «освобождения» вызывают к жизни публицистику Белинского, «настроение» которой объективно находится в зависимости «от настроения крепостных крестьян... от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета»[53], но охваченный этим настроением публицист в революционную самодеятельность крестьянства не верит, считает наивностью убеждение, будто «сам народ должен все для себя сделать», убежден, что на самом деле в истории «всегда и все делалось через личности»[54]. Неудивительно, если сильная личность Петра I — европеизатора России — рождает в Белинском живейшую симпатию.

Еще в «Литературных мечтаниях» Белинский отозвался о Петре I, как об «олицетворенной мощи, олицетворенном идеале русского народа в деятельные

мгновения его жизни», как об «одном из тех исполинов, которые поднимали на рамена свои шар земной». Однако, в это время Белинского несколько смущала стремительность, с которой Петр проводил свои реформы. Просвещение, по мнению Белинского, «должно приниматься с благоразумной постепенностью, по сердечному убеждению, без оскорбления святыни праотеческих нравов». Русский народ не был достаточно подготовлен к петровским реформам; многое в них смущало его. Обучение народа надо было начинать «с азбуки, а не с философии, с училища, а не с академии». Этим именно Белинский и объясняет разрыв, произведенный реформами Петра между «народом», с одной стороны, и «обществом», с другой. «Какое же следствие вышло из всего этого? — спрашивает Белинский, и отвечает: — Масса народа упорно осталась тем, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука гения». Позднее, по мере эволюции общих политических взглядов Белинского, взгляд его на подготовленность русского народа к петровским реформам изменился. «Петр, — пишет теперь Белинский, — действовал совершенно в духе народном, сближая свое отечество с Европою и искореняя то, что внесли в него татары временно азиатского»[55]. Не имея возможности до конца разобраться в социальной политике царского самодержавия, Белинский думает, что и в его время «для России нужен новый Петр Великий»[56].

Белинский остается плененным гегельянской философией истории, по вопросу о роли великих исторических деятелей следует даже эпигонской трактовке гегельянства, в частности же возвеличение Петра I и его реформ из всех представителей «западнического» лагеря 40-х годов XIX в. именно у Белинского — «человека экстремы»[57] — находит себе особенно темпераментное выражение.

Чернышевский и Добролюбов — непримиримые враги самодержавия, политические бойцы, закалившиеся в условиях революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в., революционеры, держащие курс на крестьянское восстание, — естественно, рассматривают иначе, чем Белинский, и политику царизма в прошлом; в частности петровские реформы.

Добролюбовская концепция петровских реформ знаменует собою огромный шаг в сторону преодоления помещичье-буржуазной апологии Петра I и проведенных им преобразований. Знаменитые критические статьи Добролюбова, посвященные работам о Петре I казенного историографа Устрялова[58], содержат не только мастерской, основанный на большом знании материала, разбор взглядов и методов исследования критикуемого автора, но и ряд важных высказываний самого критика по существу рассматриваемой темы. Добролюбов считает петровские преобразования правительственным мероприятием, предотвратившим революционный взрыв; с его точки зрения «внимательное рассмотрение исторических событий и внутреннего состояния России в XVII столетии может доказать, что Петр, рядом энергических правительственных реформ, спас Россию от насильственного переворота, которого начало сказалось уже в волнениях народных при Алексее Михайловиче и в бунтах стрелецких»[59]. Именно поэтому петровские реформы, по мысли Добролюбова, не внесли особенно существенной перемены в народный быт — вопреки мнению тех, кто обращает внимание «преимущественно на внешние формы жизни и управления, в которых Петр действительно произвел резкое изменение». Добролюбов стремится доказать, что положение народа в результате петровских реформ по сути дела не улучшилось, что Петр I не изменил системы феодально-крепостнического самодержавия, в ее социальных основах. «Признавая живую и непосредственную связь древней Руси с новою», он совсем не восторгается «новым потому только, что оно не старое». «Как ни крут и резок кажется переворот, произведенный в нашей истории реформою Петра, — говорит Добролюбов, — но если всмотреться в него пристальнее, то окажется, что он вовсе не так окончательно порешил с древнею Русью, как воображает, с глубоким прискорбием, большая часть славянофилов... Древняя Русь не могла внезапно исчезнуть вместе с обритыми бородами. Она вовсе не так далеко от нас,

чтобы представлять ее нам каким-то раем земным, населенным чуть ли не ангелами. Поверьте —

И прежде плакал человек,
И прежде кровь лилась рекою.

И после нас — опять будет плакать человек, и кровь будет литься»[60].

Больше того. В последней из статей Добролюбова по поводу устряловской истории — в статье, посвященной ее VI тому и специально рассматривающей «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича» — особенно подчеркивается вся тяжесть того гнета, которым легли петровские преобразования на народные массы. Именно в этом разорительном для народа гнете справедливо видит Добролюбов причину того, «почему массы в простоте своей не ослеплялись славою полтавской виктории, не восторгались множеством кораблей на Неве и марширововавшими в ногу мускетерами и пикинерами, а пили за здоровье слабого царевича и видели в нем свою надежду». Объяснение народной «привязанности к царевичу», по Добролюбову, следует искать «не в том, что Алексей толковал о старцах от писаний, что он не любил нововведений, а также, что желал погибели Петербурга, а в причинах, которые увлекали народные массы за Разиным, Пугачевым, и которые главнейше зависели от недовольства обычным ходом жизни и существовавшими порядками»[61]. Последняя, столь характерная для идеолога революционной демократии, мотивировка объясняет нам, почему и Чернышевский в публикуемой ниже рецензии придает серьезный интерес делу царевича Алексея, — делу, которое, с точки зрения Чернышевского, «представляет много сторон неразъясненных, много фактов сомнительных».

Если к только что сказанному прибавить еще мастерское разоблачение той ходульной героики, ореолом которой окружалась у верноподданных историков, в частности у Устрялова, самая личность первого российского императора, если вспомнить, как едко и убедительно аргументировал Добролюбов мысль о том, что реформаторские начинания Петра I как и «все великие планы, высокие идеи, сложные замыслы, ограничиваются обыкновенно достижением ближайшей цели», что, вопреки «мистическому» представлению, будто «вся жизнь Петра была посвящена заботе о благе его подданных», Петр I «вовсе не хотел лишаться тех преимуществ, которые доставлял ему... высокий сан его» и «в матросской куртке, с топором в руке... также грозно и властно держал свое царство, как и его предшественники, облеченные в порфиру и восседавшие на золотом троне, со скипетром в руках»[62], если, повторяю, вспомнить все это в дополнение к сказанному выше, критическая сторона интересующей нас концепции Добролюбова достигнет предельной выразительности.

И однако, при всем своем сугубом критицизме в оценке петровских реформ, Добролюбов считает Петра I гениальным историческим деятелем, громадное значение и заслуга которого заключались в том, что он «разрешил вопросы, уже давно заданные правительству самою жизнью народной». Тем самым, правильно подчеркивая относительную прогрессивность петровских реформ, Добролюбов остается не до конца освободившимся от «просветительской» иллюзии о надклассовой природе самодержавия Петра I — хотя самая эта иллюзия носит у него конечно иной характер, чем у Соловьева; с точки зрения Добролюбова — «Петр является в нашей истории как олицетворение народных потребностей и стремлений, как личность, сосредоточившая в себе те желания и те силы, которые по частям рассеяны в массе народной»[63].

У самого Чернышевского на страницах его ранних произведений мы находим признание благотворности петровских реформ для России. Чернышевскому представляется, что «вся общественная и умственная жизнь в XIV — XVI веках подверглась влиянию неподвижности, застоя, оцепенелости, окончательным результатом чего была необходимость преобразований Петра Великого»[64]. Петр I для Чернышевского в эту пору — «идеал патриота», которого всю жизнь

одушевляло «беспредельное желание блага родине». Чернышевский считает первоочередной задачей каждого «содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим», он убежден, что «русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть ничем иным, как патриотом, в смысле Петра Великого — деятелем в великой задаче просвещения русской земли»[65].

Однако, в ходе дальнейшей политической борьбы, по мере обострения классовых противоречий эпохи реформ XIX в., какие бы то ни было следы положительной оценки Чернышевским петровских преобразований окончательно исчезают—Чернышевский уже не делает уступок «хвалителям Петра»[66]. Как раз к моменту наивысшего подъема революционной деятельности Чернышевского, естественно совпадающему с кульминационным периодом революционной ситуации конца 50-х — начала 60-х годов XIX в., относятся замечательные предисловие и послесловие к «Апологии сумасшедшего» Чаадаева — рукопись, предназначавшаяся для «Современника» 1861 г., в свое время, повидимому, не пропущенная царской цензурой и напечатанная наконец только восемь лет тому назад[67]. Здесь революционно-демократическая «просветительская» концепция петровских реформ дана политически чрезвычайно остро. Чернышевский протестует против апологетической оценки Петра I, восторженным отношением к которому пленен был некогда даже такой «человек большого ума», как Чаадаев. Впрочем для Чаадаева иллюзорное представление о петровских реформах кажется Чернышевскому простительным, если вспомнить младенческое состояние современной молодому Чаадаеву русской историографии. «Пока не разработали источников — а это было уже после молодости Чаадаева, — говорит Чернышевский, — не могли различить даже того факта, что целью деятельности Петра было создание сильной военной державы. Это простое и естественное стремление великого реформатора было закрыто от наших глаз туманом всяких пышных фраз». С такой точки зрения ведущим звеном всех петровских преобразований выступает военная реформа, ибо именно «занявшись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов», Петр I «по своей энергической натуре развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал кстати, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду. Но эти прибавки были уже только делом второстепенным, не важным, а главное дело составляли военные учреждения». Так как «некоторые из его подданных стали роптать и противиться», Петр I, «как человек пылкий и настойчивый», повел дело достаточно круто и, в частности, для более успешной борьбы с сопротивлением подданных «ввел другую администрацию, взяв ее у немцев или шведов, не потому, что немецкие административные формы были тогда лучше русских — во-первых, они едва ли были лучше, во-вторых, и не на эту сторону обращалось внимание, — нет, просто потому, что прежние враждебные формы надобно было заменить другими, которые были бы удобнее для своего учредителя». Таким образом, столь прославленная апологетами Петра I европеизация России в трактовке Чернышевского оказывается ничем иным, как преобразованием, имевшим целью укрепить военные силы и бюрократический аппарат российского самодержавия. При этом Чернышевский, подобно Добролюбову, подчеркивает, что петровские реформы, как мероприятия, проведенные исключительно в интересах правительственной власти, нисколько не изменили строя народной жизни по существу, не облегчили положения народа. «Петра Великого, — говорит Чернышевский, — иные порицают за то, что он ввел к нам западные учреждения, заменившие нашу жизнь. Нет, жизнь наша ни в чем не изменилась от него, кроме военной стороны своей, и никакие учреждения, им введенные, кроме военных, не оказали на нас никакого нового влияния. Имена должностей изменились, а должности остались с прежними аттрибутами и продолжали отправляться по прежнему способу... Напрасно думают, что реформа Петра Великого изменяла в чем-нибудь состояние русской нации. Она только изменяла положение русского

СПИСОК СОЧИНЕНИЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, СОСТАВЛЕННЫЙ ИМ САМИМ
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Частное собрание, Москва

Собрание 1856 №12.
(кр.) Очерки гоголев. периода русск. литературы №№1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12.
Лессинг, его время, жизнь и сочинения №№10, 11, 12.
Критика современных военных известий №№1. 2. 5.

Собр. 1857 №1 (библ.) Шиллер в пер. [illegible]
№2 (кр.) [illegible]
№3 (кр.) [illegible]
№4. [illegible]
№5. Соч. Жуковского т. X–XIII [illegible]
№6 (кр.) [illegible]
№7. [illegible]
№8 (кр.) Сочинения и письма Гоголя. [illegible]
№9. (кр.) [illegible]
№10. (кр.) [illegible]
№11. [illegible]
№№1. 2. 3. 4. 6. [illegible] №№5, 6, 7, 8, 9.
Собр. обозрения №9 (стр. 133–152) [illegible] 10, 11, 12.

Собр. 1858 №1. [illegible] ст. I.
№2. [illegible]
№3. [illegible] ст. 2. [illegible]
№6. [illegible] №1 (1–[illegible] стр.)
№7. [illegible] №2.
№8. [illegible] ст. 2ая
№9. — — — ст. 2ая
(кр.) [illegible]

Собр. 1858. №10. [illegible] №4 (1–33 стр.)
№11. [illegible] №5. (1–19 стр.)
[illegible]
№12. [illegible]

Собр. 1859 №1. [illegible] №6.
[illegible]
№2. [illegible] №7.
№5. (кр.) [illegible]
№6. [illegible]
№7. [illegible] №10.
№10. [illegible]
№11. [illegible]
Политика №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Собр. 1860. №1 [illegible] ст. 1.
(кр.) [illegible]
№2. [illegible] ст. 2.
№4 (кр.) [illegible]
№5 (–) — — — — — ст. 2.
[illegible]
№6 (библ.) [illegible]
№7 (кр.) [illegible] ст. 1.
(библ.) [illegible]
№8. (кр.) [illegible] ст. 2.
(библ.) [illegible]
№10 (библ.) [illegible]
№12. [illegible]
(кр.) [illegible]
(библ.) [illegible]
[illegible]
Политика №№ 2. 3. 4. 5. 7. 8. 11.
Политика [illegible] 1860 г.

Собр. 1861. №1. [illegible]
(библ.) [illegible]
[illegible]
[illegible]

СПИСОК СОЧИНЕНИЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, СОСТАВЛЕННЫЙ ИМ САМИМ
ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Частное собрание, Москва

Совр. 1861 г. № 2. Предисловие к нынешним Австр. делам.

[illegible]

№ 3 (библ.) Стих. Плещеева.

№ 4 (библ.) Нач. полит. экон. Рошера. Корф. [illegible] рус. быта Даля.

№ 5. [illegible]

(кр.) О причинах падения Рима.

(библ.) Рус. история [illegible]

Письма рус. государей. Опыт истории [illegible]

№ 6. (кр.) Непочтительность к авторитетам.

Политико-эконом. письма. Ст. 1.

№ 7. (кр.) Национальная бестактность

(—) Полит. эк. пис. ст. 2.

Совр. 1861 № 10. (кр.) Русский реформатор.

Народная бестолковость.

№ 11. (кр.) Не начало ли перемены?

№ 12 (библ.) Воронеж. лит. сбор. [illegible]

[illegible] 1861 г. Записки рус. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] №№ 3 и 4

Очерки по Миллю №№ 6, 7, 8, 9, 10, 12

Полемика во всех №№ 1861 г.

Совр. 1862 г. № 1 [illegible] по Совр. 1861 г.

[illegible]

[illegible]

№ 2. [illegible]

[illegible]

(библ.) [illegible]

№ 3. Самозванные старейшины [illegible]

Закон [illegible] книгопечатания.

(библ.) Ясная поляна. Толстого.

№ 4. Научились ли?

Полемика во №№ 1, 2, 3, 4.

Материалы для биогр. Добролюбова.

Что делать?

В Атенее 1856 г. Русский человек на rendez-vous.

СПИСОК СОЧИНЕНИЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, СОСТАВЛЕННЫЙ ИМ САМИМ

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА

Частное собрание, Москва

царя в кругу европейских государей. Прежде он не имел в их советах сильного голоса, теперь получил его, благодаря хорошему войску, созданному Петром».

Отсюда уже один шаг до той решительной формулировки из позднейшего письма к Пыпину, которую мы цитировали выше. В статье, предназначавшейся для печати, Чернышевский этого шага не делает, но на страницах родственного письма взгляд Чернышевского находит себе совершенно законченное и недвусмысленное выражение. «Россия была бедна; Петр разорил ее (это засвидетельствовано его помощниками, собравшимися на совещание о делах по его смерти). Русский народ имел уже влечение учиться. Петр, насколько мог, внушил ему ненависть к просвещению», — вот резюме рассуждений Чернышевского в письме к Пыпину [68], при чем Чернышевский подчеркивает, что такого рода отрицательной точки зрения на петровские реформы он держался еще в те годы, когда возглавлял «Современник» [69].

VII

От безоговорочной апологии Петра I и его преобразований до категорического утверждения об отрицательной исторической роли петровских реформ — таков диапазон представленных нами классово разнородных оценок. Наша статья, разумеется, не исчерпывает поставленной темы во всех ее деталях. Нам казалось более целесообразным, при характеристике точки зрения на петровские реформы представителей основных направлений общественной мысли середины XIX в., ограничиться анализом высказываний лишь наиболее крупных историков и публицистов: сравнительно второстепенные сознательно оставлены нами в стороне, даже в тех случаях, когда они довольно много писали именно в предреформенные годы и специально о Петре I (как напр. П. К. Щебальский).

Что представители помещичьей и помещичье-буржуазной историографии были бессильны вскрыть истинный характер петровских реформ — это достаточно ясно из предыдущего. Но и крупнейшие идеологи революционной демократии, корифеи русского «просветительства», при всей научной глубине и политической остроте развернутой ими концепции, так же не дали вполне адэкватного действительности представления о петровских реформах. В этом вопросе, как и в общей системе миросозерцания Чернышевского и Добролюбова, сказалась исторически обусловленная ограниченность революционных демократов-«просветителей», которые были пленены историческим идеализмом, не владели оружием материалистической диалектики, ибо даже Чернышевский который «сумел с 50-х годов вплоть до 88-го года остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников» — даже Чернышевский «не сумел, вернее: не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» [70]. Добролюбов, в изображении которого Петру I присущи некоторые черты чуть ли не народного царя-«просветителя» своей страны, оказывается бессильным дать сколько-нибудь отчетливый классовый анализ петровского самодержавия. Чернышевский — смертельный враг царизма в настоящем, со всей беспощадностью разоблачает эксплоататорский характер царской политики и в прошлом, но при этом оказывается неспособным оценить относительную прогрессивность самодержавия на определенных этапах исторического развития, в определенной конкретно исторической обстановке, в частности, в эпоху петровских реформ. К чести обоих революционных демократов-«просветителей» нужно сказать, что они сами сознавали некоторую неудовлетворительность развернутой ими концепции, подчеркивали трудность, почти невозможность «избрать для какого-либо сочинения правильную и независимую точку зрения на события нашей новейшей истории именно потому, что они и в жизни современного нам общества еще продолжаются во многом, еще не составляют прошедшего, совершенно законченного для нас» [71].

Подлинно научную, единственно правильную трактовку петровских реформ может дать и дает только марксизм. Именно у классиков марксизма мы находим

четкую классовую характеристику самодержавия Петра I, который, по известному определению И. В. Сталина, «сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса... для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев», при чем «возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры»[72]. Именно классики марксизма, в лице В. И. Ленина, являют блестящий образец диалектического подхода к реформам Петра I— *реформам, которые в конкретных условиях исторического развития первой четверти* XVIII в., имели относительно прогрессивный характер, ибо «Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства»[73]. С такой же точки зрения рассматривает петровские реформы и И. В. Сталин: определяя исторический смысл промышленной политики Петра I, он подчеркивает ее относительную прогрессивность и вместе классовую ограниченность. «Когда Петр Великий, — говорит Сталин, — имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить из рамок отсталости. Вполне понятно, однако, что ни один из старых классов, ни феодальная аристократия, ни буржуазия, не мог разрешить задачи ликвидации отсталости нашей страны»[74]. Не говорим уже о классическом анализе петровской политики в «Секретной дипломатии» К. Маркса. Характерно при этом, что Ленин, говоря о европеизации России в прошлом, отмечает, что «эта европеизация вообще идет с Александра II, если не с Петра Великого». Таким образом, прямо связываются друг с другом, как два важнейших периода, когда «Россия, вообще говоря, европеизируется, т. е. перестраивается по образу и подобию Европы», эпоха петровских реформ и реформ середины XIX в.[75]. Тем более, стало быть, закономерна постановка нашей темы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В. И. Ленин «Наши упразднители». — Соч. т. XV, стр. 83, здесь и всюду ниже ссылки по 2-му изданию.

[2] «Мысли и заметки о русской истории». — «Вестник Европы» 1866, кн. 2. Собр. соч. т. I, стр. 587.

[3] Полн. собр. соч. СПБ, 1906, т. IV, стр. 53 — 54.

[4] Н. Г. Чернышевский, «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855 — 1856). — Полн. собр. соч. СПБ, 1906, т. II, стр. 163.

[5] «Взгляд на русскую историю» (1832). М. Погодин «Историко-критические отрывки», М. 1846, стр. 8—9.

[6] См. «Москвитянин», ч. I, № 1, М. 1841, стр. 3—29. В дальнейшем при цитации этой статьи мы позволяем себе не ссылаться каждый раз на отдельные ее страницы, чтобы не загромождать текста чрезмерным обилием ссылок.

[7] См. известный «Взгляд русского на современное образование Европы», появившийся в той же книжке «Москвитянина», что и погодинская статья о Петре I. Стр. 247—248.

[8] Недаром, набрасывая в 1858 г. программу предполагаемых студенческих бесед, Погодин для бесед по русской истории выдвигает в качестве первоочередных две явно перекликающиеся друг с другом темы: 1) историю Петра I, «к которому все мы, так или иначе, имеем отношение, с которым все мы связаны органическими узами», и 2) крепостное право—«животрепещущий вопрос в истории нашей гражданской жизни» (Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. 17, стр. 7—9).

[9] Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина» кн. 2, стр. 398.

[10] Статья Погодина «Суд над цесаревичем Алексеем Петровичем. Эпизод из жизни Петра Великого» была напечатана в журнале «Русская Беседа» (1860, I,) отд. Науки, стр. 1 — 110).

[11] Сборн. «Ранние славянофилы», сост. Н. Л. Бродский, М. 1910, стр. 80, 96. Всюду ниже записка К. С. Аксакова цитируется также по этому сборнику.

[12] В. И. Ленин, «О дипломатии Троцкого и об одной платформе партийцев» — Соч., т. XV, стр. 304.

[13] К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест коммунистической партии. 1932, стр. 36.

[14] Записка, стр. 84.

[15] По поводу VI тома История России г. Соловьева (1856). — Полн. собр. соч., т. I, М. 1889, стр. 161.

[16] По поводу «Белевской вивлиофики», изданной Н. А. Елагиным (1858).—Полн. собр. соч., т. I, 1889 г., стр. 489.

[17] «Несколько слов о русской истории, возбужденных Историею г. Соловьева» (1851).—Полн. собр. соч., т. I, М. 1889, стр. 46—47.

[18] Записка, стр. 86—87. Свой спасительный для помещиков тезис «славянофильский» историк аргументирует даже ссылкой на пугачевское восстание, когда «обманчивым знаменем» борьбы было «имя законного государя». (Там же, стр. 87).

[19] Записка, стр. 88.

[20] Ю. Ф. Самарин, Записка 1854—56 гг. «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе». — Соч., т. II, стр. 64 — 66.

[21] Письмо И. С. Аксакова И. С. Тургеневу от 26 октября 1859 г. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 17, 1903, стр. 130. См. также письмо К. С. Аксакова кн. В. А. Черкасскому по поводу утверждения 25 июля 1859 г. общим присутствием редакционных комиссий доклада административного отделения № 5 о сельских сходах; там же, стр. 111—116 и письмо А. С. Хомякова Ю. В. Самарину от 3 октября 1858 г. А. С. Хомякова. — Соч., т. VIII, 1900, стр. 296—302.

[22] В. И. Ленин, «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве». — Соч., т. I, стр. 279.

[23] Сравн. известную «Записку об освобождении крестьян в России» Кавелина (Собр. соч., т. II, особенно стр. 32 — 37, 54 — 55) и статью Чичерина «О крепостном состоянии», помещенную без подписи автора в «Голосах из России», вып. I, ч. 2, 1856, стр. 212.

[24] «Публичные чтения о Петре Великом» (1872). — Собр. соч., изд. «Общ. польза», стр. 1108.

[25] К. Д. Кавелин, «Мысли и заметки о русской истории» (1866). — Собр. соч., т. I, стр. 674.

[26] Подробнее об этом см. в ст. С. Бантке «Петровская реформа в освещении С. М. Соловьева».— «Историк-Марксист», т. 13, 1929, стр. 146.

[27] К. Д. Кавелин, «Мысли и заметки о русской истории» (1866). — Собр. соч.,т. I, стр. 668.

[28] «Публичные чтения о Петре Великом» (1872). — Собр. соч., изд. «Общ. польза», стр. 980.

[29] «История России с древнейших времен», т. XIV. М. 1864, стр. 104.

[30] Разбор «Истории царствования Петра Великого», А. Устрялова.— Ст. I «Атеней», № 27, 1858, стр. 9.

[31] «История России с древнейших времен», т. XIV, М. 1864, стр. 103—104.

[32] «Мысли и заметки о русской истории» (1864). — Собр. соч., т. I, см. соответственно стр. 647, 671.

[33] С. М. Соловьев, Записки. Изд. «Прометей», стр. 168.

[34] К. Д. Кавелин, Разбор «Истории отношений между русскими князьями Рюрикова дома» С. М. Соловьева (1847 — 1848). — Собр. соч., т. I, стр. 277.

[35] К. Д. Кавелин, Разбор кн. Б. Н. Чичерина, «Областные учреждения России в XVII веке» (1856). — Собр. соч., т. I, стр. 541.

[36] С. М. Соловьев, «Публичные чтения о Петре Великом» (1872). — Собр. соч., изд. «Общ. польза», см. соответственно стр. 1072, 1060, 1067, 1095.

[37] В. И. Ленин, «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция» — Соч., т. XV, стр. 143.

[38] Н. Г. Чернышевский. Рецензия на «Магазин землеведения и путешествий», изд. Н. Фроловым (1855). Полн. собр. соч., СПБ, 1906, т. I, стр. 224.

[39] Письмо к сыну Михаилу из Вилюйска от 3 марта 1882 г. «Чернышевский в Сибири», в. III, СПБ, 1913, стр. 182.

[40] Н. А. Добролюбов, «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858). — Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 119—120.

[41] «О степени участия народности в развитии русской литературы» (1858). — Полн. собр. соч., т. I, 1934, стр. 211.

[42] Н. А. Добролюбов, «Русская цивилизация», соч. г. Жеребцовым, ст. II (1858). — Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 267.

[43] Н. Г. Чернышевский, Предисловие и послесловие к «Апологии сумасшедшего» П. Я. Чаадаева. — Сборн. «Николай Гаврилович Чернышевский». 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928, стр. 69.

[44] «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858).—Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 129 — 130.

[45] См. Полн. собр. соч., СПБ, 1906, т. III, стр. 71—85. Статья относится к 1857 г.

[46] См. Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 114—136 и 220—283.

[47] Н. Г. Чернышевский, «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—1856). — Полн. собр. соч., СПБ, 1906, т. II, стр. 163.

[48] Н. А. Добролюбов, «Первые годы царствования Петра Великого», ст. 1 (1858). — Полн. собр. соч., т. III, 1936. стр. 124.

[49] Заметки являлись приложением к письму к А. Н. Пыпину от 17 июня 1886 г. — Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, 1930, стр. 489.

[50] Письмо от 7 декабря 1886 г. — Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, стр. 193.

[51] «От какого наследства мы отказываемся?». — Соч., т. II, стр. 315.

[52] В. И. Ленин «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция». — Соч., т. XV, стр. 143.

[53] В. И. Ленин. «О «Вехах». — Соч., т. XIV, стр. 219.

[54] Письмо к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Письма, ред. и прим. Е. А. Ляцкого, т. III, СПБ, 1914, стр. 338—339.

[55] «Литературные мечтания» (1834) и статья о голиковских «Деяниях Петра Великого» и др. (1841). — Пол. собр. соч. под ред. и с примечаниями С. А. Венгерова. См. соответственно т. II, стр. 327—328 и т. VI, стр. 131. Последние слова взял в качестве эпиграфа к первой из своих статей об Устряловской «Истории» Добролюбов.

[56] Письмо к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Письма, ред. и прим. Е. А. Ляцкого, т. III, СПБ, 1914, стр. 339.

[57] А. И. Герцен. Дневниковая запись 14 ноября 1842 г. — Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. III, стр. 55.

[58] Добролюбов, сопоставляя Устрялова с Карамзиным, вполне основательно считает, что «в существенных чертах оба они имеют большое сходство между собою». («Первые годы царствования Петра Великого», ст. 1, 1858, Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 119).

[59] «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858). — Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 130. Подробнее об этом см. в ст. А. В. Предтеченского. «Исторические воззрения Добролюбова». Известия АН СССР по отд. общ. наук, 1936, № 1—2, стр. 93—116.

[60] «Русская цивилизация», соч. г. Жеребцовым, ст. II (1858).— Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 283.

[61] «Сведения о жизни и смерти царевича Алексея Петровича». «Современник», т. XXIX, 1860, январь, «Современное обозрение», стр. 79.

[62] «Первые годы царствования Петра Великого», ст. III (1858). — Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 169, 170, 193, 195.

[63] Там же, стр. 129, 202—203.

[64] Разбор соч. П. Медовикова: «Историческое значение царствования Алексея Михайловича» (1854).—Полн. собр. соч., СПБ, 1906, т. I, стр. 170.

[65] «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855—1868). — Полн. собр. соч., 1906, т. II, стр. 120—122.

[66] Письмо к А. Н. Пыпину от 7 декабря 1886 г. — Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, 1930, стр. 193.

[67] Сборник «Николай Гаврилович Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи». Саратов, 1928, стр. 51—72. По этому изданию приводятся все наши дальнейшие цитаты.

[68] Письмо от 7 декабря 1886 г. Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие. т. III, 1930, стр. 194.

[69] Заметки при чтении посмертного издания стихотворений Н. А. Некрасова (1886) — Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. III, 1930, стр. 489.

[70] В. И. Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». — Соч., т. XIII, стр. 295.

[71] Н. А. Добролюбов, «Первые годы царствования Петра Великого», ст. I (1858).—Полн. собр. соч., т. III, 1936, стр. 122.

[72] Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. 13 декабря 1931 г. — «Большевик», 1932, № 8, стр. 33.

[73] «О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности». — Соч., т. XXII, стр. 517.

[74] Об индустриализации и о правом уклоне в ВКП. Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г. — «Вопросы ленинизма», 1931, стр. 499.

[75] «Возрастающее несоответствие». — Соч., т. XVI, стр. 314.

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПРАВДАНИЯ ПЕТРА I, ПРОТИВ ОБВИНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. КАРЛА ЗАДЛЕРА

С.-Петербург. 1861

Удивительное дело, как скоро и как резко изменились ходячие, общепринятые мнения о Петре Великом! Давно ли, кажется, было время, когда исторические витии и риторы не находили достаточно сильных выражений для восхваления преславных деяний пресветлого «отца отечества», когда поэты величали его божеством с творческою силой, произведшей свет в России, когда Шевырев с «Москвитянином» горой стояли за Петра и доказывали историческую и даже физическую необходимость самых мелочных преобразований петровых, вроде уничтожения российской бороды и российского кафтана, когда многие называли Петра Великим между Великими, когда нам доказывали в школах пользу, важность и необходимость изучения русской истории тем, что она одна изображает нам деяния Петра Великого? И вдруг, в настоящее славное время раздаются голоса против Петра, его обвиняют во многом, хотят найти и указать всем пятна в этом прежде столь светлом и славном солнце, затемнить хоть несколько яркий блеск его славы, уменьшить в глазах наших его исполинскую тень, разросшуюся под пером прежних деееписателей петровых до колоссальных размеров полубога. И — страшно и смешно выговорить — дело уж дошло до того, что на славное имя Петрово взимается даже наш знаменитый, медоточивый, приторный и афористически болтливый Погодин, «рыцарь без упрека», тронутый до слез несчастною судьбою царевича Алексея Петровича; подобно тому, как и г. Циммерман был тронут «бледною окровавленною тенью фрейлины Гамильтон, которая встала пред ним из могилы и потребовала очищения памяти ее от неправедного осуждения» и тоже, заодно с Погодиным, восстал с обвинениями против Петра. Чем объяснить такую резкую перемену в суждениях о Петре и откуда взялась в Погодине такая прыть — решительно неизвестно, по крайней мере в точности. Как бы то ни было, только подобные отчаянные поступки Погодина и Циммермана глубоко огорчили г. Карла Задлера — иностранца, как он сам сознается; пред ним тоже видно предстала грозная и величественная тень Петра, и потребовала, чтобы он оправдал и очистил ее память от скверн Погодина. Г. Задлер с жаром ухватился за это великое и святое дело, воодушевляемый и ободряемый еще тем, что г. Семевский, и то бывает очень осторожен, когда дело коснется обвинений Петра. «После такой осторожности со стороны подобного авторитета, как г. Семевский, говорит г. Задлер, невольно проникнемся чувством сильного негодования к современным русским историкам, прочитав статью Погодина об Алексее Петровиче» (стр. 11). Опираясь на подобные авторитеты и проникнутый подобными чувствами к русским, или, как он выражается в другом месте, туземным историкам, г. Задлер действительно взялся за оправдание Петра и явил блистательный опыт и доказательство своих адвокатских и всяких способностей. Но от его оправдания выиграл один только Погодин, потому что для последнего нашелся достойный противник, с которым он может состязаться сколько угодно, может даже вступить в устный публичный диспут, не роняя достинства своего противника и не унижаясь пред ним; оба соперника одинаково сильны и стоят друг друга. Напротив, Петру Великому не поздоровится от оправданий г. Задлера, который оказал своему клиенту услугу à la мишенька и еще раз представил научное доказательство той истины, что услужливый человек с известным качеством часто бывает опаснее врага. Бедный Петр, когда-то он дождется для себя хоть сколько-нибудь сносного историка, который бы взглянул на него прямо и смело, с исторической точки зрения и определил бы настоящую цену и достоинства его исторической

деятельности. А то (не говоря о славянофилах, у которых ничего нельзя разобрать) до сих пор за историю его принимались или отчаянные панегиристы, которые в буквальном почти смысле были без ума от Петра, были совершенно ослеплены блеском его деяний, закрывали глаза, чтобы ничего не видеть и не понимать, падали пред ним ниц и повергались в прах; или же поддельные и натянутые смельчаки, комически важные и неподкупные судьи. Эти последние quasi-историки Петра были к нему очень строги, с заметным усилием старались придираться к нему, поддеть его хоть в чем-нибудь и непременно высказать против него несколько обвинений; но во всем этом ясно обнаруживалась заносчивость моськи, что и мы, дескать, при удобных обстоятельствах, не уступим в либерализме другим, и кроме приторных пошлостей, способны еще на ужасно смелые вещи, даже на обвинение самого Петра. Как ни смешны были эти уж чересчур грубые хитрости и манеры, однако ж они вполне привели к желанной цели; нашлись головы, которые были поражены и изумлены этим фальшивым задором и натянутою смелостью. «Имена Петра и Алексея привлекли на себя еще большее внимание с тех пор, как либеральный автор (ага!) г. Погодин избрал их предметом своего труда» («Опыт оправд. Петра», стр. 25). «Хотя вся статья г. Погодина есть не что иное, как уничижение Петра и его новой России: тем не менее она делает честь не только нынешнему времени, но и смелости г. Погодина» (стр. 100). Чего же лучшего может еще потребовать Погодин от своего противника? Конечно, отчаянная смелость и задор Погодина известны были всем и прежде, но никто не говорил о них так гласно и ясно, как г. Задлер. Это невольная, но действительная услуга, оказанная г. Задлером своему противнику; а что же он сделал для своего клиента, или по крайней мере что он в состоянии сделать? — Пословица говорит «видна птица по полету»; так же точно и г. Задлер виден весь в приведенных нами его словах, так сказать виден по первому взмаху его ученых крыльев, но чтобы лучше узнать его полет, приведем несколько других подобных мест из его оправдания.

«Г. Погодин, касательно своих мнений о Петре, нашел себе в немецком историке нашего же столетия, Шлоссере, замечательного единомышленника: «способность, сила, ум для всего, что полезно и необходимо, непрерывная деятельность для преобразования своего народа отличали Петра при совершенном, нравственном разврате.— Всему без исключения дан был другой вид: одежде, жилищу, образу жизни, и Петр не долго размышлял о средствах к достижению своей цели, потому что он не имел никакого понятия о правилах честности, о нравственном порядке вещей еще в своей юности, а позже у него не доставало времени, случая и охоты к приобретению их. Он побеждал, то сознательно, то бессознательно, натуру грубую — натурою грубою и понуждал своих русских к образованию кнутом, палкою и эшафотом». Но как высоко ставят Петра над всеми этими упреками современники его: Феофан, Миних, Неплюев; позднейшие историки: Голиков, Ломоносов, Карамзин, Устрялов, Соловьев; из иностранных Чельтем, Вольтер и другие» (стр. 151), которым Шлоссер конечно и в подметки не годится. «Уже Шлоссер, иностранный писатель, удивляет нас тем, что так несправедливо судит о Петре. Тем более поразила нас эта несправедливость к Петру в ученом, образованном г. Погодине (Шлоссеру, видите, извинительно; он неуч и необразованее Погодина), знающем все замечательнейшие события своего отечества» (стр. 159). «Может быть, покажется кому-нибудь странным, что мы осмеливаемся возражать знаменитому писателю, Погодину (помилуйте, тут нет ничего странного; оправдывая Петра, вы тем самым сделались также знамениты, как и г. Погодин, обвиняя его), тем более, что слог наш явно обнаруживает иностранца, слабо владеющего русским языком, и в умении привлекательно излагать предмет

далеко ему уступающего» (стр. 25). И видно. Таким образом рыбак рыбака узнал издалека. Теперь посмотрим, что сделал г. Задлер с такими зачатками и задатками, послушаем его защитительной речи.

Прежде всего г. Задлер разбирает дело о фрейлине Гамильтон и оправдывает Петра против некоторых обвинений по этому делу, высказанных г. Циммерманом. Вопрос о Гамильтон самый новый, животрепещущий и современный; как видите, он даже сделался предметом ученого спора; не говоря уже о том, что г. Семевский, самый читаемый и интересный писатель, посвятил ему особую монографию, которая «привлекла еще большее внимание» на Гамильтон. К чести наших ученых нужно сказать, что они по большей части поднимают самые интересные вопросы, решение которых составляет насущную потребность времени, от которых в том или другом отношении зависит наша судьба и разъяснение нашей прошедшей или будущей участи. К числу таких вопросов относится и вопрос о фрейлине Гамильтон, этой исторически важной, влиятельной и замечательной личности. Только, к сожалению, не все еще у нас потонули в безднах науки и не все понимают важность и значение этих вопросов. Даже вот мы сами, если бы не чувствовали некоторой робости перед учеными мужами и не боялись упреков в невнимательности к решению научных вопросов с виду маловажных, а в сущности плодотворных и чреватых великими результатами,— непременно сказали бы хоть по секрету, что нам уж надоели все эти толки об Гамильтон, и что едва ли она сама по своей исторической значимости заслуживает такого внимания.

Действительно, ее история очень трогательна, трагична, и с этой точки зрения представляет много интересного, как всякое людское страдание вообще, как несчастная участь чья бы то ни было. Несчастные, страдающие личности попадаются нам на каждом шагу в истории и в жизни; перечтите одних только страдающих поэтов, и вообразите, сколько есть несчастных мучеников любви; жертвы, имеющие право на наше участие и сострадание, существовали всегда, и они могут быть предметом повести, романа, пожалуй исторического рассказа, которые все можно читать с большим интересом, с напряженным до болезненности вниманием, как всякий уголовный процесс, как историю любой казни, с которою связано что-нибудь романтическое. Действительно, и такие личности, хоть они и не имели важного значения в свое время, могут быть в некотором отношении полезны и для истории, могут верно характеризовать понятия, воззрения и нравы эпохи, особенно если в их судьбе резко отпечатлелось все это, если их история типична. Но в судьбе Гамильтон ничего такого не замечается; подобных случаев, казней, трагедий с романтическими приключениями в нашей истории очень довольно; много можно набрать их из времен Петра и из истории последующих царствований и можно переделать их в исторические романы, очень интересные, как действительно некоторые и пытались было сделать это. Но какой же толк выйдет из этого? Конечно, наука не должна пренебрегать никакими мелочами и изучение мелочей очень часто приводит к важным результатам; и было бы очень хорошо, если бы при общей истории эпохи существовали частные подробные монографии не только о главнейших деятелях эпохи, но и других личностях, имевших к ним какое-нибудь отношение. Но ведь это роскошь, уместная и законная только тогда, когда порядочно исследованы и рассмотрены более общие и более крупные факты, и совершенно неблагоразумная и непозволительная, когда исследователь, опуская из виду главное и существенное, останавливается много и долго на мелочах, да еще и не имея в виду ничего другого, кроме этих же самых мелочей, так что они представляются ему последнею и конечною целью. Кто похвалит и одобрит рассчетливость господина, который, не имея ни сюртука, ни са-

логов, все свои средства и усилия употребляет на то, чтобы приобресть себе отличную цепочку к часам, существующим только в его воображении? История Гамильтон и сама по себе неважна, а в руках наших историков решительно потеряла всякое значение, какое она могла бы еще иметь при другом образе воззрения на нее; ведь они принялись толковать об ней единственно для того, чтобы успокоить «бледную, окровавленную тень» и «очистить память ее от неправедного осуждения», и затем покончить все дело, сказавши с древним пиитою:

Но, тень великая, довольно;
Иди, сокройся в облаках!
Душ наших больше не терзая,
Живи, ликуй, на небесах.

Какая же от этого польза для истории? Если дело идет об успокоении и очищении теней, то в таком случае работе не будет конца, придется вызывать миллионы окровавленных теней, неочищенных и неомытых, и времени не хватит на это. Скажите, пожалуйста, не значит ли это попусту терять время и бессмысленно толочь воду, ломая голову над решением таких вопросов:

Была ли Гамильтон действительно детоубийцею? Как наказывали законы тех времен детоубийство? Была ли Гамильтон осуждена уголовным судом или просто волею монарха? Ну, это еще вопрос сюды-туды. А далее: почему царь не только ее не помиловал, но еще приказал пытать в другорядь? Это последнее повеление Петра рождает следующие вопросы относительно Гамильтон: на сколько она заслуживает наше участие? Была ли она невинная жертва соблазна и одного ли она любила? Одного или нескольких детей она погубила? В других отношениях была ли она строго нравственна? («Оп. оправ. Петра», стр. 2).

Подумаешь, право́, что человеку решительно нечего делать и вот он от скуки придумывает разные вопросы, раскладывает, так сказать, исторический гранд-пасьянс, и — что досаднее всего — печатает произведения своих досугов для назидания и поучения публики. Мы даже не видим много интереса и в вопросе Циммермана: «присутствовал ли Петр Алексеевич при пытках Гамильтон» — Но что прикажете делать? Каша заварена, дело сделано: Петр обвинен за дело Гамильтон, и Петра оправдывают; вот и изволь возиться с этими оправданиями, толковать тут об них, и непременно с кислою гримасой, с вытянутым лицом и наморщенным челом, а то как раз со всех сторон посыплются брань и ругательства: вот негодяй, шарлатан, невежда, не признает значения личности в истории, отвергает пользу монографий, воображает, что в истории не нужны исследования частных фактов со всеми их подробностями, и тому подобные лестные и чисто ученые комплименты. А посему подвергнем подробному и строгому анализу оправдания г. Задлера. Основываясь на свидетельстве Голикова и анекдотах Штелина, он утверждает, что Гамильтон действительно была детоубийцею, осуждена по определению суда, а не просто монаршею волею, и государь в поступке Гамильтон видел преступление тяжкое, за которое законы божии ветхого и нового завета наказывают смертию, хоть у него приведены ссылки только на один ветхий. «Что Гамильтон была подвергнута пытке, продолжает г. Задлер: тоже совершенно понятно, хотя и невозможно оправдать эту меру. По нашему мнению, если уже следовало пытать, то разве Орлова, а никак не Гамильтон, которая за свой поступок и без того приговаривалась к смерти» (стр. 10). «Хвать друга камнем в лоб». Г. Циммерман говорит, что Гамильтон пытали, так сказать, классической русской пыткой, т. е. кнутом на виске. Г. Задлер так оправ-

дывает в этом Петра: «г. Циммерман мог удостовериться из означенных анекдотов Штелина, что осужденной дано было три дня на покаяние; что ее все очень любили; что она была благотворительна; накануне казни ее посетили очень многие из придворных кавалеров и дам; и она трогательно прощалась с ними. В день казни она была элегантно одета в белое шелковое платье с черными лентами. Так не нарядится женщина с вывихнутыми руками. При том страдания от жестокой пытки так ужасны, что если Гамильтон была ей подвергнута, то едва ли была в силах потом принимать посетителей». Следовательно, Гамильтон была подвергнута не жестокой пытке, и у ней не были вывихнуты руки. Итак Петр прав; «все действия Петра по этому делу, говорит г. Задлер непосредственно за приведенными сейчас словами, вполне справедливы, за исключением пытки» (стр. 12). «Хотя Голиков и Штелин наводят на предположение, что Петр был прежде в связи с Гамильтон, хотя г. Циммерман приводит из биографии девицы Крамер подобные же намеки; но это опровергается уже тем обстоятельством, что Петр лично допрашивал Гамильтон. Зная за собою такой грех, мог ли бы он допрашивать? Удивительно, каким образом г. Циммерман, приведя слова Голикова о ходатайстве государыни за виновную, далее делает такое, совершенно противоречащее предположение: не замешалась ли при ее осуждении ревность другой женщины? Кто, кроме Екатерины, мог здесь ревновать и как согласить ревность с предстательством перед государем за обвиненную?» (стр. 13). Удивительно, как человек может рассуждать подобным образом, и при таком скудоумии приниматься за оправдание кого бы то ни было, и высказывая приведенный нами вздор, воображать, что он действительно оправдывает Петра. Наконец, вот еще одно общее, так сказать похвальное оправдание г. Задлера. «Многие, между прочими и г. Циммерман, не хотят допустить, что Петр, при своей суровости и жестокости, тоже бывал кроток и милосерд». Что вы вздор говорите и бессовестно клевещете на людей? Кто, кроме разве только вас, станет утверждать, что жестокий и суровый человек вообще решительно уже не доступен кротости и милосердию? «Для доказательства возможности соединения этих качеств (суровости, жестокости, кротости и милосердия) в одном лице, мы, говорит г. Задлер, приведем несколько черт из характера Иосифа II — он ведь слывет кротким и милосердным» (стр. 16); и начинается рассказ о *сивке* и о *бурке* на 6 страницах, проводится параллель между Петром и Иосифом, в таком роде: «Петр опасался, чтобы заклеймение было не точно исполнено,—то же самое было и с Иосифом. Гейслер (Skizzen Sammlung, Th. 3, p. 169) рассказывает...» и пошла писать. Вот ученость, вот начитанность, и цитат сколько!

Вот дело об Алексее Петровиче бесконечно выше и интереснее, чем история Гамильтон; над несчастною судьбою царевича невольно задумается всякий; она интересна и в историческом, и в психическом, и в нравственном отношении, со всех сторон, с каких угодно точек зрения. Суд об этом деле нельзя считать окончательно решенным и исторический приговор над ним еще не состоялся; оно представляет много сторон неразъясненных, много фактов сомнительных; тайные пружины и нити этого дела только еще затронуты, и нужно еще много труда, чтобы распутать и проследить их до конца; самый исход его, так сказать, последний акт, заключительный финал находится под покровом сомнения; подлинность страшного письма Румянцева не доказана и не опровергнута положительно. Вот этим бы следовало заняться нашим историкам, вместо того, чтобы мудрствовать о том, одного ли любила Гамильтон, или десятерых; и вместо двух монографий о Гамильтон, мы с большим интересом и пользою прочли бы десяток их об Алексее Петровиче. Так нет же вот; извольте заниматься фрейлиною Гамильтон, любоваться ее «красотою, приятным умом, необык-

новенною любезностью, элегантным шелковым платьем» и тому подобными вещами. Правда, и дело о царевиче не осталось без внимания; но оно, к сожалению, попало в руки таких следователей и судей, как Погодин и его противник г. Задлер; так что если бы в наше время существовал какой-нибудь вития, в роде тех, какие были при Петре, он непременно бы воскликнул: «что се? Что делаем? Что видим? Погодин обвиняет Петра Великого, а Задлер оправдывает его! Не привидение ли это? Не во сне ли обманываемся?» Нет, это не привидение, не сон, а действительная, горькая правда, совершившаяся в виду всех. «М. П. Погодин, говорит г. Задлер, в 1-й кн. «Рус. Бесед.» за 1860 г. изложил, с свойственною ему художественностию (боже!) свой взгляд о суде, произведенном над царевичем Алексеем Петровичем. Он обвиняет Петра во всем, и представляет его, как человека сурового, жестокого. Касательно жестокости Петра, мы *совершенно* согласны с почтенным автором» — хвать друга снова камнем в лоб — «но вовсе не разделяем его прочих мнений» (стр. 24). И затем начинаются оправдания; но еслиб вы знали, что это за оправдания! Прочитавши их, чувствуешь какую-то усталость, изнурение, головную боль: везде дичь и чепуха страшная; из всей многословной болтовни нельзя вывести решительно никакой мысли, а не то, что еще какого-нибудь заключения за или против Петра. Оправдание обыкновенно ведется так: Погодин обвиняет Петра в том и в том; действительно это справедливо; но обратим внимание еще на следующие факты, и действительно приводятся факты из Голикова, анекдоты из Штелина, строчки из Устрялова, выписки из манифестов. Но все эти факты также идут к оправданию Петра, как и к оправданию той мысли, что на луне есть жители, похожие на нас. Все оправдание Петра у г. Задлера состоит из 2-х частей, которые подразделяются на 37 отделов, с прибавлением заключения, «в котором мы (Задлер) сообщим нашим читателям одно место из книги Гервинуса, где рассматривается шекспиров Отелло, черты характера которого могут относиться и к характеру Петра» (стр. 29). «Качества, мнения и намерения Алексея ясно видны: 1) из манифеста Петра (следуют выписки); 2) собственноручный ответ царевича на допросы Толстого; опять выписки; 3) качества Алексея по словам г. Погодина (след. выписки); 4) качества его по словам г. Семевского (выписка). Теперь следует: 5) наш собственный взгляд. Алексей заслуживает сожаления, как по своим наклонностям, так и по отношениям к отцу, к матери и к окружавшей его партии. По нашему мнению, с железною волею Петр, и с слабым характером Алексей, представляют собою два существа, которые, от взаимного соприкосновения, оба ошибочно действуют, но Петр с благим намерением, Алексей же с дурным; и потому Петр возбуждает в нас сочувствие, а Алексей сожаление; и читатель видит, что мы даем преимущество Петру пред Алексеем (неужели?). Романист будет смотреть на все это с противоположной точки зрения. — Чтобы еще с большею ясностью показать взаимные отношения между отцом и сыном, мы просим позволить нам привести еще другой подобный исторический пример, в том же столетии»; и начинается опять рассказ о сивке и о бурке, производится параллель между Петром Великим и Фридрихом Вильгельмом I. «Г. Погодин говорит, что Екатерина была врагом Алексея. Напротив: отношения Алексея к Екатерине были всегда дружелюбны, благосклонны и исполнены доверия. Приведем его письмо к ней. «Катерина Алексеевна здравствуй на множество лет. За писание твое зело благодарствую и впредь сего желаю». Далее Погодин говорит: Алексей не нравился тетке. А если и не нравился, то разве это служит доказательством ее вины? Нисколько (ну, конечно!). Тетки почти всегда балуют своих племянников и потому мы более сомневаемся в хороших качествах Алексея, чем в добрых свойствах тетки его.—Погодин говорит, что и Меньщиков содействовал

гибели царевича. Неправда; Меньшиков был властолюбив и горд. Если он побуждал Алексея к праздности, в таком случае он и сам должен был сделаться его сообщником и поверенным во всех его поступках... С какою же осторожностью должен был действовать Меньшиков, нарушая высочайшую волю. Алексей боялся Меньшикова и был к нему почтителен» (стр. 29—57).

Прочитавши такую путаницу, вы с изумлением спрашиваете: ну, положим, Алексей имел слабый характер и возбуждает сожаление, Екатерина не была врагом его, и Меньшиков не побуждал его к праздности, положим даже, что и тетка баловала своего племянника: где же тут оправдание Петра и что же из всего этого следует? А следует то, говорит Задлер, «что Петр имел полное право обвинять Алексея, подававшего важные поводы к неудовольствию против себя, в чем впоследствии и сам Алексей сознается»; а это дает повод думать, что и на планетах есть жители, потому что, как между Петром, Фридрихом Вильгельмом I и Отелло есть большое сходство, так точно оно есть и между планетами.— Ко второй части мы боимся и приступать, она еще запутаннее, головоломнее и бестолковее, чем первая; проследить и разобрать ее нет никакой возможности, иначе вы рискуете угореть и совершенно забить свою голову страшной чепухой; мы взглянем только на некоторые более заметные и выдающиеся оправдания.

«Здесь, говорит г. Задлер, мы намерены рассматривать происшествия этого времени; показать, что руководило Петра — ненависть или любовь? Любовь его к Алексею доказывается тем, что он назначает его восприемником Екатерины.— Из его объявления министрам, сенату, военным и гражданским чинам видно, как он заботится о том, чтобы судьи из пристрастия к нему не решили бы дело несправедливо. Поступил ли бы так отец, ненавидящий сына? — В 21 день по смерти царевича, Петр приказал во флоте, на котором он тогда сам находился, служить панихиду, со всею пышностью, подобающею сыну царствующего государя, и согласно с тогдашними установлениями» (стр. 67—74).—«До сих пор мы могли оправдывать Петра, теперь же нас возмущает продолжение пыток и розысков, последовавших за объявлением приговора. В этом уже осудить должно самого Петра, потому что суд, приговоря царевича к смерти, этим самым покончил свои обязанности»: — это тоже услуга мишеньки. «Еще более ужаса возбуждают в нас следующие слова Устрялова на счет разных мнений о смерти царевича: «вероятнее всего, царевич умер вследствие пытки: достоверно, что 26 июня утром, в 8 часов, его пытали в Трубецком раскате, а в 7 часов по полудни церковный колокол возвестил о кончине его». Морально это было уже грехом. Алексей отказался уже от света. Чего же еще хотели? Доказательств, увеличивающих или уменьшающих вину? Но какая польза от этого? Приговор был уже произнесен. Русская пословица говорит: «лежачего не бьют». Физически это было также жестоко, тем более, что уже четыре года пред тем, Алексей, по слабости здоровья и от угрожавшей ему чахотки, был послан в Карлсбад» (стр. 77).

Тут следовало бы предложить г. Задлеру его же собственный вопрос: поступил ли бы так отец, ненавидящий своего сына? Что же за вздор вы городили прежде; к чему все ваши пустяки о назначении восприемником, о панихиде, о беспристрастии? Согласитесь, что приведенными сейчас словами вы сами себя бьете по лицу и все ваши оправдания и разглагольствия на иностранный манер разлетаются в прах, свидетельствуя только об искусных приемах и способах вашего ума и вашей сообразительности. В таком роде все оправдания и вся книга. Но если ни в одном случае г. Задлеру не удалось, как следует, оправдать Петра, за то однажды посчастливилось отлично и лихо поддеть Погодина. «В своих предположениях

Погодин выражается поэтически. Мы признаем в его словах реторические красоты, но истины в них еще не видим: даже мы не соглашаемся с ним в некоторых из его поэтических выражений. Он при всяком удобном случае восклицает: несчастный Алексей! Такие эпитеты в исторических описаниях предоставляются уже самому читателю. Если он соглашается с мнением автора, то он сам невольно выговорит — несчастный Алексей! Если же читатель думает иначе, то весьма справедливо укорить автора в желании быть проводником своих мнений. Мы приведем следующие слова Погодина, чтобы показать, что тут слово «несчастный» вовсе неуместно: начались сборы в возвратный путь из Неаполя. Царевич ездил с Толстым в Бари помолиться, *несчастный,* мощам чудотворца Николая» (стр. 103). Вот это правда, что некстати, так уж некстати; верно замечание; ай да г. Задлер, сразу подметил, что «несчастный» стоит не у места, а еще иностранец.

Написавши в таком роде свой опыт оправдания Петра и перечитавши его от начала до конца, он и сам увидел, что оно вовсе не оправдание, а так чорт-знает что такое, по крайней мере, вовсе не то, чего бы ему хотелось, и что он думал сделать; откровенное сознание в этом невольно прорвалось в конце его книги. «Мы надеемся, что встретим снисхождение в наших читателях к тому, что защищая великого человека, к которому наша любовь и участие постепенно возрастали, мы отступили от обещанной нами вначале скромности, увлекшись своим предметом, под конец говорили с возрастающим гневом. Мы действительно были намерены возражать знаменитому писателю с полным спокойствием духа (со смыслом), а на деле вышло иначе» (стр. 106). «Отчего бы это? думал г. Задлер, и решил, что это произошло от того, что он не туземный, а иностранный историк и в утешение себе сослался на слова Вольтера, который говорил, что описание учреждений законов, войн и предприятий Петра есть обязанность туземных историков. Ошибаетесь, г. Задлер, уверяем вас; иностранный историк может написать отличную историю Петра, даже лучшую, чем туземцы; ваше оправдание вышло из рук вон плохо не оттого, что вы не туземный историк, а от другой более важной причины, которой мы вам не скажем; догадайтесь сами.

II. НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ
О ПОКОРЕНИИ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ НАРОДОВ ПОЛУДИКИМИ

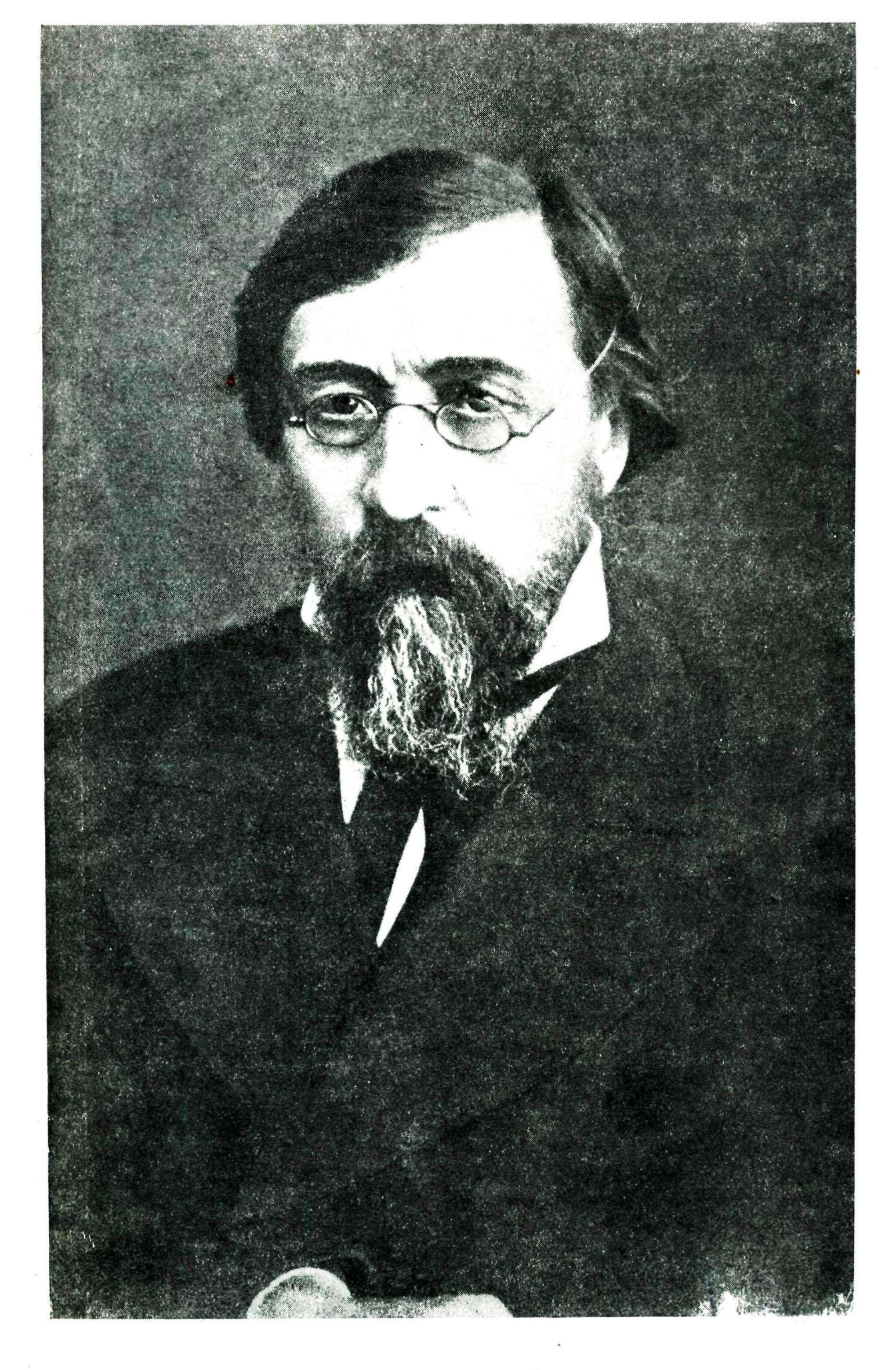
Публикация Н. Алексеева

В конце октября 1883 г. Н. Г. Чернышевский был привезен жандармами из Вилюйска, Якутской области, где он находился в заточении более одиннадцати лет, в Астрахань на постоянное жительство под надзором полиции. Выступать в печати под своим именем ему было воспрещено, и для снискания пропитания пришлось заняться черной работой переводчика. В марте 1885 г. Чернышевский начал переводить для московского издательства К. Т. Солдатенкова многотомную «Всеобщую историю» немецкого историка Георга Вебера. При этом, как видно из его письма к А. В. Захарьину, который достал ему эту работу, он «хотел не просто переводить все целиком, а сокращать, переделывать и пополнять» (письмо от 10 ноября 1885 г.). Более того: под видом перевода Чернышевский предполагал дать самостоятельный научный труд. «Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которой был бы я», — писал он 8 декабря 1888 г. Солдатенкову. Когда этот проект оказался неосуществимым, Чернышевский решил ограничиться присоединением к переводу труда Вебера своих статей, представляющих «очерк научных понятий по некоторым вопросам всеобщей истории». Но и

для этого нужно было выждать время, и только к VII тому Вебера Чернышевскому удалось присоединить первую из этих статей—«о расах». Для следующих томов (VIII—XI) и для второго издания I тома он написал статьи под заголовками: «О классификации людей по языку», «О различиях между народами по национальному характеру», «Общий характер элементов, производящих прогресс», «Климаты. Астрономический закон распределения солнечной теплоты», «Очерк научных понятий о возникновении человеческой жизни и о ходе развития человечества в доисторические времена». Все эти статьи перепечатаны в X томе «Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского» (изд. 1906 г.). Смерть прервала эту работу. Печатаемая ниже статья, сохранившаяся среди бумаг Н. Г. Чернышевского, находящихся в Саратове в Доме-музее его имени, повидимому, предназначалась для включения в эту серию. К сожалению, не сохранилось ни начала, ни конца ее, и в уцелевшем тексте имеются пробелы (которые мы обозначаем многоточиями). Неизвестно и заглавие, которое дал или хотел дать ей автор. Речь идет о мнимой благотворности покорения цивилизованных народов полудикими завоевателями, будто бы вносившими в мировую историю новые начала. Тема эта давно занимала Чернышевского. Ей посвящено одно из его примечаний к переводу «Оснований политической экономии» Милля (см. «Полн. собр. соч.», т. VII, стр. 19) в «Современике» 1860 г., ей же посвящена его статья «О причинах падения Рима» в «Современнике» 1861 г. (см. «Полн. собр. соч.», т. VIII, стр. 157—177), направленная по существу против Герцена.

[О ПОКОРЕНИИ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ НАРОДОВ ПОЛУДИКИМИ]

...В более широком размере такой же факт повторился при покорении половины Азии и половины Европы монголами. Они были дикари по сравнению с каждым из больших народов, покоряемых ими; не только сельджуки, но и волжские болгары были людьми более высокой цивилизации, чем те монгольские племена, на преданности которых держалась власть Чингисхана, его сыновей и внуков над массою их войск. Эти племена, взятые все вместе, были, без сомнения, малочисленней тюрков, персиян, русских, покоренных ими, и во много раз малочисленнее китайцев. В те 1700 лет, которыми отделены персидские завоевания от монгольских, произошли в западной Азии, южной Европе и северной Африке три ряда событий такого же характера. Германцы покорили западную половину римской империи; арабы — персидское государство, бо́льшую часть азиатских владений восточной римской империи, северную Африку, Испанию; тюркские племена покорили все области багдадского халифата и часть владений, остававшихся у византийской империи в Азии. Факты такого же рода, хотя менее громадные, но все таки очень крупные, трудно и пересчитать, так их много в 2000 лет, прошедшие между завоеваниями персов и покорением Балканского полуострова турками. Некоторые из этих завоеваний варварами представляются изумительными: какая-то орда, которую другие орды гнали из одной страны в другую откуда-то из глубины восточной Азии до степей на севере Черного моря, начинает делать завоевания в восточной Европе, проходит в Венгрию, покоряет Германию, опустошает половину Галлии, половину Италии. Повелитель этой орды, Атилла, умирает, и гуннов снова гонят из Европы, персияне истребляют их. Другая орда, загнанная из Азии в Венгрию, аварская, долго опустошает все земли на несколько сот верст кругом Венгрии; она исчезает, на смену ей появляется новая орда, венгерская, и ходит опустошать не только Германию и Италию, но даже земли за Роной. Еще страннее то, что разбойничьи шайки из скандинавских земель, имевших очень малочисленное население, оказываются достаточно сильными для того, чтоб опустошать северную Германию, почти всю Францию, завоевать Англию, часть Франции,



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
Фотография 1882 г.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

Эти и бесчисленные менее крупные факты такого же рода произвели теорию о молодых народах и народах одряхлевших, о свежести сил, дивной энергии, высоких нравственных качествах молодых народов, об изнеженности, бессилии, нравственной испорченности одряхлевших народов. Предполагается, что цивилизованные народы, мучимые, покоряемые полудикими народами, были трусливы, развратны, а дикари, грабившие и покорявшие их, были людьми дивного мужества и душевного благородства. Чтобы составить такую теорию, надобно было забывать, что такое военное ремесло, войско, сражение, завоевание.

В каком-нибудь народе возникло разделение профессий: одни люди пашут землю, другие шьют сапоги, третьи строят дома. Объявляется конкурс: те люди, которые представят хорошо сшитые сапоги, получают награды. Срок конкурса через неделю. Какие люди получат награды? Ровно ни до каких умственных и нравственных достоинств тут нет дела; награды даны исключительно за уменье шить сапоги. А может быть, землепашцы и каменщики желали получить награды, шили сапоги в этот месяц, представили свои сапожные изделия на конкурс! Если да, то изделья их оказались плохи; они были со стыдом прогнаны с конкурса. Почему же так? Не были ли они менее усердны к работе, чем сапожники. Это неизвестно, и *вопрос об этом не относится к делу. Срок был недостаточный для того*, чтобы человек, не занимавшийся шитьем сапогов до объявления конкурса, мог научиться хорошо шить сапоги, хотя бы трудился над этим по 18 часов в сутки.

Сражение — конкурс. Срок — не неделя, а лишь несколько часов при нынешнем оружии дальнего боя, а прежде, при решении сражений рукопашным боем — лишь несколько минут. Важность не в том, умеет ли новобранец стрелять или фехтовать,— этому можно выучиться, не видев неприятеля, а в том, сохранит ли человек твердость души, когда встретится с врагом, будет ли стоять, итти вперед, действовать оружием, как умеет, или дрогнет, растеряется и побежит. Быть твердым в бою — этому нельзя научиться иначе, как практикой действительного боя. Как происходили сражения в Европе до недавних усовершенствований артиллерии и ручного огнестрельного оружия? С того места, где построилось в боевой порядок нападающее войско, оно безостановочно шло в рукопашный бой. Так это и теперь в сражениях между войсками, не имеющими нарезных пушек и нарезных ружей.— Возвратимся же к нашествию полудикого народа на цивилизованную страну.

Войско полудикого народа, состоящее из опытных воинов, идет в бой с войском, массу которого составляют люди, не бывавшие в сражениях. Стремительной атакой люди, которые всю жизнь провели в вооруженных драках, бросаются на людей, ни разу до той минуты не бывавших в бою. Кто из этих людей не научился в первые пять минут боя сражаться не хуже опытного воина, тот уже убит или опрокинут; в два, три часа этому испытанию, длящемуся для каждой части войска новобранцев лишь по пяти минут, подверглись уж все части их войска; сражение началось рано утром, и ко времени полудня поле уж на десять верст кругом покрыто телами опрокинутых, обратившихся в бегство, настигнутых победителями.

Спросим у любого специалиста по военному делу, может ли войско, состоящее из людей, ни разу не бывавших в сражениях, выдержать в открытом поле бой с войском вдвое менее многочисленным, но состоящим из опытных воинов; он скажет: как бы ни был от природы храбр народ, из которого взяты ополченцы, не бывавшие в бою, они будут опрокинуты, обращены в бегство войском опытных воинов не в два, а в пять раз менее многочисленным; он выразится даже так: «Каково бы ни было число людей, не умеющих сражаться, войско, состоящее из 10 000 опытных воинов, опрокинет

эту толпу, хотя бы каждый отдельный человек в ней был от природы очень храбр, и будет гнать рассеявшихся беглецов на такое расстояние, на какое хватит силы в ногах у его пехотинцев и у лошадей его конницы гнаться за беглецами, и убьет из них такое число, какое могут убить воины его до совершенного утомления рук взмахами оружия».

Подле многолюдного селения в лесу появляется шайка разбойников. В селении несколько сот взрослых мужчин; шайка состоит из 10 разбойников. Сколько времени может [она] безнаказанно злодействовать, если в селении нет людей, привычных сражаться? В народных сказках разбойники — дивные храбрецы. Теперь по точным отчетам о процессах мы знаем, что большинство разбойников составляют люди менее твердого характера, чем большинство людей того народа, из которого вышли они. Но они стали людьми привычными к вооруженным схваткам и грабят селения, в которых нет людей, привычных [сражаться]. Кому теперь неизвестно, как идут теперь дела разбоя в большом размере. Кочевое племя идет грабить соседнюю цивилизованную область. Из людей этой области сформирован и обучен военному делу один батальон; грабителей было в два, в три раза больше. Когда батальон пришел, он гонит и истребляет их, а пока его не было, они грабили и резали население области, в котором считалось несколько десятков тысяч взрослых мужчин.

Общий ход истории полудиких завоевателей и цивилизованных народов, покоряемых ими, таков:

Полудикие племена дерутся между собою и временами делают мелкие набеги на соседей; по какому-нибудь случаю они соединяются в одно войско. Обстоятельства этого соединения обыкновенно слагаются так: одно из дравшихся между собою племен одержит сряду две, три победы, подчинит себе два, три племени; оно водит их с собой в следующие драки с другими разрозненными племенами; покоренные племена усердно служат вождю его, потому что теперь победа уж верна, по сравнительной многочисленности воинов, повинующихся главнокомандующему и часть добычи достается...

Сообразим, сколько могло быть в нем воинов по ремеслу. Из нескольких миллионов семейств едва ли принадлежали к военному сословию (!); но большинство из них принадлежали к нему только по политическим правам, а военным делом не занимались: их взрослые мужчины торговали, были сборщиками податей, судьями, людьми ученых профессий: преподавателями, священниками, врачами; сыновья этих взрослых мужчин приготовлялись к тем же занятиям. Эти сыновья считались воинами только в смысле. . . .

пользующихся льготами, имеющих право на почетные должности. Из . .

На государство идут полудикие соседы; у этих соседов каждый мужчина воин. Если весь народ, соединившийся под властью будущего завоевателя, состоял из 50 000 семейств, войско, которое [он ведет], состоит из 70 или 80 тысяч воинов. В государстве, на которое нападает он, живет миллион семейств; но в нем только 20, много 30 тысяч семейств действительно военных... которых может выставить оно против нападающих дикарей..... Разумеется, правительство сделает призыв... всеобщего ополчения, и в стан защитников родины соберется столько людей, сколько могут прокормить окрестные местности. Если позиция, в которой защитники родины хотят встретить врага, находится близ большого города... большие запасы продовольствия или у реки, по которой можно подвозить большие... Но в этом стане царь и его... пожалуй, полмиллиона людей. Но если он опытный воин и человек умный, он не захочет иметь такой состав, в котором большинство составляют люди, не знающие военного ремесла. У него мы предположим 40 000 воинов по ремеслу; он не захочет иметь 80 000 ополченцев, которые будут только поедать съестные припасы, замедлят движение, спутают маневры опытных отрядов его перед началом боя, побегут от первого натиска врагов, сомнут и опрокинут хорошие части своего войска. Каждый хороший

специалист скажет: самое лучшее, что могло бы сделать правительство цивилизованного государства, это — оставить милицию в крепостях, не брать ни одного человека из нее в поход, итти против дикарей только с воинами по ремеслу. Но у немногих государей и военных советников их достанет твердости характера поступить таким образом на перекор предубеждению, что сила войска растет с числом его, какова бы ни была подготовленность новобранцев к бою.

— Таким образом племя дикарей в 10, 15 или 20 раз менее многочисленное, чем цивилизованный народ, пойдет ограбить и покорить его страну, имея больше воинов, чем сколько людей, умеющих сражаться, может ([тот] выставить. Чем больше людей, не умеющих сражаться, прибавится к защитникам родины, тем меньше будет им шансов одержать победу. Но пусть они отразили нашествие. Что из того! Дикари вернулись в свои степи или горы; через 15 или 20 лет подросли сыновья взамен убитых отцов, и дикари возобновляют нашествие в прежних силах. Сколько раз ни будут они отбиты, все равно эта история длится до одной из двух развязок: или дикари принимают, наконец, привычки оседлой и мирной жизни, или при каком-нибудь из нашествий им удается одержать победу в решительном сражении. Цивилизация проникает в степи и горы очень медленно, и при этом очень часто бывает, что соседняя с цивилизованной землей часть дикарей, начав цивилизоваться, погибает от нападений других своих соплеменников, для которых ее имущество стало казаться громадным богатством: дикие племена соединяются, чтоб ограбить этих богачей, истребляют, прогоняют их или держат под своим владычеством, под которым они быстро возвратятся к прежней грубости. А если которое-нибудь из многих нашествий дикарей начнется победой в большом сражении, судьба цивилизованного государства уже решена этим: оно осталось без воинов, умеющих сражаться; к победителям присоединяются волонтеры из других диких племен, потому что грабеж богатой страны уж начался. — Но люди, не умеющие сражаться, могут выучиться! Да, если имеют время. Сколько времени нужно на то, чтобы сформировать хорошее войско в стране, не имеющей его! Специалисты говорят, что на это нужны годы. Дадут ли дикари эту отсрочку! Они овладевают большими пространствами быстро, один поход достаточен для них, чтобы занять государство, имеющее сотни верст в длину и ширину. А когда страна занята неприятелем, население, не умеющее сражаться, будет ли иметь возможность формировать войско! Военные силы завоевателя быстро увеличиваются: кроме волонтеров из других диких племен, в его службу идут промотавшиеся или ленивые, но смелые люди из побежденного народа. Когда же, в какой стране не бывало людей, забывающих всякие нравственные обязанности из-за расчета пировать! Они не умели сражаться, но поступают в ряды опытных воинов и через два-три похода сами станут опытными. Таким образом, завоевать второе государство будет для дикарей гораздо легче, чем первое. Таким-то образом и растет быстро могущество какого-нибудь Кира, Аттилы, Чингисхана или одного из множества подобных им завоевателей менее знаменитых. К чему тут говорить о каких-нибудь нравственных достоинствах или недостатках цивилизованных народов! Подобные рассуждения так же неуместны и нелепы, как были бы порицания столярам за неуменье шить сапоги. Быть может, столяры — очень дурные люди, но проиграли они на конкурсе вовсе не потому, что были дурные люди, а исключительно потому, что шитье сапогов не было их ремеслом, и не имели они времени научиться этому искусству.

По какой-то непростительной забывчивости историки вообще не догадываются превозносить добродетели гуннов и аваров; следовало бы: чем хуже других опустошителей цивилизованных земель были они! Такие же

пьяницы, обжоры, развратники, бессовестные обманщики. Но — такова несправедливость судьбы! Персы Кира своею бессовестностью доказали свое умственное превосходство над народами, которых обманывали, своими скотскими пороками — избыток свежих сил, своими свирепостями — твердость характера, последовательность в поступках, и за эти прекрасные качества удостаиваются заслуженных похвал. А у гуннов и аваров бессовестность остается, по оценке историков, только бессовестностью, пьянство и обжорство остаются грубыми пороками, свирепость называется просто зверством. Обидно за добродетельных гуннов и аваров. Некоторой отрадой служит лишь то, что, по общему отзыву историков, Аттила был мудрый правитель, Чингисхан и Тимур-Ленг признаны тоже заслуживающими похвалы за покровительство всему благородному и прекрасному. К несчастью, потомки Чингисхана и Тимур-Ленга были не совсем похожи на этих образцовых государей. Они и народ их испортились, потому и прекрасно благоустроенные государства, полученные ими от доблестных предков, рушились.

Посмотрим, в чем было дело. — Разбойничья орда покорила цивилизованную страну и поселилась в ней. Страна опустошена и ограблена. Значительная часть прежнего населения или бо́льшая половина его истреблена. Но все-таки уцелело много побежденных. Цивилизация их получила тяжелые удары, от которых не скоро оправилась бы и при самых благоприятных условиях, а под владычеством людей, подобных зверям, она едва ли будет оправляться, вероятно будет падать. Но покоренные все-таки остались хлебопашцами, искусными ремесленниками, уцелели и опытные администраторы, и ученые люди; когда победители убедились, что покорность побежденных прочна, они велели ремесленникам восстановить разрушенные дворцы или строить новые, изготовлять предметы той роскоши, какую умеют ценить дикари; стали пользоваться опытностью администраторов, обращать в свою пользу знание ученых покоренного народа. Удобства жизни в хороших домах понравились им. Из зверей они стали понемногу делаться людьми; конечно, пьяными, развратными, злыми — от этих добродетелей, завещанных предками, нельзя скоро освободиться, — но все-таки людьми, хоть и очень дурными людьми. Предки-завоеватели резали людей, как баранов, без всякой злобы; сыновья и внуки стали убивать людей только по злобе, а когда не были раздражены, то не убивали тех, на кого не имели неудовольствия. Предкам было привычно голодать, спать в грязи или на холоде; сыновьям и внукам это стало казаться неудобно, потому предки рыскали, как волки, сыновья и внуки стали иметь расположение к оседлой жизни; хотя завоеватели и стали господами страны, но десятки тысяч семейств не могут же все быть богаты в стране, где прежде были миллионы семейств, а теперь осталось гораздо меньше, быть может, вдвое, втрое меньше. Награбленная добыча давно промотана большинством завоевателей; в стране восстановилась администрация, не дозволяющая, чтобы каждый грабил, кого хочет из безоружных покоренных: если частные люди будут грабить их, правительство не соберет с них много податей; интересы казны воспрещают свободу частного грабежа. Как же быть большинству завоевателей? Их предки в своих степях или горах кормились охотой и скотоводством. Здесь, в цивилизованной стране, охота не дает много пищи; земля принадлежит правительству или богатым людям, или высшему сословию завоевателей, или оставлена во владении туземцев, которых теперь частный человек не может прогнать, потому что правительству нужно, чтоб они возделывали ее и отдавали ему часть сбора. Чем больше будет сбор, тем выгоднее правительству. Массе завоевателей, не имеющей готовых средств к жизни, нельзя жить грабежом, нельзя жить ни охотой, ни скотоводством. Как быть? Нужно приниматься за работу, чтоб кормиться. Это не привычно, это кажется тяжело, это считается унизительным, но голод берет верх и над привычкой

к лености, и над предрассудками. Потомки разбойников мало-по-малу становятся трудящимися людьми, а современем станут и честными людьми. Но доживут ли они до той поры, когда привычка к труду разовьет в них честность!—Государство их придет к тому состоянию, в каком находилось перед их завоеванием: большинство военного сословия отвыкнет от военного дела, масса населения остается, как прежде, вовсе чужда этому ремеслу. Число опытных воинов будет невелико. А что делается между тем в степях и горах, или тех самых, из которых вышли завоеватели, или в других, соседних! Там продолжается прежнее: полудикие племена дерутся между собою, временами соединяются под начальством победоносного вождя и, как соединятся, идут грабить цивилизованных соседов. С государством, основанным полудикими завоевателями, более или менее цивилизовавшимися, теперь повторяется та же история, какой подверглась эта страна перед их успешным нашествием. Их малочисленные опытные воины отражают нашествие дикарей. Но при пятом или десятом нашествии обстоятельства сложатся так, что дикари, много раз побитые, одержат, наконец, победу, прежние завоеватели будут истреблены, прогнаны или порабощены новыми.

Таких фактов в истории человечества очень много; при каждом из них издавна сделана одна и та же патетическая надпись, восхваляющая новых победителей за их доблесть, позорящая побежденных, как людей изнежившихся, трусливых, развратных, подлых.

В чем состояла их изнеженность! Небольшая часть их, составлявшая высшее сословие, продолжала пировать, как пировали ее предки-дикари, каждый день, в который имели пищу и одуряющие напитки; огромное большинство бросило эти грубые пороки обжорства и пьянства, обратилось из тунеядцев в трудящихся людей. Работа земледельца или ремесленника изнеживает ли человека? Огромное большинство победителей сделалось лучше своих предков во всех отношениях, кроме одного: оно перестало разбойничать. Это, разумеется, нравственная порча, потому что нет на свете людей такой высокой нравственности, как разбойники. По крайней мере, так утверждают народные сказки о разбойниках и большинство историков, легковерно, как дети, слушающих сказки.

Не будем же спорить: побежденные всегда пусть будут предметами поругания для нас, победителей будем прославлять, кто бы ни были они. Но ни народные сказки о разбойниках, ни раболепные панегирики летописцев, которые восхваляли завоевателей своей страны, поработителей своего народа за подачку от новых повелителей или по трепету перед ними, ничего не говорят ни о дряхлости народов, ни о свежести их. Не отваживаясь подвергать сомнению нравственные суждения таких авторитетных источников, как сказки о разбойниках и панегирики льстецов, всмотримся по крайней мере в те мысли, какими дополняют и украшают эту ложь ученые изобретатели оправданий опустошителям цивилизованных стран. Дикари, покорившие цивилизованную страну, были народ молодой, свежий. Цивилизованное население, половину которого они перерезали, а другую поработили, были народ одряхлевший; они имели умственные и нравственные силы, способные к высокому развитию; он истощил свои силы, был народом уже отжившим и возродился благодаря тому, что сожительство победителей с его женщинами обновило его силы примесью молодой крови.

Что такое молодой народ? Каждый человек, не умерший преждевременно, бывает сначала молодым, потом пожилым, а потом, если доживет до глубокой старости, то и дряхлым. Но это факты индивидуальной жизни. Каждое племя, пока существует, состоит из людей всякого возраста, от новорожденных младенцев до дряхлых стариков и старух. Сколько свежих сил было в нем за тысячу лет до данной эпохи, столько же остается и в эту эпоху, столько же останется и через тысячу лет, если оно не будет пере-

резано врагами; и дряхлости нет теперь и никогда не будет в нем больше того, сколько было при первом упоминании о нем в летописях.

«Но это значит неправильно толковать исторические понятия о молодости и дряхлости народов». Само собою разумеется, что когда вы постараетесь раскрыть, какой смысл имеют слова, повторяемые человеком с чужого голоса без понимания их действительного смысла, то обыкновенно окажется, что он не предполагал в них того смысла, какой имеют они.

Но пусть слова «молодой» или «свежий» и «одряхлевший» или «отживший» народ будут признаны выбранными неудачно и отброшены; не останется ли тогда какой-нибудь доли правды в мысли, которая имеет вид нелепого вздора при употреблении этой метафорической терминологии, уподобляющей народ отдельному человеку, т. е. заменяющей лес одним деревом, луг — одной былинкой травы. Нет, не только терминология фальшива, но и мысль, неудачно облеченная в нее, совершенно ошибочна в своей сущности. Было между учеными мнение, будто бы дикари — люди несравненно более сильнее и здоровые, чем соплеменники этих ученых; они видели в своем народе множество людей болезненных, слабосильных, да и здоровых, сильных людей справедливо считали не сказочными атлетами. До них доходили слухи о дикарях громадного роста и страшной силы; они верили и делали вывод: цивилизованная жизнь уменьшает рост, ослабляет здоровье, отнимает физическую силу; образ жизни дикарей делает их людьми вполне здоровыми и необыкновенно сильными; это и оставалось так, пока путешественники, посещавшие страны дикарей, не возили с собой динамометров. Но как стали давать дикарям пробовать силу на динамометрах, оказалось: есть очень немногие племена дикарей, у которых взрослые мужчины имеют приблизительно такую же силу, как матросы кораблей, на которых ездят путешественники к дикарям, и как сами эти ученые; а в огромном большинстве диких племен взрослые здоровые мужчины имеют гораздо меньше силы, чем европейцы или северо-американцы. Когда увидели это по динамометрам, то вспомнили: у прежних путешественников уже говорилось, что редко можно встретить между дикарями такого сильного человека, которого бы не поборол матрос, не считающийся особенно сильным между своими товарищами; что, вообще говоря, матросы очень легко одолевают дикарей в борьбе и других играх, служащих испытанием силы. Прежде эти свидетельства старых путешественников были пропускаемы без внимания, потому что не представляли сказочного интереса, и кабинетный ученый, рассуждая о силе дикарей, помнил только сказочные анекдоты, понравившиеся ему в детстве, врезавшиеся в его память. То же самое оказалось и относительно знаменитого железного здоровья дикарей: пока врачи, находившиеся на кораблях экспедиций, посылаемых для географических исследований, не обращали внимания на дикарей, эти люди оставались не подвержены никаким болезням. А когда врачи всмотрелись в них, то оказалось, что вообще они — люди более болезненные, чем европейцы или северо-американцы. А когда было найдено все это, физиологи нашли, что иного и не должно было ожидать: бедняги не защищены ни от каких влияний, дурно действующих на здоровье, едят плохую пищу, обыкновенно имеют обычаи, вредные для здоровья,— как же им быть людьми крепкого здоровья и сильными! Образ жизни огромного большинства их таков, что не могут не быть они людьми болезненными или слабосильными.

Но эти правильные понятия излагались в книгах, которыми не пользовались историки при своих трудах, и потому в большинстве исторических трактатов благополучно держатся выводы из сказочных представлений о железном здоровье и удивительной силе дикарей, потому-то и продолжает в истории каждый полудикий народ быть молодым и свежим, а каждый цивилизованный народ — обреченным одряхлеть или уже одряхлевшим.

Полудикие народы, вообще говоря, менее болезненны и слабосильны, чем дикари, потому что их образ жизни менее вреден здоровью, и они меньше голодают. Но тоже, говоря вообще, они здоровьем и мускульной силой далеко не равняются с большинством цивилизованных народов, потому что больше их бедствуют от непогоды и холода.

Опустошения цивилизованных земель варварами приносят человечеству и другую пользу, не менее важную, чем то, что примесью свежей крови обновляется жизнь одряхлевших цивилизованных народов: завоеваниями создаются обширные государства; под единством власти исчезают племенные различия, из мелких племен создается большая нация.

Так ли это? — В большей части случаев ничего подобного не бывает. Те силы, которыми сглаживаются племенные разницы, принадлежат разряду иному, чем истребление людей и порабощение их. Пересмотрим важнейшие примеры довольно долгого существования обширных государств, основанных завоеванием.

До Кира мидяне и бактрийцы были племенами одной нации, говорили наречиями, очень мало разнившимися одно от другого. Через двести лет, при падении персидского царства, мы видим, что эти племена по прежнему говорят одним языком; но распространился ли язык владычествовавшего народа за прежние свои пределы? В бассейне Тигра и Евфрата по прежнему владычествует семитический язык; нечего говорить о том, распространился ли персидский язык дальше на запад, когда он не мог перейти за Тигр.

Александр Македонский покоряет персидское царство, и все оно, за исключением Малой Азии, остается под властью Селевкидов. Через полтораста лет что мы находим в Сирии, которая, скоро по основании царства Селевкидов, стала той областью, на которую сильнее всего действовало влияние греческих владык бывшего персидского царства? Резиденция Селевкидов — Антиохия — греческий город; есть в Сирии некоторые другие греческие города. Но каким языком говорит все остальное население Сирии? — По прежнему семитическим. О других областях бывшего персидского царства нечего и говорить, эллинизировались ли они. Через несколько времени Малая Азия, Сирия становятся подвластны римлянам; проходит несколько столетий; правители этих земель, говорившие латинским языком, заменяются византийскими греками; находят ли греческие правители Малую Азию и Сирию латинизированными? Через несколько столетий владыками Сирии становятся тюрки; ныне на каком языке говорят сирийцы? На семитическом, как до тюрков, византийцев, римлян, прежних греков и персов.

«Но в Малой Азии было много греческих городов, и вероятно вся западная окраина ее и западная половина северной имела греческое население». Да, но как оно возникло там? Основывались маленькие города переселенцами, плывшими в каждую местность особым обществом. Возникавшие города были каждый особым маленьким государством; некоторые из них, благодаря развитию своей торговли, становились многолюдны, основывали новые колонии; один Милет основал несколько десятков городов; но и эти города не были соединены с Милетом никакой государственной связью. Каждый, с самого основания, был особым государством, независимым от Милета. Помешало ль это всем колониям Милета сохранять ионийское наречие! И проникло ль ионийское наречие в дорийские города Малой Азии, не бывшие под властью ни у какого из ионийских городов?

«Но греческие города на берегах Малой Азии были основаны силой оружия». — Разумеется, во многих случаях дело не обходилось без драк с туземцами. Только не должно преувеличивать важность их, а во многих других случаях дело было с самого начала полюбовным соглашением. Колонизация берегов Малой Азии имела преобладающим характером дружеские торговые сношения новых поселенцев с мелкими соседними племенами; по-

том малоазийским грекам пришлось вести тяжелые войны, но для того ли, чтоб расширять пределы греческой колонизации? Нет, лишь для того, чтоб отбиваться от нашествий туземцев завоевателей, основавших довольно крупные государства через покорение мелких племен. Оборонительные войны — нечто совсем иное, чем завоевания; они — факты совершенно противоположного характера.

Пришли, наконец, из глубины Азии персы и покорили малоазийских греков, но нуждались в их услугах по многим техническим делам; благодаря тому они пользовались благосклонностью персидского правительства и расширяли свою торговлю; потом, кроме греческих художников и врачей, персам понадобились греческие наемники. И что мы видим перед началом нашествия Александра на Персию? Греческий полководец — лицо более важное в персидском царстве, чем ближайшие родственники царя: они просили царя дать прощение другому мятежному родственнику; это осталось напрасно; попросил за него грек — и царь простил его. Ясно, что управление персидским государством начинало подчиняться греческому влиянию. Персидские полководцы не согласились принять план войны, предложенный греческим товарищем их, и потерпели поражение; персидский царь отдает всю западную половину государства под управление этого грека, и он дает войне такой оборот, что Александр со всем своим войском погибнет, если не поспешит переправиться через Геллеспонт домой в Европу, пока еще может. Смерть грека, главнокомандующего персидских войск и правителя западной половины персидского царства, спасает Александра. Персидские полководцы не умеют вести войны и, к довершению бед, сам Дарий Кодоман вмешивается в управление военными действиями. Александр побеждает в двух великих битвах; победы блистательны, но достаются тяжело. Кто же те враги, которых тяжело победить? Это греки, поступившие на службу к персидскому царю. Не ясно ли, что и без походов Александра греки захватывали фактическое преобладание в персидском царстве! Говорят, он распространил влияние греческой цивилизации на земли этого царства. Мы видели, что через полтораста лет оно оказалось мало распространившимся за прежние пределы, и можно поставить вопрос: не помешал ли Александр его распространению, раздражив национальные чувства персов и других народов персидского царства? Само собою разумеется, что на вопросы подобного рода нельзя находить достоверных ответов. Но ученые, выставляющие решенными вопросы противоположного значения, принуждают говорить: то ли было, что утверждаете вы, — посмотрим, не более ли вероятно, что факты имели значение прямо противоположное тому, какое вы придали им. Какой ход имели бы дела, если бы не умер Мемнон Родосский и если бы, как это очень вероятно, Александр был бы или взят в плен, или прогнан домой с ничтожным остатком войска! Правда, мы не сможем найти, что было бы в этом случае; но когда нельзя сказать, какие последствия имело бы предотвращение завоевания, то нельзя говорить, что это завоевание было полезно распространению греческой цивилизации. Мы видим, что со времени Дария Гистаспа влияние греков на управление персидским царством росло до самого разрушения этого царства Александром. Через двести лет после Александра мы видим, что греческая цивилизация осталась только в некоторых городах Сирии за теми границами, до каких уже расширилось греческое население раньше Александра.

Необходимо ли владычество более цивилизованного народа над менее цивилизованным для того, чтобы менее цивилизованный усвоил себе те знания и обычаи, которыми возвышается над ним более цивилизованный? Теперь говорят, что завоевания парфян были проявлением реакции национального чувства персов против греческого владычества; говорят, что население Мидии и собственной Персии принимало парфян, как освободителей.

Так ли или нет, мудрено решить. Но, во всяком случае, парфяне были врагами греческих правителей и войск в землях, на которые нападали. Они успели завоевать области царства Селевкидов до пустыни между средним течением Тигра и Евфрата. Через полтораста или двести лет после того, как они перерезали и прогнали греков из своего расширявшегося царства, пошел на них Красс, погиб с большей частью войска; голову его отрезал парфянский главнокомандующий и послал своему царю. Когда гонец подъехал к царскому дворцу, там было развлечение. Царь и двор сидели в театре, шла трагедия. Актер, игравший одну из ролей, взял голову Красса, вышел на сцену, показал голову царю и публике, произнес стихи своей роли, совершенно соответствующие этому показыванию: «Вот, я несу отрубленную голову» и т. д. в этом смысле. Благодаря занимательности анекдота, он был записан и дошел до нас. А благодаря тому, мы знаем, что парфянский царь и его двор слушали греческую трагедию на греческом языке. Что ж, в качестве греческих подданных научились они греческому языку, и насильно гоняли их греки в театр, чтоб они полюбили бывать в нем? Перейдем из парфянского царства в Мекленбург. В X веке там жили славяне; в XV веке все население Мекленбурга говорило по-немецки; была когда-нибудь в этот промежуток времени хоть какая-нибудь часть Мекленбурга под немецкой властью. Часть была, но не долго. На остальном пространстве непрерывно сохраняла владычество славянская династия; под него возвратился и Шверин, попадавший на несколько времени под немецкую власть. Пусть в это время был введен в Шверине насилием немецкий язык. Но каким образом заменился им славянский в остальном Мекленбурге! История Силезии не оставляет места никакому насилию при замене славянского языка немецким. Славянские династии продолжали владычествовать над всеми частями Силезии, когда славянское население Силезии уже говорило вместо прежнего своего языка немецким. Словаки издавна жаловались на то, что венгры угнетают их национальность, принуждают их говорить по-венгерски. Когда начались порядочные этнографические исследования, в северной части венгерского государства оказалось, что многие селения по границе словацкой и венгерской народностей, говорившие на памяти старожилов по-венгерски, стали словацкими. При следующих переписях оказывалось, что это превращение венгерской окраины в словацкую землю подвигается дальше и дальше. Так ли или нет, разобрать мудрено. По всей вероятности, жалобы венгров на расширение словацкой национальности так же преувеличены, как и жалобы словаков на венгерские притеснения. Но во всяком случае видно, что словацкая национальность не сжимается на счет венгерской. В южном Тироле граница итальянского языка подвигается к северу, захватывая селения, говорившие прежде по-немецки, это уже факт. Тирольские итальянцы живут под владычеством немцев. В своих жалобах на утрату северной окраины своей национальности венгры сами объясняют, каким образом идет дело: словаки трудолюбивы. Когда продается участок земли в пограничном венгерском селении, часто бывает, что его покупает словак, имея больше денег, чем венгерские домохозяева этого селения. Через несколько времени большинство домов оказывается во владении словаков; венгерское меньшинство привыкает говорить на языке большинства. То же самое рассказывают тирольские немцы, жалуясь на то, что итальянцы оттесняют их язык к северу. Таких примеров можно набрать сотни и тысячи.

Для того, чтобы границы народности расширялись, нет необходимости в завоеваниях.

Но каким же образом мелкие государства соединятся в большое без завоевания всех каким-нибудь одним? У герцога аквитанского была дочь; она вышла за короля французского. В какие отношения стали ее владения

к французскому королевству? Через несколько времени король французский развелся с нею, и Аквитания снова отделилась от французского королевства. Но не всегда же мужья разводятся с богатыми женами. Короли кастильские вели много войн с арагонскими, желая присоединить их государство к своему. Что выходило из этого? Ничего, кроме опустошения арагонских земель, а часто и кастильских, пограничных с арагонскими. Каким же образом соединились, наконец, Кастилия с Арагонией? Наследник арагонского королевства женился на наследнице кастильского. Несколько столетий английские короли ходили в Шотландию, чтобы покорить ее, а шотландцы, отчасти в отмщение, отчасти просто по желанию грабить, опустошали северную Англию. Но в промежутки войн английские и шотландские короли роднились между собою, и дело, которого невозможно было совершить вековыми войнами, завершилось тем, что шотландский король получил английскую корону по праву законного наследника, приглашаемого самими англичанами вступить в управление их государством.

Вопрос о том, как формируются обширные и прочные государства, очень запутан, потому требует подробного анализа, которому не место здесь. Теперь мы сделаем только краткое изложение общего хода фактов. При начале наших сведений о народах, игравших важную роль в истории западной половины Азии и южной Европы, мы видим, что они уже многолюдные народы, занимающие каждый большое пространство. Не будем разбирать предположений, как это произошло, ограничимся пересмотром достоверных фактов позднейшего времени. С каких-то, очень давних, времен племена персидского народа, говорящие или совершенно одним языком, или наречиями его, мало отличающимися одно от другого, составляют или единственное, или почти единственное население Бактрии, Мидии и собственно так называемой Персии. Теперь, через 2 500 или 3 000 лет более ли широки границы персидского языка? Если нет, то какую же пользу расширению персидской народности принесли завоевания Кира и его преемников? В древнейшие времена, о каких мы имеем предания, восточная граница семитических народов была та же самая, как теперь; и на север они не расширились дальше первоначального положения своей границы. Но на западе они проникли очень далеко. Египет стал арабской страной; по всей Африке на севере от Сахары арабы недавно были господствующим народом и теперь образуют значительную часть населения. Это — результат завоевания. Но какую пользу принес он развитию человечества? Египет по завоевании арабами никогда не подымался на ту высоту цивилизации, на какой стоял до них; цивилизация, какая уцелела в той части северного приморья, которая не была завоевана вандалами или восстановилась по возвращении опустошенной ими части приморья...

ИЗ НЕИЗДАННОЙ МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

I. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. И. АРТЕМЬЕВА О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Публикация Б. Бухштаба

Автор публикуемых воспоминаний о Чернышевском Александр Иванович Артемьев (1820—1874) — видный в свое время статистик, краевед, археолог и историк, старший редактор изданий Статистического комитета, участник ряда статистических экспедиций. Краеведческая его работа относится преимущественно к Казанской губернии, с которой его связывали университетские годы и начало научной деятельности.

Статья Артемьева «Отцы и дети», вторую часть которой, непосредственно относящуюся к Н. Г. Чернышевскому, мы публикуем, — написана, повидимому, в самом конце 60-х или начале 70-х годов; в первой части ее имеется указание об отце Чернышевского «умер лет восемь назад», а Г. И. Чернышевский умер в 1861 г. Для какой цели написана статья — неясно. По построению и обработке она не похожа на запись «для памяти», между тем печатать о Чернышевском в то время заведомо ничего нельзя было.

Артемьев почти совершенно не знал Чернышевского. Хотя он и пишет «мне случалось кое-где встречаться с ними» (Чернышевским и его женой), но описывает только одну встречу с самим Чернышевским. Вероятно, остальные встречи были несущественны; возможно также, что статья незакончена.

Однако, встреча, описанная Артемьевым, довольно любопытна. Она произошла у И. И. Срезневского, профессора-слависта, университетского учителя Чернышевского. У Срезневского по субботам собирались люди академического филологического круга. В описываемый Артемьевым вечер были историк, будущий академик, П. П. Пекарский и ориенталист П. С. Савельев. Чернышевский, совершенно уже отошедший к тому времени (1856 г.) от былых филологических интересов, тем не менее часто бывал у Срезневского, по свидетельству дочери последнего. «Случалось, однако, — сообщает она, — что иногда Чернышевского не привлекали некоторые ученые беседы. Тогда он уходил в соседнюю комнату, садился на маленький диванчик, усаживал подле себя трех старших детей Срезневского (7—11 лет) и рассказывал им сказки из «Тысячи и одной ночи» (В. А. Пыпина, Любовь в жизни Н. Г. Чернышевского, П. 1923, стр. 18). Вероятно, это бывало нередко, потому что Чернышевский провел большую часть вечера с детьми и в тот раз, когда его видел Артемьев.

В рассказе последнего наиболее интересен живо переданный спор Чернышевского со Срезневским по вопросам эстетики и о «Губернских очерках» Салтыкова. Здесь ясно видны связи эстетических положений Чернышевского с его социальными стремлениями, с его требованиями к современной ему литературе и принципами оценки конкретных литературных явлений, т. е. то, что было затушевано в его академической диссертации.

Из упомянутых в беседе персонажей «Губернских очерков» — врач, который расковыривал здоровое плечо, чтобы пациент откупился взяткой, описан в «Пер-

вом рассказе подьячего», а исправник Живоглот — в рассказе «Неприятное посещение». Первый рассказ появился в августовском, второй — в ноябрьском номере «Русского Вестника» 1856 г. Таким образом разговор шел о свежих литературных новинках.

Первая часть статьи Артемьева, опущенная нами, посвящена отцу и тестю Н. Г. Чернышевского и не представляет интереса, так как она написана в основном по саратовским слухам и сплетням (в первой половине 50-х годов автор воспоминаний прожил некоторое время в Саратове, где он находился в служебной командировке), и в ряде случаев стоит в полном противоречии с другими источниками, достоверность которых не вызывает сомнений. Любопытно, что враждебность автора к Чернышевскому переносится и на его родственников.

Статья печатается по автографу Артемьева, хранящемуся в рукописном отделении Государственной Публичной Библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Я не был знаком с Н. Г. Чернышевским и с его женою; но все-таки мне случалось кое-где встречаться с ними и заметить некоторые мелочи, быть может не лишенные значения для их биографий.

В начале января 1856 г. мы наняли квартиру в доме Тулубьева, в Поварском переулке, близ Владимирской церкви.

В Петербурге все привыкают жить ни мало не заботясь о том, кто живет рядом и около. Разве какая-нибудь особенность жильца-соседа заставит поневоле обратить на него внимание. Так мы начали жить и в этом доме, не расспрашивая, не осведомляясь, кто помещается над нами, под нами, против нас и рядом с нами. Но прислуга разведывает все это в самом непродолжительном времени.

Надобно заметить, что тогда (в конце 1855 г.) я только-что воротился из продолжительной командировки в Саратовскую губернию и что кормилица теперешнего нашего старшего сына (Николая), родившегося в Саратове, была привезена из Саратова, а нянька, выехавшая с нами из Казани, с нами же находилась и в Саратове. Вследствие этого наша прислуга при первом же разговоре с дворниками узнала, что «этажом выше нас живут также саратовцы, какой-то Чернышевский; отец-то у него в Саратове священник; он на саратовской и женат; мальчик маленький у них тоже есть» и пр. Еще через несколько дней наша нянька уже сообщала, что «ребенок у Чернышевских какой-то больной, а мать им нисколько не занимается, даже его не любит; да и когда ей (т. е. Чернышевской) заниматься ребенком... она все с молодежью... муж ни на что, слышь, и вниманья не обращает...» Потом случилось как-то, что кухарка Чернышевских позаимствовалась у нас в кухне какой-то чашкою или плошкою и когда эта вещь понадобилась нам, то за нею отправилась в кухню Чернышевских наша нянька, а ее встретила сама Чернышевская и спросила: «Твои господа тоже из Саратова? А как они прозываются? — Артемьевы, дескать. — Что-то не знала таких...—«Их, дескать, папинька-старичок живут в Кузнецке; а этот г. Артемьев служил прежде в Казани в ниверситете». А она в дверь из кухни, туда, в залу что ли, и закричала: «ты знал в Саратове аль в Казани Артемьева?..» А он подходит к кухне и говорит: «да, в Казани знал немного...»

Первые рассказы о Чернышевских доходили до меня стороною; но последний разговор нянька почла обязанностию передать мне непосредственно. Выслушавши ее доклад я отвечал: «Отца Чернышевского я знаю давно; но его самого не знаю и не слыхивал, что он бывал когда-нибудь в Казани, а потому и не понимаю, как он знал меня в Казани».

— Да ведь, барин,—возразила нянька,—это не Чернышевский и говорил, а тоже, слышь, саратовский, Пыпин что ли какой... такой белый

лицом, а волосы черные... Он чуть не живет у них: он, слышь, большой приятель госпоже-то Чернышевской, — прибавила нянька хихикая.

— Ну, вы вечно успеваете собрать все сплетни... Может быть, он родственник, — сказал я.

— Кто их знает! Их же нянька с кухаркою рассказывали...

Вот какие сведения приобретены были мною о Чернышевских. Сколько в них правды — не знаю; но я записываю их здесь в том виде, в каком они дошли до меня. Чернышевского я тогда не знал лично: но имя и литературная его деятельность, конечно, были мне известны: он в эту пору уже обращал на себя внимание весьма многих.

В доме Тулубьевых жили мы только до весны, а потом переехали на дачу и осенью заняли квартиру (также не надолго) в Измайловском полку; но Чернышевские оставались на прежней квартире довольно долго и уже гораздо позже перешли в дом Есаулова, на Владимирской улице, не очень далеко от нашей квартиры (в Кабинетской, сначала в доме Ларионовой, потом у Назаровых).

Осенью или зимою того же 1856 г. я встретился в первый раз с Чернышевским в квартире И. И. Срезневского, у которого в конце 50-х годов я бывал довольно часто. У Срезневского собирались и собираются доселе преимущественно ученые; беседа всегда касается археологии, славянщины, литературы, но в политику вообще не вдаются; а городскими сплетнями-новостями интересуются по толику, по колику они касаются мира ученого.

Раз в один из таких вечеров, когда уже подали закуску и некоторые из собеседников уже брались за шапки, чтоб проститься с хозяином, в кабинет его вошел русенький господин сморщенно болезненного вида: волосы у него лежали будто прилипшие к голове, смотрел он через очки как-то изгибаясь, несколько жмурясь и саркастически или нервно чуть-чуть покашивал рот.

«Поздненько же являетесь», — обратился к этому господину П. П. Пекарский.

— Николай Гаврилович явился чуть ли не прежде всех, да, по своему обыкновению, беседовал все с детьми, — отвечал хозяин и прибавил: ну, что каков мой Вячко? Катеринка?

— Да что?! изумили меня: начали рассказывать о красоте «заставок» в какой-то заплесневелой летописи... Юсы да глаголиту знают... Уж эстетикой-то их не развращали б! хи-хи-хи—отвечал Николай Гаврилович немного жеманясь и подцепляя вилкою кусок селедки.

(Это Чернышевский? — спросил я шопотом П. С. Савельева. «Ipse», — отвечал тот).

— Ну, что вы, Николай Гаврилович, нападаете на мои милые юсы и глаголиту! — возразил смеясь Срезневский. Ведь и вам не незнакомы они; ведь и вы занимались эстетикою...

«Моя эстетика, вы знаете, не ваша», — обратился Чернышевский к Срезневскому, тыча вилкою: «вот щедринские «Губернские очерки» — эстетика».

— Памфлет, конечно, практически приносит известную долю пользы, — заметил Срезневский, — но отрицаю, что он может служить к развитию правильного эстетического вкуса...

«Вот иметь правильный вкус в селедке, в икре — полезнее, хи-хи-хи! А пустяки по-вашему, что разные лекари, ковыряющие плеча у черемисов, да исправники-живоглоты выдаются вам головою?» — сказал Чернышевский.

— Ну, это не новость в нашей литературе, — возражал Срезневский.— Капнист писал о взяточниках, сам Булгарин даже, а Гоголь-то... да взяточники не перевелись. По-моему, вот эстетика-то, н а ш а эстетика, Николай Гаврилович, а не в а ш а, скорее поможет делу, если больше и больше будут ее вводить в систему развития и образования народа...

А. И. АРТЕМЬЕВ
Гравюра 1877 г.
Публичная Библиотека, Ленинград



«Хи-хи-хи! — засмеялся Чернышевский, — не бойсь потому, что умягчит нравы, волков превратит в агнцев? Конечно, хи-хи-хи! ваша эстетика для нашего мужика и сивуху с луком заменит амброзией с нектаром и пр. Вот вашей эстетике скажу спасибо, когда она оденет, обует и накормит наш народ».

— Да это и выйдет так, — доказывал Срезневский; — эстетика отучит мужика от сивухи и у него уцелеет копейка на обувь, одежу, еду...

«Хи-хи-хи — отвечал Чернышевский.

—А что, Александр Иванович, — обратился Пекарский ко мне, — ведь, говорят, Живоглот срисован с мамадышского исправника; вы знаете всю Казанскую губернию: похож ли?

«До какой степени верна догадка об оригинале Живоглота, — сказал я, — не знаю, но в Мамадыше действительно был непременный заседатель земского суда, т. е. помощник исправника, сын сторожа того же суда. На свою руку, как говорили, охулки он не давал; однако, сколько я знаю, он не был похож на Живоглота. Я был свидетелем, что крестьяне встречали его радушно, а заочно звали его «Милягою», потому что он сам всех называл «милягами»...

— Да ведь и лекарь-то, что ковырял плечо у черемиса, обращался ласково, — заметил Чернышевский и затем обратился прямо ко мне: — чай и этот ваш «миляга» каждое свое приветствие сопровождал зуботычиной... уж это так заведено... хи-хи-хи!

— Не случалось видеть этого от Миляги, — сказал я.

«А вам-таки, надо полагать, много привелось видеть всякого рода по-

лицейских? — продолжал Пекарский, — много вы поездили. А где типичнее эти люди: в Казанской или в Ярославской губернии?

Еще не успел я ничего ответить, как П. С. Савельев прибавил: «Александр Иванович еще дольше был в Саратовской, чем в Ярославской, и впечатления о Саратовской, без сомнения, свежее и разнообразнее: война, движение ополчений и пр.».

«А вы давно из Саратова?» — спросил Чернышевский.

— Был в прошедшем году; между прочим имел сношения и с вашим батюшкой, Гаврилою Ивановичем, — отвечал я.

Чернышевский ничего не сказал на это и даже вовсе перестал говорить и ушел куда-то в угол.

Такова была моя первая встреча с Чернышевским.

Этот человек интересовал меня прежде, нежели я стал лицом к лицу с ним. Его статьи всегда читал я с живым любопытством, хотя и не соглашался со многими из его взглядов. Во всяком случае я признавал и уважал в нем несомненный талант писателя-диалектика и несомненно острый ум, и потому я несколько жалел, что не встречаюсь нигде с Чернышевским, что не могу с ним познакомиться. Но впечатления первой встречи с ним, два-три слова, перекинутые нами друг другу, настроили меня совершенно иначе. На меня как-то неприятно подействовали его наружность (хотя вполне приличная) и в особенности пискливый его голос и хихиканье. Я ушел от Срезневского досадуя, что встретился там с Чернышевским.

II. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В РЕДАКЦИИ «ВОЕННОГО СБОРНИКА»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. А. МИЛЮТИНА

Публикация Б. Козьмина

Известный государственный деятель эпохи Александра II, военный министр Д. А. Милютин оставил после себя обширные воспоминания. Рукопись этих воспоминаний, до сих пор неопубликованная[1], хранится в рукописном отделении Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина в Москве. В одном из томов этой рукописи (т. VIII, стр. 19—21) Милютин мимоходом касается мало выясненного до сих пор эпизода из биографии Н. Г. Чернышевского: участие его в 1858 г. в редактировании журнала, издававшегося военным министерством под названием «Военный Сборник».

Участие Н. Г. Чернышевского в редактировании этого журнала было весьма непродолжительным. Чернышевский и его товарищи по редакции объявили решительную борьбу тем порядкам, которые в то время продолжали господствовать в русской армии. В ряде статей «Военный Сборник» изобличал умственную отсталость и низкий уровень командного состава русской армии, злоупотребления и хищения в деле ее снабжения, господствующую в ней палочную дисциплину, ставящую своею задачею превращение солдата в манекена, без рассуждений, слепо выполняющего приказания начальства и т. д. Естественно, что при таких условиях между редакцией «Военного Сборника», с одной стороны, и цензурою, с другой, с первых же шагов начались столкновения, закончившиеся тем, что цензор полковник Штюрмер составил особый доклад о «вредном направлении», принятом редакцией «Военного Сборника»[2]. Естественно также и то, что «Военный Сборник» встретил не мало влиятельных противников из среды высшего офицерства, настаивавших на том, что редакцию этого журнала необходимо сменить. В результате всего этого Чернышевскому и его товарищам по редакции пришлось отказаться от редактирования «Военного Сборника».

При чтении приводимого ниже отрывка из воспоминаний Д. А. Милютина, необходимо иметь в виду, что в 1858 г. автор этих воспоминаний находился не

в Петербурге, а в Тифлисе, где он состоял начальником штаба Кавказской армии. Вследствие этого об эпизоде, рассказываемом им, он был осведомлен только по письмам друзей и сослуживцев, информировавших его о петербургских событиях.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В 1919 г. в Томске был издан I т. воспоминаний Д. А. Милютина, охватывающий эпоху 1816—1841 гг.

[2] Ответ Н. Г. Чернышевского на этот доклад (два варианта) опубликован в X т., ч. 2 «Полного собрания» его сочинений (стр. 231 — 298).

Еще в прошлом году А. П. Карцев[1] сообщил мне приятную новость, что ему удалось, после долгих хлопот, добиться согласия высшего начальства, на издание военного журнала, — о чем возбудил я вопрос еще в 1856 г., в тех видах, чтобы поднять уровень военного образования в офицерской среде и вместе с тем, чтобы распространять сведения о принимаемых в военном ведомстве нововведениях и улучшениях. Высочайшее соизволение на такое издание под названием «Военного Сборника» последовало 6 января 1858 г. и на другой же день Карцев поспешил порадовать меня этим известием. Он просил вместе с тем моего согласия на помещение в новом журнале статьи, составленной по моим запискам для Академии. Редакторами «Военного Сборника» первоначально были назначены: ген. шт. подполковник Аничков[2] и гвард. ген. шт. капитан Обручев[3] — оба профессора Николаевской Академии генерального штаба, а по литературной части — известный писатель Чернышевский[4]. Но первый вскоре оставил редакцию по случаю назначения его вице-директором комиссариатского департамента, на место его назначен в редакцию кап. гвардейского ген. шт. Окерблом. Выбор Чернышевского в состав редакции специально военного журнала был крайне неудачен и, как оказалось впоследствии, сильно повредил изданию. С первого же шага редакция встретила большие затруднения со стороны цензуры, так что первый номер был выпущен только к маю месяцу[5]. Карцев сетовал на придирки военного цензора полк. Штюрмера и на враждебное отношение к изданию самого министра Сухозанета[6]; в войсках же журнал встречен весьма сочувственно и число подписчиков, достигавшее с самого начала цифры 4 500, все еще возрастало[7]. Редакция, задавшись, повидимому, благою целью — ратовать против укоренившихся в войсках и в военных управлениях стародавних злоупотреблений и беззаконий, к сожалению увлеклась слишком неосторожно на этом скользком пути и впала в резкий обличительный тон[8]. Само собою разумеется, что такое направление «Военного Сборника» должно было вызвать настоящий гвалт в среде начальствующих лиц и старых служак, которые с ужасом вопили о подрыве дисциплины, даже о революционной пропаганде в войсках. Дошло до того, что после выхода 7-й книжки издание было приостановлено; редакторы получили выговор и сменены[9]; сам Карцев от огорчения заболел. Несколько спустя издание было возобновлено, но уже под непосредственным руководством военного министра, который назначил новым редактором ген.-м. Петра Кононовича Менькова.

Уведомляя меня о таком печальном обороте полезного дела, А. П. Карцев приписывал неудачу поданному военным цензором Штюрмером доносу, а также интригам, начавшимся еще до выхода первого номера, не столько против самого издания, сколько лично против гр. Баранова[10]. Однако же позже сам Карцев писал мне *, что «дело было подстроено Лихачевым **,

* Письмо от 30 января 1859 года.

** Александр Федорович Лихачев — генерал-майор, директор канцелярии военного министерства.

ярым противником всех нововведений». Таким образом Карцев не допускал, что преследование «Военного Сборника» могло быть вызвано действительно направлением издания, мало соответствовавшим официальному, издаваемому на казенный счет военному журналу, тогда как он уже сам, говоря о последовавшем в то же время прекращении Аксаковского издания «Парус» (за статью Погодина) заметил: «и по делом»[11].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Карцев (Карцов) Александр Петрович (1817—1875), генерал от инфантерии, военный писатель; в 1858 г. состоял генерал-квартирмейстером гвардейского генерального штаба. По свидетельству Н. Г. Чернышевского, именно Карцев предложил ему принять участие в редакции «Военного Сборника». Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. II, М.-Л., 1928 г., стр. 268.

[2] Аничков Виктор Михайлович (1830—1877), профессор Академии генерального штаба. Д. А. Милютин в своих воспоминаниях (т. X, стр. 112—113) следующим образом отзывается о нем: «Это был человек еще молодой, весьма развитой, даровитый и отличный редактор. В течение всей своей службы встречал я мало таких искусных редакторов; он схватывал чужую мысль на лету, умел весьма скоро примениться к слогу и манере начальника». Во второй половине 50-х годов Аничков принадлежал к кружку либерально настроенных офицеров генерального штаба, члены которого находились в дружеских отношениях с Н. Г. Чернышевским.

[3] Обручев Николай Николаевич (1830—1904), профессор Академии генерального штаба; в конце 50-х и начале 60-х годов находился в дружеских отношениях с Н. Г. Чернышевским; в 1861—1863 гг. один из организаторов и член Центрального Комитета тайного общества «Земля и Воля», впоследствии видный военный деятель, начальник Главного штаба и член Государственного совета.

[4] Извещая своего отца о приглашении принять участие в редактировании «Военного Сборника», Н. Г. Чернышевский писал: «Мне говорят, что это издание может принести пользу нашим офицерам, которые до сих пор читали слишком мало и оттого в Крымскую кампанию показали себя людьми, правда, храбрыми, но неспособными бороться с успехом против неприятеля, приготовленного к распорядительности и находчивости на поле сражения умственными трудами в мирное время. Если это назначение состоится, я буду заниматься сообщением статьям, которые большею частью будут написаны дурным языком, такой формы, чтобы они могли явиться в печати приличным образом; кроме того, мне придется рассматривать окончательно, заслуживает ли печати статья по своей дельности и занимательности и справедливы ли мысли, в ней излагаемые. Для оценки статей часто военного содержания, относительно их достоинств по военной части, будут у меня два помощника, — двое профессоров Военной академии». Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. II, стр. 268.

[5] В письме Н. Г. Чернышевского к отцу, цитированном в предыдущем примечании и написанном в январе 1858 г., говорится о том, что «издание журнала предполагается начать 1 мая». Из этого видно, что придирки цензуры не задержали выхода первого номера.

[6] Отношение военного министра Сухозанета к «Военному Сборнику» вряд ли было враждебным. Это видно из того, что доклад полковника Штюрмера он квалифицировал, как «неправильный донос». См. его пометку на замечания Н. Г. Чернышевского на доклад Штюрмера. Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. X, ч. 2, стр. 244.

[7] «Военный Сборник» действительно имел успех среди молодых офицеров. Тираж его в 1858 г. достиг 6 000 экземпляров (там же, стр. 234). О том, насколько велика была эта цифра можно судить хотя бы по тому, что, по свидетельству Чернышевского, военное министерство, предпринимая издание этого журнала. рассчитывало иметь на первый год около 2 000 подписчиков (Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. II, стр. 269), или по тому, что такой распространенный и влиятельный журнал, как «Современник», печатался в 1858 г. в 4 500—4 900 экземплярах (В. Евгеньев, Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова. — «Голос Минувшего», 1915 г., № 11, стр. 95).

[8] В другом месте своих воспоминаний Д. А. Милютин писал: «Военный Сборник» одно время совершенно вдался в обличительную литературу и, подобно другим журналам, хватил через край» (т. IX, стр. 28).

[9] Из письма Н. Г. Чернышевского к отцу от 13 января 1859 г. видно, что в это время ему «возобновляли просьбу заняться «Военным Сборником». «Я не мог согласиться», — добавляет при этом Чернышевский. Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. II, стр. 281.

[10] Баранов Эдуард Трофимович, гр. (1811—1884), генерал, в 1858 г. начальник гвардейского генерального штаба.

[11] «Парус» — еженедельная газета, издававшаяся в 1859 г. в Москве И. С. Аксаковым. По выходе второго номера «Парус» был закрыт правительством за статью М. П. Погодина «Прошедший год в русской истории», в которой подвергалась критике внешняя политика правительства и в которой цензура усмотрела недопустимое «вмешательство частных лиц в виды и соображения правительства, несообразное с началами нашего государственного и общественного устройства». См. Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XVI, СПБ., 1902, стр. 305—361.

III. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И М. А. АНТОНОВИЧ

Из воспоминаний О. Антонович-Мижуевой

Считаю не лишним в настоящее время, когда особенно сильно проснулся интерес к 60-м годам и их стали изучать со всех сторон, рассказать кое-что о двух людях того времени: о Николае Гавриловиче Чернышевском и о моем отце, Максиме Алексеевиче Антоновиче.

Имя Антоновича связано с именами Добролюбова и Чернышевского. Добролюбов первый заметил в нем литературное дарование, а Николай Гаврилович помог развить его. Но кроме интереса к Антоновичу, как к писателю, Чернышевский заинтересовался им и полюбил его, как человека.

Отец мой познакомился с Чернышевским в конце 1860 г., после отъезда Добролюбова по болезни за границу. В «Современнике» до этого времени было напечатано несколько статеек Антоновича и он считался уже постоянным сотрудником этого журнала, но имел всегда дело с Добролюбовым; Чернышевского же даже никогда не видал. Но уезжая, Добролюбов поручил своего протеже Чернышевскому, позабыв однако сообщить последнему адрес молодого человека. И вот Чернышевский, исполняя просьбу Добролюбова, с большим трудом разыскав адрес Антоновича, пригласил его притти к себе на квартиру в какое угодно время и просил, если не застанет его дома, дождаться его возвращения.

Не без волнения отправился к нему Антонович. Чернышевский принял его, хотя довольно любезно, но как-то странно: даже не поздоровавшись, сразу строго накинулся на него за то, что он не сообщает своего адреса, не пишет ничего для «Современника» и даже не является за причитающимся ему гонораром. Но заметив, вероятно, смущение молодого человека, Николай Гаврилович сразу переменил тон и участливо стал расспрашивать его, что он думает делать и чем заниматься — Максим Алексеевич в то время только что окончил Духовную Академию. На ответ Антоновича, что он по совету Добролюбова собирается посвятить себя педагогической деятельности, а также писать, Чернышевский решительно заявил, что нужно бросить мысль об учительстве и отдаться всецело литературной деятельности. Затем он взял с Антоновича слово, что он в самом скором времени напишет что-нибудь для «Современника». На замечание молодого богослова, что тот даже не знает, о чем писать, Николай Гаврилович посоветовал ему разбирать какие-нибудь книги по философии, так как Добролюбов говорил ему, что молодой человек очень интересуется этим предметом и знает его. Антонович воспользовался этим советом и написал несколько статей по философии.

Вскоре после первого знакомства Антонович был приглашен Чернышевским на его журфиксы, чем молодой человек также не замедлил воспользоваться. На журфиксах этих в 1860—61 учебном году собиралось очень много народу и посетители разделялись на два разряда: на гостей самого Николая Гавриловича и на гостей его жены, Ольги Сократовны. Первые собирались у него в кабинете и представляли собой сливки интеллигенции. Гости Ольги Сократовны, состоявшие из военной и штатской блестящей

молодежи, собирались в зале, откуда неслись звуки музыки, смех и шум.

Мой отец по своей застенчивости туда не показывался, а предпочитал скромно сидеть где-нибудь в уголке в кабинете у Николая Гавриловича, жадно прислушиваясь к разговорам, но не принимая в них участия.

В следующем 1861—62 учебном году, когда, вследствие наступившей реакции, на Чернышевского стали смотреть, как на опасного человека — нигилиста, на приемных днях у него стало бывать очень мало народу.

Положение Антоновича в начале его знакомства с Чернышевским было очень неопределенное. Максим Алексеевич, только что окончив курс, был не у дел и находился всецело в распоряжении духовного ведомства, не имея даже паспорта и живя по выданному ему из духовной академии аттестату. Духовное начальство уже назначило его преподавателем в Костромскую духовную семинарию, а так как Антонович от этого отказался, приказало ему ехать на родину, т. е. в Харьковскую губ. и там поступить в распоряжение местного епископа, который мог распоряжаться им по своему усмотрению, как хотел. Но Антонович, который, еще учась в Академии, был атеистом и решил выйти из духовного звания, после знакомства с Добролюбовым и Чернышевским еще более утвердился в своем решении и не уезжал из Петербурга.

После громадных усилий и хлопот Николаю Гавриловичу удалось устроить своего протеже в военное ведомство на штатное место, но без жалованья. Этим способом Антоновичу удалось уйти из-под власти духовенства.

Отец с умилением рассказывал о необыкновенной доброте Николая Гавриловича, о его готовности помочь всем и каждому, в особенности пишущей братии.

Оказанная Чернышевским услуга Антоновичу и заботы о нем тесно сблизили их между собой. Максим Алексеевич был у него в доме своим человеком и они виделись очень часто. Знакомство их, к сожалению, продолжалось всего около трех лет.

В июле 1862 г. (по старому стилю) над Чернышевским стряслась беда... Мой отец, как известно, присутствовал при его аресте и был у него в заключении после суда и приговора. С большим трудом удалось отцу вместе с другим сотрудником «Современника», Елисеевым, добиться этого свидания, так как они не состояли ни в каком родстве с осужденным. Николай Гаврилович по словам отца был хотя бледен, но довольно бодр, расспрашивал его о его личных делах, в частности о его предстоящей женитьбе и сказал, что надеется в ссылке писать для «Современника».

Сидя в тюрьме, Чернышевский, как известно, написал свой знаменитый роман «Что делать?», и здесь я хочу сказать кое-что по поводу этого романа.

Родители мои хорошо были знакомы с доктором Боковым, его женой и их другом дома Сеченовым. Но ни отец мой, ни мать никогда не говорили, что Чернышевский в этом своем романе вывел якобы чету Боковых и Сеченова. А на это кстати было бы указать мне, когда я, с большим трудом доставши этот роман, бывший в то время под запретом, стала читать его; кстати еще и потому, что я знала всех трех якобы героев его. Напротив, мама говорила мне, что в лице Веры Павловны Чернышевский хотел изобразить Ольгу Сократовну, которую он страшно идеализировал. Но по мнению мамы у жены Николая Гавриловича с героиней романа если и было сходство, то только во внешности, а именно у Веры Павловны подобно Ольге Сократовне были очень маленькие ручки и ножки, да разве еще в том, что обе женщины покупали себе обувь в самом лучшем в то время башмачном магазине Королева. О том, что в романе «Что делать?» выведены Боковы и Сеченов, я услышала впервые всего несколько лет тому

назад, да недавно прочла в книге Т. Н. Богданович «Любовь людей 60-х годов».

П. И. Боков, по словам моих родителей, был не особенно умным и не серьезным человеком, но очень красивым мужчиной, имевшим большой успех у женщин.

Жену его я почти не помню. По словам родителей — это была женщина очень умная, серьезная, с большими умственными интересами, но довольно некрасивая. Вообще по их словам она была ему совсем не пара. Супруги давно уже охладели друг к другу и расхождение их произошло само-собой, по обоюдному соглашению и к их обоюдному удовольствию. Решиться, чтобы предоставить жене свободу, на какую-нибудь героическую меру вроде Лопухова было совсем не в характере Бокова.

Сеченова я хорошо знала, так как слушала его лекции по нервной физиологии в бытность мою на Высших (Бестужевских) женских курсах. Этот даровитый ученый, умный и серьезный человек, в противоположность Бокову был поразительно некрасив собой; находили, что он похож на один вид ночной бабочки, называемой «мертвой головой» и поэтому его так и прозвали «мертвой головой».

На справедливость моих слов, а именно сомнения в том, что Чернышевский в своем романе вывел чету Боковых и Сеченова, указывает также Е. И. Жуковская в своих «Записках» на стр. 216, где она описывает Слепцовскую коммуну. Однажды на вечере, когда там собрались гости, к ней подошел Слепцов с такими словами: «...Головачев представит Вам красавца доктора, текущую знаменитость, будто бы вдохновившего автора романа «Что делать?» списать с него Лопухова. Между тем должен заметить, что не автор романа списал с него свой тип, а, наоборот, сам доктор вдохновился романом и разыграл его в жизни: порука в том хронология. Вы все-таки не смущайтесь: он хоть и лжегерой, но все-таки чертовски красив»...

Если уж Слепцов, который был в «Современнике» своим человеком, был знаком и знал личную жизнь многих его сотрудников, если уж он так уверенно говорил по словам Жуковской, что Боков разошелся с женой по рецепту романа Чернышевского, то, надо думать, это действительно так и было.

Когда Чернышевскому разрешено было переехать в Саратов, мой отец предполагал повидаться с ним, условившись встретиться как бы случайно на пароходе. Но смерть Николая Гавриловича помешала исполнению этого плана, о чем отец очень жалел. К сожалению, мне не довелось познакомиться с этим замечательным человеком.

О том, как Чернышевский ценил моего отца и как любил его, можно судить по письму Николая Гавриловича от 29-го августа 1888 года, ныне переданного мною Литературному Музею в Москве.

Письмо это было написано отцу по следующему поводу: в 1837 г. в «Русской Мысли» (книга X) была помещена за подписью «М. А.» статья Антоновича «Доисторический быт индо-европейцев по данным сравнительного языкознания», представляющая собой разбор книги О. Шрадера «Сравнительное языкознание и первобытная история. Лингвистико-исторический материал для исследования индо-германской древности». Перевод с немецкого. Переводил же эту книгу никто иной, как Чернышевский; но фамилия его, конечно, не стояла. Привожу это письмо целиком:

«Милый друг Максим Алексеевич! Чувства мои к Вам остались такими же неизменными, как Ваши ко мне. Досадно мне было видеть, что Вы не находите возможным работать для русской журналистики, нуждающейся в деятелях, подобных Вам. Сколько я могу судить по чтению, она не имела ни

одного такого со времени прекращения Вашего участия в ней и не имеет ни одного, подающего надежды стать таковым.

От Лаврова, приезжавшего сюда летом, я узнал, что помещенная в «Русской Мысли» статья о книге Шрадера принадлежит Вам. Тогда я понял, что мысль написать об этой книге внушена Вам желанием выказать печатным образом расположение ко мне. Благодарю, но не в благодарности моей дело, а в том, что по поводу сообщенного Лавровым имени автора завязался у нас разговор. Я не имел надобности говорить Лаврову, что считал бы Ваше участие в «Русской Мысли» полезным для нее: он сам стал говорить в этом тоне, так что мне оставалось только вставлять по временам короткие слова, что я разделяю высказанное им мнение о Вас. Он (и по всей вероятности Гольцев, которого я не знаю лично и так:) он человек хороший и настолько умный, чтобы понимать мысли, до которых не додумался сам. При начале сотрудничества, Вам пришлось бы объяснить ему, почему Вы написали о том или другом в духе, непривычном ему, но он скоро привык бы разделять Ваши мысли, насколько они понятны ему и полагаться на основательность Ваших мнений по вопросам, остающимся туманными для него. Сделаться руководителем Гольцева было бы, вероятно, задачею более хлопотливою, но я полагаю, что при некотором терпении Вы подчинили бы себе и Гольцева.

Попробуйте войти в сношения с ними. Мне хотелось бы знать, захотите ли Вы сделать это и, если попытаетесь делать, то как идет дело соглашения. Если Вы найдете удобным сообщать мне новости такого рода и не покажется Вам удобно писать мне, то, вероятно, может передавать сведения от Вас мне Миша. Благодарю Вас за то, что Вы взяли к себе и сохранили дневники и другие бумаги Добролюбова. Я знал, что Вы любили его.

Целую руки Елизаветы Ивановны. Для Вашей Оленьки было бы честью не по летам подобное отношение мое к ее руке, поэтому обнимаю и целую ее саму. Целую других Ваших детей. Будьте здоровы. Целую Вас.

Ваш, всегда бывший прежним в своей любви к Вам Н. Ч.».

К сожалению, пожеланиям Николая Гавриловича не суждено было исполниться: редакция «Русской Мысли» не считала Антоновича полезным для себя человеком и он так и не сделался постоянным сотрудником этого журнала...

После смерти Чернышевского Ольга Сократовна приезжала в Петербург, хлопоча и собирая деньги на постановку ему памятника, проект которого сделал первый муж старшей дочери А. Н. Пыпина, художник Беренштам.

Она произвела на меня грустное впечатление довольно невежественной, неразвитой, очень религиозной и даже суеверной женщины, очень резкой и деспотичной. Взгляды, деятельность и значение своего мужа она едва ли понимала, а если и понимала, то весьма смутно. Вообще она была совершенно не пара Чернышевскому. Когда мой отец, участвуя в недолго выходившем журнале «Новое Обозрение» (в 1881 г.) познакомился на литературной почве, а затем очень сошелся с умной, высокообразованной и выдающейся женщиной, имя которой занимает видное место в истории высшего женского образования в России — Е. И. Конради, которую он по уму и по взглядам на литературу ставил на первое место после Чернышевского, он сказал маме: «Вот какую жену следовало иметь Николаю Гавриловичу!» И мама вполне соглашалась с ним, тем более, что Евгения Ивановна Конради в молодости была по словам многих, знавших ее в то время, замечательно красива.

Михаил Николаевич Чернышевский, младший сын Николая Гавриловича, при издании собрания сочинений своего отца много раз обращался за

АВТОГРАФ ПИСЬМА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО К М. А. АНТОНОВИЧУ ОТ 29 АВГУСТА 1888 г.

Государственный Литературный Музей, Москва

советами, помощью и указаниями к Максиму Алексеевичу и принимал их к сведению.

Через несколько лет после смерти Чернышевского один приятель и поклонник Максима Алексеевича, А. К. Томашевский (издавший его большой труд о Дарвине), саратовский уроженец, купил на родине у какого-то своего тамошнего знакомого конторку Николая Гавриловича и презентовал ее моему отцу, чем доставил последнему громадное удовольствие. Конторка эта оказалась очень неудобною для писанья; но отец смотрел на нее, как на драгоценную реликвию, а после его смерти я передала ее в Институт Русской Литературы (Пушкинский Дом).

Туда же я отдала интересный документ, найденный мною в архиве моего покойного отца и озаглавленный «В альбом О. С. Васильевой», т. е. своей будущей жене в то время, когда она была его невестой. Здесь на двух маленьких листиках бумаги Николай Гаврилович высказывает ей свои взгляды на женщину, как на человека вообще и как на жену в частности. Женщина по его мнению должна быть равна с мужчиной, чего на самом деле нет. Выйдя замуж, она делается рабыней мужа и находится на положении чуть ли не прислуги, что по его мнению гнусно. Поэтому обязанность каждого порядочного мужчины изменить такое отношение «даже (цитирую его слова) с опасностью впасть в другую крайность...—лучше стать рабом для водворения равенства в будущем, нежели увековечивать рабство других из боязни стать рабом самому»...

НЕИЗДАННЫЕ ТЕКСТЫ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

I. ДОБРОЛЮБОВ — ПЕРЕВОДЧИК ФЕЙЕРБАХА

Публикация С. Рейсера

1. МЫСЛИ О СМЕРТИ

ВВЕДЕНИЕ

В истории европейской цивилизации можно различить три эпохи веры в бессмертие. Первая была у греков и римлян. Они не верили в личное бессмертие и даже не понимали бессмертия в нашем смысле *.

Римлянин жил только в Риме; душа его заключалась в Риме, весь круг его зрения ограничивался Римом; он не знал другой жизни, кроме настоящей жизни государства и народа. Самое далекое и идеальное стремление личности состояло в том, чтобы возвеличить Рим, расширить в беспредельность его могущество, утвердить его на будущее время: что же касается собственного лица — оставить о нем благодарное воспоминание в потомстве. Римлянин никогда не ставил своего *Я* вне действительной общественной жизни и выше ее, и на этой высоте всеобщности никогда не считал себя чем-нибудь существенным и необходимым. Римлянин было — душа римлянина, личность римлянина; сам для себя он ничего не значил, только в единении с своим народом, тольв нем и через него он был чем-то и сознавал себя чем-то...

2. ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

СУЩЕСТВО ЧЕЛОВЕКА ВООБЩЕ

Религия опирается на с у щ е с т в е н н о е р а з л и ч и е человека от животных: у животных нет религии. Древние зоологи, принимая все без критики, полагали, что у слонов, в числе прочих похвальных качеств, существует также и религиозное чувство; но религия слонов принадлежит, очевидно, к области вымыслов. Кювье, один из величайших знатоков животного царства, основываясь на собственных наблюдениях, ставит слонов в отношении к духовным способностям не выше собаки.

* Они без сомнения знали о нем, но это было для них только представление, фантазия, гипотеза, на ряду с которой стояло противоположное мнение, как равно возможное, равно оправдываемое. Отличительное убеждение древних, к которому они всегда приходили наконец и при котором оставались, состояло в том что смерть не есть зло.

Но в чем же заключается это *существенное отличие* человека от животных? Самый простой и общий, самый популярный ответ на это заключается в слове: *сознание* (Bewustsein),—но сознание в тесном смысле, потому что сознание в смысле самоощущения...

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 1906. VIII с. Княжнин № 78.

Первый из публикуемых отрывков является дословным переводом первых 20—25 строк работы Людвига Фейербаха «Gedanken über Tod und Unsterblichkeit» (1830) (глава I—«Todesgedanken»). Перевод сделан несомненно с немецкого оригинала — вероятнее всего в руках Добролюбова было проникавшее в Россию издание: Ludwig Feuerbach's Sämmtliche Werke. Verlag von Otto Wigand. Dritter Band, Leipzig, 1847.

Едва ли Добролюбов мог пользоваться редким анонимным изданием: «Gedanken über Tod und Unsterblichkeit. Aus den Papieren eines Denkers...» Nürnberg, 1830.

В описании В. Н. Княжнина автор и название оригинала не указаны, хотя отрывок и описан рядом с наброском перевода Добролюбова из другой работы Фейербаха: «Das Wesen des Christentums». Этот отрывок публикуется также по рукописи ИРЛИ. Перевод соответствует первым 10 — 15 строкам оригинала и сделан с одного из многочисленных изданий 40-х или 50-х годов (точнее указать затрудняемся).

Представление о том, каким образом знакомились с Фейербахом в России в 50 — 60-х годах, может дать следующий отрывок из воспоминаний А. Н. Пыпина:

«Около этого времени в Петербурге... очень широко обращалась... социалистическая литература, конечно, строго запрещенная. Один книгопродавец, Лури, вел торговлю этой контрабандой даже очень неосторожно, и, уличенный в ней, был сослан из Петербурга. Но эта ссылка не остановила контрабанды. Я очень хорошо помню особого рода букинистов-ходебщиков — тип, с тех пор исчезнувший (он становился ненужен). Эти букинисты, с огромным холщевым мешком за плечами, ходили по квартирам известных им любителей подобной литературы... и, придя в дом, развязывали свой мешок и выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше французские, а также немецкие. Книги они продавали на довольно льготных условиях, например с рассрочкой; когда книга была прочитана и владелец не желал удерживать ее, букинист покупал ее обратно, конечно, по пониженной цене... Кажется независимо от этих негоциантов Н. Г. <Чернышевский> мог тогда приобрести сочинения Фейербаха, как помню, в свежих, неразрезанных экземплярах. Тогда я в первый раз познакомился с его сочинениями: эта сильная и решительная логика казалась мне гораздо более привлекательной, чем фантастика французских социалистов». («Мои заметки», М. 1910, стр. 68—69).

Добролюбов, М. И. Шемановский и др. несомненно пользовались запрещенными изданиями, которыми их ссужал В. Лаврецов, заведывавший библиотекой для чтения Крылова (бывш. Смирдина, впоследствии Крашенинникова), именно за это сосланный в Вятку. См. «Материалы...», стр. 499 и сл.

Датировать публикуемый отрывок можно лишь предположительно. Судя по бумаге и почерку, следует думать, что он относится к институтскому периоду жизни Добролюбова, приблизительно к 1855 г. Наша догадка подтверждается свидетельствами институтских товарищей Добролюбова М. И. Шемановского и Б. И. Сциборского.

М. И. Шемановский сообщает, что в кружке студентов Пед. Ин-та, душою которого был Добролюбов, «переводились... некоторые сочинения с иностранных языков на русский» (стр. 274 наст. тома).

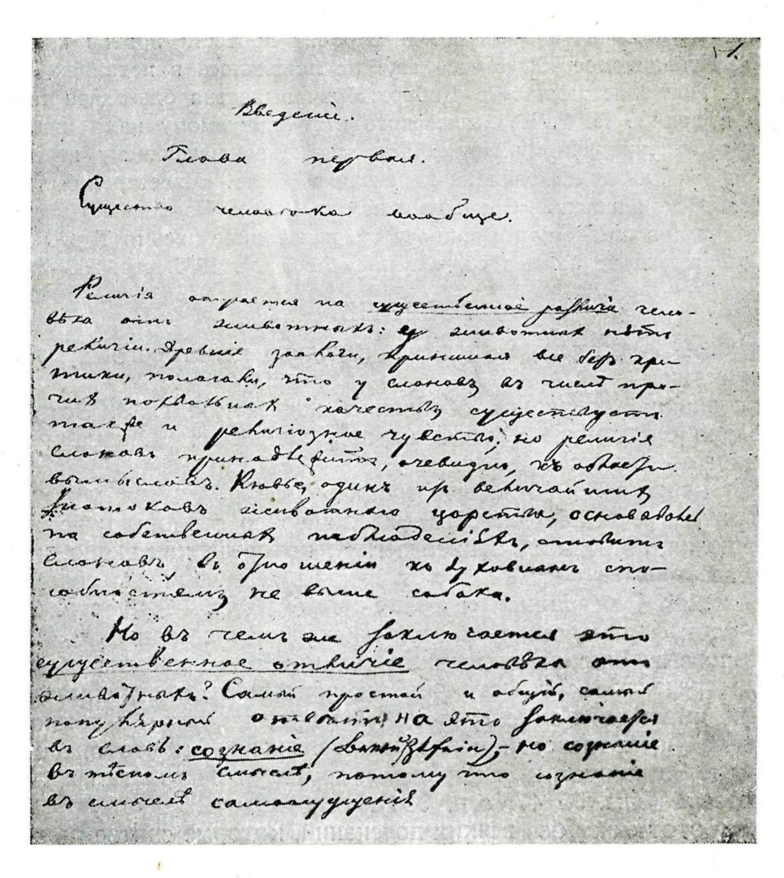
Еще подробнее свидетельство Б. И. Сциборского: «Полученная книга с жадностью и с наперед заготовленным доверием к ней прочитывалась в кружке и была предметом очень серьезных толков, пока, наконец, факты, заимствованные из нее, не проходили через критику читателей... Если же эта книга была на одном из иностранных языков, то, смотря по достоинству ее, иногда общими силами переводилась буквально вся и после прочитывалась в кружке, иногда же читалась для всех владевшими этими языками вслух по-русски, а часто один кто-нибудь брался за прочтение всей и перевод замечательнейших мест и потом в кружке подробно излагал содержание ее и прочитывал переведенные отрывки. Н. Ал. *в этом случае был одним из ревностнейших и трудолюби-*

вейших деятелей. Я думаю, в его бумагах и теперь можно было бы найти следы этих трудов...» (стр. 306).

Свидетельство очень точных воспоминаний Б. И. Сциборского исчерпывающе разъясняет назначение публикуемого отрывка.

3 августа 1851 г. Добролюбов иронически писал В. В. Лавровскому: «Ваша голова издавна заперта наглухо для пагубных убеждений и Вас не совратит с Вашего пути ни Штраус, ни Бруно Бауэр, ни сам Фейербах, не говоря уже о каком-нибудь Герцене или Белинском». («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова...», т. I, стр. 324).

Если вспомнить, что это письмо является обзором истории умственного развития Добролюбова примерно с половины 1854 г. (после смерти отца), то станет



1.

Введение.

Глава первая.

Существо человека вообще.

Религия опирается на существенное различие человека от животных: у животных нет религии. Древние зоологи, приписывая все без критики, полагали, что у слонов в числе прочих похвальных качеств существует также и религиозное чувство; но религия слонов принадлежит, очевидно, к области вымыслов. Кювье, один из величайших знатоков животного царства, основываясь на собственных наблюдениях, относит слонов в отношении к духовным способностям не выше собаки.

Но в чем же заключается это существенное отличие человека от животных? Самый простой и общий, самый популярный ответ на это заключается в слове: сознание (Bewußtsein); — но сознание в тесном смысле, потому что сознание в смысле самоощущения

ПЕРЕВОД Н. А. ДОБРОЛЮБОВА ИЗ РАБОТЫ ФЕЙЕРБАХА «СУЩНОСТЬ ХРИСТИАНСТВА»

Институт Литературы, Ленинград

ясным, что к августу 1856, т. е. вскоре после знакомства с Н. Г. Чернышевским и, независимо от него, вероятно через Белинского и Герцена, Добролюбов был уже хорошо знаком с учением германского философа. Подробное изучение влияния Фейербаха на Добролюбова см. в монографии Валерьяна Полянского «Н. А. Добролюбов». «Academia», 1933, стр. 92 сл.

Добролюбов и позднее неизменно пропагандировал Фейербаха среди своих товарищей и молодежи. См. письмо А. П. Златовратского к Добролюбову 1857 г. («Материалы...» стр. 394), неизданное письмо И. И. Бордюгова к Добролюбову, написанное между 17—23 декабря 1858 (ИРЛИ, ср. Княжнин № 193), свидетельство М. А. Антоновича 1859 г. («Шестидесятые годы». М. А. Антонович. Воспоминания. Вст. статьи и редакция В. Е. Евгеньева-Максимова и Г. Ф. Тизенгаузена «Academia», 1933, стр. 138) и т. д.

II. ЗАБЫТАЯ ЗАМЕТКА ДОБРОЛЮБОВА

Публикация Н. Чернышевской

Публикуемая заметка Н. А. Добролюбова написана в связи с появлением в «Иллюстрации» статьи «Знакомого человека»: «Западно-русские жиды и их современное положение», вызвавшей полемику ряда либеральных и реакционных органов печати, в которых все дело свелось к защите личностей. Добролюбов не принял участия в этой полемике, он резко осуждал бесплодную шумиху, поднятую вокруг такого серьезного вопроса, как вопрос о расширении гражданских прав евреев, и откликнулся на него не только кратким «Известием», но и рядом заметок в первом номере «Свистка»: «Собрание литературных, журнальных и других заметок», «Письмо из провинции» и «Проект протеста против «Московских Ведомостей». Публикуемое «Известие» еще не появлялось в изданиях сочинений Добролюбова. Принадлежность его Добролюбову выяснена благодаря только что найденному в архиве Н. Г. Чернышевского и публикуемому нами ниже в виде приложения собственноручному списку последнего, заключающему перечень статей Добролюбова для подготовки их к печати в 1862 г. «Известие» было опубликовано в ноябрьской книжке «Современника» за 1858 г. Из недавно появившихся в печати материалов по этому же вопросу см. неизданное письмо Тургенева к Некрасову, опубликованное нами в сб. «Звенья» № 5, М. 1935, стр. 262—263.

ИЗВЕСТИЕ

В журнальной литературе недавно наделало некоторого шуму следующее происшествие:

«Иллюстрация», всемирное обозрение, издаваемое г. В. Зотовым, отвечала недавно следующею фразою на возражения гг. Чацкина и Горвица, оспаривавших ее мнения о евреях:

«Статья наша в 35 № «Иллюстрации» (где обличался между прочим какой-то богатый еврей Н) вызвала оппозицию со стороны иудофилов, без всякого сомнения, агентов знаменитого г. N, который, как видно, не жалеет голоса для славы своего имени, и вот явились в печати два еврейские литератора — некто Ребе-Чацкин и Ребе-Горвиц» (Илл. № 43, стр. 286).

Смысл этой фразы ясен. Несмотря на то, когда сделан был «Иллюстрации» со стороны г. Чацкина вопрос, на каких основаниях она обвиняла его в подкупе, г. редактор «Иллюстрации» не извинился, а старался доказать, что фраза не имеет того смысла, какой ей придали, будто бы только «вследствие излишней щекотливости и раздражительности», и что она относится «не прямо к г. Чацкину, а к г. Горвицу и другим панегиристам жалкого положения евреев» (Илл. № 47, стр. 351).

Передаем этот факт без всяких пояснений, которые считаем в этом случае излишними и даже унизительными для нравственного чувства, как своего собственного, так и наших читателей, не нуждающихся, конечно, ни в каких возгласах для оценки подобных явлений.

Впрочем, многие уважаемые литераторы и ученые торжественно протестовали уже против «Иллюстрации» в Спб. Ведомостях, Русском Вестнике и Московских Ведомостях.

Приложение

СПИСОК СОЧИНЕНИЙ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА, СОСТАВЛЕННЫЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

* Н. В. Станкевич. 1 — 74.
* Жеребцов ст. 2. 1—52.
Первые годы ц[арствования] Петра В[еликого] ст. 1-ая. 1—36.
Органическое воспитание. 45—124.
* Обвиненный Современник. 2 листка.

* Необыкнов[енная] странность. 1—96.
* Кобзарь. 1—10.
Статьи Times: 4 листка.
* Очерк истории нем[ецкой] литер[атуры] Шталь. 11—20.
* Уголовное дело. 25—46.
* Указатель статей. 89—113.
* Стихотворения Полонского. 117—148.
Крымские сонеты. 118—130.
Собеседник Л[юбителей] Р[оссийского] С[лова]. 1—180 и I—XII.
* Стихотворения И. Никитина. 1—76.
Внутр[еннее] Обозр[ение]. 1—68 (последнее).
* Забитые люди. 1—80.
Жизнеопис[ание] Ел. Фрей. 1—8.
* Гавацци.
* Кавур.
* От дождя да в воду. 1—48.
* Когда же придет настоящий день? 1—80.
* Лучи и тени. 1—66.
Вставка в политику. 1—28.
* Народное дело. 1—60.
* Торжество розог. 1—108.
* Русская сатира. 1—158.
Повести Славутинского. 81—116.
Сочинения Долгорукого. 37—64.
* Очерки Дона, Филонова. 1—88.
* Любопытный пассаж. 1—30.
* Впечатления Украины. 1—10.
* Свисток № 3. Краткая история. 167—200.
О трезвости в России, Шипова. 131—13... (оторвано).
Внутр[еннее] Обозрение (начало). 1—8.
* Темное царство. 1—160.
Московский универс[итетский] благор[одный] панс[ион] . 1—44.
* Роберт Овэн. 1—128.
Путешествие по С[еверо]-А[мериканским] Штатам. 1—85.
* Очерк и[стории] р[усской] л[итературы] Милюкова. 1—104.
* О нравств[енной] стихии О. Миллера. 1—70.
* Размышления по поводу од[ной] оч[ень] об[ыкновенной] истории. 1—39.
* Что такое обломовщина? 1—60.
* Essai Жеребцова. 1—84.
* Путешествие на Амур. 1—34.
* Основные законы воспитания. 1—48.
* Сочинения А. Островского. 1—116.
Шиллер, томы V—VII. 49—64.
* Курс всеобщей истории для воспитанниц. Шульгина. 33—64.
* Исследования о торговле И. Аксакова. 53—88.
Истор[ическая] Библиотека, томы I—III. 2 листка.
Стихотворения Баева. 97—112.
Ороскоп кота. 1 листок.
* Украинские народные рассказы М. Вовчка. 1 листок.
Отчет СПБ университета за 1858 г. 2 листка.
Объявление (о протесте за евреев). 1 листок.
* Сочинения Бешенцова. 161—184.
Деревня, рассказы для юношества. 149—152.
* Жизнь помещика в старые годы. 1—40.

* Разные сочинения Аксакова. 1—32.
* Благонамеренность и деятельность. 1—12.
Песни Беранже, перевод Курочкина. 1—24.
Политика (1861). 1—22.

Данный список в печати еще не появлялся и заслуживает внимания как дополнение к спискам, опубликованным Е. Аничковым в I томе Сочинений Н. А. Добролюбова (СПБ. 1911). Мы отметили звездочкой те названия, которые в рукописи вычеркнуты карандашом. Эти краткие косые карандашные штрихи, зачеркивающие лишь начало слова, говорят о том, что Чернышевским была проделана над ними дополнительная работа или по внесению в новый список или по подсчету печатных листов. На полях первой страницы сбоку, вертикально, написано Чернышевским же: «Непостижимая странность», что является поправкой к неправильно данному им названию статьи в списке: «Необыкновенная странность» (см. 6-ю строку). Не отмеченные звездочкой названия статей Добролюбова, т. е. оставшиеся в рукописи неотчеркнутыми, очевидно, признавались Чернышевским второстепенными по своему значению. В число этих немногочисленных названий входит неизвестное нам доныне «Объявление (о протесте за евреев), 1 листок» в декабрьской книжке «Современника» за 1858 г., опубликованное там под заглавием «Известие» на стр. 303, перед самым оглавлением. Оно не подписано Добролюбовым, и лишь теперь устанавливается, благодаря нашему списку, что оно принадлежит именно ему.

Список хранится в Доме-музее Н. Г. Чернышевского в Саратове в обложке под названием «Мелкие заметки Н. Г. Чернышевского» (инв. № 4149). Он представляет собою автограф Чернышевского, размером в полулист, и занимает первую и четвертую страницы развернутого цельного листа. Внутренние страницы листа заняты еще следующими пометами, относящимися, повидимому, к тому же изданию сочинений Н. А. Добролюбова:

1) «1858 2 Милюков»; «остается и читано Жизнь Магомета»; «58 3 дерев[енская] жизнь помещ[ика] (детские годы Багрова).

2) «Книжки по 10 листов в 3.000 экз.

Стоимость по 20 рублей — 200 печать.

Бумага по 2 р. 50 — 3000 | 48
288 | 64
12

156 156

356 + брош. корр. = 400

Цена 50 коп.

По 20% уступки — 40 коп.

3
1200 800 р. книжка.

1200
240
960

60 листов 25 3 / 28 4 75* / 116

* Эта запись относится уже не к сочинениям Добролюбова; перед ней зачеркнуто: «Милль по 30».

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА ДОБРОЛЮБОВА И К ДОБРОЛЮБОВУ

I. ПЕРЕПИСКА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА с А. А. ЧУМИКОВЫМ и И. И. ПАУЛЬСОНОМ

Публикация К. Григоряна

Предлагаемые вниманию читателей письма Н. А. Добролюбова к А. А. Чумикову[1] и И. И. Паульсону[2] и письма последних к Добролюбову до сих пор не были опубликованы, за исключением первого письма Добролюбова к Чумикову (хотя частично были использованы отдельными исследователями). Все они относятся к периоду сотрудничества Добролюбова в «Журнале для Воспитания». «Журнал для Воспитания» начал выходить с января 1857 г.[3]. К этому времени и относится знакомство Добролюбова с издателем журнала А. А. Чумиковым. Первое упоминание в «Дневнике» о Чумикове находим в записи от 3 января 1857 г.[4]. В записи от 12 января Добролюбов следующим образом описывает свое первое знакомство с Чумиковым:

«Вчера вечером отправился я к Чумикову, издателю «Журнала для Воспитания». Накануне Гал[ахов], наш студент, сказал мне, что у него можно получить переводы с немецкого. Я пошел не столько имея в виду брать переводы, сколько предложить издателю свои услуги по части сочинения оригинальных статей»[5].

Во время первой встречи Чумиков произвел на Добролюбова далеко не благоприятное впечатление. В той же записи, от 12 января, читаем: «Сам Чумиков оказался простодушным, забитым человечком, несколько туповатым, скромным, имеющим притязания на честность, но по глупости, вероятно, не всегда честным»[6]. В беседе Чумиков выразил свое «откровенное признание... издавать журнал в либеральном духе».

Первое время Добролюбов взялся делать для журнала переводы с немецкого[7], но вскоре бросил и начал писать рецензии на отдельные труды педагогического характера, на детские книги и журналы. Сохранившийся набросок Добролюбова («О педагогических журналах»), где речь идет о «Журнале для Воспитания» и «Русском педагогическом Вестнике», очевидно, относится к его ранним опытам педагогических статей[8]. В 1858 г. редакция «Журнала для Воспитания» перешла к И. И. Паульсону.

Добролюбов писал рецензии и статьи в «Журнале для Воспитания» с самого начала его существования до 1859 г. включительно. Одновременно он сотрудничал в «Современнике» и нередко рецензии Добролюбова на одни и те же книги появлялись в обоих журналах. Совершенно очевидно, что «Современник» как идеологически более близкий ему журнал стоял всегда на первом месте. С 1858 г. Добролюбов становится активным деятелем «Современника», войдя в состав редакции журнала. Работая в редакции «Современника», он, однако, не порывает связи с «Журналом для Воспитания». Но чем дальше, тем больше он чувствует необходимость отдать целиком все свои силы «более нужному и спец-

ному делу в «Современнике». Этим последним обстоятельством обусловлены настроения и тон 2-го и 3-го письма Добролюбова к И. И. Паульсону. Недатированные письма Добролюбова, очевидно, относятся к последнему периоду сотрудничества Добролюбова в «Журнале для Воспитания», т. е. ко второй половине 1859 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Чумиков, Александр Александрович (1819—1902) — педагог, писатель. Основатель-издатель «Журнала для Воспитания». Автор «Первоначального чтения», «Этнографического очерка истории и культуры древних народов». Особым успехом пользовалась его книга «Наглядное обучение отечественному языку по наглядной методе».

[2] Паульсон, Иосиф Иванович (1825—1898)—автор «Книги для чтения» и ряда учебников. Сотрудник и участник «Журнала для Воспитания». С 1861 г. вместе с Н. Весселем начал издавать журнал «Учитель».

[3] «Журнал для Воспитания. Руководство для родителей и преподавателей», ежемесячный журнал. Изд. А. А. Чумиков. СПБ. Издавался в 1857—1859 гг. С 1860 г. носил название «Воспитание», с 1863 г. прекратил свое существование.

[4] См. «Дневник», М., изд. Об-ва политкаторжан, 1931 г., стр. 123.

[5] Там же, стр. 139.

[6] Там же, стр. 140.

[7] «Он [Чумиков] дал мне переводить начальные упражнения из Buch der Mutter Рамзауера, вовсе уж не либеральные и страшно скучные. Я их отдал ему назад, посоветовавши сократить побольше». «Дневник», стр. 140.

[8] Полн. собр. соч., под ред. Е. В. Аничкова, т. III, стр. 44—49.

1. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ — А. А. ЧУМИКОВУ

Многоуважаемый государь,
Александр Александрович!

И Вы и я позабыли о Дистерверге[1], когда я уходил от Вас. Через несколько дней я хотел к Вам заехать; но тут у меня, как нарочно, разболелись глаза. Болезнь до сих пор еще не совсем прекратилась, но писать я уже могу, и в пятницу, или не позже воскресенья, явлюсь к Вам с составленными мною разборами Архангельского[2], Подснежника[3] и еще двух или трех книжек. Перевод, если никому еще не отдали, тоже могу взять тогда.

С истинным уважением и преданностью имею честь быть
Ваш покорный слуга
Н. Добролюбов

3 марта 1858 г.

[1] Friedrich-Adolf-Wilhelm Disterweg (1790—1866)—известный немецкий педагог.

[2] Имеется в виду рецензия Добролюбова «Руководство к изучению словесности и к практическому упражнению в сочинениях. Составил С.-Петербургской Духовной Семинарии профессор магистр Михаил Архангельский. СПБ. 1857, ч. IV, 318 стр.». Была напечатана в «Современнике» за 1858 г. (кн. I — без подписи). Была помещена также в III книге «Журнала для Воспитания» за 1858 г. (отд. VIII—критика и библиогр., стр. 209—213) без подписи.

[3] Рецензия Добролюбова на «Подснежник» появилась в середине 1860 г. «Подснежник», журнал для детского и юношеского возрастов, издаваемый В. Н. Майковым. Год второй. С.-Петербург, 1859, кн. I—XII». «Журнал для Воспитания», 1859, № 5, стр. 284—286.

2. А. А. ЧУМИКОВ — Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

[Первая половина 1859 г.]

Милостивый государь,
Николай Александрович!

Отказ Ваш продолжать обозрения детских журналов нанес мне весьма чувствительный удар, вследствие которого я должен отказаться от продол-

жения печатания Вашей статьи и бросить уже набранную часть ее. Писать об одной Ишимовой не стоит, и где же я найду человека, который бы в 2, 3 дня согласился прочесть все прочие журналы и написать об них. Я охотно увеличил бы гонорар, если бы Вы только согласились разбирать вновь выходящие книги. Еслиб Вы могли представить только разбор Подснежника и журнала Чистякова [1], то еще не все погибло; об остальном достаточно сказать 2, 3 слова. В случае согласия, жду ответа

Ваш А. Чумиков

Посылайте все прямо ко мне, а не к г. Паульсону.



А. А. ЧУМИКОВ.
Фотография
Институт Литературы, Ленинград

[1] В № 12 «Журнала для Воспитания» за 1859 г. Добролюбов поместил общую рецензию «Обзор детских журналов: 1) Звездочка, журнал для детей, изд. А. Ишимовой. 1859 г. I—VI. 2) Лучи, журнал для девиц, изд. А. Ишимовой, 1859 г. I—VI. 3) Журнал для детей, изд. П. Чистяковым, 1859 г., №№ 1—24». Рецензия была напечатана без подписи в отделе критики и библиографии.

3. А. А. ЧУМИКОВ — Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Я заходил к Вам, Николай Александрович, 1 — чтобы расплатиться с Вами и 2 — узнать адрес брата покойного Н. Михайловского [1]. Я по Ва-

шей рекомендации поручил ему разбор детских журналов и так [как] некоторые из них не моя собственность, то мне необходимо выручить их.

Ваш А. Чумиков

Может быть сегодня около 6 час. я опять зайду к Вам за адресом.

На обороте:

Николаю Александровичу Добролюбову.

[1] Н. М. Михайловский, студент Главного Педагогического Института. Брат его—Яков [?].

4. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ—И. И. ПАУЛЬСОНУ

[Июнь 1859?]

Милостивый Государь, Иосиф Иванович!

По случаю уничтожения моей квартиры и разных хлопот при переходе на дачу, я никак не мог успеть приготовить обещанные Вам разборы к 10 мая. Теперь я принялся за присланные Вами книжки, но все-таки не могу Вам доставить разборов ранее воскресенья, т. е. 17-го числа. Прошу Вас простите мне это невольное промедление и, если не будет Вам обременительно, известите, не будет ли поздно уже для Вас это время?

Ваш Н. Добролюбов

Адрес мой тот же, что прежде, с прибавлением: в квартире Некрасова[1].

[1] Добролюбов переехал на новую квартиру рядом с Некрасовым в середине августа 1858 г. и жил там до начала июля 1859 г.

5. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ — И. И. ПАУЛЬСОНУ

[Начало июня 1859 г.]

Почтеннейший Осип Иванович!

У нас с «Совр[еменни]ком» совершеннейшая пытка, которая кончается сегодня. Если Вы можете подождать до понедельника, то я непременно Вам доставлю несколько разборов. Извините, пожалуйста, это последний месяц, кажется, у нас такие порядки; теперь должно бы все войти в свою колею. Во всяком случае — в понедельник я Вас увижу.

Вам преданный

Н. Добролюбов

Если успею что-нибудь завтра сделать, то пришлю тотчас.

6. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ — И. И. ПАУЛЬСОНУ

Милостивый Государь, Осип Иванович!

Сегодня я собирался вечером приехать к Вам и привести разборы пяти книг, готовые у меня для Журн[ала] для Воспитания; но был остановлен письмом от Вас, которое, приехавши с дачи, нашел у себя на столе. В нем Вы выражаете сожаление о моем нежелании участвовать в Ж. д. В., нежелании, которое я не изъявлял, и отказываетесь принять сотрудничество г. Щукина, которого я Вам не предлагал. Все это несколько удивило меня, ровно как и ваше мнение о молодости г. Щукина, препятствующей ему будто бы хорошо писать. Не зная способностей г. Щукина и не ручаясь

Милостивый Государь,

Александръ Александровичъ.

И вы, и я — позабыли о Дистервегѣ, когда я уходилъ отъ васъ. Черезъ нѣсколько дней я хотѣлъ къ вамъ воротить: но тутъ у меня, какъ нарочно, разболѣлись глаза. Болѣзнь до сихъ поръ еще не совсѣмъ прекратилась, но писать я и не могу, и въ пятницу, или — не позже воскресенья, явлюсь къ вамъ съ составленными мною разборами Архангельскаго, Подшивалова и еще двухъ или трехъ книжекъ. Переводъ, если вы никому еще не отдали, тоже могу взять тогда.

Съ истиннымъ уваженiемъ и преданностiю имѣю честь быть

Вашъ покорный слуга

Н. Добролюбовъ

3 мар.

1858.

ПИСЬМО Н. А. ДОБРОЛЮБОВА К А. А. ЧУМИКОВУ ОТ 3 МАРТА 1858 г.

Институт Литературы, Ленинград

в нем ни за что, даже за грамотность его, я полагаю более чем вероятным одно: то, что он не моложе меня. Что же касается до рекомендации его, то мне только остается, вместо ответа на все Ваши пространные доводы, спросить Вас: когда я рекомендовал Вам г. Щукина в сотрудники по библиографии, и даже — когда я Вам говорил о нем хоть одно слово?

В неаккуратности же моей прошу покорнейше Вас извинить меня: я вполне признаю свою вину и нахожу для нее единственное оправдание в том, что Ж. д. В. сам подал к ней повод. Редакция его уже не раз требовала от меня более, нежели сколько для нее нужно: я торопился, доставлял разборы, а они лежали в редакции по нескольку месяцев и помещаемы были по две странички в книжке. Наскучив наконец этой фальшивой тревогой, я, естественно, перестал торопиться и уже не хотел бросать, для воображаемой надобности, действительно-нужного и спешного дела в «Современнике». На этот раз тревога, как оказалось, не была фальшивою. Я ошибся и — повторяю еще раз признаю свою вину (хотя до 1-го числа осталось еще 14 дней и след. если хотите, Вам нет необходимости выпускать книжку без библиографии, когда разборы уже готовы).

Книжки, бывшие у меня из редакции Ж. д. В., я теперь вдруг собрать не могу, потому что не хорошо помню, сколько их и какие у меня находятся, и притом все книги у меня уложены по случаю сборов моих, для переезда на новую квартиру. Не можете ли Вы прислать их списочек, и я Вам тогда возьму их из книжного магазина, что для меня в настоящую минуту гораздо легче, чем рыться у себя в ящиках. Или еще лучше, — если Вам так неотлагательно нужны эти книги, то благоволите сами взять их от Исакова, цену же их вычесть из той суммы, которая следует мне за напечатанные уже в Ж. д. В. разборы, мною писанные.

Готовый к услугам

Н. Добролюбов

17 июня [18]59 г.

P. S. Сейчас я пробежал опять Ваше прежнее письмо. Вы в нем пишете, чтобы приготовить рецензию к четвергу. Теперь я догадался, что Вы разумели (вероятно) прошедший четверг; но письмо Ваше попало ко мне в руки в четверг вечером, и потому естественно, что я разумел под четвергом вчерашний четверг, к которому и старался приготовить просимые Вами рецензии. К сожалению, я опоздал.

7. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ — И. И. ПАУЛЬСОНУ

[Первая половина 1859 г.]

Почтеннейший Иосиф Иванович!

Никак не мог сегодня собраться к Вам. Посылаю Вам, что у меня есть готового. Разбор стих. Федорова написано для Ж. д. В. [1], — я думаю в начале года, и теперь, может быть, уже и поздно печатать его. Но если Вы хотите поместить, то оговоритесь как-нибудь или приткните его к разбору другой детской книжки. А то и вовсе бросьте: в нем кажется ничего путного нет. Если Вам нужна книга Куртмана, то скажите об этом подателю этой записки: я Вам пришлю ее, а вместе с тем и другие книги, оставшиеся покамест у меня.

Передайте Александру Александровичу [2] мое почтение и сожаление, что я до сих пор не успел с ним видеться. Если можете исполнить мою вчерашнюю просьбу, то вручите деньги моему человеку: они будут верно доставлены.

Ваш Н. Добролюбов

[1] Рецензия Добролюбова: «Стихотворения для детей, от младшего до старшего возраста, расположенные в двадцати двух отделах, соч. Б. Федорова. Издание второе. Две части. С.-Петербург. 328+316 стр.» — была помещена в «Журнале для Воспитания» за 1859 г. № 10, стр. 233—234, без подписи.

[2] А. А. Чумикову.

8. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ — И. И. ПАУЛЬСОНУ

[Первая половина 1859 г.]

Что же мне делать, почтеннейший Иосиф Иванович! Я по получении Вашего письма, отослал к А. А. конец разбора Звездочки и отказался от дальнейшей работы. Если Вас это затрудняет, то я к завтрому доставлю Вам еще разбор журнала Чистякова [1], но более ничего не могу.

Вам преданный

Н. Добролюбов

[Рукою Чернышевского]
16 ноября 1859?
1860?

[1] См. комментарии к письму 2-му.

9. И. И. ПАУЛЬСОН — Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Почтеннейший
Николай Александрович,

За присылку разборов очень Вам благодарен. Французские книги, доставленные к Вам от Исакова, потрудитесь разобрать; разборы эти назначены для январской книжки Ж. д. В. Только впредь покорнейше прошу Вас посылать работы Ваши прямо к А. А. Чумикова [у], потому что с нового года я в редакции Ж. д. В. более участвовать не буду. Претензии А. А. становятся все больше и больше; а мне, откровенно признаться, порядком надоело быть батраком другого, — да притом за самое ничтожное вознаграждение. Прося Вас сохранить ко мне Ваше дружеское расположение, остаюсь всегда готовым к услугам Вашим

И. Паульсон

16 ноября

На обороте:

«Его Высокоблагородию
Г-ну Добролюбову.
от О. И. Паульсона».

10. И. И. ПАУЛЬСОН — Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Посылаю Вам два нумера Северной Пчелы; в одном Вы найдете французско-русский виц [1] насчет «Современника», а в другом возражение Миллера-Красовского [2] рецензентам книги его. Мне кажется, что не мешало бы принять в соображение эту статью при разборе его книги для «Журнала д. Восп.».

Надеюсь, что Вы к 10-му или 12-му числу этого месяца пришлете несколько разборов.

Готовый к услугам Вашим

И. Паульсон

2 августа [1859 г.]

[1] На этом месте сверху слова «виц» рукою Чернышевского: «виц, т. е. Witz».

[2] Ответ Н. А. Миллер-Красовского своим рецензентам был помещен в «Северной Пчеле» от 4 июля 1859 г. (№ 142): «Педагогическая истина (ответ на ре-

цензию фельетона в № 110 «С.-Петербургских Ведомостей»). Н. А. Миллер-Красовский, автор «Основных законов воспитания, Гатчино, 26-го июня 1859 г.» Н. А. Миллер-Красовский к своему ответу сделал следующее примечание:

«Примечание. Сегодня мы прочли в № 6-м «Современника» рецензию на нашу книгу. Не желаем и не можем здесь сказать о ней ничего положительного, потому что господин рецензент грубо нарушил последние приведенные нами истины. Редакция «Современника» не только выказала свое пренебрежение к умственному труду, она еще усвоила себе право судить о вещах, которых, как видно, решительно не понимает, или, что еще хуже, понимать на хочет».

Резкая рецензия Добролюбова на книгу Миллер-Красовского «Основные законы воспитания» была помещена в «Современнике» в № 6, за 1859 г. В архиве Н. А. Добролюбова мы нашли экземпляр «Педагогической истины» без вышеприведенного «примечания», посланный Миллер-Красовским в редакцию «Современника» с «покорнейшей просьбой поместить» на страницах журнала. Ответ, конечно, в «Современнике» не был помещен. Вторая рецензия Добролюбова на «Основные законы воспитания» была напечатана в «Журнале для Воспитания» за 1859 г. в № 9, стр. 154—155, без подписи.

11. И. И. ПАУЛЬСОН — Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Милостивый Государь,
Николай Александрович!

Александр Александрович Чумиков (который на днях возвратился) очено желает, чтобы № 10 Журн. д. Восп. был окончен до 1 октября; поэтому я принужден опять потревожить Вас относительно разборов. Не можете ли Вы прислать мне хоть разбор «Шварц-Куртмановой книги о воспитании». У меня есть уже разбор одной книги, да кроме того я нашел еще у себя Ваш разбор «Стихотворений Б. Федорова» [1]; не знаю, как он попал в одну тетрадь «Бесед Пчельниковой» [2], только думаю, что Вы его во всяком случае назначали для нас. Жду ответа Вашего с нетерпением: последний срок— суббота 19-го сент[ября].

Готовый к услугам Вашим
И. Паульсон

С. П. Б.
Среда, 16 сент[ября] [18]59 г.

P. S. Вместе с разборами пришлите, пожалуйста, и самую книгу «Шварц Куртмана»; она принадлежит не редакции, а мне, и иной раз нужна для справок.

[1] См. примечание к письму 7-му.

[2] Отзывы Добролюбова на «Беседы с детьми А. А. Пчельниковой» были помещены в №№ 5 и 7 «Журн. для Воспитания» за 1859 г.

12. И. И. ПАУЛЬСОН—Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Милостивый Государь,
Николай Александрович!

Потрудитесь уведомить меня, можете ли Вы доставить нам несколько разборов не позже 8-го числа сего месяца, или нет. Вместе с тем будьте столь добры, пришлите мне «Руководство Шварца-Куртмана»; она мне теперь очень нужна.

Всегда готовый к услугам Вашим
И. Паульсон

2 ноября [18]59 г.

№ 3

Милостивый Государь
Осипъ Ивановичъ

Сегодня я собирался вечеромъ пріѣхать къ Вамъ и привезти разборы пяти книгъ, готовые у меня для Журн. для Воспитанія; но былъ остановленъ письмомъ отъ Васъ, которое, пріѣхавши съ дачи, нашелъ у себя на столѣ. Въ немъ Вы выражаете сожалѣніе о моемъ нежеланіи участвовать въ Ж. д. В., нежеланіи, котораго я не изъявлялъ, и отказываетесь принять сотрудничество г. Щукина, котораго я Вамъ не предлагалъ. Все это несколько удивило меня, равно какъ и ваше мнѣніе о молодости г. Щукина, препятствующей ему будто бы хорошо писать. Не зная способностей г. Щукина и не ручаясь въ немъ ни за что, даже за грамотность его, я полагаю болѣе чѣмъ вѣроятнымъ одно: то, что

ПИСЬМО Н. А. ДОБРОЛЮБОВА К И. И. ПАУЛЬСОНУ ОТ 17 ИЮНЯ 1859 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Литературы, Ленинград

онъ не можетъ лгать. Что же касается до рекомендаціи его, то мнѣ только остается, вмѣсто отвѣта на всѣ ваши пространные доводы, спросить Васъ: когда я рекомендовалъ Вамъ г. Щукина въ сотрудники по библіографіи, и даже — когда я Вамъ говорилъ о немъ хоть одно слово?

Въ заключеніе же моей прошу покорнѣйше Васъ извинить меня: я вполнѣ признаю свою вину, и на долю для нея единственное оправданіе въ томъ, что М. Д. В. самъ подалъ къ ней поводъ. Редакція еще не разъ требовала отъ меня болѣе, нежели сколько для нея нужно. Я торопился, доставлялъ разборы, а они лежали въ редакціи по нѣскольку мѣсяцевъ и помѣщались лишь по двѣ странички въ книжкѣ. Наскучивъ наконецъ этой сравнительной тревогой, я, естественно, перестал торопиться и уже не хотѣлъ бросать, для воображаемой надежды, для

ПИСЬМО Н. А. ДОБРОЛЮБОВА К И. И. ПАУЛЬСОНУ ОТ 17 ИЮНЯ 1859 г.
ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Институт Литературы, Ленинград

тельно-научного и статистического дела въ „Совре-
менникъ". На этотъ разъ тревога, какъ
оказалось, не была сравнительно, я о-
шибся и — повторяю еще разъ при-
шлю свою [illegible] до 1-го числа
осталось еще 14 дней и след., если
хотите, Вамъ нѣтъ необходимости
выпускать книжку безъ библіографіи,
когда разборъ уже готовъ).

Книжки, бывшія у меня изъ редак-
ціи М. д. В., я теперь вдругъ собрать
не могу, потому что не хорошо
помню, сколько ихъ и какія у меня
находятся, и притомъ всѣ книги
у меня уложены по случаю сборовъ
моихъ для переѣзда на новую квар-
тиру. Не можете ли Вы прислать
мнѣ ихъ списочекъ, и я Вамъ
тогда возьму ихъ изъ книжнаго
магазина, что для меня въ насто-
ящую минуту гораздо легче, чѣмъ
рыться у себя въ ящикахъ. Или
еще лучше, — если Вамъ какія

ПИСЬМО Н. А. ДОБРОЛЮБОВА К И. И. ПАУЛЬСОНУ ОТ 17 ИЮНЯ 1859 г.
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА
Институт Литературы, Ленинград

ПИСЬМО Н. А. ДОБРОЛЮБОВА К И. И. ПАУЛЬСОНУ ОТ 17 ИЮНЯ 1859 г.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА

Институт Литературы, Ленинград

II. ПЕРЕПИСКА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА С И. А. ПАНАЕВЫМ

Публикация С. Рейсера

ДОБРОЛЮБОВ — И. А. ПАНАЕВУ[1]

1

[9—10 апреля 1859 г.]

Ипполит Александрович,

Василий Александрович Федоровский обратился ко мне с просьбою, изложенною в записке, которую Вы прочтете на обороте этого листа. Ник[олай] Алексеич назначил ему сто рублей; если можно, потрудитесь послать ему — (в Бронницкой, бывшей Госпитальной улице, в доме купца Родимцева, д. № 9, кварт. № 2). Кажется это не так далеко от Вас. Впрочем я пишу ему Ваш адрес и что он может Вас застать завтра утром.

Ваш Н. Добролюбов

P. S. Покорно Вас благодарю за присылку денег.

2

Почтеннейший Ипполит Александрович,

В марте еще просил я Вас посылать «Совр[еменни]к» в кредит учителю вятской гимназии Мих. Ив. Шемановскому[2]. Вы мне обещали записать его в список и послать ему «Совр[еменни]к» немедленно, т. е. с апрельской книжкой. Но сегодня получил я от него жалобы и упреки, что я не хотел исполнить его просьбы. Сделайте милость, велите справиться о нем Звонареву, и если не посланы книжки, то нельзя ли послать их ему теперь? Вы меня этим очень обязали бы.

Ваш Н. Добролюбов

24 мая [1859 г.]

3

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Николай Алексеич просит Вас выдать 100 р. в счет «Исторической Библиотеки», за перевод Шлоссера, г. Вейнбергу, для г. Дениша.

Ваш Н. Добролюбов

26 июня [1859 г.][3]

4

[Июнь 1859 г.]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

г. Звонарев сказал мне, что «Совр[еменни]ка» осталось всего экземпляров 40; так не объявить ли в июл[ьской] книжке о прекращении подписки или по кр[айней] мере на обертке вместо: «выходит в 1859 г. подписка принимается и пр.»..., не поставить ли — в 1860 г. Книжка выйдет не ранее, как через неделю, а в провинцию попадет через две[4]. В это время у нас выйдет еще экземпляров 10 — 15, значит останется 25 — 30. Вероятно, это количество нужно иметь для удовлетворения жалоб. Впрочем, это можно решить еще через неделю.

Ваш Н. Добролюбов

5

[Июнь—июль 1859 г.]

Ипполит Александрович,

Николай Гаврилович просит Вас, если можно, послать 200 рублей г. Д. Михаловскому в Ревель, с такими рассрочками чтобы 100 доставить те-

перь, а еще 100 через месяц. Не можете ли Вы прислать мне или Николаю Гавриловичу эти деньги?

Еще просит Ник. Гаврилович послать в Париж, по след[ующему] адресу: Mr. Alexandre Pypine, Paris, Quai Voltaire, Hôtel Voltaire, 19 — «Историческую Библиотеку» и книжку стихотворений Некрасова, которую поручите Звонареву взять у Николая Гаврилыча.

Ваш преданный
Н. Добролюбов

P. S. «Совр[еменни]к» не будет ранее завтрашнего дня: цензура задержала.

6

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Несколько денежных просьб к Вам.

1) Ник. Гавр. просит выслать деньги в Ревель, Михаловскому (по адресу, имеющемуся у Вас); эти деньги следуют ему за переводы, сделанные для «Ист. Библ.».

2) Обещаны Николаем Гавр. деньги — 75 руб., Влад. Ник. Обручеву [6] — тоже за перевод Шлоссера: этих денег он очень желает и потому не можете ли их прислать поскорее — или ко мне, или к нему — в Морской, дом Кувшинникова, № 9, кварт. № 5.

3) Первого числа Ольга Сократовна [Чернышевская] желает получить 250 р.

Четвертая просьба — собственно от меня. Если Вам возможно по состоянию финансов, то выручите меня — пришлите 200 р. Если же нет, то не можете ли дать 100?

Я живу теперь в Моховой, дом Гутковой, № 7, кварт. № 1. Не могу к Вам приехать сам, потому что завален корректурами и пр.

Ваш Н. Добролюбов

29 июля [1859 г.] [7]

7

[Конец июля 1859 г.]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Нужда в деньгах у меня крайняя: я нанял квартиру и должен внести вперед за треть деньги; я купил мебель и дал задаток, — а доплатить нечем. Кроме присланных Вами, мне решительно необходимо еще 200 р. с. утром в понедельник. Николай Алексеич говорил, что если денег «Совр[еменни]ка» будет мало, то я могу получить и з е г о д е н е г, сколько мне будет нужно. Сделайте одолжение, не откажите мне; он на этой неделе должен приехать, и тогда мы сведем наши счеты.

8

[Конец июля 1859 г.] [8]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

На днях я взял из конторы от Давыдова 100 р. Но расходы мои только еще начинаются, и потому я снова прибегаю к Вам с убедительнейшею просьбой прислать мне 200 рублей. Если тут и пойдет мне несколько денег уже вперед, то я их заработаю, вероятно, в этом же месяце.

Ваш Добролюбов

Не можете ли прислать мне деньги в субботу? Мне очень нужно.

Пятница утром.



И. А. ПАНАЕВ С ДОЧЕРЬЮ.
Фотография

На обороте надпись: «Матвею Степановичу Лалаеву Ипполит Панаев и его дочка. 29 окт[ября] 1861 года»

Институт Литературы, Ленинград

9

[Июнь — август 1859 г.] [9]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

В. Н. Обручев, очень нуждаясь в деньгах, просит, нельзя ли дать ему рублей 100 в счет представленного им (но еще не напечатанного) перевода из Шлоссера. Если есть какая-нибудь возможность, то, пожалуйста, дайте ему денег: Николай Гаврилович, уезжая, очень просил, чтобы по мере возможности, удовлетворить Обручева.

Ольга Сократовна [Чернышевская] также желает получить рублей 100 или хоть 50, если можно.

Ваш Н. Добролюбов

10

[Август 1859 г.] [10]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Николай Гаврилович, уезжая, просил меня передать Вам просьбу о посылке денег Пыпину, когда тот пришлет письмо. Вчера получил я от Пыпина письмо с просьбою 150 р., которые ему очень нужны в скором времени. Деньги эти на счет Николая Гавриловича; послать их надо взявши век-

сель у Штиглица и вложивши его в lettre recommandée, с адресом m-r. Al. P., Paris, Quai Voltaire, Hôtel Voltaire 19. Сделайте милость, если есть какая-нибудь возможность, поспешите высылкой, потому что Пыпин пишет, что пробудет в Париже только до 1-го сент[ября] нового стиля.

Ваш Н. Добролюбов

11

[Сентябрь (?) 1859 г.][11]

Очень Вам благодарен, Ипполит Александрович, за присылку денег. Чернышевскому сейчас отправляю его часть.

Я Вам говорил как-то о г. Стопакевиче, который читал корректуру сентябрьской книжки и более не читает. Ему нужно прибавить 20 рублей. Я не видал его и не знаю, где он живет, потому не мог прислать его к Вам, но знаю, что он нуждается, и потому прошу Вас послать деньги в типографию Вульфа: ему известен адрес Стопакевича.

Другая к Вам просьба: объясните, пожалуйста, — посланы ли второй раз деньги в Ревель Михаловскому. Это должно быть в начале августа. Вы обещали послать, и я ему написал, что деньги посылаются. Он ждал их, не дождался, приехал сюда, виделся с Вами, но не знает до сих пор, не гуляют ли его деньги где-нибудь по почтамтам.

Ваш Н. Добролюбов

12

[1859 г.][12]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Нам с Черн[ышевск]им очень нужно достать по 100 рублей. Не можете ли прислать сегодня? Для Черн[ышевск]их я уже взял на прошлой неделе 100 р. у Николая Алексеевича; запишите их пожалуйста в счет Н[иколая] Гав[риловича].

Ваш Н. Добролюбов

Деньги Вы можете отдать моему человеку: он верно доставит их. А распишусь я после при свидании с Вами, или когда Звонарев зайдет ко мне.

13

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Ольга Сократовна поручила мне попросить у Вас денег, которых она давно ожидает. 100 р. я им передал 5-го числа, а затем они, кажется, ничего не получали. Если можно, то не мешало бы и мне рублей 50.

В этой книжке напечатан рассказ С. Т. Славутинского: «Трифон Афанасьев»[13]. Он желает получить денег, которых ему следует 137 р. 50 к. Живет он в Москве (адрес у Звонарева), и потому не можете ли послать записку к Базунову о выдаче тех денег. Нельзя ли меня уведомить об этом хоть завтра; в субботу я буду писать к Славутинскому.

Ваш Н. Добролюбов

10 сент[ября 1859 г.]

14

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Вы обещали мне, когда будет нужно, прислать деньжонок: я думаю теперь Вы можете прислать мне рублей 150 или хоть 100, — сегодня или завтра, я буду Вам очень благодарен.

Нельзя ли также сказать Звонареву, чтоб он спросил у переплетчика дефектных листов статьи Де-Пуле, из август[овской] книжки: в типографии их нет [14].

Ваш Н. Добролюбов

7 ноября [1859 г.]

Если Вы получили ноя[брьский] номер «Вестника Промышленности» и «Морского сборника», то пришлите их мне: они для меня нужны теперь.

15

[Конец февраля 1860 г.] [15]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Я забыл Вам сказать, что в 1 № С[овременник]а в библиографии две страницы принадлежат г. Колбасину; сколько платить ему, спросите у Николая Алексеевича.

В нынешнем же 2-м №, 12 страниц написаны г. Антоновичем, которому можно платить пока по 30 р. [16].

Скажите, как Вы платите корректору, — по типографскому счету, или по авторскому, т. е. за запрещенные листы ничего? Ему бы надо по типографскому.

Получили ли Вы от Ивана Ивановича адрес Турбина и послали ли ему следующие деньги за статьи в «Совр[еменни]ке» 1856 и 1857 г.? [17].

Я оставил у Некрасова повестку, по которой доверяется получить Звонареву: когда он получит, велите ему поскорее доставить мне и пришлите тут же мне рублей 250, а если можно, то и 300; в следующий месяц пришлете уж 200.

Ваш Н. Добролюбов

16

[Март 1860 г.] [18]

Почтеннейший Ипполит Александрович,

Сделайте одолжение, — и Николай Алексеевич просит Вас, — пошлите, пожалуйста, завтра утром, да непременно завтра — записку к Базунову, чтобы он немедленно по востребованию выдал пятьсот (500) рублей Славутинскому. Это очень нужно, пожалуйста, исполните.

Прилагаемая повестка от Сл[авутинско]го: велите ее получить поскорее. Она нужна для «Современника».

Ваш Н. Добролюбов

Я думаю — можно и без засвидетельствования моей руки в полиции: ведь Звонарева знают на почте.

17

[Январь — май 1860 г.] [19]

Ипполит Александрович,

Статью о лихоимстве можно бы напечатать, переделавши несколько и сократившии втрое; а то в ней ужасно много ненужностей всякого рода.

Посылаю Вам письмо ред. «Вол. Вест.». Что оно значит и что с ним делать?

Нет ли у Вас статьи в роде рецензии на минералогию Наумана? Она передана в контору, и о ней уж справлялись, а я ее не видывал.

Ко мне ошибкой принесли на днях письма от подписчиков, и я просмотрел их: сколько жалоб!

Ваш Н. Добролюбов

И. А. ПАНАЕВ — Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ[20]

18

Почтеннейший Николай Александрович, потрудитесь подателю сей записки отдать статью Ренненкампфа: ответ на диссертацию Словатинского. Ее у меня все спрашивают[21].

Я справился: Плещееву и Славутинскому «Современник» послан через газетную экспедицию.

Ваш преданный слуга
Ипполит Панаев

18 февраля 1860 г.

19

14 декабря [1860] стар. стиля
Петербург

Почтеннейший Николай Александрович, Николай Гаврилович сообщил мне на днях, что Вам следует послать во Флоренцию пятьсот руб. серебром. Я послал к банкиру Венсисну [?] пятьсот рублей, из которых составился mandat в 1872 фран. 50 сантимов, на имя Ваше (на банкир. Pillet—Wolls), который при сем и посылаю сегодня.

Желаю Вам от всего сердца поправляться в здоровьи

С истинным уважением
Остаюсь Ваш покорный и преданный слуга
Ипполит Панаев

О получение mandat потрудитесь уведомить.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящие письма Н. А. Добролюбова адресованы Ипполиту Александровичу Панаеву (1822 — 1901). Инженер по образованию, родственник редактора «Современника» И. И. Панаева, И. А. Панаев с 1856 г. заведывал конторой и хозяйственной частью «Современника», пользуясь большим и заслуженным доверием Н. А. Некрасова. Тем не менее и несмотря на свои родственные отношения с И. И. Панаевым, Ипполит Александрович стоял довольно далеко от редакторского кружка «Современника». Характерно, что, по свидетельству Н. Г. Чернышевского, на еженедельных обедах, которые Некрасов устраивал для ближайших сотрудников «Современника», И. А. Панаев никогда не присутствовал (Н. Г. Чернышевский, Литературное Наследие, т. III, стр. 472—473). Естественно, что при таких условиях переписка Добролюбова с Панаевым, равным образом как и переписка с ним Чернышевского (см. там же, т. II, стр. 396—397 и т. III, стр. 649), имела исключительно деловой характер.

[1] Эта и следующие 16 записок печатаются впервые, по автографам Пушкинского Дома Академии Наук СССР. Шифр: 5031, XXVI б. 123.

Письмо написано на обороте следующего обращения к Добролюбову: «Милостивый Государь, Николай Александрович, надеюсь, что не обеспокою Вас двумя строками. Будьте так добры, уведомьте меня к кому и в какое время я должен обратиться за получением следующего за статью мою гонорария.. Покорнейше прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности. Готовый к услугам Вашим В. Федоровский. 9 апреля».

Посвященная разоблачениям злоупотреблений Кокорева, статья В. Федоровского («Подольско-Витебский откуп — не повесть») была напечатана в мартовской книжке «Современника» за 1859 г.

По поводу этой статьи М. И. Шемановский 11 мая писал Добролюбову: «Статья Федоровского здесь производит фурор — здесь есть лица, знающие Кокорева лично; они удивляются его, т. е. Кокорева, нахальной лжи. Жадовский живет здесь — он сослан за жестокое обращение с крепостными людьми, на что и намекает Кокорев в своем оправдании. Как я слышал, Жадовский хочет уличить Кокорева печатно во лжи, даже с напечатанием документов. Не статья ли Федоровского была поводом к запрещению, — печатать об откупах?» См. мою публикацию писем М. Н. Шемановского к Добролюбову в «Литературном Критике», 1936, № 2, стр. 140 сл.

Добролюбов был очень заинтересован в получении статьи Жадовского (владельца винокуренного завода. У него одно время служил Кокорев). 24 мая

Иванъ Александровичъ

Николай Гавриловичъ проситъ Васъ, если можно, послать 200 рублей г. Д. Михайловскому въ Ревель, съ такими разсрочками: чтобъ 100 доставить теперь, а еще 100 черезъ мѣсяцъ. Не можете ли Вы прислать мнѣ или Николаю Гавриловичу эти деньги?

Еще проситъ Ник. Гаврилычъ послать въ Парижъ по слѣд. адресу: Mr Alexandre Pypine, Paris, Quai Voltaire, Hôtel Voltaire, 19, — Историческую библіотеку и книжку стихотвореній Некрасова, которую поручите Звонареву взять у Николая Гавриловича.

Вашъ преданный
Н. Добролюбовъ

P.S. Соврем. не будетъ раньше вторника: цензура задержала.

ПИСЬМО Н. А. ДОБРОЛЮБОВА К И. А. ПАНАЕВУ
ОТ ИЮНЯ — ИЮЛЯ 1859 г.
Институт Литературы, Ленинград

в ответном письме к М. И. Шемановскому читаем: «Если можешь иметь какое-нибудь влияние, посредственное или непосредственное — на решение Жадовского, то употреби все усилия, чтобы он написал что-нибудь и прислал в «Современник».. Голос Жадовского в этом деле очень важен» («Материалы...» стр. 509—510). Статья Жадовского в «Современнике» не появилась.

[2] Дата определяется почтовым штемпелем: «26 мая 1859». На обороте рукой Добролюбова: «Его высокоблагородию, Ипполиту Александровичу Панаеву. На углу Загородного Проспекта и Подольской улицы, в доме Кузьмина. Очень нужное». Письмо является ответом на письмо М. И. Шемановского от 11 мая (не издано, ИРЛИ), о котором Добролюбов упоминает в своем ответе ему 24 же мая: «Друг мой Миша, отвечаю тебе тотчас по получении твоего письма... Относительно «Современника» виновата должно быть почта. Через несколько дней по получении твоего письма, то есть в половине, кажется, марта, я сообщил в контору о твоем желании, тебя записали в список и ты должен был получить первые три номера вместе с апрельским. Не далее, как во вторник я справлюсь об этом деле, и тебе книжки будут высланы непременно (если уже не высланы)». («Материалы...», стр. 509).

На обороте публикуемого письма находим следующую справку, являющуюся ответом на запрос Добролюбова: «В Вятку, г. учителю гимназии Шемановскому сдан в газетную экспедицию 21 марта по перес. № 9-й заменен № 2442 в Вологод. губ. Дор. [?] и Строит. Комиссию».

[3] В конце письма пометка: «30 июня выдано 100 руб. под расписку».

[4] Июльская книжка «Современника» разрешена цензурой 1 июля, таким образом публикуемое письмо следует датировать двадцатыми числами июня (примерно за неделю до выхода книжки). К 1860 г. письмо относиться не может, так как Добролюбов в это время уже был за границей.

[5] По связи со следующим письмом датируем июнем—июлем 1859 г. Эта дата подтверждается упоминанием имени Пыпина, жившего как раз в это время в Париже (см. «Мои заметки», М. 1910, стр. 112, 117 и сл.) — Деньги Д. Л. Михаловскому посылались за участие в переводе Шлоссера в «Истор. Библиотеке». См. письма 6 и 11.

[6] В письме контаминированы Владимир Александрович и Николай Николаевич Обручевы. Речь идет о принимавшем участие в переводе Шлоссера Н. Н. Обручеве. Те же описки в письме 9-м.

[7] Датируем концом июля 1859 г., так как именно в это время Добролюбов переехал в новую квартиру по Моховой ул. № 7, кв. 1. См., например, письмо к М. И. Шемановскому от 6 августа («Материалы...», стр. 526). Ср. также следующее письмо.

[8] Датируем 1859 г. — предположительно концом июля — временем больших расходов в связи с переездом на новую квартиру. На письме пометка карандашом неизвестной рукой: «1859».

[9] Относится, вероятно, ко времени пребывания Чернышевского в Лондоне или Саратове в июне—августе 1859 г. (См. «Лит. Наследие», т. II, стр. 287 и 366). Ср. также примечание 6-е.

[10] А. Н. Пыпин был в Париже около апреля 1858 и во второй половине 1859 г. (См. «Мои заметки», М. 1910, стр. 112—117 и сл.) Чернышевский же по возвращении из Лондона уехал в Саратов (конец июля) и пробыл там до первых чисел сентября (См. «Литер. Наследие», т. II, стр. 366 и 287). Сопоставляя эти данные и просьбу поспешить отправкой денег, относим письмо к августу 1859 г.

[11] На основании упоминания времени посылки денег Д. Л. Михаловскому предположительно датируем записку временем после августа 1859 г. Ср. письма 5 и 6.

[12] Датируем 1859 г. по положению в папке. В конторской книге «Современника» за 1860 г. нет записей об одновременной выдаче Чернышевскому и Добролюбову по 100 р. Конторская книга за 1859 г. не сохранилась.

[13] Рассказ С. Т. Славутинского «Жизнь и похождения Трифона Афанасьева» напечатан в сентябрьской книжке «Современника» за 1859 г. Настоящей запиской определяется точная дата (12 сентября) письма Добролюбова к С. Т. Славутинскому. См. «Огни». Книга первая, II, 1916, стр. 48—49.

[14] Статья Де-Пуле «Об историческом изучении русского языка. Опыт исторической грамматики русского языка Ф. И. Буслаева. М. 1859» напечатана в кн. VIII «Современника» за 1859 г.

[15] Вторая книжка «Современника» за 1860 г. имеет цензурное разрешение 23 февраля и, стало быть, вышла в свет в конце месяца. Настоящим письмом устанавливается принадлежность — Е. Я. Колбасину — следующей рецензии в 1-й книжке «Современника»: «Десятилетие императорской публичной библиотеки». СПБ. 1859 г.—«Путеводитель по императорской публичной библиотеке». СПБ.

1860 г. («Новые книги», стр. 114—116). Сотрудничество Е. Колбасина в 1-й книжке подтверждается также соответствующей записью в конторской книге за 1860 г.

[16] Антоновичу принадлежит рецензия: «Византийские историки, переведенные с греческого языка при Спбургской духовной академии под ред. проф. Карпова. Т. I и II. СПБ. 1858—1859 гг.». Статья эта значится в так называемом «списке Чернышевского» и на этом основании была включена в издание Е. В. Аничкова (см. т. VI, стр. 494—507 и 522, ср. т. I, стр. 16). В издание М. К. Лемке статья не вошла). В конторской книге «Современника» за 1860 г. личного счета Антоновича нет. В рукописном отделении Государственной Публичной Библиотеки в Ленинграде (бумаги Добролюбова, № 4, л. 2, л. 69—70) хранится рукопись начала рецензии, написанная рукой М. А. Антоновича, однако, существенно выправленная Добролюбовым. Тем не менее характер правки и ее размеры таковы, что включать статью в основной текст собрания сочинений Добролюбова неправомерно.

[17] Турбин С. И. (1821—1884)—журналист и драматург. В 50-х годах поместил в «Современнике» ряд очерков под общим заглавием: «Рассказы бывалого».

[18] Датируем мартом 1860 г. Как раз в это время Славутинский просил Некрасова о выдаче ему через Базунова 500 рублей. («Огни», I, П. 1916, стр. 73 и 74—75). Одновременно с просьбой об авансе Славутинский выслал очередное внутреннее обозрение: вероятно, о получении его на почте и пишет Добролюбов.

Деньги Славутинский получил; об этом он писал Добролюбову 7—9 апреля 1860 г. (там же, стр. 75). Однако, в конторских книгах «Современника» за 1860 г. эта запись не отражена. Есть лишь запись о выдаче 500 руб. Славутинскому 31 декабря через контору Базунова в Москве.

[19] Датируем первой половиной 1860 г. (до отъезда Добролюбова за границу) по положению в папке.

[20] Это и следующее письмо И. А. Панаева к Добролюбову печатаются впервые по автографам Пушкинского Дома. Шифр: 2109, ХС. Княжнин, № 281.

[21] И. А. Панаев имеет в виду книгу А. В. Романовича-Словатинского «Исторический очерк губернского управления от первых преобразований Петра Великого до учреждения губерний в 1775 г.» Киев, 1859. Статья Н. К. Ренненкампфа об этой книге нам неизвестна.

III. ПИСЬМА Н. А. НЕКРАСОВА К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Публикация Н. Чернышевской

Публикуемые письма Н. А. Некрасова к Н. А. Добролюбову найдены в письмах Н. Г. Чернышевского к Добролюбову. Оба письма до сих пор не появлялись еще в печати. Они являются дополнением к напечатанным недавно в пятом сборнике «Звенья» (М. 1935) письмам Некрасова к Добролюбову. Оба письма относятся ко времени пребывания Добролюбова за границей. Они не датированы, но даты легко определяются одновременными письмами Чернышевского, служащими как бы обложками для них. В постскриптуме письма Чернышевского от 23 июня 1860 г. имеется приписка: «Пишу собственно потому, что представилась оказия — Ник[олай] Алексеевич сказал, что собирается писать Вам о каких-то нужных вещах». (Н. Г. Чернышевский, «Литературное Наследие», т. II, стр. 363). Следовательно, письмо Чернышевского лишь добавление к письму Некрасова. «Нужные вещи»,—это, конечно, разрешение Некрасова-редактора Добролюбову—сотруднику «Современника»—продлить срок пребывания за границей для поправки здоровья.

Второе письмо вложено в письмо Чернышевского от 25 мая 1861 г. В письме Чернышевского опять говорится: «Некрасов прилагает свою записочку. В ней, как вижу, отказывается он от издания Волчка, — но это можно сделать и нам с Вами без него, если с Кож[анчиковым] Маркович не сойдется».

По поводу этого письма Некрасова Добролюбов писал Чернышевскому: «...вероятно, и Некрасов не так уж болен чтоб[ы] решительно не в состоянии был заниматься. А письмо его — не доброе... Не дай бог никому получать такие записочки за границей от близких людей. Успокаивает меня только то, что вы ничего не говорите о его болезни. Но пожалуйста напишите мне в Одессу, — что он и как? Ведь кроме Вас да его, у меня никого нет теперь в Петербурге».

Оба письма Некрасова хранятся в Доме-музее Н. Г. Чернышевского.

1

[23 июня 1860 г. С.-Петербург.]

Любезный друг, я берусь писать, чтоб сказать Вам, что если пребывание за границей Вам полезно, то оставайтесь там долее, не стесняясь денежными или какими-либо другими соображениями. Смотрите же.

Совр[еменник] у нас идет так себе. VI № выпустили 15-го числа. Цензура рассвирепела, да авось уймется. Пришел ко мне ихний бедный выгнанный из штатных смотрителей человек по фамилии Потанин[1] и принес роман — он его писал десять лет и еще не кончил, думаю, что и никогда не кончит, так он любит свое детище и так возится с ним, но вещь замечательная, талант большой и русский, народного элемента много (т. е. не то, чтобы действовали мужики, а по-русски дело ведется и рассказывается), столько еще не бывало в русском произведении, как дальше будет, а десять глав, мною прочитанные, мне очень понравились. Я ему дал денег, и он уехал в Бугульму к семейству — и дописывать. Осенью думаю пустить эти десять глав, если он их вышлет. Хлопотал я, чтоб ему дали место, да покуда не добился, а выгнали его за то, что сочинил сатиру на местные власти. Эка! не удержался человек! Убеди-ка теперь его жену и детей в пользе литературы! Да! полезна ли она, матушка, дело еще далеко не доказанное. Я сижу один в городе, даже отправил Оскарку в Москву (а сам и застрял в Петерб[урге]) так вот без друга-то моего поневоле находят этакие мысли, да и посоветоваться-то не с кем. Вероятно от этих сомнений, я так расстроился, что грудь побаливает опять. Ангела я себе приискал, надо вот добавить. Чудо! Я не шутя влюблен. Завтра однакож уезжаю. Если вздумаете мне написать, то адресуйте покуда в Москву И. Базунову[2].

Некрасов

2

[25 мая 1861 г. С.-Петербург.]

Любезнейший друг, мне немножко досадно, что Вы думаете, будто мы не отвечаем на Ваши письма. Я только один раз долго не отвечал, на это были особые причины, а то на одно из Ваших писем отвечал двумя, а потом на письмо, при котором была ст[атья] из Турина, тоже отвечал и довольно скоро. Писать к Вам даже охота приходила, да что делать, когда Вы так бестолково распоряжаетесь, что наши письма не попадают Вам в руки. Современник Вам тоже посылается во Флоренцию, пущен первоначально в феврале. Я очень рад сотруднич[еству] Марка Волчка[3], деньги ему пошлют. Очень жалею, что не могу взяться за издание ее рассказов, чтоб доставить Вам удовольствие. Но я этим не занимаюсь, и мне легче бросить 700 р., чем взять на себя подобную обузу. Всю нынешнюю весну я болен, месяца полтора тому назад закашлял да и пошел. Перспектива долгого хворания гаже смерти, а кажется она мне угрожает... Думал было переломить болезнь, поехал из Петербурга, стал охотиться, простудился, пуще закашлял и теперь сижу в четырех стенах опять в Петербурге. Скверно. Надеюсь, Вам лучше и от души этого желаю.

[1] Потанин, Гавриил Никитич — писатель, автор воспоминаний о Некрасове (см. «Исторический Вестник» 1905, февраль, стр. 458—489). В письме речь идет о его романе «Старое старится — молодое растет», который печатался в «Современнике» в 1861 г. О притеснениях цензуры, исказившей во многих местах произведение Потанина, см. переписку Некрасова 1861 г.

[2] Базунов, Иван Васильевич — издатель-книгопродавец.

[3] Марко Вовчок — псевдоним украинской писательницы М. А. Маркович (1834—1907). Характерно для правописания Чернышевского и Некрасова то, что оба пишут не «Вовчок», а «Волчок». Добролюбов приветствовал появление рассказов Марко Вовчка, изданных в 1859 г. в Москве, статьей «Черты для характеристики русского простонародья» в «Современнике» 1860 г. (сентябрь). В письме Некрасова упоминается о сотрудничестве ее и в «Современнике» в 1861 г. там печаталась повесть «Жили да были три сестры».

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Публикация С. Рейсера

Заканчивая в 1862 г. в «Современнике» первую публикацию материалов для биографии Добролюбова, Чернышевский писал: «Ко всем бывшим товарищам Николая Александровича и к его друзьям, обращаюсь я с просьбой: сообщить мне свои воспоминания о нем и передать мне на время те его письма и бумаги, которые сохранились у них» (1862, № 1, стр. 319).

В ответ на это обращение к Чернышевскому стали стекаться в числе прочего материала воспоминания очевидцев и свидетелей различных моментов жизни Добролюбова.

Повидимому осталось неисполненным намерение Марко Вовчок написать воспоминания о встречах с Добролюбовым в Италии. (См. Марко Вовчок, Твори. ДВУ. Київ, 1928, т. IV, стр. 424, 461, 596). Об этом нельзя не пожалеть, так как итальянский период жизни Добролюбова известен очень плохо.

Использовать собранные материалы Чернышевский не успел. Работа над биографией Добролюбова прервалась на двадцать слишком лет.

Только в 1887 г. Чернышевский возобновил работу по изданию «Материалов для биографии Добролюбова». Издание должно было состоять из двух томов. Во второй должны быть войти, по плану, воспоминания родных и товарищей Добролюбова. Смерть помешала ему осуществить этот план.

Намеченные для второго тома материалы, пройдя довольно длинный путь (А. Н. Пыпин, Литературный Фонд и т. д.), оказались в конце концов в архиве ИРЛИ и являются предметом настоящей публикации.

Все документы для удобства исследователей публикуются с ссылкой на описание рукописей Добролюбова В. Н. Княжнина. См. «Архив Н. А. Добролюбова», в книге «Временник Пушкинского Дома. 1913», СПБ. 1914. Всюду сокращено. «Княжнин, №...»

I. М. И. ШЕМАНОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 1853—1857 ГОДОВ

Во второй половине августа 1853 г. мы были приняты в число студентов Г[лавного] Пед[агогического] Ин[ститу]та. Большинство было из семинарий, которое поступило на филологический факультет, меньшинство из гимназий, которое, за небольшими исключениями, избрало математический факультет. Новобранцы представляли массу столь разнообразную во всех отношениях, что подобного разнообразия едва ли можно встретить теперь где-нибудь в учебном заведении: собранные из разных концов России, каждый носил свой особенный отпечаток местной жизни и местного воспитания, но кроме этого и степени умственного развития были различны. В этой массе были люди, сознававшие—зачем они явились сюда, чего они хотят, но были и дети, которых привлекли сюда Петербург, права Института и проч[ие] внешние приманки образования. Такой массе, разумеется, невоз-

можно было скоро сплотиться в одно тело и, сколько я помню, прошел целый год прежде, чем в ней завязалась своя жизнь.

Прежде всего образовалась партия гимназистов, но образовалась только вследствие враждебных отношений к семинаристам; тут не было кружка в хорошем значении этого слова, а была партия, осмеивавшая неуклюжесть, ненаходчивость и робость семинаристов. Нападения, заключавшиеся в насмешках, бывали часто дерзки, наглы, но отпора с противной стороны почти не было никакого. Вероятно и покойный Н. А. не избег этих нападок злого остроумия, потешающегося над наружностью, но в этот год я едва помню его расхаживавшим с Щегловым; это было время их дружбы, время, о котором покойный говорил мне в 1859 году, что оно дало решительный толчок его умственной жизни. Личность Щеглова, далеко стоявшая выше нас по развитию, играла вначале главную роль в жизни нашего кружка, но впоследствии она оттолкнула многих из нас, по справедливому замечанию Н. А. (в его напечат[анном] дневнике), тем, что все его действия вытекали из его личных отношений[1].

Впервые математики сошлись с семинаристами по поводу прошения, поданного студентами Давыдову на инспектора. Мы курили папиросы, выпуская дым в печную трубу; от этого труба была полна окурками. Начальство преследовало курение, потому что о нем в институтских правилах ничего не упоминалось. Однажды инспектор, зайдя в камеру, где жили семинаристы, и, заглянув в трубу, нашел в ней множество окурков. Следствием такой находки было то, что инспектор наговорил много дерзких слов студентам. Гонор гимназистов задет был сильно, и они стали подбивать семинаристов — подать жалобу Давыдову. Жалоба была написана Добролюбовым, принимавшим в этом деле не менее горячее участие, и подана им вместе с другим студентом (математиком) [Тарановским.—*С. Р.*] при полном собрании студентов младшего курса * (тогда в Институте было только два курса—старший и младший, каждый по 2 года). Давыдов принял жалобу, но повел дело своим обычным порядком: уверяя нас письменно в отеческой любви к нам, он требовал выдачи зачинщиков, грозя в противном случае исключить из Института двоих, подававших прошение, т. е. Добролюбова и Тарановского. Дело продолжалось несколько дней; обещано было прощение и забвение—если сознаются, и кара, ссылка в уездные учителя— в случае упорства. Все это пересыпалось уверениями в непреложной отеческой любви к студентам. Держаться долго было нельзя — Добролюбов и Тарановский выдали себя зачинщиками. После этого произошло небольшое объяснение всего курса с обиженным инспектором, пред которым должны были извиниться обидевшие его студенты — и дело кончилось мирно, — к вящему удовольствию отцов-начальников.

Давыдов был в то время для нас альфой и омегой. Участь каждого зависела вполне и исключительно от него. Профессора не вмешивались во внутреннюю жизнь института, конференция их утверждала всякое желание Давыдова: для него стоило захотеть — и каждый из нас мог очутиться уездным или приходским учителем где-нибудь в Якутской области. Были факты такого директорского всемогущества во времена прежних выпусков, рассказы о которых дошли и до нас. Впрочем Давыдов не скрывал своего могущества и перед нами. Раз профессор франц[узской] словесности пожаловался директору на одного студента, не сделавшего перевода — Давыдов, в присутствии профессора и всех студентов, раскричался на виновного и кончил:

---

* Вот текст прошения:

«Инспектор Института А. Тихомандрицкий, войдя в одну из камер, без всякой видимой и побудительной причины обозвал живущих в ней студентов самыми непристойными словами. Непривыкши под управлением в[ашего] пр[евосходительства] к подобному обращению, мы покорнейше просим обратить на это обстоятельство Ваше внимание».

«если еще будет такая жалоба, я тебя пошлю туда, куда ворон костей не заносит», сказал и вышел.

Факт подачи студентами жалобы важен в том отношении, что он сгладил сразу разницу между гимназистами и семинаристами; вместе с тем он выдвинул вперед и Добролюбова, которого решимость принять на себя имя зачинщика пред страшным Давыдовым родила во всех к нему искреннее уважение. С тех пор слова прошения «без всякой видимой и побудительной причины» сделались поговоркою между студентами нашего курса, которая прилагалась к месту и не к месту. Жалоба была подана перед рождеством 1854 года. Положено было отпраздновать это событие кутежкой: как было нам не радоваться ему, когда оно было первым заявлением нашего человеческого достоинства перед начальством, которое до этого как бы забывало, что мы, хоть и задавленные бедностью и полною беззащитностью, все-таки же люди, все-таки же можем оскорбляться бессмысленными упреками нашей бедностью, расточаемыми нам на каждом шагу. Нам постоянно говорили, что мы ничто, что правительство нас облагодетельствовало с ног до головы, приняв нас в Институт, что мы обязаны вечной благодарностью за то, что пустили нас на паркетные полы, дали возможность слушать золотые речи великих ученых, наших профессоров, что конец концов, все эти благодеяния проистекли из необъяснимой отеческой любви к нам нашего ближайшего начальства. В особенности же эти оскорбления сыпались на бедных семинаристов.

Кутнуть согласилось человек 15, да и то с условием строгой тайны. Нанята была уединенная комнатка в уединенном доме (где-то на Большом проспекте Вас[ильевского] Острова), окруженном с трех сторон садом. Закуплено было вино, карты; двое малороссов обещались попотчивать нас малороссийскими варениками. Помню — беседа была самая отвлеченная, говорили преимущественно о начальстве и о профессорах: в первый раз речь наша шла безбоязненно быть услышанной начальством или кем-нибудь близким ему. Пели и песни. Один запел было известный русский гимн, но встретил общее неудовольствие; когда же он, несмотря на то, продолжал петь, то С[идоров] считавшийся до того между нами ярым патриотом, пробавлявшимся на плохих патриотических стихотворениях по поводу Восточной войны, вдруг выдернул шпагу с угрозой заколоть певца и своим дребезжащим голосом стал импровизировать на тот же голос пародию; это возбудило общий смех и рукоплескания — певцы умолкли. В этот вечер Z* [Д. Ф. Щеглов] объявил нам, что автор стихотворения «На юбилей Н. И. Гречу», ходившего в то время по Петербургу в многочисленных списках был Добролюбов; что это стихотворение разослано было во все редакции и самому Гречу, который получил его, находясь уже за своим юбилярным обеденным столом, но что все это надобно хранить в тайне, потому что автора разыскивают. Добролюбов, как мне известно, был очень недоволен этой нескромностью. Проведя ночь в тесной комнате, в которой даже не всем достало места для спанья, на другой день мы выпили снова по бокалу какого-то шипучего вина, обещаясь собираться почаще. Тот же Z* [Щеглов] прочел нам стихи Добролюбова по поводу этого вечера. Вот что́ можно было припомнить из этого шуточного стихотворения:

Любовь и братство нас собрали,
Мы вечер дружно провели,
Свободу мы провозглашали
И пели тост крамбамбули.

Тут был степенный Ч[ерняковск]ий
И Добролюбов наш поэт

Женоподобный Ш[емановски]й,
Nommé Marie-Antoinette

Б[уренин], Б[ордюг]ов был с нами,
Противник некоторых мер,
И ярый С[идор]ов с мечтами,
Наш Мирабо, наш Робеспьер.

Был Тарановский возмутитель
И предприимчивый Щ[егло]в
Паржницкий — наш распорядитель
С сердитым взглядом [?]ов.

. . . .

Еще был с нами Р[адонежск]ий,
Но он был с нами — мы не с ним.
Буй-тур из пущи Беловежской —
Он чужд стремлениям людским.

Простим ему — ведь он художник:
Живет он сердцем, не умом
На деле тоже он безбожник,
Хотя не признается в том.
. . . . [2]

С этого вечера образовался из небольшого числа студентов нашего курса кружок, в котором читались и переписывались те сочинения, которые трудно было найти в нашей книжной торговле; переводились также некоторые сочинения с иностранных языков на русский. Решено было вносить небольшую плату каждым из нас для приобретения редких книг (преимущественно Герцена), на выписку русских журналов и газет [3]. Всем этим главным образом руководил Добролюбов. Мы собирались иногда у наших бывших институтских товарищей, вышедших из института (Паржницкого и Сидорова) или у знакомых студентов Петербургского Университета (Кельсиева [4] и др.) и Медицинской Академии. Вино и карты были совершенно изгнаны из этих собраний, время проходило в разговорах и спорах. В спорах Добролюбов отличался серьезностью и уважением к противнику; как бы ни был упорен его противник, никогда он не позволял себе ни одной насмешки над ним, не преследовал его иронией — как это бывало с другими спорщиками, но брался за предмет спора с существенной, серьезной стороны и рядом силлогизмов заставлял противника соглашаться со своим взглядом. Люди диаметрально-противоположных взглядов с Добролюбовым, после спора с ним, выносили искреннее к нему уважение, если даже они не соглашались с ним, боясь его смелых выводов; многие из студентов, которых он не любил, любили и уважали его и это чувство в них сохранилось и после выхода из Института. Его чистая, возвышенная натура не могла дойти до неуважения к человеческой личности, как бы безотрадно ни было ее состояние: я могу привести примеры, где он трудился над такими субъектами, над которыми труд был почти напрасен. Всякий, соприкасавшийся с ним, чувствовал то освежающее действие, ту пробудившуюся любовь к честному и скромному труду, то довольство собой, которое заставляло смотреть на мир светлыми глазами, побуждало действовать, а не терять времени в напрасных сетованиях и бесполезном отчаянии. Письма его производили то же действие. Таковы были его частные отношения к людям, по крайней мере к тем, которых я знаю.

Другим характером отличались его отношения к людям, имевшим то или другое общественное положение—этот характер хорошо известен из

его печатных статей и в этом случае он не противоречил себе. Дело общее — выше всего: в этом случае он не щадил никого, не останавливался ни перед чем, что, по его мнению, могло препятствовать общественному развитию. «Надобно сбрасывать авторитеты, карать низость публично — иначе мы будем двигаться по-лягушачьи или еще хуже, стоять на одном месте, воображая, что идем вперед», говорил он мне три года тому назад. «Нужно наше общество будить, будить и будить — вот дело нашего поколения», продолжал



Н. А. ДОБРОЛЮБОВ С ОТЦОМ
Дагеротип 1854 г.
Институт Литературы, Ленинград

он. «Нелепо объяснять мои нападки на авторитеты завистью или недоброжелательством; сами по себе, за свои прежние услуги, они стоят уважения, но если их притязания идут до того, что они хотят стоять впереди даже тогда, когда уже вышли из сил и для этой самолюбивой личной цели стараются задержать общее движение — то как же не ругать и не бить их?» отвечал он мне на мое замечание, что его нападки объясняются завистью и недоброжелательством. А за три месяца до своей смерти он с досадой говорил, что те из его статей читаются, где есть подпись, а там где нет ее — часто даже

и не прочитываются; когда же я представил ему тот резон, что отчего же не пользоваться этим обстоятельством, своей авторитетностью, если она может привлечь большее число читателей, а следовательно и большее число последователей его идей, то он отвечал: «хороши последователи, для которых важно имя, а не самая идея». В деле общем он никогда не задумывался насчет выбора дороги, а шел прямо, открыто, честно; выжидать удобной минуты, действовать медленно и осторожно — не было в его характере; мысль об опасностях, о возможности испортить свою карьеру не приходила, кажется, ему и в голову, когда он был еще студентом; здесь он опасался больше всего за других, чем за себя и в этих опасениях было что-то дружеское, родственное, братское. «Я никогда себе не прощу, если ты попадешься», часто можно было слышать при замысле какой-нибудь выходки против институтского начальства, выходки самой по себе пустой, но в глазах начальства имевшей всегда вид демонстрации, посягания на его достоинство. Вот один из этих случаев.

Кормили в Институте дурно; начальство объясняло нам (когда уже оно было в сильном разладе со студентами), что на содержание отпускается очень мало, и оно действительно хлопотало в то время о прибавке каких-то копеек на студенческий стол. Но студентам казалось, что и при этих средствах можно обойтись, например, без тухлой говядины, без затхлой крупы и проч.; поэтому недовольство столом не уменьшалось, а увеличивалось. В 1856 или 1857 году, на 4-м уже курсе, по поводу одной выходки Давыдова, оскорбившей двух студентов, решено было для отмщения затеять решительную борьбу за стол. Добр[олюбов] написал прошение, в котором от имени студентов целого курса, объяснив весьма скромно причины дурного стола, просилось [sic!—*С. Р.*]: 1) дать полные права дежурному на кухне студенту браковать дурные [блюда или припасы] и принимать хорошие с личною ответственностью, как перед начальством, так и перед своими товарищами, 2) для последней цели завести столовую книгу, в которой дежурный записывал бы — довольны или недовольны были студенты обедом. Прошение было написано и одобрено горячо почти всеми. Но кто подаст его? Тут пошли споры, упреки; говорили, напр., что я у ж е з а м е ч е н н е с к о л ь к о р а з и проч. в этом роде. Добр[олюбов] вызвался с самого начала споров, но студенты его отговаривали, потому что для него это представляло действительную опасность после бывших перед этим стычек с Давыдовым.

В это время кто-то принес известие, что Давыдова нет в Институте,— он куда-то уехал. Решили воспользоваться этим случаем и послали одного студента в институтское правление подать прошение советнику правления (прошение адресовано было на имя директора в правление Института) с тем, чтоб он его пометил и передал директору по его приезде. Но маскировка подачи была дурно придумана: лицо, подававшее прошение, нисколько не избежало неприятных объяснений с Давыдовым, потому что студенты были известны в правлении. В то время, как все с восторгом ухватились за эту мысль, Добролюбов, по обыкновению, молчал. Студент, возвратившись, объявил, что советник отказался пометить прошение. Вскоре приехал Давыдов и отправился прямо в правление; явился и посланный от советника, возвестивший, что теперь-де пожалуйте подать прошение. Произошло новое колебание; Добролюбов не вытерпел, взял прошение и подал. Долго мы ждали его возвращения. Наконец возвратился он бледный, с сжатыми губами и через час отправился к Вяземскому, бывшему товарищу министра. Ему он подал прошение о выпуске его в младшие учителя гимназии; Вяземскому, бывшему товарищу министра стоило больших трудов уговорить его: кажется, его он взял только тем, что отказался принять прошение [5]. И никогда ни одного упрека в трусости, в себялюбии не срывалось с его языка

его товарищам, а ведь подобный упрек был бы так справедлив, так естествен... Напротив, в делах такого рода, если только они обеспечены общим желанием, в нем являлась решимость, стремительность действий, готовность итти вперед даже и тогда, когда толпа смешалась при виде предстоящей опасности и готова уже отступить назад. Так целен, так верен с самим собой был этот человек.

Собрания чаще всего были у Сидорова, после перехода его из Института в Петербургский Университет. Фантазер от природы, он не обладал глубоким анализирующим умом и горячим сочувствующим сердцем. Он легко увлекался разными теориями общественного устройства, но увлекался пассивно, вполовину понимая их. При сильно развитой фантазии, он был при этом крайне самолюбив, воображая себя призванным совершить великий переворот или в жизни, или в науке; он прямо говорил, что он великий человек, что он почувствовал свое призвание, бывши еще мальчиком в Томске, что для совершения неизвестного еще ему подвига он пришел в Петербург чуть не пешком, бросив свою семью и блестящую карьеру, которая там открывалась перед ним. Он был чуть не старше всех нас; по крайней мере при вступлении в Институт его за лета отказались принять в студенты и он должен был просить о включении себя в студенты самого министра. Приучивши себя к восторженному состоянию, он тяготился нормальным своим состоянием и искал малейших поводов восторгаться. До описанного мною вечера он еще не занимался социальными вопросами и пробавлялся на патриотических стихотворениях Восточной войны. Декламируя какое-нибудь глупое стихотворение, он наливался кровью, производил страшные угрожающие жесты и разъяренно кидался на того, кто не в состоянии был удержаться от улыбки. Мы прозвали его ярым. Переход от поклонения абсолютизму к крайнему социализму произошел в нем очень быстро, чуть ли не в самый тот вечер, когда он со шпагой в руке заставил молчать певца, певшего «Боже царя храни». Такие резкие переходы в фантазерах, впрочем, очень естественны — увлекаемые какой-нибудь новой для них идеей, они резко отступают от прежней своей проповеди, часто даже сами не замечая своего отступления; в их голове легко мирятся и самые резкие крайности. Выйдя из Института, он вполне уже увлекся социальными идеями — писал планы, уставы обществ для того времени, когда род человеческий размножится до того, что земли окажется мало для пропитания населения земного шара, и ничего не делал ни в Университете, ни для добывания себе средств жизни. Конечно, он задолжал, и часть денег, собравшихся на приобретение книг, пошла ему. Я упоминаю об этом обстоятельстве потому, что эта мысль принадлежала Добролюбову. Денег, вообще, собралось не много, и я наверное знаю, что излишек расхода покрывался им из своего кармана. Это вспоможение делалось не раз С[идоро]ву и Паржницкому, когда последний был сослан фельдшером в военный госпиталь в Куопио (в Финляндии). Сидорову прекратилось оно по след[ующему] обстоятельству. В те дома, где он давал частные уроки, были вхожи некоторые из нас; в некоторые он даже был рекомендован Добролюбовым или другими. Не являясь по нескольким неделям на уроки, он возбудил неудовольствие в родителях, о чем последние и заявляли рекомендовавшим его студентам. Но на все советы и уговоры не манкировать уроками, он отвечал двумя-тремя восторженными фразами и продолжал манкировать; кончилось тем, что ему отказали от уроков и он остался без всяких средств... Тогда-то он написал длинное-предлинное послание к нам, требуя от нас определенного себе содержания, и отказывался при этом от всякой черной работы (так он называл частные уроки), как несогласной с его высшим назначением. Это письмо привело в негодование всех, потому что никто не отзывался с таким презрением о труде, как это высказано было в его послании. Ему решительно

было отказано. Отказ писал Добролюбов; Сидоров приписывал отказ ему одному или его влиянию, с тех пор отзывался о нем дурно, хватаясь за всякий несколько сомнительный его поступок, чтоб обвинить его в лицемерии и т. п. Эта дурная черта нашего Робеспьера осталась в нем до самой смерти Добролюбова[6]. Он обвинял Добролюбова в служении видам правительства; впрочем при почитателях Добролюбова он облегчал его вину тем, что он подчинился Чернышевскому и Некрасову и отказался ради этих богов от самого себя.

Я встречался с ним в Москве года через 4 после выхода моего из Института. Эти четыре года для меня не прошли бесследно: тяжелые столкновения с жизнью взрастили меня, разъяснили и укрепили многое, что принималось на слово, входило в убеждение сердцем, не умом. Но он оставался тем же юным мечтателем: та же восторженность при всяком удобном случае, та же способность наливаться кровью, та же уверенность в великости своего назначения. Социальные вопросы он уже бросил и если случалось говорить о них, то отзывался равнодушно. Все это время он занимался математикой, говорил, что жизнь невозможна без высшей математики, что без нее нельзя быть ни умным администратором, ни глубоким философом, ни законодателем, короче ничем. Он прочел множество математических сочинений и думал произвести переворот в этой науке, ругал беспощадно всех живших математиков и увлекался Вроньским. Он порывался составить математическое общество и издавать журнал, но ничего ему не удалось[7].

Неудачи и бедность, в которой он проводил жизнь не изменили его; только воображение рисовало ему, что он окружен тайными врагами, шпионами русского правительства, умеющего чутьем отыскивать гениальные натуры и задавляющего их лишением всяких средств существования. Его фантазия довела его до мистицизма, он признавал бога, допускал демонические силы. На третий день после появления в газетах известия о смерти Добролюбова, мы получили от него записку, в которой он предлагал отслужить панихиду об усопшем товарище; а на другой день после записки явился и сам с этим предложением. Тяжесть потери чувствовалась горькою болью в сердце; все хорошие стремления сердца замолкли, образ покойного носился пред глазами; казалось, что и сам умер или что черед и за тобой, и при виде Сидорова, предлагающего панихиду, не явилось даже и негодования.

Не знаю, доживет ли Сидоров до подвига, на который родила его судьба. Он действительно назначен совершить подвиг и может быть не один. Это человек, которого сила в минуте, в момент общей нерешимости. Битва идет, победа колеблется, перевес то на одной, то на другой стороне... Но вот смятение, одна сторона начинает торжествовать, противная готова уже бросить оружие и бежать. Вдруг среди смятенной толпы является человек, с всклокоченными волосами, с кровяными глазами, с кинжалом, которым он потрясает в воздухе; презрительно окидывает он быстрым взглядом бегущих. «Трусы,— кричит он им — куда бежите, подлые! Назад! С нами бог, за нами правое дело! Умрем же или победим!» и первый кидается на торжествующего врага и еще, пожалуй, с какой-нибудь песнью. Толпа за ним— и победа наша. Да, вот его настоящая арена подвигов, а не в жизни и в науке.

Чтоб кончить с этой личностью, я опишу один вечер, бывший у него. Собрались почти мы все. Кроме студентов нашего института были еще двое Петерб[ургского] Университета. Сидоров встречал каждого и таинственно пожимал руку. Наговорившись досыта на свободе, мы уже собирались расходиться, как хозяин попросил подождать несколько минут. Он вынул тетрадь, из которой прочел что-то такое, из которого можно было понять, что ему было какое-то откровение свыше. Затем он объявил, что нужно составить

тайное общество, под именем литературного, чтоб скрыть настоящую его цель от правительства. Затем следовало чтение тайного устава общества — в этом уставе было много параграфов, но ни один из них не носил того опасного характера, которого страшится правительство: цель была благотворительность, только в обширном и гуманном значении этого слова. Чтение кончилось, автор ждал ответа, но каждый почему-то удерживался сказать первым. Я, чтоб прервать молчание, сделал замечание, что действия, требуемые уставом такого рода, что каждый из нас может совершенно свободно и явно производить их, что я не понимаю, какая цель давать этим действиям форму, столь опасную, как тайное общество. «Цель, закричал автор, тебе нужна все ц е л ь, m e t a — а без цели ты и шагу не хочешь сделать. Так я тебе скажу, где цель: цель впереди, пока мы еще не можем видеть ее ясно, а придет время — увидим!» Произошел спор; все находили, что бесполезно подвергать себя явной опасности из одного названия и требовали от него цели. Автор в ответ говорил о своем призвании, о тайных голосах, слышимых им и проч. и проч. Конечно, все это кончилось шутками и смехом, в котором автор, погорячившись вначале, и сам принял участие.

Еще раньше выхода Сидорова, вышел из Института Паржницкий: этот человек один из замечательнейших нашего кружка и о нем стоит сказать несколько теплых слов. Сын бедных униатских родителей, он еще в детстве, когда был гимназистом, испытал на себе насилие русского правительства в деле веры. Мальчиком он долго скрывал свою веру от гимназического начальства, выдавая себя за католика, но был выдан своим родным братом, который был далеко моложе его и предательство такое сделал, разумеется, по детской необдуманности. Я не знаю подробно этой истории, но насильственное обращение мальчика в православие сообщило его характеру особенный цвет. Он никогда не был вполне откровенен ни с кем из своих товарищей, отзывался о православии с едкими насмешками и ругал попов; его оскорбленное в детстве человеческое достоинство родило в нем какое-то презрение к великорусскому племени, он искал польского общества, его симпатии были к Польше, отчасти к Малороссии и нисколько не к России; он себя считал поляком. По окончании гимназического курса он поступил в Одесский Лицей, но чрез год перешел в Петербургский Университет. Пробыв здесь года $1\frac{1}{2}$ он, за неимением средств к жизни, стал хлопотать о приеме в Институт. Отзывы петербургских профессоров о нем были очень рекомендательны, притом он говорил на 4-х языках, а это было достаточно для Давыдова, чтоб хлопотать о нем — он был принят, когда мы были на 2-м курсе. Я помню его хорошо: он сидел в камере рядом со мной, постоянно занимался математикой, писал по этому предмету сочинения и чувствовал непреодолимое отвращение к богословиям разного рода и поповским логикам и психологиям. На репетициях не раз мне случалось отвечать попу за него, так как поп не знал многих из нас в лицо. Он подсмеивался над моими усердными занятиями к поповским репетициям, звал меня за мою способность заучивать слово-в-слово безобразные поповские лекции — зубрилкой, попкой и другими милыми названиями. Сам же поповские лекции проводил или в занятиях дифференциальным и интегральным исчислением, или — в сне — для чего как-то особенно ловко подстраивался под столом. В первое время своей институтской жизни он не сближался с студентами; его отношения в эти месяцы с Давыдовым были хороши и можно было заметить, что он и сам старался поддержать эти отношения, несмотря на отвращение, какое он чувствовал к связанной жизни студентов: я помню хорошо, что он восставал против подачи прошения на инспектора, называл Давыдова человеком умным, единственным во всем Институте, что все остальные — дураки, шваль, дрянь. Но сколько ни ломай себя, сколько ни

прикидывайся, а придет минута и человек вдруг, ни с того ни с сего да и выскажется весь, каким он действительно есть. Так было с Паржницким. Вооружаясь против подачи прошения, он уже был на нашей стороне, когда прошение было подано и был распорядителем пирушки, устроенной по этому поводу. После этого вечера у него начались столкновения с надзирателями, а потом и с Давыдовым. Поводы к столкновениям были самые ничтожные.

Чтоб дать понятие о них, я приведу один случай.

Паржницкий любил при перемене белья выпускать воротнички чистой рубашки сверх галстука; начальству это не нравилось, как не нравились расстегнутые сюртуки и прочие нарушения солдатской дисциплины, введенной во времена Николая во все гражданские учебные заведения. За ужином, когда за нашим столом велась громкая веселая беседа (что было также нарушением институтского правила, по которому студенты должны были за столом говорить только о предметах своих лекций «со скромностью, отличающею благовоспитанных людей»), чахоточный немец-надзиратель Людвиг долго ходил около нашего стола в нерешимости выбрать средство остановить хохот и громкие крики разговаривающих. Мы заметили его нерешимость и продолжали раздражать его чахоточную натуру. Но немец скоро нашелся. Подойдя к П[аржницкому], он молча указал на выпущенные воротнички и спросил: зачем это? П[аржницкий] отвечал, смеясь: за тем, за чем и у вас и при этом указал немцу на его сильно накрахмаленные воротники. Немец страшно оскорбился таким дерзким ответом, нажаловался Давыдову; этот потребовал для объяснения П[аржницкого] в конференцию пред портрет императора и призвал для пущей важности пришедших для лекции профессоров. П[аржницкий] объяснялся дерзко с Давыдовым. Остроградский, присутствовавший при этом объяснении, на лекции говорил нам: как можно так говорить д и р е к т о р у. Оставаться в И[нститу]те П[аржницко]му было нельзя: честолюбивый до мозга костей Давыдов не мог оставить без наказания дерзкий ответ ему в конференции в присутствии профессоров. Время, когда Давыдов имел полную возможность отмстить — экзамены, — было на носу.

На экзаменах Давыдов был полновластным господином; он ставил баллы по своему личному усмотрению; профессора, за исключением 2—3, ему не противоречили. Случалось, что на экзаменах студент отвечал на попавшийся ему билет безукоризненно; профессор ставил ему в своем списке 5 баллов, а студенту объявлялся в присутствии самого профессора балл, далеко меньший. В 1854 году на экзамене из русск[ой] словесности из 1-го курса во 2-ой товарищ наш Захаров, студент математич[еского] факультета, отвечал на свой билет и на многие вопросы сверх билета прекрасно. Давыдов, имевший причины быть им недовольным, хотел показать над ним свое всемогущество. Основываясь на том, что Захаров не ответил на один или два вопроса, предложенные им, он поставил ему 1; а этот балл равнялся выходу в уездные учителя. Давыдов хотел показать только свою силу, так сказать пошутить и назначил переэкзаменовку Захарову. Но Захаров, оскорбленный произволом, отказался от переэкзаменовки, несмотря на увещания инспектора и профессора словесности. Он был послан уездным учителем в Гдов Петерб. губ. и чрез год или два, кажется, спился и умер. А на математическом факультете он был одним из лучших студентов.

Паржницкий хорошо понимал, что оставаться в Институте ему опасно, чрез месяц или два он рисковал быть где-нибудь в Якутской области уездным или приходским учителем. Но как выйти из Института? Была одна возможность — заплатить по 150 рублей за каждый год институтской жизни, но и это соединялось с большими хлопотами и трудностями, а для него эта возможность была невозможна по причине его бедности. Он выбрал дорогу более короткую, хотя и очень опасную. В это время старый импе-

ратор умер, на престоле сидел новый. Каждый день приносил какой-нибудь приказ, свидетельствовавший о человечности нового императора: положение Александра в императорстве было ново для него самого. Испытавши сам на себе грубые лапы самодурства в лице своего родителя, Александр не вдруг взошел в роль императора: рассказы, ходившие тогда о нем по Петербургу, свидетельствовали о том. П[аржницкий] решился обратиться к нему. Он подал ему прошение, в котором объяснил, что, не имея расположения быть учителем, он просит перевести его в студенты Медико-хирургической Академии. Император принял прошение и говорил с П[аржницким] несколько минут, расспрашивая его об Институте; прошение подано было на набережной во время прогулки императора. Петербургская полиция, следящая за каждым шагом императора, немедленно донесла м[ини]стру нар[одного] пр[освещения] и Давыдову о том, что император разговаривал со студентом Педагог[ического] Института.

Давыдов всполошился — он боялся чтоб П[аржницкий] что-нибудь не проболтал императору о нем и об Институте; призывал по нескольку раз к себе, заставлял его каждый раз рассказывать все, в подробности, о своей встрече с императором, о том, какой рукой император взял прошение и пр. Но П[аржницкий] был осторожен; он всякий раз переиначивал свой рассказ, придумывал небывальщины и потом отказывался от них и этим держал Давыдова в состоянии беспокойства и нерешимости. Эта умная тактика с Давыдовым спасла П[аржницкого]. Чрез несколько дней, когда министр потребовал от Давыдова аттестации П[аржницкого], он аттестовал его, как первого студента по успехам и нравственности. П[аржницкий] по высочайшему повелению был переведен из Института в Академию не в пример

ЮНОШЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
Институт Литературы, Ленинград

другим. Тогда-то П[аржницкий], скрывавший и от нас свое дело, рассказал нам все подробно, смеясь от души над Давыдовым, над его страхом, который помог ему оставить его в дураках. Это вероятно дошло до Давыдова, а может быть он и сам собой догадался, что во все это время был в руках студента — мальчишки. Чтоб поправить дело Давыдов послал секретное отношение к начальству Медицинской Академии, в котором предостерегал его от П[аржницкого], объясняя, что в Институте П[аржницкий] отличался развращенною нравственностью и портил других студентов. Этот конфиденциальный донос Давыдова принес П[аржницкому], один из офицеров, служащих при Академии, и дал ему прочесть.

Есть натуры, для которых введение социальных идей в жизнь составляет как бы — цель их собственной жизни. В какое бы положенье они не были поставлены, как бы ни старались они себя уединить, отдернуть от этого стремления их природы занятиями по части наук не социальных, но природа берет свое; покрепятся, покрепятся, да и прорвутся, и прорвутся страшно, начисто. Куда бы судьба их ни забросила, везде они сумеют найти людей, пробудить и в них эти идеи, сумеют составить без всякого намерения, с своей стороны почти бессознательно, из них общество с определенным социальным взглядом. И где бы ни появились эти люди, окружающая их среда, как бы груба она ни была, сама собою начинает изменяться, очищаться — это та едва заметная органическая клеточка дрожжей, которая может привести одним своим присутствием в брожение невообразимые массы хлебного затора и обратить его в спирт. Люди эти — предтечи будущего социального устройства, будущего, но недалекого, близкого. Старый, дряхлый организм общественного устройства сам родит их из себя, воспитывает в них свою смерть и свое возрождение в обновленном виде. Такой органической клеточкой был П[аржницкий]. Он не занимался отвлеченными социальными вопросами, часто даже смеялся над занимающимися ими, но если жизнь представляла ему практически решить вопрос, в своем решении, в своих действиях он высказывался социалистом. Это был человек практического дела, боец жизни, презиравший всякое бесплодное словопрение. Он был совершенною противоположностью с Сидоровым: ни капли восторженности, ни капли честолюбия. С этой стороны он схож был с Добролюбовым.

В Медицинской Академии он не пробыл и года. Там началось брожение и клеточкой был П[аржницкий]. Начальство Академии страшно обкрадывало студентов, студенты кутили, бранили втихомолку начальство и ничего не делали. П[аржницкий] в несколько месяцев соединил, сплотил их, довел до той точки, за которой начинается дело. В несколько сходок студенты решились подать жалобу на свое начальство императору и главным депутатом был выбран П[аржницкий] (всех же их было четверо—кроме П[аржницкого], были Михайловский, Щеглов и Алексеев). Император принял жалобу, назначил своего флигель-адъютанта Эльстона следователем. Следователь по русскому обычаю начал следствие тем, что засадил депутатов в ордонансгауз. По следствию, произведенному в Академии, оказалось действительное воровство, но вести дело честно не в духе русского правительства. По его принципам подчиненный не должен жаловаться на начальство, каково бы оно ни было; нужно было наказать студентов, но как, за что? При допросах, продолжавшихся больше двух недель, заключенных депутатов старались всеми подлыми мерами сбить, спутать в показаниях, но, не успевши в этом, их обвинили, кажется, в том, что они, вопреки русским постановлениям, при подаче жалобы обошли несколько начальственных ступеней. Депутатов принудили сослать фельдшерами по разным госпиталям. Остальные студенты Медицинской Академии ничего не могли сделать для спасения своих депутатов; им только было обещано лейб-медиком Енохиным напомнить императору во время коронации его о четырех фельдшерах-студентах. Это было

в 1855 году во время Восточной войны. На проводы сосланных явилось много студентов Академии и некоторые Института. Все были веселы, даже разжалованные нисколько не были опечалены. Они уже одеты были в новых своих костюмах, серых солдатских шинелях и провожатый жандарм был тут же в студенческой компании. Настал и час разлуки, и в этот час также не было ни слез, ни упреков судьбе или чего-нибудь в этом роде, исключая впрочем одного студента, о чем свидетельство — приведенное ниже письмо — обнимались, целовались, обещались не забывать друг друга и только, как всегда бывает и в обыкновенной разлуке. Осужденные отправились; многие из студентов провожали их до самой заставы.

П[аржницкий] назначен был в военный госпиталь сначала в Тавастгус, а потом переведен в Куопио, в Финляндии. В его письмах к Добролюбову высказывался все тот же социалист — всего меньше писал он о своем бедственном положении, и всего больше о грубом обхождении русских офицеров с солдатами, о больнице, переполненной больными и ранеными

10) Объявляется симъ, что Московскій купецъ Иванъ Давыдовъ Сѣченый съ большою пользою на выгодныхъ условіяхъ принимаетъ подряды; спросить возлѣ 1-го Кадетскаго Корпуса, въ квартирѣ Θедора Ильина, въ С.-Петербургѣ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ, НАПЕЧАТАННОЕ Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ В «МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЯХ, 1856 г., 15 СЕНТЯБРЯ, № 111, В КОТОРОМ ВЫСМЕИВАЕТСЯ ДИРЕКТОР ГЛАВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА И. И. ДАВЫДОВ

Публичная Библиотека, Ленинград

солдатами, которых и обкрадывали и морили и для которых он, как фельдшер, ничего не мог сделать. О своих материальных нуждах он почти ничего не писал и Добролюбов должен был узнать об этом от его брата — студента Медиц[инской] Акад[емии], с которым П[аржницкий] был более откровенен в этом отношении. Ему высылали небольшие суммы денег, но никогда не просил он от нас этой помощи; даже в самые трудные минуты своего фельдшерства он не делал и намека о том, что нуждается в деньгах [8].

Во время коронования императора в 1856 году Енохин сдержал свое *слово:* фельдшера были прощены и назначены были студентами в Казанский и Харьковский университеты. Финляндские фельдшера пред отъездом в Казань воротились в Петербург увидеться с товарищами. Я помню эту тесную комнатку на Выборгской стороне, куда мы стеклись, чтоб обнять своего товарища. Он был еще в солдатском костюме, с загорелым и несколько загрубелым лицом, но выражение его лица было полно жизни — казалось сформировало его окончательно, поставило его на прямую дорогу. Я не желал бы, чтоб в этих словах было прочтено какое-нибудь сентиментальное ложное чувство к товарищу, чувство, явившееся вследствие того, что между встречей и воспоминателем лежит несколько лет. Мы искренно радовались его возвращению и также искренно по-братски обнимали и целовали его. Не знаю, сохранилось ли в нем это теплое чувство к прежним нашим отноше-

ниям, но мы часто вспоминали о нем. Обстоятельства жизни разрознили нас, разорвали эту товарищескую сеть, поселили в П[аржницком] недоверие к нам, но вспоминая его, ни во мне, ни в покойном Добролюбове никогда не являлось сомнения в его прямой и честной натуре.

П[аржницкий] уехал в Казань. Его первые письма оттуда были наполнены горькими сетованиями на казанских студентов...

Наука мало занимала казанских студентов, вопросы общественные еще меньше. Я, разумеется, говорю о массе, о большинстве, которое дает характер целой корпорации: я не знаю, нужно ли прибавлять, что в этой массе было всегда несколько личностей, считавших науку святою и посвящавших ей все свое время; мое искреннее уважение навсегда останется к некоторым из вышедших в те времена из Казанского Университета, но я узнал их далеко после, бывши учителем в Вятской гимназии. В этом состоянии казанских студентов, разумеется, виноваты профессора, державшиеся относительно их начальниками и третировавшие их, как мальчишек.— Но чрез несколько месяцев П[аржницкий] писал о казанских студентах уже другое — он говорил, что и между ними есть люди, что и из казанских студентов можно кое-что сделать. Действительно, вскоре казанские студенты выгнали из Университета ненавидимого ими инспектора [И. И.] Ланге, обругали [В. П.] Молоствова, попечителя, заставили утвердить инспектором выбранного ими адъюнкта [Э. П.] Янишевского. События в Казанском Университете следовали быстро друг за другом. Студенты потребовали от профессоров изложения науки в современном ее состоянии, повыгоняли старых лентяев и проч. И теперь еще идет эта борьба нового поколения со старым порядком. П[аржницкий] во всех этих делах вел себя очень осторожно, но начальству не трудно было пронюхать, откуда пошли все эти беспорядки. Не имея явных улик [Ф. Ф.] Веселаго, бывший помощником попечителя [Е. М.] Грубера, пользуясь одной статьей наших законов, исключил П[аржницкого] из Университета без объяснения причины... П[аржницкий] приехал в Петербург; пытался было поступить в свою старую знакомую Медицинскую Академию, но, разумеется — его попытка была напрасна. Он остался решительно без всяких средств продолжать свое образование, а между тем желание было сильно. В 1859 году я был у него вместе с Добролюбовым. Это было то время, когда между им и партией добролюбовской пробежала черная кошка. Мы зашли к нему, чтоб почтить этим посещением наши прежние отношения: свидание было холодно, натянуто. Он занимался в то время усердно переводом фармакологии. Мы расстались и с тех пор не виделись; ни Добролюбов, ни другие товарищи не знали, что с ним сделалось. Летом 1861 года бывши в Оренб[ургской] губернии я встретил там уездного врача, бывшего студента Медицинской Академии, поляка; он с год как кончил курс. Разговорившись о прошлом, мы дошли до П[аржницкого] и я от него узнал, что П[аржницкий] продал свой перевод фармакологии одному из профессоров Медиц[инской] Академии и на вырученные деньги уехал за границу и поступил в Берлинский Университет *.

Как важен в деле нравственного пробуждения первый толчок — это видно на казанских студентах. Из нескольких слов, сказанных мною выше, читатель может составить себе тип казанского студента прежнего времени: это тип широкого русского разгула, беззаботного и не ставящего себе границ. Я имел случай познакомиться с духом нынешних казанских студентов. Те же юные силы видим в них, направлены они уже в другую сторону. Устройство студенческой кассы для бедных студентов, общих библиотек, товарищеского суда и проч. — указывают, что новая жизнь уже началась и принимает определенные формы. Сочувствие их к общественным интере-

* Его перевод Целлюлярная Патология Вирхова издан. Медицинским Департаментом.

сам высказывается иногда и на деле. При первых известиях о жестокости гр. Апраксина с крепостными людьми, в Бездне, трое студентов в тот же день тайком отправились на место побоища, чтоб собрать на месте верные сведения: Апраксин успел схватить их и выслал в Казань по этапу [10].

Оканчивая очерк личности П[аржницкого], я позволю себе привести здесь копию с сохранившегося его письма к нам в то время, когда он ехал в Тавастгус. Из этого письма хорошо выглядывает его деятельная натура. Вот оно.

«Прощайте, любезные математика и филология, может быть долго не увидимся. Как досадно, что после бурного вечера * не удалось мне видеть вас, а поговорить нам нужно было много. Да и в какое время должны мы были расстаться — когда надежды мои и, разумеется, ваши почти исполнились! Я желал с вами добра и истины и если мы не успели еще доселе ничего сделать, то все-таки вина не наша, а наши плохие обстоятельства, которыми владеть мы не привыкли, не умеем встать выше их — самопожертвование приходит не вдруг в душу и достигает до нее только постепенно. Впрочем н а ш е впереди, лишь бы только не увлечься нам общею болезнью нашего века — стремлением к комфорту. Извините меня за этот намек, но б о л ь н о й н а ш ** служит нам уроком.— Говоря о нашем последнем свидании, я не могу удержаться, не сказавши о разногласии с NN [Щегловым. *С. Р.*]. Мне кажется, что его надо приписать горячности и потому от души прощаю и мирюсь; желаю, чтоб и впредь подобного не было. Мы должны устранять, а не вызывать несогласия. Отнекиваться непониманием цели, о которой думать мог и должен был целый год, значит признаться пред всеми или в неспособности понимать ее, или в привычке действовать по подражанию как обезьяна в басне Крылова. Но ведь он не таков, он сделал это по горячности, а предполагать, будто он не знал цели, я считаю нелепым и глупым. Повторяю, что мирюсь с ним и вас прошу забыть это и не допускать больше подобных сцен. Впрочем моя просьба кажется лишняя, вы давно ему простили и, как я слышал, вините меня, чему я не верю, очень хорошо зная, что логика отца Солярского на ваш ум, как и на мой, не имела действия — куда как убедительна она! [11]

Моя поездка в Гельсингфорс очень по душе мне: она согласна с моей страстью волочиться по белу свету. Жалею только, что не удалось стереть главу змия; дева Мария была счастливее меня, и отчего? Не понимаю. Разгадайте-ка вы эту тайну.

Обратите внимание и постарайтесь сблизиться с Л. 2-го курса; через вас я нарочно шлю к нему записку [12]. Есть еще у меня личностей восемь на примете, да за тех примусь я по моем возвращении из Патмоса, где не был ни один из апостолов. Поцалуйте от меня Я[нковского?—*С. Р.*]: я напишу ему с дороги. За неграмотность и нечеткость простите — и то тайком пишу. Прощайте и примите дружеское пожатие руки вашего Игнатия.

В моем заключении *** встретил я целую стаю людей иль лучше сказать ч и н о в различных совестей, но я не стану делить их на три лика, как отец Антоний делит ангелов, а на множество весьма грозных оттенков, о которых напишу, когда будет свободно. — Сидоров прощай и помирись с N [Щегловым. — *С. Р.*]; прощайте, сердитый друг и мой и человечества.

Упоминаемый в этом письме N есть Д. Щеглов. Человек этот по своей опытности в жизни, по большому развитию ума, по смелости взгляда, мог бы

* Прощальный вечер.

** Студент Тарановский, вскоре умерший чахоткой. При последних часах жизни он два раза прогонял попа, желавшего его причастить. В третий раз, когда он от слабости не мог двигаться и говорить — попу удалось снять с него глухую исповедь и причастить. Слова Паржницкого о нем относятся к его страстишке франтить, на что он терял много времени.

*** Должно быть, в ордонансгаузе.

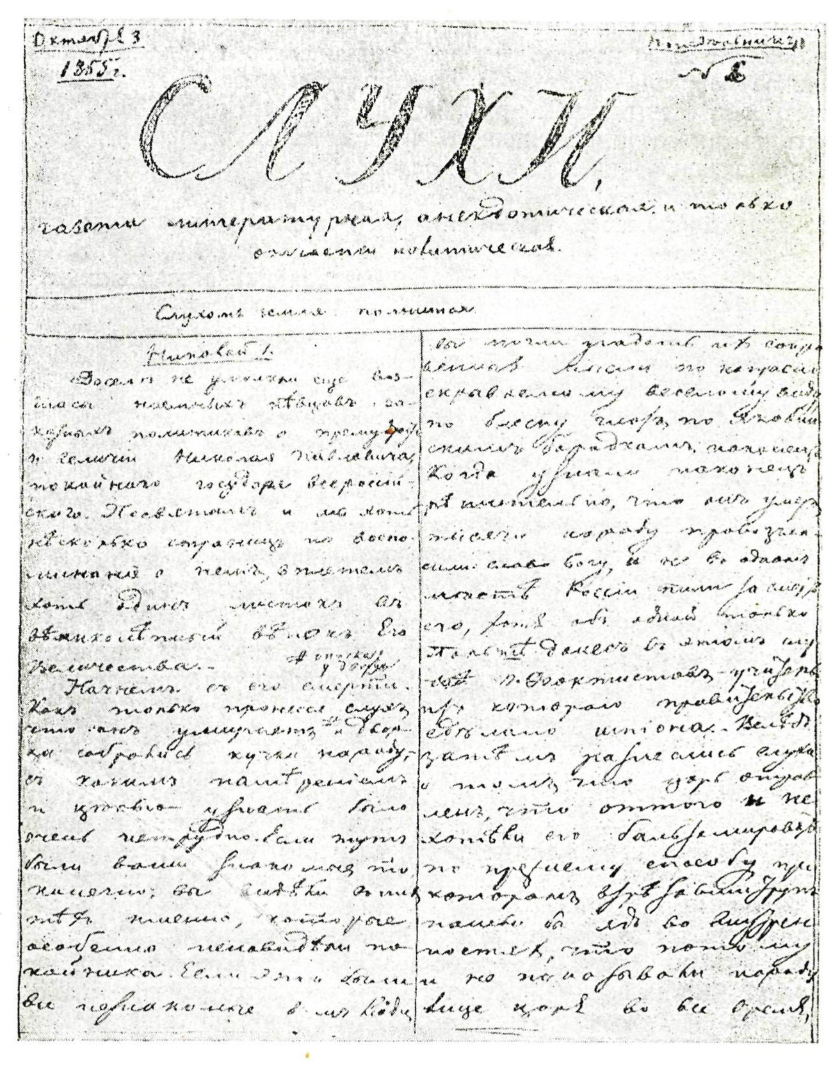
встать во главе нашего небольшого кружка. Я уже сказал вскользь о влиянии его на развитие Добролюбова. Но его неспособность отделить общее дело от своей личности, неспособность поставить его выше своих личных интересов, и его беспрестанные цинические выходки против лучших наших товарищей — оттолкнули от него всех нас. На прощальном вечере он жаловался на бесцельность подачи жалобы императору, стоившую стольких жертв (в числе депутатов был и его брат) и позволил себе некоторых упрекнуть, что, разумеется, вызвало жаркие нападения на него [13]. Об этой размолвке и упоминает П[аржницкий] в своем письме. Кажется, с этого вечера Добролюбов окончательно разошелся с Д. Щегловым.

Сделавши характеристики двух своих товарищей, я удерживаюсь от остальных. Их достаточно, чтоб понять, из каких элементов складывался наш кружок и что было мотивом его жизни. Перехожу теперь собственно к Добролюбову в Институте, но не бывши с ним в первые годы студенчества в столь близких отношениях, чтоб проследить его развитие, я, к сожалению, должен ограничиться одною фактическою стороною его жизни. Я должен воротиться назад.

Вскоре после вечеринки на Вас. острову Давыдов сделал обыск Добролюбову и Щеглову. У Добролюбова были найдены несколько печатных и переписанных сочинений Герцена и черновые стихотворения на юбилей Гречу. Последнее было с поправками и помарками, доказывавшими, что он был автором неожиданного поздравления Гречу. У Щеглова, всегда осторожного, ничего не было найдено. Давыдов объяснил Добролюбову, что он, как верный слуга государя и сын отечества, обязан донести о всем найденном 3-му отделению. Шутка была плоха — Николай еще был жив и такое выражение верноподданничества Давыдова могло стоить жизни Добролюбову... Добролюбов убедил его следующим силлогизмом: «я — погибший человек, стоющий за свое преступление лютой казни, но на моих руках семья; за что ж она будет гибнуть? За мое преступление по русским законам следует ссылка в Сибирь. Ваше Превосходительство имеете возможность наказать меня ссылкой и в то же время не погубить моей семьи. Я подам прошение об определении меня в уездные учителя, и вы можете послать меня учителем в какой-нибудь далекий город в Сибири, я буду наказан, но моя семья не будет лишена последнего куска хлеба».—Давыдов убедился, и прошение было подано. Но Давыдов, заботившийся о прославлении падавшего Института чрез его питомцев, не мог не ценить Добролюбова; он довольствовался тем, что помучил его несколько дней страхом и томлением за будущность своей семьи, принял прошение, но не пустил его в ход, надеясь им держать преступника постоянно в своих руках. Он ошибся. Впоследствии его угрозы, что он пустит прошение в ход, не имели никакой силы. Время прошло, а с ним и страх; да притом на престоле Николая уже не было [14].

18-го февраля 1855 года день замечательный для России — в этот день она освободилась от тяжелой руки деспота, давившего ее в продолжение 30 лет. В этот год мы, студенты, уже получали газеты и журналы. Два-три запоздавшие бюллетеня, извещавшие о болезни Николая, наполнили наши сердца нетерпеливым ожиданием; мы переговаривались друг с другом, припоминали 14-ое декабря 1825 года и, разумеется, мечтали, как дети. Впрочем о смерти императора не было еще известно нам, а мы не могли выйти из Института, чтоб узнать, не делается что-либо вне его стен. Вдруг один из студентов вбегает в камеру с криком: «Ванька плачет» (Ванькой мы звали Давыдова). Мы высыпали за двери нашей камеры, чтоб полюбоваться этим зрелищем: Давыдов ходил большими шагами в профессорской комнате, тихо разговаривал с инспектором и утирал беспрестанно глаза платком; по временам он вскрикивал: «бедное наше отечество!» Не знаю, были ли в этом

случае слезы Давыдова искренни, но впоследствии мы убедились в его способности лить слезы, когда он считал это нужным; например, говорил прощальную речь студентам на акте 1850 года он, кончая ее словами Лермонтова — «и верится, и плачется, и так легко, легко», действительно зарыдал. Разумеется, в студентах этот плач пробудил отвращение, и мы с громкими смехами, несмотря на присутствующую публику, стали выбегать из актовой


Октября 3
1855 г.
№ 2
СЛУХИ,
газета литературная, анекдотическая и только отчасти политическая.
Слухом земля полнится
Николай I.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОДНОГО ИЗ НОМЕРОВ ПОДПОЛЬНОЙ РУКОПИСНОЙ ГАЗЕТЫ «СЛУХИ», ВЫПУСКАВШЕЙСЯ В ГЛАВНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В 1855 г.

Институт Литературы, Ленинград

залы. Но Ванька плачет, значит Николай умер. После институтского обеда я вышел на Дворцовую площадь — на ней в разных местах стояли до десятка групп очень хорошо одетых мущин и франтих-дам; молчание царствовало на площади, только из одной группы по временам вырывался добродушный смех, я посмотрел на нее — там виднелись трехугольные шляпы студентов. Я пошел дальше, с любопытством осматривая другие группы — везде шел тихий разговор, но никакой печали, никаких слез не было за-

метно на лицах. К дворцу подъезжала карета за каретой. Я подошел к подъезду. В больших окнах зимнего дворца виднелись дворцовые лакеи в красных ливреях; все они беспрестанно подносили белые платки к своим глазам. Я улыбнулся, мне вспомнился Давыдов. Удовлетворивши любопытство, с Дворцовой площади я отправился шляться по городу — везде была та же кипучая жизнь, также нагло посматривая разъезжали на рысаках по Невскому камелии, та же суета, то же движение — казалось, что никто и не знал о смерти Николая, а между тем предполагать это для Петербурга было бы странно. Не знаю почему, мне припомнились слова Карамзина, которыми он начинает описание состояния умов после смерти Ивана Грозного: день смерти тирана есть великий праздник для народа и проч., хотя я и не мог заметить никакого и праздничного чувства на встречавшихся мне лицах. Такое равнодушие — ни печали, ни радости: мне стало противно, и я воротился в Институт [15].

Вечером Добролюбов, встретившись со мной в рекреационной комнате, сказал: «Не хочешь ли прочесть стишки?» — «Твои?» — «Мои». — Я взял и стал читать: это были стихи «18-ое февраля»; начинались они:

По неизменному природному закону
События идут обычной чередой
Один тиран исчез, другой надел корону
И тяготеет вновь тиранство над страной.

И кончались:

И будет Русь страдать при сыне бестолковом
Как тридцать лет страдала при отце.

«Ну что? спросил он, когда я кончил.

«Ничего, хорошо. Только зачем ты предрекаешь страдания при сыне, да еще называешь его бестолковым? Ведь по слухам, он хоть и пьяница, а с хорошим сердцем?

«Дело тут не в человеке, а в царе. Однакож прощай».

Мы разошлись. Это стихотворение ходило по Петербургу, как и многие другие, написанные Добролюбовым. Товарищи его делали списки и разносили по своим знакомым и таким образом распространяли их по городу [16].

В 1860 году бывши в Вятке мне попалась в руки тетрадь запрещенных стихотворений одного семинариста тамошней семинарии. Перебирая, я встретил в ней два-три стихотворения, писанные Добр[олюбовым] во время его студенчества. Так далеко расходятся эти стихотворения!

Слухи о либерализме нового императора подтверждались. Я не говорю об удалении Клейнмихеля, Бибиковых и проч. — эти удаления мало радовали, потому что они были делом его личных отношений, но такие дела, как уничтожение ограничения числа студентов в университетах, открытие медицинского факультета в Варшаве, известная речь его московскому дворянству и проч. — предвещали новое время. Кто мог не поддаваться в то время надеждам из нас русских, когда поляки, имеющие больше причин ненавидеть всякого русского императора, встречали восторженно Александра, задавали ему пиры, охоты, а он упоенный этими радостными кликами надежд, делал публично обещания за обещаниями и тем еще больше укреплял эти надежды? Теперь уж время увлечения прошло и для нас, и для поляков, а я помню его приезд в литовские губернии, помню взволнованные речи, полные восторга лица поляков и каких еще! Таких, которые ненавидели с русским правительством все русское, которые после присоединения литовских провинций к России не хотели служить, ушли в свои поместья или брали

в аренду чужие и там в глуши гордо выносили тяжелую для них бездейственность...

Вот один из оставшихся в моей памяти случаев с одним из таких поляков. Он служил прежде, когда там действовал литовский статут, адвокатом. Ученик Мицкевича, гордый, но честный лях, он бросил свою профессию, как только было введено русское судопроизводство, взял в аренду какое-то имение и, окружившись семьей, доживал в деревне свои преклонные лета. Воротившись со встречи Александра, он с восторгом описывал каждую мелочь, повторял ломанным русским языком каждое слово императора, как бы стараясь проникнуть в их действительный смысл и успокоенный от всякого сомнения, он кончил по польски: «да, во всем, в каждом шаге, в каждом взгляде и в каждом слове видна царственная кровь. Как орел глядит он и каждый звук его речи заставляет сердце биться радостью — он сделает, непременно сделает все». Я улыбнулся в ответ на это произведение разгоряченной фантазии польского демократа и заметил, что величественность посадки, уверенность и смелость речи и действий происходит не от качества крови, а от привычки, приобретенной с детства, держать себя так, а не иначе и проч... Но тогда за эту невинную заметку на меня поднялись все присутствовавшие поляки и польки, доказывая, что правители народа (разумеется, не все, как Николай) суть орудия божией воли, удовлетворенной страданиями порабощенного народа, что на таких орудиях отпечатывается дух божий и проч. Я, разумеется, при таком их настроении не мог продолжать спора. Так сильно очарование надежд.

Вот в это то время общих надежд, скоро последовавших за 18-м февраля, чрез несколько недель после описанной моей встречи с Добролюбовым, он где-то, поймавши меня, вынул из кармана почтовый листок бумаги и дал мне прочесть, сказавши — «это тебя удовлетворит». — Я прочел: в стихах от имени русского народа неизвестный автор обращался к Александру, указывая ему на нужды русского народа. Стихи были мягки, несколько восторженны и должны были понравиться и польстить императору. «Эти лучше — хорошо было бы дать их самому Александру,—сказал я, смеясь».—«Я их сейчас отсылаю по почте, на имя Адлерберга-pèrе. Он конечно подслужится ими Александру». Стихи были действительно посланы; не знаю подслужился ли ими Адлерберг. Я, к сожалению, не упомню из них ни одного стиха; осталось только общее приятное впечатление. Впоследствии же никогда не приходилось заводить о нем речь [17].

После смерти князя Ширинского-Шихматова, [А. С.] Норов в продолжении нескольких лет один управлял м[инистерс]твом нар[одного] просвещения; по званию министра он был и главным начальником Гл. Пед. Института. Отношения его к Институту были вполне идиллическими. Он наезжал на Институт в разное время, предваряя о своем приезде институтское начальство, восхищался студенческим обедом до того, что иногда просил позволения у студентов завезти институтский пирожок своей супруге, крикливо говорил студентам о любви и преданности престолу и отечеству, в своих речах беспрестанно сбивался, нес чепуху и оканчивал их всегда: «в эфтом я уверен». На экзаменах он приезжал на богословие и греческий язык; делал по первому возражения отвечающему, часто сам не понимал своего вопроса, еще чаще путался и в заключение обращался к попу: «как это, батюшка? аще... аще... аще?» — «Аще взыду на небо, ваше высокопревосходительство», смиренным голосом, отвечал поп, почтительно приподнимаясь с своего стула. «Аще взыду на небо,— кричал между тем Норов,— ты тамо еси», но под конец текста опять сбивался, забывал и обращался за помощью к попу. В восторге от себя и от Института уезжал от нас Норов: начальство проводивши его, значительно улыбалось, а студенты громко хохотали и копировали хромого министра просвещения. Но вот новый импе-

ратор назначил князя [П. А.] Вяземского в товарищи Норову, а Норов передал ему свое главноначальствование Педагогич[еским] Институтом. О Вяземском мы знали, что он старый литератор, что прежде он был либералом и безбожником (его «Русский бог»), знали, что впоследствии Белинский отзывался о нем, что он — князь в обществе, холоп в литературе. Сочинений Вяземского мы не читали, исключая его последнего лакейского стихотворения «6-ое декабря», напечатано в «Петерб[ургских] Ведомостях» за 1854 год и то только потому, что на акте Академии Наук, приверженные престолу ученые сердца академиков заставили три раза прочитать это глупенькое стихотворение. Лакейское вдохновение князя Вяземского окончило это стихотворение следующими стихами.

Отстоит царя Россия,
Отстоит Россию царь.

И вот этому-то двустишию ученые мужи придавали пророческое значение, приходили от него в экстаз, заставляли чтеца повторять его и вели себя решительно неприлично для своего ученого сана. Вяземский вскоре приехал в Институт, разумеется, отправившись сначала к Давыдову; походил, потом, в сопровождении Давыдова по Институту, помычал (Вяземский редко говорил, но всегда м ы ч а л; он медленно и тихо выпускал слова сквозь зубы, но так, что понять его мычанье трудно было и человеку, к которому он обращался), помычал, да и уехал. Он представлял некоторую противоположность с Норовым: этот был жив, подвижен, всегда готовый восторгнуться, тот же неподвижен, вял, ленив и неуклюж. Один говорил так, что кричал; другой едва слышно да и то при достаточном напряжении уха. Но как то ни было, а Вяземский показался нам человеком далеко более положительным, чем юно-старый Норов; первое, да и последующие впечатления были в пользу его.

Тяготившись нравственным и материальным состоянием Института, мы давно хотели прибегнуть к какой-нибудь решительной мере для улучшения своего положения. Бедное полунищенское содержание, нравственный гнет Давыдова, чрезмерное наложение пассивной учебной работы, часто пустой и бесполезной, но поглощавшей все время от 6 часов утра и до 10 вечера — все это было сверх человеческих сил. Некоторые из наших товарищей в продолжение еще первого года умирали чахоткой, другие выходили добровольно в уездные учителя. А по наружности это заведение считалось великолепным. И в самом деле везде чистота, опрятность, везде паркетные полы, 2 швейцара на двух подъездах и 60 простых служителей. Отчеты о состоянии Института были наполнены восхвалениями необыкновенно прекрасному состоянию Института; в одном из отчетов ученый секретарь увлекся даже до того, что выразил: «Институт при Ив. Ив. Давыдове достиг полного совершенства». И в самом деле у нас были профессора-знаменитости, к нам, поглядеть на нас, приезжали педагоги, иностранные послы, путешественники — чего же более? Решились действовать на Вяземского, как на человека нового, след[овательно], не успевшего снюхаться с Давыдовым. Добролюбов составил описание Главного Педагогич[еского] Института с закулисной его стороны; описание было составлено чрезвычайно умно и полно. Институт разбирался во всех его отношениях, и основанием разбора служили печатные отчеты институтского начальства, там же, где отчет не мог служить основанием, Вяземского приглашали убедиться своими глазами и при этом требовалось только исполнение небольшого условия — приехать в такой-то час, не предваривши начальства о своем приезде. В заключение студенты обращались к Вяземскому, начать дело ревизии тихо и тайно, не показывая официального вида и главное не обращаться при начальстве к студентам, потому что такого студента начальство на другой же день могло заесть.

Описание Института было запечатано в пакет и отдано княжескому швейцару для передачи князю. Прошло месяца два-три прежде, чем Вяземский решился приехать. Неожиданный приезд его изумил Давыдова и все институтское начальство. Вяземский приехал незадолго до обеда и пробыл обед — к пробному обедному столику он не подходил, но нерешительно бродил между студенческими столами, делал «стойки» над мисками супу, но попробовать супу не решился. На заискивающее ухаживание Давыдова он посматривал недоверчиво, отмычивался — и только. После его отъезда Давыдов видимо бесился — все начальство ходило с пасмурными лицами, а мы радовались и были довольны, что наконец-то Вяземский решился действовать. Он приезжал и после этого несколько раз и также неожиданно, но решиться попробовать обед, выразить Давыдову какое-нибудь неудовольствие — никак не мог. Давыдов ободрился: он уже понял Вяземского и обходился с ним полушутливо. Вяземский, уставший от таких трудов, а может быть и обиженный шутливым обхождением с ним Давыдова, прекратил свои посещения.

Прошло еще несколько времени, и в Институте стали носиться слухи об официальной ревизии; само начальство говорило о ней и тайно готовилось. Мы приуныли, потому что видели, что дело пошло по той дороге, где все обстоит благополучно. Действительно вскоре явился чиновник ми[нистер]ства — [С. Н.] Палаузов и начал ревизию; видно было что он сам тяготился делом, в котором беспрестанно приходилось сталкиваться с Давыдовым, и старался скорее его свернуть. Что он сделал — нам ничего не было известно, мы только узнали, что «Описание Института» не было в его руках. Впрочем, что ж мог сделать незаметный чиновник министерства, когда товарищ министра затруднялся повести дело прямо и честно, когда он сам пред одним из моих товарищей, студентом А., признавался, что с Давыдовым ничего нельзя сделать. Студент А. хлопотал о переводе своем в Петербургский университет, был у Вяземского и нарочно завел речь о Давыдове. «Что я могу сделать с ним, когда он сильнее меня»,— отвечал князь и посоветывал самим студентам вести это дело. «Пусть явится к Давыдову сегодня один студент и скажет ему, что нас обворовывают; завтра другой, после завтра третий и т. д. Кончится тем, что Давыдов струсит и сделает по-вашему». Студент А. рассмеялся и отвечал: «Давыдов имеет возможность прекратить такие неприятные для себя явления студентов — он первого, а может быть и больше одного, сошлет куда-нибудь приходским учителем, а министерство не откажет ему утвердить такую ссылку». «Ну, этого я не знаю», промычал смущенный товарищ министра. Тем и кончилось это дело. Начальство торжествовало; Давыдов с особенным самодовольством посматривал на студентов. Есть причины думать, что он читал «Описание Института» — кто-нибудь из его министерских друзей доставил это описание ему.

Вскоре наступили экзамены. Это было в мае 1856 года. Выходил из Института курс, который был перед нами. Студенты этого курса отличались, вообще, духом кротким. В отношении Давыдова они держали себя с достодолжным почтением; нашим маленьким демонстрациям противу Давыдова не сочувствовали, а подчас даже явно выказывали себя против нас. Надежды на Давыдова у них были громадны... Но экзамены кончились и Давыдов не оправдал надежд многих из кончивших курс. Тогда-то один из недовольных послал в ми[нистер]ство ругательное письмо на Давыдова и на Институт; я не читал этого письма, но слышал, что оно полно было площадных ругательств, которые могли быть извиняемы только особенностью состояния писавшего. Но едва только разнеслась в Институте молва, что в министерстве получено какое-то описание Педагогического Института, как в городе заговорили, что студенты Педагогического Института высекли розгами своего директора. До настоящей

минуты едва ли кто, даже из студентов Педагогического Института, знал об авторе этого пасквиля на Давыдова. Я свято хранил тайну моего лучшего товарища, мучившегося этой клеветой, сделанной им вследствие минутного увлечения под влиянием особенных обстоятельств. Смерть его пусть развяжет языки всем; пусть скажут про него все дурное, скрываемое боязнью повредить ему в жизни. Я твердо уверен, что один только упрек, именно тот, о котором я говорю, может еще быть ничтожным пятном на светлом воспоминании о нем, да и это пятно будет пятном только в глазах людей щепетильно-честных, таких, которые не способны ни увлекаться, ни падать, ни вставать. Я смело объявляю о нем.

В последних числах июня 1856 года Добролюбов и я возвращались в Институт от общего знакомого нашего Малоземова, разговаривая об Институте и Давыдове.

«Я сделал подлость, начал по какому-то поводу Добролюбов, которой никогда не прощу себе. Видишь ли когда разнеслись слухи, что в Министерстве получено описание Педагогич[еского] Института,— мне почему-то показалось, что Вяземский официальным образом представил н а ш е описание в м[инистер]ство. Ты видел, как действовал в Институте Вяземский; министерство стало бы действовать еще слабее. Мне пришла мысль, заставить их действовать решительно. Как только пришло это в голову, я написал несколько записок такого содержания: «в ночь с 24-го на 25-ое июня сего года студенты Главн[ого] Педагог[ического] Института высекли розгами своего Директора Ивана Давыдова за подлость, казнокрадство и другие наглые поступки», прибавив к этому еще незначущую фразу, — и разослал эти записки по редакциям».

«Что ж тут подлого? Ведь с Давыдовым никто ничего не может сделать — Вяземский отказался и по моему мнению в таких обстоятельствах иезуитское правило — цель оправдывает средства вполне нравственно. Ведь для таких людей, как Давыдов, остаются только подлые средства».

Но Добролюбов не успокоился на этом. Он доказывал, что как бы подл ни был человек, честному человеку все-таки не следует действовать подлыми средствами, что он, Добролюбов, поступил бы честно в отношении самого себя, если бы прямо, публично дал оплеуху Давыдову, что всегда помешает повести дело прямо и честно это подленькое чувство боязни за себя, за свою семью, что наконец мы, смеющиеся над пугливыми восклицаниями инспектора (инспектор имел привычку по всякому ничтожному поводу, например, заставши студентов с папиросой кричать: «пощадите, господа, меня, ведь у меня жена, дети!» и при этом уморительно разводил руками), нисколько не лучше его. Со всем этим, разумеется, нельзя было не согласиться, но я настаивал на том, что из-за такого дела, как побиение Давыдова, действительно не стоит губить себя, что наша жизнь еще впереди, что (кто знает?) может быть мы способны принести в жизни большую пользу, чем отколотить Давыдова. Он казался несколько успокоившимся, и мы расстались, дав обещание никому, даже из своих товарищей, не говорить об авторе пасквиля. Приведенный мною разговор я помню почти слово в слово и за истинность его могу вполне ручаться.

А в Институте между тем происходили драматические сцены по поводу этого пасквиля. А. А. Краевский, получив записку о сечении Давыдова, немедленно отправился к Норову и отдал ее министру. Норов послал курьера к Давыдову с приглашением немедленно явиться. Неизвестно, какого рода разговор вел ми[ни]стр народного просвещения с Давыдовым, но Давыдов, воротившись в Институт, собрал у себя на квартире окончивших курс (нас почему-то он не пригласил, потому ли, что его подозрения не падали на нас, или потому, что не надеялся найти в нас достаточного сочувствия к себе — бог его ведает!), сказал им трогательную речь о том, как иногда на людей

заслуженных, осыпанных царскими милостями, падает дерзкая клевета, потом вынул пасквиль, сам прочел его и залился слезами. Я уверен, что слезы Давыдова тут были искренни — не могло быть сильнее удара для его честолюбия, как такого содержания пасквиль. С трудом удерживая катящиеся слезы, Давыдов просил студентов письменно опровергнуть эту клевету. Студенты удовлетворили его желание. С этим письменным актом Давыдов полетел к министру, который, вероятно, также удовольствовался таким официальным заявлением сочувствия студентов Давыдову. Впрочем носились слухи, что Давыдов уверил Норова, что и все студенты пылают негодованием против дерзкого оскорбителя и что даже, в знак особенной привязанности их к нему, умолили его, Давыдова, отлитографировать свой портрет. Так ли это было — знает Норов, а я знаю только, что дней через 5—6 действительно явились давыдовские портреты: их разносили по камерам надзиратели, делая тонкие намеки студентам поспешить приобресть их; студенты же находили, что портреты действительно схожи с оригиналом, но покупать не покупали. Так это дело и замолкло бы, но месяцев через 5—6 всех в Институте пробудило следующее объявление, напечатанное в прибавлении к «Моск[овским] Ведомостям»: «Московский 3-й гильдии купец Иван Давыдов-Сеченый сим объявляет, кому ведать надлежит, что он с большою выгодою принимает казенные подряды и поставки; жительство имею в С. Петербурге, на Васильевском Острову близ 1-го Кадетского корпуса в д. Федора Ильина». (Федор Ильин был экономом в Институте). Это объявление, напоминавшее шуточно о первом пасквиле, доставило много забавы не только студентам, но и профессорам [18].

В нумерах Колокола за 1858 год была напечатана статья «Партизан Иван Иванович Давыдов» с эпиграфом из Дениса-Давыдова:

Шапка зверски на бекрень,
Ментик с вихрями играет.

Статья эта принадлежит Добролюбову. В ней описываются институтские подвиги Давыдова. Между прочим там сказано, что Давыдов своими поступками довел студентов до пасквилей, и за тем рассказывается об обоих пасквилях. Во многих местах тон статьи из насмешливого переходит в оправдательный: смеясь над Давыдовым, автор как бы оправдывает студентов, и эти оправдывания делают ее особенно слышной, когда он доходит до пасквилей. Читатель поймет, какое чувство побудило Доболюбова напечатать эту статью.

К 1856 году принадлежит Добролюбову одно юмористическое стихотворение «26-ое августа», написанное им на иллюминацию, бывшую в этот день. Вот начало его.

Царь Николай просил у бога
Суда на сына своего.
Распространился очень много
О непокорности его
Отцовским мудрым повеленьям.

Я не буду выписывать всего стихотворения, оно слишком известно. К этим годам с 1855—1857 года должно отнести множество других его стихотворений, которые, вероятно, еще долго не могут появиться в печати. Из них я помню: «На перемену формы», «Газетная Россия», «К портрету Давыдова». С 1855 года Добролюбов стал издавать в Институте газету «Слухи»; содержание ее было почти исключительно политическое. Ее вышло не более 20 нумеров — почти все статьи в ней принадлежали Добролюбову, только две статьи покойному Н. П. Турчанинову. Прекратилась она от недостатка деятельного сочувствия к ней [19].

Учебный 1856—1857 год был богат стычками студентов нашего курса с Давыдовым. Стычки эти были большею частью частными, но иногда

велись от имени целого 4-го курса. Страх, внушаемый Давыдовым, рассеялся, как скоро авторитет его подорвался, а его авторитет действительно был подорван и в министерстве, и в публике (рецензией на акт Гл. Пед. Института, помещенной в «Современнике» за 1856 год). Напрасно старался Давыдов удержать прежний институтский порядок угрозами — угрозы не помогали; он бросился на правила официального устава, которые он прежде считал за ничто и изменил по своему произволу, требуя от студентов точного буквального выполнения их — студенты молча выслушивали его длинные речи и тотчас же, после речи, официально требовали от него самого выполнения тех правил устава, которых выполнять он имел причины не желать. Давыдов стал п р о с и т ь студентов, предлагал сделки, но это возбуждало еще большее озлобление.

Припоминая это время, я удивляюсь, как Давыдов сумел сберечь себя от существенных личных оскорблений. Те или иные оскорбления, которые считаются несущественными, выражались в каждой школьной выходке. Идет ли Давыдов своим тяжелым шагом по коридору, а сзади его раздается крик, копирующий его манеру говорить: «Э, наш отец-подлец идет» — и Давыдов учащает свои шаги. Идет ли он ночью по спальням, с своим скрытным фонариком, в сопровождении эконома, старшего надзирателя и вахтера — с постелей студенческих раздаются крики: «караул, воры». Нужно было видеть Давыдова в это время — он похудел, осунулся, потерял самоуверенную посадку, исчезла и его величественная походка. Он редко стал появляться в аудиториях и студенческих комнатах. Студенты жили почти свободно; даже и те из них, в которых прежнее воспитание и гнет институтской жизни, казалось, задавили последнюю искру человеческой свободы, подняли голову, оживились. Стремления к научным интересам нисколько не ослабели от таких б е с п о р я д к о в, как выражалось институтское начальство; напротив, занятия студентов носили уже характер некоторой самостоятельности, о чем могут свидетельствовать и печатные отзывы профессоров о студенческих сочинениях за 1857 год (см. «Акт X выпуска студентов Гл. Пед. Института». СПБ. 1857 г.). Лекции профессоров, правда, уже потеряли для студентов то исключительное значение, которое они имели для них в прежние годы; некоторые профессора возбуждали не только насмешки, но даже и негодование. Добролюбов в это время носился с Гейне, которого он переводил на русский язык; многие из своих переводов он читал нам, приводя нас в искренний восторг. Каждый из нас уж смотрел на него, как на даровитейшего из всех нас, откровенно признавался в его превосходстве, обращался к нему за советом по всякому делу — в то время все студенты действительно любили эту могучую и талантливую натуру, а наш кружок просто-на-просто гордился им. Не раз ставили его в параллель профессорам и это сопоставление наполняло гордостью наши молодые сердца. В это время начиналась уже его литературная известность — в «Современнике» были напечатаны его «Акт Гл. Пед. Инст.» и «Собеседник любителей российского слова», по которому завязалась небольшая полемика с Галаховым, составителем хрестоматии; он был вхож в литературный кружок Некрасова, Тургенева и Чернышевского *, а перед этим кружком мы

---

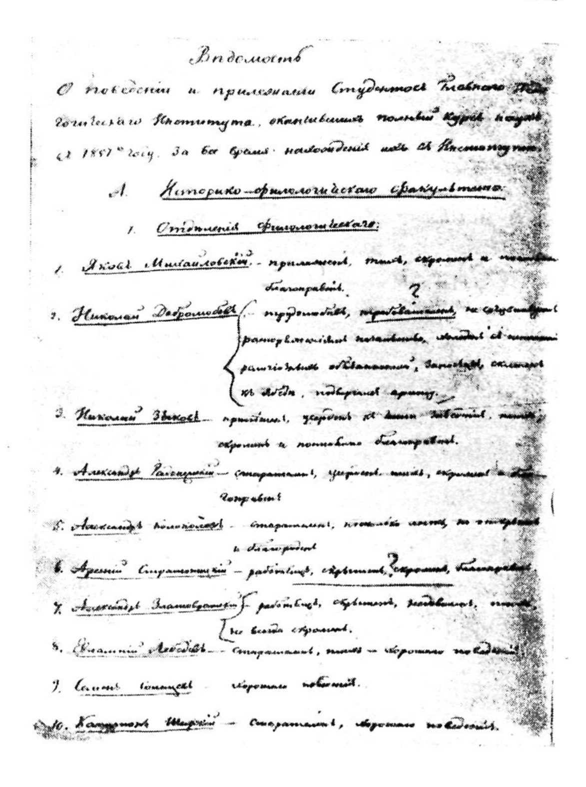
* Я боюсь, почтеннейший Николай Гаврилович, чтоб увидавши свою фамилию, вы не приняли помещение ее за нехорошее действие с моей стороны. Вас мы знали давно из восторженных рассказов о вас Н. П. Турчанинова и из «Очерков Гоголевского периода литературы». Эта заметка только для нас, Николай Гаврилович; она сделана по поводу той части Вашего письма к З[ари]ну («Современник» февр[аль] 1862 г.), где вы не признаете за собой литературного влияния в эти годы. На Добролюбова, может быть, прямого влияния вы не имели, да на него такого влияния едва ли кто производил: он развивался вполне самобытно, но косвенное влияние, так сказать, пробуждающее, имели многие, как Белинский, Герцен, Некрасов, Тургенев и вы [20].

«ВЕДОМОСТЬ О ПОВЕДЕНИИ И ПРИЛЕЖАНИИ СТУДЕНТОВ ГЛАВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ОКОНЧИВШИХ ПОЛНЫЙ КУРС НАУК В 1857 г...»

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Второй в списке — Н. А. Добролюбов

Областное Архивное Управление, Ленинград



Ведомость

О поведении и прилежании Студентов Главного Педагогического Института, окончивших полный курс наук в 1857-м году. За все время нахождения их в Институте.

А. Историко-филологического факультета.

1. Отделения филологического:

1. Яков Михайловский — прилежен, тих, скромен и ... благонравен.

благоговели. С жадным любопытством расспрашивали мы его об этих личностях, так занимавших нас и так возбуждавших к себе наши симпатии. Прошлое время, а как хорошо оно было и как скоро прошло! Действительно, весь этот год, проведенный в Институте, прошел незаметно; только близость мая, неожиданно подкатившегося, напомнила нам, что мы еще в Институте и что экзамены и экзамены страшные на носу.

Экзамены были для нас страшны не потому, чтоб они сами по себе страшили нас, а потому, что исход их был в руках Давыдова, которого мы имели причины считать ожесточившимся против нас. Разъяренный Давыдов при полном преклонении пред ним большей части профессоров мог повредить нам сильно. Я уже сказал в начале своих воспоминаний, что почти все мы были без состояния, без связей и без протекции; к этому нужно еще прибавить, что на многих из нас покоились лучшие надежды близких нам, родных наших; это не были, конечно, надежды честолюбия, но от нас ожидали себе помощи семьи, из которых мы сами вышли, пользы попросту сказать, денежной, вещественной. Отношения Добролюбова к семье отчасти уже известны; в подобных отношениях, хотя и менее тяжелых (исключая, впрочем, — одного Турчанинова), было большинство из нас. Положение невеселое, но дорога была одна — это не уступать ни шагу. Мириться с Давыдовым было невозможно, да и одна мысль о примирении поднимала такое гадкое чувство, что тотчас же и замирала. Итак, мы решились, не щадя живота, работать, сколь сил хватит. И действительно работали и день, и ночь в продолжение двух-трех месяцев *: мы должны были сдавать экзамен за 4 года. Но вот и они настали — начальство разослало печатные приглашения любителям просвещения с расписанием экзаменов и фамилиями студентов. Шли экзамены, вообще, хорошо; случаев провалания было очень

* Добролюбов, впрочем, мало заботился об экзаменах и попрежнему сидел за Гейне или за другой посторонней работой [21].

немного, каких-нибудь два-три. Давыдов вел себя на экзаменах, как истинный джентельмен, т. е. предоставлял аттестацию баллами экзаменатору и ассистенту, а сам на это время уходил в отдаленный угол (глядите-де, вот я и не суюсь!).

Экзамены кончились. Все мы ходили веселые, с радостными лицами— почти все по экзаменным баллам должны были выйти старшими учителями гимназии (это была высшая степень, с которою выпускались студенты Института). Вот и последняя конференция профессоров настала; конца ее мы ждали больше с любопытством, чем с нетерпением — решения ее, казалось нам, уже и без того известны. Она продолжалась очень долго, но когда кончилась, мы с изумлением узнали, что 12 человек выпущены младшими учителями, а из них 10 по правилам институтского устава должны были быть старшими учителями. Дело открылось просто. Давыдов не мешал экзаменам: он дорожил ученой славой Института, а потому уменьшать экзаменационные баллы не было в его интересе. Но оставить нас без отместки он также не хотел. Заготовив заранее баллы поведения, он настаивал на конференции, чтоб звание старшего учителя присваивалось тому из окончивших курс, кто кроме удовлетворительных баллов из наук, имеет в поведении 5. Профессора большинством голосов понизили эту цифру до 4, но и за этим пониженным баллом осталось еще 10 человек, жертв Давыдовской мести *.

Негодование было страшно, многие не помнили себя от досады и злобы на Давыдова. Планы менялись быстро — то хотели итти к Давыдову на квартиру целым курсом и бить его; то целым курсом жаловаться министру на несправедливость, то... но всего не перечтешь. 10 человек готовы были на всякую меру, но не все остальные; благоразумие уже руководило ими. Конечно, при тогдашнем образе мыслей нашего министерства попытка подачи жалобы всем курсом была опасна, тем более, что она задела бы и всех наших профессоров, как участников такой несправедливости, а гонор ученых, как известно, самый большой из всех гоноров; правда, что допустивши явную несправедливость, они, вероятно, для опровержения ее решились бы смотреть сквозь пальцы на некоторые уловки Давыдова, но из чести товарищеской, ради той дружбы, которая связывала нас, нам не должны бы приходить и в голову подобные благоразумные соображения. Большинство решительно было против этого, а меньшинство хоть и соглашалось, но прямо говорило, что из этого ничего не выйдет, кроме обвинения в заговоре, в бунте. Нет, решительно всеми нами овладела практическая мудрость. Неприятное воспоминание и горькое, потому что такая практичность одних породила в других много гадких упреков, недоверие друг к другу, подозрительность и проч. — и все это кончилось, как и следовало, полным разрывом.

В это-то время общей разладицы, случайно, в одной из комнат химической лаборатории сошлись мы трое—Добролюбов, Б[ордюго]в и я. Я не помню хорошо о чем шел разговор; помню только, что мы подсмеивались над озлоблением некоторых, не получивших сверх чаяния медалей, на которые они, как оказалось, сильно рассчитывали; из этих некоторых были

---

* Замечу здесь о Добролюбове. Аттестован он в аттестате поведением добропорядочным, но выпущен старшим учителем. На конференции некоторые профессора требовали ему золотой медали и требовали горячо (как напр. Срезневский). Давыдов, конечно не мог и заикнуться, чтоб назначили Добролюбова младшим учителем; он отбивал только его от золотой медали и отбил с трудом, предложивши ему серебряную, на что и согласилось большинство профессоров. Но Срезневский сказал решительно — или золотую, или никакую и настоял на своем. Добролюбову не дали никакой.

такие, которые выдавали себя прежде за людей свободно-мыслящих. Потом разговор зашел об отношениях Давыдова к Добролюбову.

«А что, — сказал Добролюбов, — не сходить ли мне к Ваньке — поблагодарить его за расположение? Ведь это будет в последний раз, больше посмеяться в лицо над ним не удастся».

Мы подхватили и убедили его — сходить. Чрез пять минут он возвратился и рассказал всю эту натянуто-смешную сцену. Давыдов вышел, встал к окну в полуоборот к Добролюбову; Добролюбов был на другом конце залы. Выслушав, не поворачивая лица, слова Добролюбова: «позвольте поблагодарить в[аше] п[ревосходительство] за расположение, которым я пользовался от вас во все 4 года, а в особенности в последний год и на последней конференции», Давыдов с минуту простоял молча, потом вдруг повернулся, раскланялся и вышел в дверь своего кабинета. Вот и все, что рассказал нам Добролюбов, а лгать не было в его натуре, да при этом не было и времени для сочинения. Мы посмеялись и скоро забыли об этой школьной шутке. Я с целью подробно описал эту невинную выходку против Давыдова, потому что она имела странные последствия.

10 человек решились от себя подать министру жалобу на неправильность решения конференции; несколько проектов жалоб были составлены, но не было ни одного, который бы нравился всем: они исправляли, дополняли, сокращали, но все не клеилось. В эту минуту, когда они от внутреннего волнения не могли порядочно, в умеренном тоне, составлять жалобы, вошел в их камеру Добролюбов. Узнавши в чем дело, он в две минуты составил проект жалобы, удовлетворивший желаниям всех. Жалоба была подана министру, кажется, в тот же день. Вскоре назначено было следствие, и следователем назначен вице-директор департамента [А. Е.] Кисловский. Профессора были собираемы несколько раз, но рассуждения их хранились ими в строгой тайне от студентов.

Назначение следствия взбесило Давыдова, но его бешенство не имело границ, когда он узнал, что жалоба составлена была Добролюбовым. Ругая Добролюбова перед своими confidents *, называя его неблагодарным ** и всеми прозвищами, он кончил тем, что вот он каков: «в тот же день он валялся у меня в ногах, прося у меня прощения, а чрез час пишет на меня жалобу». Мы видели, как Добролюбов валялся в ногах у Давыдова, да кто знал Добролюбова, знает, как возможно было для него валяться в ногах у кого бы то ни было.

Однакож Давыдовские confidents не усумнились и с разными ужимками передавали эту фразу студентам. Для верных слуг Давыдова, не терпевших и боявшихся Добролюбова, эта фраза могла показаться правдивой, но что удивительно, так это, что часть студентов поверила ей. Ненормальное состояние духа, общее раздражение — единственно, что может служить объяснением такого грустного факта. В числе поверивших находились и эти 10 человек. Раздраженные они приступили с допросом к Добролюбову, с вопросами неделикатными, обидными своей подозрительностью. Добролюбов оскорбился и вместо прямого опровержения клеветы, отвечал насмешками, что еще более их раздражало. Подозрение обратилось в уверенность и произвело ожесточение — ни я, ни Б[ордюгов], бывшие отчасти причиною невинной шутки, не могли убедить своих товарищей — нас не хотели слушать. Казалось, все чувство уважения, которое питалось к Добролюбову, вся товарищеская любовь, которую прежде каждый старался выка-

* Наперсниками [Ред.].

** Начальство Институтское, как говорил мне недавно Тихомандрицкий, хлопотало о снятии долгов с дома Добролюбовых в Нижнем, после смерти отца Добролюбова, но об этих хлопотах мне никогда не приходилось слышать от самого Добролюбова, хотя мы с ним не раз говорили о его семейных делах.

зать к нему, все это обратилось в ненависть к нему. Шестеро студентов за несколько дней перед тем сняли фотографические портреты группою на память о себе; в числе снятых был и Добролюбов. Его портрет вырезывали из этой группы и рвали[22].

Между тем следствие продолжалось, и Давыдову приходилось плохо. Он вытащил свою скрытую артиллерию — кондуитные списки студентов. Об этих списках мы слыхали, что они существуют, но что в них записано, нам никогда об этом не говорили; ясно, что Давыдов мог во всякое время написать в них, что ему угодно. Но в этот раз он не прибавил в них ничего — и без того они все были исписаны. Самое тяжкое обвинение, с которым выступил Давыдов против студентов, опираясь на свои кондуиты — это карточная игра в те часы, когда шла обедня. О карточной игре я скажу несколько слов.

По уставу мы все должны были присутствовать за обедней и за всенощной. Эта обязанность казалось особенно тяжелою. Кроме других причин, она отрывала нас от занятий. Звонок, а потом шляющиеся надзиратели, гонявшие нас в церковь, заставляли скрываться в отдаленных уголках, куда начальническое око редко проникало. От скуки и от беспорядочного толкания из угла в угол — явились карты. Понемногу мы втянулись в эту игру и впоследствии предавались ей с азартом, не скрывая от своего начальства. Как только утренний звонок в воскресенье раздавался, книги прятались, мы уходили в столовую, садились за карты. Очень часто случалось, что начиная игру в 9 часов утра мы оканчивали ее в 10 вечера, т. е. тогда, когда звонок звал нас в спальни. Начальство сначала преследовало нас, потом делало легкие замечания и записывало в кондуиты; а мы слушали и смеялись, смеялись и играли. И вот карточная игра явилась обвинением против нас.

Следствие кончилось, но результата его мы не знали до самого акта. Только на акте узнали, что один из 10 получил старшего учителя и что несколько перемен сделано относительно раздачи медалей; остальное осталось попрежнему. После чтения отчета Вяземский сказал нам речь такого содержания:

«Гг. Многие из Вас в институте отличались беспокойным характером. В институте это терпелось, на это смотрели снисходительно. Теперь вы вступаете в жизнь, а в жизни это не терпится».

В одном углу раздалось «подлец!», в другом послышался нерешительный свист, но все замолкло в ту же минуту.

Только Давыдов подошел к Вяземскому и поклонился ему в пояс.

Чрез несколько дней мы разъехались по разным городам обширной Российской Империи. Добролюбов назначен был в Тверь, но остался в Петербурге, приписавшись домашним учителем к князю Куракину.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 1944. VIII с. Княжнин, № 116. (Указание В. Н. Княжнина о публикации части воспоминаний в «Русской Мысли» 1914 г. ошибочно). В текст настоящей публикации не введены поправки Н. Г. Чернышевского. Последние были сделаны в целях придания более «цензурного» характера воспоминаниям, опубликование которых имелось в виду.

Воспоминания М. И. Шемановского до сих пор не были опубликованы и не вошли целиком в научный оборот, хотя и были неоднократно использованы рядом исследователей (Е. В. Аничков, В. Н. Княжнин, М. К. Лемке, М. М. Клевенский, П. И. Лебедев-Полянский). Между тем Шемановский—ближайший и интимнейший друг Добролюбова—знал многое такое, чего не знали другие. Его воспоминания являются важнейшим источником для биографии Добролюбова, тем более ценным, что они отличаются редкой и завидной точностью, почти не требующей исправлений. Написанные живо и увлекательно, они ярко характеризуют институтских друзей Добролюбова, обстановку в Главном Педагогическом Институте и эволюцию идей и взглядов критика.

[1] Об отношениях Добролюбова и Щеглова см. дневник, стр. 197—199 и 226—227. Ср. «Звенья», вып. III—IV, стр. 551—554. В 1862 г. (воспоминания Шемановского написаны около этого времени: см. стр. 275 наст. публикации) Чернышевским были опубликованы отрывки из дневников Добролюбова. Их и имеет в виду Шемановский.

[2] Эти стихи, не вполне точно прочтенные В. Н. Княжниным, вошли в изд. Аничкова (т. IX, стр. 2—3). Раскрыть некоторые фамилии редактор не сумел. Неизвестное нам сокращение «Л-ов» редактор читал как Львов, что вполне вероятно биографически, но невозможно по ритму. В списках студентов Гл. Пед И-та не нашлось ни одной другой подходящей фамилии. Быть может, фамилия Львова и была употреблена в стихах, однако, в сочетании с еще каким-то словом, например, с его именем.

[3] Среди бумаг Добролюбова, хранящихся в Гос. Публ. Б-ке в Ленинграде, находятся черновые записи по коллективной подписке на журналы.

[4] Василий Иванович Кельсиев (1835—1872)—писатель и революционер, впоследствии был амнистирован и жил в России; автор «Исповеди» — важного документа по истории революционного движения 60-х годов.

[5] Это заявление было подано, повидимому, в августе 1856 г. Текст его см. в изд. Е. Аничкова, т. I, стр. 98—101. Ср. в «Наставлении для студентов Гл. Пед. И-та» § 41: «При приемки муки, говядины, масла и пр. съестных припасов, равно и при отпуске кушанья за обеденный и ужинный стол, должны присутствовать дежурные из студентов» («Акт 25-го юбилея...» СПБ. 1854, стр. 175).

[6] Характеристика Сидорова целиком совпадает с тем, что пишет о нем в дневнике сам Добролюбов. Ср. стр. 211—219.

[7] Иосиф Вроньский (1778—1853)—известный польский математик.

[8] Письма Паржницкого к Добролюбову публикуются в настоящем томе. В них, вопреки утверждениям Шемановского,—ряд сообщений о своем бедственном положении и просьб о высылке денег.

[9] Рудольф Вирхов, *Патология, основанная на теории ячеек. Целлюлярная патология.* М. 1859. Издание редакции Московской Медицинской газеты (а не Медиц. Департамента). Кроме того Паржницкий вместе с еще некоторыми студентами Казанского Университета принимал участие в переводе «Руководства частной фармакологии» Clarus'a. Казань. 1863. Ср. «Материалы...», стр. 491.

[10] Шемановский имеет в виду крестьянские волнения в с. Бездне Казанской губ. в апреле 1861 г.).

[11] Л. Ф. Солярский — священник, законоучитель Педагогического Института.

[12] Речь может итти о А. Левицком или В. Лукашевиче. О связях последних с Паржницким или кружком Добролюбова ничего неизвестно.

[13] Речь идет о подаче жалобы по поводу злоупотреблений в Медико-Хирургической Академии. См. в тексте воспоминаний.

[14] Рассказ Шемановского является наиболее подробным описанием известного эпизода со стихами на юбилей Греча. Некоторые дополнения см. в других публикациях наст. тома (стр. 303 и др.).

[15] Ср. описание смерти Николая I в статье Добролюбова в № 6 «Слухов», «Красный Архив», 1926, № 2 (15).

[16] Полный текст стихотворения был напечатан М. К. Лемке в 1922 г. См. «Книга и Революция», № 3 (15), стр. 37.

[17] Шемановский не решился даже в предназначенной только для Чернышевского записке привести текст этого стихотворения, рукопись которого была у него в руках. По этой рукописи, полученной у племянника Шемановского, стихотворение было опубликовано М. К. Лемке в названном выше издании. Адлерберг-père—В. Ф. (1791—1884), министр императорского двора и уделов.

[18] Это объявление напечатано в «Моск. Ведомостях», 1856, № 111. Весь эпизод, подтверждающий точность рассказа Шемановского, изложен Добролюбовым в позднейшем письме к Н. П. Турчанинову («Материалы...», стр. 313 сл.) и в назв. статье в «Колоколе»: «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны».

[19] Текст этого и следующих стихотворений (кроме «Газетная Россия» и «К портрету И. И. Давыдова») неизвестен. О «Слухах» см. прим. 10-е к воспоминаниям Б. И. Сциборского (стр. 316 наст. тома).

[20] Шемановский имеет в виду статью Е. Ф. Зарина («Библиотека для Чтения», 1862, № 1) о влиянии Чернышевского на Добролюбова. Чернышевский отвечал Зарину статьей: *«В изъявление признательности»* («Современник», 1862, № 2), в которой отстаивал самостоятельность взглядов Добролюбова. См. в настоящем номере «Литературного Наследства» публикацию В. А. Сушицкого «Чернышевский о Добролюбове».

[21] В это время Добролюбов переводил лирические стихотворения Гейне.

[22] См. прим. 14-е к воспоминаниям Б. Сциборского (стр. 317 наст. тома).

II. Б. И. СЦИБОРСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

[ПИСЬМО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ]

10 февраля 1862 г.

Глубокоуважаемый
Николай Гаврилович!

Извините мне, что своею медленностью я заставил Вас писать ко мне. — Мне хотелось собрать по возможности большее количество материалов, относящихся к дорогой для нас личности Николая Александровича; но моя неаккуратность в сбережении писем была причиною того, что по крайней мере из 15-ти писем я мог отыскать два-три и несколько записочек, не заключающих в себе ничего особенного [1]. Кроме того, в своих тетрадках институтских я нашел отрывок из его дневника, попавший туда, как припоминаю теперь, довольно случайно; именно: во время болезни Н. Ал. (это относится к декабрю 1855 года) [2], когда он находился в больнице, ключ от его ящика, а также и некоторые его бумаги находились у меня на сохранении. В часы, свободные от занятий, я навещал его, приносил ему нужное и брал от него бумаги, которых нельзя было держать в больнице. Во время посещений он передавал мне на сохранение и листки своего дневника, и в одно из таких посещений (вероятно это было пред лекцией), получивши листки дневника, я вложил их в тетрадь, где они оставались нетронутыми до сих пор. — Отрывок, как сами увидите, чрезвычайно характеристический [3]. Прочитавши его, я живо припомнил себе то время, когда вопросы о судьбе нашей родины поглощали все наши мысли и чувства, когда над нами еще не тяготело сознание своего бессилия в борьбе за честные убеждения, когда мы верили, что наше вступление на поприще общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет все общество по пути разумному. Мы думали, что наскажем миру много-много новых истин, выработанных нами в тесном кружке институтском. — И нельзя сказать, чтобы мы не работали над этим. Правда, нас было немного — человек десять, преданных делу будущности, сознавших, что сухие лекции большей части наших почтенных профессоров и деспотические требования начальства в исполнении самых мелочных формальностей должны стать у нас далеко на второй план, а что нам нужен самостоятельный труд и прежде всего работа над самими собой — поверка прежних наших впечатлений. В числе наших товарищей, действовавших в таком духе, Н. Ал. был самым решительным, самым энергическим и чрезвычайно влиятельным деятелем. Вокруг него всегда, бывало, собирался кружок любивших и уважавших его товарищей; даже и враги его по убеждениям всегда относились к нему, как к человеку, который гораздо выше их стоял по своим честным стремлениям и по уму. А врагов у него было немало, особенно в последнее время институтской жизни, когда направление его ясно обозначилось. В первое же время своего пребывания в Институте Н. Ал. отличался необыкновенною уступчивостию и мягкостию в обращении со всеми, не обращая внимания на нравственные достоинства личности. Это, как он сам говорил, вытекало из его личного убеждения, что на всякого нужно прежде всего смотреть, как на человека, а потом уже судить о степени его развития и о достоинстве его направления. Впоследствии он изменил это убеждение на том основании, что не всякое животное на двух ногах и с наружными чертами человека можно назвать человеком, если в нем замечается полнейшее отсутствие отличительных признаков человечности — сознания, разумности и честности. Впрочем в характере его всегда оставалась мягкость и симпатичность.

10 февраля
1862 года

Глубокоуважаемый
Николай Гавриловичъ!

Извините меня, что своею медленностію я заставилъ Васъ писать ко мнѣ. — Мнѣ хотѣлось собрать по возможности большее количество матеріаловъ, относящихся къ дорогой для насъ личности Николая Александровича; но моя неаккуратность въ сбереженіи писемъ была причиною того, что [illegible] при 15-ти писемъ я могъ отыскать два-три и нѣсколько записочекъ, не заключающихъ въ себѣ ничего особеннаго. Кромѣ того въ своихъ тетрадкахъ [illegible] я нашелъ отрывки изъ его дневника, попавшіе туда, какъ припоминаю теперь, довольно случайно, именно: во время болѣзни Н. А. (это относится къ декабрю 1855 года), когда онъ находился въ больницѣ, [illegible] его языка, а [illegible] нѣкоторыя его бумаги находились у меня

ПИСЬМО Б. И. СЦИБОРСКОГО К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 1862 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Литературы, Ленинград

Его желание сближения со всяким многие вменяли ему даже в недостаток, приписывали индиферентизму в убеждениях; но как после оказалось, — это делалось с целью пропаганды тех истин, которые уже уяснились в кружке, но против которых всегда было большинство. Такой же точно образ деятельности впоследствии принял и весь кружок, когда сознана была необходимость распространять что-нибудь, по мнению кружка, новое. Особенно, когда являлись новички в наш Институт, деятельность кружка принимала значительные размеры: со всяким старались ознакомиться, выпытать, что это за человек, и при этом, обрисовавши обстановку институтской жизни с ее властями, сообщить, что и в тесных стенах Института есть возможность добраться до истины — стоит только самостоятельно работать, не подчиняясь влиянию начальнических одуряющих партий. А партий в это время у нас таки довольно было: была партия директорская, отличавшаяся изящными манерами и крайнею пустотой; была партия инспекторская и смирновская [4] — богатые расчетами получить теплое местечко и какую-нибудь медаль при выпуске, — партия, изготовляющая все по заказу, но без толку, совершенно равнодушная ко всякому живому и честному делу; были люди и незапятнавшие себя идолопоклонством, не принадлежавшие ни к кому и ни к чему, но мирные труженики науки, строгие блюстители порядка, хотя и недовольные этим порядком, однако не заявлявшие вражды никому и ничему. Наконец был кружок ненавистный властям, клеймившим его головорезами, алчными крокодилами, либералами и другими позорными кличками. Это были отъявленные враги существовавших тогда порядков в Институте, изо всех сил бившиеся из-за того, чтобы дать понять начальству всю нелепость их [sic! — *С. Р.*] мелочных требований — за отступление от правил институтских; развить в себе способность отзываться всей душой на всякое требование века, понимать современное движение мысли, осмыслить приобретаемые знания разумным пониманием отношений их к жизни — было главною задачею работ этого кружка. Разумеется, Н. Ал. был душою этого кружка. В большинстве случаев ему принадлежала инициатива в рассмотрении вопросов, которые действительно уясняли взгляд на вещи; большею частию он первый подавал голос для протеста против злоупотребления властей наших; он был одним из энергических деятелей в распространении разумных взглядов на жизнь и отношения нашего к окружавшим нас личностям. За то и доставалось ему от властей. Сколько неприятностей, сколько наглых выговоров и самого грубого обращения нужно было перенести, чтобы искупить самые благородные и честные поступки. Бывало, как только какая-нибудь власть заметит, что Н. Ал. или кто-нибудь другой из этого кружка разговаривает с новичком, то сейчас же со стороны власти следовало предостережение новичку, что с этими людьми опасно знаться, что их следует бегать, как чумы, если только он хочет быть на хорошем счету у начальства. Между тем замеченный в разговоре с новичком награждается косыми взглядами, отворачиванием и нелепейшим при первом ничтожнейшем случае выговором: «вы Гоголя начитались, позволяете себе судить о начальстве и даже сплетничать про него, — во всем этом ваш Гоголь виноват»,—обыкновенно заключал один из начальников, прослывший знаменитым математиком [5].—Разумеется, подобные замечания могли возбуждать только смех; но кроме их приходилось выслушивать тысячи таких пошлых, грязных замечаний, пересыпанных площадной бранью, которые невольно приводили в негодование. Впрочем и в подобных случаях легко было успокоиться составившимся между сочувствующими товарищами убеждением, что всякий выговор нашего начальства — это похвала; — и тот, кто совершенно спокойно выслушивал его, без сомнения, в глазах друзей мог считаться порядочным человеком. — Все эти черты из жизни институтской сами по себе так ничтожны, что о них, пожалуй, и говорить не следовало бы; но в массе

они производили такое впечатление, что до сих пор не изглаживаются из памяти. Бывает же в жизни такая обстановка, о которой рассказать нечего по микроскопичности явлений, совершающихся в ней, — возьмешь один случай, другой — да и невольно приходишь к заключению, что все это такие пустяки, которые ни для кого никогда не могут иметь никакого значения; между тем эти пустяки в совокупности, беспрерывно повторяясь, производят такое одуряющее тяжелое впечатление, образуют такую удушливую атмосферу, что, освободившись от нее, сам удивляешься, как это можно было вынести в продолжение четырех лет всю тяжесть самых пошлейших стеснений, самых нелепых требований. Сколько, например, нужно было терпения, чтобы поставить себя в совершенно безразличные отношения к тем людям, к которым мы явились с желанием поучиться чему-нибудь и которых большинство действительно признавало людьми честными и даже очень-очень учеными. К сожалению, я не могу представить богатого запаса курьезных фактов с обозначением чисел, лиц действовавших и другими подробностями, которые ярко могли бы обрисовать ту обстановку, в борьбе с которой нужно было много энергии, чтобы почувствовать себя независимым хоть внутренно, при страшнейших стеснениях и зависимости извне.

Благодаря искусству наших властей осматривать запертые ящики, в которых хранились всякого рода бумаги, между прочим и такие, которые хотя имели и прямое отношение к начальству, но тщательно скрывались от него из боязни преследований, — многие из нас должны были или держать свои бумаги вне Института в чужих руках, или сжечь их. В жертву пламени принес и я свой дневник, из которого теперь мог бы почерпнуть факты с указанием места, времени и проч. для того, чтобы хоть сколько-нибудь характеризовать те обстоятельства, которые в продолжение четырех лет тяжким гнетом давили личность Н. Ал... Кстати, расскажу здесь, как он сам однажды горько пострадал за то, что плохо спрятал от начальнической заботливости свои бумаги. Было это во время лекции, когда все студенты находились в аудитории; наш «отец» (так называл себя наш начальник [И. И. Давыдов] в отношении к нам) отправился по ящикам обыскивать, нет ли там чего-нибудь противного ему. К полному своему удовольствию он нашел в ящике Н. Ал. какое-то черновое письмо [6]. Этого «о т ц у» нашему достаточно было, чтобы изобразить собою грозного олимпийского бога и настращать смертного всевозможными карами небесными и земными. Но страшный гнев и угрозы без особенной причины сменились на отцовскую милость, о которой смертные обыкновенно немного хлопотали. Кончилось тем, что Н. Ал. засадили на несколько дней в больницу, куда обыкновенно отправлялись провинившиеся на том основании, что преступивший волю нашего благодетельного начальства не мог считаться человеком в нормальном состоянии—ему необходимо было исцеление. Лечение же там было по преимуществу духовное; сам наш отец-благодетель принимал на себя обязанности врача. Обыкновенно в 12 часов ночи отправлялся туда в сопровождении одного из гувернеров из предосторожности несчастного какого-нибудь случая, поднимал с постели преступника и обращался к нему с такой речью: «вы преступили устав заведения (здесь поименовывался род преступления — курение, несвоевременное возвращение в Институт и проч.); вы этим оказали неуважение к благодетельствующему вас начальству и уставу того заведения, которое, так сказать, дарует вам жизнь. Вам известно, что начальство и устав утверждены высочайшею волею, следовательно, вы преступник и против государя. Вы знаете также, что высочайшая особа избрана самим богом, следовательно, преступник и пред богом. Таким образом вы виновны пред заведением, пред начальством, государем, пред богом и наконец пред всем человечеством, которое признает неприкосновенность и святость всего того, против чего вы преступили. Теперь понимаете важность

вашего преступления? Думали ли вы когда-нибудь о том что вы сделали?..» и т. д. — Речь, начавшаяся цицероновским красноречием, в котором был так искусен оратор, обыкновенно переходит в красноречие квартальных; вежливое вы заменяется грубым ты с прибавлением эпитетов Сенной площади; потом опять речь принимает различные оттенки, смотря по впечатлению ее на преступника — и обыкновенно заканчивается потоком площадной брани... Окончание обыкновенно тогда следует, когда оратор уже выбился из сил, признаком чего служит засыхающая пена у рта... Сидеть в больнице еще не большая беда: тоска одолевает — и только; но принимать духовное врачевание — это было такое жестокое наказание, хуже которого хитро что-нибудь придумать. Кажется, согласился бы на все — целое ведро касторки готов бы выпить, лишь бы избавиться от духовного врачевания отцовского. И безмолвное лицемерие отца-благодетеля не могло доставить большого наслаждения для любящих его детей, а тут присовокупите еще его красноречие медоточивых уст — можно себе представить, какая это была пытка. Такой-то пытке подвергался Н. Ал. в этот арест несколько дней сряду, после чего считался обновленным и спасенным, благодаря притом ходатайству г. [С. П.] Галахова, хорошего знакомого Н. Ал-ча. Я привел один из довольно обыкновенных примеров обращения начальника со студентами; между тем подобные истории повторялись таки часто: случалось иногда, что в продолжении нескольких недель только и слышишь из уст начальнических, что слова духовного врачевания — невеселая жизнь — право... Разумеется, были люди, которые, кроме любезностей и похвал ничего другого и не слышали от властей; но те отказались от всей личности: для них нужны были похвалы, которые давали возможность впоследствии воспользоваться хорошей рекомендацией — теплым местечком и т. подобными благами мира сего, а ведь они только того и добивались, принося в жертву все, чем юность хороша — все лучшие стремления, все надежды и желания быть в жизни хоть кому-нибудь в чем-либо полезными. Задача их была очень несложна: для решения ее можно было и ничего не делать, но необходимо было отказаться от многих благороднейших стремлений человеческих, а это, думаю, тоже чего-нибудь да стоит... — Поэтому, как только нашлись такие личности, остальным, отказавшимся последовать их примеру, очевидно, трудно было бороться с требованиями начальства... Между тем борьба была делом совершенно законным и неизбежным... — считаю лишним здесь разбирать все возмутительные мелочи, которые поневоле вызывали отвращение к институтским порядкам, — да притом о них частию сказал свое слово сам Н. Ал. в рецензии акта Гл. Пед. Института, помещенной в «Современнике» [7]. Тревожить воспоминаниями бывших начальников наших благодетелей я тоже не решусь по причинам, о которых легко догадаться, хотя не лишним было бы вспомнить кой о чем, чтобы объяснить сколько приходилось вытерпеть Н. Ал. и каждому из нас, хоть бы для того, чтобы не запятнать себя идолопоклонством, которое так нравилось начальству нашему. Притом же, говоря о таком высоком предмете, как начальство, я должен был тут же говорить и о таких низких предметах, как пироги, сбитень, соус под червяками и т. п. (что довольно часто служило поводом столкновения и неприятностей с властями), — между тем как такое сопоставление высоких предметов с низкими я пока еще не допускаю, считая это унижением и неблагодарностью с моей стороны в отношении своих благодетелей... [8] — Я думаю, что в дневнике Н. Ал. найдется довольно фактов, которые дадут некоторое понятие о том, о чем я не решаюсь при настоящих обстоятельствах говорить... — Вместо того я укажу, насколько в письмах это возможно, на главнейшие моменты переворотов в понятиях Н. Ал.

Прежде всего, как только начали сгруппировываться кружки ме-

жду нашими товарищами (где говорится о товарищах, я разумею всегда собственно наш курс и некоторых из низших курсов; курсы высшие всегда держались от нас с подобающею важностью в стороне), кружок, к которому принадлежал Н. Ал., принялся за рассмотрение вопросов внутренней жизни — вопросов о наших верованиях и т. п. Оно и понятно: замкнутые в четырех стенах, незнакомые с общественною жизнью, которая могла бы развлекать нас, давая нам, может быть и очень пустой материал для толков, мы очень естественно обратились к поверке прежних впечатлений. Так как между нами встретились люди, останавливавшиеся уже на этих вопросах, и были такие, которые в простоте сердечной считали эти вопросы неприкосновенными, то очевидно споры и рассуждения на эту тему были неистощимы и даже иногда доходили до увлечения. Всякому тяжело было расставаться с многими, хотя и нелепыми верованиями, но дорогими по воспоминаниям: казалось, что человек сросся с ними, что они обратились в плоть и кровь и составляют что-то нераздельное с его существом; но между тем чувствовалось, что необходимо было подвергнуть всю эту дребедень критике строгого рассудка,—и как только начиналась эта работа, весь ребяческий бред оказывался несостоятельным и даже смешным. Переход от одного направления к другому совершался хотя с большими трудностями, но довольно быстро при взаимном содействии симпатизирующих товарищей; от прежнего чада оставались в душе не очень глубокие следы, которые скоро и совсем сглаживались под наплывом впечатлений новых, свежих, разумных. Отрезвленные новым направлением, некоторые принялись за распространение разумных идей в массе. Сопротивление со стороны товарищей, как и следовало ожидать, было сильное; большинство, даже не возражая на предложенные мысли, обыкновенно отвечало фразами, которыми всегда и везде отвечают, если дело касается вопросов, выходящих из рутинных понятий: «все это либеральничанье, обезьяничество; начитались различных книжонок и давай дичь молоть».— Да, легко было отделываться подобными фразами тем, которые не испытали, каких усиленных трудов стоит человеку отрешиться от различных нелепостей, навязанных из детства, и заместить пустоту хоть чем-нибудь разумным. Но было трудно вступать в споры с подобными людьми, которые и не хотят спорить; на все разумные доводы они отвечают молчанием и стараются от соблазна сказать хоть одно слово. Нужно было действовать насмешкою... Н. Ал. был всегда мастер на это,— и часто обскурантам доставалось-таки от него: обыкновенно в серьезных вопросах он никого не щадил. Но и насмешка оказывалась недействительною. Дело доходило до того, что чуть не силою заставляли оспаривать различные нелепости. Наконец случилось, что один из товарищей, на которого налегали таким образом, сказал священнику на исповеди, что его совращают с пути истины... Правда, из этого ничего не вышло особенно дурного ни для кого; но подобный факт ясно показал, что у некоторых бывают так крепко устроены лбы, что светлый луч разума никак не прошибет их. Это увлечение довольно скоро прошло и впоследствии на эти вопросы все уже смотрели с полнейшею терпимостью и даже уважением.— Вопросы из мира верований сменились вопросами политическими... — Здесь открылся новый богатый материал для прений. В этом случае требовался запас исторических фактов, которыми все были очень бедны: нужно было читать и читать. Но где было взять книг, пригодных для этого дела? Как все это недавно было — еще и шести лет не прошло,— а как переменились обстоятельства. Каких трудов, например стоило достать хоть сколько-нибудь порядочную книжку. Теперь, может быть, каждый из нас имеет под руками то, что прежде доставалось с громадными трудностями, с страшным риском. И теперь мы не можем похвалиться свободою выбора книг,— но что прежде было, особенно в четырех стенах Института,— это и представить себе трудно...

Н. Ал., имевший в то время несколько порядочных знакомств, оказал нам в этом случае значительную услугу... Полученная книга с жадностию и с наперед заготовленным доверием к ней прочитывалась в кружке и была предметом очень серьезных толков, пока наконец, факты заимствованные из нее, не проходили чрез критику читателей... Если же эта книга была на одном из иностранных языков, то, смотря по достоинству ее, иногда общими силами переводилась буквально вся и после прочитывалась в кружке, иногда же читалась для всех, владевших этими языками, вслух по-русски, а часто один кто-нибудь брался за прочтение всей и перевод замечательнейших мест и потом в кружке подробно излагал содержание ее и прочитывал переведенные отрывки... Н. Ал. в этом случае был одним из ревностнейших и трудолюбивейших деятелей. Я думаю в его бумагах и теперь можно было бы найти следы этих трудов... [9].

Нужно заметить, что в то время, когда с особенным старанием кружок уяснял себе взгляды политические, в обществе петербургском слышалось много разнообразных толков, то про злоупотребления в Крыму, то про освобождение крестьян, то про другие тогда случившиеся события; но все это носило на себе характер какой-то тайны, так что до истины трудно было добраться. Каждый день кто-нибудь, побывавши в городе, приносил в Институт богатый запас новостей, сообщение которых возбуждало живой интерес в следивших за общественной жизнью. Чтобы из этого хаоса можно было вывести какое-нибудь общее заключение, решились вести еженедельный листок, в который вносились все события крупные и различные слухи, пропущенные по известным причинам нашими газетами. Редакцию и главное сотрудничество принял на себя Н. Ал. Название листка было «Слухи» с эпиграфом: «Слухом земля полнится» [10]. Передавать содержание листка — нет возможности как потому, что я частию забыл, что внесено было туда, так и по свойству занесенных туда фактов. О направлении и цели «Слухов» я постараюсь в нескольких словах изложить мнение самого Н. Ал., высказанное им в первом номере листка. Я берусь почти буквально передать взгляд Н. Ал. на это дело и ручаюсь за верность передачи. Делаю это как потому, что не приходилось еще в письме этом поближе коснуться убеждений Н. Ал., так и потому что из приведенного мною отрывка можно будет хоть сколько-нибудь судить о тогдашнем его направлении... Начинает он свою статейку тем, что нам необходимо изучение и понимание исторических фактов из жизни народа. Но, — говорит он, — известия этого рода все еще мертвы, неполны, некрепки. Наши познания в этом отношении все еще темны и сбивчивы. Это явление, очевидное для всякого и кажущееся несколько странным, объясняется однако очень просто. Наука в России имеет дело только с официальными фактами, только с тем, что записывается в акты, что определяется весом и мерою, годом и днем. Оттого-то она и знает только, что в таком-то часу, такого-то числа загорелся в таком-то квартале такой-то дом и сгорел. А кто там жил, что потерял от пожара, какое влияние имело это бедствие на судьбу несчастного, что он спас и что потерял и проч. — это вещь совершенно посторонняя для исторической полиции. Да и негде разыскать это; разве остановиться на улице и послушать, что толкуют в народе; но об этом никто и не думает. А между тем здесь-то и материал для истории. Так называемое общественное мнение — не есть ли выражение духа, направления и понятий народных в ту или другую эпоху? А ведь оно не записывается, потому что стараются писать только вещи известные, интересные. А кто же станет писать или даже читать то, что всякий знает и всякий сам высказывает? Оттого-то, если твердят нам, что Россия цветет, а запад гниет, что в России покровительствуют просвещению, что мы все двигаемся вперед, что Ф. В. Булгарин страж чистоты русского языка, то наверное можно сказать, что эти вещи весьма и весьма сомни-

тельного свойства. Не пишет же ведь никто трактатов о том, что человек имеет на руках по пяти пальцев, что большая часть наших граждан проводит жизнь в воровстве, что К. мошенник, что в..., начиная с N, почти все ослы и дураки и т. д., — а не пишут оттого, что трудно найти человека, которому бы эти истины были новостью. Оттого-то и слухи также быстро исчезают, как и появляются. Говорят о предмете до тех пор, пока полагают, что не все еще знают о нем; как скоро известие облетело всех — его тотчас оставляют и забывают. Таким образом каждый день являются новые вести, сплетни, мнения, задачи, решения, вопросы, ответы — словом слухи каждый день, они исчезают и заменяются другими, так что и записать их не успевают. А между тем сколько живых, резких характеристических черт в этих эфемерных явлениях и разговорах. Это не мертвые числа и буквы, не архивные справки, не надгробная надпись умершему — нет, это самая жизнь с ее волнениями, страданиями, наслаждениями, разочарованиями, обманами, страстями,— во всей ее красоте и истине. Неделя этой жизни поучает нас более, нежели семь томов мертвой статистики. Десяток живых современных черт объясняют историку целый период гораздо лучше, нежели 20-летние изыскания в архивной пыли, где он найдет только блестящие реляции о темных делах,— указы, которые никогда не исполнялись, да следствия, в которых невозможно отыскать причины. Человек — не машина для письма; жизнь его — не в канцелярских бумагах, на которые так сильно сбивается у нас история и литература. Конечно, из нашего народа не сформировался еще полный человеческий тип, но все-таки нельзя отвергнуть того, что он сформируется, хоть понемножку, хоть незаметно, а сформируется... и тем интереснее должно быть для нас следить за его начинающимся развитием, тем поучительнее послушать, как он рассуждает, как он понимает вещи не в учено-литературной канцелярии, где он переписывает чужую резолюцию, а в частной жизни — дома, в гостях, в театре, в церкви, на улице, на рынке, — везде, где только может он выразить свое личное настроение и понимание. Тем более подслушаем таких откровенных рассуждений, рассказов, отдельных мыслей и впечатлений, тем яснее нам будет истинный дух народа, тем понятнее будут его стремления, его чувства, тем полнее и осязательнее представится нам картина народной жизни. Что за беда, что все эти мысли будут нам известны и следовательно скучны каждая порознь, зато значительное их собрание может впоследствии повести нас к соображениям, которые без того не пришли бы в голову, может обратить наш взгляд на такую точку, которой бы мы и не приметили. Не всемирно-историческое значение имеет то обстоятельство, что один человек умер в судорогах, другой—тоже, третий тоже и т. д., а собрали сотни и тысячи подобных фактов, и увидели, что это — cholera morbus *. Может быть и собранные нами слухи приведут умного человека к открытию какой-нибудь хронической болезни в нашем народе, может быть позднейшие врачи заглянут в наш ensemble ** слухов, в которых должна открыться современная нам жизнь с внутренней ее стороны. Не будем же слишком эгоистичны, не станем отвергать слухов только потому, что они известны. Поделимся с другими своим знанием, сохраним для потомства наши мысли,— пусть оно увидит, что мы жили или по крайней мере хотели жить. Может быть, в записки свои мы внесем ложные слухи; может быть, займемся ничтожным и опустим важное; но и в этом отразится жизнь. Только машина может работать с неизменною, размеренною правильностию и верностию. На ее стороне преимущества скорости, ровности, верности и проч. Но где замешается дело мысли, там живой человек всегда гораздо

* Холера [Ред.]
** Собрание [Ред.]

лучше, — за доказательствами нам далеко ходить нечего: наши товарищи в этом отношении представляют поучительный пример. — Но дело, за которое мы беремся, легкое само по себе, становится трудным и даже опасным по своим последствиям. Нужно быть беспристрастным — записывать все, что только слышишь, — а ведь мало ли что говорят? Заочно и про наших знаменитостей и вообще всякую знать говорят не совсем приличные вещи, а писать про это еще почти никто не писал безнаказанно, кроме автоматов. Притом народ ведь все с самолюбием у нас в России: все хотят сами делать, а другим не позволяют. Сделает человек глупость — и ничего; а только другой начнет говорить о ней — беда — как смел!!! — Уж и этой-то чести не хотят уступить другому. «Это — дескать — моя глупость, я ее сделал и никому не позволю повторить». Попадись наш листок в такие руки — запретят, пожалуй, и писать нам. Это еще, впрочем, беда не так велика «слухи» разойдутся в тысяче экземпляров, как все запрещенное: но вот беда, если запрут куда-нибудь, — тогда уж совсем плохое дело — материалов не будет, а из ничего не будет ничего. Выдумывать же слухов невозможно, потому что это противоречит цели листка. Но и здесь есть утешение: будем припоминать, что давно слышали, короче сказать — при нашей твердой решимости нас ничто не может остановить, пока живы будем, пока в нас не пропала жажда деятельности, пока не убиты в нас благороднейшие стремления сделать что-нибудь для блага человечества, — а энергии и неугомонной пытливости, кажется, нам не занимать стать. Мы чувствуем, что теперь начинается замечательнейший период в истории России, — материалов много. Вопрос о крестьянском праве много занимает умы и разговор о нем сделался до того общим, как прежде разговор о Севастополе, так что почти вытеснил пресловутый разговор о погоде и здоровье. Это ничего — пусть говорят, — договорятся до чего-нибудь. — Если мы убеждены, что основание нашей гражданской жизни составляет низший класс народа, то нужно действовать на него, но не поджигательными средствами, не на страсти его, а на его сознание, — это хотя и длинный путь, но зато верный и благотворный по своим результатам; нужно раскрыть ему глаза на настоящее положение дел, пробудить в нем спящие силы души, внушить ему понятия о достоинстве человека, об истине и добре, об естественных правах и обязанностях — словом, просветить его, — и лишь проснется да повернется русский человек — стремглав полетят враги его, усевшиеся на нем...

Останавливаюсь на этом, как потому что последующие предположения еще не современны и могут показаться мечтою, так и потому что дальнейшая характеристика взглядов тогдашних Н. Ал. может быть не так буквально передана мною; — все, что я говорил за Н. Ал., взято мною из нескольких лоскутков моего дневника, уцелевших случайно между бумагами. Как припоминаю, страницы эти были писаны мною по прочтении первого номера «Слухов», так что здесь могут встретиться даже подлинные выражения Н. Ал.[11]. — Мне кажется, что даже из этого коротенького отрывка, какой могут поместить тесные страницы письма, не трудно составить себе некоторое понятие о тогдашнем направлении Н. Ал.

[При более благоприятных условиях я надеюсь представить Вам более полную характеристику с значительным количеством фактов, хотя по памяти, но за достоверность которых я могу ручаться всем. Не знаю, какое впечатление произведут на Вас сведения о «Слухах», но во мне] * приведенные мною строки о наших «Слухах» пробудили тысячу воспоминаний о том времени, когда мы все были гораздо лучше, нежели теперь, когда у нас было столько надежд и добрых стремлений, — и может быть один Н. Ал. больше всех нас приблизился к тем целям, к которым все мы так нетерпеливо стре-

---

* Заключенное в квадратные скобки в рукописи зачеркнуто [Ред.]

мились. Но судьба неумолимая, как будто в насмешку над нами, прекратила и его деятельность, как бы желая доказать нам, что благородные стремления и энергия не в состоянии устоять против нелепостей жизни. Здесь сам не знаешь, кого винить в этой борьбе; но мне кажется, что у нас все-таки сберeглось еще достаточно силы на всякое благородное дело и чтобы если бы... Но я увлекся посторонним предметом; между тем нужно кончить о «Слухах». Независящие от редакции обстоятельства похоронили листок, кажется на 12-м нумере[12]. Эти нумера Н. Ал. подарил на память одному из наших товарищей — Львову.— К литературным произведениям институтским Н. Ал. относится еще значительное количество стихотворений, написанных преимущественно на разные случаи. Многие из них приняты были с восторгом институтскою публикою, списывались и в рукописях распространялись между студентами. Редкие догадывались, что они принадлежали Н. Ал., который скрывался тогда под псевдонимом Будилова. Интерес этих стихотворений заключался впрочем не в том только, что они относились к известному событию или личности, но преимущественно в меткой характеристике предмета и оригинальности мыслей. У меня было списано более десятка его стихотворений; но, благодаря некоторым обстоятельствам, в настоящее время едва ли сыщется два-три, да и то не из лучших. Я не сумел сберечь даже того стихотворения, которое Н. Ал. подарил мне на память, и теперь помню только первый куплет его,— кажется, он так начинался:

Зачем вы связали мне руки?
Зачем спеленали меня?
Зачем на житейские муки
Меня обрекаете с первого дня?..[13]

Впрочем, если бы и была возможность собрать все его стихотворения, то при напечатании их встретилось бы много препятствий: большую часть их, а именно самую лучшую, положительно нет никакой возможности издать по несовременности их содержания; даже самое невинное стихотворение из этого отдела на юбилей Н. И. Греча, я думаю, не позволят напечатать. Из небольшого числа тех, которые можно издать без затруднений, есть несколько очень замечательных, как по содержанию, так и по выполнению.

К числу институтских же литературных произведений Н. Ал. нужно отнести также различные проекты, очерки институтской жизни и т. под.; несмотря на свой большею частию, так сказать, местный интерес, они отличались строгим анализом явлений этой жизни, богатством фактов и верною характеристикою личностей. Жаль, что из произведений этого рода ничего не сохранилось; между тем они очень пригодились бы для полного объяснения обстоятельств, сопровождавших пребывание Н. Ал. в Институте. У меня, впрочем, между бумагами отыскался небольшой отрывок одного довольно подробного описания экономического быта нашего заведения. Посылаю Вам этот отрывок: может быть Вам пригодятся некоторые данные для объяснения материального быта нашего; жаль, что сохранилась такая незначительная часть; целое содержало бы в себе очень подробный отчет о наших экономических средствах[14].

Припоминая дорогую личность Н. Ал., я не могу в коротких словах всецело воссоздать характер ее, как потому что личность его так чрезвычайно многосторонняя, что трудно сразу обнять все разнообразие ее особенностей, так и потому что, обращая внимание на одну какую-нибудь сторону ее, невольно увлекаешься полнотою ее развития,— кажется, что вот здесь весь полный отдельный человек, — как мы привыкли его видеть, и забываешь, что есть такие богатые натуры, которые совмещают в одной себе

столько редких особенностей так высоко развитых, что, если бы каждую из этих особенностей порознь приписать отдельным личностям, то мы могли б получить много прекрасных, высоких личностей, которых назвали бы благороднейшими, умнейшими, честнейшими и другими лучшими качествами природы человеческой.

О степени образования и умственного развития Н. Ал. я, разумеется, не стану говорить, потому что для объяснения с этих сторон личности его недостаточно сказать несколько слов: для этого необходим обширный и добросовестный труд, соответствующий обширности предмета. Да притом можно ли об этом много распространяться, когда всему читающему люду известно богатство образования и талант Н. Ал... Я попробую указать на менее известные стороны характера Н. Ал. хоть, например, на его гуманные чувства, на его теплоту душевную. Указывая на широкое развитие этого чувства в личности Н. Ал., я не впаду при этом в лирический восторг: сам он делал услуги молчаливо, без восторга, но с задушевным участием, как исполнял свой долг, который налагала на него сила убеждений и доброта сердца; в его натуре даже не было возможности отказать кому-нибудь в чем-либо, если представлялся самый ничтожный случай для того, чтобы подать руку помощи...

Но чтобы лучше объяснить, до какой степени развито было в нем сочувствие к ближнему, я укажу на факты. Правда, припоминая время институтской жизни, я не найду там громких подвигов геройского самоотвержения,— они там и невозможны были по мелочности обстановки этой жизни;— но и в таких будничных, темных явлениях иногда высказывается человек многостороннее и полнее, чем на обширном поприще общественной деятельности. — Сделаю наперед оговорку, что большинство наших товарищей был народ беднейший в отношении материальных средств: некоторые в продолжении всей институтской жизни не получали ниоткуда ни гроша, между тем всякий человек имеет вопиющие нужды, которые требуют неизбежного удовлетворения, которых, впрочем, не имело в виду и само начальство и для которых недостаточен был казенный вес и мера.— Возьмем хоть то, повидимому, ничтожное обстоятельство что содержание у нас было до крайности неудовлетворительное во всех отношениях,— например, в отношении к пище: тот, кто не имел своих денег, чтобы запастись съестными припасами хоть булкой, — тот принужден был терпеть страшнейшие мучения голода. Но положим, что эта потребность не заслуживает того, чтобы много хлопотать об удовлетворении ее, — согласимся даже, что начальство было право, придерживаясь древнего изречения, что satur venter non studet libenter * — и даже оказало нам пользу, отказывая нам в необходимом удовлетворении первой потребности жизни.— Но ведь было множество и других потребностей, отказать которым значило отказать себе в возможности следить за образованием, за ходом литературы и т. под. Так, например, выписка журналов, газет, книжек, которых нельзя было найти в библиотеке и проч. (журналы из нашей библиотеки можно было получать только за старые годы; новые читались исключительно начальством, которое могло бы, кажется, и на свои деньги выписать все это, а собственность казенную следовало бы по всем соображениям предоставить в пользу студентов, лишенных средств для приобретения таких дорогих предметов), — разве подобный расход ничего не значит не только для людей, лишенных всех средств, но и даже для тех, которые стеснены в средствах? Для других пять-шесть рублей — ничтожная сумма; но для того, кто не имел ни копейки и даже не мог иметь — это богатство Креза, — где взять эти пять-шесть рублей?— Являлась, например, необходимость вне Института

* Сытое брюхо к учению глухо [Ред.].

без стеснений потолковать об интересовавших нас предметах, на свободе почитать книжку, которой в Институте нельзя было читать беспрепятственно; для удовлетворения этой потребности нужно было, хоть под предлогом празднования чьих-нибудь выдуманных имянин нанять на несколько часов квартиру, а для этого также нужны были деньги,—а где их было взять неимущему? — Подвергались, например знакомые нам студенты ссылке в отдаленные места при чрезвычайно трудных условиях, лишенные даже того, что мы имели, как не выразить сочувствия к благородным людям хоть чем-нибудь? Как не помочь гонимым за правду?— а где взять средств для помощи?... Пишет, например, товарищ из Казани, что там чуть не умирает с голода 60-летний старик, пробывший 25 лет в каторге и теперь получивший амнистию, возвращающийся на родину в далекие западные губернии, где, впрочем, нет у него ни родных, ни крова; да притом и сам он, изнуренный тяжкими работами каторги, едва-едва двигается, будучи не в состоянии заработать себе кусок хлеба, или просить милостыни у каждого встречного, — как тут не поделиться с таким олицетворенным страданием, с такою бедностию, которой могут вполне сочувствовать только знакомые с гнетом ее? Как не отозваться на голос мученика, так жестоко страдавшего, может быть, за чужие грехи? — Но где взять средство помочь погибающему?— Я мог бы представить множество подобных примеров, где юное горячее сердце не могло отказать себе в деятельности, в сочувствии к братьям; но обстоятельства, лишившие средств к осуществлению благородных стремлений, давили еще более сознанием бессилия порывов быть полезными кому-нибудь. Во всех этих случаях дружеская помощь Н. Ал. была неоцененна для нас. Он среди нас был в роде банкира, хотя сам имел самые ограниченные средства. Но ему все-таки хоть что-нибудь присылали из дому, да притом уроки давали ему маленькие средства. Поэтому, как только являлся какой-нибудь случай, где требовалась материальная помощь, все неимущие обращались к нему, после чего он сам делался таким же неимущим. Не было случая, чтобы он когда-нибудь отказал в чем-либо товарищу, хотя были случаи, что ему отказывали те, которые имели в запасе деньги.— Обыкновенно, когда являлся вопрос о выписке журналов, посылке кому-нибудь денег и т. под. Н. Ал. большею частию сам брался за это дело, посылал свои деньги, а если у него не хватало, то занимал для других, а потом общий итог разделялся между участвовавшими, которые обещались уплатить ему долги, когда будут у них лишние деньги, хотя бы это могло случиться и чрез 20 лет. Между нашими товарищами, кажется, не было таких из порядочных людей, которые не состояли бы должниками Н. Ал., хотя известно было, что он сам был в долгах для того, чтобы выручить своих товарищей. Я не стану говорить здесь о той помощи, которую оказывал он товарищам по выходе из Института. Вы, думаю сами знаете, какое живое участие он принимал в судьбе Н. П. Турч[анинова] — и других. И я ему обязан услугою, которую буду помнить долго, долго. Когда в один из приездов моих в Петербург (это было в декабре 1859 г.), я объявил Н. Ал., что я намерен жениться, то он, принимая живейшее дружеское участие в моей судьбе, по обыкновению начал подробнейше расспрашивать о моих обстоятельствах с желанием хоть чем-нибудь служить мне: он, кажется, готов был сердиться, если бы не было случая подать руку помощи человеку, любившему его. Мои материальные средства, как всегда, были не в блестящем положении; но я никак не решался опять брать деньги у Николая Александровича, зная, что у него на руках братья и многочисленная семья; однако я должен был сказать ему правду на его расспросы. Этого достаточно было для того, чтобы он сейчас же вынул из стола последние сто рублей и дал их мне с условием возвратить тогда, когда у меня они будут лишние. К несчастию, этого не случилось до сих пор.

При свиданиях моих по возвращении его из за границы, я однажды ему напомнил, что теперь его финансовые обстоятельства наверное очень расстроились по случаю поездки, а потому я пришлю ему хоть часть долга, — тем более, что это для меня было бы не обременительным уплачивать долг по частям. Но лишь он выслушал несколько моих слов, как сейчас же просто оскорбился, что я ему об этом напоминаю и начал упрашивать меня соблюдать условия, которые сделаны были при получении денег. Условия с моей стороны еще не выполнены до сих пор...

Я думаю, что сообщаемые мною факты многие назовут мелочами, пустяками. Да, все эти мелочи в глазах людей, незнакомых с нуждами жизни, могут показаться такими пустяками, которые ничего не могут объяснить; но нужно прожить эту жизнь, чтобы понять значение этих мелочей, чтобы убедиться, что человек, разделяющий последнее с своими товарищами для удовлетворения их насущных потребностей — этот человек проникнут глубоким сочувствием к ближнему; его гуманные теории не пассивны, не мертвы, а одушевлены живою любовью к братьям даже в таких мелочах жизни, как удовлетворение голодного желудка...— Мы маленькие люди, незнакомые с высокими потребностями комфорта, судьба из детства обрекла нас на тяжелый подвиг жизни, не давши нам даже средств для приобретения права на труд полезный. Мы должны сами путем тяжелых лишений и испытаний, путем постоянной борьбы с препятствиями, прежде всего, завоевать себе право на труд, получивши образование. А чего стоило образование при наших условиях,— это может понять только тот, кто прошел этот путь без всяких посторонних поддержек, не имея ничего ни дарового, ни наследственного, кроме рук и головы на плечах.— Но чтобы мои слова не счел кто-нибудь фразами, я приведу здесь цифры, которые могут подтвердить сказанное мною. Наш курс средним числом состоял из 40 человек,— и вот такое непродолжительное время уже двенадцатый товарищ наш — Н. Ал. в могиле. И всех их сгубила в самом цветущем возрасте жизни одна болезнь — болезнь тяжелого труда — чахотка. Я думаю, что такая цифра смертности едва ли бывает так велика в роковое время губительной войны. А сколько вероятно теперь таких, которые, дорогою ценою купивши право учителя, хотя еще и не покончили с жизнию, но, вышедши из заведения обессиленными физически, теперь в лучшем возрасте жизни страдают неизлечимыми болезнями и несут тяжелые учительские обязанности ради насущного куска хлеба. Между тем в нашем обществе еще и теперь часто слышатся голоса даже людей образованных, что у нас дорого платят за обучение тем, которые таким трудным путем завоевали себе право на это... Но пусть себе толкуют это положение так, как кому понравится: наверное найдется много таких, которые признают его нормальным; указывая на него я не имел в виду даже касаться этого вопроса, а сказал только несколько слов по поводу объяснения тех обстоятельств, при которых получил образование Н. Ал. и большинство наших товарищей. Может быть простыми указаниями можно навести на некоторые соображения тех, которые вовсе незнакомы с трудною жизнию. Правда, сытому трудненько понять голодного. Мне встречались например господа, которые находили нашу жизнь в Институте очень хорошею: «это наивно,— говорил мне один господин,— куда не шло,— может быть и хорошо делали, что вас там стесняли,— а вот я — так поверите-ли не мог даже абонироваться в оперу, когда был студентом. Даже должен был отказывать себе в посещении собраний и балов». — И действительно, для многих составляет большое лишение то, о чем мы большею частию и не мечтали,— как же понять то, о чем и представления не имеешь.— И точно, посещение театров для многих из нас могло быть только неосуществимою мечтою. Нам и даровое посещение публичной библиотеки дорого обходилось: бывало, после обеда, от четырех до девяти ча-

сов посидишь в библиотеке и, прийдя домой, доволен остаешься, если не заметили, что возвратился позже установленного времени, а особенно, если добрый товарищ не забыл тебя за ужином и захватил на твою долю хоть ломоть черного хлеба, иначе придется испытывать страшные мучения голода, потому что казенный вес и мера, хотя и рассчитывали на всех, однако лишали порции опоздавших в пользу э к о н о м а. И это не один день голода, а целые месяцы: чем усерднее посещали библиотеку, тем тяжелее обходились эти посещения, — особенное трое нас часто испытывали невзгоды в этом отношении — Н. Ал., Н. П. Турчанинов и я. Нечего говорить о том, как жутко приходилось нам в трескучие петербургские морозы в холодной казенной шинельке без подкладки, представляющей хламиду древних греков, путешествовать с Васильевского Острова в Публичную Библиотеку и обратно. — Но я увлекся рассказом подробностей, которые могут быть и неинтересны; меня часто упрекали за увлечения в подобных рассказах о Н. Ал.: «охота ему была таскаться в библиотеку, — разве у него книг мало было? Да прочитал-ли он всех их?». — Меня и теперь могли бы упрекнуть подобные люди. Но я уверен, что Вы придадите значение и этим подробностям.

Однако пора мне кончить: письмо мое вышло гораздо обширнее по объему, нежели я предполагал.

Время нашего выпуска сопровождалось очень печальными обстоятельствами, — я не буду рассказывать подробностей этой истории, проводившей нас из Института в жизнь действительную. Главное здесь то, что начальство признав себя решителем нашей судьбы, распоряжалось по своему произволу. Явилась оппозиция со стороны студентов, — но осталась безуспешною. Самолюбия и чувства самосохранения, до того времени молчавшие, так сильно были раздражены, что трудно было разобрать отношения даже между людьми, которые прежде того связаны были общими стремлениями: одни требовали от других самопожертвования в пользу честного благородного дела — защиты обиженных, — между тем другие видели в этом деле только интересы частные и не хотели рисковать еще раз собою, потому что были убеждены, что риск, не принося никакой существенной пользы тем, которые его требовали, принесет только вред рискующим. Явились какие-то враждебные отношения: одни молчали, другие подозревали в подлости, в низости... В это время я разошелся с Н. Ал., — это же сделали и другие товарищи. Не буду рассказывать причины нашей размолвки и не потому, что бы она могла оскорбить память Н. Ал., а потому, что во время примирения с ним мы дали друг другу честное слово никогда в жизни не вспоминать об этой истории. — У меня нашлось две записочки, относящиеся к этому времени: одна по поводу Бруно-Бауэра, принадлежавшего Вам, а другая по случаю приезда благороднейшего товарища нашего Игн. Паржницкого, который принял участие в нашем примирении [15]. — После страшной злобы, которою я был вооружен против Н. Ал., доходившей до того, что я разорвал портрет, на котором сняты были шесть нас близких товарищей, а между ними и Н. Ал., — я помирился с ним очень просто, как с человеком, который действительно доказал, что желает добра всякому честному человеку, забывая оскорбления, с убеждением, что они были увлечением, которое могло быть оправдано обстоятельствами. После этой размолвки, я не переставал питать к нему глубоких чувств уважения и любви, как к человеку, который не только более всех нас, товарищей его, служил правде и добру, жертвуя часто многим, но, может быть, более всех, действовавших с ним на одном поприще [16]. — По выезде моем из Петербурга, мы довольно часто переписывались с ним; к сожалению, я мог найти между своими бумагами пока только одно письмо, писанное вскоре по моем выезде [17].

Признаться, я думал отвечать Вам не письмом, а целою запискою, в которой надеялся характеризовать личность Н. Ал., как я его понимал. Но как я ни уважал и любил его, как он мне дорог ни был, однако при теперешних обстоятельствах я не решаюсь приняться за это дело и откладываю до другого времени, а теперь пока только в письме предлагаю Вам некоторые факты, которые предоставляю полному Вашему усмотрению. — Если я съумел навести Вас хоть на какое-нибудь соображение и Вы не даром убьете дорогое для Вас время на прочтение моего письма, то значит — я достиг своей цели.— Вы близки были с Н. Ал., Вы знаете симпатическую натуру — эту честную, благородную личность — Вы, значит, поймете, какое удовольствие доставило мне хоть коротенькое воспоминание о нем.—

С глубочайшим уважением и полнейшею преданностию остаюсь

Вашим покорнейшим слугою Бор. Сциборский

Хотя мне тяжело быть так неаккуратным должником у покойного дорогого мне Н. Ал., однако я в настоящее время не могу выплатить долга. Поэтому покорнейше прошу Вас — подождать к лету, — тогда, ручаюсь честным словом, уплачу все сполна. Я хотел писать об этом Василию Ивановичу, но не знаю его адреса. Покорнейше прошу Вас, свидетельствуя от меня почтение ему, сообщить также об моем долге.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 1943. VIII с. Княжнин № 115.

В письмах Добролюбова 1859 г. к И. И. Бордюгову и М. И. Шемановскому исследователей уже давно привлекали некоторые неясные, почти таинственные указания, дававшие право заключать о какой-то организационной роли Добролюбова в создании некоей конспиративной организации с революционной программой.

Вот основания для подобных утверждений.

22 апреля 1859 г. в письме к И. И. Бордюгову читаем:. «Я теперь сам-то доволен, не знаю чем. Может быть, тем, что вчера с десяти до двух с половиной часов сидел у одного восторженного господина и, вместе с другими пятью или шестью, толковал о том, что мне теперь так дорого и о чем с тобою мы тоже толковали: Я все более укрепляюсь в своей мысли» («Материалы...», стр. 501).

24 мая того же года Добролюбов писал М. И. Шемановскому: «До сих пор нет для развитого и честного человека благородной деятельности на Руси: вот отчего и вянем и киснем и пропадаем все мы. Но мы должны с о з д а т ь [выделено Добролюбовым.—*С. Р.*] эту деятельность; к созданию ее должны быть направлены все силы, сколько их есть в натуре нашей. И я твердо верю, что будь сотня таких людей хоть, как мы с тобой и Ваней [Бордюговым], д а р е ш и с ь э т и л ю д и и с о г л а с и с ь м е ж д у с о б о й о к о н ч а т е л ь н о [разрядка моя.—*С. Р.*]— деятельность эта создастся, несмотря на все подлости обскурантов. (Там же, стр. 510).

В тот же самый день Добролюбов снова писал Бордюгову: «Пойдем же дружно и смело: ты можешь и меня поддерживать и удерживать, напоминая мне о моих планах и стремлениях. А в свою очередь и я могу быть тебе полезным. Попробуйте же, Ваня, сознательно окунуться в тот кипящий водоворот, который мы называем жизнью мысли и убеждения, сочувствием к общественным интересам и т. д. М о ж н о б ы н а з в а т ь и к о р о ч е, н о т ы и б е з т о г о п о н и м а е ш ь о ч е м я г о в о р ю» [разрядка моя. — *С. Р.*]. (Там же, стр. 512).

11 июня ему же: «Ты сам должен н е п р е м е н н о приехать. Нам н у ж н о [разрядка Добролюбова.—*С. Р.*] говорить о предметах очень важных. Теперь нас зовет деятельность, пора перестать сидеть сложа руки и получая 300 рублей жалованья и т. п. Приезжай, ради бога. Ты очень нужен. Твой на всё Н. Добролюбов» [разрядка моя.—*С. Р.*]. Там же, стр. 521).

6 августа в письме к Шемановскому Добролюбов подробно пишет о своих ближайших задачах. «Теперь наша деятельность... должна состоять во внутренней работе над собою, которая бы довела нас до того состояния, чтобы всякое зло не по велению свыше, не по принципу было нами отвергаемо, а чтобы сделалось противным, невыносимым для нашей натуры... Тогда нечего нам будет хлопотать о создании частной деятельности; она сама собой создастся, потому что мы не в состоянии будем действовать иначе, как только честно. С потерею внешней воз-

можности для такой деятельности мы умрем, — но и умрем все-таки, не даром... Вспомни:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,—

Прочти стихов десять, и в к о н ц е их [разрядка моя.— *С. Р.*] ты увидишь яснее, что я хочу сказать...» (Там же, стр. 525).

Напомним (вслед за Н. Г. Чернышевским, М. К. Лемке, в наши дни В. Полянским) те стихи Некрасова, к которым отсылает Добролюбов своего адресата:

Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной —
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно
Умрешь не даром:.. Д е л о п р о ч н о
К о г д а п о д н и м с т р у и т с я к р о в ь.

Так весьма недвусмысленно расшифровывается программа Добролюбова в *организации, создать которую он стремился.*

У нас нет достаточных оснований утверждать существование этой организации и участие в ней Добролюбова. Мы видели, что речь идет пока о «внутренней работе над собой», которая должна в некоторый момент — момент, когда «зло» станет невыносимым, а друзья—подготовленными к борьбе, окончиться созданием организации, которая возникнет естественно, сама собою. До этого организационного оформления Добролюбов не дожил. Скорый отъезд за границу, а по возвращении—смерть оторвали его от практической деятельности. Но, по его мысли, такая естественно создавшаяся организация начинает неравную борьбу, исход которой ясен заранее — гибель во имя будущего.

Такова наиболее вероятная интерпретация, намеренно ограниченная нами рамками двух ближайших институтских друзей Добролюбова *.

Именно так и понимался передовыми кругами смысл всей деятельности Добролюбова. В известной прокламации, выпущенной ко дню 20-летия со дня смерти Добролюбова, при участии А. И. Ульянова, читаем: Добролюбов «не только заставил русский народ обратить внимание на свои язвы; в то же время он указал и средства, которыми они могут быть излечены» («Первое марта 1887 г.». М. 1927, стр. 379).

Мы не знаем того небольшого кружка людей в 5—7 человек, в котором обсуждались и развивались все эти мысли в 1859 г.**. Можно, впрочем, с достаточной уверенностью утверждать, что все это были люди близкие к редакции «Современника». Однако исторически кружок восходит к более раннему подпольному кружку студентов Педагогического Института. В этот последний, по словам Сциборского, входило человек десять — Бордюгов, Шемановский, Сциборский, Щеглов, Радонежский, Златовратский, Турчанинов, Паржницкий, Львов ***,—вот при-

---

* Не касаясь материала статей Добролюбова, ср. характерную цитату из письма к Чернышевскому от 12 июня 1861 г.: «Если бы было такое дело, которое можно бы порешить Курциевским манером — я бы без малейшего затруднения совершил Курциев подвиг, даже и не думая, чтобы его можно было ставить в заслугу». («Материалы...», стр. 624—625). Речь идет о жертве собой ради блага родины. Ср. еще глухой намек того же порядка в письме Б. И. Сциборского к Добролюбову от 26 августа 1859 г. (стр. 341—342 наст. тома).

** Ср., впрочем, запись в дневнике от 5 июня 1859 г. по поводу сочувствия, заявляемого Добролюбову в связи со статьей Герцена — «Very dangerous: «от С. Н. Ф[едорова] получил письмо с водянистыми выражениями сочувствия, да от Борд[югова] довольно горячее письмо, вот и все. А здесь настоящее сочувствие только и нашел я в Ч[ернышевском], О[бручеве] да С[ераковском]. Есть, правда, еще Н[овицкий], Ст[аневич], Д[обровольский], да кто их знает, что они за люди. Во всяком случае мало нас: если и семеро,— то составляет одну миллионную часть русского народонаселения. Но я убежден, что нас скоро прибудет». («Дневники...», стр. 257—258). Фраза «да кто их знает» и т. д. не позволяет категорически отождествлять названных лиц с упомянутым выше кружком.

*** См. напр. многозначительное упоминание имени последнего в цитированном выше письме Добролюбова к И. И. Бордюгову от 24 мая 1859 г.

мерный состав кружка — первые трое поддерживали связи с Добролюбовым и по окончании Института и были связаны с намеченной выше группой в 5—7 человек.

Институтский кружок на первых порах явно преувеличивал свои силы: «Мы верили, что наше вступление на поприще общественной деятельности ознаменуется переворотом, который поведет все общество по пути разумному».

Эти самоуверенные мечты при первом же столкновении с действительностью рассеялись и программа кружка определилась как борьба с злоупотреблениями начальства и отсталой системой преподавания. А этим определилась в свою очередь и вторая задача—самообразование. И уже отсюда на некоторой ступени зрелости («Слухи» — показатель этого быстрого роста) появились общие задачи борьбы с устоявшимся и косным бытом—«верованиями», по не вполне точной терминологии Сциборского, а затем уже и борьба с религией и выработка своей политической системы, противопоставляемой существующей.

Мы не знаем и едва ли узнаем когда-либо точный состав и задачи той группы, в которой участвовал Добролюбов в 1859 г., но в воспоминаниях Сциборского ярко и точно охарактеризована атмосфера дружеского кружка 1853—1857 гг., вероятно, преемственно связанного с кружком 1859 г. *

О Сциборском и его дальнейшей деятельности некоторый материал см. в «Русской Старине», 1900, №№ 1 и 3.

[1] Известны лишь три письма Добролюбова к Сциборскому, опубликованные в «Материалах».

[2] Добролюбов находился в институтском лазарете по болезни с 21 по 23 декабря 1853 г. Кроме того, в связи с историей со стихами на юбилей Н. И. Греча Добролюбов был арестован в лазарете (заменявшем карцер) в декабре 1854 г. Едва ли не этот случай и имеет в виду Сциборский. См. «Дневники», стр. 103—105. Ср. Валерьян Полянский, Н. А. Добролюбов, «Academia», 1933, стр. 32.

[3] Дневник Добролюбова за этот период неизвестен.

[4] Андр. Ив. Смирнов (1812—1883)—б. питомец Гл. Пед. Института; с 1812 г. и до закрытия Института ученый секретарь его — ближайший помощник И. И. Давыдова, ревностный исполнитель его указаний.

[5] Речь идет, повидимому, о директоре Института И. И. Давыдове.

[6] Речь идет о стихах на юбилей Н. И. Греча и анонимном письме А. А. Краевскому с предложением напечатать это якобы присланное из Иркутска стихотворение. О найденном у Добролюбова во время обыска см. также в воспоминаниях М. И. Шемановского (стр. 291 и др. настоящего тома).

[7] «Современник», 1856, VIII. Перепечатано во всех изданиях сочинений Добролюбова.

[8] См. прим. 5-е к воспоминаниям Шемановского (стр. 299 наст. тома).

[9] См. публикацию в настоящем томе неизданных отрывков перевода Добролюбова из Фейербаха (стр. 243—244).

[10] Из сохранившихся 17 номеров «Слухов» четырнадцать написаны рукой Добролюбова и лишь три рукою его институтского товарища Н. П. Турчанинова.

[11] Б. Сциборский излагает содержание передовой статьи к «Слухам» совершенно точно, пользуясь рядом выражений Добролюбова. Текст передовой см. в изд. Лемке, т. I, стр. 47—52, или в изд. Аничкова, т. VII, стр. 1—5.

[12] Неверно. Всего вышло, повидимому, 19 номеров журнала: по крайней мере следующие выпуски до сих пор не найдены.

[13] Стихотворение «Жалоба ребенка» (напеч. в августе 1856 г.) Этим стихотворением Некрасов начал чтение стихотворений Добролюбова на вечере в зале Первой гимназии 2 января 1862 г. **. Напечатанный в «Современнике» и собрании сочинений текст несколько отличен от приводимого Сциборским.

Для чего вы связали мне руки?
Для чего спеленали меня?
Для чего на житейские муки
Обрекли меня с первого дня?..

(Изд. Лемке, т. I, стр. 221).

---

* См. напр. письма И. И. Бордюгова к Добролюбову от 20 июля 1857 г. «Касательно общего святого дела, я еще ничего не предпринимал». («Материалы...», стр. 390). Возможно, таким образом, что организация кружка относится не к 1859 г., а к более раннему времени. «Святое общее дело...» на языке друзей было синонимом революции. Именно так толкуется стихотворение Добролюбова (1861 г.) «О, подожди еще, желанная, святая...». Ср. также статью А. К. Дживелегова: «Добролюбов и идея революции», «Литература и Марксизм», 1931. III.

** Ни на чем не основано приписывание этого выступления Н. Г. Чернышевскому. В оглавлении № 1-го «Современника» 1862 г. выступление с чтением стихотворений Добролюбова обозначено принадлежащим Н. Н[екрасову]. Ср. Н. Чернышевская-Быстрова, Летопись жизни... Н. Г. Чернышевского, 1933, стр. 111—112. Ср. в воспоминаниях Авдотьи Панаевой (4 изд. «Academia», 1933, стр. 482—483).

[14] Этот отрывок неизвестен.

[15] См. «Материалы...», стр. 383 и 412.

[16] Вследствие интриг И. И. Давыдова ряд нелюбимых им студентов был выпущен из Института со званием младшего учителя, обрекавшим их на самое незавидное существование. Добролюбов 8 июня 1857 г. от имени группы обиженных Давыдовым студентов (сам он в числе их не был) написал жалобу в министерство. Авторство Добролюбова стало в Институте известным и 11 или 12 июня у Добролюбова произошло с Давыдовым резкое объяснение. «Рацея <Давыдова> длилась минут десять. За нее следовало бы Ваньку выругать и дать ему в зубы или, по крайней мере, повернуться к нему..... и уйти с шумом. Но я ничего не сделал, а выслушал молча до конца: это я признаю действительно дурным поступком и обвиняю себя до сих пор» («Материалы...» стр. 513). Давыдов же пустил слух о том, что Добролюбов другим пишет жалобы, а сам под шумок ходит к директору просить хорошее место. Часть студентов даже из друзей Добролюбова поверила сплетне и потребовала от него объяснений. Добролюбов отказался их дать и порвал со Сциборским, Турчаниновым, Александровичем и др. Примирение произошло лишь спустя почти два года.

Характерно поведение части студентов, подписавших жалобу и вскоре запуганных угрозами Давыдова и предавших Добролюбова. В делах Главного Педагогического Института мне удалось разыскать следующее заявление:

Его Превосходительству господину директору Главного Педагогического Института тайному советнику и кавалеру И. И. Давыдову.

Студентов Института IV курса Историко-Филологического факультета Арсения Стратоницкого и Капитона Ширского

Представление

В общем прошении Института, представленном 8 дня настоящего месяца его сиятельству г-ну исправляющему должность министра народного просвещения, как мы узнали после, заключены и мы в число просителей, по ошибке одного из подателей этого прошения. Не принимая никакого участия даже в мысли об нем, покорнейше просим Ваше Превосходительство принять это во внимание. При сем честь имеем присовокупить, что о том же самом мы уже лично в свое время донесли г. исправляющему должность товарища министра 17 июня 1857 г.».

(Леноблархуправление. Дело Гл. Пед. И-та 1857 г. № 14. Ср. «Материалы...», стр. 518—519). Ср. еще в воспоминаниях М. И. Шемановского в настоящем томе, стр. 297.

[17] «Материалы...», стр. 534.

III. Н. А. ДОБРОЛЮБОВ И И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ

1. И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ — Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

Милостивый государь, Николай Гаврилович!

Десять лет прошло, как я имел счастие лично знать, и не только знать, но и приобрести любовь, самое горячее юношеское к себе сочувствие Н. А. Добролюбова. Эта любовь и симпатия слишком ярко, с самым горячим, юным, энтузиазмом ко мне изображены покойным в его нижегородском дневнике, отпечатанном Вами в № 1 «Современника» настоящего года. Но воспетый некогда так вдохновенно моим юным любимцем, я в эти десять лет моей трудовой и слишком прозаической жизни потерял из вида моего восторженного нижегородского собеседника и обожателя. Я слишком поздно теперь встречаю его имя, правда увенчанное славою даровитого, передового мыслителя, сказавшего, по его же пророчеству *, «мужественное и крепкое слово»..., но, увы, только имя. Его дорогие останки в могиле.

Позвольте, Милостивый государь, бросить хоть горсть орошенной слезою земли на эту свежую могилу. Она слишком дорога моему сердцу: в ней сокрыт прах моего юного любимца, горячую привязанность которого я некогда имел счастие так незаслуженно приобрести себе. Не прибавлю я, быть может, ничего к составляемой Вами биографии этого неразгаданного мною тогда моего юного друга: но я отвечу, хоть поздно, несколькими стро-

* Эти знаменательные слова см. на одной из приложенных при сем страничек письма ко мне Н. А.

ками на жгучие страницы дневника покойного о моей личности. Главное: я не могу не отозваться на них. Они, эти драгоценные страницы, свято хранились мною целые 10 лет, я не раз перечитывал их в минуты грусти об исчезающей моей молодости, о потерянных из виду друзьях-питомцах... Но явившись в печати, по смерти их автора, они отозвались в душе моей как бы живым голосом ко мне из могилы, как бы из уст моего юного, уснувшего вечным сном любимца. И много пробудил во мне этот голос и грустного и отрадного; в нем воскресли предо мною: и моя молодая энергия, когда я был наставником-студентом, и те юные личности, которые подобно бессмертному Добролюбову, так горячо полюбили меня т о г д а за эту энергию и гуманность... и все и все, что так невозвратно изжито, потеряно!

Позвольте же отозваться мне моим неуклюжим словом на этот голос, — словом неискусным, но в котором тем не менее я хотел бы выразить все, что могу припомнить о моем обожателе и горько оплакать эту великую потерю для идущего вперед человечества. В остатках моих воспоминаний о Н. А., много потускневших от 10-летней давности, Вы, наверно, не найдете ничего достойного внимания: но я не претендую на гласность моих пустых и бесцветных воспоминаний. Они единственно плод высказанной уже мною потребности души.

Между тем, в добавок к моим скудным воспоминаниям о Н. А-че, я имею честь препроводить к Вам не найденные мною в печати странички некогда присланного мне дневника, или письма покойным. Я оставляю у себя все, напечатанное в № 1 «Современника», отрывая для Вас эти только странички. Я счел бы их тоже незначительными по содержанию, если бы не знал, что каждая строка таких людей мысли, каков покойный Добролюбов, должна быть дорога для умеющих ценить их. В них-то я нашел, по моему, слишком знаменательные слова 17-летнего юноши, как бы предугадывавшего свое великое будущее. «Вы не обманете моих мечтаний и надежд, — писал он ко мне. — Только вот в чем может быть вспоследствии перемена. П р о й д е т м н о г о л е т, и с ч е з н е т э т о т д е т с к и й, н е с в я з н ы й л е п е т, к о т о р ы й Вы сейчас будете читать, и м е с т о е г о з а с т у п и т м у ж е с т в е н н о е, к р е п к о е с л о в о... Простите» и пр. Не менее также замечательны, по моему, слова тех же отрывков дневника или письма ко мне. Выражая свою скорбь о разлуке со мной, покойный не находит более для себя друзей «м е ж д у с в о и м и т о в а р и щ а м и, — г о в о р и т о н, — я н е н а ш е л д р у г а, п о т о м у ч т о в с е о н и б ы л и о ч е н ь п у с т ы и п о д у ш е г о р а з д о н и ж е м е н я...» Не есть ли это опять глубоко и неотразимо сознаваемый покойным великий задаток своих внутренних сил, имевших так быстро и величественно проявиться в нем впоследствии? И ни здесь ли, главным образом, нужно искать объяснения той не-близости, неинтимности ученика Добролюбова с товарищами, вопреки объяснению Г. Лебедева (в «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова», «Совр.», № 1, 1862). Но извините меня за эти объяснения. Отрывочки эти из дневника Вам посылаются: Вы лучше и яснее раскроете смысл подобных выражений покойного. Мне же остается просить Вас, если сочтете не тяжелым для себя переслать эти дорогие лоскутки снова по принадлежности, когда они будут не нужны для Вас.

Затем примите глубокое уважение и душевное благожелание в предпринимаемом Вами труде в память о Н. А.

От Вашего покорного слуги И. Сладкопевцева

P. S. Адрес мой: в Г. Тамбов, Профессору Семинарии, священнику, Иоанну Сладкопевцеву.

Апрель 4 дня
1862 г. Тамбов

2. И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. А. ДОБРОЛЮБОВЕ

В 1851 году, по окончании курса в С. Петербургской Д[уховной] Академии, в конце октября вступил я в должность наставника Нижегородской семинарии. Не много послужил я для этой семинарии: голос родины (из Тамбова) вызвал меня для службы родной, Тамбовской семинарии. С ноября 1852 года и доселе я служу моей родной семинарии, тружусь, сколько во мне есть сил, для моих земляков-питомцев. Но все лучшие воспоминания в моей незавидной службе остались там, вне родины, далеко. Почти десять лет прошло,— а Нижегородская семинария будит во мне самые приятные, самые задушевные воспоминания. Может быть это от того, что я тогда был молод, свеж, энергичен; может быть та семинария, в которую я вступил из-за парты, как первая ступень к более свободной, самостоятельной деятельности в качестве наставника, после 15-летней, закупоренной жизни воспитанника, после долгого-долгого сидения на ученической скамейке, обдала тогда меня таким обаянием жизни, какое не забывается и доселе?.. Но я, как помню еще с ученической скамьи Д[уховной] Академии слишком безотрадно смотрел на предстоявшую каждому из нас карьеру наставника семинарии, а служа в Нижегородской семинарии, я часто хандрил, вздыхал о Петербурге... Что же делает для меня отрадными и доселе воспоминания о Нижегородской семинарии?

Нет сомнения, что прежде всего воспоминания молодости, — той энергии и любви к делу, с какими я принялся тогда за священное дело воспитания моих юных собратий, — нет сомнения, что эти воспоминания прежде всего так заманчиво окрашивают мою кратковременную службу в Нижнем. Но в них не главная причина моего прошедшего, с такою радостию мною воспоминаемого. Главная, как мне кажется, заключена в представлении почти общей ко мне тогда симпатии, даже горячей, юношеской любви ко мне воспитанников Нижегородской семинарии. Я не знаю, почему-то я встречен был Нижегородскими воспитанниками тогда с самым живым сочувствием ко мне. Впоследствии во многих оно возросло до энтузиазма, до влюбчивости, если можно так выразиться, в меня. Довольно было двух-трех моих лекций, чтобы имя мое разнеслось по семинарии, — двух-трех слов, сказанных мною вне класса тому или другому из моих воспитанников, чтобы между мною и ими установились дружеские отношения. И таких друзей было много тогда у меня, особенно из лучших по успехам питомцев: я принимал их в своей квартирке, зазывая большею частию не без труда к себе, и беседовал с ними самым родственным образом.

Покойный мой любимец, или лучше обожатель (иного слова не подберу для выражения необычайной ко мне любви его) Н. А. Добролюбов не принадлежал к числу моих непосредственных учеников, моих слушателей. Вследствие чего его дружба со мною, при его нерешительном характере и необычайной в то время застенчивости, устанавлялась медленно. В материалах для биографии Н. А. Добролюбова (январь 1862 г. «Современник») замечено уже, что по множеству учеников в семинариях, один и тот же класс разделяют обыкновенно на 2 параллельных отделения. Те же предметы и большею частию по одной программе, хотя разными наставниками, читаются в обоих этих отделениях, при чем, однако, вследствие отдельности помещений и разности наставников, оба параллельные отделения составляют как бы два отдельные класса учеников. Н. А. Добролюбов, в эпоху моей службы в Нижегородской семинарии, был учеником не в том отделении, в каком я был преподавателем, хотя предметы им изучаемые и мною преподаваемые были одни. От этого тем скорее я мог узнать и постараться приблизить к себе

лучших учеников моего отделения, тем далее я не мог знать о закрытой для меня симпатии ко мне ученика другого класса. Нижегородский дневник покойного Н. А. раскрывает много непонятного для меня. В письме его ко мне, в котором совмещается и дневник его (напечатанном в № 1 «Современника» 1862 г.), ученик Добролюбов прежде всего привязывается как бы к самому *имени моему, едва только услышал отзыв обо мне моих слушателей. Я долго* не знал об этой, непонятной для меня симпатии покойного. Заинтересованный собственно моими, непосредственными учениками, мог ли я иметь и понятие о воспитаннике другого класса, так горячо, без всякой, повидимому, причины полюбившем меня? Прошло уже довольно времени, как я заметил моего тайного обожателя. Мне стали говорить об нем мои собственно ученики, рекомендуя его как первого по успехам ученика другого отделения и как желавшего со мною сблизиться. Я изъявил полную готовность на это сближение, и не знаю, сколько еще прошло времени, как тетушка его В[арвара] В[асильевна Колосовская] (означенная в дневнике Н. А.) сделала решительный шаг к нашему сближению с Н. Александрычем. «Племянник мой такой-то сильно желает с Вами познакомиться, — говорит мне на одном вечере эта тетушка.— А как он вас любит, как уважает», и проч. и проч. Как ни немало слышал я незаслуженных мною комплиментов моей личности в тесном кружку моих знакомых, но эта наивная лесть, высказанная притом торжественно, со всею витиеватостию тетушки, привела меня в краску. «Как, думал я, мог полюбить меня такой-то, не будучи моим слушателем, — и слова не слышав от меня? По молве? По рассказам товарищей? Но ужели такой умный молодой человек мог привязаться ко мне по одной молве, не проверив ее? Или он хочет только сделать эту поверку?» Я проговорил, однако, краснея от столь внезапного мне панегирика, что «я очень рад быть знакомым с вашим племянником, тем более, что слышал об нем много лестного. Попросите его пожаловать ко мне» — и только сказал я.

Другой случай, который самого меня побудил к скорейшему знакомству с учеником Добролюбовым, представился мне в случайно увиденном мною сочинении покойного. Бывши как-то в доме параллельного мне по классу и предмету наставника А. Е. <Востокова>, я, между прочими тетрадками и книжками на столе, заметил одну толстую тетрадь, примерно листов в 20. Заглавие этого сочинения гласило: «Свод учения мужей Апостольских», или что-то подобное. На вопрос мой: что это за тетрадь,—сослуживец мой, непосредственный наставник Добролюбова, отвечал: «это сочинение ученика Добролюбова».—Ужели, спрашиваю я, столько он пишет на классическую тему, и ужели вы даете такие темы ученикам? * «Нет, отвечал мне флегматически мой сослуживец: это он сам, произвольно, пишет и подает мне для прочтения».—Пробежав несколько строк этой тетради, я заметил живой, зрелый, неученический склад речи: и тут решил узнать поближе автора таких объемистых сочинений. Жалел только, что ученик Добролюбов не щадил себя, своего здоровья, как мне казалось, незавидного (я в то время уже знал его по *поличью). Зачем он, подумал я, убивает свои* молодые силы на такого рода компиляции?!..[1].

Но вот настало время нашего сближения с Н. А. Как сейчас помню, покойный в первый раз приходил ко мне за какою-то книгою. Едва пере-

---

* Мне казалось невероятным, чтобы ученик так много писал на данную в классе наставником тему. В течение месяца, обыкновенно, ученик должен был написать на разные длинные темы 3 или 4 сочинения. Можно ли же было поверить, чтобы эти сочинения-скороспелки так были об'емисты, хотя бы у самого даровитого и прилежного ученика? Но оказалось, что ученик Добролюбов задавал сам себе работу помимо казенного занятия, и выполнял ее с изумительным успехом.

ступив порог моей казенной квартиры, он останавливается в прихожей у самой двери, и боязливо, трепетно, едва смотря на меня, спрашивает какую-то книгу из библиотеки. Сказав, что этой книги нет у меня, я сейчас вспомнил и желание тетушки моего посетителя и свое собственное намерение сблизиться с ним, и только что он хотел выдти от меня, как я беру его за руку и прошу посидеть у меня. Живо помню я первое впечатление на меня моего нового знакомца: так оно странно, поразительно было для меня. Знал я, что он сын губернского священника, что он самый лучший ученик из 70 учеников своего класса; но его необычайная робость, какая-то угрюмость, даже будто забитость прямо противоречили, на мой взгляд, тому и другому. «Это ли, думал я, сын городского священника? Несомненно также, что он считается отличным учеником: но отчего он так стеснен, так молчалив, даже будто неразвит?» Я принялся, однако, шевелить эту, как мне казалось, запуганную натуру; говорил что-то много, и особенно старался говорить ласково, чтобы вызвать какое-либо объяснение почти безмолвного моего гостя. Но гость не поддавался. Между прочим, смотря на его худое довольно, будто страдальческое лицо, я советывал ему приберечь свои физические силы для занятия в высшем учебном заведении; упомянул ему о виденном мною его сочинении, похвалил его, как нельзя лучше, сказав в заключение однако, чтобы он поберег свое здоровье... Но что я ни говорил, гость мой попрежнему был безмолвен. Тем более я стал призадумываться над племянником В. В. До этого времени я уже приобрел снаровку беседовать с учениками семинарии, многих из них успевал расшевелить и заставить говорить со мною откровенно, развязно, даже интимно. От чего же не поддается мне новый мой знакомец?

Закончу я, — он и подавно молчит, опустив глаза; заговорю, — он поднимет голову и слушает... «Диво, подумал я, надобно доискаться чего-либо в этом человеке». А чтобы он поскорее еще навестил меня, я прошу его оставить у меня номер «Современника», который он держал в руках. Я хотел этим обязать моего нового знакомца к скорейшему повторению его ко мне визита.

Не помню я месяца и числа первого посещения меня Н. А-м. В дневнике его замечено, что это посещение было за месяц до семинарских каникул (т. е. 1852 г.), обыкновенно начинающихся с 15-го июня. До 1-го сентября этого года я уезжал в мою тамбовскую родину, и не могу припомнить, сколь много раз бывал у меня мой любимец до моего отъезда на каникулы. Зато по возвращении с родины, в течение сентября, октября и начала ноября (в конце последнего месяца я окончательно переместился в Тамбов) можно сказать, аккуратно через день, много через два, бывал у меня Н. А. и часто долго просиживал со мною. Обыкновенно так бывало. В 4 часа пополудни я выхожу из класса: выходит из своего и Н. А.; только войду я в мою одинокую квартиру, как вслед за мною едва заметно, осторожно, боязливо переваливается через порог моей коморы и мой любимец. Я всегда угадывал этот робкий шаг моего обожателя, и тотчас же стараясь как можно быть веселее (хотя порядочно утомлялся в классе), взывал: «добро пожаловать Н. А., садитесь, давайте пить чай». Затем, «что нового?», спрашиваешь его, и начинается длинная, предлинная беседа! Нечего уже повторять, что большая доля этих длинных собеседований лежала на мне. Мой собеседник оставался до конца нашего личного знакомства верен себе: большею частию безмолвно слушал болтовню мою. Разве-разве когда поддержит разговор, сделает летучую заметку, или предложит какой вопрос. Между тем, странное дело, я так привык к нему, что молчания его уже не считал странностию. Оно более не стесняло меня в моем неумолкаемом разговоре с молчаливым собеседником, тем более, что собеседник мой, при всей молчаливости, так жадно всегда ловил мое слово и так симпатично

улыбался на мои какие-нибудь смешные заметки, или самодельные каламбуры.

Беседы эти, однако, как кажется, так мало имели содержания, что я, чрез десять лет, так легко припоминая себе облик моего собеседника, всю внешнюю обстановку таких вечерних заседаний, не знаю, что сказать о содержании наших бесед. Дневник покойного Н. А. часто чересчур много придает моим беседам с ним, называя их умными и пр. Я не помню хорошо, о чем мы часто 4 и 5 часов без умолку говорили, или лучше: я говорил, а мой собеседник слушал. Сколько могу припомнить, однако, более общею темою наших разговоров были мы сами: я и он. Занятый большею частию не-отрадными мыслями о моей неблестящей карьере учителя семинарии, а особенно представляя себе всю безвыходность начатой мною службы, я переносился в Петербург,— и тут являлись бесконечные рассказы о Петербурге. Надобно заметить: я тогда бредил оставленным мною Петербургом; тоска моя по столице (Северной) равнялась тоске по родине. Не знаю, что это была за тоска: но я, как говорится, спал и видел тогда возвратиться в Петербург,— место моего последнего воспитания. Можно же после этого судить, сколько я ораторствовал пред Н. А. на задушевную мою тему о Петербурге... Затем разговор переходил на наше воспитание в духовных училищах, и незаметно от своей личности я переходил в разговоре на личность моего собеседника. Начинался ряд моих советов и благожеланий Н. А-чу. Я хорошо помню, что со всею сердечностию студента я советывал Н. А-чу скорее оставлять семинарию и непременно пробраться в Университет. Мне не известно было семейное положение Н. А-ча: быв почти вовсе не знаком с его отцом, я за несомненное полагал, что, как священник губернского города, отец его легко может отправить сына в университет и содержать его там. Замечательно: мой неговорливый собеседник даже не объяснил мне внешнего (денежного) положения своего отца, когда он, повидимому, так сочувствовал университету. При слове об университете проводилась нами параллель его с другими нашими высшими заведениями, при чем я, помню, оканчивал речь советом поступить и в духовную академию, но не иную, как Петербургскую (если уже не удается университет). Там, в Петербурге, говорил я ему, вы скорее найдете соответствующий себе род занятий; вас не стеснит духовная академия: выход из нее всегда будет вам легок.

Из дальних странствий по столицам и университетам речь наша часто возвращалась в свой тесный, семинарский мир. Я старался направить моего молчаливого гостя хоть на знакомые ему лица и предметы, чтобы заставить его говорить...

И здесь-то хоть сколько-нибудь достигалась желанная цель, т. е. несколько слов, часто с энергиею, либо с горькою ирониею, вырывались из уст моего собеседника. Мне особенно памятен один случай внезапной говорливости моего любимца.—Надобно заметить, что с 1-го сентября 1852 г. Н. А. перешел из параллельного моему класса (называемого философским) в класс, так называемый — богословский[2]. Новые предметы занятия, единственно богословие, были часто темою наших разговоров: не без удовольствия, как можно было видеть, слушал Н. А. мои замечания на богословское воспитание, как оно должно итти у нас, и сам принимал участие в разговоре. За то новые лица, преподаватели этих предметов, как видно горечью обдавали любознательного воспитанника. Вот этот случай, который я живо помню (о котором я намекнул выше). Заходит ко мне как-то среди дня Н. А., будучи богословом. «Ну что, спрашиваю я, как передают вам новые наставники новые для вас предметы, и особенно как читает О. П[аисий]?[3]. Тогда мгновенно появилась какая-то горькая улыбка на лице Н. А-ча, и он громко, против всякого моего ожидания, говорит:

«Что наши наставники-богословы? Представьте себе, И. М., наш всемудрый *О. П[аисий] целый класс занимался ныне не богословием, а каким-то диким* словопроизводством с латинского и греческого языка. Например, как вам кажется? Слово ж е н а произошло, по его филологии, от лат. jungo, слово д у р а к от лат. durus. Вот этим и занимался целый класс. Умора, да и только. Скучно слушать». Громким, каким-то запальчиво-едким смехом сопровождались эти слова Н. А.; но на последней фразе голос и смех его снова упали,— и он попрежнему скрылся в себя... Я, помню, не преминул разразиться при этом известии громким смехом, и главное, не от этого дикого производства русских слов от латинских, о чем я уже не раз слышал *от других учеников, товарищей Добролюбова, а я хотел этим веселым* смехом поддержать говорливость моего любимца. «Вот, думал я, мой безмолвный гость начинает входить в интимность со мною». Но не тут-то было. Смех его оборвался,—и он попрежнему серьезен и сосредоточен.— Теперь вполне и для меня разъясняется этот горький смех даровитого, быстро идущего вперед, ученика над бездарным наставником. А тогда я не знал, чем объяснить эту вспышку, так притом быстро исчезавшую... Не буду скрывать: мне хотелось бы часто подзадорить моего молчаливого собеседника хоть этим комическим предметом, какова филология богослова-*догматика, и я старался возбудить в нем таившуюся иронию.* Но Н. А. большею частию, сказавши несколько слов, только улыбался на мои летучие замечания... и молчал. Я припоминаю при этом другого ученика, над каламбуром которого мы долго смеялись. Ученик этот тоже б о г о с л о в, и очень даровитый, только чересчур неуклюжий (забыл его фамилию), пришел как-то ко мне в комнату, где был со мною другой наставник, вместе со мною учившийся в Академии. Мы посадили за стол этого ученика, и мой однокашник вдруг спрашивает его: «скажите, пожалуйста, кто у вас лучше читает: О. П[аисий] или о. N (последний означен тоже в дневнике Н. А-ча)?» — «Да как вам, А. А.,— сказать,— с невозмутимою флегмою отвечает спрошенный: это два гриба, только на разных ножках». Долго мы смеялись над этим каламбуром: он конечно отзывался бурсою, но тем не менее метко характеризовал тогдашних наставников и воспитателей Н. А-ча.

Вызывал я, как замечено выше, хоть на подобные разговоры моего любимца; но он и здесь не был размашист, как во всех беседах со мною. В душе его, как я и тогда замечал, таилась эта ирония, насмешка над горькою действительностию, но насмешка эта была глубоко закупорена в его сосредоточенной натуре, была слишком неразмашиста и холодно-скромна. Одним словом: личность моего обожателя и собеседника, несмотря на частые его посещения меня, осталась для меня тогда неразгаданною. Так глубоко закрыта была от меня его прекрасная симпатическая душа. А между тем, он именно никого не любил тогда так, как меня: это я не раз слышал от близких ему еще в Нижнем. Но особенно это раскрылось для меня с его письмом ко мне, когда я переехал в Тамбов.

Письмо это, в котором совмещается дневник Н. А-ча или воспоминания обо мне, я получил от него в Тамбове, спустя полгода по моем отъезде из Нижнего, писано в июле или августе 1853 года. Теперь этот дневник, в письме ко мне, отпечатан в № 1 «Современника», но я, к счастию, соблюл его доселе в рукописи самого автора и любуюсь теперь этим юношеским энтузиазмом, так ярко высказанным в письме. Я отвечал Н. А-чу на его длиннейшее письмо еще тогда же, в 1853 году; я писал ему в Нижний [4]: но получил ли он тогда мой ответ, не знаю. За то его жгучее, чересчур любвеобильное ко мне послание уже решительно, как помню, затемнило предо мною человека, которого я так тщательно старался узнать. Чтож такое, думал я, в сущности мой любимец? Ужели в этом серьезном, повидимому холодном и не по летам сосредоточенном молодом человеке такая симпа-

тичная, огненная душа? Меж-тем я не раз перечитывал его послание. Я видел, не скрою, юное увлечение мною автора письма, смотрел на горячие строки ко мне моего любимца, как на юношеский энтузиазм, или молодую фантазию стремившегося к авторству молодого человека. Но я не только не посмеялся никогда над этим увлечением, над этими молодыми * чувствами, а напротив скорбел душою, что не сумел разгадать в свое время моего любимца. Может быть, думал я тогда, я сумел бы сделать что-либо истинно-полезное для моего друга, если бы успел разгадать его... Но было поздно. Я удовольствовался моим к нему ответом, в котором не только выразил согласие, но и умолял его не забывать меня: писать, где бы он ни был. Думаю что этот ответ мой не попал в руки Н. А-ча; кажется, он уже был в то время в Петербурге, а я писал в Нижний [5].

Как бы то ни было, однако, а с 1853 года я потерял из вида моего любимца и собеседника. Сослуживец и совоспитанник мой по Академии однажды на мой вопрос о нем писал: «твой любимец Добролюбов в Петербурге и поступил в Педагогический Институт». Только и узнал я об нем. Затем извещали меня также о смерти его батюшки: я пожалел о моем, осиротелом любимце — и только... Уже конец 1861 года указал мне моего друга, — и где же? В могиле. В декабрьской книжке «Современника» этого года я встречаю некролог Н. А. Добролюбова. Я не верил еще себе, доколе не пробежал всего некролога и не увидел звания и имени его отца и проч. Что со мною было тогда, — я не знаю. Мне кажется смерть самого близкого родного так больно не отзывалась в моей душе, как смерть моего юного любимца. И этот некогда робкий, застенчивый, как будто неразвитый, мальчик уже несколько лет был даровитым писателем, человеком мысли, приобретшим себе громкое имя в литературе. Я ведь читал статьи Бова (в компании наставников семинарии мы уже несколько лет выписывали «Современник»), я любовался этим живым словом, этою зрелою и новою мыслию. Но мог ли вообразить я, что этот Бов мой юный обожатель Добролюбов? Тотчас кинулся я в мой архив, и, к утешению моему, нахожу объемистый пакет с письмом и дневником ко мне покойного, хранившийся с 1853 года. Первою мыслию моею было послать этот пакет в редакцию «Современника», но прочитав его, я слишком краснел от этих жгучих строк обо мне письма. А здесь разные житейские дела, более насущные требования день ото дня удерживали меня от исполнения моей мысли. Так и дождался я 1 № «Современника» настоящего года, где буквально, с небольшими разве по местам вариантами, напечатаны письмо ко мне и дневник покойного Н. А-ча. Тогда я решил высказаться несколькими страничками в воспоминание о моем некогда любимце, приложив к ним нечто из дневника Н. А-ча, чего не нашел напечатанным. Я счастлив буду, если мои тусклые воспоминания о покойном хоть сколько-нибудь прибавят к данным для биографии незабвенного Н. А. Добролюбова.

И. Сладкопевцев

3 апреля 1862 г.
Тамбов

ПРИМЕЧАНИЯ

Письмо И. М. Сладкопевцева и его воспоминания о Добролюбове печатаются впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2138. хс. Княжнин, № 310.

Чернышевский имел в виду напечатать публикуемые воспоминания и письмо во втором томе «Материалов для биографии Добролюбова».

В «Обзоре бумаг» первого тома им дана краткая характеристика И. М. Сладкопевцева и его воспоминаний, остающаяся в силе и до наших дней. Чернышевский указал, что дружба со Сладкопевцевым была полезна для Добролюбова, — «укрепляя в младшем друге добрые чувства, помогая юноше твердо выносить

* Я всегда помнил слова его письма: «умоляю вас, верьте моей искренности и не смейтесь над моими чувствами». 10 июля 1853 г.

печаль, составлять благоразумные планы. В этом отношении дружба с И. М. Сладкопевцевым, несомненно, была очень полезна для Добролюбова. Но только в этом отношении. На развитие понятий Добролюбова И. М. Сладкопевцев не имел влияния: это ясно из сравнения той части дневника 1852—1853 гг., которая была писана Н. А. до знакомства с И. М. Сладкопевцевым и той части, которая была написана после отъезда его». («Материалы...» стр. 660). Добавим еще, что, по свидетельству самого Добролюбова, И. М. Сладкопевцеву обязан он решением отправиться в Петербург для поступления в духовную академию («Дневники...» стр. 87 сл.).

[1] Этот рассказ следует сопоставить с рассказом самого Добролюбова—«Дневники...», стр. 58 и сл.

[2] Курс духовной семинарии состоял в то время из трех двухгодичных классов: «словесности», «философии» и «богословия».

[3] Речь, несомненно, идет о профессоре богословия и инспекторе семинарии о. Паисии. В архиве Добролюбова (Княжнин, № 50) сохранилась опубликованная Чернышевским тетрадка «Замечательных изречений» «Паисия... над которым смеялся Д-в» (надпись Чернышевского). Ср. «Материалы..., стр. 662—664; ср. еще неоднократные упоминания о нем же в дневнике (по указателю).

[4] Это письмо неизвестно.

[5] Письмо Добролюбова к Сладкопевцеву датировано 6—10 июля 1853 г. 4 августа Добролюбов выехал из Нижнего-Новгорода в Петербург: таким образом ответ Сладкопевцева не застал его в Нижнем и, очевидно, не был ему переслан.

3. НЕИЗДАННОЕ ОКОНЧАНИЕ ПИСЬМА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВУ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1852 г., 6 и 15 ЯНВАРЯ 1853 г.

30 мая [1853 г]

Что мне еще говорить Вам, невыразимо добрый Иван Максимович, до сего места дочитавший нескладное мое писанье?... Еще два месяца наслаждался я своей участью в знакомстве с Вами; но я не понимал тогда хорошенько ни своих чувств, ни своего положения... Вы, конечно, сами лучше меня видели, что происходило в душе моей. Вы не бранили меня, что я так часто ходил к Вам и так долго у Вас засиживался. Вы не хотели холодным приемом разрушить мои мечты, убить мое счастье, и я всегда встречал у Вас радушный привет... Я, конечно, очень хорошо сознавал, что Вы принимали меня «из милости», но несмотря на мою гордость, мне не казалось унизительным пользоваться, и даже слишком, этой милостью: Вы были так высоки для меня, что я все бы принял от Вас, как и сам бы все сделал для Вас... Иногда думал я и то, что обременял Вас своими посещениями, но эти посещения приносили мне столько счастия, что я не в силах был противиться искушению. Никогда не забуду я этих вечеров, проведенных с Вами наедине, этой живой, одушевленной речи, в которой я участвовал только тем, что слушал ее; этих минут откровенности, которыми Вы иногда дарили меня... И мог ли я после этого не привязаться к Вам всеми силами молодой души, которая находила в Вас приближение к своему идеалу? Между своими товарищами я не имел друга, пот[ому], что все они были очень пусты и по душе гораздо ниже меня. Привязавшись к Вам, я узнал наслаждения дружбы. Странное дело: кажется, наши отношения должны быть другого рода... Но я именно так понимал дружбу. Я слушал Вас, смотрел на Вас с такою искреннею и сильною любовью, Ваша радость и грусть так действовали на меня, Ваше счастье было для меня так дорого и я так жадно хотел бы чем-нибудь ему способствовать, что поистине никакой друг не мог бы более любить своего друга. С другой стороны, и Вы были ко мне так снисходительны, Ваше знакомство, беседы с Вами приносили мне столько счастья, что я не знаю, может ли какая-нибудь дружба принести более. А беспредельное уважѐние, какое я всегда имел к Вам, служило еще к большему скреплению и утверждению наших отношений...

Милостивый государь,
Иван Максимович!

Получивши это послание, Вы, конечно, немало удивитесь, и большого труда будет стоить Вам — припомнить этого юного энтузиаста, который, спустя лето, вздумал теперь отправиться по малину. Но все-таки я еще надеюсь что Вы припомните меня, хотя прочитавши все, здесь написанное, Вы встретите совсем не то, чего бы могли ожидать от моей застенчивости. Ныне я и сам удивился, перечитав письмо. Многому Вы можете не поверить, многое принять за лесть, над многим посмеяться... Но — что же мне за польза хвастать и льстить Вам теперь; ради каких благ решусь я на такой подвиг... Если и есть что-нибудь льстивое в моих словах, то льстила Вам душа моя, которая,— может быть и слишком,— увлеклась Вашими достоинствами... Смеяться же над наивностью, с которою выражены мои чувства,— Вы властны сколько угодно. Я и сам теперь уже ставлю знаки вопроса против некоторых выражений тогдашних... Но умоляю Вас: верьте моей искренности и не смейтесь над моими чувствами: они заслуживают лучше быть принятыми.

Я хотел отослать Вам мое письмо не прежде, как уже будучи обреченным в Спб. Академию. Но решения моего дела нет и доселе, так что я начинаю сомневаться, будет ли оно... А между тем до отпуска Вашего остается всего пять дней (нас отпустили ныне 2-го числа, по случаю холеры, от которой, впроч<ем>, никто из наших знакомых не умер, и я должен поспешить, чтобы письмо застало еще Вас в Тамбове. Вот, если такая сентиментальная вещь попадется в руки какому-нибудь тамбовскому остряку! Возрадуется, я думаю!.. Со стороны, ведь этого не поймут...

Но между тем,— что бы ни случилось, Иван Максимович, если я и останусь в семинарии, и тогда — еще более, нежели при других обстоятельствах,— я умоляю Вас об одном: напишите мне маленькую записку: она осчастливит и поддержит меня, среди этой несносной, грязной и, если можно сказать,— мертвой семинарской жизни, доходящей до высшей степени пошлости в нашем бесценном испекторе (продолжающем производить: жена от jungo и дурак от durus) [1]. Утешьте же меня!...

Может быть мы и увидимся с Вами: от всей души молю бога, чтоб успешно было Ваше намерение перейти в моск. семинарию (только отчего же не в петербургскую?..)... Тогда, при свиданьи, я может быть, скажу вам то, чего не мог сказать прежде и уверю Вас в моей искренности... Я сознаю и могу обещать, что чувства мои останутся неизменны, тем больше, что с Вашей стороны не может быть никакого повода к перемене: Вы не обманете моих мечтаний и надежд!.. Только вот в чем может быть впоследствии перемена: пройдет много лет, исчезнет этот детский, несвязный лепет, который Вы сейчас будете читать, и место его заступит мужественное, крепкое слово... Простите... Ваш отъезд был для меня великим ударом судьбы... И теперь еще горько мне вспомнить об этом, и вот что писал я в своем дневнике в порыве первого чувства, когда только узнал об Вашем отъезде [2]: «...Нынешний вечер сидел я у него и чудные, непонятные желания томили меня.... Голова моя горела: мне хотелось — то расплакаться, то разбить себе череп, то броситься к нему на шею, расцеловать его, расцеловать его руки, припасть к ногам его. С грустным отчаянием смотрел я на него, наглядывался может быть в последний раз, и никогда еще, казалось мне, черные волосы его не лежали так хорошо, в чудном беспорядке на голове его, никогда смуглое мужественное лицо его не было так привлекательно, никогда в темно-голубых его глазах не отражалось столько ума, благородства, добродушия и этого огня и блеска, в котором выказывалась сильная и могучая душа его. Я мысленно прощался с ним и сердце надрывалось... И вот жизнь наша: были знакомые, в хороших отношениях, души наши

сроднились несколько, вдруг — несколько сот верст расстояния разделяют нас, и мы ничего не знаем друг о друге, и мы чужие один другому, и нет между нами ничего общего».

Это было писано 11-го ноября 1852 г.— Но что же? Неужели в самом деле, случайно сошедшись и разошедшись, мы навсегда останемся совершенно чуждыми друг другу.... Это было бы слишком тяжело для меня, и я хочу верить, что Вы не разрушите моих надежд на продолжение знакомства с Вами... Кроме того—Вы мне обязаны, пот<ому>, что я доставил Вам случай неведомо сделать доброе дело. Прочтите, что писал я в дневнике, 19 ноября, проводивши Вас уже совсем: «...Но, чтобы навсегда была драгоценна для меня память его, я даю обещание в память его» [3]. Таким образом Ваше имя тесно соединяется с историею моего нравственного развития, и — какие еще узы могут крепче связывать меня с вами, хотя Вы, разумеется, останетесь при этом свободны от всякого обязательства!.. Будьте же и ныне дорогим гением, Иван Максимович! Храните меня издалека, как хранили вблизи!.. Через несколько месяцев сердечно желал бы получить от Вас несколько строк в Петербурге, куда я, вероятно, отправлюсь в нынешнем годе: прошение к Графу подано еще в марте, и за меня просил письменно наш Преосв<ященный>. Кстати: это случилось в четверток на маслянице, в тот самый день, в который прошлого года в первый раз сошелся я с Вами... 17 июля придет, может быть, и решение из Петербурга. И как только я поступлю в Академию, первым долгом почту уведомить Вас и, может быть, попросить Ваших советов, которые мне тогда будут, вероятно, очень нужны. Вы позволите мне надеяться, что мои искренние благородные чувства в отношении к вам найдут в Вас хоть какое-нибудь сострадание (sympathia), и Вы не откажетесь осчастливить меня хоть маленькими «postscriptum» по крайней мере, в письме к кому-нибудь из Ваших знакомых в Петерб. Академии... Я, конечно, не имею никакого права на Ваше внимание, но при всем том — признаюсь — мне больно было бы заслужить от Вас оскорбительное презрение...

Вечно с любовью помнящий Вас

Ник. Добролюбов

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется впервые по копии И. М. Сладкопевцева, хранящейся в ИРЛИ. Шифр: 1998. IX с. Княжнин № 170.

Начало настоящего письма, примыкающее по существу к дневнику Добролюбова, и было именно в его составе опубликовано Чернышевским в «Современнике» (1862, № 1, стр. 286—293). В эту публикацию вошла часть, написанная 31 декабря 1852 г., 6 и 15 января 1853 г. Из хранящейся в ИРЛИ же черновой заметки Добролюбова (см. Княжнин, № 127) было известно, что 6, 8 и 10 июля Добролюбов пис<ал> к И. М.», т. е. Сладкопевцеву. Это письмо и предшествующая ему часть (от 30 мая) и является предметом настоящей публикации завершающей публикацию Чернышевского. Письмо является одним документом, посланным адресату одновременно—об этом свидетельствует пометка И. М. Сладкопевцева на л. 7 (перед частью, датированной 10 июля): «NB. Это не особое письмо, а продолжение того же письма, какое было напечатано, только с новым воззванием». Часть, написанная 31 декабря 1852 г., 6 и 15 января 1853 г., сохранилась в ИРЛИ и в черновом наброске Добролюбова. Конец записи от 15 января и весь дальнейший текст — в копии И. М. Сладкопевцева. Перед датой (30 мая) его пометка: «Отселе не напечатано».

Письмо полностью было набрано для невышедшего в свет т. X собрания сочинений Добролюбова под редакцией Е. В. Аничкова. Единственный неполный корректурный экземпляр этого тома хранится в библиотеке ИРЛИ.

[1] Речь идет об о. Паисии. См. стр. 323 наст. тома.

[2] В этом месте в копии И. М. Сладкопевцева пропуск. Приведены лишь первые четыре слова. Восстанавливаем этот отрывок по тексту дневника.

[3] Три следующих строки густо зачеркнуты Чернышевским и не поддаются прочтению. То же и в тексте дневника (стр. 74 цит. выше издания).

4. НЕИЗДАННЫЕ ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ ДОБРОЛЮБОВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВУ

СОНЕТ

(И. М. Сл<адкопевце>ву)

Давно уж я ничем не восхищался,
Давно я удивляться перестал,
За призраком каким-то я гонялся...
И наконец нашел мой идеал.

Явились вы — душа пришла в волненье,
За вами я восторженно ходил,
Ваш разговор и каждое движенье
Я проследил, заметил, заучил.

Черты лица так много обещают,
Так дышат мужеством, отвагой и умом,
Ваш голос так мне в душу проникает,
Вы так умны, так хороши во всем!....

Нашел я то, о чем давно мечтал:
Нашел, нашел я в вас мой идеал.

1 декабря 1851 г.
Нижний Новгород

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

(И. М. С<ладкопевце>ву)

Поражен и очарован,
Перед вами я стоял.
И смущен и весь взволнован,
Сам себя позабывал...

Ваши речи и движенья,
Блеск прекрасных синих глаз,
Гордой мощи выраженье
Все меня пленяло в вас.

И теперь припоминая
Ваш пленительный портрет
Я невольно забываю
Что уж вас со мною нет.

И уносишься невольно
К вам тревожною мечтой,—
И как мне бывает больно,
Что вас нет уже со мной!

Но за то я не забуду
Этой гордой красоты
Всюду вспомню, где ни буду,
Эти смуглые черты.

6 января 1853 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

Публикуется по автографам ИРЛИ. Шифр: 1840, VIII с. л. 36а и 27. Княжнин, №№ 12, 11/92 и 11/123.

Первое из стихотворений публикуется впервые, второе неполно было опубликовано М. К. Лемке в биографии Добролюбова (собр. соч., т. I, стр. XXX). Кроме того в списках своих стихотворений, составлявшихся Добролюбовым, вероятно, в 1853 г., названо еще одно несохранившееся стихотворение, также обращенное к И. М. Сладкопевцеву: «На отъезд И. М. С-ва», дат. 19 ноября 1852 г. (См. Княжнин, № 11/115).

Сонетъ

(И. М. Сл—ву.)

Давно ужъ я ничѣмъ не восхищался,
Давно я удивляться пересталъ,
За призракомъ [illegible] — не гонялся,
И наконецъ [illegible] мой идеалъ.

Явились вы, — душа пришла въ волненье,
Я съ вами восторженно [illegible],
Вашъ разговоръ и каждое движенье
Я прослѣдилъ, вашъ [illegible], [illegible].

Черты лица вашъ много обѣщаютъ,
Такъ дышатъ мужествомъ, отвагой и умомъ,
Вашъ голосъ такъ въ душу проникаетъ,
Вы такъ умны, Вы такъ прекрасны во всемъ!.....

Нашелъ я то, о чемъ давно мечталъ:
Нашелъ, нашелъ я въ васъ мой идеалъ.

[illegible]. 1 Декабря, [illegible].

Нижний Новгородъ

СОНЕТ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ И. М. СЛАДКОПЕВЦЕВУ

Институт Литературы, Ленинград

IV. ПИСЬМО М. И. БЛАГООБРАЗОВА К Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

4 декабря 1861 г.
Нижний Новгород

Милостивый государь Николай Гаврилович!

Я Вам сказал, что пробуду в Москве числа до 10-го, а вышло, что 2-го числа я был уже в Нижнем. На бедного Макара шишки летят, есть пословица, которая на мне вполне оправдывается. Поездка в Петербург была неудачна, по случаю кончины Николая Александровича; а приезд в Москву еще хуже. Тут ждало меня письмо, которое извещало о болезни моей жены. Вот почему я из Москвы и уехал...

Письма Николая Александровича Вам посылаю,— всех их 40. Часть есть к матушке (5). Некоторые я не мог подобрать по числам, потому что они не имеют надписи. Но для Вас большого порядка вероятно и не надо. Не знаю, извлечете ли из них какую пользу. Есть письма, которые говорят не в пользу моей холостой жизни, но я надеюсь, что Вы за прошедшее не будете иметь обо мне дурного мнения. По прочтении их, хотя не скоро прошу возвратить [1].

Вы спрашивали о подробностях молодости Николая Александровича; но я, передав лично все, что знал, теперь прибавлю одно обстоятельство, которое свидетельствует, что его ум замечен был даже детьми.

В одном со мною доме рос мой двоюродный же брат Володя, со мною одних лет. А Николай Александрович был нас моложе годами шестью. Впрочем, в игры наши мы его не только допускали, а он у нас был вроде прокурора или секретаря. Мы его постоянно заставляли проверять разные счеты. До того был у него мягок характер, что он никогда не выходил из повиновения.

Игры наши были преимущественно торговые. Мы набирали игрушки, назначали им цены миллионные, деньги были бумажные; на каждой бумажке была надпись, во сколько ходит известная монета, примерно тысячу рублей, 100 т[ысяч] или несколько миллионов. Вся эта надпись возлагалась на Николая Александровича, зная, что он добросовестно исполнит поручение. При сем прилагаю лист бумаги, где он своей рукой обозначил цену товару и подводил итоги [2]. На пример, к о л о к о л ь н я назначена 10 миллионов, а должно было продать за 17.

Другая игра была солдатиками. До несколько тысяч было нарисовано картинок, они вырезывались, к ним подклеивались деревяшки, чтобы они могли стоять на столе. Этот труд тоже нес Никол[ай] Ал[ександрович], потому что я был распорядителем и работал мало, равно и другой брат; и оба были чрезвычайно ленивы и не постоянны. А Никол[ай] Ал[ександрович] все выдерживал.

Лет семи Никол[ай] Ал[ександрович] уже очень хорошо и расчетливо играл в вист и в преферанс, так, что допускался играть с большими гостями его родителя; и нередко обыгрывал своего отца в игру «свои козыри», в которую славился играть мой дядюшка Александр Иванович [3].

И так все, что я мог сказать Вам.

Позвольте Вас просить, при случае, передать мое почтение Авдотье Яковлевне, и напомнить Ване непременно каждый месяц писать к моей матушке, хотя по одной строчке.

Михаил Благообразов, Ваш покорнейший слуга

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2123. хс. Княжнин, № 295.

[1] Возвратить письма Чернышевский не успел: они в настоящее время находятся в ИРЛИ в составе архива Добролюбова. Все письма изданы.

[2] Этот лист не сохранился.

[3] Об игре молодого Добролюбова в карты см. еще запись в дневнике от 28 февраля 1852 г. («Дневники, 1851—1859», 2-е изд., М. 1932).

V. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА И. И. ПАРЖНИЦКОГО К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

1

Николай Александрович, с нетерпением я ждал обещанных тобой известий, но к сожалению их доселе не имеется; но надеюсь, что дождусь их.

Вот наступила новая фаза моей жизни. Писарь, в которого столе я находился и который знал все дела, повесился на днях, и теперь все дела свалены на меня одного, это служит причиной самым ужасным неприятностям, и уже не говорю о том, что я должен работать день и ночь, тем более что предстоит закрытие госпиталя. Но об этом теперь некогда. А вот самое главное: пришли мне пожалуйста 15 рубл. сер. в самом скорейшем времени, чтобы деньги застали меня в Тавастгусе, а то после чорт знает куда ушлют меня. Мне нужно расплатиться с долгами, хорошо еще, что в долг давали, иначе хоть околевай. Не забудь узнать тоже есть ли места и какие по медицинской части на уездных врачей и проч. в медицинском департаменте; мне право совестно, что доселе я не мог известному тебе доктору дать на это ответа. Отчего Институтские так обленились; я сказал им, что совестно даже подумать, чтобы доселе никто из них не сумел написать двух-трех строчек; если они и к другим моим товарищам столь же мало внимательны, то это совершенно непростительно. Тут не может быть отговорки: «мы их мало знаем». Люди, посвятившие себя служить таким же двуногим, как они, и понимающие цель и обязанность этого служения, притом-же люди образованные — а такими я в праве считать бывших моих товарищей — не унизят себя подобным извинением. Скажи им, что хотя я ни на минуту не сомневаюсь в их благородстве, — иначе не стал бы писать и напоминать им — но мне неприятна их леность, и зачем-же все откладывать до завтра? Еще раз повторяю, что в отношении меня, это еще сносно, но в отношении других товарищей это непростительно. В особенности Михайловскому следовало писать вам, его доля тяжка, к Муравьеву тоже, о нем я ничего не знаю. — Прими мой добрый [Николай] Александр[ович] дружеское пожатие руки Игнатия.

P. S. Поспеши с высылкою не позже 1-го июля, до которого я надеюсь остаться еще в Тавастгусе. Пиши всегда на имя мое с присовокуплением: «состоящему при Госпитале», деньги-же пришли на имя Франца Николаевича Гека. Аптекаря Тавастгуского воен[ного] Госп[италя].

18 июня [1856 г.], Тавастгус.

2[1]

Incipiam a te Николай Александрович, потому что письмо твое такого содержания, что нельзя на него не отвечать отдельно, и, уже судя по этой выставленной причине, ты легко можешь себе представить, какое впечатление произвело оно на меня. Да, прекрасны новости тобою рассказанные, прекрасны должны быть надежды, которые я отчасти угадываю. Будем-же надеяться.

Что касается меня, мой друг, то я ничуть не сожалею о моей участи: мое положение для меня полезно. Я выиграл уже потому только, что негодяям, оклеветавшим нас, не удалось меня толкнуть в грязь; и хотя они и надели на меня серку, хотя и отдали в руки людям, которые требуют от меня, как от солдата, исполнения мною обязанностей моих (мнимых?); но все-таки им не удалась татарская их политика: люди, исполнители Пеликановых предписаний[2]; он удостоил меня особенного своего внимания, и писал обо мне кроме официальных бумаг еще частное письмо, кот[орого] со-

держание легко угадать, часто стыдятся своего варварства и делают что-то вроде снисхождений, которые, разумеется, я поворачиваю на свой манер. А разве для меня не полезно столкновение с столькими разнородными личностями, между коими я встретил и несколько благородных экземпляров?

Письмо, только что полученное мною из Петербурга, перевернуло все мои мысли, так, что и забыл о том, как утром писать хотел. Содержание того письма: мой несчастный отец скончался тому месяц назад. Да, мой друг, умирать с отчаянием в душе, видеть свою семью оставленною без всяких средств — это ужасно! Впрочем мир праху этого честного и благороднейшего человека, который всю свою жизнь страдал за эти качества! Мне пишут из дому, что я теперь должен занять место отца для семьи, состоящей из матери, почти совершенно слепой, сестры, да трех малолетних мальчиков. Вообрази-же, как жгло мне грудь это письмо. Впрочем словами не пособить, а надо действовать. Прежде всего надо обеспечить состояние моего брата Александра; приищи ему уроки до моего возвращения, это первый необходимый шаг, потому что на дядю моего надеяться нечего: он наконец совсем делается Плюшкин. Пиши ко мне. Твой Игнатий.

P. S. Наш Госпиталь закроют вскоре, раньше августа месяца и тогда меня ушлют, а куда? Не забудь об уроках братьям моим. Будь у Александра и потолкуй с ним и разубеди: а то мне право совестно, что я должен вести полемику с братом на счет искренности моих отношений с институтскими друзьями, я бы хотел, «чтобы един дух, едино тело были бы мы мнози, ведь единым словесам веруем».

3

31 июля 1856 г.
Тавастгус

Николай Александрович,

Мы оба очень упорны — я в болтовне, ты в лени. Чтобы это было, если бы тебе пришлось изгрызть столько перьев, сколько я погрыз? Я уже решился было выжидать от тебя письма, но события идут вперед, не выжидая твоего ответа, и принуждают меня взяться за перо. Удивительна мне беспечность людей, дело начато, оставалось и может быть остается только употребить несколько больше энергии, быть настоятельными больше, чтобы сорвать маску с подлецов — и все как бы заснуло. А подлецы пользуются этим. Они бесчестят нас, изгнанных, и других оставшихся: нас делают ложными доносчиками, их иудами-предателями. Одно стоит другого. Отчего бы не постараться раскрыть глаза всем, пусть понимающий научит непонимающего, что дело идет не только о нашем оправдании, а о более видимых результатах, которых упомянуть я не намерен. Скажу только, малейший из них есть искоренение глупого убеждения, что, для поддержания начальства, необходимо, чтобы старший был прав всегда. А этому везде веруют, как тому, что бог един. И какой глупый предрассудок, как будто власть не выигрывает, если она уничтожает в себе злоупотребления.

Я наверное не знаю, что против нас именно умышляют подлецы, для которых необходима кажется наша потеря, чтобы правда не всплыла наверх. Они уверили себя, что тогда никто и не подымет голосу для обнаружения их гнусностей. Они ошибаются — правда не застаивается надолго.

Ах, мой друг, какое ужасное насилие всему, чем только дорожит человек, я встречал везде. Я начал его курсом гимназии, продолжал Институтом и Академией, продолжаю и теперь. Пусть говорят, что по Вышнеградскому[8], насильное действие требует сильное воздействие (чепуха!) и что, как выражаются, мой скверный характер требует этого, но зачем-же я вижу тоже и на всех других. Или все требуют сильного воздействия? Ты, как педагог,

Г. Тусби. 25. Сент. 1856.

Мой друг, Николай Александрович, вчера я получил письмо с деньгами от тебя и сегодня [illegible] бумагу об наших увольнении. Воображаю себе [illegible] наконец [illegible] обниму вас всех [illegible] друзей милых.

Мой друг, [illegible] от [illegible] уехала, не пущена из Петербурга [illegible] что [illegible], [illegible] проходя в Университет, но так [illegible]. Неужели [illegible] судьба будет все разлучать дружеский наш кружок, [illegible] всегда [illegible] должны [illegible] [illegible] [illegible]; а ведь нас так мало. Как [illegible] первые наши [illegible] что [illegible] теряет одного из лучших благородных моих друзей. Итак до свидания [illegible] скорого [illegible] Киев-[illegible], что у нас [illegible] дорог. [illegible] Тусби [illegible] будут [illegible] [illegible] Тусби, а когда [illegible] придет? — Я думаю, [illegible].

Тусби лежит в 28 верстах от Гельсингфорса. —

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] накануне, [illegible] [illegible].

ПИСЬМО И. И. ПАРЖНИЦКОГО К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ ОТ 22 АВГУСТА 1856 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Институт Литературы, Ленинград

реши этот знаменитый вопрос и собери братьев педагогов и напишите мне, только пожалуйста скорее, а то пока вы соберетесь...[4].

4

22 августа 1856 г.
Тусьбю

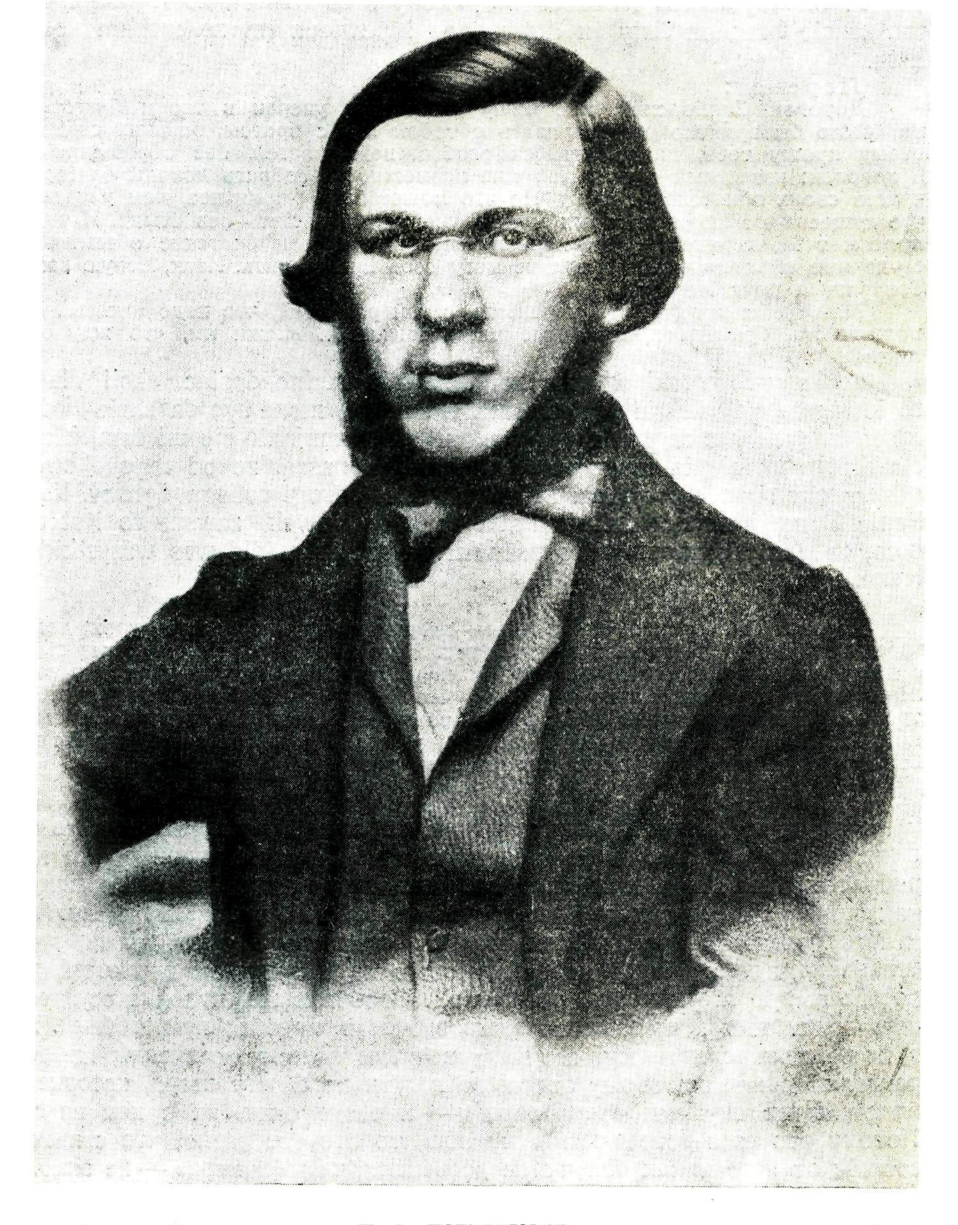
Мой друг, Николай Александрович, благодарю тебя за твою дружескую откровенность. Как жаль, что наша искренняя беседа ограничивается только нами тремя; я старался всегда, чтобы в ней приняли участие все, но негодная леность, как вижу, сильнее всех стараний. Но и тут леность опять мешает сбросить кору невежества. — К вам писал Михайловский, что ему выдали кормовые и проч., но этому не верится. Эту невинную ложь продиктовало ему его благородное сердце; ему казалось, что Димитрий [Щеглов] со вредом для здоровья трудится, чтобы помочь ему и брату Егору, и потому желал успокоить его, выдумав небывалые счеты. Надо тебе знать, мой друг, что иногда по целым годам не выдают фельдшерам ни жалованья, ни провиянта. Я уже давно требовал жалованье, но мне доселе не дают и едва через три месяца получу. Вот вам пример, и никто ведь не виноват, потому что на представление по этому делу выходит больше бумаги, чем стоит жалованье.

Я теперь нахожусь при госпитале военновременном Тусьбюском, и я уже тем много выиграл, что не считаюсь под начальством Агеенки[5]. Вот самые рельефные черты, по которым составилось понятие о здешнем госпитале и об Агеенке: состоит госпиталь из нескольких деревянных наскоро выстроенных домов, кругом его видишь лес только, даже деревень нету. Характер госпиталя имеет решительное влияние на госпитальный высший штат, и выражается тем, что они не живут розно, и что главный не считает для себя унижением играть в карты с ординатором, или подать ему руку при встрече. В Таваcтгусе было совсем иначе: там главный доктор, кот[орого] звали исчадие сатании или просто кривым чертом, а офицеры Китайским мандарином (его отношения к тем и другим оправдывали оба названия) был качеств богоподобных, т. е. ничем необъяснимых. Ленив как осел, совершенный невежда в хирургии и химии, он любил всего больше распространяться об этих предметах и выдумал оригинальный способ предохранения от смерти, — как скоро в палате умирал больной, он фельдшера под розги, в полной уверенности, что смертность уменьшится. Или если он рассержен был чем-нибудь дома, то на спинах подчиненных нижних чинов отзывался гнев его. Да еще как сильно. Один ординатор резался, другой хотел повторить тот же опыт на самом мандарине; один фельдшер повесился, другой и третий были одного мнения с вторым ординатором. Как же уцелел мандарин? — Ординатор раздумал, что у него есть дети и жена, фельдшеров усовестили и посадили под арест. Не правда ли, что и в мирном Тавастгусе Шекспир нашел бы для себя героев. Но я не Шекспир, и потому ограничусь этим кратким очерком моего героя — начальника бывшего.

Прощай, мой друг, до свидания, твой Игнатий

P. S. И забыл сказать тебе, мой добрый Николай, что денег мне не нужно; я успел довольно заработать, и теперь еще чувствую мой карман не порожним.

Kochany Sciborsky, ja Cie o tyle znam i pewny iestem w twey szlachetnosci, i tak ze miloby mi bylo rozmawiac z toba iak z bratem blizkiem swemu sercu. Dla tego prosze cie pisz do mnie bez osobliwych grzecznosci bez dobawki Pana. Kontent, jestem, no zaszly z nami wypadek dal mi zrecznosc, odebrac nowe dowody, slachetnych uczuc mych przyjaciol bo



Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
Фотография 1859—1860 гг.
Институт Литературы, Ленинград

cos moze byc przyjmnieszego nad upewnienie, ze sa «ludzie», których, szanowac kochac mozna nie wstydzac sie. A wiec prosze cie óswiadcz wszystkim dobrze myslacym me bratnie uscisnienia z takim serdecznym uscisnieniem z jakim ja bym sam to uczynial. I tak caluje was wszystkich kollega przyjaciel Ignacy.

P. S. Moj adress tenze co i wpvzòdy s ta roznica ze napisac... Wrecz prosze cie braciom listy tu dolaczone i powiedz im ze czekam od nich listu.

Перевод:

Дорогой Сциборский, поскольку я знаю и уверен в твоем благородстве, мне было бы приятно разговаривать с тобой как с братом, близким сердцу. Поэтому прошу тебя, пиши мне без особых вежливостей, без обращения «пан». Я доволен: известный случай дал мне возможность собрать доводы благородных чувств своих приятелей, потому что что может быть приятнее, чем уверенность, что существуют люди, которых можно уважать и любить без стыда. И, наконец, просим тебя, передай всем, «хорошо мыслящим», мои братские объятия, такие сердечные объятия, какие я только могу себе представить. Итак, целую вас всех. Товарищ и друг Игнатий.

Мой адрес тот же, что и раньше, с той разницей, что надо писать... Вручи, пожалуйста, братьям прилагаемые здесь письма и скажи им, что жду от них письма.

Kochany Sciborski, smutno ze teraz tak trudno dostac ekcii dla mnie to iest perspectywa nie pocieszaiaca nadal. Ale moze byc da zimie kiedy sie zjada z dacz i z zagranicy (byc moze), to i znajdzie sie mi tam, iaka lekcia dla nakarmienia mego brzucha. Bieda to nasza, ze od tego obowiazka, odzwyczaic sie nie podobna. Sciskam cie moj drogi collega Ignacy. Kochany Panie Turczaninow, dziekuje Panu za pare slowek, zawsze to iest dowodem, ze pan nie zapomina o prawdziwie szczerym dla was wszystkich colledze. Ignacy.

Перевод:

Дорогой Сциборский, очень жаль—сейчас так трудно достать урок; для меня впредь это не утешительная перспектива. Но может быть зимой, когда съедутся с дач и из заграницы (может быть) и найдется какой-нибудь урок для накормления моего желудка. Наше несчастье, что мы не можем отучиться от этой потребности. Обнимаю тебя, мой дорогой товарищ. Игнатий. Дорогой пан Турчанинов, благодарю за пару слов: для меня это всегда доказательство, что Вы не забываете об истинно-искреннем для вас всех товарище. Игнатий.

56

Мой друг, Николай Александрович, не сердись, если это письмо будет слишком скучно; виноват не я. Надобно же меняться мыслями, а мне теперь решительно не с кем, с тех пор как уехали оба мне знакомые ординатора; как будто на свете только я, да уродливые, чахлые, чухонские сосны. Я удивляюсь нелепости преподобных аскетов, отказавшихся от жизни, от деятельности, за тем, чтобы прозябать без цели, без пользы для людей, veluti pecora sompo atque ventrì obedienta [7]. Вообрази же, что и я осужден теперь заниматься исправлением моего здоровья, подобно преподобным. Живу в келье один, среди лесу, два раза в сутки хожу в госпиталь, где делать решительно нечего; брожу потом по лесу и по берегу озера, которые удивляют своим скучным однообразием — и везде один, ни с кем ни слова. Потому что если встречаюсь с чухною, то это все равно, что с пнем или сосной; от него никак больше не добьешься, чем «еюмера» — не знаю. Это самый блестящий ответ чухонца, как ни бейся. Одно только меня радует, что не вижу пакостной рожи Агеенка. Хочешь ли я тебе начерчу ее? Морда у него круглая, заплывшая жиром, продольные ее линии короче поперечных, как будто природа в сердцах на неудавшийся модель прихлопнула его сверху лопатой. Лоб необыкновенно низкий с густыми черными сходящимися неправильной дугой бровями, что не слишком рекомендует его умственные способности; за то ширина или лучше растяженность лба хорошо обрисовывает тигриные его наклонности. Прямо из бровей выдвигается

маленький, вздернутый, кривой носик, который внизу ограничивается толстыми, широкими устами. Прибавь к этому китайские усы и маленькие, серопепельные глазки, с необыкновенно малыми ресницами, как у змеи, то увидишь пред собою желанное лицо. Глаза то ты не увидишь, того злобного выражения, той плутовски-хитрой улыбки, которые запечатлелись на лице его.

Если бы ты мог видеть выражение лица Мефистофеля в ту минуту, когда он напоминает в темнице Фаусту, что пора, уже светает, но только стереть с чела его все могущественное, умное, ты бы увидел Агеенку.

Я сказал тебе, что имею одну отраду — не видеть хромого Агеенка, но эта ошибка. Гораздо отраднее видеть быт здешних мужичков. Они не считают себя отверженными париями, эполет не боятся и, стоя пред ними в шапке, протягивают им руку, здороваясь; не то как у нас за полверсты бедный мужичок ломает шапку, и с высшим забывает даже что и он создание божье, что мы родные сыновья Адама (не ссылаюсь на естественные науки). Мне случалось часто приходить с ними в близкое столкновение, знакомиться, бывать на вечерах у них, где бывали и эполеты; и потому расскажу тебе хоть часть из сделанных мною наблюдений. Извини, мой друг, почта на носу; итак до следующего письма, а что еще лучше, может быть, до следующего свидания. А так как нам прогонов не выдадут, то во всяком случае надо будет еще раз разорить братью, увы. С высылкой билетов за подписью Хованского поспеши, чем скорее тем лучше. Поцелуй всех добрых товарищей, и в особенности больного Львова. Прощай и пиши.

Твой Игнатий

Передай присовокупленные письма.

6

Тусьбю 25 сент[ября] 1856 г.

Мой друг, Николай Александрович, сегодня я получил письмо с деньгами от тебя и сегодня прислали бумагу об нашем увольнении. Вообрази себе мою радость; наконец я обниму вас всех, друзей моих.

Мой друг, если ты любишь истину и желаешь ей успеха, не уезжай из Петербурга. Делай, что хочешь, бей Ваньку, переходи в Университет, но только не уезжай [8]. Неужели гадкая судьба будет все разгонять дружеский наш кружок, и мы всегда веселясь и беседуя должны посвящать печальное воспоминание одному недостающему; а ведь нас так мало. Как бы было отравлено первое наше свиданье мыслью, что я должен терять одного из лучших благородных моих друзей. Итак до свидания, весьма скорого. Я завидую птицам и проклинаю Клейн-Михелей, что у нас нет еще железных дорог.

Целую тебя.

Игнатий

P. S. Я к вам буду недели через две, потому что придется ждать Михайловского сюда в Тусьбю, а когда он приедет? — Я думаю, он не замедлит. Тусьбю лежит в 28 верстах от Гельсингфорса. — Сюда присоединяю письмо, писанное накануне, единственное потому, что мне кажется, что я тебя не застану в Петербурге. Я помню еще плутни Давыдова и доверенность к нему министра, и почти уверен, что трудно тебе успеть. Но дай это возлюбленная fatum! *

---

* Судьба. [Ред.]

79

Казань 30 августа 1857 г.

Мой друг, Николай Александрович, я вполне разделяю твои чувства, нельзя не негодовать на маловерие малодушное; поневоле овладевает душой негодование при мысли, что бессмысленный сплетник в состоянии уничтожить согласие и доверие между людьми, для коих первым условием деятельности должны быть совершенная уверенность во взаимной честности и благородстве поступков. И это делается, когда мы друг у друга еще на глазах почти, когда свежи в памяти характер и образ действий каждого; а что же будет после? Да тяжело, мой друг, вспоминать, а тем более выслушивать требования объяснений, отзывающиеся подозрением честности. Сознаюсь, что всякое хладнокровие и терпеливость должны тут лопнуть: тут видишь не одну личную обиду, а невозможность положиться на людей, которым хотелось бы доверять даже больше, чем самому себе, если это возможно. Как ни больно, а должно сознаться впрочем, что от некоторых и должно было ожидать этого малодушия; но я удивляюсь, что сюда замешался Сциборский, в которого преданности доброму началу я совершенно уверен. Этой слабости я не ожидал от него, и не потому, чтобы надеялся слишком на твердость его духа и воли, но потому, что много рассчитывал на теплоту его чувств. У нас есть два экземпляра Сциборских, только настоящий экземпляр в иных отношениях еще слабее; т. е. увлекается еще легче и сильнее насказами и чужою увренностью, в особенности в деле щекотливом, касающемся нарушения чести повидимому по воле в деле, требующем анализа верного. Его пугливую натуру легко сполошить можно, но все же мне живы в памяти его исступленно-самоотверженные порывы к добру, за которые нельзя не любить его благородной души, как бы она ни заблуждалась. Правда, что это были только слова пока, но в них столько искренности, что нельзя не надеяться и на тождественность действий. Я люблю, мой друг, этот жар чувств, и не лежит мое сердце к слишком расчетливой обдуманности, подобной Димитрию <Щеглову>: от нее пахнет такою могильною холодностью чувств, что поневоле подумаешь: тут уже все лучшее перепрело, или тут столько эгоизма, что от него не жди много добра. А согласись сам, как иногда трудно бывает судить о поступках других, а иным истинный их смысл и вовсе закрыт. Оттого другим даже непонятно, как в самом грязном деле можно сохранить все благородство души, но в этом-то и состоит тот закал ее, помощью которого мы можем достигнуть всех лучших наших целей. Избегнуть всех столкновений мы не можем да и не должны, а если не сумеем обращать их нашу, а следовательно и нашей цели [Sic! — *С. Р.*], не будучи в то же время причастны грязи, то мы будем только жалкими глашатаями без действий в роде тех пустомель, которые трубят заученные ими фразы и мысли встречному и поперечному. Когда увидишь людей, провинившихся и в отношении тебя и в отношении нашей общей идеи о благородстве, когда они сознаются в ошибке своей, то втолкуй им пожалуйста в головы их слова правды, для предотвращения подобных пошлостей; потому что сколько ни пиши, а все-таки больше высказать можно.

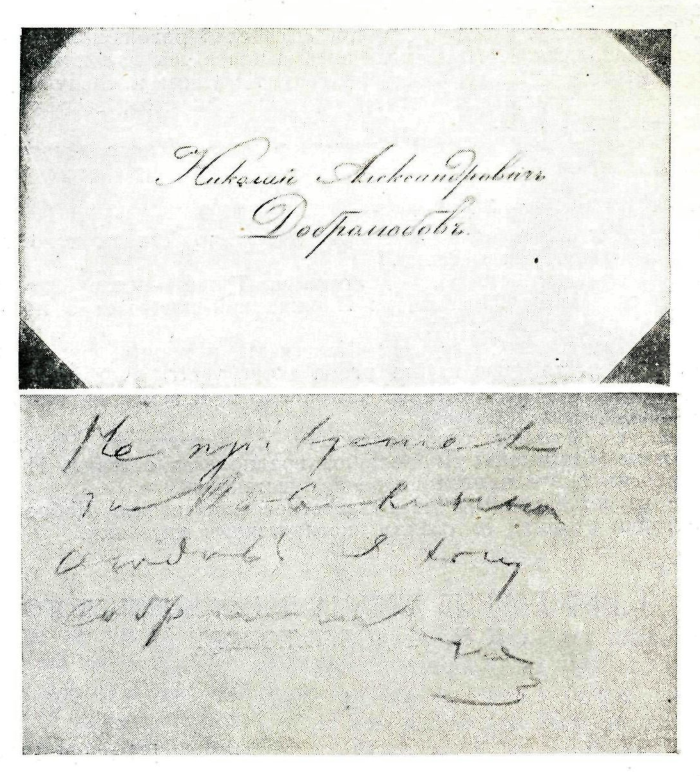
Я ждал здесь Шемановского, но дождаться не мог. Из Института не получил ни словечка, и не знаю разъехались ли наши или еще существуют в Питере, но на всякий случай я им посылаю чрез Воронова письмо, в котором по твоему желанию и намека не делаю о происшедшем.

Извини друг, что промедлил так долго с ответом, но это потому, что получил твое письмо я в самые критические минуты — во время приготовления к дополнительному экзамену из анатомии, а после безденежье было,

так и прошло время; собравшись-же написать увидел, что поздно в Нижний писать, ну так стал ждать, пока в Питер пора будет.

Пожалуйста напиши мне подробно, кто, как и на чем остановился каждый из нашей братьи — надо-же знать, с кем дело имеешь: я их знал два года назад, а их лета были таковы, что в эти два года характер многих должен был измениться или лучше проявиться, так как у иных его еще и вовсе не имелось. Пробужденные чувства под влиянием комфорта и устанавливающейся карьеры могли уснуть совершенно.

Радуюсь, мой друг, что твои семейные дела улучшаются, даже готов бы завидовать, если бы это возможно было; а мои семейные все более запу-



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
С ЗАПИСКОЙ А. Н. ПЫПИНУ НА ОБОРОТЕ
Институт Литературы, Ленинград

тываются, так что даже и присылаемых писем читать не хочется — ведь сожаленьем не поможешь, так надо же крепить сердце и выжидать времени.

Напиши пожалуйста, куда к Бордюгову писать, неужели все в Змиев. Спешу, прощай и пиши поскорее.

Твой Игнатий

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые полностью по автографу ИРЛИ (начало письма от 30 августа 1857 г. было опубликовано в биогр. очерке М. М. Клевенского, — Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. I, 1934, стр. 16—17). Шифр: 4035. IX. Княжнин, № 207.

Письма Добролюбова к Игн. Иос. Паржницкому неизвестны. Таким образом единственным документом их отношений являются публикуемые письма Паржницкого. Из них мы узнаем о характере и темах переписки друзей в 1855—1857 гг. Общий же облик Паржницкого вполне совпадает с той его характеристикой, которую читатель найдет в публикуемых в настоящем томе воспоминаниях

М. И. Шемановского. Особенно справедливым представляется определение Паржницкого как «социальной клеточки», вокруг которой естественно начинают образовываться идеи социального протеста. «...Он значительно укротился против прежнего, — писал о нем Добролюбов 12 сентября 1858 г. М. И. Шемановскому, — но все-таки он моложе сердцем, он более полон надежд и энергии, чем мы с тобой и с Ваней Б<ордюговым>. Это значит, что на нем не легла мертвенная апатия русского крепостного народа, как легла она на нас всех». («Материалы...», стр. 463). И. Г. Ямпольский полагает, что, «описывая в статье: «Когда же придет настоящий день» жизненные испытания одного из «русских героев», Добролюбов заимствовал кое-какие факты из биографии своего товарища И. Паржницкого» (См. Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, 1935, стр. 230—231 и 683. Ср. также описание «истории» с Паржницким в «Послании к С. П. Галахову», 1857 г. Собр. соч. под ред. Аничкова, т. IX, стр. 15—18).

Биографические данные о Паржницком, кроме сообщаемого Шемановским, неизвестны. Он не вошел даже в словарь «Деятелей революционного движения» изд. О-ва политкаторжан. Публикуемые письма кое в чем пополняют этот пробел

[1] Датируем июлем 1856 г. по связи с предыдущим и следующим письмами и на основании упоминания о скором, «раньше августа», закрытии госпиталя. Incipiam a te — начну с тебя.

[2] Е. В. Пеликан (1823—1884) — директор медицинского департамента.

[3] Н. А. Вышнеградский (ум. 1872) — педагог, профессор механики Гл. Пед. И-та.

[4] Окончание письма не сохранилось.

[5] Непосредственный начальник Паржницкого по Тавастгусскому госпиталю лекарь Наум Никифорович Агеенко.

[6] Как ясно из текста, письмо написано из Тусьбю после 22 августа, но до 25 сентября. В письме от 25 сентября Паржницкий извещает о получении просимых в настоящем письме денег.

[7] Неточная цитата из Саллюстия: «Как скоты, покорные сну и чреву». В подлиннике: «veluti pecora quae natura prona atque ventri oboedientia finxit», т. е. «как скоты, которых природа создала склоненными к земле и покорными чреву» («De conv. Catil.»).

[8] В связи с частыми столкновениями с директором Педаг. Института И. И. Давыдовым («Ванькой») Добролюбов предполагал оставить Институт и перейти в Университет; это намерение не осуществилось.

[9] Письмо является ответом на неизвестное нам письмо Добролюбова с изложением истории разрыва со своими институтскими друзьями.

VI. НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА Б. И. СЦИБОРСКОГО К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

1

[24 июня 1856 г.]

Николай Александрович![1]

Неожиданною новостию порадую тебя: — право, не знаю, как сказать тебе о ней, — мне кажется, что всего лучше просто сказать тебе правду, что я потерял данные тобою деньги с письмом к Михайловскому. Я понимаю все неприятные последствия от моей неосторожности и рассеянности — бедный Михайловский лишается на некоторое время возможности иметь деньги. Я вчера целый день проходил по знакомым, надеясь взять взаймы, но в этом не успел; обещали впрочем после 1-го числа одолжить некоторое количество. Теперь я, право, не знаю, что мне делать, нет у кого попросить совета. Если б ты имел время, то я надеюсь не отказал бы моей просьбе зайти в Институт завтра по утру, тем более, что от Игнация получено к тебе письмо, которое я хотел переслать вместе с этою запискою; но боюсь, чтобы не потерялось где-нибудь на городской почте.

Львов просит тебя достать ему: «La verité sur l'empereur Nicolas»[2].

Сциборский

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
Фотография 1860 г.
Институт Литературы, Ленинград



2

18 $\frac{\text{VIII}}{26}$ 58[3]

Аракчеевка

Я надеюсь, ты, Николай Александрович, извинишь меня за то, что я перед отъездом не зашел к тебе проститься, — ведь мы увидимся еще не один раз. Я не могу однако ж быть спокойным, не поблагодарив тебя за твою дружескую помощь, которую ты оказал мне в самое трудное время моей жизни. Я уверен, что ты сделал это добро для меня не для того, чтобы слышать от меня благодарность, а единственно по влечению твоей благородной натуры; но выразив словом свою благодарность, я хочу сказать тем только то, что ты сделал добро человеку, который способен чувствовать и ценить его, чувствует его теперь и готов всегда служить тебе всеми силами во всех твоих добрых начинаниях. Пожалуй, кто-нибудь назовет эти слова фразою, но в этом случае мне до других дела нет: я желаю одного, чтобы ты понял слова эти так, как я их чувствовал, и чтобы ты не колебался, если представится возможность доставлять ее мне для оправдания моих чувств на факте. Переходное мое состояние из-за скамьи в жизнь [sic!—*С. Р.*] было для меня страшным испытанием, которого я, может быть, не выдержал бы и был бы принужден в крайности пойти по такой дороге, которая привела бы меня к совершенному ничтожеству во всех отношениях: ты дал мне средства поддержать силы свои до благоприятного времени, когда мне представился случай определить свое положение, и тебе я этим обязан более, нежели кому-нибудь, твоя услуга для меня имеет значение жизненного вопроса.

В Аракчеевке пока мне очень хорошо; кажется, что я на долгое время, если не навсегда, останусь здесь. Замечательное явление: начальство в кор-

пусе, можно сказать, очень хорошее: все народ более или менее образованный, современный и, как кажется, полезный. — Не знаю, что сказать о кадетах; хотя я имел у них уже более 20 лекций, но не составил еще ясного понятия о них; мальчики живые, но, кажется, очень мало развитые — учителя — народ порядочный — люди все молодые.

Спешу кончить письмо, хотя хотелось бы потолковать с тобою подольше, — оставляю до другого случая, когда надеюсь отнять у тебя больше дорогого для тебя времени. Отсюда уезжает в Питер некто Хорошевский студент Университета и чрез него посылаю сие письмо извещательное.

Позволь уверить тебя в моей совершенной преданности к тебе, как я уверен в твоем добром расположении ко мне и остаться твоим Борисом Сциборским.

Свидетельствую мое глубокое почтение Василью Иванычу. Михалевский и Каразаев кланяются тебе [4].

Адрес: В Новгороде. Напиши несколько слов, пожалуйста, если позволит время.

3

Дорогой мой Николай Александрович! [5]

По обыкновению вежливых Аракчеевцев, я хотел начать письмо к тебе тонкими извинениями в долговременном моем молчании, да вспомнил, что ты подобную ерунду не с большою охотою читаешь, а я всякую дичь не имею особенного усердия писать — потому начинаю с дела, т. е с рассказа о своем житье-бытье. Но что-ж тебе сказать? Говорят, что счастливые не могут наблюдать над собою и размышлять о своем счастии. Я совершенно счастлив своим положением, и поглощен чузством удовлетворения лучших моих стремлений; уменье высказаться в этом действительно во мне исчезает. Впрочем наш дорогой Вася кой-что скажет тебе о нашей жизни. Вообще мы устроились хорошо: хозяйственное обзаведение у нас почти в совершенстве; все главное обдуманно заготовлено и избавляет нас на долгое время от хлопот в этом отношении. За то капиталов вовсе не имеется; у нас точно в Аркадии, не слышно звука презренного металла. Да впрочем это еще не так-то большое горе: долги маленькие уже мы начали выплачивать, а со временем выплатим и большие, — так что к лету немного останется за нами. Как видишь и в этом отношении положение наше еще не так безотрадное, — говорю — н а ш е, потому что я теперь стал вдвое важнее и привык слышать и говорить: м ы, н а с и проч. — Ну-с, каково тебе живется? Спасибо тебе от искреннего сердца за твое письмо, — ты меня не забыл, хотя сам и не приехал на нашу свадьбу. Впрочем на свадьбе у нас никого и не было из приезжих; сыграли мы эту штуку весьма скромно, даже употребили некоторые старания, чтобы не придать ей какой-нибудь торжественности. Писал бы тебе побольше да времени не хватило и притом что-то нездоровится. До свидания, мой лучший друг. Будь счастлив. Кланяется тебе моя половина. От меня ты поцелуй добрейшего Василия Ивановича и скажи ему, что я блаженствую; поцелуй и милого Володю. Поклонись еще Терезе Карловне и Николаю Михайлычу, а также и Борзаковскому, если только увидишь его.

Прощай, мой друг.

Твой навсегда Борис

Как поживает Карл Иваныч? поклонись ему от меня [6].

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2030. IXс. Княжнин, № 202. Письма Добролюбова к Б. И. Сциборскому опубликованы в «Материалах...» (стр. 383, 412 и 534). Дата второго письма (стр. 412) вычислена Чернышевским неверно. Оно относится к августу или началу сентября 1857 г. Это ясно из сопоставления с датой публикуемого в настоящем томе письма И. Паржницкого к Добролюбову от 30 августа 1857 г. (см. стр. 338 наст. тома).

[1] На л. 2 об. адрес: «Его благородию Николаю Александровичу Добролюбову. Студенту Гл. Пед. Института. На Вознесенском проспекте в д. Шклярского, на квартире г. профессора Срезневского». Почт. штемпель городской почты: «1856 г. июня 24».

[2] Автор упоминаемой книги Н. И. Сазонов. Точное ее заглавие: «La vérité sur l'empereur Nicolas. Histoire intime de sa vie et de son règne. Par un Russe. Paris. 1854». В. Львов — товарищ Добролюбова по Пед. институту.

[3] В датировке письма описка. Оно относится не к 1858, а 1859 г. — ответом на него является письмо Добролюбова, написанное в сентябре 1859 г. («Материалы...», стр. 534). Аракчеевка—Новгород. Б. И. Сциборский по окончании Института был определен преподавателем Новгородского Аракчеевского кадетского корпуса.

[4] Хорошевский Владислав Юлианович (ум. 1900)—студент СПБ. университета; подробный очерк его см. у Л. Ф. Пантелеева: «Из воспоминаний прошлого». «Academia», 1934. Редакция и примечания С. А. Рейсера.

Василий Иванович — Добролюбов, дядя Н. А., живший в это время с ним вместе. В. М. Михалевский—студент СПБ. ун-та—приятель Н. П. Турчанинова, также преподаватель Аракчеевского кадетского корпуса. Караваев,— может быть, инспектор классов корпуса, подполковник Г. П. Кузьмин-Караваев? О знакомстве его с Добролюбовым нам ничего неизвестно. Это лицо было неизвестно и Чернышевскому при его работе над «Материалами...» (ср. стр. 536).

[5] Датируем концом 1859—началом 1860 г., так как в письме речь идет о недавнем браке Сциборского. О браке, о приезде в Петербург в декабре 1859 г. и о разговорах с Добролюбовым на эту тему см. в публикуемых в настоящем томе воспоминаниях Б. И. Сциборского.

[6] Василий Иванович — см. выше, примечание 4-е.

Володя — брат Н. А. Добролюбова.

Тереза Карловна — Гринвальд, с которой Добролюбов некоторое время был в связи.

Николай Михайлович — повидимому, Михайловский — институтский товарищ Добролюбова и Сциборского.

Вл. Борзаковский — то же.

Карл Иванович — Вульф, владелец типографии, в которой в те годы печатался «Современник».

VII. НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО Н. П. ТУРЧАНИНОВА К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ

Лович 13/25 мая 1859 г.

Николай Александрович!

Несколько дней тому назад получил я письмо от Михалевского [1], в котором он извещает меня, между прочим, что Вы предъявили свое горячее участие ко мне, — и как-то неловко мне сделалось при этом известии. Не верить этому, не было основания, а верить... вот тут-то именно я и поставлен был в весьма затруднительное положение: борьба чувства доверенности с сомнением необходимо должна была вызвать ряд светлых и мрачных воспоминаний из прожитой нами вместе жизни; при этом раскрылись передо мной наши, когда-то тесно дружеские отношения, а потом и печальное время нашего разрыва, с которым я до сих пор не мог примириться, и всякий раз воспоминание об нем возмущает все внутреннее мое существо...

Словом известие Михалевского весьма встревожило тихую, спокойную (по крайней мере по видимому) мою жизнь. К счастию, через несколько дней почтальон принес мне письмо, адресованное Вашею рукою. Этого было для меня уже слишком много. Не знаю по какому-то странному чувству, я несколько приостановился, распечатать ли письмо, или нет. Во время этого колебания печать была сорвана и письмо прочиталось с судорожным вниманием. После того прошло еще несколько дней.

Не отвечать Вам я не мог по одному даже приличию, так что Ваши опасения (которыми Вы кончили Ваше письмо) едва ли имели основание[2]. Но дело в том, что содержание Вашего письма, как будто, настоятельно требует ответа. Что же мне приходится сказать Вам? Признаюсь, что я весьма затрудняюсь в этом. Вы предлагаете мне, по моем приезде в П. Бург, личное, откровенное объяснение. Прекрасно! Но на беду проектированная моя поездка в П. Бург подлежит весьма большому сомнению.

Как хотите, одно место в Вашем письме, без дальнейшего отлагательства, вызывает меня на объяснение. Вы признались виноватым в том, что «по мелкому самолюбию и гордости не хотел с Вами (т. е. со мною и Александр[овичем]) объясниться, как следует» (Ваши слова). Допустим, что признание Ваше совершенно правдиво. Но, Милостивый Государь, позвольте предполагать в Вас побольше любви вообще к человеку, позвольте думать, что эта любовь к человеку не должна была уступать место какому-то безграничному эгоизму. Я так сужу на основании Вашего образа мыслей, с которым я так хорошо был знаком. В приведенных мною словах из Вашего письма я не вижу иного смысла, кроме следующего: Александрович и я, оба мы были в Ваших глазах так низки, так ничтожны, что не заслужили ничего, кроме Вашего презрения. Согласитесь, что Вашим поступком Вы значительно должны были усилить наши подозрения, которые, очевидно, должны были превратиться в полную уверенность. Неужели Вы были столько невнимательны, что не заметили, как сильна была моя привязанность к Вам, как глубоко было чувство уважения, которым я был проникнут. Неужели Вы предполагали, что поступок Ваш не произведет сильного впечатления. Трудно допустить подобное. Следовательно, за что же Вы подвергли человека (который будто бы оставил в Вас «самое светлое и чистое воспоминание») тяжкому внутреннему истязанию. Еще слишком хорошо памятно для меня это время. Известие о получении мною младшего учителя[3], конечно, весьма неприятно поразило меня, но, если Вам угодно знать, оно ничтожно было в сравнении с тем впечатлением, которое произвел на меня Ваш поступок. Не одна ночь в то время проведена была мною без сна; и это не все: я шатался, как потерянный, совершенно без всякой цели, бог знает куда и зачем; но, что всего ужаснее, я потерял всякую веру в человека, и сделался до крайности подозрительным к людям, что во всей силе продолжается до настоящего времени.

Читая эти строки, может быть Вы найдете несколько странным мое признание. Как хотите, судите обо мне. Не думайте однако ж, что я высказался так откровенно с какою-нибудь особенною целью. Сказанного мною здесь оказалось совершенно мимовольно. [Sic! — *С. Р.*] Никто не слышал от меня ничего подобного: на Вас выпал жребий выслушать мою сердечную боль, правда прошлую, но еще не вполне утраченную.

Напрасно Вы, Николай Александрович, предлагаете мне справиться о Вашей честности у Николая Гавриловича и Кавелина, к которому я не имел никогда никакого отношения[4]. Поверьте, что я, если не лучше, то во всяком случае не хуже знал Вас во всех отношениях и умел ценить Вас. Следовательно я не имею никакой нужды наводить справок, и если со временем объяснится (если уже не объяснилась) вся несправедливость возведенного на Вас подозрения, то Ваши бывшие приятели должны будут отдать

Вам строгий ответ; если же не объяснится, то время нашего окончания курса будет нуждаться в оправдании с Вашей стороны. Оставляю в покое одно место в Вашем письме, хотя и следовало бы кстати коснуться. Опускаю потому, что объяснение мое необходимо должно было бы обнаружить некоторые вещи, не совсем чистые. Вы, конечно, догадываетесь в чем дело [5]. Мне остается благодарить Вас за те Ваши чувства, которые выражены были ради еще не забытой нашей дружбы, которой свято был верен.

Н. Турчанинов

Потрудитесь передать искреннее мое почтение Ольге Сократовне и Николаю Гавриловичу, которому вместе с тем объявите мою глубокую благодарность за его участие ко мне.

С Александровичем я не переписывался и не переписываюсь. Вот его адрес: «в Сувалки (Августовск. губ.). Учителю Гимназии». Интересно знать, получил ли Ник. Гавр. от меня страховое письмо, посланное 1-го мая (по русск. стилю).

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается впервые по автографу ИРЛИ. Шифр: 2031. IX с. Княжнин, № 203.

Настоящее письмо важно для одного из моментов биографии Добролюбова — примирения с товарищами по Педагогическому институту после разрыва в 1857 г. (см. стр. 317 наст. тома); письмо это по неизвестным нам причинам не было напечатано Чернышевским в «Материалах...», хотя, очевидно, и было в то время в его распоряжении. Письмо восполняет отсутствующее звено в переписке прежних друзей и делает понятными письма Н. А. к Турчанинову. Настоящее письмо — ответ на письмо Добролюбова от 26 апреля. Добролюбов в свою очередь ответил на письмо 11 июня. (См. «Материалы...», стр. 503 и 515).

[1] О Михайловском см. примечание 4-е на стр. 343.

[2] Добролюбов кончал письмо словами: «Надеюсь, что Вы это одолжение <поклон Александровичу> сделаете мне и в том случае, если сами не захотите отвечать мне». («Материалы...», стр. 505).

[3] Турчанинов был выпущен из Института со званием «младшего учителя».

[4] Добролюбов писал: «Спросите... у кого нибудь из тех, кого Вы уважаете, и кто меня знает, например у Чернышевского, Кавелина. Их отзыв не будет против меня...» («Материалы...», стр. 505).

[5] Повидимому, речь идет о Щеглове, писавшем в свое время Турчанинову и Паржницкому о том, что Добролюбов «вошел в дружбу с генералами, с бароном Корфом... подделываясь под их образ мыслей, сочиняет статьи, в которых ругает нашего общего любимца из Вятки <Герцена> и его образ мыслей и что для вящего позора подписывает под такими статьями имена своих товарищей — именно Турчанинова и Александровича» (из письма к Шемановскому от 12 сентября 1858 г. «Материалы...», стр. 464—465).

БЮДЖЕТ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Сообщение И. Ямпольского

В самом начале дневника Добролюбова 1857 г. на обороте первого непронумерованного листа тетради есть записи, резко выделяющиеся своим внешним видом. Это — преимущественно цифры, написанные очень мелко, густо, в три столбца. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это — ежедневные записи расходов Добролюбова за первые пять месяцев 1857 г. Он вел их аккуратно, не пропуская ни одного дня, регистрируя каждую истраченную копейку. Как известно, Добролюбов в 1857 г. кончал Главный педагогический институт и жил там на казенном иждивении — потому нет записей расходов на обед и другие нужды, удовлетворявшиеся Институтом. Правда, иждивение это было весьма скудное, и немудрено, что необходимо было прикупать и хлеб, и колбасу, и сахар, и, конечно, одежду. 25 апреля 1856 г. Добролюбов писал своей сестре Антонине, успокаивая ее: «Я теперь постоянно имею булки, и следовательно, каждый день сыт, несмотря на скудость казенного обеда; постоянно ведется у меня чай; калоши никогда не худы, сапоги — тоже; шинель не нужно мне таскать одну и ту же летом и зимою; являясь на урок или в гости, не должен я прятаться от света, чтобы скрыть заплатанные локти, как бывало прежде. В грязь и дождь... я не должен шлендать пешком, а всегда имею пятиалтынный, чтобы заплатить извозчику... Иногда хожу в театр, покупаю нужные книги («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861 — 1862 годах», т. I, М. 1890, стр. 304). «Тот, кто не имел своих денег, чтобы запастись съестными припасами, хоть булкой, — тот принужден был терпеть страшнейшие мучения голода», — писал товарищ Добролюбова по Институту Б. Сциборский. (Письмо к Н. Г. Чернышевскому от 10 февраля 1862 г. Хранится в рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук).

После подробного перечня расходов следует табличка заработков. Зарабатывая уроками (деньги, полученные от Куракина и Татаринова) и литературным трудом (деньги, полученные от Глазунова, Чумикова, Чернышевского и из Академии Наук), Добролюбов не только стал сам несколько лучше жить, но и помогал очень значительными в его бюджете суммами родным и друзьям. За указанный период он не менее 70 рублей переслал сестрам. Несколько десятков рублей было отдано товарищам. «Как только являлся какой-нибудь случай, где требовалась материальная помощь, — писал тот же Б. Сциборский,—все неимущие обращались к нему, после чего он сам делался таким же неимущим. Не было случая, чтобы он когда-нибудь отказал в чем-либо товарищу». Дальше идут расходы на продукты и одежду. Довольно большая сумма уходила на извозчиков; это были, так сказать, производственные расходы — Добролюбов ездил преимущественно на уроки.

Ряд записей с трудом поддается расшифровке; некоторые так и не удалось расшифровать.

Среди бумаг Чернышевского, в списке рукописей Добролюбова, есть между прочим сведения и об этой неизданной страничке дневника: «На оборотной странице первого листа тетради... Добролюбов впоследствии — вероятно, в июне того (1857) года, перед отъездом в Нижний, переписал с своих приходо-расход-

ных тетрадок или отдельных листков полный перечень своих расходов с 1 янв. до 31 мая 1857 года и перечень своих доходов за эти месяцы» («Литературное наследие Н. Г. Чернышевского», т. II, М.—Л. 1930, стр. 655). Здесь же дана и общая сводка расходов и заработков Добролюбова. Следует отметить одну деталь: Чернышевский считал, что за этот период Добролюбов послал сестрам 104 руб., т. е. относил к ним все суммы справа от основной колонки, кроме первых 20 руб.

Первая цифра обозначает число месяца. Вставленные мною слова и части слов заключены в скобки. «Р[убли]» и «К[опейки]» во многих случаях также вставлены мной, но скобки опущены, чтобы не пестрить ими текст. О лицах, имена которых попадаются в публикуемых записях, см. в примечаниях к дневникам Добролюбова (М. 1932). Отдельные места дневника и ряд писем 1857 г. служат, так сказать, комментарием к некоторым записям расходов и заработков; однако, мне казалось нецелесообразным загружать примечания цитатами из них ввиду широкой распространенности и дневников и «Материалов для биографии Н. А. Добролюбова».

[РАСХОДЫ]

[Январь]

1. Изв[озчик]	1 р.	20 к.	
2. Театр. Изв. дом.	1 »	32 »	
3. Изв.	—	55 »	
4. Бул[очная] 11 к., изв. 20 к. . . .	—	31 »	
5. Бул. 1 р. М[ашеньке]—конд. к. 6 р. Изв. 20 к.	7 »	20 »	
6. Изв. 25 к.	—	25 »	
7. Изв. 20 к. Б[улочная] 6 к. . . .	—	26 »	
8. Изв. 40 к.	—	40 »	И[гнатию] П[аржницкому] 20 [р.][1]
9. Изв. 75 к.	—	75 »	
10. Изв. 75 к.	—	75 »	
11. Изв. 40 к.	—	40 »	
12. Изв. 35 к.	—	35 »	
13. Изв. 30 к. Жур[налы] 1 р. 50 к. Газ[еты] 50 к.	2 р.	30 к.	
14. Бул. 6 к. Изв. 30 к. Ч[ай] и сах[ар] 1 р. 37 к.	1 »	73 »	
15. Изв. 30 к.	—	30 »	
16. К. М[ашеньке] 2 р. Изв. 20 к. . .	2 »	20 »	
17. Изв. 30 к. Плат. 20 к.	—	50 »	
18. Изв. 20 к. Шв[ейцар] 20 к. Пр. 5 к.	—	45 »	
19. Сид[орову] 2 р. Изв. 40 к. Пл. 10 к.	2 »	50 »	
20. Бул. 6 к.	—	6 »	23 р. 83 *
21. Изв. 30 к.	—	30 »	
22. Тарас 1 р. Бул. 6 к.	1 »	6 »	
23. Изв. 60 к. Бул. 6 к.	—	66 »	
24. Изв. 30 к.	—	30 »	
25. Изв. 25 к.	—	25 »	
26. Изв. 30 к.	—	30 »	
27. Бул. 6 к.	—	6 »	
28. Театр и изв. 1 р. 75 к.	1 »	75 »	28 р. 51 к.**

* Ошибка: 23 р. 78 к.
** Ошибка: 28 р. 46 к.

29. Изв. 20 к.	—	20 к.	
30. Изв. 30 к.	—	30 »	
31. Изв. 45 к. Бул. 6 к.	—	51 »	
Ср.	29 р.	52 к.*	

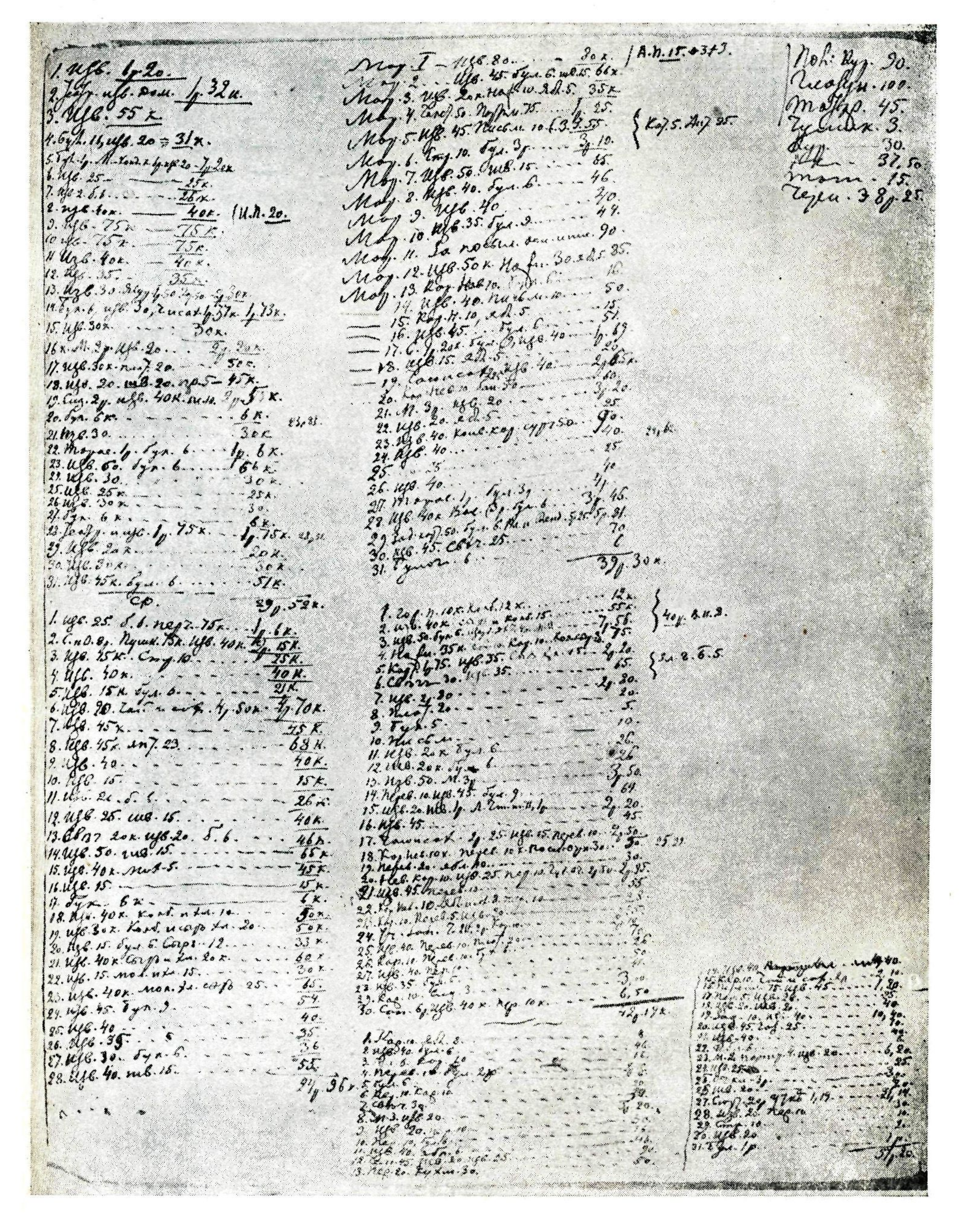
[Февраль]

1. Изв. 25 к. Б[улка] 6 к. Перч[атки] 75 к.	1 р.	6 к.	
2. С[аше] и О[ле] 8 р. Пушк[ин] 75 к. Изв. 40 к.	9 »	15 »	
3. Изв. 15 к. Стр[ижка?] 10 к. . .	—	25 »	
4. Изв. 40 к.	—	40 »	
5. Изв. 15 к. Бул. 6 к.	—	21 »	
6. Изв. 20 к. Чай и сах. 4 р. 50 к. .	4 »	70 »	
7. Изв. 45 к.	—	45 »	
8. Изв. 45 к. Апт[ека] 23 к. . . .	—	68 »	
9. Изв. 40 к.	—	40 »	
10. Изв. 15 к.	—	15 »	
11. Изв. 20 к. Б. 6 к.	—	26 »	
12. Изв. 25 к. Шв[ейцар] 15 к. . .	—	40 »	
13. Свеч[и] 20 к. Изв. 20 к. Б. 6 к. .	—	46 »	
14. Изв. 50 к. Шв. 15 к.	—	65 »	
15. Изв. 40 к. Мих. 5 к.	—	45 »	
16. Изв. 15 к.	—	15 »	
17. Бул. 6 к.	—	6 »	19 р. 88
18. Изв. 40 к. Колб[аса] и хл[еб] 10 к.	—	50 »	
19. Изв. 30 к. Колб. и сыр, хл. 20 к.	—	50 »	
20. Изв. 15 к. Бул. 6 к. Сыр 12 к. .	—	33 »	
21. Изв. 40 к. Сыр и хл. 20 к. . .	—	60 »	
22. Изв. 15 к. Мол[око] и хл. 15 к. .	—	30 »	
23. Изв. 40 к. Мол., хл., сыр 25 к. .	—	65 »	
24. Изв. 45 к. Бул. 9 к.	—	54 »	
25. Изв. 40 к.	—	40 »	
26. Изв. 35 к.	—	35 »	
27. Изв. 30 к. Бул. 6 к.	—	36 »	
28. Изв. 40 к. Шв. 15 к.	—	55 »	
	24 р.	96 к.	

[Март]

1. Изв. 80 к.	—	80 к	
А. П. 15 р. + 3 р. + 3 р.			
2. Изв. 45 к. Бул. 6 к. Шв[ейцар] 15 к.	—	66 »	
3. Изв. 20 к. Нож[?] 10 к. Яб[локи] 5 к.	—	35 »	
4. Галст[ух] 50 к. Портм[оне] 75 к.	1 »	25 »	
Кат[еньке, т. е. Ек. А. Добролюбовой]	25 р.	— »	
Ант[онине, т. е. А. А. Добролюбовой]	25 »	— »	
5. Изв. 45 к. Письм[а] 10 к. 3 [р] .	3 »	55 »	
6. Стр[ижка?] 10 к. Бул. 3 р. . . .	3 »	10 »	

* Ошибка: 29 р. 47 к., вместе с приписанными сбоку 20 р. — 49 р. 47 к.



ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ ЗАПИСИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА В ЕГО ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ
Институт Литературы, Ленинград

7. Изв. 50 к. Шв. 15 к. . . . . . — 65 к.
8. Изв. 40 к. Бул. 6 к. . . . . . — 46 »
9. Изв. 40 к. . . . . — 40 »
10. Изв. 35 к. Бул. 9 к. . . . . . — 44 »
11. За посыл[ку] ден[ег] и пис[ем] . — 90 »
12. Изв. 50 к. Ножи[?] 30 к. Ябл. 5 к. — 85 »
13. Кор. Нев. 10 к. Бул. 6 к. . . . . — 16 »
14. Изв. 40 к. Письм[а] 10 к. . . . — 50 »
15. Кор. Н. 10 к. Ябл. 5 к. . . . . — 15 »
16. Изв. 45 к. Бул. 6 к. . . . . — 51 »
17. С. 1 р. 20 к. Бул. 9 к., изв. 40 к. . 1 » 69 »
18. Изв. 15 к. Ябл. 5 к. . . . . . — 20 »
19. Чай и сах. 2 р. 25 к. Изв. 40. . 2 » 65 »
20. Кор. Нев. 10 к. Бан[я?] 50 к. . . — 60 »
21. М[ашеньке] 3 р. Изв. 20 к. . . . 3 » 20 »
22. Изв. 20 к. Ябл. 5 к. . . . . . — 25 »
23. Изв. 40 к. Конв[ерты], кар[андаши], сург[уч] 50 к. . . . . — 90 »
24. Изв. 40 к. . . . . — 40 » 24 р. 62 к.
25. Изв. 25 к. . . . . — 25 »
26. Изв. 40 к. . . . . — 40 »
27. Тарас 1 р. Бул. 3 р. . . . . . 4 » — »
28. Изв. 40 к. Вас[илькову, Ф. А.?] 3 р. Бул. 6. . . . . 3 » 46 »
29. Зад. корт[?] 50 к. Бул. 6 к. Вл. и Венд. 5 р. 25 к. . . . . 5 » 81 »
30. Изв. 45 к. Свеч[и] 25 к. . . . . — 70 »
31. Булоч. 6 к. . . . . — 6 »

39 р. 30 к. *

[вместе с приписанными сбоку 90 р. 30 к.]

[Апрель]

1. Гор. п. 10 к. Колб. 12 к. . . . . — 12 к.
2. Изв. 40 к. Сыр и колб. 15 к. . — 55 »

40 р. В. И. Д[обролюбову]

3. Изв. 50 к. Бул. 6 к. Щерб. Дет. 4 р. М[ашеньке] 3 р. . . . . . 7 » 56 »
4. Ножи (?) 35 к. Ябл. 10 к. Кор. 10 к. Кол., сыр 20 к. . . . . — 75 »
5. Карт. 1 р. 75 к. Изв. 35 к. Сыр, хл. 15 к. . . . . 2 » 20 »
6. Свеч[и] 30 к. Изв. 35 к. . . . . — 65 »

Зл[атовратскому, А. П.?] 8 р. Б. 5 р.

7. Изв. 2 р. 80 к. . . . . . . 2 » 80 »
8. Плат. 20 к. . . . . — 20 »
9. Бул. 5 к. . . . . — 5 »
10. Письм[а] . . . . — 10 »
11. Изв. 20 к. Бул. 6 к. . . . . . . — 26 »
12. Шв. 20 к. Бул. 6 к. . . . . . — 26 »
13. Изв. 50 к. М[ашеньке] 3 р. . . . 3 » 50 »
14. Перев[оз через Неву] 10 к. Изв. 45 к. Бул. 9 к. . . . . — 64 »

* Ошибка: 22 к.

15. Изв. 20 к. Шв. 1 р. Л. Чт. [«Для легкого чтения»], т. II [СПБ. 1856] 1 р.	2 р.	20 к.	
16. Изв. 45 к.	—	45 »	
17. Чай и сах. 2 р. 25 к. Изв. 15 к. Перев. 10 к.	2 »	50 »	
18. Кор[кар.?]Нев. 10 к. Перев. 10 к. Посл. от... 30 к.	—	50 »	25 р. 39 к.
19. Перев. 20 к. Ябл. 10 к.	—	30 »	
20. Нев. Кор. 10 к. Изв. 25 к. Пер. 10. Губ[ернские] оч[ерки Салтыкова-Щедрина] 2 р. 50 к.	2 »	95 »	
21. Изв. 45 к. Перев. 10 к.	—	55 »	
22. Кор. Нев. 10 к. Ябл. и сол. [?] 8 к. Пер. 10 к.	—	28 »	
23. Кор. 10 к. Перев. 5 к. Изв. 20 к.	—	35 »	
24. Уч[еные] Зап[иски Второго Отделения Имп. Акад. Наук] Ч. III 2 р.[2] Кор. 10 к.	2 р.	10 »	
25. Изв. 40 к. Перев. 10 к. Плат. 20 к	—	70 »	
26. Кор. 10 к. Перев. 10 к. Бул. 6 к. .	—	26 »	
27. Изв. 40 к. Пер. 10 к.	—	50 »	
28. Изв. 35 к. Бул. 6 к.	—	41 »	
29. Кор. 10 к. Сид[орову] 3 р. . . .	3 »	10 »	
30. Соп[?] 6 р. Изв. 40 к. Перев. 10 к.	6 »	50 »	
	42 р.	19 к. *	

[вместе с приписанными сбоку 96 р. 29 к.]

[Май]

1. Кор. 10 к. Ябл. 8 к.	—	8 к. **
2. Изв. 40 к. Бул. 6 к.	—	46 »
3. Бул. 6 к. Кор. 10 к.	—	16 »
4. Перев. 10 к. Бул. 2 р.	2 р.	10 »
5. Бул. 6 к.	—	6 »
6. Пер. 10 к. Кор. 10 к.	—	20 »
7. Свеч[и] 30 к.	—	30 »
8. М[ашеньке] 3 р. Изв. 20 к. . . .	3 »	20 »
9. Изв. 20 к. Пер. 10 к.	—	30 »
10. Пер. 10 к. Бул. 6 к.	—	16 »
11. Изв. 40 к. Ябл. 6 к. . : . . .	—	46 »
12. Чем. 45 к. Шв. 20 к. Изв. 25 к. .	—	90 »
13. Пер. 20 к. Кухм[истерская] 30 к.	—	50 »
14. Изв. 40 к. Портр[ет] 4 р. . . .	[4] »	40 »
15. Кор. 10 к. Чай и сах. 2 р. . . .	2 »	10 »
16. Перепл[етная] 75 к. Изв. 45 к. . .	1 »	20 »
17. Пер. 5 к. Изв. 20 к.	—	25 »
18. Изв. 20 к. Шв. 20 к.	—	40 »
19. Зад[аток?] 10 р. Изв. 40 к. . . .	10 »	40 »
20. Изв. 45 к. Газ. 25 к.	—	70 »
21. Изв. 40 к.	—	40 »

---

* Ошибка: 43 р. 29 к.
** Ошибка: 18 к.

22. Ябл. 6 к.	—	6 к.
23. М[ашеньке] 2 р. Портр[ет] 4 р. Изв. 20 к.	6 »	20 »
24. Изв. 25 к.	—	25 »
25. Очки 3 р.	3 »	— »
26. Шв. 20 к.	—	20 »
27. Сюрт[ук] 20 р. Утке[3] 1 р. 14 к.	21 »	14 »
28. Изв. 20 к. Пер. 10 к.	—	30 »
29. Стр. 10 к.	—	10 »
30. Изв. 20 к.	—	20 »
31. Бул. 1 р.	1 »	— »
	57 р.	20 к.*
[Всего за 5 месяцев	322 р.	40 к.]

[Заработки]

Пол[учено]: [от] Кур[акина]	90 р.	— к.
Глазун[ова]	100 »	— »
Татар[инова]	45 »	— »
Чумик[ова]	3 »	— »
Кур[акина]	30 »	— »
Ак[адемии Наук]	37 »	50 »[4]
Тат[аринова]	15 »	— »
Черн[ышевского]	38 »	25 »
	358 р.	75 к.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Добролюбов помогал Паржницкому еще когда тот был в ссылке в Финляндии, что видно из писем его к Добролюбову, хранящихся в Институте Русской Литературы Академии Наук (публикуются в настоящем томе). 10 января 1857 г. Добролюбов проводил Паржницкого в Казань; весьма вероятно, что он дал ему на дорогу немного денег.

[2] В 3-й книге «Ученых Записок» (СПБ. 1857) был напечатан «Алфавитный указатель сочинений, вошедших в «Обзор русской духовной литературы» Филарета, составленный Добролюбовым.

[3] По предположению Чернышевского, «уткой» назывался на институтском языке, вероятно, какой-нибудь мелкий торговец съестными вещами, приходивший с ними в Институт, или служитель Института, торговавший ими». («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах», т. I, М. 1890, стр. 378).

[4] Вероятно, за указатель к «Обзору русской духовной литературы» Филарета, напечатанный в 3-й книге «Ученых Записок второго отделения Академии Наук».

---

* Ошибка 61 р. 18 к.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ „СОВРЕМЕННИКА"

I. ПИСЬМА Н. А. НЕКРАСОВА К А. Н. АФАНАСЬЕВУ

Публикация М. Клевенского

Печатаемые четыре письма Некрасова адресованы известному фольклористу и историку русской литературы Александру Николаевичу Афанасьеву (1826—1871), автору исследований «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 3 т., 1866—1869), «Русские сатирические журналы 1769—1777 годов» (М., 1859), издателю «Народных русских сказок» (М., 8 выпусков, 1855—1863) и «Народных русских легенд» (М., 1859). Письма относятся к первым годам существования «Современника» под новой редакцией Панаева и Некрасова.

Афанасьев начал сотрудничать в «Современнике» в 1847 г., еще будучи студентом Московского университета (кончил университет в 1848 г.). Первая его статья там — «Государственное хозяйство при Петре Великом» (№№ 6 и 7). Молодой студент был рекомендован редакторам К. Д. Кавелиным в то время, когда Некрасов и Белинский усиленно стремились привлечь в новый журнал московских сотрудников. Белинский упоминает названную статью Афанасьева в своей переписке с Кавелиным и В. П. Боткиным. Он считал ее очень дельной статьей, но «более ученой, нежели журнальной».

В 1849 г. Некрасов, задумавший расширить отдел научной критики, возлагал много надежд в этом отношении на Афанасьева и очень просил его расширить свою работу для журнала. Афанасьевым помещен в журнале за 1847—1853 гг. целый ряд статей и рецензий как подписанных, так и анонимных. Перечень их можно найти в «Русском Архиве» 1871 г., № 11, где напечатан собственноручный список литературных работ Афанасьева. По неизвестным причинам участие его в «Современнике» в 1853 г. прекращается.

Письма к Афанасьеву принадлежат к многочисленному отделу деловых писем Некрасова, целиком связанных с его редакторской деятельностью. Все письма относятся к тому времени, когда существование журнала было исключительно трудно — прежде всего вследствие невозможных цензурных условий в эпоху бутурлинского комитета.

Интересно отметить, что в конце 1849 г. Некрасов, побуждая Афанасьева более энергично писать обзоры исторической литературы и отзывы на отдельные книги по истории, так мотивировал это: «Мне кажется, что работы по русской истории есть самое лучшее, самое главное и самое характерное в нашей литературе последних двух или трех лет». Без сомнения, эта исключительная склонность редактора к историческим статьям имела и другое объяснение: по условиям времени невозможно было наполнять журнал более живым и актуальным содержанием. Однако, и статьи на чисто исторические темы было очень нелегко проводить через цензурные рогатки. Об этом говорит упомянутый Некрасовым случай цензурной придирки, когда цензор Крылов не пропустил статей Афанасьева на том основании, что автор сосредоточил свое внимание исключительно на темных сторонах старой русской жизни.

Кроме этих основных трудностей в ведении журнала, для первых лет «Современника» следует учитывать и затруднение из-за недостаточно окрепшего материального положения журнала. Некрасову приходилось извиняться в гонорарной неаккуратности перед ценимым им сотрудником и пояснять: «Такова уж моя участь, что покуда к концу года приходится надувать сверх всякого желания».

Два из писем Некрасова имеют точную дату, третье может быть вполне определенно отнесено к декабрю 1849 г. Что касается четвертого письма, печатаемого нами последним, то точная датировка его затруднительна.

Письма Некрасова сохранились в архиве Якушкиных. Архив этот хранится в Институте Маркса—Энгельса—Ленина.

1

1849 г.[1]

Милостивый Государь, Александр Николаевич!

Очень рад, что Вы согласились писать Обозрение по части истории русской. Характер нынешнего обозрения будет — п о л н о т а, и потому пожалуйста постарайтесь указать на все сколько-нибудь значительное, при заглавии всякой статьи ставьте в скобках где и в каком № напечатана. Не бойтесь, если статья будет выходить длинна — это не беда; скажете ли Вы об изданиях Археогр[афической] Комиссии?[2] — это бы необходимо; у нас о них ничего не было. Затем Временник и Царские Письма[3] должны войти также в обозрение. Через два дня после этого письма отправляю я к Вам пакет (на Базунова)[4] вместе с 12 № Современ. — в этом пакете вы найдете статьи ваши о Временнике и о Ц. П.* в корректуре; один цензор их позволил в том виде как они на помянутой корректуре, другой г. Крылов[5] — не пропустил, объявив, будто в этих статьях выбрано только все то, что составляет темную сторону древней жизни и что из статьи о письмах можно ясно увидеть, что древние госуд. только и делали, что ездили на богомолья. Передавая Вам это заключение в сущности несправедливое — я прошу Вас вставить в эти же самые статьи, если можно, — чего-нибудь составляющего эту требуемую хорошую светлую сторону — дабы я мог требовать от г. Кр. пропуска этих статей. Я думаю, что попеределав вы можете вставить эти статьи в обзор. Пожалуйста неогорчайтесь, что нынешний год был так страшно несчастлив для ваших трудов, ей Богу я этим сам огорчен, ибо ни одному из наших сотрудников не подносил я стольких горьких пилюль как Вам в этом году — но что же делать! Авось в следующем году будет лучше[6].

Пишите больше. С следующего года я намерен расширить отдел критики и много надежд в этом отношении основываю на Вас. Напишите мне об этом. Вы конечно следите за всем, что выходит по русской истории — я желал бы, чтобы о в с е х книгах этого рода и о п е т е р б у р г с к и х и о м о с к о в с к и х без исключения писали Вы и чтобы Вы уже приняли на себя ответственность за п о л н о т у этого отдела, т. е. что ни одна книга не будет пропущена; книги берите и в случае нужды покупайте у Базунова на мой счет, а чего нет в Москве, требуйте от меня (кстати, помните, Вы предлагали мне писать статьи про одно моск. издание [зачеркнуто: если] об этом издании, — если [зачеркнуто: у Вас] Вам оно еще нужно, так пишите эти статьи, а я пошлю подтвердительную записку к Базунову о [зачеркнуто: выд] постепенной выдаче Вам выпусков). Затем желал бы я чтоб Вы взяли на себя вообще разборы выходящих в Москве книг и присылали бы их аккуратно каждый месяц, как делал

* Царские письма (т. I).

это Егунов [7] (который впрочем разбирал далеко не все книги); нет нужды чтоб все книги разбирали непременно Вы, если Вам иногда нет времени или предмет специальный, отдавайте другим — ведь Москва не клином сошлась, — но только сами пересматривайте. Насчет добывания книг — вот лучшее средство: следите за Московск. Вед. где непременно публикуется о каждой новой книге, записывайте заглавия, а потом требуйте по этому списку книг от Базунова, а я уж напишу ему, чтоб он покупал да давал Вам все книги. Наконец данное Вами обещание написать несколько статей о так называемых русских классиках тоже надеюсь не останется втуне — по крайней мере мне бы этого не хотелось. Напишите мне обо всем об этом и пожалуйста работайте дальше. Если неуспеете с обзором к 15-му, то часть пришлите 15-го, а остаток можно до 18-го. (Упомяните о Соловьеве да и вообще о журнальных статьях по истории в науках и критике). Заметьте, что в прошлом 1848 году у нас не было историческ. обзора — поэтому вам еще более простора. Мне кажется, что работы по русской истории — есть самое лучшее, самое главное и самое характерное в нашей литературе последних двух или трех лет. Так ли Вы думаете?

По вашему счету следовало [зачеркнуто: мне с Вас] Вам с меня 256 р. ас. — послал я Вам записку на 50 р. сер. — Итак за мной 81 р. ас., на которые на обороте записка. Будьте здоровы.

Пред. Вам Н. Некрасов

2

1851 г.

Милостивый Государь, Александр Николаевич!

Я очень рад был, получив ваши рецензии: это показывает на самом деле, что вы не имеете серьезного убеждения будто статьи ваши или чьи-нибудь сокращаются здесь и портятся редакцией. А когда так, то конечно, нет и причины почему бы Вам не продолжать работу в Современнике, о чем и с своей стороны усердно Вас прошу.

Я желаю, чтоб Вы продолжали разбор ученых (преимущественно исторических) книг и чтоб взяли на себя по примеру прежних лет [8] написать обозрение русск. истор. литер. за 1851 год.

Об этом пишу заблаговременно и прошу Вас заблаговременно написать мне о соглашении или несоглашении Вашем. Вы, кажется, были раздосадованы исключением страницы или двух о Шульгине — это сделано было по той причине, что только месяц тому назад была в Совр. большая статья о Шульгине, с которой Ваш отзыв не совсем местами совпадает [9]. Впрочем, впредь и подобных исключений не будет — по крайней мере — без предварительного соглашения с Вами.

Прошу Вас написать мне.

Остаюсь Вашим преданным Н. Некрасов[ым]

17 июня. Ораниенб[аум]

3

Милостивый Государь, Александр Николаевич!

По причине долговременного моего отсутствия из Петербурга [10], я только на днях приступил к занятию Современником, и узнал, что Вы уже давно не присылаете Ваших статей в этот журнал [11]. Вопрос важный для меня состоит теперь в том: было это случайно или не случайно и желаете Вы или нет писать на будущее время в Совр. библиографические статьи — на прежних основаниях, — о чем и прошу Вас уведомить меня.

Пребывающий к Вам с полным почтением
Н. Некрасов

1853. Окт[ября] 5. СПБ.

4

Милостивый Государь, Александр Николаевич!

Вы ко мне не пишете и статей не шлете — вероятно сердитесь, что я Вам не шлю денег, вопреки своему обещанию. Поверьте я об этом думал да никак не собрался с силами. Такова уж моя участь, что покуда к концу года приходится надувать сверх всякого желания. Деньги Ваши будут мною Вам заплачены при первой возможности, никак не позднее конца ноября или начала декабря — и сверх того ожиданием этим Вы приобретаете право взять у меня до 150 р. сер. в начале года вперед.

А работу прошу Вас продолжать. Вот все что я могу предложить на ваше усмотрение в настоящее время. Еще потрудитесь зайти к Базунову — я напишу ему, чтоб он выдал Вам столько, сколько может, или лучше вкладываю записку здесь. Прошу Вас во всяком случае написать мне дабы я мог определительно знать — будете ли Вы продолжать работу и могу ли ждать от Вас статей и каких.

Душевно пред[анный]
Н. Некрасов

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пометка «1849» сделана кем-то сверху письма карандашом. Это соответствует тому, что в письме говорится о «прошлом 1848 годе». Так как Некрасов говорит, что он через два дня пошлет Афанасьеву 12-й номер «Современника», то время написания письма можно отнести к декабрю 1849 г.

[2] «Археографическая комиссия при Министерстве народного просвещения» в С.-Петербурге возникла в 1834 г. Существовала в качестве самостоятельного учреждения до 1 января 1922 г., когда вошла в состав учреждений, подведомственных Академии Наук. В задачи Комиссии входило прежде всего издание различных памятников по древней русской истории.

[3] «Временник императорского Московского Общества истории и древностей российских» издавался в 1849—1857 гг. под редакцией И. Д. Беляева.

«Письма русских государей и других особ царского семейства». Т. I. М., 1848. Письма были изданы Археографической комиссией.

[4] Московский книгопродавец-издатель Василий Иванович Базунов был для Москвы представителем журнала «Современник».

[5] Крылов, Александр Лукич (1798—1853), бывший профессор Петербургского университета, редактор «Журнала министерства внутренних дел», цензор С.-Петербургского цензурного комитета. Был цензором «Современника».

«Самый трусливый, а следовательно и самый строгий из нашей братии», — характеризует его профессор и цензор А. В. Никитенко.

[6] В 1849 г. А. Н. Афанасьев напечатал в «Современнике» только «Критику на историю церкви рижского епископа Филарета» (№№ 4 и 5) и рецензию на дневник Гордона (№ 6).

[7] Егунов, Александр Николаевич (1824—1897), писатель по статистическим вопросам. Начал свою литературную деятельность статьей в «Современнике» (1848 г., №№ 8 и 9). «Взгляд на торговлю древнейшей Руси». В 1855 г. выпустил книгу «О ценах на хлеб в России и их значении в сфере отечественной промышленности». В 60-х годах был редактором «Записок Бессарабского областного статистического комитета». Позже был чиновником особых поручений при министерстве земледелия и государственных имуществ, выпустил несколько книг.

[8] Афанасьев поместил в «Современнике» обзоры исторической литературы за 1849 г. (1850, № 1) и за 1850 г. (1851, № 1).

[9] Шульгин, Виталий Яковлевич (1822—1878), профессор истории Киевского университета в 1849—1862 гг., основатель газеты «Киевлянин», получавшей правительственную субсидию. Написал курсы древней, средней и новой истории, выдержавшие по многу изданий. В письме Некрасова идет дело о магистерской диссертации Шульгина «О состоянии женщин в России до Петра Великого» (Киев, 1850). Статья В. Милютина об этой книге была напечатана в «Современнике» не «месяц тому назад», а в декабрьском номере журнала за 1850 г.

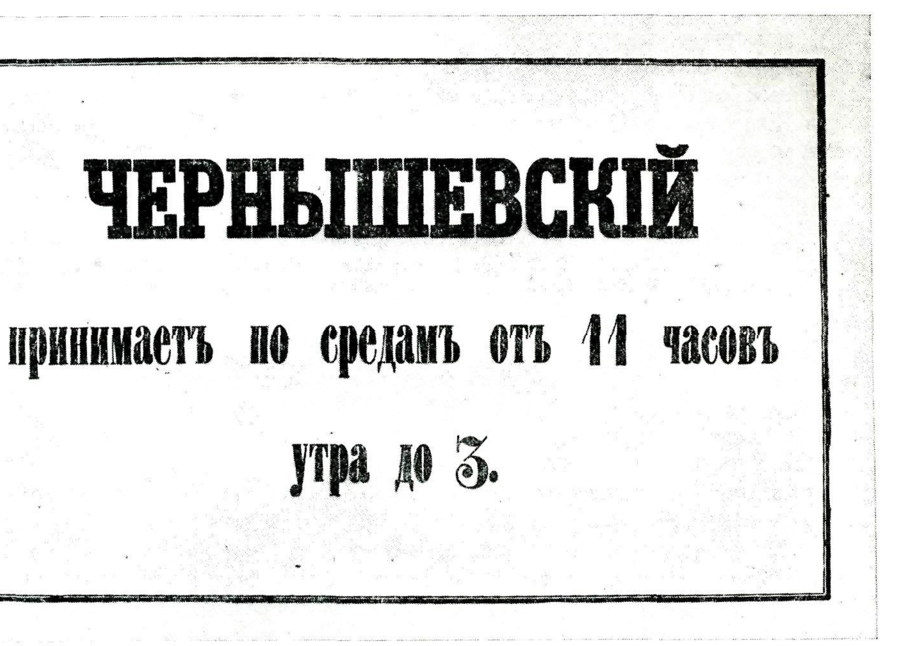
[10] Лето 1850 г. Некрасов провел в с. Алешунине Владимирской губ., в маленьком имении его отца близ г. Мурома. В начале августа переехал в с. Грешнево Ярославской губ. 14 августа он намеревался выехать из Москвы в Петербург. См. Н. Ашукин, «Летопись жизни и творчества Н. А. Некрасова», 1935, стр. 122—123.

[11] В первом номере «Современника» за 1853 г. напечатана рецензия Афанасьева на издание «Киевские акты». В дальнейшем его статьи здесь не появлялись.

II. НЕУДАВШАЯСЯ КОАЛИЦИЯ
ИЗ ИСТОРИИ «СОВРЕМЕННИКА» 1850-х ГОДОВ

Статья В. Евгеньева-Максимова

«Современник» в эпоху так называемого «мрачного семилетья» (1848—1854) был органом дворянского либерализма, имея во главе сплоченный кружок дворянских и буржуазно-дворянских писателей (Анненков, Боткин, Григорович, Дружинин, Панаев, Тургенев и др.). Если главный редактор «Современника» Н. А. Некрасов и занимал более левые позиции, то на направлении журнала это обстоятельство не сказывалось особенно заметно. Да и о каких радикальных и демократических тенденциях можно было говорить в мертвящей обстановке «цензурного террора». Однако, в 1854 г. ситуация в «Современнике» несколько меняется.



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМНЫХ ЧАСАХ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В РЕДАКЦИИ «СОВРЕМЕННИКА»

Некрасову удалось привлечь в число его сотрудников Н. Г. Чернышевского, единственного, быть может, писателя той эпохи, которому было под силу восстановить, продолжить и углубить революционно-демократические традиции Белинского. Известно, как недружелюбно отнеслось к Чернышевскому либерально-дворянское ядро сотрудников «Современника». Если отрицательная оценка Чернышевским творчества популярного тогда типично-дворянского беллетриста Авдеева, относящаяся еще к 1854 г., возбудила сильное неудовольствие, то в следующем году его знаменитый трактат «Об эстетических отношениях искусства к действительности», противопоставлявший дворянской эстетике демократическую, «теории чистого искусства» теорию искусства общественного, служебного, был встречен прямо-таки взрывом яростного негодования. Достаточно вспомнить тургеневские филиппики по адресу «клоповоняющего» и «поганой мертвечины», им проповедываемой. Мало того, к тому же 1855 г. относится попытка вернуть в «Современник» на руководящие роли Дружинина, постепенно вытесняемого из

журнала Чернышевским. Если эта попытка не удалась, то исключительно потому, что в конечном результате не была поддержана Некрасовым, коренным образом разошедшимся с Дружининым в вопросе о «гоголевском направлении» (см. его письмо к Боткину от 16 сентября 1855 г.), против которого Дружинин готов был уже начать борьбу. Идеологические расхождения между Чернышевским и либерально-дворянским ядром сотрудников «Современника» в 1855 г., во всяком случае, приняли столь резкий характер, что со дня на день можно было ожидать настоящего конфликта. Однако, этого конфликта не произошло. Не произошло благодаря той социально-политической конъюнктуре, которая создалась в стране с воцарением Александра II и заключением мира. Сознание того, что «в России сверху блеск, а снизу гниль» (выражение будущего министра П. А. Валуева), что, пользуясь прекращением военных действий, необходимо «заняться внутренними делами», а «первым делом — освободить крестьян, потому что здесь узел всяких зол» (слова главнокомандующего русской армией кн. М. Д. Горчакова, сказанные самому царю), получило широчайшее распространение. Борьба за реформы, борьба с теми, кто противится их осуществлению, стала лозунгом, способным на время объединить и умеренно-либеральные и радикально-демократические элементы тогдашней общественности. Конкретизацией данного лозунга, в частности вопросом о практических основаниях предполагаемых реформ, покамест занимались мало[1].

Вот почему широковещательные декларации, вроде той, которая была провозглашена Кавелиным в письме к Погодину от 3 ноября 1855 г., вызывали всеобщее сочувствие. А кавелинская декларация гласила: «Время теперь такое, что всем честным и благомыслящим людям в России надобно забыть о взаимных неудовольствиях, личных, литературных и научных, и отставить несогласие в образе мыслей на второй план, а на первый—единство, доверие взаимное, соглашение хоть в том, в чем согласиться можно, а таких пунктов гораздо больше, чем кажется с первого взгляда. Теперь, больше чем когда-нибудь, может быть столько же, сколько в 1612 году, Россия требует верной службы от своих сынов и знать не хочет их маленьких несогласий».

В подобной общественной атмосфере, естественно, был снят с повестки дня вопрос о расхождениях в составе руководящей группы сотрудников «Современника». Более того, был поставлен на повестку другой вопрос — вопрос о теснейшем объединении участников этой группы. Мы глубоко убеждены, что именно в социально-политической конъюнктуре, создавшейся к началу 1856 г., следует видеть первопричину договора редакции «Современника» об исключительном сотрудничестве с четырьмя корифеями тогдашней художественной литературы (Толстой, Тургенев, Григорович, Островский). Если взгляды этих писателей и не вполне совпадали со взглядами Чернышевского, то в процессе совместной борьбы за реформы, за «новую эру» русской жизни, их разногласия, по мнению редактора «Современника», могли-де легко сгладиться. Рассуждая таким образом, Некрасов, надо думать, надеялся, что приобщение Толстого, Тургенева, Григоровича и Островского к руководящему кругу «Современника» создаст в конце концов общий язык между ними и Чернышевским. Само собой разумеется, что для него отнюдь не было безразлично, что речь в данном случае шла о писателях столь крупного масштаба. Привязать их навсегда к журналу — это значило, думалось Некрасову, не только поставить в такое положение, при котором он мог не опасаться никакой конкуренции, но и усилить его идеологические позиции, придать несравненно более блеска и авторитетности тому направлению, которое он проводил.

С нашей точки зрения, затея Некрасова заранее была обречена на неудачу. Но в условиях того времени, тогдашнего исторического момента могло казаться, что она имеет значительные шансы на успех. Не только Некрасов, но и человек с несравненно более четким и революционным образом мыслей, с несравненно более скептическим складом ума, каковым бесспорно являлся

Н. Г. Чернышевский, принял в достаточной степени активное участие в той «борьбе за Тургенева и Толстого», одним из этапов которой являлось заключение «обязательного соглашения». В дальнейшем мы постараемся подтвердить вышеизложенное рядом фактических данных. А покамест вернемся к самому соглашению.

В свое время нами было опубликовано письмо Боткина к Некрасову от 19 апреля 1856 г. (см. нашу статью «Некрасов и люди 40-х гг.», «Голос Минувшего», 1916 г., № 19), в котором он говорит буквально следующее: «Злоба, которую возбудил здесь контракт «Соврем.» неописанна. «Русский Вестник» решительно упал духом»... и т. д. Таким образом, раз уже в апреле 1856 г. можно было говорить о «контракте», как о неподлежащем никаким сомнениям факте, то, следовательно, заключение этого «контракта» относится к первым месяцам 1856 г. Беловой текст «контракта» до сих пор неизвестен. Однако нам посчастливилось разыскать черновой его текст, писанный рукою Некрасова, с многочисленными поправками и дополнениями. Ввиду важности этого документа печатаем его полностью.

ПРОЕКТ УСЛОВИЯ *

Нижеподписавшиеся литераторы заключили с редакцией журнала Современник предварительно на четыре года — начиная с 1-го января 1857 года, следующее условие:

1) Григорович, Тургенев, Толстой и Островский обязываются в течение этих четырех лет печатать свои произведения исключительно в Современнике.

2) Они получают название «участников» и отличаются тем от сотрудников журнала.

3) Плата за статьи участников определяется взаимным соглашением между каждым из них и редакцией — предварительно заключения условия— с тем, чтобы плата эта уже не изменялась в течение 4 лет. Плата эта полагается, независимо от дивидендов, о коих см. ниже.

4) Тем из участников, которые уже дали слово поместить статьи в других журналах или взяли с них деньги—дозволяется исполнить свои обещания но с тем, чтобы каждый из участников при совершении условия объявил поименно те статьи, которые он намерен отдать в другие журналы и назначил бы срок, когда они должны будут быть напечатаны. Срок напечатания этих статей не должен простираться далее нынешнего года, в чем «участники» должны обязать редакторов тех журналов, которым они обещали свои статьи. В случае нарушения сего пункта, нарушитель лишается причитающегося ему в тот год дивиденда.

5) В объявлении о подписке на будущий 1857 год, именно начиная с сентября — редакция Современника имеет право объявить об исключительном сотрудничестве участников в ее журнале в течение 4 лет.

6) Начиная с будущего 1857-го года, все деньги собранные с подписчиков свыше числа 3200, за исключением стоимости прибывшего числа экземпляров, ограничивающейся расходом на бумагу и лишние оттиски при печатании, разделяются на три части; из них одна представляется редакции, другие же две в виде дивиденда раздаются участникам — пропорционально числу страниц в статьях помещенных каждым из них в течение года в Современнике. Большие стихотворные пьесы считаются для дивиденда вдвое

* Слова, набранные здесь и ниже разрядкой, перенесены нами в основной текст с полей, где они опять-таки были написаны рукою Некрасова.

с листа против прозы; мелких стихотворений на лист считается от 10 до двенадцати.

7) Право на получение дивидендов дается участникам исключительно одними беллетристическими статьями, т. е. статьями, помещенными в отделе изящной словесности; за статьи же помещенные в других отделах участники получают плату наравне с обыкновенными сотрудниками.

8) Частные долги участников редакции не могут иметь влияния на общую массу дивидендов — а только на дивиденд того лица, которое состоит должным редакции.

9) Раздача денег производится по выходе Декабрьской книжки, в продолжение декабря месяца, отнюдь не позже 15-го января. Первая раздача состоится 15-го декабря 1857-го года.

10) Не возбраняется присоединение других литераторов в число участников в предстоящем условии, но не иначе как с общего согласия первоначальных участников, но вследствие особого по сему предмету совещания.

11) Новопоступающие участники принимают на себя те же обязанности и пользуются теми же правами как и прежние.

12) Г. Г. Панаев и Некрасов находятся в числе участников не как редакторы Современника, а как литераторы — на одинаковых правах как и остальные участники.

13) Из числа участников избираются ими же двое для наблюдения за общими выгодами и интересами. Один из этих выбранных должен иметь постоянное пребывание в Петербурге.

14) Редакции Современника предоставляется право отказа в помещении статьи каждому из участников; но участник имеет право апеляции ко всем остальным и в случае единогласного их приговора статья должна быть напечатана.

15) Каждый участник имеет право статью свою непринятую редакцией — или даже вовсе им по своим соображениям не представленную в редакцию — напечатать отдельным изданием — но только отнюдь не в журнале. Также имеет он право отдельно напечатать свою статью, явившуюся в Современнике — но не прежде чем по прошествии года и не в журнале.

16) Статьи, написанные участниками по требованиям служебным или официальным — могут быть помещаемы ими в повременных казенных изданиях.

17) Условие это заключается с редакцией Современника как бы с юридическим лицом — и потому от изменения личностей в составе редакции — условие не нарушается; в случае же передачи редакции в другие руки — новые редакторы обязаны принять на себя вышеисчисленные обязанности в отношении к участникам; но участники имеют право уничтожить это условие, предварительно уведомив о том новых редакторов.

18) Участники обязываются откладывать от своих дивидендов 5% — с целью вспомоществования бедному литератору или издания полезного сочинения по общему соглашению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Так как участники заключают это условие с редакцией Современника, состоящей из двух лиц, то они желают знать собственно отношения этих двух лиц между собою в деле редакции, а также и теперешнее общее состояние дел Современника.

Редакциею журнала занимается преимущественно г. Некрасов; в отсутствии его, он передает свой голос и свое право на кого пожелает избрать для сего дела, — или это право переходит тому из участников ко-

торый избран будет своими товарищами для замены отсутствующего г. Некрасова, и в таком случае г. Панаев обязан принимать в соображение его мнение и согласие касательно помещаемых в журнале статей, доставлять в корректуре или оригинале все статьи, назначаемые для журнала, на рассмотрение таковому участнику, не действуя без его согласия. Что касается до хозяйственной части, то ответственность в денежных обязательствах перед участниками принимает на себя г. Некрасов, а в его отсутствие суммы журнала будут храниться у П. А. Плетнева, — и употребляться не иначе, как на расходы по журналу чрез лицо, доверенное г. Некрасовым, которое будет производить как расчет в дивиденды, так и доставлять участникам верные сведения о ходе дел журнала и числе подписчиков.

Вчитываясь в этот «проект», нельзя, прежде всего, не подчеркнуть самым решительным образом, что он имеет весьма важное принципиальное значение, выдвигая в качестве «хозяев журнала» целый писательский коллектив, в данном случае коллектив из 6 лиц, при чем Некрасов и Панаев, согласно п. 12, входили в него «не как редакторы «Современника», а как литераторы» — на одинаковых правах с остальными «участниками». Мы употребили выражение «хозяева журнала» не случайно, ибо, кроме участия в дивиденде в равных долях с обоими редакторами[2], участники получали два чрезвычайно существенных права — право окончательного решения вопроса о помещении отвергнутых редакцией статей (п. 14) и право «наблюдения за общими выгодами и интересами» (п. 13). Ведь это значило, что участники могли, вопреки воле редакции, добиться помещения в журнале желательных им статей, т. е. тем самым влиять самым непосредственным образом на направление журнала, с другой стороны, это значило, что от них зависел контроль над ведением всех журнальных дел, ибо трудно себе представить такое дело, которое, в конечном результате, не могло иметь никакого отношения к «общим выгодам и интересам». Так далеко пошла редакция «Современника», который с момента заключения соглашения становился в некоторой мере товарищеским начинанием, почти что артельным журналом, в своем стремлении теснее приблизить к журналу наиболее выдающихся художественных писателей современности.

В объявлении о подписке на «Современник» в 1857 г. об «обязательном соглашении» говорилось, как о крупнейшем успехе, достигнутом редакцией. Вот относящиеся сюда первые две страницы объявления:

«Современник» в 1857 году будет издаваться в том же объеме и в те же сроки, теми же лицами, разделяющими между собою труды по редакции журнала, и при участии тех же сотрудников, которые печатали в нем свои произведения в течение десяти лет.

Но, оставаясь неизменным по своему направлению, сохраняя прежнюю редакцию и прежних сотрудников, Современник вошел с некоторыми из известнейших наших писателей в обязательное соглашение, которое дает ему возможность занять в литературе новое положение, заслуживающее внимание читателей. Увеличивающееся число литературных журналов заставило некоторых писателей наших подумать о том, что, раздробляя свою деятельность на участие в нескольких периодических изданиях, литератор подвергает себя неудобствам, которые сильно чувствуются и публикою, если его произведения интересуют ее. Неудобства эти очевидны. Назовем одно из них, быть может, самое важное. Тому, кто не имеет времени или средств постоянно читать многие журналы, трудно бывает следить за произведениями любимого им автора, когда они рассеяны в разных изданиях; еще затруднительнее в таком случае читателю пересмотреть, для возобновления прежних впечатлений или для поверки своего мнения, все произведения известного писателя. Но если это неудобство тяжело для читателя, то еще ощутительнее невыгодные следствия его для писателя: он чувствует потребность знать мнение публики о своей литературной деятельности,

а образование этого общественного мнения затрудняется обстоятельством, на которое указано выше. Редакция Современника, всегда сознававшая, что успех журнала и сопряженное с ним увеличение его материальных средств принадлежат не столько ей, сколько писателям, полезное и неизменное содействие которых приобретает журналу внимание и сочувствие публики, изъявила с своей стороны полную готовность сделать все от нее зависящее для устранения означенных неудобств. Таким образом, взаимный обмен мыслей, здесь изложенных, имел своим последствием обязательное соглашение между редакциею Современника и несколькими литераторами, которых полезное сотрудничество впредь на несколько лет упрочено отныне исключительно за Современником. Вот эти писатели:

Д. В. Григорович, А. Н. Островский, Граф Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев.

Все новые беллетристические произведения названных писателей (романы, повести, комедии и т. п.), начиная с 1857 года будут появляться исключительно в Современнике [3]. Нет надобности говорить, что от того выиграют и читатели «Современника», и писатели, участвующие в договоре, и достоинство журнала».

Мало того, на обложках всех книжек 1857 г. значилось:

«С 1857 года помещают исключительно в Современнике свои произведения:

Д. В. Григорович, А. Н. Островский, Граф Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев».

Однако, очень скоро выяснилось, что ликование редакции было, по меньшей мере, преждевременным и что привлеченные к исключительному сотрудничеству писатели проявляют ко взятым им на себя обязательствам более чем пассивное отношение. Дело в том, что для «участников» «обязательного соглашения» с каждым месяцем 1856, а в особенности 1857 года становилось все ясней и ясней, что «Современник», поскольку в нем задает «тон» («идеологический тон») Чернышевский, никоим образом не может стать для них **своим** журналом, т. е. таким, с которым они чувствовали бы себя кровно, тесными идеологическими узами связанными. Очень показателен, с этой точки зрения, тот факт, что почти одновременно с заключением контракта или же непосредственно после него со стороны буржуазно-дворянской группы сотрудников «Современника» была сделана попытка добиться крайнего ограничения роли, а то и ухода Чернышевского путем привлечения к руководящей работе в «Современнике» Ап. Григорьева, как раз в это время оставшегося не у дел, благодаря прекращению «Москвитянина». Мы не будем вдаваться в обследование вопроса, по чьей инициативе начались переговоры с Ап. Григорьевым. Для нас важно лишь отметить, что Боткин все в том же письме к Некрасову от 19 апреля 1856 г. ставил его в известность, что Ап. Григорьев, желая «иметь орган для своих мнений», «готов взять на себя всю критику Современника», — «с тем, чтобы Чернышевский уже не участвовал в ней». «На это, кажется,— продолжал Боткин,— едва ли можно согласиться; положим, что Григорьев несравненно талантливее Чернышевского, — но последний несравненно дельнее. Он готов даже переехать в С. П. Б. Что ты на это скажешь? При твоем контроле Григорьев был бы кладом для журнала: это единственный человек, у которого есть то, что нужно для журнала и чего, кроме него, нет ни у кого. Притом он во всем несравненно нам ближе Чернышевского. Переговори-ка об этом с Тургеневым,— а право об этом стоит подумать».

Письмо Боткина, как видит читатель, написано очень дипломатично. Он как будто против того, чтобы заменять Чернышевского Григорьевым («на это, кажется, едва ли можно согласиться»), однако, с другой стороны, им приводятся различные соображения, имеющие целью склонить Некрасова именно на эту замену: здесь и указание, что «Григорьев несравненно талантливее Чернышев-

ского», и утверждение, что Григорьев обладает столь ценными для журнала качествами, каких нет ни у кого, и признание, которому нельзя не придать особого значения, что Григорьев «во всем несравненно нам [т. е. либерально-дворянскому кругу «Современника»] ближе Чернышевского».

Некрасов, очевидно, держался иного мнения, ибо переговоры с Ап. Григорьевым оборвались, не приведя к положительному результату [4].

Если, таким образом, весной 1856 г. Некрасов не согласился на замену Чернышевского Григорьевым, то летом того же года он дал новое еще более яркое доказательство того, насколько он ценит Чернышевского и доверяет ему: уезжая за границу, он передал ему свои редакторские права. Этот факт представляется тем более симптоматичным, что он был официально зафиксирован тотчас после того, как Толстой предпринял свою известную атаку против Чернышевского. Его письмо к Некрасову от 2 июля 1856 г., где он с та-



КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ», 1862 г., № 24

ким жаром нападает на «клоповоняющего господина», видя в нем «одного из тех подражателей Белинского, которые отвратительны» и, паче всего, возмущаясь его резко отрицательным отношением к действительности, — общеизвестно. Общеизвестен и ответ Некрасова Толстому (в письме от 22 июля 1856 г.). «Особенно мне досадно, — писал Некрасов, — что Вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтоб все люди были созданы на нашу колодку, и коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным. Не надо также забывать, что он очень молод, моложе всех нас, кроме Вас разве. Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться, Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровыми, но забываете, что здоровые отношения могут быть к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости, — у нас немало к ней поводов. И когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, т. е. больше будем любить — любить не себя, а свою родину».

Приведенные отрывки могут служить ярчайшим образцом зависимости литературных вкусов, симпатий и антипатий от классовой природы писателя. Ведь в основе толстовского нерасположения и к Белинскому, и к Гоголю, и к Чернышевскому, и к стихам Некрасова лежало, обусловленное его тогдашнею принадлежностью к реакционно-дворянской группировке, убеждение, что «быть возмущенным, желчным, злым», т. е. критически относиться к существующему социальному строю, «очень скверно». Устами же Некрасова, когда он разъяснял Толстому, что «здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности», а русская действительность такова, что к ней невозможно относиться без злости, говорил революционный демократ.

В какой мере Толстой был уже бессилен в это время влиять на Некрасова — об этом, как мы уже указывали, свидетельствует тот факт, что непосредственно после столь энергичной атаки его на Чернышевского Некрасов просил последнего быть своим заместителем в редакции «Современника».

Обращаем внимание, что в письме Толстого содержится, между прочим, и адресованный Некрасову упрек в том, что он не привлек Дружинина к обязательному соглашению. Вот его точные слова: «Нет, вы сделали великую ошибку, упустив Дружинина из нашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в Современнике, а теперь срам с этим клоповоняющим господином»... В нашем распоряжении нет данных о том, кем и в какой форме ставился вопрос о привлечении Дружинина в число «участников» соглашения. Во всяком случае, если бы Некрасов не сделал той «великой ошибки», за которую упрекает его Толстой, — вся история «Современника» могла бы сложиться совершенно иначе. Не забудем, что Дружинин — наиболее яркий представитель дворянских тенденций в литературе тех лет. Чернышевский и «чернышевщина», разумея под последней сущность воплощаемой во взглядах Чернышевского идеологии революционной демократии, для него были особенно неприемлемы. Дружинин, в качестве воинствующего сторонника дворянской эстетики, одну из главных своих задач видел в борьбе с «дидактикой», т. е. с эстетикой Чернышевского. Само собой разумеется, что, будучи одним из участников соглашения, Дружинин приложил бы все усилия к тому, чтобы вытеснить Чернышевского из журнала, а поскольку прочие участники идеологически гораздо ближе стояли к нему, чем к Чернышевскому, — эти усилия могли бы увенчаться успехом.

Характерно, что и не войдя в число участников, Дружинин всячески пытался влиять на последних в желательном для себя духе. С этой точки зрения значительный интерес представляют его письма к Тургеневу (см. сб. «Тургенев и круг «Современника», стр. 193 — 194 и 206 — 207). Так, в письме от 13 октября 1856 г., писанном еще до того, как «обязательное соглашение» вошло в силу, читаем: «Черкните мне что-нибудь о «Современнике» и вашем союзе. Неужели же вы не возьмете контроля в журнале и не выразите своего общего сотрудничества чем-нибудь иным, кроме поставки повестей? В таком случае вы сделали все промах, ибо хотя в направлении журнала нет ничего предосудительного, но выставка ваших имен заставляет ожидать, что они отразятся и в духе всего издания. Положа руку на сердце, признайтесь, — неужели вы довольны Чернышевским и видите в нем критика, и не обоняете запаха отжившей мертвечины в его рапсодиях, неловких и в цензурном отношении? С будущего года ответственность за это безобразие падет на вас, и станут говорить, что Тургенев и Толстой, наиболее поэтические из наших писателей, и поэт Некрасов терпят в своем журнале отрицание поэзии и вместо того показывают кукиши в кармане. Однако обо всем этом долго писать».

Этот отрывок, между прочим, любопытен содержащимися в нем явными противоречиями. В пылу раздражения Дружинин опровергает сам себя: только что он заявил, что «в направлении журнала нет ничего предосудительного», а несколькими строками ниже всячески доказывает именно предосудительность «отжившей мертвечины», заключающейся в «рапсодиях» Чернышевского, в част-

ности в «отрицании поэзии». С другой стороны, прямо-таки бесподобна забота Дружинина об интересах цензуры. Он не стесняется обвинять все те же злосчастные «рапсодии» в неловкости в «цензурном отношении», как будто усматривая в угождении цензуре одну из обязанностей современного журналиста.

Так как наставления Дружинина практического результата не имели, и автор ненавистных ему «рапсодий» приобретал все большее значение в «Современнике», в особенности после того, как к нему перешли, с отъездом Некрасова за границу, функции одного из двух полноправных редакторов журнала, то его нападки на «соглашение» становились все более и более резкими.

В письме к тому же адресату от 26 января 1857 г. он всячески старается восстановить его против Некрасова, о котором совсем еще недавно говорил в сочувственном духе. Теперь, с точки зрения Дружинина, Некрасов уже перестал быть «своим», ибо явным образом держит сторону Чернышевского, а потому с ним нечего-де церемониться. «Не возлагайте надежд на возвращение Некрасова, скажу вам более, — его отсутствие полезно. Мы с вами, сидя в центре литер. круга и зная хорошие стороны Некр[асова] не могли бы представить себе, на сколько он ненавидим всей юной и образованной частью писателей, тем кругом то-есть, на котором все держится. Эти истории недоплаченных денег, невежливых приемов, затерянных рукописей, не совсем чистых счетов, сделали то, что в некотором отношении даже Андрей стоит его выше. Дай бог, чтоб путешествие его освежило и заставило взглянуть внутрь себя, при его огромном уме и еще свежей частичке сердца оно может статься. Но как бы то ни было, при одном известии о журнале, издаваемом человеком незапятнанным, все, что есть у нас молодого и свободного, сошлось около меня и я могу издавать 16 книжек вместо 12. В Совр[еменни]ке образовывается пустыня, а клевреты Русского Вестн[ика] и Андрея гнут к тому, чтобы клеветать на журнал в частных кругах».

Раз дело обстоит таким образом, то единственным путем к спасению «Современника» остается смена редакции. Если в письме от 13 октября 1856 г. Дружинин убеждает «участников» взять в свои руки «контроль» над журналом, то теперь он идет гораздо дальше. «Другого исхода я не вижу всему этому, как только тот, чтобы вы, Толстой и Боткин стали господами в журнале, отодвинувши как можно подальше всю его редакцию. Вы пишете, что этим делом «баловать» нельзя, — а делать нечего, вы теперь хуже балуете, сидя со сложенными руками».

Заключается же это замечательное письмо следующими горькими, хотя и несколько замаскированными укоризнами по адресу участников «союза»: «Истинно горек теперь для всех нас, не в денежном, а в другом, высшем отношении, становится ваш союз, заключенный так поспешно. Ермил[5] по этому поводу говорит как Перикл и, я думаю, писал вам. Этот насильственный разрыв нашего тесного круга, так слитого долгими годами, тревогами и т. д., ставит нас всех в какое-то необъяснимо тяжелое положение. Мысли и сердце заодно, а между тем нашей деятельности никогда не слиться в одно утешительное целое, силы раздроблены, интересы поставлены наперекор. Это положение одно из страннейших в свете, и какой конец ему будет, кто может сказать? Мы все раскиданы как прутья, и Катков, связавший свои прутья в один веник, геркулес перед нами. Я очень изобретателен, но как я ни ломаю себе головы, даже не могу придумать ничего порядочного в этом смысле».

Нет надобности доказывать, что все эти рассуждения, в конечном результате, сводились к тому, «как неосмотрительно-де поступили вы, господа участники, согласившись на исключительное сотрудничество в «Современнике».

Трудно предположить, чтобы дружининский нажим не производил на «участников» никакого впечатления. Ведь не внушает, повторяем, никаких сомнений тот факт, что Дружинин во всех отношениях — и психологически, и идеологически, и по старинным дружеским связям — стоял к ним ближе, чем Чернышевский, игравший в это именно время первую скрипку в «Современнике». Отсюда

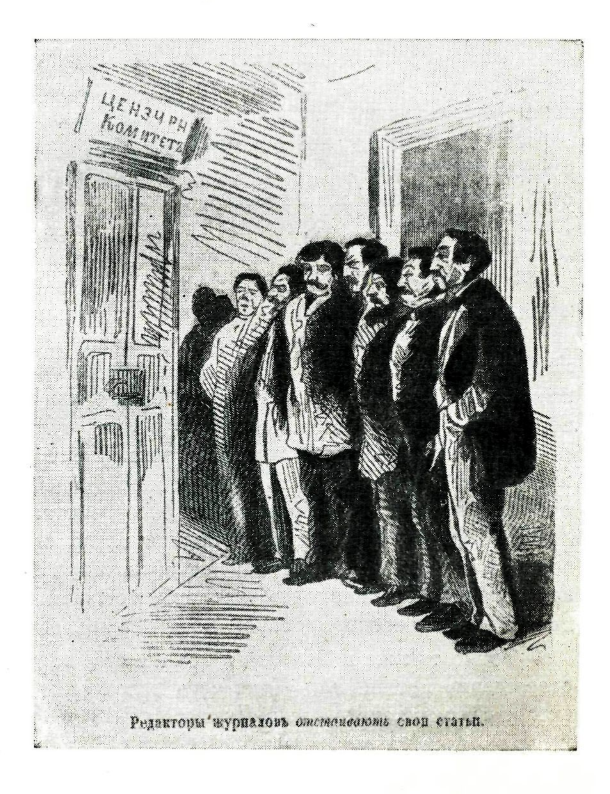
их симпатии к дружининскому журналу, т. е. к «Библиотеке для Чтения» и готовность поддержать ее своим сотрудничеством, даже в ущерб «Современнику». Поразительно в этом отношении по своему откровенному цинизму следующее признание Тургенева в письме к Толстому от 8 декабря 1856 г. Сознаваясь в ничегонеделании, Тургенев пишет: «Только надеюсь кончить в скором времени рассказ для Др[ужинина], — а для «коалиции» — (которая действительно не представляет «ничего величественного») — ничего». Итак, Тургенев готов преодолеть свое ничегонеделание в интересах дружининской «Библиотеки», с которой он не был связан никакими контрактами, а ради «Современника», «обязательным», «исключительным» «участником» которого являлся, пальцем пошевелить не хочет. Здесь не лишне будет отметить, что насмешливый отзыв Тургенева о «коалиции», т. е. об «обязательном соглашении», как об этом можно судить из только что приведенной цитаты, являлся непосредственным откликом на подобный же отзыв Толстого.

Следовательно, еще до начала своего «исключительного сотрудничества» в «Современнике» два крупнейших участника «коалиции» прониклись к ней определенно отрицательным отношением. В данном случае, надо думать, очень значительную роль сыграла передача Некрасовым своих редакторских функций Чернышевскому. Достаточно было последнему, вкупе с Панаевым, возглавить редакцию «Современника», как она начинает вызывать явную антипатию со стороны Тургенева и Толстого. Так, например, Тургенев в письме к Толстому от 8 декабря 1856 г. прямо заявляет: «а что Современник в плохих руках — это несомненно», возлагая за это ответственность, конечно, не на отсутствующего Некрасова, а на Панаева и, само собой разумеется, на Чернышевского. Еще категоричнее отзыв его о «Современнике», относящийся к марту 1857 г. (в письме к Е. Я. Колбасину, от 8 марта): «Современник плох — и не то выдохся, не то воняет. А впрочем мне это все равно». Толстой в свою очередь записывает в свой дневник под 7 ноября 1856 г.: «...редакция Современника противна».

Сказанное убеждает, в каком исключительно трудном положении оказались Чернышевский и Панаев, в качестве кормчих «Современника» в период с июля 1856 г. по июль 1857 г., т. е. в период пребывания Некрасова за границей. Успех журнала, и с их точки зрения и с точки зрения отсутствующего главного редактора, в значительной степени зависел от активности участников «коалиции», а между тем веры в эту активность не было. При таких условиях ничего не оставалось, как, во что бы то ни стало, добиться перелома в более чем прохладном отношении участников к «Современнику». Что нужно было для этого сделать? Едва ли для Чернышевского оставалось секретом, что и со стороны Тургенева, и со стороны Толстого, не говоря уже о Григоровиче и Дружинине, он не только не пользуется никакими симпатиями, а внушает им совершенно обратные чувства. А раз Чернышевский знал, пусть даже только догадывался о нерасположении к себе участников «коалиции», он должен был принять меры к устранению этого нерасположения. Поскольку в данном случае очень трудно, даже невозможно было обойтись без компромиссов, то Чернышевский счел себя вынужденным пойти на компромиссы. Сущность избранного им образа действий сводилась к тому, чтобы дать «участникам» ряд доказательств того, что у него с ними возможен общий язык, что он не меньше других ценит их, действительно, первоклассные художественные дарования. Нечего и говорить, что, если, проводя такую политику, Чернышевскому иной раз приходилось кривить душой, то это никоим образом не может быть поставлено ему в вину. В самом деле, какие соображения были для него тут решающими? Во-первых, стремление содействовать успеху журнала, единственного в те годы органа печати, в котором была возможна пропаганда демократической платформы, пусть в урезанном и сокращенном виде; во-вторых, желание, если не сразу, то постепенно добиться перехода крупнейших художников эпохи под демократическое знамя. Само собой разумеется, каждая из этих двух целей была настолько важной не для Черны-

шевского лично, а для того общественного направления, которому он так бескорыстно и самоотверженно служил, что он не мог особенно колебаться перед компромиссами.

В чем же выразились эти последние? Из замечательных писем Чернышевского к Тургеневу (первое от конца 1856 г., второе от 7 января 1857 г.) мы знаем, что он не останавливался перед преувеличенными похвалами по его адресу [6], вроде: «в настоящее время русская литература, кроме Вас и Некрасова, не имеет никого», или «оскорбить Вас!— да это значит оскорбить нашу литературу», или «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой—Вы наша честь» и т. д. и т. д. Однако, несмотря на категорически-декларативный тон этих похвал, суть писем Чернышевского к Тургеневу все же не в них, а в тех упорных, настойчивых попытках раскрыть его глаза на отрицательные стороны того либерально-дворянского литературного круга, с которым он был так тесно связан. Резко и непримиримо звучат слова Чернышевского, когда он убеждает Тургенева не считаться с мнениями «тупцов» об его произведениях. «Вы по доброте Вашей слишком снисходительно слушаете всех этих гг. Боткиных с братиею. Они были хороши, пока их держал в ежовых рукавицах Белинский, — умны, пока он набивал им головы своими мыслями. Теперь они выдохлись, и, начав «глаголати от похотей чрева своего», оказались тупцами. Они прекрасные люди, но в делах искусства или в другом чем-нибудь подобном не смыслят ни на грош. Возьмите статьи Дудышкина — кроме тех мест, где он повторяет Белинского, Вы найдете одни пошлости. Ум этих людей, быть может, очень грациозен и тонок, но он слишком мелок. Вы слишком добры к ним. Когда Вы приедете сюда, в Петербург, если Вы захотите говорить со мной, я Вас попрошу указать мне во всем, что написано Боткиным, Дружининым, Дудышкиным (не о Вас, это дело постороннее), а о ком бы то или о чем бы то ни было, хотя одну мысль, которая не была бы или банальною пошлостью, или бестолковым плагиатом. По моему, уж лучше Аполлон Григорьев—он сумасшедший, но все же человек (положим, без вкуса), а не помойная яма.



Редакторы журналовъ отстаиваютъ свои статьи.

КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ», 1862 г., № 32

Что касается до публики, поверьте, никакие «Юности» или «Охоты на Кавказе», ни даже стихи Фета и статьи о стихах Фета и т. п. не могут на столько опошлить ее, чтобы она не умела отличать людей от... ну, хотя бы от тупцов.

Я Вам укажу пример — Вы лучше меня должны знать, что по мнению этих господ — стихи Некрасова дрянь. После Ваших «Записок охотника» ни одна книга не производила такого восторга. Хорошо бы он сделал, если б слушал наших аристархов».

Сопоставление этого письма с вышеприведенными письмами Дружинина к Тургеневу дает, думается нам, достаточные основания говорить о «борьбе за Тургенева», которая велась между Чернышевским и Дружининым с его единомышленниками.

В следующем письме Чернышевский делится с Тургеневым своим возмущением по поводу того, что Катков на страницах своего журнала неосновательно обвинил Тургенева в напечатании в «Современнике» повести, якобы обещанной «Русскому Вестнику», и горько жалуется на Панаева и Боткина, настоявших на смягчении написанного им ответа — отповеди Каткову. И не один этот раз Чернышевский выступает в роли гласного защитника участников соглашения. Когда «Отечественные Записки» позволили себе ряд выпадов против последних, то перчатку, брошенную журналом Краевского, опять-таки поднял Чернышевский. «Когда надобно защищать, — писал он Некрасову от 5 ноября 1856 г., — Григ., Остр., Толст. и Тург., я буду писать с возможной ядовитостью и беспощадностью — кроме журнальных соображений тут есть и нравственная причина: как сметь чернить такого благороднейшего человека, как Тургенев? Это низко и глупо. Да и Григор.[7], Толстой имеют право на уважение, и защищать их — обязанность добросовестности, а не один расчет. Мне хотелось бы, чтобы они выиграли вследствие нападений Отечественных Записок, и сколько у меня достанет уменья, постараюсь об этом».

Если, полемизируя с «Русским Вестником» и «Отечественными Записками» за их выпады против «участников» — Чернышевский отнюдь не совершал ничего, что можно было бы подвести под понятие компромисса, — то некоторые другие его поступки, бесспорно, носили характер компромисса. В том же письме 5 ноября Чернышевский сообщает Некрасову, что он напечатал в «Современнике» «панегирик Дружинину, новому редактору «Библиотеки», прежде всего для того, чтобы «доказать» ему, Некрасову, «свою приверженность к Дружинину», а в письме от 5 декабря тому же адресату, говоря о своей «статейке» о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого, сознается, что она написана, «так, что, конечно, понравится ему, не слишком нарушая в то же время истину».

«Политика» Чернышевского не осталась безрезультатной. Личное нерасположение к нему Тургенева и Толстого несколько поколебалось.

Так, например, в письме к Дружинину от 30 октября 1856 г., в явное и прямое противоречие со своими прошлогодними оценками, Тургенев заявляет, что хотя он и «досадует» на Чернышевского «за его сухость и черствый вкус», «но мертвечины в нем не находит, напротив: чувствует в нем струю живую»; пусть Чернышевский «плохо понимает поэзию», «это еще не великая беда»; «но он понимает, — как это выразить, — потребность действительной, современной жизни, и в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, а самый корень всего его существования». Двумя неделями позднее, в письме к Толстому (от 30 октября 1856 г.), Тургенев, говоря об «Очерках гоголевского периода», дает об этом центральном для того времени произведении Чернышевского скорее положительный, чем отрицательный отзыв.

Точно так же и Толстой в исходе 1856 г. заносит в свой дневник, казалось бы, совершенно неожиданные для него положительные суждения по адресу Чернышевского: «Чернышевский мил» (запись от 18 декабря), «пришел Чернышевский, умен и горяч» (запись от 11 декабря 1857 г.). Записи эти, думается, нельзя не поставить

в самую непосредственную связь с появлением в № 12 «Современника» только что упомянутой сочувственной статьи Чернышевского о Толстом.

Однако, тот просвет в отношении Тургенева и Толстого к Чернышевскому, о котором можно говорить в связи с данными их высказываниями, был и относительным и, главное, очень кратковременным. «Политика» Чернышевского надолго и коренным образом могла бы изменить это отношение, если бы или Тургенев с Толстым или Чернышевский сошли со своих идеологических позиций, определяемых классовой природой той и другой стороны. Если тщетны были надежды Чернышевского, а в известной мере и Некрасова, что сорокалетний Тургенев и тридцатилетний Толстой смогут воспринять демократическое миросозерцание, то тем более нельзя было ожидать перехода Чернышевского на сторону буржуазно-дворянского либерализма. Чернышевский мог под влиянием создавшейся ситуации вести «политику», мог не останавливаться даже перед некоторыми компромиссами, но основная его идеологическая линия оставалась неизменной.

Об этом, как нельзя лучше, можно судить по содержанию «Современника» 1856 и 1857 гг. Неуклонно, последовательно, иногда задерживаясь на месте, иногда быстро двигаясь вперед, ни на минуту не теряя из виду конечной цели, Чернышевский переводил «Современник» с либерально-дворянских на демократические рельсы. Легче всего эта задача давалась ему, поскольку речь шла об отделе, находившемся в его непосредственном заведывании, т. е. о критико-библиографическом отделе. Такие эпохальные (конечно, в скромных масштабах тогдашней русской жизни) произведения его, как «Очерки гоголевского периода», сравнительно быстро демократизировали данный отдел. А затем не забудем, что с 1856 г., а тем более с осени 1857 г., Чернышевскому в демократизации критического отдела стал оказывать существенное содействие такой незаменимый союзник, как Н. А. Добролюбов. Растянувшееся на многие номера исследование того же Чернышевского о Лессинге вливало широкую демократическую струю в научный отдел. К составлению «Современных заметок» с 1856 г. Чернышевским был привлечен будущий активный деятель польской революции Сигизмунд Сераковский.

Хуже всего дело обстояло, конечно, с беллетристическим отделом, этой цитаделью дворянской художественной литературы. Положение осложнялось тем, что эту цитадель в «Современнике» занимали первоклассные мастера художественного слова, которые были положительно незаменимы. И все же, всячески держась за сотрудничество корифеев дворянской беллетристики, Чернышевский сумел к сотрудничеству в беллетристическом отделе привлечь писателей с иными классовыми тенденциями. В особенности явственно это обнаружилось в 1857 г. Если в 1856 г. в числе сотрудников «Современника» мы находим только одного из видных «обличителей» той эпохи, автора «Провинциальных воспоминаний» И. В. Селиванова, то в 1857 г. в этом журнале, кроме Селиванова, печатается уже целый ряд обличителей — С. Турбин («Рассказы бывалого»), Сомовский («Червячки»), Добролюбов (рассказ «Донос»), А. З. («Получение долга») и т. д. Наконец, в № 10 1857 г. появляется и первая салтыковская вещь в «Современнике» — рассказ «Жених». Спору нет, что ни один из названных авторов, — за исключением, разумеется, Салтыкова,— не мог равняться не только с Тургеневым и Толстым, но и с Григоровичем, но, с другой стороны, благодаря их сотрудничеству гегемония дворянских беллетристов не являлась уже столь безусловной, как ранее.

По мере того, как демократическая струя вторгалась на страницы «Современника» и окрашивала, пусть в неодинаковой степени, содержание его основных отделов,—«Современник» не мог не возбуждать резко отрицательного отношения со стороны большинства «исключительных сотрудников». «С о в р е м е н н и к» — «в п л о х и х р у к а х», «н е т о в ы д о х с я, н е т о в о н я е т» — эти тургеневские формулировки разделялись, конечно, и всем дворянским кругом журнала. Вот почему «политика» Чернышевского, как она была охарактеризована выше, не

могла не потерпеть неудачи. Выражения личных симпатий плохо помогают там где проявляется классовый антагонизм. Участники «соглашения», не ликвидиру «контракта» (это всего было бы честнее при создавшихся условиях), участву в дивидендах,—а эти последние были довольно внушительны,—выразили свое не одобрение демократическому курсу «Современника» тем, что свели свое участие в нем до минимума. Книжки журнала из месяца в месяц выходили, имея на обложках широковещательные объявления об «исключительном сотрудничестве» Тургенева, Толстого, Островского и Григоровича, а между тем произведения исключительных сотрудников блистали своим отсутствием на страницах тех же самых книжек. Чтобы не быть, в данном случае, голословными, приведем следующую таблицу, выясняющую интенсивность сотрудничества «участников» в «Современнике».

	Григорович	Островский	Тургенев	Толстой
		поместили в 1857 г.		
В № 1 „Совр.“	—	—	—	„Юность“
В № 2	—	„Праздничный сон до обеда“	—	—
В № 3	„Очерк современных нравов“	—	„Чужой хлеб“	—
В № 4	—	—	—	—
В № 5	—	—	—	—
В № 6	—	—	—	—
В № 7	—	—	—	—
В № 8	„В ожидании парома“	—	—	—
В № 9	—	—	—	„Из записок кн. Нехлюдова“ (Люцерн)
В № 10	—	—	—	—
В № 11	„Скучные люди“	—	—	—
В № 12	„Кошка и мышка“	—	—	—

Комментарии, как говорится, излишни! В пяти номерах «Современника» (№№ 4, 5, 6, 7, 10) не появилось ни одного из произведений участников, в остальных семи появилось, правда, целых восемь их произведений, но из этих восьми ровно половина — 4 произведения — принадлежали Григоровичу, наименее значительному из участников. Тургенев дал всего лишь одну вещь, да и то старую, когда-то зарезанную цензурой; Островский тоже только одну вещь. Толстой — две вещи. А в 1856 г. тот же Тургенев напечатал в «Современнике» три произведения, да еще таких, как «Рудин», «Фауст», «Завтрак у предводителя». Толстой — также три произведения — «Севастополь в августе», «Метель», «Два гусара». В результате создавалось в высшей степени странное, если не сказать более, положение: пока «Современник» не заручился «исключительным сотрудничеством» корифеев современной художественной литературы,— они давали ему больше, чем стали давать, сделавшись «исключительными». Неудивительно, что руководители конкурирующих изданий потирали руки от удовольствия, а подписчики «Современника» справедливо негодовали за неисполнение редакцией своих обещаний. Редакция, в лице Панаева и Чернышевского, хорошо понимая, в какой тупик она попала, всячески пыталась из него выбраться. О царивших в ней настроениях дают яркое представление, хотя бы, нижеследующие отрывки из писем Панаева к Тургеневу.

Из письма к Тургеневу от 1 декабря 1856 г.:

«Я рассчитываю на тебя на 2 № — бога ради, Тургенев! Работайте только вы четверо, а то, что мы (редакция) добросовестно, честно и по мере сил и способностей будем вести дело,— об этом тебе беспокоиться нечего; убедись, голубчик, в том, что я на дело смотрю серьезно и имею горячность к этому делу и что во мне есть на столько самолюбия, чтобы не уронить Современника в отсутствие одного из его издателей. Дело все в вас. Без ваших имен и статей в первых №№ будет плохо, как мы с своей стороны ни будем биться—и это повредит и нам и вам, и редакторам и вам четверым, в денежном отношении.— Итак умоляю тебя прислать что-нибудь для № 2, хоть краткую статью, если болезнь не позволяет тебе заниматься...»

Из письма от 3/15 января 1857 г.:

«У меня вся душа изныла и истомилась от неаккуратности членов «обязательного соглашения». Все наши старания и работа — (пожалуйста, выкинь из головы, что я не серьезно смотрю на журнальное дело; в нем теперь вся моя жизнь) — пропадут даром, если на членов «обязательного соглашения» нельзя будет рассчитывать, если они так неаккуратны, что с сентября до сей минуты откладывают каждый месяц присылку своих статей».

Из письма от 24 января 1857 г.:

«Не хвастая скажу тебе, что мы ведем свое дело честно и неапатично, не упуская из виду конкуренции. И если Современник расшатается или убьет его Библиотека, то мы умываем руки,—а виноваты будете вы, гг. обязательные сотрудники, которые заранее не позаботились о том, чтобы даже к первым №№ что-нибудь подготовить.—Подумай об этом посерьезнее—сознайся, не ущерб ли Современнику—что ты по дружбе к Дружинину даешь ему повесть в первые №№, тогда когда в первых №№ Современника твоего ничего нет? Против условия мы согласились, чтобы ты печатал в Библиотеке 1857 года повесть,—но повесть ты мог бы отдать Дружинину в течение года и во всяком случае и прежде всего должен бы был напечатать что-нибудь в первых №№ Современника. Печатая же у Дружинина в первых №№ — ты вредишь Современнику. — Вот что я не мог не высказать тебе».

Однако, просьбы и настояния Панаева в такой же мере были бессильны влиять на участников соглашения, как и «политика» Чернышевского. Вот почему Некрасов, вернувшийся в конце июня 1857 г. из-за границы, счел вынужденным прибегнуть к мерам более решительного свойства. Умоляющими письмами к участникам, подобными тем, которые писал Панаев, он не мог, да и не хотел довольствоваться. Указывая в письме Тургеневу от 14 июля, что «участники уже поставили себя перед публикой в комическое положение, а журнал в трагическое», твердо заявляя в письме к Толстому от 27 июля, что повесть его «необходимо должна быть выслана для помещения в девятой книжке журнала» («ни от кого из участников ничего нет, а между тем нужно выпустить объявление о подписке на 1858 г. С какими глазами?»), настоятельно требуя обещанной повести в письме к Григоровичу от 29 июля,—Некрасов составил и, пометив 30 июля, разослал особое официальное обращение к участникам [8]. В нем подробно были указаны более чем неблагоприятные последствия образа действий участников соглашения, как для них самих, так в особенности для журнала. Заканчивалось же оно следующими пожеланиями, не лишенными ультимативного характера.

«Редакции необходимо для четырех последних книжек нынешнего года и четырех первых следующего восемь произведений гг. участников, т. е. по два от каждого, и в такие сроки, чтобы эти произведения непрерывно одно за другим являлись в журнале, начиная с сентябрьской книжки.

Извещая о сем, редакция покорнейше просит гг. участников:

1. Немедленно доставить то, что у них изготовлено.

2. Определить точные сроки доставления своих дальнейших произведений.

Употребляя с своей стороны все возможные старания к поддержанию жур-

нала, делая значительные и непредвиденные (при заключении условий с гг. участниками) издержки на улучшение других его отделов, редакция надеется, что и гг. участники с своей стороны позаботятся о поддержании журнала, с достоинством которого, кроме материальных выгод, связана их собственная добрая слава, как людей, печатно обязавшихся перед публикой содействовать его успеху.

Иван Панаев. Ник. Некрасов»

Несмотря на решительный и даже резкий тон этого обращения, и оно не имело тех последствий, на которые, очевидно, надеялись его авторы. Только Толстой прислал рассказ «Люцерн», который и был напечатан в сентябрьском номере «Современника». Остальные не прислали ничего. Этот факт нельзя не признавать в высшей степени показательным. Он с не оставляющею никаких сомнений наглядностью свидетельствует не только о том, что участники более чем небрежно относились к принятым на себя обязательствам, но и о том, что они были совершенно равнодушны к интересам законтрактовавшего их журнала. Это лишний раз доказало Некрасову, что особенно надеяться на сколько-нибудь активную поддержку со стороны наиболее выдающихся представителей дворянской беллетристики его журнал не может. А между тем он возвращался из-за границы настроенный таким образом, что поссорить его с Чернышевским было легче, чем когда бы то ни было. Оторвавшись на целый год от впечатлений русской жизни, вращаясь почти исключительно в обществе Тургенева, дружба его с которым приняла в это как раз время особенно интимный характер, — Некрасов готов был иными, чем прежде, глазами взглянуть на задачи современной журналистики. Он совершенно в духе Тургенева готов был говорить об упадке «Современника», якобы вызванном неумелым ведением дела Панаевым и Чернышевским. Еще в письме к Толстому от 31 марта (12 апреля 1857 г.) мы встречаемся с такими излияниями: «Если бы Вы знали, как я краснею при мысли, что Современник заковылял!.. Проклятая поездка за границу! Проклинаю минуту, когда я решился ехать... Но впрочем не поездка виновата, а я сам. Если мне удастся справиться, т. е. совладеть с собою, — я еще постою за Современник». Как он представлял себе «стояние» за «Современник» — это видно из письма его Тургеневу от 27 июля, в котором он выражает определенное недовольство тем, что «Чернышевский, малый дельный и полезный, но крайне односторонний... успел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности». Это-де сказывается и в ведении критико-библиографического отдела: «...бездна выходит книг, книжонок, новых журналов, спекулирующих на публику,—обо всем этом не говорится в журнале ни слова», и в ведении беллетристического отдела: «...не могу поверить, чтоб набивая журнал круглый год повестями о взятках, можно было не огадить его для публики». Правда, тут же Некрасов сознается, что «других повестей нет», — однако недовольство Чернышевским сквозит в данном письме очень явственно. Заключительный вывод: «...я до сей поры еще не решил, что делать с Современником». Еще более был недоволен Некрасов Панаевым. «Напиши Панаеву,—читаем мы в письме Некрасова Тургеневу от 25 ноября (7 декабря) 1856 г., — что не один я бешусь, зачем он пачкает Современник стишонками Гербеля и Грекова, за что я ему написал на днях ругательство». А когда перепечатка в № 9 «Современника» 1856 г. нескольких стихотворений Некрасова из только что вышедшего их собрания вызвала целую цензурную бурю не только против журнала, но и против самого автора, то негодование Некрасова, считавшего главным виновником происшедшего Панаева, буквально не имело границ. «Панаев неисправим,—писал Некрасов Тургеневу от 6/18 декабря,— такие люди, как он, и трусят и храбрятся — все не кстати. Я не меньше люблю Современник, [чем] себя или мою известность,—недаром же я не решился поместить «Поэта и гражданина» в Современнике. Так нет! Надо было похрабриться. Впрочем Панаева винить смешно: не гнилой мост виноват, когда мы проваливаемся».

КАРИКАТУРА
ИЗ «ИСКРЫ», 1862 г., № 19



— Колоколъ у него нашли в — Іе; говоритъ «*Шиллера.*»
— Это все равно-съ, — Отведите его въ острогъ а Шиллера сейчасъ-же арестуйте.

Как ни велико было недовольство Некрасова Чернышевским и Панаевым за их действительные, а частично и воображаемые ошибки в ведении Современника», оно вскоре должно было испариться. Пусть Чернышевский и Панаев ошибались, но они изо всех сил работали, радея о пользе и преуспеянии «Современника»; если работа их не дала тех результатов, какие могла дать, то это произошло не столько по их вине, сколько по вине четверых «обязательных сотрудников», которые ничего или почти ничего не сделали, чтобы поддержать журнал. Некрасов, при его огромном уме, думается, не мог не осознать этого, а потому, ничем, насколько нам известно, не выразив Чернышевскому и Панаеву своего недовольства, сохранил за ними их прежнее положение в редакции «Современника». Да и самое неудовольствие Некрасова не могло быть продолжительным. Вскоре ему стало ясно, что очень не понравившиеся ему по первому впечатлению резко обличительные тенденции современной литературы, которым в его отсутствие был дан широкий доступ на страницы журнала, естественны, закономерны и заслуживают безусловного сочувствия со стороны передовой части общества. И если в письме Тургеневу от 27 июля Некрасов готов утверждать, что «гений эпохи — Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин», и что «противно раскрывать журналы — все доносы на квартальных да на исправников», то через какой-нибудь месяц в письме к Толстому от 29 августа он радуется, что и Толстой, наконец, понял, «что можно искренно, а не из фразы ругаться». Это значило, что сам Некрасов вернулся к тому взгляду на литературу, который в исходе 1856 г. формулировал в словах: в настоящее время не может быть другого «живого и честного направления, кроме обличения и п р о т е с т а». Не мог не вернуться, ибо при сопоставлении западноевропейской жизни с русской всеми фибрами своего существа почувствовал: «...какое бы унылое впечатление ни производила Европа, стоит воротиться, чтоб начать думать о ней с уважением и отрадой» (письмо к Тургеневу от 27 июля). Русская дей-

ствительность представлялась ему теперь «океаном нелепости, на котором плавают две-три лодейки здравоумия и гуманности, удивляющие тем, как давно не перевернутся» (письмо к Толстому от 29 августа).

Итак, серьезной трещины в отношениях Некрасова и Чернышевского, несмотря на вышеприведенную воркотню первого по адресу второго, не образовалось. Как будто бы в конечном результате не пострадали и отношения между Некрасовым и четырьмя обязательными сотрудниками. Особенно это относится к Тургеневу. Даже в момент наибольшего обострения вопроса о невыполнении участниками соглашения своих обязательств, не скрывая своего крайнего возмущения их образом действий, Некрасов всячески выделял Тургенева, как имеющего особо-уважительные причины к «бездействию» (см., например, в том же письме от 27 июня). Тем не менее, едва ли можно сомневаться, что горький осадок от всей этой эпопеи с соглашением, так блистательно провалившимся, должен был остаться у него на душе. Едва ли можно отрицать, что «соглашение» отнюдь не послужило к вящему сближению редакции журнала с обязательными сотрудниками. Последние вели себя в течение 1857 г. в отношении «Современника» так, как никоим образом не стали бы вести себя люди, заинтересованные в процветании своего журнала. Это объясняется, как уже указывалось выше, не столько их индивидуальными свойствами, сколько отсутствием кровного интереса к делам «Современника». А кровного интереса не было, не могло быть потому, что они все более и более укреплялись в убеждении,—и имели на то объективные основания,—что «Современник», руководимый Чернышевским, как бы тактично и примирительно ни держался этот последний, ни в какой мере не является для них своим органом.

Сказанное объясняет, почему 1857 г. был и первым и последним годом, в течение которого «обязательное соглашение» оставалось в силе. К началу следующего 1858 г. оно было расторгнуто по обоюдному согласию заинтересованных сторон, т. е. как редакции, так и «исключительных сотрудников».

С точки зрения редакции «соглашение» явным образом не оправдало себя. Поскольку обязательные сотрудники не выполняли своих обязательств перед журналом и его подписчиками, выгоды соглашения сводились на-нет, а отрицательные его стороны давали себя чувствовать все ощутительнее и ощутительнее. Некрасов с его практическим умом не мог не осознать этого. Тем не менее, в текст объявления о подписке на 1858 г. он внес несколько слов о том, что поскольку Григорович, Островский, Толстой и Тургенев «окончили свои обязательства относительно других журналов» — «в следующем (т. е. в 1858) году деятельность их в «Современнике» будет значительнее, принадлежа ему исключительно». («Современник», 1857, № 10). Таким образом, в октябре 1857 г. редакция «Современника» считала, что действие соглашения будет продолжаться и в 1858 г. Однако, самая краткость упоминания о соглашении и помещение его на четвертой странице объявления служили достаточно ясным доказательством того, что вопросу о соглашении редакция уже не придает особого значения. Еще совсем недавно в объявлении о подписке на 1857 г. «обязательному соглашению» «с некоторыми из известнейших наших писателей», как мы видели, были посвящены две первых страницы целиком, и содержание этого объявления в основном сводилось к разъяснению тех преимуществ, которые приобретают и журнал и его читатели с заключением соглашения. Теперь же последнему, повторяем, уделяется каких-нибудь десять строк, запрятанных в средину объявления. Этот факт объясняется не только разочарованием редакции в соглашении, но и учтенным ею огромным перемещением читательских интересов: в 1857 г. эти интересы еще, в значительной степени, концентрировались вокруг художественной литературы и литературной критики, годом же позднее уже не оставалось никаких сомнений в том, что в центре их лежат практические задачи текущего социально-экономического момента. При подобной ситуации расторжение соглашения особой опасности уже не представляло. А так как никаких надежд на то, что участники его начнут

строже относиться ко взятым на себя обязательствам, не было, то Некрасов все более и более начинает склоняться к мысли об его ликвидации. Так, в письме от 25 декабря 1857 г. к Тургеневу он откровенно заявляет: «Должен я тебе сказать, что обязательный союз меня начинает тяготить, связывая мне руки». Какие-то разговоры на эту же тему Некрасов вел несколько раньше с Толстым, заехавшим на обратном пути из-за границы в Петербург. Как бы то ни было, в феврале 1858 г. он уже предпринимает официальные шаги к расторжению союза, придав им форму особого «обращения» к участникам, о котором содержатся весьма определенные упоминания в его письмах и к Толстому [9] (от 22 февраля) и к Тургеневу (от 17 марта). Из сопоставления этих упоминаний нельзя не притти к заключению, что в «обращении» (оно, к сожалению, до сих пор еще остается неизвестным) расторжение союза мотивировалось тем, что участники его не выполнили своих обязательств в отношении журнала, и содержалось предложение продолжать сотрудничество в нем на каких-то новых условиях, которые должны были заставить их стать активнее. В обоих упомянутых письмах Некрасов подчеркивал, что не «корыстные расчеты побудили его к уничтожению обязательного соглашения», а если тут и играли известную роль «денежные соображения», то «такие, пренебречь которыми было бы неблагоразумно для самого дела». Характерно, что в письме к Тургеневу, посланном гораздо позднее, чем письмо к Толстому, Некрасов говорит, что его «обращение к обязательным сотрудникам» уже «признано справедливым Толстым [10] и Григоровичем», от Островского он еще не имеет ответа, а в согласии Тургенева не сомневается.

Фактическая сторона дела, как она изложена нами здесь и выше, действительно такова, что снимает с редакции всякую вину за расторжение соглашения.



КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ», 1862 г., № 29

Если уж говорить в данном случае о чьей-либо вине, то таковую пришлось бы возложить на самих участников соглашения. Однако и их образ действий, как уже отмечалось выше, был предопределен тем, что идеологические тенденции «Современника», по мере того, как в нем укреплялась гегемония революционных демократов, становились для них все менее и менее приемлемыми. Пока были надежды вытеснить Чернышевского и его единомышленников из «Современника», обязательные сотрудники имели известные стимулы держаться за соглашение. Из приведенных выше писем Дружинина к Тургеневу явствует, что Дружинин, наиболее воинствующий из представителей либерально-дворянского сектора тогдашней литературы, считал вытеснение Чернышевского, а то и отстранение Панаева и Некрасова от редактирования журнала силами «обязательных сотрудников» — делом вполне возможным. Однако, надежды его не оправдались даже в слабой степени. «Участники» оказались решительно не способными к той борьбе, к которой неизбежно привели бы попытки реализации дружининского плана овладения «Современником». В нашем распоряжении нет даже никаких данных, указывающих на то, что подобного рода попытки предпринимались ими. С другой стороны, гегемония в «Современнике» явным образом переходила на сторону их идеологических противников. Наконец, сама редакция журнала абсолютно перестала держаться за соглашение, так как изверилась в его пользе для журнала. При таких условиях и участники журнала не имели сколько-нибудь серьезных оснований дорожить соглашением, тем более, что имеющийся в нашем распоряжении неизданный документ, озаглавленный конторой «Современника» — «Расчет для определения дивиденда, причитающегося 4 сотрудникам за исключительное участие в журнале Современник в 1857 году», — позволяет утверждать, что заработок «исключительных» не так уже был велик.

РАСЧЕТ

для определения дивиденда причитающегося 4 сотрудникам за исключительное участие в журнале Современник в 1857 году.

		Сумма. Руб.	Коп.
Всего в 1857 году было подписчиков:			
1. По пакетам	1682	—	—
2. По подписке в Петербургской конторе	1415	—	—
3. По подписке в Московской конторе	490	—	—
4. По списку иногородным из Московской конторы	230	—	—
5. По подписке в газетной экспедиции	137	—	—
6. По списку иногородных от книгопродавца Юнгмейстера	31	—	—
Итого	3985		
Стало быть согласно условию сверх	3200	—	—
подписчиков в 1857 году было	785	—	—
Что составляет сумму		10990	—
Из этой суммы следует исключить:			
За напечатание 12 книжек Современника * (состоящих в одном экземпляре из 385 лист.) в 1100 экземплярах, всего одиночных листов 423500, по 30 коп. сер. за 100 листов		1270	50

* Против этой и последующих строк «Расчета» на полях было написано следующее:

Примечание. Всего печаталось экземпляр. 4300, кроме 2-го и 3-го номе-

За вторичный набор 1-го номера (33 печ. листа) по 10 руб. сер. за лист.	330	—
За напечатание 200 экземпляров 2-го и 200 экземпляр. 3-го номера сверх 1100 экземпляров (всего в 2-й и 3-й книжках 63¼ листа), что составит 12650 одиночных листов, по 30 коп. сер. за каждый лист.	37	95
За напечатание 1100 × 12 + 400 = 13600 оберток по 30 коп. сер. за сто	40	80
За белую бумагу 385 лист. 1100 экз. + 63¼ л. × 200 экз. = 436150 лист., а с прибавкою 2% 444873 лист., что составляет 927 стоп (в стопе 480 листов) по 2 руб. 40 коп. сер. за стопу	2224	80
За бумагу оберточную для 13600 книг, листов 3400, а с прибавкою 2%—3468 листов или 8 стоп по 8 руб. сер. стопа.	64	—
За брошировку 13600 книг, по 2 коп. сер. за одну книгу.	272	—
За 800 лишних, против 3200 экземпляров, для каждого номера, картинок, что составляет их всего 9600 картин по 4½ к. сер. за каждую картинку	432	—
За напечатание 1000 экземпляров начатых в 1856 г. статей «Маколей» и «Лесинг», но неоконченных к 1 января 1857 года и выдаваемых новым подписчикам на 1857 год, в каждом приложении 13¼ листов, всего 132500 листов по 30 коп. сер. за сто	39	75
За бумагу для этих приложений всего 13250 или 28 стоп по 2 руб. 40 коп. за стопу	67	20
Итого	4779	—
За тем в пользу участников условия (считая и редакторов)	6211	—
Вычитая же ⅓ часть последней суммы в пользу редакторов, а именно 2070 руб. 34 коп. сер. будет причитаться в пользу 4-х сотрудников принимающих исключительное участие в журнале	4140	66

В 1857 году напечатано в Современнике:

Графом Толстым	10 лист.	15 стр.
Островским	2 »	7 »
Тургеневым	3 »	5 »
Григоровичем	12 »	3 »
Всего . . .	28 лист.	14 стр.

На 1 лист причтется дивиденду

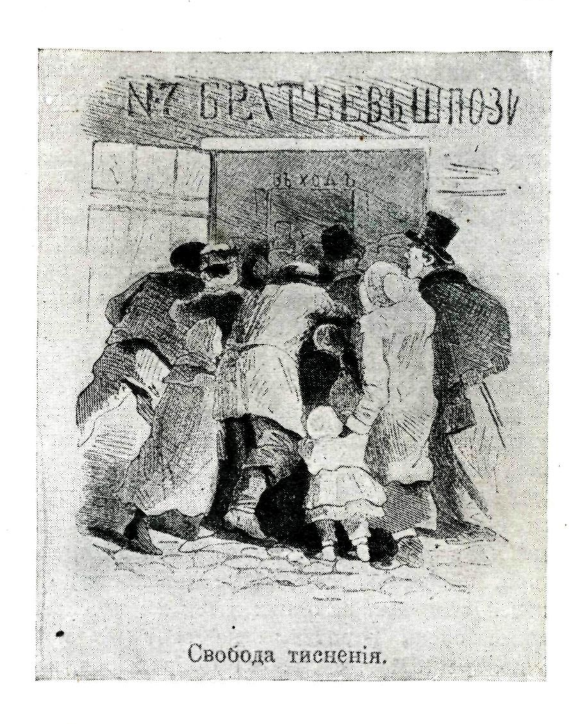
$$\frac{4140 \text{ руб. } 66}{28 \text{ лист. } 14 \text{ стр.}} = 143 \text{ руб. } 40 \text{ коп. сер.}$$

На 10 лист. 15 стр. написанных г. Толстым причтется дивиденду		1568	43
На 2 лист. 7 стр.	Островским	349	53
На 3 лист. 5 стр.	Тургеневым	475	1
На 12 лист. 3 стр.	Григоровичем	147	69

ров, которых печаталось 4500 экземпляр. 1-й номер вначале печатался в 4000 экземплярах, впоследствии был набран снова и отпечатан еще в 300 экземпл., стало быть сверх 3200 экзем. печаталось всех номеров по 1100 экз. да сверх того 2-й и 3-й номера в ожидании большей подписки еще по 200 экземпляров.

1. Граф Толстой был к 1 января 1857 г. должен	1000	—
Получил 10 января 1857 года	200	—
10-го января уплочено на его счет за переписку «Юности».	17	60
Мая 10 послано за границу	300	50
Июля 17-го	253	50
Августа 6-го было выдано 200 руб. сер., но г. Толстой возвратил их назад г. Некрасову с просьбой отдать 150 руб. сер. г. Колбасину	150	—
Февраля 12-го 1858 г., чрез г. Колбасина	40	—
Итого	1961	60
Всего считая по 75 руб. сер. за лист г. Толстому следовало получить за 10 лист. 15 стр.	820	31¼
Дивиденд на это количество листов	1568	43
Итого	2388	74¼
Получено им как выше видно	1961	60
Следует додать	427	14¼
2. Г. Островский к 1 января 1857 г. был должен	185	—
Дек. 29 1856 г. получил в Москве от Базунова	150	—
Июля 22-го 1857 г. послано в Москву с пересыл. . . .	101	15
Декабря 9-го 1857 г. получил в Москве от Базунова . .	300	—
Сумма. Руб.	Коп.	
Января 10-го 1858 г. получил 300 руб. но из сего количества надо отсчитать 212 руб. 50 коп. следующие г. Островскому за написанную им для № 1—1858 г. комедию и идущие в расчет уже на 1858 г. остается	87	50
Итого	823	65
Всего считая по 100 руб. сер. за лист (комедия) г. Островскому следовало получить за 2 л. 7 стр.	243	75
Дивиденд за это количество листов	349	53
Итого	593	28
Получено им как выше видно	823	65
Остается за ним в долгу	230	37
3. Г. Тургенев получил:		
Считая по 75 руб. с. г. Тургеневу следовало получить за 3 л. 5 стр.	248	43
Дивиденд за это количество листов	475	1
Итого	723	44
Получено им как выше видно	—	—
Следует додать	—	—
4. Г. Григорович к 1 января 1857 г. был в долгу	600	—
Февраля 25-го 1857 г. получил	200	—
Итого	800	—

КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ»
1862 г., № 28



Свобода тисненія.

Всего считая по 75 р. с. за лист г. Григоровичу следовало получить за 12 листов 3 стр.	914	6
Дивиденд на это количество листов	1747	69
Итого	2661	75
Получено им как выше видно	800	—
Следует додать	1861	75

В приведенном документе обращает внимание наличность пробелов там, где должны были бы стоять цифры, определяющие сумму, полученную Тургеневым из кассы «Современника» к 1 января 1857 г., т. е. ко времени начала действия «обязательного соглашения», а также определяющие баланс его расчетов с «Современником» ко времени окончания действия соглашения. В книге «Тургенев и круг «Современника» опубликован счет Тургенева за три года, а именно за 1856—1858, восполняющий в известной мере данный пробел.

Итак, материальные итоги работы «исключительных» в «Современнике» 1857 г. сводились к следующему: Толстой, напечатавший в 1857 г. 10 листов 15 страниц, заработал 2388 р. 74¼ к. (820 р. 31¼ к. полистной платы из расчета 75 руб. за лист и 1568 р. 43 к. дивиденда), Островский, напечатавший 2 листа 7 страниц, заработал 593 р. 28 к. (243 р. 75 к. полистной платы из расчета 100 руб. за лист и 349 р. 53 к. дивиденда), Тургенев, напечатавший 3 листа 5 страниц, заработал 723 р. 44 к. (248 р. 43 к. полистной платы из расчета 75 руб. за лист и 475 р. 1 к. дивиденда) и Григорович, напечатавший 12 листов 3 страницы, заработал 2661 р. 75 к. (из них полистной платы 914 р. 6 к., из расчета 75 руб. за лист и 1747 р. 69 к. дивиденда). Присчитывая к полистной плате дивиденд, мы получим невиданно высокие по тем временам цифры авторского гонорара: Островский, в конечном итоге, получил по 243 руб. за лист, а остальные три обязательных участника по 218 р. за лист. Хотя таким образом «Современник» платил

«обязательным сотрудникам» больше, чем какой бы то ни было журнал, однако заработали они, пусть благодаря своей малоактивности, — все же не столь крупные суммы, чтобы боязнь лишиться этого заработка могла их, людей вполне обеспеченных в материальном отношении, заставить, во что бы то ни стало, держаться за «союз», к которому они уже охладели. А охлаждение их, в особенности Толстого, дошло уже до таких пределов, что в их кругу серьезно обсуждался вопрос об организации нового журнала, в противовес «Современнику», с его «вонючим», т. е. политическим, направлением.

Менее, чем через три года, после окончательного распадения «обязательного соглашения» новая ситуация, сложившаяся в «Современнике», была закреплена особым договором. Некрасов и Панаев, старые работники «Современника», Чернышевский и Добролюбов, молодые его работники, образовали нечто вроде трудовой артели, условившись делить доходы от журнала на 4 равных части. О распределении редакционных функций договариваться, очевидно, не было надобности, ибо это распределение в течение 1858—1860 гг. было произведено самою жизнью и ни в каких изменениях не нуждалось. Был ли договор о равном распределении доходов закреплен каким-либо документом — мы не знаем. Единственным источником наших сведений о нем является, покамест, письмо Чернышевского к Добролюбову от 14/16 декабря 1860 г. Время действия этого договора, имевшего все данные максимально оправдать себя, ибо он объединил людей, стоявших на одних и тех же идеологических позициях, оказалось — увы! — также очень коротким... на этот раз по воле «независящих» обстоятельств. В ноябре 1861 г. скончался Добролюбов, в феврале 1862 г. похоронили Панаева, а в июле того же года за Чернышевским захлопнулись тюремные двери. У кормила «Современника», приостановленного в июне 1862 г. на целых восемь месяцев, остался один Некрасов...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Как только наметился переход «от слов к делу», как только перешли к обсуждению способов реализации «реформ», — обнаружились во всей своей яркости и силе коренные противоречия в программах сторонников прусского пути буржуазного развития и сторонников американского пути.

[2] П. 6-й предусматривает распределение дивиденда на три части, из которых одна предоставляется редакции, т. е. Некрасову и Панаеву, а остальные две — четверым «исключительным сотрудникам».

[3] Кроме тех статей, которые обещаны этими писателями до заключения этого условия. Впрочем, обещание каждого не превышает одной статьи.

[4] Некоторые, не лишенные интереса, подробности об этих переговорах и об условиях, поставленных Григорьевым Боткину, игравшему в этом эпизоде одну из главных ролей, содержатся в относящихся сюда материалах, напечатанных в «Голосе Минувшего», 1922 г., № 1.

[5] То-есть Писемский.

[6] Кстати сказать, большим вопросом является, были ли эти похвалы продиктованы нарочитым стремлением наговорить Тургеневу приятных вещей, или же в это время (что вполне возможно) Чернышевский находился в периоде искреннего увлечения Тургеневым, как художником.

[7] Благожелательное отношение Чернышевского к Григоровичу заслуживает особого внимания. Известно ведь, что Григорович не постыдился изобразить Чернышевского в самом пасквильном виде, в лице Чернушкина, героя его повести «Школа гостеприимства», напечатанной в № 9 дружининской «Библиотеки для Чтения» за 1855 г. Впрочем, сам Григорович готов был считать эту повесть «мерзкою» и настолько стыдился ее, что «просил Панаева не упоминать о ней».

[8] Это обращение впервые было напечатано Пыпиным в его книге о Некрасове, а затем перепечатано нами в «Письмах Некрасова» (Гиз, 1930, стр. 314—315).

[9] Любопытно, что, не получив еще письма Некрасова, Толстой сам написал ему о своем решении «разорвать союз», который «ни к черту не годится».

[10] Действительно, тотчас же после получения от Некрасова письма и «циркуляра», Толстой пишет ему (письмо от 26 февраля): «Что вы поступили совершенно справедливо, — в этом нет никакого сомнения».

III. НЕОПУБЛИКОВАННАЯ ПЕРЕПИСКА С. Н. и Е. Н. ПЫПИНЫХ

Публикация Н. Чернышевской

Неопубликованная переписка С. Н. и Е. Н. Пыпиных, предлагаемая нами вниманию читателя, охватывает собою время от конца 1861 г. до 5 августа 1863 г., т. е. с момента, когда Н. А. Серно-Соловьевич открывает книжный магазин, за прилавком которого должна появиться первая «женщина из общества» — Н. А. Энгельгардт, до смеха Н. Г. Чернышевского, раздавшегося под сводами Петропавловской крепости, над подложным письмом, готовившим ему тем не менее близкую гибель.

Деятельность книжного магазина Н. А. Серно-Соловьевича была одной из легальных функций тайного общества «Земля и Воля», намеченного к организации его основной пятеркой. В этот период развертывается ряд жгучих моментов общественно-политической и литературной жизни, чреватых гибельными последствиями для тех, кто свои лучшие силы отдавал делу близко ожидаемой крестьянской революции. Одной из интересных страниц этого времени является литературный и музыкальный вечер 2 марта 1862 г., закончившийся высылкой проф. П. В. Павлова и травлей Н. Г. Чернышевского в реакционной прессе. Вступив на путь реакции, самодержавие не брезгует никакими мерами, даже провокационными, для борьбы с революционно-демократическими выступлениями и пытается использовать с этой целью знаменитые петербургские пожары. По доносам закрываются воскресные школы. Одни за другими вырастают процессы М. Л. Михайлова, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Серно-Соловьевича. Передовая журналистика бьется в сетях реакции, в тисках цензуры. Запрещенный «Современник» борется



С. Н. ПЫПИН
Фотография 60-х гг.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского
Саратов

за свое существование, собираясь возвращаться к жизни, и прибегает к мимикрии. Благонамеренные «Очерки» под пером бывших сотрудников «Современника» приобретают настолько «опасный» характер, что издатель Очкин не решается продолжать их издание и передает их в другие руки.

Вот вкратце содержание переписки Пыпиных. Попутно в нее врезаются отголоски революционного брожения в Саратове 60-х годов: эпизод с директором гимназии, получившим пощечину от ученика, и высылка студентов и близких к Н. Г. Чернышевскому лиц.

Имя Пыпиных тесно связано в истории русской общественности с умеренно-либеральными тенденциями. Но в то же время родственная и бытовая близость их к Н. Г. Чернышевскому делает их хранителями его литературного наследия, непосредственными свидетелями и участниками его революционной судьбы. Поэтому письма Пыпиных о событиях общественно-политической жизни 60-х годов представляют для нас несомненный интерес. Сергей Николаевич Пыпин, двоюродный брат Н. Г. Чернышевского, из мелкопоместных дворян, с 1861 г. принимает непосредственное участие в той организации, которая выполняла легальную функцию тайного общества «Земля и Воля»—распространение передовой литературы среди провинций: по рекомендации Н. Г. Чернышевского С. Н. Пыпину предоставляется Н. А. Серно-Соловьевичем должность заведующего его книжным магазином. Сестра С. Н. Пыпина, Евгения Николаевна, в это время работает корректором у издателя Н. Л. Тиблена, что дает ей возможность находиться в курсе всех бурь и столкновений революционно-демократической печати с цензурой. Пыпины живут на квартире бок-о-бок с Антоновичами; для того, чтобы увидеться с критиком и его женой, им достаточно постучать друг другу в стену. Они постоянно бывают вместе в театре, и больная жена М. А. Антоновича пользуется самой дружеской поддержкой соседей. Здесь в тесном кругу происходит живой обмен впечатлений по всем злободневным вопросам литературы и политики, совместно переживается заключение в Петропавловской крепости Н. Г. Чернышевского и Н. А. Серно-Соловьевича, подвергаются горячему обсуждению обострившиеся отношения М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева с Н. А. Некрасовым и т. д.

Публикуемые письма Пыпиных хранятся в архиве Дома-музея Н. Г. Чернышевского в Саратове. Они были переданы туда В. А. Пыпиной в 1926 г.

1. С. Н. ПЫПИН — РОДИТЕЛЯМ

4 декабря 1861 г.

Милые папенька и маменька!

Мы все слава богу здоровы. Вообще дела наши идут попрежнему, только моя деятельность несколько расширяется. Обстоятельство это произошло следующим образом. Некто г. Серно-Соловьевич, имя которого быть может известно Вам из «Современника», задумал предприятие: учредить общественную библиотеку для чтения и при ней книжный магазин[1]. Для этого он приискал в Петербурге библиотеку, которая находится в действии, и купил ее. Библиотека эта имеет до 200 человек подписчиков-читателей. Серно-Соловьевич, с которым я знаком был гораздо прежде, обратился к Николаю Гавриловичу[2] за советом приискать человека, который взялся бы быть ему помощником в этом деле. Николай Гаврилович указал на меня, и я принял предложение Серно-Соловьевича, которое обещает мне в денежном отношении больше выгод, нежели служба. Впоследствии предстоят еще большие выгоды.

Мы уже приняли в свое заведывание библиотеку и теперь действуем в ней в качестве хозяев. Библиотека эта помещается на Невском проспекте,—мы ее перемещаем на новую квартиру, тоже на Невском, и потому

в настоящие дни страшно много хлопот. Хлопоты эти увеличиваются еще от того, что нельзя прекратить, хотя на несколько дней, выдачу книг подписчикам, — что, разумеется, затруднительно. Этим делом я занимаюсь уже неделю, и через неделю или две надеемся привести все в прежний порядок.

Средства самой библиотеки в настоящее время довольно умеренные, но мы, разумеется, постараемся расширить их, и привести ее в лучший вид, чтобы привлечь более читателей. Надежда есть, что дела пойдут хорошо. По окончании устройства библиотеки примемся за устройство книжного магазина. Это, разумеется, будет более легким делом.

Эти дни мы занимаемся переходом на новую квартиру. Наше счастие заключается еще в том, что новая квартира прямо против прежней, только перейти Невский проспект. Книги нужно вязать в кипы и перетаскивать,— при этом пыль, грязь, усталость и прочие гадости,—но теперь половина дела уже сделана — книги перенесены на новую квартиру, устроиться только там — это будет легче. В библиотеке я провожу целые дни — ухожу в 9-м часу и возвращаюсь в 9-м. Обедать, разумеется, хожу домой. Занявшись таким делом, конечно, необходимо отказаться от службы, а потому когда дело о покупке было уже решено, и библиотека была принята нами, я подал прошение об отставке. Жалеть об этом я, разумеется, нисколько не жалею, потому что подобное занятие гораздо приятнее службы, и я очень доволен такою переменою в моей жизни. Даже со стороны физической, со стороны здоровья — выигрыш: вместо сидячей — жизнь деятельная.

Такая перемена в роде моей деятельности произошла так скоро, что когда я подал просьбу об отставке, я как будто сам не верил, что исполняется наконец мое желание — добиться когда-нибудь иного дела, чем составление каких-нибудь глупых протоколов и резолюций. Моя служба была какой-то машинальной работой. Прослужа полтора года, я еще не добился того, или лучше, не втянулся до того, чтобы все, что проходило через мои руки, могло заинтересовать меня, чтобы я с любовью занимался своим делом. Хлопоты об отставке кончатся, вероятно, недели через две,—по крайней мере так обещали мне. Но, несмотря на такое обещание, все-таки надобно пожелать, чтобы дело шло скорее. Во всяком случае через две недели надеюсь покончить свои старые дела, чтобы вполне заняться новыми. К новому году я надеюсь, что книжный магазин и библиотека получат свое окончательное устройство. Пожелайте нам успеха.

Прощайте, милые папенька и маменька, целую Ваши ручки.

С. Пыпин

Братьев и сестер целую.

Евгению Александровичу Белову[3] мой поклон.

[1] Книжный магазин был открыт Н. А. Серно-Соловьевичем совместно с А. А. Слепцовым на Невском проспекте в доме Петропавловской церкви, № 24. Целью его, как указывает вдова А. А. Слепцова, М. Слепцова, было распространение полезных книг, имеющих научное и общественное значение. Об этом был разговор на первом же собрании у Чернышевского, когда основная пятерка [тайного общества «Земля и Воля» — *Н. Ч.*] разрабатывала вопрос о «легальной деятельности». Вместе с легальной распространялась и нелегальная литература, предполагалось издание сочинений Герцена (см. воспоминания М. Н. Слепцовой «Штурманы грядущей бури», сб. «Звенья» № 2, М. 1933, стр. 407—413). 7 июля 1862 г. библиотека была опечатана, а Н. А. Серно-Соловьевич арестован и заключен в Петропавловскую крепость.

[2] Речь идет об Н. Г. Чернышевском.

[3] Белов Е. А. (1826—1895) — историк, преподаватель саратовской гимназии, бывший сослуживец Н. Г. Чернышевского. За близкое знакомство с последним состоял на подозрении у полиции и в 1864 г. привлекался по его делу.

2. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

6 марта 1862 г.

Милые мои папенька и маменька!

В прошлом письме я писала Вам, что мы будем на литературном и музыкальном вечере [1]; теперь приходится писать о его последствиях. Павлов[2], как я говорила, читал статейку о тысячелетии России. Он прочел ее так, что публика несколько раз во время чтения прерывала его криками и аплодисментами, потом вызывала много раз, и даже когда уже другие читали или пели, или играли, то снова с их именами вызывали Павлова, одним словом крику было довольно. Дня через два, Павлова призвал к себе Мин[истр] Нар[одного] Пр[освещения] и объявил ему, что его лекции прекращаются; во время разговора с ним, он сказал, что не знает, какие меры приняла на его счет общая полиция, и вообще можно было видеть, что это дело зависит совсем не от него. Он с своей стороны обещал сделать все, что будет в состоянии, чтобы только избавить Пав[лова] от неприятностей; на другой день Пав[лова] пригласили в одну из частей для допроса, и он вернулся домой уже в сопровождении архангелов, как здесь называли во время университ[етских] приключений полицейскую команду. Они опечатали его квартиру, бумаги, и потом увезли его под арест. Все ужасно недовольны таким нелепым происшествием, и, кажется, многие хотят вмешаться в это дело, так как Павлов совсем не может быть обвинен по закону,— речь была цензурована. Профессора, читающие теперь лекции, что-то задумывают, вроде того, вероятно, чтобы отправить депутацию или что-нибудь такое [3]. Верно также составится адрес, как это часто теперь в ходу, хотя за некоторые адресы и доставалось некоторым людям [4]. Ужасно жаль того, что это может расстроить П[авлова], так как он довольно уже имел еще и прежде неприятного. Такая весть вчера всех поразила неприятно и привела в негодование. Увидим, что будет дальше.

[1] Речь идет о литературном и музыкальном вечере 2 марта 1862 г. в зале Руадзе, устроенном в пользу сосланного М. Л. Михайлова.

[2] Павлов Платон Васильевич (1823—1895) — профессор-историк. Его статья «Тысячелетие России» была написана в конце 1861 г. и напечатана в приложении к академическому «Месяцеслову на 1862 год»; предварительно эта речь была отдана на просмотр цензуры и одобрена ею.

[3] Депутация профессоров по делу проф. Павлова не состоялась, но в обществе появилась прокламация, начинавшаяся словами: «Профессор Павлов сослан в Ветлугу» и призывавшая к протесту, подаче адресов и денежным пожертвованиям в его пользу. (См. Лемке Мих., Дело профессора Павлова, сб. «Очерки освободительного движения шестидесятых годов», 2-е изд. СПБ. 1908, стр. 13). По указанию Л. Ф. Пантелеева студентами была собрана в пользу П. В. Павлова небольшая сумма, около 300 руб. («Из воспоминаний прошлого», «Academia», 1934, стр. 162).

[4] Е. Н. Пыпина подразумевает ряд различных конституционных адресов и петиций, например, в защиту цензора Н. Ф. Крузе, по поводу ареста М. Л. Михайлова, студенческих волнений 1861 г. и другие, которыми либеральная и революционно-демократическая интеллигенция пыталась использовать право подачи прошений на высочайшее имя.

3. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

10 апр[еля] 1862 г.

...Я забыла как-то написать ответ на вопрос о свистках Н[иколаю] Г[авриловичу] [1] — вот теперь хоть сказать словечко: мы свистков этих не слышали, но чтением его вообще не остались в публике особенно довольны, хотя манера его говорить (он не читал, а просто говорил) многих привела в восхищение, а многих в негодование; вы об этом можете прочесть в газетах, где его бранят. Вся беда в том, что он не успел сказать все, что хотел. Времени недостало, а что сказал, не могло быть понято публикой, не знающей его и Добролюбова.

[1] Речь идет о выступлении Н. Г. Чернышевского на вечере 2 марта 1862 г. в зале Руадзе, где он выступал с чтением воспоминаний о Н. А. Добролюбове. Реакционная пресса отметила «неприличное» поведение Чернышевского, выразившееся прежде всего в том, что он «играл цепочкой» от часов, что дало повод развернуться сатирической полемике с «Северной Пчелой». См. сб. «Эпиграмма и сатира», т. II, сост. А. Островским, изд. «Academia», стр. 216—222 и 253.

4. С. Н. ПЫПИН — РОДИТЕЛЯМ

5 июня 1862 г.

...Пожары поутихли, но ходят слухи, что еще не кончились. Я ведь писал уже Вам, что здесь были страшные пожары, и писал, что последний пожар, во время которого сгорело: Апраксин и Щукин дворы, Толкучий рынок, дом Министерства Внутренних Дел, пострадали переулки Чернышев, Троицкий и Щербаков,— что этот пожар навел на всех какой-то панический страх. Разумеется, нечего и говорить, что пожар Апраксина и Толкучего рынков некоторых торговцев разорил совершенно [1].

Относительно просьбы Белова [2] о невысылке ему «Века» [3] я ведь уже писал Вам, что «Век» не высылается потому, что окончил свое существование. Говорили, что он будет заменен новою газетою [4], которая должна



Е. Н. ПЫПИНА
Фотография 60-х гг.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

будет явиться на свет с 1-го июня,— газета явилась,— но подписчикам «Века» еще не выдают и теперь неизвестно, будут ли выдавать.

...На прошлой неделе был здесь Александр Павлов[ич] Ровинский[5]. Он говорил, что Павел Аполлонович[6] едет за границу еще не скоро, так что Вы напишите ему, чтобы он заехал к Вам в Саратов. Кстати, вспомнил: он недавно писал мне и прислал тебе, Еничка[7], письмо, которое при сем и прилагается. Теперь здесь Варенцов[8]. Он завтра едет за границу и я вручил уже ему письмо к Саше[9].

Третьего дня ездил в Павловск. Поездка устроилась совершенно случайно. Думал, думал — сел да и поехал. Там встретил Петра Ив[ановича] с М[арьей] Ал[ександровной][10] и с ними воротился. В[ладимиру] Ал[ександровичу][11] объявляли приговор 31-го мая, и теперь уже увезли. Возобновляю знакомство с Щербиною[12]; он все такой же потешный господин, каким знавала его ты, Полина[13].

Что делается в Петербурге — всего, разумеется, не перескажешь. Впрочем, я скоро пришлю Вам письмо — огромное, в котором постараюсь изобразить настоящее положение Петербурга (положение это, впрочем, изобразить не трудно: пожары, пожары и всеобщий страх. Скоро, я думаю, все это пройдет, и все успокоятся). Вот интересно, каково теперешнее настроение саратовских жителей. Они, я думаю, сами не свои: с освобождением крестьян еще хорошенько, я думаю, не освоились, а тут ученик дает 5 оплеух директору[14], потом студенты-буяны[15], от которых все это идет — ужасно, ужасно. Или я ошибаюсь? Здесь — так студенты действительно производят нечто — только не ужас, а ненависть. Представьте, что виновниками теперешних пожаров выставляют их. Были случаи, что на пожарах студентов били. Их положение действительно прескверное. Хоть бы пожары скорее совсем прекратились.

Чтобы знать, что происходит в Петербурге, читайте газеты — более «Северную Пчелу» — доставайте каким-нибудь [образом]. После Вашего отъезда там являлись курьезы. В № 1-го или 2-го июня «Сев[ерной] Пч[елы]» есть объявление, что две воскр[есные] школы: Самсоньевская и Введенская, закрыты вследствие того, что по показаниям двух каких-то рабочих преподавание имело направление противо-религиозное и противо-правительственное. Эти рабочие изволили рассуждать в своей артели, что пожары-де дело хорошее и что весь Петербург надобно сжечь. Рабочих, раз[умеется], арестовали, и над этими школами теперь производится следствие[16].

[1] Речь идет о знаменитых петербургских пожарах, которые справедливо расцениваются современными историками, как явление, которым правительство вступившее на путь жестокой реакции, воспользовалось с провокационными целями. Подробное описание пожаров см. в статье С. А. Рейсера «Петербургские пожары 1862 года» («Каторга и Ссылка» 1932, № 10) и в книге того же автора «Артур Бени», М. 1933 г.

[2] Белов Евгений Александрович. О нем см. примечание 4-е к письму 1-му.

[3] «Век» — журнал, первоначально умеренно-либерального направления, издававшийся с 1861 г. П. И. Вейнбергом совместно с А. В. Дружининым, К. Д. Кавелиным и В. П. Безобразовым. В 1862 г. Вейнберг передал издание «Века» артели литераторов, в руках которой журнал стал радикальным органом. В числе артели находились: Г. З. Елисеев, Н. В. Шелгунов, Н. А. Серно-Соловьевич и др. Последний номер «Века» вышел 29 апреля 1862 г. Журнал закрылся, по свидетельству К. К. Арсеньева, вследствие неисправности пайщиков и недостатка средств. Подробная история журнала изложена Б. П. Козьминым в статье «Артельный журнал «Век»» (1862) в книге «Русская журналистика. Шестидесятые годы». Изд. «Academia», стр. 18—50.

[4] Новая газета, которая заменила собою журнал «Век», была — «Очерки», но эта газета начала выходить с 1 января 1863 г. Поэтому не вполне понятно, что обозначают в письме Е. Н. Пыпиной слова «газета явилась».

[5] Ровинский Александр Павлович — саратовский знакомый Пыпиных и Чернышевских, ученик Н. Г. Чернышевского по саратовской гимназии, впоследствии присяжный поверенный.



Н. Л. ТИБЛЕН
Фотография 60-х гг.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского,
Саратов

[6] Ровинский Павел Апполонович (1830—1916) — этнограф-славист, член общества «Земля и Воля» 60-х годов.

[7] Еничка — Евгения Николаевна Пыпина.

[8] Варенцов Виктор Гаврилович (ум. в 1867 г.) — педагог и собиратель народных песен.

[9] Саша — Александр Николаевич Пыпин (1833—1904), историк литературы.

[10] Петр Иванович и Марья Александровна — Боковы, известный врач, друг Н. Г. Чернышевского, и его жена.

[11] Владимир Александрович Обручев (1836—1912) — брат М. А. Боковой, привлекавшийся по делу «Великорусса» и сосланный в Сибирь.

[12] Щербина Николай Федорович (1831—1869) — поэт-сатирик.

[13] Полина — Пелагея Николаевна Пыпина, двоюродная сестра Н. Г. Чернышевского.

[14] Весною 1862 г. известным реакционером, директором саратовской мужской гимназии, А. А. Мейером была получена пощечина от гимназиста Алексея Катин-Ярцева. После этого были временно закрыты два старших класса гимназии и уволены 10 воспитанников. См. «Дело III отделения I экспедиции № 540 о беспорядках в саратовской гимназии», использованное В. А. Сушицким в статье «Воспоминания Е. А. Белова о Чернышевском» («Известия Н.-В. Исследовательского Института Краеведения имени М. Горького». Саратов 1931).

[15] Здесь подразумеваются сосланные в Саратов студенты Казанского университета А. Христофоров и В. Умнов, которые были высланы из Саратова в Вольск в связи с пощечиной, данной Катин-Ярцевым директору гимназии (см. примечание 14-е).

[16] О закрытии Самсониевской и Введенской воскресных школ вследствие доноса рабочих М. Митрофанова и М. Федорова см. подробнее в книге М. Лемке «Очерки освободительного движения шестидесятых годов», СПБ. 1908, стр. 401—438.

5. С. Н. ПЫПИН — РОДИТЕЛЯМ

26 июля 1862 г.

...Сейчас только прочел Ваши письма; напрасно Вы так много беспокоитесь обо мне — я полагаю, что моя личность теперь в безопасном положении. Что Вам сказать о положении дел Николи?[1] Говорят, что причиною ареста и обвинением против него и Серно-Соловьевича[2], — будто бы

перехваченные письма на их имена, присланные из Лондона[3]. Судя по этому обвинению (слухи только и указывают на эту причину) — дело должно кончиться пустяками. И я, кроме того, надеюсь, что дело кончится довольно скоро. Я теперь начинаю довольно спокойно смотреть на все эти передряги. Скверно только то, что все это время мне приходилось ежедневно разъезжать по различным полицейским местам — так что даже опротивело. Бывал у генерал-губерн[атора], у Потапова[4], ездил раза три в крепость — все выхлопатывал себе доверенность от Сер[но]-Сол[овьевича] на получение из Почтамта писем. Хлопот было довольно много. Теперь почти все уладил.

Живу я теперь у Николи в квар[тире] и занимаюсь продажею лошадей и сдачею квартиры. Скоро вероятно успею сделать и то, и другое.

На днях получил сведения от брата[5]: он здоров. Известие о здешних событиях, разумеется, произвело на него неприятное впечатление. Вот еще не знаю, каким образом решится вопрос, оставаться ему за границею или нет. Узнавши об аресте Н[иколи], он хотел было тотчас ехать сюда,— но я сказал, что он может оставаться за границею, потому, что присутствие его здесь не принесет никакой пользы.

...Теперь я буду писать Вам чаще о том, что здесь говорят, а не о том, что здесь делается — потому что — что делается — решительно неизвестно.

[1] Николя — Н. Г. Чернышевский, находившийся в Петропавловской крепости с 7 июля 1862 г.

[2] Серно-Соловьевич Николай Александрович, арестованный в один день с Н. Г. Чернышевским. См. примечание 1-е к письму 1-му.

[3] Речь идет об известном письме А. И. Герцена к Н. А. Серно-Соловьевичу с предложением издавать «Современник» в Лондоне. Письмо было перехвачено III отделением у П. А. Ветошникова, привезшего его в Россию. См. М. Лемке, Политические процессы в России 60-х годов, М.—Л. ГИЗ, 1923, стр. 179.

[4] Потапов Александр Львович (1818—1886) — генерал, начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III отделения.

[5] Брат — Александр Николаевич Пыпин.

6. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

9 октября 1862 г.

...Некр[асов] вчера приехал, и тут же в 9 ч. утра прислал за Ант[оновичем][1]. Тот сейчас же пришел к нам: «Хоть вы, говорит, и не можете мне дать совета, а все-таки иду спрашивать, что мне делать». Он накануне был у одного господина, Очкина[2], который предлагает ему сотрудничество по газете «Очерки»[3], которую будет редактировать Елисеев, писавший внутр[енние] обозр[ения] в Соврем[еннике]. Вероятнейшим образом надо было ждать от Некр[асова] различных предложений, и вот он не знал, как ему быть с этим. Вы знаете, что дела иметь с Некр[асовым] они не желают. Ант[онович] не вдруг отправился, но вечером опять получает настоятельнейший зов. Видно было по записке уже несколько встревоженное состояние духа. А между тем Ант[онович] потому и не шел, что хотел напустить на Некр[асова] одного господина, который должен был объяснить все причины неудовольствия на Некр[асова] этих господ. На другой день присылает Некр[асов] за Сережей[4]. Оказалось, что Ант[онович] не дал ему никакого положительного ответа на предложения по изд[анию] Совр[еменника] и насказал много кой-чего. Некр[асов], конечно, оправдывается от всех обвинений, говоря, что у него мало друзей и много врагов, которые вот и повредили ему, и что если откажется Ант[онович], то он не будет издавать Совр[еменник].— Чем они кончат, бог знает, но Ант[онович] затрудняется один принять это дело, даже мимо всех этих дрязг[5].

[1] Антонович Максим Алексеевич (1835—1918) — критик и публицист, сотрудник «Современника».

[2] Очкин Амплий Николаевич (1791 — 1865) — цензор, поэт, критик, переводчик и сотрудник ряда периодических изданий.

[3] «Очерки»—газета политическая и литературная, начала выходить с 1 января 1863 г. Подробности о ней см. в статье С. Брейтбурга «К истории газеты «Очерки» (1863)» в сб. «Русская журналистика. Шестидесятые годы», изд. «Academia» М.—Л., стр. 51—71.

[4] Сережа — Сергей Николаевич Пыпин.

[5] В этом письме Е. Н. Пыпина касается разлада в отношениях М. А. Антоновича и Г. З. Елисеева к Некрасову, вызванного их обидой за его выражение о причинах закрытия «Современника»: «Верно моя консистория там что-нибудь напутала». Антонович и Елисеев усмотрели здесь обидный намек на покойного Н. А. Добролюбова и на находившегося в это время в Петропавловской крепости Н. Г. Чернышевского. Ср. воспоминания Г. З. Елисеева, приводимые В. Е. Евгеньевым-Максимовым в книге «Некрасов, как человек, журналист и поэт». ГИЗ. М.—Л., 1928, стр. 107—109.

ЗАПИСКА М. А. АНТОНОВИЧА К ПЫПИНЫМ ОТ 10 НОЯБРЯ 1862 г.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

7. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

[Около 1 ноября 1862 г.]

...Дело «Совр[еменника]» в таком положении: так как на «Очерки» уже подана какая-то бумага, вроде доноса [1], вследствие того, что редактируют Елисеев и Ант[онович], (имена довольно страшные некоторым господам), то Некр[асов] просил Сашу дать свое имя в прибавок к имени Ант[оновича] для «Соврем[енника]», чтобы таким образом ввести несколько примиряющий элемент и не показаться страшным. Его объявление об издании цензурный комитет (в урезанном виде, хотя там ничего особенного не было) представил Головнину [2], но тот не решился своей властью разрешить его, и оно пошло дальше, в совет министров, кажется. Все это довольно смешно; потому именно, что нет ничего такого, что бы было комунибудь страшно, а между тем боятся. Чем все это кончится, напишем.

[1] Еще до выхода в свет газеты «Очерки» по поводу них возникла междуведомственная переписка в связи с объявлением о подписке, которая, по мнению следственной комиссии кн. Голицына, не соответствовала утвержденной для этой

газеты программе (см. Лемке М. «Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг.». СПБ. 1904, стр. 245).

[2] Головин Александр Васильевич (1821—1886) — министр народного просвещения.

8. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

5 ноября 1862 г.

...Теперь уже получено из всех мытарств объявление о «Соврем[еннике]». Кажется имя Саши поставлено первым в числе сотрудников. Это потому, что его имя пользуется не такой устрашающей правительство репутацией, как имя Ант[оновича]. Объявление было написано, разумеется, так, чтобы могло пройти без препятствий, но, несмотря на это, оно уцелело только в нескольких словах. Что такое будет этот «Соврем[енник]» — трудно сказать.

Недавно Сер[но]-Сол[овьевич] прислал на имя одного из братьев[1] письмо, в котором передает ему магазин за отсутствием старшего по нем брата[2] (издателя Шлоссера, который теперь за границей и вернуться не может) и молодостью младшего[3]. Он говорит в этом письме, что не желает продолжать этого дела ни в каком случае, хотя бы и благополучно окончилось его дело (а благополучно окончиться оно едва ли может). Конечно, только необходимость заставляет его делать эту передачу, тем более, что этот его братец чрезвычайно недалекий господин. Сереже это тоже не совсем приятно, хотя Н[иколай] А[лександрович] поставил непременным условием, чтобы управление магазином не выходило из рук Сережи. Он и еще кто-нибудь, заинтересованный в этом деле, вероятно постараются устранить этого парня, который в делах может только путать. Ему уже и говорили об этом, и он не прочь.

Здесь все еще господствует неспокойное настроение духа у всех. Завтра отправляется отсюда Калиновский[4], бывший профессор, ссылаемый в Енотаевск. Он был летом за границей, говорят побывал у Герцена и за это, как только явился в Россию, попал в III от[деление]. Там он пробыл недолго, но потом его выключили из службы, а теперь и вовсе ссылают.

Кавелин взял себе отсрочку для пребывания за границей, пока тут еще так тошно жить добрым людям. Павлов[5], о котором я жалею больше, чем о ком-нибудь другом, так как он заслуживает полнейшего уважения всех, живет теперь в Костроме, и в чрезвычайно затруднительных обстоятельствах: ему назначено от правит[ельства] 30 р. в месяц, но он этих денег не берет, а затем ему совсем нечем жить, да и без дела и людей он, говорят, совсем с ума иногда сходит. Там, в Ветлуге, ему было все-таки лучше.

[1] После ареста Н. А. Серно-Соловьевича магазин его был передан брату Владимиру (см. воспоминания М. А. Слепцовой «Штурманы грядущей бури» в сб. «Звенья» № 2, стр. 411).

[2] Брат Н. А. Серно-Соловьевича — Александр отсутствовал вследствие выезда за границу для лечения; в связи с преследованиями, начатыми правительством по отношению к членам общества «Земля и Воля», одним из основателей которого он был, А. А. Серно-Соловьевич отказался от возвращения в Россию и навсегда остался за границей.

[3] Младший брат Серно-Соловьевичей—Константин, лицеист; был исключен из лицея вследствие ареста Николая Александровича.

[4] Калиновский Балтазар Фомич (1827—1884) — профессор петербургского университета, был уволен со службы в сентябре 1862 г. и выслан в Енотаевск 5 октября того же года за сношения с Герценом.

[5] Павлов — см. примечание 2-е к письму 2-му.

9. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

Петербург, 9 ноября 1862 г.

...Дела «Совр[еменника]» пойдут бог их знает как. Вероятно на него будут очень подозрительно посматривать. Теперь печатается уже какой-то

роман для первой книжки[1], которая должна выйти 8-го февр[аля] — день, в который кончится срок запрещения, Салтыков (Щедрин) начал уже писать фельетон[2]; он читал его Некрасову, и тот говорил Саше, что написано очень хорошо. Теперь вообще идут приготовления, так что можно ждать скорого выхода и второй книжки. Время есть приготовить.

[1] В первой книжке «Современника» 1863 г. был напечатан роман Ф. Н. Берга «Закоулок».

[2] Фельетон М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) был напечатан во 2-й книжке «Современника» без подписи, под заглавием *«Наша общественная жизнь»*. (Вступление.—Благонамеренные и нигилисты.—Сеничкин яд. — Мальчишки. — Современная эквилибристика.— Происхождение и причины ее).

10. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

[27 ноября 1862 г.]

...Недавно, дня три назад брали в III отд[еление] Кожанчикова[1]. Это по делу раскольников. Тут, говорят, *сидит один раскольник в креп[ости]*[2], и дело огромное, Кожанч[иков] известен своими изданиями старых книг и рукописей, и его подозревают в сношениях с закоренелыми раскольниками. Делали ему допросы все по этому поводу. Взяли по своему старому обыкновению ночью, но на другой день выпустили. Разумеется, и еще станут спрашивать. Обыск был только в его бумагах и бумагах Свириденко[3], но магазин не трогали.

Рассказывают, что взяли Шелгунова с женой (приятель Михайлова)[4]. Они отправились нынче летом в Сибирь, и теперь задержаны. В Тобольск несколько времени назад отправилась отсюда комиссия, судить всех тамошних чиновников, все высшего полета, за обед, данный там Михайлову в его проезд чрез Т[обольск]. Все эти господа отозвались, что этот обед устроили дамы, но это объяснение не приняли и за дам не принялись, а за их мужей[5].

[1] Кожанчиков Дмитрий Ефимович (ум. в 1877 г.) — купец, петербургский издатель-книгопродавец, 22 ноября 1862 г. был подвергнут обыску по делу о сношениях с «лондонскими пропагандистами» (процесс 32-х). Подробно об этом см. в книге М. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПБ. 1908, стр. 140.

[2] Под «раскольником», повидимому, подразумевается Ив. Ив. Шибаев, старообрядец. Он был арестован по процессу 32-х и привлечен к допросу 27 и 28 сентября 1862 г., на котором показал о сношениях Д. Е. Кожанчикова и Н. А. Серно-Соловьевича с В. И. Кельсиевым. См. там же, стр. 71 — 103.

[3] Свириденко Матвей Яковлевич (ок. 1830—1864) — управляющий книжным магазином Кожанчикова и участник радикальных кружков и воскресных школ.

[4] Приказ об аресте Н. В. Шелгунова с женой был дан 28 октября 1862 г. Арест состоялся в Сибири. О поездке их к М. Л. Михайлову с целью облегчения участи последнего и содействия к бегству его за границу см. Лемке М. Политические процессы в России 1860-х годов, М.—Л. ГИЗ, 1923, стр. 152.

[5] «Обед, данный Михайлову»—см. «Дело о послаблениях, оказанных начальствующими лицами города Тобольска государственным преступникам Михайлову, Обручеву, бессрочно-ссыльно-каторжному Макееву и другим преступникам», в результате которого губернатор был отстранен от должности и предан суду вместе с вице-губернатором, прокурором, полицеймейстером и смотрителем тюремного замка («Государственные преступления в России в XIX веке» под ред. Б. Базилевского (В. Богучарского) т. I, СПБ. 1906).

11. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

18 декабря 1862 г.

...Кожанчиков продолжает бывать иногда в этой комиссии, которая заседает в крепости. Там содержится один господин, который много впутывает народу в свое дело, и вот с ним были очные ставки. Путает он и людей,

которых знает, и людей, которых не знает и никогда не видел, так что об этом говорят, как о величайшей нелепости, из которой выйти ничего не может[1].

[1] Речь идет, без сомнения, о Вс. Костомарове, который к этому времени дал о себе знать своей предательской ролью в деле М. Л. Михайлова и в деле нелегального издательства и первой вольной типографии в Москве.

12. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

16 марта 1863 г.

...Дело Серно-Соловьевича в сенате, и ему предложено было выбрать себе адвоката, который бы наблюдал за его ходом. Он хотел просить об этом Спасовича[1], очень рьяного господина, но потом раздумал, и думает заняться им сам,— для развлечения. Он сам довольно хороший юрист. Он также виделся с братом и между прочим просил его хлопотать, чтобы дозволено было ему есть скоромное. Брат обратился к кому следует, но ему отвечали, что этого нельзя. «Если нельзя тут готовить, так пусть позволят мне присылать из дому».— «Нет,— говорят,— вы можете прислать ему с ядом».— Тот, разумеется, удивился такому предположению и просил готовить у самого коменданта, что он стал бы платить за это. Подумавши, и в этом отказали. Была такая же история с пломбой, которую просил прислать Сер[но]-Сол[овьевич]. Пломбу отдали докторам на рассмотрение, нет [ли] в ней чего ядовитого. Вот глупость-то где! По этому образчику вы можете судить, до чего может доходить нелепость всех этих господ.

[1] Спасович Владимир Данилович (1829 — 1906) — выдающийся криминалист и либерально-буржуазный публицист, профессор уголовного права Петербургского университета. В 1861 г. в связи со студенческими волнениями демонстративно вышел в отставку вместе с другими передовыми профессорами.

13. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

[Около 9 апреля 1863 г.]

...Гулянья наши совершались вместе с Антонович[1]; она всегда рада, если мы зовем ее с собой, иначе редко приходится ей выходить. Покупать что-нибудь также часто она просит помочь ей. Вчера оба они с горем рассказывали, что «Очерки» кончаются. Очкин, издатель, не желает продолжать издание и передает своих подписчиков «Совр[еменному] Слову»[2]. Как это все он сделает, еще неизвестно, но только все очень жалеют о падении этой газеты; она обещала все улучшаться и улучшаться. Если бы были деньги, то Ант[онович] и Елисеев удержали бы «Очерки», но нужных 20 т. ни у кого нет, так и спорить нечего.

[1] Антонович Елизавета Ивановна, жена критика.

[2] См. ст. С. Брейтбурга «К истории газеты «Очерки»» в сб. «Русская журналистика. Шестидесятые годы», стр. 51 — 71 и сб. «Эпиграмма и сатира» т. II, М.—Л. 1932, стр. 264—265.

14. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

16 апреля 1863 г.

...Только-что задумала я об отсылке «Очерков» М[инкевичу][1], как они и кончились. Но это ничего. Если хорошо сделать этакую вещь, то можно послать и «Совр[еменное] Слово», хотя эта газетка совсем не то, что «Очерки». На днях Елисеев и Антон[ович] написали возражение Очкину в том, что он сделал объявление о прекращении «Очерков» так, что можно думать, будто оно делается от лица всей редакции. Они говорят, что прода-

ка подписчиков «Совр[еменному] Слову» была для них так же неожиданна, как для этих подписчиков напр. Они послали это объявление в «Петер[бургские] Вед[омости]», но редактор их Корш[2] отказался напечатать под тем предлогом, что Очкин назван там Амплием Очкиным без прибавления «господин». Это, разумеется, глупо.

[1] Минкевич В., саратовский врач, близкий человек в семье Пыпиных. В 1861 г. им было получено внушение от жандармского майора Глобы за провозглашение тоста за здоровье заключенных студентов.

[2] Корш Валентин Федорович (1828—1893) был редактором «С.-Петербургских Ведомостей», носивших в 60-х годах умеренно-либеральный характер.

15. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

23 апреля 1863 г.

...Минк[евичу] «Совр[еменное] Слово» будет посылаться с 1-го мая. Вчера я ходила подписываться. Жалко, что это не «Очерки». Есть надежда на перемену в положении М[инкевича][1]? Где теперь его мать? Вы, маменька, совершенно напрасно думаете, что подобная вещь, как отсылка газеты, страшна. Тут никому дела нет до этого, даже мне. Отошлет редакция, да и все.

«Современник» теперь вам послан. Скоро последует вторая (т. е. 3-я) книга, а затем и апрельская....

Рассказывали на днях, что привезли сюда Шелгунова, у которого жил Михайлов и который отправился потом в Сибирь за Михай[ловым]. Теперь опять идет какое-то дело, и вот его притащили[2].

[1] В связи с делом Н. Г. Чернышевского, в Саратове произошел ряд политических репрессий по отношению к лицам, подозревавшимся в близости к нему, в том числе по отношению к доктору Минкевичу, который был выслан из Саратова, повидимому, в г. Варнавин (см. В. Сушицкий, Воспоминания Е. А. Белова о Н. Г. Чернышевском. — «Известия Н.-В. Института Краеведения», вып. IV, стр. 150—157).

[2] Речь идет о допросе Н. В. Шелгунова по делу М. Л. Михайлова и Н. Г. Чернышевского, состоявшемся 19 апреля 1863 г. См. Лемке М., Политические процессы, стр. 336.

16. Е. Н. ПЫПИНА — РОДИТЕЛЯМ

5 августа [1863 г.]

...Я еще не писала вам о последнем нашем свидании с Николей[1]. Мы с Сашей отправились по обыкновению прямо в квартиру коменданта, где и нашли О[льгу] С[ократовну][2], но свидание происходило в другом доме. Это свидание очень утешило нас, потому что Николя был в очень веселом расположении духа. Перед этим до нас доходили слухи о некоторых новых проделках Костомарова[3], конечно не могущих никак повредить Николе, но все-таки из-за них лишнее время тянется дело, а узнать что это такое, нельзя было, т. е. узнать вернейшим образом. Вот по поводу этого-то и хохотал Николя. Оказывается, что представлено какое-то письмо, будто бы писанное Николей, но так грубо подделанное, что оно могло только возбудить смех[4]. Это повторение в другом виде истории мещанина Яковлева[5].

Николя здоров; его видимо развлекала эта последняя история, а то в предпоследнее наше свидание он был скучен, как потому, что не было от свидания до свидания ничего сделано по его делу, так и потому, что он ждал О[льгу] С[ократовну] и не знал, когда она приедет.

[1] Николя — Н. Г. Чернышевский.

[2] Ольга Сократовна — жена Н. Г. Чернышевского.

[3] Костомаров Всеволод Дмитриевич — литератор, сыгравший предательскую роль в деле М. Л. Михайлова, Н. Г. Чернышевского и др.

[4] Речь идет о подложном письме, сфабрикованном Вс. Костомаровым от лица Н. Г. Чернышевского к вымышленному лицу «Алексею Николаевичу» и послужившем уликой для осуждения Николая Гавриловича. Оно было предъявлено последнему 24 июля (см. Лемке М. Политические процессы, стр. 441 — 448).

[5] «История мещанина Яковлева» — 8 апреля 1863 г. состоялся допрос лжесвидетеля Яковлева, привлеченного к делу Н. Г. Чернышевского Вс. Костомаровым. Яковлев подтверждал участие Чернышевского в составлении воззвания «К барским крестьянам». Впоследствии Яковлев раскаялся и предал гласности этот инцидент (см. Лемке М. Политические процессы, стр. 331 — 335).

НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ Н. В. ШЕЛГУНОВА О ДОБРОЛЮБОВЦАХ И ПИСАРЕВЦАХ

Публикация Г. Прохорова

В конце 1870 или в самом начале 1871 г. в СПБ. цензурный комитет на рассмотрение поступила из редакции «Дело» (в гранках) статья неизвестного автора под заглавием «Сочинения Д. И. Писарева. 10 ч. С.-Петербург. 1866—1869». Цензуровавший статью цензор А. де-Роберти не нашел возможным пропустить эту статью, и цензурный комитет, в заседании своем 13 января 1871 г., вынес следующее постановление: «Имея в виду, что с цензурной точки зрения большая часть сочинений Писарева признаны вредными по своему отрицательному направлению, цензор находит, что восхваление и чрезмерное возвышение подобного писателя в глазах молодых читателей журнала «Дело», отрицательное направление которого вызвало постоянный и строгий надзор цензуры, следует признать неудобным, и потому полагал бы настоящую статью не дозволять к печати» [1].

Официальный редактор «Дела» Шульгин с жалобой на это решение комитета обратился в Главное управление по делам печати. Последнее затребовало от СПБ. цензурного комитета «объяснение причин недозволения к помещению в журнале «Дело» статьи под заглавием «По поводу сочинений Писарева». Цензурный комитет в своем ответе (4 февраля 1871 г., № 198) мотивировал свое запрещение статьи соображениями, изложенными в журнальном постановлении комитета, добавив только, что напечатание данной статьи «имело бы значение пропаганды этого [отрицательного] направления между молодыми читателями этого журнала». Дело это Главным управлением было направлено на рассмотрение члену совета В. М. Лазаревскому (5 февраля 1871 г.), который стал на сторону цензурного комитета. 24 февраля 1871 г. Главное управление по делам печати уведомило редактора журнала «Дело», что «заключением совета этого управления, утвержденным Г. М-ром Внутр. Дел, распоряжение СПБ. цензурного комитета оставлено в своей силе» [2].

Так эта статья по поводу выхода в свет собраний сочинений Писарева и осталась неопубликованной.

Кому же принадлежит эта злополучная статья? Мы можем с уверенностью сказать, что автором ее был Н. В. Шелгунов.

Известно, что Шелгунов, особенно в годы ссылки, был деятельным сотрудником «Русского Слова» и затем «Дела»[3]. В начале 1870 г. Шелгунов из Вологды был переведен в Калугу. 11 ноября 1870 г. он писал своей жене Людмиле Петровне, что его ругает «Русский Вестник» за его статьи: «Я оказываюсь нигилистом, чего я до сих пор не подозревал. Но я остался доволен статьей «Р. В.», ибо о н а п о с л у ж и т м н е д л я в в е д е н и я в с т а т ь ю о П и с а р е в е, к о т о р у ю я д у м а ю п р и г о т о в и т ь д л я я н в а р с к о й к н и ж к и...»[4] [разрядка *Г. П.*]. 17 декабря 1870 г. Шелгунов в письме к Людмиле Петровне опять обращается к своей статье о Писареве: «Ну, я, наконец-то, доволен собой. Статья о Писареве, которую я посылаю сегодня — первая статья,

после которой я могу сказать, что могу писать. Я бросил перчатку молодому поколению за Писарева. Вижу, какой поднимается вой. Я восстановляю равновесие; ну и не особенно мягко. Впрочем, чего же я спешу. Прочитаете, и сами будете судить»[5]. Наконец, в письме от 19 декабря он снова пишет жене: «Если я не самообольщаюсь, то со статьей о Писареве (на январь и если пропустит цензура) я заберу силу. Это первая моя статья с отвагой»[6].

Эти выдержки из писем Шелгунова уже сами по себе позволяют утверждать, что поступившая в начале января в цензуру статья журнала «Дело» о Писареве принадлежит Шелгунову. Сопоставление же основных мыслей этой статьи с высказываниями Шелгунова в других статьях окончательно убеждает нас в правильности нашей догадки.

Говоря о различии между Добролюбовым и Писаревым, Шелгунов в данной статье, между прочим, пишет: «Добролюбов возится больше с обществом; Писарев — с лицом, Добролюбов указывает дорогу общественным стремлениям, Писарев заставляет задумываться над единичным поведением... Добролюбов всегда задевает чувство; Писарев обходит его, зная только одного слушателя — ум»...

«Еще при жизни Писарева «Книжный Вестник», редактируемый тогда г. Ефремовым, назвал журнал, в котором участвовал Писарев, органом юной России, а журнал, в котором поддерживались традиции Добролюбова, — органом молодой России».

Сравним с этим то, что Шелгунов писал на эту же тему в том же 1870 г. в статье: «Глухая пора» («Дело» 1870 г., № 4, стр. 12): «Добролюбов переносил вопросы больше на социально-экономическую почву, оставляя мелкий психологический анализ, Писарев же стоял на почве социально-психологической. Один является руководителем как бы общественного поведения, другой — поведения личного, частного».

В своих воспоминаниях Шелгунов высказывается подробнее. «Любители определений называли «Современник» журналом молодого поколения, а «Русское Слово» — журналом юного поколения. Это определение, конечно, ничего не объясняет. «Современник» был чисто политическим и социально-экономическим органом... «Русское Слово» не было политическим органом»[7].

«Было известно лишь, что «Русское Слово» есть журнал подрастающего поколения, в отличие от «Современника», который считался журналом поколения молодого. Читатели «Современника» смотрели на «Русское Слово» с оттенком некоторого высокомерия, как на журнал начинающих писателей для начинающих читателей»[8].

«Современник», действительно, был журнал более серьезный и разрешавший иные вопросы, чем «Русское Слово». Может быть, это зависело от состава его сотрудников, но, пожалуй, еще больше и от времени, в которое он издавался. «Современник» и Русское Слово» прежде всего принадлежали разному времени.

Пока не начались реформы, «Современник» отдал свои силы популяризации общих исторических понятий и первоначальных общих идей из области литературы...

И «Русское Слово» создалось тою же логичностью общественного мышления. Оно явилось уже в такое время, когда острый момент всех вопросов миновал... Этим новым очередным вопросом было выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения, содержания и отношения к обществу и общему прогрессу... Итак, личность как личность не составляла задачи «Современника», и задача эта досталась на долю той последующей журналистики, для которой реформы и ближайшие, связанные с ними вопросы являлись чем-то прошлым...

«Русское Слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали,

первую сторону которой представлял «Современник»... Областью «Современника» были учреждения и порядки, областью «Русского Слова» — интеллигентная личность» [9].

Приведенные соображения позволяют признать принадлежность статьи о добролюбовцах и писаревцах Шелгунову — бесспорной.

Публикуя статью Шелгунова о Писареве, мы ставим перед советским литературоведением снова вопрос о Писареве. Этот замечательный и блестящий критик не привлек к себе надлежащего внимания; о нем нет таких обстоятельных работ, чтобы мы могли сказать: он нам ясен до конца, роль его в 60-х годах и позже определена бесспорно, в мировоззрении его нет таких моментов, которые не подлежали бы дополнительному исследованию.

Несмотря на существующие работы Писарева, из которых некоторые отличаются несомненными достоинствами, Писарев все еще ждет своего исследователя, который сказал бы о нем окончательное слово.

Статья Шелгунова в этом отношении представляет глубокий интерес, поскольку выдвигает ряд вопросов, волновавших его и его современников в споре Писарева с Чернышевским и Добролюбовым. Статья Шелгунова выражает не только его личное мнение,—это мнение многих людей его времени. Она в достаточной степени указывает направление той части общественного мнения, выразителем которого был Шелгунов.

Не вдаваясь в критический разбор статьи, ошибочность многих положений которой ясна, но которая имеет значение как исторический документ, мы хотели бы подчеркнуть один момент — защиту Шелгуновым суждений Писарева о Пушкине и Белинском. Абсурдность этих суждений очевидна. Внимание критической мысли должно быть сосредоточено в дальнейшем не на опровержении их, а на выяснении того, какие исторические условия, какие моменты классовой борьбы обусловили данную постановку вопроса. Ошибочные суждения о Пушкине не помешали Писареву многие вопросы современности поставить зрело и верно. Недаром В. И. Ленин в полемике с «Рабочим Делом» писал в «Что делать?», что он попробует «спрятаться» за Писарева», и делает большую выписку из его статьи «Промахи незрелой мысли» о разладе между мечтой и действительностью (Ленин, т. IV, стр. 492).

В статье Шелгунова есть ряд неверных моментов и в характеристике Добролюбова. Все это читатель легко увидит и сам, если его волновали поднятые Шелгуновым вопросы и если он следил за соответствующей литературой.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Дело СПБ. цензурного комитета по изданию штабс-капитаном Шульгиным ежемесячного журнала «Дело» № 76. 1866 г., т. II, л. 210.

[2] «Главное Управление по делам печати» 1866 г., ч. I, № 89. По изданию журнала «Дело», лл. 259—270.

[3] В «Русском Слове» Шелгунов начал сотрудничать с первого года основания журнала (1859), еще до того, как журнал перешел в редакторские руки Благосветлова — ср. А. Г. Фомин, Писатель-гражданин. — «Истор. Вестн.» 1908, авг., стр. 501.

[4] Л. П. Шелгунова, Из далекого прошлого. Переписка Н. В. Шелгунова с женой. СПБ. 1901, стр. 216.

[5] Там же, стр. 218.

[6] Там же, стр. 218.

[7] Н. В. Шелгунов, Воспоминания, ГИЗ, 1923, стр. 171.

[8] Там же, ГИЗ, 1923, стр. 179.

[9] Там же, стр. 180, 181, 182.

СОЧИНЕНИЯ Д. И. ПИСАРЕВА

10 ч. С.-Петербург

1866—1869

I

В каждом городе, где есть читающая и думающая молодежь, вы найдете две партии: одна поклоняется Добролюбову, другая—Писареву. Если эти партии имеют возможность где-нибудь сходиться, они немедленно вступают в ратоборство, и бывали случаи, когда разгоряченные борцы готовы были прибегать к аргументации более сильной, чем простое красноречие. Я говорю бывали, хотя спор о Писареве и Добролюбове все еще не кончился и обоюдное отношение их все еще не выяснено.

Если бы вы желали узнать, что разделяет борцов и почему Добролюбов и Писарев изображают собою такое противоположное начало, что спор мог привести даже к междоусобной войне, вы не услышали бы ни одного мнения, которое можно было бы назвать резонным. Борцов разъединяли не принципы, не основы мировоззрения; весь спор обыкновенно сводился к тому, кто умнее, кто пишет и думает логичнее и основательнее, кто первый, кто второй.

И в сфере более высшей замечался, да существует еще и до сих пор, тот же антагонизм. Те, кто считает себя человеком молодого поколения, кто уже утвердился на середине, завелся семьей, достиг известного положения, те смотрят на Добролюбова как на своего наставника. На досуге, вечерком, воротившись со службы, в минуту хорошего расположения духа, когда приятно вспомнить свою молодость и юношеские увлечения, молодой отец семейства достает Добролюбова—обыкновенно четвертую часть—и освежает в своей памяти прошлое, невозвратное, согревает себя воспоминаниями минувшей молодости. Но пошаливая так с Добролюбовым, молодой отец семейства Писарева не только не берет, но он его и не имеет. Он развивался не на Писареве.

Поднимаясь в сферу еще высшую, в мир русского интеллектуального представительства, т. е. в литературу, мы встречаемся с повторением того же явления. Там Писарева игнорируют, игнорируют до того, что когда он умер, когда вышло отдельное издание его сочинений, то об них обмолвился только один г. Скабичевский, да и то для того, чтобы показать все ничтожество Писарева сравнительно с Добролюбовым [1]. Я думаю, что г. Скабичевскому должно быть теперь стыдно за свою тогдашнюю статью.

Еще при жизни Писарева «Книжный Вестник», редактируемый тогда г. Ефремовым [2], назвал журнал, в котором участвовал Писарев, органом юной России, а журнал, в котором поддерживалась традиция Добролюбова—органом молодой России. Это говорилось с иронией, с оттенком презрительного превосходства.

Все эти отдельные факты важны потому, что ими объясняется причина антагонизма сторонников Добролюбова и Писарева. Вопрос свелся к борьбе поколений, к отцам и детям. В пылу спора забыли и о Добролюбове и о Писареве, имена которых служили не знаменем партий, потому что это было и невозможно, а просто кличкой противников. Не думайте, чтоб кому-либо было действительно серьезное дело до идей Добролюбова и Писарева. В Добролюбове и Писареве каждый видел лишь себя и отстаивал свое поколение или, вернее, своих сверстников.

Действительно, Добролюбова и Писарева разделяет такой промежуток времени, что можно было кончить курс в университете и даже жениться. Когда господствовал Добролюбов и воспитывал молодых людей 57—61 года, Писарев только расправлял крылья и учился писать. Когда же с 1863 года Писарев поднял голос и заговорил как учитель, те, кто слушал курс у Добролюбова, закончили уже свое учение и сложили книги: Писарев не мог

быть для них ни авторитетом, ни наставником, они начали относиться к нему сверху, называя его учителем юных, а себя считая молодыми, зрелыми, окончательно сформировавшимися на слове своего учителя. Это обыкновенная история застоя, но только повторившаяся на наших глазах. Мы были знакомы с нею по поколению Белинского, которое не хотело признать Добролюбова, теперь же пришлось еще раз увидеть ее на поколении Добролюбова, не хотевшем признать Писарева.

Вся беда случилась оттого, что Добролюбов умер рано и что рядом с ним народился Писарев. Людям всегда нужен один командир, один пастух; два произведут непременно раскол, если даже они будут говорить букву в букву одно и то же. Если бы Добролюбов жил до сих пор, а Писарева не было, умственное благополучие молодого поколения ничем не нарушилось и оно с покорностью шло бы за своим единственным учителем. К сожалению, явился непредвиденный случай: свой учитель умер преждевременно, не сказав своего последнего слова, за ним выступил другой. «Долой Писарева! мы не этого прихода!—закричали недоучившиеся ученики.—Мы уже все знаем, нас всему научили, мы можем жить своим умом!» Ну, и начали жить своим умом, т. е. остановились на том, что читали прежде. На литературном языке это называется сохранить традицию Добролюбова. Так поколение Белинского и до сих пор сохраняет его традицию и знать не хочет новой жизни. Поколение Добролюбова тоже хочет сохранить его традицию. Но позвольте: если бы Добролюбов писал в 1870 г., как вы думаете, писал ли бы он то же самое, что писал в 1860 году? Что же вы-то тянете все одну старую ноту, зачем оскорбляете память своего учителя, заставляя его закостенеть в 25 л.; зачем вы навязываете ему свою собственную неспособность, откуда вам известно, что Добролюбов сказал свое последнее слово, а ничего бы не сказал нового? Вы издеваетесь над поколением Белинского, которое не признало Добролюбова, вы укоряете это поколение в неспособности думать прогрессивно, вы видите в Добролюбове не больше, как логическое продолжение Белинского, который, не умри он так рано, конечно, додумался бы и до того, с чего начал Добролюбов; и затем, порешив с возведением себя в перл создания и утвердившись на собственной непогрешимости, вы уже не допускаете никаких других продолжений. Подобно калифу Омару, вы говорите: «если в других книгах повторяется то, что есть в Коране (сочинения Добролюбова)—они не нужны. Если же в них есть то, чего нет в Коране, они тоже не нужны». О, какая это старая история, старая, как мир! А не собственный ли ваш учитель учил вас думать самостоятельно и прогрессивно? Бедное молодое поколение, как ты скоро закаменело и как же ты не оправдало надежд своих лучших наставников! Они считали тебя гораздо способнее, они умирали с верой, что ты пойдешь дальше, что ты призвано совершить великую миссию умственного обновления России, призвано разлить просвещение, изгнать предрассудки. Если бы Добролюбов воскрес теперь внезапно и посмотрел на тех, кто считает себя его учениками, он отвернулся бы от так называемого молодого поколения, как от умственной безнадежности, и пошел бы с другими.

Да, молодое поколение не сумело понять урока судьбы, не желавшей покинуть его в умственной беспомощности и пославшей ему по смерти Добролюбова нового наставника в лице Писарева. Не сумело понять молодое поколение, что как Добролюбов есть продолжение Белинского, так Писарев есть продолжение и дополнение Добролюбова. Молодое поколение остановилось, и за Писаревым пошли другие. И снова на наших глазах повторилась старая история разрыва поколений. Молодое поколение превратилось внезапно в юных старцев, в толпу, в стоячую воду, дальнейшее умственное развитие его прекратилось, оно созрело и даже переспело. Мир праху твоему, молодое поколение! Умерло ты ничего не сделавши и напрасно ты так

гордилось и так возносилось над людьми сороковых годов и над поколением Белинского. То поколение освободило крестьян, создало гласный суд, все реформы нашего времени явились в зародыше в головах людей сороковых годов; что же сделало молодое поколение, какую из своих идей оно осуществило на практике? Никакой. Оно превратилось только в исполнительное орудие идей сороковых годов, и, отрекшись от собственных смелых мыслей, надсмеялось над ними, как над заблуждением молодости.

Молодым (ныне уже старым) поколением я называю небольшую кучку людей, которая в 1857—1862 г. считала себе 20—25 лет и формировала свое мировоззрение на передовой литературе того времени. Порывисто и с шумом шло это умственное развитие; отзывалось оно энтузиазмом, горячностию и слепотой; слов было много, запальчивость заменяла рассуждение, порыв—энергию; но прочности не было ни в мысли, ни в порыве. Первый противный ветер мог разнести и раздуть эту кучку, как разносит он листья. Молодое поколение считало своим учителем Добролюбова; это было самообольщением, которое разделял и сам Добролюбов. Не умри он так рано, он бы это понял; но молодое поколение, пережившее своего учителя, этого не поняло. Оно до сих пор считает Добролюбова своим, хотя между молодым поколением и Добролюбовым целая бездна. Бездна эта образовалась потому, что молодому поколению досталась слишком дешево его цивилизация. «Наши благородные юноши обыкновенно получают свои возвышенные стремления довольно просто и без больших хлопот. Они учатся в университете и наслушаются прекрасных профессоров, или в гимназии еще попадают на молодого пылкого учителя, или входят в кружок прекрасных молодых людей, одушевленных благороднейшими стремлениями, свято чтущих Грановского и восхищающихся Мочаловым или, наконец, читают хорошие книжки, т. е. «Отечественные Записки» сороковых годов. Весьма часто все эти счастливые случайности сходятся вместе и помогают одна другой. Таким образом развитие простых человеческих стремлений совершается в добрых юношах без особенных героических усилий; им хочется есть, и им со всех сторон говорят: пойдемте обедать и они идут. Вот и все». Это говорит Добролюбов о поколении предшествовавшем. Но разве прекрасным юношам молодого поколения досталось новое слово не так же дешево? Ведь только в этом и причина, что прекрасные юноши ушли лишь в либерализм, которого предыдущее поколение не знало. Либерализм есть явление, созданное молодым поколением, и до какой лжи и фальши он способен доходить, виднее всего на том литературном пустоцвете, которым так обогатилась журналистика последнего времени, на тех крикунах, которые перевели великие слова на мелкие дела. Какие же последствия этого либерализма, возьмем его хоть в повседневной сфере. Молодое поколение, как известно, переженилось, обзавелось детьми, достигло прочного общественного положения, т. е. нашло выгодную службу. Все это, положим, хорошо. Но вот что нехорошо. Отец из молодого поколения, в принципе отрицающий сечение, на практике, в виде исключения, сечет и своих и чужих детей. Учил ли этому Добролюбов? Молодое поколение погрязло в тех же семейных предрассудках и молится тому же мужскому главенству, как былые «отцы», и то, чем оно так увлекалось в свои холостые годы, теперь считает юношеской шалостию. Так ли учил Добролюбов? Три четверти из всего того, что молодое поколение считало истинами, оно признает теперь истиной только в принципе, а для практики есть у него другие истины. Этому ли дуализму учил Добролюбов? Для молодого поколения делом вышло слово, и ни для какого настоящего дела оно себя не выработало. Мы готовы на уступку, и примирились бы с молодым поколением, еслиб оно было способно хотя бы думать-то последовательно. Но именно этой способности в нем и не оказалось. Бедное, слабосильное поколение выговорилось и затем осело, исчезнув бесследно со все-

ми своими порывами и горячими словами, точно его и не было. Молодое поколение решительно не дало людей. Повсюду нынче жалобы на недостаток способных исполнителей. В судах у нас нет адвокатов; в земстве—знающих людей; в статистических комитетах—способных работников; в литературе—людей на смену прежних деятелей. Куда же делась вся эта масса людей, может быть, тысяч в двадцать, которая так горячо и пылко накинулась на новое слово и рекомендовала себя России новым титаном, грозившим похитить с неба небесный огонь, чтобы осветить Россию новым неведомым светом. Нового Прометея не оказалось необходимости даже приковывать, потому что он стушевался сам собою. Из всей громадной массы людей, считающей себя молодым поколением, в адвокатуре, в науке, литературе, выдались только немногие единицы, да и те больше сверстники Добролюбова, его одногодки, и мы еще не знаем, следует ли их считать людьми молодого поколения. Они люди — параллельные Добролюбову и, если хотите, такие же учителя, как он. В этих людях мы видим не людей поколения, а людей, стоящих вне его; людей текучей мысли, которые шли с молодыми, пока молодые еще двигались, пошли потом с подрастающими и всегда будут итти с теми, кто идет вперед, не спрашивая, к какому они принадлежат поколению.

В умственном бессилии молодого поколения причина того, что оно не могло итти дальше Добролюбова и закаменело на его полуслове, вообразив, что и Добролюбов был не в состоянии сказать ничего более. Слышите! Добролюбов, человек замечательных способностей, умерший внезапно 26 лет, недостигший полного развития своих сил, едва только пробивавший дорогу в лесу русской мысли, человек, успевший высказать только некоторые общие положения и едва наметивший новое направление литературной критики, человек, у которого на пути еще стояли люди прошлого, с которыми хотя он и сражался, но которые все еще были живы, человек, едва успевший смести только часть накопившейся пыли! Думать, что Добролюбов сделал все и сказал все, думать, что намеченная им программа может достать на полвека и что русскому мозгу позволяется целое полстолетие дремать и жить старыми мыслями — думать так, значит думать очень глупо.

Для мысли нет границ; она растет и развивается, не зная остановок и перерывов. Русская жизнь не остановится и русская мысль не закостенеет, если умирают отдельные деятели или выразители ее. Белинский умер, но от этого Россия думать не перестала. Если поколение Белинского оказалось неспособно думать своим умом, то оно доказало этим лишь собственную неспособность, а вовсе не паралич русской мысли. Где жила эта мысль после смерти Белинского — мы не знаем, но она жила, никогда не думала умирать и в 1855 г. заявила о своем существовании таким блистательным образом, что поколение Белинского пришло даже в ужас от внезапно вставшего перед ним реформатора. Добродушные люди думали, что умнее Белинского уж и думать невозможно и внезапно оказывается, что русская мысль может итти дальше. На Добролюбове и Писареве пример этот повторился еще раз. Не долго работал Добролюбов, да и работа его была довольно неблагодарная. Он должен был держаться сферы общих вопросов, а потому и употреблять средства сильные и крупные — может быть, вследствие того, Добролюбов должен был работать в сфере общих вопросов и молодое поколение оказалось неспособным итти дальше общих рассуждений и на них остановилось.—Добролюбов умирает; недоконченная мысль должна бы, повидимому, вызвать необходимость дальнейшей ее разработки; но молодое поколение думало иначе и, когда продолжателем Добролюбова явился Писарев, молодое поколение от него отвернулось.

А между тем Писарев был только дальнейшим продолжением той же русской мысли. Он был дополнением и поправкой того русского суждения,

которое выразилось в Добролюбове. Если бы со смертию Добролюбова не явилось никого, умственный покой молодого поколения не был бы ничем нарушен и наступило бы затишье в роде того, какое наступило после Белинского. Судьба оказалась на этот раз благосклоннее к России и, вместо того, чтобы дать зреть русской мысли в тиши, она сейчас же по смерти Добролюбова послала ему на смену нового гласного представителя. Но молодому поколению это показалось ненужной и обременительной роскошью: оно было уже утомлено непривычной работой мысли и чувствовало полное бессилие даже и прежнему своему мышлению дать практическое применение.

Какими бы словами молодое поколение ни оправдывало свою верность добролюбовской традиции,—эта верность в сущности застой. Если вы останавливаетесь на традиции, на раз усвоенном вами мнении, не желаете ни проверить его новыми фактами, ни исправить своего суждения, значит ваша мысль отказывается от дальнейшей работы. Каким хотите красивым словом назовите это состояние, оно все-таки не что иное, как неспособность к дальнейшему развитию. Тут незачем маскироваться олимпийским презрением к летам нового проповедника и к той форме, в какой он выражает свою мысль; незачем ссылаться, что мы не того прихода. Говоря это, мы говорим другими словами, что нам не нужна истина. Если мы скажем, что Белинский и Добролюбов выразители русской мысли в разные моменты ее развития, мы этим самым говорим, что и Писарев есть тоже выразитель русской мысли в новом ее моменте; отрицая же законность появления Писарева, мы отрицаем законность Белинского и Добролюбова, отрицаем законность и последовательность собственного умственного существования. Писарев не нарост извне, не человек, свалившийся с луны, он такой же органический продукт русской мысли, какими были и все его предшественники. Писарев прямое последствие умственного пробуждения и движения, начавшегося у нас в 55-м году. Писарев зрел и развивался, когда Добролюбов уже действовал, но развивался на тех же основаниях, рос в той же умственной школе, из которой вышел Добролюбов. Поэтому, явившись в качестве критика-публициста, когда Добролюбов уже сошел со сцены, Писарев явился только продолжателем того же движения мысли. В пору своей силы Писарев ни разу не изменил направлению, которое началось Белинским и продолжалось Добролюбовым. Он пробивал дальше ту же самую тропинку.

Молодое поколение не поняло этого; оно усмотрело антагонизм в том, в чем его не было; ему нужны были имена и лица, а не логика; оно точно хотело, чтобы Добролюбов никогда не умирал, а если бы когда-нибудь это случилось, то чтобы Россия не смела выставлять никого другого ему на смену. Став под знамя, когда его держал Добролюбов, молодое поколение не хотело стать под то же знамя, когда его держал Писарев, точно это знамя изменилось оттого, что оно не в прежних руках. Этой фанатической преданностию букве, а не духу и смыслу, молодое поколение показало, что оно толпа, как и всякая толпа, что прогрессивная роль им сыграна и что его должны сменить силы более свежие, более надежные, более способные к работе мысли. Явятся ли эти силы или нет в подрастающих—неизвестно, и пессимисты этого не думают, но верно то, что Писарев работал для этих сил, а не для молодого поколения.

Взглянув на Писарева, как на своего врага, молодое поколение не нашлось сказать против него ни одного дельного слова. В литературе и в обществе во всех спорах, которые велись за и против Добролюбова и Писарева, обнаруживалась только запальчивость и полное бессилие подняться выше формализма. Вместо того, чтобы определить смысл слов Добролюбова и Писарева, разъяснить, почему иногда в этих словах являлись противоречия и точно ли это противоречия, а не поправка или дополнение суждения, спорящие стороны бросились в личную оценку Добролюбова и Писарева,

стали измерять их циркулем, взвешивать на аптекарских весах, точно этот вопрос представлял какую-нибудь серьезную важность, точно стоит спорить о лице, если это не ведет к разъяснению сущности идеи.

В этом случае наше общество обнаружило снова свою старую мелочность и ту привязанность к букве, которая так грандиозно обнаружилась уже в русском расколе. Спор о мелочах заслонил главное, и нашумевшие борцы, натешившись в волю словами, вообразили, что они совершили подвиг. Разве это не те же щепетильности и пустяки, разве это не та же забота о повязывании галстуха, которою уже корил раз Добролюбов русское общество? Ну, вот вам говорил и свой, а разве вы его послушали?

Ратоборцы, кинувшись в личную оценку Добролюбова и Писарева, свели спор к симпатии и антипатии. Ну, просто ухо привыкло слышать известный голос, глаз привык видеть известное лицо, а когда заслышался другой голос, появилось новое лицо, повязка галстуха оказалась иного вида—люди привычки посыпали головы пеплом, закрыли глаза и заткнули уши: комедия кончилась и зрители разошлись опять. Вот и умственный прогресс молодого поколения!

Мы не отрицаем того, что со стороны формы между Писаревым и Добролюбовым есть громадная разница; в характере их сил есть тоже большие особенности. Но если бы молодое поколение было способно исправить свое суждение, оно бы поняло, что Писарев ему больше на руку, чем Добролюбов. И Добролюбов и Писарев, в сущности, оба популяризаторы: но Добролюбов говорит гораздо строже, точно он обращается к людям солидным и равным; Писарев говорит проще и пространнее. Эту простоту и пространность многие из привычки к сжатой речи Добролюбова приняли за недостаток основательности и порешили, что Добролюбов умнее Писарева. В манере Добролюбова, если хотите, есть нечто берневское, на которого он и походит по своему политическому мировоззрению; в Писареве же больше гейневской расплывчивости и многообразия. Добролюбов бил в ближайшую цель,—Писарев бил дальше и обнимал более широкий круг предметов. Добролюбов пишет иногда точно пришла пора действовать; Писарев знает, что действовать нечего и потому популяризирует. Добролюбов рассуждает; Писарев всегда учит. Добролюбов возится больше с обществом; Писарев — с лицом. Добролюбов указывает дорогу общественным стремлениям, Писарев заставляет задумываться над единичным поведением; Добролюбов хочет пробудить энергию, Писарев—научить думать. Добролюбов относится к окружающим явлениям сам критически. Писарев хочет научить относиться критически к жизни самого читателя. Добролюбов говорит и, поучая, прибегает к историческому приему изложения, ищет иногда подкрепления в эрудиции; Писарев всегда беседует, как учитель на кафедре, разматывая клубок мысли и научая процессу мышления. Добролюбов серьезен, сдержан, мало заботится о занимательности и форме, хотя и прибегает иногда к иронии; Писарев всегда думает о простоте формы и занимательности, подслащивает горькую правду и завертывает сухую истину в красивую бумажку; Добролюбов дает чувствовать свою страстность; убеждая, он возбуждает, горячит, злит; Писарев находит, что возбуждать страсть незачем; он переживает в себе все внутренние процессы и дает читателю готовый спокойный вывод. Добролюбов всегда задевает чувство; Писарев обходит его, зная только одного слушателя — ум. Добролюбов больше согреет; Писарев о согревании не заботится и скорее обольет холодной водой; Добролюбов действует через страсть на ум и верит в прогрессивные силы общества; Писарев не верит в эти силы и думает, что сначала нужно исправить суждение и научить мыслить. Добролюбов, допуская в молодом поколении известные силы, бережет их и не оскорбляет словом; Писарев,

не доверяя им, относится к ним с скептицизмом, переходящим иногда в презрение; Писарев точно хочет сказать: ну где вам, ребятишки, заниматься такими делами, лучше учитесь, да привыкайте думать. Добролюбов осторожен и многие предрассудки задевает только слегка и до некоторых авторитетов, как Пушкин, едва прикасается; Писарев запальчивее и отважнее и смело бросает перчатку всякому предрассудку и всякой рутине.

В деле личного вкуса, конечно, можно сказать, что такой-то нравится мне больше, а такой-то меньше. Но в деле мысли руководиться вкусом нельзя; тут только надо проверять суждение и принимать то, которое безошибочнее. Я не стану утверждать, что Писарев был всегда передовее Добролюбова и заслонял его совершенно; в Писареве было кое-что, чего недоставало Добролюбову, и в Добролюбове было кое-что, чего недоставало Писареву. Конечно, было бы лучше, если бы это кое-что взаимно пополнялось, но, подчиняясь факту, мы берем и Добролюбова, каким он был, и Писарева, каким он был. К Добролюбову влечет его политическая жилка: политический пульс бился в нем сильно; в Писареве же он скрыт и пробивается изредка.

Ни весами, ни циркулем мы не станем производить измерения сил Добролюбова и Писарева; мы не станем рассматривать их, как два противоположные и независимые начала, как две отдельные силы. Этот прием ведет не к пониманию, а, напротив, к непониманию. Добролюбов и Писарев—две равные силы одного происхождения, одной почвы, одного источника, одного времени; они, как две стороны одной медали, взаимно пополняют друг друга; они оба представители одной эпохи, того нового фазиса русской мысли, в который вступила Россия после Крымской войны. Следовательно, они не противники или враги, явившиеся разделить русское общество, а взаимно пополняющие силы, которые должны помочь русскому сознанию больше, чем взятые отдельно. Добролюбов и Писарев—знамения времени, и нам нужно не спорить из-за них, или делиться на партии и враждебные лагери, а напротив, видеть в одновременном их появлении характеристический признак нашей эпохи. У сороковых годов был только о д и н Белинский и целая плеяда беллетристов; у нашего времени, напротив, несколько одновременно выдавшихся критиков и публицистов и почти ни одного беллетриста. Это признак более возмужалой зрелости целого общества, которое хочет слушать, поучаться и понимать, а не услаждать свой досуг. Литература становится не отдыхом или забавой, а аудиторией. Тридцать лет назад и Добролюбов и Писарев сделались бы романистами; в наше время они стали критиками-публицистами. Тридцать лет назад они удовольствовались бы поверхностным воспитанием себя для беллетристики; в наше время они являются людьми, становящимися на уровень с современным европейским знанием. С новыми слушателями нужно говорит твердо, с полною уверенностью в свои силы.

Молодежь, которая по поводу Писарева и Добролюбова вступает в диспуты, обнаруживает только свою мыслительную слабость и свое непонимание ни Добролюбова, ни Писарева, ни основного духа их учения. Люди эти учили самостоятельности мысли. Они явились врагами авторитета не для того, чтобы их самих поставили на пьедестал и курили им фимиам. Переменой старых богов на новых молодежь показывает только, что она еще не окрепла в самостоятельном мышлении и идолопоклонствует по-старому. Читайте Добролюбова и Писарева не для того, чтобы спорить из-за них, а для того, чтобы понять их и укрепить свою мысль в том многообразии, которое дают вам оба эти мыслителя.

После этого довольно длинного вступления, без которого Писарев был бы неясен, я покажу читателю его значение для нашего времени и сущность тех мыслей, выразителем которых он явился. Читатель убедится, что для враждебного отделения Писарева и Добролюбова и для распадания поучающейся России на два враждебных лагеря нет никакой причины.

II

Непонимание Писарева шло у нас так далеко, что его укоряли именно в том, что составляет его главное достоинство. Были порицатели, которые заявляли в печати, что Писарев вовсе не критик, что он только перефразирует тех писателей, которых разбирает. Говорить такие наивности, значит смотреть в книгу, а видеть фигу. Для ясности прибавлю, что подобное порицание шло из лагеря эстетиков, которым Писарев очень любил надевать колпаки с погремушками.

В критико-публицистском поведении Писарева не было ни одного действия, которое не было бы обдумано строго. Роль критика, как понял ее Писарев, состоит не в том, чтобы прикладывать к художественным произведениям различные статьи готового эстетического кодекса; она не в том, чтобы наблюдать за точным исполнением неподвижного закона. Критик—живой человек, который вносит и обязан вносить в свою деятельность все свое личное мировоззрение, весь свой индивидуальный характер, весь свой образ мыслей, всю совокупность своих человеческих и гражданских убеждений, надежд и желаний. При таком широком взгляде на роль критика, он является не мертвым формалистом, подобно эстетикам, придерживающимся одного вечного мертвого закона, а живым человеком, который будет решать вопросы так или иначе, смотря по тому, чего он требует от жизни и каким образом он понимает характер и потребности своего времени. Г. Николай Соловьев, которому так доставалось от Писарева, конечно, не мог простить Писареву такого воззрения на значение и роль критики[3]. Но так как в арсенале г. Соловьева нет ничего, кроме пустых слов, то и опровержение его приняло комический характер обвинения в том, что Писарев не сказал тут ничего нового и явился лишь раболепным последователем мыслителя, провозгласившего это учение ранее. Ну, конечно, г. Соловьев, до Писарева были у нас мыслители, а до этих мыслителей были мыслители на Западе и между этими мыслителями был Лессинг. Лессинг не разделял критики от жизни и постоянно учил самостоятельному и прогрессивному мышлению. Еще раньше Лессинга прогрессивному мышлению учили люди реформации, и когда один из кораблей отплывал из одной европейской гавани в Америку с первыми переселенцами, то пуританский священник, напутствовавший их, сказал им, чтобы они не закостенели в церковных формах и были бы прогрессивны и в религии; а г. Николай Соловьев триста лет спустя не позволяет быть прогрессивными русским критикам, разбирающим литературные произведения!

Зная, что в России очень много Соловьевых, Писарев, определяющий себе критическую программу, говорит: «Мы бедны и глупы. Мы бедны—это значит, что у нас сравнительно с общим числом жителей мало хлеба, мало мяса, мало сукна, мало полотна, мало платья, обуви, белья, словом всех продуктов труда, необходимых для поддержания жизни и для продолжения производительной деятельности. Мы глупы—это значит, что огромное большинство наших мозгов находится почти в полном бездействии и что, может быть, одна десятитысячная часть наличных мозгов работает кое-как и вырабатывает в двадцать раз меньше дельных мыслей, чем сколько она могла бы выработать при нормальной и нисколько не изнурительной деятельности... Но мы не идиоты и не обезьяны по телосложению, а люди кавказской расы, сидевшие сиднем подобно нашему милому Илье Муромцу и, наконец, ослабившие свой мозг этим продолжительным и вредным бездействием. Надо его зашевелить и он очень быстро войдет в свою настоящую силу». «Мы,—говорит Писарев в другой статье,—нуждаемся в решении самых элементарных вопросов жизни и нам некогда заниматься тем, что не имеет прямого отношения к этим вопросам. Мы жить хотим и, следовательно, назовем дея-

телем жизни, науки и литературы только того человека, который помогает нам жить, пуская в ход все средства, находящиеся в его распоряжении».

И вот Писарев пускает в ход все средства, находящиеся в его распоряжении; он направляет всю свою деятельность, чтобы будить и шевелить спящий русский мозг, чтобы заставить его присматриваться к окружающим его явлениям, ко всем мелочам наших будничных, семейных и общественных отношений. Каждый роман, каждая повесть, каждое литературное или ученое произведение, по поводу которых говорит Писарев, служат ему только для того, чтобы разбирать и выворачивать на все лады нашу жизнь, чтобы самым инквизиторским образом подкапываться под поведение героев, чтобы разобрать и рассортировать все их действия, показать дрянность, глупость, пустоту.

В своем критическом приеме Писарев всегда суров и холоден. Он, точно анатом, рассекает хирургическим ножом разбираемые им лица на глазах читателя; преследует их самым холодным анализом и затем подводит итог; и поступает Писарев таким образом не случайно, не по вдохновению, а по строго обдуманному плану поведения. Он говорит, что как историк разлагает каждое явление на его составные части, изучает каждую часть отдельно, определяет все составные элементы и выводит общий результат, так точно должен поступать и критик. «Вместо того, чтобы плакать над несчастиями героев и героинь; вместо того, чтобы сочувствовать одному, негодовать против другого, восхищаться третьим, лезть на стену по поводу четвертого, критик должен сначала проплакаться и пробесноваться про себя, а потом, вступая в разговор с публикою, должен обстоятельно и рассудительно сообщить ей свои размышления о причинах тех явлений, которые вызывают в жизни слезы, сочувствие, негодование или восторги. Он должен объяснять явления, а не воспевать их; он должен анализировать, а не лицедействовать». И этому приему Писарев никогда не изменяет. Вы, пожалуй, можете не согласиться с его анализом—это ваше дело; но вы и не согласитесь-то только оттого, что Писарев расшевелил ваш мозг и заставил вас думать. А этого только и добивался Писарев. Его задача помогать развитию, давать материал для размышления, предлагать полезные знания, свежие и живые идеи, расширять взгляд, сообщать сознательное гуманное направление.

Хоть глупо думайте, но только думайте по-своему, читается иногда как бы между строк у Писарева. «И то хорошо, что начинают думать по-человечески»,—говорит он в «Стоячей воде». Я вижу, как враги Писарева приходят в восторг и ликуют от таких глупых, по их мнению, советов. Как? поборник ума, поборник знаний, который только о том и хлопочет, чтобы люди были умны, позволяет им думать глупо? Но обратите внимание на то, с каким материалом приходилось возиться Писареву. Все герои и героини, которых предлагали ему беллетристы, изображали собою самую неисходную и безнадежную тупость. Ни один человек не умеет устроить свою жизнь мало-мальски сносно; все это гибнет в бездонном омуте и в стоячей воде или течет по течению, даже и не предполагая, что может быть иначе. Ни мужчины, ни женщины—никто не понимает друг друга и своих взаимных отношений. Семья превращается в какой-то вертеп, в котором все чувствуют себя несчастными, и в то же время нет ни у кого ни сил, ни способностей устроиться иначе и не погрязнуть в общей помойной яме. Укажите хотя на одного беллетриста сороковых годов, который бы отметил какое-нибудь светлое явление русской жизни: — бедность да бедность, бедность умственная и материальная, говорят все они на разные лады. Если у Тургенева и являются иногда более светлые личности, то, во-первых, они идеальные, а во вторых, они все-таки гибнут в том же болоте, в котором тонут и задыхаются герои Писемского. Если бы вовсе не видеть живых людей и судить

о русском человеке исключительно по русским романам, то, право, можно впасть в самое безнадежное и мрачное отчаяние. И весь этот мрак и вся эта безысходность только оттого, что ни в одной голове не шевелится трезвая мысль и мечтательность вытесняет мышление. Все только мечтают, но никто не думает; все несколько сродни Обломову, и все более или менее лежат праздно на диване и услаждают свой досуг картинами разных наслаждений, в которых каждый по-своему воображает свое счастие. Никто не в состоянии понять, что жизнь есть дело, дело трудное и суровое, что она захламощена всякими препятствиями, которые не только нужно устранить, но и надо знать, как устранить. Люди, повидимому, оттого и мечтают, что в мечте находят единственный выход. Но никто никогда не заглядывает в себя, никто не проверяет в себе ни одного процесса мысли, ни одного чувства. Истинная стоячая вода во всем величии своей безбрежности и невозмутимой тиши! Среди такого полного отсутствия мыслительности первый благоразумный и спасительный совет, который следует дать обществу, будет, конечно, тот, который дает Писарев. От детей, конечно, никто не потребует, чтобы они сразу стали думать как взрослые. Но следует требовать, чтобы они думали. Спасительный исход только в том, чтобы выучиться думать и относиться критически к жизни. От каких причин это самоунижение, дрянность, упадок сил при первой обманутой надежде, при первом разочаровании? Только оттого, что люди привыкли мечтать и не привыкли думать. Не умея думать, они не умеют устраивать свою жизнь, а не умея устраивать свою жизнь, они не умеют застраховать себя от случайностей, не приготовлены к ним, не в состоянии ни встретить их с мужеством, ни еще меньше бороться с ними. Отчего, например, какой-нибудь Бешметов и, не чета ему, Лаврецкий чувствуют себя разбитыми, когда мечты их о супружеском счастии рассеялись? Разве не оттого, что ни тот, ни другой не умели смотреть трезво на жизнь и никогда не думали о ней в таком виде, в каком она есть. Люди эти сами наложили на себя руку или, как выражается Писарев, сами положили ее на раскаленное железо и заплакали, когда обожглись. А если бы и в самом деле случился обжог—разве в нытье выход, разве в слезах выход, разве в пьянстве выход, разве в малодушном отчаянии выход? «В мысли выход,—говорит Писарев.—Человек твердый и решительный разорвет всякую связь с своим неудавшимся прошлым; он поймет, что умный человек может быть счастлив собственными силами, и в освежающем труде мысли найдет полное утешение, достойное развитого человека».

Если русское общество погрязло в рутине и дошло до того состояния, в котором его рисуют романисты, только оттого, что никто никогда не думал по-человечески, то ясно, что все спасение его и спасительный выход для отдельного человека в том, чтобы научиться мыслить. «Думайте, думайте, думайте, — говорит на всякие лады Писарев, — но я знаю, что вы не привыкли к головной работе, и я вам помогу». И, действительно, помогает. Более настойчиво, чуть не навязчиво, едва ли кто стал бы пользоваться своими критическими средствами, как это делает Писарев, чтобы разъяснить читателю положение и умственное состояние разбираемых героев. Он подходит к ним со всех сторон, чуть не выворачивает наизнанку, чтобы показать читателю, в чем заключаются ошибки, от которых герои страдают и чувствуют себя несчастными. Результат оказывается всегда один—они не умеют думать, не привыкли соображать, никогда не относились критически к жизни, к себе и к другим.

Но пользуясь своими критическими средствами как свободным личным правом, неподавляемым никаким авторитетом, никакою рутиной и мертвой буквой, Писарев хочет, чтобы каждый, кого он учит думать, был так же свободен, как он. В мире мысли—спасение человека, его выход из всех труд-

ных положений жизни; только в мире мысли личность достигает полного своего развития и становится на высоту истинного человеческого достоинства; только в мире мысли личность достигает истинной свободы. Тот не свободен, кто подчиняется авторитету, и тот не мыслит, кто думает по-чужому. Думайте хоть глупо, но думайте по-своему. Начавши глупо, но идя своим путем, человек может додуматься и до умного, но следуя за чужой головой, он на всю жизнь останется ребенком. Чужие мысли только материал, который каждым должен быть переработан по-своему. Труды великих писателей точно такой же сырой материал, который должен быть переработан и усвоен. Если процесс такого усвоения в человеке не совершается, он дитя и умственный раб. Уча читателя думать активно, а не пассивно, Писарев приходит к тому, что даже в литературных типах видит опасность для самостоятельного мышления. «Таких форм, таких типов,— говорит Писарев,—на которых, действительно, можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и, может быть, никогда не выработает жизнь. Те люди, которые, отдаваясь в полное распоряжение какой бы то ни было господствующей теории, отказываются от своей умственной самостоятельности и заменяют критику подобострастным поклонением, оказываются людьми узкими, бессильными и часто вредными. Поступить таким образом способен Аркадий, но это совершенно невозможно для Базарова».

К сожалению этот урок Писарева не был усвоен и мы видели еще не так давно, как молодое поколение облачалось в хитон Базарова и этим фактом, между прочим, обнаружило ту слабую мыслительность, о которой мы уже говорили. Подрастающее поколение будет, конечно, счастливее в этом отношении. Для него Базаров не неизвестное, внешнее, а известное внутреннее содержание. Базаров, если он живой человек,—живой человек начала шестидесятых годов и для подрастающего поколения не больше, как известная идея. В нем отразился крутой поворот русской мысли, объяснителем которой явился Писарев. Оттого-то писаревский Базаров и не похож на Базарова тургеневского. Базаров Писарева есть его собственная идея и более зрелая мысль, очищенная и профильтрованная сквозь мировоззрение самого Писарева. Писаревский Базаров вышел таким образом лишенным своей оболочки, лишенным формы, которой подражать легко, потому что для этого требуется только способность копирования. Дав только идею Базарова, его духовный образ, Писарев остался верен тому учению о свободном и самостоятельном мышлении, которое он проповедывал. Писарев не дает форму, не дает готовое платье, которое можно напичкать каким угодно содержанием. Он, напротив, дает содержание, которое может быть усвоено всяким и, следовательно, выразится у всякого в его индивидуальной, личной форме. Мы бы советовали подрастающим вдуматься и вчитаться во все то, что говорит Писарев о Базарове и по поводу его в разных статьях.

III

Надежды Писарева не оправдались. Он хотел научить молодое поколение думать, но, конечно, не достиг этого. Случилось даже великое недоразумение, в котором молодое поколение пребывает до сих пор и в которое оно затягивает за собой поколение подрастающее. «Надо сказать правду,— говорит Писарев,—что люди вполне умные и люди безнадежно пустые во всех человеческих обществах почти одинаково редки. Огромное большинство состоит везде из людей посредственных, которые с одной стороны пороху не выдумают, но с другой стороны сальных свеч не едят, стеклом не утираются. Эти люди могут быть деятельными или праздными, гуманными или жестокими, полезными или вредными, смотря по тому, в какую

сторону направляется в данную эпоху господствующее течение идей. Ходячие фразы имеют значительное влияние на это человеческое стадо и важнейшая задача здоровой и честной литературы заключается именно в том, чтобы всегда пускать в обращение такие фразы, которые в данную минуту могут действовать благотворно на ум и на волю бесцветных и несамостоятельных людей, составляющих большинство».

Одной из таких спасительных фраз оказался ум. Когда было порешено, что все бедствия старой России происходят оттого, что у нее не было знаний и она не умела думать, молодая Россия решилась знать и быть умной и, вообразив себя Базаровым, отнеслась презрительно ко всему старому. Как прежде все были глупы, так теперь все стали умны и ум явился магическим ключом для всех тайников жизни. Но не следует обольщаться на счет истинных умственных богатств молодой России. Произошел не больше как маскарад: старую глупость немножко подновили, коегде заштукатурили и подкрасили и затем наклеили на нее новый ярлычок с надписью: у м. Каждый носитель ярлычка преисполнился великой гордости и от ума не стало прохода, так его сделалось внезапно много в обширном русском царстве.

Писарева, конечно, винить тут не в чем. Он указал на старое зло: он помогал мышлению; он всеми своими средствами старался возбудить в людях привычку к мысли и размышлению и если, в конце концов, оказалось, что человеческое стадо очень велико, а вполне умные люди редки, то вопервых, это знал очень хорошо и сам Писарев, а во-вторых, тот неожиданный результат, к которому пришла новая Россия, нужно отметить как факт и позаняться им.

Если девочка, ходящая еще в панталончиках, начинает думать, в ней работает, конечно, ум. Если Добролюбов пишет «Темное царство», в нем работает ум; если Писарев пишет «Реалистов», в нем работает тоже ум. Когда г. Страхов[4] доказывает, что Стюарт Милль дурак и русский женский вопрос выдуман им, а вовсе не Россией, в нем работает тоже ум. Когда г. Николай Соловьев писал свои возражения против Добролюбова, Писарева и других, в нем работал несомненно ум. Когда молодое поколение отрицало Писарева и логически доказывало его негодность—в нем работал тоже ум. Итак, оказывается, что между г. Страховым, г. Николаем Соловьевым, гг. сотрудниками «Русского Вестника», маленькой девочкой в панталончиках и между Добролюбовым и Писаревым нет никакой разницы: все это умные люди.

Но думать, что Писарев говорил об этом уме—значит клеветать на него. Писарев, напротив, постоянно боролся против самозванного ума, он был вечным врагом всякой бездарности и ограниченности, но ведь что же поделаешь с несчастной ограниченностию, если она внезапно вообразит себя умом и гениальностью. Писарев отлично знал, непроходим еще лес длинных ушей на земном шаре вообще и в нашем милом отечестве в особенности. Он указывает на людей, имеющих слабость чужую руководящую идею высказывать своими словами, они «изобретают сами различные приставки и украшения, воплощают идею в карикатурные образы и наконец доводят ее до такого жалкого бессилия, что всем мыслящим защитникам этой идеи приходится или краснеть за своих непрошенных союзников, или отталкивать их от себя с тем суровым презрением, с которым Базаров относится к своему обожателю Ситникову». Вот это то самое именно и случилось, когда людям сказали, что ум есть то новое спасительное слово, которое должно обновить Россию. Все заговорили об уме и всякая тупица вообразила себя грановитой палатой мудрости. Карлики надели на себя маски и явились смешными карикатурами того самостоятельного мышления, которому они благоговейно поклонялись в лице таких людей, как Писарев.

и Добролюбов. Дрянность самозванного ума помешала ему переступить через рубикон, отделяющий его от глупости. У человеческого стада все в голове перепуталось: дрянной, слабый ум парализовал чувство, дрянное, дряблое, робкое чувство парализовало ум. По поводу г. Н. (Ася) Писарев говорит: «Воспитание ослабило его тело и набило мозг его идеями, которых тот не может осилить и переварить. У него нет физического здоровья, физической силы, физической свежести; это — ходячая теория, человеческая голова на курьих ножках». Ум подобных людей занят всегда пустяками и набивается чем попало: интригами, сплетнями, преферансовыми соображениями, размышлениями о новой прическе или о новом фраке, изобретением какого-нибудь нового надувательства, мошенническими соображениями денежного свойства в роде злостного банкротства. По этой безразличной теории ума герои «Темного царства» окажутся гениями, и между Подхалюзиным и Большовым, с одной стороны, и Ньютоном и Робертом Оуеном, с другой, — исчезает всякая граница.

При таком понимании ума и умных людей становится совершенно невозможным разуметь друг друга. Кто умен, кто глуп? Всякий мошенник, рассуждающий логично, превращается в умного человека, и слово умный человек оказывается лишенным всякого определенного смысла, уподобляется какой-то бездонной яме, в которую сваливается безразлично все полезное и вредное: Чингисхан и Магомет, христианские проповедники и их гонители, Наполеон и Вашингтон, сторож губернского правления и Дарвин. Это уж что-то очень безгранично широко; такую выгодную теорию ума могло выдумать только в свою пользу молодое поколение, но ее никогда не проповедывал ни Писарев, ни Добролюбов, никто другой. Не ясно ли, что не всякий ум есть ум и что на счет точного определения ума следует условиться.

Если умом называть только процесс мышления, то на свете, конечно, не будет дураков, но едва ли люди станут оттого умнее и жить станет лучше. Г. Страхов и г. Соловьев рассуждают логично, рассуждает логично и О. Конт. Но отчего же г. Страхов и г. Соловьев, взятые даже вместе и в квадрате, окажутся меньше Конта? Очевидно, что слово ум слишком не точно и дает широкий простор для произвольных толкований. Поэтому-то каждый и объясняет его по-своему. Если Большову говорят, что такой-то приказчик умен, он в своем воображении нарисует немедленно Подхалюзина. Если приказному скажут, что такой-то писарь умен, он сейчас же вообразит канцелярского пройдоху. Если великосветской барышне скажут, что такой-то NN умен, она немедленно вообразит ярко освещенную залу и себя в мазурке с этим умным кавалером. Нужно согласиться, что особенно смутное понятие об уме имеют у нас еще и до сих пор барышни. Фраза, софизм, эквилибристика, всякие фокусы и красивое вранье принимается не только этими барышнями, но и большинством женщин за ум чистой червонной пробы. Таким образом оказывается на свете столько сортов ума, сколько голов, сколько разных стремлений, желаний, чувств. Есть люди военного ума, есть люди гражданского ума; есть люди литературного ума и ума канцелярского; есть люди с умом семейным и с умом общественным, с умом коммерческим и промышленным и с умом ни на что негодным. Если таким образом ум может быть полной непригодностью, то исчезает для умных людей всякая возможность гордиться тем, что они умны и сказать, что такой-то человек умен, значит не сказать о нем ничего. И в самом деле, какой точный образ возникает, если вам скажут, что г. N из Стерлитамака умен. Дело другое, если вам скажут, что г. Писарев умен, что г. Добролюбов умен. У вас немедленно возникает самое точное представление об этих людях; вы припоминаете все, что они писали, что думали, к чему стремились, чего хотели достичь, чему поучали. Образ возникает полный, но

вы, я думаю, и сами видите, что в чертах этого образа уму нет места; он какая-то отвлеченная сила, имеющая значение не сама по себе, а по связи с чем-то другим, что дает ему содержание. Содержание это дается только объемом полезной мозговой деятельности, возможно широким кругозором и возможно большим количеством материала, который приходится перерабатывать уму, работающему в направлении общественного блага. Одна и та же мыслительная способность, но смотря по кругу и по направлению деятельности, может быть умом и может быть глупостью. Это такой же фокус, как принятое в общежитии деление теплоты на холод и теплоту. Собственно холода на свете нет, и люди для ясности условились известную теплоту называть холодом. Такое же условное деление принято и с умом. Известный минимум его зовут глупостию, не отрицая в то же время ума не только в идиоте, но даже в собаке. Этот минимум не имеет ничего определенного и меняется по мере развития общества. Есть люди умные по-старому, есть люди умные по-новому. Тот, кто пятьдесят лет назад слыл умным человеком, нынче изображал бы очень печальную и молчаливую фигуру среди людей молодого поколения.

В последние пятнадцать лет русский ум получил больше содержания. Для обработки достался ему материал более богатый; людям пришлось больше шевелить мозгами, потому что многих жизнь вытолкнула на улицу и для всех изменились против прежняго условия существования. Благодаря экономическому повороту в русской жизни и той настойчивости, с которой даже и Писарев говорил о нашей бедности, — предполагая тех, кому действительно холодно и голодно — мы все вообразили себя бедными и русский ум двинулся думать в экономическом направлении.

Наш экономический прогресс очень сильно перепутал наши понятия и дал всей жизни тот особенный оттенок, по которому не трудно видеть, что наше общество, и преимущественно молодое поколение, весьма твердо пошло по тому пути, который создал европейскую буржуазию. Этот новый русский тип беллетристы сороковых годов не знали, потому что для него не было почвы, хотя материалы кое-какие уже существовали. Новый тип появляется не из мещан, которые, по предположению русских реформаторов XVIII столетия, должны были изображать русское третье сословие, а из обедневших дворян и разных разночинцев, формирующих образованный пролетариат. Переколачивание — есть печальный факт, поразивший именно молодое поколение. Это его горькая судьбина, его проклятие, которое оно должно вынести на себе. Особенною тяжестью легло это проклятие на тех, кому выпало на долю провести обеспеченное детство и юношество и столкнуться с суровой нуждой в зрелом возрасте. Молодому поколению досталось переживать самый трудный переходный момент, момент экономического перелома, момент, когда уже невозможно жить по-старому и когда невыяснившийся еще новый экономический быт ставит каждого в необходимость искать и создавать, т. е. переработать запас новых мыслей и обратить их в иную новую практику. Общие воззрения, почерпнутые из Добролюбова, были только общими воззрениями, с которыми следовало справиться. Непереработанные, они как сырой материал не спасали; печальная действительность и традиция гнули людей сильно и заставляли их впадать во внутреннее противоречие. Несходство слова с делом становилось при таком положении необходимым и вот где начало либерализма, которым люди усиливались спасти хотя остатки своего человеческого достоинства. Либерализм вышел красивой, идеальной вывеской нравственно упавшего человека.

Этого нового типа, человека с благоприличной внешностью, говорящего умно и благородно, но которого все силы направлены на стяжание, но стяжание замаскированное, Писарев еще не знал. Но не зная типа, Писарев все-таки знал по образцам из крепостного быта, как выделываются люди,

живущие эксплоатацией. «Эксплоататор, — говорит Писарев — находится в постоянной наступательной войне со всем окружающим. Для войны необходимо оружие и таким оружием оказываются умственные способности. Ум эксплоататора почти исключительно прилагается к тому, чтобы перехитрить кого-нибудь. Он заостряется, закаляется, развивается исключительно в одном направлении и получает качества, совершенно не нужные и даже вредные для успешного хода мирного мышления. Этот ум делается непременно близоруким и мелким; обобщать факты он решительно не умеет; отдавать себе отчет в общем положении вещей и придавать поступкам человека какой-нибудь общий смысл он также не в состоянии. События уносят его с собой и величайшая мудрость его состоит в том, чтобы не противиться их течению, которого он все-таки не понимает». «Когда такие люди руководствуются расчетами своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчеты заставят их сделать какую-нибудь гадость, потому что эти расчеты близоруки, а внушения узкого и близорукого эгоизма всегда подают повод к самым возмутительным несправедливостям». У людей этого сорта голос чувства и голос рассудка находятся в постоянном разладе и потому они во избежание дисгармонии всегда заставляют молчать один из этих голосов, когда говорит другой.

Здесь-то Писарев и переходит на почву того чувства, которое составляет подкладку ума, руководит умом и из гармонии которых выходит обновленный, чистый человек, тип тех новых людей, о которых говорит Писарев в своей статье «Мыслящий пролетариат». «Кто в молодости не связал себя прочными связями с великим и прекрасным делом или, по крайней мере, с простым, но честным и полезным трудом, тот может считать свою молодость бесследно потерянною, как бы весело она ни прошла и сколько бы приятных воспоминаний она ни оставила»,—говорит Писарев.—«Забирайте с собою чувства молодости, после не подымете,—говорит Гоголь, и правду он говорит. А как их заберешь с собой, если не вложить их целиком в такое дело, на которое до последней минуты твоей жизни будет откликаться каждая фибра твоего существа. Кому удалось это сделать, о том нечего жалеть, если даже молодость его прошла в суровом труде, вдали от дорогих и близких людей, без наслаждений, без объятий любимой женщины... Если ценою труда и лишений, ценою потраченной молодости, ценою потерянной любви он купил себе право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести с собою на край света и удержать за собою во всех испытаниях неизменную молодость и свежесть ума и чувства, то нельзя сказать: он заплатил слишком дорого. Он отдал кусок жизни, чтобы почеловечески прожить всю жизнь: *он лишился двух третей радостей*, но взамен их получил высшее наслаждение, которое служит украшением для жизни и поддержкою в минуту агонии; он получил право знать себе настоящую цену и видеть, что цена эта не мала». Вот где начало того благородного эгоизма, который проповедует Писарев. Этот эгоизм лежит в любви к ближнему, в хороших и великодушных чувствах, в способности проникаться чужими страданиями и жертвовать им своими наслаждениями и своими выгодами. Только ту способность назовем мы умом, которая помогает человеку думать в этом направлении. Новые общественные идеалы подняли значение ума и расширили ее пределы. Истинно умным человеком можно назвать только того, который думает в направлении общего блага. Как бы ни была сильна логика отсталости, эта логика все-таки не ум и пора развенчать этого самозванца. Прекрасный идеал доброго и честного человека никогда не исчезал с земли, но он только окрашивался разными цветами под влиянием направления времени. Нашему времени выпала на долю большая работа с сырым материалом, накопленным в течение веков мыслящими умами, пытавшимися понять и осветить жизнь. Для этой работы требуется, конечно, большая энергия мыслительных способностей, и в какую бы одно-

сторонность они ни ударились, это будет всегда ограниченность, умственное бессилие и недостаток честных чувств. Писарев говорит в одном месте, что задача честной литературы в том, чтобы всегда пускать в обращение такие фразы, которые в данную минуту могут действовать благотворно на ум, волю и чувство несамостоятельных людей, составляющих человеческое стадо. «Не смущайтесь, — говорит он, — словом ф р а з а. Каждая фраза появляется на свет как формула или вывеска какой-нибудь идеи, имеющей более или менее серьезное значение; только впоследствии под руками бесцветных личностей фраза опошляется и превращается в грязную и вредную тряпку, под которой скрывается пустота или нелепость». Не сделался ли этой ветхой тряпкой лозунг ума, под которым уже пятнадцать лет идет молодое поколение и пришло только к буржуазным тенденциям. Не пора ли нам снять ярлычок ума и заменить его новым паролем — честности и гуманности? Честные и гуманные люди всегда умны; умные же не всегда честны и гуманны. По крайней мере, исчезнет недоразумение и двусмысленность не будет мешать правильной оценке общественной полезности каждого человека.

IV

«Мы глупы, потому что бедны — и бедны, потому что глупы». Из этого очарованного круга нет, повидимому, выхода. Но выход есть — знание. Мы ничего не знаем, хотя, повидимому, все знаем. «Имеем ли мы какое-нибудь понятие о животных и растениях, о физических и химических законах, о свойствах воды, воздуха, металлов и различных составных частей почвы?— спрашивает Писарев, — ровно никакого. — Знаем ли мы их историю?— Нисколько. — Известно ли нам положение России? — Решительно неизвестно. И в то же время при этом круглом невежестве мы все знаем, мы знаем ужасно много, мы все читаем и обо всем пишем». Зная, повидимому, много: всякие собственные имена и всякие специальные слова, мы не знаем немногого — только смысла этих слов. Что же тут делать? Благодаря предшествовавшей литературе, Белинскому и Добролюбову, была уже пробита кора равнодушия, невнимания и непонимания, общество готово было читать и начало стремиться к самообразованию. Между теоретическим знанием и вседневной жизнию явилась уже точка опоры и нужны были только посредники, чтобы общество из громадного научного материала могло бы усвоить то, что ему необходимо. Явилась необходимость в популяризаторах. «Можно сказать без малейшего преувеличения, — говорит Писарев, — что популяризирование науки составляет самую важную всемирную задачу нашего века. Хороший популяризатор, особенно у нас в России, может принести обществу гораздо больше пользы, чем даровитый исследователь». И вот, понимая таким образом все важное значение для нашего общества популяризации, Писарев принимается за этот труд с такой же энергией, с какой он разбирал явления русской жизни. По истине изумительная деятельность по ее силе, многообразию и энергии! В деятельности Писарева есть одна особенность, резко отделяющая его от Белинского и Добролюбова. Посмотрите, сколько написал на своем веку Белинский и сколько в этом писании балласта, на который только даром потратились силы могучего бойца. Сколько пустых рецензий и разборов нелепых книг приходилось сделать Белинскому и как мало у него цельных капитальных статей, имевших воспитательное значение. Добролюбов идет еще частию путем Белинского; он тоже тратится на рецензии и держит себя довольно строго в пределах литературной критики, которые он себе отмежевал. Положим, что в его рецензиях всегда есть много и много превосходных и честных мыслей, но это все-таки рецензии, а не руководящие статьи. Писарев идет совершенно

самостоятельным путем, вполне оторвавшись от традиции. Он не тратит своих сил на рецензии и если попадается ему под руку какое-нибудь глупое произведение вроде «Марево», или романов Станицкого [5], он пользуется ими как материалом, чтобы высказать целый ряд умных мыслей в большой руководящей статье. Это зависело вовсе не от тех условий, в которых находилась русская литература, а чисто от цели, которою задался Писарев. Он пользовался своими силами с той экономией, которая была необходима, чтобы принести обществу наибольшую пользу. Рецензия второстепенных или ничтожных произведений не есть работа капитальная и не зачем могучим критикам тратить на них свои силы, когда на ту же работу способны и писатели второго сорта, которым ее можно поручить. Если Белинскому не было, может быть, кому поручить эту работу, то у Добролюбова эти сподручные работники были. Характер деятельности Добролюбова, конечно, объясняется тем, что при нем еще не выяснились вполне требования общества, которые были уже ясны при Писареве.

Писарев давал такое громадное значение популяризации, что даже выработал себе тот язык и создал ту форму изложения, в которой близорукие люди видели совсем не то, что видеть следовало. Популяризатор, по воззрению Писарева, должен быть художником слова и в то же время знать степень умственного развития своих читателей. «Если неразвитость общества требует, чтобы наука являлась пред ним в арлекинском костюме с погремушками и с бубенчиками — это не беда; такой маскарад нисколько не унижает науку. Дельная и верная мысль все-таки остается дельною и верною. Главное дело в том, чтобы мысль эта проникла в сознание общества, а чрез какую дверь и какою походкою — это решительно все равно». Если вы желаете определить размер популяризаторской деятельности Писарева, прочитайте хоть оглавления его статей и вы увидите, какую массу новых сведений по истории, по естествознанию провел он в читающую публику. Это громадный универсальный курс.

Конечно, на Писарева обрушился тот сорт обскурантов, которых он зовет «проницательными читателями» и к числу которых он причисляет большинство профессоров и журналистов всех наций. К этому хору присоединились еще и сторонники Добролюбова, находившие, что Писарев делает глупости и берется не за свое дело. В сущности же эти ограниченные люди просто не могли понять, как это можно думать своею головою и делать то, чего не делал Добролюбов.

Но время доказало всю безошибочность Писарева. Люди, никогда ничего не читавшие, зачитывались его популярными статьями. Писарев, может быть, больше всех писателей нового времени распространил в непробужденной части общества познаний и идей, которые иначе остались бы под спудом и с которыми русское общество не познакомилось бы из Добролюбова.

Писарев был так убежден в необходимости популяризации и в том, что каждый сильный ум не может не понимать пользы ее, что говорит о Добролюбове: «Если бы Добролюбов был жив, то можно поручиться за то, что он бы первый понял необходимость у нас популяризации и оценил бы те выгодные условия и обстоятельства, в которых мы находимся. Говоря проще, он посвятил бы лучшую часть своего таланта на популяризирование европейских идей естествознания и антропологии». В том же 1864 г. Писарев советывал г. Щедрину перестать тянуть попрежнему старую ноту, завещанную ему его молодым учителем и, вместо того, чтобы своим однообразным и невинным хихиканьем отвлекать от настоящего дела некоторую часть нашей умной и свежей молодежи, приняться за популяризацию.

Чтобы отрицать пользу популяризаторской деятельности Писарева, нужно не выезжать всю свою жизнь с Васильевского острова. Но кто видел

Н. В. ШЕЛГУНОВ
Фотография 60-х гг.
Институт Литературы, Ленинград



Россию, тот знает, насколько статьи Писарева принесли пользы в тех глухих и не глухих местах, где имелись люди, жаждавшие знания, и куда свет проходил только статьями Писарева. Особенно благоговейно относились к Писареву женщины. Женщины! скажет презрительно проницательный читатель. Но мы знаем этих проницательных читателей из молодого поколения. Мир вашему праху — это не ваши вопросы.

Потребности нашего общества в популяризации как бы совпали с периодом деятельности Писарева. То было самое блестящее ее время, когда целая масса новых сведений была брошена читающей и поучающейся публике, благодаря таланту и энергии одного человека. Время это теперь уже миновало или, вернее сказать, пору энтузиазма и первого невежества сменило более холодное время и второй период невежества. Популяризации нет предела — изменяется только ее форма и переменяется содержание. Что и теперь общество относится горячо к талантливой популяризации, могут служить доказательством статьи г. Португалова [6], который, к сожалению, дает их мало. Появление нового журнала «Знание» [7] указывает на ту же потребность; но если журнал этот читается туго, а может быть скоро и совсем читаться не будет, то уж, конечно, не по вине читателей.

V

Писарев работал в обстоятельствах, очень неудобных для литературной деятельности: но он носил в себе гений времени и потому был замечательно чуток к умственным потребностям общества. Вся его деятельность есть постоянный ряд ответов на вопросы и запросы пробуждавшегося общественного сознания. Писарев читал русское общество как открытую книгу. Конечно, не он создал общественные потребности, но он освещал направление, которым следовало итти пробуждавшимся силам, и помогал их развитию. На этом поприще мы не знаем у нас другого деятеля, которого труд был бы

также обширен, плодотворен и полезен, как труд Писарева. Только один писатель стоит в этом отношении впереди, но это не Добролюбов.

Человек страстный и пылкий, но в то же время смелого, холодного и неподкупного ума, Писарев был всегда последователен и доводил свою мысль до конца. В этом отношении Писарев был далеко смелее Добролюбова, который иногда искал примирения и как бы боялся задевать застарелую рутину. Так у Добролюбова есть уже намек на то, что Пушкин устарел; Писарев же, идущий дальше, пишет целую статью о Пушкине, в которой доказывает решительную непригодность Пушкина, отсталость его даже и для его времени, разоблачает его фразерство и пустоту. Евгения Онегина—«эту энциклопедию русской жизни», как назвал поэму Пушкина Белинский, Писарев называет «яркой и блестящей апофеозой самого безотрадного и самого бессмысленного status quo». «Все картины этого романа, — говорит Писарев, — нарисованы такими светлыми красками, вся грязь действительной жизни так старательно отодвинута в сторону, крупные нелепости наших общественных нравов описаны в таком величественном виде, крошечные погрешности осмеяны с таким невозмутимым добродушием, самому поэту живется так весело и дышится так легко, — что впечатлительный читатель непременно должен вообразить себя счастливым обитателем какой-то Аркадии, в которой с завтрашнего же дня непременно должен водвориться золотой век».

Когда явилась статья о Пушкине, все эстетики школы Белинского возопияли против смелого критика. И действительно, было от чего вопить. Люди дожили до седых волос, повторяя на память слова Белинского, и вдруг оказывается, что это был потерянный труд. Значит вся жизнь пропала даром! ну как же не рассердиться. А между тем в сущности огорчаться было нечем. Идей Белинского Писарев не трогал; он только взглянул иначе на Пушкина и на его «Евгения Онегина» и рассортировал то, что принадлежало Белинскому, от того, что принадлежало Пушкину. Писарев знал очень хорошо, как иногда известное литературное произведение служит для критика лишь поводом высказать свои собственные мысли. Также поступил и Белинский, разбирая Пушкина. Белинский, как говорит Писарев, рассыпал в статьях о Пушкине множество самых светлых мыслей о правах и обязанностях человека, об отношениях между мужчинами и женщинами, о любви и ревности, о частной и общественной жизни. Но вопрос о Пушкине остался в стороне, ибо все эти мысли целиком принадлежали Белинскому, а Пушкин был в них неповинен и говорил не то. В чем же тут оскорбление для поклонников Белинского; ведь они поклонялись Пушкину идеальному, Пушкину, одухотворенному гением Белинского; этот Пушкин при них и остался. Что же касается до Пушкина настоящего, то об нем Белинский не говорил, и первый подробный разбор о нем написал Писарев.

Насколько Писарев оказался верен духу времени в своем разборе Пушкина, показало это же самое время. Писарев, как он говорит, приступая к разбору Пушкина, хотел только высказать громко и открыто и подкрепить фактическими доказательствами то мнение, которое уже многие мыслящие люди составили себе о Пушкине и о всех поэтах и художниках его школы. Что же оказывается? А оказывается то — и этот факт вы можете проверить, — что между нынешней читающей молодежью явилось уже столько мыслящих людей, что Пушкин препровожден ими в тот же пантеон, в котором хранятся поэты и писатели отжившей России.

Так как большинство людей всегда составляли формалисты, то вопли против Писарева становятся совершенно понятны. Человеческое стадо устроено так, что вы можете из него вить веревки, но только не делайте этого вдруг и круто. Не сущность задевает людей, а процесс. Писарев был слишком резок и непочтителен. Уж если сдержанный и осторожный Добролюбов нажил себе так много врагов, то что же должно было постигнуть

Писарева, который не стеснялся в выражениях и даже дал повод г. Николаю Соловьеву высказать на этот счет несколько смелых мыслей об искусстве русских писателей ругаться и о современном состоянии русской литературы вообще. Напиши Писарев о Пушкине осторожно, а главное, очень скучно и тяжело, все бы нашли его доказательства основательными, солидными и полновесными, и похороны Пушкина совершились бы тихо, без всякого шума. Но разве сущность вопроса от этого изменилась бы? Пушкин умер во мнении мыслящих людей еще раньше статьи Писарева, что он и сам говорит, как бы в оправдание своей смелости. Писарев только объявил об этом народившемся мнении во всеуслышание, а чтобы его прочитала большая масса людей, он постарался написать статью общепонятно, бойко и занимательно.

Когда человеческая толпа чего-нибудь не понимает, она всегда прибегает к изобретениям, которые понятны только ей одной. То, объяснения чего следует, например, искать в последовательном мышлении, в обстоятельствах новой жизни, в перемене условий, требующей перестройки понятий,— человеческое стадо станет объяснять болезнию печени и почек, желанием порисоваться красивым словом, отличиться оригинальностию. Г. Николай Соловьев объясняет все последнее умственное движение России тем, что у одного писателя отделялась неправильно желчь и оттого он очень сердился. Смело и умно! И деятельность Писарева была объяснена так же основательно. Для наших толковников Писарев не был мыслящим писателем, смелым и даровитым популяризатором, человеком, в котором сильнее, чем в ком-либо, билась жилка времени, критиком-публицистом, который перетряхивал всю старую ветошь сознательно, чтобы показать всю ее непригодность для новой жизни, и заставить смотреть вперед. Во мнении толпы Писарев был не больше как зубоскал, который хотя писал умно и бойко, но в сущности все-таки только зубоскалил. Когда Писарев отрицал буквоедство и советывал бросить за борт всякую старую дрянь, когда он советывал вместо переливанья из пустого в порожнее приняться за какое-нибудь полезное дело, его обвиняли в неуважении к науке, в разных уголовных преступлениях и в измене отечеству. И все это происходило оттого, что мрачные и тупые служители науки воображали, что они-то и есть сама живая наука. Писарев, например, совсем не понимал, зачем бы молодым людям забираться в тайники и трущобы древнего народного мировоззрения: кому какая от этого польза? Есть польза для народа, есть польза для того, кто забирается в тайник? Какая выгода может быть народу оттого, что молодой человек узнает все приметы домового, все варианты былины о Никулушке Сельяниновиче и все столкновения Иванушки с бабой-Ягой? А какая польза произойдет для молодого человека, если он узнает несколько новых подробностей о сказочных личностях и отпечатает в своей памяти несколько сотен лубочных картин?

Какой истинный смысл заключается в этих словах? Откройте любой учебник политической экономии и вы найдете в нем главу «о выгодном и убыточном производстве и выгодном и убыточном потреблении». Жизнь требует от нас практически полезных дел: у нас нет хорошо вспаханных полей, а мы отвлекаем свои рабочие силы на такие аристократические забавы, как раскапывание древних курганов, чтобы в кои-то веки найти глиняный черепок. Не ясно ли, что наши мозги работают не в том направлении. Ну, вот Писарев и говорит молодому поколению: не тратьте свои силы на пустяки, не обольщайтесь призраком науки в том, в чем ее нет, направляйте свои силы на практически полезные дела, смотрите себе под ноги и вперед, работайте для общей пользы и не беритесь ни за какое дело, если вы не в состоянии ответить на вопросы: з а ч е м? Закон политической экономии о выгодном расходе сил Писарев только применяет ко всей области человеческой деятельности и к умственному труду. Докажите, что от-

зыв Писарева о Грановском и Маколее — а вы его найдете на 118 странице второй части — неверен. Все приложение экономических истин к области умственного труда, делаемое Писаревым, так просто, что его может понять каждый шестилетний ребенок; а у нас его не поняли даже ученые и литераторы!

Никогда не поймет Писарева тот, в ком уже утратился порыв свежих сил, как не поймут старики молодых, усталые — идущих, мертвые — живых. В Писареве даже не умели понять его литературного приема; не умели понять причин его усиленных доказательств и подчас резкой речи. Хорошо говорить спокойной и приличной речью тому, кому решительно все равно, когда бы даже шел на улице каменный дождь; но кого живая жизнь берет за живое, кто живет своими убеждениями и верит в спасительную святость своей истины, тот не говорит тем сахарным языком, как говорят благопристойные немочки в немецких булочных. Даже за преферансом горячатся люди, а вы хотите, чтобы трибун, говорящий целой массе чутких слушателей, жевал кашу. Поймите, что Писарев живой человек, для которого все в будущем и нет ничего в прошлом, как и для той России, которая его теперь читает. Поймите это, и вам станет ясен его чистый, честный светлый образ, со всеми его недостатками, которые не недостатки его лично, а недостатки всех сильно и последовательно думающих людей. Ошибки Писарева не ошибки мышления, а ошибки быстроты. Что по умственным способностям стада возможно придумать лишь в двадцать лет, Писарев хотел заставить придумать также скоро, как он. Ну где же было молодому поколению успеть за ним, когда оно стало на Добролюбове. А стоит только отстать, чтобы разойтись и затем начать кидать грязью и каменьями. Это старая шутка. Вы укоряете Писарева, что он р у г а л с я (!), а сами швыряете в него грязью.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Очевидно, Шелгунов имеет в виду напечатанную А. М. Скабичевским в «Отечеств. Записках» за 1869 г. статью: «Д. И. Писарев, его критическая деятельность в связи с характером его умственного развития» (№ 1, стр. 41—94 и № 3, стр. 51—90). В заключение своей статьи Скабичевский писал следующие характерные строки: «Разобранные мною статьи Писарева далеко не исчерпывают всего, помещенного в 9 томах собрания его сочинений...

Анализ мой может иным показаться слишком резким и жестким... К Писареву, как к человеку, я питал всегда живую симпатию и искренно любил его. Разбирая же его сочинения, я имел дело не с его личностью, а с тем складом мышления, который часто встречается в нашем обществе, едва переходящем еще от идеалистического миросозерцания к истинно реальному» (стр. 87).

Шелгунов ошибается: по выходе в свет сочинений Писарева о нем обмолвился не один Скабичевский; так, в «Русском Вестнике» за 1870 г. были напечатаны две статьи Л. Н. под заглавием: «Моралисты новой школы» и «Покойный Писарев и его читатели» (№ 7, стр. 259—368 и № 9, стр. 362—365).

[2] «Книжный Вестник» выходил в Петербурге с 1860 г. по 1867 г.

[3] Н. И. С о л о в ь е в (1831 — 1874)—врач и критик, представитель эстетической критики. Шелгунов в 1870 г. выступил со статьей, направленной против критики Соловьева («Двоедушие эстетического консерватизма». «Дело» 1870, X).

[4] Н. Н. С т р а х о в (1828—1896) — публицист и критик, близкий по своим литературным взглядам к А. Григорьеву. В журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» под псевдонимом Н. Косица писал критические статьи, в которых ратовал против представителей революционной демократии 60-х годов.

[5] Н. С т а н и ц к и й — псевдоним А. Я. Панаевой-Головачевой (1820—1893), написавшей несколько повестей и романов (в сотрудничестве с Некрасовым.). Роман Панаевой «Женская доля» («Современник» 1862 г., отд. изд. 1864 г.) Писарев разобрал в статье: «Кукольная трагедия с букетом гражданской скорби» — «Русское Слово» 1864, № 8.

[6] В. О. П о р т у г а л о в (1835—1896) — врач и публицист; в 60-х и 70-х годах принимал деятельное участие в «Деле», давая статьи преимущественно по вопросам гигиены.

[7] «Знание» — научный, критико-библиографический ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге с октября 1870 г. по апрель 1877 г. и ставивший своею целью популяризацию достижений положительных наук.

ИЗ НАСЛЕДИЯ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОЭЗИИ 60-х ГОДОВ

I. НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА

Публикация Н. Бельчикова

Революционная поэзия шестидесятников не только не изучена как следует, но даже и не обследована и не собрана. Многие интересные писатели забыты вместе с книгами журналов того времени, где они печатались (напр., Н. Вормс, Ф. Волховский и др). Многие страницы этой поэзии погребены до сих пор в недрах архивов тех учреждений, которые вели борьбу с революцией и ее представителями в 60-е годы. Так именно случилось и с поэзией Н. А. Серно-Соловьевича.

Публикуемые его стихотворения, написанные им во время пребывания в Петропавловской крепости в 1862—1865 гг., были захвачены жандармами и пролежали около 70 лет в неизвестности. Пусть в художественном отношении эти стихи не являются первоклассными,—их ценность в том, что они представляют собой выражение настроений и взглядов одного из крупнейших представителей революционно-демократического лагеря и видного участника революционного движения тех лет. Н. А. Серно-Соловьевич вместе с Н. Г. Чернышевским, А. А. Слепцовым, Н. А. Обручевым и В. Курочкиным принимал близкое участие в создании подпольной организации 60-х годов — «Земля и Воля».

Он родился в 1834 г. в дворянской семье. Детство его прошло в тяжелых столкновениях с семейным укладом. Об этих условиях мы знаем из письма его брата А. А. Серно-Соловьевича, который был моложе Н. А. на 4 года, к другу детства Ив. Ив. Шамшину от 1 марта 1857 г. «Детство мое—борьба с семейством, с существующим у нас порядком, ряд наказаний, побегов, запираний в дворницкую, розог (об одном из таких бесчеловечных поступков я и теперь не могу равнодушно вспомнить, хотя это было лет 8 тому назад)» [1].

В 1853 г. Н. А. окончил Александровский Лицей, где учился в свое время Пушкин, и стал служить. Убедившись на практике, что подготовляемая реформа «освобождения крестьян» ведется в интересах помещиков, Н. А. Серно-Соловьевич подал в 1858 г. особую «Записку», в которой смело заявил царю о нарушении интересов крестьянства. Герцен в письме к Александру II от 2 мая 1865 г. в связи с этим писал: «Свободных людей, поднимающих голос, вы казните. Был человек, убежденный, что вы хотите добра России, молодой, чистый и благородный; он пробился до вас, вы велели Орлову его поцеловать в 1859 г., а в 1863 году бросили его в каземат, где он теперь в ожидании сентенции, это — Серно-Соловьевич» [2].

Арестован был Н. А. Серно-Соловьевич 6 июня 1862 г. одновременно с арестом Ветошникова, у которого были найдены письма Герцена, Огарева и В. Кельсиева к Серно-Соловьевичу.

Недавно опубликованные письма Н. А. Серно-Соловьевича к Н. С. Кашкину, петрашевцу и фурьеристу, свидетельствуют о том, что первый в начале 60-х годов пережил сложную и интересную эволюцию взглядов. В письме к Н. С. Каш-

кину 25 ноября 1859 г. он заявляет о разрыве с руководящей разрешением крестьянского вопроса либеральной группой в Калуге и о решительном переходе своем на сторону демократического лагеря, возглавляемого Чернышевским и «Современником»: «Оставаться теперь на службе, подавать руку направлению,— писал Н. А. — которому не сочувствуешь и в которое не веришь, решительно не следует. Что дела пойдут к лучшему—в этом не может быть сомнений; старое здание, если не будет разрушено, рухнет само; столбы сгнили и подрублены». И дальше о перемене политических взглядов: «Другое изменение,—пишет он в том же письме, — «Современнику» отдаю полное предпочтение перед «Русским Вестником» (в те годы этот журнал держался еще либеральных позиций), говоря собственно о политике; Чернышевского ставлю положительно во главе наших публицистов. То же решение, которое принял я, от души рекомендую и вам» [3].

Наблюдения над политической жизнью Западной Европы (Англия, Бельгия, Швейцария, Франция, Италия) во время поездок в 1859—1861 гг. и сближение с Герценом и особенно Огаревым окончательно убедили Н. А. Серно-Соловьевича в необходимости революционного переворота в России. Изданную в Берлине свою брошюру «Окончательное решение крестьянского вопроса», в которой главное внимание уделено критике проводимой реформы 19 февраля 1861 г., Н. А. Серно-Соловьевич закончил призывом к революционной деятельности:

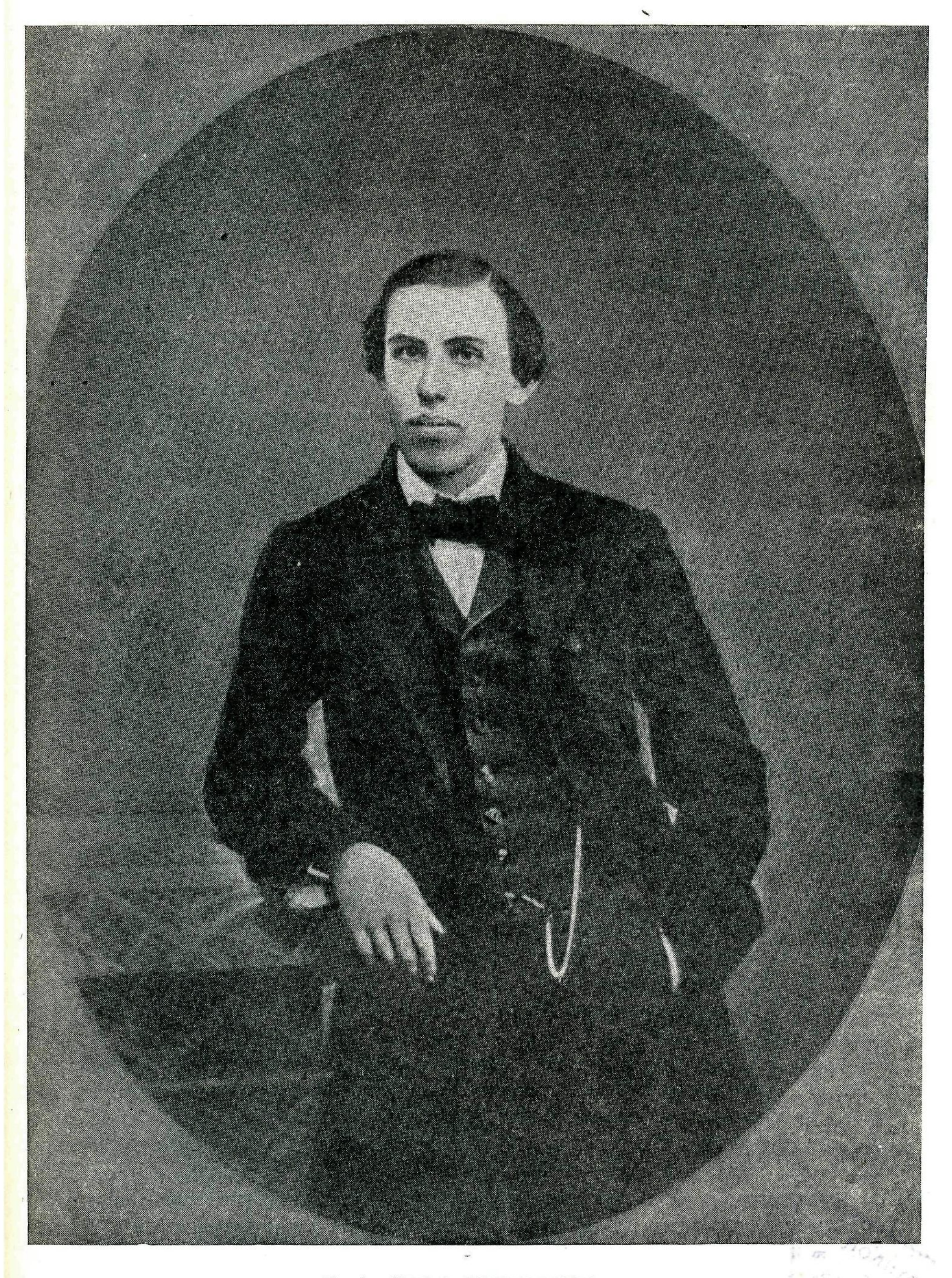
«Настоящий общественный быт,—писал Н. А. Серно-Соловьевич,—окончательно сгнил на корне, и людям, достаточно смелым, чтобы осознать это, ничего не остается делать, как собирать силы для создания, вместо него, нового, лучшего порядка».

По возвращении из-за границы он и приступил к организации тайного общества «Земля и Воля», в основу деятельности которого была положена составленная Н. А. Серно-Соловьевичем вместе с Н. П. Огаревым, Н. А. Обручевым, А. А. Слепцовым и М. Л. Налбадяном прокламация «Что нужно народу» (напеч. в № 102 «Колокола» за 1861 г.).

В 1861—1862 гг. Н. А. Серно-Соловьевич занимался преимущественно общественной деятельностью. Он устроил книжный магазин и библиотеку при нем, организовывал воскресные школы, публичные лекции и диспуты и, главным образом, сосредоточил свои усилия на издании просветительной литературы: Гервинуса «История XIX века», Герцена, стихотворений М. И. Михайлова и др. [4].

В конце 1861 г. он вошел в состав «артели» вместе с 26 видными беллетристами и публицистами: Г. З. Елисеевым, Н. В. Шелгуновым, Н. Г. Помяловским, Н. Успенским и др., издававшей журнал «Век». Однако, вскоре же обнаружилось расхождение внутри редакции. Поводом послужила статья Н. А. Серно-Соловьевича «Мысли вслух», в которой автор, полемизируя с либералами, в то же время высказал подлинно революционные взгляды. Основные пункты социально-демократической программы Н. А. Серно-Соловьевич формулировал в этой статье с предельной ясностью, противопоставив их либеральной болтовне: «Те, (т. е. либералы), которые хотят быть его (т. е. народа) благодетелями, не знают и не любят его, а хотят только им воспользоваться, как орудием для собственных выгод. Те только искренно хотят действовать за народ, формула которых: «Все для народа и только народом!» По поводу этой статьи мнения редакции разделились и, по рассказу Н. В. Шелгунова, эта статья послужила причиной раскола в редакции. «Собрание,—рассказывает Н. В. Шелгунов,—было бурное и горячее. Запальчивее всех говорил Серно-Соловьевич, настаивавший на том, что нам нужно иметь свой орган. Когда Г. З. Елисеев спросил: для чего нужен свой орган, Серно-Соловьевич ответил: «Для того, чтобы во всякую минуту, когда в нем будет нужда, он был готов». В другом месте своих воспоминаний Н. В. Шелгунов более откровенно передает ответ Серно-Соловьевича на тот же вопрос Г. Елисеева: «Орган нужен на случай восстания» [5].

В конце 1861 г. или начале 1862 г. вместе с 72 общественными деятелями



Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ

Фотография 50-х гг.

Музей Революции, Москва

того времени Н. А. Серно-Соловьевич подписал докладную записку — протест по поводу лишения А. П. Щапова профессорской кафедры и ссылки его в монастырь за речь о восстании крестьян в Бездне (Казанской губ.).

Н. А. Серно-Соловьевич был, действительно, видной и заметной фигурой в общественной жизни того времени. В своих показаниях, данных им во время пребывания в Петропавловской крепости, он сам говорит об этом: «В 1859 году я участвовал в занятиях калужского губернского комитета по крестьянскому делу. Его занятия обратили на себя внимание. Он первый просил и получил разрешение составить проект выкупного положения, за что ему было объявлено удовольствие е. и. величества. Все это не нравилось людям, не сочувствовавшим реформе. Я был в комитете не более как делопроизводитель, но как мое имя было уже связано с крестьянским вопросом, то неудовольствие падало на меня. Затем я обратил общественное внимание на злоупотребления в акционерных компаниях. Люди, злоупотреблявшие властью, объявили меня революционером. Название было подхвачено недовольными моими действиями по крестьянскому делу и с тех пор пошло в ход». Нам попался один неизданный документ, из которого видно, что и литературная деятельность Н. А. Серно-Соловьевича привлекала также к себе внимание со стороны органов наблюдения еще в то время, когда он был в Калуге. Так, подполковник Смирнов, штаб-офицер корпуса жандармов в Калуге, 4 марта 1862 г. доносил III отделению, что «в издаваемом изгнанником Герценом журнале «Колокол» (№ 107 за 15 сентября 1861 г.) напечатана присланная из России статья, весьма возмутительного и преступного содержания под заглавием «Ответ великороссу» за подписью «Один из многих». При происходившей между калужскими дворянами в 1859 г. печатной полемике по случаю открытия в г. Калуге женской гимназии была напечатана в «Московских Ведомостях» № 117 того же 1859 г. статья с таковою же подписью «Один из многих». По собранным сведениям статья эта была написана Н. А. Серно-Соловьевичем, находившимся тогда в калужской редакционной комиссии по составлению проекта Положения о помещичьих крестьянах. По общим отзывам Серно-Соловьевич весьма часто высказывал в суждениях своих нерасположение к существующему в России государственному управлению и выражал особенное сочувствие к изгнаннику Герцену, потому предполагают, что напечатанная в журнале «Колокол» статья должна быть также написана г. Серно-Соловьевичем»[6].

Три года ожидал в каземате Н. А. Серно-Соловьевич приговора на каторжную работу в Сибирь. Он сидел в № 16, одновременно с Чернышевским, который занимал № 11, и И. А. Обручевым, бывшим в № 10. За это время он усиленно работал и писал. Опубликованные раньше М. К. Лемке (в его книге «Очерки освободительного движения 60-х годов», 2-е изд., СПБ. 1908 г.) и недавно Е. Сафоновой (в сб. «Революционное движение 60-х годов», изд. Политкаторжан, М. 1933) публицистические статьи и социально-экономические трактаты могут быть дополнены сведениями о его переводах (напр., Шлоссера, о чем Н. А. Серно-Соловьевич сообщает в своем письме брату В. А. от 7 сентября 1863 г. из крепости—см. в назв. работе М. К. Лемке, 2-е изд. 1908, стр. 96, а также Байрона), сведениями о больших литературно-художественных произведениях (пьесах, стихах) и, наконец, публикацией 7 небольших его стихотворений. В деле III отделения («О революционном духе народа в России и о распространении возмутительных воззваний. О братьях Серно-Соловьевичах и Г-же Энгельгардт», 1862, 1 эксп. № 230, часть 54) сохранились публикуемые ниже неизвестные доселе, запрятанные в пакет «вещественных доказательств» лирические и политические стихи Н. А. Серно-Соловьевича. Посылая 5 августа 1863 г. письмо брату Владимиру Александровичу, Н. А. приложил к нему 6 стихотворений, разнообразных по жанрам и интересных по содержанию. 17 августа того же года было направлено и также задержано жандармами вместе с письмом к брату (тексты писем воспроизводим далее после текста стихов) новое лирическое стихотворение («Даме, приславшей букет»). В декабре 1864 г., как видно из дела, были

посланы деду и матери стихи через коменданта крепости; эти стихи после вмешательства и письменного протеста Н. А. Серно-Соловьевича, надо думать, были вручены по назначению. Наконец, из донесения коменданта крепости 29 апреля 1865 г. узнаем, что Н. А. Серно-Соловьевич представил ему четыре тетради литературных произведений; это были 1) «Андроник», драматическое стихотворение в 5 действиях; 2) «Кто лучше», драматическое стихотворение в 5 действиях; 3) «Из былого», комедия в 5 действиях; 4) «Каин»—мистерия лорда Байрона, перевод с английского в стихах. Автор просил препроводить тетради брату. На донесении коменданта есть резолюция: «так как приговор уже объявлен, то исполнить желание Серно-Соловьевича», согласно которой, очевидно, эти тетради со стихами были переданы и их в деле нет. Остальные стихи уцелели; их задержали, и III отделение похоронило их за пыльной обложкой дела.

Одно из более поздних стихотворений («Пусть другие здесь пишут стихи»), написанное уже в Иркутске в 1865 г., было известно в печати по неточной публикации М. К. Лемке в названной его книге «Очерки освободительного движения 60-х годов» (2-е изд. 1908, стр. 226—227); затем оно было перепечатано О. К. Булаковой-Трубниковой в ее книге «Три поколения» (Гиз. 1928, 2-е изд., стр. 83) и тоже не совсем точно.

Количество написанного Н. А. Серно-Соловьевичем во время заключения в Петропавловской крепости значительно. Как и Чернышевский, который о себе сказал, что в равелине он знал два положения: «сижу и лежу» и два занятия: «читаю и пишу», Н. А. Серно-Соловьевич упорно и неутомимо работал и писал. Важно отметить и другое обстоятельство. Публикуемые стихотворения позволяют утверждать, что политическое сознание заключенного в каземате Н. А. Серно-Соловьевича не снизилось, а выросло, повысилась и степень его революционной настроенности. Свои докладные записки и трактаты по вопросам государственного устройства Н. А. Серно-Соловьевич писал и представлял царю, убежденный в том, что этим средством он может воздействовать на самодержавие. Ложная утопия и глубоко ошибочная вера в то, что можно сговориться с царем,—предубеждение, разделяемое в те годы многими, в том числе и Герценом, дезориентировало Н. А. Серно-Соловьевича, внушало ему либеральные колебания. Не то видим в его поэзии. Здесь он выступает последовательным демократом, свободным от либеральных иллюзий. Каземат, по признанию его самого в стихотворении «Исповедь», не только не сломил его уверенности в победе революции, напротив, усилил в нем убеждение в правоте революционного пути. В этом стихотворении он убедительно и правдиво изобразил процесс рождения в условиях тогдашней жизни деятелей революции:

Дремал я праздно четверть века
Но Севастополь застонал:
Тот стон скоробил человека.
Я гражданином русским стал!
С тех пор иная мне дорога.
Светила правды мне заря.
Оковы рабства у порога
Отцов стряхнул я, говоря:
«Вперед! вперед! Страна больная,
Тебе теперь принадлежу.
Вот жизнь моя: ее, родная,
Я за тебя не пощажу.
Поверь — вот клятва вековая —
Тебя, страдалица, люблю
И что ни даст мне роковая
Борьба,—*на шаг не отступлю*».
И я сдержал обет суровый,

Под ношей крестною стеня,
Не покидал я путь терновый:
И он в тюрьму привел меня.
(«Исповедь»).

В других стихотворениях этого узника дано также выражение настроени и взглядов революционной группы демократов, единомышленников вождя рево люционной демократии Н. Г. Чернышевского. Есть в них и мотивы, сходны с поэзией Некрасова, лучшего представителя в те годы революционно-демокра тической литературы. Созвучие это вполне естественно.

Подобно своему вождю—Чернышевскому, не дрогнул этот представител и в своих политических показаниях, даваемых неоднократно в крепости. Неда ром А. И. Герцен в письме к сыну от 11 августа 1865 г. писал о Н. А. Серно Соловьевиче так: он «держал себя до конца благородно до нельзя и даже, когд читали сентенцию, по просьбе матери, сказал: «Я ее об этом не просил»[1]

Высланный на поселение, в Иркутске, в ноябре 1865 г. Н. А. Серно-Соловь евич написал последнее свое стихотворение и в полном согласии со всем, чт мы знаем о его поэзии, освобождающей его от иллюзий политического оппор тунизма, вновь говорит о неизбежной победе демократической революции и своих песнях во имя побед этой революции:

Я не создан невольником петь...
Я тогда воспою этот край,
Когда воля посеет в нем рай,
И проснувшийся разум сотрет
Человека осиливший гнет.

Это было как бы предсмертное завещание «бедного узника», угасшего не ожиданно и быстро от тяжелых ударов реакции, обрушившихся на этого юного и талантливого революционера. В Сибири закончил свой жизненный пут юный последний маркиз Поза, открывший, по меткому выражению Герцена эпоху борьбы с правительством «с открытым забралом». Можно удивляться, не сомненно, тому смелому тону, каким проникнуты все стихотворения Н. А. Сер но-Соловьевича, писанные в каземате, и высокому уровню революционного на строения, с которым он не побоялся говорить в них о революционерах, гибнув ших «птенцах», о революции и неустранимой ее победе над царизмом и кре постническим строем.

Два слова о последних годах жизни Н. А. Серно-Соловьевича. Во время пребывания в каземате он вел переписку с братом В. А. Серно-Соловьевичем (некоторые письма его, задержанные III отделением, печатаются в примечаниях далее на стр. 441) и с Н. В. Шелгуновым. Переписка с последним была кон спиративной. Одно письмо Н. В. Шелгунова летом 1862 г. было перехвачено и попало в руки жандармов. Это обстоятельство отразилось неблагоприятно и на положении Шелгуновых, ехавших на свидание с М. Л. Михайловым. Впервые Н. А. Серно-Соловьевич был допрошен только 16 октября 1862 г. (текст его кратких показаний на этом допросе напечатан М. К. Лемке в книге «Очерки ос вободительного движения», 2-е изд., 1908, стр. 104—105). Затем, 5, 8, 11 и 13 де кабря ему были сделаны второй, третий, четвертый и пятый допросы (тексты этих показаний напечатаны также у М. К. Лемке в назв. книге на стр. 143—151 и 151—155). Показания его возмущали Комиссию неискренностью и умалчива нием. Только после ознакомления Н. А. Серно-Соловьевича с производством по делу, когда ему стало ясно, что многое скрывать бесполезно, Серно-Соловьевич написал 11 декабря свои пространные показания, исполненные политической чест ности и достоинства (текст их напечатан также М. К. Лемке в назв. книге, на стр. 184—206). Его допрашивали еще 10 февраля 1863 г. по поводу Кельсиева и наме рений последнего распространять свои издания в России, и тогда Н. А. Серно-

Соловьевич написал два письма в Сенат, излагающие его «взгляд на нынешнее состояние умов» и об отсутствии организованной лондонской пропаганды (напеч. М. К. Лемке там же, на стр. 209—219). 5 марта он пишет третье прошение в Сенат; но только 10 декабря 1864 г. были готовы сенатская записка и заключение по делу арестованных. Н. А. Серно-Соловьевич, 29 лет, был наказан «за участие в злоумышлении с лондонскими пропагандистами против русского правительства, за распространение заграничных сочинений их преступного содержания, за дачу у себя убежища неосужденному государственному преступнику Кельсиеву с знанием преступных его замыслов и за дерзостное порицание действий правительства и самого образа правления,—лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на двенадцать лет, а затем поселить в Сибири навсегда» (см. М. К. Лемке, там же, стр. 221). Государственный Совет признал возможным хлопотать о смягчении участи Серно-Соловьевича и предложил, по лишении всех прав состояния, каторгу заменить вечным поселением в Сибири. 30 марта 1865 г. царь согласился с мнением Совета. 2 июня 1865 г. в 9 ч. утра Н. А. Серно-Соловьевичу был объявлен приговор. 3 июня он был выпущен из крепости и переведен в пересыльную тюрьму. 21 июня он отправлен в Москву и 27 июня по Нижегородской жел. дороге в Тобольский Приказ — и в Сибирь. 26 сентября он прибыл в Красноярск и отправился в Иркутскую губернию. 10 марта 1866 г. его дедом Кирилиным была получена телеграмма из Верхнеудинска такого нелепого содержания, что «Серно-Соловьевич, божией волей, помре». По одним сведениям, он умер от тифа (см. М. К. Лемке, стр. 277); по словам Герцена, «его больного переехала тройка, в которой везли других сосланных. Поднятый на дороге, он был доставлен в Иркутский лазарет и там умер» (см. А. И. Герцен, Соч. т. XVIII, 373; ср. XIX. 13). По словам очевидца-поляка, дело произошло так: «подъезжая к Мальте, мы стали спускаться с горы. Задние лошади наскочили на подводу, где сидел Николай, подмяли его под себя и сани с двумя седоками и ямщиком проехали по нем. Он боли не чувствовал. Все время был весел и пел песни. Приехали на этап. Мы натерли его водкой с мылом. Все было ничего. Он совсем чувствовал себя хорошо. Приехали в Иркутск, нас заперли в острог. А на другой день С. С. пошел в больницу и 9 или 10 февраля богу душу отдал» (М. К. Лемке, назв. соч., стр. 227—228). Другой очевидец прибавляет, что «кроме падения на боль в боку имел уже влияние удар в бок ружьем. Он, видите ли, заступился за своих спутников, и защитник отечества хватил его в бок» (там же, 228).

В 1865 г. появилась в свет его статья «Не требует ли нынешнее состояние знаний новой науки?» в журн. «Русское Слово», январь (стр. 127—136); она была написана еще в крепости и была представлена в III отделение через коменданта крепости 5 июня 1863 г. Уцелело еще письмо его В. В. Ивашевой (затем Черкесовой) от 13 ноября 1865 г. и здесь же «последние стихи,—написанные (им) еще на Оби» («Пусть другие здесь пишут стихи», см. на стр. 440—441).

Русское правительство расправилось с Н. А. Серно-Соловьевичем, как и с Н. Г. Чернышевским и другими, и вполне заслужило резкую отповедь за это Герцена, сказавшего в некрологе: «Благороднейший, чистейший, честнейший Серно-Соловьевич,—и его убили»...

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Звенья», т. II, М. 1933, стр. 420.

[2] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений под ред. М. К. Лемке, т. XVIII, стр. 99.

[3] «Революционное движение 60-х годов», изд. О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, М. 1932, стр. 117.

[4] «Звенья», т. II, М. 1933, стр. 411—412.

[5] Н. В. Шелгунов, Воспоминания. Под ред. А. А. Шилова. М.—Л. 1923, стр. 146.

[6] Дело III отделения, I экспедиция, 1862, № 230, ч. 54, лл. 1—2.

[7] А. И. Герцен, назв. изд., т. XVIII, стр. 173.

СТИХОТВОРЕНИЯ Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА

1. ПЕСНЯ

(Пел какой-то работавший мастеровой)

1

Песня, песня раздается!
Звук родимый, дорогой.
Грудь моя на волю рвется:
Пой же громче, мой родной!
Сердце словно встрепенулось,
Опять дышется легко.
Сила прежняя вернулась.
Песня льется широко.
Не на долго. Вот затихла.
Снова мертвенная тишь.
Только ты еще не смолкло
Сердце: бьешься и щемишь.

2

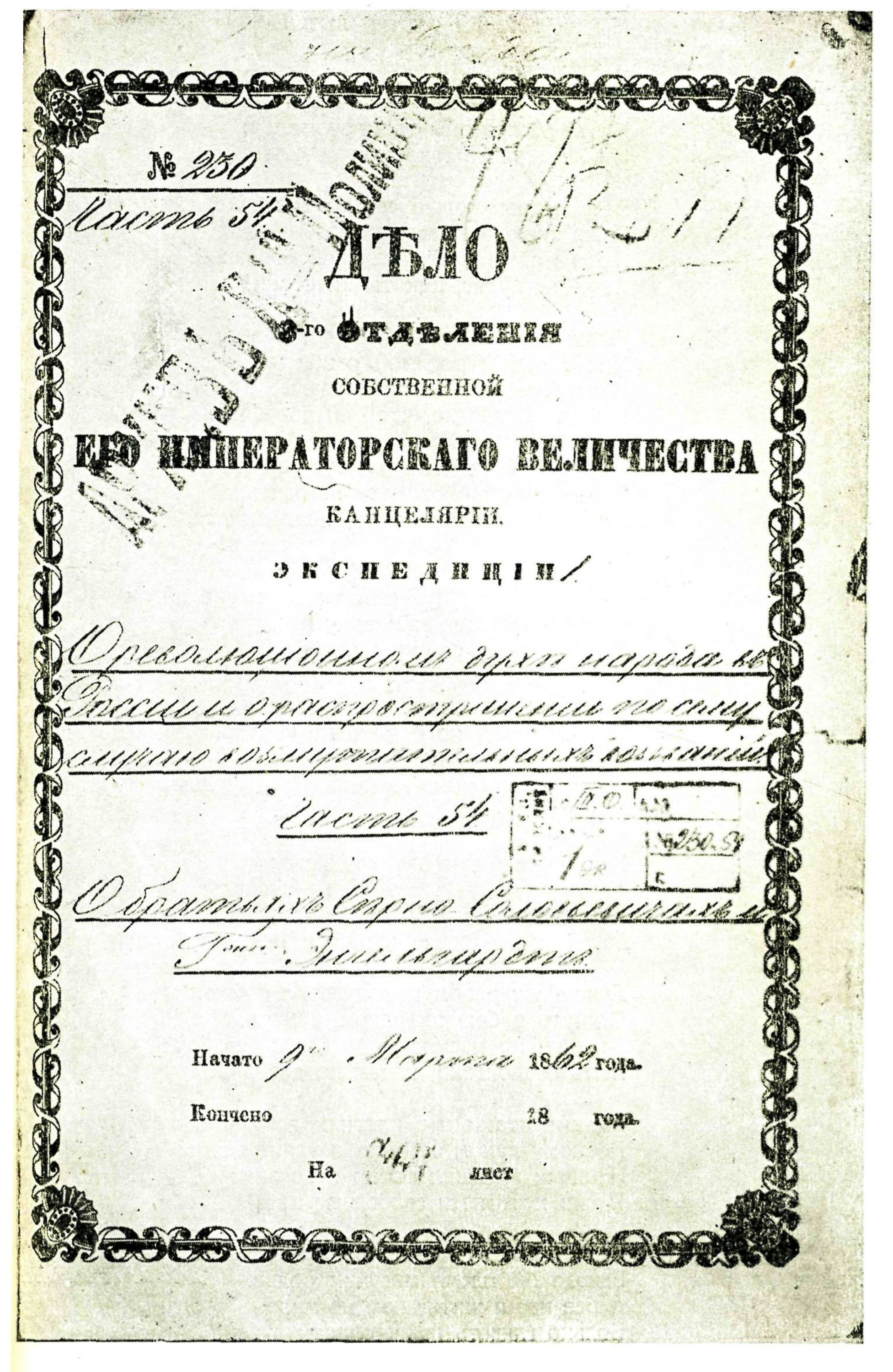
Чтож ты смолк? Пропой немножко.
Песня душу отведет.
Новых звуков у окошка
Бедный узник жадно ждет.
Вот опять раздались звуки:
Только эти уж не те.
Это песнь тоски и муки,
Песнь о горе, нищете.
Видно мало, друг, утехи
И тебе житье дает!
Так поют не для потехи:
Так забитый лишь поет!

3

Знать, та прежняя синичка,
Звук отчаянья была,
И, подстреленная птичка,
Встрепенувшись, замерла.
Иногда и мне бывает
На минуту словно рай:
Это сердце изнывает, —
Капля льется через край.
Освежила на мгновенье,
А потом опять горит
Все сильней... пока томленье
Сил совсем не изнурит...

2. ПТЕНЦЫ

Мать неутешная, как ты страдаешь!
Муки твои нам все сердце сожгли.



ОБЛОЖКА ДЕЛА «О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДУХЕ НАРОДА В РОССИИ И О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПО СЕМУ СЛУЧАЮ ВОЗМУТИТЕЛЬНЫХ ВОЗЗВАНИЙ» ЧАСТЬ 54. «О БРАТЬЯХ СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧАХ И Г-ЖЕ ЭНГЕЛЬГАРДТ»

Больно нам видеть, как ты изнываешь,
Мы за тебя бы охотно легли!

Но не помогут ни смерть, ни страданья.
Сколько ни гибни родимых птенцов,
Мать! бесполезны твои ожиданья:
Им не осилить свирепых ловцов.

Ведь не пеньковою сетью: железной
Волю твою заковали они,
Любо им тешиться жертвой болезной.
Легче не будет, как ты ни стони!

Бьются, терзаются птенчики малые,
Хочут оковы родимой разбить,
И разбивают — головки удалые.
Гибнут бесплодно, чтоб ей пособить.

— Ах, что̀ бы вам, птенцы горемычные,
Годик-другой обождать, погодить,
Были бы вы к бою тогда попривычнее,
В сетях железо могло бы погнить!

— Годик-другой! Знать тоски вы не знали
И вместо сердца камень у вас.
Нас истомили родимой печали,
Нас убивал каждый прожитый час!

Горько тому, кого мать не качала,
Горько родную навек потерять:
Наша же скорбь без конца, без начала.
Меры не сыщешь ее измерять.

Кто разгадал, что̀ такое неволя,
Светлых минут уж тому не знавать:
Что ж ему жить, коли знает, что доля
Матери: в рабстве весь век изнывать!

Лучше уж разом покончить с собою.
Сгинуть в бою за родимую мать.
Ведь не по нас примириться с судьбою:
Ныть бесполезно, постыдно дремать!

Мелкие птахи и в клетках довольны.
Робкому духом ведь любо терпеть.
Наши ж желания смелы и вольны:
Песни хотим мы свободные петь!

Если бы мать нас на воле вскормила
Вышло бы племя могучих орлов.
А без нее и житье нам не мило,
Больно глядеть на верхушки дубов!

Верьте: погибнем не жертвой напрасной.
Мы, умирая, про волю споем

И этой песнью дивно-прекрасной
Стан могучих бойцов созовем.

Братья, заслышав ее, встрепенутся.
Станет им стыдно и больно дремать.
Дружно они за работу возьмутся,
Сети порвут и спасут нашу мать!

Гибли бесстрашно орлы молодые.
Звонко их смертная песня лилась.
Ею ловцы потешались седые...
Мать, изнывая, на волю рвалась.

3. ИСПОВЕДЬ

(Не принимай этого за изображение моего положения. Это просто поэма)

Нет, не в тюрьме искать покоя!
У двери ходит часовой,
А что ни четверть, за рекою
Часов неугомонный бой.
На полчаса нельзя забыться,
Неволю злую позабыть.
Тоска томит... Увы, не сбыться
Мечтам. На воле мне не быть!
Ведь обольщать себя не стану.
Добра не много впереди.
Я с каждым днем все вяну, вяну...
Уж свил недуг гнездо в груди.
Мне душно! Сердце так и ноет,
Щемит; я весь огнем горю.
Истома мне могилу роет...
Нет, не увижу я зарю!
Я таю. Страшное сознанье!
Себя день за день хоронить.
Вы бесполезны—ум и знанье,
К концу близка моя уж нить.
Тюрьма и горе изнурили
Мой организм. Остаток сил
Добить не трудно. Уморили
Меня враги. Жаль... я б пожил!
Не для забав и пирований
Я жить хочу. Их буйный шум
В стране печали и терзаний
Пытливый оскорбляют ум.
Я отдал бы себя всецело
Борьбе с неправдой. Я бы шел
К добру так твердо и так смело,
Что верно б спутников нашел.
И прежде шел я той дорогой,
Но я не тот, что был тогда.
Закал суровый школы строгой
Оставил след свой навсегда.
В тюрьме я вырос. Размышленье,
Как молот, выковало ум.

Дало железное терпенье
И много крепких, сильных дум.
Но бесполезно... Призрак бледный
С косой уж носится вдали.
Тебя он манит, узник бедный,
Мольбой его не весели!
Нет! Я молить его не стану.
О невозвратном что тужить!
Смертельную травить лишь рану.
Что умерло, тому не жить!
Спокойно встречу я кончину.
Не даром рок меня учил:
Я смолоду узнал кручину,
Разбито все, что я любил...
Но перед смертию, о люди!
Скажу вам исповедь мою.
Поверьте мне, в болящей груди
Грехов смертельных не таю.
......Две страсти знал я:
Любовь к свободе и к добру.
Я веровал в свое призванье
И с этой верою умру.
Я в людях только братьев видел,
Бесстрашно истины искал,
Всем сердцем рабство ненавидел
И тираннию презирал.
С пеленок, диким суеверьем
Меня старались заразить,
Беззубой старины поверьем
Ребячий разум исказить.
Не мало зол в стране родимой.
Кто вздумал бы их сосчитать,
Тот — труженик неутомимый —
Вторым Сизифом мог бы стать
Но есть одно рабов наследство, —
Оно нас губит как чума.
Где русский тот, кого бы с детства
Не развратил разврат ума?..
Спознался я с чумой боярской.
Меня обвили, как змея,
Все предрассудки касты барской
И сгибла, юность ты моя!
И долго, долго я оковы
Носил тяжелых тех цепей.
И тешили меня обновы,
Добытые из-под плетей.
Как язвы, воли я боялся
И правду дерзостью считал.
Всему, что сильно, поклонялся,
А перед властью трепетал.
Прочь, прочь, скорей, воспоминанья
Печальных юношеских лет!
Семьи и школы все познанья
Затоптан уж ваш мрачный след.
Теперь я беден и страдаю,

[illegible]

ПИСЬМО Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА К БРАТУ ОТ 5 АВГУСТА 1863 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Центрархив, Москва

ты вообразив, что мою финансовую [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: тогда [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] и [illegible] [illegible]. [illegible] ты [illegible]
как перестали [illegible] математические [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] не [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. Поэтому [illegible]
[illegible] тебе [illegible] друг [illegible]
[illegible] справедливости. — [illegible] [illegible]
и [illegible] [illegible]. — [illegible]

Пташка ([illegible] [illegible] [illegible] [illegible])

Пташка, пташка раздается!
Звук родимый, дорогой
Грудь моя на волю рвется
По тебе [illegible] мой родной!
Сердце словно встрепенулось
[illegible] легко
[illegible] [illegible] в сердце [illegible]
Пташка [illegible] [illegible].
Но не долго: [illegible] [illegible]
Снова [illegible] [illegible]:
Только [illegible] не [illegible]
Сердце: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]. [illegible] [illegible]
Пташка [illegible] [illegible].
Новых звуков [illegible]
Бедный узник [illegible]
Вот [illegible] [illegible] звуки
Только [illegible] уж не то
[illegible] [illegible] [illegible]
Пташка [illegible], [illegible].
Видно [illegible] [illegible]
И тебе [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] не [illegible]:
[illegible] [illegible] [illegible]!

ПИСЬМО Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА К БРАТУ ОТ 5 АВГУСТА 1863 г.
ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Центрархив, Москва

Но если б мне могли отдать
Взамен того, чем обладаю,
То, чем я мог бы обладать:
Богатство, почести и мненье
Твое, — чиновный, важный свет, —
Во мне вскипело б отвращенье
И гордо я сказал бы: нет!
Дремал я праздно четверть века.
Но Севастополь застонал:
Тот стон скоробил человека.
Я гражданином русским стал!
С тех пор иная мне дорога.
Светила правды мне заря.
Оковы рабства у порога
Отцов стряхнул я, говоря:
«Вперед! вперед! Страна больная,
Тебе теперь принадлежу.
Вот жизнь моя: ее, родная,
Я за тебя не пощажу.
Поверь — вот клятва вековая —
Тебя, страдалица, люблю
И что ни даст мне роковая
Борьба, — на шаг не отступлю».
И я сдержал обет суровый,
Под ношей крестною стеня,
Не покидал я путь терновый:
И он в тюрьму привел меня.
И я умру в поре цветущей.
Уж скоро, скоро! Смерть близка
Не вынес я тоски сосущей.
Рванулся раб... Но цепь крепка.
Так вот зачем так больно в гру́ди
Зачем я таю и горю
И родину люблю... о люди!
И не увижу я зарю.

4

Бедность, горе, забота,
Вечная страда-работа —
    Вот наша доля, друзья!
Стар человек или молод,
Голод, голод и голод —
    Вот наш обычный припев!
Есть и ум и познанья,
Есть и трудиться желанье,
    Нет только денег у нас
Мы не копаем, не пашем,
Мы все перьями машем
    В том вся наша беда!
Многое мы разумеем,
Только сказать-то не смеем:
    Больно цензура строга.
Как бы охотно печали
Родины мы облегчали,

Только не слушают нас.
Может и было б иначе,
Если б мы были богаче, —
Бедность помеха всему!
Да уж оставим влиянье.
Было бы хоть пропитанье,
А то ведь нечего есть!
Мрут журналы без меры,
Право тяжеле холеры, —
Просто хоть в петлю ложись
Как ни вертись, ни метайся!
С жизнью, видно, прощайся!
Разве в питейную часть?
Это безвредней писанья,
Благонамеренней знанья
И казначейству доход!
Нынче же, к счастью семейных,
Много домов есть питейных.
Двинем же, братцы, в кабак!
Право, не будет укора,
Будем счастливы мы скоро,
Только не надо робеть!
Это единое средство
Выйти в невинное детство,
Меньше волненья уму.
А ведь всего что прекрасней,
Станем тогда безопасней.
Верно мы будем в чести.
Главное, не унывайте,
Новой дорогой ступайте
Так-таки прямо в кабак.
Там не забота, не горе,
А разливанное море
Нас ожидает, друзья!

5. БАСНЯ

(Для умных детей)

— Не пора ли в путь сестрица?
Скоро станет уж светать.
Ты валяться мастерица.
Люди будут ожидать.
— Право, братец, подивишься,
Что тя Разумом честят!
Ой, смотри, ведь натужишься,
В желтый дом как поместят.
Из чего, скажи, ты бьешься?
Днем и ночью на ногах,
Суетишься, мечешь, рвешься,
Все городишь о благах!
О каких? Чего ты хочешь?
Словно ты указ какой!
Право, ты людей морочишь,
Баламутишь лишь покой:
Мой, свой собственный, народный,

УПРАВЛЕНІЕ

КОМЕНДАНТА

С.Т ПЕТЕРБУРГСКОЙ

КРѢПОСТИ

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ КОМЕНДАНТА ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ III ОТДЕЛЕНИЕМ К ЧЕТЫРЕМ ПЕРЕСЫЛАЕМЫМ РУКОПИСЯМ Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА

Центрархив, Москва

Искушаешь словно бес.
Подойдешь как благородный,
А заманишь прямо в лес.
Ни властей не уважаешь,
Ни обычаев не чтишь.
Самого не почитаешь.
А меня-то как костишь!
Словно не сестра родная,
Дурой громко ведь бранишь!
Ты не думай: не одна я,
Скажут все, что ты грешишь.
Верь, не верь: а я слыхала
Про тебя как все звонят.
Вора, подлеца, нахала
Больше, чем тебя, ценят.
Хоть сестра, — а согласиться
С этим я должна была
И, намедни, изловчиться
В одном месте помогла.
Мы повыдумали меры,
Чтоб тебя посократить.
Ты зазнался уж без меры,
Вздумал край тот развратить!
Это верно: я ведь брешить
Чепуху-то не люблю.
Правдою могу потешить:
У источника ловлю!
Сам ты знаешь, что я вхожа
Всюду в первые дома.
Да что вхожа! там пригожа,
Там хозяйка я сама!
Как тебя не вразумляет
Наших разница судеб?
Их ведь пропасть разделяет!
Или глух ты, или нет!
Я знатна, в чести и славе,
Денег куры не клюют,
Мыслю только о забаве.
Что хочу, все мне дают.
Я не ведаю печали,
Мне не тягостна узда.
Меня с счастьем повенчали
Труд других моя руда.
Правда, знаюсь я и с сбродом:
Только чернь мне нипочем.
Я сурова с хамским родом,
Я люблюсь все с богачем.
Я порядкам всем начало,
Я владыка на земле.
Как ты ни впускаешь жало,
Все же сила вся во мне!
Ну, а ты? Всегда забитый,
Оборванец, мой батрак,
Горе мыкаешь день битый,
А получишь четвертак.

В высшем обществе, чай, сроду
Не бывал. На чердаках
Место твоему народу,
Твоим умным дуракам!
Где-то за морем толкуют,
Ты теперь всему глава.
Но меня, брат, не надуют,
Это все одни слова.
Если б там был без обиды,
Стал бы ты шнырять сюда!
Я ведь видывала виды,
Не таскаюсь же туда!
А коль там твои владенья,
Хочешь, сделаем менок?
Вывези в свои именья
Всех, кто здесь тебе сынок.
Наших бы, взамен, повыбрал:
Ну хоть за двадцать двоих.
Только ваших бы бог прибрал.
С нас довольно и своих!
У себя распоряжайся
Сколько хочешь ты тогда,
Только к нам уж не мешайся
И не суйся никогда.
Без тебя все было тихо!
Слышно, муха как летит.
Спали, ели, просто лихо.
Вдруг непрошенный визит!
И чего вы расходились!
Вас там вовсе не хотят.
Да теперь распорядились.
Посмотри, как угостят!
— Ну, натешилась, глупушка!
Двинем же меня катать.
Вот возьми, твоя подушка:
С ней удобнее дремать.

6. ИЗ БАЙРОНА

Прости, о, если б возносилась
Душа за милого прося,
Моя бы в небо уносилась,
Молясь усердно за тебя.
К чему слова, к чему стенанья!
Когда бы грешника спасти
Могло кровавое рыданье:
В [нем] было б меньше, чем в: прости!
Уста молчат, глаза так сухи,
А в голове и в сердце ад.
Те никогда не смолкнут муки,
Те думы ввек не замолчат.
Смешны бы жалобы тут были.
Не им мятеж мой погрести.
Я все забыл... Ведь мы любили
Затем, чтобы сказать прости!

На сей раз будет. Если понравится — мой голос еще не иссяк.

7. ДАМЕ, ПРИСЛАВШЕЙ БУКЕТ

Вы мне букет в тюрьму прислали.
Какие чудные цветы!
О, если бы порассказали
Они, ожив, вам все мечты,
Все мысли, думы, чувства, страсти,
Во мне вскипевшие, в ответ
На дружбу, верную в напасти,
На задушевный ваш привет!

Чтоб помнить вас — напоминаний
Не нужно моему уму.
Из нескольких воспоминаний,
Со мною запертых в тюрьму,
Мне заменяющих молитву,
Дающих силу, твердость, — вам
Всегда со злом ведущей битву,
Одно из первых мест отдам.

По времени я знал вас мало.
Но дума думе весть дает,
И мне моя давно сказала,
Что в вас сочувствие найдет.
В ком сердце вольно, смело бьется,
Кто не умеет быть рабом,
Тот неизменно отзовется
На стон подавленных трудом.

Поверьте: женщины вниманья
Одной — когда одна та: вы —
Ценю я выше колыханья
Стоустой, но пустой молвы.
И это не слова, не фразы.
Кто мыслит честно, тот не льстит,
Ни даже в шутку: как заразы
Он пустословия бежит.

Я в свете видел стад довольно
И мало личностей встречал.
Но с вами было мне привольно.
Всегда любимый звук звучал
В живом и умном разговоре,
Родного было много в нем,
А луч энергии во взоре
Грел электрическим огнем.

Зачем так мало вам подобных!
Как хорошо бы было жить
Среди людей, как вы, способных,
Зло ненавидеть и любить
Что честные считают правдой,
Свободой, разумом, добром,
А дураки зовут неправдой,
Позорят делом и пером!

Ум утомленный отдыхает,
Когда гляжу на ваш букет.
Но тяжко грудь моя вздыхает,
О том, что вижу в нем портрет,

ДОНЕСЕНИЕ О ПОЛУЧЕННОЙ ДЕДОМ Н. А. СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧА ИЗ ВЕРХНЕУДИНСКА ТЕЛЕГРАММЕ О СМЕРТИ ВНУКА

Центрархив, Москва

Когда далек тот образ милый,
Который мне его послал...
И хочется владеть мне силой:
Я бы все цепи разорвал...

Букеты женщины мужчине
Всегда счастливому дарят.
Vae victis! Прочь, кто в злой кручине!
Все угнетенным говорят,

ром также бросалось Добролюбову обвинение в том, что он во имя либерализма и гуманности разрушил авторитет Пирогова.

«Бойкая статейка Г-бова производила свое желанное влияние даже на киевлян, — говорил автор этого письма, — на тех людей, которые могли бы, кажется, получше присмотреться к характеру общественной деятельности своего попечителя... Статейка, по виду весьма гуманная и либеральная, соблазнительно подействовала на неопытную публику, подрывая во многих уважение к тому, кого она привыкла уважать» [25].

Автор письма оправдывал Пирогова точно таким же образом, как и Драгоманов. «Пирогов уступил большинству, — писал он; — за такие уступки его еще больше стали уважать люди, разумно следившие за ходом его общественной деятельности. Мы видели в Пирогове начальника, который уважает общее мнение, никому не навязывает своего». По мнению автора письма, если бы Пирогов поступил так, как этого требовал Добролюбов, т. е. своей властью изгнал бы розги, не считаясь с мнением педагогов, он оказался бы «щедринским озорником... благодаря неусыпному попечительству которого мужик понимает, что сам он ничего, и сход его ничего — и только просвещенный взгляд администратора может осветить этот хаос» [26].

На выпад Громеки, как в отношении «Свистка», так и в отношении статьи о Пирогове, ответил Чернышевский во второй статье своих «Полемических красот», помещенной в июльской книжке «Современника» за 1861 г. На утверждение Громеки, что из школы Добролюбова не выйдет ни одного Пирогова, Чернышевский отозвался так: «нет, не выйдет, потому что г. Пирогов старался связать вещи несовместимые, — розги с гуманностью; по-нашему что-нибудь одно: или секи или не секи, —

А смешивать два эти ремесла
Есть тьма охотников, мы не из их числа.

Г. Пирогов не виноват в том, что был непоследователен, он в такое время воспитался. Но стыдно было бы нам, если бы мы ставили свой идеал на том же уровне, на каком стоял он во времена воспитания г. Пирогова» [27].

Сам Добролюбов по достоинству ответил своим противникам статьей «От дождя да в воду», напечатанной в августовской книжке «Отечественных Записок» за 1861 г. Добролюбов, конечно, без труда разбил нелепое утверждение Драгоманова и Е. Судовщикова, что нельзя «насильно» приказывать учителям быть либералами. «Мы с вами, простосердечный читатель, думали до сих пор, что есть разница между положительными и отрицательными фактами, — писал Добролюбов, — оказывается, что никакой. Вы не допускаете вора стянуть ваш кошелек, — вы, значит, насильно заставляете его быть честным человеком, вам запрещают драться — хотят из вас насильно сделать либерала...» [28].

Что касается до упрека в оскорблении уважаемого общественного деятеля, то Добролюбов на него ответил указанием, что в его статье даже среди самых горячих тирад беспрестанно проглядывал мотив этой горячности, состоящий в том, что автор чрезвычайно высоко ценит Пирогова, и что именно такого-то человека и тяжело ему видеть слабеющим и падающим под гнетом среды, в которую поставлен [29].

Как известно, Чернышевский с начала 1858 г. предоставил Добролюбову отделы литературной критики и библиографии, а сам стал писать на общественно-экономические и чисто политические темы. Однако и Добролюбов поместил в «Современнике» несколько статей политического харак-

Но вы — не все: для вас страданье —
Ремень для новых, крепких уз,
Уз дружбы — а не состраданья:
Я погибаю... но борюсь!

Мое не проиграно дело.
Ведь у меня союзник есть.
Он как гигант шагает смело
И сил его врагам не счесть.
Союзник мощный этот: Время.
Оно за нас горой стоит.
С ним юное взрастает племя,
В котором правды луч горит.

Пусть нас терзают, пусть нас губят.
Святое дело не умрет.
Отчизну Дети крепко любят
И лозунг будет их: вперед!
Вперед! И с каждым днем рутина
Должна дряхлеть, шататься, гнить:
От света гибнет паутина.
Ей вас недолго уж томить.

Дни избавления настанут —
(Хотя, конечно, не для нас:
В тюрьме ведь силы быстро вянут.
Идет там за день каждый час).—
Тогда, как водится, гонимых
Толпа с восторгом помянет,
Тогда преступников, свет, мнимых
Святыми, верно, наречет.

Так в мире было, и так будет,
Пока не станет он умней...
Погибшим жизни не прибудет,
Ни мертвым в их гробах вольней:
Но их наследство достается
Тем, кто был близок их сердцам...
Мое не многим остается,
Но все они подобны Вам.

17. VIII. [18]63 [г.]

8

Пусть другие здесь пишут стихи
Я не буду — лишь эти строки.
Не дает мне пленительных дум
Отягченный бессонницей ум.
Нет, друзья, не меня вдохновит
Край оков, где все сердце томит,
Где безмерность лесов и степей,
Населяют при звуках цепей,
Где столетия, из рода в род
Изнывает несчастный народ.
Где нельзя нам ни мыслить, ни жить,
Где должны мы в лишениях гнить.

И все молча сносить и терпеть.
Я не создан невольником петь.
Я тогда воспою этот край,
Когда воля посеет в нем рай
И проснувшийся разум сотрет
Человека осиливший гнет.

Иркутск [3 ноября 1865 г.].

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворения печатаются по автографам, сохранившимся в деле III отделения 1 эксп. 1862 г. № 230, часть 54 (см. особый пакет). Первые шесть стихотворений сопровождались письмом Н. А. Серно-Соловьевича брату Вл. А. Серно-Соловьевичу; письмо было адресовано в книжный магазин на Невском проспекте, в доме Петропавловской церкви, № 24. Вот текст письма: «5.VIII [18]63. Согласно обещанию посылаю тебе, дорогой друг, несколько образчиков моей поэзии. Жалею, что не могу послать «Детей»*, которые по-моему удались лучше всего. Это слишком длинно и только первый отдел совсем отделан. Посмотрим, как ты найдешь небольшие стихотворения. — Ты не распространяй их; разве покажи кому-нибудь из приятелей, чтоб произвести над ними суждение. Еще лучше, если вместо какого-нибудь приятеля покажешь какой-нибудь приятельнице: в этом случае я гораздо больше полагаюсь на женский вкус. Я попрошу тебя, дорогой друг, сообщить мне приговор с полною откровенностью, нисколько не щадя авторского самолюбия. Свои детища всегда милы: но это еще не значит, чтобы другие нашли их такими же, или чтобы они были действительно хороши. Если бы я получил только один этот талант, мне конечно жаль было бы зарыть его в землю. Но, к счастью, я могу выбирать; потому мне крайне важно знать, чем преимущественно заниматься. Мне показалось, что я могу писать хорошие стихи — и я занялся поэзией, отстранив на второй план финансовые вычисления, экономические работы, переводы, так как писать стихи и приятнее и выгоднее: но только под условием, чтобы они были хороши. Сегодня ты сообщил, что мою финансовую статью** находят хорошею — может, стихи найдут хуже ее, тогда я двину их по боку и вернусь к цифрам. С тех времен, как перестал писать математические сочинения кухонно-латинскими стихами, кажется ни одному стихотворцу не приходилось колебаться между такими противоположными занятиями: было бы глупо променять кукушку на ястреба, когда можешь сохранить обоих. Потому убедительно прошу тебя, дорогой друг, о строжайшей, беспощаднейшей справедливости. Крепко обнимаю тебя и всех наших. Твой Н. Серно-Соловьевич».

(Приписка): «Потрудись мне прислать еще вина, только недорогого. Я не пью теперь больше. Я считаю, что даже рублевое было бы слишком дорого для ежедневного употребления».

Стихотворение «Даме, приславшей букет» печатается по автографу поэта, сохранившемуся в названном деле III отделения (1862 г. 1 эксп. № 230, часть 54). Передавая это стихотворение, Н. А. Серно-Соловьевич имел намерение вручить брату еще письмо, написанное одновременно и поясняющее мысли автора, изложенные в данном стихотворении. Приводим текст этого письма полностью.

«17/VIII [18]63 г. Милый друг. Вчера, передавая мне букет, ты мне сказал, что та, кто его прислала, не велела называть себя, желая знать, угадаю ли я ее имя. В ответ на это я, прийдя в свою тюрьму, написал прилагаемые стихи, которые прошу передать по адресу. Я наверно знаю, что не ошибся и конечно в будущее свидание, т. е. 25-го, узнаю это положительно. Разумеется, ты вручишь их лично и непосредственно и притом потрудись сообщить, что о моих настоящих чувствах не следует судить по слабости стихов. Он вышли бы иначе, если бы я имел возможность передать их лично из рук в руки, или если бы они были также выразительно немы, как цветы. У меня не страстная натура, но упорно постоянная во всех привязанностях, а время и страдания закаляют чувства. С нетерпением буду ждать воскресенья.

Вчера я был рассеян и сказал не то, что следовало о предполагаемом пере-

---

* Это стихотворение в деле не сохранилось.

** Может быть, Н. А. Серно-Соловьевич говорит о статье «План финансовой хозяйственной реформы» (на 59 л., представленной в III отд. комендантом крепости 26 марта 1863 г., а может быть, и о другой статье под названием: «Статистический метод нашей внешней торговли» (на 28 л., представленной также в III отд. 7 мая 1863 г.).

воде. Вопрос не в том, переводить ли Дон-Жуана * в стихах или в прозе, а стоит ли переводить или нет, т. е. можно ли ждать, что книга будет иметь успех? Что касается до способа перевода, то это зависит единственно от того, достанет ли настолько поэтического таланта, чтобы передать в стихах творение, названное Гете «безгранично гениальным».

Да и независимо от таланта нашим языком до-нельзя трудно передавать байроновские мысли. Я уже сознал это на маленьком стихотвореньице, переведя его, нашел, что оно переведено Лермонтовым; по сравнении оказалось, что только полстиха из 16 у нас сходны **. Но если бы соединить мысли обоих переложений в одно, то и тогда не выразятся все мысли, заключающиеся в байроновских стихах. Впрочем, надо прибавить, что Лермонтов написал свое, имея 17 лет.

Во всяком случае попробую переводить и в прозе и в стихах и обработав несколько строф в обоих видах пришлю вам на суд. Сделать этот перевод значило бы увековечить свое имя в русской литературе *** потому что это, по-моему, первое по достоинству поэтическое произведение в целом мире. Но наверно заранее можно сказать, что я не кончу его—уже потому, что в поэме 1975 осьмистрочных строф, а я не полагаю, чтоб был в состоянии переводить стихами больше 5 в день. — К тому же чем дальше, тем труднее становится для меня, какая бы ни была работа по изнурению физических сил.—Вчера, например, я был так утомлен, что лег в 9 часов — а в результате все же заснул около 2, а проснулся в 6. — Конечно, это не нормальное положение: но следя постоянно за собой, ясно замечаешь, что организм все более и более приближается к состоянию, характеризующему дряхлость, именно возрастающая слабость в течение дня и уменьшение сна ночью.

Вот и теперь, пишу к тебе совсем усталый, а лягу и проворочаюсь с боку на бок несколько часов.

Крепко обнимаю тебя, дорогой друг. Нашим искренний поклон, с нетерпением буду ждать тебя. Твой Николай Соловьевич.

Уведомь о получении письма. Я был прав: опять заснул в 3 часа, а встал в 7».

Стихотворение «Пусть другие здесь пишут стихи» печатаем по автографу, имеющемуся у Ольги Константиновны Булановой — дочери адресатки — Веры Викторовны Ивашевой. Впервые стихотворение напечатано было неисправно М. К. Лемке в книге его «Очерки освободительного движения 60-х годов» (см. 2-е изд. СПБ. 1908, стр. 226—227). Разночтения в тексте у М. К. Лемке имеются в 4-м стихе: вместо «бессонницей» у него напечатано «нелепицей»; 13-й стих отсутствует вовсе. Затем О. К. Буланова-Трубникова напечатала текст этого стихотворения в своей книге «Три поколения» (ГИЗ. 1928, стр. 83). Здесь повторены неисправности те же, что у М. К. Лемке; кроме того, в 6-м стихе допущена опечатка: вм. «где вас сердце», следует «где все сердце»; в 15-м стихе произвольный вариант: «Я не создан невольником, нет», должно: «Я не создан невольником петь». Датировано стих. в книге О. К. Булановой-Трубниковой 30 ноября 1865 года, это неточно и неверно. В автографе дата 3 ноября—ее же приводит и М. К. Лемке (в назв. книге стр. 227). Недавно О. К. Буланова-Трубникова напечатала в сб. «Звенья», кн. V, изд. «Academia», 1935, стр. 377, полный текст стих., но с указанными ошибками в 4-м и 6-м стихах; 13-й стих есть, но в датировке путаница: вм. 3/XI — 1865 г.— 30/XI—1865 г.

Кроме публикуемых выше стихотворений Н. А. Серно-Соловьевича, известно из его заявления коменданту крепости ген.-лейтенанту А. С. Сорокину, что он написал стихи своему деду и матери. Из этого заявления узнаем о содержании и характере посланных деду и матери стихотворений. Вот текст этого заявления, печатаемого также по автографу, сохранившемуся в назв. деле III отделения.

«Имею честь покорнейше объяснить вашему превосходительству нижеследующее:

Сегодня по приказанию вашего превосходительства мне было объявлено письмо к вашему превосходительству от г. начальника штаба корпуса жандармов, которым мне делалось, по приказанию г. шефа жандармов, замечание за стихи, писанные мною в письме к моему деду.

---

* О переводе «Дон-Жуана» Байрона, кроме напечатанного здесь небольшого отрывка в 16 стихов из «Чайльд-Гарольда» и неизвестного до сих пор перевода «Каина» (см. об этом выше, на стр. 423), ничего неизвестно.

** Переведены Лермонтовым, действительно, те же 16 стихов.

*** Важно отметить ту высокую оценку произведения Байрона, какую высказал здесь Н. А. Серно-Соловьевич.

В том письме было двое стихов: одни к деду, другие к моей матери. Вашему превосходительству известны мои семейные отношения, известны заботы о мне моего почтенного деда и чувства, которые я выражал, когда случалось писать ему. Я не имею никаких средств отблагодарить его за любовь и попечения, кроме выражения своей любви и благодарности... Единственно этими чувствами я и руководился, посылая ему поздравление в стихах * ко дню его имянин. Я никак не полагал, чтоб могло быть что-либо дурное в простых поздравительных стихах, вся цена и значение которых в выражении ими чувств почтения и любви.

Другие стихи я писал с такою же чистою целью. Моя бедная мать, как сама пишет, проливает горькие слезы. Удар за ударом сыплется на несчастную больную женщину. Ее состояние расстроено, все дети несчастны. Одно только и есть у ней утешение, одно только и может быть — ее вера в бога. Она целые дни проводит в молитве. Ее самое задушевное желание, чтоб я возвысился до высоты ее религиозных чувств. Я хотел успокоить и обрадовать ее и нарочно отложил до Рождества (по новому стилю) ответ на ее письма. Она мне писала: «Иисус и Мария, вот две книги, написанные живым языком: эти две книги читаю и перечитываю я ежедневно, и чем больше вчитываюсь, тем становлюсь спокойнее, счастливее, довольнее, тем лучше понимаю слова св. писания: сеющие слезами радостью пожнут. — Нюнька, мое сокровище, если хочешь быть счастлив во всяком положении, оставь пустые книги мирские, открой книгу жизни, там на первой странице стоят ясли и над ними надпись «Demuth», когда хорошенько поймешь эту страницу, ступай дальше,—дойдешь до Голгофы и поймешь всю сладость креста господня. Господь и его святая матерь да даруют тебе эту благодать».

Я исполнил ее желание и чтоб на деле доказать ей это, почти буквально переложил в стихи ** из евангелия Луки о рождестве и страданиях спасителя (гл. 2-ую, ст. 4—19, 28—50 и из 22 и 23 глав.) Я писал их с самым чистым сердцем, думая только о ее удовольствии. Я сам на несколько минут забыл свое горе, уверенный, что доставляю ей двойную радость: деликатно показывая, как я внимательно исполняю ее советы и перелагаю в стихи евангелие, что она сочла бы действием божией благодати и милостью к себе бога. Это была бы ей радость на все праздники.

И вместо этого она не только не получит от меня поздравления, и будет тосковать и плакать, думая, что я забыл о ней, — а я еще за свои чувства получаю замечание. Мне это больно, потому что я считаю самым первым долгом нравственного человека любить и радовать родителей.

Я убедительнейше прошу ваше превосходительство объяснить все это князю Василию Андреевичу [Долгорукову, начальнику III отделения. — *Н. Б.*] и вместе с тем прошу о доставлении моих стихов моей матери. Я не могу понять, какие выражения могли возбудить неудовольствие. Если надо, я изменю: сочиняя стихи, не обращаешь внимания на всякое слово, особенно в таком сердечном произведении, назначенном исключительно для одной особы и притом—матери. Неужели же какое-нибудь слово, быть может вынужденное рифмою, или размером, заставит лишить крох радостей больную страдающую женщину. Я никак не ожидал этого. Утруждая ваше превосходительство этим объяснением, я в этом почтительнейше извиняюсь, но право человеку больно, когда его поражают в священнейших чувствах. Да и то я промолчал бы, если бы не шло дело о моей матери.

Отставной надворный советник Николай Серно-Соловьевич.

Декабря 9-го дня 1864 г.

Его превосходительству господину коменданту

Санктпетербургской крепости генерал-лейтенанту и кавалеру А. С. Сорокину».

На первой странице резолюция, видимо, рукой Долгорукова: «Сообщить г. Серно-Соловьевичу через ген. Сорокина, что обыкновенное письмо будет одинаково приятно его родным и потому, если он таковое напишет, то оно будет доставлено по принадлежности. 11 декабря [1864 г.]».

Кроме этой резолюции Долгорукова, положена на заявлении Н. А. Серно-Соловьевича другая, малограмотная сентенция карандашом и рукой ближайшего, может быть, помощника Долгорукова:

«Полагалось бы что задержание письма, в котором секретный арестант излагает хотя отвлеченные страдания, но которые могут быть перенесены на постигшую его судьбу, есть мера совершенно правильная и что напрасно ген. Сорокин принял объяснение от Серно-Соловьевича; если же Ваше сиятельство не изволите разделять этого мнения, то надлежит сделать сношение о доставлении стихов по желанию их автора. 11 дек. [1864 г.]». Повидимому, все дело и ограничилось этими двумя резолюциями, так как никакого письма Долгорукова на имя Сорокина по поводу стихотворений Н. А. Серно-Соловьевича в деле нет. Стихотворения же и письма, повидимому, были все-таки переданы адресатам, а не задержаны, так как в деле их также не имеется.

* К сожалению, в деле этого нет.

** В деле их также нет.

II. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В. Р. ЩИГЛЕВА

Публикация И. Ямпольского

Владимир Романович Щиглев принадлежит к числу небольших, но все же несправедливо забытых поэтов второй половины прошлого века. Стихи его затеряны в старых, мало известных рядовому читателю журналах. Он сам ни разу не издавал их отдельной книжкой, да и после его смерти никто не объединил хотя бы лучшие из них в сборник. Политически наиболее острые стихотворения Щиглева не увидели в свое время света. Целый ряд этих стихотворений был напечатан через много лет после его смерти в «Голосе Минувшего» 1916, № 9, 1918, №№ 1—3 и 7—9, в «Былом» 1917, № 5—6 и мною в сборнике «Поэты Искры», Л. 1933. Там же даны и сведения о поэте. Есть основание думать, что в разных архивных собраниях хранится еще целый ряд любопытных его произведений.

Публикуемые нами стихотворения Щиглева извлечены из рукописной книжки, его юношеских стихов, сохранившейся в архиве Я. П. Полонского в Институте Русской Литературы Академии Наук СССР. Она была подарена Щиглевым кому-то из своих друзей. На титульной странице читаем: «На память от Владимира Щиглева. 1860».

Стихи не отличаются художественными достоинствами, но они интересны для выяснения процесса формирования поэзии революционной демократии 50—60-х годов. В книжке, наряду с традиционными любовными стихами, стихами, внушенными юношеским разочарованием в жизни, отчетливо отразились убежденный атеизм Щиглева, ненависть к самодержавию, стремление к более справедливому, хотя и весьма неясно рисующемуся в сознании молодого поэта, общественному строю, оптимизм и любовь к жизни.

1. АТЕИСТ

Без креста на свободной груди
И без рабства в душе благородной, —
Вот на жизненном кратком пути
Человек по природе свободный.

Он не верит преданьям отцов,
Которые против рассудка,
И жизнь добровольных рабов
Несчастная, горькая шутка!

Не беден он чувством любви
И ближнему руку протянет...
Но — в черные, трудные дни
Молиться без смысла не станет.

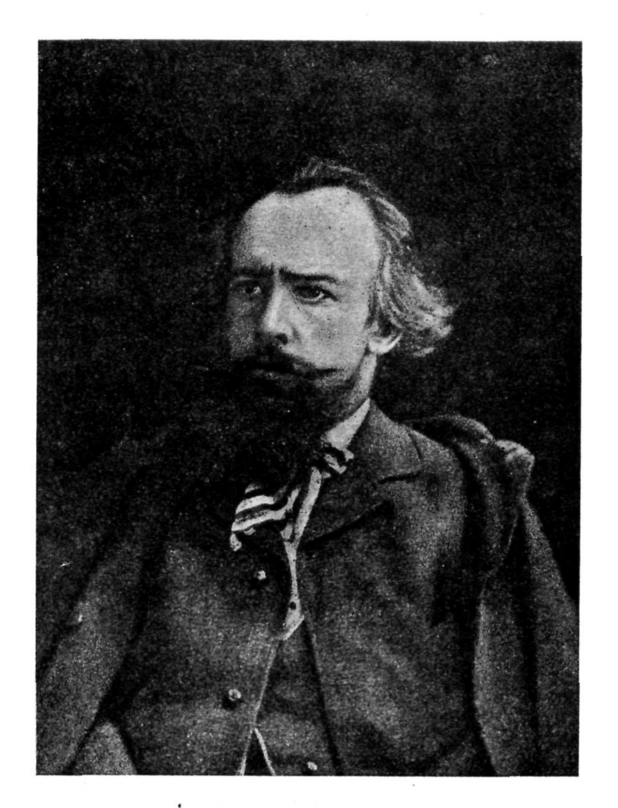
Нет бредней пустых в голове
И в сердце—как на небе чисто, —
Не верит он глупой судьбе —
Вот верный портрет атеиста.

2. [НЕ МОЛЮСЬ Я БОГУ]

Не молюсь я богу
По простой причине:
Нет небесных сказок —
Объяснили ныне.
Надо быть свободней —
Смертных краток век...

Я без шуток, право,
Милый человек.

Я не прочь от женщин,
Они милы, дружны...
Сладкие мгновенья
В жизни тоже нужны.
Надо быть любезным —
Смертных краток век...
Я без шуток, право,
Милый человек.



В. Р. ЩИГЛЕВ
Фотография
Местонахождение оригинала неизвестно

Я любить умею
Сердцем горячо
И до гроба чувство
Сохраню одно.
Полюбить пора мне —
Смертных краток век...
Я без шуток, право,
Милый человек.

А потом как будет
Кровь моя хладеть, —
Это значит — скоро

Надо умереть...
Пред моей могилой
Скажут все: «свой век
Он прожил как должно —
Милый человек!» —

3. ИЗ ГЕЙНЕ

Брось свои святые сказки,
Эту набожность скорее, —
И проклятые вопросы
Разреши-ка нам яснее:

Отчего в крови тащится
Под крестом тяжелым правый,
А подлец, как победитель,
Всюду встречен с честью, с славой?

Что ж причиной? Или божьи
Силы слабы и неверны?
Или сам творит он гадость —
Это хуже всякой скверны!..

Так мы спрашиваем вечно —
Вместо ж всякого ответа
Рты землей нам затыкают —
Да ответ ли полно это?!..

4. ВЕСНОЮ

Дышет все весною,
Солнце высоко;
Небо голубое
Чудно-глубоко.
Ветер перелетный,
Свежие листы
Шепчут мне тихонько:
«Знаем — любишь ты!..

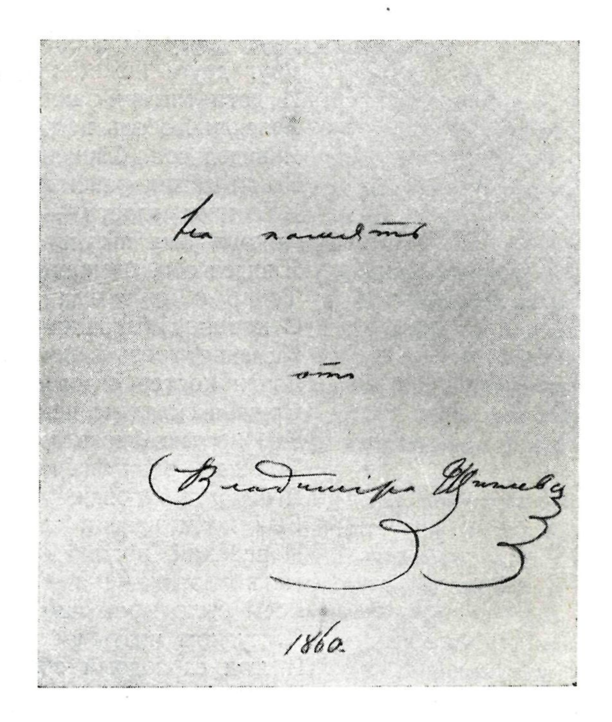
Ты силен и молод,
Кровь в тебе кипит,
И любить природа
Смертному велит».

5. [ПЕРЕД ТРОНОМ И КОРОНОЙ]

Перед троном и короной
Люди ниц лежат рабами
И, опутавшись цепями,
Внемлют шапке золоченой.

Брат по плоти, также бренный,
Нашей жизнью дерзко правит, —
Я свое высоко ставит
Как закон людям священный.

О, не верьте, люди-братья!
Не помазан он на царство, —
Нет на небе государства —
Нет там бога в белом платье.



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕТРАДИ СТИХОТВОРЕНИЙ В. Р. ЩИГЛЕВА
Институт Литературы, Ленинград

Мазать некому елеем, —
Нет на небе богдыханов,
Вера рухнула в болванов,
Освященных Моисеем!

И за что же шею гнем мы
Перед тварью равной с нами?
Разве ниже мы сердцами,
Разве так же не живем мы? —

Пусть расторгнутся объятья
Власти царской, все мертвящей!
Пробудись, народ ты спящий —
Все равны мы, все мы братья! —

6. СОН

Я видел сон, блаженный сон!
Светлел зарею небосклон;
Небес лазурный свод сиял
И землю мирно освещал.
Все было тихо, лишь порой
В зеленой роще вековой
Звучали трелью соловьи
И песни щелкали свои...
Веселых видел я людей
С глазами чище и светлей,
Сияли в них любовь и мир —
Им был отраден жизни пир.

Друг другу ближний руку жал,
Друг друга нежно целовал
И дети матери-земли
Лелеяли любовь в груди...
Я видел сон, блаженный сон!
Вдали лежал разбитый трон
И символ власти — скиптр златой
Покрыт был пылью и золой...
Я видел сон, блаженный сон!
Топор и кнут был раздроблен,
С короной мальчики играли, —
Каменья, грязь в нее кидали...
Вдали костер огромный тлел —
Оружья склад на нем сгорел,
Что против ближнего и брата
Точилось ради зла и злата!..
Я видел сон, блаженный сон!
Был храм навеки затворен
И рабский, подлый фимиам
Не возносился к небесам.
Всем было ясно, что исчез
Рассудком чистым бог с небес..
И люд свободный обновлен —
Им храм навеки затворен!..
Я видел сон, блаженный сон!
И люб и странен был мне он:
В ее объятьях я лежал
И грудь и глазки целовал,
И ясно в тех глазах видал
Любви ко мне живой родник,
В блаженный, лучший жизни миг!

III. НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И. И. ГОЛЬЦ-МИЛЛЕРА

Публикация И. Ямпольского

И. И. Гольц-Миллер начал печататься в 1863 г., и за восемь лет — он умер в 1871 г. — в разных журналах того времени появилось лишь десятка три его стихотворений. Кошмарная жизнь, которую отец поэта охарактеризовал отнюдь не являющимися преувеличением словами: «Он был убит преследованиями властей» [1], — и цензурный гнет не могли способствовать ни развитию его поэтического дарования, ни опубликованию написанного.

Незадолго до смерти Гольц-Миллер решил издать сборник своих стихотворений. Он уже подготовлял его к печати, переписал набело часть стихотворений, набросал предисловие и вел по этому поводу переговоры с Н. А. Некрасовым. По свидетельству школьного товарища Гольц-Миллера, А. Е. Добровольского, среди оставшихся после поэта бумаг было связанное с изданием сборника письмо к нему Некрасова.

После смерти Гольц-Миллера Некрасов не оставил своего намерения. В 1876 г. отец поэта писал редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: «Возникшее еще в 1872 году, по инициативе Н. А. Некрасова, предположение об издании в отдельной книжке всех напечатанных в лучших журналах стихотворений несчастного

моего поэта не осуществилось, по причинам от меня независящим, о чем г. Некрасов и дал мне знать тогда же» [2].

Некрасов, как узнаем из того же письма, просмотрел и биографию Гольц-Миллера, которой должен был открываться сборник. Издание не было осуществлено, по всей вероятности, по причинам цензурного характера [3]. Кроме Некрасова, отец Гольц-Миллера вел также переговоры с издателем и книгопродавцем А. А. Черкесовым; дважды—в 1871 и в 1876 гг.—обращался он к Стасюлевичу, но и из этого ничего не вышло.

Только сравнительно недавно, в 1930 г., издательство Общества политкаторжан выпустило небольшой сборник «Поэт-революционер И. И. Гольц-Миллер». В него вошли стихотворения, напечатанные самим поэтом, и три вещи, опубликованные в его некрологе в «Вестнике Европы» (1871, № 11) и в издании «Стасюлевич и его современники», том V, среди материалов, касающихся Гольц-Миллера. Отметим кстати, что одно стихотворение, появившееся при жизни поэта, ускользнуло из поля зрения составителей. Это — «С верой за дело», напечатанное в венском журнале «Славянская Заря», 1867, № 4.

В одном из писем к Стасюлевичу отец Гольц-Миллера сообщал, что после его сына осталось около 70 стихотворений. В сборнике напечатано 35, т. е. ровно половина. «Другую половину,— читаем в примечаниях к нему,— повидимому приходится считать безвозвратно погибшей, так как архив покойного поэта до нас не дошел» [4]. Рукописи Гольц-Миллера действительно пока неизвестны, но нам удалось обнаружить тот, составленный и переписанный отцом поэта, сборник, о котором он писал Стасюлевичу в 1876 г., предлагая издать его [5]. Сборник находится в рукописном отделении Института Русской Литературы (Пушкинского Дома) Академии Наук СССР, в архиве журнала «Русское Богатство». Это — толстая тетрадь со следующей титульной страницей: «Стихотворения Ив. Гольц-Миллера. Издание А. Е. Добровольского. С.-Петербург. 1872 г.». Тут же эпиграф из Некрасова, выбранный самим Гольц-Миллером [6], когда он занимался подготовкой к печати своих стихотворений:

«Если долго сдержанные муки,
Накипев, под сердце подойдут,
Я пою...»

Стихотвóрениям предшествуют биография, составленная А. Е. Добровольским при содействии отца Гольц-Миллера, и предисловие самого поэта. В сборнике собраны стихотворения, напечатанные при жизни и после смерти поэта, а также несколько вещей, которые были известны нам только по названию (переводы «Отчаяния» и «Пролога к Ямбам» Барбье, «Очерки древне-римского быта», «Mater dolorosa» и др.). Сборник этот более чем вдвое увеличивает литературное наследие Гольц-Миллера: в нем 84 стихотворения. Он составлен на основании оставшихся рукописей, о которых его отец сообщал следующее: «Все стихотворения сына моего в рукописях переписаны четко его рукой в тетрадках, а некоторые на отдельных листах. Есть дубликаты с более или менее значительными вариантами» [7].

Использование рукописей при составлении сборника отразилось, между прочим, в кратких примечаниях, которые следуют за стихотворениями. Здесь, кроме указаний на журналы, где были напечатаны отдельные вещи, отмечено также в ряде случаев наличие рукописных вариантов. Материал расположен в хронологическом порядке; лишь несколько недатированных стихотворений помещено в самом конце. Это дает возможность сделать некоторые наблюдения, касающиеся эволюции взглядов и настроений Гольц-Миллера, у которого в последние годы его жизни, наряду с мотивами разочарования, несомненно была и тенденция к примирению с окружающей действительностью. Сравнение уже известных стихотворений с текстом сборника обнаруживает ряд любопытных разночтений.

Считаем нужным также отметить, что всякое сомнение относительно авторства стихотворения «Дай руку мне, любовь моя», которое еще недавно было высказано В. Е. Евгеньевым-Максимовым[8], устраняется благодаря наличию его в сборнике (под названием «Ритурнель»).

Из 45 неизданных оригинальных стихотворений и переводов Гольц-Миллера мы считаем 14 наиболее интересных. Все они, кроме последнего, относятся к 1862—1864 гг. и написаны частично в Москве, во время процесса Зайчневского, Аргиропуло, Гольц-Миллера и др., частично в ссылке в уездном городе Симбирской губернии Карсуне.

«Дума» и «Обманчивый призрак» должны были появиться в «Современнике» в 1864 г. В архиве А. Н. Пыпина в ИРЛИ сохранился корректурный лист, на котором, кроме них, помещены три стихотворения Гольц-Миллера, напечатанные во II и III кн. «Современника» за 1864 г., и еще одно («Он любил—за любовь лицемеры»...), до сих пор неопубликованное.

В стихотворении «Памяти предателя» речь идет, повидимому, о Всев. Костомарове. Правда, он умер в декабре 1865 г., а стихотворение отнесено в сборнике к 1867 г., но, живя в провинции, Гольц-Миллер мог узнать о его смерти с большим опозданием.

Последние 12 строк стихотворения «Скорбь и желчь вырывают те звуки» — в воспоминаниях Р. В. Авдиева, «Ив. Ив. Гольц-Миллер в Одессе», опубликованных в V томе издания «Стасюлевич и его современники», стр. 184. Строки эти были вписаны в записную книжку Авдиева одним из друзей Гольц-Миллера, а Авдиев не подозревал, что они принадлежат самому Гольц-Миллеру.

В заключение, пользуюсь случаем, чтобы сообщить список известных мне статей Гольц-Миллера, напечатанных в годы его жизни в Одессе в газете «Одесский Вестник». Они могут быть полезны биографу Гольц-Миллера и исследователю его литературной и революционной деятельности.

«Театральные заметки» — 1865, № 199 от 11 сентября.

«Театральные заметки. II. Драма г. Дьяченко на Одесской сцене» — 1865, № 206 от 21 сентября.

«Театральные заметки. III. Нечто обо всем (По поводу комедии «Было да отжило»)» —1865, № 219 от 7 октября.

«Театральные заметки. IV» — 1865, № 233 и 235 от 26 и 28 октября.

«Театральные заметки. V. Я прозрел! (Посвящается театральной публике)»— 1865, № 267 от 4 декабря.

«Дети и уход за ними (Посвящается нянюшкам)»—1865, № 284 от 25 декабря.

«Черный трагик и белая публика» — 1866, № 26 от 3 февраля.

«Театральные заметки» — 1866, № 203 от 17 сентября.

Все перечисленные статьи подписаны «Ив. Гольц-Миллер», за исключением последней, под которой стоит только буква «М». Но она несомненно принадлежит ему, что подтверждается в частности ее началом: «Года три назад довелось мне жить в глухом уездном городишке одной из приволжских губерний».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Под редакцией М. К. Лемке, т. V, СПБ. 1913, стр. 164.

[2] Там же, стр. 175.

[3] Об отношении властей предержащих к Гольц-Миллеру уже после его смерти свидетельствует такой факт. В середине 1871 г. «Иллюстрированная Газета» представила в цензуру его некролог. С.-Петербургский цензурный комитет запретил его, как некролог человека, «которого действия правительством были преследуемы». Запрещение было обжаловано, и Главное Управление по делам печати разрешило некролог, но за «отдельными исключениями» (Журнал засе-

даний С.-Петербургского цензурного комитета за 1871 г.). Что именно было исключено — в точности неизвестно, но в «Иллюстрированной Газете» уже в декабре 1871 г. (№ 49) появилось пятнадцать совершенно безобидных в цензурном отношении строк.

[4] «Поэт-революционер И. И. Гольц-Миллер», М. 1930, стр. 65.

[5] «М. М. Стасюлевич и его современники», т. V, стр. 175.

[6] Там же, стр. 176

[7] Там же, стр. 169.

[8] Сборник «Революционно-демократическая поэзия 60-х годов», Л. 1931, стр. 184.

1. ДРУГУ

Не кручинься, друг любезный,
Грусть стряхни с души долой,
Ведь тоскою бесполезной
Не изменишь жизни строй!..
Верь, что боремся не тщетно
Мы с насильем и со злом,
Верь — уж близок день заветный,
День победы над врагом...
Пусть же сердце негодует,
Пусть в нем ненависть кипит, —
А добро восторжествует,
Правда в мире прозвучит!
Ну-же, друг мой, веселее!
И с надеждой молодой,
Грусть стряхнув с души, смелее
Вступим вместе снова в бой!

Москва, 1862 г.

2. ЧЕМ НЕ ГРАЖДАНИН?

Нету в нем безумной гордости —
Навожденья сатаны,
Нету духа непокорности
Ко преданьям старины;
Сумасбродными затеями
Он мальчишек не пленен,
Вольнодумными идеями
Тихий нрав не развращен...
В каждый праздник, в воскресение,
Ходит к службе в божий храм,
Развито в нем уважение
К предержащим всем властям;
Поведения он трезвого,
В рот хмельного не берет,
Нрава хоть не очень резвого,
Но горячий патриот;
Искру божью послушания
В нем родитель заронил —
С детства спину к изгибанию
Пред начальством приучил;

Подчиненный он примернейший,
Образцовый семьянин,
Патриот не лицемернейший —
Чем еще не гражданин?..

Москва, 1862 г.

3. В ГРОЗУ

Небо насупилось тучами черными,
Молнии ярко режут глаза,
Блещут, сверкая лучами узорными —
Жутко смотреть — так взыгралась гроза!

Но отчего же грозой не любуюсь я,
Что же так больно заныло во мне!
Бурю заслышав, бывало, волнуюсь я,
Кровь закипает, горю как в огне!..

Помню — бывало я, гром лишь послышится,
Дрожу весь, дышится как-то вольней, —
Что же теперь грудь так слабо колышется
И на душе все грустней и грустней?..

Долго ли ждать нам ту бурю желанную,
Долго ли ждать наш желанный исход?
Долго ли жизнь коротать бесталанную
В грязи безвыходной мелких невзгод?

О, поскорей бы нам в битву упорную,
В бой за права человека вступить,
О, поскорей бы порвать нам позорную
Связь с нашим прошлым — и внове зажить!

О, приходи же ты, грозная, дикая —
Сердце изныло тоской по тебе,
О, приходи ты святая, великая,
Не дай заглохнуть нам в мелкой борьбе!

А мы, исполнены чудною силою,
Истины вечной согреты огнем,
Ринемся в бой с этой жизнью постылою,
Весело к смерти в объятья пойдем!

Только приди ты скорей, заповедная!
Ждем мы тебя, как невесту жених —
Не допусти ж, чтоб в сердца наши бедные
Дух ядовитый сомненья проник...

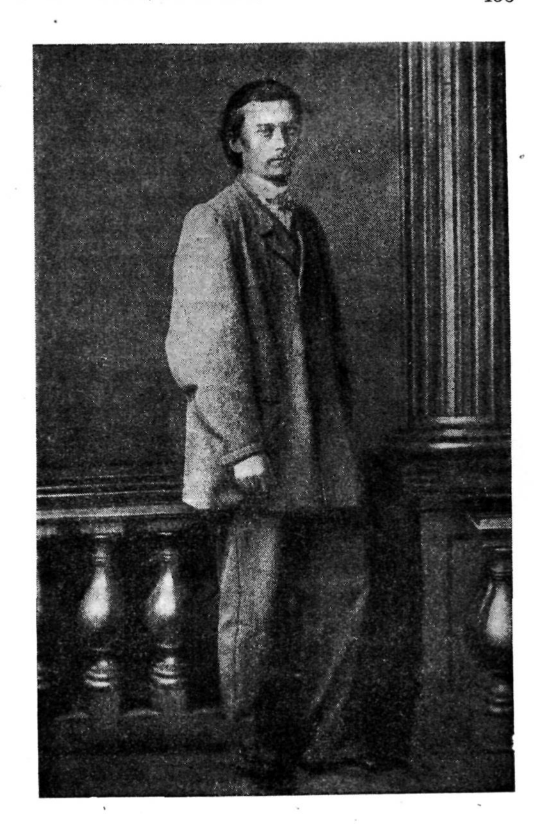
Москва, 1862 г.

4. ДУМА

Быстро время мчится, даром гибнут силы,
Там, вдали, уж веет холодом могилы...

Страшно, как заглянешь в эту даль невольно:
И кругом так пусто, и в груди так больно!

И. И. ГОЛЬЦ-МИЛЛЕР
Фотография
Институт Литературы, Ленинград



А надежда в сердце все-таки таится,
Что не весь же век свой нам впотьмах томиться!

Правда, мы сроднились с болью и страданьем,
Не легко нам верить светлым упованьям!

Да зачем с других нам брать себе примеры:
Иногда безверье лучше самой веры...

С помощью чужою не уйдем далеко,
Наша сила скрыта в нас самих глубоко —

Да, хоть и бесследно юность пролетела,
Но осталось много силы в нас для дела...

Только волю чувству, волю мысли надо —
И от сна воспрянет сонная громада;

Только воздух чистый нам прольется в груди —
Закипит работа и найдутся люди!

Закаленный долгим, тяжким испытаньем,
Встанет дух наш, грозен сил своих сознаньем,

А пред этой силой дрогнет тень былого...
Обновленной жизнью жить начнем мы снова.

Москва, 1862 г.

5. МЕРТВАЯ ТИШЬ

Сон царит над землей...
В тишине гробовой
Жизни звук уловить не пытайся!
Ночь глухая кругом...
Страшно в мраке ночном —
Есть ли жив-человек? откликайся!

Нет ответа на зов,
Только стоны без слов
Буйным ветром отвсюду приносятся...
Сердце ноет с тоски —
Ах, ему ведь близки
Эти стоны, что в душу так просятся!

И опять над землей,
В тишине гробовой,
Ночь одна без конца лишь чернеется...
О, когда же сквозь туч
Солнца утренний луч
Над печальной землей заалеется?!.

Москва, 1862 г.

6. ОБМАНЧИВЫЙ ПРИЗРАК

«Веселитесь, друзья, час желанный настал:
Ночь бледнеет пред силой рассвета»—
Чей-то голос в толпе жадной света вскричал...
— Полно, братья, не призрак-ли это?
Мы так свыклись уже с жизнью в мраке густом,
Мы так долго скитались без света,
Что приходим в восторг перед каждым лучом,—
Но вглядитесь — не призрак-ли это?
Свет блеснул и угас, и темней стала ночь,
Доживем-ли еще до рассвета?
Так долой же обман, ожидание прочь!
Мы ведь знаем, что призрак все это!..

Москва, 1862 г.

7. КОСМОПОЛИТ

Мой дух не прикреплен оковами преданья,
Как раб, к земле — он вольный селянин...
Отечество мое — везде, где есть страданье,
Я человек — вселенной гражданин!..

Где разум и любовь в борьбе с гнетущей силой,
Там я любви и разума боец...
И хоть тяжел мой путь, но этот путь унылый
Дороже мне, чем лавровый венец!..

Карсун, 1863 г.

8. КОГДА-ЖЕ?

И день идé, и ничь идé...
И гóлову схопивши в руки,
Дивуеєся — чому не йде
Апостол прàвди и науки?!
Т. Шевченко

Когда ж, когда настанет век
Свободы, разума, любви,
И перестанет человек
Бродить, как дикий зверь, в крови?

Когда ж падет господство тьмы,
И царство ада на земле,
И божий свет увидим мы,
И отразится на челе

Людей — разумной жизни след
И будет правда нам закон?
Когда ж?.. когда? ужели нет
Конца для варварских времен?!.

Карсун, 1863 г.

9. СИРОТА БОЛЬШОГО СВЕТА

Не мать своей грудью ребенка вскормила,
И в люльке качала не мать,
Не мать, глядя ласково в детские очи,
Учила его лепетать...

Как жалкий щенок, на прогнившей соломе
В конуре вонючей он взрос,
И первый кусок его смочен был влагой
Отцовского пота и слез.

И первое слово он выучил: хлеба!
Не знал, что такое любовь,
А в сердце его уж не раз закипала
Ребяческим бешенством кровь...

Не видел он ласки, не видел привета,
И дружбы священной не знал,
Не слышал, что в мире все сестры и братья —
Никто ему «брат!» не сказал.

Он всем был чужой и ему все чужие,
Он жил лишь сегодняшним днем;
Он умер, как жил, среди улицы шумной —
И все позабыли об нем.

Пред смертью (кто знает, быть может, впервые)
Припомнил он детство свое,
Он мать свою вспомнил — и, грешный безумец,
В отчаяньи проклял ее!..

Карсун, 1864 г.

10. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Гуди, мятель! в том грустном завываньи
Я нахожу отраду: предо мной,
Под жалобу твою, в воспоминаньи
Былые дни проходят чередой,
Мелькают образы былые — и в молчаньи
Я на руки склоняюсь головой...

Прошла пора душевного ненастья —
И как хотелось бы ее мне воротить!
О, лучше жить под бременем несчастья
Иль в бурном вихре голову сломить,
Чем в черствой старческой коре бесстрастья
До гроба, заживо себя похоронить!..

1864 г.

11

Родина-мать! твой широкий простор
Скорбные думы наводит...
В нашей земле по ночам, точно вор,
Мысль озираяся бродит...
Мысль озираяся бродит как вор,
Словно убийца тех губит,
В ком, равнодушным и подлым в укор,
Сердце тоскует и любит.

Апрель, 1864 г.

12

Путь мой лежит средь безбрежных равнин,
Все здесь цветет, зеленеет,
Только от этих роскошных картин
Скорбью тяжелой мне веет.
Сердце привычно сжимает печаль.
Очи туманит слезою...
Чудится мне: по полям этим, вдаль,
Узники идут толпою.
Муки застыли на лицах у них,
Руки им цепи сковали;
И равнодушно рыданиям их
Эти равнины внимали.
Нет здесь отрады, в этих степях,
Мрак все, страданье и слезы!
Здесь без следа разбиваются в прах
Юности светлые грезы.
Здесь одиноко, бесплодно, любовь
Гибнет в борьбе безотрадной...
Кровь свою чистую, лучшую кровь
Пьешь ты, о родина, жадно.
Кончить пора, о жестокая мать,
Прочь испытания эти!
Скоро, быть может, тебя проклинать
Станут несчастные дети.

Октябрь, 1864 г.

13

Скорбь и желчь вырывают те звуки:
«Догорай, о бессильная сила!
В бесполезной тревоге и муке
Мое бедное сердце изныло.
Изнемог я в борьбе безотрадной,
Скорбь и слезы мне выели очи,
Мозг мой высох в тоске беспощадной
В эти долгие страшные ночи.
Изнурило меня, истерзало
Это пламя, что грудь мне палило...
Догорай, о безумное пламя!
Пропадай, бесполезная сила!
Одинокий и жалкий страдалец,
Твоим стонам я жадно внимаю;
С тихой жалобой, сердце мне рвущей,
Я проклятия злобно мешаю.
Будь ты проклята, ложная сила!»
Будьте прокляты, к правде стремленья!
Вы, изъевшие мозг мой и руки
Тяжкой цепи позорные звенья!
Я вас в куче навозной зарою,
Я в грязи загашу это пламя,
Изорву на клочки я и скрою
Чахлой юности жалкое знамя...
А на нем сколько слов благородных,
А над ним сколько слез-то пролито,
Сколько думалось мыслей свободных,
Сколько жизни безумной прожито...
Есть что в грязь затоптать мне ногами,
Есть над чем мне до слез насмеяться,
Есть над чем до скрипенья зубами,
До рыданий глухих надругаться...

Декабрь, 1864 г.

14. ПАМЯТИ ПРЕДАТЕЛЯ

Ты умер, не купив и тем себе прощенья —
И над твоей могильною плитой
Немым протестом против примиренья
Витают тени преданных тобой.
Ты умер, но увы — не умерла с тобою
И память черная твоих позорных дел,
И даже там, за всемирящею чертою
Презренье твой единственный удел...
И не найдет твой прах забвения, покуда
Рукой невидимой начертано над ним:
«Под камнем сим покоится Иуда.
Прохожий, помолись о тех, кто предан им!»

IV. «СОН КАТОРЖНИКА» И ЕГО АВТОР

Публикация Н. Быховского

Широкая волна революционно-демократического движения начала 60-х годов прошлого века захватила также и лучшие, наиболее сознательные элементы офицерства, примкнувшего к революционному движению.

История революционного движения 60-х годов знает офицеров Арнгольдта и Сливицкого, расстрелянных за пропаганду среди солдат, В. А. Обручева, сосланного на каторгу за участие в распространении «Великорусса», Ушакова, присужденного к каторге за пропаганду среди рабочих в воскресных школах, и других участников революционного движения этой эпохи из военной среды. Всё это была офицерская молодежь, отдавшаяся энтузиазму молодых порывов.

В отличие от них Александр Афанасьевич Красовский, тоже вышедший из военной среды той эпохи, стал на путь революционной борьбы уже в зрелом возрасте. В момент совершения «государственного преступления», приведшего его на каторгу, а затем и к безвременной гибели, ему было уже 40 лет. Он был отцом трех детей, из которых старшей дочери было 11 лет. По служебной карьере он был уже в высоких чинах — подполковником Александрийского драгунского полка. Он участвовал в Крымской войне, где получил пять ран и за храбрость удостоен был медали. Будучи солидно образованным и знающим несколько иностранных языков — немецкий, французский, английский и польский,— он благодаря этому был прикомандирован к Киевскому кадетскому корпусу. Пред ним открывалась перспектива успешного продвижения по службе до высших чинов и удачной карьеры.

Но вместо этого он предпочел тернистый путь революции. Захваченный революционным движением той эпохи, усердный читатель «Колокола» и других революционных изданий, он сближается в Киеве с украинскими националистами, так называемыми «хлопоманами», и с революционной молодежью, на которую имеет значительное влияние. Он пытается также сблизиться в целях революционной пропаганды с крестьянской массой, волновавшейся после создавшей для нее новую кабалу реформы 19 февраля. Одна из этих попыток, когда он в конце 1861 г., переодевшись в крестьянское платье, вел с крестьянами беседы по волновавшим их вопросам, повлекла за собой вызов Красовского к высшему начальству для надлежащего внушения.

Украинские губернии—Киевская, Черниговская, Подольская—принадлежали к губерниям, где крестьянские волнения после отмены крепостного права были очень сильны и упорны.

Летом 1862 г. киевский, подольский и волынский генерал-губернатор доносил военному министру, что при введении уставных грамот в Каневском, Черкасском, Чигиринском, Звенигородском и Тарашанском уездах Киевской губернии «крестьяне, под влиянием повсеместно распространяемого ложного убеждения в новых льготах, упорно отказываются от принятия грамот и покоряются не иначе, как по приходе войск и при арестовании главных виновников»[1]. Особенное упорство проявили крестьяне местечка Богуславки Каневского уезда. Чтобы привести в повиновение богуславских крестьян, генерал-губернатор распорядился послать туда 4-й резервный батальон Житомирского пехотного полка, который должен был выступить 19 июня 1862 г. в Богуславку.

Глубоко возмущенный этим, Красовский написал прокламацию к солдатам-житомирцам, переписал ее в шести экземплярах и, переодевшись в крестьянское платье, 17 июня 1862 г. разбросал ее по лагерю, где стоял резервный батальон.

К несчастью, некоторые из офицеров, которым и раньше было известно о неблагонамеренности Красовского, одевавшегося в крестьянское платье для бесед с крестьянами, узнали его и донесли по начальству. За этим сейчас же последовали арест и вся дальнейшая печальная судьба этого человека.

Прокламация Красовского к солдатам, написанная сжато, чрезвычайно понятно, с полным знанием психологии русского солдата той эпохи, с учетом его умственного уровня и миропонимания, насыщенная негодованием против зверских насилий, совершаемых над крестьянами, призывала солдат не поднимать руку против братьев своих, крестьян. «Русский солдат защитник своей родины, а не цепная собака, одинаково кусающая, как чужого, так и своего», говорилось в этой прокламации... «Вам велят быть не друзьями, не спасителями того народа, к которому вы сами принадлежите, между которым находятся ваши отцы, братья, сестры и матери. Вам прикажут сечь и расстреливать их ваши начальники в угождение тем чиновникам и помещикам, которые так грабят и разоряют несчастного мужика. И вы будете угождать тем людям, которых вы сами терпеть не можете. Где же тут правда? Приказ сечь своих и стрелять по ним за то, что они хотят земли и воли, будь он и самого царя приказ, все же он приказ окаянный. Исполнять его ни в коем случае не следует, за это и бог накажет и свои близкие люди проклянут. Сто раз легче умереть, как ваши товарищи умирали в Крыму, чем жить палачами отца и матери, отца и брата, палачами родной земли русской... Поведут вас, идите, но до народа и пальцем не дотрагивайтесь. Кровь его падет на вас и детей ваших. Воины царя Ирода, избивавшие младенцев, и воины Пилата, распявшие Христа, тоже исполняли приказы начальства, но этих преступлений народ им до сих пор не простил. То же будет и с вами, если исполните окаянный приказ».

Почерк Красовского вполне изобличал его авторство этой прокламации, да он и не думал отрицать этого. При обыске у него нашли революционные брошюры и стихотворения. На вопрос, для чего он держал их у себя, он ответил, что хранил их для своего сына, чтобы завещать ему после смерти своей или еще при жизни передать ему, когда он подрастет и в состоянии будет все понимать, как понимает отец его. Поступить так он считал своей «священной обязанностью, как гражданин и отец смейства». Так же держался он на следствии и суде, заявляя, что, написав прокламацию, он только выполнил свой нравственный и гражданский долг, что поступок свой, вопреки мнению правительства, он считает благородным, а побудило его к этому негодование на жестокие расправы с народом и позорную роль палачей, которую навязывает войску правительство.

На докладе о тяжком «государственном преступлении», совершенном подполковником Красовским, и аресте его Александр II, лично знавший его с детства, написал следующую резолюцию: «По окончании следствия, если не окажется нужным вытребовать его сюда, то предать его немедленно суду в Киеве и применить к нему полевые уголовные законы» [2].

По приговору военно-полевого суда Красовский был присужден к лишению всех прав состояния и к смертной казни через расстреляние. Смертная казнь была замена «политической смертью» и 12-летней каторгой, уменьшенной затем до восьми лет. После объявления ему приговора, присуждавшего его к смертной казни, он сказал своим судьям: «От души благодарю, для меня смерть теперь лучшее благо». 26 октября 1862 г. в 7 час. утра пред войсками киевского гарнизона, на эспланаде киево-печерской цитадели, на специально устроенном эшафоте, Красовскому объявлен был «высочайше» конфирмованный приговор суда и совершена над ним гражданская казнь. В ноябре 1862 г. он был отправлен на каторгу.

Насколько велико было озлобление правительства, защищавшего интересы господствующих классов, против Красовского, видно из того, что его отправили в Сибирь не в сопровождении жандармов, на почтовых лошадях, как отправляли тогда всех политических преступников, присужденных к ссылке в Сибирь и на каторгу, а пешком, с обычным уголовным этапом, на общем уголовном режиме. Целый год продолжался этот этапный путь его, пока он прибыл на Нерчинскую каторгу. Жена его, не выдержавшая этого удара, сошла с ума и помещена была в дом умалишенных, о чем доложено было Александру II. Трое детей остались осиротевшими, без родителей. Организм Красовского тоже не выдержал

этих испытаний. На этапном пути он неоднократно болел и лежал в тюремных больницах. Из тобольской тюремной больницы он написал 6 апреля 1863 г. Александру II прошение, в котором просил заменить ему каторжные работы службой рядовым солдатом в войсках. Но и здесь он указывал, что его поступок был вызван возмутительным зрелищем повсеместного наказания войсками крестьян. Он выражал надежду, что царь, знавший его с детства, поймет и оценит его поступок, так как им руководили при этом «не корысть, не злоба, не личное честолюбие, а жажда правды и любовь к родине». На этом прошении Александр II положил резолюцию: «Оставить без последствий».

Каторгу Красовский отбывал с 28 ноября 1863 г. в Александровской тюрьме на Нерчинских заводах вместе с Н. Г. Чернышевским. Согласно положения о ссыльно-каторжных, он полтора года находился в разряде испытуемых, т. е. до 28 мая 1865 г. По окончании этого срока, он еще более двух лет просидел в каторжной тюрьме. Перечисленный, согласно статье 569-й устава о содержащихся под стражей, осенью 1867 г. в разряд исправляющихся, он получил разрешение поселиться на вольной квартире в поселке Александровского завода. Тогда же это разрешение было дано и Чернышевскому, который тоже числился уже в разряде исправляющихся, и находившемуся в таком же положении поляку Масло. Таким образом, Красовский и Чернышевский одновременно были на каторге и жили на частных квартирах в поселке Александровского завода. В каторжной тюрьме и на квартире в поселке при заводе Красовский продолжал жить общественно-политическими интересами революционной России того времени. Некоторые наиболее печальные моменты общественно-политических событий особенно тяжело переживались им. Свои сокровенные думы, выливавшиеся у него иногда в стихотворной форме, он доверял маленькой самодельной записной книжке, исписанной мельчайшим бисерным почерком. Портативность этой записной книжки необходима была, чтобы сохранить ее в стенах каторжной тюрьмы от взоров тюремщиков. Если бы она была найдена у него, то несомненно, что Красовский получил бы еще не мало добавочных лет каторги, а может быть, еще и большее наказание. Но, с другой стороны, крохотный размер книжечки позволял записывать туда только то, что он считал наиболее важным.

11 июня 1868 г. начальник Иркутского губернского жандармского управления Кузьмин телеграфировал III отделению, что Красовский бежал верхом на лошади, а затем в дальнейшем сообщил, что он найден мертвым в семнадцати верстах от Александровского завода с признаками самоубийства. При нем оказался фальшивый паспорт. Когда об этом доложили Александру II, то он прежде всего потребовал запросить восточно-сибирского генерал-губернатора, на каком основании посмели разрешить Красовскому выйти из тюрьмы и поселиться на частной квартире. Кроме того, он требовал, чтобы местные власти точно убедились, действительно ли найденный в тайге труп тождествен с Красовским. Самодержец огромной многомиллионной империи боялся, как бы Красовский не оказался в живых и снова не занялся «крамолой».

Сибирская администрация на грозный запрос царя ответила, что Красовский был выпущен из каторжной тюрьмы на точном основании существующих законов. Указывала она также и на хорошее поведение Красовского в каторжной тюрьме, что не давало оснований лишать его тех прав, которые предоставлялись всем каторжанам. Тут же сообщалось, что хотя на тех же законных основаниях Чернышевскому тоже предоставлено было жить на частной квартире в поселке Александровского завода, но после побега Красовского он был снова заключен в тюрьму; хотя никаких законных оснований для этого не было, но царское правительство в таких случаях не церемонилось со своими собственными законами. Таким образом Чернышевский пострадал от побега Красовского. До увоза в Вилюйск Чернышевский продолжал оставаться в тюрьме.

Товарищи Красовского по каторге, не знавшие, что самоубийство Красовского документально подтверждено, предполагали, что он был убит с целью гра-

бежа местным казаком, предлагавшим ему свои услуги для побега. Такое предположение высказывал в своих воспоминаниях каракозовец П. Ф. Николаев, отбывавший каторгу на том же Александровском заводе с 1867 г.

Самоубийство Красовского подтверждается собственноручной предсмертной запиской его, найденной возле его трупа. Этот пожелтевший от времени клочок

СТРАНИЦА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ А. А. КРАСОВСКОГО С ПЕРВЫМИ СТРОФАМИ «СНА КАТОРЖНИКА»

Центрархив, Москва

бумаги, на котором написаны, быть может, на пне в тайге, последние слова этого незаурядного человека и стойкого революционера, сохранившийся в тайниках III отделения, трудно и сейчас читать без волнения. Вот содержание этой предсмертной записки:

«Я вышел, чтобы итти в Китай. Шансы для меня чересчур неблагоприятны.

Я потерял ночью в дороге такие две вещи, которые непременно откроют мои следы. Лучше умереть, чем отдаться в руки врагов живым. А. К.».

Потерял он пальто, в котором была та маленькая записная книжка, в которую он заносил самое важное и значительное, а также начерченный на папиросной бумаге план китайской границы, лежавший в этой же книжке. Предполагая, что, когда начнутся розыски после обнаружения побега, все это будет найдено и откроет его путь побега и отдаст в руки правительства его заветную книжечку с крамольными мыслями и стихами, Красовский решил застрелиться. Действительно, это грозило ему не только удлинением каторги, но и наказанием плетьми за побег. Потерянное пальто с книжечкой и планом, действительно, были найдены тогда же, недалеко от того места, где лежал уже мертвый Красовский.

Мало надеясь на успешность побега и решившись не отдаваться живым в руки властей, Красовский оставил у себя на квартире завещание, начинавшееся словами: «Во имя свободы, равенства и святого братства, аминь». Свое решение бежать, несмотря на то, что ему оставался всего лишь год до выхода на поселение, и несмотря на то, что сам он мало верил в успех побега, он объясняет в этом завещании опасениями снова подвергнуться обвинениям и опять очутиться в стенах каторжной тюрьмы. Среди местного крестьянского населения начались волнения. Крестьяне взбунтовались против волостного головы. В таких случаях начальство всегда обвиняло политических в подстрекательстве. Но из трех политических, живущих здесь на частных квартирах, Чернышевский вел замкнутую жизнь, почти совершенно не выходя из квартиры и ни с кем не общаясь; Масло даже не говорил по-русски. Следовательно, обвинение падет на него, Красовского, который уже и раньше занимался пропагандой среди крестьян и солдат. Зная его прежние попытки пропаганды среди крестьян, можно думать, что и здесь он сближался с местными крестьянами и имел влияние на них, а потому эти опасения были основательны.

Характерна также в этом завещании забота Красовского, чтобы из-за его побега не пострадали начальство каторги и товарищи, оставшиеся здесь. Как ни ненавистно ему каторжное начальство, но «было бы все же высшей несправедливостью, — пишет он, — если бы оно подверглось преследованию за этот побег». Он указывает, что каторжное начальство было достаточно бдительным и строгим, но побеги возможны, ведь, даже из самых крепких и строгих тюрем. Товарищи же по каторге никакого участия в его побеге не принимали, тем более, что всякие сношения между ними строго воспрещались начальством, поэтому он просил быть справедливым к ним. Тем не менее, как упоминалось уже, после побега Красовского Чернышевский и Масло были снова заключены в каторжную тюрьму.

В записной книжечке Красовского находились его письмо Некрасову [3] и куплеты «Сон каторжника». Послание Некрасову было вызвано «неверными звуками» «поэта скорби и печали» после каракозовского выстрела. Исключительно тяжело, очевидно, переживался этот поступок Некрасова политической каторгой, где находился ближайший идейный товарищ Некрасова, Чернышевский. Чрезвычайно осторожный и сдержанный, Чернышевский свои тяжелые переживания хранил в себе и все же, когда он увидел в апрельской книжке «Современника» за 1866 г. стихотворение Некрасова Комиссарову, он не совладал с собой, и книга выпала у него из рук. У Красовского же это негодование вылилось в письме, начинавшемся словами: «Беранже ты будешь с виду, но Катков душой». Чтобы искупить политическое падение Некрасова, Красовский рекомендовал ему в письме по этому же поводу написать новое стихотворение «во всех отношениях еще более превосходное, чем «Размышление у парадного подъезда», пойти за это на каторгу и занять здесь место «между покойным Михайловым и еще живым Чернышевским» [3]. Повидимому, Красовский надеялся рано или поздно как-нибудь отправить это послание свое по адресу.

«Сон каторжника» — это по основной идее своей призыв к восстанию против тирании царизма. При этом здесь сильно сказываются ненависть и презрение

автора лично к Александру II и всей фамилии Романовых, к придворной камарилье, державшей в своих руках судьбы России, а также к окружавшей царя хищной паразитической клике высшего дворянства. Находят здесь отражение и факты общественно-политической жизни того времени, привлекавшие к себе особенное внимание. Некоторые из куплетов очень удачны, другие значительно слабее, но надо, ведь, принять во внимание, что автор их не был поэтом по призванию, а изливал иногда в поэтической форме то, что в наибольшей степени волновало его. «Сон каторжника» свидетельствует, что за стенами и запорами каторжной тюрьмы, за много тысяч верст от культурных центров, в далеком и гиблом Акатуе, узники политической каторги 60-х годов продолжали жить теми общественными и политическими интересами, какими жила вся радикальная и революционная Россия того времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] И. И. Игнатович, На другой день после освобождения, изд. Политкаторжан, Москва 1931 г., стр. 39.

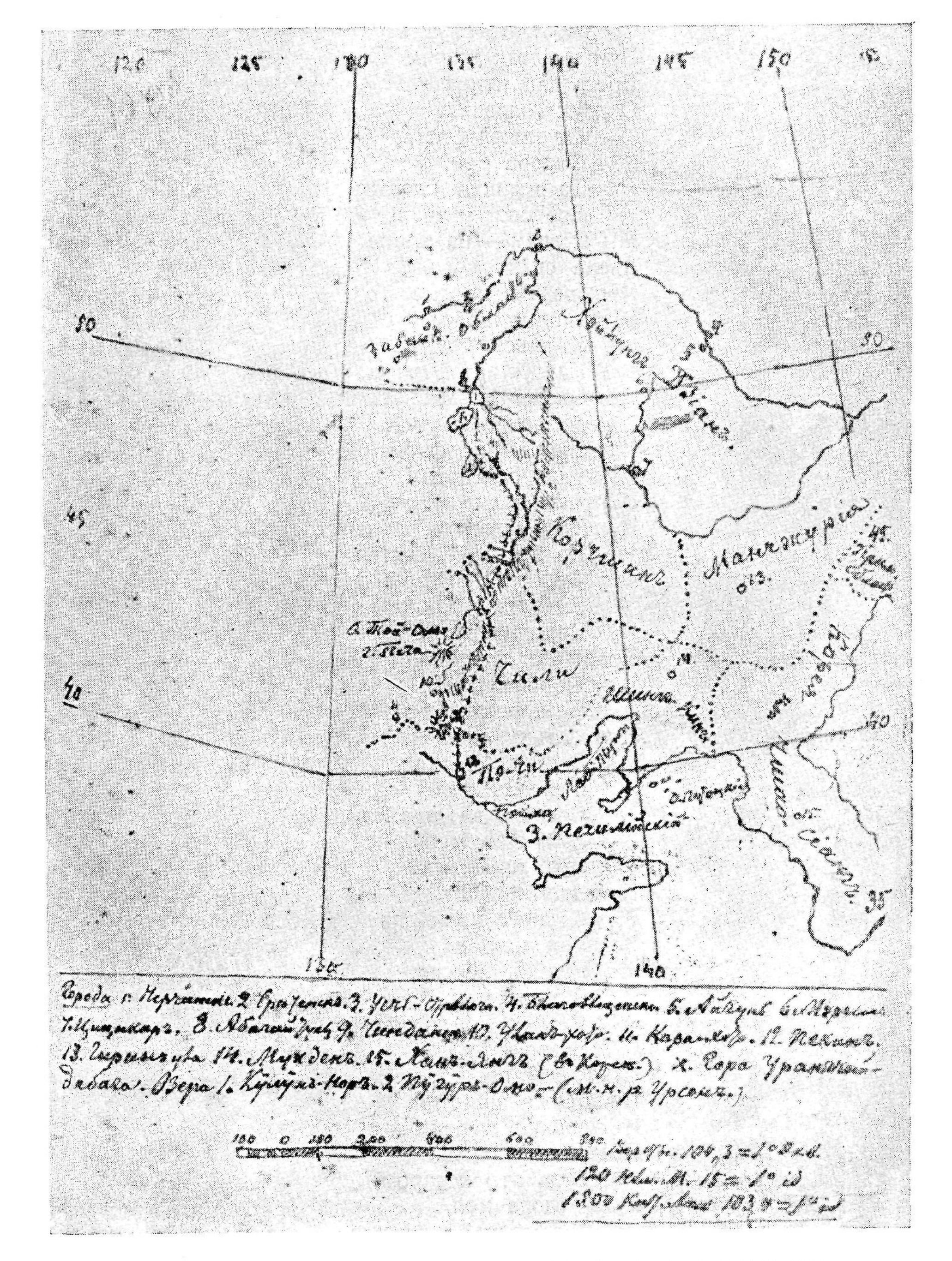
[2] Центрархив. Дело III отделения 1 эксп. 1862 г. № 230, часть 42. «О революционном духе народа в России и распространении по сему случаю возмутительных воззваний. О подполковнике Красовском Александре Афанасьевиче».

[3] Письмо Некрасову опубликовано М. М. Клевенским в «Красном Архиве», т. XXXVII.

СОН КАТОРЖНИКА

Холодный, голодный
И голый как перст
Прошел по этапу
Я тысяч семь верст.
    Россия, Россия,
    Федора моя!
    Огромная дура!
    Как жаль мне тебя!
В остроге на нарах
Приснился мне сон —
Гудит за морями
Торжественный звон.
    Россия, Россия,
    Федора моя,
    Послушай, ведь, это
    Звонят для тебя...
Уж звон за морями
Все звонче звучит
И людям в неволе
Дремать не велит.
    Россия, Россия,
    Федора мой свет!
    Ужель не проснешься
    И в тысячу лет?
Ребята, не спите!
Ведь ночь не долга,
Вы колья берите
И бейте врага!
    Россия, Россия,
    Федора моя,
    Попробуй, увесиста-ль
    Лапа твоя.

Был царь Николашка,
Злой деспот тиран,
Теперь Алексашка,
Нетрезвый болван —
Россия, Россия,
Федора моя,
Ты — пьяная дура,
Мне срам за тебя —
Не стыдно-ль тирану
Почет воздавать,
Не стыдно-ль болвана
Царем признавать.
Россия, Россия,
Федора моя,
Набитая дура,
Мне срам за себя —
Вот встал, встрепенулся
Наш сонный народ,
Взяв в руки дубинку,
Да в Питер идет.
Россия, Россия,
Федора моя,
Ужель поумнела,
Как рад за тебя!
Там немцы да немки
По клеткам сидят
И сладко, как пташки,
Все песни поют.
Федора, Федора,
Корова моя,
Немецкие руки
Доили тебя!
Столбы гренадеры
Торчат на часах —
И сажа на баках
И деготь в усах...
Федора, Федора,
Кобыла моя,
Татарскою плеткой
Учили тебя.
Едва распознали
Братишек своих,
Как к полу пристали
Приклады у них.
Федора, Федора,
Там толк не велик,
Где власти опора
Нагайка, да штык.
Холопы, мамзели,
Жандармы, попы
Попрятались в щели,
Как утром клопы...
Россия, Россия,
Федора моя,



КАРТА КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЫ, НАРИСОВАННАЯ А. А. КРАСОВСКИМ ПЕРЕД ЕГО ПОБЕГОМ

Центрархив, Москва

Как много подобных
Клопов у тебя.
Трепещет от страха
При главных дверях
Прегадкая птица
О двух головах...
От князя Олега,
Федора моя,
Та пташка клевала
Все мозг у тебя!
Мы входим — на троне
Алеха сидит
И пьяный в короне
Штанишки кроит.
Утешься, Федора,
Напрасно не плачь,
Он нынче закройщик,
А завтра палач [1].
И скачет в порфире
Колдунья с хвостом
И ручки кадилом
И ножки крестом.
Не верь, ой, святая
Федора моя,
Была лютеранкой
Царица твоя [2].
Пред нею детина —
Князек первенец
И в деда, скотина
И в батьку, подлец.
Россия, Россия,
Федора моя,
Седлать не давайся,
Зашпорят тебя.
С ордою красивых,
Но глупых ребят,
В звездах с колыбели
Великих княжат
Россия, Россия,
Федора моя,
Седлать не давайся
Загонят тебя.
Статс-дам престарелых
Прекраснейший пол
И фрейлин шеренга,
Поднявши подол...
Ведь это недаром,
Федора моя,
Им сластей по горло,
Тебе ни черта.
Тут шайки злодеев,
Великих мужей,
И камер-лакеев,
И камер-пажей.

Россия, Россия,
Федора моя,
Не это-ль хваленая
В них доблесть твоя?
Что совесть на жертву
Рескриптом несут,
Что кровь из народа,
Как пьявки сосут.
Россия, Россия,
Федора моя,
Не эта-ль хваленая
Мудрость твоя?
Ученым надворным
С дипломом осла
Писакам придворным
Нет мер и числа.
Россия, Россия,
Федора моя,
Соврать не краснея —
То правда твоя.
У трона поэты
Под кнут цензоров
Слагают куплеты
Про знатных воров.
Россия, Россия,
Федора моя,
Украсть не краснея —
То храбрость твоя.
Смиренный Феодор[3],
Аксаковский «День»[4]
Толкуют о вздоре —
Несут дребедень.
А ночи темнее,
Федора, те «дни»,
Прямые монголы
Славяне твои.
Премудр, благороден,
Мастит и учен,
Сам старец Погодин[5]
В Федору влюблен.
Ты старцу за это,
Федора, скажи
По-русски спасибо,
Но шиш покажи.
Московский профессор
Здесь умствует так:
Милль-Стюарт повеса,
А Бюхнер дурак.
Федора — грех тяжкий
Быть в публике там,
Где трутся бумажки
В присутствии дам.
Катков-пустомеля
Смешит, говоря...

Слава Вильгельма Телля
Есть жизнь за царя.
А ну-ка, Федора,
Ему подтяни,—
От «Вестников Русских»
Нас, боже, храни.
Фетюк [6] негодует
На дерзость гусей,
Стихию волнует
Шутник Алексей [7].
Не нужно, Федора,
Совать туда нос,
Где в сальностях море
Есть грязный донос.
Ко мне, мой Леонтьев [8]
Мы дичь понесем
И целость Федоры
Той чушью спасем.
Довольно вам вздору
И чуши нести,
От дичи Федору
Не лучше-ль спасти?
Ведь Курск это Вильно,
Как злотый пятак,
И русским насильно
Не будет поляк.
Федора! безумное
Чадо мое!
Не трогай чужого,
Утратишь свое!
Прославим отменный
Вкус водки и щей
И святость нетленных
Задонских мощей.
Федора, смирись,
Рек царь Николай —
Крадь, пьянствуй, молись,
Да взятки давай.
Восхвалим законов
Стотысячный том
И вольность поклонов
Пред царским кнутом.
Федора, Федора,
Твой царь-богатырь
Сто тысяч поляков
Отправил в Сибирь.
Опричников братством
Начнем величать,
Иль равенство, братство
Да право молчать,
Смотри-ка, Федора,
Катков либерал
И в русские лорды
Не даром попал.

Ко мне, мой Скарятин,
С газетою «Весть» [9]
Поставим на сцену
Дворянскую честь.
    Без чести, Федора,
    Скарятин шалун
    Арапником гонит
    Дворянский табун.
Возвысим почтенных
Господ кулаков
И втопчем презренных
Мы в грязь бедняков.

ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА А. А. КРАСОВСКОГО, НАПИСАННАЯ КРОВЬЮ
Центрархив, Москва

    Проездить, прошляться
    Пропить и проесть
    И в пух проиграться
    То барская честь.
Друзей заграничных
На славу ругнем,
Мальчишек столичных
Латынью пугнем [10].
    Старушка Федора
    Еще молода...
    К чему рассужденья,
    Ведь, с ними беда.

Седые вельможи,
Молитвы творя,
Вон лезут из кожи,
Чтоб тешить царя.
Такой уж, Федора,
Здесь принятый тон,
За ругань спасибо,
За плюху поклон.
Чета Адлербергов [11]
Танцует гавот,
А князь Долгоруков [12]
Не в такте поет.
Без складу и ладу
На русскую стать
Того уж Федоре,
Никак не достать.
Граф Берг [13] с Муравьевым [14],
В чамарках сидят
Из польских слугенок
Конфеты едят.
Кичливой Европе
Сам князь Горчаков [15]
Готовит паштеты
Из русских оков.
Ах, долго ли, братцы,
Нам жизнь проклинать,
И тело и душу
Врагам отдавать?
Федора, Федора,
Чтож трудного тут?
Смотри-ка соседи
Как славно живут.
Довольно терпели
От недругов злых,
Теперь под качели
Спровадить бы их.
Качай их, Федора,
Качай в добрый час,
Висело не мало
Народу у нас.
Не нужно нам царства,
Не нужно господ.
Царем и владыкой
Сам будет народ.
Что правда — то правда,
Люблю молодцов.
Долой же тиранов,
Долой подлецов!
За тяжкую муку,
За нашу печаль
Их вздернуть повыше,
Ей богу, не жаль.
Повесить, Федора,
Таких поросят —

Высоко стояли,
Пусть выше висят.
Нас много, их мало —
Пусть гибнут они.
Их сила пропала,
Их дни сочтены.
Федора, чтож стала,
Кричи же «Ура»!
За дело нам взяться
Настала пора.
Ура! Мы свободны!..
Нет, нет — это сон,
В тюрьме, пробудившись,
Услышал я стон.
Россия, Россия,
Федора моя,
Ведь это любезная
Песня твоя.
С детьми разлученных
Отцов, матерей,
И в храмах молитвы
За русских царей.
Россия, Россия,
Федора моя,
Быть вечною дурой
Вот участь твоя.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Александр II, как и отец его — Николай I, увлекался формами военного обмундирования, выпушками, петлицами, фасонами головных уборов и т. п.

[2] Подразумевается жена Александра II Мария Александровна, урожденная принцесса Гессенская. В России подвизалась, как ревнительница православия, была покровительницей общества распространения православия среди «иноверцев-инородцев».

[3] Здесь подразумевается Ф. М. Достоевский.

[4] «День» — еженедельная газета славянофильского направления, выходившая в Москве с конца 1861 г. по 1868 г. под редакцией И. С. Аксакова.

[5] М. П. Погодин (1800—1875) — историк и публицист реакционного направления, доказывавший, что революции являются порождением «гнилого Запада».

[6] Автор имеет в виду статьи А. А. Фета в «Русском Вестнике», в которых он описывал, как крестьяне «притесняют» помещиков.

[7] Разумеется, повидимому, поэт и драматург Алексей К. Толстой.

[8] К. Н. Леонтьев (1831—1891) — реакционный публицист, соратник Каткова, сотрудник «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей».

[9] В. Д. Скарятин — редактор крепостнической газеты «Весть» с 1863 по 1870 г.

[10] Здесь имеется в виду подготовлявшаяся в 60-х годах реформа классического образования в средней школе с введением греческого и латинского языков для борьбы с революционным направлением учащейся молодежи.

[11] Графы Адлерберги — В. Ф. (1790—1884) и его сын А. В. (1819—1889) — одни из наиболее близких друзей Александра II; оба были министрами императорского двора; первый с 1852 по 1870 г., а второй с 1870 по 1882 г.

[12] А. В. Долгоруков, кн. (1804—1868) — в 60-х годах шеф жандармов.

[13] Ф. Ф. Берг (1793—1874) — генерал-фельдмаршал, наместник царства Польского, усмиритель польского восстания 1863 г., за что получил графский титул.

[14] М. Н. Муравьев, граф (1796—1866). Вошел в историю под кличкой «Муравьева-вешателя». Виленский генерал-губернатор; свирепо усмирял польское восстание 1863 г. множеством виселиц, сжиганием сел, выселением целых районов, отправкой в тюрьмы и в ссылку в Сибирь десятков тысяч поляков.

[15] А. М. Горчаков, кн. (1798—1883) — министр иностранных дел. Во время польского восстания 1863 г. выступил с нотой, отвергавшей вмешательство европейских держав в «русско-польскую распрю».

V. НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ Н. С. КУРОЧКИНА

Публикация Ф. Витязева

Участие русских писателей в заграничном революционном издании Лаврова «Вперед!» (1873—1876) — одна из интереснейших литературных проблем, которая еще ждет своих исследователей. До сих пор нам пока известно о сотрудничестве в журнале «Вперед!» Г. И. Успенского (см. фельетон «Шила в мешке не утаишь», «Вперед!», 1876 г., № 25, от 15 января, стр. 3—10) и Г. А. Мачтета (см. его стихотворение «Последнее прости»—«Вперед!», 1876 г., № 33, от 15 (3) мая, стр. 284, а также корреспонденцию «Из Петербурга» в том же номере, стр. 286 — 288, о бегстве из Д. П. З. С. Ф. Ковалика и П. И. Войнаральского). Кроме того, имеются основательные соображения, указывающие на участие в этом органе М. Е. Салтыкова-Щедрина (см. статью «П. Л. Лавров и М. Е. Салтыков» — «Литературное Наследство», 1934 г., № 13—14, стр. 1098). В настоящее время к этим трем именам мы имеем возможность прибавить имя поэта Н. С. Курочкина.

При просмотре «Вперед!» за 1875 г. обращает на себя внимание стихотворение «В память июньских дней 1848 года» (см. № 13 от 15 июля, стр. 399—400). Под стихотворением стоит дата — «Париж, 27 июня 1875 г.» Как известно, Лавров сам очень часто «грешил» стихами. Но в данном случае не он является автором упомянутого стихотворения. Во-первых, Лавров в 1875 г. жил в Лондоне, а под стихотворением стоит—«Париж». Во-вторых, самый характер стихотворения явно не лавровский. Кто же из русских писателей мог написать это стихотворение?

Для решения этого вопроса нужно сначала выяснить другой вопрос: кто из русских поэтов в 1875 г. находился в Париже? Точный ответ на этот вопрос дают письма М. Е. Салтыкова к Н. А. Некрасову, при чем в них определенно называется имя поэта Н. С. Курочкина. Так, например, в письме из Парижа от 9 сентября 1875 г. Салтыков ему пишет: «Н. С. Курочкину поручение Ваше передал: он обещал исполнить и Вам ответить». В другом письме, от 17 октября за 1875 г. и тоже из Парижа, Салтыков сообщает Некрасову, что «Курочкин живет у Веретенникова: Rue Cadet, 4, hôtel de Hollande». И, наконец, в третьем письме, от 10 ноября 1875 г., Салтыков спешит известить Некрасова о том, что «Курочкин переехал на новую квартиру rue de l'Echiquier, 51» (см. М. Е. Салтыков-Щедрин, «Письма 1848—1889 г.» ГИЗ. Л. 1924 г., стр. 90, 97—98 и 105).

Ясно, что Н. С. Курочкин в 1875 г. действительно жил в Париже. Что именно он и есть автор вышеупомянутого стихотворения, подтверждается целым рядом соображений. Во-первых, стихотворение «В память июньских дней 1848 г.» действительно очень близко и по теме и по стиху к творчеству Н. С. Курочкина. Во-вторых, личные отношения Курочкина к Лаврову могли побудить его принять участие в газете «Вперед!». Дело в том, что Курочкин был близко знаком с Лавровым еще с начала 60-х годов. Об этом довольно определенно говорят современники этой эпохи. Так, например, Штакеншнейдер в своих дневниках отмечает, что Лавров в августе 1861 г. бывал на квартире Василия Степановича Курочкина в связи с организацией Шахматного клуба (см. «Из дневников Е. А. Штакеншнейдер» — «Голос Минувшего», 1916 г., № 4, стр. 45). Не подлежит никакому сомнению, что он здесь встречался с Н. С. Курочкиным, который, как известно, был очень дружен со своим братом. Мало того, из письма поэта М. И. Михайлова к Лаврову от 14 августа 1861 г. видно, что по делам этого клуба Курочкин даже бывал на квартире Лаврова (см. «Книга и революция». П-град. 1922 г., № 6 (18), стр. 14—15). Другой современник этой эпохи—В. В. Лесевич рассказывает, что Лавров и Н. С. Курочкин в 1864 г. выступали одновременно «на частном литературном вечере, на котором читали свои произведения» (см. «В. В. Лесевич. Страничка воспоминаний» — сборник «На славном посту», СПБ. 1900 г., стр. 155). Но, кроме свидетельств современников, есть еще ряд документальных данных, указывающих на близкое знакомство Курочкина с Лавровым. Сюда прежде всего относятся показания самого Н. С. Курочкина, имею-

щиеся в деле Н. Д. Ножина, в которых он говорит о своем знакомстве с Лавровым (см. «Былое», 1924 г., № 23, стр. 52). Другой факт, относящийся к знакомству Курочкина с Лавровым, в высшей степени примечателен. 3 апреля 1866 г. скончался Н. Д. Ножин. Врач Марьинской больницы, в которой умер Н. Д. Ножин, П. К. Конради, спешит об этом известить Н. С. Курочкина, близкого друга покойного Ножина. С этой целью П. К. Конради прибегает к помощи Лаврова. Он немедленно пишет ему письмо, которое начинается следующей фразой: «Петр Лаврович! Передайте, пожалуйста, Курочкину (адрес которого мне неизвестен), что Ножин умер сегодня утром, в 8½ часов» (см. Ibid., стр. 53). Является вопрос: почему в столь срочном и неотложном деле Конради обратился не к кому другому, а именно к Лаврову? Объясняется все это довольно просто. П. К. Конради был очень близок к Лаврову и довольно часто бывал у него в доме вместе со своей женой Евгенией Ивановной Конради, известной общественной деятельницей в деле женского образования. П. К. Конради великолепно знал весь круг знакомых Лаврова и все его дружеские связи. Очевидно, у Конради были весьма веские основания полагать, что Лавров находится с Курочкиным в близких отношениях, раз в столь исключительном случае он обратился именно к нему. И Конради в данном случае не ошибся в своих расчетах. Лавров немедленно переслал письмо Конради Курочкину, сделав на нем следующую приписку: «Многоуважаемый Николай Степанович, посылаю Вам в оригинале печальную записку Конради. Жалею, что молодые силы погибли рано, хотя я не сочувствовал Ножину, но искренне жалею о нем» (см. сборник «Звенья», т. II, изд. «Academia». М.—Л. 1933 г., стр. 485). Из всего сказанного мы видим, при каких исключительных условиях пересекались иногда жизненные пути Лаврова и Курочкина в эпоху 60-х годов. Не надо еще забывать, что Н. С. Курочкин в 1861 г. был сотрудником «Энциклопедического Словаря», который редактировал Лавров (см., например, его статьи: т. II, стр. 116—117 и т. III, стр. 365). В связи с этим сотрудничеством у Курочкина, несомненно, могли быть неоднократные личные встречи и свидания с Лавровым.

Сохранился, наконец, еще и другой крайне любопытный памятник дружеских отношений Лаврова с Курочкиным. Я имею в виду неопубликованное письмо Курочкина к Лаврову от 7 июля 1875 г., хранящееся в ИМЭЛ, в архиве Лаврова. Письмо это является наглядным и притом весьма убедительным доказательством того, что их дружеские отношения продолжались и в период эмиграции Лаврова. Повидимому, Курочкина не испугала революционная деятельность Лаврова, связанная с изданием нелегального журнала «Вперед!». Он попрежнему продолжал поддерживать с ним дружескую связь и переписку. Весь тон и характер этого письма подтверждают это предположение. Особенно в этом отношении интересен конец письма, где Курочкин поднимает даже вопрос о личном свидании с Лавровым. «Повидаться с вами,— пишет он ему,— хотел бы искренно и если бы был хоть несколько поздоровее, то съездил бы в Лондон».

С другой стороны, из этого письма видно, что Лавров был в курсе всех жизненных этапов Курочкина. Так, например, он не только знал, что Курочкин находится за границей, но даже имел его точный адрес для личных сношений. Мало того, он даже послал ему свой труд «Опыт истории мысли». Книгу эту Лавров рассылал, как известно, всем близким друзьям, и, очевидно, Курочкин находился в их числе, раз Лавров сделал ему этот подарок. Между прочим, эту работу Лавров послал также и К. Марксу со следующей надписью: «Учителю социалистов Карлу Марксу от автора в знак дружбы и уважения». Экземпляр этот сохранился в библиотеке Академии Наук. В нем имеется целый ряд отметок, сделанных рукою К. Маркса (см. стр. 98—120, а также стр. 104 и 106). По ним видно, что К. Маркс очень внимательно читал «Опыт истории мысли» (см. «Ленинградскую Правду» 1936 г. от 18 июня, № 139). Послал свою книгу Лавров и Ф. Энгельсу, который также сделал по поводу ее целый ряд любопытных замечаний (см. Ф. Энгельс, «Диалектика природы», изд. 6-е. Партиздат. М. 1932 г.,

стр. 32, 245, 284). Значение письма Курочкина усугубляется еще тем, что оно является единственным уцелевшим письмом из всей его переписки с Лавровым. Помимо всего прочего, письмо это относится к эпохе, когда Лавров издавал нелегальный «Вперед!», и как раз к тому году и месяцу, когда Курочкин сотрудничал в этом органе. При решении вопроса о возможности его сотрудничества письмо это имеет далеко немаловажное значение. Не надо забывать, что большинство писем к Лаврову, связанных с журналом «Вперед!», было уничтожено (см. Н. Г. Кулябко-Корецкий, «Из давних лет», М. 1931 г., стр. 228), а то, что уцелело из этой переписки, не попало в личный архив Лаврова. Эти письма надо искать в архиве «Вперед!», остатки которого после различных пертурбаций оказались, наконец, в русском социал-демократическом архиве, основанном Д. Г. Бебутовым и находящемся сейчас в Париже (см. «Летописи марксизма», М. 1930 г., № II (XII), стр. 155). Впрочем, вряд ли там могли сохраниться письма Курочкина, так как уничтожению подверглись главным образом материалы, относящиеся к легальным сотрудникам и корреспондентам «Вперед!».

Письмо Курочкина, несомненно, может вызвать ряд недоуменных вопросов. Дело в том, что из этого письма видно, что Курочкин с 7 июня по 7 июля 1875 г., т. е. целый месяц, находился в г. Диеппе. Другими словами, стихотворение «В память июньских дней» он мог написать только в этом городе. Между тем, во «Вперед!» под этим стихотворением имеется следующая вполне определенная дата—«Париж, 27 июня 1875 г.» Как объяснить это явное противоречие? Не является ли оно тем фактом, который отрицает всякую возможность авторства Курочкина? Объясняется все это довольно просто. Диепп —это курорт, известный своими морскими купаниями. Для Курочкина он явился кратковременным местожительством на летнее время. Париж же был для него постоянным местом жительства за границей. Из письма Курочкина мы видим, что он поехал в Диепп по предписанию профессора Шарко и пробыл в нем всего 1½ месяца. После этого последовала поездка в Булонь, а затем Курочкин к осени вернулся в Париж. Из писем М. Е. Салтыкова к Н. А. Некрасову видно, что он в самом начале сентября уже находился в Париже (см. М. Е. Салтыков-Щедрин, «Письма». ГИЗ, Л. 1924 г., стр. 90, 97—98). Тот же факт подтверждается также письмом Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову (см. «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», изд. Всесоюзной Библиотеки им. Ленина, М. 1935 г., стр. 22). Курочкину не было никакого смысла ставить под своим стихотворением г. Диепп, который являлся чисто случайным эпизодом в его жизни, в то время как Париж был для него тем центром, с которым была связана вся его литературная деятельность, как сотрудника «Отечественных Записок» по отделу иностранной жизни. Да и сама тематика стихотворения, связанная с французской революцией 1848 г., как-то невольно требовала, чтобы под ним стояло слово «Париж», в котором разыгрывались сами события, а не малоизвестный «Диепп». Это тем более понятно, если принять во внимание, что стихотворение писалось Курочкиным специально для социалистической и революционной газеты.

У Курочкина был еще целый ряд весьма серьезных политических соображений, по которым он не мог ставить под стихотворением слово «г. Диепп». Не надо забывать, что Курочкин еще в 1862 г. состоял под секретным наблюдением царской полиции в связи с его сношениями с «лондонскими пропагандистами». После выстрела Каракозова Курочкин 12 апреля 1866 г. был арестован и 4 месяца сидел в Петропавловской крепости. 21 августа того же года он был освобожден, но подчинен строгому полицейскому надзору. А само дело Курочкина, начатое Муравьевской комиссией, тянулось целых 5 лет и было закончено лишь 7 мая 1870 г. Постоянное сотрудничество Курочкина в таком ярко оппозиционном и радикальном органе, как «Отечественные Записки», не могло не усилить тайного надзора за ним со стороны III отделения. Ясно, что все его письма из-за границы на имя редакции «Отечественных Записок» перлюстрировались. Царская полиция не могла не знать о переезде Курочкина в Диепп. Надо помнить еще, что Диепп—небольшой приморский городок, который в 1875 г.

насчитывал всего лишь 20 тысяч жителей. Русские эмигранты в нем никогда не жили, и он всегда был в стороне от всякой политической жизни. Возможно, что в 1875 г. единственным русским человеком во всем Диеппе и был только один Курочкин. При наличии всех этих условий написать под стихотворением «Диепп» было равносильно тому, чтобы поставить под ним полную подпись Курочкина. Сделать подобный акт политического самоубийства Курочкин, конечно, не мог, и он предпочел датировать свое стихотворение словом «Париж», прекрасно зная, что этот крупнейший город Европы является одним из центров русской политической эмиграции. Как увидим ниже, Г. З. Елисеев считал, что даже слово «Париж» в данном случае было опасно для Курочкина в политическом отношении.

Есть еще одно косвенное соображение, указывающее на авторство Курочкина. Официальный историк русского революционного движения Н. Н. Голицын определенно называет Н. С. Курочкина в числе сотрудников журнала «Вперед!» (см. «Историю социально-революционного движения в России 1861—1881 гг.», глава X, СПБ. 1887 г., стр. 61). Правда, источник этот, составленный исключительно на основании «секретных», «агентурных» и иных сведений, всегда требует тщательной проверки, но в данном случае указание жандармского историка Н. Н. Голицына не только не противоречит, но целиком с о в п а д а е т с другими фактами, определенно говорящими нам за участие Курочкина в журнале Лаврова.

В заключение приведем еще одно соображение, подтверждающее авторство Н. С. Курочкина. Мы имеем в виду крайне интересное место из письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову от 12 июня 1875 г. Написано оно из Берлина, где в руки Елисеева попал «Вперед!». Вот что пишет в нем Елисеев: «прочел здесь несколько №№ газеты «Вперед!». В № 13 стихотворение: «В память июньских дней 1848 года». Стоит только знакомому немножко с нашей литературой прочитать это стихотворение, чтобы знать, кому оно принадлежит. Хоть бы подписал бы под ним: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Иеддо, одним словом, — что угодно, только не Париж. Нет пишет непременно: Париж. Такие все чудаки!» (См. «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», изд. Всесоюзной Библиотеки им. Ленина, М. 1935 г., стр. 20. Между прочим, в примечании к этому письму комментатор И. Р. Эйгес на стр. 200 вполне правильно высказывает предположение о принадлежности этого стихотворения Н. С. Курочкину).

Из письма Елисеева прежде всего ясно видно, что автор стихотворения н е э м и г р а н т, а какой-то известный русский писатель, которого даже очень легко узнать. Это обстоятельство несомненно тревожит Елисеева, и в письме его определенно проскальзывает опасение за судьбу автора. Именно эта тревога и вызывает у него возмущение против самого автора, который не умеет соблюдать основных правил литературной конспирации. Невольно возникает вопрос: не является ли анонимный автор стихотворения б л и з к и м для Елисеева человеком, если он так легко узнает его произведения, да к тому же еще тревожится за его судьбу? И, наконец, второй вопрос: почему Елисеев даже написал об этом М. Е. Салтыкову? Не является ли анонимный автор их о б щ и м з н а к о м ы м, которого они оба хорошо знают?

Все эти вполне законные вопросы получают немедленное разрешение, если признать, что автором анонимного стихотворения является Н. С. Курочкин. Дело в том, что для Елисеева Н. С. Курочкин был очень близким человеком по их многолетней, совместной работе в «Искре». Именно Елисеев пригласил затем Курочкина сотрудничать в «Отечественных Записках» с момента перехода их в 1868 г. от А. А. Краевского в руки новой редакции, состоящей из Н. А. Некрасова, Г. З. Елисеева и М. Е. Салтыкова. Не надо еще забывать, что в 1875 г. Н. С. Курочкин находился в Париже, как с п е ц и а л ь н ы й с о т р у д н и к «Отечественных Записок» по отделу иностранной жизни и литературы, о чем разумеется, прекрасно знали и Елисеев и Салтыков.

После сказанного становится понятным, почему Елисеев, взявши «Вперед!», сразу обратил внимание на стихотворение «В память июньских дней 1848 года»

и, узнав анонимного автора, проявил такую тревогу по поводу его плохо законспирированного сотрудничества в журнале «Вперед!» и немедленно сообщил об этом Салтыкову.

Думаем, что приведенные соображения дают достаточные основания признать Н. С. Курочкина автором анонимного стихотворения «В память июньских дней 1848 года», которое, несомненно, является любопытным памятником русской революционной поэзии 70-х годов.

В ПАМЯТЬ ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ 1848 ГОДА

Нету работы... семья голодает...
Двое малюток припали к отцу,
Рвут на нем платье, есть просят, рыдают...
Мать на них молча глядит и страдает...
«Полноте, дети,— отец утешает —
Наши страданья приходят к концу:
Хлеба нам или свинцу
Завтра республика дать обещает».

*

Сдвинуты брови, и скрещены руки
На молодецкой широкой груди,
Люди по улицам идут, и звуки
Песни их грозной исполнены муки:
«Завтра раздастся здесь гром боевой;
Знайте же, братья: вас ждет впереди
Хлеб на столе или пуля в груди
После борьбы роковой!»

*

Знамя над грудою камней взвивается...
Строит народ баррикаду...
Завтра он здесь умирать собирается.
Здесь для свободы алтарь воздвигается;
Здесь новой жизни заря загорается.
Людям грядущим в урок!
Будет героям награда
Пуля иль хлеба кусок!...

*

Тени ночные спустились над зданьями...
Полон решимости мрачный народ:
Завтра он кончит с своими страданьями!
Полный надеждами и ожиданьями,
Жаждою полный борьбы,
Целую ночь он очей не сомкнет.
Завтра он хлеб или пулю возьмет
С бою у грозной судьбы!...

Париж, 27 июня 1875 г.

НЕИЗДАННАЯ СТАТЬЯ А. А. ФЕТА О РОМАНЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО „ЧТО ДЕЛАТЬ?“

Вступительная статья Ю. Стеклова

Публикация и комментарии Г. Волкова

Перед нами статья Фета, написанная им в 1863 г. для «Русского Вестника» и затем, после переработки ее в 1866 г., предназначавшаяся к помещению в «Библиотеке для Чтения».

Статью эту Фет писал не один, а совместно с В. П. Боткиным. Это явствует не только из рассказа Фета, но и из содержания рукописи. Можно даже почти с полной точностью установить те места статьи, которые принадлежат одному боткинскому перу.

Это, во-первых, все те рассуждения об искусстве и его задачах, все те полемические выпады против нарушения «Современником» священных канонов барской эстетики, которые рассеяны по всей статье, а во-вторых, вся последняя глава, содержащая изложение и критику некоторых систем утопического социализма, знакомых Боткину по 40-м годам, по беседам и спорам в кружках Станкевича и Герцена.

Это, конечно, не значит, что участие Боткина в составлении статьи этими местами только и ограничилось. Напротив, можно предполагать, что он давал мазки кистью и в других частях статьи, стараясь повсюду сглаживать примитивно-грубоватую манеру дикого помещика Фета, который умудрялся сочетать благоуханную нежность своей лирической музы с «истинно-русским» зубодробительным кулаком.

Эта заключительная глава, которая, кстати, вовсе не производит впечатления заключительной, несомненно, содержит «мудрость» Боткина, нахватанную им отчасти в результате общения с более высоко стоявшими приятелями, как Герцен, Бакунин и т. п., отчасти во время периодических налетов его за границу, куда он ездил по-российски «освежиться» и посибаритничать. Вся эта глава присоединена к основному стволу фетовской статьи совершенно искусственно, както приклеена к нему, и неумелая форма ее прикрепления к статье лишний раз свидетельствует о слабости архитектоники этой статьи (каковая слабость, несомненно, была одною из главных причин ее отклонения обоими журналами). Хотя эта глава в общем грамотнее и литературнее остальных частей статьи, однако, в общем она не намного поднимается над жалким уровнем статьи.

Но какой социальный смысл имеет интимное сотрудничество двух столь различных людей, как Фет и Боткин? Какими историческими причинами было обусловлено их совместное выступление против романа «Что делать?»? Что объединило здесь представителя плантаторской, крупно-помещичьей партии Фета с носителем более тонких буржуазных начал Боткиным?

Отвечая на этот вопрос, надлежит помнить, что если не совместное, то единовременное нападение на идейного вождя революционной демократии уже имело место в русской литературе и что происходило это года за два-три до

выхода в свет романа «Что делать?». Мы имеем в виду ту полемику, которая в 1860—1861 гг. с легкой руки Юркевича охватила почти все без исключения русские журналы в связи с появлением знаменитой статьи Чернышевского «Антропологический принцип в философии», впервые столь смело провозгласившей принципы материализма в русской литературе. И на этом первом этапе общего похода на вождя революционной демократии церковник Юркевич подавал руку знакомому Герцена — Н. Альбертини, англоман Катков — либеральному жандарму Громеке, борец с нигилизмом Страхов — профессору Буслаеву, «Отечественные Записки» — «Православному Обозрению» и т. д. Значит, было нечто такое, что в борьбе с Чернышевским объединяло чуть ли не все остальные общественные группировки тогдашней России от Каткова до Герцена. И почти то же самое повторилось по отношению к роману «Что делать?».

Разложение дворянско-помещичьего общества привело к выделению мелкопоместной или даже вовсе беспоместной, служилой группы бедного дворянства. Эта группа слилась с аналогичной группой, выделившейся из разлагавшегося вместе с помещичьим строем мещанства, обслуживавшего старый режим и идеологически с ним связанного, и обе эти вновь образовавшиеся группы положили основание новой социальной категории — разночинной интеллигенции, соответствовавшей европейской демократической мелкой буржуазии как по положению, так и по направлению. Настроение этой группы, уже заметной во времена Пушкина, возросшей и самоопределившейся в 40-е годы под идейным руководством В. Белинского и петрашевцев, окончательно сложившейся идейно и политически к началу 60-х годов, было крайне революционным и в вопросах общего мировоззрения (материализм), и в политике (радикалы, демократы, революционеры, представители разных систем утопического социализма), и в области бытовой (новые формы отношений между людьми, полами, в домашней, семейной и общественной жизни) и т. д. Враги стремились оклеветать представителей этой ненавистной им общественной группы, в частности, давая нарочито искаженное их изображение в художественных произведениях и стремясь посильно извратить их взгляды, мораль, общественное поведение и т. д. К категории этих тенденциозных произведений относились и «Отцы и дети» И. С. Тургенева, который в своем романе дал ложные портреты представителей так называемого молодого поколения, среди лидеров которого — в частности, Н. Добролюбова и Чернышевского — он одно время сам вращался в редакции «Современника». Ответом на эти классово-враждебные и фальсификаторские изображения и явился роман «Что делать?».

Охарактеризовать и объяснить настроения, взгляды, чаяния и стремления этой группы и должен был роман «Что делать?»; интересовавшие ее основные вопросы он и должен был разрешить. Из этих вопросов роман выделил три: 1) вопрос о женской эмансипации в связи с вопросом о новой форме семейной жизни; 2) вопрос о новом устройстве общественной жизни, вопрос о грядущей социалистической революции, в частности, вопрос об устройстве артелей, производительных ассоциаций, бытовых коммун, и 3) вопрос о русской революции, точнее — о насильственном низвержении самодержавия и об установлении взамен его власти революционной крестьянской демократии.

Для всей разночинной интеллигенции вопрос о самостоятельности женщины, об открытии ей доступа ко всем видам общественной деятельности был не теоретически надуманным, а насущным жизненным вопросом, в первую очередь вопросом материального существования. Такими же существенными вопросами были для них вопросы о новом поведении в личной и общественной жизни, о взаимоотношениях в собственной среде и об отношениях к представителям политически и экономически господствующих социальных групп, вопросы о новом жизненном габитусе (обиходе), о новой, гордой, демократической, свободной и свободно принимаемой морали, так называемой «морали разумного эгоизма», по которой строились и личные и семейные отношения. Все это нашло поэтому свое

отражение в романе, а в силу тогдашних цензурных условий заняло в нем даже преобладающее, относительно преувеличенное место.

Но главное в романе — вовсе не вопрос о личном совершенствовании, об устройстве личного благополучия без эксплоатации других людей и о выработке новых форм разумной жизни, индивидуальной и семейной. Главное — вовсе не «половой вопрос», о котором столько шумели враги и в разглагольствованиях о котором они хотели потопить сокровенное существо романа. Характерно, что этот пресловутый «половой вопрос» очень мало интересовал ту демократическую молодежь, о которой и для которой был написан роман. Последний очаровал ее совсем иными своими сторонами — и даже не столько картинами будущих фаланстеров при социалистической организации общества, еще меньше — картинами процветания швейных мастерских, а живыми образами новых людей, под которыми она понимала революционеров, борющихся за политическое раскрепощение России, далее, туманными намеками на близкий коренной переворот в России, а главным образом могучим образом Рахметова, этого закаленного борца с самодержавием, подготовителя крестьянской революции и захвата власти революционной партией, этого подпольного организатора, уже работающего в народе и подготовляющего в низах восстание против царизма, глухим намеком на которое и кончается знаменитый роман. Поэтому главным героем романа является не Лопухов, не Кирсанов и не Вера Павловна, а «особенный человек» Рахметов. Об этом ясно говорит сам Чернышевский, это инстинктивно почувствовала революционная молодежь, это почувствовали и реакционеры. И хотя в критических разносах романа они старались сконцентрировать внимание на «безобразной» морали Лопухова и Кирсанова, на «похождениях» Веры Павловны, на своеобразных порядках в швейных мастерских и т. п., но они сами хорошо сознавали, что все это — второстепенные аксесуары романа, все это — фон, на котором несколькими яркими мазками слегка намечена грозная фигура революционера, объявившего беспощадную войну царскому режиму. И хотя фигура эта набросана слегка, неясными штрихами, однако, она получилась настолько яркой, что навсегда запомнилась и друзьям и врагам. И хотя самая сцена народного восстания, низвергающего самодержавие и, повидимому, ставящего Рахметова во главе временного революционного правительства, набросана еще более эскизно в целях обхода цензурных стеснений, однако, она настолько поразила воображение современников, что временщик Муравьев принял конец романа за предсказание каракозовского покушения и собирался в 1866 г. вытребовать Чернышевского из Сибири, дабы приобщить его к делу о заговоре.

Эта выразительность рисунка усугублялась состоянием тогдашней русской политической атмосферы. «Реформа» 1861 г. открыла доступ в деревню аграрному и промышленному капиталу. Но представители последнего еще не чувствовали себя спокойно, еще не были уверены в окончательной победе. Правда, ко времени появления романа «Что делать?» волна крестьянских восстаний, которыми возмущенная масса отвечала на обман правительства, была разбита и в основном уже схлынула. Но в тот момент ни революционеры, ни реакционеры в этом не были еще уверены. Напротив, те и другие допускали возможность дальнейшего расширения и обострения крестьянского движения — одни с радостной надеждой, другие со страхом и скрежетом зубовным.

Inde ira. А все остальное — пустая словесность.

Но этот мужицкий переворот, возглавленный последователями Чернышевского, одинаково угрожал всем разрядам тогдашних господствующих классов. Крестьянская жакерия, олицетворением которой в глазах реакционеров являлся Чернышевский, не остановилась бы не только перед помещичьей усадьбой с «трелями соловья», но и перед купецким лабазом. Эта крестьянская революция, намеком упоминаемая в романе «Что делать?», посвященном изображению ее деятелей, угрожала одинаково задеть и помещиков-дворян и буржуазию, особенно ее наиболее отсталые и эксплоататорские круги, связанные с дворянством и его

обслуживающие, например, торговый капитал (представителем которого и был сотрудник Фета по составлению рассматриваемой статьи). Отсюда — общая ненависть всех категорий господствующего класса, реакционеров и либералов, а чтобы говорить только о первых,— обеих групп консервативной партии: помещиков и реакционных буржуа, Фетов и Боткиных, против революционно-демократического романа «Что делать?». И если даже «европейцы» Тургенев и Герцен предали этот разночинный роман проклятию и поношению, то что говорить об «азиате» Боткине, в это время окончательно порвавшем с «заблуждениями молодости» и полностью приобщившемся к реакционному катковскому хору!

Три основные идеологические группировки тогдашнего русского общества, естественно, встретили роман по-разному. Демократическое разночинство, революционное крыло которого было описано в романе, отнеслось к нему с восторгом. Оно узнало своих лучших представителей в героях романа, услыхало отголосок собственных чаяний и симпатий в словах и делах этих людей, и поскольку эта группировка имела возможность выразить свое отношение к рассматриваемому произведению в печати, она в лице радикальной журналистики и примыкавших к ней сатирических журналов подняла на щит и роман, и его автора, и его героев, особенно Рахметова.

Либеральная, «западническая» партия, простиравшаяся от Дудышкина и Громеки до Тургенева и колебавшегося между либерализмом и демократизмом Герцена, встретила роман недовольным брюзжанием, переходившим у Герцена и Тургенева (особенно в их частной переписке) в прямое охаивание романа и его героев. Мировоззрение и стремления последних естественно не могли встречать сочувствия у представителей дворянского либерализма, представлявшего коалицию среднего дворянства с немногочисленными представителями передовой буржуазии, преимущественно из высших категорий интеллигенции. Тем более, что почти все литературные выразители этой группы до того не раз уже выступали в резко полемической форме против идеологии и крайних стремлений Чернышевского и его единомышленников (стоит вспомнить выступления Герцена в «Колоколе» против радикалов «Современника» 1859 и 1860 гг. или ссору Тургенева с Некрасовым за союз его с радикалами, а также направленный против последних роман Тургенева «Отцы и дети», ответом на каковой и явился в значительной мере роман «Что делать?»). Неудивительно, что и либеральная пресса встретила роман Чернышевского с брезгливой миной и плохо скрытой враждой.

Эта последняя встретила роман Чернышевского, имевшего дерзость представить в нем апологию ненавистных «нигилистов», что называется, в штыки. В своих журналах, романах, пьесах, брошюрах и письмах представители реакционных сил, т. е. главным образом крупно-помещичьих (куда входили, между прочим, Катков, Фет, Лесков, Достоевский, Страхов, Аскоченский и пр.), открыли против романа форменный поход, служивший своего рода словесным дополнением к судебно-полицейской расправе царизма с демократами. Прекрасно понимая, что одними мерами физической репрессии невозможно справиться с идейным движением, стремившимся опереться на массовое недовольство, реакционная публицистика стремилась идеологически дискредитировать и морально опорочить как носителей враждебных ей начал, так и самые эти начала, новую мораль, новые отношения между людьми, наконец, общественные идеалы революционно-демократической мысли и в первую голову социализм. Нужно признать, что в соответствии с общей примитивностью царской России и ее господствующего класса реакционная публицистика не выказала на этой почве особых талантов и не дала не то что блестящих, а даже просто более или менее серьезных и убедительных образчиков полемики, ограничившись по преимуществу трафаретными приемами извращения «вражеской» идеологии и грубым заушением ее представителей. Печатаемая ниже статья Фета — Боткина (один — поэт, другой — эстет) в этом отношении весьма характерна и типична.

Оригинальная сторона статьи заключается в том, что она является плодом

коллективного творчества. Но в данном случае эта литературная кооперация интересует нас не с технической, а с политической стороны. Мы видим здесь коалицию тех двух основных социальных групп дореволюционного русского общества, на которые—в неодинаковой, правда, степени — опирался царский абсолютизм: крупно-поместного дворянства, игравшего первую скрипку в этом дуэте, и отсталых форм капитала. Этот союз Боткина с Фетом, в котором первый служил политическим целям второго, одновременно, впрочем, защищая шкурные интересы своей собственной социальной группы, был слабым предвестником того более широкого политического союза между Гучковым и Столыпиным, с помощью которого отживающие социальные силы старой России пытались в 1905—1917 гг. спасти самодержавную монархию, служившую ширмой и оплотом их классовых интересов, а также того сплочения всех собственнических сил против пролетариата, которое характеризовало гражданскую войну 1917—1920 гг.



КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ», 1860, № 15

Отсюда и тот подход к теме, который наблюдается в рассматриваемой статье. Разумеется, критика Фетом — Боткиным формы романа «Что делать?» с точки зрения канонов дворянской эстетики нас совершенно здесь не интересует; эта критика теперь не требует опровержения: время, наилучший судья в этом отношении, разрешило этот спор, который, впрочем, и тогда был ясен. История дала свой ответ: роман дожил до нашего времени, он живет и играет всеми цветами радуги, действуя на читателя с той же силой, что и три четверти века тому назад, а вот «обличительную» статью обоих Аяксов-охранителей их же друзья не хотели печатать уже через год-два по выходе романа, да и непосредственно после его выхода. А теперь мертвечина ее еще больше бьет в нос, и если она все же появляется, наконец, в печати, то лишь как исторический, чтобы не сказать археологический, документ, представляющий интерес в целях характеристики борьбы с революционной демократией.

Эстетическая критика Фета — Боткина заслуживает упоминания разве с той точки зрения, что она (как и все прочее в этой статье) характеризует классовый подход авторов к своей теме, классовый момент в их оценках и даже восприятиях. Эстетика Чернышевского для Фета — Боткина не только ненавистна, но и непонятна; мораль его для них не только отвратительна, но и невразуми-

тельна; краски, которыми пишет Чернышевский, просто ускользают от их зрения. Фет иронизирует по поводу слов Чернышевского, что глаза реакционеров вследствие самого своего устройства не видят новых людей, но это — истинная правда, обусловленная классовым положением и подтверждаемая всею статьею Фета, как и всеми подобными ей статьями. Даже чтение романа для Фета, как он признается, было трудною работою, а революционная молодежь, для которой роман был написан, упивалась им, проводила над ним бессонные ночи.

С этой стороны статья Фета написана слишком откровенно; может быть, это и послужило одною из причин непоявления ее в печати: классовый интерес дворянства требовал посильного затушевывания своекорыстной, сословной заинтересованности дворянской «критики». А enfant terrible дворянской реакции имел непохвальную смелость открыто заявлять, что его идеалом является гвардейский офицер Серж, очищающий во главе эскадрона литературные леса от «разбойников», и приглашать «мирных благомыслящих людей, которым заведение (новых) порядков не доставляет удовольствия, сообща останавливать» новаторов — надо полагать, отправлять их в участок; он не скрывал, что протестует против романа со своей позиции эксплоататора-паразита, владельца богатой усадьбы, когда в ответ на картину превращения прежней пустыни коллективным трудом в цветущий сад издевательски заявлял: «мы останемся, где сидим, а уже глину-то возить пусть она найдет других». И позволял он себе эту «критику» нараспашку именно потому, что хорошо понял сокровенную сущность романа, понял, что в нем ведется пропаганда насильственнго низвержения самодержавия в целях создания социалистического общества и что герои романа «Что делать?», и в первую голову Рахметов, посильно подготовляют наступление этого переворота (о чем несколько раз и говорится в статье).

Пособница и прихлебательница сословия дворян-грабителей — российская реакционная буржуазия — выдвинула из своей среды жалкого человека, некогда вращавшегося в либеральных кругах, а затем превратившегося в тупого мракобеса, настоящего мещанина в дворянстве, желавшего прислужничеством к самой матерой реакции выслужить себе право на вход в барскую лакейскую. Боткин должен был своей западной «ученостью» подкрепить беспомощное офицерское бормотание плантатора Фета и дискредитировать социалистические утопии в самом их источнике; он должен был с точки зрения общественного «прогресса» опорочить и опровергнуть социально-политическую программу революционной демократии и оправдать помещичью диктатуру. И вот этот гулящий рантье, жалкий сибарит, слуга маммоны, раб своего желудка пытается оспорить основное, по его словам, положение социализма, что «назначение человека на земле есть счастье, но что счастье невозможно без богатства». Он, в 40-х годах в Париже встречавшийся с Марксом, Бакуниным и Герценом, выдает себя головой, говоря о «кротком, гуманном правительстве Луи-Филиппа». И как бы для того, чтобы наглядно засвидетельствовать полное подчинение этого сорта российской буржуазии идеологии помещичьего дворянства, Боткин вслед за плантатором Фетом, утверждающим, что в России нет «непроизвольных бедных», имеет бесстыдство повторить, что в России — все собственники, а пролетариев нет. Итак, игнорирование эксплоатации крестьян помещиками и капиталом, преднамеренное закрывание глаз на ожесточенную классовую борьбу между ними — вот последнее слово отсталого российского буржуа, пошедшего для спасения своей утробы на поклон к дворянской диктатуре!

Основной прием Фета в его полемике с Чернышевским — это извращение и вульгаризация мысли противника. Если Фет, как отмечено в примечаниях к его статье, не находил нужным точно передавать приводимые им цитаты из «Что делать?», а сокращал, изменял и переделывал их по своему вкусу, то еще менее стеснялся он с мыслями автора романа. Фету ничего не стоило приписать Чернышевскому совершенно противоположное тому, что тот в действительности имел в виду, и извратить его мысли настолько, чтобы совершенно изменить их смысл.

Этот прием, рассчитанный на доверчивость читателя и его неспособность разобраться своими силами в вопросах, затронутых в романе, был чрезвычайно удобен для Фета, ибо облегчал ему полемику и придавал внешнюю убедительность его доводам. И если Фет бросал Чернышевскому упрек в высокомерно-презрительном отношении к читателю и к степени развития его умственных способностей, то этот упрек с гораздо большим основанием мог быть обращен к нему самому. Иронические выпады Чернышевского против «публики» были направлены против обывательских слоев читающей массы, находящихся всецело во власти традиционных понятий и бессильных найти выход из рамок штампованной морали. Фет же сознательно спекулировал на доверчивости и ограниченности кругозора читательской массы.

Ярким образцом отмеченного нами извращения мыслей Чернышевского являются рассуждения Фета против проповедуемой Чернышевским утилитарной теории нравственности. Чернышевский проводил различие между эгоизмом разумным, свойственным «новым людям», и неразумным, отличающим неразвитых людей, воспитанных в условиях традиционной морали. Для Чернышевского правильно понятые интересы личности совпадали с интересами общества. Развитой человек, научившийся разумно взвешивать свои интересы, по мнению Чернышевского, не мог не понимать солидарности своих интересов с интересами окружающих его людей. При такой постановке вопроса разумный эгоизм, проповедуемый Чернышевским, диктовал человеку необходимость не только считаться с интересами других людей, но и жертвовать собою для блага общества, но жертвовать не в силу навязанного ему извне и стесняющего его личность долга, а по свободному впечатлению своего «я». Таким образом, вся аргументация Фета по этому вопросу била мимо цели.

То же самое можно сказать и по поводу рассуждений Фета о женском вопросе. Роман Чернышевского был проникнут глубочайшим уважением к женщине. Во имя этого уважения Чернышевский требовал признания за нею права свободно располагать своею личностью. Чернышевский хотел, чтобы женщина была не рабою мужа и не прислужницей домашнего очага, а равноправным товарищем свободно избранного ею мужа. Поэтому, когда читатель встречается в статье Фета с упреками в проповеди безнравственности и разврата по адресу Чернышевского, ему невольно вспоминается остроумная эпиграмма, которой В. С. Курочкин на страницах «Искры» ответил критикам «Что делать?», еще ранее Фета выдвигавшим против этого романа аналогичный упрек:

Молодая жена!
Ты «Что делать?» взяла?
Эта книга полна
Всякой грязи и зла.
Брось зловредный роман:
В нем разврат и порок —
И поедем канкан
Танцовать в «Хуторок».

Не меньшим извращением действительных взглядов Чернышевского является оценка Пушкина, которую старается навязать ему Фет. «Пушкин — пошл»,— таков, по словам Фета, взгляд «Современника» на Пушкина. Надо ли говорить о том, насколько далека от действительных мнений Чернышевского такая оценка поэта? Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить рецензию, которой Чернышевский отозвался на анненковское издание сочинений Пушкина и в которой это издание расценивалось как событие, имеющее не только литературное, но и общественное значение.

Не Пушкин был пошл в глазах Чернышевского, а те люди, которые, подобно самому Фету, делали из Пушкина знамя реакции и превращали великого поэта в сторонника тупоумной теории «искусства для искусства».

Остается сказать несколько слов об отношении Фета и его соавтора Боткина к коммунизму и социализму. Классовая ненависть представителей господствующего класса к пролетарию, осмеливающемуся мечтать о признании за ним права на достойное человека существование, диктовала авторам соответствующие страницы их статьи. Самые бессмысленные и лживые обвинения, которые воздвигались против социализма и коммунизма их противниками, сконцентрированы на этих страницах. Бессильная злоба людей, цепляющихся за свои привилегии и не желающих расстаться с возможностью беззаботного существования на чужой счет, рельефно проявляющаяся в рассуждениях Фета и Боткина по этому вопросу, придает этим рассуждениям особый интерес. Такую откровенную защиту эгоистических интересов господствующих классов редко можно встретить в литературе.

Чем же объяснить тот на первый взгляд непонятный факт, что статья не появилась в журнале Каткова, который в 1863 г. принял уже вполне реакционный характер? Мы думаем, что это в первую голову объясняется чисто литературными недостатками рассматриваемой статьи. Она многословна, растянута, неярка, неубедительна, для широкого читателя просто утомительна, скучна и малоинтересна. С другой стороны, изобилуя цитатами из запретного романа, статья способна была дать агитационный материал вовсе не тем элементам, для которых она предназначалась, и вооружить не политических единомышленников автора, а его врагов, именно тех, кого он собирался обличать. Это, вероятно, живо почувствовали редакторы «Русского Вестника», а затем и редактор «Библиотеки для Чтения». Статья просто не заслуживала напечатания, как неудачная и не отвечавшая социальному заказу.

Эти технические недостатки статьи Фета, которых не могла перевесить глава, написанная Боткиным (сама по себе неубедительная и оборванная), должны были еще резче выступить на передний план два года спустя, когда острота полемики, возбужденная романом, естественно улеглась и когда снижение массовой революционной волны уже выяснилось для большинства. В этот момент слабость, неслаженность, топорность статьи Фета — Боткина еще сильнее бросались в глаза, и на принятие ее журналом, вдобавок не столь ярко политическим, как, например, тот же «Русский Вестник», уже имелось гораздо меньше шансов, чем в 1863 г. Авторы ее пропустили благоприятный момент, когда такая по существу совершенно слабая статья могла появиться, и, таким образом, она пролежала под спудом до наших дней, когда ее счел полезным опубликовать марксистский журнал, как любопытный документ, позволяющий заглянуть в лабораторию классовой борьбы эпохи хотя от нас и довольно далекой, но по роду своих конфликтов и характеру борющихся сил для нас интересной и памятной.

«ЧТО ДЕЛАТЬ?». ИЗ РАССКАЗОВ О НОВЫХ ЛЮДЯХ РОМАН Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

(«Современник» 1863 года за март, апрель и май)[1]

«Нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсацких типов» («Совр.» 63 года. Апрель, стр. 564).

«Русские священники, диаконы, причетники—представители православного пролетариата... У них нет собственности»... (там же).

«Все это порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же винить?» (там же, стр. 565)[2].

[ГЛАВА ПЕРВАЯ]

Судьбе угодно было заставить нас переживать один из знаменательнейших и интереснейших моментов в нашей народной жизни. Многие из форм этой жизни устарели и настоятельно требовали безотлагательной замены. Такое явление не только не ново, но повторяется в целой природе как коренной закон и непременное условие жизни.

Над чем же тут останавливаться, если все идет согласно вечному порядку вещей? Старое падает, новое образуется и восходит. Что же тут особенно знаменательного и исключительно интересного?

Интерес переживаемого нами периода не столько заключается в самих явлениях, несмотря на их громадность, сколько в причинах и форме этих явлений.

История природы, равно как и ход человеческих судеб приучили наблюдателя к двум формам, присущим всяким переворотам. Мы привыкли в каждой новой форме жизни видеть результат многих совокупных сил, тяготеющих к одному центру. Эту совокупную силу обстоятельств, часто совершенно независящую от воли человека, мы привыкли называть судьбою народов, в противуположность сознательному действию человека, имеющему главным источником его же собственный свободный дух. Последний образ действий называется служением идее, и если бы вызванные им явления в окончательных результатах и сошлись бы порожденными бессознательной силой вещей,— то это нисколько не уменьшило бы громадной разницы между одной и другой причиной известного переворота.

Это одна из форм, присущих переворотам, а вот и другая, вытекающая из первой. Природа не терпит скачков. Если бы весеннее солнце, вызывающее растения к новой жизни, не застало землю покрытую отжившими травами, то это же благодетельное светило иссушило бы землю и убило бы новые ростки при самом их появлении. Высокое древо христианства не вдруг покрыло Европу своею тенью, а в свою очередь выбивалось из умирающих терний язычества. Наше время, стараясь энергически освобождаться от пассивной покорности бессознательным силам вещей, выставило на своем знамени гордый девиз: *служение идее* и тем самым поставило себя в величайшую ответственность, какую когда-либо человеческий дух принимал на себя. Номад, зависящий от подножного корму, не имеет надобности спрашивать себя: *что делать?* Такой вопрос даже может показаться ему странным.—Как: *что делать?* Переходить с пастбища на пастбище и жить чем бог послал. Но человек окончательно убежденный в дальнейшей несостоятельности такого рода жизни и решившийся искоренить плугом все дико растущие растения, чтобы заменить их более питательными, вследствие одной этой решимости обязан сообразить тысячи вещей; прежний запас питательных ве-

ществ, свойства почвы и климата, время посева, доброкачественность семян и т. д., а главное при каждом искусственном возвращении, сеятель не должен забывать, что можно изменять одну форму ухода, отнюдь не касаясь его сущности.

Каждый живой организм имеет бесчисленное множество потребностей и способность развиваться, соответственно каждой из них, в ту или другую сторону. Дереву нужен и свет и тень и хорошее сообщение с корнем и простор для молодых побегов. Всеми этими способностями растения садовник вправе пользоваться для известных целей, то развязывая его шпалерой, то подстригая верхушку, то напротив подчищая нижние ветви, но если бы в пылу преобразований он вздумал пересадить весь сад вверх кореньями, то остался бы как крыловский —

«Философ без огурцов».

В устах законодателей и наставников народов фразы в роде: «ведь ревность — глупость» нисколько не лучше фразы: «корни, листья, сердцевина— глупость» — произносимой ботаником.

Но мы не будем забегать вперед. Мало ли бесспорных глупостей и нелепостей на свете, да не в нашей власти уничтожить их бесследно.

Мы хотели высказать перед читателем причины, побудившие нас выступить с разбором романа: Что делать? теперь, когда сила впечатления, произведенного им на известную часть публики уже значительно ослаблена временем [3]. Именно потому то мы и избрали этот роман темою нашей беседы. В период его появления условия нашей гласности были до того стеснительны, что исключая почти всякую возможность прямых и ясных указаний на явления, развивали только в известном кругу писателей искусство говорить шифрованной азбукой, от которой незатейливый ключ находился в руках всякого — кроме цензора. В настоящее время цензор сошел в ряды простых смертных—и виртуозность на языке глухонемых и умеющих, уступая место общепонятному слову — сошла со сцены. Перед нами полная возможность говорить и о романе и о целом направлении, которого он является ярким и единственно конкретным представителем. Нам дорога самая форма романа. Лишь эта форма несомненно и бесспорно указывает не только на то, что делать, но и на то, что делают люди известных убеждений [4]. Гораздо легче перетолковать целый трактат или ряд отвлеченных законоположений, чем отказаться от ряда совершившихся фактов. Пусть улыбнется читатель оптимист, укоряя нас в борьбе с призраками и ветряными мельницами. Да, отвечаем мы, все это призраки и марево, но нам легко было бы показать с очевидностью, до какой степени эти обманчивые призраки сбивают многих молодых, неопытных или не самостоятельных людей с толку, отвлекая их внимание и силы от существенных целей и занятий, им же имя легион. Правда, эти болезненные призраки, как блудящие огни, всего более заметны в местах темных, отдаленных от солнечного света, но мало ли у нас темных захолустьев? Кроме того эти призраки, появляясь беспрестанно на пути серьезных деятелей, отнимают у них время и силу на бесплодную с ними борьбу. Поверьте! не мало найдется и таких, которые выводят из подобострастно восторженных похвал роману: что делать с одной стороны, и из всеобщего о нем молчания с другой — заключение о неопровержимости породивших его положений и могуществе его доктрины. Роман Что делать дорог для нас уже потому, что автор его еще в то время понял всю бесплодность одних вечных отрицаний и невозможность остановиться на них. Он давно сознал, как стыдно свистать в эту старую, засусленную и загаженную дудку бесплодного отрицания. Человек делает гать на трясине,—а другой чистит трубу. Изобретите способ не намокнуть первому и не замараться последнему и вас причислят к благодетелям человечества. Но не восклицайте: зачем этот

Что делать? Из рассказов о новых людях. Роман Н. Г. Чернышевского. (Современник 1863 года за Март, Апрель и Май.)

„Нигде святость брака так не попирается, как в среде бурсацких типов" (Совр. 63 года Апрель стр. 564.)

„Русские священники, дьяконы, причетники — представители православного пролетариата. [illegible] собственности" (там же)

„Все это порождение [illegible] [illegible] [illegible]" (там же стр. 565)

[illegible]

СТАТЬЯ А. А. ФЕТА О РОМАНЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Толстовский музей, Москва

вымок, а этот в саже. Это и детям наскучит. Отвечать на подобные возгласы не менее стыдно, как и пробиваться ими. Вот где начинается наша личная благодарность г. Чернышевскому. Он вывел по крайней мере дело из области бесплодных, перед целым образованным и порядочным светом опозорившихся свистков и ругательств, на стезю положения. Он ясно указал что делать должно в интересах известной пропаганды. Он выставил нам идеал распространяемого им учения [5]. За это мы должны быть ему признательны. Дело другое, если на поверку выйдет, что по этому идеалу невозможно жить никакому в мире обществу. Решаясь высказать свои соображения по поводу этого идеала, мы оставляем окончательное решение вопроса на суд самого читателя. Если мы иногда позволим себе выставить имя автора, то лишь во избежание повторений, затмевающих предмет. Дело не в личности, а в доктрине. Высказываясь печатно, мы и не думаем заискивать у тех читателей, которых г. Чернышевский величает публикой и к которым относится так двуязычно: «Ты публика добра, очень добра, потому ты не разборчива и не догадлива. На тебя нельзя положиться — у тебя плохое чутье... Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий дает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и так зла, от чрезмерного количества чепухи в твоей голове» [6].

Вот на какой беззащитно тупоумный круг заранее рассчитывает пропаганда автора. Надо сознаться, что такой выбор адептов обличает человека «умеющего». Чем менее в известной среде дорогих, веками освященных преданий, знакомства с постепенным развитием человеческого общества и способностей к самобытному мышлению, тем благоприятнее такая среда к воспринятию всего незрелого, недодуманного, поверхностного и парадоксального. Тут некому задуматься о благе, правде или красоте, а достаточно чего-либо поновей, да почудней, чтобы составить вокруг себя самый голосистый хор одобрения. Тем не менее людям умеющим не следует забывать, что этот хор с такою же беззаботностью покидает свой недавний кумир, с какою толпа, теснившаяся на мосту поглазеть на проплывающие щепки, расходится с возгласами: «Эк дурачье лезли! Чему обрадовались?»

Относясь к своим, по его уверению, повсюду возникающим единомышленникам г. Чернышевский продолжает: «С тобою, с огромным большинством я лгал, но только с ним и только с ним я говорил до сих пор. С людьми, о которых я теперь упомянул, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами, но вас уже не мало и быстро становится все больше. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою,— потому мне еще нужно и уже можно писать» [7]. Обращаясь к читателю, автор прямо объявляет, что за ним стоит уже не мало и быстро становится все больше людей добрых, честных, сильных, а главное умеющих, при содействии которых ему уже можно писать, как он пишет.

Разделяя с нашим автором его доверие к людям «умеющим» в отношении их способности самобытно мыслить и предвидеть, куда они ведут толпу, мы все-таки не обратимся и к ним, хотя и по другим причинам. Мы не решимся оскорбить людей умеющих предположением, чтобы они способны были принять за идеал возможного карикатурную утопию, имевшую, как увидим ниже, и на западе временный успех только в самой темной

и неразвитой массе населения. В этом пункте мы, без сомнения, сошлись бы с умеющими.

Не можем забыть, как один из светильников quasi-нового учения, в нашем присутствии, на вопрос о судьбе детей в женско-мужских коммунах, ответил голосом полным убеждения: «Детей не предполагается» [8]. Мы убеждены, что подобная фраза, сказанная с самым глубокомысленным выражением лица, стоила бы и человеку умеющему усилий к подавлению закипающего смеха. Тут сила не в понимании дела, а в различии основных идеалов. Попробуй ко мы добродушно подойти к этим умеющим с девизами: Единство России, равенство перед законом без преднамеренного пригибания весов, в ту или другую сторону, уважение к серьезному труду, к серьезной науке, к строгому искусству, к чистоте нравов и т. д.— и увидим как нас примут умеющие. Нет, и на них плохая надежда. Для умеющих всякая нелепость хороша, лишь бы она служила известным целям.

Теленок не хочет итти с привольного и прохладного луга в темный и душный хлев. У бабы нет в руке лакомого куска хлеба, напоенного молоком. Но это не беда для умеющей. Она идет перед теленком, показывая ему пустую горсть — и вот он незаметно для самого себя очутился в западне. В этом-то и состоит умелость.

Если бы мы хотя на минуту усомнились в существовании людей, которым самостоятельность мысли и опыт не позволяют увлекаться химерами, если бы, скажем более, мы предполагали, что между людьми сильными не найдется ни одного способного дать отпор умеющим, то, считая всякое обращение к здравому смыслу делом несостоятельным, не сказали бы ни слова о романе Что делать?

Взяв в руки пресловутое сочинение и прочитав несколько строк, мы должны были согласиться с исповедью автора, в том месте предисловия, где он говорит: «У меня нет ни тени таланта. Я даже и языком-то владею плохо» [9]. Единомыслие наше с автором на этот счет возрастало с каждой новой страницей и с последней строкой романа достигло зенита. Скудность изобретения, положительное отсутствие творчества, беспрестанные повторения, преднамеренное кривлянье самого дурного тону и ко всему этому беспомощная корявость языка, превращают чтение романа в трудную, почти невыносимую работу. Но мы подумали: что делать? В качестве рецензента надо продолжать. Ведь продолжал же автор, отчасти сам сознававший эти недостатки. Следовательно была на то причина. Недаром он говорит: «Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика, прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей». Благодаря такому объяснению дело становится ясным. Сущность не в романе, не в творчестве, а в истине, в пропаганде.

Нет ничего труднее и бесплоднее разговоров с глухими о звуках, с слепыми о красках и т. п. Как вы уясните нигилисту превосходство тончайших стихов Пушкина [10] над бездарнейшими виршами? Чем доказать слепому, что теперь день, а не ночь?

Наша задача вывесть несомненные положения доктрины из романа: Что делать? с помощью самого романа. Но мы бы положительно отказались от такой задачи, видя перед собой художественное произведение. У истинных художников от Гомера и Эсхила, до Шекспира и Гете всякое лицо право пока оно говорит. Можно чувствовать, что любимцы поэтов Гектор, а не Ахиллес, Пелей, а не Менелай (в Андромахе), Цезарь, а не Брут, Фауст, а не Мефистофель, но как это доказать? Отсутствие чутья или недобросовестность возражающего могут поставить вас в безвыходное положение. При разборе романа: Что делать? подобных затруднений

не существует. «Современник» и К° давно приучили нас к своему взгляду на литературу. Мы знаем их презрение к искусству для искусства.[11] Следовательно в романе дело в содержании, а не в искусстве, которого по словам автора «тут нет и тени». Действительно, тут нет даже признака умения, зато умелость во всей силе.

Перед нами безразличная масса романа и в ней, по словам автора,— истина. Как же отделить эту истину от фабулы? — Не поможет ли заглавие: Что делать? (со знаком вопроса).

Что делать? Куда стремиться? Чего добиваться? Как жить? самый капитальный вопрос для последователей всякого учения.— Из разбросанных философских воззрений на жизнь, из разнородных порицаний тех или других существующих явлений трудно с точностью вывесть: что должно и чего не должно желать или делать. Никакие массы отрицаний не в силах исчерпать всего, чего не нужно делать, оставив в необъятной массе жизни оазисом — только желаемое. Тут безграничное поле для сомнений, противуречий и споров;—тут арена для расколу. Зато воспроизведение идеала (хотя бы и бездарное) в форме романа окончательно выводит из всяких сомнений и колебаний.

За вопросом что делать? как жить? следует роман и нам остается только подвести черту следствия и сказать: следовательно — надо делать то, что делают в романе люди, рекомендуемые симпатией автора и не делать того, что делают лица, над которыми тяготеет его презрение.

Открыть, комуз из своих героев сочувствует или не сочувствует наш автор — не трудно — он так щедр на похвалы и порицания. Отсутствие в авторе романа «и тени таланта» еще более облегчает дело. Все перипетии ведены к тому, чтобы любимый герой мог совершить такой, а не другой поступок. Нечего разбирать, возможен или невозможен известный поступок в данную минуту. Дело в том, чтобы выставить поступок, подчеркнуть его, и тем самым сказать: вот что делать. С другой стороны не симпатичные автору лица никакими признаками здравого смысла или добра не могут избегнуть позорных ярлыков: дурак и негодяй. При таких условиях к пониманию симпатий препятствий быть не может. Все психологические тонкости, пускаемые в ход романистом исчерпываются колебаниями признать то или другое состояние духа, вроде: «Она думала, что думает,— нет она не думала, что думает» или «ей казалось, что она хочет; — нет ей не казалось, а все-таки казалось» и т. д. Эти колебания немилосердно преследуют вас через весь роман.

Воплощая идеал, автор не довольствуется одним воспроизведеньем текущих событий. Он выставляет и отдаленнейшие мечты и сокровеннейшие надежды,— pia desideria школы. Для этого, на желаемом месте, действия героини Веры Павловны прерываются словами: «и снится Верочке сон». Такой метод раздвоения жизни и травли двух зайцев не нов. Он давно изобретен неспособностью к творчеству. С его помощию автор думает попасть в двойную цель. Во-первых, в очерках ночных грез высказать непосвященным, до поры до времени, тайные учения и золотые сны секты, а во-вторых, на случай изобличения в тройной нелепости, оставить за собой убежище под эгидой стиха: «Когда же складны сны бывают». Все это прекрасно. Лазейка устроена. Является новое соображение. Ну как в самом деле тупоумная публика примет сны Верочки за чисто художественную задачу, вроде сна Татьяны в Онегине? Тогда весь заряд пропадет даром, все значение романа погибнет и только обличит хвастовство автора, объявившего, что ему уже можно писать. Подобный казус мог бы затруднить проницательного читателя (он же изгоняется г. Чернышев-

ским за тупоумие, «в шею»), но автор не даром человек умеющий и сильный в психологии, основанной на: думала, не думала; казалось, не казалось; снилось, не снилось. Он подчеркивает галлюцинации Веры Павловны своими надеждами на скорое их воплощение, похвалами этим будущим явлениям и самому проницательному, т. е. тупоумному (и тут психология) читателю ясно, что сон не сон, а только грезы, заменяющие прямую пропаганду.

Заявив в себе отсутствие даже тени таланта, автор неожиданно продолжает: «впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта, и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений — с прославленными сочинениями твоих знаменитых писателей, ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! в нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет»[12]. Как согласить или только объяснить такое разноречие в заявлениях автора? «Ни тени художественности и все-таки больше художественности, чем в прославленных сочинениях наших знаменитых писателей»? Не слишком ли это много? Не слишком ли самонадеянна и смешна подобная претензия? или в самом деле у нас такой избыток талантливых писателей романистов? Попробуем счесть: Толстой, Тургенев, Писемский, Гончаров,— кто еще? Никого. Быть не может. Неужели нам автор хотел сказать, что и в этих немногих нет и тени таланта? Неужели, при своей сознательной бездарности он не способен даже видеть, что эти немногие выработали свой собственный колорит и слог, по которым, с нескольких строк, не окончательно тупому читателю легко узнать каждого из них. В то же время из приведенной выписки явно желание прицепиться к, униженным самим же автором, писателям на недоступную высоту, повторяя басню Крылова Орел и паук. Ведь не довольно для него помериться со второклассными,— чет давай непременно первоклассных. До очевидности ясно, что автор зол на первоклассных писателей не столько несмотря на их неотъемлемые достоинства, сколько именно в силу этих достоинств. К кому же с большею справедливостью могут относиться слова: «Ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове».

Повторяем: о личном таланте автора не стоило бы говорить. Но в романе «Что делать» каждая мысль, каждое слово — дидактика, каждая фраза выражает принцип. Этого нельзя пройти молчанием. Жалкие усилия паука подняться за орлом в настоящем случае — не слово, а дело. Они предназначаются стать в глазах неофитов примером великодушнейшего нахальства и великолепнейшей наглости, полагаемых в краеугольный камень доктрины. Дело не в истине и справедливости, а в адептах из среды тупой публики. Не даром у автора такое строгое различие: С людьми, которые вперед за него и для которых ему писать уже не нужно он скромен, даже робок, но с огромным большинством он нагл. Величающаяся наглость, охорашивающееся бесстыдство — догматы нового учения. Это катехизис, который говорит: «Вы желаете ничем незаслуженного успеха, блистательного торжества громкой галиматьи — будьте прежде всего наглы и не забывайте, что самому добродушному слепцу стоит выдать себя за очковую змею и самой близорукой бездарности нахально провозгласить себя публично человеком умнейшим — и успех несомненен. Вспомните как тупа публика».

Ограничимся такою передачею содержания романа, которая могла бы, при ссылках на действующие лица, напомнить читателю кто они такие и какое место занимают в рассказе.

На Гороховой между Садовой и Семеновским мостом многоэтажный дом, принадлежащий по наследству Михайле Ивановичу Сторешникову, воспитанному и живущему в богатстве, а потому неизбежно дурному и пошлому (очевидно гвардейскому) офицеру, а не его матери Анне Петровне, на тех же основаниях — злой и пошлой женщине. Зато в доме есть самая грязная лестница и на ней в 4-м этаже, в квартире направо, живет управляющий домом, Павел Константинович Розальский, с женой Марьей Алексеевной, с дочерью Верой Павловной (героиней) и 9-ти летним сыном Федей. Отец служащее ничтожество, сын акцессуар,— предлог для введения в дом учителя (героя романа), мать во время оно намеренно распутная, в настоящее время грубая драчунья, пьяная интриганка, не видящая, что творится у нее под носом, алчная ростовщица,— но взращенная нуждой и потому охотница до калачей, по пословице «нужда научит калачи есть» — и по тому самому у м н а я бессознательно прогрессивная натура, провозвестница н о в ы х   п о р я д к о в, главной целью которых не заработанные, а нагло из чужих рук вырванные калачи. Дочь — идеал того, ч т о   д е л а т ь? всем русским. Не даром родилась она на грязной лестнице. Воспитание Верочки самое идеальное.

Когда ей было 9 лет, Матрена кухарка растолковала ей, что у ее маменьки Марьи Алексеевны, за деньги, была принята в дом, для разрешения от бремени, богатая дама, муж которой, узнав об этом, приходил с полицией, да ни с чем и ушел. Когда ей пошел 11-й год, мать стала кричать: «отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки!» В 16 она перестала брать уроки в пансионе и у пьяного немца музыканта, а стала давать их сама. Матрена рассказала Верочке, что отец отдает ее за своего начальника, с орденом на шее. — Тут подвернулся хозяйский сын. Зайдя к управляющему, под предлогом обоев, требующих перемены, он стал ходить все чаще и однажды взял ложу в опере для матушки и дочки. Вечером он явился в их ложе со статским и военным (Сержем). Эти господа так бесцеремонно стали говорить по-французски при интересующей их девушке (сейчас видны богатые глупцы), что напугали ее окончательно и заставили уехать.

Марья Алексеевна — дама решительная. Она не отчаивается видеть в Сторешникове будущего зятя. «О чем говорили в театре? Коли не о свадьбе, так известно о чем. Да не на таковских напал. В мешке в церковь привезу, за виски вокруг налоя обведу, да еще рад будет» [13]. На другой день за ужином у Дюссо (слуга Simon), Сторешников начинает хвастать перед вчерашними товарищами победой над Верочкой, называя ее своей любовницей. Жан изобличает его во лжи. Завязывается пари на новый ужин, состоящее в том, чтобы Сторешников, в подтверждение своих слов, привез на ужин мнимую любовницу. Если не привезет, то изгоняется из драгоценного для него общества Жана и Сержа. Вся эта сцена возмущает нравственное чувство (кого бы вы думали?) m-elle Жюли—бывшей уличной потаскушки в Париже, а теперь живущей на содержании у богатого (следовательно глупого и неспособного) Сержа. Жюли догадывается о невинности Верочки и решается спасти ее от преследования Сторешникова. Между тем Сторешникову необходимо выиграть пари, т. е. хоть на минуту затащить Верочку на будущий ужин. План готов. Он пойдет спросить о здоровьи вчерашних дам и предложит Марье Алексеевне прокатиться с дочерью на тройке. Затем уговорит ее зайти в ресторан. Матери опиума в чашку — дальнейшее понятно. С этой целью Сторешников является к Розальским, получает согласие матери, но как только та отвернулась добродетельная

дочь делает ему реприманд на французско-нижегородском наречии и решительно отказывается от катанья. Но и французский язык плохая помощь там, где бессознательная прогрессистка мать для достижения своих целей готова ежеминутно задать непокорной дочери потасовку. Если в этом омуте не явится чистая душа — все пропало.— Не беспокойтесь. Чистая душа не дремлет. Она проснулась и потягиваясь с Сержем на постели — положила везти своего послушного (то-то простота!) обожателя в качестве переводчика к незнающей по-французски Марье Алексеевне.

«Та ли это Жюли, которую знает вся аристократическая молодежь Петербурга? Та ли это Жюли, которая отпускает штуки, заставляющие краснеть иных повес? Нет; это княгиня, до ушей которой не доносилось ни одно грубоватое слово» [14].— Согласись, здравомыслящий читатель, надо родиться на грязной лестнице, чтобы принять деву в роде Жюли за порядочную княгиню. Колыбель подобных девиц Париж и тебе не безызвестно, как неудержимо хохочут там все эти красавицы над наивным подобострастием, с каким некоторые русские предлагают им свой толстый кошелек. Парижане привыкшие отличать таких прелестниц между тысячами, несмотря на их пышные кринолины и блестящие экипажи, обращаются с ними далеко непочтительно, предоставляя подобострастные к ним отношения тем, для которых не только никогда невиданная княгиня, но и такая презренная игрушка минутной прихоти — все еще кажется высотою недоступной. Жюли пришла, увидела и победила Верочку и тихонько уговорила ее на свидание с нею Жюли в линии Гостиного двора, противоположной Невскому. Жюли не зовет Верочку к себе, чтобы не скомпрометировать ее, а Сторешникову пишет: «Вы теперь в большом затруднении; если хотите избавиться от него, будьте у меня в 7 часов. М. Ле-Теллье»*[15]. — Сторешников, боясь изгнанья из круга светской молодежи — за хвастовство — является на зов — и Жюли решается спасти его на условии молчания с его стороны. Это молчание спасет честь компрометированной им девушки.— Что то мудрено? Мудрено для нас с вами, а не для Жюли.— У таких барынь все просто. Она пишет Жану, чтобы он упросил Сторешникова отложить ужин, намекая на то, что Жан проиграл пари.— А отложить просит на том основании, что ей Жюли, председательнице пира — нельзя на этот раз быть на нем. — «Помилуйте! — восклицает здравомыслящий читатель,— ведь она хочет спасать скомпрометированную в глазах молодежи девушку, так как же она спасает ее, когда превращает их сомнение насчет щекотливого вопроса — в положительную уверенность в ее виновности? — Это по вашему, по простому, добрый читатель, но вы забыли психологию: «любить, не любить — компрометировать, не компрометировать» — идущую через весь роман. Чтобы не компрометировать девушку, Жюли ее окончательно скомпрометировала и тотчас же предлагает Сторешникову, за то, что он скомпрометировал Верочку, жениться на ней. «Вы боитесь скомпрометироваться этим браком. Не бойтесь, ваша жена с самой грязной лестницы — будет красавица — и доставит вам успех в высшем обществе». Жюли не даром кончила полный курс 5 франковой парижской chameau, она в темных переулках насмотрелась на большой свет и по собственному опыту знает чем там взять.— На другое утро Верочка выходит на условное свидание в Гостиный двор и Жюли не желая ее компрометировать (экая деликатная!) своим знакомством покупает ей густой вуаль и тут посвящает ее в свое деликатное и передовое воззрение на жизнь и отношение к мужчинам.

---

* В рукописи после записки Жюли раньше была фраза, позднее Фетом зачеркнутая: «Это пишет Жюли и ставит перед своей фамилией М., т. е. Мадам, воображая вероятно, что бывают и такие француженки, что сами себя величают Мадамами».

«Жизнь — проза и расчет»,— говорит она своей воспитаннице. «Лучшее положение в свете для женщины — положение актрис и танцовщиц, которые не подчиняются мужчинам в любви, а господствуют над ними; но еще лучше если со стороны общества есть формальное признание законности такого положения» [16]. — Практическое применение — выходи за дурака Сторешникова и властвуй. Верочка не соглашается поцеловать немилого — отдать руку гадкому и Жюли соглашаясь с нею — кричит ей: «беги, беги!». Между тем Сторешников (такой бедовый!) задумал делать то же, что по свидетельствам Юма, Гиббона, Ранке и Тьерри — делали целые народы.— Он толкался в одну сторону, добиваясь обладания управительской дочерью, а Жюли посоветовала ему толкнуться в другую — он и стал по примеру народов «поворачиваться направо кругом». Кажись, стыдно бы ему в этом случае брать пример с народов. Что народы? Неуки.— Автор нам открыл глаза даже в отношении к публике, которая чином выше народов. А народам все простительно даже пешком поворачивать направо кругом. Но ведь Сторешников — не народы — а обученный строевой офицер, который может поворачиваться только налево кругом, а никак не направо кругом.— Как бы то ни было он «стал думать на тему «жена», как прежде думал на тему «любовница» [17]. Додумавшись до настоящего, Сторешников отправился к Розальским просить руку дочери. Те разумеется в восторге и порешили так ли сяк ли выдать за него Верочку. Между тем кухарка Матрена разболтала в доме о сделанном предложении — и слух дошел до матери Сторешникова Анны Петровны, которая пришла в отчаяние (такая отсталая барыня!) и говорит сыну: «я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю!» — «Maman, это не принято нынче» [18], отвечает сын, как и следует отвечать светскому юноше из Палкина трактира [19], затем объявляет матери, что дом-то его, а не ее собственность. Мать падает в обморок и когда ее Мишель уходит, посылает за управителем. «Как вы смели? — Ваше Превосходительство — мы и не смеем» и т. д. Розальский отказывается, за что и получает от Сторешниковой подарки для Верочки. « — Ну что? спросила Марья Алексеевна входящего мужа». — «Отлично, матушка» — и рассказывает.— «Осел! подлец! убил! зарезал! Вот же тебе!» [20] — муж получил пощечину. « — Вот же тебе» — другая пощечина.— Входит Сторешников, объясняет Верочке, что жить без нее не может и просит хотя отсрочки ответа — в надежде заслужить благоприятный. На последнее Верочка соглашается. Сторешников возвратился домой с победою. Опять явился на сцену дом и опять Анне Петровне приходилось только падать в обморок: — «Так шло время. Жених делал подарки Верочке и ее оставляли в покое, глядели ей в глаза». Но с каждым днем могла разразиться гроза и у Верочки замирало сердце от тяжелого ожидания.

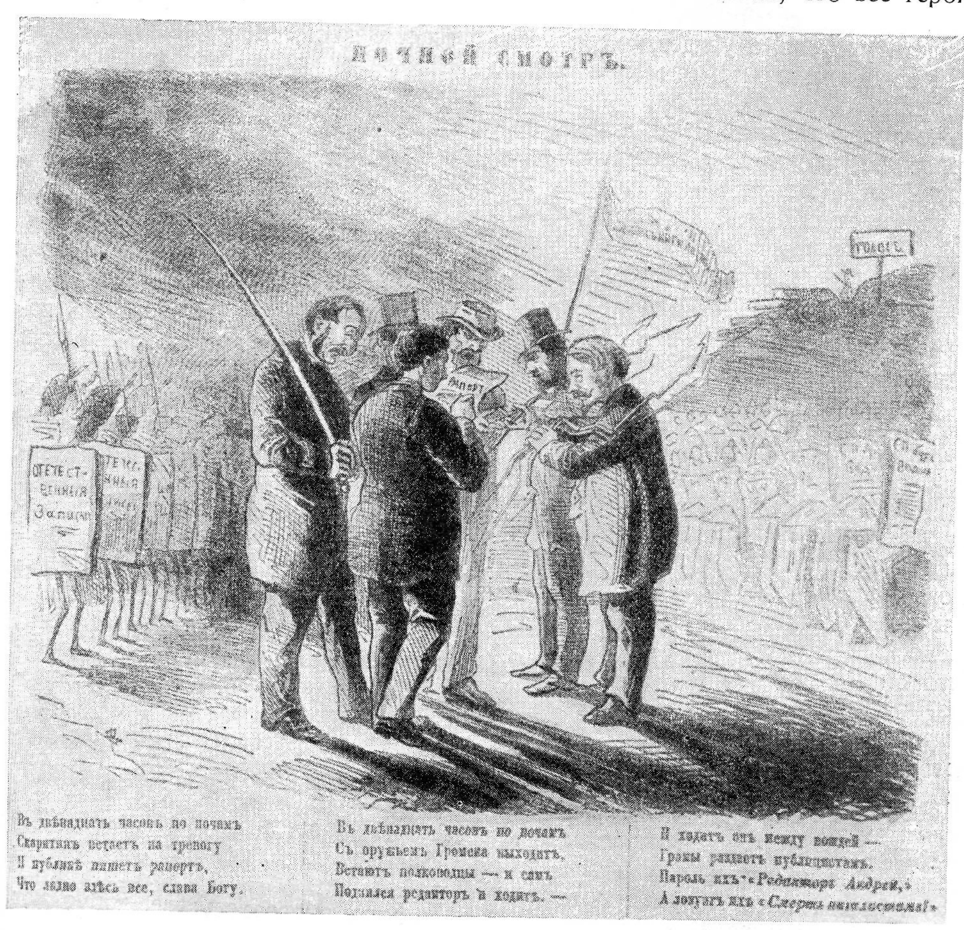
ГЛАВА ВТОРАЯ

Первая любовь и законный брак

«Число порядочных людей растет с каждым новым годом»,— говорит автор, а со временем «все люди — будут порядочные люди» [21]. Дай бог! говорим мы с своей стороны.— Отчего же с каждым новым годом все множатся журналы и литературные произведения дурного тону? Впрочем, о порядочных людях мы будем иметь случай поговорить, а теперь такое рассуждение понадобилось автору только для объяснения встречи главного героя Лопухова [22] с Верочкой. Розальские стали искать учителя подешевле для маленького брата Верочки Феди. Им рекомендовали медицинского студента Лопухова. Излишне говорить, что Лопухов прогрессист и по-

тому вместо уроков у него идут толки с Федей о ручках сестрицы — да о глупости ее жениха.

«Лопухов, точно, был студент, у которого голова была набита книгами»; — какими, это мы увидим из библиографических исследований Марьи Алексеевны. « — Он был сыном рязанского мещанина, а в настоящее время своекоштным студентом Медицинской академии и положительно знал, что будет ординатором в одном из петербургских военных госпиталей — и скоро получит кафедру в Академии». Замечательно, что все герои



КАРИКАТУРА НА РЕАКЦИОННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ 60-х гг. ИЗ «ИСКРЫ», 1862 г., № 44

указатели того, что делать — имеют тесную связь с Петербургской Медицинской академией[23], на которую автор возлагает свои блестящие надежды. «Было время когда Лопухов сильно нуждался: сидел без чаю и без сапог. Такое время очень благоприятно для кутежа не только со стороны готовности, но и со стороны возможности: пить дешевле, чем есть и одеваться»[24]. (В откупное время такому порядочному человеку как Лопухов нужно было не менее 20 копеек, чтобы налиться сивухой, а если бы он съедал 3 ф. хлеба, то это стоило бы не более 4½ коп. Таковы все расчеты автора, проверяемые действительностию.) — Бывало у него и много любовниц. Однажды Лопухов влюбился в заезжую актрису, написал к ней любовное письмо и назвавшись лакеем графа такого-то — был допущен и достиг цели.

Это первое самозванство заранее предвещало в нем человека умелого. Напрасно уничтожал он такое громадное количество лягушек — с товарищем и сожителем своим Кирсановым [25] — это ни к чему, его не повело Медицину он бросил бы не кончив курса; главная умелость его, как увидим состоит в ряде подлогов, на которых зиждется все его благосостояние.— Мы знаем теперь, что его товарищ и наперсник (герой № 2) Кирсанов*. Лопухов втирается в доверие Розальских и главное Верочки, а встретив однажды ее жениха Сторешникова вызывает следующую сцену

«Жених, сообразно своему мундиру и дому, почел нужным не просто увидеть учителя, а увидев, смерять его с головы до ног небрежным, медленным взглядом, принятым в хорошем обществе. Но едва он начал снимать мерку, как почувствовал, что учитель,— не то чтобы снимает тоже с него самого мерку, а даже хуже: смотрит ему прямо в глаза, да так прилежно, что вместо продолжения мерки жених сказал: «А трудная ваша часть, мсье Лопухов,— я говорю, докторская часть.— Да, трудная,» и все продолжает смотреть прямо в глаза.

Жених почувствовал, что левою рукою, неизвестно зачем, перебирает вторую и третью сверху пуговицы... значит было плохо.—«На вас если не ошибаюсь мундир такого-то полка?—и пошел расспрашивать его как ординарца. Скоро ли надеетесь получить роту? — Нет еще! — Гм... учитель почел достаточным и прекратил допрос, еще раз пристально посмотревши в глаза воображаемому ординарцу» [26].

А вы еще спрашиваете: что делать? Не нужно хлопотать о приобретении хотя бы малейших данных на общественное уважение. Это все вздор. Достаточно сказать себе: «я человек передовой» и затем нагло обращаться со всеми. Ведь все другие — тупая публика, где же им догадаться прогнать наглеца, они на то подобно Сторешникову вертятся в хорошем обществе, чтобы не суметь даже отвернуться от первого встречного нахала. Уж они такие — поверьте. Всему учились, сдавали экзамены — а все ничего не знают, а Лопухов, получавший 38 р. сер. в год и немогший брать танцмейстера — танцует и играет на фортепьяно. Вот, что он виртуоз по картежной части — понятно.— «А вы по какой играете? — спрашивает Лопухова Розальский.— По всякой». Где же так навострился Лопухов? «Академия на Выборгской стороне (по словам автора) классическое учреждение по части карт. Там не редкость, что в каком-нибудь нумере играют полтора суток сряду. Надобно признаться, что суммы, находящиеся в обороте на карточных столах там гораздо менее, чем в Английском клубе, но уровень искусства игроков выше. Сильно игрывал в свое — т. е. в безденежное, время и Лопухов» [27]. Во время танцев Лопухов объявляет Верочке, что у него уже есть невеста. — Каков хитрец! Розальские, узнав об этом обстоятельстве, допускают его до большего сближения с дочерью, а он и не думал о настоящей невесте. Невеста у него идеальная. Кто же такое? Наука? Как же станет он с такой дрянью связываться. Его невеста та дама, которая сильнее всех на свете и обещает уничтожить бедность.— «Сумеем же мы, говорит Лопухов, устроить жизнь так, что бедных не будет» [28]. Видите ли куда дело пошло? Тупоумная публика думает, что в свободной России, нуждающейся в рабочих руках — за исключением больных — нет непроизвольно бедных.— Публика думает: только иди работай и будешь по своему таланту и положению жить безбедно. Только не полагай непременным условием

---

* После слова «Кирсанов» в рукописи была фраза, позднее Фетом зачеркнутая: «Выбор фамилии напоминает нам одного из продолжателей «Горе от ума», имевшего привычку спрашивать своих слушателей: не помнят ли они, кто говорит этот стих, мой или Грибоедовский Чатский. Право у меня они так перемешались в голове, что я их не отличаю».

безбедности возможность валяться до 10 часов в мягкой постели и тут же в постели пить крепкий душистый чай с густыми сливками, которых больше чем чаю, да ездить в итальянскую оперу. Оттого то ты так тупа публика, что забрала себе всю эту чепуху в голову. Ты дай-ко всем твоим благополучием распорядиться гг. Чернышевским, Кирсановым да Лопуховым — они тебе в миг все устроют в наилучшем виде. Мгновенно потонешь по горло в кисельных берегах у сливочных струй, как о том гласят книги, которыми Лопухов перевоспитывает Верочку. Какие же это книги? — «Вот Марья Алексеевна взяла книги, принесла к Михаилу Ивановичу (Сторешникову).

— Посмотрите-ко Михаил Иванович, французскую-то я сама почти разобрала: «Гостиная» значит, самоучитель светского обращения, а немецкую-то не пойму. Нет, Марья Алексеевна, это не «Гостиная», это «Destinée» — судьба.

Какая ж это судьба? роман что ли так называется, али оракул, толкование снов?

А вот сейчас увидим, Марья Алексеевна, из самой книги.

Михаил Иванович перевернул несколько листов. Тут все о сериях больше говорится, Марья Алексеевна — ученая книга.

— О сериях? Это хорошо; значит, как денежные обороты вести?

— Да, все об этом, Марья Алексеевна» [29].

Как это все тонко, а главное правдоподобно!

Предположим что Сторешников не читал книги Виктора Консидерана [30] и не имел понятия о будущих рабочих сериях и гармонических отношениях между собою, о которых хлопочет автор. Но какими же судьбами он не перевел Марье Алексеевне заглавия книги, которую держал в руках. «Destinée sociale, exposition élémentaire complète de la théorie sociétaire», т. е. «Социальное предопределение (а не судьба), полное основное изложение социалистической теории». — Какими же судьбами после этого Сторешников мог принять эту книгу за биржевое руководство?

«Ну, а немецкая-то? продолжает пытливая Марья Алексеевна.

Михаил Иванович медленно прочел: «О религии, сочинение Людвига» — Людвига XIV, Марья Алексеевна, сочинение Людвига XIV; это был, Марья Алексеевна, французский король, отец тому королю [31], на место которого нынешний Наполеон сел».

Еще раз допустим, что Сторешников не знал атеистического сочинения Фейербаха [32], но уверения его, что автор книги есть Людовик XIV — отец Людовика Филиппа — другими словами уверения нашего автора, что гвардейский офицер Сторешников — никогда не слыхивал о революции, Наполеоне первом и взятии Москвы французами — не только клевета на гг. офицеров или простая голословная брань публики, это Геркулесовы столпы презрения ко всякому здравомыслию читателя.

Но мы кажется опять отклонились от главного вопроса: Что делать? Ясно, что должно делать всякому порядочному человеку: надо по всем направлениям тайно распространять даже между женщинами атеистические и социалистические книги — и все пойдет, как по маслу.—Лопухов не ограничивается доставлением таких книг — он приступает к изустной проповеди и развивает перед ученицей материалистическую теорию эгоизма.—Он говорит: «Совет всегда один: рассчитывайте, что для вас полезно; как скоро вы следуете этому совету — одобрение» [33] (как скоро такая конструкция — семинария). Рассуди здравомыслящий читатель: не есть ли подобная гоньба за нравственными побуждениями тупая и бесплодная игра в ничью?—Солдат при виде опасности угрожающей начальнику — бросается спасать его собственной смертию. По теории — он взвесил свою личную пользу. Не забудь, что теорию эту выстав-

ляют мнимые материалисты и не видят, что собака, неспособная к отвлеченным сравнениям пользы и вреда, бросается на втрое сильнейшего волка, чтобы дать время спастись человеку. Предположим даже, что вечной игрой в «любишь, не любишь» можно объяснить эгоизмом высокое самоотвержение матери и т. п.; чем дескать выше нравственное развитие, тем выше наши личные цели — тем выше эгоизм. И тут ежедневный опыт приводит к новым затруднениям. Мы видим развитых эгоистов, которым выгодно сжечь театр и не развитого мужика, которому выгодно сгореть на его крыше. Ясно, что теория эгоизма проповедуется не с философской точки зрения, а с практической. Раз что вы приняли как догму: расчет личной выгоды — вам безвозбранно отворяются все двери. Вы всю жизнь основали на подлогах и успеваете — вы правы — это вам выгодно, вы обокрали банк — выгодно, тайно из-за угла убили человека, который вам мешал — опять законная выгода.—Неудивительно, что после этих лекций, подслушанных пьяною, но умной (по свидетельству автора) интриганкою Марьей Алексеевной, Лопухов растет в ее глазах и она вступает с ним в ту нравственную солидарность, на которую с такою настойчивостию неоднократно напирает автор.— «Да» — говорит он,—Марья Алексеевна была права находя много родственного в себе с Лопуховым» [34]: — И что значит ученый человек: ведь вот я то же самое стану говорить ей — не слушает, обижается. Не могу на нее потрафить, потому что не умею по ученому говорить» [35]. Марья Алексеевна сейчас поняла, что Лопухов рассуждал о вещах в ее собственном духе. «Подобно ей он говорил, что все на свете делается для выгоды, что когда плут плутует, нечего тут приходить в азарт — что тот плут вовсе не напрасно плут, а таким ему и надобно быть по его обстоятельствам, что не быть ему плутом, не говоря уже о том, что это невозможно,— было бы нелепо, просто сказать глупо с его стороны» [36]. Напрасно еще непосвященная Верочка возражает: «Итак, эта теория, которую я не могу не допустить, обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную? — Нет, Вера Павловна, (продолжает Лопухов) эта теория холодна, но учит человека добывать тепло. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она — холодна, дрова холодны, но от них огонь» [37].— Не довольствуясь таким ясным языком Лопухова, автор заставляет его еще заочно обращаться к единомысленной Марье Алексеевне. «А как по вашему собственному признанию, Марья Алексеевна, новые порядки лучше прежних, то я и не запрещаю хлопотать о их заведении людям, которые находят себе в том удовольствие» [38].— И прекрасно г. Лопухов, предположим, что нам при всех этих явлениях нечего приходить в азарт, но и вам с Марьей Алексеевной в свою очередь нечего приходить в азарт, если мирные благомыслящие люди, которым заведение ваших порядков не доставляет удовольствия, станут сообща останавливать тех, которые суют продукты холодных спичек и коробочек туда, где бы им не следовало быть. Всякому свое. Мы совершенно согласны с вашим мнением насчет глупости народа, которая действительно помеха делу. И к чему, подумаешь, этот несносный народ в 70 миллионов тут замешался с своей неподатливостию. Не будь этой бездельной помехи дела Лопухова и Марьи Алексеевны пошли бы успешнее. Но Лопухов знает чем утешить своих близких. Он говорит, «что прежде и не было народу возможности научиться уму-разуму, а доставьте людям эту возможность, то, пожалуй, ведь они и воспользуются ею [39]. «А оправдывать Лопухова тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений в последнее время (а не во все времена?) так отлично зарекомендовали себя в глазах всех порядочных людей со стороны ума, да и со

стороны характера (валяй их в самом деле. Чего жалеть, коли рука расходилась?), что защищать кого-либо от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова — стало делом неприличным». Успокойтесь, Марья Алексеевна, дело идет вовсе не о вашем обращении ко мнению 70 миллионов, а просто о защите общества от вашей непрошеной опеки и смуты.— Мы еще недавно слышали мнение, высказанное правда юношей, касательно пользы подлогов, образующих и умножающих пролетариат, без которого революция не возможна [40]. (Подумаешь, как жаль!)

Нравственное воспитание Верочки, начатое уличной прелестницей Жюли — блистательно окончено Лопуховым. Теперь ей уже все нипочем. Она только станет отыскивать ей лично приятного. Теперь понятия: отец, мать, семейство и вообще о доме для нее уже пустые фразы. Ей приятно бежать из родительского дома. Но куда? В актрисы — Лопухов не советует. «Уж лучше, говорит, итти за вашего жениха.» — «Пойду в гувернантки,—говорит Верочка, — похлопочите, Дмитрий Сергеич, кроме вас некому».— «Размыслив о том, что подумают о девушке, о которой некому позаботиться, кроме как студенту, Лопухов уж конечно никак не мог выставить на объявлении своего адреса» и выставил адрес знакомого, имеющего «порядочную квартиру, хорошие семейные обстоятельства, почтенный вид». — Таким невинным подлогом он рассчитывал поймать на удочку «выгодные» для гувернантки условия, — а какую птицу получат наниматели за свои большие деньги — до этого разумеется нет дела. «По мере явления нанимающих — нужно порассмотреть каковы-то они сами, не показывая им гувернантку». (В жизни, вы сами знаете, всегда так бывает!). Эти побегушки под именем племянника гувернантки (новый невинный подлог) отнимают у Лопухова много времени и товарищ его Кирсанов ворчит на упущения в учебных занятиях. Пусть ворчит. Лопухов говорит уже: «Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем!

— Друг мой, сколько хлопот вам! Чем вознагражу вас?

— Да за что же, мой друг?

— Что с вами, мой друг?

— Ах боже мой, как я глуп, как я глуп! Простите меня, мой друг.

Суббота. После чаю Марья Алексеевна уходит считать белье.

— Мой друг, дело кажется устроится.

— Да? если так — ах боже мой, ах боже мой, скорее! Я, кажется, умру, если это еще продлится.

Нынче поутру Кирсанов.

— Знаю, несносный, несносный, знаю! говорите же скорее без этих глупостей.

— Сами мешаете, мой друг.

— Велю вам стать на колени на вашей квартире и чтобы ваш Кирсанов прислал мне записку, что вы стояли на коленях — видите, мой друг, ведь вы сами еще ничего не знаете нынче. Что же слушать? До свидания, мой друг!

— Да послушайте, мой друг... Друг мой, послушайте же» [41].

Не служит ли тебе, здравомыслящий читатель, эта милая игривость новым подтверждением аксиомы, что никакая наглость не в силах заменить не только таланта, но даже простых привычек хорошего тона (о котором так многократно и напрасно хлопочет наш автор).

— Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама? (нанимательница).

— В Галерной подле моста.

— Во сколько часов вы будете у нее?

— Она назначила в 12.

— С двенадцати буду на Конно-Гвардейском бульваре. На мне будет густой вуаль, в руке сверток нот.

Вот объяснения искомой г. Б. с Лопуховым:

«Вам может казаться странным, что я, при своей заботливости о детях, решилась кончить с вами, решилась кончить дело с вами, не видав ту, которая будет иметь такое близкое отношение к моим детям. Но я очень, очень хорошо знаю, из каких людей состоит ваш кружок. Я знаю, что если один из вас принимает такое дружеское участие в человеке, то этот человек должен быть р е д к о й н а х о д к о й для матери, желающей видеть свою дочь действительно хорошим человеком. Потому осмотр казался мне совершенно излишнею неделикатностию. Я говорю комплимент не вам, а себе» [42].

Давно бы так! Прямо бы сказала: не хвастайте вашею верою в абстрактную всесильную невесту. Я сама этой веры: — и все пошло бы к общему удовольствию. Да вот беда. Эта вера требует теории эгоизма. Не будь г. Б. такой эгоисткой, она бы не стала держать в тайне своей р е д к о й н а х о д к и и дала бы всему обществу (этой тупой публике) средства ею пользоваться. А то нет. Г-жа Б. молчит, а публика не знает, как легко найти редкую находку для матерей, желающих видеть дочерей действительно хорошими. Стоит только обратиться за рекомендацией б а р ы ш н и х о т ь к о д н о м у из студентов Медицинской академии и можно быть уверену, что они все знают ее с самой лучшей стороны — тут не нужно даже трудиться поджидать гувернантку на Конно-Гвардейском бульваре. Еще хуже то обстоятельство, что теория эгоизма оказывается вредной даже для того круга, из которого проповедуется.

Г-жа Б. узнав всю Верочкину обстановку по эгоизму приняла в соображение, что тупое общество, для ограждения своих очагов от вторжений Лопуховых и бульварных барышень придумало письменные виды и прочие глупые бумаги, без которых не дозволяется никого принимать в дом. Приняв все это в соображение эгоистка «г-жа Б. п л а к а л а», а взять-то Верочку все-таки не решилась. Впрочем объективный автор и н е о б в и н я е т е е з а э т о б е з у с л о в н о, хотя по теории обязан бы был изречь ей о д о б р е н и е. Не обвиняя ее прямо он рассуждает так:

«Разумеется, г-жа Б. не была права в том безусловном смысле, в каком правы люди, доказывающие ребятишкам, что месяца нельзя достать рукою» [43]. (А ребятишкам куда бы как хотелось достать его.) «При ее п о л о ж е н и и в о б щ е с т в е, при довольно важных должностных связях ее мужа, очень вероятно, даже несомненно, что если бы она уж непременно захотела, чтобы Верочка жила у нее, то Марья Алексеевна не могла бы ни вырвать Верочку из ее рук, ни сделать серьезных неприятностей, ни ей, ни ее мужу, который был бы о ф и ц и а л ь н ы м ответчиком по процессу и за которого она боялась. Но все-таки г-же Б. пришлось бы иметь довольно хлопот быть может и некоторые неприятные разговоры. Надобно было бы одолжаться по чужому делу людьми, услуги которых лучше приберечь для своих дел. Кто обязан и какой б л а г о р а з у м н ы й человек захочет поступать не так как г-жа Б., мы нисколько не в праве осуждать ее; да и Лопухов «не был не прав, отчаявшись за избавление Верочки».— Из этой небольшой тирады для здравомыслящего читателя ясно, ч т о д е л а т ь? Недаром автор ссылался на стоящих за ним людей с и л ь н ы х. Теперь он разъясняет на что они ему нужны. Эти сильные необходимы для того, чтобы своим влиянием парализировать власть закона, если он будет не в пользу людей у м е л ы х. Вот вам и ярые изобличения злоупотреблений власти. Как дело дошло до злоупотреблений в пользу н а ш у, а не в а ш у, так свищи на того, кто осмелится об них заикнуться.—Согласитесь, что эта н а г л о с т ь уж чересчур наивна.

Пока происходили все эти тщетные искания мест для беглянки-дочери, совершалось и ее духовное просветление и прозрение, выраженное, как мы уж говорили, у автора — рядом снов.

И снится Верочке сон:

«Что она заперта в сыром, темном подвале. И вдруг дверь отворилась в поле. «Как же это я могла не умереть в подвале? Это потому, что я не видала поля». А вот идет по полю девушка,— как странно! и лицо и походка — все меняется в ней; вот она англичанка, француженка, вот она уж немка, полячка, вот стала и русская, опять англичанка и т. д. какая странная! какая кроткая, какая сердитая! вот печальная, вот веселая,— все меняется, а все добрая,— как же это и когда сердитая, все добрая?» (Опять «любишь, не любишь»).— Коллективная женщина подходит к Верочке.— «Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом? — Была.— Теперь избавилась? — Да — Помни же, что еще много не выпущенных, много не вылеченных. Выпускай, лечи. Будешь? — Буду». — Другими словами Лопухов эмансипировал Верочку. Верочка эмансипирует всех женщин. «Ах как весело!» — Но все это только сон, а в действительности Верочка все еще тоскует у матери и от скуки мечтает о приятности асфиксированья. «Выбили окно и видят: я сижу у туалета и опустила голову на туалет, а лицо закрыла руками. Верочка? ты угорела? — а я молчу. Верочка, что ты молчишь?—Ах, да она удушилась!—Начинают кричать, плакать. Ах, как это будет смешно, что они будут плакать, и маменька станет рассказывать, как она меня любила» [44]. (А Марья Алексеевна действительно любила дочь, по свидетельству самого автора.) Какая нежная душа эта будущая эманситаторша женщины?! Не тревожьтесь, читатель: Верочка не удушилась, она пошла к обеду, за которым Лопухов до-пьяна напоил Марью Алексеевну, чтобы во время ее сна положительно объясниться с Верочкой. «Вы знаете, что я говорил: да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны.— Милый мой! ты видел, я плакала, когда ты вошел, это от радости.— А вот Верочка. В начале июля кончатся мои работы по Академии,— их надо кончить,— чтобы можно было нам жить». (А мы было в простоте сердца и поверили автору насчет бескорыстной любви к науке новейших Академистов.)

«Ах, (без ахов и без миленький положительная Верочка рта не раскроет) мой милый, нам будет очень, очень мало нужно. Но только я не хочу так: я не хочу жить на твои деньги.— Найду уроки.

— Кто это тебе сказал, мой милый друг Верочка?

— А ты думаешь я уж такая глупенькая, что не могу, как выражаются ваши книги, вывесть заключение из посылок?

— Да какое же заключение? Ты бог знает что говоришь, мой милый друг Верочка.

— Ах, хитрец! он хочет быть деспотом, хочет, чтобы я была его рабой! нет этого не будет, Дмитрий Сергеевич, понимаете?

— В вашей натуре, Вера Павловна, так мало женственности, что вероятно вы выскажете совершенно мужские мысли.

— Стало быть женские-то мысли никуда не годятся?

— Ах, мой милый, скажи: что это значит эта «женственность»? Ведь это глупость мой милый?

— Глупость, Верочка, и очень большая пошлость» [45].

Вот тебе и материалист! Вот тебе и натуралист!

Мы думали, что изучение природы состоит в наблюдении ее явлений,— и жестоко ошибались. Быть натуралистом значит пребывать в тупой слепоте перед ежедневными и повсеместными явлениями природы.— Воззри на петуха и курицу (оба куриной породы). Как он бодр и воинствен в своих золотистых косицах и острых шпорах. При одном виде такого молодца —

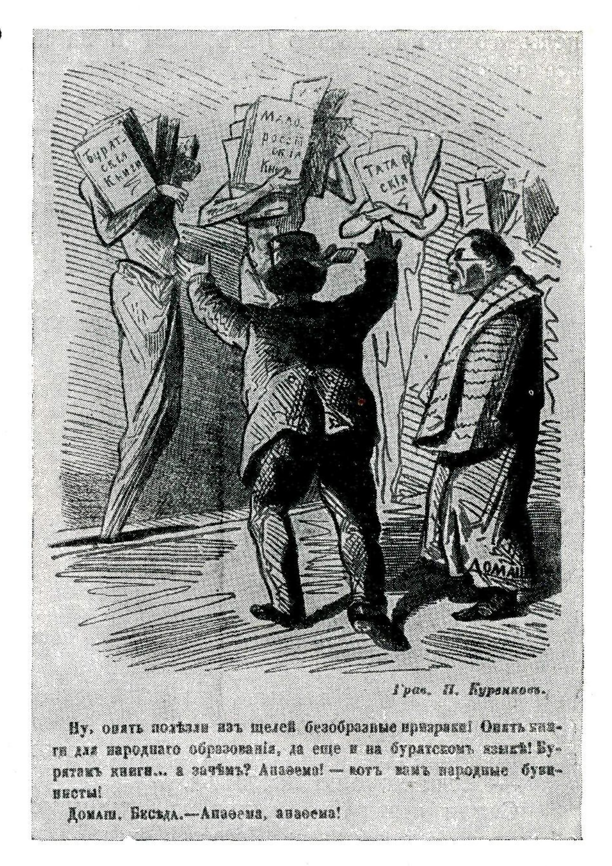
соседний петух приходит в злобу или в страх. Он по опыту знает, что эти шпоры не пустое украшение. Тут нельзя безнаказанно сунуться в чужое владение.—Молодец петух знает, что домовитым пестреньким курочкам некогда теперь разыскивать пищу. В воздухе плавает неслышный коршун, проносится острокрылый ястреб, жужжит балобан, да и неуклюжая ворона повадилась таскать цыплят. Курам теперь одна забота: привесть врага скорее в куст, да распустить крылья над скликнутыми птенцами.— Зато молодца-петуха никто не обидит. Подпахали огород и по бороздам он разыскал целый ряд земляных червей. Как гордо тряхнул он красным гребнем, и громко, в два толчка пустил свое: к о к, к о к. На знакомый призыв весь куриный народ бросился на добычу, а петух клюнул и как будто не его делу отошел рыться в сторону.— Что ему? Он везде себе найдет корму — он не курица.— Не даром простой народ считает худым предзнаменованием, когда курица запоет петухом.— Но этого никогда не бывает. Кричат иногда молодые петухи, которых трудно отличить от кур.— Вот вам мужественность и женственность в природе.— «Все это мы знаем без вас»,— восклицают прогрессисты естественники.— «Но все это б о л ь ш а я п о ш л о с т ь, которую мы переделаем. Вы предполагаете, что это трудненько. Это только потому, что вы не знакомы с нашими н о в ы м и к н и г а м и (для нас с тобой, здравомыслящий читатель,— с о с т а р о ю ч е п у х о й). Потому, продолжают эти господа, что вы не знаете сочинений нашего главы Фурье[46]. Прочтите-ка его космогонию и тогда увидите, что естествоведение не должно оставаться тем бесплодным балластом, которым мы теперь вынуждены набивать себе голову — для экзаменов (не к ночи будь они помянуты). Вот его слова «Знание системы природы было бы бесполезно, если бы оно нам не давало средств уничтожить существующее зло и заменить разделяющие явления, вредные творения п р о т и в у - с о з д а н и я м и (contre-moulés) и полезными слугами. Какая польза знать порядок, в котором звезды возникают в творении, знать, что в этих изменениях лошадь и осел созданы Сатурном, зебра и кватга Протеем, еще не открытым астрономией, но который тем не менее существует, потому что мы видим его произведения».

— «Помилуйте, господа,— восклицаем мы в свою очередь,— да смеем ли мы — после очевидного существования ослов на земле, хоть на минуту усумниться в существовании небесного Протея?»

— «В высшей степени важно (продолжает тот же мудрец) будет ли для нас искусство ввести планеты в новое творчество посредством п р о т и в у п о л о ж н о й р а б о т ы (travail contremoulé). Таким образом, планета породившая льва дала бы нам к а к п р о т и в у с о з д а н и е (contre-moule) превосходное и послушное четвероногое, эластического носильщика — А н т и - л ь в а, на котором ездок, выехавший утром из Кале или Брюсселя, будет завтракать в Париже, обедать в Лионе и ужинать в Марселе, утомясь гораздо менее за весь день, чем наш верховый курьер, потому что лошадь — тряский и первобытный (solipède) носильщик, который будет относиться к Анти-льву, как нерессорный экипаж к рессорному. — Приятно будет жить в мире, снабженном такими слугами (Еще бы!). Новые создания, осуществление которых можно видеть через п я т ь л е т (прошло уже 50), распространят такие богатства в о в с е х с т и х и я х. В воде, и на земле. Вместо к и т о в и а к у л появятся А н т и - к и т ы — возить корабли, во время затишья. А н т и - а к у л ы — помогать ловить рыбу. А н т и - г и п п о п о т а м ы — возить корабли по рекам. А н т и - к р о к о д и л ы — помощники на реках. А н т и - м о р с к и е с о б а к и — или морские бараны». (Traité d'association ч. 1. ст. 519.)

После таких блестящих успехов естествоведения, что же стоит этим господам заставить курицу петь петухом или выгнать ж е н с т в е н н о с т ь

КАРИКАТУРА НА РЕАКЦИОННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ 60-х гг.
ИЗ «ИСКРЫ», 1863 г., № 44



Грав. П. Куренковъ.

Ну, опять полѣзли изъ щелей безобразные призраки! Опять книги для народнаго образованія, да еще и на бурятскомъ языкѣ! Бурятамъ книги... а зачѣмъ? Анаѳема! — вотъ вамъ народные букинисты!

Домаш. Бесѣда.—Анаѳема, анаѳема!

из природы? Объявить ее очень большою пошлостью, да спихнуть на неоткрытую планету и делу конец!

Вот насчет целесообразности женского труда, наравне с мужским, как средство избегнуть мужского деспотизма,— еще можно поспорить с Верочкой.— Самый усиленный и тяжелый труд в этом случае плохая гарантия для женщин. Нам русским очень хорошо известно, что черкес ничего не делает, а все мужские работы лежат исключительно на женщинах, между тем не только отец, но даже сынишко, как только в силах держать палку в руках, бьет ею свою мать, которая видит в этом только должное. Не поискать ли гарантии в чем-либо другом в роде образования и взаимного уважения? А этого взаимного уважения не упрочишь детскими разделениями комнат между супругами, разделениями сочиненными Верочкой и ею же самой неоднократно нарушенными.

В таком созидании теории домашнего благополучия проходили беседы жениха и невесты.

«Так они поговорили,— странноватый разговор для первого разговора между женихом и невестой, и пожали друг другу руки — и пошел себе Лопухов домой — рассуждать, что: Недостаток денег отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло — какого рожна горячего мне еще нужно? А это у меня будет. Но женщине молоденькой, хорошенькой этого мало. Ей нужны удовольствия, нужен успех в обществе. А на это у ней не будет денег» [47]. Где ж ваше равенство, г. Лопухов, если одним хорошеньким это нужно? И откуда вы взяли, что каждой хорошенькой нужен успех в обществе? В каком это обществе? Если в том, где только локти

целы, то это общество не взыщет и на неблистательном костюме, а если все захотят блистательных, то их недостанет и тем, которые и по положению и по средствам имеют на них право. Вы г. Лопухов заработайте блестящие костюмы, коли они вам так необходимы, и будьте уверены, что даром вам никто ничего не даст. Даром ничего нельзя иметь кроме ваших Анти-львов,— какими на деле и являются жалкие хлыщи-онагры.

Свадьба отложена до окончания женихом курса. Но Верочка не может дождаться — худеет и плачет. Лопухов это видит и говорит сам с собою:

(«Гм, гм! Да! Гм! — Глаза нехороши. Она плакать не любит. Это не хорошо. Гм! Да!») — «Вторник.— Ах, мой миленький, я уж и дни считать перестала. Не проходят, вовсе не проходят».— «Верочка, мой дружочек, будь опять на той скамье, на Конно-гвардейском бульваре. Будешь?

— Буду, мой миленький, непременно буду.

— Пятница. — Верочка, ты куда это собираешься?

— Я, маменька? — Верочка покраснела (остаток большой пошлости), к Невскому проспекту, маменька.

— Так и я с тобой пойду.— Вот и лавка Рузанова.

— Маменька, я вам два слова скажу.

— Что с тобою, Верочка?

— До свидания, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Петровичем (Лопуховым) третьего дня повенчались» [48]. Затем берется извозчик, которому дается фальшивый адрес, до первого поворота. (Что значит сойтись с людьми умелыми.) Благодушный автор и не подозревает, что его герои ни шагу не делают без подлогов.— Но извозчик восклицает: «Ах! (В романе людей положительных все ахают) сударыня! обмануть меня изволили! Надо уж будет полтинничек положить».

— Если хорошо поедешь».

Самая «свадьба» устроилась не многочисленным, хоть и не совсем обыкновенным образом. Лопухов хмурил лоб над словами: кто повенчает? и все был один ответ: «никто не повенчает».— Имея, в этом случае, в виду, не говорим уже всю безнравственность, но даже криминальность акта венчания со стороны священника, здравомыслящий читатель готов заранее сказать вместе с Лопуховым: да, в Петербурге никто не повенчает. Если в бедной среде сельского духовенства могли попадаться экземпляры забубенных и алчных священников, решавшихся за большие деньги рисковать своим саном, то в Петербурге, между более обеспеченным и образованным духовенством нельзя предполагать охотников на такие дела.— Но умелый Лопухов мгновенно выведен из раздумья счастливой мыслию. Он вспомнил, что в Петербурге, несмотря на гарантии порядка и законности, гарантии, заключающиеся в довольстве и образовании — существует Медицинская академия.

«В Медицинской академии есть много людей всяких сортов (надо полагать!) есть, между прочим, и семинаристы; они имеют знакомства в Духовной академии, через них были в ней знакомства и у Лопухова. Один из знакомых ему студентов Духовной академии кончил курс год тому назад и был священником в каком-то здании с бесчисленными коридорами на Васильевском острове (как видите, военно-учебное заведение). Вот к нему-то и отправился Лопухов» [49].

«Мерцалов, сидевший дома один, читал какое-то новое сочинение — то ли Людвика XIV, то ли кого другого из той же династии [50] (словом— атеистическое). Назидательные чтения не бесплодны для Мерцалова. Он не только не прочь повенчать, ему этого даже «хотелось бы, да жаль попадьи». Но попадья сама вбегает и узнав в чем дело восклицает: «Алеша, ведь не съедят же тебя!—Рискни, Алеша, я тебя прошу».

— «Так разговор кончен. Когда хотите венчаться?»

«В понедельник поутру Лопухов объяснял Кирсанову, что не кончая курса, женится. Имея наличных 160 рублей, Лопухов надеялся найти уроки (мы видели какие), литературную работу (без таланта) занятия в какой-нибудь купеческой конторе—все равно».—Известно, что купеческие конторы преимущественно ищут для своих занятий вовсе неприготовленных к ним некончивших курса — мещан-проходимцев, зарекомендованных скандалезными историями.

В середу Лопухов и Верочка сошлись на бульваре.—«Через три дня верно найду квартиру и можно будет поселиться с тобою вместе?»—«Можно, голубчик мой, можно.»

— «Но ведь прежде надобно повенчаться».

— «Ах, я и забыла, миленький, надо повенчаться прежде.

Пойдем, миленький, повенчаемся».

Приехали, прошли по длинным коридорам к церкви, отыскали сторожа, послали к (тут же в корпусе живущему) Мерцалову.—«Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться?

— Да, мой миленький, только как это стыдно!»—(А бежать от матери, чтобы без венца жить со студентом не стыдно!) — «В половине службы пришла Наталья Андреевна или Наташа, как звал ее Алексей Петрович (Мерцалов) и просила зайти к ней, к завтраку: зашли, посмеялись, даже потанцовали две кадрили в 2 пары—(Кирсанов—шафер); даже вальсировали; Алексей Петрович, н е у м е в ш и й танцовать, играл им на скрыпке».[51]. Жаль, что только за неумением Мерцалова дело стало, а то бы и поп-атеист—прошелся к вящшему назиданию.

Следя за ходом романа, здравомыслящий читатель давно понял, какому сорту людей автор дает исключительное название—п о р я д о ч н ы х.—Вы спрашиваете: да какая же надобность атеисту итти в то звание и на ту службу, которая неминуемо должна превратить всю его жизнь в бесконечную ложь — и в тягостный для него же самого подлог?—Сейчас видно, что вы не читали польского революционного катехизиса[52]. Смотря на Россию как на здание, которое во что бы ни стало должно подорвать, это учение предписывает каждому адепту стараться завладевать самыми влиятельными местами. Известно, что разрывной снаряд только тогда действует со всей разрушительной силою, когда перед взрывом успеет вонзиться в свою цель. Мерцалов — атеист — нуль.— Но Мерцалов — корпусный законоучитель—почище всякой Девимовской пули[53] и даже шрапнелевской гранаты.—

Что ж Марья-то Алексеевна? Умелые люди загоде расчитали на ее безмолвие. «Никто не знал лучше Марьи Алексеевны, что дела ведутся деньгами и деньгами, а такие дела большими и большими деньгами и вытянув много денег—к о н ч а ю т с я с о в е р ш е н н о н и ч е м».[54]. Чего ж тут Мерцаловым то бояться.—Квартира отыскана в 5-й линии Васильострова. Молодые поселяются и автор, воздав Марье Алексеевне дань симпатии за ее здравый ум, расстается с нею навсегда.

Этим кончается I часть романа.

«Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из п о д в а л а. Дела Лопухова шли хорошо»[55]. У них две разных спальни, нейтральная столовая и один к другому не смеет входить неодетый[56]. Обычай старый между людьми богатыми и невозможный между бедными, получающими 80 р. в м е с я ц в П е т е р б у р г е. Однажды Лопухов возвратясь с урока нашел Верочку сияющей гордостию и радостию. Избавляем читателя от утомительных выписок всех неуклюжих сцен лакейских нежничаний наших героев.

«Мне давно хотелось что-нибудь делать. — Надо завести швейную. — Главное надо при выборе немногих рабочих, чтобы это были люди: «ч е с т-

ные, хорошие, не легкомысленные, не шаткие, настойчивые и вместе мягкие, чтобы от них не выходило пустых ссор и чтобы они умели выбирать других— так?»[57]. Какая подумаешь эта Верочка невзыскательная! Все приведенные качества так легко соединены в петербургской швее! хотя перед ними спасовали бы люди удостоенные Монтионовской премии [58].— «И надобно, чтобы девушки были хорошие мастерицы; ведь нужно, чтобы дело шло собственным достоинством, все должно быть основано на торговом расчете [59]. Не все же в самом деле бегать за людьми сильными да умелыми, как например за Сержем, содержателем Жюли, когда вышли недоразумения с частным приставом. Не даром мещанка, у которой живут Лопуховы, принимает блестящего Сержа за генерала и удивляется, что: наш-то, т. е. Лопухов, курит при генерале и развалился; да чего? папироска погасла, так он взял у генерала-то, да и закурил свою-то». — Эта, впрочем ничтожная, черта очень характерна у Лопуховых.—Благовоспитанный Серж (если только в этом случае поверить автору на слово), стоящий на ступенях общественного положения гораздо ближе ко всевозможным высокостоящим, чем Лопухов к его камердинеру, очень хорошо знает, где можно и где нельзя курить, да еще развалясь и потому не станет хвастать тем, что курит где ему можно, а неотесанных Лопуховых посади за какой хочешь стол, они сейчас же ноги на стол. Потому-то Лопуховы и видят молодечество в том, в чем Серж его и не подозревает. Видно Лопухов, прежде всех кухарок, чувствует свою браваду и хвастает ею. Это видите ли, игра в общественное положение.— Спрашивается, кого же тут обманывают Лопуховы, кухарок или благодушных генералов, которые на это не обращают внимания?— но уже никак не самих себя. Лопуховы слишком хорошо видят и чувствуют бездну, которая отделяет их от истинно порядочных людей, бездну, составляющую для них ежеминутный источник бессильной злобы и тех яростных галлюцинаций, которым разбираемый роман служит осязательным воплощением. Покровительница Верочки — Жюли — смотрит ее работу, одобряет ее и делает заказы, хотя и замечает, что хороший магазин должен помещаться на Невском.— «Это будет со временем»,— отвечает Верочка.

— А этот Сторешник (так называет Жюли Сторешникова) две недели кутит ужасно; но потом помирился с Аделью; только жаль, что Адель не имеет характера (т. е. не обдирает Сторешникова). И на мудреца бывает простота.—«Теперь m-lle Розальская уже дама и Жюли не нужно сдерживаться. Вошел Лопухов. Жюли обратилась в солидную светскую даму, исполненную строжайшего такта». Видите это любимая струна романиста. Жюли, попадья и Верочка не только женщины (к позору своего пола)—они еще непременно светские — да еще и дамы. Бедные дамы!—вы мало читающие по-русски и не подозреваете в какую милую попали компанию! «Дня через четыре, Жюли привезла к Лопуховым Сержа, сказав, что без этого нельзя: «Лопухов был у меня, ты должен сделать ему **визит**».

Очевидно выдумка Лопухова. Жюли не могла сказать такой галиматьи. У Лопуховых собирались гости — все больше молодежь, толковавшая с Мерцаловым и Кирсановым о Либихе [60] и о матерьях важных. «Дамы по временам и вслушивались в эти учености, а больше — больше, разумеется, не слушали, даже обрызгали водою Мерцалова и Лопухова, когда они уже очень восхитились минеральным удобрением» [61].— Хорошо еще, что водою!

«И вот Вера Павловна засыпает и снится ей сон».

«Поле и по нем ходит муж т. е. миленький и Мерцалов и миленький говорит: «вы спрашиваете, почему из одной грязи родится пшеница такая белая, а из другой не родится?» Оказывается, что одна грязь текучая, другая стоячая. — «Да движение есть реальность, потому что движение это жизнь,

а реальность и жизнь одно и то же.—Без движения нет реальности, потому это грязь ф а н т а с т и ч е с к а я, т. е. пошлая. А тут дренаж—и грязь реальная, здоровая» [62]. Верочка ничего не понимает и мы тоже. Но поп Мерцалов говорит: «давайте и г р а т ь, давайте и с п о в е д ы в а т ь с я».—Исповедь начинается с Мерцалова, который говорит: «Моя мать бедная дьячиха, держала семинаристов и работала. Р е а л ь н о е раздражение нерв чрезмерною работою было причиной тому, что она бивала нас».— Это реальная грязь.— Является Серж на исповедь. «Мой отец и мать, хотя и богатые, вечно хлопотали о деньгах; и богатые не свободные от таких же забот...»

«Не исповедуйтесь, Серж, говорит Мерцалов; мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном,— вот ваша почва — ф а н т а с т и ч е с к а я. Вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, не хуже и не глупее нас (какова честь!), а к чему вы пригодны, на что вы полезны?» — «Пригоден провожать Жюли повсюду, куда она берет меня с собою; полезен на то, чтобы Жюли могла кутить»,—отвечает Серж (в галлюцинациях Верочки). Бедняжка Серж ему вероятно пришлось, рискуя ежеминутно жизнью, очищать с эскадроном или ротой литовские леса от разбойников, но он решительно непригоден быть попом-атеистом и бесполезен в роли Лопухова-социалиста.—Для окончательного разъяснения реальной и фантастической грязи является во сне мать Верочки — пьяная Марья Алексеевна и уже неопровержимо доказывает, что она з л а не потому, что з л а, а потому что д о б р а и для того чтобы от нее злой родилась добрая д а м а Верочка.—Разве без злых нельзя? спрашивает Верочка.—«После будет можно, к о г д а н е н у ж н о б у д е т л ю д я м б ы т ь з л ы м и».—В конце сна Верочка запевает: donc vivons! [63] да так громко, что Лопухов б е з д о к л а д у входит в ее спальню—и тем нарушает общий уговор невмешательства.

Мастерская Веры Павловны устроилась и в конце месяца Верочка раздает швеям не только возвышенную против других швейных, условную плату, но и весь без остатку ч и с т ы й б а р ы ш, ничего не отлагая в запасный капитал, составляющий необходимую потребность всякого коммерческого предприятия. «Добрые и умные люди написали много книг, о том как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо; и тут главное, говорят они, в том, чтобы мастерские завести по новому порядку» [64].— В числе этих книг,— как видите, и роман ч т о д е л а т ь? — К а к д е л и т ь п р и б ы л ь? Вера Павловна довела до того, что делила ее « п о р о в н у м е ж д у в с е м и».

Главная закройщица и подогревальщица утюгов получали одинаковую долю.— Ах, Вера Павловна, и что это вы все читаете одни хорошие книги, вы хоть бы заглянули в какое-нибудь дрянное руководство политической экономии. Тогда бы познакомились вы со следующими бесхитростными соображениями: Как скоро, согласно желанию вашему, все швеи разойдутся по мастерским, то прибыль этих мастерских из необыкновенной—превратится в обыкновенную (ведь других не будет) и тотчас в силу закона предложения капиталов сравняется с прибылью всех других производств — следовательно понизится до того уровня, из которого вы теперь хлопочете вывести ваших швей. Какая же сумасшедшая добровольно станет добиваться долголетним трудом и вниманием знания закройщицы, которой даже при теперешнем порядке—по вашим же словам—очень тяжело,—если кроме того вы заставили ее разделять и без того скудную прибыль с беспомощными и мало полезными носительницами утюгов?—Но станет ли Верочка размышлять о таких пустяках?—Устроив швейную, она устроила и развлечения. «Бывали вечера, бывали загородные прогулки: сначала изредка, потом, когда было уже побольше денег, то и чаще; брали ложи в театре. На третью зиму было абонировано десять мест в боковых местах итальянской оперы» [65].— Так вот оно куда пошло? Вот где реальное-то, необходимое-то, о котором вы хлопочете? Как же другие швеи—искусные, целый день гнут спину, не помышляя об

итальянской опере, а ваш сброд все гуляет за городом, да по театрам и благоденствует? Куда ж девалась — трудовая, реальная грязь ваших снов Верочка? Или это были только несбыточные, праздничные сны до обеда и все повествуемое есть фантастическая, гнилая грязь,—неспособная производить белую пшеницу? Впрочем швейную нечего укорять за излишние и незаконные претензии, хозяйка заведения им живой пример неусыпной деятельности.—«Вера Павловна, проснувшись, долго нежится в постели; она любит нежиться, и немножко будто дремлет, и не дремлет, а думает, что надобно сделать. (В полудремоте то?) И так полежит, не дремлет и не думает—нет думает: (игра в любишь не любишь) «как тепло, мягко, хорошо, славно нежиться по утру».—А подумала ли она хоть раз — нежится ли кухарка, которая у подобной хозяйки пять раз должна доливать и разводить выкипающий и заглохший самовар?—Станет ли такая дама думать о такой дряни? Ей впору думать о спасении человечества, а если хоть одна кухарка завелась—души ее без милосердия.—«За утренним чаем Верочка пьет не столько чай, сколько сливки: чай только предлог для сливок, их больше половины чашки; сливки—это тоже ее страсть».—Вы видите Верочка нежится и пьет сливки, мало того умывается, пьет чай в постели»[66]. После обеда сидят еще с четверть часа с миленьким, «до свиданья» и расходятся по своим комнатам и Вера Павловна опять на свою кроватку и читает и нежится, частенько даже спит, даже очень часто, даже чуть ли не на половину дней спит час, полтора,—это слабость, и чуть ли даже не слабость дурного тона». Как эти Лопуховы хлопочат о хорошем тоне! Что у кого болит, тот про то и говорит. Но нельзя не отдать им справедливости в том, что они люди умелые. Подумайте: Верочка спит и пьет сливки, ничего не берет из прибыли швейной, ездит по гостям, а живут отлично, у них и Эрраровский рояль хорошего тона за 170 р. и швейная процветает.—Мы не обратили, здравомыслящий читатель! никакого внимания на эту фантастическую швейную, если бы не одно обстоятельство. Каждый основатель вольнонаемного ремесленного заведения имеет полное право раздавать всю прибыль рабочим и заводить порядки, кажущиеся ему наилучшими, с тем условием, чтобы эти порядки не вносили вредных элементов в общество. Если бы фантастическая швальня Верочки была не более, как галиматьей, то и бог с нею; но она главным образом народная школа. Какие же науки в ней преподаются? — «Алексей Петрович, сказала Вера Павловна, бывши однажды у Мерцаловых;—у меня есть к вам просьба. Наташа (попадья) уже на моей стороне. Моя мастерская становится лицеем всевозможных знаний. Будьте одним из профессоров.

— Что ж я стану им преподавать? разве латинский и греческий, или логику и реторику? сказал смеясь Мерцалов; ведь моя специальность (закон божий) не очень интересна, по вашему мнению и еще по мнению одного человека, (Лопухова), про которого я знаю, кто он (атеист).

— Нет вы необходимы именно как специалист: вы будете служить щитом благонравия и отличного направления наших наук.

— А ведь это правда (говорит Мерцалов). Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте кафедру.

— Например, русская история, очерки из всеобщей истории»[67]. (Известно, какую социалистическую дичь можно проповедывать под этими вывесками).—Но Мерцалов еще осторожней:

Превосходно! восклицает он. Но это я буду читать, а будет предполагаться, что я специалист. (Правительству скажут, что он законоучитель). «Отлично (продолжает он). Две должности профессор и щит». Мы с вами были убеждены в простоте сердечной, что законоучители военно-учебных заведений щиты от атеизма и социализма, но автор открывает нам

глаза (если это только не невинная клевета?), что там законоучители щиты атеизма — от закона божия. — Это действительно новые порядки!!

После таких диковинок — читатель вероятно извинит нас, что мы, в избежание длиннот, избавляем себя от труда охоты за мелкою дичью, попадающейся на каждом шагу — реальной грязи романа.

«Внешняя обстановка Кирсанова была довольно хороша. Он уже имел кафедру».—Верочка живет и блаженствует с мужем.—Но.—Но труднее всего в романе понять и пересказать это но. Говорится много и хитро о людях честных и сильных, а на поверку во всем романе герои выходят людьми необузданными и слабыми. С первых пор женитьбы Лопухова на Верочке Кирсанов совершенно от них отстал.—Верочка, хотя и не называет мужа иначе, как идиллическим эпитетом рублевой горничной: «миленьким», заметно скучает с этим «миленьким».—Миленький на этот грех заболел и посылает за Кирсановым. Кирсанов сидит у больного и сидит у Верочки, которой на вопрос ее, отчего он их забыл, говорит какой-то вздор. Тут как раз в руку третий сон Верочки [68].

И снится Верочке сон:

«Что наговорясь с «миленьким» она в своей постеле читает и думает: «что это в последнее время стало мне несколько скучно иногда? или это не скучно, а так? да, это не скучно... А через этого Кирсанова я пропустила Травиату—это ужасно! я бы каждый вечер была в театре, если б каждый вечер была опера [69].—Так говорит Верочка, которая хлопочет о реальной грязи в отмену грязи фантастической. Ей видите и всем швеям, да чего тут церемониться, всем мужикам необходима каждый день итальянская опера. Это реальная грязь, на которой порастет белая пшеница. «А когда же это Бозио [70] успела выучиться по-русски? Но какие же смелые слова и откуда она выкопала такие пошлые стишки? да, она должно быть училась по той же грамматике, по которой я: только они приведены в пример для расстановки знаков препинания; как это глупо приводить в грамматике такие стихи, и хоть бы стихи то были не так пошлы; но нечего думать о стихах, надобно, слушать, как она поет:—

Час наслажденья
Лови, лови;
Младые лета
Отдай любви [71]

«Какие смешные слова»: и младые и лета с неверным ударением!»— Видишь ли, здравомыслящий читатель: тут уже устами Верочкина сна говорит «Современник» [72]. Пушкин — пошл. Мы-де не уважаем никого, никакого авторитета. Пушкин признанный всем коллективным умом России за гения — не более как пошл.—С виду этот нигилизм только одна из вечных ступеней человеческого мышления — это дескать от латинского слова nihil — ничто и не более как стремление не принимать ничего на веру, не подвергнув критике. Вот и автор наш — ничего не принимает на веру, у него везде нигилизм, сомнение, скептицизм: дремала, не дремала, любишь, не любишь. Он так добросовестен, что и самые факты передает сомнительными красками. Что же дурного в скептицизме? Вы все принимаете на веру, а «Современник» во всем сомневается. И вы правы, и он прав. Это было бы действительно ни хорошо ни худо, если бы он сомневался во всем решительно. Тогда можно бы его направление отнести к одному из миллионных разветвлений вечно колюблющегося человеческого духа, ну хоть к вертящимся дервишам. Но он играет в любишь, не любишь только официально,—в известных для его целей неинтересных, случаях, а в делах для него нужных его пушками не собьешь на нигилизм [73]. Он кидает например грязью

в Пушкина вовсе не за то, что Пушкин талант, нет, ему приятно в лице Пушкина хватить во всякий авторитет. — Мы-де никого не уважаем. Он и власть да не для нас и мы приучим и других так смотреть—дорого начало.— Повторяем: стоило ли бы враждовать против мнения и вкуса «Современника» касательно Пушкина. Благо и сам «Современник» не более как старый фрак попавший на спину новейших его издателей с барского Пушкинского плеча. А известно, что для камердинеров нет великих людей. Но если бы камердинеры вместо того, чтобы пускать в мелочных лавочках пыль в глаза, что мы-де все науки произошли, действительно знали, хотя одну науку основательно, им было бы известно, что нет и не может быть науки—для устройства жизни, всякая наука существует, чтобы не говорили постыдного вздору, в роде того, который Верочка бормочет во сне. Если бы, вместо тупой галиматьи об Анти-львах — Верочка прочла русскую грамматику, то она бы узнала, что м л а д о й есть усеченная форма от м о л о д о й и что лета два. Одно л е т о, т. е. год от рождества Христова, а другое л е т о одно из времен года. Первое в винительном множественном имеет лета̀, а другое имеет лѐта. Затем, если бы Верочка, не говорим уже о знакомстве с классиками,— прочла только какую-нибудь грошевую пиитику, то узнала бы, что поэты дали себе вечное право — употреблять pars pro tota — часть вместо целого корма — вместо корабля, зима,— лето, вместо года и т. д. и мы не были бы в нашем рассказе задержаны невероятной чепухой. Бозио приснившись Верочке ясно показывает ей, что она не любит своего миленького — Лопухова,— а любит кого-то другого *.

Кого же ищет Верочка? «Да ты не любишь его» говорит Бозио и Верочка проснулась, вскочила и босиком бежит к мужу, через н е й т р а л ь н ы е комнаты («их теперь уже две») и все устройство невмешательства опять разрушено. — Читатель видит, что мы подходим к концу любовных отношений героини к Лопухову — и к началу подобных же к Кирсанову. Позволим себе на прощании сказать о первых два слова. Изо всей хитрой и аляповатой постройки этих отношений мы видим только, что автор не имеет никакого понятия о чувстве истинной любви. Желая изобразить взаимность двух передовых любящихся он не мог найти ни одной истинно человеческой струны в их отношениях. Это не любовь, а какая-то химера, высиженная тупым, фальшивым и резонерским представлением.—Лопухов, которому Верочка передает содержание сна — мотает его себе на ус.—«А Кирсанов совершенно счастлив. Трудновата была борьба на этот раз, но зато и сколько внутреннего удовольствия доставляла она ему, и это удовольствие не пройдет вместе с нею, а будет греть его грудь долго, до конца жизни. О н ч е с т е н. Да. С о н с б л и з и л и х» [74]. Как вам нравится эта тирада? Весь роман написан, как увидим далее, на тэму, что нет ничего бесчестного отбивать жену у самого близкого человека. Что совестливость в таком деле не есть честность, а непростительная глупость: — и вдруг подобная тирада, в которой истина заговорила устами младенца.—Вот и выходит:

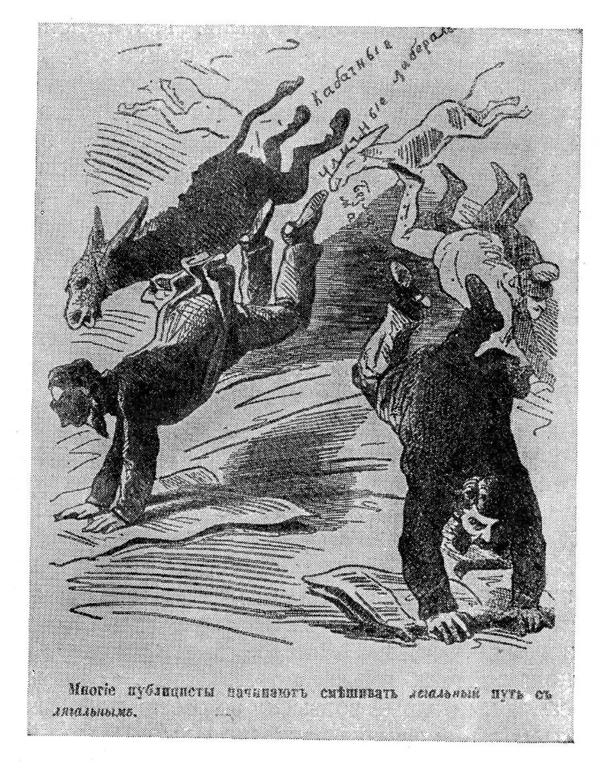
«Гони природу в дверь, она влетит в окно».

Придумали метод питания посредством втирания, но поставили пред систематиком пирог, а он его в рот. На что, кажется, Кирсанов нигилист, реалист и главное эгоист. У него все основано на расчете. Ему плевое дело откинуть в организме целого самостоятельного фактора например чувство. На что оно? Прочь его коли оно не нравится нигилистам. Кирсанов недаром

* Дальше в рукописи была фраза, позднее Фетом зачеркнутая: «Короче сказать Верочка переживает пафос лакейской песни:

Плачет девченочка, всю ночь она не спит
И не знает как своему горю пособить,
С ней такого горя сроду не бывало:
Двух мужей ей нету, а одного мало».

занимался вивисекциями, он хорошо знает, что животное продолжает жить и с вырезанной селезенкой, но долго ли. Это другой вопрос — поживет. И вдруг этот Кирсанов говорит: в своем деле мудрено различить, насколько рассудок обольщается софизмами влечения (явилось влечение), потому что честность говорит: поступай наперекор влечению, тогда у тебя больше шансов, что ты поступишь благородно». Куда же девалась теория ощущений и теория эгоизма, которую вы, г. Кирсанов, проповедуете? Видно автор по теории эгоизма немного прихвастнул, сравнив себя с лучшими нашими романистами, у которых характеры ясно создаются в голове—но такое хвастовство решительно безвредно и настолько же невинно, как рассказы Ивана Александровича Хлестакова о сочинении им Юрия Милославского.—Желая ярче обособить двух друзей автор предлагает следующие их характеристики: Лопухов сын мещанина, Кирсанов сын писца. Лопухов часто ел мясо во щах, Кирсанов редко. (Вот первое право на превосходство). Лопухов учился без учителя тем способом по-французски, каким Кирсанов по-немецки, зато Кирсанов учился тем же методом по-французски, каким Лопухов по-немецки. В жизни и в нравственном направлении разница между ними еще возрастает.—«Какой человек был Лопухов?—Вот какой: шел он в оборванном мундире (в период своего пьянства) по Каменно-Островскому проспекту (с урока в 50 к. сер.). Идет ему навстречу некто осанистый, моцион делает, да, как осанистый прямо на него, не сторонится; а у Лопухова было в то время правило: кроме женщин, ни перед кем первый не сторонюсь». (—Видите ли какой гордый искатель случая пострадать за убеждения и попасть на съезжую.) На улице никого не было, чтобы вступиться за прохожего и Лопухов его в грязную канаву.—Выпачканный осанистый наконец встал и пошел и никому не жаловался на нахала студента, а Лопухов уже и тогда разделял мнение Кирсанова насчет пощечин: «Мы не признаем, что пощечина имеет в себе что-нибудь бесчестящее,



Многіе публицисты начинаютъ смѣшивать *легальный* путь съ *лягальнымъ.*

КАРИКАТУРА НА РЕАКЦИОННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ 60-х гг.
ИЗ «ИСКРЫ», 1864 г., № 32

это глупый предрассудок, вредный предрассудок» [75].— Итак валяй всех по зубам, а дадут самому пощечину—что ж? А платок то на что?—утерся и ступай опять философствовать.—Вот с Кирсановым не было такого случая, а был другой.—Некая дама, у которой некие бывали на посылках (так тонко, что и не видно!) вздумала, что надо составить каталог в ее библиотеке. Кирсанов взялся за дело за 80 р. сер. Вдруг дама говорит: «не трудитесь больше, я раздумала, а вот вам» — и подает 10 р. Я ваше... сделал больше половины работы.—«Вы находите, что я вас обидела в деньгах? Nicolas,—переговори с господином».—Влетел Nicolas «—Как ты смеешь грубить maman?»—«Да ты молокосос,—воскликнул Кирсанов (человеку старше себя),—выслушал бы прежде». «Люди! крикнул Nicolas».—«Ах, люди? Вот я тебе покажу людей!» и уже одна рука Кирсанова притиснула к себе Nicolas, а другая дернув его за вихор схватила за горло.—Кирсанов крикнул людям: «стой, а не то я задушу его» и прошедши через толпу прислуги до последней ступени лестницы толкнул от себя Nicolas и пошел покупать фуражку, взамен оставшейся в доме. Если на Лопухова не жаловались, то кто же посмел бы жаловаться на Кирсанова или преследовать его по улице?—Но главное нравоучение — порядочные люди в роде Лопуховых, как видно из двух примеров, не должны жаловаться на несправедливость, напротив должны сами выдумывать какое-либо нахальство и первого непокоряющегося их выдумке бесчестить пощечиной, в которой нет ничего обесчещивающего.— Господи! да когда же мы наконец выйдем из этой дикой чепухи—и добравшись до конца романа крикнем: берег, берег!

Делать нечего, возвращаемся к рассказу! Обыкновенные порядочные люди, подметив в себе страсть к жене друга, не говорят о своей неслыханной честности и силе, а просто избегают встречи с предметом страсти и заглушают это чувство размышлениями о всем безобразии ее последствий. Но наши герои — герои только на словах, а на деле не только Лопухов, но и Кирсанов только безнравственный слабец. Иногда у героев как бы невольно вырываются здравые суждения. Так, например, «Вера Павловна любила доказывать, что мастерская идет сама собою, но в сущности знала, что только обольщает себя этою мыслию, а на самом деле мастерской необходима руководительница, иначе все развалится». Эти слова кажутся здравомыслящими. Но на наших героев здравомыслие находит временное, не оставляя ни малейшего следа в обычном течении суждений и поступков. В желтом доме такие явления ежедневны.—Верочка, несмотря на собственное сознание — основала швейную и завела по такому же образцу другую—единственно с целию доказать возможность самостоятельного существования таких заведений, независимо от антрепренера.—Кирсанов основавший систему жизни на расчете (ума?) вдруг в беседе с Лопуховым изрекает следующее: «Но то, что делается по расчету, по чувству долга, (как будто это одно и то же?), по усилию воли, а не по влечению натуры, выходит безжизненно. Только убивать можно этим средством, а делать живое — нельзя» [76].— Но вперед, вперед моя исторья!» Лопухов, увидав любовь Верочки к Кирсанову, предлагает ей — пригласить Кирсанова жить с ними. «Ведь ты знаешь как я смотрю на это». Верочка, поняв, к чему дело клонится—не соглашается и—тоскует. Лопухов, которому, в свою очередь, надоела жена, отправляется доказывать влюбленному Кирсанову, что его долг взять Верочку в любовницы. Кирсанов, разделяющий подобную философию, которая ему в настоящем случае, с руки, по остатку глупых предрассудков все еще не поддается. Здесь мы пропускаем совершенно не идущий к ходу романа эпизод. Рассказ Крюковой [77], заключающийся в том, что когда она еще по ночам бегала пьяная по Невскому, то насильно ворвалась к студенту Кирсанову, который возвысил ее своею любовью до высшего просветления чистоты (sic!)—«лучшее развлечение (от) мыслей — работа, думает Верочка: буду

проводить целый день в мастерской» [78] — но ведь это слова, а на деле Верочка продолжает пить сливки, и благодарить мужа за усиленный труд.— «Ведь это все, я знаю, для меня. Как я тебя люблю»,—и теория равенства труда и коммерческой независимости — забыта.

Однако главное дело: передача жены с рук на руки Кирсанову — все-таки плохо подвигается. Напрасно честный Лопухов прибегает к обычному своему средству лжи и силится представить жене сожительство с Кирсановым необходимым только со стороны коммерческой. Дешевле будет жить. — «Я мог бы вовсе бросить эти проклятые уроки, которые противны мне, — говорит он, — и усерднее заняться в заводской конторе, которая не надоела, потому что это дает влияние на народ целого завода и Лопухов успевает кое-что там делать» [79]. После таких наивных признаний в добросовестном исполнении должности домашнего учителя и не менее наивных замыслов против нравственности целых заводов, — неудивительно, что гг. заводчики берут к себе управляющими только людей основательно рекомендованных и так ревниво охраняют свои заведения от вторжений проходимцев — в роде Лопуховых, Кирсановых и Рахметовых.—О последнем мы еще ничего не сказали, но и до него дойдет очередь. Кирсанов вполне согласен с Лопуховым, что по нравственному принципу их учения чужая жена должна для сохраненья человеческого достоинства жить с первым приглянувшимся посторонним человеком, но что, к несчастию, время на это не пришло. Теперь, пожалуй, по глупости общества, женщина будет скомпрометирована подобным актом. Как же устроить дело, так, чтобы и волки были сыты и овцы целы? т. е. чтобы и жену свести с приятелем и чтобы общество— — —Но ведь общество, в котором живут Лопуховы, начиная с Мерцаловых, зарукоплещет такому поступку!? Какое вам дело! Лопухов не хочет, чтобы m-me Лопухова-Кирсанова была скандалезной сагой высшего круга. Разве он не имеет права так далеко распространять свои попечения? Но как же быть? Что делать? На такой вопрос у истинно честных людей один ответ. Рассчитай что тебе лично выгодней и затем приступай к ряду обманов и подлогов и если поступишь так — одобрение. — Начитанный Лопухов вспомнил как в одном из романов Ж. Занда [80] герой Жак сходит в подобном случае со сцены. Чтобы развязать жену, Ж. Занд заставляет Жака броситься в пропасть, т. е. умереть; и вышел любящий, да еще и дурак. Но Лопухов эгоист и не дурак, умирать за надоевшую жену. — Он говорит жене, что едет по делам завода в Рязань и Москву, возвращается в петербургский трактир железной дороги и, оставя на столе записку, для полиции, что он самоубийца, выстреливает ночью на мосту из пистолета в фуражку, которую и бросает тут же в доказательство своей смерти, а сам бежит за границу. — Этой эффектной сценой начинается роман, с целию, как объясняет автор, забрать публику в руки. Эпизод носит заглавие: «Дурак»! а на поверку выходит, что дурак-то сильно себе на уме. Полиция засвидетельствует верочкино вдовство и только от ее воли будет зависеть выйти за Кирсанова, а публика—молчи. А чтобы неутешная вдова не слишком сокрушалась, Лопухов извещает ее через Рахметова, что его самоубийство не более как шутка и что он Лопухов жив и здоров, чего и ей жене своей желает так же как мужу ее законному Кирсанову.—С поручениями уговорить Верочку на брак от живого мужа,— является к ней Рахметов [81].

«Ну, — думает проницательный читатель, — теперь Рахметов заткнет за пояс всех и Верочка в него влюбится, и вот снова начнется с Кирсановым та же история, какая была с Лопуховым. Ничего этого не будет». Кто же и что же такое — этот Рахметов.— О! О! У! У! — Говорите о нем потише.

У автора при одном имени его захватывает дыхание от преданности и уважения. Не даром он озаглавил свой о нем рассказ словами: Особенный человек. «Если, говорит он, вас удивляют личности в роде Лопуховых, Кирсановых, то что бы вы сказали о Рахметове, если бы мне про него можно было все рассказать».— Жаль, что нельзя! — Интересно было знать, на какие чудеса способен этот особенный Рахметов, после легкого абриса профиля, предлагаемого автором на суд публики. Таких людей немного, сам автор сознается, что в жизни встретил только восемь таких (в том числе двух женщин). Интересно было бы хоть мельком взглянуть на последние два экземпляра, да куда нам с вами, проницательный читатель!

Наши «глаза», по уверению автора, не так устроены, чтобы видеть таких людей: их видят только честные и смелые глаза, а для того и служит описание такого человека, чтобы мы хоть по наслышке знали какие люди есть на свете. — «Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, т. е. одной из древнейших в Европе. Отец его генерал-лейтенант оставил тысячи 2½ душ, и 8 человек детей. Наш Рахметов получил около 400 душ и 7 000 десятин земли. Поступив в Петербургский университет он еще был обыкновенным добрым честным юношею, но узнал, что есть между студентами особенно умные головы, думающие не так, как другие, и сблизился с пятью такими людьми— тогда их было еще мало. (А теперь слава богу — урожай!) Ему случилось сойтись с Кирсановым и началось его перерождение в особенного человека. В качестве необыкновенного человека он, разумеется, бросил учение со 2-го курса и ринулся в действительную жизнь. Как он распорядился с душами и 5 500 десятинами — не было никому известно, не было известно и то, что он оставил себе 1 500 десятин, которые отдавал в аренду за 3 000 р., а не за 400, как думали знакомые. Вышел из 2-го курса 16 лет он поехал в имение, где, не смотря на сопротивление опекуна, так распорядился, что заслужил анафему от братьев и достиг, что мужья запретили его сестрам произносить его имя. Устроившись таким образом, он пустился по России пешком, на расшивах и все устроивал сам себе приключенья. Он был атлетического сложения и товарищи прозвали его Никитушкой Ломовым в честь одного силача-бурлака. Был он пахарем, плотником, перевозчиком и даже прошел бурлаком всю Волгу от Дубровки до Рыбинска. Рахметов принял боксерскую диету и кормил себя исключительно сырым бифштексом. «Задатки хорошие, но он развил их в положительную систему, которой держался неуклонно. Он сказал себе: я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщинам. А натура кипучая. Зачем это? Так нужно. Мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, — не по пристрастию, а по принципу, не по личной надобности, а по убеждению. — То, что ест по временам простой народ и я могу есть — говорит Рахметов — и ел апельсины, в городе, но не в деревне, а паштеты везде, потому что иной паштет хуже пирога, но сардинок не ел. — Спал на войлоке, даже не разрешая себе свернуть его вдвое. Была у него одна «гнусная слабость» — хорошие сигары. — Вот как было дело при посещении Рахметовым г-на Чернышевского, о котором автор сам рассказывает. Пришел Рахметов склонять автора на какое-то хорошее дело (истинно — змей—соблазнитель — очковая змея!)— Рахметов говорит: «надобно». — Г. Чернышевский говорит: «нет». Рахметов говорит: «вы обязаны». Г. Чернышевский говорит: «нисколько».—Через полчаса Рахметов сказал: «ясно, что продолжать бесполезно. — Ведь вы убеждены, что я человек, заслуживающий безусловного доверия? Да мне сказали это все, и я сам теперь вижу. — И вы все таки г. Чернышевский остаетесь при своем?»—«Остаюсь».—«Знаете вы,—продолжает Рахметов,— что из этого следует? — То, что вы г. Чернышевский или лжец или

дрянь!» (стр. 495). Вот как должно убеждать! В известном кругу дружба имеет разные фазисы: она бывает на ты и на врешь. Рахметов прямо со 2-го курса вступает во второй фазис и как особенный человек дает ему и особенное развитие.

Герой героев Рахметов не мог оставаться без любовного приключения. Вот как оно у него разыгралось. У лесного института он остановил за заднюю ось шарабан 19-летней богатой вдовы, которую несла лошадь. Вдова спасена, но Рахметов расшиб грудь и колесом вырвало порядочный кусок мяса из ноги. Дама приказала отнести его к себе на дачу, и когда он поправился, то смекнув по платью, что он беден—предложила ему руку и сердце. (Деликатная дама!). Но и Рахметов не менее деликатен. Откровенно высказав хозяйке свои планы, он дал ей понять, что в виду ежеминутных недоразумений с полицией — он не имеет права связывать чью-либо судьбу с своею. — «Да, это правда, — сказала она, — вы не можете жениться». — «Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня». Какие все развязные дамы попадаются этим героям! Иной несчастный сутки целые гранит петербургские мостовые и все монирует да пленирует по выражению Г. Островского, боясь встречи с ночными красавицами Невского.— И не подозревает что тут-то самая чистота-то и сидит. «Нет и этого не могу *принять* — *сказал Рахметов.* — *Любовь связала бы мне руки, они и так у* меня связаны. — Но развяжу». — Вот страсти то пойдут!

За год перед окончательным исчезновением из Петербурга (с тех пор только Петербург и вздохнул) Рахметов сказал Кирсанову: дайте мне мази для заживления ран от острых орудий. На другое утро хозяйка Рахметова прибежала к Кирсанову с воплем: «батюшка, лекарь! не знаю что с моим жильцом. Заперся, я заглянула в щель, а он лежит в крови, — и оказалась вещь, от которой и не Аграфена могла развести руками: спина и бока всего белья были облиты кровью, под кроватью была кровь, войлок, на котором Рахметов спал тоже в крови. В войлоке были натыканы сотни мелких гвоздей, шляпками вниз, остриями вверх, они высовывались из войлока чуть не на полвершка. Рахметов лежал на них ночь. «Что такое, помилуйте, Рахметов?» — «Проба. Нужно. На всякий случай нужно. Вижу, могу».— Не кажется ли тебе, здравомыслящий читатель,— подобная предусмотрительность — крайней бесполезной нелепостью? Какие преследователи тычут в наше время гвозди в живых людей? А если Рахметов чувствует, что кончит не добром, то чем ему помогут гвозди? На то он и человек особенный, чтобы делать вещи непонятные. Он и выведен в романе, по признанию самого автора, только для масштаба. Он мерило нравственной высоты. Без него читатели, в простоте сердечной, слепоте, могли бы счесть Лопухова и Кирсанова за выродков, но теперь они увидят, что Лопухов и Кирсанов не выше обыкновенного уровня теперешней молодежи и что этой молодежи для достижения высоты Рахметова — еще долго нужно вникать в то, — что делать? — Чем же необыкновенным — особенным отличается Рахметов от обыкновенных людей своей клики? До сих пор мы видим только в нем больше нелепой, но для общества безвредной экзальтации, чем в других. Какая беда, что он роздал 5 500 десятин, кому хотел, таскал лямку и спал на гвоздях? — Это только цветики, а про ягодки автор, по собственному признанию, и знает да молчит. Впрочем это вечная метода всех иерофантов показывать на пустой мешок и говорить: вот тут вся мудрость-то и сила. Я только не хочу его развязать, а вот первое апреля в 12 часов развяжу — так вы все ахнете! Сколько бы близорукие, поверхностные и убогие люди не кричали о каких-то результатах науки (подумаешь, что науки с своими результатами все еще в таинственных руках мемфисских жрецов) и сколько бы они себя не истязали—наука и общественная жизнь вечно будут итти своим неторопливым историческим ходом. Ни мировая ни человеческая

жизнь не знают беспричинных сальтомортале й и долго еще курица не запоет петухом, а европейские женщины не отойдут от нежно любимых ими домашних очагов. Да и в России уничтожение крепостного права волей—неволей оторвав наших женщин от фантастических утопий — приведет к подобным же мирным занятиям. Зато и нелепости Рахметовых не останутся без последствий. Сколько горячих и поздних слез выжмут они из тех глазок, которые когда-то сверкали радостию — прочитывая благородные наставления и поучения в лицах героев романа «Что делать?». С какими, однако, наставлениями явился Рахметов к Верочке?[82] Как систематик Рахметов начал с того, что закатил Верочке 2 рюмки хересу, а затем показал письмо Лопухова, в котором тот поручает ее урокам Рахметова и извещает о своем здоровьи. Из этого Рахметов выводит, что Верочке сокрушаться не о чем. Но как от душевного спокойствия до сближения с Кирсановым еще далеко. — Рахметов приступает ко второй части убеждений. Проповедник религии эгоизма — он укоряет Лопухова в эгоизме. (Пойми кто может!) Он доказывает, что Лопухов, смотревший просвещенными глазами на брак и супружеские отношения, т. е. всегда считавший их за ничто не развивал этого воззрения в жене — только вследствие гнусного эгоизма, находившего такой акт несогласным с его интересами. — «Вот мотив, — говорит он, — по которому Лопухов оставил вас неподготовленною и подверг стольким страданиям. Как вам это нравится!»

— «Это неправда, Рахметов, он не скрывал от меня своего образа мыслей».

— «Конечно, Вера Павловна. Он не мешал развитию в вас подобных мыслей, — это было бы уж прямо бесчестным делом. Он человек хороший, но прежде чем возникло дело, он поступал с вами дурно. Как допустил он в вас мысль, что это огорчит его? Это глупо. Что за ревности такие?».

— Вы не признаете ревности, Рахметов?

— В развитом человеке ей не следует быть. Это исхоженное чувство, фальшивое, гнусное чувство, это то же что недозволение мною носить моего белья, курить из моего мундштука — взгляд на человека как на вещь». — «Но вы проповедуете полную безнравственность, Рахметов!».

— «Вам так кажется после четырех лет жизни с ним? Вот в этом-то он и виноват. Отчего он вас и себя не подготовил смотреть на все это как на чистый вздор, из-за которого не стоит выпить лишний [него] стакан [кана] чаю.— Отчего бы вам не жить тогда же втроем с Кирсановым и все пошло бы само собою».

— «Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи!

— «Опять «ужасные вещи!» Для меня ужасны мученья из-за пустяков и катастрофы из-за вздора. — Выпейте еще рюмку хереса и ложитесь спать».

Но ведь ревность, г. Рахметов, замечаем мы с своей стороны, не есть исключительный продукт брака — ревнуют и к друзьям и к местам и к талантам (ставя себя без малейшего основания рядом с первоклассными) к любовницам и даже самым грязным искательницам приключений? Вы говорите — да, ревнуют люди неразвитые. Но эти неразвитые составляют весь старый, средний и новый свет, что указывает на ревность, как на вечно присущего нравственного двигателя. — «Положим, — отвечает Рахметов, — но и лошадь была вечно присущим другом человека — однако мы уже заменили ее анти-львом; отчего же нам не заменить и ревность благодушным свальным трехом. — Но ведь тогда не будет ни семейства, ни отцовских забот о детях? — Тем лучше! Это все галиматья и глупость. Все общество надо насильно перестроить и через тираническую диктатуру привести к

блаженству, помимо его желаний, (хотя в романе и говорится, что никого не осчастливливать против его желаний).

Здесь на рубеже 2-й части романа, мы навсегда расстаемся с Рахметовым — в надежде изложить в конце нашего разбора хотя в кратком очерке основные положения доктрины, которой следуют наши герои. Без этого бенгальского огня безумья трудно выйти из мрачной бездны картавых противоречий вольных и невольных заиканий нашего романиста.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Успокоив сомнения жены, Лопухов не оставляет ее и из-за границы своей нравственной поддержкой. Для этого он вступает с Верочкой в переписку под именем отставного студента медицины. Хотя в сущности в этой переписке нет ничего нового, касательно воззрений на брачные отношения, но мы приведем из них некоторые не совсем бесцветные куриозы. Лопухов, оправдывая свое преступное бездействие в деле развития жены, говорит: «Но человек до последней крайности старается сохранить положение, с которым сжился; в основной глубине нашей природы (безделица!) лежит консервативный элемент, от которого мы отступаем только по необходимости» [83]. — Далее он говорит, что в браке легче всего впасть в ошибку насчет сходства или несходства характеров — и что он (Лопухов) в свою очередь ошибся, — но что легко исправлять подобные ошибки частыми менками. Не переделывать же характера? «Ведь переделка характера, во всяком случае, насилование, ломка; а в ломке многое теряется, от насилования многое замирает». — Итак постепенная добросовестная работа над собою двух людей, давших клятву жертвовать всем для взаимного блага и для блага детей есть ломка, от которой многое замирает (например бесстыдство) а насильственная ломка элементов, лежащих, в основной глубине нашей природы, — не есть ломка. Сам Рахметов не признает этого ломкой. Потолковав о любви к жене, Лопухов продолжает: «когда я увидел, что в жене не одно искание любви, а сама любовь к человеку, могущему ей вполне заменить меня — и который страстно любит ее, — я чрезвычайно обрадовался. — «Я уехал из Петербурга на другой день после того, как вы узнали о погибели Дмитрия Сергеевича (Лопухова). По особенному случаю, я не имел в руках документов и мне пришлось взять чужие бумаги, которыми обязательно снабдил меня один из общих знакомых ваших и моих. Он дал мне их с тем условием, чтобы я исполнил некоторые его поручения по дороге. Когда увидите Рахметова, скажите, что все исполнено. У меня есть несколько сотен рублей и мне хочется погулять, не знаю где. По этому делайте следующий адрес: Berlin, Friedrichstrasse 20, Agentur von H. Schweigler и под конвертом другой конверт с цифрами 12345: — агентство Швейглера передаст письмо мне». А вы еще спрашиваете Что делать?

Все одно и то же. Ложь, обманы, подлоги [84] — ибо теперь еще нужно и уже можно всякого рода проходимцам беспрепятственно получать фальшивые паспорты. Вот и простая разгадка тайных комитетов, существованием которых изумлен был мир. — На этом месте любезный автор — завтракающий — затыкает всякому догадывающемуся, что письма студента — суть письма Лопухова — рот салфеткой. Но так как догадаться было нетрудно и мы беседуем с читателем не изустно, а рук нам связать не пришло в голову, то мы и продолжаем. —

Письма и увещания наконец приносят пользу. Верочка отвечает совершенно разумно, что напрасно Лопухов бегал за границу, что дело можно

бы уладить проще. Она пишет: «Если муж живет вместе с женою, этого довольно, чтобы общество не делало скандала жене, в каких бы отношениях ни была она к другому. Это уж большой успех».

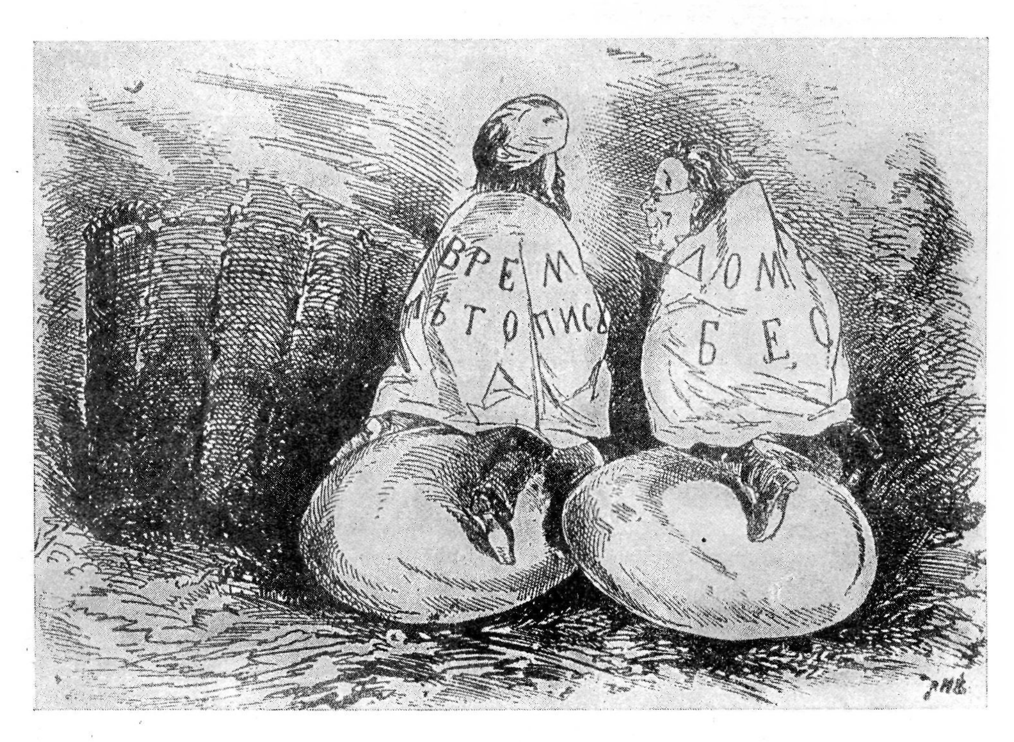
Как же не успех! Ведь общество только и думает о том, как бы ему ворваться со скандалом в семейство Лопухово-Кирсановой. — Как будто общество не знает о существованьи в каждом городе — различных увеселительных заведений? Что же оно до сих пор не врывается туда с своими нравоучениями? — «Когда я после отъезда твоего, — продолжает Верочка, — поехала в Москву, то Александр (Кирсанов) и Рахметов были правы, что Александру не следовало ни являться ко мне, ни провожать меня. Но мне уже не нужно было ехать до Москвы, нужно было только удалиться из Петербурга и я остановилась в Новгороде. Через несколько дней туда приехал Александр, привез документы о погибели Дмитрия Сергеича, мы повенчались через неделю после этой погибели и прожили с месяц на железной дороге в Чудове, чтобы Александру было удобно ездить в свой госпиталь. Обнимаю вас, милый друг, ваша Вера Кирсанова» [85].

Следует приписка нового мужа к старому. «Жму твою руку, мой милый.—Мы с тобой несколько стесняемся (вот что неразвитость то значит!), но в следующий раз уже надеюсь рассуждать с тобой свободно и напишу тебе груду здешних новостей. Твой Александр Кирсанов».

Ну что вы скажете, здравомыслящий читатель? Вы смеетесь? Вы душевно благодарите автора за доставленное вам высоко комическое наслаждение; но наслаждение ваше удвоится, когда вы увидите, что сам автор не только смеется, но добродушно хохочет над всем этим. «О эти люди очень хитры! — восклицает автор.— Я часто слыхивал от них, т. е. от этих и от подобных им, такие вещи, что тут же хохотал среди их патетических уверений, что дескать это было для меня совершенно ничего, очень легко: разумеется хохотал, когда уверения делались передо мною человеком посторонним, и при разговоре только вдвоем. А когда то же самое говорилось человеку, которому это нужно слушать, то я поддакивал, что это дескать точно пустяки. Препотешное существо порядочный человек. Я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком» [86]. Давно бы вы так сказали, почтеннейший автор! Ведь мы тоже разговариваем с вами вдвоем. К чему же тут пыль-то бросать в глаза? Вы сами не хуже Шекспира знаете о вечно ощутительном присутствии ревности в природе, ревности, которой невозможно устранить никакими регламентациями; но вам для ваших эгоистических целей необходимо, хотя и с тайным хохотом говорить противное людям, которым нужно это слушать. Не велика беда, если и тысяча этих нужных людей погибнут от вашей науки — вы все-таки пожуируете и похохочете насчет их легкомыслия. Здесь мы опять щедрою рукою перевертываем страницы романа, прочтение которых справедливо считаем одним из энергичнейших подвигов. Там есть все, и чтение Коробейников г. Некрасова [87] и физиологические доказательства превосходства женщин над мужчинами и ко всему этому непроходимое пустословие и скука. Вследствие такого превосходства, Верочка и за вторым мужем ищет самобытной деятельности. Завела новую мастерскую и передала ее Мерцаловой, но этого ей мало: она решается из лекарши сделаться настоящим медиком. Для изучения латинского языка она взяла Корнелия Непота, но в сущности осталась верна инстинктам праздности и ничем неоправдываемого сибаритства. «Просыпаясь она нежится в своей теплой постельке, ей лень вставать — и дремлет и не дремлет и думает и не думает». Теперь, видите сами, что должно пролетать время так, что Вера Павловна еще не успеет подняться, чтобы взять ванну и опять прилечь понежиться, отдохнуть, а часто даже не чаще ли так задумается и заполу-дремлется, что еще не

соберется взять ванну, как Саша (Кирсанов) уж входит, — вернувшись из гошпиталя.

Но как хорошо каждый день поутру брать ванну; сначала вода самая теплая, потом теплый кран завертывается, а кран с холодной водой остается открыт и вода в ванне незаметно свежеет, свежеет, как это хорошо! А во всяком случае милый взял на себя неизменную обязанность хозяйничать за утренним чаем. — Да и нельзя было бы иначе. Саша прав, потому что пить утренний чай, т. е. разгоряченные крепким чаем сливки — пить его в постеле — чрезвычайно приятно» [88]. Словом, «она сохранила все свои, не



КАРИКАТУРА НА РЕАКЦИОННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ 60-х гг. ИЗ «ИСКРЫ», 1864 г., № 42

поэтические и не изящные, и не хорошего т о н а свойства». Как видите, несносный х о р о ш и й т о н не дает этим людям дышать. Какая тут работа? Когда ею заниматься?—Между тем у Кирсановых родился сын и назван в честь Лопухова Митею. Вот она деликатность-то искомого хорошего тону! — В то же время Верочка говорит мужу: «На тебе я замечаю вещь гораздо более любопытную: еще года через три ты забудешь свою медицину и изо всех способностей у тебя останется одна—зрение, да и то разучишься видеть что-нибудь, кроме меня». Сомневаемся, чтобы такая дама как Верочка удовлетворилась подобной метаморфозой.

«Как наш покрой платья портит нам стан! Но у меня эта линия восстановляется, как я рада этому! Как ты хороша, Верочка! Как я счастлива, Саша!»

«И сладкие речи,
Как говор струй:
Его улыбка,
И поцалуй» [89].

Когда Аполлон Григорьев писал это, он, повидимому, был уверен, что «Гроза» Островского своим содержанием совершенно опровергла теорию Добролюбова. Однако, Аполлон Григорьев вовсе не учел силы публицистического таланта Добролюбова, не учел его способности делать нужные публицистические выводы на основе самого разнообразного литературного материала. На его утверждения, что появление «Грозы» опровергло будто бы все, что говорит Добролюбов о творчестве Островского, Добролюбов ответил статьей «Луч света в темном царстве»; статья эта показывала, что и «Гроза» Островского прекрасно может быть использована для тех публицистических выводов, которые уже были сделаны Добролюбовым в его «Темном царстве».

В начале этой статьи Добролюбов, отвечая Аполлону Григорьеву на его упреки, указал между прочим, что Аполлон Григорьев, считая главной особенностью творчества Островского «народность», нигде не говорит, что он собственно понимает под этим словом.

«Как будто мы не признавали народности у Островского, — писал Добролюбов. — «...Но мы не кричали про нее с восклицательными знаками через каждые две строки, а постарались определить ее содержание, чего г. Григорьеву не заблагорассудилось ни разу сделать. А если б он это попробовал, то, может быть, пришел бы к тем же результатам, которые осуждает у нас, и не стал бы попусту обвинять нас, будто мы заслугу Островского заключаем в верном изображении семейных отношений купцов, живущих по-старинке» [41].

Предположение Добролюбова, что если б Аполлон Григорьев пожелал более детально проанализировать понятие «народность», то он, может быть, пришел бы к тем же самым результатам, как и сам Добролюбов, было, конечно, неосновательно. Вся сущность славянофильства и возникшего вслед за ним почвенничества заключалась в том, чтобы понимать под народностью совсем не то, что понимал под этим словом Добролюбов. Добролюбов понимал под «народностью» все творческие силы русского народа (в первую очередь, конечно, крестьянства), — в том числе и задавленную, но постоянно готовую прорваться способность к протесту и бунту. Именно такое понимание особенно четко проступает в статье «Луч света в темном царстве», где героиня «Грозы» Катерина охарактеризована, как протестантка против семейного гнета. Для Аполлона Григорьева, наоборот, «народность»— это совокупность чисто консервативных устремлений. Аполлон Григорьев смеется над утверждением, что среди представительниц «Темного царства» могут быть протестантки, и считает это утверждение страшной натяжкой.

Добролюбов не счел нужным детально останавливаться на всех обвинениях, которые выдвинул против него Аполлон Григорьев и опровергать их. Для него при создании этой статьи на первом плане стояли действительно публицистические задачи, и историческая ценность ее заключается вовсе не в удачной характеристике творчества Островского. «Он прежде всего дает, — говорит исследователь творчества Добролюбова Лебедев-Полянский, — общую картину русской действительности. Эта картина не менее красочна, сильна и убедительна, не менее страстна и волнующа, чем знаменитое письмо Белинского к Гоголю... Каждая строчка Добролюбова гневно и страстно кричит: эта жизнь должна быть разрушена. В переводе на политический язык это означает: «Долой самодержавно-крепостнический строй!» [42].

Но для Аполлона Григорьева, как для идеолога консервативной торговой буржуазии и буржуазного националиста, именно такая характеристика крепостнически-самодержавной России была неприемлема. Аполлон Григорьев великолепно понимал политический смысл статьи «Темное царство». Правда, в статье «После «Грозы» Островского» Аполлон Григорьев ничего не говорит об этом, предпочитая вести борьбу исключительно в литературной пло-

Милый друг, погаси
Поцалуи твои и т. д.[90]

Приведенные цитаты должны, как видите, представлять воочию поэзию в жизни. — Теперь, здравомыслящий читатель, обрати свое внимание на следующее обстоятельство. — Поэзия, как и все искусства хотя и почерпают свое содержание и берут матерьял для воплощения своих задач из действительного мира,— тем не менее не только не тождественны с этим миром, но едва ли ему не противуположны. — Человек не может ничего себе представить чего бы он не видал — не знал в действительности — самое пылкое воображение способно только перемещать известные признаки в новых сочетаниях — т. е. представлять себе старое на новый лад: — Но этот вечно-неизбежный закон — эти вечно отрезвляющие кандалы — не составляют силы, а скорее являются бессилием искусства, вечно стремящегося за черту реального. Итак реальность является только неизбежным условием, но не основанием. Основанием искусства служат те вечные колебания духа, которые в данный исключительный момент способны достигать неизмеримой высоты. На этих-то высотах и для этих-то высот творит вечное искусство. Что же тут общего с действительною будничною жизнью? Ничего.—Это понятно самому бесхитростному уму. — Но есть, к несчастию, люди, которые каждый предмет ищут не там, где следует. На бале дай им редьки, на огороде— конфектов. Этим-то неуместным исканием обессмертил себя известный рыцарь Дон-Кихот, видевший в мельнице гиганта, в баранах — врагов и главное — Дульцинею везде. Без этого неуместного искания — Дон-Кихот был бы образцом благородного рыцарства. Оно-то и погубило его, оно-то и низвело его на последнюю ступень безрассудного и смешного. Мы толкуем о пользе искусства — эта польза огромна и исключительна. — Ночная сцена Ромео и Юлии не затем существует, чтобы учить юношей лазить по окнам; этому всякий мошенник научит гораздо лучше Шекспира. Но для ее уразумения — необходимо чтобы, среди обычных волнений духа, хотя одна волна его, хотя на миг достигла той же высоты, на которой воздвиглась эта сцена у Шекспира. А вызывать дух на подобные высокие колебания, значит очищать его и укреплять духовной гимнастикой. Это возвышение, очищение и укрепление духа есть исключительное призвание искусства. Другого у него нет. Поэзия — и вообще искусство — никогда не выдавала своих созданий за плотскую — реальную жизнь. Чем же как не дон-кихотской слепотою объяснить настойчивое гонение **нигилистов** на «искусство для искусства», которому так давно подвергается поэзия в «Современнике и Ко?» Обвинение, возводимое там на искусство — само по себе справедливо. Искусство действительно — не заботится о реальной жизни — прямо и непосредственно, оно влияет на человеческую жизнь — иным путем — возвышая дух, от которого зависит эта жизнь. Но они этого не видят, а если видят, то не только говорят, что этого мало (какие скромные требования!) но утверждают, что это вредно, как чрезмерное волнение духа, выбрасывающее из действительности. Оно по их словам — портит жизнь — ставя перед нею слишком высокие идеалы. — И вдруг! — что же мы собственными глазами видим, здравомыслящий читатель! — Сам глава этого направления — в Современнике — в собственном романе приводит ряд стихотворных цитат и всеми силами низводит их с поэтических вершин в прозаично-эгоистический мир своего духовного детища. Какое торжество поэзии! Первая цитата из песни поэтически чистого идеала Гретхен, обращающейся к идеальному Фаусту. — Тут все высоко поэтично и потому гармонически верно. — И вдруг эти слова в сближении с Верочкой и Кирсановым! Не менее яркое явление в этом роде представляет песня Кольцова

Милый друг, погаси
Поцалуи твои! и т. д.

Кто говорит эти слова? Все (идеально) и никто реально в целой России. Можно дать премию художнику за создание двух лиц, в устах которых эти слова, несмотря на их безотносительную красоту, не представляли бы нелепого безобразия и безвкусия. В кринолине перед фраком или сюртуком они невозможны и смешны. В сарафане и платке перед сибиркой перетянутой кушаком они не менее если не более невозможны.—Если бы сарафан сказал «Огонь пылает в груди» не только куры, галки бы падали со смеху на землю.—Вот что значит ничего не понимать в деле, в котором выдаешь себя за абсолютного знатока!

«И снится Верочке сон; [91] будто
Доносится до нее знакомый голос — издали — ближе, ближе, —

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur! [92]

И видит она что это так, все так. Роскошная природа и солнце освещает обильные нивы. «У подошвы горы (в России!) на окраине леса, среди цветущих кустарников, густых аллей воздвигается дворец.—Идем туда.— Они идут, летят. — Роскошный пир. Пенится в стаканах вино (шампанское или донское?), сияют глаза пирующих. Тут и шопот под шум, смех и тайком (кому уж тут нужно тайком) пожатие руки, и порою украдкой неслышный за шумом (но очевидный для всех пирующих) поцалуй». — Вы видите, читатель, сон Верочки уносит нас в один из фаланстеров, этот сладостный кошемар наших прогрессистов. «Песню! песню! без песни не полно веселье!» (Давно ли это стало?) «И встает поэт (высокий слог). Чело и мысль его озарены вдохновением, ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий проносится в его песни рядом картин.—Топоры номадов — лошади, верблюды, пальмы и прекрасные жены.—У них одно дело л ю б о в ь» (совершенно наоборот, у номадов жены то все и делают). Нет, говорит светлая красавица (спутница Верочки в сновидении — новейший Виргилий Данта в юпке) меня тогда не было — их царица Астарта — раба.

Новая картина. Греция. Судьи не решаются судить Аспазию, потому что она слишком хороша.—Они поклоняются красоте — но не признают прав женщин. Их богиня Афродита, а меня еще не было.—Арена перед замком и турнир и история шиллеровского Тоггенбурга. «Это уж вовсе не обо мне,—говорит красавица.—Он любил ее, пока не касался к ней. Тогда меня не было, ту царицу звали Н е п о р о ч н о с т ь ю. Перед ней преклоняли колена. Она говорит: печальна до скорби смертной душа моя. Меч пронзил сердце мое».

Das Schwerdt im Hertzen
Schaust du mit Schmertzen
Herab auf deines Sones Todt [93]

«Нет, нет, меня тогда не было», говорит светлая красавица. Но кто же ты и Верочка узнает, что она, т. е. божество есть каждая любимая женщина.—«Тебе одной я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай»... Тут беспощадная цензура наставила точек, а то каких бы чудес мы не наслушались.—Но всего вернее эти точки выставлены автором — х у д о ж н и к о м в замену кабалистически грозного — пустого мешка.

«Ты хочешь видеть как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница (эмансипация женщин) будет царствовать над всеми? — смотри».— Громадное здание каких теперь ни одного, среди нив и лугов. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья, такие зерна, как в оранжерее? «Сады

лимонные, апельсинные и персиковые (в средней России) на воздухе. О да это колония вокруг них. Это сады раскрывающиеся на лето. (А где ж печьки? спрашиваем мы) — «Дворец — чугун и стекло, чугун и стекло — только». Нет это только оболочки, а дворец внутри и там все из алюминия. Группы работающие на нивах почти все поют. А х, это они убирают хлеб. Почти все делают за них машины, люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. (Попробуйте-ко поработать при этих машинах и убедитесь, что тут не до пения!) День зноен, но им ничего. Над той частью нивы, где они работают, раскинут полог, который подвигается по мере успеха работы. Как они устроили себе прохладу! (А по нашему духоту — войдите под любой навес или палатку во время зноя.—Там дышать нельзя.)—И все песни, все песни.

«Будем жить с тобой по-пански» [94].

«Но вот работа кончена, все идут к зданию. Посмотрим как будут обедать — более 1000 человек — здесь не все; кому угодно обедают особо у себя. Старики, старухи и дети, которые не выходили в поле, приготовили все это».—Или они родятся не людьми, а поварами, или нельзя есть их адской стряпни, несмотря на великолепную сервировку из алюминия и хрусталя и вазы с цветами. «Вошли рабочие и все т. е. и старики и дети садятся за стол. Кто же будет служить?—Не нужно. Всего пять, шесть блюд:— горячее поставлено в ящики с кипятком.—Рабочие пришли грязные пыльные — и прямо за стол.—А кто же раздает порции по особым комнатам?— «Обед великолепный и ничего не стоит отдельному лицу, а захотел лучше— «плати» — чем? — «Все это русское — видишь невдалеке реку — это Ока».— Но вот осень, зима,— из 2000 обитателей фаланстера осталось 20 чудаков, которым приятно оставаться на морозе — доить коров, давать корм по крайней мере 1000 животных.—Действительно чудаки, да и проворные какие. Ведь им же и сад надо топить и топлива для стариков то наготовить и набить такие громадные ледники. Но к ним будут зимой приезжать любители зимних прогулок — охотники таскать во вьюгу с гумна занесенную снегом солому и колоть лед (тогда много будет таких любителей!). «Но куда же это они уехали? В центр зауральской пустыни? — Да мы в центре пустыни. Как же превращен песок в плодоносную почву?—«Да что ж тут мудреного? У них так много машин. Возили глину, она связала песок, а там навозили чернозему, и пустыня расцвела. Это в твое время Новая Россия была около Херсона и Одессы, а теперь она здесь. С каждым годом, вы, русские, все дальше отодвигаете границу на юг, другие работают в других местах. В с е м и п р о с т о р н о и о б и л ь н о». Покорнейше благодарим красавицу на ласковом слове. Мы останемся где сидим, а уже глину то возить пусть она найдет т е х, д р у г и х. Разумеется и в Новой России тот же фаланстер. Вечерняя зала с электрическим освещением, вместительная на 3000 человек с оркестром в 100 человек — и женщины роскошно одеты. Это будничный вечер — рабочих людей». «Есть несколько д а м... Желание казаться дамой так засело в голове Верочки, что она и в фаланстере, где нет сословий — и даже во сне — не может от него отделаться.— «Шумно веселится одна половина обитателей дворца. А где ж другие? Везде—в театре, в аудиториях, в библиотеке, или с своими детьми».—Кто же знает, что они свои, а не чужие?—Но больше, больше всего — это моя тайна. (Хороша тайна на глазах у всех!) Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза, ты видела они уходили — это я увлекла их. Здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны не нарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье.—Здесь царствую я. Здесь я — цель жизни, здесь я — вся жизнь». Уф! батюшки! Стоило ли выписывать всю эту переделку фалан-

стера на русский лад, о чем скажем впоследствии, со всеми залами, отдельными комнатами, коврами и занавесками, когда все это давно есть и нисколько не представляет прелести даже для молодежи, а один почтенный купец г. Островского выражается, что «когда человек войдет в настоящие лета, то ему все эти женские прелести — ничего — даже скверно» [95].

Через год новая мастерская устроилась, установилась, однако же выгода иметь на Невском магазин была очевидна — и затем появилась новая вывеска «Au bon travail. Magasin des Nouveautées» [96]. Кажется чего бы лучше. Магазин так магазин!—Нет не такие люди Кирсановы, чтобы делать что либо с проста. Кирсанов говорил travail значит труд. Au bon travail — магазин хорошо исполняющий заказы, не лучше ли заменить такой девиз фамилиею?»—Почему же лучше, когда и так дела идут хорошо? Кирсанов стал говорить, что «русская фамилия наделает коммерческого убытка».— Вот и новое подтверждение изречения:

«Гони природу в дверь—она влетит в окно»—

вот вам и мнимое образование,—а как до дела дойдет, то из этих гениев торчат нелепые соображения вследствие которых мы на Руси читаем: «Въ новъ приѣжій изъ Парижа военый и партикулярный портъ-ной Іванъ Серотыкинъ». Кирсанов придумал средство: его жену зовут Верой,— по-французски вера (религия) foi; если бы на вывеске можно было написать вместо: Au bon travail,—A la bonne foi; то не было ли бы достаточно этого? (достаточно для чего?) Это бы имело самый невинный смысл (стало быть может иметь и самый не невинный, которого вы только и добиваетесь г. Кирсанов) — (добросовестный магазин) и имя хозяйки было бы на вывеске».— Так ли? — Нет г. Кирсанов. Во-первых, мы знаем, что ваша Вера там не хозяйка и в том именно и поставляет всю гордость свою, что швейная действует самостоятельно без всяких хозяев, а во-вторых мы видим, что Кирсанов переводит словом foi — не Вера с прописным В, а с маленьким. Итак вы бы желали дать почувствовать, что магазин A' la bonne foi — есть преимущественно орган — нового — единственно хорошего верования.— Ваше желание исполняется — мы вас поняли.

Здесь мы встречаем письмо нового действующего лица, Катерины Васильевны Полозовой к своей приятельнице Полине [97]. Все письмо есть описание социалистических швейных с приложением их коммерческих счетов в доказательство неисчислимых выгод такой системы. Избавляем и себя и читателя от выписки этой чепухи и тут же оговоримся, почему мы насколько было возможно передавали содержание романа словами самого автора. Во первых мы решительно и смиренно уступаем автору пальму своего рода искусства, которым он без всякой неуместной наглости, вправе гордиться.

Никто не сумеет при усиленном желании выражать серьезные и высокопоучительные истины — писать такие уморительные вещи.—А во вторых передавая содержание своими словами мы рисковали услыхать возражение «Он этого не говорит».— Теперь такая отговорка невозможна, потому что все сокращено, но ни одна иота текста не изменена.—Кто же такая Катерина Васильевна или Катя Полозова? Неужели опять с самой грязной лестницы или с Невского проспекта? Нет Полозов был отставной ротмистр или штабс-ротмистр, но чтобы попасть в число порядочных людей нашего автора прокутил большое родовое имение. Собрав последние крохи тысяч 10 ассигнациями он мелкой хлебной торговлей нажил снова порядочный капитал, женился на купеческом полумиллионе (все ассигнациями) приданого и лет через 10 стал миллионером на серебро. Жена умерла и Полозов переехал в Петербург, где любя единственную дочь Катю, не женился вторично. — Опекунами брезгал, а казенные подряды брал. Тут то поссорившись с одним нужным человеком (такой задорный этот старый Полозов, точно молодой Лопухов) погорячился, обругал. Ему сказали: «покорись».—

«Не хочу». «Лопнешь». «А пусть, не хочу»,— и лопнул — забраковали товар. У него осталась доля в стеариновом заводе и он за хорошее жалованье сделался на нем управляющим». «Отец любил Катю и называл глупостями выправку талии, манер и все тому подобное—а в 17 лет читающая и мечтающая Катя стала худеть и слегла».—У Полозова медиком был один из козырных тузов». Консилиумы при больной составлялись все из тузов. Консилиум решил, что Катя неизлечима, а потому надо сдать больную Кирсанову или одному из его друзей — наглецов мальчишек. Когда все разошлись Кирсанов сел у постели больной. Больная насмешливо улыбнулась».— «Вы не хотите мне отвечать, вы молчите? Мое правило: «против воли человека не следует делать для него ничего; свобода выше всего, даже жизни». Видите ли какой мастер говорить этот Кирсанов? Принадлежа к секте желающей насильно облагополучить род человеческий, он умеет где нужно сказать, что мы никому не благодетельствуем с ножом к горлу, а бессмысленную фразу о свободе, которая дороже жизни, он пускает перед m-lle Полозовой так для красоты слога. Он сам хорошо знает, что мертвым не нужно ни свободы, ни рабства. «Вы влюблены,— но умирать от чахотки тяжело и долго, я готов вам помочь, готов вам дать яд — прекрасный, убивающий быстро, без страданий. Угодно вам на этом условии открыть мне ваше положение?»

«Вы не обманете?, проговорила больная».

Посмотрите внимательно мне в глаза, вы увидите, что не обману. Оказывается, что пустой, бессердечный фат, в которого влюблена Катя, тот Жан Соловцов, что ужинал в начале романа вместе с Жюли, Сержем и Сторешниковым. Отец разумеется против такого брака, а дочь от любви умирает. — Как же быть? Съехался консилиум из самых высоких знаменитостей великосветской практики. Кирсанов объявил консилиуму, что он исследовал больную и нашел ее подобно Карлу Федоровичу неизлечимой, а агония этой болезни мучительна, поэтому он считает обязанностию консилиума отравить больную. «С таким напутствием он повел консилиум на новое освидетельствование больной». Консилиум исследовал, хлопая глазами, под градом чорт знает каких, непонятных разъяснений Кирсанова— а чорт бы побрал этих мальчишек! и возвратясь в зал положил: прекратить страдания больной смертельным приемом морфия» [99].— Хорошо? — Как вам, здравомыслящий читатель! нравится все это место? Что оно — более ли смешно или гадко? Какими бессмысленными неуками представлены высшие знаменитости петербургской медицины, которые даже не в силах понять научной терминологии Кирсанова, нарочно пускающего им пыль в глаза.—Вы сами здравомыслящий читатель вероятно лично знакомы с некоторыми из этих почтенных людей и знаете, что подобное предположение не менее как невинная клевета. Но, допустив, что воображаемые автором знаменитости невежественны и всегда готовы на убийство—никак нельзя допустить в них так мало осторожности, чтобы они решались по первому слову мальчишки совершать убийство соборне. Воля ваша! Это уже из рук вон. Из таких то бесцеремонных нелепостей сшит весь роман —«Важнейший из мудрецов (читай дураков) грустно-торжественным языком и величественно-мрачным голосом объявляет отцу постановление консилиума. — Ошеломленный Полозов восклицает «Не надо! она умирает от моего упрямства! и соглашается на брак дочери с Соловцовым.—Катя оживает. «Неужели вы в самом деле дали бы ей смертельный прием?» спрашивает Полозов Кирсанова.

«Еще бы! разумеется, совершенно холодно отвечает Кирсанов.

«Что за разбойник! говорит, как повар о зарезанной курице».—И у вас достало бы духу?»

— «Еще бы на это недостало, — чтож бы я за тряпка был!».

«Вы страшный человек! повторял Полозов» [100].

Кирсанов думал про себя: Показать бы тебе Рахметова!

Но как же вы повертывали всех этих медиков!

— Будто трудно повертывать таких людей! — с легкою гримасою отвечал Кирсанов».— Как не гримасничать такому великому мальчишке!—Кате позволяют принимать Соловцова, она убеждается в его негодности и сама ему отказывает — а все Кирсанов!

«Полозову захотелось продать завод компании, который не мог итти при жалком финансовом и административном состоянии своего акционерного общества».

Хотя бы автор, написавший эти строки, остановился на них с вопросом: почему личные предприятия отдельных деловых людей у нас процветают, а большая часть акционерных обществ падают? Нет ли тут прямого указания на крайнюю необходимость единства инициативы в каждом предприятии? Не похолодел ли бы он к общественным мастерским и фаланстерам, где овцы предназначаются к блаженству без пастыря? Полозов нашел покупщика, у которого на карточке для незнающих стояло Charles Beaumont, а для знающих Чарль Бьюмонт. Он был агент лондонской фирмы, по закупке сала и стеарина.

«Отец Бьюмонта был выписан из Нью-Йорка крымским помещиком прогрессистом для разведения в Крыму хлопчатника. Это уж всегда так бывает с подобными прогрессистами!»—говорит автор. Эка эти прогрессисты чудаки! подумать, что они из социалистов!—«Бьюмонт увидел себя за обедом у Полозова только втроем т. е. с отцом и дочерью. Бьюмонт стал часто бывать, потому что отец находил его подходящею партией. Бьюмонт — старается развивать Катю и успевает в том. Она без церемонии отправляется к холостому человеку одна на квартиру, когда он прищемив винтом машины руку, не был у них два дня. Бьюмонт интересуется Верочкой Кирсановой и самим Кирсановым, которых несмотря на свое нью-йоркское происхождение знает лучше Кати, знакомой с ними уже давно.—Бьюмонт до окончательного предложения Кате объявляет ей, что уже был женат. Она отвечает, что слышала о его жене.—От кого?» может быть от нее самой?—«Может быть» отвечает Бьюмонт [101]. Но Катя до того уже развилась, что соглашается на брак с Бьюмонтом и на другой день даже везет своего жениха к его бывшей жене Верочке—Лопуховой-Кирсановой!—Как? восклицает читатель — так это опять подлог, да еще двойной. Женился человек от живой жены под фальшивым именем. Кажется проделал все возможное и нечего спрашивать что делать? Остается возвратиться к первой жене. Позвольте — и это будет.

Кирсанов и Лопухов нанимают две смежных квартиры и растворяют двери. Тут уже происходит такая мистерия бессмыслицы, против которой и возражать невозможно, потому что ничего нельзя понять. Кто эта черная женщина, что она делает и какое ее значение—положительно не знаем. Конец романа напоминает того оптимиста, который, на всякое заявляемое ему безобразие, говорил: «Могло быть хуже». Когда ему сказали, что Эдип убил отца и женился на матери, он и тут остался верен оптимизму, и повторил свое: могло быть хуже. — «Помилуйте, — но что хуже этого. — «Он мог, спокойно ответил оптимист, убить мать и жениться на отце».

Передав содержание романа, мы хотим показать, в какой мере самобытны и новы доктрины, послужившие ему краеугольными камнями. Для наглядного доказательства, что эта прекрасная вера (доктрина) bonne foi—des Nouveautées нисколько не новость, а старая жвачка, за совершенной негодностью, всюду с презрением выброшенного тряпья, предлагаем вкратце историю этого учения и печальную судьбу его во Франции.

Когда Французская революция в своем движении разорвала все основы прежнего общественного устройства, и подпала исключительно влиянию демагогов черни, когда громкая и напыщенная фразеология стала на место действительных и вечных интересов общества, когда дикие и невежественные страсти заменили собою здравомыслие и ту осторожную и сдерживающую силу, без которой всякое политическое движение вперед обращается в бессмысленное кружение белки в колесе — тогда открылось вольное поприще для всевозможных общественных утопий. Известно, что всякая утопия отражает в себе нравственное состояние, страсти и стремления тех, кто в нее верит. Люди ограниченные, мало развитые, тем более имеют влияние на чернь, тем более приходятся ей по плечу, чем более выражают ее страсти и прихоти. После разгрома, последовавшего за 1789 годом и так быстро и совершенно изменившего общественное устройство Франции, возникла несчастная мысль, что можно бесконечно перестроивать общество по любому идеалу, что стоит только забрать в руки правительство и тогда можно дать государству такое устройство, какое заблагорассудится; словом, что всякая партия, завладев правительством, может располагать интересами государства и общества исключительно в свою пользу. Когда установилась Французская республика и возвестила всеобщее равенство, демагоги черни очень скоро увидели, что это политическое равенство ни к чему им не служит, — и вот в 1796 году выступает Бабеф с своим знаменитым коммунизмом, которому суждено играть во Франции столь кровавую роль. Мы говорим: «знаменитым» — потому что так называемый социализм есть не более как спутанная и сбивчивая варьяция на ту же тему, которая совершенно пришлась по темному смыслу парижского рабочего класса. Отвращение, возбужденное коммунизмом в первоначальном его явлении, заставляло его адептов тщательно скрывать его название, и повело к тому переодеванию и переработке, в которых он потом выступил в различных социалистических учениях. Здесь принял он смиренный вид, даже оставил претензию на насильственный переворот, назвавшись мирной демократией. Чтобы читатели поняли, почему коммунизм возбудил такое отвращение, мы постараемся из путанницы его учения отделить со всевозможною точностию существенные пункты.

В основании всей доктрины лежит темное и самому себе непонятное чувство всяческого равенства; затем она отрицает результаты всей прежней истории и даже всякую потребность какой бы то ни было истории. Человечество, по ее мнению, имеет самобытную мощь и может своею внутреннею, прирожденною силою заменить все эти развития и приобретения, которые мы по нашему слабоумию считаем необходимыми, не осмеливаясь настоящим образом подумать об ином устройстве общества. Посему не нужно правительства, церкви, государства; семейство должно быть уничтожено, ибо порождает разъединение и наклонности, нарушающие гармонию братства, которая только одна может связывать людей, а потому становится источником всякого зла. Брак должен быть уничтожен, «как несправедливое учреждение, обращающее в неволю то, что природа создала свободным, — обращающее тело в личную собственность, чрез что общинное владение и счастие делаются невозможными, ибо признано, что общинное владение не признает никакого рода собственности». — Города должны быть уничтожены, все искусства брошены, ибо — «лежат вне людских потребностей». Высшее образование и отдельное воспитание сделать невозможным. «Так как для нации нет ничего бесполезнее блеска и слов — должно отнять у лживой науки всякий предлог для уклонения от общественных обязанностей; должно отнять у людей всякое стремление к какому либо личному счастию, кроме счастия общества. Так как земледелие и ремесла суть единственно настоящие кормильцы—то люди, по за-

кону природы, призваны исключительно заниматься ими. Материализм, будучи непреложным законом природы, на котором все зиждется, должен быть общепринятой истиной. Существование больших городов есть признак болезни общественной жизни: «чем населеннее город, тем многочисленнее слуги, голодные писаки, музыканты, танцовщики, духовные, воры и т. п.— Само собою разумеется, что владение должно быть общинным». —

Остаток здравого смысла однакож показывал коммунистам, что хотя с уничтожением личной собственности и установится равенство, но это равенство будет только матерьяльным, а вовсе не умственным. Для избежания этого коммунизм решает, что не должно быть людей, отличающихся познаниями или образованием, никакой науки, никакой умственной жизни, а для осуществления этого все дети должны получать одинаковое воспитание, в котором ничему не учить, кроме чтения, письма, счета, истории и законов республики, слегка ее географию и статистику. Как и Руссо, коммунизм объявляет, что усовершенствование наук и искусств есть зло. А чтобы сохранить учение во всей его чистоте, учреждается строжайшая цензура для сдерживания прессы в духе вышеозначенных начал—и всякое посягательство отклониться от них, должно быть строжайше наказано.

Бабеф распространял это учение посредством речей и журналов и наконец устроил тайное общество, так что мог рассчитывать на несколько тысяч людей, готовых приступить к приведению в исполнение всей неслыханной нелепости доктрины. Они готовы были к восстанию, но директория во время арестовала Бабефа и главных коноводов. Суд присяжных приговорил Бабефа к смертной казни и коммунизм был повидимому подавлен.

Ужас и омерзение, с коими был он встречен в своем первоначальном явлении, заставил его последователей избегать этого названия, но почва к которой он привился сама по себе не перестала существовать; напротив, с развитием фабрик и промышленности она росла и умножалась. Этою почвою был ремесленный пролетариат. А как мы уже заметили, коммунизм совершенно соответствовал страстям и невежеству рабочего класса. Явились попытки придать этому учению более приличный и цивилизованный вид и одной из таких попыток был фурьеризм. Но он никогда не имел успеха между парижскими работниками. Отвлеченный, спутанный своею непонятною терминологией и даже космогонией, с своими специальными воззрениями на историю и природу, — он требовал адептов более развитых и грамотных, так что парижский работник мог в нем понимать очень немногое.

Основная мысль доктрины Фурье[102] та же, что и в коммунизме, только прикрытая более приличною одеждою и состоит в том, что назначение человека на земле — есть с ч а с т и е, но что счастие не возможно без богатства. И вот он начинает перестраивать природу и историю сообразно с своими целями, добирается до настоящего времени и, находя, что не все счастливы, подвергает жестокой критике современное общественное устройство, называя его в насмешку «ц и в и л и з о в а н н ы м». Чтоб сделать всех людей счастливыми, Фурье полагает, что для этого надо сделать их богатыми, а так как труд есть единственный источник богатства, то надо как можно более увеличить производительность труда. Средство для этого — сделать труд привлекательным, или, как он называет, «гармоническим», т. е. общинным; все ремесла делятся по сериям, каждая серия соответственно оттенкам того же ремесла разделяется на группы, а все группы серий составляют фалангу (в 2000 человек), в которую вступают чувствующие влечение к какой-либо из отраслей промышленности. Каждая фаланга устраивает себе здание — фаланстер, под управлением одного человека унарха. Правители двух — трех и т. д. фаланстеров носят название дуархов, триархов — и кончают — правителем всех фаланстеров земного шара — омниархом.

Любопытно положение женщин в предполагаемых фаланстерах и мы нарочно с некоторой подробностью извлекаем его из главного сочинения Фурье (Théorie des quatres mouvements 1808. p. 169), надеясь оказать тем услугу дамам, сочувствующим направлению «Современника» — «Свобода любовных отношений превращает большую часть наших пороков в добродетели, равно как и большую часть наших вежливостей (gentillesses) в пороки.—

Любовная связь будет делиться на несколько степеней. Из них главнейшими будут следующие три:

1. Возлюбленные, носящие это название (favoris et favorites).
2. Производители и производительницы (genitents et genitrices).
3. Супруги (époux et épouses).

Последние должны иметь друг от друга по крайней мере двух детей. Вторые имеют не более одного, а первые вовсе не имеют друг от друга детей.

Женщина может одновременно иметь:

1. Одного супруга, от которого имеет двух детей.

2. Одного производителя, от которого имеет только одного ребенка.

3. Одного возлюбленного, с которым жила прежде и за которым этот титул остается, кроме простых любовников, не имеющих значения перед законом.

Такой градацией титулов достигается высокая степень утонченной вежливости и внимательности к установившимся отношениям. Женщина в праве отказать возлюбленному, от которого беременна, в титуле производителя; равным образом, имея причины к неудовольствию, она в праве отказать различным близким ей мужчинам в высших титулах, которых бы они могли искать.—То же право предоставляется и мужчинам «в отношении их различных женщин». — Такие отношения между мужчиной и женщиной Фурье называет прогрессивным сожитием (ménage progressif).—В таком (гармоническом) состоянии, по уверению Фурье, люди будут есть втрое более и оно продолжится 35 тысяч лет. — Устройство одного такого фаланстера будет, уверяет Фурье, для людей столь соблазнительно по неисчерпаемым выгодам и счастию его «гармонических» работников, что по образцу его тотчас же станут устраиваться другие и таким образом Европа и другие части света покроются фаланстерами. В доказательство неисчислимых выгод такого всеобщего устройства, Фурье приводит возможность заплатить весь государственный долг Англии в течение 6 месяцев, одними куриными яйцами.

Полагая, что читателей позабавит эта великая финансовая операция, выписываем ее в подробности из сочинения Фурье (Traité d'association p. 492).

«Не миллионами, а миллиардами считаться будут мелочные доходы, на которые мы теперь почти не обращаем внимания. Например куриные яйца будут играть великую роль и разрешат задачу, перед которою бледнеют самые ученые финансисты Европы. Они знают только как увеличивать массу государственных долгов. Одним полугодовым сбором яиц, не трогая кур, мы уничтожим громаду английского государственного долга и это, не только без малейшего отягощения, напротив, для земного шара это будет детскою забавой.

Прилагаем расчет с арифметическою точностию. Задача состоит в том, чтобы 25 миллиардов выплатить куриными яйцами.

Начнем с определения действительной цены яиц. — Я ценю их по 10 су или по полуфранку за дюжину, если свежесть их удовлетворительна и они той величины, как несут куры из Caux; но в «гармонии» объем их увели-

чится, потому что развитие куриной породы непосредственно воспоследует за развитием человеческой.

Итак полагая дюжину больших, свежих яиц от искусственно выведенных кур — по полуфранку, нам нужно 50 миллиардов дюжин яиц для уплаты английского долга. Как же велико может быть количество яиц в 600.000 фалангах?

Курица, это бесценное пернатое животное есть всесветный гражданин между птицами. Она при некотором уходе может акклиматизироваться везде, как в песках Египта, так и во льдах Севера:—я докажу, что куриный двор одной фаланги может содержать по крайней мере 10 тысяч кур, несущих яйца, не считая цыплят, которых количество может быть в 20 раз более. Мы считаем, что каждая курица несется 200 дней в году. В «цивилизованном» состоянии может быть не столько, но известно, что при заботливом уходе, легкой теплоте печей и обильной пище — особенно при замене насиживания — устроенными для этого печами, несенье яиц, из 365 дней в году, может наверное доведено быть до 200, не считая некоторых двоень (les binages). И теперь уже хорошо содержимые куры благородной породы кладут иногда по два яйца ежедневно. — Чтобы сделать расчет просто и без ошибки, подобно хорошей хозяйке, предположим, что вместо 10 тысяч, куриный двор одной фаланги будет иметь 12 тысяч несущихся кур. — Тогда ежедневно имеем мы: тысячу дюжин яиц по ½ франку — 500 франков.

Это число помноженное на 200 дней, дает ежегодное количество яиц в одной фаланге — на — 100,000 франк, а в 600,000 фалангах даст на сумму — 60 миллиардов.

Но как для облегчения счета десятичными числами мы поставили 12 тысяч кур в фаланге вместо 10 тысяч, то, откинув $^1/_6$ получим сумму в 50 миллиардов, половина которой и составляет государственный долг Англии».

Но несмотря на такие приманки будущего благополучия, уморительная нелепость доктрины так явно бросалась в глаза, что не находилось охотников пожертвовать чем-нибудь на сооружение образцового фаланстера. Как ни старались учители фурьеризма, отбрасывая все курьезы доктрины, представить ее в наилучшем виде, люди с состоянием, на которых они преимущественно рассчитывали и рабочий класс, подсмеиваясь над нею, оставались к ней совершенно равнодушны. Виноват! — были помнится нам некоторые попытки: нашлось несколько слабоумных, решившихся на денежные пожертвования, но устроенный ими фаланстер в скорости распался сам собою [103]. Положено было ограничиться одною пропагандою доктрины посредством журнала и брошюр.

Независимо от такого очевидно нелепого решения вопросов, — вопросы о какой-то романической, сентиментально-идеальной демократии в связи с пролетариатом и социализмом сделались во Франции сороковых годов модными. Мы называем их модными, потому что легкомысленные и искавшие популярности люди только рядились в них, не давая себе отчета, к чему ведут подобные учения и в чем собственно состоит социализм.—

Вся почти оппозиционная журналистика и литература были на стороне социализма и пролетариата. Каждый м ы с л и т е л ь (penseur) носил в кармане готовый план преобразования труда и общества. Не забудем, что это происходило во время кроткого, гуманного правительства Людовика Филиппа и Франция пользовалась полною свободою печати. — К несчастию, в самом обществе еще не успели установиться определенные политические понятия; все было шатко, тревожно и Париж еще считал себя всею Францией. (Последствия показали как он жестоко должен был в этом разочароваться). В литературе, начиная с Жорж Занд, всякий романист, искавший популярности, непременно пропитывал свое произведение демократи-

чески-социальным направлением. — У нас еще в памяти идеальные рабочие Жоржа Занд. Всюду проводился контраст благороднейшего работника и подлейшего собственника. Собственник, заклейменный названием bourgeois и épicier предавался всеобщему поруганию. Легкомысленная молодежь, даже достаточная, не говоря уже о бедных проходимцах, считала долгом, рисуясь, выдавать себя за социалистов. В ее глазах одинаково стыдно было прослыть за bourgeois и épicier или за человека не враждебного правительству. — Замечательно, что в этом легкомысленном и в то же время жадном к приобретению обществе авторитет правительства и интересы общественного порядка были ничтожны. Деловая и благоразумная часть общества, не давая себе труда проникнуть в сущность дела, смотрела на все это брожение, считая социализм не более как филантропиею, а его утопии — невинным младенческим легкомыслием. Мы забыли сказать, что журнал фурьеристов[104] не столько занимался разъяснением своего учения, сколько критикой и постоянными нападками на общественное устройство.—Если фурьеризм, как доктрина, и не имел никакого значения между рабочим населением, зато постоянные его нападки на общественное устройство не остались без плодов. С его голосу явились люди, исключительно посвятившие себя пропаганде между рабочим населением ненависти к существующему общественному порядку, доказывавшие, что бедность единственно происходит от несправедливого устройства общества, что всякая мирная сделка с правом собственности есть пустое заблуждение и что демократически-социальная революция есть единственный путь к благоденствию. В этой пропаганде школьные учители принимали самое деятельное участие. К концу 1847 года все рабочее население Парижа было пропитано этими учениями, а так как социализм собственно говоря, представлял только критику общественного устройства, а не какую либо систему, способную заменить его, то естественно возвратились к старому коммунизму, который в основных чертах совершенно соответствовал общему направлению социализма.

Один из наших знакомых рассказывал нам, что, будучи в Париже в 1846 году, он познакомился там с одним из пропагандистов социализма, который доставил ему случай побывать на одном из тайных собраний работников. «Мы поднялись, рассказывал он, с потайным фонарем в шестой этаж (лестница не была освещена), знакомый мой постучался в дверь и произнес какое-то слово, вероятно пароль, и нам отворили. На большом чердаке, который повидимому служил мастерской, было человек 50 мужчин и между ними несколько женщин. Все были одеты довольно бедно, большею частию в блузах. Председателем собрания был какой-то мастеровой. Начались речи. Говорившие сменялись, но не возражали друг другу, ибо все говорили в одном и том же духе. Все выражали невыносимость существующего порядка, говорили, что прежние революции им не принесли никакой пользы и что они пошли в прок только одним богатым. Знакомый мой принимался говорить несколько раз. Он очевидно был чем-то в роде учителя и руководителя этих бедных и темных людей; указывал как богатые эксплуатируют бедных; что всему злу причиной собственность и большие города, как центры капитала и богатства, словом это были фразы постоянно тогда встречавшиеся в социалистических брошюрках и журналах».—Как ни была свободна печать при Людовике-Филиппе, но все же нельзя было в журналах открыто призывать к восстанию, да и ремесленникам некогда было читать их, потому и роль распространителей между рабочим населением этих учений и брали на себя люди подобные этому пропагандисту. В речах своих он указывал на необходимость социальной революции, от которой обещал работникам всевозможные блага. Удивительно как деловое и благоразумное население Парижа (потому что социализм собственно гнездился в Париже и там вербовал свою армию между рабочим населением) не предвидело опас-

ности. В таком положении застал Париж 48 год. Легкомысленная оппозиция устраивала свои реформистские банкеты, нисколько не помышляя не только о республике, но даже о какой бы то ни было революции. Но движение при криках: vive la réforme! неожиданно для всех, разыгралось падением династии и национальная гвардия, ставшая между войском и чернию вдруг увидала себя лицом к лицу с своим настоящим врагом. Вообще, трудно себе представить революцию более бессмысленную по причинам и следствиям. Все еще помнят, как с первых же дней революции резко обозначился антагонизм между рабочим населением и собственниками. Достаточно напомнить читателям заседания рабочих в Люксембургском дворце[105], под председательством Люи-Блана выдачу от правительства до 6 миллионов франков, — на устройство так называемых национальных мастерских и присутствие работника, в качестве члена, в совете министров. Антагонизм двух враждебных партий — постепенно возрастал и кончился трехдневною кровавою битвой июньских дней. Только крайним легкомыслием или вернее литературным пустомыслием доктринеров социализма можно объяснить то обстоятельство, что они, рассчитывая на один только класс городских преимущественно парижских мастеровых, думали низвергнуть все основы существующего порядка, не догадываясь даже о том, до какой степени их учения противны были огромному большинству французских крестьян землевладельцев, не говоря уже о высших и средних классах. У многих вероятно осталось в памяти то остервенение с которым начали тогда преследовать людей за малейшее подозрение в социализме. Только тогда легкомысленные прогрессисты поняли, к чему ведет это учение. Без суда расстреливали десятками бедных работников, провинившихся только слепым доверием к своим вожатым. Только социализму и ничему другому, приписываем мы тот роковой перелом в постепенном движении Франции, который продолжается по сие время. —

Изложив главнейшие основания и печальную судьбу этих доктрин в одной Франции, так как в других европейских государствах роль их была более чем ничтожна, мы невольно приходим к вопросу, какое существенное приложение может вся эта галлюцинация найти в нашем отечестве?

Русская земля разделена между миллионами поземельных собственников, приведенных тысячелетней историей, через ряд тяжелых испытаний, к такому отрадному результату. Кроме собственников в России нет народонаселения — нет пролетариата, за ничтожным исключением ремесленников обоего пола, проживающих в столицах. Да и за большею их частию, независимо от свободного их выбора того или другого ремесла, стоит где-либо — недвижимая собственность. Не принимая даже в соображение практического смыслу и консервативного духа нашего простолюдина с одной стороны и бессмыслия пропаганды с другой ввиду подобного отношения народа к собственности, можно быть уверену, что такое учение не примется на нашей почве. Укажите хотя на один класс нашего народонаселения в интересах которого могла бы быть желательна социальная революция. Положительно — ни одного, исключая тех авгуров-перебежчиков, которые поверхностно хватив книжной премудрости, на чужой счет, мучительно хотели бы, на чужой же счет, иметь ложу у итальянцев и доставлять сливки в постели развращаемых ими женщин.

Но целый народ не пойдет ломать себя в угоду теории эгоизма Лопуховых и Кирсановых. — Вот причины, по которым социализм, несмотря ни на какую свободу печати, никогда не осмелится у нас высказаться во всей своей цинической полноте, а будет, подобно улитке, по временам выставлять свои рожки-щупальцы. Только раз, при самом своем разгаре, высказался он всесторонне в романе «Что делать?» и только поэтому мы сочли своим долгом поговорить об этом произведении. Но не менее, если не более вред-

на и теперешняя сдержанность адептов социализма. Они поняли нравственную невозможность явиться открыто с их доктриной, во всем ее систематическом безобразии. Крикните у нас кому хотите: пойдем в фаланстер, уплачивать английский долг куриными яйцами, — всякий захохочет. И вот они приняли систему более верную и безопасную — выставлять отдельные члены безобразного тела, оставляя за собой возможность отрицания солидарности этих членов с уродливым целым. Они хорошо понимают положение вещей. Государство положительно сказало каждому из своих граждан: «Вот тебе больший или меньший клок земли. Не надейся и на руки рабов, ни на какие-либо индустриальные привилегии. Я берусь оградить твой мирный и законный труд от насилия и вторжения чужого произволу, а инициативу и средства к благосостоянию ищи в себе самом».

«Ну как все эти миллионы людей, говорят социалисты, поняв окончательную нелепость всевозможных претензий, с удвоенною энергией займутся своим насущным делом. Чего тогда ожидать социализму кроме общего презрения? Надо всеми мерами противудействовать такому исходу дела». И вот они стараются под видом огульного порицания всего существующего, и что всего сильнее под видом всеобщего равенства, отстаивать особенные права в государстве отдельных народностей и сословий, натравливая таким образом — народ на народ, сословие на сословие и даже поколение на поколение. Они понимают, что при настоящем положении вещей, где каждая частная деятельность предоставлена личной инициативе, благосостояние отдельного семейства, более чем когда-либо, зависит от серьезного понимания женщинами священных и трудных обязанностей хозяйки-матери. Какого еще там женского труда добиваться, когда дай бог справиться с тем, который ежедневно, ежеминутно представляется хозяйке-матери. В том-то и состоит главная задача социалистов, чтобы наполнив головы женщин нелепостями, отвратить их от прямых обязанностей и тем внести смуту в семейства, подобно тому, как оно вносится в другие части государственного организма [106]. Замечательно, что в романе «Что делать?» ничего не говорится о детях. О рождении сына у героини Верочки сказано вскользь, да и то только тогда, когда ребенок не мог уже помешать ее двумужеству. Правда: «дети не предполагаются».

Кончая нашу беседу с читателем, сознаемся в своего рода нигилизме. Мы совершенно равнодушны к могущей подняться против нас буре нареканий и ругательств. Там где цинически поносится имя Пушкина покойника, нечего останавливаться перед подобными выходками.—Спрашиваем только себя: в чем могут обвинить эту статью?—В разоблачении тайны пропаганды? Помилуйте какая же это тайна разнесенная и разносимая десятками тысяч печатных экземпляров. Для кого существует эта тайна? Для цензора? Но мы знаем его скромное положение. Если же нас обвинят в открытой борьбе с деспотизмом демагогов, то такое обвинение мы готовы принять с радостью. Да, мы открыто не желаем смут и натравливаний одного сословия на другое, где бы оно ни проявлялось: в печати ли на театре ли посредством изустных преподаваний и нашептываний [107]. Мы не менее других желаем народного образования и науки, только не по выписанной нами обскурантной программе социалистов, способной только сбить человека с врожденного здравомыслия. Нам больно видеть недоверие сознательных элементов общества к публичному воспитанию. Наравне с другими мы чувствуем необходимость незыблемых гарантий свободному и честному труду. Для нас очевидна возрастающая потребность в серьезном содействии женского труда на поприще нашего преуспеяния. Чем скорее и яснее поймут они всю гнусность валяться целый день в постели и пить сливки, заставляя мужа, кроме тяжелых забот о насущных нуждах семейства, заваривать им чай — тем лучше. Пусть они серьезно и полезно трудятся, но только не в фаланстере.

ПРИМЕЧАНИЯ

Рукопись публикуемой статьи А. А. Фета о романе «Что делать?» Н. Г. Чернышевского находится в Рукописном отделении Государственного Толстовского Музея. Несколько лет назад Музей приобрел ее в числе других рукописных материалов архива Боткина у родственника известного в свое время драматурга Виктора Александровича Крылова (1838—1906), бывшего секретарем Василия Петровича Боткина (1810—1869) в последние годы его жизни.

Статья была написана Фетом в июне—июле 1863 г., т. е. после окончания печатания в майской книжке «Современника» за этот год «Что делать?». Предназначалась она для «Русского Вестника» — основного органа реакционного дворянства, ведшего систематическую борьбу с органами радикальной печати и «разрушительными» социалистическими течениями. С редактором «Русского Вестника», вождем «национально-охранительного» лагеря М. Н. Катковым Боткин и Фет находились в то время в дружеских отношениях. Именно Катков и дал Фету заказ — написать для его журнала рецензию о «Что делать?»

Вот что пишет Фет в своих воспоминаниях по этому поводу:

«Зашли мы с Боткиным как-то к Каткову, и, конечно, разговор закипел по поводу Польского восстания и вообще того разлагающего элемента, который наши враги [разрядка моя. — *Г. В.*] так обильно вливали в нашу жизнь чему блистательным образчиком мог служить произведший такое впечатление роман Чернышевского «Что делать?». Мы с Катковым не могли притти в себя от недоумения и не знали только, чему удивляться более: цинической ли нелепости всего романа, или явному сообщничеству существующей цензуры с проповедью двоеженства, фальшивых паспортов, преднамеренной проповеди атеизма и анархии со стороны духовного законоучителя, которому такая пропаганда в казенных заведениях тем сподручнее, что он профессор и щит. Катков просил меня написать рецензию на «Что делать?»; а Боткин, собиравшийся в Степановку, обещал свое сотрудничество в этом деле» (А. А. Фет. «Мои воспоминания». М., 1890, ч. I, стр. 429—430).

Разговор этот происходил в Москве весною 1863 г. Приехав в свое имение Степановку Мценского уезда Орловской губ., Фет начал писать статью. Боткин, приехавший туда же в июне, всемерно помогал ему в этом.

«Во исполнение просьбы Каткова, — говорит Фет дальше в своих воспоминаниях, — я тотчас принялся за разбор романа «Что делать?» А Боткин между прочим иллюстрировал мой разбор коммунистическими эпизодами парижской жизни, коих был в 1848 году свидетелем» (там же, ч. I, стр. 431).

Хотя вся рукопись статьи (38 листов бумаги конторского формата) написана рукою Фета, участие Боткина в писании статьи следует признать бесспорным. В. А. Крылов в отрывке своих воспоминаний о Боткине (рукопись) пишет: «Как катковец Боткин не сочувствовал направлению журнала «Современник» с Чернышевским во главе, впоследствии даже, когда появился роман Чернышевского «Что делать?» — Боткин вместе с Фетом написали на него критику, которая однако не была напечатана». Таким образом, Боткин был не только идейным соавтором Фета, но и принимал участие в писании статьи. Заключительная часть статьи с критикой социалистических идей Чернышевского и его западного предшественника Фурье, повидимому, целиком написана Фетом со слов Боткина.

Как только статья была готова, она немедленно же была отослана Каткову для напечатания в «Русском Вестнике».

По возвращении из Степановки в Москву Боткин принимается лично хлопотать о помещении статьи в печать. В письме от 8 августа 1863 г. он пишет Фету: «В Москву приехал благополучно и на другой же день был у Каткова. Он получил критику «Что делать?», но еще не читал ее и отдает печатать, а ко мне хотел прислать корректуру. Она будет без всякой подписи, как ты желал» (там же, ч. 1, стр. 435).

Нежелание Фета поставить подпись под своей статьей чрезвычайно характерно. Повидимому, не так уж он был равнодушен «к могущей подняться» против него «буре нареканий», как он пишет в заключение своей критики.

Через две недели Боткин сообщал Фету: «Сначала Катков горячо благодарил за статью о Чернышевском, но потом как-то охладел, а Леонтьев хныкает о том, что она очень велика. Я уж более недели не видался с ними. Вчера заезжал, но Каткова не было дома, а Леонтьев спал. На днях постараюсь увидать их и объясниться» (письмо Боткина Фету 21 августа 1863 г. Там же, ч. I, стр. 436).

Дело печатания статьи затянулось. Приехавший вскоре в Москву Фет не подвинул его. Боткин же уехал в Петербург, а затем за границу.

Катков и Леонтьев, продолжая печатать в своем журнале «Письма из деревни» Фета и его стихотворения, статьи о Чернышевском в «Русском Вестнике» не напечатали. Повидимому, автор, так же как и издатели, на время охладел

к своей статье и забыл о ней. Она более двух лет пролежала в редакции «Русского Вестника».

В 1866 г., вероятно, во время одного из своих приездов в Москву, Фет напомнил Каткову о статье и, получив от него окончательный отказ, решил поместить статью в другой журнал — в «Библиотеку для Чтения».

Как и в первом случае, Фет пытается осуществить это при помощи своего шурина и друга В. П. Боткина.

По просьбе Фета Катков должен был переслать статью Боткину в Петербург через известного петербургского книгопродавца Ф. В. Базунова, о чем Фет заранее известил Боткина.

«К удивлению моему, — писал Боткин Фету в письме от 1 февраля 1866 г.,— я не получил еще от Базунова статьи твоей о «Что делать?» Не знаю, что думать об этом замедлении... Мне досадно, почему ты не отправил свою рукопись сам, а предоставил сделать это Каткову. Вот теперь и дожидайся, да еще неизвестно, пришлется ли она?» (там же, ч. II, стр. 82).

Задержка в пересылке статьи Боткину произошла, по всей вероятности, по вине самого Фета. То, что годилось в 1863 г., в 1866 г. требовало пересмотра. Повидимому, теперь к прежнему мотиву отказа редакции «Русского Вестника» напечатать статью Фета прибавился новый — несвоевременность, устарелость статьи. Фет, чтобы устранить этот мотив отказа со стороны других издателей, решил пересмотреть статью.

Получив рукопись из редакции «Русского Вестника», Фет с присущей ему энергией и деловитостью спешно принялся за ее переделку. Неизвестно, где это произошло, в Москве или в Степановке, но рукопись статьи оказалась исправленной самими Фетом.

Полной переработке подверглась вступительная часть. Оказались заново переписанными. Фетом первые 13 страниц рукописи (3¼ фетовских листа по 4 стр.), т. е. начало статьи с первых ее слов до изложения содержания «Что делать?» (до середины абзаца, начинающегося «Марья Алексеевна — дама решительная»..., кончая словами:

...«Если не привезет, то изгоняется из драгоценного»).

Вся эта вступительная часть написана более густыми черными чернилами, на более плотной бумаге, отличающейся водяным рисунком от бумаги, на которой написана вся статья.

Первая редакция вступительной части неизвестна. Но, судя по всему, она подверглась сравнительно небольшой переделке, требующейся временем. В результате этой переделки вступительную часть статьи Фет расширил примерно на пять страниц. Об этом можно судить по изменившейся нумерации листов: лист 3-й переправлен на лист 4-й, 4-й — на 5-й и так далее до конца статьи.

После 14-го (фетовского) листа новой нумерации на бумаге такого же качества, как и бумага, на которой написана вступительная часть, сделана вставка, начинающаяся словами: «Женится человек от живой жены под фальшивым именем»... и кончающаяся: «...предлагаем вкратце историю этого учения и печальную судьбу его во Франции». Эта вставка в одну страницу занумерована как лист 15-й. Лист 15-й новой нумерации, составляющий 3 страницы текста, как и вступительная часть, подвергся переработке. В конце листа 18-го, после слов: «Только социализму и ничему другому приписываем мы тот роковой перелом в постепенном движении Франции, который продолжается по сие время», помета рукою Фета: «Здесь снова продолжается текст, начинающийся на 2-й странице 15-го листа словами: «Изложив таким образом». Эта помета зачеркнута и заменена другою: «За этим следует окончание на листе № 19».

Помета Фета о помещении 15-го листа в конец статьи сделана им еще для редакции «Русского Вестника».

Пересматривая статью для другого журнала, Фет упростил дело. Он переделал 15-й лист, расчленив его на две части. Одну страницу, заключающую окончание изложения романа, он оставил на месте. Три другие страницы он переписал заново на такой же бумаге, как вступительная часть и вставка, и, занумеровав их, как лист 19-й, сделал заключением статьи. Так как первая редакция 15-го листа неизвестна, то трудно сказать, в какой мере изменил Фет конец своей статьи. Судя по помете, первые слова остались те же, но дальше текст, повидимому, все же подвергся изменению. Если бы этого не было, зачем бы Фет стал заново переписывать эти страницы, когда он мог бы изменить только нумерацию этого листа.

Кроме изменений начала и конца статьи, оказался пересмотренным и остальной текст. Фет с пером в руках прошелся по всей статье. Безусловно позднейшие, собственноручные исправления, сделанные более густыми чернилами, были внесены Фетом во время переделки вступления и конца статьи. Более исправлены

листы 4—14, несколько меньше листы 16—18. Вообще поправок немного и они несущественны. Почти все исправления носят чисто редакционный характер: Фет заменяет одно выражение другим, вставляет или опускает отдельные слова, кое-где делает незначительные сокращения, самые большие из которых 4—5 строк, подчеркивает отдельные выражения и т. д.

Рукопись статьи Фета носит характер единственного экземпляра, писавшегося сразу набело.

Пересмотр текста статьи был сделан Фетом, повидимому, в сравнительно короткий срок, так как в письме от 10 февраля 1866 г. Боткин писал Фету: «Наконец получил твою статью от Каткова и вчера отдал ее Дудышкину (редактору «Библиотеки для Чтения»); какой будет ответ от него — сообщу» (там же, стр. 83). Пока Фет исправлял статью, Базунов, видимо, уехал из Москвы, и рукопись Боткину послал сам Катков.

Но и в другом петербургском журнале статье Фета так же не повезло, как и в «Русском Вестнике» в Москве.

С. С. Дудышкин напечатать статью в «Библиотеке для Чтения» отказался. Боткин в письме к Фету от 10 марта 1866 г. излагал мотивы этого отказа: «Дудышкин возвратил мне статью твою о романе «Что делать?» Он не может напечатать ее. Во-первых, потому, что очень много там выписок из романа, которые потому излишни, что смысл романа и без того для всех обнаружился. А потом для всех ясно, к чему повело учреждение так называемых «общих комнат», женских мастерских и «новых» людей, действовавших заодно с поляками. Словом, тенденция романа есть тенденция «Панургова стада», а сам Чернышевский был одним из пастухов его. Статья, в той форме, как она написана, могла бы быть помещена тотчас по выходе романа, но не теперь. Теперь все это износилось, опошлилось не для одних здравомыслящих» (там же, стр. 87).

По всей вероятности, ни Боткин, ни Фет не пытались больше устраивать печатание статьи. Рукопись осталась у Боткина, а после его смерти перешла к В. А. Крылову.

Чем же, однако, объяснить, что в самый разгар борьбы «благонамеренных» с «мальчишками» эта статья не увидела света?

Формальными причинами этого был размер статьи (4 печатных листа), превысивший размеры обычной книжной рецензии, и несвоевременность, запоздалость разбора и критики «Что делать?».

Причиною же по существу было имя Чернышевского, содержание романа и то огромное впечатление, которое он произвел на массу читателей.

Приведем ряд свидетельств и суждений современников о «Что делать?».

Е. А. Штакеншнейдер, считавшая в 1861 г. Чернышевского «антипатичным», его юмор нахальным и тяжелым, а все серьезное — дышащим «самомнением и самоуверенностью» (дневник от 26 января 1861 г., стр. 282), в дневнике от 25 марта 1863 г. записывает:

«Вышел «Современник» № 3. В нем роман Чернышевского. Я этим романом наэлектризована. Он мне доставил наслаждение, какое доставляли книги в юные годы, он мне согрел душу своим высоконравственным направлением, наконец он объяснил то восторженное... поклонение... иначе назвать не умею, которое питает к его автору молодое поколение, то влияние, которое он на него имеет. Мне теперь понятны те, слышанные мною, дерзкие отрывки речи, такие антипатичные на первый взгляд» (Е. А. Штакеншнейдер. «Дневник и записки» 1854—1886. Изд. «Academia», М.—Л., 1934, стр. 322).

П. И. Капнист в книге, изданной по распоряжению министерства внутренних дел с маркой «секретно», писал: «...г. Чернышевский в романе «Что делать?» попытался выразить коммунистические и социалистические идеалы свои положительно... Этот роман имел большой успех между поверхностно-образованною нашей молодежью обоего пола, которой у нас огромное большинство, а это значит у б о л ь ш и н с т в а ч и т а ю щ е й п у б л и к и» [разрядка моя. — *Г. В.*]. (Собр. матер. о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечеств. журналистики за 1863 и 1864 гг. СПБ. 1865).

Катков писал в «Московских Ведомостях»: «Как мусульмане чтут Коран, так чтится поклонниками «нового слова» роман Чернышевского «Что делать?», автор ..романа «Что делать?»... изображал то, что видел в действительности в нигилистическом кружке, который чтил в нем своего патриарха, а теперь чтит в нем своего пророка» («Московские Ведомости», 1879, № 153, стр. 2).

Реакционный одесский профессор П. Цитович в книжке «Что делали в романе «Что делать?» (5-е изд., Одесса, 1879) писал: «В классической литературе «нового слова» роман «Что делать?» занимает первое место... читатели... романа исключительно молодежь. За 16 лет пребывания в университете мне не удавалось встретить студента, который бы не прочел знаменитого романа еще в гимназии, а гимназистка 5—6 классов считалась бы дурой, если б не ознакомилась с похождениями

Веры Павловны (иногда по совету своего учителя гимназии). В этом отношении сочинения, например Тургенева или Гончарова, не говоря уже о Гоголе, Лермонтове и Пушкине,—далеко уступают роману «Что делать?» (стр. IV—V назв. кн.).

В высказываниях людей народнического склада вскрыты источники влияния «Что делать?» «В 1862 г.,—писал Кропоткин,—Чернышевский был арестован и, находясь в крепости, написал замечательную повесть: «Что делать?» С художественной точки зрения повесть не выдерживает критики, но для русской молодежи того времени она была своего рода откровением и превратилась в программу... Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого, или какого-либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского. Она сделалась своего рода знаменем для русской молодежи, и идеи, проповедуемые в ней, не потеряли значения и влияния вплоть до настоящего времени» (П. Кропоткин. «Идеалы и действительность в русской литературе». СПБ, 1907, стр. 306—307).

В заключение приведем два свидетельства людей, испытавших на себе влияние романа.

Е. Н. Водовозова следующим образом описывает влияние «Что делать?»:

«В настоящее время трудно представить себе, какое огромное влияние имел этот роман на своих современников. Его обсуждали не только в собраниях, специально для этого устраиваемых, но редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех или других вопросах, в нем затронутых...

Громадное влияние романа Чернышевского объясняется тем, что автор его, самый популярный и уважаемый писатель того времени, явился в нем истолкователем стремлений и надежд, овладевших умами и сердцами «новых людей», и отнесся к ним с глубочайшею симпатиею и сочувствием. В этом романе сосредоточены не только основные идеи современников, но затронуты наиболее важные вопросы, стоявшие тогда на очереди. Не менее ценно было и то, что автор романа укреплял в юных сердцах пламенную надежду на счастье: каждая строка красноречиво говорила о том, что оно возможно на земле, что оно достижимо даже для обыкновенных смертных, если только они отнесутся к нему не пассивно, а всеми силами ума и сердца будут работать для его завоевания, памятуя о том, что оно должно итти рука об руку со счастьем ближнего...

Популярности романа помогало и то, что автор писал его в каземате Петропавловской крепости. Вдумываясь с благоговением в каждое слово высокочтимого автора, наши сердца обливались кровью при мысли, что лучший и умнейший из людей нашего времени, считавшийся истинным вождем молодого поколения, томится в тюрьме...» (Е. Н. Водовозова, «На заре жизни».—«Воспоминания», изд. «Academia». М.—Л., 1934).

Почти то же самое говорит Скабичевский:

«Я нимало не преувеличу, когда скажу, что мы читали роман («Что делать?») чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на устах, с каким читают богослужебные книги.

Влияние романа было колоссально на все наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм делался таким образом обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежды, жилищ и пр...

...обаяние вождя, каждое слово которого считалось в то время законом, удесятерялось ореолом мученичества героя, голос которого раздавался из мрака казематов Петропавловской крепости» (А. М. Скабичевский, «Литературные воспоминания»).

За исключением записи Штакеншнейдер, другие высказывания о «Что делать?» написаны в позднейшую эпоху. Тогда же, в 1863 г., и в последующие за ним годы, несмотря на благоговейность, с которой произносилось имя Чернышевского революционно настроенной молодежью, несмотря на то, что его «Что делать?» было для нее в течение десятилетий почти единственным источником социалистической пропаганды, в печати имя Чернышевского произносилось с опаской. В консервативной же и либеральной печати его имя, как несколько лет назад имя Белинского, просто замалчивалось. Чернышевский — «политический преступник». Он сидит в крепости, и лучше о нем не говорить. Даже ругать его не надо.

В сущности о «Что делать?», которое произвело такое потрясающее впечатление на читателей и оказало такое влияние на литературу и жизнь, после его выхода в свет писалось очень мало. Не следует забывать, конечно, что отношение печати к Чернышевскому диктовалось и временем. После польского восстания 1863 г. и выстрела Каракозова 4 апреля 1866 г. наступила реакция. Имя Чернышевского и его последователей связывалось с первым и вторым событиями. Началась борьба с «нигилизмом» во всех его видах и формах.

Именно в свете этой политики замалчивания неприятного и следует рассматривать факт отказа двух журналов напечатать статью Фета о «Что делать?».

[1] Роман «Что делать?» писался Чернышевским с 14 декабря 1862 г. по 4 апреля 1863 г. в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, где Чернышевский с 7 [19] июля 1862 г. по 20 мая [1 июня] 1864 г. находился в заключении. Пройдя через ряд цензурных мытарств, рукопись романа через петербургского обер-полицмейстера была передана родственнику автора А. Н. Пыпину, а от него поступила к Некрасову (чуть было не потерявшему рукопись) и была напечатана в «Современнике» за 1863 г., №№ 3, 4, 5.

Вскоре после напечатания в «Современнике» цензура спохватилась, роман «Что делать?» был запрещен и находился под запретом около пятидесяти лет. В 1905 г. вышло первое отдельное легальное издание романа. В 1906 г. он вошел в IX т. Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского — 10-томное изд. М. Н. Чернышевского. СПБ., 1906. До этого роман читался по «Современнику», книжки которого с «Что делать?» были редкостью, или по заграничным изданиям, а также по многочисленным рукописным копиям.

(См. ст. «Как писался роман «Что делать?» в книге: Н. Л. Бродский и Н. П. Сидоров, «Комментарий к роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?», изд. «Мир». М., 1933, стр. 17. О цензурной истории «Что делать?» см. ст. В. Е. Рудакова, «Последние дни цензуры».—«Исторический Вестник» 1911 г., № 9. О потере рукописи Некрасовым см.: Авдотья Панаева, «Воспоминания», 2-е изд., «Academia». Л., 1928, стр. 446—451).

[2] Все три эпиграфа взяты из «Очерков бурсы» Н. Г. Помяловского, третий очерк которых «Женихи бурсы» был напечатан в «Современнике» за 1863 г., № 4, стр. 559—587. Этим эпиграфом Фет намекает на происхождение Чернышевского из духовенства.

Интересно отметить, что критик «Северной Пчелы» Ростислав (псевдоним графа Феофила Матвеевича Толстого) (1809—1881), назвавший в своей рецензии «Что делать?» «безобразнейшим произведением русской литературы», главной причиной появления такого романа считал «плебейское» происхождение Чернышевского («Сев. Пчела», 1864, №№ 138—142).

[3] Это утверждение Фета неверно. Вряд ли бы сам Фет стал разбирать произведение, впечатление от которого ослаблено временем. Наоборот, влияние «Что делать?» с годами росло. Недаром Катков в 1879 г. посвятил роману отдельную статью в «Московских Ведомостях» (см. о ней ниже). Идеи Чернышевского вообще и идеи его романа в частности были действенными вплоть до распространения и утверждения марксизма.

[4] Цензор исполнительной полиции, тайный советник О. Пржецлавский, наблюдавший за «Современником», в своем отчете о содержании после 8-месячной приостановки «Современника» писал о «Что делать?»: «Это произведение действительно оказалось апологией образа мыслей и действий той категории современного молодого поколения, которую разумеют под названием «нигилистов и материалистов» и которые сами себя называют новыми людьми» (В. Е. Рудаков, «Последние дни цензуры».— «Исторический Вестник», 1911, № 9, стр. 982).

[5] Фет, как и другие реакционные критики Чернышевского, прекрасно понимал революционное содержание романа. С его определением «Что делать?», как системы целого учения, совпадает мнение Цитовича, который писал: «Что делать?»—не только энциклопедия, справочная книга, но и кодекс для практического применения «нового слова». В нем «новые начала» воплощены в лицах, осуществлены в поступках, с точным указанием средств проведения «начал» в действительность... Под формой романа (формой неуклюжей, крайне аляповатой) предложено полное руководство к переделке всех общественных отношений, но главным образом— к переделке отношений между мужчинами и женщинами» (П. Цитович, «Что делали в романе «Что делать?». Одесса, 1879, стр. IV — V).

[6] «Что делать?», 3-е изд. Предисловие, стр. 6. Все ссылки на роман в дальнейшем мы будем делать по след. изд.: Н. Г. Чернышевский, «Что делать?», 3-е изд.—«Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского в 10 томах», изд. М. Н. Чернышевского. СПБ., 1906 г., т. IX.

Следует отметить, что цитаты, приводимые Фетом из «Что делать?», берутся им не точно — имеются пропуски отдельных букв, слов, пропуски фраз не обозначены многоточием и т. п. Нами эти недостатки цитирования в каждом отдельном случае не оговариваются.

[7] Там же, стр. 7. Подчеркивания слов и фраз в статье всюду сделаны Фетом.

[8] «Один из светильников квази-нового учения» — это М. Е. Салтыков-Щедрин, бывший в начале 60-х годов одним из деятельных сотрудников «Современника». В своих воспоминаниях Фет так описывает этот эпизод:

«Однажды, когда я в Петербурге сидел у Тургенева, Захар войдя доложил: «Михаил Евграфович Салтыков». Не желая возобновлять знакомства с этим пи-

сателем, я схватил огромный лист «Голоса» и уселся в углу комнаты в вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой. Рассчитывая на непродолжительность визита, я не ошибся в надежде отсидеться. Между тем вошедший стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, при чем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги.

— Ну, а какая же участь ожидает детей? — спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом.

— Детей не полагается, — отвечал Щедрин.

— Тем не менее они будут, — уныло возразил Тургенев.

Когда по уходе гостя я спросил: «Как же это не полагается детей?»—Тургенев таким тоном сказал: «это уж очень хитро»,—что заставлял вместо х и т р о, понимать н е л е п о» (А. А. Фет, «Мои воспоминания». М., 1890, ч. I, стр. 367—368).

Фразу Салтыкова о том, что «детей не полагается», Фет принял за чистую монету. Между тем это, несомненно, ироническая фраза Салтыкова, которая не дошла ни до Тургенева, ни до Фета. Не исключена, впрочем, возможность, что весь эпизод вообще — выдумка Фета.

[9] «Что делать?», 3-е изд. Предисловие, стр. 7. Фраза «У меня нет ни тени художественного таланта» в устах Чернышевского совершенно искренняя. Через 14 лет после выхода в свет «Что делать?» он в 1877 г. из Сибири писал своим сыновьям:

«Вам известно, я надеюсь, что собственно, как писатель-стилист, — я писатель до крайности плохой. Из сотни плохих писателей разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни — совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель».

[10] Об отношении Чернышевского и «нигилистов» к А. С. Пушкину см. прим. ниже.

[11] «Мы знаем... презрение «Современника» и К-о» к искусству для искусства».

Фет имеет в виду взгляд «Современника» на литературу как на отражение жизни. Этот взгляд впервые выражен Чернышевским в его «Эстетических отношениях искусства к действительности» 1855 г. и в статье «Не начало ли перемены?» по поводу рассказов Г. Успенского, напечатанной в «Современнике» 1861 г. № 11. Затем этот взгляд последовательно проводился в журнале в ряде литературно-критических статей.

[12] «Что делать?», 3-е изд. Предисловие, стр. 7. В первой редакции романа «Что делать?», напечатанной в 1929 г. в изд. Политкаторжан, это место предисловия Чернышевский полемически заострил против писателей-эстетов. «Он— роман «Что делáть?» — слишком слаб сравнительно с произведениями людей, действительно одаренных сильным талантом, например с «Мещанским счастьем», «Молотовым», с маленькими пьесками Г. Успенского, но ведь ты, моя добрейшая публика, еще не разобрала, что эти вещи разнятся, как небо от земли, от восхищающих тебя сочинений прославленных твоих художников; с этими-то сочинениями ты смело ставь на ряду мой рассказ по достоинству исполнения, а по содержанию он выше их». Под «прославленными» и «великими» писателями Чернышевский в первую голову имел в виду Тургенева, Григоровича, Гончарóва, Толстого, Фета, Гоголя и др.

[13] «Что делать?» — гл. перв., I, стр. 12.

[14] Т а м ж е, гл. перв., IV, стр. 21.

[15] Т а м ж е, стр. 23.

[16] «Что делать?» — гл. перв., VI, стр. 26.

[17] Т а м ж е, гл. перв., VII, стр. 28.

[18] Т а м ж е, VIII, стр. 31.

[19] Трактир Палкина в Петербурге помещался на Невском проспекте (угол Невского и Владимирского).

[20] «Что делать?» — IX, стр. 34.

[21] Т а м ж е, — гл. втор., I, стр. 37.

[22] Прототипом героя «Что делать?» Лопухова был доктор Петр Иванович Боков, врач семьи Чернышевских. Боков был учителем М. А. Обручевой, с которой ради ее освобождения из-под родительской опеки вступил в фиктивный брак, превратившийся затем в действительный. Через четыре года Обручева оставила Бокова и вышла замуж за Сеченова.

[23] С.-Петербургская Медико-Хирургическая Академия (переименованная с 1881 г. в Военно-Медицинскую Академию) преобразована из С.-Петербургского Медико-Хирургического училища в 1799 г. и является одним из старейших и лучших высших медицинских учебных заведений в России.

Не случайно Чернышевский связывает своих героев именно с Медицинской Академией. В середине 50—60-х годов Академия была одним из самых главных научных центров развития естественных наук. В то время многие воспитанники Академии были посланы за границу и, вернувшись в начале 60-х годов, стали профессорами Академии, создав ей большую славу. В числе их были знаменитые врачи, профессора и ученые: Боткин (брат В. П. Боткина), Овсянников, Юнге, Неммер, Сеченов, впоследствии физиолог Павлов и др.

Кроме того, в 50—60-е годы Военно-Медицинская Академия была одним из главных центров революционного и радикального движения.

Именно поэтому Фет настойчиво указывает на неблагонадежность Военно-Медицинской Академии.

[24] Характеристика Лопухова — «Что делать?» — гл. втор., II, стр. 39—41.

[25] В лице Кирсанова Чернышевским изображен физиолог Иван Михайлович Сеченов (1829—1905), виднейший представитель естественно-научного материализма. Сеченов был женат на М. А. Обручевой. См. прим. выше.

[26] «Что делать?» — гл. втор., III, стр. 42.

[27] Там же, IV, стр. 44.

[28] Там же, стр. 45—46. Интересно отметить, что в первоначальной редакции «Что делать?» разговор Веры Павловны с Лопуховым о его невесте более развернут. У Лопухова не одна, а две невесты: одна — наука, другая «страшная невеста» — бедность, нищета. Вероятно по цензурным соображениям Чернышевский в окончательной редакции эту сцену исключил. См. «Что делать?», изд. Политкаторжан. М., 1929, стр. 79.

[29] «Что делать?» — гл. втор., VII, стр. 55.

[30] Виктор Консидеран (1805—1893)—французский социальный мыслитель, писатель и публицист, последователь Фурье, популяризировавший его учение в ряде книг. Его книга, которую Лопухов дал Вере Павловне: «Destinée sociale»— «Социальная судьба», 3 тома, написана в 1834—1844 гг.

[31] Гл. втор., VII, стр. 55. По поводу французских королей и Наполеонов у Чернышевского явная шутка. Сторешников путает Людовиков. Людовик XIV (1638—1715) — французский король в 1643—1715 гг., его сын Людовик XV (1710—1774) был королем в 1715—1774 гг. Наполеон I сел не на его место, а на место Людовика XVI (1754—1793), короля Франции, бывшего на престоле с 1774 г. и казненного во время Великой французской революции. «Нынешний» же Наполеон—Наполеон III (1808—1873), французский император с 1852 г., бывший на престоле после Людовика-Филиппа (1773—1853), французского короля в 1830—1848 гг.

[32] Имеются в виду книги Людвига Фейербаха (1804—1872) «Сущность христианства» 1841 г. и «Лекции о сущности религии» 1851 г.

[33] «Что делать?» — гл. втор., VIII, стр. 59.

[34] Там же, IX, стр. 61.

[35] Там же, VIII, стр. 60.

[36] Там же, IX, стр. 61.

[37] Там же, VIII, стр. 58.

[38] Там же, стр. 62.

[39] Там же, стр. 63.

[40] «Мнение, высказанное... юношей, касательно пользы подлогов, образующих и умножающих пролетариат, без которого революция невозможна», Фет, по всей вероятности, придумал сам.

[41] Поиски Вере Павловне места гувернантки и разговоры ее по этому поводу с Лопуховым, приводимые Фетом, см. там же, XI, стр. 66—69.

[42] Объяснение дамы, нанимающей гувернантку, с Лопуховым см. там же, XIII, стр. 71.

[43] Там же, стр. 73.

[44] «Первый сон Верочки», XII, стр. 69—70.

[45] XVIII, стр. 80.

[46] «Космогония» Фурье — это двухтомная книга Фурье «Трактат о домашней и земледельческой ассоциации» («Traité d'Association domestique-agricole»), напечатанная в 1822 г.

[47] «Что делать?» — гл. втор., XIX, стр. 85—86.

[48] Там же, XX, стр. 88—89.

[49] Там же, XXI, стр. 90—91.

[50] «Мерцалов... читал какое-то новое сочинение,—то ли Людовика XIV, то ли кого другого из той же династии». Сочинения Людвига Фейербаха «Лекции о сущности религии» 1851 г. или «Теогония» 1857 г.

[51] «Что делать?» — XXI, стр. 91—93.

[52] «Польский катехизис». Под этим названием была известна одна из прокламаций, относящаяся ко времени польского восстания 1863 г. Этот «катехизис»

состоял из 13 пунктов, в которых предлагалось всем «верным сынам» Польши для возрождения «возлюбленной отчизны» принять «для более единообразного действования, к достижению общей цели» следующие советы: 1) В забранных краях помещики должны стараться всеми мерами не выпускать из рук своих имений... русским же помещикам делать всякого рода неприятности... продающиеся же русские имения... приобретать в свое владение... 2) Так как русские... необразованы, ленивы и беспечны, то стараться полякам как можно более образовать себя специально, чтобы иметь... преимущество пред русскими в занятии лучших выгоднейших мест, и тем самым подчинить себе эту грубую нацию морально. 3) Людям, специально образованным, стараться непременно служить в России... служа на пользу своей родине... 4) Если ты намерен вступить в русскую службу, то служи только там, где можно рассчитывать на верный доход... Стараться всеми мерами... нажиться насчет русской казны... 5) Стараться достигнуть всякого влиятельного места... Для достижения этой цели всякие средства дозволительны... 6) В войске русском долго не служи, чтобы... не сделаться невольным орудием ненавистного твоему народу правительства исполнением его планов... 7) В гражданской же службе служи сколько достанет сил твоих и всходи на самые высокие ступени; отказывайся однако от занятия первых государственных должностей... 8) Будь во всем правою рукою твоего начальника и для достижения его доверия не щади ничего, брани в его глазах даже своих соотчичей и осуждай их действия... 9) Если заметишь вредного для твоей родины влиятельного члена в русском обществе, старайся всеми средствами приблизиться к нему... 10) Помни, что Россия — первый твой враг, а православный есть еретик... и потому не совестись лицемерить и уверять, что они твои кровные братья... 11) Между русскими говори всегда, что немцы — первые враги русских и поляков... 12) в обществах русских старайся более молчать и не высказывать своих убеждений, потому что это невыгодно... 13) Если имеешь дело с сильным и хитрым врагом, который тебя разгадывает, всеми средствами старайся его уничтожить...» Мы привели эту прокламацию с значительными сокращениями. Полностью см. ее в кн. «Польская эмиграция до и во время последнего мятежа», 1831—1863 гг., Вильна, 1866, приложение II, «Польский катехизис», стр. 399—404. Можно с полной уверенностью сказать, что прокламация эта является фальшивкой, выпущенной русским правительством.

[53] Девимовская пуля — производства мастерских парижского оружейника Девима.

[54] «Что делать?» — гл. вторая, XXIII, стр. 97.

[55] «Что делать?» — гл. третья «Замужество и вторая любовь», I, стр. 101.

[56] «У них две разных спальни, нейтральная столовая и один к другому не смеет входить неодетый». Интересно отметить, что прообразом семейной жизни Веры Павловны с Лопуховым Чернышевскому послужила его собственная жизнь с женой. В дневнике 1855 г. Чернышевский записал: «...она третьего дня сказала: у нас будут отдельные половины и вы ко мне не должны являться без позволения — это я и сам хотел бы так устроить, может быть думаю об этом серьезнее, чем она: — она понимает вероятно то́лько то, что и вообще всякий муж должен быть чрезвычайно деликатен в своих супружеских отношениях к жене...» (Н. Г. Чернышевский, «Литературное наследие», т. I, стр. 654—655). В письме к родным от 22 августа 1855 г. из Петербурга Чернышевский прилагал план своей семейной квартиры, из которого видно, что «нейтральная комната» у Чернышевских действительно была, и по воспоминаниям Ольги Сократовны, жены Чернышевского, последний не смел входить в ее будуар, пока она не разрешала ему этого (см. книгу «Любовь в жизни Чернышевского»).

[57] «Что делать?» — гл. третья, II, стр. 100—104.

[58] Монтионовская премия — премия имени французского филантропа барона Антуана-Оже Монтиона (1733—1820), учрежденные им при Французской Академии. Наиболее известная премия Монтиона давалась за добродетель.

[59] Гл. третья, II, стр. 104.

[60] Юстус Либих (1803—1870) — знаменитый немецкий химик, положивший начало основанию агрономической и физиологической химии. Переведенные на русский язык книги Либиха — «Искусственные удобрения или туки» 1850 г., «Новые письма о химии в ее приложениях к промышленности, физиологии и земледелию» 1855 г., «Письма Либиха о нынешнем состоянии сельского хозяйства» 1861 г. и «Письма о химии» 1861 г.—наделали в свое время много шуму. Особенные споры и суждения вызвала вторая книга, открывавшая перед русскими социалистами большие перспективы общественного переустройства. Чернышевский в 1860 г. писал о ней, что открытие Либиха приближает коренную реформу земледельческого производства.

Толки о «матерьях важных» — это, конечно, разговоры на политические темы — о мировых исторических событиях того времени.

[61] «Что делать?» — гл. третья, II, стр. 108—109.

[62] «Второй сон Веры Павловны», гл. третья, III, стр. 109—115.

[63] «Donc vivons» — поживем, доживем, припев французской песни «Ça ira», ставшей популярной во время Великой французской революции. До «Марсельезы» она была основным музыкальным символом революции.

[64] «Что делать?» — гл. третья, IV, стр. 117.

Чернышевский имеет здесь в виду книгу Луи Блана «Организация труда» («Organisation de travail», Paris, 1840). В дневнике от 30 июля 1848 г. он записывает: «...я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: каждый производит в меру своих способностей и получает в меру своих нужд — это необходимо должно быть, когда производство увеличится и собственности не будет в строгом смысле, потому что у каждого всегда будет все, чего ему захочется, и потому предварительно захватывать и хранить будет не для чего» («Литературное наследие», I, стр. 219—220). В дальнейшем Фет цитирует эту книгу.

[65] «Что делать?» — гл. третья, IV, стр. 121—122.

[66] Там же, стр. 124.

[67] Там же, стр. 121.

[68] Там же, стр. 121. «Третий сон Веры Павловны» — гл. третья, XVIII, стр. 153—158.

[69] «Травиата» — опера итальянского композитора Верди (1813—1901), написанная в 1853 г.

[70] Анджелика Бозио (1829—1859) — знаменитая итальянская певица (сопрано), певшая в сезоны 1856—1859 гг. в Петербурге.

[71] В сне Веры Павловны приведены строки из стихотворения А. С. Пушкина «Адели» («Играй, Адель») 1822 г. См. *А. С. Пушкин*, «*Полн. собр. соч. в шести томах*», 2-е изд. ГИХЛ, М.—Л., 1934, т. I, стр. 340, стих. № 223.

В начале «Что делать?» имеется еще одно упоминание о Пушкине. Во время ужина компании офицеров у француженки Жюли обсуждается увлечение Сторешникова Верой Павловной. Жюли говорит: «Остается вопрос важный: ее нога? — Ваш великий поэт Карасен... сказал, что в целой России нет пяти пар маленьких и стройных ног». «Жюли, — отвечает ей Серж, — это сказал не Карасен, и лучше зови его: Карамзин... О ножках сказал Пушкин, — его стихи были хороши для своего времени, но теперь потеряли большую часть своей цены» (Гл. перв., II, стр. 16) [разрядка моя — *Г. В.*].

Оба суждения приведены явно с полемической целью. Отношение Чернышевского к Пушкину является выражением общего взгляда разночинцев на литературу, как на отражение жизни. Еще в диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский, говоря, что «прекрасное есть жизнь», провозгласил принцип борьбы за «идейное искусство для жизни». Он проводил его затем в «Очерках гоголевского периода русской литературы» («Совр.» 1855—1856 гг.) и более резко и горячо в статье «Не начало ли перемены?» («Совр.» 1861 г.). В последней Чернышевский писал, что гоголевское направление в литературе не актуально. «Значительная перемена в обстоятельствах», т. е. отмена крепостного права и последовавшее за ним недовольство крестьянских масс, выдвинули иные боевые и революционные задачи для жизни и следовательно и для художественной литературы. Время как пушкинского направления в литературе, так и гоголевского направления — времени сострадательного, гуманного отношения к народу — прошло, идет революция и всякое слово должно быть революционным. С «партизанами прекрасных идей», со сторонниками «дворянской эстетики» и представителями теории «искусство для искусства» Чернышевский, Добролюбов и другие вели беспощадную борьбу.

Фет был типичным представителем «чистого искусства» и таким считал и Пушкина, явно фальсифицируя при этом действительные воззрения Пушкина.

Как можно судить по его многочисленным высказываниям, Чернышевский ценил Пушкина. Достаточно вспомнить написанную им в 1856 г. для юношества небольшую книжку... «Александр Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения», 2-е изд., без обозначения фамилии автора, СПБ., 1864. Но Чернышевский сражался с людьми, которые имя Пушкина провозглашали знаменем борьбы против идейности искусства.

[72] Выпады Фета против «Современника» и К-о», против «нигилистов» и «нигилизма», по всей вероятности, вызваны также критикой, которой он подвергся в 4-й книжке «Современника» за 1863 г. В статье «*Наша общественная жизнь*» Салтыков-Щедрин писал о Фете:

«Ни в ком, решительно ни в ком не найдет читатель такого олимпического безмятежия, такого лирического прекраснодушия. Видно, что душа поэта, несмотря на кажущуюся мятежность чувств, ее волнующих, все-таки безмятежна; видно, что поэта волнуют только подробности, вроде «коварного лепета», но что жизнь, в общем ее строе, кажется ему созданною для наслаждения, и что он дей-

ствительно наслаждается ею. Но увы! с тех пор, как г. Фет писал эти стихи, мир странным образом изменился! С тех пор упразднилось крепостное право, обнародованы новые начала судопроизводства и судоустройства, светлые струи безмятежия и праздности возмущены, появился нигилизм и нахлынули мальчишки. Правды на земле не стало; люди, когда-то наслаждавшиеся безмятежием, попрятались в ущелья и расселины земные; остался один «коварный лепет», да и тот совсем не такого свойства, чтобы его «из мыслей изгонять и снова призывать»... Вместе с людьми, спрятавшимися в земные расселины, и г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это, для тиснения, отправляет в «Русский вестник». Нынешние романсы его уже не носят того характера светлой безмятежности, которым отличалась фетовская поэзия в крепостной период; напротив того, от них веет грустью, в них слышится вопль души по утраченном крепостном рае».

[73] В статье «Наша общественная жизнь», напечатанной в «Современнике» 1863 г., № 1—2, Салтыков-Щедрин писал по поводу нигилистов: «Нигилист, не обозначая, собственно, ничего, прикрывает собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредет в голову благонамеренному». «Нигилист есть человек, беспрепятственно испускающий из себя какой-то тонкий яд, от которого мгновенно дуреют слабые головы мальчишек». «Нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего. Тявкнет ли на улице шавка — благонамеренные кричат: это нигилисты подучили ее! Пойдет ли без времени дождь, благонамеренные кричат: это нигилисты заговаривают стихии! Этого мало: летом 1862 года по случаю частых пожаров в Петербурге ходили слухи о поджогах — благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература — благонамеренные возопили: «Это они! Это нигилисты!» Далее Салтыков заявляет: «Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословие мальчишек — очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты, по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду. Нечто вроде плача Адама об утраченном рае... Дозволяю себе один, казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, вольтерьянством все то добро, которое ныне воочию совершается? И нельзя ли отсюда притти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими, более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром».

[74] «Что делать?» — гл. третья, XIX, стр. 160.

[75] Характеризуя Лопухова и Кирсанова, Фет возвращается к изложению пропущенных им мест в «Что делать?»—гл. третья, VIII, стр. 130—132.

[76] Гл. третья, XXII, «Теоретический разговор», стр. 165—170.

[77] «Рассказ Крюковой», гл. третья, XIII—XIV, стр. 140—147.

[78] Гл. третья, XXV, стр. 175.

[79] Там же, стр. 175.

[80] Жорж Занд (1804—1876). Ее роман «Жак» написан в 1835 г. Романы Жорж Занд оказали большое влияние на Чернышевского. См., например, запись в его дневнике от 29 апреля 1849 г. («Литературное наследие» т. I, стр. 420—421) и в дневнике от июля 1853 г., в записи «Литература».

[81] Характеристика Рахметова — гл. третья, XXIX, «Особенный человек», стр. 180—195.

Прототипом Рахметова, по всей вероятности, был знакомый Чернышевского саратовский помещик Павел Алекс. Бахметев, с которым Чернышевский поддерживал знакомство в Петербурге (см. «Литер. насл.» т. I, стр. 539) до его отъезда за границу. Бахметев славился своими странностями — «оригинальная особа: богатый человек и вдруг аскет». Он путешествовал по Волге и по разным городам и распространял взгляды и идеи, схожие с рахметовскими.

Отчасти образ Рахметова автобиографический. Полюбив женщину, Рахметов отказывается на ней жениться, так как такие люди, как он, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу со своею. Точно в таких же выражениях говорил Чернышевский о себе своей будущей жене Ольге Сократовне Васильевой (см. Дневник 1852 г., «Литер. насл.», т. I, стр. 556—557.

[82] Разговор Веры Павловны с Рахметовым,—гл. третья, XXX, стр. 196—206.

[83] «Что делать?» — гл. четвертая, I, стр. 212—221.

[84] В порядке курьеза интересно отметить, что мнение Фета по поводу «подлогов» героев в романе Чернышевского буквально совпадает с тем, что позднее писал об этом реакционный одесский профессор Цитович в своей книге «Что делали в романе «Что делать?»:

«Деяния» «деятелей» романа противозаконны и могут караться по ряду ста-

тей «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных». По «статье 1549 о похищении незамужней с ее согласия; ст. 1554 и 1555 о двоебрачии с подлогом и без подлога...; ст. 1566 о вступлении в брак без согласия родителей; ст. 1592, где говорится об упорном неповиновении родительской власти, развратной жизни и других явных пороках детей; ст. 998—999 о сводничестве мужьями своих жен; ст. 976—977 об употреблении чужих паспортов и т. д.». Героев Чернышевского также можно привлечь по ст. 11—15 того же уложения и по ст. 106, 1 ч., X т. Свода законов (Одесса, 1879, стр. 12).

[85] Гл. четвертая, II, стр. 221—225.

[86] Там же, III, стр. 226.

[87] Поэма Н. А. Некрасова «Коробейники» в 1861 г. напечатана во 2-м изд. «Стихотворений Н. А. Некрасова». СПБ. 1861 Полностью напечатана в «Современнике» 1861 г., № 10, стр. 599—620.

Некрасов был особенно любимым поэтом Чернышевского. Как лирика он ставил его выше Пушкина, Лермонтова и Кольцова.

[88] Гл. четвертая, XII, стр. 243—244 и XV, стр. 250.

[89] Это слова песни Маргариты из «Фауста» Гете в переводе Губера (см. Губер. Соч., 1859, т. II, стр. 194).

[90] «Милый друг, погаси поцалуи твои» — отрывок из стихотворения Кольцова «Песня» 1841 г., одного из любимых поэтов Чернышевского. См. Полн. собр. соч. А. В. Кольцова, акад. изд. СПБ. 1909, стр. 151.

[91] «Четвертый сон Веры Павловны» — гл. четвертая, XVI, стр. 251—265.

[92] Отрывок из «Майской песни» Гете, одной из любимых песен Чернышевского: «Как дивно сияет мне природа, как блестит солнце! Как смеется поле». В дневнике от 31 августа 1848 г. Чернышевский записал: «Лег на диван и стал петь, сначала «Ай, вдоль по улице молодчик идет»... «Ах, как пошел наш молодец»; хотел «Сени» после, когда кончу, но запелось уже по-немецки—Wie herrlich leuchtet, после песня Маргариты... Когда пел эти песни, понемногу расчувствовался так, что стали катиться слезы» («Литерат. насл.», т. I, стр. 259). См. также запись в дневнике Чернышевского от 1 марта 1853 г., где этой песней он выражает свою любовь к Ольге Сократовне.

[93] «Рыцарь Тоггенбург» — баллада Фридриха Шиллера (1759 — 1805) — по-русски см. перевод Жуковского. «Полн. собр. сочинений В. А. Жуковского», М., 1915, стр. 223.

Перевод стихов:

С мечом в сердце,
Ты с болью взираешь
На смерть твоего сына.

[94] «Будем жить с тобой по-пански» — предпоследняя строфа стихотворения Кольцова «Бегство», 1838 г. См. «Полн. собр. соч. А. В. Кольцова», акад. изд. СПБ. 1909, стр. 108—109.

[95] Цитируемая Фетом фраза из Островского — это реплика купца Карпа Карпыча о женщинах в пьесе «Не сошлись характерами! — Картины московской жизни», написанной Островским в 1858 г. Цитата приведена Фетом не точно. Карп Карпыч говорит: «Кабы на баб да не страх, с ними бы и не сообразил. Есть свое дело, так нет, давай лезть в чужое. Пристает к мужу: скажи ей свое дело и свою тайну, и прельщают его прелестию и лукавством и осклабляют лицо свое — и все на погибель. И кто им скажет свое дело, и они научают и соблазняют: делай не так, а вот так, по моему желанию. И многие мужи погибли от жен. Молодой человек, который неопытный, может польститься на их прелесть, а человек, который в разум входит и в лета постоянные, для того женская прелесть ничего не значит, даже скверно» (картина вторая, сцена II, «На галлерее»).

[96] «Что делать?» — гл. четвертая, XVII, стр. 265—266.

[97] «Письмо Катерины Васильевны Полозовой», XVIII, стр. 266—271.

[98] «Что делать?» — гл. пятая, I—II, стр. 273.

[99] Там же, VI, стр. 282.

[100] Там же, IX, стр. 283.

[101] В этих цитатах Фетом излагается содержание главок X, XI, XIII, XVIII, стр. 290—303.

[102] Шарль Фурье (1772—1837), учение которого в 30-х годах получило широкое распространение, изложил свои взгляды в книгах: «Теория четырех движений» 1808, «Всеобщее единство» 1822, «Новый мир» 1829. Оказал значительное влияние на Чернышевского.

[103] В 1830 и 1840 гг. по Франции и Америке было несколько неудавшихся попыток провести идеи Фурье в жизнь. В 1859 г. последователь Фурье французский социалист Жан-Батист Годен (1817—1888) основал во Франции ассоциацию, так называемый фамилистер, по типу фаланстера Фурье. То же пытался сделать в Америке Брук-Ферм.

[104] Фурьеристы издавали ряд периодических изданий. С 1834 г. выходил журнал «Фаланстер». В 1836 г. стал выходить журнал «Фаланга», который в 1843 г. сменился ежедневной газетой «Мирная Демократия».

[105] Луи Блан (1811—1882) оказал большое влияние на выработку мировоззрения Чернышевского. В дневнике 1848 г. Чернышевский записал: «По образу своих мыслей я сам не знаю, к какой именно партии социалистов-демократов я принадлежу, став не то черным, не то красным... Теоретически я всего более сочувствую Луи Блану, потому что он первый был моим учителем в этом, потому что через его беседы в Люксембурге я узнал все эти вещи...» («Литературное наследие», т. 1, стр. 498).

[106] К тем же выводам, что и Фет, приходит цензор Пржецлавский, наблюдавший за «Современником», который по поводу второй и третьей частей «Что делать?» в статье, представленной в цензурный комитет, писал:

«Вообще я должен сказать, что в новейших литературах, даже французской, мне не случалось читать ничего так наивно-имморального, как разбираемый роман... По всему следует заключить, что роман «Что делать?» есть пробный шар целой серии подобных произведений, где в легкой, популярной форме романических рассказов будут разбираемы далее догматы учения новых людей... которые на... брачный союз... смотрят... как на простой временный договор, который по произволу договаривающихся может быть уничтожен, расширен и всячески изменен. На место христианской идеи брака проповедуется чистый разврат, коммунизм мужчин и женщин... Едва ли после этого нужно прибавлять, что такое извращение идеи супружества разрушает и идею семьи, основы государственности, что то и другое прямо противно коренным началам религии, нравственности и порядка, и что сочинение, проповедующее такие принципы и воззрения, в высшей степени вредно и опасно» (В. Е. Рудаков. «Последние дни цензуры».—«Историч. Вестник», 1911, № 9, стр. 983).

[107] В 1879 г. известный реакционный публицист М. Н. Катков напечатал в «Московских Ведомостях» статью о романе Чернышевского. Приводим ее в кратком изложении:

«Теперь, — пишет Катков, — когда прошло более 16 лет со времени появления «Что делать?», роман становится не безинтересным историческим материалом. Это картины первых времен нигилизма, изображение его в некотором роде золотого века, периода сравнительной невинности...

Новая философия в «Что делать?», — пишет дальше Катков, — является еще опоэтизированной. Тем удобнее пресловутое произведение могло служить к выработке типа новых людей в его разновидностях.

«Что делать?» в своем роде пророк. Многое, что представлялось ему как греза, совершилось воочию: новые люди разошлись или сами собою, или разосланы на казенный счет по градам и весям, тщатся на практике осуществить уроки учителя, далеко превзойдя его надежды, еще запечатленные некоторой сантиментальностью». Катков возражает против утверждения, что русский нигилизм и социализм есть достояние каких-то недоучек из университетов. «И теперь, как прежде, беда именно в том, что Кирсановы могут быть профессорами, Мерцаловы иереями, их приятели мировыми судьями, членами судов, полковниками Генерального штаба, тайными советниками... Не гимназисты-недоучки... Каракозов и Соловьев. А великие вожди революции, живущие за границей, начиная с полковника Лаврова, бывшего профессора Военной академии...»

Катков подвергает резкой критике материалистическую философию романа. «Желаемое блаженство социалистов, — пишет он дальше, — недостижимо при нынешнем порядке вещей, со всем его вековым историческим хламом. Требуется его разрушить и направить на это доброе дело разорения все разнузданные инстинкты зверя...»

Катков приводит цитату из «Что делать?», где Чернышевский говорит, что хотел изобразить обыкновенных порядочных людей нового поколения, людей, которых он встречал сотни. Недавно родился этот тип. Он рожден временем. Шесть лет назад этих людей не видели, «еще немного лет и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканные, срамимые». Репликой по поводу этого места романа Катков заканчивает свою статью: «Уверение автора, что он тогда уже встречал «сотни» Маниловых нигилизма, дышит правдой. Но пророчество о согнании их со сцены не оправдалось. Этот тип разросся страшно, и Маниловы нигилизма составляют теперь главную часть нашей интеллигенции. Куда ни посмотришь, везде Лопуховы, Кирсановы и Веры Павловны. Коммуны незлобивых юношей и дев в венках и афинских костюмах, весело приходящих и уходящих, превратились в шайки чисто разбойничьего характера. Среди несметного множества Маниловых производят беспрепятственно свои операции Собакевичи нигилизма...». («Московские Ведомости», 1879, № 153, стр. 2).

СООБЩЕНИЯ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 60—80-х ГОДОВ

Сообщение М. Клевенского

После ареста Н. Г. Чернышевского 7 июля 1862 г. и в особенности после его отправки в каторжные работы, происшедшей в мае 1864 г., имя его на долгие десятилетия стало запретным для русской литературы. Такое абсолютное молчание было для писателя настоящим актом убийства. Правительство стремилось к тому, чтобы о Чернышевском совсем забыли в русском обществе. Это стремление оказалось в значительной степени утопическим: имя Чернышевского продолжало оставаться именем — хотя бы и не называемым вслух — великого вождя революционной демократии; его статьи, вырезанные из старых книжек «Современника», тщательно сохранялись и жадно читались молодежью. Правда, о Чернышевском нельзя было говорить в печати, зажатой в тисках царской цензуры, — но ведь, кроме легальной, существовала и зарубежная пресса, имевшая возможность говорить на любые темы полным голосом. В течение по крайней мере 30 лет только здесь, в зарубежной прессе (сюда еще нужно прибавить немногие издания, печатавшиеся в подпольных типографиях в самой России), продолжало жить имя Чернышевского. Для полного изучения литературы о великом революционном мыслителе представляет безусловный интерес произвести сводку и оценку того, что говорила нелегальная печать 60—80-х годов о Чернышевском. Хронологические рамки, в которых мы остаемся в своем обзоре, определяются моментами ареста Чернышевского и его смерти. Так как Чернышевский умер в конце 1889 г. (17 октября), то необходимо иметь в виду еще и 1890 год, так как отклики на смерть Николая Гавриловича появлялись в заграничной прессе уже в следующем году после его смерти. Весь материал расположен нами по десятилетиям—за шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы.

Естественно, что прежде всего приходится говорить о «Колоколе». Общеизвестны те отношения, которые создались между Герценом и Чернышевским к моменту ареста последнего [1]. Это были отношения полного расхождения; попытка договориться до чего-нибудь при личном их свидании еще в 1859 г. привела лишь к тому, что Чернышевский дал убийственную формулировку относительно своего собеседника: «Кавелин в квадрате — вот вам все». Положение Герцена осложнялось еще тем, что, помимо воспоминания о своих прежних несправедливых и бестактных литературных выступлениях против него, он в деле ареста Чернышевского испытывал некоторую долю личной вины: полная неконспиративность, с которой были вручены П. А. Ветошникову при его отъезде в Россию письма к разным лицам, привела к тому, что Ветошников был арестован в самый момент возвращения и на основании взятых у него писем были произведены массовые аресты в Петербурге. В частности, поводом для ареста Н. Г. Чернышевского послужили последние слова в письме Герцена к Н. А. Серно-Соловьевичу: «Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским или в Женеве, — печатать предложение об этом? Как вы думаете?» Герцен напечатал

свое предложение в «Колоколе», не получив никакого ответа от Серно-Соловьевича. Через несколько лет в «Былом и думах» (глава «Апогей и Перигей») Герцен изложил «печальное дело» отъезда Ветошникова и его ареста. Он заключает свой рассказ так: «Прощаясь с ним последним, я спокойно отправился спать, — так иногда сильно бывает ослепление, — и уже конечно не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне. Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени. Можно было остановить Ветошникова до вторника, отправить в субботу. Зачем он не приходил утром?.. да и вообще зачем он приходил сам?.. да и зачем мы писали? Говорят, что один из гостей телеграфировал тотчас в Петербург. Ветошникова схватили на пароходе; остальное известно». Эти слова Герцена звучат, как раскаяние в сделанной роковой ошибке. А из последствий ареста Ветошникова одним из самых ужасных был арест Чернышевского, — о его печальной судьбе должен был неоднократно вспоминать Герцен во время упомянутых им «ночей без сна».

Таким образом, и в чисто общественном подходе, и с точки зрения личной психологии арест Чернышевского, суд и приговор над ним не могли не вызывать самого напряженного внимания Герцена.

До момента приговора над Чернышевским, пока он находился под следствием и судом, Герцен, конечно, опасался повредить как-нибудь Чернышевскому, поднимая о нем речь в вольной прессе. Он выжидал, что сделает правительство со своим великим врагом. Поэтому в 1862—1863 гг. в «Колоколе» почти нет речи о Чернышевском. В № 141 (1862) буквально в одной строчке говорится об аресте его и Серно-Соловьевича. За весь 1863 г. в «Колоколе» можно найти лишь одно упоминание о Чернышевском — в сообщении из Петербурга в № 153. «Чернышевского не допрашивали еще (это уже не 24 часа, а больше 2400 часов!)... Намерение Валуева составить обвинительный акт из печатных статей этого замечательного публициста оставлено. Говорят, что одно лицо, некогда пользовавшееся честным именем, а теперь доверием государя (мы погодим печатать фамилью), представило в III отделение письма, писанные к нему Чернышевским — задолго до ареста» [2].

Когда приговор суда над Чернышевским стал известен, Герцен нашел сильные и горячие слова для выражения своего протеста. Его статья «Н. Г. Чернышевский» была помещена на первом месте в № 186 «Колокола»; заголовок ее был отпечатан крупнейшим шрифтом. «Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятьем это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей... А тут жалкие люди, люди — трава, люди — слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!.. И это-то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!..» Передав некоторые сообщения очевидца об экзекуции над Чернышевским на площади, Герцен заканчивает так: «Поздравляем всех различных Катковых — над этим врагом они восторжествовали! Ну что, легко им на душе? Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, проклятье и, если возможно, — месть!»

В следующем же номере в статье «VII лет» Герцен, характеризуя проявления безумной реакции, начавшейся с 1862 г., к самым возмутительным «неистовствам правительства и общества» причисляет расправу с Чернышевским. «Она [новая Россия. — *М. К.*] становится во весь рост только в Белинском и идет на наше русское крещенье землею, на каторгу в лице петрашевцев, Михайлова, Обручева, Мартьянова и пр. Ее расстреливают в Модлине и разбрасывают по России в лице бедных студентов, ее, наконец, эту новую Россию Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор». «Чернышевскому, Михайлову и всем друзьям нашим, стоявшим у позорного столба, носящим цепи, работающим на каторге», посвящена заметка Герцена в 188-м номере,

напоминающая о судьбе итальянского революционера Карло Пизакане, расстрелянного в 1857 г.

В последующие за отправкой в каторгу Чернышевского годы «Колокол» часто обращался к его личности и судьбе. Придавая большое значение опубликованию официальных документов по делу Чернышевского, Герцен в 130-м № «Колокола» напечатал уведомление, в котором просил всех честных русских людей прислать в «Колокол» негласную сенатскую записку. Сенатское определение было им получено и напечатано (хотя по неисправной копии) в № 193-м (1865). Герцен при этом воспользовался случаем, чтобы более точно выяснить свои отношения с Чернышевским, которые инкриминировались последнему. По поводу того, что в сенатском определении приписка Герцена в письме к Серно-Соловьевичу была изложена очень неправильно («Мы здесь или в Женеве намерены с Чернышевским издавать «Современник»), он в примечании сообщает, что с Чернышевским он никогда не находился в переписке, предложение издавать «Современник» за границей сделал открыто в «Колоколе» и, не получив никакого отзыва на это, не мог писать Серно-Соловьевичу так, как это говорится в сенатской записке[3].

Упоминания Герцена о Чернышевском в статьях и заметках «Колокола» за 1865—1867 гг. носили разнообразный характер. Фактических сведений о жизни Чернышевского в ссылке у Герцена почти не было. Сообщалось только в № 203 («Болтовня с дороги»), как слух, что Чернышевский и Михайлов очень больны. В статье «Иркутск и Петербург» (№ 21) в связи с этим говорится: «Михайлов умер, Серно-Соловьевич умер, Чернышевский болен... Какие же это условия, в которые ставят молодых и выносливых людей, что они не выдерживают пяти лет?!» В 1866 г., когда в высших сферах вновь возник вопрос о Чернышевском, в связи с выяснившимися разговорами членов ишутинского кружка об его освобождении, в «Колоколе» сообщалось (№ 221, «Из Петербурга»): «Муравьев требовал выписать из Сибири Чернышевского, на что государь не согласился» (разрядка Герцена. — *М. К.*).

Чаще всего Герцен называл имя Чернышевского тогда, когда настойчиво напоминал о юридическом преступлении, совершенном над ним при помощи подложных документов. В «Письме к императору Александру II» (№ 197) Герцен спрашивает: «Вы с беспримерной свирепостью осудили единственного замечательного публициста, явившегося в ваше время, а знаете ли, что писал Чернышевский, в чем состояло его воззрение, в чем опасность, преступность? Можете ли вы на этот вопрос ответить самому себе? Из нелепейшей сенатской записки вы ничего не могли понять». В № 203 свою статейку по поводу сообщений официальной русской прессы о «тульчинской агенции» и прикосновенности Герцена к поджогам в России Герцен кончает следующими словами: «Ну, господа, выходите из ваших нор и застенков! Полно играть в темную поддельными документами, как в деле Чернышевского!» Той же темы касается статья Герцена «Первое предостережение, первое запрещение, первый суд!» (№ 210): «В тот день, когда Чернышевский был взят без всякого юридического основания, освобожден сенатом от обвинений, принятых советом, когда он, невинный кругом, был выставлен к позорному столбу и сослан на каторгу, — без того, чтобы правительство сочло нужным или возможным сказать верноподданным, в чем его дело, — в тот день судьба «Современника» была решена». В 1866 г. Герцен не раз возвращался к делу Чернышевского в связи с происходившим тогда следствием и судом над Каракозовым и его кружком. Упоминание о фальшивых документах в деле Чернышевского сделано в заметке по поводу речи Муравьева (№ 219). Герцен отстаивал, что никакой революционной организации между членами ишутинского кружка не было. «Заговора не было!» — так озаглавлена заметка в № 229. Начинается эта заметка словами: «Не было, так как не было ни одного доказанного преступления со стороны Чернышевского и Серно-Соловьевича».

О мужественном поведении Чернышевского после ареста говорится у Герцена в «Письмах к противнику» (№ 193). «Что, энервированный Михайлов просил пощады? Обручев валялся в ногах царя? Чернышевский отрекся от своих убеждений? Нет, они ушли на каторгу со святою нераскаянностью».

«Колокол» обращал внимание на то, что жестокий приговор над Чернышевским, нашедший, естественно, полное сочувствие среди дворянской реакции, не вызвал никакого протеста в либеральных и радикальных кругах интеллигенции. С горечью говорит Герцен, что люди, рвавшиеся на деятельность, как будто бы готовые итти на каторгу с Михайловым и Обручевым, — стояли, сложа руки, когда Чернышевский был у позорного столба. «То же приходится сказать о нашем благородном обществе, о том, которое называло увлекавшихся юношей зажигателями, которое рукоплескало ссылке Чернышевского, казням поляков и посылало телеграммы Муравьеву и его литературному Дрягилю». («Письма к путешественнику», № 210). Последний упрек вызывает недоумение: какого же, собственно, другого отношения ожидал Герцен со стороны «благородного общества» к своему жестокому классовому врагу? Довольно наивно было с его стороны рекомендовать И. С. Аксакову и ему подобным, чтобы они если уж не протестовали, то по крайней мере молчали. «На каком основании вы, — речь тут, само собою, не исключительно об вас, а о большинстве людей, разделяющих ваши мнения, — с тою же несчастной опрометчивостью, с которой пожертвовали нас, пожертвовали, по голословным полицейским наветам, всякой идеей независимости и свободы мнений до такой степени, что не нашли не только ни протеста, ни сочувствия, но даже не нашли молчания, когда ссылали на каторгу и вязали к позорному столбу Михайловых и Чернышевских?» («Ответ И. С. Аксакову», № 240). Здесь налицо идеализация И. С. Аксакова, от которой Герцен никогда не мог отрешиться.

Оставляя в стороне еще несколько упоминаний о позорном столбе Чернышевского, о его каторге, сделанных Герценом по разным поводам, обратимся к самому значительному из высказываний Герцена о Чернышевском в «Колоколе». Оно дано в статье «Порядок торжествует» (№ 233—234). Здесь Герцен пытается определить общее значение Чернышевского в развитии революционной мысли в России. Рассказав о своей пропаганде идей «русского социализма», Герцен продолжает: «Рядом с нашим учением развивались, с огромным талантом и пониманием, теории чисто западного социализма, и именно в Петербурге. Это раздвоение, совершенно естественное, лежащее в самом понятии, вовсе не представляло антагонизма. Мы служили взаимным дополнением друг друга». Чернышевский, по словам Герцена, не принадлежал целиком ни к одной социалистической доктрине, но обладал глубоким социальным смыслом и давал глубокую критику современных общественных порядков. «Стоя один, выше всех головой, средь петербургского брожения вопросов и сил, ... Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, что им делать. Его среда была городская, университетская, — среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодования; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата, интеллигенции, из «способностей». Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унизительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их. Пропаганда Чернышевского была ответом на настоящие страдания, словом утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон литературе и провела черту между в самом деле юной Россией и прикидывающеюся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостнической. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали «дворян в мещанстве» и помещиков в оппозиции... В то

время как мы, следуя шаг за шагом за прениями редакционной комиссии, за введением постановлений 19 февраля и разбирая самые постановления, старались ввести в сельский переворот, в самые учреждения наиболее своего взгляда, в Петербурге, Москве и даже провинциях готовились фаланги молодых людей, проповедывавших словом и делом общую теорию социализма, которой частным случаем являлся сельский вопрос».

В этой статье Герцен старался воздать должное Чернышевскому. Кое-чего он не мог сказать из тактических соображений: подчеркивать роль Чернышевского, как главного идеолога крестьянской революции, было неудобно, так как этим Герцен оправдал бы до некоторой степени суровую расправу правительства с Чернышевским. Но одного стремления к справедливости и объективности было недостаточно: в общем характеристика Чернышевского вышла у Герцена односторонней и неудовлетворительной. Статьи Герцена придется еще коснуться дальше, в связи с выступлением по ее поводу «молодой эмиграции».

Кроме своих собственных статей, Герцен помещал в «Колоколе» и произведения других авторов, посвященные Чернышевскому целиком или частично. В № 189 дана статья (В. А. Зайцева) «Николай Гаврилович Чернышевский». Она, между прочим, показывает, что сведения о махинациях, употребленных для осуждения Чернышевского, стали известны в Петербурге уже в самое первое время после приговора (189-й № «Колокола» вышел 1 октября 1864 г.). Автор говорит о гнусной роли Костомарова, о подкупе пьяного проходимца Яковлева, о подделке в III отделении известного письма к Плещееву. В статье квалифицируется, как подделка, и прокламация «К барским крестьянам». Весьма возможно, что Зайцев знал об авторстве Чернышевского и говорил о подделке для того, чтобы доказать полную его невиновность в приписываемых ему деяниях. Далее в статье сообщается о мужественном поведении Чернышевского, о голодовке, к которой он прибегнул в крепости, чтобы добиться свидания с женою. В конце автор с большим подъемом говорит о Чернышевском, как о лучшем, глубоко чтимом учителе молодого поколения. «Наша скорбь о Чернышевском выше минутной торжествующей насмешки его врагов. Пусть нет у русского юношества лучшего его учителя, но его учение не могло пропасть даром. Мы горды дорогим правом звать себя его учениками, воспитанниками его школы; мы горды этим, потому что чувствуем, что можем служить народу хотя сотою долею его служения, и наше служение не будет бесплодно, — им руководит та искренняя любовь и то истинное уважение, которым он учил и с которым он относился к народу и молодому поколению, платившему ему горячим возвратом тех же чувств. Много же понесли вы утраты, братья-юноши! Безвременная смерть, в удушливой среде, сразила вашего неусыпного борца против темного царства! Вслед за другими славными братьями у вас вырвали и доблестного учителя!»

В следующем, 190-м, № напечатана статья о Чернышевском неизвестного нам автора. Статья является попыткой дать первый биографический очерк Чернышевского (не без ошибок, — напр., годом его рождения указан 1829-й; эта ошибка повторялась в литературе о Чернышевском и в дальнейшем, напр., у Плеханова). Автор считает свою попытку полезной ввиду запретности имени Чернышевского в России. «Несчастный мученик нелепого деспотизма принадлежит к числу таких редких явлений не только в нашей литературе, но и вообще в нашем обществе, что мы сочли не лишним записать наши сведения о его жизни, как ни малы они. В России теперь имя это запрещенное, и вряд ли возможно писать о Чернышевском не только как о человеке, но и как о литераторе; вероятно, скоро запрещены будут даже цитаты из его сочинений и ссылки на них». В конце статьи даются некоторые подробности об исполнении приговора и говорится о большом участии к его судьбе, проявленном в Петербурге, хотя и не без исключений.

Мимоходом упоминается Чернышевский в заметке Огарева в «Смеси» (№ 194) и в воспоминаниях М. К. Элпидина о Казанском заговоре (№ 206). Огарев го-

ворит по поводу предстоявшей реформы суда, что настоящий гласный суд с присяжными приговорил бы к каторге следователей и судей по делу Чернышевского, так как правительство сослало на каторгу человека, на которого оно само через особых агентов взвело ложные обвинения, на следствии не доказанные. Дальше передается анекдотический слух, что когда Александру II докладывали о девушке, бросившей цветы Чернышевскому на эшафот, то царь с гневом сказал: «Эту девченку следовало бы послать в монастырь — к кому сочувствие?.. мерзавец, которому я уменьшил 7 лет каторги, а он за это не хочет поблагодарить, причастившись святых тайн!»

В области слухов остается и Элпидин, сообщающий, что председатель следственной комиссии по делу о Казанском заговоре Жданов в 1863 г. хвастался арестованным: «Мы, слава богу, обзавелись верными людьми. Теперь наша полиция не уступит наполеоновской, у нас и в вагонах на железной дороге, и заграницей есть свои люди. Вот Чернышевский, хотя умный, каналья, и язвительно смеется, а запрятали».

Вот все существенное, что можно найти о Чернышевском в «Колоколе» 1864—1867 гг. Можно сказать, что Герцен уделял Чернышевскому не мало внимания. В своих собственных высказываниях Герцен стремился быть объективным и придавал большое историческое значение деятельности Чернышевского, хотя по существу она была ему враждебна. Письма Герцена 60-х годов дают богатый материал, говорящий о том, что он до конца относился отрицательно к Чернышевскому, ярко выраженному представителю другого класса, родоначальнику крайнего революционного направления, с которым боролся Герцен. С большим вниманием вчитывался Герцен в роман «Что делать?», находя, что этот роман «удивительный комментарий ко всему, что было в 1866—1867 гг.» (он имел в виду свои столкновения с молодой эмиграцией); он возмущался многим в романе и в то же время находил в нем «бездну хорошего». В августе 1867 г. у него была даже мысль написать статью о «Что делать?», но он не осуществил этого намерения, «чтобы не раздражать его стаю». Однако, все эти определенно враждебные Чернышевскому настроения и мысли остались в пределах частной переписки; в том же, что Герцен в это время печатал, он был вполне корректен относительно своего великого противника, погубленного самодержавием, хотя и не мог внутренне понять всего громадного значения деятельности Чернышевского.

Обратимся к другим заграничным периодическим органам 60-х годов. В 1862—1864 гг., кроме «Колокола», за границей выходили еще издания П. В. Долгорукова и Л. П. Блюммера. Характерно, что в «Послужном списке русского правительства за шесть месяцев, с мая по октябрь» в «Листке» за 1862 г. (№ 1) Долгоруков, пересчитавший в 30 пунктах разные преступления правительства (в том числе не мало и разных пустяков), ни словом не обмолвился об аресте Чернышевского. Есть только такой общий пункт: «Наполнение казематов Петропавловской крепости лицами, все преступление коих состоит в том, что они не любят насилия и преступлений и желают законного порядка вещей». Имя Чернышевского названо у Долгорукова уже только в 1863 г. («Листок», № 4), где в постскриптуме к статье о военном министре Милютине сообщается полученное из Петербурга известие, что Милютин представил правительству частные письма, полученные им за несколько лет до того от Чернышевского.

В «Свободном Слове» Блюммера (1862, т. I, вып. 5—6) имя Чернышевского стоит первым в приведенном списке арестованных. По поводу этих арестов в «полученном редакцией письме» говорится, что правительство вновь начало давить всякое проявление общественной свободы. «Оно уже закрыло Шахматный клуб, закрыло читальни и воскреcные школы, произвело множество арестов и, быть может закрыло по делом, арестовало по необходимости (разрядка наша.—(*М. К.*) как по необходимости, следуя общественному мнению, объявило военное положение»,

В 1864 г. Блюммер был редактором «Европейца». Передовая этого журнала в № 9 касается, между прочим, и приговора над Чернышевским. «Новая политическая жертва! По полученным известиям, от которых у каждого честного человека сердце обольется кровью, Н. Г. Чернышевский приговорен к каторжной тюрьме на продолжительный срок. В чем состоит его вина, за что он должен вытерпеть десятилетнюю [sic!] каторгу — этого не знают сами его судьи, руководившиеся в своем обвинительном приговоре только одним побудительным мотивом: необходимостью признать виновным человека, который имел слишком большое влияние на общество. Правительству неловко было признаться, что Чернышевский беспричинно сидел полтора года в каземате Петропавловской крепости; правительству неприятно было, что талантливый писатель, испытавший на себе все прелести произвола, снова начнет бичевать этот произвол, — и вот человек, который в Англии, в Бельгии, в Италии, даже в Пруссии, даже в Австрии, даже во Франции пользовался бы величайшим почетом и был бы одним из представителей народного величия, — этот человек отрывается от общества, от своей полезной деятельности и, как величайший преступник, наказывается наравне с разбойником! Бедная Россия!» Блюммер доказывает, что если бы правительство признало свою ошибку и освободило Чернышевского, то оно этим не уронило бы, а подняло свой авторитет. Дальше «защиту» Чернышевского Блюммер ведет весьма своеобразными аргументами. По поводу того, что Чернышевскому ставилось в вину направление его статей в «Современнике», он говорит: «Мы сами далеко не разделяем направления автора статей, вроде «Законодательство и экономическая деятельность», в которых Чернышевский требует сильнейшего вмешательства правительства в общественные дела, — но именно по этому-то обстоятельству мы и не можем не сказать, что едва ли направление редактора «Современника» могло казаться правительству вредным или опасным. Напротив, никто не поддерживал так сильно, как он, атрибуты и прерогативы правительства. В то время, как г. Катков в компании с г. Краевским горячо стояли за уничтожение правительственной силы, один Чернышевский защищал значение центральной власти, и было даже время, когда г. Громека послал ему только что оставленные им свои собственные жандармские принадлежности[4]. Чернышевский, беспощадно осмеяв всех доктринеров английского толка, отдавал в распоряжение правительства страшную власть. Положим, что редактор «Современника» делал это не из особенной любви к русским управителям, не из поклонения произволу, но bon gré, mal gré он был столпом правительства в то время, когда нынешние гувернаментальные писаки считали своею святою обязанностью подкапывать власть». К этому Блюммер прибавляет еще, что обвинение Чернышевского было неправильно потому, что его статьи печатались с разрешения цензуры. «Все свои статьи он печатал с необходимою цензурною санкциею — и, в свою очередь, было время, когда Чернышевскому позволяли говорить более, чем другим, — конечно потому, что слово его и его мысли находили полезными. Каким же образом сегодня можно наказывать то, что вчера считалось достойным похвалы?»

Когда Блюммер писал свои глупости и гнусности, изображая Чернышевского, как баловня цензуры и вообще как persona grata для русского правительства, он не был оригинален: в легальной журналистике «либеральные» противники Чернышевского не раз проводили мысль, что его направление на-руку реакции. К сожалению, первым проявил эту тенденцию Герцен, еще в 1859 г. в своей статье «Very dangerous» предупреждавший Чернышевского и Добролюбова, что они могут «досвистаться» до Станислава.

Не представляет особого интереса то, что говорится о Чернышевском в журнале Элпидина «Подпольное Слово» (статья Элпидина «Каракозов и Муравьев», № 1, 1866). Здесь указано, что Чернышевский поплатился за то, что безбоязненно критиковал принятые способы «освобождения» крестьян, доказывал вред преследования мысли и пр.

Совершенно особняком стоит оценка, данная Чернышевскому в бакунинско-нечаевской «Народной Расправе» («Взгляд на прежнее и нынешнее понимание дела» 1863, № 1)[5]. Статья проникнута самым отрицательным отношением к социалистам-теоретикам. Мужики, — говорится там, — сумеют устроиться гораздо осмысленней и лучше, чем то могло бы выйти по всем теориям и проектам доктринеров-социалистов, навязывающихся народу в учители и в распорядители. Народному не испорченному цивилизацией пониманию совершенно ясно стремление этих непрошенных учителей оставить в будущем общественном строе себе и подобным себе теплое местечко под флагом науки, искусства и т. п. Если подобные стремления даже искренни у представителей современной цивилизации — от этого народу не легче. «В казацком кругу, устроенном Василием Усом в Астрахани, по выходе оттуда Степана Тимофеевича Разина, идеальная цель общественного равенства неизмеримо более достигалась, чем в фаланстерах Фурье, институтах Кабе, Луи Блана и прочих ученых социалистов, более, чем в ассоциациях Чернышевского». Для всех революционно настроенных шестидесятников имя Чернышевского было чтимым и священным, а его «ассоциации» являлись прекрасным символом будущего социалистического счастья; только Нечаев с Бакуниным решились распространить свою всеразрушающую критику современного общественного строя и на Чернышевского и предпочесть его ассоциациям казачий круг астраханских разинцев.

Других высказываний о Чернышевском в заграничной нечаевско-бакунинской прессе не было, если не считать упоминания о подлогах и подкупленных лжесвидетелях в деле Чернышевского (письмо Нечаева к редакторам французских газет — «Колокол», 1870, № 1).

Много говорится о Чернышевском в заграничном журнале конца 60-х годов «Народное Дело» (1868—1870). В редакционную группу первого номера этого издания входил Бакунин, но затем он вышел из состава сотрудников журнала, и главным его руководителем стал Н. И. Утин, образовавший со своей группой русскую секцию I Интернационала. Борьбу за принципы Интернационала, как он их понимал, кружок Утина соединял с преклонением перед Чернышевским; у Чернышевского Утин особенно ценил то, что он доказывал возможность непосредственного перехода русской крестьянской общины в социалистическую форму.

Изложение своего принципиального отношения к Чернышевскому «Народное Дело» дало, главным образом, в статье «Русское социально-революционное дело в его соотношении с рабочим движением на Западе» (1863, № 7—10). Основная мысль статьи — сближение между движением пролетариата Западной Европы и русским крестьянством, с социалистическими тенденциями его общины. Эпиграфом к статье взяты две цитаты из Чернышевского. Роль Чернышевского в развитии русской революционной мысли представляется автору так: «И следующие за петрашевцами пропагандисты объясняют нашему юношеству, нашему мозговому пролетариату Западные учения, разъясняют движение народного пролетариата на Западе в 48 и 49-м годах и, вместе с тем, при первой вести об эмансипационных тенденциях правительства..., эти пропагандисты призывают общественное внимание на социалистические основы русского крестьянского быта и ведут борьбу с мещанскими и дворянскими тенденциями жалких подражателей западных экономистов. Надо ли говорить, что мы говорим здесь преимущественно о Чернышевском, надо ли упоминать здесь мимоходом то, что требует более серьезного объяснения: что Чернышевский давал обстоятельное, критическое знакомство с западными теориями и указывал на их реальную связь и применимость к нашему народному быту, основал целую новую школу, к адептам которой причисляем мы и себя». В статье приводится много выдержек из статей Чернышевского об общинном землевладении. Молодым читателям-друзьям автор настоятельно рекомендует перечитать все эти статьи и внимательно в них вдуматься.

Сравнивая статью «Народного Дела» со статьей Герцена «Порядок торжествует», мы видим, что оба автора видят в Чернышевском главного распространителя идей западного социализма среди русской демократической молодежи. Но в то время, как Герцен этим и ограничивается, «Народное Дело» добавляет, что Чернышевский нашел в России реальную почву для осуществления социализма в крестьянской общине; именно вследствие этого Чернышевский и является основателем новой школы.

В том же № 7—10 «Народного Дела» помещен «Запрос А. Герцену, Н. Огареву и М. Бакунину» с протестом против цитированной выше статьи «Народной Расправы», «где поносится Чернышевский и вся свободолюбивая деятельность как его, так и его сподвижников, где поносится «Народное Дело», вся эмиграция и все эмигранты». Авторы «Запроса», конечно, знали, что Герцен не имел никакого отношения к названной статье.

Следует особо отметить, что в 1-м № «Народного Дела» за 1870 г. было напечатано известное письмо от Генерального Совета Интернационала за подписью К. Маркса, в котором, между прочим, говорилось: «Такие труды, как Флеровского и вашего учителя Чернышевского делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении века».

По поводу выхода в свет отдельных томов собрания сочинений Чернышевского в «Народном Деле» помещены рецензии (1869, № 7—10 и 1870, № 4) с горячим приветствием новому изданию. В первой из них указано, что сочинения Чернышевского не только важны для исторического изучения эпохи 60-х годов, но и представляют вполне современный интерес. Молодому поколению еще раз дан совет серьезно изучать Чернышевского.

Лишним поводом вспомнить о Чернышевском были для «Народного Дела» студенческие дела 1869 г. В № 4—6 за этот год о Чернышевском в этой связи говорится в двух заметках. В одной цитируется, как вполне современная, его статья о студентах «Научились ли?» («Студенческие дела и профессорско-полицейские беспорядки»); в другой, написанной по поводу юбилейного торжества Петербургского университета, сказано несколько слов о тяжелой судьбе одного из лучших питомцев этого университета.

До сих пор мы касались только периодических зарубежных изданий. Из отдельных книг и брошюр 60-х годов, затрагивающих тему о Чернышевском, на первом месте нужно поставить известную брошюру А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» (Женева, 1867). Эта остро полемическая брошюра, написанная в ответ на статью Герцена «Порядок торжествует», является самым ярким моментом в истории расхождения Герцена с «молодой эмиграцией».

Брошюра Серно-Соловьевича очень часто цитировалась и разбиралась в исторической литературе. Мы приведем из нее лишь те места, которые имеют более непосредственное отношение к статье Герцена. «Я промолчал бы,—говорит Серно-Соловьевич,—даже на ваши усилия выставить себя основателем какой-то школы [??], основателем русского социализма, на ваши усилия заставить поверить неопытных пижонов и незнакомых с делом, будто Чернышевский развивал только теории чисто западного, городского социализма (понимаете-де, что Чернышевский последователь западных социалистов, так, ничего себе человек, а вот я-то, смотрите, каков, удивил красотой Европу, выдумал свою собственную штуку), что среда Чернышевского состояла только из пролетариев (да, действительно, из пролетариев, и Чернышевский так мало успел еще проникнуться вашим учением, что видел даже и не в собственнике полного человека). Я с усмешкою оставил бы «Колокол», если б в статье «Порядок торжествует» было только непонимание учения школы Чернышевского, только незнакомство с его статьями, незнание русской журналистики. Я не спросил бы даже вас, когда и где так умно и талантливо, без фраз и стонов, с такою полнотою и пониманием дела разрабатывался крестьянский вопрос, с точки зрения изображенного будто бы вами

так называемого русского социализма, — как в «Современнике» и Чернышевским...» Серно-Соловьевича, по его словам, заставило заговорить утверждение Герцена, что между ним и Чернышевским не было антагонизма и что, напротив, они служили взаимным дополнением друг другу. После ряда негодующих восклицаний по этому поводу Серно-Соловьевич заключает: «Между вами и Чернышевским нет, не было да и не могло быть ничего общего. Вы два противоположные элемента, которые не могут существовать рядом, друг возле друга; вы представители двух враждебных натур, не дополняющих, а истребляющих одна другую, до того расходитесь вы во всем — от миросозерцания до отношения к самим себе и людям, от общих вопросов до малейших проявлений частной жизни». Дальше следует обширная сравнительная характеристика Чернышевского и Герцена, уничтожающая для второго, основанная главным образом на сопоставлении их личных человеческих свойств. Заключительный пункт этой характеристики таков: «Чернышевский основал действительную школу, он воспитывал людей, он образовал целую фалангу людей, — где ваши последователи, я не знаю. Я буду к вам милосерднее, чем сам бог был к Содому и Гоморре, и с своей стороны готов простить вам многое, если вы укажете мне хотя на одного, единственного из своих учеников».

По существу Серно-Соловьевич был прав в своем выступлении против Герцена. Он совершенно верно и с надлежащей силою указал, что молодое поколение шло за Чернышевским. Напоминания Герцену о его прежних несправедливых выступлениях против Чернышевского, сделанные в брошюре в очень острой форме, были очень уместны. Прав был Серно-Соловьевич и тогда, когда он с негодованием указывал, что Герцен, ссылаясь на свои собственные статьи по крестьянскому вопросу в эпоху подготовки реформы, обошел молчанием знаменитые статьи Чернышевского на ту же тему. Прав он был по существу и в остальном. Статья страдает только излишней раздраженностью, склонностью к преувеличениям, порой вульгарностью тона («а вот я-то, смотрите, каков, удивил красотой Европу»), а главное тем, что Серно-Соловьевич переносит центр вопроса в область критики личных свойств Герцена. Эти особенности выступления Серно-Соловьевича объясняются, по всей вероятности, его нервным состоянием, приведшим несколько позже к роковому концу.

Совершенно правильно по поводу брошюры Серно-Соловьевича говорится в его некрологе в «Народном Деле» (1863, № 7—10): «Мы жалели и жалеем, что Соловьевич примешал к делу тон личной насмешки и пояснения домашнего характера; мы жалеем между прочим и потому, что в аргументации, основанной на печатных фактах, у Соловьевича не могло быть недостатка; и, наконец, такая аргументация была бы гораздо сильнее. Тем не менее брошюра А. Соловьевича имела свое серьезное значение; в ней выразился протест ученика Чернышевского против неверного толкования и сопоставления, в ней сказалось неизменное отношение к Чернышевскому».

В следующем (1868) году Серно-Соловьевич выпустил вторую полемическую брошюру — «Миколка-публицист», вызванную возникшими в среде молодой эмиграции раздорами. Брошюра написана в ответ на одну статью Николадзе об эмиграции. Мы упоминаем об этой брошюре потому, что в ней также отчасти идет речь о Чернышевском, а именно — автор издевается над тем, что Николадзе якобы приравнивал себя к Чернышевскому. «Прочел, например, Миколка в «Что делать?», что рекомендовал Лопухов Вере Павловне «Destinée sociale». Добыл себе Миколка Консидерана. Втемяшил себе Миколка «очаровательную книжку» да и думает он такую думу. Пишет Фурье, что не надо подавлять страстей, ну, и я начну обувать всех, потому что выходит, что это уж страсть-то моя такая... Удивлялись при Миколке уму Чернышевского. Чем же, рассуждает про себя Миколка, я не Чернышевский? Он писал критические статьи — и я стану писать критические статьи. Он читал очаровательные книжки — и я стану читать очаровательные книжки. Он ходил сгорбившись — и я стану ходить сгорбившись,

Он прибавлял к словам: «нуте-с» и «ну-с» — и я стану к словам прибавлять «нуте-с» и «ну-с». Он ковырял в носу — и я уже давно ковыряю в носу. Он говорил, что не вполне языком владеет — и я тоже им совсем не владею. Он в статьях обращался к читателю — и я стану в статьях обращаться к читателю... Произнес Миколка сие стихосложение, посмотрел Миколка на себя в зеркало: совсем, говорит, Чернышевский я».

Серно-Соловьевич не всегда был такого низкого мнения о «Миколкиной» публицистике. В памфлете против Герцена он писал: «Вы ни слова не сказали о такой умной брошюре, как брошюра Никифора Г*** по поводу выстрела 4-го апреля. Вы умолчали о ней, потому что и она говорит, что молодое поколение пошло за Чернышевским и Добролюбовым». Под псевдонимом Никифора Г*** скрывался Николадзе; брошюра его называлась: «Правительство и молодое поколение. По поводу выстрела 4 апреля 1866» (Женева, 1866).

В своей книжке Николадзе выясняет сущность стремлений «молодого поколения» и ту роль, которую играл среди него Чернышевский. Молодежь стремилась к общему благу, понимая под ним такое общественное устройство, при котором было бы возможно полное удовлетворение физических и умственных потребностей отдельных членов общества и таким образом было бы обеспечено свободное развитие всех способностей. Правительство оказалось враждебным этим стремлениям. В своей борьбе с правительством молодое поколение, с Чернышевским во главе, путем открытой литературной пропаганды отстаивало новые начала общественной жизни. Ничего «ехидного», скрывавшегося в потемках, в деятельности кружка Чернышевского за весь период 1856—1862 гг. не было. «В чем же состояли противозаконные поступки кружка Чернышевского, навлекшие на него правительственный гнев? В том, что этот кружок поддерживал право крестьян на землю, что он отстаивал общинное владение против личной поземельной собственности, что он старался распространить в обществе сознание необходимости собственной инициативы, что он возбуждал в отдельных индивидуумах мысль о личной независимости и сознание человеческого достоинства, в том, наконец, что он ставил выше всего сознание общего блага и во имя его осмеивал всякого рода тунеядство и эксплуатацию... В проповедывании этих оснований общественной нравственности и состояла вся преступность так называемых «социалистических и материалистических учений», проповедывавшихся кружком Чернышевского... Правительство видело в работе этого кружка прямой призыв к возмущению, тогда как вся эта работа резюмируется следующими словами Чернышевского: «Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее будущего». Главнейшее средство к достижению предположенной цели состояло, по мнению литературных деятелей этой эпохи, в нравственном развитии [разрядка подлинника. — *М. К.*] общества. Все вопросы, относящиеся к области чисто политических прений, и в особенности вопросы о форме правления, тщательно устранялись, потому что молодое поколение находило бесполезным заниматься ими, когда общество еще не подготовлено к пониманию простейших оснований общественной науки. Таким образом, все внимание новой литературы было обращено на развитие нравственных понятий читающего люда; для того, чтобы этот последний, в свою очередь, мог развить массы, не имевшие возможности читать и мыслить над прочитанным».

Следует несколько остановиться на этом толковании деятельности Чернышевского. Либо Николадзе в своем стремлении доказать полную невинность Чернышевского с точки зрения законов «перестарался», либо, если он говорил искренно, у него были совершенно неправильные взгляды на роль Чернышевского. Деятельность крайней левой группировки русской общественности 60-х годов представлена здесь на подобие какого-то ланкастерского кружка взаимного обучения

новым взглядам. Даже общие социалистические и материалистические учения, принятые в кружке, оказываются только «так называемыми социалистическими и материалистическими учениями». Николадзе приводит очень известное место из «Что делать?», где Чернышевский призывает молодежь любить светлое будущее и стремиться к нему, не намекая на необходимость революционной борьбы за это будущее, — но ведь это обращение было рассчитано на самые нетронутые и широкие круги молодежи, которые нужно было вовлечь в сферу влияния революционеров. В том же самом «Что делать?», помимо молодежи, радующейся первым появившимся в ней росткам сознания, выведен и Рахметов, готовящий себя к трудной роли вождя будущего восстания. В конце концов, вряд ли Николадзе действительно так плохо представлял себе революционную роль Чернышевского, якобы сознательно избегавшего в своей пропаганде вопроса о правительстве [6].

Некоторые биографические сведения о Чернышевском можно найти в совершенно забытой книжке «На смерть М. Л. Михайлова», изданной в 1865 г. в Женеве (перепечатана в настоящем номере «Литературного Наследства»). Там говорится, что в университете Чернышевский был верующим «до фанатизма». Михайлов, живший одно время вместе с ним, гораздо раньше него отделался от всякой религиозности и оказал в этом отношении влияние на Чернышевского. «*Чернышевский впоследствии всегда говорил, что первый толчок на пути к развитию был ему дан Михайловым*». С другой стороны, для Михайлова, склонного по временам к апатии и отчаянию относительно будущих судеб России, была спасительною поддержкою гениальная энергия Чернышевского.

Из того, что было сделано русской эмиграцией 60-х годов для распространения взглядов Чернышевского, особо важное значение имеет осуществившееся за границей издание его сочинений. Прежде всего был издан в 1867 г. роман «Что делать?». Затем в течение 1868—1872 гг. вышло 5 томов собрания прочих его сочинений (V том был издан потом вторично в 1879 г.). Издание было предпринято кружком лиц, из которых главную роль играли Элпидин и Николадзе; в начальный период активную помощь оказывал и А. А. Серно-Соловьевич. В начале 70-х гг. к этому изданию имел отношение кружок чайковцев.

При отдельных томах собрания сочинений (за исключением 2-го) даны предисловия от издателей, иногда довольно значительные по размеру. Остановимся вкратце на их содержании.

В предисловии к «Что делать?» громадный успех литературной деятельности Чернышевского среди молодежи объясняется, между прочим, и тем, что Чернышевский не ограничивался критикой и отрицанием существующего, но и давал положительные указания, чем же заменить негодное старое, он выработал определенную программу действий для молодежи. Например, что касается собственно романа «Что делать?», Чернышевский не только критически отнесся к ряду существовавших в литературе образов, как Рудин, Бельтов, Инсаров, Базаров и др., но и вывел «новых людей» с совершенно конкретной программой действий. И однако, говорит автор, среди молодежи с каждым днем все сильнее наблюдаются величайшие уклонения от программы Чернышевского, извращения его взглядов. «А между тем цель Лопуховых и Кирсановых вовсе не так запутана и замаскирована, чтоб ее нельзя было увидеть из первых же слов Чернышевского. Не зависеть от других, не сидеть на чужой шее и не терпеть, чтобы другие взбирались на нее, сохранять свое человеческое достоинство, добиться такого порядка вещей, при котором бы все могли жить таким же образом — вот и все» [7]. Если от такой простой и ясной программы наблюдаются каждый день самые уродливые отклонения у большинства [разрядка автора.—*М. К.*] молодого поколения, то остается предположить, что это большинство просто не имеет возможности познакомиться с сочинениями Чернышевского. В виду этого издатели придают особенное значение предпринятому ими собранию сочинений Чернышевского.

В I томе сочинений Чернышевского (1868) были помещены его критические статьи. Автор предисловия (тот же Николадзе) сравнивает роль Чернышевского в русском обществе с ролью Лессинга в немецком: оба они поставили своей целью изменение взглядов и понятий окружающего общества и оба начали с вопросов, больше всего доступных этому обществу и интересовавших его. Николадзе находит некоторое сходство современного момента с той эпохой, когда впервые начал писать Чернышевский. т. е. с началом 50-х годов: современная молодежь, как это было и после 1848 г., разочаровавшись в попытках переустройства общественной жизни, стала уходить в область узких личных интересов. Поэтому «уроки гражданского развития», заключающиеся между строк в ранних статьях Чернышевского, сохраняют до известной степени интерес современности.

В 1869 г. вышли II том (Литературная критика) и III том (Дополнения и примечания к Миллю). В предисловии к III тому сказано, что еще не наступило время для беспристрастной и всесторонней оценки Чернышевского, и нет такого писателя, которому была бы по силам подобная задача. Чернышевский был первым распространителем здравых экономических понятий на русской почве; он хотел приохотить хотя бы «мыслящее» меньшинство к науке, которая должна в будущем, вместе с социологией, решить высокие вопросы распределения труда и благосостояния.

В IV томе (1870) автор предисловия (вероятно, М. К. Элпидин) поднимает вопрос об отношении к Чернышевскому некоторых эмигрантских групп и сводит с ними счеты. Громадные денежные затруднения заставили инициаторов собрания сочинений Чернышевского обратиться с просьбой о поддержке к издателям «Колокола» и «Народного Дела»; однако, ответа они не получили. Автор говорит, что у Чернышевского много врагов; из них на первое место следует поставить русское правительство и издателей «Колокола». Со стороны последних ненависть к Чернышевскому объясняется тем, что Чернышевский ушел далеко вперед их по своим взглядам. За Чернышевским, с его научными и свежими взглядами, пошла вся тогдашняя молодежь, а славянофильствующий «Колокол» отстал. Издатели «Колокола», привыкшие к авторитетности в передовом русском обществе, возненавидели за это Чернышевского; их ненависть не раз выливалась на страницах «Колокола» в статьях о желчевиках и свистунах.

Как будто бы совсем иначе относятся к Чернышевскому и его сочинениям издатели «Народного Дела»: они приветствовали издание сочинений Чернышевского, признали его пользу. Однако, они тоже не хотят помогать этому предприятию, даже если бы оно погибало. Дальше в предисловии идет довольно многословное рассуждение о том, что настоящими врагами старого строя могут быть лишь бедняки, угнетенные теперешними экономическими порядками, а не обеспеченные люди, которым хорошо живется при этих порядках. «Издатели «Народного Дела», принадлежа к числу людей, обеспеченных старым порядком[8], не должны заботиться о замене его новым, а следовательно не должны помогать распространению идей Чернышевского. Они могут издавать революционный журнал, могут и еще что-нибудь придумать для того, чтоб пощекотать свое самолюбие и наполнить праздное время, но помогать пересозданию общества не могут, так как это пересоздание, силою обстоятельств, не улучшит, а ухудшит их положение». В заключение автор вызывает руководителей «Народного Дела» издать на свой счет V том Чернышевского. «Подобное опровержение фактом, а не афишным пустословием выяснит и роль, и прямодушие издателей «Народного Дела» в глазах учеников Чернышевского: смотрят ли они на него так же, как прокламаторы «Расправ» или же немножко поснисходительней, т. е. находят Чернышевского для настоящего времени уже устарелым писателем?»

Переходя к 70-м годам, напомним, что говорит по поводу Чернышевского один из представителей этой эпохи, В. Г. Короленко: «В последующие годы о Чернышевском говорили все меньше и меньше, а в печати самая его фамилия признавалась «нецензурной». Его «Что делать?» читалось и комментировалось в круж-

ках молодежи, но лучшие его произведения, вся его яркая, кипучая и благородная деятельность постепенно забывались по мере того, как исчерпывались и становились библиографической редкостью книжки «Современника». О самом Чернышёвском доходили до нас смутные, сбивчивые слухи. Возникнув еще в 70-х гг., один из этих слухов проводил Чернышевского в могилу. Говорили, что умственные способности его угасли, и даже, что он помешанный»[9].

Нелегальная литература по мере возможности боролась с этим преждевременным, искусственно создаваемым забвением Чернышевского, но все-таки приходится отметить, что и здесь Чернышевскому уделялось меньше внимания, чем в 60-х гг. Характерное явление: такой важный орган революционных семидесятников, как «Земля и Воля», один только раз вспоминает о Чернышевском. Это — в известном, очень популярном в свое время стихотворении Н. Ольхина «У гроба» («Земля и Воля», 1878, № 1), где имеются такие две строки:

Истомился в далекой Якутской тайге
Яркий светоч науки опальной.

В «Листке Земли и Воли» и «Работнике» имя Чернышевского совсем не встречается. В бакунинской «Общине» (Женева, 1878) можно найти лишь незначительные упоминания о нем в статьях Н. Жуковского (№ 5) и П. Аксельрода (№ 8—9).

Зарубежная периодическая пресса 70-х гг., прежде всего, давала некоторые фактические сведения о жизни Чернышевского в Сибири. Первым по времени было сообщение в журнале «Вперед» № 1 (1873). «О Николае Гавриловиче Чернышевском слухи доходят самые разнообразные. Говорили, что один знаменитый медик[10] испросил себе, в награду за лечение коронованной особы, его перевод в европейскую Россию. Для всех, знающих личность, о которой идет дело, не могло быть ни минуты сомнения, что это — вздор и что прославленный эскулап не мог никогда и подумать заикнуться о столь нецензурной просьбе. Рассказывают, что тяжкая болезнь и истязания измучили совсем здоровье нашего знаменитого литературного деятеля. Насколько нам известно, это несправедливо. Строгий специальный надзор окружает его в Вилюйске, куда перевели его несколько месяцев, как нам сообщили».

Наиболее полные сведения о Чернышевском даны в корреспонденции «Из Иркутска» («Вперед», т. II, 1874). Автор корреспонденции — Г. А. Лопатин, прибывший в начале января 1871 г. в Иркутск с целью освобождения Чернышевского. Узнанный и арестованный, он несколько раз убегал, опять подвергался аресту и, наконец, в июле 1873 г. в третий раз бежал из иркутской тюрьмы и на этот раз пробрался за границу. Корреспонденция его проникнута желанием показать, что все разговоры об освобождении Чернышевского — только болтовня и что совершенно неосновательно из-за этих разговоров начальство увеличивает строгости при охране Чернышевского. «С грустью должен сказать вам, что неизгладимая симпатия, оставленная Чернышевским в сердцах всех порядочных людей, сколько-нибудь знавших его, и тот неоспоримый авторитет, который его ум, знания, честность и всегдашняя верность своим основным принципам завоевали ему в кругу нашей передовой молодежи, составили истинное несчастие целой его жизни, преследующее его и до настоящей минуты. Бесконечные разговоры, слышавшиеся непрерывно во всевозможных либеральных кружках относительно необходимости устроить освобождение Чернышевского насильственным образом, разговоры, ни разу не переходившие за пределы обыкновенной либеральной болтовни, сделали то, что правительство не переставало обращать на Чернышевского самое бдительное внимание и употреблять по отношению к нему такие меры строгости, которые не употреблялись ни с одним из политических и уголовных ссыльных, находящихся в настоящее время в Сибири». Лопатин указывает, в чем проявлялась особенная строгость относительно Чернышевского. Осужденный на работы в заводах, он провел почти все время каторги в рудни-

ках. Он не был выпущен в «разряд испытуемых» и все время своей каторги оставался под замком. К нему не был применен льготный счет (10 месяцев за год), и он отбыл весь своей каторжный срок сполна. «Этого мало. Как говорят, он был задержан там даже несколькими месяцами долее своего законного срока, в ожидании окончания следствия по делу некоего Лопатина, арестованного у нас в Иркутске и заподозренного в намерении освободить Чернышевского. Таким образом, вы видите, что во все время пребывания своего на каторге Чернышевский постоянно расплачивался за чужие грехи и за симпатии, пробужденные им в среде русского общества (с позволения сказать)».

Пребывание на каторге, говорится в корреспонденции, оказалось для Чернышевского гораздо лучшим периодом, чем последующее заточение в Вилюйске — без всякого общества, в ужасных климатических условиях, под строжайшим надзором (в Вилюйске было 20 казаков и один жандармский унтер-офицер), при чем в стражу к нему назначались жандармы, выделившиеся до того своей особенной старательностью. Корреспондент сообщает о той исключительной «помпе», с которой перевозили Чернышевского из Нерчинских заводов в Вилюйск, говорит кое-что о его жизни в Вилюйске. «Долго ли еще он будет в состоянии выносить эту суровость климата и материальной обстановки, это бесконечное, насильственное уединение, эти ежедневные, ежечасные нравственные мучения?»

В 3-м № «Вперед», в статье «Не наши» Лопатин передает слух, что в Вилюйск вследствие какого-то доноса ездил начальник временного управления над политическими ссыльными, устроивший в Вилюйске обыск в десяти домах и отобравший у Чернышевского оказавшиеся у него 300 р.

В газете «Вперед» № 11, в корреспонденции из Иркутска (автор — опять Лопатин) отмечено, что генерал-губернатор Синельников горячо, хотя и безуспешно, ходатайствовал об облегчении участи Чернышевского.

Вслед за попыткой Лопатина в 1875 г. последовала новая неудачная попытка освобождения вилюйского узника — со стороны И. Н. Мышкина. Сведения о ней тоже проникли в зарубежную печать: об этом говорится в № 23 газеты «Вперед» (имя Мышкина при этом не названо). Рассказ об этой новой неудаче заключается такими словами: «Говорят, что при этой истории Чернышевский заявил, что увезти его помимо его воли немыслимо, и что напрасно его благожелатели губят себя задаром, ибо он твердо решил не бежать, так как он убежден, что должен же наступить когда-нибудь тот день, когда правительство сознает необходимым исправить сделанную им по отношению к нему несправедливость, или когда, по крайней мере, перестанут осыпать его мерами строгости, ничем не вызванными с его стороны и составляющими совершенно произвольное, ничем не оправдываемое и вопиющее отягчение состоявшегося над ним приговора, как бы ни был несправедлив и суров этот последний»[11]. Это заявление, по словам корреспондента, не предупредило новых мер строгости. В конце сентября 1875 г. в Иркутске была получена секретная депеша от шефа жандармов с сообщением, будто в Петербурге составилось общество для похищения Чернышевского и в Иркутск с этой целью отправилось несколько мужчин и две женщины. Чернышевского после этого заперли и запретили ему даже гулять; всякие льготы для него уничтожены, он находится в полнейшем одиночном заключении. По непроверенным слухам, в Вилюйск, вместо одного жандарма, послано 10 или 12. «Бедный, бедный Николай Гаврилович», — заканчивается корреспонденция.

В 1878 г. в № 1 нелегальной газеты «Начало» (печаталась в России) была помещена корреспонденция из Сибири, где подтверждалось, что Чернышевский положительно не хочет бежать, чувствуя себя не в силах преодолеть все трудности пути, так что всякая попытка в этом направлении только ухудшит его положение. «Несмотря на всю его физическую слабость, все рассказы о том, что он будто бы чуть не помешался, рассказы, ходившие с таким упорством в Петербурге, лишены всякого основания». В Вилюйске для наблюдения за Чернышевским живут: жандарм, казачий урядник, два простых казака и, со времени по-

пытки Мышкина, 7 человек солдат. В 1876 г. его хотели перевести в Черниховскую волость, верстах в 140 от Иркутска, но, опять-таки вследствие попытки Мышкина, оставили в Вилюйске. Далее описывается обычное времяпровождение Чернышевского в Вилюйске, при чем добавляется, что Чернышевский с сожалением вспоминает время, проведенное им в Александровском заводе, где, между прочим, он написал роман на тему «российского пробуждения» под заглавием «Старина» (заглавие это автор или редакция сопровождает вопросительным знаком).

Из периодических заграничных изданий 70-х гг. больше всего материалов о Чернышевском можно найти в журнале и газете «Вперед» П. Л. Лаврова, выходивших в течение ряда лет (1873—1877) в Цюрихе и Лондоне. Специально о значении деятельности Чернышевского Лавров говорит в предисловии к «Письмам без адреса», опубликованным впервые во 2-м № «Вперед» (1874). Отзыв Лаврова о Чернышевском, как публицисте, мыслителе, общественном деятеле, человеке, проникнут глубоким уважением. Чернышевский «врезал могучий и неизгладимый след в истории русской мысли», создал целую школу исследователей. Лавров не ограничивается тем, что называет Чернышевского мыслителем, по своему влиянию на русскую мысль не имевшим себе равного среди современников, а идет дальше и определяет его место между выдающимися общественными мыслителями Европы. «Николай Гаврилович Чернышевский был заметным уяснителем основных задач социологии в эпоху между главными произведениями Прудона и основными трудами Маркса, когда в Европе была замечательна лишь деятельность Лассаля, гораздо более замечательная в агитационном, чем в теоретическом отношении».

Попутно Лавров говорит о Чернышевском в разных статьях «Вперед». В статье «За четыре года» (газета «Вперед», № 48) он указывает на то, что в начале 60-х гг. статьи Чернышевского и Добролюбова были более читаемы и оказывали более сильное действие, чем произведения Герцена и Огарева. В 10-м № газеты («Слухи о войне») Лавров упрекает интеллигенцию за то, что она спокойно допустила совершиться жестокой судьбе Чернышевского. Казалось, что русское общество начала 60-х гг., упивавшееся жгучим анализом общественных явлений в статьях Чернышевского и Добролюбова, решительно проснулось. «Но не надолго хватило в русском обществе этой полусонной энергии. Через девять лет она была исчерпана... Это общество даже отказывалось ходатайствовать публично за сосланного Чернышевского; и в то время, как Чернышевский, Михайлов, Серно-Соловьевич были в каторге, в то время, когда Муравьева призывали диктаторствовать в Петербурге, почти вся литература огулом подписывала адрес императору по случаю «покушения» Каракозова [12]. В статье «Александр Иванович Герцен» (№ 22) Лавров делает замечание о том, что материализм Чернышевского и его последователей составляет прямое развитие реализма Герцена в его «Письмах об изучении природы»: в обоих случаях видно влияние Фейербаха, но в различных фазисах его мысли и с различными другими привходящими элементами.

В статьях других авторов «Вперед» нередки маловажные упоминания о Чернышевском — его влиянии на молодое поколение, его судьбе и пр. Не лишены интереса сведения, даваемые в некрологе Светозара Марковича (газета «Вперед», № 7) о том, что Маркович, живший в России в 1866—1867 гг., подвергся сильному влиянию идей Чернышевского и позже сам оказал большое воздействие на сербскую молодежь в духе своего русского учителя.

Статья Н. Г. Кулябко-Корецкого «Плоды реформ» (в V томе «Вперед», вышедшем уже без всякого участия Лаврова), между прочим, старается установить роль Чернышевского в эпоху проведения крестьянской реформы, но делает это неудачно. «Крестьянская реформа, — говорится там, — была компромиссом между требованиями, с одной стороны — народной партии, действовавшей или во имя узких национальных предрассудков (славянофилы), или во имя гуманитарных

идей, взросших на почве западной науки (Чернышевский), и с другой стороны — требованиями вновь народившихся стремлений буржуазных классов, стремившихся внедрить в России последние цветы буржуазной западно-европейской цивилизации... Из среды образованного общества только такая светлая голова, как Чернышевский и его сподвижники, сумели раскусить хитросплетение»... «Народная партия», в которую Чернышевский входил наряду со славянофилами, должна была породить значительную путаницу в голове неопытного читателя.

6 декабря 1876 г. землевольцы напомнили имя Чернышевского, устроив известную демонстрацию у Казанского собора. По числу собравшихся демонстрацию нельзя было назвать удавшейся; но важно то, что это была первая попытка рабочей демонстрации в Петербурге. Перед собравшимися оратор (Г. В. Плеханов) успел произнести краткую речь, которую он начал с воспоминания о Чернышевском. Об этом событии сообщается в нелегальной прессе; речь Плеханова передана в № 48 «Вперед» и, очень коротко, в № 11—12 «Набата» за 1876 г. Более подробно эта речь изложена в № 1—2 «Набата» за 1877 г. Вот что мы там читаем: «Товарищи,—раздалось из толпы, — мы празднуем сегодня день именин нашего великого учителя Чернышевского. Русскому народу давно уже пора знать это дорогое имя. Чернышевский был писатель, который едва ли не первый, после освобождения крестьян, упрекнул царя-освободителя в обмане. Он говорил, что не свободен тот крестьянин, который чуть ли не полгода питается древесной корой, у которого продают последнюю корову, последнюю курицу, у которого разбирают верх избы для удовлетворения восточных прихотей царя. Не свободен и рабочий, который за плату, едва достаточную для поддержки его жалкой собачьей жизни, работает по пятнадцати часов в сутки, да и то до тех только пор, пока хозяину не вздумается прогнать его на улицу, как забежавшую неизвестно откуда собаку. И теперь, господа, в этом самом городе, среди роскоши буржуазной цивилизации целые сотни рабочих прогоняются с фабрик и заводов. В Петербурге их ждет голодная смерть, а в деревне становой, высекающий подати. Тысячу раз прав Николай Гаврилович — такая свобода ничто иное, как наглый обман. А между тем за эту святую истину одного из величайших экономистов нашего времени сослали на каторгу; да и не одного его, начиная от Радищева и Новикова и кончая последними политическими процессами, идет целый ряд народных заступников; все эти декабристы, петрашевцы, каракозовцы, нечаевцы, долгушинцы и лучшие представители теперешней нашей молодежи или повешены, или на каторге, в тюрьме...». Остальная часть речи не имеет прямого отношения к Чернышевскому.

По поводу Казанской демонстрации была выпущена особая листовка, в которой речь Плеханова передана несколько иначе, чем в «Набате» (текст взят из «Вперед»)[13].

Казанская демонстрация, напоминавшая о Чернышевском, послужила как бы своего рода сигналом: в заграничных изданиях 1877—1879 гг. с новой энергией поднимается вопрос о вилюйском заключенном, о варварской расправе с ним и его бесконечных страданиях. Об одной из таких статей (корреспонденция в газете «Начало») было уже сказано выше.

В V томе «Вперед» (1877) имеется статья «Каторга и былое время». В предисловии к этой статье от редакции говорится о положении Чернышевского. «Пример Чернышевского, положение которого после отбытия наказания стало еще хуже на «поселении», чем было на каторге, опять указывает на то, что ныне ненаказание тяжелее, чем прежде было наказание. Кстати сказать здесь о Н. Г. Чернышевском, на котором еще до сих пор не истощилась мстительность палачей. Нам сообщают, что его положение в ссылке все хуже и хуже. Под влиянием местных климатических условий у него будто бы стал расти зоб. Когда, наконец, прекратится это варварство! Когда звери получат заслуженное сто тысяч раз возмездие!»

В «Набате» 1879 г. о Чернышевском заговорил эмигрант П. Ф. Алисов (в статье «Александр II Освободитель». В том же году вышло отдельное издание). «Самое крупное умственное убийство, самое позорное злодеяние Александра II — ссылка на каторгу Н. Г. Чернышевского. Правительство ясно почувствовало, что такого мощного бойца, как Чернышевский, трудно направить по тропиночке благочестия; ирония его была остра, как бритва, его трезвый ум не шел на компромиссы, его взгляды чересчур резко расходились с доморощенным, дозволенным либерализмом. Нужно было расправиться сурово, по-азиатски с личностью писателя, смеющего жить глубоко-самостоятельною умственною жизнью!» Рассказ о средствах, к которым прибегло правительство относительно Чернышевского, и об его страданиях Алисов заключает словами: «У кого тлеет хоть искра души, поймет, что вынес этот невинный мученик, с громадными умственными потребностями, с жаждой жизни и деятельности 16 лет захлопнутый в своем каменном гробу! Есть нравственные страдания до того ужасные, что перед ними тускнеет распятие, прокатывание на гвоздях кажется отдыхом».

В ряде статей и заметок говорит о сосланном Чернышевском возникшее в 1877 г. «Общее Дело». Даже в сатирическом «Опыте словаря российских современников» В. А. Зайцева (1878, № 13) перечисление некоторых сенаторов, монстров и подлецов, заключается так: «Наконец, цвет всего сонмища Чемадуров, *автор фальшивого письма, посредством которого ухитрились пожертвовать г.* Чернышевского дикой злобе нашего Навуходоносора». В № 22 (1879) редактор А. Х. Христофоров говорит («Bête noire»), что в свое время bête noire для Александра II был Чернышевский, который вследствие этого и был отправлен на каторгу без всякой тени юридических доказательств его вины. Христофоров обращает внимание на то, что люди, сосланные на каторгу по политическим делам и действительно имевшие против себя юридические улики, отбыли каторгу, потом поселение и давно уже на основании разных манифестов вернулись в Европейскую Россию, а Чернышевский без всяких улик бесконечно томится в сибирской трущобе.— В том же номере помещена статья П. Алисова «По поводу оваций Тургеневу». «На седую голову Тургенева, — так кончается статья, — много, очень много посыпалось лавровых венков. Но не знаю почему, чем более я прочитываю об овациях, тем назойливее, больнее преследует меня образ другого писателя. В занесенной снегом пустыне, в убогой, промерзлой лачужке, с вооруженными солдатами у дверей, тихо домучивается великий страдалец. Рано поседевшая голова его уже сдружилась с терновым венком; лавровый — увенчает его могилу. Не радостные приветствия и теплые братские речи раздаются вокруг него, но погребальные напевы, снежные вьюги, дикие завывания волчьей стаи. Пожираемый скорбутом, мертвящею тоскою, больной, голодный, он работает по ночам, при свете сальной свечи, и поздний сон вряд ли уносит его в роскошные, светлые залы, где в блестящих бокалах искрится шампанское, а в юных глазах веселье. Шестнадцать лет прошло, как палачи завалили склеп тяжелым камнем, и невыносимо стало дышать в нем».

Из отдельных книг, вышедших за границей в 70-е гг., следует назвать в связи с нашей темой «На жизнь и смерть. Изображение идеалистов» В. В. Берви-Флеровского (Женева, 1877. Вышла анонимно). Этот роман, посвященный изображению революционеров, никогда не пользовался успехом, а теперь совершенно забыт, что и понятно: произведение Берви, необыкновенно объемистое и тягучее, не показывает в авторе никакого художественного таланта. Роман интересует нас здесь потому, что в нем имеется письмо Павла Скрипицына с изображением общественного движения начала 60-х гг. Образ Скрипицына — в значительной степени автобиографический; то, что говорит Скрипицын, выражает мнение самого автора. Вот в каком виде рисует Берви в романе последователей Чернышевского. «Плывут наверху и господствуют над течением доморощенные фурьеристы. Посмотрите, как они вдруг возмужали, какими они стали прекрасными». «Не пустым, не ничтожным должно быть это движение, оно должно быть

мужественным и великим». «Вот что написано на их знамени, вот что они повторяют непрестанно, и общество слушает их с воодушевленным восторгом. С какой силой, с каким остроумием вооружаются они против полумер, против половинных стремлений, против разговоров, не имеющих достаточно смелости, чтобы перейти в дело». «Не сечь, так не сечь, какой это прогресс не сечь только по праздникам» и т. п. Они превосходно умеют принять эффект и величественное положение. Они проповедуют деятельность самую рискованную, и ради великих, а не маленьких целей; но в то же время они говорят обществу, что они действуют не из какого-нибудь самоотвержения, им не надо короны мучеников, они действуют из эгоизма и проповедуют, что эгоизм есть руководитель всех человеческих действий. Общество смотрит на них и чувствует, как прекрасно это величие, которое не хочет для себя ореола, которое уверяет их, что все, что оно делает, очень просто, что каждый может так же сделать».

«Все это прекрасно и эффектно, — продолжает Скрипицын-Берви, — имеет не только внешнее, но и внутреннее достоинство; я чувствую, что общество увлекается ими именно потому, что это то, что ему нужно, и все-таки я не могу итти вместе с ними. В них есть внутреннее противоречие, с которым нельзя примириться». Берви доказывает, что не проповедь эгоизма нужна русскому обществу: нужно учить его не жить на счет народа, а стремиться к умственному и нравственному развитию масс. Без изменения взглядов образованного общества на свои потребности бесполезны освобождение крестьян, уничтожение откупов, постройка железных дорог, преобразования в организации общественной власти и пр. Не следует повторять ошибок, сделанных нашими предшественниками: когда Бентам, Адам Смит и другие проповедывали философскую теорию эгоизма и противопоставляли ее учениям самоотвержения, шедшим от духовенства, то они этим самым боролись с застоем и невежеством, их пропаганда была делом прогрессивным, но время показало недостатки того оружия, которым они боролись. По мнению Берви, именно вследствие учений о величии эгоизма, укоренившихся в английском обществе, народные массы впали в Англии в крайнюю нищету и испытали жестокие страдания. «Могу ли я поддерживать, могу ли итти рука об руку с движением, которое повторяет такую фатальную ошибку, которое проповедует социальные учения и само засыпает камнями те гряды, на которых сажает оно свои растения? Писать я положительно не имею возможности: так писать, как они хотят, я не могу, а если я пытаюсь так писать, как по моему убеждению надобно, я не нахожу органа, я диссонанс в их гармонии».

После этого общего изображения «доморощенных фурьеристов» выведен на сцену сам Чернышевский. «На днях я возвращаюсь домой, — продолжает Скрипицын, — и нахожу у себя визитную карточку Чернышевского; я незнаком с Чернышевским и понял, что он почему-нибудь заключил, что ему нужно увидать меня, и пошел к нему. Мне пришлось объясняться с ним, и не трудно было заметить глубокое впечатление, которое произвело на него холодное и отчетливое изложение моего безотрадного взгляда на мою роль; но по тому, как стали вести себя со мною после этого близкие к нему люди, я увидел, что он хочет меня переделать — в настоящем моем виде я диссонанс в их гармонии. Ту жгучую боль, которую он мне этим причинил, я так же живо чувствую теперь, как в первый момент. Я чувствую ее потому, что во мне нет ни малейшего сомнения, что между нами Чернышевский самый серьезный и светлый человек; здесь я вижу только одного, которого я бы мог поставить на ряду с ним — это Огрызко. В интеллектуальном отношении Чернышевский несомненно сильнее Огрызко, но Чернышевский пропагандист, он всех людей хочет переделать по своему. Наши все таковы; самый ничтожный редактор хотел бы, чтобы все его сотрудники были только статуями, отлитыми с его фигуры; он искажает и коверкает их произведения немилосердно. Огрызко не выработал из себя составителя и руководителя партии... Из числа наших Герцен скорее мог бы быть руководи-

телем партии, но он в Лондоне; из Лондона же можно быть только звеном, а не центром» (стр. 109—110).

Можно сказать с уверенностью, что Берви здесь не измышляет, а говорит о подлинных своих сношениях с Чернышевским. Что под «доморощенными фурьеристами» он подразумевает именно Чернышевского и его последователей, это ясно из самого изложения мнений этих фурьеристов. Кроме того, можно сослаться на следующее место из автобиографии Берви: «Возродился или лучше сказать расцвел старый идеал времен Петрашевского — идеал Фурье. Чернышевский кончил тем, что в знаменитом своем романе «Что делать?» проповедывал этот идеал... Учение Фурье, получивши облик нигилизма, подняло революционное знамя» [14]. Как видно, Берви оценил исключительную умственную и моральную высоту Чернышевского (хотя сопоставление его с Огрызко производит странное впечатление), но теории Чернышевского вызвали в нем решительный протест. Идеалист по всему своему мировоззрению, Берви увидел в знаменитой теории «разумного эгоизма» нечто враждебное для себя; такое философски-этическое обоснование поведения людей было для него совершенно неприемлемо. «Чем больше он (Павел Скрипицын, т. е. сам Берви) думал, тем яснее понимал, что из эгоизма нельзя построить никакой общественности, что все неизбежно выродится в господство силы и притеснения. Диалектически и искусственно толковать слово «эгоизм» в то время, когда масса будет все-таки понимать его по своему, казалось ему верхом легкомыслия и бестактности». По мнению Берви, обществу, только что вышедшему из огрубляющих и отупляющих условий николаевщины, нужно было проповедывать не удовлетворение своих потребностей,— общество и так склонно к этому,— а развитие в себе новых, более благородных стремлений, связанных с чувствами общественной симпатии и солидарности.

В. В. Берви, приобретший в 70-х гг. большую популярность среди революционно настроенной молодежи, как автор «Положения рабочего класса в России» и «Азбуки социальных наук», имел мировоззрение довольно путаное, но своеобразное, и в истории развития русской общественной мысли стоял всегда несколько особняком. В 60-е гг. он не нашел контакта с основным течением передовой мысли, во главе которого стоял Чернышевский. Роман «На жизнь и смерть» вскрывает это очень определенно.

Из других книг 70-х гг. можно упомянуть еще написанную популярным языком книжку З. К. Ралли «Сытые и голодные» (Женева, 1875 г. Издана анонимно), в которой отводится место и Чернышевскому (стр. 418—419, 416—417); автор говорит о значении для «голодного народа» пропаганды Чернышевского в «Современнике» и о постигшей его каре.

Сочинения самого Чернышевского в 70-х годах продолжали издаваться за границей. В 1871 г. вышла книжка «Труден ли выкуп земли?». В 1872 — «Статьи об общинном владении землею» (в 1873 г. эта книга вышла новым изданием, как V том «собрания сочинений» Чернышевского). В 1874 — «Кавеньяк», «Община и государство», «Письма без адреса». В 1875 — «Антропологический принцип в философии», «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X». В 1876 — «Июльская монархия», «Лессинг. Его время, его жизнь и деятельность», «Что делать?» (2-е издание). В 1877 — «Пролог пролога». В 1879 г. — «Научились ли?»

К тексту некоторых из этих изданий («Лессинг», «Что делать?») прибавлен очерк «Суд над Чернышевским», дающий краткие биографические сведения о писателе и рассказ о суде. В конце автор упрекает либеральное общество и бывших товарищей Чернышевского в том, что они ничего не сделали для его освобождения. «А что же сделало в продолжение 14 лет либеральное общество к облегчению каторжника? Пытались ли, наконец, со взломом освободить из могилы Чернышевского те редкие экземпляры, которые называются товарищами каторжника? С грустью нужно сознаться, что эти последние не только не имели

храбрости создать экспедицию, создать комплот, хотя бы в правительственной машине, на освобождение Чернышевского, комплот, который мог бы быть занесен на страницы русской истории, как доблестный поступок, как доказательство редкого мужества, — у этих «товарищей» даже не достало гражданской храбрости плюнуть в глаза русскому бессудию — судьям Чернышевского. Страшным пятном ляжет на либеральную Россию, если кто-нибудь из царственных особ окажет Чернышевскому «высочайшую милость». Терпеть «милости» такое же преступление, как допускать государственные подлоги, умиляться черным преступлениям царствования Александра II». Автор (повидимому, Элпидин) не мог не знать о производившихся в 1871 и 1875 гг. попытках освободить Чернышевского «со взломом» и о полной безнадежности таких попыток. По всей вероятности, у него была тайная надежда, что таким путем можно будет внушить Александру II мысль «помиловать» Чернышевского и тем как бы нанести удар «либеральному» обществу. С этим можно сопоставить то, что говорит Элпидин в предисловии к V тому (1879): рассказав, будто бы б. шеф жандармов граф Шувалов настоял в Государственном совете, чтобы все законы смягчения миновали Чернышевского, он добавляет: «Царь, поправ ногами свои законы, обычай освобождать заключенных по случаю царских радостей, родин и свадеб, согласился на требования жандарма и э т и м с а м ы м п о д п и с а л с е б е с в о й с о б с т в е н н ы й п р и г о в о р» (разрядка наша.—*М. К.*). Здесь Элпидиным, конечно, руководила мысль побудить царя к помилованию Чернышевского путем застращивания его смертью.

Из публикаций текста Чернышевского, сделанных в 70-е годы за границей, особенно большой интерес представлял «Пролог пролога», как публикуемое впервые произведение. Роман был издан группой «Вперед» в Лондоне в 1877 г. В предисловии от издателей говорится, что читателям некоторые выводы, которые можно сделать из романа, покажутся несовпадающими с принципами, проводимыми группой «Вперед». «На это мы можем заметить, что роман, предлагаемый читателям, по преимуществу касается одного весьма важного вопроса, а именно: крестьянской реформы 1861 г., и в этом вопросе мнение автора романа вполне совпадает с направлением, которого всегда держался «Вперед». Автор удивляется не тому, что кое-что в романе устарело, а, наоборот, той массе здравых суждений, которые рассыпаны по всему произведению, и той глубине мысли, которая там проявляется на каждом шагу. Относительно действующих лиц романа предисловие обращает внимание на то, что Волгин, Левицкий, Соколовский, Рязанцев, Савелов, граф Чаплин и др. — портреты живых лиц, с поразительною точностью срисованные живою рукою.

Опубликование Лавровым «Пролога» вновь обострило вопрос о юридическом и моральном праве эмигрантов издавать сочинения Чернышевского. Впервые этот вопрос встал в 1867 г., когда Элпидиным была выпущена первая книга Чернышевского «Что делать?». По желанию А. Н. Пыпина Суворин («Незнакомец») поместил тогда в «С.-Петербургских Ведомостях» (№ 208) статью, в которой объявлял заграничное издание Чернышевского «контрфакцией». По поводу подобных обвинений в предисловии к «Что делать?» 1867 г. совершенно правильно было сказано следующее: «...Имеем ли мы право распоряжаться так бесцеремонно чужою литературною собственностью? Юридического права у нас нет. Мы не запасались, да и не могли запасаться никакими контрактами с наследниками Чернышевского, мало этого, не могли даже попросить у них разрешения предпринять это издание, по той простой причине, что мы не добились бы от них даже и отрицательного ответа. Между тем, в России, при теперешних обстоятельствах, подобное издание положительно невозможно, следовательно, для наследников Чернышевского право на его сочинения скорее мертвая буква, чем действительная собственность. Стоило ли, ради этой мертвой буквы, не обращать внимания на выставленную выше необходимость дать публике полное собрание

сочинений Чернышевского? Мы думаем, что нет». В 1877 г., когда до Пыпина дошли слухи о намерении Лаврова напечатать «Пролог», он, при посредстве Драгоманова, вступил с ним в переписку, убеждая не делать этого (о том же писал Лаврову и М. А. Антонович). Когда «Пролог» был все-таки напечатан, Пыпин поместил в берлинской газете «Post» (за январь 1878) статью с «категорическим обличением этого воровства». Мало этого: в 1877 г. Пыпин подал докладную записку председателю Литературного Фонда, а позже, в феврале 1881 г., записку о деле Чернышевского Лорис-Меликову. В обеих этих записках, особенно во второй, он, по поводу издания за границей сочинений Чернышевского, обрушивается на эмигрантов с клеветой и руганью, говорит об «ошалевшем философе Лаврове», «нечистом на руку Бакунине», «воровстве», «червонных валетах» и пр.[15].

В том же 1877 г., в котором вышел «Пролог», группа «Набат» переиздала в Женеве под заглавием «Общество и государство» две статьи Чернышевского («Критика философских предубеждений»... и «Экономическая деятельность и законодательство»), воспользовавшись этим случаем, чтобы выступить в защиту своих политических принципов. Автор предисловия (по всей вероятности, П. Н. Ткачев), говорящий от имени «социалистов-революционеров государственников», находит в статьях Чернышевского аргументы как против «рыцарей мирного прогресса, сторонников черепашьей постепенности»,—«исконных врагов всякого революционного движения», так и против своих «союзников и соратников, революционеров-анархистов». Беря конкретный вопрос о русской общине, автор напоминает, что уже полтора десятка лет назад противники общины говорили о несовместимости ее сохранения с высшими формами землевладения. То же повторяют и новейшие сторонники мирного прогресса. Однако, Чернышевский в статье «Критика философских предубеждений» блестяще доказал, что общественные учреждения вовсе не должны у каждого народа необходимо проходить все логические моменты развития: возможен ускоренный процесс, скачок с низшей ступени на высшую, если отсталый народ подвергается влиянию передового народа. Значит, умозаключает автор, этот же факт должен повторяться, когда передовая часть народа, его умственно и нравственно развитое меньшинство подчинит своему влиянию остальную его часть. «Таким образом для осуществления непосредственного перехода общества вообще или какого-нибудь общественного учреждения (напр., общины) из низшей стадии общественного развития в высшую необходимо вмешательство государства, руководимого и направляемого людьми, усвоившими себе идеалы, соответствующие этой высшей стадии».

Вторая статья Чернышевского, говорит Ткачев, неопровержимо доказала, что анархия, т. е. ликвидация государства, есть одна из самых нелепых и неосуществимых утопий. Необходимость государства вытекает из несоразмерности человеческих потребностей со средствами их удовлетворения; поэтому оно может быть уничтожено лишь тогда, когда прекратится эта несоразмерность, т. е. в более или менее отдаленном будущем. Это будущее можно приблизить при том условии, если передовое меньшинство захватит в свои руки государственную власть.

Таким образом, заключает «Предисловие», две печатаемые статьи Чернышевского дополняют одна другую. Первая указывает на возможность и необходимость перехода нынешней первичной формы общинного землевладения в высшую форму. Вторая определяет практическое средство, при помощи которого должен осуществляться этот переход.

К некоторым другим брошюрам Чернышевского тоже даны краткие предисловия. В предисловии к брошюре «Кавеньяк» С. Жеманов указывает полную современность статьи о Кавеньяке, так как критическая оценка, данная Чернышевским событиям и людям 1848 и следующих годов, вполне применима и к

эпохе 1870—1874 гг. Так, роль народного палача вместо Кавеньяка сыграл Тьер и т. д. По поводу брошюры «Научились ли?» Элпидин говорит, что как в начале 60-х гг., так и в конце 70-х в реакционных кругах одинаково обвиняли студентов в том, что они не хотят учиться.

В нелегальной прессе начала 80-х гг., к которым мы переходим, попрежнему используются все поводы, чтобы снова и снова поднимать вопрос о сосланном Чернышевском. Так, в связи с открытием памятника Пушкину в Москве и пушкинскими торжествами, А. Х. Христофоров в 36-м № «Общего Дела» говорит, что если бы Пушкин жил в настоящее время, то он или умер бы в Сибири в самом начале своей деятельности, как М. И. Михайлов, или прозябал бы в отдаленных пустынях, где догорает жизнь Чернышевского. П. Алисов в том же номере высказывает надежду, что хоть и не скоро, но наступит время, когда будут поставлены памятники Герцену, Огареву, Чернышевскому, Михайлову, Добролюбову и др.

В 1880 г. исполнилось 25-летие царствования Александра II. Н. А. Белоголовый в статье «Характеристика 25-летия» («Общее Дело», 1880, № 33—34) не преминул, говоря об отношении Александра II к науке и литературе, особо остановиться на судьбе Чернышевского. «Без сомнения, это был самый замечательный человек в лучшем значении слова настоящего царствования—и какая же участь постигла эту громадную нравственную силу?» Своею участью Чернышевский обязан, по словам Белоголового, исключительно какой-то личной ненависти к нему царя, который при двух амнистиях собственноручно вычеркивал его имя из общего списка. «...Декабристы не выносили и десятой доли тех преследований, которые достались в удел Чернышевскому, а декабристы покушались на свержение с престола и самую жизнь Николая. Чернышевский, сколько известно, не был активным политическим агитатором, не принимал участия ни в каком заговоре; неужели какое-нибудь острое слово, едкая насмешка над личностью помазанника в состоянии были так раздразнить последнего и его мелкое самолюбие, что он в течение 20 лет не перестает преследовать несчастного? Невероятно, но едва ли это не так». Без сомнения, Белоголовый здесь сознательно обрисовывал Чернышевского каким-то совсем невинным в политическом отношении человеком; равным образом, он, конечно, знал, что никаких едких насмешек над царем ему не ставилось в вину.

В 1881 г. «Вольное Слово» упомянуло о Чернышевском в связи с заседаниями конгресса Международного общества литераторов. В № 8-м сообщалось о том, что на втором заседании (21/9 сентября) упомянутого конгресса в Вене француз Ратисбон напомнил собранию участь Чернышевского и предложил «обратиться к великодушию и справедливости» Александра II и просить его об освобождении замечательного писателя. В части собрания это вызвало бурные рукоплескания, другие (француз Бело, поляки) стали энергично протестовать. Поднялось большое возбуждение, вследствие которого председатель закрыл собрание и тем сорвал предложение Ратисбона.

Без всякого внешнего повода в № 50-м «Общего Дела» было напечатано стихотворение Некрасова Н. Г. Чернышевскому («Не говори: забыл он осторожность...»), при чем был помещен и последний куплет, выброшенный цензурой из собрания стихотворений Некрасова:

Его еще покамест не распяли,
Но близок час — он будет на кресте;
Его послал бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

В 1881 г. вопрос об амнистии Чернышевского был впервые поднят в легальной прессе: в 7-м № газеты «Страна» (от 15 января) появилась статья об этом, на которую откликнулись другие издания («Юридический Вестник», «Московский

Телеграф» и др.). За границей на эту статью отозвалось «Общее Дело» (№ 39, «Корреспонденция из Петербурга»). Статья «Страны», говорится здесь, сорвала маску либерализма с правящих кругов. Статья сказала: освободите Чернышевского и докажите этим хоть то, что в вас не угасла еще последняя искра совести. «Они отказали, и этим торжественно обнаружили всю непроглядную темноту своих душ. Образ Чернышевского, как тень Банко, явился на либеральное пиршество тирана и смутил ликующих. Из своего далекого снежного склепа он неведомо и нежданно нанес им тяжелый удар по бесстыдным лицам. Всего больше этот удар отразился на личности самого царя». До сих пор многие близорукие люди признавали царя лично добродушным и объясняли его действия неведением или заблуждением. Относительно Чернышевского на это ссылаться нельзя: царь живо интересовался его делом и лично следил за ним. Чернышевского продолжают морить в Вилюйске исключительно по пошлой мстительности и тупому злопамятству «царя-реформатора», который почему-то считает его своим личным врагом.

В связи с разговорами об амнистии Чернышевского в ближайшее время (в «Вольном Слове» 1882, № 4 передавался даже слух, что он уже амнистирован, или, вернее, что ему разрешено выехать за границу) в нелегальной прессе сообщались в это время довольно часто сведения о положении Чернышевского, причем особенный упор делался на то, что он несчастен, болен и пр. По какой-то ошибке иногда местом его пребывания стали называть Нижнеколымск или Верхнеколымск. Первый эту ошибку сделал «Набат», напечатавший (1881, № 4), что Чернышевский из Вилюйска переведен в Нижнеколымск. В «Народной Воле» № 8—9 (1882, статья «Тюрьма и ссылка») говорится, что в Нижнеколымске построена центральная тюрьма для политических, куда, по слухам, переведен Чернышевский. «Без сомнения, Нижнеколымск будет и могилою этого знаменитого человека, так как он теперь уже измученный дряхлый старик». В корреспонденции из Якутской области в сборнике «На Родине» (№ 2, 1882) рассказывается о жизни Чернышевского в В е р х н е к о л ы м с к е; сведения эти, конечно, должны быть отнесены к Вилюйску. Корреспонденция говорит о ничтожных размерах и о таком же населении этого городка, о том, что Чернышевский, за неимением квартир, живет при полиции, не имеет никаких книг, пишет что-то по ночам и потом сжигает, занимается работой на огороде и пр. При вполне аскетическом образе жизни он будто бы не издерживает даже тех грошей, которые отпускаются ему от казны. «Здоровье Чернышевского очень плохо, он постарел и одряхлел. В городе он пользуется всеобщим уважением, и население считает его даже с в я т ы м. Разумеется, это происходит не оттого, что кто-нибудь здесь мог понимать его научную и общественную роль. Перед Н. Г. преклоняются за его ум, редкую гуманность, его истинно святую жизнь и ту твердость, с которой он несет свой тяжелый крест».

Приблизительно в таком же роде (за исключением таких неправильных сведений, как то, что Чернышевский не имеет книг, не тратит целиком даже казенного содержания и пр.) сообщение о Чернышевском находится в «Вольном Слове», № 56. Корреспонденту, который был довольно близко от Вилюйска, со слов бывших стражников Чернышевского стало известно о некоторых его странностях, образцы которых он и привел. Корреспонденция закачивается уже и раньше ставившимся вопросом: по какому закону Чернышевский был лишен поселенческих прав и возможности жить повсюду в Восточной Сибири? «Можно говорить словами просьбы о помиловании Н. Г., но пора сказать и словами требования о ненарушении закона по отношению к Н. Г. Чернышевскому».

В № 58 «Вольного Слова» опровергается один ложный слух о Чернышевском, появившийся в венской газете «Wiener Tageblatt», а именно о том, что Николай Гаврилович помешался. «На этот раз Тряпичкины «Wiener Tageblatt», ко-

нечно, просто переврали помещенное у нас сведение о «странностях» Н. Г. Чернышевского».

Последняя по времени из статей, касающихся пребывания Чернышевского в ссылке, это «Хроника» Н. А. Белоголового («Общее Дело», 1883, № 53) в той ее части, где говорится об отношении русского правительства к литературе — Пушкину, Лермонтову, Салтыкову. «Чернышевский, говорят, не перестает писать и теперь, в своей ледяной вилюйской тюрьме, но уничтожает сам все, им написанное; и сколько подвергается таким образом самоуничтожению высоких, талантливых мыслей и плодотворных семян, которые могла бы оставить в наследие человечеству такая одаренная натура, как натура Чернышевского». Автор с горечью высказывает надежду, что «так лет через 50 будет воздвигнут памятник и великому мученику Чернышевскому, и Салтыкову» [16].

6 июля 1883 г. по докладу министра юстиции Набокова окончательно состоялось разрешение Александра III на переезд Чернышевского под надзор полиции в Астрахань. В статье С. Н. Кривенко — «Новая эра» («Листок Народной Воли», 1883, № 1, июль), посвященной мероприятиям правительства по случаю коронации, естественно, говорится только еще о слухах на счет освобождения Чернышевского. «Таким образом, для крестьянства — дворянская эра, для лучшей и самоотверженной интеллигенции — издевательство и мучительная смерть. Говорили еще об освобождении и возвращении на родину Чернышевского, который подходит под манифест».

«Слух этот поддерживается и до сих пор придворными вестовщиками, но все не переходит в действительность, а если паче чаяния и осуществится, то, конечно, прежде всего в видах желания — показать растоптанной русской интеллигенции, что из нас можно сделать. Показать на горизонте страдальческое, с потухшим взором, лицо старика, бывшего некогда гордостью целой России, — вещь очень внушительная, вроде насаживания на штыки и колья голов побежденных».

В № 55 «Общего Дела» (сентябрь) передается, — правда, как о слухе, — что Чернышевскому разрешено переехать в Астрахань и что он уже находится в пути. «Хотя Астрахань тоже порядочное захолустье, но это не Вилюйск, и все же нашему 60-летнему мученику легче будет доживать свою жизнь, столь искалеченную преследованиями правительства, не будучи в такой дали от семьи, с которой он был разлучен более 21 года. От души желаем, чтобы слух этот подтвердился».

Все еще как о слухе говорит о выезде Чернышевского из Сибири и «Хроника внутренней жизни» в «Листке Народной Воли» 1883, № 2 (октябрь). «Чернышевского решено перевести в Астрахань, куда он, по слухам, уже едет. Пункт и время для пути выбраны, как нарочно, такие, чтобы окончательно сломить здоровье несчастного старика. Прошение его детей о смягчении его участи было подано еще в марте. Постановление о переезде состоялось в августе, а переводят его только теперь, в октябре или ноябре» [17].

Некоторые сведения о самочувствии Николая Гавриловича по его приезде в Астрахань попали в русские нелегальные издания из западно-европейской прессы. Корреспондент английской газеты «Daily News» посетил Чернышевского в Астрахани вскоре после его появления там и рассказ о своем посещении и о беседе с Чернышевским напечатал в номере названной газеты от 23 декабря 1883 г. Основное из этого рассказа было передано в «Общем Деле» 1883, № 57 и «Вестнике Народной Воли» 1884, № 2 [18].

Больше сообщений фактического характера о Чернышевском в нелегальной прессе 80-х гг. до кончины писателя не было. Несколько слов о попытках к его освобождению из Сибири сказал Лавров в своей заметке о Г. А. Лопатине (приложение к книге «Процесс 21-го», Женева, 1888). Лопатин, по словам Лаврова, будучи арестован, не терял надежды не только на собственное освобождение, но и на осуществление нового плана освобождения Чернышевского. Это был, в сущности, тот план, который позже неудачно пытался выполнить Мышкин. У Лопатина все

частности были гораздо тщательнее обдуманы, и вероятность успеха была более велика.

О смерти и похоронах Чернышевского говорит газета «Знамя», выходившая в Нью-Йорке[19]. В № 1 за 1880 г. там напечатана заметка «Последняя дань» о похоронах Чернышевского в Саратове и о манифестации по этому поводу в Петербурге. В 6-м № корреспондент «Знамени» рассказывает о собраниях в Петербурге и провинции в связи со смертью Чернышевского и об отношении общества к умершему писателю. «Ищут зачинщиков. Не могут понять, что при одном имени Николая Гавриловича Чернышевского звучат лучшие человеческие струны в сердце каждого не опошлившегося человека».

Переходя к тем произведениям—очень немногочисленным за 80-е гг.,—которые дают цельную характеристику Чернышевского или останавливаются на какой-нибудь отдельной стороне его идейного наследства, укажем прежде всего на известное письмо Карла Маркса с отзывом о Чернышевском, напечатанное в № 5 «Вестника Народной Воли» (1886). Маркс писал Михайловскому: «В приложении ко второму немецкому изданию «Капитала» я с глубоким, вполне им заслуженным уважением говорю о «великом русском ученом и критике». Этот ученый в своих замечательных статьях решал вопрос о том, должна ли Россия начать с разрушения сельской общины, переходя к капиталистическому строю (как хотят либеральные экономисты), или, напротив, она может усвоить все плоды этого строя, не переживая сопряженных с ним мучений и развиваясь сообразно своим собственным историческим данным. Сам он высказывался за последний исход».

Несколько раз писал о Чернышевском в 80-е гг. М. П. Драгоманов. В одном случае он полемизирует с Чернышевским по польскому и русинскому вопросу, имея в виду статью последнего 1861 г. «Национальная бестактность» (книжка Драгоманова «Историческая Польша и великорусская демократия», Женева, 1882). Чернышевский в названной статье видел «национальную бестактность» в поведении галицко-русских политиков и выступал против львовского «Слова». Он полагал, что национальный вопрос нужно заменить классовым. «Очень может быть, что при точнейшем рассмотрении живых отношений львовское «Слово» увидало бы в основании дела вопрос, совершенно чуждый племенному вопросу,—вопрос сословный. Очень может быть, что оно увидело бы и на той и на другой стороне и русинов и поляков—людей разного племени, но одинакового общественного положения. Мы не полагаем, чтобы польский мужик был враждебен облегчению повинностей и вообще быта русинских крестьян. Мы не полагаем, чтобы чувства землевладельцев русинского племени по этому делу много отличались от чувств польских землевладельцев. Если мы не ошибаемся, корень галицийского спора находится в сословных, а не племенных отношениях». Разумеется, националистически настроенный Драгоманов не мог согласиться с такой постановкой вопроса и упрекал Чернышевского в незнании местных условий.

В двух других статьях Драгоманов, говоря о Чернышевском, попутно стремится изобразить его не революционером и социалистом, а чем-то вроде мирного конституционалиста, на манер самого Драгоманова. «В 60-е гг., когда между прочим вследствие подготовки общества пропагандою этих русских социалистов 40-х—60-х гг. освобождение крестьян стало практическим вопросом, социалисты, вроде Герцена и Огарева и даже вроде Чернышевского, оставляя в стороне формулы школьного социализма, посвящали всю свою практическую энергию вопросу о выкупе крестьянами наделов». («Мирный и умеренный элемент в русском социально-революционном движении», «Вольное Слово» 1883, № 61—62). «Не мешает отметить, что Н. Г. Чернышевский, который у последующих поколений получил репутацию социалиста-революционера (хотя действительное отношение его к петербургскому революционному движению 1861—1862 гг. осталось невыясненным) и противника конституционализма (главным образом, на основании его статей о Франции), в «Письмах без адреса», изданных под его именем в 1875 г., но пи-

санных в 1862 г., выражал полное сочувствие либеральному движению в дворянстве («Земский либерализм в России», «Свободная Россия», 1889, № 1).

Общий очерк деятельности Чернышевского, данный в «Знамени» («Н. Г. Чернышевский», «Знамя», 1880, №№ 1 и 2. Подпись «У»), не отличается оригинальностью. Автор говорит о Чернышевском, как об основоположнике социализма в России, творце «русского социализма». «История закрепит за Чернышевским лучезарную славу предвозвестника и борца за социалистическую идею. Вся деятельность его клонилась к одной цели: направить все лучшие силы России в социалистическое русло, положить начало социалистическому движению ранее, чем успеют возникнуть более определенные формы капиталистического строя и власть превратится в покорную служанку буржуазии... Он был не только переводчиком западных социалистов, он усвоил их учение и создал русский социализм».

«В том же «Знамени» (1870, №№ 4, 5, 6)[20] напечатан очерк П. Л. Лаврова «Николай Гаврилович Чернышевский и ход развития русской общественной мысли» (это — речь, произнесенная Лавровым после смерти Чернышевского на одном собрании в Париже). Лавров выясняет, что собственно дала русскому обществу пропаганда Чернышевского в «Современнике». «Необходимо было внести ясность в смутное поклонение Западу и в не менее смутное славянофильское народничество. Приходилось, во-первых, подвергнуть пересмотру под грозным наблюдением цензуры все фетиши Запада, даже рискуя слишком грубо затронуть некоторую долю живых элементов, охваченных этими фетишами. Приходилось, во-вторых, отыскать центральный пункт нового миросозерцания, который установил бы прочную и здоровую почву теоретической критики идей, людей и событий, при чем этот центральный пункт миросозерцания должен был быть доступен для большинства читателей, очень мало привычных к философскому мышлению. Приходилось, наконец, в виду умственной и политической неподготовленности общества, поставить выше всего остального требование ясности и простоты в построении миросозерцания и в приложении его к вопросам дня, даже на счет точного анализа сложных вопросов. Именно эти три задачи взял на себя «Современник» под руководством Николая Гавриловича Чернышевского».

Критика Чернышевского, говорит Лавров, была резка и не всегда справедлива в частностях, но ему приходилось в возможно короткий срок создать определенное течение мысли в обществе, где все представления были очень спутаны. Более тонкими приемами едва ли можно было достигнуть поставленной цели. Своею строгою — подчас слишком строгою — и насмешливою — подчас слишком насмешливою—критикою людей и идей «Современник» подготовил новое поколение, которое отреклось от всех идеалов старины для того, чтобы все принести в жертву своим социально-революционным идеалам. При более осторожном отношении к вопросам нельзя было бы оказать такого могучего влияния на несколько поколений, какое имел Чернышевский. Читатель, каким он был в начале царствования Александра II, не понимал всей сложности вопросов экономических, политических, религиозных и нравственных, подлежавших разрешению; он видел и принимал ряд готовых решений, привлекательных по их жизненности и по талантливому, общедоступному их изложению. Пройдя школу «Современника», русская интеллигенция потом поняла всю сложность стоящих перед ней вопросов, но уже не могла отвернуться от них и принялась за их решение во всей их серьезности. «Позволительно поставить вопрос: многие ли деятели истории имели и имеют право сказать, что они сделали более, чем тот, кому принадлежит инициатива и руководство в этом движении?».

В этом подводящем окончательные итоги суждении о Чернышевском Лавров усиленно подчеркивает такие особенности его пропаганды, как ясность, общедоступность, общепонятность; он не забывает отметить, что решение вопросов нередко было у Чернышевского недостаточно тонко, что он был не всегда справедлив и пр. Одним словом, Лавров находит у Чернышевского сильную тенденцию к упрощенчеству в системе проповедывавшихся им взглядов, хотя

и оправдываемую вполне условиями исторического момента. Что же касается самой сущности «антропологического материализма» и социализма Чернышевского, то Лавров уклоняется от ответа и опять напирает на «общедоступность».

«На это миросозерцание можно смотреть очень различным образом, и я не имею в виду в настоящую минуту ни защищать, ни опровергать его. Мое дело указать его главные черты и ту громадную роль, которую оно могло играть в русской интеллигенции именно вследствие особенных условий, в которых она была поставлена, и вследствие потребности в ясности и определенности, которые были одним из условий усиленного действия на эту интеллигенцию в эту эпоху».

Особого интереса заслуживает то, что писал в 80-е гг. о Чернышевском Г. В. Плеханов. Личность великого мыслителя и революционера очень привлекала к себе Плеханова, и он возвращался к нему несколько раз. Впервые Плеханов пишет о Чернышевском в статье «Афанасий Прокофьевич Щапов» («Вестник Народной Воли» № 1, 1883). Он устанавливает здесь разницу в исторических идеях Чернышевского и Щапова, рассказывая о их беседе в 1862 г., когда Чернышевский хотел привлечь Щапова на свою сторону. Основной пункт их расхождения был в отношении к государству: Чернышевский, вполне сознавая, что социалистический переворот должен в конце концов уничтожить противоречие между обществом и государством, понимал в то же время, что это — уже более отдаленная цель. Будучи сторонником общинного землевладения, Чернышевский ставил его под охрану государства, — разумеется, не самодержавно-бюрократического. Он придавал огромное значение созданию свободных политических учреждений и утверждал, что экономические реформы должны быть предприняты на основе государственной, а не местной, общинной или областной инициативы.

В следующий раз Плеханов обращался к Чернышевскому в своей известной книге «Наши разногласия» (1885). Называя Чернышевского «великим учителем молодежи», он говорит здесь, что его «Критика философских предубеждений» была и осталась в нашей литературе самым блестящим опытом приложения диалектики к анализу общественных явлений. Чернышевский доказал, что общинное землевладение может, при известных условиях, прямо перейти в коммунистическую форму развития; но его положения носят чересчур отвлеченный характер. При всем своем уважении к Чернышевскому, Плеханов находит у него ряд промахов и односторонностей, объясняя их тем, что он не был знаком с сочинениями Маркса и Энгельса, а социалисты-утописты не могли дать надлежащего ответа на ряд теоретических и практических вопросов. В «народе» большинства стран Западной Европы Чернышевский видел лишь невежественную и инертную массу и недооценивал политическую роль западно-европейского пролетариата.

Сейчас же после смерти Чернышевского Плеханов начал печатать ряд статей о нем (сборник «Социал-демократ», 1890—1892, №№ 1, 2, 3, 4), легших в основу его позднейшей большой работы о Чернышевском. Статьи Плеханова, пользующиеся большой известностью, могут быть в данном обзоре только отмечены, а не анализированы. Напомним лишь некоторые особенности этих статей, вызывавшиеся историческим моментом, в который они писались. В предисловии к позднейшей книге о Чернышевском Плеханов сам говорит об этом: «В то время, когда писались эти статьи, наши народники и субъективисты усердно противопоставляли Чернышевского Марксу и твердили, что тому, кто усвоил себе экономическую теорию автора примечаний к Миллю, нет ни малейшей надобности трудиться над усвоением теории автора «Капитала»... Поэтому, когда скончался Н. Г. Чернышевский и когда, естественно, возник вопрос о подведении итогов его литературной деятельности, я решился критически разобрать его экономические взгляды и показать, что он принадлежит к той эпохе в истории социализма, которая должна теперь считаться уже отжившей». Поэтому в статьях

Плеханова о Чернышевском 1890—1892 гг. публицистический и политический моменты нередко вытесняют историческую точку зрения, и статьи о Чернышевском иногда становятся статьями против Чернышевского. Так, например, Плеханов говорит, что Чернышевский не был большим знатоком политической экономии даже и для своего времени и пр. В позднейших работах о Чернышевском (немецкая и русская книги) *Плеханов многое смягчил и изменил, но, надо сказать,* элемент недооценки Чернышевского и неправильного его понимания остался у Плеханова и позже, — это было неразрывно связано с общей меньшевистской его позицией.

Во всяком случае, статьи Плеханова о Чернышевском были первой попыткой серьезного научного подхода с марксистской точки зрения к литературному наследству Чернышевского. Написанные, вдобавок, с яркой литературной талантливостью, они сыграли очень большую роль в деле научного изучения Чернышевского. Ничего подобного статьям Плеханова народническая литература 70—80-х гг. не дала.

Подведем итоги. Говоря о произведениях нелегальной литературы 60-х — 80-х гг., не следует, конечно, забывать, что эта литература, по самым условиям своего существования, не могла правильно доставляться в Россию и иметь сколько-нибудь широкое распространение. Из названных нами периодических изданий «Общее Дело», например, повидимому, имело очень слабое распространение, а издания вроде нью-йоркского «Знамени», вероятно, и вовсе не попадали в Россию. И все-таки в некотором количестве нелегальные книги и журналы читались в России; кроме того, они обслуживали тех русских, которые принуждены были жить вне своей страны, т. е. политических эмигрантов. В течение первых десятилетий после гражданской смерти Н. Г. Чернышевского только здесь, в нелегальной (почти исключительно зарубежной) прессе, и могло быть произносимо имя великого мыслителя. Что же в общем итоге было сделано нелегальной прессой относительно Чернышевского?

Во-первых, когда Чернышевский подвергся каре, то по поводу жестокого и подлого приговора над ним в зарубежной прессе с самого начала был заявлен энергичный протест, и самодержавному правительству были брошены в лицо заслуженные им проклятия. В последующее время нелегальная пресса продолжала неустанно и настойчиво говорить о преступлении, совершенном над Чернышевским, и давала хотя бы скудные (ибо других не было) сведения о его жизни в Сибири.

Далее, важной заслугой зарубежной прессы является то, что в течение 60-х и 70-х гг. за границей все время, начиная с 1867 г., издавались произведения Чернышевского — как отдельные книги, так и собрание сочинений (хотя бы и очень неполное). За издание этого собрания сочинений его инициатору, М. К. Элпидину, следует простить много грехов. Особо следует отметить, что среди напечатанных за границей сочинений Чернышевского некоторые, и притом очень важные («Письма без адреса», «Пролог пролога»), были опубликованы впервые. В той же зарубежной прессе было положено начало опубликованию официальных документов о Чернышевском (приговор суда) и появились первые наброски его биографии.

Наконец, в нелегальной литературе впервые были сделаны некоторые общие оценки Чернышевского, произведены попытки установить значение его литературной деятельности. Не все здесь было удачно, но во всяком случае над произведениями Чернышевского работала мысль, и некоторые пункты были установлены правильно. При этом сочинения Чернышевского не были предметом только исторического интереса: представители различных революционных групп стремились к тому, чтобы связать положения своей теории и практики с идеями Чернышевского. Заключительным моментом в попытках нелегальной литературы правильно понять и объяснить Чернышевского является научная работа о нем на марксистских основаниях, данная в статьях Плеханова.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Обстоятельное изложение этих отношений можно найти в книге Ю. М. Стеклова «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность», том II, 1928, глава 2, стр. 43—69.

[2] Дело идет о Д. А. Милютине — см. ниже.

[3] Еще раньше того, в 183-м №, в статье о Чернышевском (о ней см. дальше), в том месте ее, где говорится, что Чернышевскому ставились в вину «сношения с изгнанником Герценом», Герцен сделал примечание: «О чем речь? Неужели о моем открытом предложении печатать «Современник» в Лондоне?».

[4] В полемике с Чернышевским публицист С. С. Громека, бывший жандармский офицер, заявил в одной из статей, что он пришлет ему свой старый жандармский мундир.

[5] По мнению Ю. М. Стеклова, статья принадлежит М. А. Бакунину. См. Ю. Стеклов. «Михаил Александрович Бакунин», III, стр. 453—454.

[6] Отметим одну деталь в брошюре Николадзе. Он говорит (стр. 36), что первым донес на Чернышевского, еще до знаменитых петербургских пожаров, Н. С. Лесков. «Дело происходило следующим образом: в январе 1862 г. Чернышевский издал в «Современнике» «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», где между прочим он обзывал всех врагов покойного критика «узколобыми глупцами и тупоумными пошляками». Когда в мае того же года вышла «Молодая Россия», в которой говорилось, что А. И. Герцен начинает отставать от современного движения умов, Лесков напечатал в «Северный Пчеле», что «люди, находящие Искандера отсталым, скоро начнут величать его «тупоумным пошляком или узколобым глупцом». Само собой разумеется, что это даже не намек, а прямое указание на то, что Чернышевский — автор «Молодой России». Здесь имеется в виду неподписанная статья в № 143 «Северной Пчелы» (появившаяся, кстати сказать, не до петрбургских пожаров, как говорит Николадзе, а после них). Относительно автора этой статьи в нелегальной прессе можно найти и другое указание: в V томе «Вперед» (1877) на стр. 197 (статейка «Да будет свет!» в «Смеси») писатель П. И. Мельников-Печерский назван гнусным доносчиком на Чернышевского и на «Молодую Россию» Здесь, безусловно, имеется в виду та же статья в 143-м № «Северной Пчелы» за 1862 г.

[7] Судя по сходству не только мыслей, но и самой словесной формы приведенного места с соответственной частью вышеупомянутой брошюры «Правительство и молодое поколение», мы полагаем, что автором данного предисловия был Н. Я. Николадзе.

[8] Здесь, конечно, имелся в виду Н. И. Утин.

[9] В. Г. Короленко. Воспоминания о Чернышевском. *Полное собрание* сочинений, изд. Маркса, I, стр. 357—358.

[10] По всей вероятности, имеется в виду С. П. Боткин, получивший в 1873 г. звание почетного лейб-медика.

[11] В упомянутых выше воспоминаниях В. Г. Короленко сказано, что после попытки Мышкина «Чернышевский обратился с убедительною просьбою не делать более таких попыток, и письмо его в таком смысле было напечатано в 70-х гг. в заграничных изданиях». Такого письма самого Чернышевского напечатано не было, но весьма возможно, что Короленко вспомнил именно приведенную корреспонденцию «Из Иркутска». О том, что он решительно не собирается бежать, Николай Гаврилович писал в 1873 и 1875 гг. своей жене, а также говорил после обыска жандарму Купенкову, что он «охотно напечатал бы в газетах своим доброжелателям, не делать к освобождению его никаких попыток» (Ю. Стеклов. «Н. Г. Чернышевский», т. II, 550—552).

[12] Лавров допустил здесь ошибку: к моменту покушения Каракозова М. И. Михайлова и Н. А. Серно-Соловьевича уже не было в живых.

[13] Текст листовки напечатан в «Историко-революционном сборнике», т. II, 1924, стр. 319—320.

[14] «Воспоминания В. В. Берви». «Голос Минувшего», 1915, IV, 154.

[15] Докладная записка Пыпина Лорис-Меликову напечатана с предисловием Ю. М. Стеклова в «Красном Архиве», 1927, III [22]. См. также «Русская Мысль», 1911, IX (статья Кистяковского) и «Чернышевский в Сибири», II, XIII—XVIII.

[16] В 80-х гг. из работавших еще писателей чаще всего рядом с именем Чернышевского ставилось имя Салтыкова. «Нынешнее поколение... не имело смелости заступиться за талантливейших своих представителей Чернышевского и Салтыкова» («Общее Дело», № 61). «...Всякий негодяй, доползший до властного местечка, может играть, как пешками, жизнью людей, хотя бы эти люди носили имена Чернышевских, Салтыковых, Тургеневых, Л. Н. Толстых...» (там же, № 62). «...Катков и Суворин, которых не должно бы терпеть среди себя ни одно уважающее себя общество... призваны руководить общественным мнением, в то время, когда талантливейшие современные писатели, Чернышевский, Салтыков и

Лев Толстой, лишены возможности писать и права печатать свои произведения» (там же, № 63). «Действительность прежде естественного смертного часа смежила уста и закопала в могилу Салтыкова и Льва Толстого, загнала Чернышевского в Астрахань, Михайловского в Любань» (там же, № 66).

[17] В этих датах заключается ряд неточностей.

[18] Полностью корреспонденция напечатана в книге Чешихина-Ветринского «Н. Г. Чернышевский». 1923, стр. 186—192. В извлечениях — в книге Ю. Стеклова о Чернышевском, т. II, 596—598.

[19] Отметим кстати, что в «Знамени», начиная с № 1 за 1883 г., печатался роман Чернышевского «Пролог пролога».

[20] 4-го № мы не могли отыскать в московских библиотеках.

БЫЛ ЛИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ АВТОРОМ ПИСЬМА „РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА“ К ГЕРЦЕНУ?*

Сообщение Б. Козьмина

I

В № 64 герценовского «Колокола» — от 1 марта 1860 г. — было помещено «Письмо из провинции» за подписью «Русский человек». Автор этого письма, как известно, подверг резкой и жестокой критике отношение Герцена к политике русского правительства. Никаких расчетов на либерализм Александра II, по мнению автора письма, строить нет оснований: перед Россией один путь к обновлению — это народное восстание, долженствующее смести с лица земли самодержавно-помещичий строй. Другого спасения для России нет. «К топору зовите Русь, — писал «Русский человек», заканчивая свое письмо. — Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать».

Этот замечательный документ до сих пор остается для нас загадкой. Кто был его автором? Кто послал Герцену пламенный призыв к революции?

В последнее время в нашей исторической литературе начинает находить себе все больше сторонников взгляд, приписывающий авторство этого письма Н. Г. Чернышевскому. В частности, в литературе, вызванной столетним юбилеем со дня рождения Чернышевского, а также в позднейшей, попадаются нередко категорические (но в большинстве случаев ничем не мотивированные) утверждения о том, что письмо «Русского человека» написано Чернышевским. Встречая такие утверждения, можно думать, что вопрос об авторстве интересующего нас письма решен уже окончательно, что причастность к нему Чернышевского никаких сомнений не вызывает. Между тем, это не так. Поэтому мы и решаемся вновь поднять вопрос об авторстве Чернышевского и рассчитываем показать, что аргументы, приводимые сторонниками решения этого вопроса в положительном смысле, не выдерживают критики. Но этого мало. Содержание самого письма противоречит этому предположению и заставляет отказаться от него. Безапелляционное утверждение об авторстве Чернышевского, насколько нам известно, впервые было высказано в нашей литературе покойным М. К. Лемке, который в 1912 г. во вступительной заметке к статье Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» писал про интересующий нас документ: «Что это письмо действительно написано Чернышевским, я имею доказательства в показании покойного А. А. Слепцова, записавшего это с собственных слов Н. Г., и еще в некоторых документах, опубликование которых откладываю до своей большой работы о 1860-х годах» [1].

Через семь лет, в примечаниях к X тому «Полного собрания сочинений» А. И. Герцена, Лемке вновь повторил свое утверждение относительно авторства Чернышевского, ссылаясь опять-таки на сообщение А. А. Слепцова [2].

---

* Печатается в порядке обсуждения.

Наконец, в 1923 г. Лемке удалось издать ту свою «большую работу», о которой он писал в 1912 г. Мы имеем в виду его книгу «Политические процессы в России 1860-х годов». В ней автор со свойственной ему решительностью заявил (стр. 167): «Сомневаться в принадлежности этого романа Чернышевскому могут только ученые á la Клочков». Однако, и здесь Лемке ограничился ссылкой только на Слепцова. Никаких обещанных им других документов, подтверждающих авторство Чернышевского, и в этой книге Лемке не привел.

Вслед за Лемке его утверждение относительно интересующего нас документа было повторено рядом исследователей, писавших про Чернышевского. При этом они обычно считали лишним приводить какие-либо доказательства в пользу авторства Чернышевского или, в лучшем случае, ссылались на то, что Лемке, якобы, «убедительно доказал» принадлежность письма «Русского человека» Чернышевскому. На ту же точку зрения стал автор книги «Н. Г. Чернышевский и его литературные враги»[3], Г. О. Берлинер, который находит, что «можно, не опасаясь грубой ошибки, считать автором письма Чернышевского». При этом Г. О. Берлинер, в отличие от других исследователей, не ограничивается ссылкой на аргументацию Лемке и приводимое им свидетельство Слепцова, а выдвигает ряд дополнительных аргументов, которые, по его мнению, подтверждают это свидетельство. Нам придется еще говорить об этих аргументах, и тогда мы оценим степень их убедительности.

На ряду с этим некоторые другие исследователи высказывались относительно принадлежности письма «Русского человека» перу Чернышевского в менее категорической форме.

М. Н. Покровский писал: «Принадлежность этого письма Чернышевскому не бесспорна, но все же очень вероятна — есть прямые указания»[4]. Очевидно, под «прямыми указаниями» М. Н. Покровский подразумевал то же самое свидетельство Слепцова.

Ю. М. Стеклов в своей монументальной биографии Чернышевского, приведя свидетельство Слепцова, пишет: «Это более чем вероятно по общему тону и содержанию статьи (т. е. письма «Русского человека»), точно отвечающим действительным взглядам Чернышевского, которые в подцензурной печати он мог выражать лишь туманными намеками»[5].

Более осторожно к письму «Русского человека» подходит М. В. Нечкина, полагающая, что «вопрос» об авторстве Чернышевского еще очень темен и требует тщательного исследования». При этом М. В. Нечкина высказывает некоторые соображения относительно ненадежности известного уже нам свидетельства А. А. Слепцова[6]. О соображениях ее нам придется говорить ниже.

Как мы видим, вопрос об авторстве Чернышевского большинством исследователей разрешается в положительном смысле.

II

Попробуем же разобраться в этом вопросе и рассмотреть, какой доказательной силой обладают аргументы, приводимые в подтверждение авторства Чернышевского, и в первую очередь свидетельство А. А. Слепцова.

Как мы уже говорили, М. К. Лемке трижды ссылается на это свидетельство. Необходимо прежде всего отметить, что в этих трех случаях он давал расходящиеся между собою указания относительно источника, откуда и заимствовано сообщение Слепцова.

В комментариях к сочинениям Добролюбова Лемке рассказывал, что Слепцов записал со слов Чернышевского его признание относительно авторства интересующего нас документа. В примечаниях к собранию сочинений Герцена Лемке писал, что в бумагах А. А. Слепцова им была найдена копия письма «Русского человека» с пометкой Слепцова: «Написано Н. Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену». Наконец, в книге «Политические процессы»

Лемке ссылается на воспоминания, которые Слепцов написал по его просьбе и отрывки из которых Лемке опубликовал в примечаниях к X и XVI томам собрания сочинений Герцена.

При этом в двух последних случаях текст свидетельства Слепцова передается Лемке различно. В первом случае: «Написано Н. Г. Чернышевским...»; во втором: «Писано Н. Г. Чернышевским...» Это может показаться мелочью, но во всяком случае эта мелочь такова, что заставляет насторожиться.

Но дело не в этой мелочи, а в том ничем не объяснимом расхождении в указаниях Лемке на источник, из которого им заимствовано свидетельство Слепцова: в одном случае — запись слов Чернышевского, сделанная Слепцовым, в другом — копия письма «Русского человека», с пометкой Слепцова, в третьем — воспоминания, написанные Слепцовым. Таким образом, при противоречивости этих указаний оказывается, что мы так и не знаем, откуда же Лемке заимствовал интересующее нас сообщение Слепцова. Печальнее всего — это то, что мы лишены даже возможности проверить, какая из трех расходящихся между собою ссылок Лемке соответствует действительности. Дело в том, что ни копии письма «Русского человека», ни автографа воспоминаний Слепцова, ни вообще каких-либо записей, сделанных последним, никто, кроме Лемке, не видал, и где находятся они, — если только они в действительности существовали, — никому не известно.

Полагаем, что уже одного этого достаточно, чтобы взять под сильное сомнение достоверность приводимого Лемке довода в подтверждение авторства Чернышевского. Имеются и другие соображения, подкрепляющие это сомнение.

М. В. Нечкина в упомянутом выше обзоре юбилейной литературы по Чернышевскому писала:

«Все, что мы знаем о Чернышевском, о его величайшей конспиративной осторожности и, наконец, просто о его привычках,—прямо кричит против утверждения Слепцова. Чего ради стал бы Чернышевский Слепцову, к которому он относился не с полным доверием, читать т а к о й документ? Кроме того, вспомним факт, подтверждаемый массою других свидетельств, о привычках Чернышевского и очень ярко выраженный им самим: «Всякий, близко знающий (меня), знает, что это нравственная невозможность. Я никогда не читаю никому что бы то ни было написанное мною. Этот обычай столь же чужд мне, как танцевание балетных танцев и собирание милостыни под окнами».

Нельзя не согласиться с правильностью и убедительностью этих указаний М. В. Нечкиной. Однако, как мы сейчас убедимся, свидетельство Слепцова находится в противоречии не только с привычками Чернышевского и с недостаточным доверием его к Слепцову, но и с другим, еще более существенным обстоятельством.

В марте 1860 г., когда на страницах «Колокола» появилось письмо «Русского человека», Слепцов был чиновником II отделения собственной его императорского величества канцелярии; благонадежность его еще не вызывала ни в ком никаких сомнений. Конечно, он был либералом (тогда все чиновники, заботившиеся о своей карьере, были либералами), но либерализм его не выходил за пределы, дозволенные начальством. В начале июля 1860 г. Слепцов отправился в заграничную командировку по служебным делам и вернулся в Россию в конце ноября того же года. Во время пребывания за границей Слепцов посетил Герцена. Насколько в то время Слепцов был невинен в политическом отношении, можно судить по его собственному признанию. В своих воспоминаниях он указывает, что ко времени посещения Герцена он еще не успел «продумать» взгляды и мнения Герцена относительно положения дел в России. На Герцена Слепцов, повидимому, произвел хорошее впечатление. Герцен много говорил с ним, и в частности на тему о необходимости объединения недовольных правительством элементов в России. Слепцов весьма заинтересовался словами Герцена и по возвращении в Россию решил познакомиться с Чернышевским, как с признанным вождем радикального крыла русского общества того времени. Раздобыв рекомендательное письмо от Н. Н.

Обручева, Слепцов отправился к Чернышевскому. По его собственному свидетельству, первое свидание его с Чернышевским состоялось в июле 1861 г., т. е. через год с лишним после появления на страницах «Колокола» письма «Русского человека»[7].

Вот факты, частью стоящие вне всяких сомнений, частью же заимствованные из тех же самых воспоминаний Слепцова, на которые ссылается Лемке. Какую же цену может иметь при таких условиях сообщение Слепцова относительно письма «Русского человека», которому так слепо поверили Лемке и другие исследователи? Ясно, что — никакой!

Итак, то свидетельство Слепцова, на основании которого вопрос об авторстве Чернышевского разрешался и разрешается до сих пор в положительном смысле, отпадает. Других аргументов в защиту этого решения не имеется, кроме тех, которые приводит Г. О. Берлинер в своей книге «Н. Г. Чернышевский и его литературные враги». Посмотрим, насколько убедительны его соображения.

Прежде всего, Г. О. Берлинер обращает внимание на отношения автора «Письма из провинции» к подготавливавшейся в то время правительством отмене крепостного права. Автор письма высказывает убеждение, что правительство не даст крестьянам той воли, которой они ждут и в которой нуждаются. Не дадут им ее и «либералы, профессора, литераторы», готовые защищать безземельное освобождение крестьян. Автор письма понимает, что правительство примет все меры к ограждению интересов дворянства.

Указав на такое отношение автора письма к крестьянской реформе, Г. О. Берлинер находит, что проявить его мог «только человек в высшей степени обеспокоенный ходом крестьянской реформы и с тревожным вниманием следящий за тем, как эта реформа осуществляется». Таким именно человеком и был Чернышевский, он «ближе всех принимал к сердцу интересы крестьян».

Этому аргументу Г. О. Берлинера нельзя придавать серьезного, а тем более решающего значения. В 1860 г. ходом крестьянской реформы был «обеспокоен» не один Чернышевский, а все представители левого крыла русской общественности того времени. И не один Чернышевский, а многие понимали уже тогда, что крестьяне не получат от правительства то, в чем они нуждаются. Это — общеизвестно, и мы можем ограничиться одним — в достаточной степени ярким — доказательством только что сказанного. В июне 1861 г. беллетрист Н. Успенский по прочтении в «Колоколе» статьи Огарева, который, проанализировав правительственную реформу, приходил к выводу, что старое крепостное право не отменено, а заменено новым, и что, таким образом, «народ царем обманут», писал К. К. Случевскому:

«Я давно предчувствовал это и не интересовался манифестом и не читал новых положений»[8].

Таким образом, даже такому сравнительно далекому от политической жизни человеку, как Н. Успенский, было ясно, что правительственная реформа не даст надлежащего разрешения крестьянского вопроса. Другими словами, в отношении к правительственной реформе автора «Письма из провинции» нет ничего такого, что было бы присуще исключительно одному Чернышевскому.

Еще слабее другой аргумент Г. О. Берлинера:

«Автор интересующего нас письма жалуется на запрещение русским органам прессы писать о духовенстве и об откупах. Такое запрещение,—пишет Г. О. Берлинер, — могло особенно раздражить того, кто писал или хотел писать по этим вопросам». Чернышевский дважды писал об откупах[9]. Отсюда вывод — автор письма был не кто иной, как Чернышевский.

Если Г. О. Берлинер перелистает журналы и газеты конца 50-х и начала 60-х годов, то убедится, что вопрос об откупной системе привлекал к себе в то время всеобщее внимание. Тогдашние органы прессы были переполнены статьями, заметками, проектами и предложениями по этому вопросу. Таким образом, запре-

щение писать об откупах могло и должно было «раздражить» не одного только Чернышевского, но и многих других людей, придававших большое значение этому вопросу.

Наконец, третий и последний аргумент Г. О. Берлинера, на первый взгляд кажущийся значительно более убедительным, чем предыдущие, сводится к следующему:

«Чернышевскому свойственно употребление родительного падежа после глагола «надеяться»... Пример такого же употребления находим и в письме». При этом Г. О. Берлинер указывает на то место, где автор письма говорит о либералах, которые «еще надеются мирного и безобидного для крестьян разрешения вопроса». В подтверждение же, что Чернышевскому действительно было свойственно такое согласование, Г. О. Берлинер ссылается на его статью «Русская Беседа и ее направление», где мы находим фразу: «Нет, этого нельзя надеяться». (Соч., т. III, стр. 421)[10].

Однако, этот довод Г. О. Берлинера был бы убедительным лишь в том случае, если бы Берлинеру удалось доказать, что употребление родительного падежа после глагола «надеяться» (вместо винительного с предлогом «на») было индивидуальной особенностью Чернышевского. В действительности же это не так. То же самое сочетание родительного падежа с глаголом «надеяться» мы встречаем и у других писателей того времени. Так, в статье небезызвестного тогда крепостника Н. Герсеванова об отказе крестьян от употребления водки, напечатанной в № 32 «Северной Пчелы» за 1859 г., высказывается предположение, что этот отказ даст откупщикам возможность и «полное право просить и надеяться сбавки откупной суммы» (вносимый ими в казну %).

Этот пример служит яркой иллюстрацией того, с какой осторожностью надлежит относиться к «стилистическим особенностям» при установлении авторства, и убеждает нас в том, что и третий аргумент Г. О. Берлинера не сильнее двух первых.

Итак, все три его довода оказываются несостоятельными. При этом по самому своему характеру они даже в том случае, если бы нам не удалось опровергнуть их, могли иметь значение не самостоятельное, а только лишь в качестве подкрепления и подтверждения какого-либо другого довода, обладающего большой доказательной силой. Таким именно доводом является для Г. О. Берлинера свидетельство Слепцова, поскольку же это свидетельство отпадает, постольку же лишаются какого бы то ни было значения и дополнительные аргументы Г. О. Берлинера. Ведь несомненно, что не будь в наличности разобранного нами выше сообщения Слепцова, Г. О. Берлинер не рискнул бы отстаивать авторство Чернышевского исключительно на основании одних только приводимых им дополнительных аргументов. Он сам смотрит на них лишь как на подкрепление, а не как на доводы, имеющие самостоятельное, решающее значение.

В конечном счете приходится констатировать, что никаких серьезных и убедительных аргументов в подтверждение принадлежности Чернышевскому «Письма из провинции» никем до сих пор не приведено.

Но этого мало, — мы покажем сейчас, что самое содержание интересующего нас документа свидетельствует о том, что он не мог выйти из-под пера Чернышевского.

Как мы уже упоминали, «Русский человек» ставит своею задачею доказать Герцену, что «вера в добрые намерения царей» не оправдывается ни историей, ни современным положением вещей в России. Он уговаривает Герцена оставить какие бы то ни было надежды на правительство и начать разоблачать царя, вместо того, чтобы убеждать его, как это делает Герцен. Пусть Герцен не «обманывается призраками» и расстанется с верой в «прогрессивные стремления нашего правительства». «Александр II скоро покажет николаевские зубы». «Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте... Не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она

многим пригодилась бы... Пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат!»

Как видим, письмо «Русского человека» написано в расчете переубедить Герцена и заставить его изменить то направление, которое он придал своему «Колоколу».

Мог ли Чернышевский ставить себе такую задачу в начале 1860 года? Мы полагаем, что на этот вопрос возможен только отрицательный ответ.

Известно, что еще в июне 1859 г. Чернышевский ездил в Лондон для того, чтобы объясниться с Герценом по поводу резкого выпада, сделанного последним на страницах «Колокола» против Чернышевского и Добролюбова. О чем говорили при свидании Герцен и Чернышевский, нам, к сожалению, неизвестно. Однако,



ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Рисунок неизвестного художника
Музей Революции, Москва

несомненно одно: в результате этого свидания как Герцен, так и Чернышевский убедились в том, что им не по дороге. В разговоре для них выяснилось коренное расхождение их во взглядах на политическое положение России.

«Кавелин в квадрате — вот вам все». Так в письме к Н. А. Добролюбову Чернышевский формулировал впечатление, вынесенное им от свидания с Герценом [11]. Ясно, что обозначала формулировка Чернышевского: Герцен с его точки зрения — либерал, не более, и революционному демократу Чернышевскому с ним не по пути. Сколько бы они ни говорили друг с другом, они не смогут договориться, ибо слишком расходятся их взгляды и убеждения, и политическое положение России они расценивают совершенно различно.

Итак, Чернышевский еще в 1859 г. убедился, что Герцен неисправим и что переубедить его нельзя, как нельзя переделать натуру человека. Вот почему нам представляется совершенно невероятным, чтобы Чернышевский после свидания с Герценом стал делать какие-либо попытки воздействовать на него. В глазах Чернышевского это было делом совершенно безнадежным — настолько же безнадежным, как сделать из Кавелина революционного демократа.

Нам могут возразить, что Чернышевский мог рассчитывать на воздействие не столько на самого Герцена, сколько через его голову на многочисленных чи-

тателей и почитателей «Колокола». При таких условиях форма письма была для него только литературной формой, которую он по тем или иным соображениям предпочел. Однако, и такое предположение представляется нам недостаточно обоснованным.

Чернышевский знал, что Герцен открывает широкий доступ на страницы своих изданий для инакомыслящих. Он не мог ни на минуту сомневаться, что, какую бы форму он ни придал своим писаниям, все написанное им и посланное Герцену будет последним напечатано. Вот почему, если бы Чернышевский хотел использовать герценовский «Колокол» для откровенного разговора с читателями, обеспеченного от вмешательства цензорского карандаша, ему не было бы необходимости придавать своему произведению форму письма к Герцену и обращаться к последнему с какими бы то ни было советами.

«Русский человек» не потерял еще надежды вынудить Герцена изменить направление «Колокола». У Чернышевского же после свидания с Герценом такой надежды уже не было[12].

Пойдем, однако, далее и убедимся в том, что в письме «Русского человека» имеется ряд моментов, делающих принадлежность его перу Чернышевского более чем сомнительной.

Не будем говорить о заглавии интересующего нас документа. Он назван: «Письмо из провинции», а между тем Чернышевский в то время жил не в провинции, а в Петербурге. Допустим, что указание на «провинцию» было сделано, как это утверждает Ю. М. Стеклов, из соображений конспирации и что поэтому аргументировать ссылкой на него нельзя.

Гораздо существеннее, по нашему мнению, другое обстоятельство, а именно: автор письма, оспаривая утверждение Герцена относительно того, что во время Крымской войны народ шел вместе с царем, ссылается на свои собственные наблюдения. «Я жил, — пишет он, — во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа».

Известно, что Чернышевский во время войны жил не в «глухой провинции», а в столице. Среди народа он вообще никогда не «таскался».

Ю. М. Стеклова это место письма не смущает. «Это указание сделано с целью сбить с толку полицию», — авторитетно, но без всяких доказательств заявляет он[13]. Однако, такое объяснение представляется нам весьма натянутым и маловероятным. Никакими основательными соображениями в данном случае конспирация не вызывалась. И при отсутствии приведенного места у полиции все-таки не было никаких доказательств того, что письмо к Герцену могло быть написано Чернышевским. Это — во-первых. А во-вторых, по нашему мнению, трудно допустить, чтобы Чернышевский, оспаривая Герцена, мог избрать такой аргумент (собственные его наблюдения в «глухой провинции»), заведомая ложность которого была ясна для его противника. Ведь, это значило бы ставить самого себя в неудобное положение по отношению к своему оппоненту. Чернышевский был настолько умным и осторожным человеком, что, если бы он хотел конспирировать и сбивать с толку полицию, он нашел бы для этого ряд способов, гораздо более ловких и удобных для него самого.

«На чужой стороне, в далекой Англии,—пишет «Русский человек» Герцену,— вы, по собственным словам вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царскою властию, вы показали России, что такое свободное слово... и за то, вы это уже знаете, все, что есть живого и честного в России, с радостью, с восторгом встретило начало вашего предприятия».

Эти слова мог написать только такой человек, который в начале работы герценовского вольного станка в Лондоне с восторгом относился к его литературной деятельности и лишь позднее разочаровался в ней. Был ли таким человеком Чернышевский?

Отвечая на этот вопрос, мы имеем возможность сослаться на свидетельство самого Чернышевского, данное им в примечании к одному из писем Н. А. Добро-

любова (письмо к Н. П. Турчанинову от 1 августа 1856 г.). Из этого примечания видно, что уже летом 1856 г. Чернышевский относился к Герцену отрицательно. Когда восхищенный Добролюбов, бывший в то время большим поклонником Герцена, принес Чернышевскому французскую брошюру Герцена «О развитии революционных идей в России» и второй номер его «Полярной Звезды», Чернышевский весьма огорчил Добролюбова своим «недовольством некоторыми понятиями Герцена» и «холодными отзывами» о его произведениях. Поясняя этот эпизод, Чернышевский говорит о себе, что он «уже имел тогда образ мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцена и, сохраняя уважение к нему, уж не интересовался его новыми произведениями»[14].

Ясно, что при таких условиях возлагать какие-либо надежды на герценовские «Полярную Звезду» и «Колокол», а тем более восхищаться ими Чернышевский не мог.

Автор интересующего нас письма зло высмеивает надежды Герцена на либерализм Александра II. Предупреждая Герцена о невозможности увлекаться толками о начавшемся в России «прогрессе», он указывает на половинчатость и непоследовательность этого прогресса и, в частности, напоминает Герцену об изданном в 1857 г. циркуляре, запрещавшем русским газетам и журналам писать о крестьянском вопросе. «Так и теперь,— пишет «Русский человек»,— господин Галилеянин запретил писать о духовенстве и об откупах».

Конечно, Герцен хорошо понял намек, заключенный в этих словах. Он понял, что «Русский человек» напоминает ему статью «Через три года», напечатанную Герценом в 1858 г. в № 9 «Колокола». В этой статье, написанной под непосредственным впечатлением от первых шагов русского правительства в сторону пересмотра отношений крестьян к помещикам, Герцен обращался к Александру II со словами: «Ты победил, Галилеянин!».

Уместно ли было со стороны Чернышевского такое напоминание Герцену о его переоценке правительственного либерализма? Конечно, нет. Известно, что в 1858 г. Чернышевский сам, подобно Герцену, переоценивал значение предпринятых правительством мер к пересмотру положения крепостных крестьян. И если Герцен обращался тогда к Александру II со словами: «Ты победил, Галилеянин!»— то и Чернышевский в то же самое время адресовал тому же Александру цитату из псалмов: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помаза тя бог твой!»[15].

Трудно предполагать, чтобы при таких условиях Чернышевский стал напоминать Герцену об этой его ошибке. Ведь, если мы не знаем, кто был автором письма «Русского человека», то Герцен хорошо это знал. Не мог он не знать и о статье Чернышевского с эпиграфом из псалмов[16].

Наконец, и заключительная часть письма «Русского человека» делает весьма маловероятной принадлежность его перу Чернышевского. Трудно допустить, чтобы призыв к немедленному восстанию, которым заканчивается письмо («к топору зовите Русь»), вышел из-под пера Чернышевского. Известно, что в том единственном случае, когда Чернышевский сделал попытку обратиться к народу с прямым революционным призывом (мы имеем в виду его прокламацию «Барским крестьянам»), он упорно и настойчиво указывал на необходимость более или менее длительной и тщательной подготовки, которая должна предшествовать восстанию и в которой Чернышевский усматривал необходимое условие для его успешности.

«Надо мужикам промеж себя согласие иметь,— писал он,— чтобы заодно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит спокойствие сохранять и виду никакого не показывать... Когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом мужиком толкуй, да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вами единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора дескать всем дружно начинать. Мы увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас

по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ? Вот мы и знаем, что покудова нет приготовленности...»

Как мало похожа эта осторожная постановка вопроса о подготовке к восстанию на решительный призыв герценовского корреспондента «звонить в набат» и «звать к топору»!

Немыслимо допустить, чтобы Чернышевский, который в 1861 г., когда он писал прокламацию «Барским крестьянам», находил, что в России «покудова нет приготовленности» к восстанию, за год перед тем, когда появилось письмо «Русского человека», стоял на противоположной точке зрения и полагал, что в то время «приготовленность» уже была. Внимательно следивший за русской жизнью, и, в частности, за настроением крестьянских масс, Чернышевский не мог не знать, что в 1860 г. в России было еще меньше «приготовленности» к революции, чем в 1861 г., когда классовая борьба начала развертываться все сильнее.

И если после крестьянских волнений, прокатившихся по всей России в 1861—1862 гг., Чернышевский с осуждением отнесся к авторам «Молодой России», которые, вслед за «Русским человеком», звали народ к немедленному восстанию, не заботясь об его подготовке, то уже один этот факт должен убедить нас в том, что «Письмо из провинции» не могло выйти из-под его пера [17].

Итак, целый ряд приведенных нами соображений убеждает нас в том, что «Письмо», напечатанное в «Колоколе», было написано кем-то другим, а не Чернышевским. Кем именно, мы, к сожалению, определить не можем. Одно только для нас несомненно, а именно — что автор интересующего нас документа воспитался на сочинениях Чернышевского и Добролюбова и в общем разделял их политические взгляды и, в частности, их убеждение в том, что без революции аграрный вопрос в России не получит разрешения, благоприятного для крестьянства. Но того умения объективно и трезво взвешивать и оценивать политическую обстановку, которое отличало Чернышевского и Добролюбова и под влиянием которого Добролюбов в 1861 г. писал про революцию в России:

О, подожди еще, желанная, святая!
Помедли приходить в наш боязливый круг!
Теперь на твой призыв ответит тишь немая,
И лучшие друзья не приподымут рук,—

этого умения у автора «Письма из провинции» недоставало.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, т. IV. М. 1912 г., стр. 35—36.

[2] Там же, стр. 224.

[3] М.—Л.; 1930 г., стр. 76—78.

[4] См. его статью «Н. Г. Чернышевский, как историк» в VIII т. журнала «Историк-марксист», стр. 23.

[5] Ю. Стеклов, Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность, т. II, стр. 51—52.

[6] М. Нечкина. Юбилейная литература об Н. Г. Чернышевском. «Историк-марксист», т. X. стр. 220.

[7] Герцен, Собрание сочинений, т. X, стр. 425—427.

[8] Чуковский, Люди и книги шестидесятых годов, М. 1934 г., стр. 285.

[9] Статьи «Откупная система», № 10 «Современника» за 1859 г. и «Предложение г. Закревского относительно винного акциза» в № 12 того же журнала за 1860 г.

[10] Г. Берлинер, Н. Г. Чернышевский и его литературные враги, М.—Л. 1930 г.

[11] Н. Г. Чернышевский, Литературное наследие, т. II, М. 1928 г., стр. 365—366.

[12] Интересно отметить одно место в письме «Русского человека». Автор его пишет: «Наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали...» Мы полагаем, что в подчеркнутых нами словах можно видеть

намек на посещение Герцена Чернышевским. Как ни конспиративно обставлена была поездка Чернышевского в Лондон, в революционных кругах того времени, по свидетельству современника (см. воспоминания С. Г. Стахевича в сборн. «Н. Г. Чернышевский», изд. Об-ва политкаторжан, М. 1928 г., стр. 56—57), о ней кое-что знали; знали о ней также и в либеральных кругах; это видно из письма В. П. Боткина к И. С. Тургеневу от 23 августа 1859 г. («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка». М. 1930 г., стр. 157). Повидимому, и до «Русского человека» дошли какие-то сведения о посещении Герцена Чернышевским, но точностью эти сведения не отличались; иначе он не стал бы писать: «кажется». Если наши соображения верны, то они могут служить еще одним аргументом против авторства Чернышевского.

[13] Названное сочинение, т. II, стр. 53.

[14] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», т. I, М. 1890 г., стр. 319.

[15] Эпиграф к статье Чернышевского «О новых условиях сельского быта», напечатанной в февральской книжке «Современника» за 1858 г.

[16] Ю. М. Стеклов объясняет этот эпиграф «политической хитростью» Чернышевского и его желанием «отрезать правительству путь к отступлению». «Хваля Александра II,— пишет он,— за решительный, как в первый момент показалось, приступ к реформе, Чернышевский этим как бы намекал, что демократическая часть русского общества поняла рескрипт Назимову как принципиальный отказ правительства от крепостного права, что на этом пути для него нет возврата и что похвалы за такую решимость равнозначащи порицанию за какие бы то ни было попытки сохранить старый порядок» (Названное сочинение, т. II, стр. 70—71 и 77). Высказывая такое предположение Ю. М. Стеклов не считает нужным аргументировать его. Нам лично толкование Стеклова представляется весьма искусственным и маловероятным. Трудно допустить, что Чернышевский в 1858 г. мог рассчитывать на то, что его голос способен «отрезать правительству путь к отступлению». Чернышевский не был настолько наивным, чтобы верить, что цитата из псалма может заставить правительство твердо проводить намеченную реформу и закрыть ему путь к отступлению. Но если бы даже предположение Стеклова соответствовало действительности, то это нисколько не меняло бы положения дела в интересующем нас вопросе. Если даже цитата из письма была «политической хитростью» со стороны Чернышевского, то это еще не делало для него удобным напоминанием Герцену об его ошибке. Герцен без труда мог отпарировать этот удар.

[17] Об отношении Н. Г. Чернышевского к «Молодой России» см. в моей статье «К истории Молодой России» в № 6 «Каторги и Ссылки» за 1930 г., стр. 61—69.

ПРОКЛАМАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРУЖКА КО ДНЮ ДВАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ СМЕРТИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Сообщение Е. Кушевой

До последнего времени были известны две прокламации, связанные с годовщинами смерти Н. А. Добролюбова: прокламация «17 ноября в Петербурге», изданная петербургским студенческим кружком через несколько дней после так называемой добролюбовской демонстрации 17 ноября 1886 г. и написанная, по указаниям мемуаристов, А. И. Ульяновым [1], и опубликованный недавно в «Красном Архиве» «Летучий листок» нижегородской социал-демократической организации от 7 декабря 1901 г., посвященный сороковой годовщине смерти Добролюбова [2].

Прокламация «Ко дню двадцатой годовщины смерти Добролюбова» воспроизводится по тексту, доставленному в редакцию «Литературного Наследства» Н. Н. Пенчковским и скопированному с напечатанного типографским способом подлинника, приложенного к неизданным запискам А. Д. Свербеева. В 1881 г. Свербеев был губернатором в Самаре, и он рассказывает в своих записках, как прокламация попала в его руки: она была распространена по почте в Самаре и по Самарской губ., при чем в городе ее получили, по словам Свербеева, все высшие чины, большинство чиновников и местная интеллигенция, а в губернии — большинство помещиков. В самой прокламации местом ее издания указан Харьков, но так как конверты, в которых она рассылалась, имели местный самарский штемпель, Свербеев высказывает предположение, что воззвание было напечатано в Самаре и что указание на Харьков дано в конспиративных целях [3].

В нашем распоряжении нет никаких более точных сведений о прокламации ни мемуарного, ни архивного характера. Поэтому, говоря об ее происхождении, придется ограничиться лишь предположениями.

На содержании прокламации лежит отпечаток провинциализма. Эта же черта сказывается в том, что в ней неверно указана дата смерти Добролюбова — 14 ноября вместо 17-го [4]. Стоящая под текстом прокламации подпись «Кружок социалистов-революционеров» не встречается на других подпольных изданиях 1881 г. и скорее всего принадлежала какому-нибудь небольшому местному кружку. Мы затрудняемся определить, к какому из двух главных направлений начала 60-х годов — народовольческому или чернопередельческому («народническому») — примыкал этот кружок «социалистов-революционеров»: содержание прокламации не дает на это ясных указаний. Однако, то, что кружок не назвал себя кружком народовольцев, заставляет думать, что его члены официально, во всяком случае, не принадлежали к партии «Народная Воля».

Как указывалось выше, местом издания прокламации указан Харьков, но есть предположение, что она самарского происхождения. В начале 80-х годов Харьков был оживленным революционным центром, где к 1881 г. уже ясно опре-

делились оба направления — и «народническое» и народовольческое—и где действовали как приезжие крупные революционеры-профессионалы, так и местные силы, организуя кружки учащейся молодежи и рабочих. В 1883 г. народовольцы и «народники» обзавелись в Харькове своими подпольными типографиями. Сведений о существовании в Харькове типографии уже в 1881 г. нет, и мы не знаем харьковских печатных революционных изданий этого года. Но это не исключает, конечно, возможности напечатания прокламации в одной из харьковских легальных типографий по инициативе какого-либо из многочисленных в то время в Харькове революционных кружков.

Революционная жизнь Самары начала 80-х годов нам менее ясна, во всяком случае, она была значительно беднее, чем в Харькове. Нет сведений и о существовании в Самаре нелегальной типографии ни в 1881 г., ни вообще в 80-е годы. Но аресты и дознания 1881 г. указывают на существование в это время в Самаре революционного кружка среди местной интеллигенции, преимущественно среди учителей. С этим кружком молодежи был связан и находившийся в то время в ссылке в Самаре А. И. Маков, человек, по возрасту своему (род. ок. 1839 г.) принадлежавший к шестидесятникам и начавший свою революционную карьеру в 70-е годы, в московских землевольческих кружках. Во время дознания по делу Началова Маков был обыскан и по постановлению особого совещания от 28 ноября 1881 г. выслан на 5 лет в Тобольскую губернию [5]. Если прокламация действительно была напечатана в Самаре, то А. И. Маков мог быть инициатором ее издания: ему, как человеку, молодость которого прошла в 60-е годы, Добролюбов был, конечно, ближе, чем провинциальной самарской молодежи начала 80-х годов.

Прокламация говорит о революционной борьбе начала 1880-х годов, как о «протесте угнетенной массы», и о современных ей революционерах, как об «истинных учениках Добролюбова». Такое толкование конечно не соответствует действительности. Революционные выступления начала 1880-х годов особенно террористические, являлись выступлениями не народной массы, а интеллигентных революционеров-одиночек или групп, и были страшно далеки от той народной крестьянской революции, которую так ждал Добролюбов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Она напечатана в сборнике «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г.» М. — Л. 1927, стр. 355—357.

[2] «Красный Архив», 1936, II (75), стр. 163—164.

[3] Эти, заимствованные из записок А. Д. Свербеева, сведения также сообщены редакции «Литературного Наследства» Н. Н. Пенчковским.

[4] И это не опечатка. Фраза: «Да, Россия очевидно не помнит того, кто так много для нее трудился и сделал, потому что в день годовщины его безвременной смерти обнаруживает лишь рабскую готовность украсить свои дома позорными флагами в честь жены всероссийского деспота», показывает, что имелось в виду именно 14 ноября — день рождения Марии Федоровны.

[5] «Обзоры важнейших дознаний за 1881 г.» и «Словарь деятелей революционного движения в России», тт. II и III.

КО ДНЮ ДВАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ СМЕРТИ ДОБРОЛЮБОВА

Двадцать лет прошло со дня смерти Добролюбова; слова и мысли великого человека сделались достоянием огромного числа людей; имя стало популярнейшим в России.

Что же так мирно и бесшумно проходит перед нами 14-ое ноября, день двадцатой годовщины его смерти. Или Россия своего великого сына не хочет почтить празднеством его памяти? Или ученики его слишком малочисленны и слабы..?

Да, Россия очевидно не помнит того, кто так много для нее трудился и сделал, потому что в день годовщины его безвременной смерти обнаруживает лишь рабскую готовность украсить свои дома позорными флагами в честь жены всероссийского деспота.

Но что значит молчание учеников его? Ведь сильна и многочисленна группа людей около знамени, под которым стоял Добролюбов; или она забыла? Нет, не забыла, но не шумными овациями, не торжественными речами вспоминает его, а борьбой за заветнейшие мечты его и желания, и каждый день, ознаменованный этой борьбой, есть годовщина памяти Добролюбова.

Пусть ничто наружно не указывает на близость его к этой борьбе; пусть во время борьбы не произносится его имя, но все же она близка ему: она — его слово, воплотившееся в дело, она триумф его учения, потому что для учения, признававшего «лучом света в темном царстве» протест угнетенной личности, протест угнетенной массы — триумф! Добролюбов любил свободу и боролся за нее; ему был дорог темный, обездоленный люд, и всю жизнь он был его ходатаем. Поэтому всякий борец за народ и свободу — истинный ученик Добролюбова; поэтому каждый час борьбы посвящается его памяти.

Но не ученик Добролюбова тот, кто, разделяя его взгляды, в точности изучивши его мысль, не проводит в жизнь его учение не выступает активным борцом. Такой человек чужд Добролюбову, как чужд христу какой-нибудь начетчик св. писания и евангелия. Не ученик Добролюбова тот, кто, видя всю бездну безобразий и подлостей, совершаемых правительством, молча подчиняется им и апатично несет свое верноподданическое ярмо. Такой человек враг Добролюбову, как враг христу поп, благословляющий прихожан быть братоубийцами. Бывают в истории моменты, когда молчать непозволительно, когда пассивное отношение к прогрессу столь же преступно, как и враждебное. Россия переживает подобный момент.

Правительство, соединяясь со всеми хищниками и лиходеями земли русской, среди бела дня грабит рабочий народ, одной рукой отнимая у него последние крохи, другой — закрывая правду и свет от его глаз. На голову лучшей части интеллигенции, не индиферентно относящейся к такому наглому попранию человеческих прав, сыпятся сплошные удары взбешенной животной силы.

Положение народа ужасное. Несмотря на татарскую цензуру, — вопли и стоны голодных, ободранных масс постоянно проникают в печать. Кругом недовольство и страдание. В такую ли минуту могут бездействовать люди, желающие всеобщего благосостояния. В такую ли минуту могут они удовлетворяться только повторением прекрасных слов великого учителя.

Нет, не таковы друзья и ученики Добролюбова, потому что не таков сам Добролюбов! Не в этой области филистерства и трусости, крайнего эгоизма и мелочного самолюбия жив дух Добролюбова: тут живы только его фразы. — Духа ищите там, где постоянно кипит борьба за народ, гибельная для бойцов, но спасительная для учения, где много отваги и смелости, но еще более любви к ближнему и искренности; там среди этих самоотверженных бойцов жив дух людей, подобных Добролюбову, свята их память, велико уважение; там их истинные друзья и последователи. И эти бойцы за народ спасут этот дух от забвения и смерти и чистым передадут его вместе с незапятнанными именами павших во имя его бойцов свободным людям будущей свободной России, как драгоценнейшее сокровище, как залог свободы, равенства и братства.

Харьков, 14-е ноября 1881 г.

НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ Н. А. НЕКРАСОВА

Сообщение И. Розанова

Публикуемого стихотворения нет ни в одном собрании стихотворений Некрасова. Оно обнаружено мною в имеющемся у меня экземпляре 2-го издания «Стихотворений Некрасова» (1861), принадлежавшем известному издателю многих наших классиков и библиографу Петру Александровичу Ефремову. На обратной стороне передней крышки переплета имеется его экслибрис.

В тексте много карандашных пометок, исправлений и дополнений. Так, например, в известном стихотворении 1846 г. «Перед дождем» последнее четверостишие обычно печатается в таком виде:

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перед закрыт;
И «пошел!» привстав с нагайкой,
Ямщику денщик кричит.

В печати уже сообщалось (см. «Некрасов по неизданным материалам Пушкинского Дома». П. 1922, стр. 155), что в своем экземпляре «Стихотворений Некрасова» (Лейпциг, 1859) П. А. Ефремов в последней строчке зачеркнул слово «денщик» и надписал «жандарм». Поправка эта не была принята в полном собрании стихотворений Некрасова (см., напр., 9-е стереотипное издание, стр. 474) на том основании, что Некрасов не мог якобы написать такую неблагозвучную строчку, как «Ямщику жандарм кричит»; с этим вряд ли можно согласиться: не говоря уже о том, что понимание благозвучия бывает различно, для Некрасова содержание было важнее «сладких звуков»: замена денщика жандармом придает стихотворению острый политический смысл; при прежнем же чтении мы имеем перед собой только пейзажное стихотворение, чего у Некрасова почти никогда не встречается. Повторное исправление Ефремовым последней строчки и в издании 1861 г. дает основание для пересмотра этого вопроса.

Кроме многочисленных поправок в тексте, в конце книги вплетена тетрадь с рукописными стихотворениями Некрасова, не вошедшими в издание 1861 г. Среди них и публикуемое нами стихотворение. Оно помещено непосредственно после двух стихотворений, носящих заглавие «На улице». Вероятно, этим определяется приблизительно год написания: 1850 или 1851.

НАСЛЕДСТВО

Скончавшись, старый инвалид
Оставил странное наследство:
Кем, сколько раз, когда был бит
До дней последних с малолетства —

Он все под цифрами писал
В тетрадку с толком и раченьем,
И после странный свой журнал
Читал с сердечным умиленьем.

Так я люблю воспоминать
О днях и чувствах пережитых,
Читая пыльную тетрадь
Моих стихов, давно забытых.

К СУДУ НАД ПОЭТОМ М. И. МИХАЙЛОВЫМ

Сообщение Б. Наумова

Процессом поэта М. И. Михайлова открылся мартиролог политических процессов и свирепых приговоров по политическим делам царствования Александра II. Но в отличие от всех последующих политических процессов, тянувшихся обычно много месяцев, а иногда и несколько лет, расправа с Михайловым совершена была чрезвычайно быстро, в течение трех месяцев.

Михайлов был арестован 14 сентября 1861 г. и сразу же был посажен в тюрьму при III отделении в «здании у Цепного моста», где просидел около месяца. 13 октября он был переведен в Петропавловскую крепость [1].

Михайлов сразу понял, что его ожидает жестокая расправа. Об этом свидетельствует письмо его генерал-губернатору Суворову, написанное, повидимому, в ноябре. Черновик письма сохранился в деле Михайлова.

«Ваша светлость, князь Александр Аркадьевич! Ожидая со дня на день решения дела моего по распространению здесь прокламации «К молодому поколению», я осмеливаюсь обратиться к вашей светлости с покорнейшей просьбой: В случае применения ко мне закона во всей сторогости, я вероятно должен буду отправиться в ссылку и каторжную работу. Здоровье мое и без того полуразрушенное еще более пострадало от нравственной тревоги, не оставлявшей меня в последние месяцы, и для меня была бы великим благодеянием возможность отдохнуть здесь дня три-четыре после произнесения приговора и позволения следовать к самому месту назначения не по пересыльным [тюрьмам], в собственном экипаже, который был бы куплен в Москве, и в своей одежде, хоть и с редкими остановками по ночам для отдыха. Сразу и без отдыха я даже и не надеюсь доехать до конца такой большой дороги в зимнюю пору. Это было бы окончательной гибелью для моего здоровья. Не откажите также, ваша светлость, дозволить мне вытребовать из бывшей квартиры моей теплую одежду [неразборчивое слово], а именно полушубок, шубу, теплую шапку, рукавицы, перчатки, фуфайку, три пары шерстяных чулок, сапоги обыкновенные и дорожные и нижнее платье.

Для устройства домашних дел моих крайне желательно было бы мне видеться с подполковником Шелгуновым и его супругой, у которых на квартире я жил. Если мне будет позволено пробыть здесь дня три-четыре после приговора, то я был бы несказанно обязан за позволение видеться с некоторыми лицами. Не имея здесь никого близких, я не могу даже известить о постигшей меня участи моих родных, живущих вдали от Санкт-Петербурга. Питаю твердую надежду на доброту и снисхождение вашей светлости. Имею честь пребыть вашей светлости покорным слугой Михаил Михайлов».

Приговор над Михайловым, несомненно, был предрешен еще до официального объявления его Сенатом. Это видно из того, что уже 22 ноября администрацией крепости составлялась справка о порядке отправления политических преступников, приговоренных к каторжным работам.

7 декабря Михайлова в последний раз возили в Сенат, где он выслушал приговор.

38

Билетъ

Предъявителю сего разрѣшается имѣть свиданіе съ содержащимся въ С.Петербургской крѣпости бывшимъ Губернскимъ Секретаремъ Михайловымъ. 1861 года Декабря 13 дня.

С.Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ, Генералъ-Адъютантъ Князь Италійскій Графъ Суворовъ

Въ ½ 4 ч. по полудни имѣлъ свиданіе Г. Чернышевскій вмѣстѣ съ супругой.

Его Высокоблагородію Н. Г. Чернышевскому, съ супругой.

44

Билетъ

Предъявителю сего разрѣшается имѣть свиданіе съ содержащимся въ С.Петербургской крѣпости бывшимъ Губернскимъ Секретаремъ Михайловымъ. 1861 года Декабря 13 дня.

С.Петербургскій Военный Генералъ-Губернаторъ, Генералъ-Адъютантъ Князь Италійскій Графъ Суворовъ

Г. Некрасовъ, имѣлъ въ ½ 11 час. по полудни

Его Высокоблагородію Н. А. Некрасову.

БИЛЕТЫ, ВЫДАННЫЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ И Н. А. НЕКРАСОВУ НА ПРАВО СВИДАНИЯ С М. И. МИХАЙЛОВЫМ

Центрархив, Москва

После этого ему разрешено было иметь единственное свидание с ближайшими друзьями и знакомыми. Все эти свидания были в один и тот же день после 12 часов пополудни, в последний день его пребывания в крепости после исполнения над ним гражданской казни. Получили разрешение на свидание с ним следующие лица: Н. А. Некрасов, А. Н. Пыпин, Н. Г. Чернышевский с женой, А. А. Серно-Соловьевич, Н. В. Шелгунов с женой, П. П. Пекарский, «отставной штабротмистр» переводчик Н. В. Гербель, Я. П. Полонский и мать жены Шелгунова Михаэлис. Билеты на свидание были выданы за подписью петербургского военного генерал-губернатора Суворова, настолько это считалось важным делом, причем на билетах Чернышевского и Шелгунова приписано «с супругой».

Билеты пришиты к делу, и на них указаны часы, когда происходило свидание с данным лицом. На билете Шелгунова написано: «подполковник Шелгунов вместе с супругой имели свидание, снабдили дорожными потребностями. Михаэлис имела свидание одновременно с Шелгуновыми». На билете Некрасова имеется надпись: «Не имел свидания. Г. Некрасов явился в ½ 11 пополуночи». То же написано и на билете Пыпина.

Исполнение обряда гражданской казни над Михайловым правительство считало делом исключительно важным, тем более, что немедленно за этим, в тот же день, «преступник» должен был быть отправлен в Сибирь. По этому вопросу, в спешном порядке, велась переписка между несколькими учреждениями.

8 декабря Суворов сообщал коменданту крепости, что «исполнение высочайшего повеления и решения правительствующего Сената по делу о государственном преступнике Михаиле Михайлове» возложено на второй департамент Санкт-Петербургской управы благочиния.

13 декабря второй департамент управы благочиния сообщил коменданту крепости, что публичное объявление приговора Михайлова назначено на 14 декабря в 8 часов на площади перед Сытным рынком. Для этого Михайлов должен быть передан приставу исполнительных дел, который по исполнении этого доставит Михайлова обратно в крепость.

14 декабря комендант крепости получил от Суворова предписание отправить в тот же день Михайлова в распоряжение Тобольского приказа о ссыльных.

В тот же день смотритель петербургской пересыльной тюрьмы доставил коменданту крепости при особом отношении «ножные кандалы с кожаной обшивкой по обручам для лишенного прав состояния и отсылаемого в каторжные работы Михайлова». Тогда же, 14 декабря, командир Санкт-Петербургского батальона внутренней стражи, «вследствие отзыва 2-го департамента Санкт-Петербургской управы благочиния», препроводил коменданту крепости «арестантского гражданского ведомства новые вещи: зимнюю шапку, кафтан, зимние брюки, онучи суконные две пары, полушубок, пару котов, одну пару рукавиц кожаных с варежками, две рубахи, двое портов и один мешок для снабжения лишенного всех прав состояния и отправляемого в каторжные работы Михайлова».

Наконец, того же 14 декабря комендант Петропавловской крепости «всеподданнейшим» рапортом доносил Александру II, что содержавшийся в крепости «государственный преступник Михайлов сего числа в $^3/_4$ двенадцатого часа ночи передан для доставления в Тобольский приказ о ссыльных, назначенным для сего жандармам». Такой же рапорт был отправлен им тогда же военному министру.

По случайному совпадению, Михайлов, открывший мартиролог политической каторги второй половины XIX века, был отправлен на каторгу в день годовщины восстания декабристов.

ПРИМЕЧАНИЕ

[1] Материалом для этой заметки послужило «Дело управления коменданта С.-Петербургской крепости 1861 г. о заключении в крепость для содержания отставного губернского секретаря Михаила Михайлова (ЛОЦИА).

ЭМИГРАНТСКАЯ БРОШЮРА „НА СМЕРТЬ М. Л. МИХАЙЛОВА“

Сообщение Е. Кушевой

Печатаемая ниже редкая брошюра «На смерть М. Л. Михайлова» не была до последнего времени известна и не упоминалась в литературе. Впервые указание на нее появилось в библиографическом справочнике «Русская подпольная и зарубежная печать» (I, М. 1935), где она описана по экземпляру библиотеки ИМЭЛ. Ниже текст брошюры воспроизводится именно по этому экземпляру — сколько знаем, единственному в московских и ленинградских хранилищах.

Некрологическая литература о Михайлове очень бедна. Весть о его смерти, последовавшей 3 августа 1865 г. в сел. Кадае Нерчинского округа, дошла до Петербурга в начале сентября, но, по цензурным условиям, почти не была отмечена в легальной прессе.

Что касается нелегальной литературы, то до сих пор был известен только один отклик ее на смерть Михайлова — краткая заметка Герцена в «Колоколе» с выразительным заголовком «Убили» [1]. Печатаемая брошюра — второй подобный отклик, но более значительный по объему.

Анонимная брошюра «На смерть М. Л. Михайлова» имеет помету герценовской «Вольной русской типографии» в Женеве. Обозначения года на ней нет, но время ее написания и появления в печати определяется легко: судя по письмам Герцена, известие о смерти Михайлова дошло до Женевы в 20-х числах сентября нового стиля [2], а в листе «Колокола» от 15 октября 1865 г. название брошюры уже было включено в список объявленных к продаже изданий. Значительно труднее назвать ее автора, — никаких указаний на него мы в литературе не встречаем. Приходится ограничиться предположениями и общими указаниями на эмигрантские круги, из которых брошюра вышла.

Женевская эмиграция 1865 г. далеко не была однородна. Герцен и Огарев представляли старую эмиграцию, которая не ладила с «молодою», особенно пополнившейся благодаря репрессиям, сопровождавшим подъем революционного движения начала 1860-х годов. Герцен считал «молодых» невежественными, лишенными и таланта, и образования. «Молодые» находили его отставшим, устаревшим, не понимающим настоящего положения революционного движения и неспособным руководить им в печати. Начало 1865 г. было отмечено резким столкновением «молодых» с Герценом, не согласившимся ни на выдачу денег из так называемого Бахметьевского фонда на задуманный «молодыми» самостоятельный орган, ни на совместное с «молодыми» издание «Колокола». Первый вопрос, который встает при определении автора брошюры, это вопрос об отнесении его к старой или молодой эмиграции. Один внешний признак позволяет, еще не обращаясь к содержанию брошюры, решить его в пользу «молодых».

Брошюра вышла с пометкой: «Издано в пользу «Кассы взаимного вспомоществования русских эмигрантов». Немногие сведения о «Кассе», которые удалось собрать, показывают, что она была предприятием молодой эмиграции, созданным для облегчения ее денежных затруднений, при чем поводом к организации «Кассы» было опять-таки столкновение с Герценом. Вот что рассказывает

о возникновении «Кассы» Е. Гижицкий, бывший в 1863—1867 гг. эмигрантом, но просивший в начале 1870-х годов о разрешении вернуться в Россию и поместивший в 1873 г. в «Московских Ведомостях» статью о русской эмиграции[3]: «эмигрант Л. [Лугинин?] попросил у Герцена 120 фр. из «Общего фонда» [фонда, созданного при редакции «Колокола» на «общее дело»]; Герцен дал только 60 фр., что вызвало возмущение среди молодой эмиграции; по инициативе антигерцениста Якоби была создана эмигрантская касса взаимного вспоможения, особая от «общего фонда», с которым она все же в конце концов слилась по желанию кассира N, поддержанного партией герценистов». В этом рассказе нет дат, но их можно установить. Касса существовала всего около года: помещенный в листе 213 «Колокола» отчет кассы — с 1 сентября 1865 г. по 1 января 1866 г. — указывает, что она была открыта с 1 сентября 1865 г., а об упразднении ее и о передаче в «Общий фонд» остававшихся в ней в то время 257 фр. было объявлено в листе 228 от 1 октября 1866 г. Под напечатанным в «Колоколе» отчетом кассы стоит подпись Л. Мечникова, который был «распорядителем» кассы с самого ее возникновения, — письмо Герцена от 17 сентября 1865 г. называет кассу «мечниковским комитетом»[4]. О близком отношении Мечникова к делам кассы говорит и упоминание о ней в брошюре А. А. Серно-Соловьевича «Миколка-публицист»[5]: «Кассу-то эмигрантскую помните г. Лев Мечников, как Миколка [Н. Николадзе] оттуда деньги стянул, да вас же потом обвинял: «не клади мол плохо, не вводи меня в грех» — эпизод, рассказанный и Гижицким, который пишет о Николадзе: «Он начал черпать» из кассы «в самый день ее основания, черпал во все время ее существования, и он же нанес ей окончательный удар, заняв однажды все, что было в кассе и... удрав из Швейцарии».

Сопоставление дат показывает, что брошюра о Михайлове вышла вскоре после того, как «касса» «молодых» возникла, а назначение сбора от продажи брошюры в пользу нового предприятия не оставляет сомнения в том, что она вышла из кругов молодой эмиграции. Это находит полное подтверждение и в содержании брошюры: при общем сочувственном отношении к Михайлову, как к жертве правительственного произвола и жестокости, в ней есть нотки пренебрежения и снисхождения к нему как к представителю старого поколения, как к человеку, не чувствовавшему себя годным для «нового», т. е. революционного, дела и призывавшему молодое поколение совершить его. Характерно и упоминание о «гениальной энергии Чернышевского», к которому, как известно, молодая эмиграция относилась с особым уважением.

Кто же из многочисленного в 1865 г. женевского круга молодых эмигрантов был автором брошюры? Содержание ее не дает достаточно ясных на это указаний. Некоторые сообщения брошюры — о допросах Михайлова, о ходе его дела, об его переживаниях, связанных с использованием следователями имени близкой Михайлову Л. П. Шелгуновой, — показывают, что автор брошюры воспользовался сведениями, полученными от самой Шелгуновой и хотя и не имел перед собою написанных для нее Михайловым записок о 1861—1862-х годах[6], но был осведомлен об их содержании. От Шелгуновой же могли итти и некоторые из сообщенных в брошюре биографических сведений. Уехавшая из России в конце 1863 г. Шелгунова, принадлежавшая по возрасту к старшему поколению, сошлась в Швейцарии именно с кругами молодой эмиграции. Она держала в Женеве пансион, где жили некоторые из «молодых» эмигрантов; в столкновении Герцена с «молодыми» в начале 1865 г. она, вместе с А. А. Серно-Соловьевичем и П. И. Якоби, была на крайнем левом фланге антигерценистов; можно не сомневаться, что она имела отношение и к «кассе» молодой эмиграции; наконец, она была лично близка к вожаку «молодых» А. А. Серно-Соловьевичу. Последнее позволяет говорить о нем, как о возможном авторе брошюры. Но есть доводы и против этого. К весне 1865 г. относятся резкие столкновения Серно-Соловьевича с Шелгуновой, особенно обострившиеся после того, как Шелгунова отослала в Россию маленького сына Серно-Соловьевича. К весне же относится и начало

НА СМЕРТЬ М. Л. МИХАЙЛОВА



Своей отчизнѣ угнетенной
Хотѣлъ помочь онъ...

М. Л. Михайловъ. *(Изъ М. Гартмана).*

3/15 Августа умеръ въ Кадаѣ извѣстный литераторъ Михаилъ Ларіоновичъ Михайловъ, замученный болезнью, лишеніями, каторгой.

Михайловъ принадлежалъ къ числу весьма рѣдкихъ теперь у насъ литературныхъ дарованій, и съ этой стороны онъ достаточно извѣстенъ всему читающему люду. Намъ онъ еще дороже какъ человѣкъ, какъ одинъ изъ еще болѣе рѣдкихъ у насъ мучениковъ свободной мысли.

Михайловъ родился 36 лѣтъ тому назадъ въ Илецкой защитѣ, въ Оренбургской губерніи. Дѣдъ Михайлова былъ крѣпостной человѣкъ, засѣченный до смерти за неповиновеніе помѣщичьей власти. Отецъ Михайлова, (начальникъ Илецкихъ заводовъ) умирая, говорилъ Михаилу Ларіоновичу чтобъ онъ помнилъ исторію своего дѣда, никогда не дѣлался бариномъ и стоялъ за крестьянъ. Это Михайловъ сказалъ въ Сенатѣ при допросѣ. Дѣдъ описанъ въ *Семейной Хроникѣ* С. Т. Аксакова, которому принадлежало имѣніе. Однимъ изъ воспитателей Михайлова былъ сосланный Полякъ и отъ него Михайловъ заимствовалъ то истинное пониманіе патріотизма и гражданскаго долга, которое весьма рѣдко въ насъ русскихъ.

Патріотизмъ нашихъ массъ, тамъ гдѣ онъ есть въ нихъ, чрезвычайно топорной работы; тогда какъ въ нашихъ угнетенныхъ родичахъ полякахъ онъ силонъ и рядомъ доходитъ до истинно высокаго — до сознательности. Мы способны искренно гордиться тѣмъ, что "земля наша велика и обильна", что одна наша Оренбургская губернія больше цѣлой Франціи. И при этомъ намъ въ голову не приходитъ спросить себя: что-же мы сдѣлали съ той желѣзной силой, съ тѣми громадными богатствами, которыя безо всякой доблести съ нашей стороны даны намъ природою. Таковъ гуртовой, повальный фактъ. А что изъ него бываютъ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ БРОШЮРЫ «НА СМЕРТЬ М. Л. МИХАЙЛОВА»

Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва

первого приступа психической болезни Серно. Он был помещен в лечебницу для душевнобольных, где находился — правда, с перерывами — до июня 1866 г., и оправился от болезни только к концу 1866 г.[7]. Все это не исключает возможности авторства Серно-Соловьевича, но делает его маловероятным. Возможным представляется и авторство Мечникова — распорядителя «кассы». Судя по написанному о Шелгуновой роману Утиной-Урбан «Людоедка», где Мечников выведен под фамилией Кречетова[8], он был постоянным посетителем Шелгуновой и участником ее литературных предприятий. Но и здесь нельзя пойти дальше предположений.

Брошюра представляет интерес, как единственный обширный некролог М. И. Михайлова и как одно из первых литературных выступлений «молодой» эмиграции.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Колокол», лист 205 от 1 октября 1865 г.
[2] А. И. Герцен, Сочинения, т. XVIII, стр. 223.
[3] «Русские эмигранты». — «Московские Ведомости», 1873, № 13, стр. 4.
[4] А. И. Герцен, Сочинения, т. XVIII, стр. 212.
[5] Женева, 1868, стр. 11—12.
[6] М. Михайлов, Записки (1861—1862), П. 1922.
[7] А. И. Герцен, Сочинения, т. XVIII, стр. 90, 148, 243. Н. Огарева-Тучкова, Воспоминания, М. 1903, стр. 235—236. — «Звенья», т. V. А. А. Серно-Соловьевич. «Народное Дело», 1869, № 7—10, стр. 105—112.
[8] «Дело», 1874, № 9—10.

„НА СМЕРТЬ М. Л. МИХАЙЛОВА"

Своей отчизне угнетенной
Хотел помочь он...

М. Л. Михайлов (Из М. Гартмана)[1].

3/15 Августа умер в Кадае известный литератор Михаил Ларионович Михайлов, замученный болезнью, лишениями, каторгой.

Михайлов принадлежал к числу весьма редких теперь у нас литературных дарований, и с этой стороны он достаточно известен всему читающему люду. Нам он еще дороже как человек, как один из еще более редких у нас мучеников свободной мысли.

Михайлов родился 36 лет тому назад в Илецкой защите, в Оренбургской губернии [2]. Дед Михайлова был крепостной человек, засеченный до смерти за неповиновение помещичьей власти [3]. Отец Михайлова (начальник Илецких заводов) [4], умирая, говорил Михаилу Ларионовичу, чтоб он помнил историю своего деда, никогда не делался барином и стоял за крестьян. Это Михайлов сказал в Сенате при допросе [5]. Дед описан в Семейной хронике С. Т. Аксакова, которому принадлежало имение [6]. Одним из воспитателей Михайлова был сосланный Поляк [7], и от него Михайлов заимствовал то истинное понимание патриотизма и гражданского долга, которое весьма редко в нас, русских.

Патриотизм наших масс, там где он есть в них, чрезвычайно топорной работы; тогда как в наших угнетенных родичах поляках он сплошь и рядом доходит до истинно высокого — до сознательности. Мы способны искренно гордиться тем, что «земля наша велика и обильна», что одна наша Оренбургская губерния больше целой Франции. И при этом нам в голову не приходит спросить себя: что же мы сделали с той железной силой, с теми громадными богатствами, которые безо всякой доблести с нашей стороны даны нам природою. Таков гуртовый, повальный факт. А что из него бывают редкие, но блистательные исключения, этому доказательство опять-таки тот же Михайлов...

Образование свое он окончил в Петербургском университете, где товарищем его был Чернышевский; некоторое время они даже жили вместе [8].

Чернышевский в университете был верующим до фанатизма [9]. Михайлов успел гораздо раньше отделаться от всякого мистицизма и догматизма. Юношеский жар своей души, требовавшей фанатических привязанностей и страстной любви, он перенес на дело свободы и мысли. Чернышевский впоследствии всегда говорил, что первый толчок на пути к развитию был дан ему Михайловым [10].

Со своей стороны Михайлов, развившийся в те времена, когда положение России казалось вполне безвыходным, безотрадным, тем склоннее был к несколько апатическому отчаянию, чем сильнее любил свою родину, чем яснее понимал свои обязанности как человека и гражданина. В этом отношении влияние гениальной энергии Чернышевского было для него спасительною поддержкою.

Михайлов не был бойцом от природы, как Белинский, как Чернышевский и Добролюбов. Поэтому он и не выступил на полемическое поприще, которое из всех представлявшихся косвенных путей было бы ближайшим к цели. Он избрал себе иную дорогу и, как поэт, он остался верен себе, своему долгу, своей мысли. Немногие из наших оригинальных поэтов высказали столько самобытности и такое богатство внутреннего содержания, как Михайлов своими переводами.

Когда наконец тронулся лед, чуткие натуры почуяли рассвет после долгой зимней ночи, казавшейся безрассветною, — Михайлов, как и другие, радостно встрепенулся навстречу желанному дню.

Долгая безотрадность разъела когда-то богатые силы. Много больного шевельнулось в Михайлове рядом с поздно проснувшейся надеждой. Он понял, что ничего кроме горячей любви, кроме горького опыта и долгой работы мысли он не может отдать дорогому делу.

— Новому делу и новые люди.

И он обращается к этим новым людям, «к молодому поколению» [11], с твердой верой в него, без зависти к ним за то, что они счастливее его поставлены к общему делу, без страха перед тупою силою, которая задавит и его и тех, кто смело откликнется на смелый призыв: самого дела она не задавит.

---

14 Сентября 1861 г. Михайлов был арестован за распространение воззвания К Молодому Поколению по доносу Вс. Костомарова, бывшего его помощником в этом деле [12].

Началось одно из безобразнейших даже в летописях русского правительства будто бы судебных следствий.

Придерживаясь чичиковского правила, что «не столько самое дело, сколько соблазн вреден», правительство ни почему не хочет огласить дела о распространении воззваний. Со всевозможными натяжками оно притягивает Михайлова к делу московских студентов и тайных типографий [13].

Тут же делается первый опыт поручения следствий по политическим делам полицейскому сыщику. Выписывают из Москвы какого-то доморощенного Видока, Путилина, плутоватого, но преданного как пудель и обладающего уму непостижимым чутьем гончей собаки [14].

Суд Михайлова — первый шаг правительства Александра II на том пути бесстыдства, на котором очень скоро потом оно достигло столь замечательной степени совершенства. Тут еще, за неимением улик, считают необходимым добиться личного признания обвиняемого. При суде Чернышевского подобными соображениями уже не стеснялись: его сослали на каторгу так, как Муравьев вешал в Литве, то есть не только после полней-

шей невозможности юридически доказать голословно предполагаемую виновность, но даже после того, что суд и следствие открыли неопровержимые доказательства его безвинности! Как тут удержаться от восклицательных знаков...

Конечно в средствах добиться признания от Михайлова не стеснялись. В. Костомаров, в минуту испуга решившийся сделать первый шаг, пока еще воздерживался от дальнейших показаний...[15]. И вот московская ищейка изощряет свое полицейское воображение, исчерпывает над несчастным все пытки, которыми можно истерзать человека, не сдирая с него кожи и не поджигая его на медленном огне. Ему грозят гибелью любимой им женщины и ее ребенка[16]; в течение нескольких дней он слышит детский плач в соседней комнате — однако же остается тверд...[17].

Относительно В. Костомарова полицейская изобретательность оказалась действительнее... Во время одной из очных ставок он объявил Михайлову, что если тот не сознается, то он намерен рассказать все. Это уже была чистая угроза запутать в дело лиц, невинных ни душою, ни телом; в предупреждение чего, конечно Михайлов поспешил принять на себя все, в чем только его ни обвиняли[18].

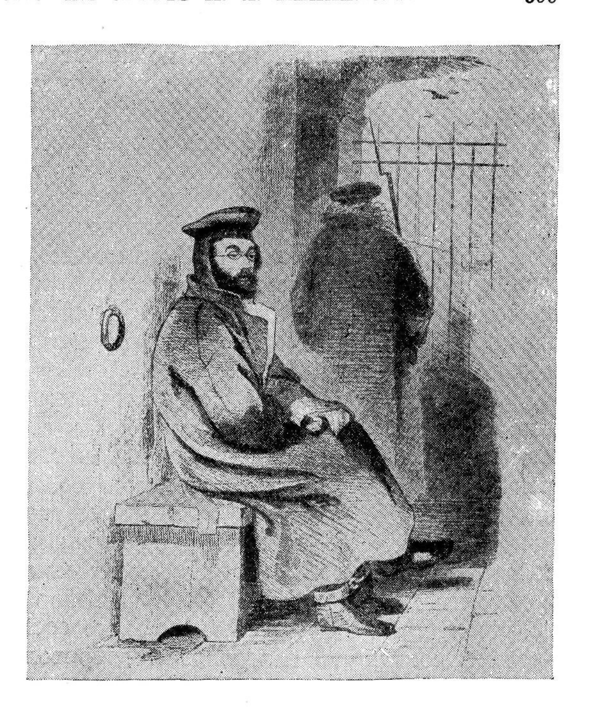
Кроме уже упомянутого воззвания К Молодому Поколению было найдено еще несколько прокламаций — произведений петербургской безымянной рукописной литературы, деятели которой точно так же, как например авторы народных сказаний и песен, остаются вечно неизвестными и друзьям и недругам. Михайлов и эти прокламации принял на себя[19]. За это ему было прибавлено полгода каторги, так что полный срок осуждения составил 6½ лет[20].

Ради каких-то высших политических соображений или по непонятной игре полицейского воображения, поторопились приговором, чтобы прочесть его непременно 14 декабря[21].

Как ни безобразно со стороны правительства рассказанное дело, оно никого однако же не удивит, в особенности после того, чего мы были недавними свидетелями в Польше и у себя дома. Юргенс замучен в тюрьме за то, что имел влияние на польскую молодежь[22]; Траугут повешен со сломанными пыткой костями[23]; Хмелинский расстрелян и Сераковский повешен — оба смертельно раненые[24]. Это поляки. Аргиропуло и Спасский замучены в тюрьме, только не плетью и каленым железом — это до сих пор было исключительною привилегиею поляков, — а нравственной пыткой[25]. Ст. Бекман точно также замучен в ссылке в Вятской губ.[26]; говорят и Яковлева на каторге постигла та же участь[27]. Это уже русские и притом едва не дети. Преступление их состояло в тайном перепечатании запрещенных изданий, да и то еще не доказанное[28]. А Чернышевский, умирающий на каторге, когда невинность его доказана?..[29].

Сравнительно со всем этим, нравственная пытка в форме суда и следствия, которой подвергали Михайлова, может показаться чем-то довольно мягким и кротким. Что ж делать, если правительство до того шатко, что одно искреннее, смелое слово может подорвать основы трона, ниспровергнуть царство объедал и палачей народа. Вепрь задет за живое этим искренним словом; он огрызается дико, тупо: на то он и вепрь.

Но преследования не кончаются каторгой. Вепрю совестно себя самого; он хочет спрятать свою звериную натуру под какою-то человеческою внешностью. Он вынужден к этому опасением выказать свой страх, свое ничтожество пред свободным словом. Плеть прикрылась листком продажной газеты, жандарм вышел из своей третье-отделенской берлоги и по долгу службы и присяги клевещет в форме светского разговора в уфинских приемных на того



М. И. МИХАЙЛОВ В ТЮРЬМЕ
(Современная литография)

самого Михайлова, которого он только что забивал в кандалы и препровождал на каторгу [30].

Положим, никто из знавших хоть сколько-нибудь Михайлова не поверит жандармской клевете; тем более, что идеальное благородство его, высказавшееся особенно ярко в его ответе сенаторам [31], поразило самых следователей,— что рассказы о нем ходили по всему Петербургу и подтверждались свидетельством лиц, враждебных как лично самому подсудимому, так и тому явлению нашей общественной жизни, которое представлял он собою.

Но не все в равной мере закалены против клеветы — это во-первых. А во-вторых, может случиться между слушателями жандармских сказок человек, которого возмутит до глубины души отъявленная наглость выдумки, и он бросит в лице лазутчика желчное, едкое слово. Этого и довольно: материалы для доноса, для ареста, для следствия, а стало быть — если понадобится — то и для осуждения.

Мы говорим не то, что могло бы быть, а то, что было в действительности.

Михайлов стоит настолько выше всякой клеветы, что никому не придет в голову оправдывать его. Он не избегал опасности для себя, но он не задумался ни на миг пожертвовать собою, чтобы предотвратить тень опасности, грозившей другим [32].

Какой плод принесет делу, за которое погиб Михайлов? Это решит то будущее, которому он принес себя в жертву... Но какой бы ни был этот плод,—Михайлов святой пример для нас: он честно сделал то, что мог, и если бы каждый следовал его примеру, Россия не была бы тем, что она теперь...

Перед судом честных людей того поколения, к которому принадлежал Михайлов, перед судом уже зрелого теперь более юного поколения, дело его представляется далеко не маловажным. Смело заявить перед целым Петербургом, «чего мы хотим?» [33], до чего доработалась мысль в наше время? Это не бесплодное дело в стране, где доступ к трудам современной мысли, особливо же по вопросам общественным, закрыт для громадного большин-

ства; где ни одна живая речь не может стать гласною, не заплатив предварительно «варварской дани попам и государству»; где даже частный обмен воззрений возможен не иначе, как урывками, тайком, контрабандою.

Михайлов мог ошибиться насчет числа и силы тех, кому нужно живое слово, кто может принять его и развить в себе. Но точно ошибся ли он или нет? Это, как уже сказано, может быть разрешено только в будущем. Ошибка, если и оказалась бы, то падет не на его голову.

Многих шокировали в Михайловской прокламации фразы вроде следующей: «лучше пожертвовать несколькими тысячами дворян, чем 70 миллионов [!] народа». В этом хотели видеть призыв к избиению [34]. Подобное толкование, если оно не плод тупоумной трусости, может быть приписано только рассчитанной злобе.

Не говоря уже о том, что отстаивать привилегии шести дармоедов против семидесяти тружеников было бы бесчеловечно,—оно просто невозможно. Как факт этот нелепый порядок может еще продержаться несколько времени, но доказывать разумность его словом или чем бы то ни было кроме плети, виселицы, штыка? Это верх безумия и притом еще продажного.

Втолковывать дворянам и недворянам о неотразимости падения всяких сословных привилегий, политических или общественных, вовсе не значит подводить кого бы то ни было под топор или под гильотину, а совершенно напротив. Если бы привилегированные сословия настолько убедились в этой неотразимости, что исподволь и добровольно,— пока еще время,— слились с народом, то и самая возможность всякой пугачевщины исчезла бы сама собою. Если бы с другой стороны народ убедился нравственно в полнейшем праве своем на землю, то он стал бы требовать ее себе гораздо спокойнее. Где есть сознание и своего права и своей силы, там жестокость и зверство возможны как случайность, как исключение. Давит зверски тупая, бессознательная сила, действующая под влиянием темных влечений... Конечно, нет надежды на разрешение не только вполне, а хотя бы приблизительно мирное социального вопроса. С одной стороны, тупой консерватизм привилегированных сословий, с другой — несчастное положение масс служат страшным препятствием к распространению каких бы то ни было убеждений и обусловливают неизбежность кровавого столкновения в будущем.

Но тем не менее всякое слово людей, подобных Михайлову, всякая попытка убедить какую бы то ни было из враждебных сторон в неизбежности социального переворота благотворнее всех возможных полулиберальных реформ по английскому образцу и с оттенком французского полицейского демократизма. Эти последние раздражают только обоюдную доверчивость, первые же отводят роковой топор, занесенный над кем-нибудь из нас или из детей наших [35].

Михайлов один из первых понял лицемерие правительства и указал нашим общественным деятелям давно забытую дорогу на каторгу.

Правительство с своей стороны увидело на Михайлове, что либерализм нашего общества, которого оно боялось было, немногим почтеннее его собственного благодушия.

Начав довольно робко, отправив сначала Михайлова на Казаковский прииск, которым начальствовал брат сосланного, оно поспешило поправиться. В Сибири получено было приказание отправить Михайлова непременно в рудники. И действительно, его перевели в Зерентуевский рудник, оттуда в Кадаю, где он покончил наконец свою мученическую жизнь [36].

Затем оно принялось ссылать направо и налево и усердно клеветать на сосланных. Осужденных за нигилизм обвиняли в поджогах [37], осужденного за делание фальшивых ассигнаций — в нигилизме [38]. Имелось в виду только

одно: очернить и оклеветать все честное и благородное в глазах народа.

Чернышевский, Обручев, Заичневский, Баллод, Мартьянов, Яковлев и сколько еще других сослано на каторгу [39]. А сколько на поселение, а сколько в изгнании? Сочтите сами, хоть по С. Петербургским Ведомостям. Студент Михаэлис пересылался из губернского города в уездный, пока наконец не попал в Тару. Причина этого перемещения едва ли и самому богу известна [40]. Григорьев отправлен в Охотск за разговоры с крестьянами [41], Красовский пропал без вести, будучи взят в Киеве за человечное обращение с солдатами [42].

А Серно-Соловьевич, Освальд? [43]. А Шелгунов, сосланный в Тотьму за недоказанное участие в деле сочинения и распространения прокламации к войску? [44]. А гарибальдиец Бейдеман, содержащийся уже несколько лет в крепости без суда и следствия...[45]

Сколько еще... да всех не перечтешь...

Издано в пользу

«Кассы взаимного вспомоществования русских эмигрантов». Цена 50 сантимов.

Женева. Вольная Русская типография, 40, Pré l'Evêque.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Из стихотворения Морица Гартмана «Белое покрывало», впервые напечатанного в переводе Михайлова в «Современнике» за 1853 г., кн. 3, стр. 174—176, и пользовавшегося большим распространением.

[2] М. И. Михайлов родился 3 января 1829 г., но не в Илецкой Защите, а в Оренбурге, где его отец служил с 1826 по 1835 г. в губернском казначействе и в канцелярии военного губернатора. В Илецкую Защиту Михайловы переехали в 1835 г., когда И. М. Михайлов был назначен старшим советником Илецкого соляного правления.

[3] Дед М. И. Михайлова Михаил Максимович был крепостным и управляющим Надежды Ивановны Куроедовой, симбирской и оренбургской помещицы, изображенной в «Семейной хронике» Аксакова под именем Прасковьи Ивановны Багровой. Его судьба рассказана в воспоминаниях Н. В. Шелгунова: после смерти Куроедовой Михаил Максимович был отпущен на волю, но вольная была сделана не по форме. Этим воспользовались наследники, которые снова его закрепостили. «Дед Михаила Михайлова протестовал, за что его заключили в острог, судили и высекли, как бунтовщика. Вот отчего он и умер». Упоминание о смерти деда в показании М. И. Михайлова следственной комиссии см. в прим. 5-м.

[4] Сведения об отце Михайлова, Илларионе Михайловиче Михайлове, начавшем службу 16 лет копиистом Симбирского губернского правления, дослужившемся до дворянства и ответственного поста управляющего Илецким соляным промыслом и женившемся на помещице кн. Ураковой, см. в статье В. Мияковского «М. Л. Михайлов» в «Голосе Минувшего» за 1915 г., № 9, стр. 8—11. М. И. Михайлов умер 4 мая 1845 г.

[5] Это сообщение не находит полного подтверждения в опубликованных М. Лемке архивных материалах дела Михайлова. В данном следственной комиссии показании Михайлов, объясняя побуждения, заставившие его заняться революционной деятельностью, писал: «Покойный отец мой происходил из крепостного состояния, и семейное предание глубоко запечатлело в моей памяти кровавые события, местом которых была его родина. По беспримерной несправедливости, село, где он родился, было в начале последнего столетия подвержено всем ужасам военного усмирения. Рассказы о них пугали меня еще в детстве. Гроза прошла недаром и над моими родными. Дед мой был тоже жертвою несправедливости: он умер, не вынеся позора от назначенного ему незаслуженного телесного наказания. Такие воспоминания не истребляются из сердца».

[6] Под именем «Михайлушки» в главе «Михаил Максимович Куролесов». Говоря о судьбе «Михайлушки», Аксаков ни словом не намекнул на трагическую причину его смерти.

[7] Воспитателями Михайлова были француз Шевалье, немец, описанный Михайловым в повести «Адам Адамыч», и ссыльный поляк, фамилия которого неизвестна. Очевидно, он был сослан в Оренбургскую губ. за причастность к польскому восстанию 1831 г.

[8] Михайлов поступил в Петербургский университет вольнослушателем в один год с Чернышевским — осенью 1846 г., но пробыл там очень недолго, уехав в начале 1848 г. служить в Нижний-Новгород. Письма Чернышевского, с которым Михайлов познакомился на первой же лекции, говорят об их большой дружбе в уни-

верситетский период. Указаний на то, что Чернышевский и Михайлов некоторое время жили вместе, в других источниках не встречаем.

[9] В первые годы университета Чернышевский, сохраняя традиции священнической семьи, был религиозен, посещал службы, соблюдал посты. Решительный перелом к атеизму произошел в нем около 1850 г.

[10] Указание на подобный отзыв Чернышевского о роли Михайлова в его развитии встречается впервые. А. Н. Пыпин пишет, что студента Чернышевского сблизили с Михайловым литературные интересы. Письма Чернышевского к родным 1846—1847 гг., подтверждая сильное впечатление, которое произвел Михайлов на Чернышевского при первых же встречах, не раскрывают полностью их отношений и содержания их долгих бесед.

[11] Как известно из воспоминаний Шелгунова, прокламация «К молодому поколению», за составление и распространение которой судился Михайлов, была написана Шелгуновым. Автор брошюры «На смерть Михайлова» называет ее «михайловской». Понятно, что если он и знал истину, он не мог ее раскрыть из боязни повредить Шелгунову, находившемуся в это время в ссылке в Вологодской губ.

[12] Вс. Костомаров помощником Михайлова в распространении прокламации «К молодому поколению» не был, хотя и был посвящен отчасти в это дело. После приезда из Лондона с отпечатанными там экземплярами прокламации Михайлов виделся с Костомаровым в Петербурге в августе 1861 г., показывал ему отпечатанную прокламацию и предлагал взять с собою некоторое количество экземпляров для распространения в Москве, от чего Костомаров отказался. Прокламация была распространена 3—4 сентября Михайловым и Шелгуновым с помощью Е. П. Михаэлиса и А. А. Серно-Соловьевича уже после ареста Костомарова в Москве, случившегося 25 августа.

[13] Дело Заичневского, Аргиропуло, Сулина, Сороко, Всеволода Костомарова и др., по которому был произведен у Михайлова 1 сентября 1861 г. первый безрезультатный обыск. Дело это слушалось в Сенате в октябре 1862 г., а приговор по нему был объявлен 2 января 1863 г. Дело Михайлова — о распространении воззвания «К молодому поколению» — было выделено и слушалось особо, но Михайлов допрашивался несколько раз и в следственной комиссии по делу московских студентов, к чему, надо сказать, следственный материал давал полное основание. О причастности Михайлова к этому делу см. прим. 19-е.

[14] П у т и л и н, Иван Дмитриевич — известный уголовный сыщик, с 1866 г. начальник петербургской сыскной полиции. В первых числах сентября 1861 г. Путилин был прикомандирован к III отделению, которому помогал в розысках по делам Михайлова и Обручева, а позже — Чернышевского. Его записка о тайном обществе начала 1860-х годов, написанная главным образом со слов В. Костомарова и сообщающая сбивчивые и фантастические сведения, напечатана сыном Путилина в V книжке «Историч. Вестника» (за 1913 г., стр. 609—615). См. также статью К. И. Путилина «Покушение на поезде» в XII книжке «Историч. Вестника» (за 1912 г., стр. 1100—1122).

[15] Дело было не в том, что Костомаров воздерживался от показаний, а в том, что он сам знал о прокламации «К молодому поколению» слишком мало.

[16] То-есть Шелгуновой и ее сына Миши, отцом которого был Михайлов. III отделению были известны отношения Михайлова и Шелгуновой, что и было широко использовано при допросах. На первом же допросе Михайлову сказали, что Шелгунова арестована; ему была предъявлена печатка Шелгуновой с указанием, что конверты с прокламацией запечатаны ею и что адреса на конвертах писаны женскою рукою; от него часами добивались признания в том, что Шелгунова и ее брат Михаэлис участвовали в распространении прокламации. Благодаря тревоге за близких, допросы действительно были для Михайлова настоящей пыткой.

[17] Об этом Михайлов в своих записках не упоминает.

[18] В своих «Записках» Михайлов рассказывает об очной ставке с Костомаровым, заставившей его написать свое признание, но несколько иначе передает испугавшую его угрозой дальнейших разоблачений фразу Костомарова: «Не удивительно, что я молчу, а удивительно, что *молчит он*». Боясь, что Костомаров оговорит Шелгуновых, Михайлов согласился написать показание, в котором принял на себя целиком не только распространение прокламации «К молодому поколению» и все сношения с Герценом по ее напечатанию, но и ее составление, оговорившись лишь, что написанный им текст воззвания был сильно изменен Герценом и Огаревым.

[19] Здесь имеются в виду две рукописные прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и «Русским солдатам от их доброжелателей поклон», которые были написаны весной 1861 г., первая — Чернышевским и вторая — Шелгуновым. Тогда же Михайлов вел с Костомаровым переговоры о напечатании этих воззваний в Москве, при чем текст прокламации к солдатам, перепи-

санный Шелгуновым, в который внес свои поправки, передал Костомарову лично, а текст прокламации к крестьянам, который переписал сам, переслал в Москву со студентом Сороко. Обе рукописи были представлены в III отделение в августе 1861 г. вместе с доносами брата В. Костомарова Николая, в одном из которых упоминалось, что воззвание к крестьянам писано рукою Михайлова. Именно этот донос и был причиной обыска у Михайлова 1 сентября 1861 г. При допросе Михайлов показал, что оба воззвания попали в его руки, так как ходили по Петербургу в списках, что воззвание к солдатам было передано им В. Костомарову, а к крестьянам — Сороко, но просто для прочтения. Боясь за Шелгунова, Михайлов тогда же показал, что прокламацию к солдатам переписал сам измененным почерком с неразборчивого списка. Позже, при допросах в следственной комиссии, в связи с сообщенными другими обвиняемыми сведениями, Михайлов несколько изменил свое первоначальное показание, признав, что, передавая прокламации, желал, чтобы они были напечатаны, но плохо на это рассчитывал и не помнит, «выражал ли даже положительно свое желание».

[20] Это сообщение неточно. Михайлов судился только за составление и распространение прокламации «К молодому поколению» и по определению Сената, утвержденному Государственным советом 21 ноября 1861 г., был приговорен к каторжной работе в рудниках на 12 лет и 6 месяцев. При конфирмации приговора Александром II 23 ноября срок каторжных работ был ограничен шестью годами. Сенатским определением показание Михайлова о прокламациях к крестьянам и к солдатам было передано в следственную комиссию по делу московских студентов. На 6-й департамент Сената, в который в 1862 г. поступило это дело, «имея в виду, что над губернским секретарем Михайловым суд произнесен и Михайлов подвергнут уже наказанию», оставил вопрос о виновности Михайлова без рассмотрения.

[21] Публичное произнесение приговора Михайлову и обряд гражданской казни были совершены 14 декабря 1861 г., в 8 час. 10 мин. утра, на Сытной площади, при незначительном числе случайных зрителей. Правительство боялось сочувственной Михайлову демонстрации и позаботилось о том, чтобы о дне церемонии не знали заранее: объявление о ней было помещено только в номере «Ведомостей СПБ. городской полиции» от 14 декабря.

[22] Юргенс, Эдуард (1823—1863) — польский общественный деятель, организатор польского интеллигентского кружка молодежи в Варшаве во второй половине 1850-х годов. Не сочувствовал планам восстания и не участвовал в его подготовке, но в начале 1863 г. был все же арестован и умер в крепости при невыясненных обстоятельствах.

[23] Траугут Ромуальд (1826—1864) — диктатор польского восстания 1863 г. С 1844 г. служил в русских войсках. Участвовал в восстании 1863 г. и в октябре 1863 г. принял власть диктатора. Арестованный 11 апреля 1864 г., повешен на стенах Варшавской цитадели 5 августа 1864 г.

[24] Хмелинский, Сигизмунд (1833—1863). Служил поручиком артиллерии в русских войсках. В 1861 г. эмигрировал и принял видное участие в восстании 1863 г. Был тяжело ранен, взят в плен и расстрелян в 1863 г. в Радоме. Сераковский, Сигизмунд Игнатьевич (1826—1863) — капитан Генерального штаба, известный деятель русско-польского революционного движения, близкий к Чернышевскому и изображенный им в романе «Пролог» под именем Соколовского. Принимал видное участие в восстании 1863 г., командуя отрядами повстанцев. Тяжело ранен 27 апреля 1863 г., взят в плен и 15 июня повешен в Вильне.

[25] Указание на нравственную пытку в этих двух случаях как раз мало подходит. Студент 4-го курса Петербургского университета Николай Павлович Спасский был заключен 2 октября 1861 г. в Петропавловскую крепость вместе с другими участниками студенческих волнений. В крепости он заболел тифом и умер 29 ноября 1861 г. в госпитале. Перикл Эммануилович Аргиропуло (1839—1862) — студент Московского университета, один из основателей московского студенческого кружка начала 1860-х гг. и, наряду с П. Г. Заичневским, его виднейший деятель, был арестован в Москве 22 июля 1861 г. Весной 1862 г., находясь в заключении в Тверской части, Аргиропуло заболел тифом и в конце июня был освобожден под домашний арест. После состоявшейся 1 ноября 1862 г. конфирмации сенатского определения, сократившей назначенный ему 2½-летний срок заключения в смирительном доме до 1 года, Аргиропуло был снова помещен в Тверскую часть, но после перенесенной болезни не вынес «смрада, грязи и гадости тюремного заключения» и умер 18 декабря 1862 г. в полицейской больнице еще до публичного объявления приговора.

[26] Студент Бекман Яков Николаевич (1836—1863) — студент Харьковского университета, один из инициаторов организованного в Харькове в начале 1856 г. тайного общества, имевшего целью совершение государственного переворота. В апреле 1858 г. исключен из университета за участие в студенческих волнениях и через год поступил вольнослушателем в Киевский университет. Арестован в Киеве

1 февраля 1860 г. по делу харьковского тайного общества и с 6 марта по 24 июня 1860 г. содержался в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Постановлением следственной комиссии, утвержденным 19 апреля 1860 г., приговорен к ссылке в Вологодскую губ., где вошел в общество «Земля и Воля». Арестован вторично 6 сентября 1862 г. и с 11 сентября по 31 сентября 1862 г. снова содержался в Петропавловской крепости — по делу о малороссийской пропаганде. Высланный в Самару, умер там 6 октября 1863 г. от изнурительной лихорадки.

[27] Студент Петербургского университета Алексей Андреевич Яковлев принимал участие в студенческих волнениях 1861 г. и с 12 октября по 6 декабря находился в заключении в Петропавловской крепости и Кронштадтской казарме. Арестован вторично 10 мая 1862 г. за пропаганду среди солдат л.-гв. Саперного полка и за передачу им воззвания «Что нужно народу?». Содержался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Военным судом был приговорен к смертной казни через расстреляние, замененной при конфирмации каторжными работами на 6 лет. В декабре 1862 г. отправлен в Сибирь, в 1863 г. назначен на Николаевский завод Иркутской губ., в 1864 г. переведен в Забайкальскую область. Известие об его смерти было помещено в 211 листе «Колокола» от 1 января 1866 г.

[28] Как видно из сообщенных выше сведений, революционная деятельность большинства из перечисленных лиц была далеко не такой скромной.

[29] В это время Чернышевский находился на том самом Кадаинском прииске, где умер Михайлов. Условия жизни там были тяжелы, и Чернышевский болел ревматизмом. Известия об его болезни дошли до заграницы и появились в «Колоколе».

[30] К сожалению, не можем указать, о какой газетной статье идет здесь речь. Повидимому, ее же имел в виду Герцен в датированной 20 июня 1862 г. статье «Дурные оружия» в 137 листе «Колокола», упоминая о связанных с именем Михайлова «голубых (т. е. жандармских) утках и московских сплетнях».

[31] В 131-м листе «Колокола» от 1 мая 1862 г. были напечатаны «Ответы М. М. (!) Михайлова», будто бы сообщенные Герцену в вагоне одним из присутствовавших на суде сенаторов и, как выяснилось после опубликования дела Михайлова, совершенно апокрифические. В данном случае, очевидно, имеется в виду ответ на вопрос: «Не действовали ли вы против правительства и как именно?», на что Михайлов будто бы ответил: «Вы дошли до такого вопроса, на который привыкли получать отрицательный ответ. Но на этот раз откровенность взяла верх. Я не буду спорить с вами. Да, я действовал против правительства путем пропаганды, тем последним путем, который вы стараетесь запереть легионами ваших сыщиков. А кстати по какому праву эта подлая сволочь, спрошу я вас, содержится на счет правительства, а не государя?» и т. д.

[32] Эта фраза указывает на то, что автор брошюры знал истину.

[33] Значительная часть прокламации «К молодому поколению» посвящена ответам на вопрос: «Чего мы хотим?», в которых автор прокламации изложил свою программу. Ее важнейшие пункты — выборная и ограниченная власть, развитие начал самоуправления, равенство прав и повинностей, уничтожение следов крепостного права и передача земли земледельческим общинам.

[34] Здесь цитируется на память и не вполне точно следующая фраза прокламации: «Если для осуществления наших стремлений — для раздела земли между народом — пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого».

[35] Защищая прокламацию «К молодому поколению» от упреков в кровожадности, автор брошюры смягчает ее революционный характер. Прокламация содержала прямой призыв к революции.

[36] Благодаря письмам из Петербурга и особенно письму петербургского ген.-губернатора кн. Суворова ген.-губернатору Восточной Сибири Корсакову Михайлову на пути по Сибири оказывались всевозможные льготы, и он был помещен на Казаковский прииск Нерчинского округа, где, освобожденный от работ, жил на квартире у своего брата, горного инженера Петра Илларионовича Михайлова, и куда летом 1862 г. к нему приехали Шелгуновы. Но такое благополучие продолжалось недолго: в сентябре 1862 г. Шелгуновы были обысканы, отданы под домашний арест и увезены сначала в Ундинскую слободу, а затем в Иркутск, откуда в марте 1863 г. Шелгунов был отправлен арестованным в Петербург; Петр Илларионович и начальник Нерчинского горного округа О. А. Дейхман были отданы под суд за оказанные Михайлову послабления, а еще раньше, в апреле 1862 г., по жандармскому доносу возникло дело о послаблениях, оказанных Михайлову в Тобольске. Все это вызвало перевод Михайлова с Казаковского прииска в Кадаинский рудник, к которому фиктивно он был приписан еще с 7 марта 1862 г. В Кадае Михайлов и умер 3 августа 1865 г. от воспаления почек. О том, что Михайлов находился некоторое время в Зерентуйском руднике, сведений в литературе не встречаем.

[37] Появление в мае 1862 г. прокламации «Молодая Россия», почти совпавшее с грандиозными пожарами в Петербурге, вызвало обвинение студентов в поджи-

гательстве, которое поддерживалось некоторое время самим правительством и повторялось реакционной прессой. В 1864—1865 гг., в связи с пожарами в Западном крае, в реакционных газетах вновь появились намеки на поджигателей, но в новой версии — о «тульчинской агенции» Герцена.

[38] Здесь имеется в виду вольнопрактикующий врач И. И. Ганценбах, который судился в 1865 г. за пособничество в составлении фальшивых документов. Приговор Ганценбаху был напечатан в «Ведомостях СПБ. городской полиции» непосредственно вслед за приговором по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами (дело Н. Серно-Соловьевича, П. Ветошникова, Н. Владимирова и др.), с сообщением, что публичное объявление приговоров будет происходить: Серно-Соловьевичу — 2 июня, Ветошникову — 3-го, Владимирову — 4-го и Ганценбаху — 5-го числа. Это намеренное сближение революционеров с уголовным преступником было отмечено в нескольких статьях Герцена.

[39] О Яковлеве см. прим. 27-е. Обручев Владимир Александрович (1836—1912), Заичневский Петр Григорьевич (1842—1896), Баллод Петр Дмитриевич (1830—1918) и Мартьянов Петр Алексеевич (1834—1865) судились Сенатом в 1862—1864 гг. и были приговорены к разным срокам каторжных работ в рудниках или на заводах: Обручев — в 1862 г. за распространение прокламации «Великорусс», Заичневский — в том же году по делу московского студенческого кружка, Баллод—в 1864 г. по делу карманной типографии, Мартьянов—в 1862 г. за напечатание в «Колоколе» письма к Александру II. В то время, когда брошюра писалась, Мартьянова уже не было в живых — он умер в Иркутской тюремной больнице в сентябре 1865 г., но известие от его смерти дошло до заграницы только в 1866 г. (см. лист 224 «Колокола»).

[40] Михаэлис Евгений Петрович (1841—1913)—брат Л. П. Шелгуновой, студент Петербургского университета и один из главных руководителей студенческого движения 1861 г. Доставлен 26 сентября 1861 г. в Петропавловскую крепость и в декабре т. г. выслан в Петрозаводск. В 1863 г. переведен в Тару Тобольской губ. — по сообщению «Колокола», лист 173 от 15 ноября 1863 г. — по ложному доносу губернатора Арсеньева за то, что будто бы отлучился за 20 верст от города на какую-то свадьбу.

[41] Григорьев Николай Алексеевич — подпоручик л.-гв. Измайловского полка. Арестован в апреле 1862 г. за пропаганду среди нижних чинов и приговором военного суда от 11 октября т. г. присужден к лишению всех прав и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Поселенный сначала в Баргузине Забайкальской области, переведен в 1863 г. в Амгинскую слободу Якутской области. В 1873 г. поселился в г. Верхоленске Иркутской губ.

[42] О Красовском см. в помещенной в настоящем номере статье Н. Быховского.

[43] Освальд Николай Николаевич—студент Московского университета, исключенный за участие в студенческих волнениях 1861 г. Арестован в декабре 1862 г. за литографирование «Великорусса». Судился Сенатом и был приговорен к каторжным работам на заводах на 2 г. 8 мес., замененным ссылкою на поселение в Сибири. Поселенный сначала в Красноярске, переведен в 1865 г. в Енисейскую губ. В Сибири заболел нервным расстройством и в 1870 г. возвращен в г. Кашин Тверской губ. на попечение родственников.

[44] Как уже упоминалось выше, весной 1861 г. Шелгунов написал прокламацию «Русским солдатам от их доброжелателей поклон», текст которой был передан через Михайлова В. Костомарову и осенью 1861 г. попал в III отделение. После ареста Михайлова прокламация была напечатана в небольшом количестве экземпляров в новой, составленной опять-таки Шелгуновым редакции и распространена среди войск петербургского гарнизона и кое-где в провинции. Дело по обвинению Шелгунова в составлении прокламации к солдатам и в пропаганде среди солдат возникло в феврале 1863 г., когда Шелгунов находился в Иркутске. В марте он был арестован, привезен в Петербург и заключен в Алексеевский равелин. Уликами против него были только показания того же В. Костомарова и сведения составленного последним подложного письма, правильность которого Шелгунов категорически отрицал. Военный суд освободил Шелгунова от подозрения, признав улики недостаточными, но генерал-аудиториат постановил выслать его в одну из отдаленных губерний. 24 декабря 1864 г. он был отправлен из равелина в г. Тотьму Вологодской губ. Осенью 1865 г. Шелгунов находился в Великом Устюге, куда был переведен еще в марте.

[45] Бейдеман Михаил Степанович — поручик драгунского полка. В 1861 г. эмигрировал. Участвовал в гарибальдийском отряде, работал в типографии Герцена. В июле 1861 г. задержан в Улеаборге при попытке вернуться в Россию, при чем у него был найден подложный манифест к крестьянам. Заключен 29 августа в Алексеевский равелин, где был оставлен без суда, по личному приказанию Александра II, впредь до особого распоряжения. В равелине Бейдеман сошел с ума и в 1881 г. был переведен в казанскую больницу для умалишенных, где умер 5 декабря 1887 г.

ИЗ АРХИВА КУРОЧКИНСКОЙ „ИСКРЫ“

Сообщение Н. Быховского

Эпоха 60-х годов, давшая начало русской политической сатире, была вместе с тем и эпохой яркого расцвета ее. Боевым штабом политической сатиры была тогда газета «Искра», основанная, издававшаяся и редактировавшаяся В. С. Курочкиным.

«Искра» не удовлетворялась обличением тех или иных язв, тех или иных больших или малых «недостатков механизма», а беспощадно обрушивала удары своей сатиры на самые основы существующего строя и его господствующие классы — дворянство и буржуазию. Огонь своей сатиры она обрушивала и на либеральные элементы общества, предпочитавшие сделку с правительством народной революции, которой они всего больше страшились. Не менее беспощадна была «Искра» ко всякой беспочвенной маниловщине, половинчатости, компромиссам, постепеновщине, а тем более к трусости и подхалимству.

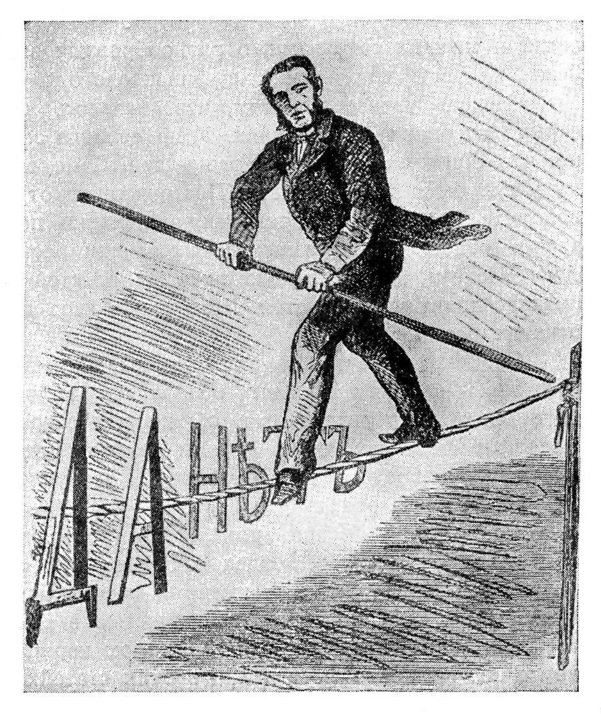
По направлению и социально-политическим устремлениям своим «Искра» примыкала к «Современнику». Сотрудники «Искры» сами признавали себя продолжателями славного дела «свистунов» из «Современника». «Искра» была богато иллюстрирована. Она давала не только портреты, метко характеризовавшие обличаемых ею в стихах и прозе персонажей, но и карикатуры, зачастую еще более меткие, чем портреты. Сатирический очерк с прозрачным вымыслом, сквозь который выглядывали подлинные лица и факты, острый анекдот из действительной жизни, поражавшей неограниченными возможностями самых анекдотических явлений, афоризм, пародия, «тонкий намек» на обстоятельства и факты, о которых прямо и открыто нельзя было говорить, — все это входило в богатый арсенал оружия «Искры».

Кадры ее главных сотрудников составляли радикальные разночинцы 60-х годов: братья Курочкины, М. И. Михайлов, Н. А. Демерт, Г. З. Елисеев, Г. Н. Жулев, Д. Д. Минаев, Н. и Г. Успенские, В. Щиглев и др. К своему делу эти люди относились с юношеской горячностью, как свидетельствует П. И. Вейнберг (Павел Виногоров), один из ближайших сотрудников «Искры». «Искра» была связана и с революционным подпольем. Известно, что В. С. Курочкин состоял членом «Земли и Воли» 60-х годов. Н. С. Курочкин и Елисеев были связаны с Н. Д. Ножиным. В эпоху «белого террора» они были арестованы, при чем главным обвинением против них было знакомство с безвременно умершим Ножиным.

Даже обличая отдельных представителей, охранителей и вдохновителей существующего порядка вещей за те или иные деяния их, «Искра» никогда не забывала, что дело не в отдельных лицах, а во всей системе в целом.

Обличительная сила «Искры» по отношению к тем, кто становился объектом ее обличения, была весьма велика. Попасть в «Искру» было хуже, чем попасть под суд. Из царского суда, при достаточных связях и влиянии, можно было выйти и сухим из воды. Кроме того, в суде, опять-таки при надлежащих связях и влиянии, все могло оставаться под спудом тайны, шито-крыто, между тем как суд «Искры» был гласный и всенародный. Клеймо, наложенное «Искрой», не только больно жгло, но и становилось известным и видным всем и было неизгладимым навсегда.

КАРИКАТУРА НА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ П. А. ВАЛУЕВА ИЗ «ИСКРЫ». 1862 г., № 21



Успех «Искры» был совершенно невиданный в России. «Не прошло двух-трех лет после начала издания ее, — вспоминает А. М. Скабичевский, — как «Искра» была в числе первых органов прессы в России. Она расходилась по всем городам; число подписчиков в счастливые годы у «Искры» насчитывалось более десяти тысяч, кроме того при каждом обличении провинциального скандала, масса экземпляров выписывалась городом, в котором произошел скандал. «Искра» делалась грозою для всех, у кого не чиста была совесть, — и попасть в «Искру», упечь в «Искру» было самым обыденным выражением в жизни 60-х годов» [1].

«Центром всех обличений стала «Искра», и Курочкин, редактор ее, занял роль как бы председателя суда общественного мнения», — писал Н. К Михайловский, вспоминая эту эпоху [2]. П. И. Вейнберг говорит, что «Искры» боялись все, имевшие основание предполагать, что они могут попасть или под карандаш ее карикатуристов, или под перо ее поэтов и прозаиков» [3].

Современники сравнивали обличительную роль «Искры» с ролью «Колокола» Герцена. «Искра» играла в Петербурге как бы роль «Колокола», — пишет в своих воспоминаниях П. Д. Боборыкин [4], и в этом сравнении, пожалуй, не было преувеличения. Разница между ними в этом отношении заключалась в том, что «Колокол», печатавшийся в Лондоне, вне досягаемости царской цензуры, мог все называть своими собственными именами, «Искра» же должна была прибегать к метафорам, псевдонимам и условному языку. «Колокол» печатал доставляемую его корреспондентами документацию из тайников правительственного аппарата о преступлениях и безобразиях, творившихся там. В «Искре» такой документальный материал подвергался сатирической обработке и появлялся в виде басен, пародий, эпиграмм, карикатур. И все это было так удачно, что все отлично узнавали, о ком или о чем идет речь, где и когда происходило данное событие или совершались подвиги того или иного столпа режима. Как и у «Колокола», у «Искры» были по всей России, во всех учреждениях верные друзья и доброжелатели, снабжавшие ее обличительным материалом.

Безымянные и бескорыстные корреспонденты ее по всем городам и весям

России сообщали ей о всех злоупотреблениях и безобразиях, совершаемых большими и малыми сатрапами, о разнообразных видах и формах эксплоатации, грабежа, надувательства воротил финансового и торгово-промышленного капитала.

«Искра» узнавала о том, что, казалось, было самым тщательным образом скрыто от взора посторонних. Удар ее бича зачастую раздавался так неожиданно, что ошеломлял жертв этого удара. Само собой понятно, что благодаря этому у нее было много врагов. Пострадавшие от ее сатирических стрел чины всех ведомств, полицейские, архиереи, откупщики, подрядчики, банкиры засыпали цензурное ведомство и различные инстанции бесконечными жалобами на зловредную «Искру», подрывавшую престиж властей предержащих и колебавшую социально-политические устои. Шеф жандармов писал об этом в своих ежегодных отчетах царю.

Особенную ненависть врагов «Искры» вызывал отдел «Нам пишут», потому что здесь главным образом обличались деяния провинциальных сатрапов. Защитники и покровители этих обиженных сатрапов в высших правительственных сферах решили покончить с этим архизловредным отделом. Министр народного просвещения представил Александру II следующие соображения о необходимости закрытия этого отдела[5]:

«В журнале «Искра» помещается постоянно в продолжение уже довольно долгого времени особый отдел под названием «Нам пишут», в котором рассказываются под вымышленными именами мест и лиц, случившиеся, будто бы, в наших губерниях происшествия, большей частью в служебном мире, при чем, как лица, так и происшествия выставляют в самом карикатурном и часто совершенно ложном виде. Названия мест и лиц в этих статейках употребляются в разных номерах «Искры» для каждой местности те же самые, так что читатели, следящие внимательно за сим журналом, могут легко найти нить к приводимым рассказам; таким образом, действительно в публике уже составился полный ключ сим названиям, и все читатели знают, что, например, вместо Грязнославля, Крутогорска, Чернилина, должно читать Екатеринославль, Вятка, Чернигов. Появление в печати такого рода доносов, так сказать, привиллегированных, ибо оклеветанное и опозоренное в них лицо не имеет никакой возможности ни оправдаться, ни защититься против возводимых на него обвинений, составляет беспримерный в истории литературы факт злоупотребления печатным словом». Александр II одобрил эти соображения надписью «Дельно». Эта царская резолюция покончила с «зловредным» отделом «Нам пишут», который был запрещен 3 июля 1862 г. Тем не менее М. М. Стопановский, который талантливо вел этот отдел, умудрялся продолжать его под разными другими названиями: «Сказки Шехеразады» и т. п.

Обилие обличаемых в этом отделе персонажей и мест, где совершались их деяния, при невозможности, по цензурным условиям, называть их открыто, требовало закрепления за ними определенных псевдонимов или условных названий, присвоенных данному лицу, губернии или городу. Но чтобы помнить множество этих псевдонимов и условных названий, сама редакция должна была иметь своего рода «код». И такой «код», которым пользовались сотрудники «Искры», действительно существовал.

12 августа 1863 г. петербургский обер-полицеймейстер Анненков писал управляющему III отделением Потапову: «В настоящее время при разъединении всех секретных обществ, волновавших в прошлом году всю молодежь в Петербурге[6], остались еще некоторые члены и представители известных кружков того времени и в числе их наиболее обращали на себя внимание вредным направлением следующие лица: редактор-издатель газеты «Искра» Курочкин, содержатель книжного магазина Гайдебуров, редактор и издатель журнала «Русского Слова» Благосветлов и бывший редактор журнала «Гудок» Иероглифов. Желая удостовериться в теперешней деятельности их, как издателей газет и журналов и типографий, я сделал, по соглашению с вашим превосходительством, в заведениях и квартирах их полицейский обыск 24 июля, при чем в бумагах и письмах их,

рассмотренных особо назначенной мною комиссией, не оказалось ничего подозрительного кроме нескольких писем и статей Преображенского, отличающихся не совсем благонамеренным характером. Препровождая их вашему превосходительству, я вместе с сим довел об этом до сведения его светлости С.-Петербургского военного генерал-губернатора».

Главный начальник III отделения шеф жандармов Долгоруков 19 августа отправил эти бумаги для нового, более тщательного, просмотра в следственную комиссию по делам о важнейших государственных преступлениях. Однако, следственная комиссия не нашла в этих бумагах ничего явно преступного, что можно было бы подвести под статьи Уложения о наказаниях. 31 августа председатель комиссии Ланской возвратил бумаги обратно III отделению. При этом Ланской писал, что в этих бумагах «не заключается ничего относящегося до производимых комиссией дел». Тем не менее, III отделение все же не возвратило Курочкину этих бумаг, а оставило их у себя. Среди этих бумаг было кое-что действительно интересное для III отделения. В делах его эти бумаги пролежали до сих пор.

В бумагах, взятых при обыске у В. С. Курочкина, оказались различные материалы из редакционного портфеля «Искры». Между ними обращает на себя внимание список, озаглавленный «Имена лиц и названия городов, принятых в «Искре». Это и был редакционный «код» «Искры». Кроме того, здесь имеются материалы, значительная часть которых, по цензурным условиям, не могла быть напечатана. Наконец, кое-что, может быть случайно, захвачено было из редакционных бумаг при обыске.

Наибольшую ценность для литературоведения и истории нашей общественности имеет указанный список, или «код». Он представляет собой ключ к обличительным материалам, печатавшимся в «Искре» за первые годы ее существования. Руководствуясь этим ключом, можно легко и точно расшифровать имена



КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ», 1860 г., № 40

лиц и названия городов и губерний, которые попадали в орбиту ее сатиры. Этот ключ дает возможность также установить факты и события той эпохи, привлекавшие общественное внимание и, вследствие этого, находившие свое отражение на страницах «Искры».

«Код» состоит из двух частей: в первой части в алфавитном порядке указаны условные названия губерний и городов. Во второй части указаны псевдонимы персонажей, главным образом провинциальных губернаторов, которых «Искра» жаловала своим вниманием. Давая условные названия губерниям и городам, «Искра» пользовалась созвучием, этнографическими, географическими, экономическими и национальными признаками и т. п. Иногда условные названия давались по гербу данной губернии или города, иногда это делалось обратной перестановкой букв, а в некоторых случаях и по фамилии главного административного лица, вершителя судеб данных мест. Так, например, Вильно имело условное название «Назимштадт» по фамилии виленского генерал-губернатора той эпохи генерала Назимова; Полтава носила название «Волчья Долина» по фамилии губернатора Волкова.

Псевдонимов имеется два списка. Первый из них включает генерал-губернаторов и губернаторов, второй — вице-губернаторов, градоначальников, начальников губернских учреждений (председателей казенных палат, управляющих палатами государственных имуществ), архиереев и т. п. Для псевдонимов пользовались или какими-нибудь характерными чертами данного персонажа, или прозрачным изменением его фамилии и т. п. Некоторые персонажи, удостаивавшиеся частого фигурирования на страницах «Искры», имели несколько псевдонимов; так, например, полтавский губернатор Волков имел три псевдонима: Моншерск, Индюков, Фалькоф; харьковский губернатор Сиверс: Муходавлев, Отрепьев, Чичихин; казанский губернатор Козлянинов: Алтынников, Четвертаков. Некоторые губернии и города тоже имели несколько условных названий. Это делалась для отвода глаз цензуры, так как частое упоминание одного и того же псевдонима могло бы привлечь внимание цензурного ведомства. Псевдонимы эти и условные названия настолько усваивались, что в переписке между корреспондентами и редакцией «Искры» они вполне заменяли собственные имена и названия.

Из литературного материала, приводимого ниже, представляет интерес незаконченное сатирическое стихотворение Пр. Преображенского (Н. С. Курочкина) «Песнь мертвеца», посвященное официозной реакционной газете «Северная Пчела» [8], с его же комментариями к этому стихотворению. Как стихотворение, так и еще в большей степени комментарии к нему отражают общественную и литературную злобу дня. Любопытны также несколько язвительных сентенций того же Преображенского. И «Песнь мертвеца» и сентенции писались в 1863 г. за границей, повидимому, в Париже, где был тогда Н. С. Курочкин. На том же листке почтовой бумаги, на котором написаны сентенции, имеется письмо Н. С. Курочкина к В. С. Курочкину. Из письма видно, что Н. С. Курочкин в то время переживал тяжелое состояние, вызванное какими-то обстоятельствами, повидимому, личного характера. Это состояние мешало ему писать. Но в момент, когда он писал это письмо, он уже чувствовал себя лучше и обещал доставлять литературный материал «аккуратно и постоянно». Он хотел ехать в Италию, но не мог выполнить этого желания, по недостатку средств. Именно в писаниях Преображенского и комиссия Анненкова нашла «не совсем благонамеренный характер».

Три стихотворения Ф. Вишневского «Аристократический мул», «На сердце тяжко» и «Просветление» являются удачными вольными переводами из Гейне. Первое из этих стихотворений, возможно, имело в виду кого-либо из представителей высших правящих сфер.

I. НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ И ИМЕНА ЛИЦ, ПРИНЯТЫЕ В «ИСКРЕ»

1. НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ

[А] Губернские

Архангельск — А.
Астрахань — Тьму Таракань, Корономеченск (по гербу).
Бессарабская область Кишинев — Быкоголовск (по гербу).
Вильно — Назимштадт.
Владимир — В/К (Влад. на Клязьме).
Вологда — Болотянск.
Волынская губ. Житомир — Рожмир.
Воронеж — Урожайск, Хлебородск.
Вятка — Крутогорск.
Гродно — Зубровск (по гербу).
Дон. Войско Новочеркасск — Новотатарск.
Екатеринослав — Краснорецк, Пустырск.
Таганрог — Беловодск.
Казань — Татарштадт, Чернозерск, Татарин.
Киев — Фифиев.
Кострома — Кутерьма.
Курск — Куропатск.
Минск — Глухоминск и Глухинск.
Москва — Белокаменск.
Нижний Новгород — Краснооленьевск (по гербу).
Новгород — Ветхий город, Волхорецк.
Оренбург — Обух
Орел — Чепухинск.
Пермь — Пильмень (местное).
Подольская губ. — Каменец Подольск — Брауншвейг (по губернатору).
Полтава — Пикогорск, Хохлово, Волчья Долина (по губернатору).
Псков — Каменск.
Рязань — Грязинск.
Самара — Оленинск (по гербу).
Санкт-Петербург — Тартараринск.
Саратов — Угрюмск.
Симбирск — Приволжск.
Смоленск — Дегтярск.
Таврич. губ. Симферополь — Цветолог.
Тамбовск. губ. — Темниковская.
Тверь — Ерь, Глупов.
Харьков — Преизобильск.
Херсон — Иерихон.
Одесса — Приморск.
Ярославль — Медведьск (по гербу).
СИБИРЬ
Тобольск — Арматурск (по гербу), Сплетницк.
Томск — Златогорск, Чертогорск.
Иркутск — Омут.
КАВКАЗ
Ставрополь — Крест город.
Тифлис — Тиф.

[Б] Уездные

Бендеры — Дребедень.
Аккерман — Карман.

Суздаль — Хренов (по местной особенности).
Шуя — Яуш.
Александров — Телятин.
Бобров — Соболев.
Яранск — Яричинск.
Бахмут — Горамут
Ростов н/Д — Широдонск.
Павлодар — Сидорштадт.
Никополь — Перекати-поле.
Нерехта — Неряшинск.
Белгород — Белосельск.
Рыльск — Свинорыльск.
Ливны — Почиваев.
Фатеж — Хватеж.
Мозырь — Пузырь.
Речица — Цигер.
Арзамас — Абракадабра.
Устюжна — Утюг.
Стерлитамак — Стерлядинск.
Кунгур — Ругнук.
Кременчуг — Чук.
Золотоноша — Золотуха.
Прилуки — Шелуха.
Пирятин — Приятель.
Опочка — Точка.
Великие Луки — Длинные руки.
Бугуруслан — Руслан.
Шлиссельбург — Шпицбубенбург.
Кронштадт — Соленоводск.
Петровск — Петрославск.
Сызрань — Нарзис.
Белый — Черный.
Поречье — Увечье.
Феодосия — Непочатый угол.
Славянск — Славяносельск.
Валки — Палки.
Изюм — Виноград.
Старобельск — Старосельск.
Берислав — Ухватислав.
Нежин — Онегин.
Конотоп — Волотоп.
Рыбинск — Пудолинск [неразборчиво].
Тара — Тарабарск.
Омск — Фатюск, Огайск.
Барнаул — Золотое Дно.

2. ЛИЦА

[А] Главнейшие

Муму — Псковский губернатор Муравьев.
Раден — Курский губернатор Ден.
Князь Чебикин — Чернигов. кн. Голицын.
Водяной, подвозной — томск. губернатор Озеров.
Диагональ — Зап. Сибирь, ген. губернатор Дюгамель.
Ростегай — Астраханск. губ. — Дегай.

Ферфлюхтер — б. минский губернатор Келлер.

Туз-Тузович — костромск. губернатор Родзевич.

Тартюфкин, Андрей Степанович Бука — Пермский губернатор Лошкарев.

Фаэтон-Юноша — Орловск. губернатор Левашов.

Произвольский — Екатеринославский губернатор Извольский.

Алтынников, Четвертаков — Казанский губернатор Козлянинов.

Моншерск — Индюков, Фалькоф — Полтавск. губернатор Волков.

Муходавлев, Отрепьев, Чичихин — Харьковск. губернатор граф Сиверс.

Баклушин — Херсонск. губернатор Клушин.

[Б] Второстепенные

Рыков — Рылобойщиков, управляющий государственными имуществами Екатеринославской и Полтавской губерний — Каменьщиков.

Гребьешкин — Полтавск. вице-губернатор Веселкин.

Щитков, Урываев—управляющий акцизными сборами на Юге Щербаков.

Бандуревский — председатель Екатеринославск. каз. палаты Андриевский.

Фон Томанович — Одесский градоначальник Антонович.

Кривопалкин — Одесск. городск. архитектор Денисенко.

Янкелев — управляющ. полтавской палатой государственных имуществ Яковлев.

Старец — Фараонов — Екатеринослав. архиерей Леонид.

Макар Галлилеянин—Новгородск. архиерей Макарий.

Анахорет Кущин — Рязанск. архиерей.

Лупильский — Минск. вице-губерн. Лучинский.



КАРИКАТУРА ИЗ «ИСКРЫ», 1860 г, № 15

II. ПЕСНЬ МЕРТВЕЦА *

Пускай холодною землею
Засыпан я.
Я жив в тебе, я жив тобою
«Пчела» моя.
Я знал, перо из рук роняя,
(Оставив свет)
Что лишь с тобою, дорогая,
Разлуки нет.
Когда посулам обновленья
Весь мир внимал,
Я пред горнилом вдохновенья
Не унывал!
Я знал, что ты тогда лепила
Свой «стол и дом»
А «перлы» только затаила
В улье своем!

Но часто в оны дни бывало,
Не утаю,
Меня и в пот и дрожь бросало
За рысь твою.
Статья о Вяземском, о Литке
И ряд иных
Мне мнились казнию в избытке
Идей моих...
Прожжен горячим языком их
Я тосковал,
Что я под маской черт знакомых
Не узнавал.
И признаюсь, разгорячился,
Жилец могил,
Я чуть в тебе не усомнился
Прости!.. хватил.

Прошли года и мрака годы
Гнилой прогресс
[продолжения нет].

* Помещение в «Искре» этой баллады требует нескольких объяснительных слов. Всякому, следящему за русской литературой, известно, что «Северная Пчела», обязанная своей громкой известностью усердию и деятельности Ф. Булгарина [8], несколько лет назад пыталась изменить своему исконному направлению, но скоро одумалась и вступила снова на свой обычный путь... Кто не помнит тех блистательных порываний, какими обнаружились ее потуги возвращения в первобытное состояние.

Статья, где она запугала общество, приписывая молодежи поджоги Щукина Двора [9], пошлая к л е в е т а, как оказалось впоследствии, не умрет в русской литературе. И с тех пор было еще несколько порываний, по которым можно было догадываться, что она неустанно обдумывает какие-то усовершенствования во вкусе меда, приготовленного ею для годовой поставки своим подписчикам. Недавно она угостила публику первым образцом этого усовершенствованного приготовления и угостила на славу. Мы говорим о статье за подписью П. Л., в которой автор, по его словам, о т к и н у в в с я к и е ц е р е м о н и и (а на самом деле всякое чувство литера-

турного и гражданского приличия), позволил себе бездоказательно оклеветать пред правительством и обществом писателей так называемого прогрессивного направления, обвиняя их голословно в фурьеровском социализме [неразборчивое слово], называя его социализмом, в атеизме и, что важнее всего, в революционных и республиканских стремлениях, т. е. просто в том, что по существующим законам подводит не только обвиняемых, но и цензуру, пропустившую их статьи, под уголовный суд. Статья эта превосходит все попытки в этом роде, которыми блистала древняя «Пчелка» и некоторые самоновейшие органы русской прессы в смысле давления. Она бы могла быть даже Chef d'oeuvre'ом, если бы автор потрудился к своим обвинениям подыскать статьи из свода законов, вроде того, как это совершено было некогда (по поводу общественных гуляний) одним квартальным литератором из «Сына Отечества», кажется Соколовым или чуть ли не Свистуновым. Оставляя другим журналам подробное рассмотрение образцового, хоть не литературного произведения г-на П. Л., заметим только автору, вообще бесцеремонному и очень игриво употребляющему слова подло и глупо, что он, говоря о том, что «многие полагают, что довольно называться нигилистом, чтоб прикрыть этим название дурачка или плутишки» (о милый!), неправильно употребил свои грациозные существительные в уменьшительном виде, полагая, что усиливает этим заключающиеся в них понятия. Плут и дурак, как господин П. Л. должен был бы помнить, нисколько не меньшая степень ругательства как плутишка и дурачок. Для чего же делать подобные промахи. Впрочем, П. Л. очевидно не литератор... Нам до него нет никакого дела. Во всей этой проделке нас интересует только сама «Пчела» и куда полетит она, легкокрылая, выпорхнув за геркулесовские столбы цинизма и нарушивши первоначальные условия, какими должна руководствоваться всякая литература, если бы она существовала даже у краснокожих. Это уже вовсе не последовательно. Это ложный донос, да еще возведенный в перл создания.

Пр. Преображенский

III. СЕНТЕНЦИИ

Я служу моему престолу, отечеству в кавалерии, следовательно ни одна женщина против меня не устоит.

Две три девушки замешались в такое дело, в каком мы таковых видеть не привыкли, следовательно необходимо для всех женщин закрыть доступ на лекции [10].

Все знают, что в моем пиве кукольван — следовательно мне об этом следует молчать и не обращать на это никакого внимания.

Гласность, прогресс, цивилизация почти ни на волос не изменили рода дел в моем любящем отечестве, следовательно, все-таки с этими словами надо бороться.

Отцы не сумели дать детям не только хорошего направления, но даже не возбуждают видеть надлежащего к себе уважения, дети хоть что-нибудь хотят делать, а отцы не хотят даже ничего сделать, следовательно, отцы все-таки лучше детей.

Пр. Преображенский.

IV. [ПИСЬМО Н. С. КУРОЧКИНА В. С. КУРОЧКИНУ]

Любезный Вася, извини, что так долго не присылал [неразборчиво], но как сам увидишь, я извращался довольно ловко. Все это время для меня было тяжелое, болезненное, несчастное, теперь, кажется, могу, буду снова работать и сам увидишь пришлю много кой-чего и продолжение [неразборчиво] буду доставлять аккуратно постоянно. Я бы даже уехал в Италию,

кабы было с чем подняться, чтобы быть дальше от своих воспоминаний подлого cercl'е [неразборчиво]. Тяжело, тоскливо и больше всего гадко. Впрочем, у тебя у самого вероятно, много скверного. Следовательно, предположи лучше, что мне хорошо. Корреспонденциям Елисеева помешали польские события, о другом говорить неловко, совестно, да и все газеты только отчетами о них и наполняются, а у вас, конечно, все лучше известно. Я потерял то письмо твое, где ты пишешь, в чьем доме живешь. Отпиши.

Мой новый адрес: Rue Pradier 7 v 3v.

V. [СТИХОТВОРЕНИЯ Ф. ВИШНЕВСКОГО]

АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ МУЛ

Добряк отец твой был осел,
Как всем известно, безусловно,
А мать кичливая твоя
Была кобылой чистокровной.
Итак ты мул и возражать
Тебе на это нет причины.
Но говорить ты можешь всем,
Что ты породы лошадиной

Что Буцефал был предок твой
Что в панцырях и латах деды
Твои под знаменем креста
К святому гробу шли победой;

Что благородный гордый конь
Есть в родословной вашей тоже
Который под Готфридом был
Когда вступал он в город божий.

Прибавь, что дядя твой носил
Боярда — рыцаря—Атланта,
Что Дон Кихоту на войнах
Служила тетка Росинанта.

Но что Серко-Санча сродни,
Отвергши нагло, будь не трусом
Не признавай и тех ослов,
Что шли смирясь под Иисусом.

Нет также нужды, чтоб вставлял
В свой герб ослиное ты ухо,
Цени погромче сам себя
И знай что все поверят слуху.

На сердце тяжко и невольно
Жалею я о старине;
Все в мире было так привольно
И люди жили в тишине.

Теперь порядок тот сменился
И человек нуждой затерт;
В небесах господь (Зевес) скончался
И в преисподней умер чорт.

И все теперь такая гадость,
Такая дрянь и гниль везде,
Что не сули любовь нам радость,
Приманки не было-б нигде.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Михель. Ты ли? Что за чудо?
Ты сумел-таки понять,
Что все лакомые блюда
Запрещают вам вкушать!
А в награду совершенство
Сулят радость в том краю,
Где бесплотное блаженство
Варят ангелы в раю.
Что же? Вера-ль ослабела,
Иль сильней стал аппетит,
Чашу жизни взял ты смело,
Взор веселием горит!
Михель, нечего страшиться!
Наполняй смелей свой зоб,
Все тогда переварится,
Как тебя уложат в гроб!

Ф. Вишневский

19 октября, 1862 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы. 6-е изд., 1906, СПБ, стр. 470.

[2] Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута. Том I, 2-е изд., 1905, стр. 35.

[3] П. И. Вейнберг. «Исторический Вестник», 1900, № 5.

[4] П. Д. Боборыкин. За полвека. М.—Л. 1929, стр. 137.

[5] Дело особой канцелярии министерства народного просвещения 1862 г. № 178. Цитируем по вступительной статье к сборнику «Поэты «Искры», стр. 44.

[5] Речь идет о распространении летом 1862 г. в Петербурге прокламации «Молодая Россия» и других революционных изданий, раскрытии «карманной» типографии Баллода, в связи с которой арестован был Писарев и др., об аресте в то же время Чернышевского по доносу В. С. Костомарова, аресте Н. А. Серно-Соловьевича и др.

[7] Центр. Архив Рев. Дело III отделения I эксп. 1863 г. № 97, часть II. О возмутительных воззваниях. Конверт с бумагами, взятыми у В. С. Курочкина.

[8] «Северная Пчела» — газета, выходившая с 1825 г. по 1860 г., редактировалась Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем. Газета пользовалась репутацией бесчестного, подкупного органа печати, прибегала к открытым доносам на неугодных лиц. В 1861—1864 гг. пыталась изменить направление, привлекши в качестве сотрудников Артура Бени, Дружинина и Н. С. Лескова, но и после этого не раз снова попадала на реакционную стезю, обвиняя студентов в петербургских пожарах 1862 г. и другими подобными статьями.

[9] Щукин двор — рынок в Петербурге, сгоревший во время петербургского пожара 1862 г.

[10] Имеется в виду запрещение женщинам посещать лекции в университетах, после обнаружения участия некоторых женщин в революционном движении

ПОЭТИЧЕСКИЕ ОТЗВУКИ СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НАЧАЛА 60-х ГОДОВ

Публикация Н. Яковлева

Революционно-демократическое движение бурной эпохи конца 50-х и начала 60-х годов положило начало студенческому движению в России.

Наибольшего подъема и силы движение это достигло в Петербурге осенью 1861 г., когда оно было впервые вынесено из стен университета на улицу, в виде открытых массовых демонстраций.

Непосредственной причиной этих студенческих выступлений были репрессии в области академической и корпоративной жизни студенчества. Новыми университетскими правилами 1861 г. введены были матрикулы для студентов, запрещены студенческие сходки, ликвидировалось студенческое самоуправление, сводилось почти на-нет освобождение от платы нуждающихся студентов. Эта последняя мера ударила по демократическому, материально недостаточно обеспеченному студенчеству из разночинцев, составлявшему тогда уже большинство в университетах. Фактически университеты возвращали к николаевскому режиму.

Первая демонстрация произошла 25 сентября 1861 г., когда студенты, недовольные новыми правилами, массой, свыше тысячи человек, двинулись из университета по главной магистрали Петербурга — Невскому проспекту — к попечителю учебного округа ген. Филиппсону на Колокольную улицу. К демонстрантам присоединялись учащиеся других учебных заведений, офицеры, многие из публики, в огромном числе стоявшей на тротуарах и выражавшей свое сочувствие демонстрантам. Демонстративное шествие растянулось чуть ли не на версту. Затем, заставив ген. Филиппсона отправиться со студентами в университет, демонстранты тем же порядком пошли обратно. Улицы царской столицы впервые видели подобное зрелище. Возбуждение не только студентов, но и большой части населения Петербурга было огромное. Французы-парикмахеры, выбегая на улицу и видя эту демонстрацию, кричали: «Revolution! Revolution!»

Выступления студентов в виде сходок, вопреки запрещению властей, в стенах университета, со взломом дверей актового зала, и на улице вокруг университета продолжались больше двух недель, несмотря на то, что правительство для борьбы с этим движением прибегло к военной силе. Правящие сферы не на шутку были напуганы этим движением, видя в нем чуть не начало открытой революции. В одной докладной записке, предназначавшейся для высших правительственных сфер и написанной через 5—6 лет после этого движения, о нем говорилось следующее:

«В то время университетская молодежь, в порыве своеволия и под влиянием некоторых тайных лжеучений, *могла решиться* пройти весь город для истребования от своего начальства отчета в его действиях и могла *даже решиться стать лицом к лицу с вооруженною силою, которая была выслана для усмирения толпы студентов*» [1]. Это показывает, насколько правительство было напугано таким небывалым явлением в России.

Военная сила была тогда впервые применена против студентов. Сначала правительство прибегло к арестам «зачинщиков» и «главных агитаторов», арестовав в ночь на 26 сентября десятки студентов. Это вызвало еще большее возбуждение студенческой массы, собравшейся 27 сентября на университетском дворе и требовавшей освобождения арестованных. Тогда правительство выслало против «бунтующих» студентов часть лейб-гвардейского Финляндского полка, но до избиения студентов дело, однако, не дошло.

12 октября студенты снова собрались вокруг университета. Они рвали в клочки матрикулы, усеивая ими улицу. Против студентов на этот раз правительство, кроме жандармов, полиции и роты Финляндского полка, двинуло еще и преображенцев, под командой полковника Толстого. Студенты были оцеплены войсками. Триста студентов было арестовано и под конвоем отправлено в Петропавловскую крепость, а в дальнейшем перемещено в Кронштадскую крепость. Бравый полковник Толстой проявил при этом исключительное усердие. Он осыпал студентов руганью, а бывшие под его командой преображенцы свирепо избивали их. Многие студенты были ранены, некоторых из избитых пришлось отправить в госпитали.

Избиение студентов преображенцами вызвало глубокое возмущение не только революционно настроенных, но и либерально-буржуазных элементов общества как против правительства, так и против непосредственного руководителя усмирения, полк. Толстого. Общественное негодование еще более возросло, когда за этот «боевой подвиг» Александр II наградил Толстого званием флигель-адъютанта. Это негодование вылилось, между прочим, также в нескольких анонимных стихотворениях, полученных полк. Толстым на адрес Преображенского полка. Обиженный и оскорбленный таким вниманием анонимных поэтов к его особе, полк. Толстой лично представил эти посвященные ему стихотворения III отделению для розыска злоумышленников. Но розыски, очевидно, оказались тщетными. III отделению ничего не оставалось, как приобщить эти анонимные стихотворения к делу, где они и сохранились до сих пор для потомства [2].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ленинградское отделение Центрального Исторического архива, фонд 109, отдел 4-й, № 1 и 2. Из бумаг б. петерб. военного генерал-губернатора Суворова. Записка неизвестного автора, предназначенная для высших сфер, о деятельности чрезвычайной комиссии Муравьева по каракозовскому делу.

[2] Центр. Арх. Революции. Дело III отделения I экспедиции 1862 г. № 215. О пасквильных письмах, полученных по городской почте флигель-адъютантом Илларионом Николаевичем Толстым.

1. ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ А. С. ПУШКИНА (НО НЕ К ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ, А К ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТУ ИЛЛАРИОНУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ)

(рифмы А. С. Пушкина)

Я к вам пишу, чего же боле?
Да! Мне вам надобно сказать,
Что было в вашей доброй воле
Себя холопом показать.
Теперь в позорной вашей доле,
Хоть тень приличия храня,—
Извольте выслушать меня.
Сначала я молчать хотела,
Но вижу, вашего стыда
Вам уж не спрятать никогда.

Скажу, надежду я имела,
Что царь ни в тот, ни в этот раз
Не наградит позорно вас
За ваши действия и речи
В Октябрьской драме... но потом —
Вполне уверилась в одном:
Я б не желала с вами встречи.
Мы за студентов. Нам, как им,
Под гнетом деспотизма душно,
Как вы, мы рабством не блестим,
Но ждем свободы простодушно.
Толстой, вы оскорбили нас!
Все города и все селенья
Стоят далеко не за вас:
Их жизнь, их быт — одни мученья;
Народ, страдая, ждет волненья,
В котором может быть (как знать)
Иной не распознает друга,
Иная нож вонзит в супруга —
И сын родной забудет мать...
Толстой, в каком позорном свете
Узнала имя это я!..
И стал Толстой с Двором в Совете!
Несчастный, — где же честь твоя?
Ее торжественным залогом
Считать ли за одно с тобой
Ползки пред троном, как пред богом?
Нет! Образ мыслей тот не мой.
Он твой. Не ты ль слугой являлся
Гнилых властей и рабски мил
Толпу грозой штыков томил.
Не твой ли голос раздавался
В тот миг, когда — то не был сон! —
Толпа «своих» врагов узнала, —
И свалка разом запылала?...
Вот подвиг твой, как грозен он!
О нем, поверь мне, я слыхала
И говор громкий в тишине:
«Толстому глупость помогала,
Толстого подлость услаждала» —
Все говорят от всей души.
Чем объяснить себе мгновенье,
Когда, как гнусное виденье,
Ты впереди штыков мелькнул.
Чтоб земляков облиться кровью?
Не к трону-ль хамскою любовью?!
Не злой ли дух тебе шепнул,
Что штык единый наш хранитель?!
Не аксельбант-ли искуситель
Тебя смутил?.. О, разреши
Сомненье вовсе не пустое
Моей взволнованной души!
Однако, то или другое
Ты скажешь мне, — я мысль мою
Тебе доверенно вручаю:

Я много сладких слез пролью, —
Лишь сгинь ты. Верить умоляю
Так думаю не я одна!..
Тот только, кто не понимает,
Что Русь в ярме изнемогает
И восставать за то должна, —
Окинет равнодушным взором
Твой аксельбант... О, не живи!
Сам лучше жизнь свою прерви,
Тебе служащую укором.
Кончаю. Гадко перечесть...
Стыдом я вчуже замираю...
Толстой!.. Твоя погибла честь: —
Не тайну я тебе вверяю.

Татьяна Ларина

2. ПОСЛАНИЕ К ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТУ ИЛЛАРИОНУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ

Есть Лев Толстой, известный сочинитель,
Хорошего он много написал.
А ты, Толстой, студентов победитель,
Умом, душой и телом ты капрал.

19-го апреля 1862 г.

3. ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТУ ИЛЛАРИОНУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ

(Подражание Лермонтову)

Царские палаты
Спят во тьме ночной.
У ворот солдаты
И городовой.

Сам же царь угрюмо
Бродит по дворцу,
Но серьезность думы
Ему не к лицу.

Он рукой державной
Весело махнул
И приказ бесславный
Славно подчеркнул.

В нем-то он герою,
Что студентов бил,
Царскою рукою
Аксельбант дарил!

Адъютант ты с виду
И капрал душой
Пусть же не в обиду
Вензель тебе мой.

Аксельбант желанный
С шиком подвяжи.
«Он за подвиг бранный
Дан мне», — всем скажи.

Но меч Немезиды
Низойдет и к вам,
Выйдут все обиды
Соком — палачам.

Теперь власти много
Аксельбант, кресты;
Погоди немного
Повисишь и ты.

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ ЖУРНАЛЕ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Сообщение И. Эйгеса

Публикуемое письмо одного из сотрудников журнала «Современник», впоследствии одного из руководителей журнала «Отечественные Записки», Г. З. Елисеева к известному общественному деятелю А. А. Унковскому (оригинал письма хранится в рукописном отделении Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина) дает существенный материал по вопросу о характере журнала, который Салтыков-Щедрин предполагал издавать, и тем самым по вопросу о положении Салтыкова-Щедрина среди общественных группировок начала 60-х годов. Обстоятельства дела были таковы:

9 февраля 1862 г. Салтыков-Щедрин вышел в отставку (был в должности вице-губернатора в Твери) и задумал, вместе с А. М. Унковским и А. Ф. Головачевым, издавать журнал под своей редакцией, — именно, двухнедельник «Русская Правда». Привлечены были также А. Европеус и поэт Плещеев, оба бывшие петрашевцы, как и Салтыков-Щедрин, Б. Утин, привлекавшийся по делу петрашевцев, Чернышевский, у которого Салтыков-Щедрин в письме от 14 апреля 1862 г. просил, помимо сотрудничества, указаний и советов («Былое», 1906, № 2, стр. 251).

В письмах к Б. Утину и Н. Чернышевскому Салтыков-Щедрин посылал подробную программу-объявление о новом журнале (сохранилась при письме к Утину. «Письма» Салтыкова-Щедрина. ГИЗ. 1925). 19 марта 1862 г. Плещеев сообщал в письме Достоевскому об основании журнала под редакцией Щедрина и о том, что вскоре будут хлопотать о разрешении. Действительно, прошение, поданное в Московский цензурный комитет и подписанное М. Е. Салтыковым и А. Ф. Головачевым, обозначено мартом. Дата же регистратуры 21 апреля 1862 г. Это, очевидно, не просто ошибка, а дело в том, что прошение, как видно из письма Плещеева от 19 марта, было заготовлено давно и затем подано в Цензурный комитет без поправки указанного там месяца. В Москве не было найдено препятствий к изданию журнала, и 24 апреля 1862 г. было послано на утверждение в Петербург к министру народного просвещения А. Головнину. Делу дан был ход 27 апреля, а уже 4 мая был подписан отказ на издание журнала в виду подготовлявшихся новых правил о печати.

Щедрин был уверен, что отказано было именно из-за его репутации писателя (см. его набросок в книге К. Арсеньева о Щедрине 1906 г., стр. 25—29, также письмо к Утину от 16 мая 1862 г.), но в действительности было не так. Когда выяснилось, что дело с новыми правилами о печати затягивается, А. Головнин в конце августа 1862 г. отправил весь список заявивших о новых изданиях к министру внутренних дел П. Валуеву, а этот последний сделал запрос 13 сентября 1862 г. начальнику III отделения кн. Долгорукову, который и предложил в письме от 18 сентября оставить весь список без пересмотра, чтобы не увеличивать количества периодики, так как «цензура не хочет или не в состоянии иметь надлежащее наблюдение даже за журналами, ныне существующими» («Лит. Наслед-

ство» 1934, № 13/14, Щедрин II, стр. 141. В ст. «Из новых цензурных материалов о Щедрине»).

После того, как издание «Русской Правды» было запрещено, решили попытаться приобрести один из существующих журналов. И 16 мая 1862 г. Щедрин пишет Б. Утину: «Теперь представляется два пути приблизиться к журнальному ремеслу: взять или «Московский Вестник» или «Век». Но ни тот, ни другой орган не были приобретены, и Щедрин с 1863 г. вступает в число редакторов «Современника» (вместе с Антоновичем и Пыпиным) и весь год горячо отдается публицистическим и художественным работам.

Проект приобретения прекратившегося журнала «Век» подробно изложен в публикуемом ныне письме Г. З. Елисеева к Алексею Михайловичу, т. е., конечно, Унковскому. Об этом именно письме Н. К. Михайловский писал: «...у меня есть письмо Елисеева к покойному А. М. Унковскому, из которого видно, что Григорий Захарович думал о возобновлении «Века» при иных условиях, но это не выгорело» (вступ. статья в собр. соч. Г. З. Елисеева, т. I, стр. 28, М. 1894).

Публикуемое письмо Елисеева от 19 мая 1862 г. является ответом на письмо к нему А. М. Унковского от 15 мая того же года. Об этом последнем письме мы узнаем из слов Щедрина в его письме к Б. Утину от 16 мая 1862 г.: «...что касается до «Века», то об этом Унковский уже писал к Елисееву и спрашивал, на каких условиях журнал этот будет уступлен. Так как письмо послано только вчера, то вы весьма бы обязали, если бы вошли с г. Елисеевым в личное сношение по этому предмету» («Неизданные письма» Щедрина, ред. Н. Яковлева, Acad. 1932, стр. 21). Еженедельный журнал «Век» выходил в 1861—1862 гг. первоначально под редакцией П. Вейнберга, с № 5—6 1862 г. под редакцией Г. З. Елисеева. Но под новой редакцией вышло только 17 номеров — с 18 февраля по 29 апреля. (27 марта в редакции произошел раскол, и ряд видных сотрудников вышел из журнала. Расхождение произошло из-за требования Елисеевым единогласия редактора, упразднения комиссии по разбору недоразумений и назначения редактора на 4 года).

Из данных, сообщаемых в публикуемом письме, мы узнаем, что в новом органе группа журнала «Современник» предполагала сосредоточить «однородные силы», а именно близкие к направлению этого журнала. Один из главных руководителей его, Некрасов, брал на себя половину годовых расходов, другая половина которых приходилась на ту группу, которая только-что потерпела неудачу с намерением издавать журнал «Русская Правда», т. е. на группу Салтыкова-Щедрина. Так произошло бы объединение материальное и моральное общественно-литературных сил Петербурга и Москвы, необходимое для решительной борьбы с «Сыном Отечества», петербургским органом, популярным в той самой среде, которую нужно было завоевать новому, родственному «Современнику» органу для проведения идей крестьянской демократии. Некрасов, принимавший на себя половину годовых расходов, и сам писал Щедрину об этом проекте журнала или, может быть, только намеревался ему писать, так как ни самого этого письма, ни других сведений о нем, кроме сообщения Елисеева, не сохранилось. Во всяком случае несомненно, что Некрасову было близко дело нового органа и что он охотно шел на объединение в нем группы «Современника» с группой Салтыкова-Щедрина.

Ответ на публикуемое письмо неизвестен. Но каков бы он ни был, уже по данному письму с совершенной определенностью вырисовываются общественное лицо группы Салтыкова-Щедрина и характер предполагавшегося органа этой группы. А вместе с тем определяется и характер ранее предполагавшегося Щедриным к изданию журнала «Русская Правда», направление которого для многих до сих пор остается неясным; но ведь группа была та же, что и теперь, и следовательно журнал «Русская Правда» стоял бы в таком же близком отношении к «Современнику», как и новый орган.

Милостивый государь
Алексей Михайлович,

«Век» кончил свое существование. Восстановить его в том виде и для тех целей, как вы предполагаете, было бы очень хорошо. Но еще было бы лучше при этом, если бы для действования в нем можно было сосредоточить все однородные силы. Я говорил об этом с Н. А. Некрасовым. Он соглашается дать денег половину того, во что обойдется годовое издание, — другая половина будет принадлежать вашей компании. Таким образом, материально будут заинтересованы в успехе журнала и Петербург и Москва, и вместе с тем соединятся для действования к одной цели и моральные силы, однородные, того и другого города. Такое соединение сил и моральных и материальных нужно для того, чтобы дать, наконец, генеральное сражение «Сыну Отечества» и победить его во что бы то ни стало, — если бы привелось биться для этого два года. Только стянув к себе читающие массы, можно облегчить проведение полезных идей в обществе.

В виду этой цели, необходимо издавать журнал:

1) еженедельно, выпуская его в неделю даже три, по крайней мере, два раза.

2) издавать в Петербурге: 1) перевод журнала из Петербурга в Москву возбудит подозрение; 2) в Петербурге цензура всегда будет удобнее; 3) рабочих сил для текущей части журнала всегда больше найдется в Петербурге, чем в Москве.

Пребывание участников журнала в разных пунктах, мне кажется, не только не повредит делу, но принесет ему известную дозу пользы.

Что касается до редакторства, то ради успеха дела редактор непременно должен быть один.

Говорю это не в тех видах, чтобы быть редактором, потому-что редакторство на жалованьи, кроме нещадных трудов и хлопот, ничего принести не может. Напротив, мне кажется, было бы именно хорошо выбрать для редакторства человек трех или четырех, но с тем, чтобы они несли эту должность поочередно, — каждый в течение года или полугода. Таким образом, в журнале будет постоянно соблюдаться и единство воззрений во всей строгости, что невозможно при многоредакторстве, и редакторство не будет превращаться, некоторым образом, в каторжную работу. Вот все, что можно пока сказать в видах сосредоточения возможно большего числа сил для действования к одной цели. Отпишите: согласны ли вы будете с этим проектом или нет? Об этом же пишет Некрасов Салтыкову.

Если будете несогласны, то журнал «Век» может быть передан вашей компании для издания в Москве. Долгов они имеют тысячи три, которые могут быть уплочены с рассрочкой самой льготной. Перевод журнала в Москву, я думаю, тогда легко дозволят. Нужно вам только найти подставное лицо, которое взялось бы быть, т. е. именоваться, его редактором и издателем, невозбуждающее подозрений.

Прилагаю здесь для вашего сведения расчет, во что бы обошлось издание журнала еженедельно — по 4 листа в неделю — компании.

52 листа газетных известий, оплачиваемых по 30 р. . . .	1800 р. [?]
52 листа переводных по 20 р.	1040 р.
100 листов статей по 75 р.	7500 р.
Итого . . .	10340 р.

Бумаги в год по 4000 экземпл. по 3 р. стопа, стоп—1600 4800 р.
Печатание 208 листов — 100 листов по 20 р. и 108 по
32 р. шрифт, как в «Иллюстрации» . . . . 6256 р. (?)

Итого . . . 11056 р.

Всего: 21396 р. [?]

К этому надо присовокупить расходы по редакции, упаковке, отправке и т. п. Всех расходов по изданию наберется тысяч 26 р. Если продавать экземпляр без пересылки по 7 р., то 4000 подписчиков окупят издание. Но для большего распространения журнала полезно было бы назначить ему цену с пересылкой и без пересылки по 6 р. Тогда журнал может окупиться 6-ю тыс. подписчиков, — и для этого придется ему бороться, может быть, два года.

Если вы, поговоря промеж себя с вашей компанией, согласны будете на предлагаемый проект соединения сил, то подумайте о новом имени для журнала. Фирма ужасно вредит делу, а другое название выхлопотать будет, я думаю, нетрудно.

В ожидании вашего ответа, с совершенным уважением и преданностью имею честь быть вашим покорнейшим слугою.

Гр. Елисеев

Мая 19 дня
1862 г.

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА

Сообщение И. Векслера

19 июня 1861 г., в звании канцелярского служителя 3 разряда Екатеринбургского уездного суда, Ф. М. Решетников был перемещен, по своему ходатайству, в Пермскую казенную палату. Решетникову было 20 лет; за два года перед тем он окончил Пермское уездное училище и, переехав к своим воспитателям в Екатеринбург, поступил на службу в уездный суд. Здесь, в Екатеринбурге, начаты были первые его творческие опыты. Г. И. Успенский, имевший в своем распоряжении первую, не дошедшую до нас, часть «Дневника» Решетникова, устанавливает, что в Екатеринбурге им были написаны — в 1860—1861 гг. — поэма «Приговор», драма «Панич» и комедии «Черное озеро» и «Деловые люди»[1]. Сочинительство стало страстью юноши; эта страсть и явилась причиной к переходу на службу в Пермь: здесь он рассчитывал на свободу от опеки воспитателей, неодобрительно относившихся к его писательству, на консультацию знающих людей, на опубликование своих сочинений. Для переезда в Пермь Решетникову пришлось преодолеть немало трудностей.

Все же цель была достигнута. «Поздравляю тебя с переменою службы, — писал Решетникову его воспитатель 23 июня: — как ты желал чего, то исполнилось, чтобы тебе служить и жить в Перми. Но, пожалуйста, поэзию свою оставь, она не совсем уместна. И если надо ею заняться, то совершенно основательно и с разбором, каждое слово надо одумавши вставлять, так чтобы беды от него не было»[2]. Последними строками В. В. Решетников напоминал племяннику о его неосмотрительном поступке в Екатеринбурге: оттуда Решетников послал в редакцию «Пермских губернских Ведомостей» упомянутую выше комедию «Черное озеро»; редакция вызвала автора для получения пьесы обратно, и он поручил это дело одному из своих сослуживцев, благодаря чему и авторство Решетникова, и его литературный обличительный опыт получили огласку. Тогда дядя-Решетников писал племяннику: «...ты составил программу о Грязном или Черном озере, где ты описал много поступков... начальников, за что тебя даже вызывали, эдакого поэта, в Пермь для получения обратно сочинения через пропечатание в губернских ведомостях... Из этого видно, к чему ведет наша поэзия, как только не к погибели человеческой... Неужели я с тою целью учил тебя, воспитал и определил на службу... чтобы из потомков моих кто-либо сделался клеветником начальников»[3].

Уроки и наставления дяди-воспитателя не повлияли на Решетникова, и он тотчас же по определении на службу в казенную палату начинает искать советчиков по литературным своим делам. После неудачных попыток найти компетентных судей в ком-либо из сослуживцев и особенно после отъезда из Перми чиновника некоего И. К. П—ва, бывшего его учителя, Решетников остановил выбор на председателе палаты — статском советнике А. А. Толмачеве; об этом на первый взгляд странном выборе он и упоминает в публикуемом нами письме: «...плохой удел достался ему в жизни, — пишет Решетников о себе: — ему горько... ему не верят в способности, смеются над ним... если он станет искать в своем

начальнике, потому что к другому ему обратиться не к кому, — помощника, руководителя не по службе... а в своих произведениях... назовут льстецом... пожалуй негодяем и будут смеяться». Строки эти ретроспективно и в обобщающем виде передают обстоятельства обращения Решетникова к Толмачеву. В не дошедшей до нас части «Дневника» писателя содержался рассказ об этом эпизоде — в августовской записи 1861 г., которую Г. И. Успенский цитировал по подлиннику:

«Каюсь, что отдал ему мое сочинение «Деловые люди»[4]. Цель моя была та, что, во 1-х, он обещался убавить жалованье, во 2-х, он, как умный человек, быть может обратит на меня внимание и подаст благой совет. Поэтому я написал ему письмо, похвалил его за библиотеку, как за благодетельную меру для служащих, выставил свое бедное положение, просил прочитать мои сочинения, из которых одно принес с собой, и, если можно, прибавить мне жалованья... 14 числа я был у председателя и ждал его целых два часа. Он ходил на дворе, играл с собаками и смотрел в амбаре свои вещи, которые он продает, надеясь скоро уехать. Увидав меня, он спросил: что мне нужно? Я подал ему свое письмо. Он прочитал и сказал: «Мне, батюшка, некогда читать, я собираюсь в церковь и вам советую тоже итти. Ступайте»,— и он поворотил меня. Я повторил ему свою просьбу на словах — «Мне некогда читать, — сказал он опять: — я лучше вам советую заниматься, чем сочинять. Занимались бы больше в палате»[5].

Все же Толмачев прочел пьесу и, возвращая ее автору, заявил: «Вы какие-то тут кляузы написали... тут какая-то женщина учит мужа... Вам надо выбрать одно из двух: или сочинять, или служить»[6]. Об обстоятельствах возвращения рукописи Решетников записал в «Дневнике»:

«Ужасно тяжело мне было в этот день. Сцена в палате мне и вечером почти не давала покоя. То слышались слова председателя: «кляузы», то недоверчивость служащих... Всё вышло дрянь! Все говорят, что я глупец и больше ничего, но еще хочу выиграть перед начальством... Ах, если бы деньги! бросил бы я эту службу — и все эти связи с служащим миром»[7].

В приведенных записях из «Дневника» Толмачев рисуется как надменный бюрократ; самолюбие автора, очевидно, немало пострадало от этой встречи. Впоследствии же, как видно из текста публикуемого письма, отношение Решетникова к Толмачеву изменилось, что совершилось, очевидно, не без влияния адресата публикуемого ниже письма, В. А. Трейерова, близкого к Толмачеву. Но выбор Толмачева не был случайным, и обращение Решетникова именно к Толмачеву представляется достаточно обоснованным. Толмачев был известен как организатор библиотеки для чиновников палаты, о чем речь будет ниже; ему приписывает Решетников в своей автобиографической повести «Между людьми» и некоторые другие начинания в заботах о чиновниках палаты и казначейства[8]. Жена председателя палаты — Е. Э. Толмачева — была видной общественной деятельницей в Перми, общалась с кружком Иконникова и Воскресенского, принимала ближайшее участие в движении воскресных школ. Эпизод, известный в истории петербургской журналистики под названием «безобразного поступка «Века», связан с ее именем. В позднейшей зарисовке Решетникова, в повести «Между людьми», Толмачев остался с чертами самодура-бюрократа. Забегая несколько вперед в нашем изложении, отметим, что после ревизии Пермской казенной палаты в 1863 г. и чистки всего губернского аппарата, в связи с делом Иконникова, Толмачев, кажется, вынужден был подать в отставку, и в 1884 г. он умер в Москве в чине действительного статского советника[9].

Толмачев все же направил Решетникова с его сочинениями к редактору «Пермских губернских Ведомостей» С. С. Пенну; в то же время у Решетникова установились близкие отношения и с адресатом публикуемого письма.

Наши сведения о В. А. Трейерове недостаточно полны. В повести «Между людьми» Трейеров представлен под фамилией Павлова и следующими чертами обрисован Решетниковым:

«Он был человек неглупый, смыслил кое-что в науках, умел ловко осмеять кого угодно в палате и заинтересовать разговором кого угодно. Заехавши сюда из-за тысячи верст... он скоро попал на должность помощника <столоначальника>. Другую должность, повыше, ему пришлось бы долго ждать, потому что у советников были на примете люди, давно прослужившие в палате. Но вот приехал <новый> председатель. Павлову как-то раз случилось нести к председателю бумаги. Председатель хотел срезать его на словах, но Павлов был не робкий, сам закидал председателя словами и сбивал его фактами. С этих пор председатель так ему доверился, что не мог жить без него и постоянно с ним советовался»[10].

Трейеров был со средним образованием (семинарист), но блестящей карьеры не сделал: в 1863 г. он был копиистом палаты, в 1866 г. ее секретарем, а с 1869 по 1894 год состоял в должности сарапульского уездного казначея. Отношения с Трейеровым Решетников поддерживал и по переселении в Петербург; в его бумагах сохранилось письмо Трейерова из Перми: «Скажу откровенно, — писал он Решетникову, — что с отъездом вашим я лишился человека, вернее друга и помощника во всем. Дай бог найти <вам> в Петербурге людей, так откровенно любящих вас, как я любил и люблю вас... Это не интимное объяснение в любви или лесть, а голая правда, высказанная человеку, от которого я ничего не ищу»[11].

Принимал участие в Решетникове и упомянутый выше С. С. Пенн; по его заданию Решетников написал этнографический очерк «Святки в Перми», напечатанный в «Пермских губернских Ведомостях»[12].

Так определился круг знакомств Решетникова в среде пермской интеллигенции.

В начале 60-х годов Пермь представляла весьма оживленный центр. Издавна, на ряду с другими северо-восточными городами, служившая местом ссылки неблагонадежных элементов, Пермь в описываемую эпоху была значительным центром революционного движения. Кружок передовой пермской интеллигенции, составившийся отчасти из ссыльных, отчасти из местных деятелей, развил не только легальную просветительную деятельность в форме организации библиотек и воскресных школ, но вел и нелегальную революционно-пропагандистскую работу. В кружок входили, главным образом, преподаватели местной семинарии, как продолжавшие учительствовать, так и выбывшие из семинарии по разным причинам, но оставшиеся в Перми: А. Г. Воскресенский, А. Н. Моригеровский, А. И. Иконников (товарищ Шепова по Казанской духовной академии), А. В. Стефановский (товарищ Антоновича по С.-Петербургской духовной академии), Я. Ф. Попов; в кружок входили Д. Д. Смышляев, Степан Шиловский (ссыльный) и др.; видную роль в нем играл товарищ Добролюбова по Главному педагогическому институту Н. А. Фирсов, уехавший из Перми в конце 1860 г.; к кружку примыкала, в какой-то степени, и Е. Э. Толмачева и некоторые другие представители пермской интеллигенции. Пропагандистская деятельность кружка была обнаружена в начале 1861 г., когда были арестованы некоторые его члены, а также и семинаристы, принимавшие участие в пропагандистской работе кружка и боровшиеся с семинарской рутиной при прямом участии, если не при помощи и не под руководством кружка. Базой кружка была библиотека Иконникова; при библиотеке находилась редакция известного издания Смышляева «Пермский сборник», при ней же была организована и воскресная школа, руководимая Иконниковым и Воскресенским. Провал в 1861 г. не дезорганизовал деятельности кружка: легально продолжали действовать библиотеки, школы; нелегально — распространялись герценовские издания и прокламации; кружок готовился к выпуску брошюры Огарева «Что нужно народу?» и был озабочен приобретением печатного станка. Флигель-адъютант Мезенцов, раскрывавший «корни и нити» революционного движения в Казани, установил связь казанского движения

с Пермью и перенес сюда свою деятельность. Кружок был раскрыт, виднейшие участники его, уцелевшие в 1861 г., были арестованы и высланы; библиотека Иконникова и воскресные школы были закрыты, а скоро началась и упоминавшаяся выше чистка губернского чиновничьего аппарата.

О связях Решетникова с этой группой передовой пермской интеллигенции говорить не приходится. Об этом свидетельствуют прежде всего безучастные строки об аресте Воскресенского в публикуемом письме к Трейерову. Осведомленность его о семинарском движении и о деятельности кружка тоже нам неизвестна. Правда, и в 1861 и в 1862 гг. один из екатеринбургских приятелей Решетникова запрашивал его об этом [13], — ответ Решетникова неизвестен, и его тогдашнее отношение к «семинарскому бунту» точно установить не представляется возможным. Тем не менее косвенные данные для суждения об этом, кроме заключительных строк публикуемого письма, имеются, — это статья Решетникова «О библиотеке для чтения чиновников Пермской казенной палаты» [14].

В статье Решетников полемизирует с корреспондентом «Века» А. Анастасьевым, в № 25 журнала поместившим обстоятельную корреспонденцию о пермской просветительной работе. Под псевдонимом «Анастасьев» скрывался А. Г. Воскресенский [15].

«Г. Анастасьев, — читаем в статье Решетникова, — в письме своем, помещенном в 25 нумере сего года журнала «Век», довольно уже писал о пермских библиотеках. Впрочем, не лишним [будет] заметить, что господин этот, кажется, уж очень опоздал с этим известием, ибо еще в начале 1860 года автор статьи «Несколько слов о проходящем 1859 годе» довольно подробно передал нам понятие о состоянии умственной образованности в Перми. Следовательно, повторять о них еще будет напрасный труд».

Противопоставление корреспонденции Воскресенского — Анастасьева статье «Несколько слов» не случайно. Автор «Нескольких слов» — С. С. Пенн; его обзорная статья, о которой упоминает Решетников, — типичный образчик тех либерально-оптимистических статей, которые любили пародировать Чернышевский и Добролюбов: «...в настоящее время, когда...» «Время наше велит нам стремиться к цивилизации, — восклицал Пенн в своей статье, — и для блага и пользы общих приносить посильную дань на алтарь прогресса!». Перечисляя культурные завоевания Перми, редактор губернских «Ведомостей» не забывал отдать должное и «просвещенному, заботливому начальству» [16].

В конце 1860 г. между редакцией губернских «Ведомостей» и кружком Иконникова произошло столкновение. Один из участников литературного вечера, устроенного кружком в пользу сельской публичной библиотеки, И. В. Кротков выступил от имени устроителей с речью, вызвавшей протест кружка: Кротков тоже говорил о заботах просвещенного начальства, но говорил также и о раскольничьем населении, которое предстояло обслуживать библиотеке, о его косности, невежестве и т. д. «Очень естественно, — заявлял Кротков, — что находится очень много людей злонамеренных, которые имеют выгоды к поддержанию этого жалкого нравственного омрачения». Такого выступления группа не ожидала, а когда речь Кроткова была напечатана в губернских «Ведомостях», то протестовала письмом в редакцию, а затем, когда со стороны С. С. Пенна последовал невразумительный ответ, напечатала свой протест в «Московских Ведомостях» [17]. Об этом инциденте Анастасьев (Воскресенский) тоже рассказывал на страницах «Века».

Таким образом, группа Иконникова противостояла той части пермской интеллигенции, которая рекрутировалась из умеренно-либеральных чиновничьих кругов. Трейеров, Пенн, очевидно — Толмачев были ее представителями. К ней примыкал и Решетников. В его статье находим не только полемический выпад против Воскресенского (возможно, что он вставлен Трейеровым, либо самим Пенном), но в ней же и палатская библиотека противопоставляется библиотеке

Иконникова и рассыпаны хвалы по адресу Толмачева и даже по адресу министерства финансов, благосклонно поддержавшего инициативу Толмачева о библиотеке. Самый факт организации палатской библиотеки был, в известной мере, средством отвлечения чиновников от библиотеки Иконникова, которая уже в 1861 г. была у губернского начальства на дурном счету.

Только впоследствии, под новыми влияниями «Современника», переосмысляя свои пермские переживания, Решетников в повести «Ставленник» дал иное истолкование и «семинарскому бунту», и связанным с ним событиям, и библиотеке Иконникова—и этому новому истолкованию подчинил и идею своей повести.

Но все же и тогда, в пермский период, как видно из публикуемого письма, в сознании Решетникова плохо уживались представления о палатских «кувшинных рылах» и о таком деле, как библиотека. «Библиотека для них так себе,— пишет он: — потому что они не понимают в ней толку, и можно надеяться, что они сами ее разрушат». Однако, «скорый и немилостивый конец» библиотеке пришел не отсюда. В письме от 25 августа 1863 г. Трейеров писал Решетникову: «Существование библиотеки я постарался так подтормозить, что на постановление всех чинов палаты, написанное мною, председатель[18] не нашелся ничего сказать, и ответ губернатору до сих пор не послан, несмотря на то, что до августа предполагается сделать торжественное открытие публичной библиотеки. Все ждем, что враги наши отмочут по этому случаю небывалую подлость, чтобы только достигнуть своей цели. В Перми самодурам все средства позволительны».

Строчки эти, очевидно, расшифровываются следующим образом. После ареста и высылки Иконникова, Воскресенского и др. был вообще поставлен вопрос о частных библиотеках. Открывалась общегородская публичная библиотека, под наблюдением властей, и палатская библиотека должна была влиться в нее: в 1863 г. этому детищу чиновничьего либерализма угрожала серьезная опасность.

В публикуемом письме существенное значение имеют строчки Решетникова о его творческой работе в Перми. «Я был в восторге, я рад, что нашел в вас такого человека, какого искал, и скажу вам, вы один несколько поняли меня и отличили от прочих. Отличия мне не нужны, но нужно то, чтобы вы, прочитав что-нибудь, сказали свой суд: самая строгая критика не опечалит меня, а поддержит. Это мне нужно, потому что я еще молод, я чувствую в себе силы, которые, несмотря на службу, становятся лучше. Я ныне, на днях, написал в виде повести и мне она пондравилась; прочитал написанное в прошлом месяце, гадко— нужно переделки. Я... пишу быт нашего края, и быть может публика узнает многое о нем, узнает то, чего не знала: в нашем краю много тайн, много...».

Г. И. Успенский приводит следующую запись из «Дневника» Решетникова о его консультации у Трейерова:

«В сочинении «Два барина»[19] Т<рейеров> не нашел ничего хорошего. Разбирая каждое слово, он говорил: «Вот тут нет стиха. Здесь непонятно, нельзя понять, что такое д в а б а р и н а. Да и сочинение написано не стихами, а только под рифму». Одним словом, он выказал много ума. Говорил о Лермонтове, Пушкине... а мое сочинение для печати не годится! О моих драматических сочинениях сказал, что я еще не могу писать драмы, тем более стихами... Советовал на первый раз написать небольшую повесть или рассказ. Из его слов я заметил, что сочинения мои дрянь, одно увлечение без всякой цели... Не бросить ли их? Нет, я буду писать? Ах, если бы деньги! бросил бы я службу»[20].

Других сведений о характере литературных консультаций Трейерова мы не имеем; дошедшая до нас рукопись юношеской повести Решетникова «Скрипач» имеет следы чьего-то критического чтения, но пометки на ее страницах не говорят о сколько-либо значительной компетенции читавшего; трудно судить, принадлежат ли они Трейерову.

Чрезвычайно важно указание цитируемого Успенским отрывка из «Дневника», что Трейеров советовал Решетникову перейти от поэм и драматургических опытов к художественной прозе. Гл. Успенский указывает только одно сочинение в этом роде, написанное в Перми,— повесть из заводской жизни «Скрипач», не попавшее почему-то в руки Глеба Ивановича и не читанное им. Повесть эта была закончена в ноябре 1861 г. (дата в рукописи). В публикуемом письме Решетников указывает на два других своих произведения того времени — одно написанное «в прошлом месяце» (январь—февраль 1861 г.), другое, написанное «на-днях», стало быть в марте 1861 г.; писатель определяет и его жанр: «в виде повести».

Есть основание предполагать, что первое произведение было «Раскольник»; и второе — знаменитые впоследствии «Подлиповцы»;

«Раскольник» датируется Г. И. Успенским 1862 годом[21]; переписка Решетникова с его екатеринбургским приятелем И. М. Фотеевым уточняет эту дату. В своем письме от 1 января 1862 г. Фотеев сообщает Решетникову сведения, на его запрос, о раскольничьих селениях на берегу Шарташского озера,— сведения очень скупые, вызвавшие заметку Решетникова: «Не много, да что делать станешь! На первый раз достаточно и этого!»[22]. Все, что мы знаем о драме Решетникова «Раскольник», говорит о связи письма Фотеева с ее замыслом, и, таким образом, драма написана в январе—феврале 1862 г. На первых порах она автора удовлетворяла: «Я знаю... так, по крайней мере, мне кажется, что «Скрипач» и драма «Раскольник» написаны дельно»,— записывает он в «Дневнике», но уже в марте, как видим, оценка другая; в конце года Решетников все же рискнул и «Скрипача», и «Раскольника» отправить в редакцию «Времени».

Выбор Решетниковым именно этого журнала для печатания своих произведений вряд ли объясняется особыми, идеологического порядка соображениями автора: во второй половине 1862 г. «Современник» и «Русское Слово» не выходили; знаменательно, однако, что Решетников не адресовался ни в «Библиотеку для Чтения», ни в «Отечественные Записки».

Законченным в марте 1862 г. сочинением «в роде повести» мы считаем «Подлиповцев». Показания различных источников о времени написания «Подлиповцев» противоречивы. Гл. И. Успенский указывает, что «Подлиповцы» написаны в Петербурге; близко знавший писателя его земляк Н. Н. Новокрещенных говорит, что «Подлиповцы» были известны еще в Перми[23]. Публикуемое здесь письмо, в приведенных выше строках, дает основание предполагать, что прав Новокрещенных; строчки об уральских «тайнах» перекликаются с следующей записью Решетникова в недошедшей до нас части «Дневника», цитируемой Успенским и относящейся к февралю 1862 г. «Наш край обилен характерами, у нас каждый, кажется, живет в особицу,— чиновник, купец, горнорабочий, крестьянин... А с к о л ь к о т а й н и з ж и з н и б у р л а к о в н е и з в е с т н о м и р у. Отчего это до сих пор никто не описал их»[24]... Бурлацкие «тайны» и раскрывал Решетников в написанном в марте произведении: «Подлиповцы» очень близки, в первоначальном тексте («Современник» 1864 г.), к ранним произведениям Решетникова, в частности — к повести «Скрипач», интересом автора к «страшным» сюжетам, в данном случае к «обмираниям» (летаргическим снам); по первопечатной редакции Апроська очнулась в могиле, в одном гробу со страшной матерью Сысойки. Пила и Сысойка вырыли ее и, испуганные ее страшным видом, бросили в яму и вновь зарыли. И стилистически «Подлиповцы» близки к «Скрипачу» и «Раскольнику» — подчеркнутой этнографичностью повествования и языком автора и его персонажей.

Кроме «Подлиповцев», к числу произведений, написанных в Перми, следует отнести «Николу Знаменского». Об этом рассказе не упоминается в очерке Успенского; сам же Решетников, в письме к Некрасову, писал: «рассказ «Никола Знаменский» есть первая попытка писать в прозе». Сомневаться в справедливости отнесения очерка к пермскому периоду нет оснований. «Никола Знаменский» бли-

зок к «Подлиповцам»: те же коми-пермяки в качестве персонажей, та же тема о русском попе (предшественнике Николы), одичавшем среди своей паствы, та же драма столкновения первобытного человека с «цивилизацией», которую несли в пермяцкую землю агенты колониальной политики царизма.

В 1863 г. Решетников уезжал из Перми в Петербург — все с той же жаждой учиться, писать и печататься. Из Перми он вывез не только богатый опыт творческой работы, но и ряд произведений; в их числе были и «Подлиповцы», возможно, не вполне законченные, но уже определившие основную идейную и художественную установку автора. Но практически политическая ориентировка автора была весьма невысокого уровня: общение с умеренными кругами в Перми, надо думать, предопределило и то обстоятельство, что Решетников не сразу в Петербурге нашел подходящее место, а пришел к нему через редакцию «Насекомой» («Северной Пчелы»), побывав в руках такого представителя «парикмахерской» цивилизации, как П. С. Усов. Впрочем, не один Решетников шел таким извилистым путем к «своему месту»: по чужим и чуждым изданиям путались на первых порах и Минаев, и Левитов, и Наумов, и Вовчок, и Г. Успенский, и ряд других писателей, представителей демократической литературы 60-х годов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Глеб Успенский, Федор Михайлович Решетников (биографический очерк). Сочинения Глеба Успенского, т. III, СПБ, 1891, стр. 305—308.

[2] Цитируется по автографу.—Рукописное отделение Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки; бумаги Ф. М. Решетникова.—В дальнейших ссылках сокращено: ЛГПБ.

[3] Там же, письмо от 17 мая 1861 г.

[4] В 1887 г. опубликовано в измененном виде под заглавием «В омуте», «Русское Богатство» 1887, кн. У—VI. Пьесы—единственное дошедшее до нас екатеринбургское сочинение Решетникова.

[5] Глеб Успенский, названное сочинение, стр. 321—322.

[6] Там же, стр. 332.

[7] Там же, стр. 323.

[8] Сочинения Ф. Решетникова, СПБ, 1869, т. I, стр. 163 и след.

[9] «Московский Некрополь», т. III, стр. 209.

[10] Названное издание сочинений Решетникова, стр. 165.

[11] Письмо от 25 августа 1863 г. Цитируется по автографу, ЛГПБ.

[12] «Пермские губернские Ведомости» 1862, №№ 3 и 4.

[13] «Напиши мне пожалуйста, чем дело в семинарии кончилось по бунту? Здесь носятся слухи не хорошие, а верного ничего не можем добиться. Я думаю, тебе все известно, что там делается. Говорят преосвященного Неофита уволили на покой по этому случаю. Другие толкуют — ректора семинарии сослали куда-то. Уведомь меня повернее». (Письмо К. Н. Некунесова от 3 апреля 1862 г. Цитируется по автографу Инстит. Литер. АН СССР, архив Ф. М. Решетникова).

[14] «Пермские губернские Ведомости» 1861, № 52.

[15] «Безобразный поступок «Века» (фельетон П. И. Вейнберга в № 8 «Века» за тот же 1861 г.), задевавший Е. Э. Толмачеву, очевидно, пермский кружок не воспринял так, как М. И. Михайлов, а за ним и многие газеты и журналы: корреспонденции Воскресенского начали появляться в № 12 «Века». Следует отметить, что и Добролюбов не придал этому событию особого значения, поставив его в одном ряду («оставил без внимания») с юбилеем князя Вяземского и протестом московских профессоров против Аскоченского (Соч. Добролюбова под ред. Лемке, СПБ, 1911, т. IV, стр. 920). Очевидно, радикализм «статской советницы» не внушал особого доверия кружку, хотя она принимала участие не только в вечерах кружка, но и в его полемических выступлениях (см. ниже).

[16] «Пермские губернские Ведомости» 1860, №№ 1 и 2.

[17] «Московские Ведомости» от 22 января 1861 г., № 18.

[18] Очевидно, преемник Толмачева.

[19] «Сочинение» до нас не дошло, и никаких сведений о нем не сохранилось.

[20] Глеб Успенский, названное сочинение, стр. 326.

[21] Гл. Успенский, Комментарии к драме «Раскольник». — «Невский альманах». П., 1917, стр. 85.

[22] Автограф Инст. Литер. АН СССР, архив Решетникова.

[23] Н. Новокрещенных, Воспоминания о Ф. М. Решетникове, — «Екатеринбургская Неделя» 1891, № 11.

[24] Глеб Успенский, названное сочинение, стр. 328.

1. Ф. М. РЕШЕТНИКОВ — В. А. ТРЕЙЕРОВУ[1]

Г. Пермь
26 марта 1862 года

Василий Анфиногенович!

Извините — я пишу вам без титула. Мне бы, бог знает, как хотелось вам придать какой-нибудь титул, да и как подумаю: какой лучше и приличнее избрать, да и как он покажется вам. Назвать милостивый государь, мне почему-то не хочется. Не хочется потому, что это очень просто; мне кажется, он мал. Я хотел назвать вас другом и чуть не написал, но если это покажется вам очень фамильярным, смелым, потому что я... я ведь человек маленький в нашем обществе бумажного царства Палаты? Хоть и правда то, что мы более канцелярские машины по нашей работе, чем деловые люди, а любим считать себя перед другими бог знает какими, мы ставим себя высоко над другими. Это, конечно, до вас не относится: каждое слово нельзя принимать близко к сердцу, к себе. А только, извините, мне хотелось назвать вас другом. Почему? Вы как-то раз назвали меня самолюбивым человеком и при этом я заметил на вашем лице какую-то насмешку. Это запало в мое сердце, как западает каждое слово и то, что можно понять на лице человека. Мне стало горько — не то, чтобы обидно — и я долго думал и удивлялся,—неужели я самолюбив! Из всех заключений я вывел то, что вы не поняли меня, да и вам не понять меня. Я это хотел сказать вам: но право я говорю как-то несвязно, робею, я молчалив, а могу только писать, — да и то так себе.

Человек бедный, ничто незначущий в сравнении с другими, какой-нибудь канцелярист — попросту машина, способная, на вид, переписывать бумаги, которую употребляют в дело, когда требуется чистота, скорость, что называется трудом, человек с страстию писать, бедный и плохой человек. Трудно ему жить на свете; плохой удел достался ему в жизни; ему горько: он один, его никто не видит, не слышит; знакомиться с ним человеку, довольному жизнию, как-то неловко; ему не верят в способности, смеются над ним и если он станет искать в своем начальнике, потому что к другому [кроме] ему обратиться не к кому, помощника, руководителя не по службе, потому что служба для него ничто не значит, а в своих произведениях. И что же? Его не поймут. Подумают, что он выписал <?>; назовут льстецом, пошлым человеком, самолюбом, пожалуй негодяем и будут смеяться. Я право завидую тем чиновникам, писцам, которые умирают писцами: хотя они и жили едва-едва перебиваясь средствами, плутовали, копили кой-какие рубли, нечисто нажитые, с каждым днем подавляли свою совесть всякою неправдою, но они прожили безмятежнее свои дни, не тревожимые мыслями, чувствами, фантазиями. Для них есть идея жизни: спать, писать на службе и есть, пожалуй, любить, любить без сознания по скотски, хотя и жить с женами. Я ненавижу этих людей, но завидую им, потому что они не тревожились тем, чтобы писать что-нибудь; они не тревожились мыслию, что написав что-нибудь, еще много осталось работы, заботы и горя.

Вы может быть смеетесь надо мной, называете меня, как Зорина, пошлым, глупым. Как хотите — я не сержусь. Я вам говорю то, что чувствую, понимаю, и говорю вам больше потому, что я вам могу говорить много, если не все. Вы мне ближе всех кажетесь; я вас отличил от всех прочих и полюбил вас. Это не лесть, которую я терпеть не могу, а правда, которую я не скрою от вас и которую не скажу никому.—В детстве я был отъявленный шалун, лентяй и подвергся жестокому горю, несчастию, продолжавшемуся 2 года, лишившему меня всех радостей. По воле провидения я выплелся из беды, стал понимать себя[2]. Любимым занятием моим было то, чтобы заниматься чтением и писать что-нибудь. Я писал всякую дрянь, что-то духов-

Инв. Музея № 3821.

Библ. отд. XI – № 8

Г. Пермь.
26 марта 1862 года

Василий Анфимьевич!

Извините — я пишу вам без титула. Мне бы, бог знает, как хоте-
лось вам придать какой нибудь титул, да и как подумаешь та-
кой [illegible] и [illegible], да и как они покажутся вам [illegible]
вать милостивый государь [illegible] почему-то не хочется. Не хочется [illegible]
[illegible] очень просто: мне [illegible] очень [illegible]. Я хотел назвать вас
другом и тут не нашел, но если это покажется вам очень фамиль-
ярным, сделаем, потому что я... я [illegible] человек [illegible] в на-
шем обществе бумажном [illegible] [illegible]! [illegible] и правда то, что
мы были канцелярская машина по нашей работе, [illegible] [illegible]
[illegible], а особенно считают себя перед другими [illegible] [illegible]
[illegible] ставим себя выше над другими. Это, конечно, довольно не
относится: каждое слово всегда принимают близко к сердцу, к себе.
А потом, извините, мне хотелось назвать вас другом. Потому
Вы как-то раз назвали меня самолюбивым человеком и при этом:
я [illegible] на вашем лице [illegible] по наследству. Это [illegible]
вольное сердце, как попадает какое слово что-то, что можно понять
на [illegible] человеку. Мне стало горько — не то что обидно — и я долго ду-
мал и удивлялся — [illegible] я самолюбив. Из всех заключений я вы-
вел то, что вы [illegible] меня, да и вам не понять меня. Я
это хотел сказать вам: но [illegible] я говорю как-то неловко, робко, я
[illegible]: я могу только писать — да и то про себя.
Человек бедный, ничего не значащий в сравнении со другими, какой ни
будь канцелярист — попросту машина, способная на вид [illegible] бу-
маги, которого употребляют в дело когда требуется писать, [illegible]

ПИСЬМО Ф. М. РЕШЕТНИКОВА К В. А. ТРЕЙЕРОВУ ОТ 26 МАРТА 1862 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА

Сарапульский Музей

ПИСЬМО Ф. М. РЕШЕТНИКОВА К В. А. ТРЕЙЕРОВУ ОТ 26 МАРТА 1862 г.
ВТОРАЯ СТРАНИЦА

Сарапульский Музей

ПИСЬМО Ф. М. РЕШЕТНИКОВА К В. А. ТРЕЙЕРОВУ ОТ 26 МАРТА 1862 г.
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА

Сарапульский Музей

**ПИСЬМО Ф. М. РЕШЕТНИКОВА К В. А. ТРЕЙЕРОВУ ОТ 26 МАРТА 1862 г.
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА**

Сарапульский Музей

ПИСЬМО Ф. М. РЕШЕТНИКОВА К В. А. ТРЕЙЕРОВУ ОТ 26 МАРТА 1862 г.
ПЯТАЯ СТРАНИЦА

Сарапульский Музей

ное, марал листы, и спасибо догадливости моих родственников, которые рвали и бросали в печь то, что я читал и писал, от прежних сочинений не осталось ничего. Служа 2 года в Екатерин<бургском> уезд<ном> суде, я находил время писать. Я писал где-нибуд в углу или лежа, чтобы не видали родственники, и в две недели оканчивалось задуманное. Читать мне дозволялось, но писать нет, а это была главная моя охота: я не мог жить без того, чтобы не писать. Сначала писал сатиры на уездный суд, читал их в суде кому-нибудь; написал комедию на уездный же суд. В суде я не мог служить с такими служащими, которые не могут дня прожить, чтобы не смошенничать, чтобы не сплутовать против закона. Ненавидел поверенных, судью, членов, своих товарищей за их взятки, и надо мной смеялись. Часто я плакал — зачем я втолкнут в эту среду хаоса, дряни и нечисти. Но вот я и в Казенной Палате. Что же в ней? Немного лучше суда. Всё дрянь да и везде в городу дрянь, а чистоты <...> и поняв, что все другие, которые судят вас, говорят с насмешками, эти-то господа завидуют вам и ненавидят вас, хотя и оказывают м о е п о ч т е н и е, ласки, дружбы — но это всё притворство. Мне стало вас жаль; но что я могу сделать? И вот решился вам написать письмо,—записку (что писал в ней, я право забыл, как забуду и это письмо, потому что оно пишется прямо набело), и вы изъявили согласие. Я был в восторге, я рад, что нашел в вас такого человека, какого искал, и скажу вам: вы один поняли несколько меня и отличили от прочих. Отличия мне не нужны, но нужно то, чтобы вы, прочитав что-нибудь, сказали свой суд; самая строгая критика не опечалит меня, а поддержит. Это мне нужно потому, что я еще молод, я чувствую в себе силы, которые, несмотря на службу, с каждым днем становятся лучше. Я ныне, на днях, написал в виде повести, и мне она пондравилась; прочитал написанное в прошлом месяце— гадко, нужно переделки. Я ведь не читывал риторик и потому развиваюсь, разучивая жизнь с натуры. Я не читал Никитина, Кольцова, Успенского[3], Белинского, а пишу быт нашего края, и быть может публика узнает многое о нем, узнает то, чего не знала: в нашем краю много тайн, много... <...> по разнообразию. Чтобы достигнуть того <...> сделался очень нужен совет. Но как <...> <Васи>лий Анфиногенович, за ваше расположение ко мне <...> я не умею благодарить, когда с того лица <...> хотел сказать слова благодарности, но я был <...> благодарил. Надеюсь, вы не откажитесь быть ко <...> оставаясь. Только не мог понять вашу улыб<ку> <...> с презрением ... Но нет, вы для меня <...> и каких людей, коих я искал в Екатер<инбурге> и Пер<ми> мне до них нет дела: им некогда рассмат<ривать> <...> Извините, я быть может много написал <...> <тер>пению, зато чего не сказал бы <...> с вами откровенно всё, что у меня на <...> я доскажу.

<...> о председателе. Все рады, что он уехал и <...> они его готовы даже клясти. Такие уж жестокие <...> <...> снова. В Перми мне хотелось найд<ти> <...> неопытности. Мне хотелось пойд<ти> <...> <чи>тавшим мои сочинения, сказать <...> меня. Но чтобы казать с вымыс<лом> <...> не хотелось, я горд на то, чтобы другие <...> избрав из всех наших служащих <...> и умный, может и рассудить да <...> да глуп все-таки, третий каже<тся> <...> У нас много характеров <...> разве два-три дельных с толком <...> но для своих друзей. Не знаю почему <...> сделались в канцелярии протоколист<ом> <...> о вас других почти всех удивлял <...> какое оказывал председатель <...> вас называли и лакеем и секре<тарем> <...> по вашему лицу я отличил вас <...> вы достойны того, что <...> натуры! Библиотека для них так себе, потому что они не понимают в ней толку, и можно надеяться, что они сами ее разрушат, если не будет в ней самостоятельного человека. В присутствии читают первые нумера газет тогда, когда нужно читать их в библиотеке. Их высокородиям никак не хочет-

ся спуститься вниз. Как можно! Там накурено табаком, народ гадкий по их мнениям! Книги начинают брать не по правилам — по многу или не записав в билет. Не знаю, что будет дальше. Выбор помощника библиотекаря будет 30 марта, и мне, надеюсь, не угодить помощником; да и мука будет, если такой беспорядок усилится. Впрочем Золотовин вооружился против беспорядков и быть может он восстановится,—не знаю! Что ни говорят другие про председателя, как ни ругают его все, а я вижу в нем человека вполне достойного внимания и уважения. В учреждениях его нет худова, всё хорошо и конечно их не было бы, если бы он не был самостоятелен и не умел держать в руках всех. Худова для служащих он не сделал, он их не обижал, а старался делать добро. Конечно, нашему брату, писцам, нельзя сделать того, что бы нам захотелось, и мало ли чего мы хочем. Мне <кажется,> что он очень добр. Если вы увидите его, то передайте мою благодарность за всё, что он сделал в Палате, и мне очень будет жаль, если он не будет в Перми. Кроме меня кажется никто к нему не расположен, даже де Велий [4]: он умеет льстить, ласкать, обещать и никогда не исполнять, если дело не принесет для него пользы. Да! наша библиотека может существовать до тех пор, пока не перестанут курить. Кто идет курить, тот, по примеру других, берет газету или смотрит картинки. Книги дома редко читают, а читают больше посторонние; людей же, которые бы постоянно следили за литературой, очень мало.

Об вас, Василий Анфиногенович, в библиотеке и в Палате почти все забыли, как скоро забывается всё на свете, и если спрашивают посторонние, то говорят: «а — уехал с председателем» — «Куда?» спрашивают они. «В Петербург».—«Зачем?». «Да ведь надо же кому проводить председателя,— соскучится один-то». И при этом смеются. Некоторые вовсе думают, что вы не приедете в Пермь, а останетесь служить в Москве с председателем. Я знаю вам все это покажется горько, но вы сами просили написать меня обо всем. И потому письмо посылаю по страховой почте. Швыговский [5] чуть не плясал, когда уехал председатель, и не ходил в Палату. Иван Андреевич [6] не разделяет ничьих мнений на счет председателя. Он по прежнему сидит в Палате до 5 часов, т. е. до вечерен, когда идет обедать, и с 8 до 11 вечером. Это один умнее и добрее всех в Палате людей, ему, как видно, ненравится, что я испр<авляющий> д<олжность> протоколиста.

На Засыпкина и Зорина нельзя полагаться. Они кажется обпили и объели Шалаевского, Шовкунова и Куренбина [7], и потому они с ними обращаются как угодно; а этим они портят свою честь и долг. Шалаевский наотрез сказал мне, что он вам не должен, так как вы ему сделали мало, да и, говорит, нечего было делать. Засыпкин к Куренбину всё еще не ходил и не просил о дровах. Он теперь в восторге, говорит многим, что всё делает он, тогда как я, мало того, что занимаюсь в Палате до 4½ часу и иногда вечером, ношу писать домой, а он пишет только журналы да исполнения и уходит рано. О Зорине и говорить нечего. Серебренников [7] льнет ко мне, разделяет со мной мнения, говорит, что пишет и он. Мы с ним становимся друзьями. В нем мне нравится то, что он хвалит председателя, но прискорбно, что об вас разделяет мнения как и все прочие. Впрочем я постараюсь урезонить его. Он добрый малый и со способностями, только схватывает, что писать, тихо и нечего ему <...> на деле.

Кажется всё. Будет вам читать до субботы. А как поди вы весело проводите время на родине, в кругу родных, в родном местечке, где всё чай те же избушки, так же церковь или новые перемены. Люблю и я родину, свою Пермь, рыболовство, прогулку по Каме, лежать за Камой на траве. Летом я куплю лодку. Приезжайте, будем вместе кататься по реке и пить чай за Камой, пожалуй, рыбачить от заездку. Прекрасно иногда проводить

время на берегу недалеко от воды, ночью, возле разложенного зажженного костра, и говорить с друзьями рыболовами под открытым небом; или в дождь спрятаться под лодку, смеяться над дождем, шутить над чем попало, а утром при восходе солнца плыть с зевотой на заездок или елку, следить за поплавком, подмечать движенье его и ссаживать с удочки первую попавшую рыбку... У нас снег тает сильно. Напишите, пожалуйста, мне что-нибудь на это письмо.

Желаю вам здоровья и всего лучшего. Примите мой поклон.

Ваш покорный слуга
Ф. Решетников

P. S. Прошу вас справиться: куда и кому адресоваться в общество для пособия нуждающихся литераторов [8]. Я хочу послать туда два сочинения. Говорят, что Воскресенского [9], который читал часто в библиотеке, арестовали, и он сидит в полиции. За что — не знаю. Вероятно по делу о семинаристах.

2. Ф. М. РЕШЕТНИКОВ — Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ [10]

Милостивый Государь!

12 июня 1862 года мною послана по почте при письме с 10 коп. сер. посылка с двумя моими сочинениями—«Раскольник» драма в 5 действиях и «Скрипач» очерк из заводской жизни. Письмо и посылка были посланы на ваше имя, в письме я просил вас, между прочим, если сочинения не могут быть отпечатаны, возвратить их мне. Но вот уже прошло полгода, я, не получая ни ответа о моих сочинениях, ни получения их обратно, сомневаюсь, получены ли вами письмо и посылка. А как всякому дорог свой труд, то тем более для меня всего дороже мои сочинения, каковы бы они не были для других, тем более еще и потому, что я не списал с них копии.

Если нельзя будет их отпечатать, то покорнейше прошу вас выслать мне их в Пермь. За пересылку я заплачу тотчас же по получении их назад. Мне, при моей бедности, недорого рубль за то, чтобы только получить их обратно, а не лишиться вовсе. Если же вы почему-нибудь сомневаетесь, что я не заплачу денег за пересылку их, то прикажите написать мне письмо о высылке на пересылку денег.

Я не знаю причины, отчего мои сочинения не могут быть напечатаны.

Помощник библиотекаря чиновников Пермской Казенной палаты
Федор Михайлович Решетников

Пермь
14 января 1863 г.

3. Ф. М. РЕШЕТНИКОВ — К. Н. ПЛОТНИКОВУ

Константин Николаевич!

Если можно, выдайте моей супруге сколько-нибудь денег. Однако вы что-то медлите с книгой?

Моя барыня хочет купить швейную машину и через меня ходатайствует: не поручитесь ли вы магазину — швейному, в том, что она, г. Решетникова, будет уплачивать с рассрочкой помесячно, а когда будут деньги, то и оптом.

Ваш Ф. Решетников

<Пермь>
11 января 1871 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Письмо к Трейерову воспроизводится с подлинника; автограф хранится в Сарапульском (Кировского края) Музее; шифр: инв. музея № 3821. Библ. отд. XI, № 8. Писано на тонкой голубоватой почтовой бумаге, большого формата (27×18 см). Из четырех исписанных с двух сторон п/листов сохранились: первый (кончая словами: подвергся жестокому), верхняя половина второго (лицо — кончая словами: а чистоты, оборот — много тайн, много...) четверть (нижняя, правая) третьего и полностью четвертый со слов: натуру! Библиотека для них. Воспроизводится с частичным сохранением орфографии подлинника; неразобранное сопровождено знаком <?>, восстановленное по догадке заключено в ломаные скобки < >; редакционные отточия ... обозначают утраченные части текста; в квадратные скобки [] заключено зачеркнутое автором.

[2] Решетников в отрочестве, в бытность учеником Пермского уездного училища, был предан суду за хищение корреспонденции из Пермской почтовой конторы — писем, газет и журналов. Дело началось 4 апреля 1855 г. Первой судебной инстанцией — общим присутствием Пермского уездного суда и городового магистрата — по делу был вынесен мягкий приговор: «почтальонского сына, не принадлежащего почтовому ведомству Федора Михайлова Решетникова 13½ лет ... подвергнуть исправительному домашнему, по распоряжению воспитателя, взысканию» (постановление от 14 декабря 1855 г.). Вторая инстанция — палата уголовного и гражданского суда и совестного суда — не согласилась с этим решением и, установив «обдуманность в действиях Решетникова», обнаружила в них преступление, караемое «лишением всех особенных личных и по происхождению присвоенных прав и преимуществ и ссылкой на житье в Сибирь», но так как Решетникову было в момент совершения преступления 13 лет, то палата постановила: «заключить его, Решетникова, за таковые преступления в монастырь на три месяца, а потом по истечении срока его заключения возвратить его к прежнему роду жизни» (постановление от 30 апреля 1856 г.). Приговор в исполнение приводила Пермская духовная консистория: 10 декабря 1856 г. состоялся указ консистории о назначении Решетникова в Соликамский монастырь; 23 декабря Решетников явился в монастырь, а 2 апреля 1857 г. кончился срок «заключения», и Решетников был возвращен к месту жительства при одобрительном отзыве монастырского начальства. В Соликамске он жил не в монастыре, а в семье своего родственника — брата воспитавшей его М. А. Решетниковой, П. А. Алалыкина — в относительно хороших условиях, поддерживая все время связь с своими воспитателями. Сравнительно благополучное окончание дела Решетникова объясняется прежде всего энергией его воспитателя В. В. Решетникова и его хлопотами и связями в судебных инстанциях, в консистории и в самом монастыре. «Ты знаешь, что я тебя обучил и из известной тебе беды выручил, хотя это и было сопряжено с расходами, но все-таки это сделалось, как мне хотелось» — напоминает В. В. племяннику в 1861 г. *. Тем не менее двухлетнее пребывание под судом сказалось на психике юноши-Решетникова; именно этой психической травмой объясняется ужас его перед всяким напоминанием о возможности повторения подобной истории. Его глубоко волновали всякие служебные осложнения; достаточно было его сослуживцу по Екатеринбургскому уездному суду, после перевода его на службу в Пермь, запросить его о каком-то деле, не обнаруженном в числе сданных им, чтобы вызвать прилив непобедимого страха: «... что я скажу (боже мой!) когда я сдал всё исправно и есть в оном его расписка, — записал он на письме-запросе: — что я могу отвечать правильно, забывши теперь всё. Пожалуй, долго ли, заведут дело! И я, бедный человек, убитый в детстве, опять буду уничтожен, уничтожен клеветанием, обманом, мошенничеством» **. Ни родные, ни знакомые, ни сослуживцы, ни учреждения не скупились на напоминания; в письмах воспитателя Решетникова к нему попрек «делом» занимает всегда видное место. «Вот видишь, я тебя воспитал, — читаем, например, в письме В. В. Решетникова к племяннику от 22 мая 1861 г., — выучил, определил на службу, а всё еще никто в глаза из начальников не сказал, что ты за то-то был судим, мне такого не надо. Так бы и тебе надо жить посмирнее, не заноситься далеко, а постараться бы загладить свою вину, чтобы она не отрыгнула далеко» ***. Судимость помешала определению Решетникова в канцелярию пермского губернатора; при определении в Пермскую казенную палату также всплыл вопрос о судимости. От этого кошмара Решетников освободился только с переездом в Петербург, но судимостью пробовали ему угрожать и в Петербурге; очерк Решетникова «С новым годом», напечатанный в начале 1864 г. в «Северной Пчеле», почему-то был болезненно воспринят в Пермской почтовой конторе. В. В. Решетников писал пле-

* Автограф ЛГПБ, бумаги Ф. М. Решетникова.

** Рукописное отделение Пушкинского Дома АН СССР.

*** Там же.

мяннику в Петербург: «Пермский губернский почтмейстер страшно на меня имеет негодование, забирает подробные сведения о твоей отроческой жизни, хочет завести процесс». Рукописное отделение Пушкинского Дома.

[3] Речь идет о сочинениях Н. В. Успенского, в то время сотрудника «Современника»; очерки его, помещавшиеся в журнале и в 1861 г. вышедшие отдельным изданием (Рассказы Н. В. Успенского, 2 части, СПБ, 1861), вызвали в 1861—1865 гг. оживленную дискуссию в критике: появились статьи и рецензии в «Сыне Отечества» (две статьи), в «Русской Речи», в журнале «Время» (приписывается Достоевскому), в «Отечественных Записках», в «Современнике» (Чернышевского), в «Русском Слове» и др. Решетников, видимо, о дискуссии был осведомлен, поэтому и помещал имя Успенского в один ряд с именами Белинского и Кольцова. В своей статье «Библиотека для Чтения чиновников Пермской казенной палаты» Решетников называет сочинения следующих писателей, имевшиеся в библиотеке: Аксакова, Белинского, Грановского, Григоровича, Гоголя, Гончарова, Майкова, Лермонтова, Марко Вовчка, Мея, Островского, Писемского, Полежаева, Пушкина, Розенгейма, Тургенева, Щербины, — а также журналы и газеты: «С.-Петербургские Ведомости», «Московские Ведомости», «Искра», «Отечественные Записки», «Современник» и пр. («Пермские губернские Ведомости», 1861, № 52). Кроме того, из той же статьи известно, что Решетников тогда уже сам был собирателем книг. Есть основания предполагать, что свою неосведомленность в литературе Решетников здесь несколько преувеличил.

[4] Де-Веллий Павел Александрович—советник ревизского отделения Пермской казенной палаты, статский советник.

[5] Швыговский — архивариус Пермской казенной палаты, коллежский секретарь.

[6] Устинов Иван Андреевич — секретарь Пермской казенной палаты до 1864 г.; надворный советник.

[7] Засыпкин Зорин, Шалаевский, Шовкунов, Куренбин, Серебренников — мелкие служащие палаты.

[8] Сведений об обращении Решетникова в 1862 г. в Общество вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым нет.

[9] Воскресенский Александр Григорьевич (1835—1869) — кандидат Казанской духовной академии, с 1858 г. учитель Пермской духовной семинарии, уволенный в 1861 г. В 1861 г. привлекался по делу о распространении прокламации «Послание старца Кондратия». В 1862 г. служил секретарем Пермского статистического комитета. В 1862 г. был арестован по делу о революционной пропаганде в Пермской и Казанской губерниях. С августа 1862 г. жил под надзором полиции в Петербурге, сотрудничал в столичных и провинциальных изданиях.

[10] Письмо к Ф. М. Достоевскому воспроизводится с подлинника; хранится в Музее Достоевского (Москва). На письме пометки рукою Достоевского (?): сверху — «не будут напечатаны»; внизу — «ответ послан 27 января за № 23». Ответное письмо редакции в архиве Решетникова не сохранилось.

[11] Письмо воспроизводится по автографу. К. Н. Плотников — издатель сочинений Решетникова (1869 г.) и его романа «Свой хлеб» в 1871 г.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ ПЕРЕПИСКИ Д. И. ПИСАРЕВА

Сообщение Б. Козьмина

Публикуемое нами письмо[1] знаменитого критика адресовано его родственнице и ближайшему другу его детских и юношеских лет Р. А. Кореневой. Последняя в течение продолжительного времени жила в семействе Писаревых и настолько сблизилась с его членами, что это семейство сделалось для нее как бы ее собственным. Недаром мать Писарева не только в те годы, но и позднее она звала не иначе, как maman. Сверстница Д. И. Писарева, она была для него человеком, с которым он привык откровенно делиться мыслями и впечатлениями, — не менее, а может быть, даже более откровенно, чем с матерью и с сестрой Верой. Детская симпатия его к Кореневой очень рано переросла в любовь. Писарев смотрел на Кореневу, как на будущую подругу своей жизни. Она казалась ему представительницей типа новой женщины. Что касается Кореневой, то она отвечала дружбой на чувство Писарева, но колебалась принять на себя обязательство стать в будущем его женою. Мечтам Писарева не суждено было осуществиться. Коренева увлеклась другим человеком и вышла за него замуж. Хорошо известно, как болезненно переживал Писарев эту «измену» и как долго он не мог примириться с нею.

Публикуемое нами письмо относится ко времени, когда соперник Писарева еще не появлялся на сцене и когда Коренева была для Писарева самым близким человеком.

Письмо это имеет характер дневника. В течение восьми дней писал его Писарев, занося на его страницы отчет о своем времяпровождении. Можно предполагать, что такой же характер имели и другие письма его к Кореневой. Его переписка с нею представляла бы большой интерес для его биографов. Однако, к сожалению, она не дошла до нас. Позднее, после разрыва с Писаревым, когда он сидел уже в Петропавловской крепости и когда его родные готовы были видеть в измене Кореневой чуть ли не основную причину всех злоключений, постигших его, Коренева сожгла все имевшиеся у нее его письма, чтобы они «не попадались на глаза и не будили воспоминаний, подчас горьких, но большею частью тяжелых и желчных» (в кавычках слова из ее неопубликованного письма к В. Д. Писаревой от 18 мая 1863 г.). Только одно публикуемое нами письмо Писарева к Кореневой каким-то образом случайно уцелело и дошло до нас.

Письмо это было написано Писаревым в октябре 1858 г. Из биографии Писарева известно, что в этом году он переживал серьезный умственный кризис, отразившийся на его дальнейшем духовном развитии. Зимой 1857—1858 г. Писарев, бывший в то время студентом второго курса университета, сблизился с товарищами своими по курсу, образовавшими студенческий кружок довольно необычного для того времени характера. Дело в том, что в те годы большинство русской учащейся молодежи горячо интересовалось вопросами общественной жизни и находилось под влиянием герценовского «Колокола», с одной стороны, и революционной проповеди Чернышевского и Добролюбова, с другой. Товарищи же Писарева по курсу мечтали о науке, стоящей выше всяких общественных интересов. По свидетельству одного из них, впоследствии известного критика

А. М. Скабичевского, это были «постепеновцы и заклятые враги каких бы то ни было увлечений и крайностей». «Приверженцы чистой науки и чистого искусства, — пишет Скабичевский,—они всецело отрицали сатиру и требовали, чтобы поэты изображали одни положительные стороны жизни и, чуждые ненависти и злобы, возбуждали одни эстетические эмоции... В научной же области уважалась крайняя специализация при кропотливо-строгой разработке мелких фактиков. Наибольшую вражду постепеновцы питали к «Современнику». К его сотрудникам они относились свысока и с презрением. На себя они смотрели, как на будущих ученых, и не думали ни о какой другой карьере, кроме профессорской» («Литературные воспоминания», М.—Л., 1928 г., стр. 112—113).

Писарев вполне разделял убеждения и надежды своих товарищей. И он, как и они, мечтал сделаться «жрецом науки». Однако, осенью 1858 г. в его жизни произошло событие, которое привело к полному разрыву с прежними товарищами. Он получил приглашение принять на себя ведение библиографического отдела вновь возникающего «журнала для девиц» — «Рассвет». Как рассказывает сам Писарев в статье «Наша университетская наука», на первых порах он взглянул на эту работу исключительно с денежной стороны. «Мои библиографические статейки, — пишет он, — оплачивались по 30 р. с. за печатный лист и доставляли мне ежемесячно от 60 до 70 р. с. Для студента, бегавшего в публичную библиотеку, чтобы не издержать пяти рублей на книгу, это была целая Калифорния. Я ухватился за эту работу обеими руками и старался выполнить ее, как можно тщательней и аккуратней, чтоб удержать и обеспечить ее за собой». По мере же того, как Писарев начал выполнять свою новую работу, она стала увлекать его, он «привязался к ней искренно и сильно». «Мне было приятно,—сознается он,— всматриваться и вдумываться в чтение книг и журнальных статей, потому что я видел перед собой близкую и вполне доступную цель этого всматривания и вдумывания. Мне было приятно развивать на бумаге мои мысли и взгляды, потому что они были действительно мои» (Избранные сочинения, 1934, т. I, стр. 368).

Товарищи Писарева отнеслись с осуждением к этому его увлечению. Они говорили ему, что журнальная работа «отводит человека от науки и повергает его в пустословие и пагубный дилетантизм». «Мне указывали с соболезнованием, — пишет Писарев, — на поучительный пример Добролюбова, который, видите ли, мог быть дельным ученым, а вместо этого сделался пустым журналистом и увлекся суетой «Современника» (Назв. изд., стр. 369—370).

Однако, ни уговоры, ни осуждение товарищей не повлияли на Писарева. Журнальная работа все более втягивала его, и вскоре он убедился, что «один год этой работы принес больше пользы его умственному развитию, нежели два года усиленных занятий в университете и в библиотеке». (Назв. изд., стр. 372).

Публикуемое нами письмо написано Писаревым в самом начале его журнальной деятельности. В нем Писарев рассказывает Кореневой о своих первых рецензиях, написанных для журнала «Рассвет». Как видно из письма, Писарев в это время еще не расстался с мечтами об ученой карьере. Однако, уже с первых шагов литературная работа настолько увлекла Писарева, что в нем, наряду со старыми мечтами, появляются новые — сделаться рецензентом, критиком и журналистом. Таким образом это письмо было написано в дни, когда у Писарева зародились первые сомнения в правильности намеченного ранее пути, когда обнаружились первые расхождения между ним и его университетскими товарищами. С течением времени эти расхождения углублялись, а сомнения нарастали, и кончилось тем, что журнальная работа помогла Писареву «выйти на свежий воздух из душных монастырских стен университетской науки». (Назв. изд., стр. 361).

[1858 г.]

8 октября. Сегодня я не пошел в унив[ерситет], потому что, кроме лекции Коссовича[2], из которой я ничего не понял бы, других не было. В 11-м часу отправился я к Майкову[3] и до 2½ часов сидел у него за исправлением Гумбольд[т]а[4]. Придя домой, я принялся за работу Кремпину[5] и написал разбор статьи: «Н. Б. Долгорукова», которую я прочел сегодня утром в 1-м номере «Отечеств[енных] Запис[ок]» нынешнего года[6]. Я бы тебе советовал, душа моя Раиза, ежели попадется эта книга, прочесть статью «Наталья Борисовна Долгорукова». Это замечательный характер, одна из лучших наших русских женщин, да и время-то очень интересное: Петр II и начало царствования Анны Иоановны. Сегодня получили письмо из Бреста от брата Трескина, ушедшего с эскадрой на Амур. Теперь Коля[7] пишет к нему; я между тем написал свою рецензию и прочел ее Коле; тот остался доволен, что меня очень ободрило. Нужно будет прочесть и Кремпину: ежели это будет годиться, тогда я решительно делаюсь библиографом.

9 октября. Четверг для меня решительно счастливый день. На прошлой неделе, в четверг, я получил первое письмо твое, теперь получаю сегодня второе. Оно меня чрезвычайно обрадовало; конечно, заключающиеся в нем известия обрадовали еще больше получения самого письма. Слава богу, бабуська, что вы здоровы; не нужно вас ничем беспокоить; поверь, что я с своей стороны буду вести себя так умно, так осторожно, как нельзя лучше. Что касается до травы, я пишу тебе в предыдущем письме[8]. Отсутствие надежды не выгонит чувства, но это чувство, поверь, не будет тебе в тягость, а на меня будет иметь самое благотворное влияние. Ты, с своей стороны, сделала все что могла, чтобы уничтожить его или, по крайней мере, отнять всякую надежду. К чему загадывать о будущем, да еще о таком отдаленном будущем. Настоящее, право, хорошо. Теперь работа, научные занятия, а впереди лето, каникулы. О чем же тут толковать? Меня в твоем письме удивляет то, что ты хочешь всю зиму сидеть сурком; разве доктор приказал это. Напротив, мне кажется, тебе было бы полезно прохаживаться в ясные дни; зимний воздух, особенно в наших местах, очень укрепляет; надобно только потеплее одеваться. Душечка, исполни мою просьбу: посоветуйся об этом с доктором (в Ислен[ьеве] живет Трейтер) и сделай, как он прикажет. Ты, кажется, ленива одеваться и ходишь закутанная, да победи же себя в этом. Ведь это может принести тебе пользу. Благодарю от души за просьбу о стихах; они отправлены с письмом вчера, но только в Хмырово. Не знаю, успеешь ли ты получить письмо. Если оно будет перехвачено Р. П.[9], и она не пришлет тебе его, то все равно: напиши, и я пришлю тебе другой экземпляр. Впрочем, жаль, ежели ты не получишь последнего моего письма, оно написано в обширных размерах. Боюсь я за твою поездку в Грунец[10] не наделала бы она тебе беспокойств. Касательно Р. П. ты, конечно, прекрасно сделала; но со мною случилось, кажется, всего один раз забыть написать ей любезность. Во всех других письмах она упоминается. Твое письмо напомнило мне экзамен Никитенки[11], о котором, признаюсь, все забыли. Вероятно, его совсем не будет, т. е. наверное не будет. Ты мне желаешь силы воли и поменьше воображения. Первое верно и благодарю за него. А, второго, право, желать не зачем. Я не сделаю никакого сумасбродства, не отниму у себя времени от избытка воображения. Je suis trop allemand pour cela, il faut convenir, хоть и горько. Je te dis que je vois les choses comme elles sont, et n'en parlons plus[12].

Это только воду толочь. Сегодня читал в «От [ечественных] Зап [исках]» статью Ковалевского: «Картины Италии»[13]. Это тоже для моей библиографии. Славная вещь. В университете слышал я лекцию греч[еской]

литературы и потом Срезневск[ого][14], от которого у меня голова разболелась. Можешь себе представить самые мелочные факты (например, когда был написан договор с греками, в 971 или 972 году), перепутанные разными остротами и анекдотиками и рассказанные в таком беспорядке, что не только записать, а даже понять нельзя, куда все это клонится. Однако, до свидания, пора за работу.

Работа шла очень успешно. Я кончил чтение статьи «Картины Италии» и написал такую рецензию, которую Коля нашел почти превосходной. Когда я прочел ее, он просто изумился. — «Молодец, Митька. Да какой же ты шарлатан! Ты выйдешь отличным рецензентом». — Такая похвала со стороны Трескина, который постоянно ругает меня — это важная вещь, которая очень ободрила меня, тем более, что статья моя была написана в течение полутора часа, почти без помарок и изменений. Раиза, ведь это славно, душа моя. Завтра утром отправлюсь к Кремпину и прочту ему две первые статьи свои. Ежели он их одобрит, я сделаюсь библиографом. Ты не можешь себе представить, как это будет мне приятно, ежели я, будучи еще студентом, поставлю себя независимо в денежном отношении. Это так много содействует самостоятельности. В декабре у меня наверно будут деньги, но как я дотяну до тех пор, не знаю. Вся надежда на дядю А. Д. Писал я сегодня к К. И., но он обыкновенно опаздывает высылкою денег. — Трескин теперь говорит всякий вздор; говорит, что он поедет на лето на Кавказ, что сделается винным откупщиком, что может быть останется на лето в Петербурге, ежели это будет полезно в научном отношении; на что я ему говорю, что ему пора спать, что он завирается и чтоб он умолк. Трескин отвечает: «с тобой говорить нельзя, потому что ты обо всем превратно судишь».

А я сегодня вечером, кроме статьи, прочел две лекции Guizo[15] и с Трескиным два действия «Макбета» Шекспира.

10 октября. Занялся поутру переводом в «Подснежник»[16], потом в 10 ч[асов] с трепетным сердцем отправился к Кремпину на Петербургскую. Прихожу, застаю его дома и объявляю, что желаю прочесть ему две статьи свои, написанные в виде опыта. Он усадил меня, подал чаю, я прочел «Нат[алью] Бор[исовну]» и «Картины Италии». — Прекрасно-с! Совершенно то, что мне нужно. Я тут изложил ему свое мнение о том направлении, которое должна иметь наша библиография и чем она должна отличаться от библиографии других журналов. Там, говорю я, пишут о предмете статьи, как о вещи всем известной; а мы непременно должны сначала в самой рецензии знакомить наших читательниц с этим предметом, иначе статья и рецензия будут непонятны. Кроме того, таким образом, самая библиография, будет иметь значение не как указание, а как самостоятельный отдел. — Та же мысль, говорит Кремпин, пришла в голову нам с Классовским[17]. — Очень рад, говорю я. Стало быть, я понимаю основную идею и направление вашего журнала. — Вы совершенно угадали и поняли его.

После некоторых взаимных комплиментов, Кремп[ин] встает, затворяет дверь: — Теперь, говорит он, позвольте условиться в цене. Как вам угодно, чтоб я платил вам: по месяцам или по листам? — Ежели вы будете платить помесячно, отвечаю я, между нами могут произойти недоразумения. Вы можете найти, что я написал слишком мало. Лучше будет платить с листа. Дело будет чище. — Хорошо. Сколько же? — Назначайте сами. — Нет, скажите вы. — Вам покажется, может быть, дорого, говорю я, 35 руб. сер. — Гм! Я плачу Класовскому 40, но он взял на себя разбор книг по всем четырем литературам. — Английской журналистики я взять на себя не могу, а франц[узскую] и нем[ецкую] беру. — Хорошо-с! Но ведь то Класовский. Одно имя дорого. Ежели хотите, я положил от 25 до

30 р. с. — Я согласен на 30. — Извольте. — Ударили по рукам. — А сколько листов в месяц моей библиографии? — Да листа по два. — Таким образом я с генваря 1859 г. могу получать в месяц руб[лей] по 50, не считая того, что могу зарабатывать в других местах. Кроме того, я достал работы Трескину, перевод с франц[узского] рубл[ей] по 10 за лист. За английский платят 16 р. сер. Не хочешь ли принять участие. Отвечай мне пожалуйста на это, в состоянии ли ты переводить с анг[лийского]. О чистоте русского языка не очень заботься; я выправлю, как следует. Ты этим не шути, душа моя Раиза; это поможет занятию англ[ийским] яз[ыком], укрепит тебя в звании русского и принесет денег. Отвечай мне на это. Да расхвали ты Над[ежде] Ив[ановне] «Рассвет», чтоб она выписала его для Юлиньки. Скажи, что я рекомендую его. Журнал действительно хорош. Надо поддержать это предприятие. Я тебе буду очень благодарен, ежели доставишь подписчиков. Это поддержит Кремп[ина], а через Кремп[ина] и меня. Отвечай поскорей на счет переводов, можешь ли ты взяться. Печатный лист 16 стр[аниц]. Был у меня вечером Скабичевский [18], ему, бедному, скучно жить одному, и он приходит к нам поговорить, душу отвести; меня радует то, что ему весело бывать у нас. И мы так хорошо говорим, то посмеемся, то серьезно поспорим о важных предметах. Я в этот вечер начал разбор статьи Аппельрота «Воспитание женщин среднего и высшего состоянья» [19]. Писал я после ухода Скабичевского, но часто увлекался своим сюжетом и часто приходилось перемарывать.

11 октября. В унив[ерситете] слушал я Стасюл[евича] [20] и Благовещ[енского] [21]. Не хотелось мне итти в унив[ерситет]. Аппельрот не давал мне покоя и все убеждал сесть и кончать рецензию, но я сказал, что это не должно, победил себя и пошел в унив[ерситет]. Там Полевой [22] спрашивает у меня: люблю ли я танцовать. — Я говорю, что отчего же? Можно. — Приходи ко мне часов в 9 и пойдем. — Куда? — В очень порядочный дом. А мундир есть? — Есть, но надо навести справки насчет его положения. Во всяком случае дольше 9 не жди меня. — На том и порешили. Пристал ко мне сегодня Литке [23], студент, который уже много раз звал меня к себе и обещал непременно заехать ко мне, потому, де, что я жду первого визита. Литке этот — сын адмирала, генерал-адъютанта, очень важного господина. Навязывается знакомство, ну пускай. — Прихожу домой, снимаю мундир, но критический взгляд убеждает меня, что мундир несостоятелен, и я без малейшей горести, даже с некоторым удовольствием, решил остаться дома. Боюсь сделаться совершенным сиднем, медведем, потерять l'usage du monde [24].

Около времени обеда получаю от Артемьева [25] письмо, в котором он приглашает меня на завтрашний день к обеду, и извещает, что будет m-lle Vera [26]. Поедем. — Я выносил в себе мысли об Аппельроте, спокойно принялся за дело и написал статью, которую Трескин нашел вполне удовлетворительною, а местами и художественною. Но повозился я с этой статьею довольно и вышла она довольно большая. Потом я прочел несколько страниц романа «Два года назад» [27] с англ[ийского], тоже для Кремпина; наконец, после чаю с истинным удовольствием занялся Гумб[ольдтом] и прочел 23 стр. Теперь до свидания; я доволен своим днем. Написал еще к maman.

12 окт[ября]. Сегодня воскресенье и до 3-х часов я просижу дома, а потом к Арт[емьеву]. Прочел я сегодня 1-ю часть «Два года назад». Кажется, хорошенькая вещица. Отец Трескин особенно в духе сегодня и целое утро шутит с двумя кадетиками, своими племянниками; Коля читает Тацита, и мы изредка перекидываемся словами. Сегодня прекрасный солнечный день, и я имею обыкновение смотреть на твой портрет в солнечном луче; так он особенно симпатичен. Губы краснее, цвет лица свежее, даже

выражение меняется. Я никогда не видал такого подвижного портрета. Я сейчас пришел от Арт[емьева], видел m-lle Веру и признаюсь, по описанию maman, ожидал найти больше. Очень любезна, вспомнили старые годы, и она мне объявила, что когда она прослушает свой курс у Troubot, то будет со мною спорить и переспорит. Но жантильничает она по-прежнему и к несчастью неудачно. Вообще она мне не нравится и я даже нахожу, что приятнее было сидеть, как в прошлый раз с Арт[емьевым] и Яблочковым [28]. Думал я в Вере найти женщину молодо́го, нового поколения, с светлым, гуманным взглядом на вещи. Нет, не то. И в суждениях об . . . . .* и в эманципационном вопросе — аристократические предрассудки, которым радуется, которые старается поддержать Ник[олай] Вас[ильевич]. — Нет, до сих пор я видел одну женщину нового поколения, но не знаю, увижу ли другую. Яблочков гораздо более Ник[олая] Вас[ильевича] современный человек, человек образованный, «вечный студент»; как назвал его сам Ник[олай] Вас[ильевич]. Мы вместе с ним спорили против Арт[емьева] и Веры. Часов в 6½ мы ушли, а Н. В. поехал куда-то с Верой. Яблочк[ов] просил меня зайти к нему. Я зашел, мы напились чаю, поговорили; он спросил у меня, читают ли у нас на факультете политическую экономию. — Нет. — Он предложил, или лучше сказать, навязал мне книгу о политической экономии; надо будет прочесть, это в самом деле важная вещь, необходимая для образованного человека. Прочту в часы досуга. — Пришел домой; у Коли сидит студент Семенников [29], гимназический товарищ его и член собраний Семечкина [30], о котором я тебе говорил. Славный и умный малый, но с ним скучно сидеть, потому что он ужасно молчалив и как-то неуклюж в умственном отношении. К тому же мне хотелось писать к тебе, хотелось заниматься, и потому я был очень рад, когда он ушел. До свидания, бабуся.

13 октября. Сегодня у нас нет лекций; утром я читал Тацита, потом перевел несколько страниц для «Подснежника»; часа в 2 из летучей библиотеки принесли две другие книжки «Отеч[ественных] Зап[исок]». Я прочел 2-ю статью Ковалевского: «Путешествие из Венеции в Рим» и написал свою библиографическую статью, но когда я прочел ее Трескину, он нашел, что она чрезвычайно бесцветна; я согласился с ним и задумался, но статьи не переделал, а взял читать Гумб[ольдта]. Но статья беспокоила меня и почти не давала мне вникать в смысл того, что я читал. Однако, я победил себя, перечитывал по три раза непонятные места и наконец достиг цели, прочел две главы. Потом сел писать к тебе, а статья все не поправлена, не переделана и беспокоит меня. Главное тревожит меня мысль: что, ежели я исписался, что ежели весь мой талант ушел на первые три статейки. Что ежели изменит надежда на библиографию. Не правда ли, какая горестная мысль? Увидим, прав ли я в этой мысли. Сажусь за статью.

Статья удалась действительно, впрочем я не читал ее Коле, да не хочется надоедать ему; у нас сейчас, в эту минуту происходит довольно неприятный и колкий разговор. Дело в том, что я опять предложил Трескину, когда он стал говорить, что у него дурно идет греч[еский] яз[ык], заняться с ним, говоря, что полчаса времени мне ничего не значит. Он по обыкновенью отказался и сказал, что в эти полчаса я могу перевести целый столбец. Я заметил ему, что с его стороны неделикатно мерять мое время на деньги, тем более, что он сам упрекал меня в том, что я много времени употребляю на денежные работы. Он постарался выпутаться из этого затруднения, но довольно неловко и неудачно. Кончилось тем, что я сказал ему: очень жаль, душа моя, а я принужден лишить себя твоей помощи, которая мне очень нужна. Я уже теперь не решусь просить тебя

* Одно слово не разобрано. — *Б. К.*

выслушивать мои статьи и теряю таким образом драгоценного критика. Но ты так дорожишь моим временем, что я должен быть так же великодушен в отношении к тебе. — Хотелось подействовать с этой стороны, но Трескин упрям как бык; он дошел до того убежденья, что надобно владеть собою до такой степени, чтобы всякое слово, всякое движение делалось вследствие мысли, но эта теория пускается в дело только против моего предложения и скоро разбивается о мои доводы; тогда человек, владеющий собою, сердится и отворачивается, между тем как я человек минуты, самолюбие которого еще задето вдобавок, остаюсь холоден и логичен. Смешнее всего, что спросишь после этого: Коля, ты сердишься? — и получишь в ответ:— Я не имею права сердиться на кого бы то ни было; — верный признак, что сердится. Теперь заснул. Прощай, душа моя.

14 октября. Мы с Колей, конечно, помирились, т. е. и не вспоминали о горячем разговоре. Я пошел в унив[ерситет] в 10½ часов, а до тех пор писал об одной повести, которую рекомендую тебе с отличной стороны: «Наследство тетушки» Весеньева [31], в марте 1858 г. в «Отеч[ественных] Зап[исках]». В унив[ерситете] я нашел письмо от Виленского [32], в котором он просит меня зайти к нему, говоря, что ожидает от меня величайшей услуги. Зайду завтра или после завтра. Не знаю только, что ему может быть нужно. Выслушал я лекцию Благовещ[енского]. Потом наступили две лекции Срезн[евского], до того убийственные, что мы с следующего же раза будем ходить по очереди, Трескин, Полевой, Замысловский [33] и я, так что на четверых будут одни записки. Я высидел свое время, совершенно отупел от этих двух лекций, так что за обедом m-me Treskine спрашивала: что с вами? После обеда мне предстояло дальнее путешествие в типографию, чтоб отнести продолжение Гумб[ольдта] для печати; это путешествие после лекций Срезн[евского] являлось мне особенно страшным, тем более, что расстроенное положение моих финансов не позволяло мне ехать. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé [34], и прогулка только освежила меня. Две лекции Гизо после прихода домой, возня с Колей, письмо к тебе и окончание статьи «о тетушке» заключают мой день. А скверно, что денег не присылают. M-me Treskine уже заплатила за перешивку моего пальто на теплое, а теперь в скором времени придется платить за отдельные оттиски Гумб[ольдта]; нужно будет занимать, а это мне не нравится. — Видел я сегодня в унив[ерситете] студента Федорова, который рассказал мне, что он видел в одном обществе Кремпина и что тот сильно расхваливал меня. Это мне приятно. Сегодня в первый раз явился в унив[ерситет] Балашов, тип хлыща, один из моих товарищей по Марьиной роще, с которым я пил Bruderschaft и с тех пор на ты [35]. Я давно заметил его отсутствие и думал, что он вышел из унив[ерситета]. Я нашел в нем перемену. Нос сделался особенно сивым, да и не мудрено, мальчик кутит. Что ему делать, когда 80.000 годового доходу и ограниченные способности. Литке у меня еще не был; я первый не отправлюсь к нему. Надо держать себя гордо и осторожно с людьми, которые богаче и знатнее. Мне ужасно хотелось прочесть Трескину мою статью, но я удержался и победил себя. Прощай, ангел мой. Кажется, это письмо похоже на переписку об сороке, но ведь, всякие события ежедневной жизни обрисовывают характер человека. А знаешь, какая мысль меня преследует часто, когда я занят работой. — Я все думаю, какой предмет я выберу для кандидатской диссертации и из чего буду держать экзамен на магистра. Меня серьезно тревожит отсутствие специальности. Я было отказался разрабатывать арабских писателей, говоривших о славянах, но потом передумал и непременно возьму (это работа, которую мы давно начали у Срезневск[ого]), потому что у меня нет специальности; я хочу приучить себя к приемам ученых трудов и может быть за-

интересуюсь вопросами, которые разработаю. — Макушев, славянофил, торжествует, что я понял это намерение [36].

15 октября. У меня сегодня опять свободный день, и я с утра засел за Гумб[ольдта] и прочел 15 стр[аниц]. Вслед за тем прочел в «Отеч[ественных] Зап[исках]» «Деревенские письма» [37]. Звонок. Приходит Петр [38] и приносит мне повестку, адресованную в дом Шеристапова; из этого обстоятельства я заключил, что деньги посланы папашею, потому что он жил в том самом доме, где я живу и знал его под именем Шерист[апова]. Денег посылается мне 20 р. сер. Я опять подивился своему счастью. Только что я написал к тебе о своем безденежьи, и являются деньги. Чтение и сидение на одном месте утомили меня. Я решился пойти к Вил[енскому] в департамент и отправился. Подхожу к унив[ерситету], оттуда выходят Трескин и Скабич[евский]. Я хотел итти дальше, но мне объявили, что Дворцовый мост разведен, и я тотчас же вернулся домой с товарищами. Скабич[евский] зашел к нам, его оставили обедать и он просидел до 4½ часов. Мы много говорили о наших религиозных убеждениях [39], и Скабич[евский], который был то фанатиком, то аскетом, и вообще горячая голова, рассказал нам о всех своих метаморфозах [40] ни с кем как-то так не вяжется разговор, как между нами тремя. После ухода Скабич[евского] я написал об «Дерев[енских] письм[ах]», и, как и те две статьи, не прочел Трескину. Он сам не просит об этом, а навязываться я не хочу. Не подозревай, впрочем, охлаждения между нами. Мы попрежнему целуемся, нежничаем и деремся; но занятия наши совершенно разделены. Вечером получил я первое письмо от maman. Maman была в Задонске [41], сделала лотерею и, слава богу, здорова. Она недовольна, что я пробыл долго в Москве [42]. Вероятно дядя С. И. [43] написал ей, когда я выехал. Впрочем, это ничего не значит. Постоянные, аккуратные письма мои и хорошие известия о ходе моих занятий смягчат maman и успокоят ее. Она даже не знает о судьбе экзамена Никитенки, несмотря на то, что я писал об этом в первом же письме. Это, конечно, тревожит ее. — Потом, сегодня вечером я читал статью «Оливер Гольдсмит» [44], но напишу о ней завтра. Сегодня спать пора. Завтра из летучей библиотеки придут за книгами, но я отдам только одну из них. Работа идет успешно вперед; на-днях нужно будет повидаться с Кремпиным, чтобы прочесть произведения моего пера, а то я не доверяюсь собственной критике. Автор часто бывает пристрастен. До свиданья, ангел мой Раизинька. Крепко обнимаю тебя. От души желаю успехов в англ[ийском] яз[ыке] и прошу уведомить на счет переводов. Да спроси ты у доктора насчет прогулок зимою. Ежели вздумается, пиши. Знаешь, твои письма дороги.

Frère et ami D. Pissarew

Что-то будет завтрашний четверг. Ведь это счастливый день мой.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Настоящее письмо печатается с оригинала, хранящегося в рукописном отделении Библиотеки имени В. И. Ленина.

[2] Коссович Каэтан Андреевич (1813—1883) — профессор санскритского языка Петербургского университета.

[3] Майков Леонид Николаевич (1839—1900) — товарищ Писарева по университету, впоследствии историк литературы, академик.

[4] «Гумбольдт» — студенческое сочинение Писарева «Вильгельм Гумбольдт»; напечатано в «Сборнике, издаваемом студентами Петербургского университета» т. II, СПБ., 1861 г.

[5] Кремпин Валериан Александрович (ум. в 1889 г.) — журналист, издатель журнала «Рассвет».

[6] «Н. Б. Долгорукова» — статья Я. Г. Е—а «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукова» в № 1 «Отечественных Записок» 1858 г. Писарев написал для «Рас-

света» (№ 1 за 1859 г.) отзыв об этой статье, перепечатанный в павленковском собрании его сочинений, т. I, стр. 7—8.

[7] Коля — Трескин Николай Алексеевич (1839—1894), товарищ Писарева по университету, впоследствии педагог и автор книг для детей. В 1858 г. Писарев жил на квартире Трескиных.

[8] Предыдущее письмо Писарева к Кореневой не сохранилось; поэтому установить значение слова «травы» не представляется возможным. Может быть, Писарев обещал Кореневой в изъявлении своих чувств к ней быть «ниже травы».

[9] Р. П. — Раиса Павловна, тетка Р. А. Кореневой, у которой последняя одно время жила.

[10] Грунец — имение Писаревых в Тульской губернии, в котором они жили с 1850 г.

[11] Никитенко Александр Васильевич (1805—1877) — профессор истории литературы Петербургского университета.

[12] Я слишком немец для этого, надо в этом сознаться... Я успокою тебя в этом отношении, как ты о том просишь. Говорю тебе, что я вижу вещи, как они действительно существуют, и не будем больше говорить об этом.

[13] Статья П. Ковалевского «Картины Италии» была напечатана в №№ 2, 3, 6 и 12 «Отечественных Записок» за 1858 г.; рецензия Писарева на эту статью была помещена в № 1 «Рассвета» за 1859 г., в собрание его сочинений эта рецензия не вошла.

[14] Срезневский Измаил Иванович (1812—1880) — славист, профессор Петербургского университета; в статье Писарева «Наша университетская наука» выведен под фамилией Сварожича.

[15] Guizot — известная книга Гизо «Histoire génèrale de la civilisation en Europe».

[16] «Подснежник» — журнал для детей, издававшийся в Петербурге в 1858—1862 гг. В. Н. Майковым, братом товарища Писарева Л. Н. Майкова. О сотрудничестве Писарева в качестве переводчика в этом журнале до сих пор не было известно.

[17] Класовский — повидимому, Классовский Владимир Игнатьевич (1815—1877), педагог-филолог, преподаватель средних учебных заведений.

[18] Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — товарищ Писарева по университету, впоследствии литературный критик.

[19] Статья Аппельрота была напечатана в № 2 «Отечественных Записок» за 1858 г., а рецензия на нее Писарева — в № 1 «Рассвета» за 1859 г.; рецензия эта перепечатана в собрании его сочинений, т. I, стр. 9—15.

[20] Стасюлевич Максим Матвеевич (1826—1911) — историк, профессор Петербургского университета; в статье Писарева «Наша университетская наука» выведен под фамилией Иронианского.

[21] Благовещенский Николай Михайлович (1826—1892) — филолог, профессор греческой словесности Петербургского университета.

[22] Полевой Петр Николаевич (1839—1902) — товарищ Писарева по университету, впоследствии беллетрист, историк литературы и драматург.

[23] Литке — граф Литке Константин Федорович (ум. в 1892), сын адмирала Федора Петровича Литке, впоследствии был редактором «Известий» географического общества.

[24] Светские привычки.

[25] Артемьев Николай Васильевич — тульский помещик, большой друг родителей Писарева.

[26] M-lle Vera — Вера Николаевна Артемьева, дочь Н. В. Артемьева.

[27] «Два года назад» — роман английского писателя Ч. Кингсли; перевод этого романа печатался в 1858 г. в «Отечественных Записках».

[28] Яблочков — родственник жены Н. В. Артемьева.

[29] Семенников Петр Иванович (ум. в 1900) — впоследствии владелец библиотеки в Петербурге.

[30] Семечкин — товарищ Трескина и Скабичевского по Ларинской гимназии, организовавший гимназический кружок для самообразования под названием кружок «мыслящих людей».

[31] Ив. Весеньев — псевдоним Софьи Дмитриевны Хвощинской (1828—1865); рецензия Писарева на ее повесть была напечатана в № 1 «Рассвета» 1859 г. и перепечатана в т. I Собрания сочинений, стр. 15—18.

[32] Виленский — кто-то из семьи орловских помещиков Виленских (Вилинских), дальних родственников Писарева по матери.

[33] Замысловский Егор Егорович (1841—1896) — товарищ Писарева по университету; впоследствии профессор русской истории Петербургского университета.

[34] *Я взял себя в руки и пошел.*

[35] Балашев Иван Петрович — крупный землевладелец, впоследствии обер-егермейстер и почетный член Академии Художеств. Об отношениях между ним и Писаревым ничего неизвестно. Марьина роща — окраина Москвы.

[36] Макушев Викентий Васильевич (1837—1883) — товарищ Писарева по университету, впоследствии славист, профессор Варшавского университета. Об увлечении его в университетские годы славянством Писарев рассказывает в статье «Наша университетская наука». См. «Избранные сочинения», т. I, М., 1934 г., стр. 362—363.

[37] «Деревенские письма» — статья, напечатанная в № 4 «Отечественных Записок» за 1858 г. за подписью: П. С[умароков].

[38] Петр — лакей Трескиных.

[39] В оригинале описка: «убеждений».

[40] О своих религиозных убеждениях и метаморфозах Скабичевский рассказал в своих воспоминаниях. См. «Литературные воспоминания», М. — Л., 1928 г., стр. 107—109.

[41] В. Д. Писарева часто ездила в Задонск, где жили ее свекровь Прасковья Александровна Писарева и сестра Е. Д. Данилова.

[42] Повидимому, проездом через Москву Писарев задержался для свидания с Р. А. Кореневой.

[43] Дядя С. И.—повидимому, Сергей Иванович Писарев, брат отца Писарева.

[44] «Оливер Гольдсмит» — анонимная статья, напечатанная в № 4 «Отечественных Записок» за 1858 г. в отделе «Смесь».

Д. И. ПИСАРЕВ В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Сообщение Н. Быховского

Писарев был арестован 2 июля 1862 г., а через четыре дня—6 июля—комендант Петропавловской крепости ген. Сорокин доносил рапортом «его величеству» о заключении обвиняемого в государственном преступлении кандидата С.-Петербургского университета Дмитрия Писарева в каземат Невской куртины. Оттуда в дальнейшем он был переведен в Екатерининскую куртину.

Сейчас же после ареста Писарева мать его обратилась с личным письмом к управляющему III отделением ген. Потапову. Выражая недоумение по поводу несчастия, постигшего ее сына и ее, как мать его, и предполагая, что это результат какого-то несчастного недоразумения, она уверяла Потапова, что сын ее был далек от подпольной революционной деятельности и занимался только легальным литературным трудом. Взывая к «добрым чувствам» Потапова, она просила его обратить внимание на то, что сын ее, еще весьма юный по возрасту, однажды уже болел психическим расстройством и что болезнь эта, под влиянием крепостного заключения, может снова повториться и с более тяжелыми последствиями. Она просила Потапова как можно скорее освободить ее сына и хотя бы выслать его к ней в деревню, чтобы он мог поправиться от пережитых треволнений, связанных с арестом, и отдохнуть. Надо полагать, что мать Писарева, который, по словам биографа его, «не скрывал от матери ни одного движения сердца, ни одной мысли» [1], в данном случае совершенно искренно уверяла Потапова в абсолютном отсутствии каких-либо причин для этого ареста. По недостатку материальных средств, она жила тогда в деревне с младшими детьми своими и потому, конечно, могла не знать, что Писарев написал нелегальную статью, по предложению Баллода. Иначе едва ли она решилась бы уверять в полной невинности ее сына, зная, что «преступление» его может быть открыто [2].

Потапов ответил ей, что сын ее всецело находится в ведении следственных властей, ведущих его дело, от которых зависит его освобождение. В данный же момент он здоров, а врачебная помощь всем заключенным в крепости обеспечена.

Первые 9 месяцев Писарев просидел в каземате, не имея даже свиданий. Мать продолжала жить в деревне. Материальное положение его в течение этого времени было тяжелое. По свидетельству матери, он существовал это время только на «крепостном содержании», потому что собственных средств у него не было для приобретения того, что могло сколько-нибудь улучшить и скрасить жизнь в одиночном заключении и что разрешалось покупать на собственные средства заключенным. Получать же материальную помощь от кого бы то ни было он отказывался. Он не хотел даже пользоваться помощью Литературного фонда. И тем не менее в его письмах этого периода к матери нет никаких жалоб на свое положение. Наоборот, он постоянно пишет, что всем доволен, ни в чем не нуждается, он всегда шутит, утешает мать, подбадривает ее. Вообще тюремный режим он переносил мужественно, лично от себя никому не писал никаких прошений о каких-либо льготах или послаблениях казематного режима, за исключением единственного случая, о чем будет ниже.

Лишь после перехода его дела из следственной комиссии кн. Голицына в Сенат, весной 1863 г., III отделение отношением от 29 марта 1863 г. сообщило коменданту крепости, что Писареву высочайше разрешено иметь свидание с матерью. Извещенная об этом, мать его приехала из деревни и имела первое свидание с ним.

Незадолго перед тем разрешена была литературная работа в каземате Алексеевского равелина Н. Г. Чернышевскому. Воспользовавшись этим прецедентом, мать Писарева весной 1863 г. подала прошение петербургскому военному генерал-губернатору кн. А. А. Суворову о разрешении литературной работы Писареву. Мотивировала она это тем, что литературный заработок ее сына был единственным материальным источником существования всей семьи. Последнее вполне соответствовало действительности, потому что материальное положение семьи его было весьма тяжелое. Оно улучшилось, когда Писарев начал зарабатывать литературным трудом, и снова ухудшилось после ареста его. Именно из-за этого матери его приходилось сидеть в деревне, как упоминалось уже, а старшая сестра вынуждена была служить гувернанткой. Однако, получить это разрешение оказалось не так легко. Да и после получения разрешения не раз возникали препятствия, грозившие оборвать литературную работу Писарева в каземате. Об этом до сих пор у нас ничего неизвестно, хотя это представляет большой интерес.

Со времени создания III отделения в 1826 г., после восстания декабристов, именно III отделение было фактическим хозяином Петропавловской крепости. Формально же крепость, как военное учреждение, подчинена была петербургскому военному генерал-губернатору. Эта двойственность подчинения крепости разрешалась в 60-х годах таким образом, что III отделение распоряжалось всецело Алексеевским равелином, как важнейшим местом заключения государственных преступников, находившимся под верховным надзором самого царя. Все же остальные места заключения в крепости были в ведении петербургского военного генерал-губернатора.

Как упоминалось уже, этот пост занимал тогда кн. Суворов. Внук знаменитого полководца, он в ранней молодости, под влиянием декабриста А. И. Одоевского, примкнул к движению декабристов, но в восстании 14 декабря 1825 г. не участвовал. Все же он явился с повинной к Николаю I, который за заслуги деда не привлек его к процессу декабристов, а отправил на Кавказ. С конца 40-х годов он был Остзейским генерал-губернатором, где зарекомендовал себя, как благожелательный администратор. Именно благодаря этой репутации, он в конце 1861 г. был назначен на такой же пост в Петербурге с чрезвычайными полномочиями. Это назначение было своего рода уступкой общественному мнению. «Наше желание,—говорилось в рескрипте, изданном при этом назначении Суворова,—чтобы правящие и управляемые соединялись узами взаимной привязанности и взаимного доверия, вами вполне понято и исполнено». Биограф Суворова характеризует его, как администратора, старавшегося мелкими смягчениями умерить и ослабить практическое применение старых законов, не изменяя их содержания, и благожелательной политикой своей «сгладить суровую политику III Отделения»[3].

Повидимому, Суворов сначала собственной властью разрешил Писареву литературную работу в каземате с тем, чтобы рукописи направлялись из крепости в управление генерал-губернатора, а оттуда передавались прямо в редакцию «Русского Слова». Подтверждением этого является следующая записка ген. Потапова главному начальнику III отделения, шефу жандармов кн. Долгорукову.

«Представляемое письмо передано генерал-лейтенантом Сорокиным. Письмо это обращает на себя внимание, потому что Писарев сообщает своей матери, что он самый деятельный сотрудник журнала «Русское Слово», известного своим дурным и вредным направлением. При этом генерал-лейтенант Сорокин сообщил, что Писарев пишет очень много. Статьи его передаются прямо Санкт-Петербургским военным генерал-губернатором Благосветлову, который весьма часто посещает Писарева. Писарев содержится в Екатерининской куртине, в отдельном

каземате и потому, как переписка, так и свидания его не подлежат ведению III Отделения. Писарев по своему преступлению подлежит лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы, а потому, во избежание, чтобы статьи Писарева не произвели бы тех последствий, какие произошли от романа Чернышевского «Что делать?», я полагал бы снестись с министром юстиции, не признает ли он нужным переместить Писарева в Алексеевский равелин и тогда, как выпуск его статей, так и неуместные свидания могут быть прекращены».

Таким образом, над Писаревым нависла угроза попасть в Алексеевский равелин, где режим был исключительно тяжелый и где он всецело зависел бы от III отделения. Запрятав его в равелин, Потапов выполнил бы свой план, т. е. добился бы и прекращения литературной работы Писарева и «неуместных свиданий». Потапов надеялся, что с юношей Писаревым, недостаточно крепкой нервной организации, III отделению легче будет справиться, чем с Чернышевским, и заставить его в конце концов примириться со своим положением. Опасность для Писарева была чрезвычайно велика. И если бы план Потапова осуществился, то, может быть, мы не имели бы всего написанного Писаревым в крепости, т. е. более двух третей всего написанного им, и притом лучшего из того, что он написал.

Записка Потапова свидетельствует о том, что тогда уже, в мае 1863 г., III отделение уяснило себе, какое революционное значение имеет роман Чернышевского «Что делать?».

От опасности, нависшей над Писаревым, избавил его Суворов. На записке Потапова имеется пометка Долгорукова, датированная 23 мая 1863 г.: «Переговорить при свидании». Повидимому, здесь подразумевались личные переговоры Долгорукова с Суворовым по этому делу. Разговор произошел через день-два ибо на полях этой записки Потапова имеется надпись его, датированная 25 мая: «оставить без последствий, приобщить к делу».

В разговоре с Долгоруковым Суворов, должно быть, уяснил себе, что он вышел из рамок предоставленной ему власти и допустил в этом деле ряд промахов. Но отменять данное разрешение теперь тоже уже было неудобно. Это было бы уроном для его престижа. Понимал это и Долгоруков.

В виде выхода из создавшегося положения при этом разговоре, очевидно, решено было, чтобы Суворов выполнил всю необходимую для санкционирования литературной работы Писарева процедуру, — снесся с надлежащими инстанциями по этому делу, а Долгоруков потом получит необходимое для этого высочайшее разрешение.

6 июня 1863 г. Суворов написал коменданту крепости, что, по просьбе матери Писарева, ходатайствовавшей о разрешении Писареву заниматься литературным трудом, — единственным источником существования семьи, — он, Суворов, считает возможным удовлетворить это ходатайство, тем более, что литературные работы Писарева будут проходить через цензуру. Суворов ссылался при этом на разрешение Чернышевскому заниматься литературной работой даже в Алексеевском равелине.

Не зная, что вопрос этот уже улажен благополучно для Писарева личными переговорами Суворова с Долгоруковым, ген. Сорокин на этой бумаге управления петербургского военного ген.-губернатора положил следующую вполне грамотную резолюцию: «Объяснить в донесении, что просьба г-жи Писаревой надлежит разрешению правительствующего Сената, в который должны препровождаться и рукописи для дальнейшего распоряжения. Разрешение такового есть как особенная высочайшая милость. Но заниматься литературным трудом в казематах высочайше воспрещено». Ответ этот, конечно, не остановил Суворова. Списавшись с Сенатом и получив от него согласие на занятия Писарева литературной работой, Суворов 23 июня 1863 г. уже официальным отношением обратился по этому поводу к шефу жандармов Долгорукову, указывая, что литературный заработок является единственным источником существования семьи Писарева.

«Хотя занятия литературной деятельностью в казематах воспрещены,—писал он,—но, принимая во внимание изложенные в просьбе матери Писарева обстоятельства, считаю долгом покорнейше просить ваше сиятельство, об исходатайствовании высочайшего разрешения подсудимому Писареву продолжать в каземате свои литературные занятия, подобно тому, как дано уже, сколько известно, таковое же разрешение содержащемуся в Алексеевском равелине титулярному советнику Чернышевскому». Упоминание об Алексеевском равелине и о Чернышевском должно было означать, что если это разрешено даже в равелине, для которого создан совершенно особый по суровости режим, то тем более это может быть разрешено в Екатерининской куртине. Долгоруков сейчас же получил это разрешение.

25 июня, т. е. всего через два дня после отправки отношения Суворова к Долгорукову об исходатайствовании «высочайшего разрешения», Суворов писал уже в категорической форме коменданту крепости о дозволении Писареву «продолжать литературные занятия», при чем рукописи его должны направляться ему, Суворову, «для дальнейшего распоряжения».

Таким образом, Писарев получил, наконец, возможность после годичного заключения в каземате, снова отдаться литературной работе. В дальнейшем это разрешение было дано также сидевшим в Алексеевском равелине Шелгунову и Серно-Соловьевичу. В журналах печатались уже литературные работы четырех писателей, сидевших в крепости. Во всеподданнейшем отчете III отделения за 1863 г. шеф жандармов писал: «1863 год замечателен еще тем, что в журналах печатаются сочинения содержащихся в крепости по политическим делам—Чернышевского, Шелгунова, Серно-Соловьевича, Писарева, Михайлова (Мих. Илецкого), осужденного на каторгу». Для России это было действительно событием, совершенно исключительным. С этого времени, каждый месяц, а иногда и чаще, Писарев сдавал в комендатуру крепости свои статьи, написанные на листах писчей бумаги мельчайшим убористым бисерным почерком, обычно без всяких помарок и исправлений. Литературная работа его в одиночном заключении, в мертвой тишине крепостного каземата, была не менее интенсивной и плодотворной, чем на свободе. После годового перерыва читатели «Русского Слова» начали снова встречать его имя в каждой книжке журнала.

Процедура прохождения статей Писарева из крепости до редакции «Русского Слова» была довольно сложная. Писарев сдавал их в комендатуру крепости, при письме на имя коменданта, обычно одинакового содержания: «Ваше превосходительство милостивый государь, Александр Федорович. Имею честь почтительнейше просить ваше превосходительство препроводить по принадлежности представленную мною статью, написанную на... листах под следующим заглавием... С глубочайшим уважением имею честь быть вашего превосходительства покорный слуга Дмитрий Писарев».

Текст письма всегда был одинаков, изменялись только количество листов и название статей. Комендант крепости при рапорте отсылал их в управление петербургского военного ген.-губернатора. Оттуда с препроводительным отношением от ген.-губернатора их отсылали для просмотра в Сенат, где велось дело Писарева. В Сенате обычно не интересовались содержанием этих статей и даже тем, цензурны ли они, предоставляя это усмотрению цензурного ведомства, а просматривали их только в целях недопущения каких-либо сообщений о деле, по которому обвиняется заключенный. Поэтому просмотр статей в Сенате был чисто формальный, поверхностный и недолго задерживал их там. После просмотра Сенат возвращал их обратно петербургскому военному ген.-губернатору, каждый раз при особом указе, которым уведомлялось, что со стороны Сената «по обстоятельствам производящегося дела препятствий не встречается для надлежащего рассмотрения статьи цензурою». Затем управление ген.-губернатора препровождало рукопись обратно в крепость с сообщением об этом указе Сената, для объявления Писареву, «что за сим он может передать свои сочинения для напе-

чатания тому лицу, которому доверяет, но и с тем, чтобы им предварительно соблюден был порядок, установленный цензурными правилами». После всей этой процедуры, требовавшей обычно месяца полтора времени, по указанию Писарева, статьи его пересылались комендатурой крепости в редакцию «Русского Слова». Иногда Писарев уведомлял кратким письмецом Благосветлова, чтобы он пришел для получения статьи в комендатуру крепости.



Д. И. ПИСАРЕВ
Фотография 1865 г.
Институт Литературы, Ленинград

Первая статья, написанная Писаревым в крепости, была «Наша университетская наука», при чем, как указывалось, первая половина этой статьи была написана, вероятно, еще до окончательного урегулирования вопроса о разрешении ему литературной работы. Вторая половина этой статьи написана была во второй половине июня или в начале июля. 9 августа она была уже возвращена управлением военного ген.-губернатора после просмотра ее Сенатом. Напечатаны обе части этой статьи в июльской и августовской книгах «Русского Слова» за 1863 г.

В дальнейшем хронологический порядок литературных работ Писарева в крепости до приговора представляется в таком виде. В августе 1863 г. написана и сдана была первая часть статьи «Очерки по истории труда» на 40 листах. 25 августа она была отправлена комендантом для просмотра. Напечатана она была в сентябрьской книге «Русского Слова».

В сентябре написана статья «Мысли о русских романах» на 21 листе. 3 октября она была сдана и отправлена для просмотра, а возвращена 10 ноября[4].

В октябре написана была вторая половина статьи «Очерки по истории труда» на 10 листах. 8 ноября она отправлена для просмотра. Она успела появиться в ноябрьской книге «Русского Слова».

В ноябре и декабре 1868 г. написана была статья «Исторические эскизы», в течение января прошедшая процедуру просмотра. 1 февраля 1864 г. она отправлена была в редакцию «Русского Слова» при следующей записке Писарева на имя Благосветлова: «Любезный друг, Григорий Евлампиевич, прошу тебя приехать к г-ну коменданту и получить от него рукопись мою «Исторические эскизы» для передачи в редакцию «Русского Слова». Обнимаю тебя. Любящий тебя Д. Писарев. 1 февраля 1864 г.». Письмо, однако, не было передано Благосветлову и осталось в архиве крепости. Имеется только расписка Благосветлова, датированная 2 марта 1864 г., о получении им этой статьи. Очевидно, комендатура крепости от себя уведомила Благосветлова, чтобы он зашел за статьей. Статья была помещена в январской и февральской книгах журнала.

В декабре 1863 г. и январе 1864 г. написана была статья «Цветы невинного юмора» — о сатире Щедрина, возвращенная Суворовым 13 февраля и отправленная в «Русское Слово» 15 февраля 1864 г. Она успела появиться в февральской книжке журнала.

В январе 1864 г. написана была статья «Мотивы русской драмы». Она сдана была в комендатуру 1 февраля, а 28 февраля уже возвращена была после просмотра. 29 февраля письмом на имя коменданта Писарев просил отправить ее «Русскому Слову». Появилась эта статья в мартовской книге «Русского Слова».

В феврале 1864 г. написана и сдана была первая часть статьи «Прогресс в мире животных и растений». 28 марта она возвращена была после просмотра, а 30 марта Писарев письмом на имя коменданта просил передать ее Благосветлову, вместе с запиской следующего содержания: «Любезный друг, Григорий Евлампиевич, прошу тебя приехать к господину коменданту и получить от него рукопись мою «Прогресс в мире животных и растений» для передачи в редакцию журнала «Русское Слово» на Колокольной в доме Миллера № 3. Обнимаю тебя. Любящий тебя Д. Писарев». Эта записка также не была передана Благосветлову. Имеется лишь расписка такого содержания: «Верю получить рукопись г. Писарева секретарю редакции г. Луканину. 1864 г. 9 апреля Григорий Благосветлов». Статья эта была напечатана в апрельской книге «Русского Слова» за 1864 г.

Далее в работе Писарева происходит некоторое замедление. В период март—июнь 1864 г. им написаны были только: «Кукольная комедия с букетом гражданской скорби» и вторая часть статьи «Прогресс в мире животных и растений». «Кукольная комедия» напечатана в августовской книге «Русского Слова», а вторая часть статьи «Прогресс в мире животных и растений» — в сентябрьской книжке за 1864 г. Замедление в работе Писарева в этот период объясняется, вероятно, тем, что именно в эти месяцы ему приходилось отрываться от работы и уделять много времени обозрению в Сенате обширного следственного материала по его делу. Но после этого периода опять начинается аккуратная сдача статей, каждый месяц, а иногда и чаще.

В июле 1864 г. написана была статья «Реалисты». 4 августа она была сдана в комендатуру, а в сентябрьской книге «Русского Слова» она была напечатана под названием «Нерешенный вопрос».

В августе этого года написана была статья «Картонные герои», сданная 11 сентября и возвращенная после просмотра 24-го числа того же месяца, т. е. через

2 недели. Это был самый короткий срок прохождения статей Писарева из крепости для просмотра и обратно в период предварительного заключения. его.

В сентябре и октябре написана была статья «Промахи незрелой мысли», сданная в комендатуру 29 октября и появившаяся в декабрьской книжке «Русского Слова», уже после объявления приговора Писареву.

На этом кончается подследственный период литературной работы Писарева в крепости. В ноябре 1864 г. ему объявлен был приговор Сената, коим он присужден был к лишению некоторых прав и преимуществ и к заключению в крепость на 2 года 8 мес.

Теперь Писарев был уже не подследственный, а присужденный к срочному заключению. Теперь и казематный режим и условия литературной работы должны были облегчиться. В действительности же над ним опять повис дамоклов меч лишения возможности отдаваться литературной работе и еще худших условий заключения, чем до приговора, при чем Писарев даже не подозревал этой опасности.

8 ноября 1864 г. Суворов сообщил коменданту крепости о приговоре Сената. Желавший избавиться от арестованного, доставлявшего ему много хлопот, генерал Сорокин наложил на сообщении Суворова резолюцию: «Испросить разрешение г. военного генерал-губернатора отправить в Шлиссельбургскую крепость». Режим Шлиссельбурга был еще более суровый, чем Алексеевского равелина. О продолжении там литературной работы и речи не могло быть. Таких случаев там никогда не бывало ни до, ни после этого.

Предвидя возможность несочувственного отношения Суворова к этому предложению и желая предупредить возможные возражения Суворова против этого, комендант напомнил ему, что в другом аналогичном случае сам Суворов, по высочайшему повелению, распорядился перевести приговоренных к срочному заключению в крепости из Петропавловки в Шлиссельбургскую крепость. «Ваша светлость,—писал ген. Сорокин,—предписанием от 10 августа 1863 г. изволили сообщить мне высочайшее повеление о переводе содержащихся в С.-Петербургской крепости студентов Медико-хирургической академии Ивана Бабашинского и Бонифатия Степута в Шлиссельбургскую крепость, с тем, чтобы в таковую были помещены и все другие подобные им арестанты, заключенные в крепости для выдерживания под арестом, в продолжении определенного срока. На этом основании в августе того года были отправлены из С.-Петербургской крепости в Шлиссельбургскую крепость студенты Николай Воронов и сын чиновника 12 класса Яков Емельянов, как присужденные к временному заключению» [5]. Основываясь на этих примерах, Сорокин запрашивал, не следует ли отправить в Шлиссельбургскую крепость Писарева, а также осужденных по одному делу с ним П. Н. Ткачева и Ольшевского.

17 ноября 1864 г. Суворов ответил коменданту, что «при настоящих обстоятельствах, имея в виду неудобство препровождения политических арестантов для срочного заключения в Шлиссельбургскую крепость, я полагал бы оставить на время арестантов Писарева, Ольшевского и Ткачева в С.-Петербургской крепости». Таким образом, благодаря Писареву, избавлены были от Шлиссельбурга также Ольшевский и Ткачев.

В дополнение к этому особым предписанием коменданту Суворов снова разрешил Писареву, теперь уже как отбывающему наказание по приговору, продолжать литературную работу, при чем рукописи его должны направляться в управление ген.-губернатора. Оттуда они шли уже прямо в редакцию «Русского Слова». Надо полагать, что чиновники Суворова даже не просматривали их, потому что сам он считал это делом цензурного ведомства, специально предназначенного для этого, как он высказывался в переписке с комендантом крепости и с III отделением по данному вопросу. Благодаря этому, статьи Писарева теперь уже сравнительно быстро доходили до редакции «Русского Слова». Окончание статьи «Реалисты», сданной в комендатуру 22 ноября 1864 г., успело войти в но-

ябрьскую книжку журнала. В комендатуру статьи сдавались, как и раньше, каждый раз при препроводительном письме Писарева на имя коменданта; содержание письма уже приводилось здесь.

Со времени объявления приговора работа Писарева становится еще более лихорадочной и кипучей. За 13—14 месяцев, с ноября—декабря 1864 г. до конца 1865 г., им написано было около 65 печатных листов.

Вот перечень статей, написанных Писаревым в этот период, в хронологическом порядке, с указанием числа листов писчей бумаги, на которых они написаны; в скобках указано, в каких книгах «Русского Слова» статьи эти были напечатаны.

22 ноября 1864 г. сдано было окончание статьи «Реалисты» («Нерешенный вопрос», на 10 листах, ноябрь 1864 г.).

14 декабря 1864 г. — «Историческое развитие европейской мысли» на 8 лл. (ноябрь—декабрь 1864 г.).

27 декабря 1864 г. — окончание статьи «Историческое развитие европейской мысли» на 5 лл. (декабрь 1864 г.).

В декабре же этого года, повидимому, была также сдана статья «Промахи незрелой мысли» (декабрь 1864 г.).

В 1865 г. в январе были сданы 2 статьи: «Мыслящий пролетариат» (дата сдачи не установлена), вошедшая в собрание сочинений под названием «Роман кисейной девушки»; 31 января сдана первая половина статьи «Переворот в умственной жизни средневековой Европы» на 7 лл. (напечатана в январской книжке, где слово «переворот» заменено было менее пугающим цензуру словом «перелом») [6].

10 февраля — «Сердитое бессилие» (февраль).

5 марта — окончание статьи «Переворот в умственной жизни Европы» на 6 лл. (февраль).

28 марта — «Прогулка по садам российской словесности» на 10 лл. (март).

29 апреля — первая часть статьи «Пушкин и Белинский» на 10 лл. (апрель—май) и «Пульхерия Ивановна» на 2 лл.

11 мая — «Мысли Вирхова о воспитании женщины» — на 3 лл. (апрель).

2 июня — «Разрушение эстетики» на 5 лл. (май).

6 июня — «Педагогические софизмы» на 7 лл. (май).

26 июня — окончание статьи «Пушкин и Белинский» на 9 лл. (июнь).

10 июля — «Подвиги европейских авторитетов» на 3 лл. (июль).

6 августа — первая часть статьи «Школа и жизнь» на 7 лл. (июль).

22 августа — окончание статьи «Школа и жизнь» на 7 лл. (август).

11 сентября—начало статьи «Исторические идеи Огюста Конта» на 4 лл. (сентябрь) и первая часть статьи «Посмотрим» на 5 лл.

18 сентября—окончание статьи «Посмотрим» на 6 лл. (вся статья напечатана в сентябрьской книге).

В сентябре—октябре написана и сдана была статья «Новый тип»—о романе Чернышевского «Что делать?», напечатанная в октябрьской книге «Русского Слова» за 1865 г. В первом издании собрания сочинений Писарева она вошла под заглавием «Мыслящий пролетариат», во втором издании — вырезана была цензурой.

19 октября сдано продолжение статьи «Исторические идеи Огюста Конта» на 7 лл. (октябрь).

23 ноября—окончание статьи «Исторические идеи Огюста Конта» на 7 лл. (ноябрь).

20 декабря—сдан физиологический очерк «Рука» на 5 лл.

23 декабря—«Подрастающая гуманность» на 7 лл. (напечатана в декабрьской книге «Русского Слова» за 1865 г. под названием «Сельские картины» под псевдонимом Радугина).

Как видим, в этот период Писарев нередко сдавал по две-три статьи в месяц.

В некоторых книжках «Русского Слова» за этот период объем его статей составляет до 5 листов, или около $^{1}/_{6}$ части книги.

Популярность Писарева в это время достигает апогея. Он становится поистине «властителем дум» молодого поколения разночинной интеллигенции этой эпохи. Это было совершенно исключительное явление, не только в истории русской литературы, но, пожалуй, и мировой литературы, когда писатель под тюремными сводами и тяжелыми затворами, в течение ряда лет лишенный общения с людьми, становится идейным вождем. Но с ростом славы и влияния Писарева росла и ненависть врагов его, реакционеров и обскурантов. Одним из наиболее ярых противников Писарева выступил И. А. Гончаров, литературное творчество которого мирно уживалось с работой по прижиму литературы в цензурном ведомстве. Свои нападки на Писарева Гончаров делал не открыто в литературе, а в докладах по цензурному ведомству, где он требовал скорпионов не только против журнала, печатавшего статьи Писарева, но и против автора их[7].

Именно Гончаров обратил внимание министра внутренних дел своим докладом на статью Писарева «Новый тип» — о романе Чернышевского «Что делать?», отмечая наиболее вредные места этой статьи. Результатом этого было распоряжение министра внутренних дел об объявлении первого предостережения журналу «Русское Слово» за октябрьскую книжку, при чем среди статей этой книжки, вызвавших кару, на первом месте стояла статья Писарева «Новый тип». Предостережение перечисляет и отдельные страницы этой статьи: 4, 8, 10, 13 и 26, где автор «отвергает понятие о браке» и «проводит теории социализма и коммунизма». Именно эти места отмечал и Гончаров в своем донесении, как особенно вредные.

Кара, наложенная на «Русское Слово», не остановила охранительного рвения знаменитого автора «Обломова». Статья Писарева «Исторические идеи Огюста Конта», помещенная в ноябрьской книге «Русского Слова» за 1865 г., вызвала новое донесение Гончарова по цензурному ведомству. В этой статье Гончаров-цензор усматривал «явное отрицание святости происхождения и значения христианской религии» и требовал даже суда над автором этой статьи, зная хорошо, что автор сидит уже 4-й год в Петропавловке. В результате, через две недели после первого предостережения, последовало второе предостережение за ноябрьскую книгу «Русского Слова» 1865 г., — факт совершенно исключительный, даже в истории русской цензуры, причем опять-таки на первом место отмечалась именно статья Писарева «Исторические идеи Огюста Конта».

Дело, однако, не ограничилось наложением кары на крамольный журнал. Писарев хотя и не был предан суду, как требовал Гончаров, потому что, даже по российским законам, нельзя было привлечь его к суду за легальную статью, прошедшую через цензуру и напечатанную в легальном журнале, все же оказалось возможным расправиться с ним и в каземате. До сих пор он пользовался в крепости разными льготами. Еще 28 ноября 1865 г. Суворов писал коменданту, что «штабс-капитан Писарев (отец Д. И. Писарева) просит разрешить жене его посещать заключенного в крепости литератора Писарева 3 раза в неделю, так как благотворное влияние матери действует на нравственное исправление сына», и что он, Суворов, «не встречает препятствий к удовлетворению этого ходатайства». Свидание 3 раза в неделю в Петропавловской крепости—это была совершенно исключительная льгота при существовавшем там режиме.

И вдруг, всего лишь через месяц после этого, как только в газетах было опубликовано вышеприведенное первое предостережение от 20 декабря 1865 г. «Русскому Слову» за вредные статьи, между которыми на первом месте были статьи Писарева, все это неожиданно изменилось. 26 декабря Писарев подает коменданту крепости письменное заявление о выдаче ему бумаги для письма ген.-губернатору Суворову. До тех пор за три с половиной года сидения его в крепости ему не приходилось прибегать к этому. Писали Суворову и хлопотали за Писарева его родные и доброжелатели, но не он сам. Уже из этого можно понять, что в тюремном режиме произошло нечто совершенно неожиданное, чрезвы-

чайно ухудшившее положение писателя. Приводимое ниже письмо Писарева к Суворову рисует положение, в котором он неожиданно оказался, и его переживания в тот момент.

«Ваша светлость. К вам пишет из каземата Петропавловской крепости человек, облагодетельствованный вами, и пишет он не за тем, чтобы просить себе у вашей светлости новых благодеяний.

Ваша светлость изволили доставить мне, кандидату университета, Дмитрию Писареву, содержащемуся в Петропавловской крепости с 3 июля 1862 г., возможность писать и печатать статьи в журналах. В течение двух с половиной лет (от июня 1863 г. и до декабря 1865 г.) я пользовался беспрепятственно великою милостью, дававшею мне возможность кормить мать и сестер.

Во все это время я постоянно получал и держал у себя в каземате все дозволенные в России книги и периодические издания, которые мне были необходимы для моих работ.

С конца декабря нынешнего года все переменилось.

Крепостное начальство отобрало у меня все мои книги, и я хожу теперь по каземату из угла в угол, не зная, что делать, не зная, чем будет существовать мое бедное семейство, и не умея понять, чем я мог навлечь на себя такое тяжелое наказание.

Лучшие годы моей жизни проходят в каземате. Я об них не жалею, я не прошу освобождения. Я знаю, что виноват, и несу с полной покорностью заслуженное наказание.

Но об одной милости умоляю вашу светлость, и эту милость я готов вымаливать себе на коленях и со слезами: не лишайте меня возможности учиться и работать, не закрывайте раскаявшемуся преступнику единственной дороги к полному исправлению и к новой жизни разумной, полезной и скромной.

Вашей светлости известно, что невежество составляет настоящие причины тех мечтаний и увлечений, от которых погибает добрая и честная молодежь.

Вашей светлости известно, что образование есть самое надежное оружие против опасных заблуждений.

Будьте же великодушны: позвольте мне попрежнему употреблять долгие дни моего заключения на приобретение полезных знаний, на развитие моего незрелого ума и на работу, доставляющую пропитание моей больной матери и моим сестрам.

Положение моего семейства в настоящую минуту тем более печально и затруднительно, что издатель «Русского Слова» г. Благосветлов, пользуясь моим заключением, на днях обманул меня при окончательном расчете, слишком на 400 р. Вследствие этого неожиданного дефицита работа моя становится еще более необходима, чем прежде.

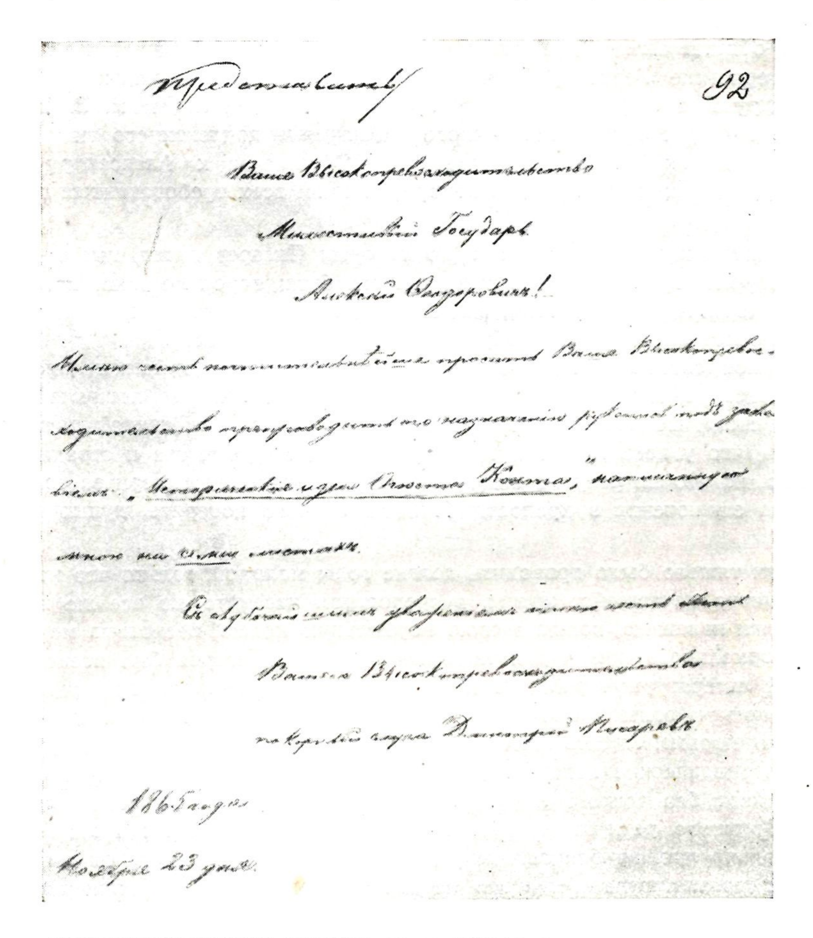
Есть еще одно обстоятельство, о котором я должен сказать вашей светлости несколько слов. С начала нынешнего года мне давались в неделю по два свидания с матерью и сестрами, и каждое из этих свиданий продолжалось по 4 часа, от 10 утра и до 2-х часов пополудни. По новому распоряжению крепостного начальства я имею в неделю только одно свидание, которое продолжается 2 часа. За что обрушились разом на меня и на мое семейство все эти немилости, этого я решительно не могу себе объяснить. Никакой новой вины за собой не знаю, но, по всей вероятности, какая-нибудь вина существует и, быть может, будет доведено крепостным начальством до сведения вашей светлости.

В таком случае я умоляю вашу светлость об одном, выслушайте обе стороны, т. е. как обвинителей, так и обвиняемого. Тогда окажется, по всей вероятности, что обвинение основано на каком-нибудь чистейшем недоразумении.

Если бы вашей светлости случилось заехать в крепость, если бы вам угодно было посетить мой каземат, то, конечно, в 10 минут я изложил бы вам все мое горе яснее и убедительнее, чем можно передать на десяти листах бумаги. Но это такое великое счастье, на которое я и не смею надеяться.

Легко может быть, что письмо мое бессвязно. В таком случае прошу вашу светлость великодушно извинить меня. Вы можете себе представить, князь, как тяжело ложатся все эти огорчения на человека, потрясенного уже тремя с половиной годами одиночного заключения. У меня ужасно болит голова, путаются мысли, и я страдаю бессонницей, так что в сутки мне удается заснуть всего на 2 или на 3 часа.

Умоляю вашу светлость упрочить за мною благодеяния, которые уже дарованы мне вашим великодушным заступничеством. Я буду совершенно счастлив, лишь бы у меня не отнимали того, что мне было дано вашей светлостью.



Представить 92

Ваше Высокопревосходительство

Милостивый Государь

Алексей Федорович!

Имею честь почтительнейше просить Ваше Высокопревосходительство препроводить по назначению рукопись подъ заглавиемъ: „Историческiя идеи Огюста Конта", написанную мною на [illegible] листахъ.

Съ глубочайшимъ уваженiемъ имею честь быть

Вашего Высокопревосходительства

покорный слуга Дмитрий Писаревъ

1865 года

Ноября 23 дня.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО Д. И. ПИСАРЕВА ШЕФУ ЖАНДАРМОВ А. Ф. ОРЛОВУ К ПОСЫЛАЕМОЙ ИМ ИЗ КРЕПОСТИ РУКОПИСИ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ИДЕИ ОГЮСТА КОНТА»

Центрархив, Москва

С глубочайшим уважением и беспредельной преданностью имею счастие быть облагодетельствованный вашей светлостью Дмитрий Писарев. 1865 г. декабря 26 дня».

Для революционера весь тон этого письма, конечно, совершенно недопустим.

Весьма странно звучит в этом письме упоминание о «доброй, честной молодежи», гибнущей от «мечтаний и увлечений», порожденных невежеством. Ведь именно охранители и реакционеры его обвиняли в развращении «недоучившейся» молодежи вредными «мечтаниями и увлечениями», подрывающими все устои существующего порядка. Не было ли это особым тактическим приемом для отвода

от себя этого обвинения? Возможно также, что Писарев исходил при этом из принципа — «цель оправдывает средства», считая, что для пользы, приносимой его литературной деятельностью общественно-революционному движению, можно и покривить душой. С. Г. Нечаев, начавший свою революционную деятельность приблизительно около этого времени, считал ведь возможным аморальные действия в интересах революции.

Все же вероятнее всего, что содержание письма объяснялось душевным состоянием Писарева в тот момент.

Необходимо также помнить, что в эпоху 60-х годов не были еще прочно установлены те основы революционной этики в тюрьме и ссылке, которые позднее стали обязательными для революционеров. Поэтому и «кристально чистый», по характеристике Герцена, Серно-Соловьевич считал возможным обращаться к Александру II с «верноподданными просьбами». Делал это и Н. В. Шелгунов, хотя лишь в форме писем, без точного соблюдения надлежащего титулования и установленных для этого формальностей. Обращался к Александру II даже и Н. Г. Чернышевский, но с явным игнорированием всех требовавшихся для этого аксесуаров.

Облегчения казематного режима, о которых Писарев писал, как о благодеяниях со стороны Суворова, в действительности были, вероятно, лишь применением все той же административной тактики его — смягчения существующей системы без изменения основ этой системы, обусловливавших все зло ее.

Душевное состояние Писарева в этот момент было действительно крайне тяжелое. Писарев, мысли которого были всегда так ясны и логичны, который исписывал своим мельчайшим почерком десятки листов без единой помарки, пишет теперь, что у него мысли путаются; он даже лишился сна и страдает головной болью, на что ни разу не жаловался в своих письмах матери за три с половиной года заключения в крепости. И было от чего потерять душевное равновесие.

Как ни тяжело было проводить долгие годы молодой, только что начавшейся и так радужно начавшейся жизни, в крепостном каземате, но все же жизнь эта была кое-как налажена, вошла в свою нормальную колею, насколько можно говорить о «нормальной» жизни для тюремного узника. Писарев был всецело поглощен своей литературной работой. Эта работа давала ему возможность коротать долгие месяцы и годы заключения. Литературная работа заменяла ему все, чего лишила его тюрьма. Писать же он мог только, имея всегда при себе нужные ему книги и периодические издания. И вдруг, совершенно неожиданно, его лишают этого. Лишают без всякого повода с его стороны, так как никаких проступков против тюремного режима он не совершал. О предостережении же «Русскому Слову», только что опубликованном, датированном 20 декабря, он не мог еще знать 26 декабря, когда писал это письмо Суворову, так как из периодических изданий ему разрешалось тогда иметь у себя только журналы, но не газеты. Да если бы ему и было известно об этом, то трудно было примириться с мыслью, что цензурные репрессии за легальные статьи могут отразиться на тюремном режиме для автора, отбывающего наказание совсем по другому делу.

Характерно здесь и следующее. Писареву не запрещают писать, но лишают его книг. Объясняется это несомненно тем, что запретить ему литературную работу комендант крепости не мог, потому что это, как говорилось уже выше, разрешено было ему по настоянию Суворова, вопреки противодействию коменданта ген. Сорокина. В отношении же книг прямого распоряжения о дозволении Писареву иметь в каземате все нужные ему книги не было. Это как бы само собой подразумевалось. И до сих пор никаких препятствий по этой части не было. Теперь же сочли возможным ущемить его как раз в этом отношении. А без книг он не мог и писать. И вот он обречен на хождение «из угла в угол по каземату, не зная, что делать». Повидимому, были и какие-то ущемления в пользовании бумагой, потому что ему приходится писать специальное заявление коменданту

крепости о выдаче бумаги для письма Суворову, между тем как до этого, хотя и под строгим контролем, но у него всегда было много бумаги для литературной работы. Наконец, ко всему этому, ограничены были и свидания с матерью, хотя всего лишь за месяц до этого Писареву разрешены были свидания с нею даже по три раза в неделю.

Письмо Писарева Суворову, являвшееся жалобой на коменданта крепости, не могло, конечно, доставить большого удовольствия ген. Сорокину, тем более, что ему пришлось писать обширное объяснение по этому поводу. Его отношение к этому письму он выразил иронической надписью карандашом на копии письма: «После дождя хорошая погода». Понимать эту потугу на остроумие не блиставшего умом ген. Сорокина надо, повидимому, так, что после надлежащего ущемления задорный разрушитель Писарев смиренно запросил пощады и заговорил о раскаянии. В объяснении своем Суворову, отправленном вместе с письмом Писарева, Сорокин, прежде всего, напоминает существующие правила для заключенных в крепости.

«Правилами, приложенными к 2079 ст. части I и II свода военных постановлений между прочим, определено: заключенных по приговорам судебных мест в крепостях дозволяется посещать не более как по два раза в месяц только всем вообще родным в прямых восходящих и нисходящих линиях. Свидания в назначенные комендантами дни дозволять не более часу. Те из родственников и свойственников арестованных, которые пожелают иметь свидание с заключенными, должны иметь свидетельство местной полиции о действительном родстве с заключенным. Посетители не могут приносить с собою и передавать заключенным что бы то ни было. Если бы кто из посещающих заключенного осмелился что-либо тайно принести заключенному, то на будущее время того к свиданиям не допускать. Содержимые, если бы приняли что-либо тайно от посетителей или от служителей, лишаются права на свидание с теми из родственников, от которых приняли тайно, или смотря по важности проступка и со всеми родственниками.

«В 1863 году высочайше повелено вменить комендантам в обязанность установить строгий порядок наблюдения за политическими арестантами и отнюдь не допускать для них никаких послаблений.

«Не взирая на это заключенному на срок за политические преступления кандидату здешнего университета Дмитрию Писареву, согласно предписания вашей светлости от 26 и 28 ноября за № 2613 и 2637 разрешено заниматься литературою с передачей ему нужных для него материалов через комендантское управление и дозволялись свидания с матерью и сестрами до 4-х и более раз в месяц, сообразуясь с возможностью не лишать через это свидания родственников других арестованных.

«Мать Писарева, пользуясь сим снисхождением, не раз дозволяла себе тайно вводить в комнату для свидания лиц, которым не было разрешено свидание.

«Это обстоятельство, как равно и то, что статьи Писарева, помещенные в журнале «Русское Слово» по содержанию своему заслужили общее неодобрение, и журнал «Русское Слово», как вследствие того, так и других случаев, получил предостережение, вынудило меня принять некоторые меры предосторожности, заключающиеся в отобрании из номера Писарева переданных ему, без ведома моего, книг для составления описи, и ограничения свидания не более 4-х раз в месяц. Затем строго подтверждено, чтобы ни книги, ни другие материалы для литературных занятий не были передаваемы Писареву без личного моего разрешения. Меры эти далеко еще не так строги, какие следовало бы принять против Писарева, как заключенного за политические преступления, вызвали со стороны его претензию на распоряжение крепостного начальства, что ваша светлость изволите усмотреть из представляемого при сем письма на ваше имя.

«Писарев не только не ценит делаемого ему в Санкт-петербургской крепости снисхождения, но не желает понять и того, что если бы не милостивое участие к нему вашей светлости, должен был бы содержаться в Шлиссельбургской кре-

пости, где свидания с родными и литературные занятия были бы не так возможны, как здесь».

Имеется, однако, указание, что и среди администрации крепости были лица, относившиеся к Писареву весьма благожелательно и оказывавшие ему льготы.

К письму Писарева Суворову и объяснению коменданта по поводу этого письма приложен написанный рукою Писарева листок следующего содержания:

«I. По вопросу о том, какие книги нужны Писареву для его работ:

Я желаю продолжать статью «Исторические идеи Огюста Конта», которой начало напечатано в «Русском Слове». Для этой работы мне нужно иметь:

1) «Русское Слово» за ноябрь 1865 года, чтобы видеть, на чем я остановился и не сделано ли в этой статье каких-нибудь изменений.

2) Auguste Conte. Cours de philosophie positive. Volumes V et VI.

3) Бокль. «История цивилизации в Англии».

4) Tocqueville «L'ancien regime et la revolution».

II. По вопросу о том, кто позволил Писареву видеться с матерью от 10 час. утра до 2-х часов пополудни.

По чьему позволению это делалось,—этого я не знаю, знаю только, что меня обыкновенно уводили на свидание в 10 часов или в начале 11-го, а приводили в каземат в 2 часа или в начале 3-го. Канд. университета Дмитрий Писарев».

Вопрос о книгах, нужных Писареву для его литературной работы, вполне понятен и никаких недоразумений не вызывает. Но что означает вопрос: кто разрешил Писареву свидания по 4 часа и почему об этом спрашивают Писарева? Казалось бы, что это должно было быть известным прежде всего администрации крепости и именно она должна была дать ответ на этот вопрос, если это кого-либо интересовало, а не Писарев. И раньше всех это должен был знать сам комендант крепости. Вместо этого, об этом спрашивают Писарева и спрашивают, очевидно, потому, что в делах управления крепости никаких сведений об этом нет. А между тем, сам Писарев в письме Суворову пишет, что свидания его обычно продолжаются по 4 часа — льгота тоже совершенно исключительная. Как и чем объяснить это? Надо полагать, что только из этого письма и ген. Сорокин и Суворов узнали о такой продолжительности свиданий Писарева. Но кто же в таком случае дал Писареву эту исключительную льготу? Кто был виновником этого «попустительства»?

Так как заведывали свиданиями и наблюдали за ними молодые офицеры из комендантских адъютантов, то несомненно, что именно им он обязан был этой исключительной льготой. Вероятна даже неосведомленность Писарева об отсутствии надлежащего разрешения на столь длительные свидания, ибо иначе он не писал бы об этом в своем письме Суворову. Среди этих офицеров, как это ни странно с первого взгляда, были усердные читатели Писарева, поклонники его таланта и даже горячие последователи. Помощник смотрителя Алексеевского равелина того времени, Борисов, бывший тогда молодым офицером, свидетельствует [8], что статьи Писарева он еще в рукописях читал, когда они сдавались в комендатуру для дальнейшего направления; при чем на него эти статьи имели настолько сильное влияние, что благодаря им, по признанию самого Борисова, он «сжег все, чему прежде поклонялся» и даже оставил службу. Огромная популярность Писарева и слава его, как властителя дум той эпохи, будившего и волновавшего своими статьями из каземата крепости всю прогрессивную Россию и особенно молодое поколение, чрезвычайно симпатичный внешний облик его, каким рисует его тот же Борисов, — «совсем молодого человека с едва пробивающимися светло-рыжеватыми усами и бородкой», не напоминавший того разрушителя, каким известен был Писарев, лучшие годы молодой жизни, отдаваемые им тюрьме за убеждения, верность этим убеждениям, несмотря на все испытания,—все это несомненно привлекало к нему симпатии наиболее прогрессивной части офицерской молодежи из администрации крепости. Известное значение могло иметь здесь и покровительство, оказываемое Писареву таким влиятельным сановником,

как «его светлость» петербургский военный генерал-губернатор князь Суворов. Имеются сведения, что некоторые молодые офицеры из администрации крепости 60-х годов относились весьма сочувственно к политическим заключенным крепости. Об одном из них, штаб-офицере Пинкорнелли, III отделением велось дознание по обвинению его в содействии переписке заключенных между собой передачей записок.

Судя по тому, что 2 января 1866 г., т. е. через неделю, Суворов писал коменданту о разрешении свиданий Писареву с издателем «Русского Слова» Благосветловым и редактором Благовещенским, а 20 января Писарев сдал уже новую статью «Времена метафизической аргументации» на 7 листах, надо полагать, что конфликт был быстро улажен. Вероятно, это сделано было путем личных переговоров Суворова с Сорокиным, так как письменных следов разрешения этого конфликта в архивном деле нет.

Суворов, вероятно, считал, что для борьбы с легальной литературой вполне достаточно цензурного ведомства, которое для этого именно и предназначено. Возможно также, что он держался того мнения, что некоторый простор для легальной литературы вполне целесообразен, чтобы не множить более вредную нелегальную литературу.

Тяжелое душевное состояние Писарева в тот момент объяснялось не только тюремным конфликтом, но и другим, не менее тяжело переживавшимся, конфликтом с редакцией «Русского Слова». В письме его Суворову обращает на себя внимание весьма резкий отзыв о Благосветлове. Он пишет, что Благосветлов «на днях обманул» его при «окончательном расчете», пользуясь исключительно тяжелым положением его, как заключенного в каземате. Такой резкий отзыв о Благосветлове, с которым Писарев до того был очень близок, даже на «ты», и который был единственным «посторонним» человеком, не членом семьи Писарева, имевшим с ним свидания и постоянную переписку, притом отзыв не в частной переписке, а в официальном письме генерал-губернатору, свидетельствует несомненно о чрезвычайно обостренных отношениях в тот момент между Писаревым и Благосветловым. Упоминание же об «окончательном расчете» указывает на разрыв Писарева с «Русским Словом».

И действительно, именно тогда, в декабре 1865 г., завершился давно уже назревавший конфликт в редакции «Русского Слова» уходом из журнала двух ближайших и весьма видных сотрудников его В. Зайцева и Н. Соколова, с которыми солидаризировался и Писарев. 3 и 8 декабря 1865 г. в газете «Голос» напечатаны были письма Зайцева и Соколова, в которых они обвиняли Благосветлова «в самовольных действиях, противоречащих заявленным им принципам издания», и заявили о своем отказе от дальнейшего участия в этом журнале. В постскриптуме к этим письмам значилось: «То же самое уполномочил нас сообщить от своего имени и Д. И. Писарев».

Сущность же конфликта заключалась прежде всего в том, что Благосветлов довольно бесцеремонно обращался с средствами журнала, обделяя сотрудников и забирая львиную долю доходов себе. Это давно уже вызывало нарекания сотрудников. Протесты их заставили Благосветлова в сентябрьской книге «Русского Слова» 1865 г. выступить с объяснением издателя к читателям, в котором он заявлял, что впредь будет — только «поверенным» журнала и обязывается давать отчет о материальном положении его. Себе он назначал только от 1000 до 5000 р. в год, смотря по средствам журнала. Излишек же, остающийся от расходов, он обещал употреблять на улучшение журнала и увеличение гонорара сотрудникам, чтобы дать им возможность «больше читать и соображать» и употреблять «меньше времени на процесс самого писания, что даст в результате более зрелые и глубоко продуманные литературные работы».

Повидимому, однако, и после этого благие намерения Благосветлова не были осуществлены. Он продолжал распоряжаться материальными средствами журнала так же, как и раньше. Кроме того, произошел конфликт и на почве руководства

журналом. Зайцев и Соколов настаивали, чтобы редактором критического отдела журнала был Соколов. Кандидатуру эту поддерживал и Писарев. Благосветлов не согласился на это, считая Соколова не подходящим для такого амплуа и обвиняя его в чрезмерном обострении полемики с идейно близким «Современником».

Хотя Писарев, сидя в крепости, лично мало пользовался гонораром, отдавая его своей семье, но все же и у него были серьезные недоразумения с Благосветловым на почве денежных расчетов. Достаточно сказать, что Писарев получал всего лишь 50 руб. за печатный лист. Это и в то время было уже недостаточным гонораром, особенно для такого первоклассного писателя, как Писарев, который был основной литературной силой журнала. Надо еще добавить, что из 5 печатных листов, по цензурным условиям, печатались обычно 4 листа, так что фактически гонорар Писарева был еще меньше. Когда Писарев сидел в крепости, Благосветлов мотивировал этот низкий гонорар тем соображением, что Писарев «очень легко» пишет, а в крепости «расходов мало». Потом, повидимому, в период 1864—1865 гг., когда работа Писарева в журнале была наиболее интенсивной, Благосветлов обещал ему еще четвертую часть чистого дохода с журнала. Но все же на этой почве между ними продолжались недоразумения. В августе 1865 г. они достигли такой остроты, что уже тогда стоял вопрос об уходе Писарева из «Русского Слова».

Об этом свидетельствует письмо Писарева к Благосветлову от 5 августа 1865 г., написанное после объяснения во время свидания с Благосветловым накануне этого, 4 августа, и в ответ на письмо Благосветлова. В своем письме Благосветлов писал Писареву, что никто не может удерживать его в «Русском Слове», что Писарев может предлагать «какие угодно условия», которые он, Благосветлов, «будет принимать или отвергать», но должен избавить его «от всяких полицейских ревизий», подразумевая под этим «ревизии» материальной части журнала.

Возмущаясь этим выпадом и объясняя это недостатком «нравственной деликатности» у Благосветлова, Писарев отвечал, что он ничего не предлагал ему кроме «старых 50 рублей за печатный лист и четвертой доли барыша». Далее он писал: «что никто не может меня удержать в «Русском Слове» это я прекрасно знаю и без твоих пояснений, но что я не имею ни малейшего желания отходить от такого журнала, которому в течение 4-х лет были посвящены все мои умственные силы, и который отчасти обязан своим успехом моим работам, это, я думаю, ты понимаешь очень хорошо и без моих объяснений. Отойти теперь от «Русского Слова» значило бы отказаться от жатвы с того поля, которое я вспахал и засеял с тобою и другими нашими сотрудниками». Упоминая о «некоторой холодности», получившейся после последнего свидания, Писарев пишет далее: «Если бы наши отношения были основаны на нравственной деликатности, то эта возрастающая холодность легко могла бы принести за собой разрыв, что во всяком случае было бы с нашей стороны непростительной глупостью и нарушением наших общих обязательств. Но так как нам обоим невыгодно расходиться, то я надеюсь, что мы не разойдемся». Чтобы понять, насколько тогда уже напряжены были отношения между Писаревым и Благосветловым, надо принять во внимание, что ведь эта переписка шла через руки комендатуры крепости и управления петербургского военного генерал-губернатора; может быть, она читалась даже самим Суворовым.

К концу 1865 г. отношения Писарева с Благосветловым настолько обострились, что он решил уйти из журнала вместе с Зайцевым и Соколовым. Свиданий у Писарева с Зайцевым и Соколовым не было, повидимому, не было и переписки между ними. Сношения происходили, вероятно, через мать Писарева, имевшую частые свидания с ним. Разрыв этот, несомненно, переживался им чрезвычайно болезненно.

Но и для Благосветлова уход Писарева был также весьма тяжким ударом. Больше, чем кто-либо другой, он знал, что славу и материальное благополучие

ПИСЬМО Ф. А. ПАВЛЕНКОВА К Д. И. ПИСАРЕВУ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1865 г.
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
Центрархив, Москва

ПИСЬМО Ф. А. ПАВЛЕНКОВА К Д. И. ПИСАРЕВУ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1865 г.
ВТОРАЯ СТРАНИЦА
Центрархив, Москва

[illegible]

Примите уверения в совершенном к Вам глубоком уважении и искренней преданности.

Ф. Павленков

17 декабря 1865 г.

ПИСЬМО Ф. А. ПАВЛЕНКОВА К Д. И. ПИСАРЕВУ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1865 г.
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА
Центрархив, Москва

его журнала создал Писарев, что именно Писарев был крупнейшей силой и основным стержнем «Русского Слова». Поэтому, отвечая на письма Зайцева и Соколова, что «Русское Слово» сможет обойтись и без их сотрудничества, Благосветлов совершенно иначе отнесся к уходу Писарева. «С г. Писаревым, — писал он, — мы, конечно, расстаемся не без сожаления. Мы думаем, что только исключительность его положения не позволила ему видеть все это дело в настоящем виде и помогла ему так легко и неожиданно изменить журналу, в котором он работает пять лет». Вышеприведенное письмо Писарева Благосветлову от 5 августа 1865 г., написанное за четыре месяца до этого, свидетельствует, что это вовсе не было «неожиданно» и совсем не «легко» для Писарева.

И все же на этот раз до полного разрыва еще не дошло. Это видно из того, что 2 января 1866 г. Суворов сообщал коменданту крепости о разрешении свидания Писареву «с литераторами Благосветловым и Благовещенским для разъяснения некоторых денежных счетов», а 20 января, при обычном письме на имя коменданта крепости, Писарев отправил уже очередную статью в «Русское Слово», о чем упоминалось уже выше. Очевидно, на этом свидании временно удалось уладить конфликт. А затем свидания стали более частыми. 28 января 1866 г. Суворов писал коменданту, что издатель журнала «Русское Слово» Благосветлов обратился к нему с ходатайством «во избежание недоразумений по расчетам» разрешить ему свидания с Писаревым еженедельно, и что он с своей стороны, не встречает препятствий к этому. Отказать в свиданиях Благосветлову, раз это разрешил уже Суворов, ген. Сорокин не мог, но все же и здесь выразилось недоброжелательное отношение его к Писареву. Резолюция Сорокина на этой бумаге Суворова была такая: «Допустить свидание в одно время с матерью г. Писарева, строго наблюдать за разговором, записывать каждый раз». Очевидно, свидания эти не особенно были по душе Сорокину. Более частые свидания Благосветлову, несомненно, нужны были не только для разъяснения всех вопросов расчетно-денежного характера, но и редакционных вопросов, которые могли вызывать недоразумения. Окончательный разрыв Писарева с Благосветловым произошел уже после освобождения Писарева из крепости.

Попытки ущемления режима заключения со стороны коменданта крепости Сорокина продолжались и дальше, и опять-таки в отношении пользования книгами в каземате. Нужные для литературной работы книги русские и иностранные доставлялись обычно Писареву Благосветловым. В вышеприведенном письме Благосветлову от 5 августа 1865 г. Писарев писал: «ты попрежнему будешь отыскивать и доставлять мне как можно больше хороших книг для того чтобы я писал в твоем журнале занимательные статьи, а я попрежнему буду писать, как можно лучше». Раньше, когда Писарев был подследственным, книги доставлялись ему через Сенат и управление петербургского военного генерал-губернатора. После приговора и перехода Писарева на положение отбывающего срочное наказание книги могли передаваться прямо через комендатуру крепости. Повидимому, это и было так, судя по тому, что никакой переписки о передаче Писареву книг со времени объявления приговора до января 1866 г. в деле не имеется. Вообще с момента разрешения литературной работы в крепости у него всегда были все нужные ему книги на русском и иностранных языках и даже новые журналы. 11 января 1866 г. при свидании с Благосветловым были намечены темы дальнейших статей Писарева и книги, которые Благосветлов должен был прислать ему. В соответствии с этим Благосветлов передал ему в комендатуру крепости следующие книги: Levi—«Histoire de la magie», 1 v., Sismondi—«Histoire des républiques Italiennes», 3 v., Russelot — «Etudes sur la Philosophie dans le moyenâge», 2 v., Помяловского «Очерки бурсы» и Достоевского «Записки из мертвого дома».

Но вместо того, чтобы передать их Писареву, как это до сих пор делалось, комендант на этот раз решил запросить Суворова. В своем отношении он пишет, что издатель журнала «Русское Слово» Благосветлов передал заключенному Писареву «поименованные в представляемом при сем реестре книги для литератур-

ных занятий, из коих три надписаны на французском языке». Так как, по установленному порядку, заключенным в крепости «допускается чтение лишь исторических, духовно-нравственных и учебных книг, а равно и журналов за минувшие времена», то он не считает себя в праве передать эти книги Писареву и предоставляет это усмотрению Суворова.

Из того, что написано было Писаревым за два с половиной года до этого с момента разрешения ему литературной работы, совершенно очевидно, что в его пользовании были все книги как русские, так иностранные, допущенные к свободному обращению. В своем письме к Суворову Писарев, как мы видели, писал, что он постоянно получал и держал у себя в каземате «все дозволенные книги и периодические издания», необходимые для его работы. С некоторыми периодическими изданиями он вел ожесточенную полемику, что невозможно было бы, если бы у него не было их под руками. И вдруг теперь Сорокин вспомнил об инструкции, разрешающей заключенным пользоваться только духовно-нравственными книгами и старыми журналами «за минувшие времена».

Объяснить это можно только тем, что, раздосадованный «чрезмерными» льготами, оказываемыми Суворовым Писареву, с игнорированием коменданта, как непосредственного начальника крепости, льготами, нарушавшими порядок казематного режима, Сорокин хотел демонстративно подчеркнуть этим, что лично он не желает нарушать существующих законов, а если это угодно делать Суворову, то пусть он берет на себя и ответственность за это.

Однако, на Суворова это не подействовало. Ответ его, который можно было бы принять даже за шутку, настолько любопытен, что мы считаем нужным привести его целиком. «Ваше превосходительство изволили препроводить ко мне реестр книгам, представленным г. Благосветловым для передачи арестанту Дмитрию Писареву, присовокупив, что по установленному порядку арестантам дозволяется лишь чтение исторических, духовно-нравственных и учебных книг, а равно журналов за минувшее время. Усматривая из этого реестра, что все поименованные книги удовлетворяют означенным требованиям я, с своей стороны, не встречаю препятствий к разрешению Писареву ими пользоваться. При этом имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, разрешить также Писареву чтение «Московских Ведомостей».

Итак, все эти книги, не исключая и «Очерков бурсы» Помяловского, оказываются вполне соответствующими книгам духовно-нравственного и учебного характера, которые разрешаются правилами казематного режима иметь заключенным! Более того, Сорокин напоминал, что заключенным разрешается читать только старые журналы «за минувшее время», а Суворов разрешает Писареву читать даже и газеты. Правда, это были реакционные «Московские Ведомости», но Писарев сам просил разрешить ему хотя бы «Московские Ведомости», не рассчитывая на разрешение получать какую-нибудь более прогрессивную газету. Ему, ведь, важно было только следить за происходящим за стенами крепости, а это он мог узнавать и из «Московских Ведомостей». Можно предположить, что этим ответом Суворов хотел раз и навсегда избавиться от назойливых приставаний старого тюремщика, препятствовавшего ему проводить политику мелких льгот и смягчения режима, без ущерба для режима в целом.

На этот раз, однако, Сорокин не сразу сдался. На ответе Суворова он положил резолюцию: «Перевести по-русски оглавление книг для личного моего доклада». Задержав выполнение этого предписания Суворова, Сорокин решил кому-то доложить об этом, вероятнее всего, пожаловаться III отделению, а так как он не знал французского языка, то понадобилось перевести для него на русский язык названия французских книг, присланных Благосветловым и разрешенных Суворовым Писареву.

Писарев, узнавши на свидании о разрешении ему Суворовым не только пользоваться указанными книгами, но и «Московскими Ведомостями», настаивал на передаче ему этих книг и газет, но получал ответы, что нет еще для этого раз-

решения от коменданта крепости. Тогда он обратился к коменданту с следующим письмом:

«Ваше высокопревосходительство, милостивый государь Александр Федорович, позвольте мне обеспокоить ваше высокопревосходительство следующими почтительными просьбами: 11 января нынешнего года издатель «Русского Слова» г. Благосветлов заказал мне для своего журнала срочную работу и 20 января г. Благосветлов доставил к господину полковнику Сабанееву те книги русские и иностранные, которые необходимы мне для выполнения указанной работы. Я просил г. полковника передать мне эти книги и получил от г. полковника ответ, что об этих книгах послан запрос в канцелярию г-на военного генерал-губернатора. 1 февраля я снова виделся с г. Благосветловым и узнал от него, что от г. военного генерал-губернатора уже прислано разрешение выдать мне эти книги. Тогда я снова обратился с просьбою к г. полковнику, но г. полковник ответил мне, что он не имеет разрешения от вашего высокопревосходительства. Вследствие этого я имею честь убедительно просить ваше высокопревосходительство о разрешении иметь у себя необходимые книги, доставленные г. Благосветловым.

Теперь ваше высокопревосходительство следует моя вторая просьба. 7 января нынешнего года я просил г. Спасского исходатайствовать мне у г. военного генерал-губернатора позволение читать «Московские Ведомости» за текущий год. 11 января г. Благосветлов привез это позволение к г. полковнику Сабанееву. Когда я стал просить г. полковника о том, чтобы мне было предоставлено право пользоваться этим позволением, то г. полковник ответил мне, что он не имеет разрешения от вашего высокопревосходительства. Вследствие этого я имею честь убедительно просить ваше высокопревосходительство о дозволении читать «Московские Ведомости» за текущий год. С глубочайшим уважением имею честь быть вашего высокопревосходительства покорный слуга Дмитрий Писарев».

«Личный доклад» по этому вопросу, очевидно, не дал желательных генералу Сорокину результатов. Суворов все еще был в силе, и жалобы на него не действовали. Поэтому Сорокин вынужден был выполнить предписание Суворова.

Сорокин не преминул, однако, и в данном случае все же ущемить Писарева, допуская газеты только «за минувшее время». Что надо было под этим понимать, какова должна была быть давность газеты, чтобы быть допущенной в каземат Писареву, трудно сказать, вероятнее всего, что «минувшее время» определялось здесь только днями или неделями.

Родные и друзья Писарева пытались добиться досрочного освобождения его после приговора. Для этого не требовалось даже исключительной милости. Достаточно было зачесть ему в срок наказания время последственного заключения.

Летом 1865 г., когда Писарев просидел уже три года в крепости, мать его решила обратиться к «монаршей милости» об освобождении ее сына. 25 июня 1865 г. она подала на «высочайшее» имя прошение, в котором писала, что сын ее уже три года сидит в крепости, что он был уже болен психическим расстройством и лечился в лечебнице известного психиатра Штейна и что дальнейшее заключение его грозит ему рецидивом этой болезни. Поэтому она просила освободить его до срока и отпустить с ней для житья в деревню. По существу это значило зачесть Писареву в счет наказания время предварительного заключения.

Такие прошения до рассмотрения их царем направлялись в III отделение. Там к прошению Писаревой приложили справку, что время, проведенное после объявления приговора к заключению в тюрьме, в арестантских ротах и рабочих домах, до начала отбывания наказания, зачисляется в срок заключения. Это же относится, по мнению III отделения, и к крепостному заключению, как более легкому. На справке значилось, что по этому вопросу следует снестись с министром внутренних дел. Очевидно, III отделение не было уверено, можно ли это применить к Писареву.

Прошение с этой справкой было доложено Александру II, который положил

на нем следующую резолюцию: «Весьма справедливо, что в этой статье речь идет о времени заключения по объявлению приговора, а не до объявления его». Иначе говоря, «монаршая милость» не была столь щедрой, чтобы зачислить Писареву более чем двухлетнее сидение до приговора и более полугода после приговора. Для окончательного разрешения этого вопроса царь велел снестись с министром юстиции.

Через полтора месяца, 12 августа 1865 г., по этому же вопросу Суворов обратился с нижеследующим личным письмом, написанным не на бланке управления генерал-губернатора, к шефу жандармов князю Долгорукову:

«Милостивый государь, Василий Андреевич. Известный вашему сиятельству кандидат Санкт-Петербургского университета Дмитрий Писарев, содержавшийся в С.-Петербургской крепости более двух лет во время производства следствия, подвергнут по высочайше утвержденному мнению государственного Совета срочному содержанию на 2 года 8 мес. за политическое преступление. Молодой человек этот, неся заслуженное наказание, с покорностью являет из-за стен крепости пример добродетели, содержа литературным своим трудом престарелую мать и малолетних сестер, но здоровье его ослабевает, и несчастное семейство может лишиться единственной опоры в жизни.

«Ваше сиятельство, вероятно, одинакового со мной мнения, что наказания налагаются законом не в виду возмездия за преступление, но в видах исправления, а потому, если есть убеждение, что виновный исправится, то всякая оказываемая ему милость может только укрепить его на пути добродетели, а потому я имею честь обратиться к вам, милостивый государь, с покорнейшей просьбой, не изволите ли вы признать в настоящее время по прошествии почти 3-х лет со дня заключения Писарева [на самом деле был уже четвертый год его заключения.— *Н. Б.*] предстать с ходатайством к государю императору о всемилостивейшем помиловании. Примите ваше сиятельство уверенность в отличном моем почтении и совершенной преданности Суворов».

Когда Суворов писал это письмо, он, очевидно, не знал о неблагоприятной резолюции Александра II на прошении матери Писарева и о запросе по высочайшему повелению отзыва министра юстиции по этому делу. Об этом через два дня, 13 августа, сообщил ему в ответном письме Долгоруков. А еще через два дня, 15 августа 1865 г., министр юстиции отношением на имя шефа жандармов Долгорукова сообщил, что, так как «Писарев присужден Сенатом по 54-й статье Уложения о Наказаниях к лишению некоторых прав и преимуществ и заключению в крепости на 2 года 8 месяцев, при чем оставлен еще под сильным подозрением в покушении на распространении его возмутительного сочинения, что является еще более тяжким преступлением, вследствие чего Государственный совет не счел возможным подвергать участь его монаршему милосердию, он, министр юстиции, считает незаслуживающим уважения прошение Писаревой».

Так разбилась надежда матери Писарева на «милосердие» царя.

После этого еще 13 месяцев пришлось Писареву провести в каземате, при чем последние 7 месяцев он сидел снова в самых тяжелых условиях, лишенный всех льгот, которыми он пользовался до тех пор, а главное — лишенный возможности продолжать литературную работу. После каракозовского выстрела 4 апреля 1866 г., когда началась эпоха белого террора, Суворов был уволен за «либерализм», при чем упразднено было и петербургское генерал-губернаторство. Административная тактика Суворова окончательно была признана негодной. Режим Петропавловской крепости сделался исключительно суровым. Все льготы, допускавшиеся Суворовым по отношению к политическим заключенным в крепости, и в частности в отношении Писарева, были отменены. Литературная работа в крепости окончательно и навсегда воспрещена. Нашли, что этот опыт оказался неудачным. Окончательно запрещены были также наиболее радикальные журналы «Современник» и «Русское Слово». Последние статьи, сданные Писаревым в крепости, были: «Погибшие и погибающие»—сдана 21 февраля 1866 г. и «Популяри-

заторы отрицательных доктрин»—сдана 11 марта. В виду закрытия «Русского Слова» эта статья была потом напечатана в сборнике «Луч», разосланном подписчикам этого журнала. Легко представить себе, как должен был переживать это Писарев после почти трехлетней кипучей литературной работы в каземате.

В таких условиях Писарев просидел до 18 ноября 1866 г., когда был, наконец, освобожден на основании манифеста от 28 октября 1866 г., уменьшившего срок заключения для всех отбывавших заключение по приговорам на одну треть. Он просидел в крепости 4 года, 4 месяца и 18 дней.

Однако, и после этого он не получил еще полной свободы. Он был отдан под поручительство матери без права отлучаться из Петербурга.

19 ноября, на следующий день после освобождения Писарева, петербургский обер-полицмейстер запрашивал III отделение, не следует ли принять против Писарева какую-нибудь административную меру. Мезенцов, заменявший тогда Потапова, в качестве управляющего III отделением, ответил: «подвергнуть длительному наблюдению». Под этим наблюдением он находился до безвременной своей смерти.

В феврале 1868 г. Писарев хотел поехать за границу и обратился к петербургскому обер-полицмейстеру Трепову о выдаче заграничного паспорта. 27 февраля Трепов запрашивал об этом III отделение, указывая, что Писарев представил медицинское свидетельство о необходимости для него лечения за границей; 2 марта Мезенцов ответил, что «Писарев за границу не может быть уволен».

Для получения разрешения на поездку Писарева за границу был мобилизован родными и друзьями Писарева действительный статский советник Перель. Этот штатский генерал в апреле 1868 г. имел личные переговоры по этому поводу с Мезенцовым и получил от него обещание содействовать этому. 10 мая Перель обратился с письмом к Мезенцову, напоминая, что три недели тому назад Мезенцов обещал ему пересмотреть дело Писарева и доложить шефу жандармов Долгорукову о разрешении Писареву по болезни выехать за границу. Не имея ответа, Перель заключает, что или за Писаревым имеются какие-нибудь новые грехи, или же Мезенцов очень занят. Извиняясь за напоминание об этом, Перель просил сообщить о результатах его ходатайствования за Писарева. 15 мая Мезенцов ответил, что главный начальник III отделения граф Шувалов «не «изъявил согласия на выезд Писарева за границу».

Не получив заграничного паспорта, он просил разрешить ему по «расстроенному здоровью и совету врачей» пользоваться купаньями в Лифляндской и Курляндской губерниях и выехать для этого в Арендт, Виндаву и Либаву. 30 мая 1868 г. Трепов запрашивал об этом III отделение, которое 3 июня ответило согласием на это.

Через месяц, 4 июля 1868 г., Писарев утонул, купаясь в Дуббельне на взморье. Кто знает, быть может, если бы он получил разрешение выехать за границу, его жизнь так скоро и безвременно не была бы оборвана.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Е. Соловьев, «Д. И. Писарев». Берлин, 1922 г. В дальнейшем письма Писарева из крепости цитируются также по этой книге.

[2] Материалы о пребывании Писарева в Петропавловской крепости извлечены из следующих архивных дел: ЛОЦИА. Дела управления коменданта С.-Петербургской крепости 1863 г. № 27 и 1864—1866 гг. № 45 и ЦАР. Дело III отделения экспедиции 1862—1864 гг. № 230.

[3] Русский биографический словарь. Суворов — Тютчев (т. 17).

[4] Статья «Мысли о русских романах» была запрещена и не появилась в печати. Возвращая эту статью после просмотра ее, Сенат обратил внимание Суворова на возможные вредные последствия этой статьи, восхваляющей идеи, проводимые в романе Чернышевского «Что делать?». Это вызвало следующее секретное письмо Суворова министру внутренних дел Валуеву, датированное 7 ноября 1863 г.:

«Милостивый Государь, Петр Александрович! Содержащемуся в здешней крепости литератору Писареву, преданному по высочайшему повелению суду правительствующего Сената, разрешено во время пребывания под стражей продолжать свои литературные занятия. Написанные Писаревым статьи, по заведенному порядку, представляются мною предварительно на рассмотрение в Сенат. И по получении отзыва, что к напечатанию оных препятствий со стороны Сената не встречается, рукописи поименованного подсудимого возвращаются ему через коменданта. Затем, в отношении напечатания сочинений Писарева, соблюдается общий порядок, установленный цензурными правилами.

На этом основании, в прошлом месяце препровождена была мною в Правительствующий Сенат статья Писарева «Мысли о русских романах». Возвращая эту статью, Сенат дал мне знать, что в ней не находится обстоятельств, до дела Писарева относящихся; но сочинение это содержит в себе по преимуществу разбор романа литератора Чернышевского «Что делать?» и преисполненное похвал этому литературному произведению, с подробным развитием заключающихся в нем материалистических воззрений и социальных идей, по мнению Сената в случае напечатания оного, может иметь вредное влияние на молодое поколение, проникнутое этими идеями.

Препроводив рукопись Писарева к коменданту С.-Петербургской крепости для передачи по принадлежности, долгом считаю о вышеизложенном отзыве правительствующего Сената сообщить вашему превосходительству для соображения при рассмотрении цензурою статьи поименованного подсудимого под заглавием «Мысли о русских романах».

На этом письме Валуев сделал надпись: «Теперь же предварить гг. цензоров конфиденциально». (ЛОЦИА. Дело Главного управления по делам печати 1863 г., № 289).

Конечно, этого было достаточно, чтобы цензора признали статью абсолютно вредной. Очевидно, именно таков был их отзыв, потому что 30 ноября на этом же письме Валуев положил следующую резолюцию: «Статью запретить».

[5] Борисов. Алексеевский равелин. 1862—1865 гг. «Русск. Старина», 1901 г.

[6] О статье «Перелом в умственной жизни Средневековой Европы» просматривавший ее цензор писал, что она содержит «яркое описание безнравственной жизни католического духовенства и монахов в Средние века, их корыстолюбия и разного рода религиозные обманы... Описывая злоупотребления пап и духовенства, статья не делает, однако, ни малейших нападений на самую христианскую религию, равным образом нет никаких сближений с православною церковью». Тем не менее, цензор все же счел нужным внести ее на обсуждение Петербургского цензурного комитета. Комитет тоже не нашел в ней ничего вредного, но все-таки передал ее на рассмотрение высшей цензурной инстанции—Совета Главн. управл. по делам печати. И только здесь злополучная статья эта была, наконец, разрешена. (ЛОЦИА, Дело СПБ. Цензурного комитета, 1865 г. № 28).

[7] Евг. Соловьев. Д. И. Писарев, Берлин, 1922 г.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60-х ГОДОВ В ОЦЕНКЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ П. А. ВАЛУЕВА

Сообщение Б. Наумова

Царское правительство всегда смотрело на русскую литературу как на арестанта, которого надо держать за решетками и запорами, ни на один момент не ослабляя самого длительного надзора за ним. Но в некоторые периоды этот тюремный режим для литературы чрезвычайно усиливался и доходил до крайних пределов прижима и ограничений.

Таким моментом был и 1866 г., когда русской легальной литературе пришлось расплачиваться за каракозовский выстрел. Назначение Муравьева-вешателя председателем Чрезвычайной следственной комиссии по делу о покушении 4 апреля, а фактически диктатором с чрезвычайными полномочиями было знаменем яркомахровой реакции.

Эпоха «белого террора», начавшаяся после назначения Муравьева, сопровождалась не только многочисленными арестами общественных деятелей и писателей, закрытием лучших журналов, разгромом редакций и культурных общественных начинаний, но и удалением из правящих кругов крупнейших фигур, оказавшихся неподстать виленскому палачу и не удовлетворявших его требований. Слетел петербургский военный генерал-губернатор Суворов, пользовавшийся до того времени расположением царя, обвиненный теперь за, якобы, «мягкие» приемы власти и в попустительстве крамоле. Уволен был министр народного просвещения Головнин, признанный тоже недостаточно решительным и твердым. Вынужден был уйти даже и шеф жандармов, которого, казалось, никак нельзя было уж обвинить в «слабости» власти. Даже и он оказался неподходящим для муравьевского курса.

Подобной участи мог ожидать и министр внутренних дел Валуев. Хотя за ним вовсе не числилось никаких «грехов» по части проявления слабости власти, а скорее даже наоборот, но он командовал цензурным ведомством, которое, в свою очередь, командовало над печатью, а команда эта признавалась диктатором совершенно неудовлетворительной. В докладе своем царю Муравьев писал, что «редакторы и сотрудники некоторых журналов, разделяя противоправительственные идеи, систематически распространяли в продолжение многих лет всевозможные разрушительные учения, стремящиеся к ниспровержению порядка и государственного управления». Писатели эти «при слабости местного над ними надзора, прикрываясь легальностью, предоставленного им права издания, безвозбранно группировали вокруг себя все нечистые и зловредные элементы общества и гласно, посредством своевольной прессы, и привлечения к себе молодого поколения громили основу общественной нравственности и государственного строя» [1].

По существу это было обвинение министра внутренних дел, под надзором которого была печать, в недостаточной бдительности и слабости власти. Чтобы избегнуть участи других, вычищенных правителей, Валуев решил забежать вперед, указывая Муравьеву, что внимание следственной комиссии должно быть на-

правлено именно на печать и писателей, где гнездится крамола. Нижеследующую «справку»[2] о зловредных журналах и неблагонамеренных писателях вместе с собственноручным письмом своим Муравьеву Валуев отправил 2 мая 1866 г.

«Милостивый государь граф Михаил Николаевич! Впоследствии бывших с вашим сиятельством изустных по делам печати объяснений, имею честь принести вам покорнейшую просьбу: не изволите ли признать возможным официально сообщить мне соображения вашего сиятельства по этому предмету. Разнородные сведения, входящие в круг исследования председательствуемой вами комиссии, во многих отношениях касаются направления органов прессы и главных руководителей или сотрудников этих органов. Для меня весьма важно иметь в виду ваше по делам печати мнение. Сообщением этого мнения вы меня изволили бы особенно обязать. Имею честь покорнейше просить ваше сиятельство принять уверения в моем отличнейшем почтении и совершенной преданности. Петр Валуев».

На другом листе почтовой бумаги собственноручно Валуевым написано: «При сем представляются вашему сиятельству еще некоторые из сведений, которых вы желали от министерства внутренних дел».

Далее следует печатаемая здесь «Справка» (слово это написано самим Валуевым):

«В видах более успешного разыскания о личности покушавшегося на жизнь государя императора преступника, было бы небесполезно обратиться к исследованию той общественно-литературной среды, в которой способна получить развитие мысль о цареубийстве. Из внимательного рассмотрения направления некоторой части повременных и отдельных изданий до последнего времени, а равно из наблюдения за типографиями и книжной торговлей в Санкт-Петербурге оказывается:

1. В приостановленном недавно журнале «Русское Слово» направленном к распространению коммунистических и материалистических учений принимают участие: а) издатель Благосветлов, заподозренный в сношениях с Герценом, имевший главное наблюдение и участвующий на равных правах собственника типографии Рюмина, в которой печатался этот журнал и которая по общественному убеждению не чужда была печатанию прокламаций; б) редактор Благовещенский, в) Писарев, доселе содержащийся в крепости, г) Шелгунов, представивший в этом журнале апологию воровства[3], замешанный по делу Михайлова; д) Стахеев, хлопотавший об открытии книжной лавки при конторе сего журнала, при чем, как видно из газетных публикаций, предполагалось продавать с уступкой студентам и гимназистам сочинения нигилистического свойства; е) Соколов, бывший офицер генерального штаба; ж) Зайцев, известный ультрарадикальными статьями; з) Щапов, Ткачев и др. Кроме того участвует в делах журнала, заведует конторой «Русского Слова» и книжной лавкой Зубовский (подставное лицо), устроенной при упомянутой конторе бывшим студентом медико-хирургической академии Луканиным.

2. В связи с «Русским Словом» нельзя не принять во внимание издательской деятельности Суворина, Сувориной и Лихачевой, которые издали в последнее время следующие книги: а) «Библиотека для чтения всех возрастов»,— весьма безнравственная по своей тенденции; б) «История революции во Франции» Минье, пропагандирующая революционные идеи и приемы и в) «Всякие» — очерки современной жизни А. Бобровского, прикосновенного к делу о прокламациях — в этом последнем издании представлены в сочувственном виде участники петербургских агитаций с 1860 по 1866 год.

Все издания этой категории печатаются в типографии Тиблена и К° (магистра прав Неклюдова).

3. Кроме того должно обратить внимание на следующие издания: а) Сборник «Луч», изданный сотрудниками «Русского Слова» для бесплатной раздачи подписчикам на этот журнал по случаю приостановки оного; б) сочинения Писарева

(упомянут выше) в типографии Головачева; в) Рефлексы головного мозга Сеченова (профессора медико-хирургической академии, наиболее популярного теоретика в нигилистическом кружке), там же в типографии Головачева; это сочинение пропагандирует в популярной форме учение крайнего материализма; г) «Отщепенцы» Соколова (упомянутого выше) в типографии Головачева. В этой последней книге отщепенцами признаются первые христиане и социалисты последнего времени, а все прочие люди фарисеями, против которых отщепенцам преподаются революционные приемы в самой резкой форме.

4. Место постоянных собраний сотрудников и сторонников «Русского Слова» и других упомянутых изданий по преимуществу в книжном магазине бывшем Яковлевых, ныне кн. Голицына и отчасти магазин Печаткина, отличающийся публикациями книг нигилистического содержания. Один из Яковлевых и кн. Голицын — недавние лицеисты, примыкающие к оставшейся после Серно-Соловьевича компании. С Серно-Соловьевичем же был в близких отношениях и Тиблен, ездивший в прошлом году в Женеву.

5. Большая часть указанных выше отдельных книг явились в течение недели до 4-го апреля; «Всякие»—очерки, «Отщепенцы» и «Рефлексы головного мозга» подвергнуты заарестованию, прочие же по букве закона не могли быть подвергнуты этой каре.

Наложение ареста на книгу «Всякие» — очерки крайне смутило издателя Суворина, настоятельно ходатайствовавшего об оставлении этого дела без последствий и уверявшего, что А. Бобровский псевдоним. Между прочим известно, что этот Бобровский был распорядителем коммуны, бывшей года два тому назад в Санкт-Петербурге в Знаменской гостинице. В виду вышеизложенного представляется вопрос, не будет ли полезно обратить внимание безотлагательно на названных лиц, а равно на редакцию «Русского Слова», книжный склад Зубовского, книжные лавки Яковлева и Печаткина, типографию Рюмина, Тиблена и Головачева».

Из письма Валуева Муравьеву видно, что литература и писатели составляли главный предмет неоднократных «изустных объяснений» между ними. «Справка» же явилась лишь дополнением к этим объяснениям. Аттестуя русскую литературу, «вредные» журналы, книги, издательства, книжные магазины и писателей, как среду, «в которой способна получить развитие мысль о цареубийстве», Валуев предавал их на расправу грозному диктатору. Большинство перечисленных в «Справке» писателей были подвергнуты аресту и сидели в Петропавловской крепости. «Русское Слово» было запрещено навсегда, сразу же после выстрела 4 апреля вместе с «Современником»; книги, квалифицированные как особенно вредные, были изъяты из обращения или тоже запрещены; подверглись репрессиям и прижиму также издательства, книжные магазины и типографии, заподозренные в неблагонадежности.

Следует отметить, что осведомленность министра внутренних дел о литературе и писателях не отличалась особенной точностью. Так, очерки «Всякие», не только издателем, но и автором которых был А. С. Суворин, писавший тогда под псевдонимом А. Бобровский, Валуев приписывает, повидимому, несуществовавшему А. Бобровскому, якобы, участнику знаменской коммуны (А. А. Слепцова). Книга «Всякие» была изъята и уничтожена. Радикальствовавший в 60-х годах Суворин, как известно, потом сделался махровым реакционером и издателем черносотенного «Нового Времени», много лет игравшего печальную роль официоза царского правительства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Былое», 1907, кн. 8.

² Центр. Архив Революции. По описи № 279. Дело 1866 г. О вредном направлении некоторых журналов и о лицах в них участвующих.

³ Статья Шелгунова «Честные мошенники» в «Русском Слове» за 1866 г., квалифицированная цензурой как «апология воровства».

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ М. А. АНТОНОВИЧА

Сообщение Б. Козьмина

М. А. Антонович был одним из ближайших сотрудников «Современника» как в эпоху редактирования его Н. Г. Чернышевским, так и в годы, следовавшие за арестом последнего. Сотрудничество Антоновича в «Современнике», одним из редакторов которого он сделался с 1863 г., продолжалось до самого закрытия этого журнала. Как Чернышевский, так и Добролюбов ценили сотрудничество Антоновича, поручая ему не раз выступления ответственного политического характера. Вспомним хотя бы, что разбор романа Тургенева «Отцы и дети», который редакцией «Современника» рассматривался, как пасквиль на Добролюбова, был поручен не кому другому, как Антоновичу. Об отношении к последнему Чернышевского и о высокой оценке, которую руководитель революционной демократии 60—70-х годов давал Антоновичу, можно судить по публикуемому в настоящем номере «Литературного Наследства» письму, посланному Чернышевским по возвращении из Сибири своему старому товарищу по «Современнику».

Несмотря на большую роль, которую Антонович играл в «Современнике», его литературная деятельность до сих пор почти не изучалась. Единственная в нашей литературе статья, посвященная этому писателю, охватывает его литературную деятельность только до ареста Чернышевского, не касаясь его последующей работы как в «Современнике», так и после закрытия этого журнала [1]. Таким образом, эволюция взглядов Антоновича до сих пор совершенно не изучена. Не имеем мы и его биографии [2].

Публикуемые нами письма Антоновича окажутся небесполезными для его будущего биографа, так как они дают не лишенный интереса материал для характеристики того безусловно интересного и во многих отношениях своеобразного человека, каким был М. А. Антонович.

I. ПИСЬМА к А. Н. ПЫПИНУ и Г. З. ЕЛИСЕЕВУ

Письма к А. Н. Пыпину и Г. З. Елисееву объединены между собою единством темы. В 1875 г. Антонович написал статью, которую хотел опубликовать под названием «Чему учат наших детей в военных и гражданских гимназиях» (или: «как учат?»). Статья эта была посвящена разбору принятого в то время для преподавания в средней школе учебника географии и констатировала наличность в этом учебнике ряда грубейших ошибок и тенденциозных извращений. Не имея возможности пристроить эту статью в какой-нибудь специальный педагогический журнал, так как все такие журналы в то время находились, по словам Антоновича, «в зависимости от разных учено-административных ведомств», участвовавших в одобрении критикуемого учебника, Антонович решил направить свою статью в умеренно-либеральный «Вестник Европы» и для этой цели адресовался к близкому сотруднику этого журнала А. Н. Пыпину, в прошлом связанному с Антоновичем совместным сотрудничеством в «Современнике».

На публикуемое ниже письмо Антоновича Пыпин ответил, что он в редакти-

ровании «Вестника Европы» не участвует и что ввиду этого статья Антоновича передана им редактору этого журнала М. М. Стасюлевичу. 5 декабря 1875 г. последний возвратил Антоновичу его статью при письме, в котором указывал, что он не может принять ее для «Вестника Европы» ввиду ее специального характера и больших размеров (более трех печатных листов, по подсчету Стасюлевича). При этом Стасюлевич добавил, что он согласен напечатать статью Антоновича, если она будет переделана в заметку размером в несколько страниц журнального текста.

Получив отказ Стасюлевича, Антонович решил обратиться со своей статьей в редакцию «Отечественных Записок» и для этой цели написал печатаемое ниже письмо к одному из редакторов этого журнала Г. З. Елисееву[2].

На обращение к последнему Антонович решился, конечно, не без труда, и, наверное, только после некоторых колебаний, объяснявшихся отношениями, существовавшими между ним и редакторами этого журнала. В настоящее время в нашей литературе достаточно уже выяснена история того, как и почему Антонович, один из ближайших сотрудников «Современника», не был привлечен к участию в «Отечественных Записках», когда этот журнал перешел в руки Некрасова и в известной мере заменил закрытый правительством «Современник»[3]. Известен также и нашумевший в свое время памфлет, выпущенный Антоновичем совместно с Ю. Г. Жуковским в 1869 г. против Н. А. Некрасова и «Отечественных Записок». Издание этого памфлета знаменовало полный разрыв между Антоновичем и Жуковским, с одной стороны, и его бывшими товарищами по «Современнику», ставшими теперь во главе «Отечественных Записок», с другой[4].

В конце в 1875 г. ко всему этому прибавился еще один инцидент: обращение Антоновича в комитет Литературного фонда с претензией на Некрасова за то, что последний по закрытии «Современника» не выплатил Антоновичу 1 000 руб., как другим ближайшим сотрудникам этого журнала[5]. Этот инцидент, в котором Некрасов не чувствовал себя виновным, еще более настроил его против Антоновича.

О том, как редакция «Отечественных Записок» отнеслась к предложению Антоновича напечатать его статью, нам известно из письма Елисеева к М. Е. Салтыкову от 12 февраля 1876 г.[6]. Елисеев, находя что «статья не очень подходила к журналу, но была дельная, и напечатать ее — ничего — было можно», убедил Некрасова принять ее. Но на следующий день Некрасов категорически заявил, что он не находит возможным печатать статью Антоновича. Тогда Елисеев передал вопрос на разрешение ближайших сотрудников «Отечественных Записок» — Михайловского, Скабичевского и Плещеева, ознакомив их и с письмом Антоновича, которое, по словам Елисеева, было «грубо, дерзко и нахально». «Сотрудники, — рассказывает Елисеев, — порешили дело таким образом, чтобы не только не печатать статьи Антоновича, но и отослать ее ему назад без ответа. На последнее я не согласился. Тогда они настаивали на том, чтобы ответить Антоновичу, что не только этой его статьи, но и ни одной строчки его писания никогда не будет напечатано в «О. З.». Так я и ответил Антоновичу, т. е. нет, не совсем так: я написал только о присланной статье, что сотрудники не соглашаются на ее помещение, потому что он очень ругается».

Таким образом и в «Отечественных Записках» Антоновичу пристроить свою статью не удалось.

Письмо Антоновича к Елисееву печатается с оригинала, хранящегося в рукописном отделении Всесоюзной Библиотеки имени В. И. Ленина, а письмо к Пыпину — с копии, засвидетельствованной самим Антоновичем и приложенной им к письму его к Елисееву.

1. А. Н. ПЫПИНУ

Милостивый государь Александр Николаевич!

Имею честь покорнейше просить вас напечатать в «Вестнике Европы» прилагаемую при сем статью «Разбор учебника географии». Надеюсь, что

вы не будете отговариваться тем, что вы [не] участвуете в редакции «Вестника Европы» с редакторскими правами. Если же мои сведения об этом предмете неверны, то прошу хоть рекомендовать редакции для напечатания мое произведение. Не скрою от вас, что я решился печатать свою статью в этом журнале скрепя сердце и только вынужденный невозможностью на-



М. А. АНТОНОВИЧ

Фотография

Частное собрание, Ленинград

печатать ее в специально педагогических журналах, которые все находятся в зависимости от разных учено-административных ведомств и потому не дерзнут напечатать моего разбора книги, одобренной этими ведомствами. Прочитавши статью, вы увидите, почему я добиваюсь напечатания ее во что бы то ни стало и где бы то ни было, и какие мотивы заставили меня решиться на некоторого рода унижение, просить о напечатании статьи в журнале, которому я не сочувствую. В «Вестнике Европы» был когда-то поме-

щен строгий разбор довольно специальной книги, Геологии Тратшольда, с целью предостеречь читателей-студентов от ошибок, заключающихся в этой книге. Уверяю вас, что разбираемая мною книга принесла уже и еще может принести гораздо больше вреда, так как она предназначена не для студентов, более или менее развитых и знающих, а для начинающих ученье умственных младенцев.

А если это так, то в напечатании этой статьи заинтересован как я, так и всякий орган печати, считающий своей задачей между прочим и предостерегать публику от вредных книг и тем нейтрализовать их вред. Поэтому редакция «Вестника Европы», напечатавши предлагаемую статью, окажет услугу не мне, и я не удовольствуюсь одною честью видеть свое произведение напечатанным на страницах этого распространенного журнала, а попрошу в случае ее напечатания заплатить мне за нее примерно рублей по 75 за печатный лист. Если же в «Вестнике Европы» такой высокой платы за подобные статьи не полагается, то я удовольствуюсь и исконными 50 рублями за печатный лист.

Если бы редакция «Вестника Европы» рискнула на смелость, то предлагаемому разбору можно было бы дать такое название: «Чему учат наших детей в военных и гражданских гимназиях (или: как учат?)». Такое бы заглавие статьи сделало бы из нее род скромного и отдаленного ответа на упреки, недавно сделанные нашему обществу за его небрежность в деле воспитания своих собственных детей. Но каково бы ни было заглавие статьи, я ни в каком случае не желаю, чтобы под ней в печати стояла моя подпись.

Если в статье найдутся выражения, которые редакции «Вестника Европы» покажутся резкими или вообще почему-нибудь неудобными, то я охотно предоставляю лично вам право заменить эти выражения другими или совсем выпустить их. Относительно содержания я не думаю, чтобы в нем нашлось что-нибудь такое, с чем редакция не могла бы согласиться. Во всей статье я дозволил себе только одно уклонение от строгой истины; я везде говорю во множественном числе «мои ученики», тогда как на деле у меня всего только одна ученица.

В случае отрицательного ответа прошу вас мотивировать его и сказать всю правду, не прикрывая ее для меня никакими смягчениями.

Ответ прошу прислать письменно по прилагаемому адресу.

С искренним уважением и совершенной преданностью имею честь быть вашим покорнейшим слугой.

26 ноября 1875 г. М. А.

2. Г. З. ЕЛИСЕЕВУ

Милостивый Государь
Григорий Захарович!

Имею честь покорнейше просить вас напечатать в «Отечественных Записках» прилагаемую при сем мою статью, чисто объективную, индиферентную и абсолютно нейтральную в отношении к журналистике. Я уже обращался с нею к «Вестнику Европы», но он отверг ее за ее большой объем и за недостатком у него места, которое он предпочитает отдавать «Старокельтским движениям во Франции», «Флорентийской живописи», «Консерватизму в Риме» и тому подобным предметам, важным для русских читателей.

Прилагаю при сем в копии мою переписку с «Вестником Европы» по поводу этой моей статьи, — что избавит меня от всяких дальнейших объяснений, потому что я к «Отечественным Запискам» обращаюсь с моей статьей по тем же мотивам, с такими же целями, с такими же чувствами и условиями, с которыми я обращался к «Вестнику Европы». Я лично вам

предоставляю то право относительно статьи, какое я предоставлял г. Пыпину (см. коп[ию]). «Вестник Европы» был так любезен, что дал мне скорый и мотивированный ответ. Я рассчитываю на подобную же любезность относительно меня и с вашей стороны.

Письменный ответ и мою статью, в случае забракования ее, прошу прислать по прилагаемому адресу.

С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть вашим покорнейшим слугою

1875 г., декабря 8 числа М. Антонович

Адрес: Николаевская ул. д. № 49 кв. № 4.

II. ПИСЬМО к В. А. ГОЛЬЦЕВУ

В январе 1895 г. М. А. Антонович обратился к редактору «Русской Мысли» В. А. Гольцеву с предложением написать для этого журнала статью на тему «Спор марксистов с неомарксистами». При этом Антонович указывал, что его статья будет вполне объективной и беспристрастной, хотя и предупреждал, что его симпатии находятся скорее на стороне «неомарксистов», чем «марксистов».

Какой же именно спор между «марксистами» и «неомарксистами» имел в виду Антонович и о чем собирался он трактовать в своей статье? Чтобы ответить на этот вопрос, припомним некоторые факты, относящиеся к тому времени.

Прежде всего вспомним, что в 1894 г. в подполье появляется литографированное издание знаменитой работы В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» — работы, содержавшей в себе убийственный разбор и критику взглядов главнейших теоретиков народнического «Русского Богатства». В том же 1894 г. русские марксисты, как революционные, так и легальные, впервые выступили и на страницах легальной печати. Еще в январе Н. К. Михайловский в № 1 «Русского Богатства» привел цитаты из писем, полученных им от людей, с гордостью называвших себя «учениками Маркса». Это были, с одной стороны, Н. Е. Федосеев, а с другой, группа харьковских марксистов во главе с Ф. Липкиным-Череваниным[7]. Летом 1894 г. вышла книга представителя легального марксизма П. Б. Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», а в середине двадцатых чисел декабря появилась книга Г. В. Плеханова (Бельтова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

Что касается народнической печати, то она усиленно заговорила о русских марксистах еще в 1893 г. Повод для этого был дан ей двумя статьями Струве, напечатанными в немецких органах печати. В одной из них, помещенной в V т. Brauns Archiv, Струве разбирал статью народнического экономиста В. В., напечатанную в I т. «Итогов экономического исследования России по данным земской статистики», и указывал, что, вопреки мнению В. В., в среде русского крестьянства происходит классовая диференциация. Во второй статье, напечатанной в «Sozialpolitisches Zentralblatt» от 2 октября 1893 г., Струве подверг критике книгу другого народнического экономиста Николая — она «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства» и доказывал, что Россия уже вступила на путь развития капитализма. В. В., раскритикованный Струве и не понимавший того, насколько идеи этого «легального марксиста» имеют мало общего с подлинным учением Маркса, считал воззрения Струве типичными для русских марксистов вообще и посвятил им несколько страниц в своей книге «Наши направления», вышедшей в 1893 г. В № 10 «Русского Богатства» о них же писал Михайловский; это-то его статья и вызвала статью Струве о книге Николая — она.

Усиленное внимание к русским марксистам народники продолжали оказывать и в 1894 г. В «Русском Богатстве», кроме упомянутой выше статьи Михайловского, о марксистах говорилось в анонимной «Хронике внутренней жизни» принадлежавшей перу С. Н. Южакова (в № 3), в статье Николая — она «Нечто об условиях нашего хозяйственного развития» (№ 6) и в постскриптуме к статье С. Н. Кривенко «К вопросу о нуждах народной промышленности» (№ 10). Наконец, в том же № 10 Михайловский посвятил свою статью «Литература и жизнь» разбору книги Струве [8]. В том же 1894 г. о русских марксистах начали говорить и другие органы печати [9].

Полемика, завязавшаяся между народниками и марксистами, привлекала к себе усиленное внимание тогдашних читателей. «В качестве провинциального читателя можем засвидетельствовать,— писал современник этой полемики,— что все статьи, трактовавшие на эту тему [т. е. о марксизме. — *Б. К.*] в каком бы то ни было смысле, читались и перечитывались очень внимательно, дебатировались, оспаривались. Многих читателей, и в том числе нас, они навели на мысль познакомиться поближе с экономическим материализмом и с тем диалектическим методом, который прилагался его сторонникам к анализу общественных отношений» [10].

Полемизируя с русскими учениками Маркса, народники обычно старались опереться на авторитет самого автора «Капитала» и доказывали, что его русские ученики, якобы, извращают его теорию. Так, например, В. В., называя русских учеников Маркса—«нео-или псевдо-марксистами» (или же: «марксистами наизнанку»), обвинял их в том, что они проповедуют «учение, составляющее полную противоположность идее социализма вообще, научного социализма Маркса в частности, но за то вполне соответствующее практической идее и интересам буржуазии» [11]. «Неомарксистами» и «псевдомарксистами» называл русских учеников Маркса и Кривенко [12]. Употреблял эти термины и Михайловский. Итак, термин «неомарксисты» в применении к русским ученикам Маркса вошел во всеобщее употребление у их противников и продержался до конца 90-х годов [13].

Таким образом, для нас становится ясным, кого имел в виду Антонович, когда в письме к Гольцеву он говорил о «неомарксистах». Остается установить, о каких же «марксистах», спорящих с «неомарксистами», писал он. Ответ на это дает нам использованная уже нами народническая литература.

В. В. писал: «Настоящий последователь учения Маркса должен взять абстрактные положения его теории капитализма и, поставив их в обстановку русской действительности, вывести конкретную формулу капитализма в нашей стране. Так поступил несомненный марксист г. Николай — он» [14]. Кривенко в только что цитированной нами статье вполне соглашался с В. В. Упрекая «неомарксистов» в том, что они извращают учение Маркса, обращая его — «в какой-то талмуд, в какое-то насильственное исповедывание буквы», Кривенко писал: «К счастью не все последователи Маркса понимают его в таком смысле, но когда кто-нибудь из них пытается толковать его шире, пробует, положим, усумниться в целесообразности разрушения общины и обезземеления населения и указывает на возможность иного исхода, как это сделал, например, Николай —он (в своей книге «Очерки нашего пореформенного хозяйства»), то начетчики остаются очень этим недовольны» [15].

Таким образом, непривычная для нашего уха терминология письма Антоновича к Гольцеву становится ясной. Под «марксистами» подразумеваются народники пытавшиеся в своих спорах с русскими учениками Маркса опереться на авторитет последнего для того, чтобы доказать, что прохождение капиталистического фазиса необязательно для России, — и в первую очередь Николай —он, который, в качестве переводчика I т. «Капитала» на русский язык, считался глубоким знатоком и истинным последователем теории Маркса.

Остается выяснить, в каком смысле надлежит понимать слова Антоновича относительно того, что его симпатии склоняются на сторону «неомарксистов».

Для этого придется сказать несколько слов о том, кого именно главным образом имел он в виду, когда задумывал написать свою статью.

У нас нет оснований утверждать, чтобы Антонович был знаком с работой Ленина «Что такое «друзья народа»...?». От революционного подполья он стоял далеко, и нелегальные издания вряд ли доходили до него. Не могли дать материал для его статьи и письма марксистов к Михайловскому. По тем цитатам, которые были произвольно выхвачены Михайловским из этих писем и опубликованы в его статье, трудно было составить полное представление о политической позиции авторов писем и об аргументации, развиваемой ими против народничества. Остается книга Струве, с которой Антонович несомненно был знаком, и книга Плеханова, если только он успел прочитать ее к тому времени, когда писал свое письмо к Гольцеву; не забудем, что между выходом этой книги и письмом к Гольцеву прошло всего только около двух недель.

Антонович никогда не был близок к марксизму и плохо понимал теорию Маркса. В 1909 г. в речи о Н. Г. Чернышевском, произнесенной в Вольном экономическом обществе, он открыто отмежевался от марксистов, обвиняя их в том, что они напрасно подчеркивают наличность утопизма в миросозерцании Чернышевского [16]. Не будучи марксистом, Антонович в то же время стоял далеко от народничества и не разделял его веры в самобытность путей социально-экономического развития России. Ученик Н. Г. Чернышевского, Антонович считал, что русская жизнь развивается по тем же самым законам, по которым шло развитие западной. Поэтому он вряд ли мог верить в то, что России удастся избежать стадии развития капитализма. После закрытия «Современника» Антонович редко выступал в печати на социально-политические темы. Поэтому говорить о его взглядах довольно трудно. Однако, из всего, что нам известно о его жизни и об его убеждениях, мы можем сделать вывод, что в лице М. А. Антоновича мы имеем дело с буржуазным демократом западно-европейского типа. По письмам его к Пыпину и Елисееву мы знаем уже, что он отмежевывается и от буржуазного либерализма «Вестника Европы», и от народничества «Отечественных Записок».

Вскоре по выходе книги Струве В. И. Ленин подверг ее критическому разбору в статье «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве». От внимательного взора Ленина не укрылись те зачатки оппортунизма и реформизма, которые имелись в книге Струве и которые указывали на направление, в каком пойдет дальнейшее развитие взглядов ее автора. Книгу Струве В. И. Ленин расценивал, как «отражение марксизма в буржуазной литературе», как произведение «объективиста, а не марксиста» [17].

Однако, как раз то самое, что вызывало критику со стороны Ленина, могло и должно было привлекать к книге Струве симпатии Антоновича. Призыв Струве к европеизации русской жизни, его подчеркивание культурной роли буржуазии, приглашение сознать свою некультурность и итти на выучку к капитализму, которым заканчивалась книга Струве — все это прельщало Антоновича и нравилось ему в произведении Струве. В этом смысле и надо понимать его признание, что его симпатии склоняются на сторону «неомарксистов».

Что ответил Гольцев на письмо Антоновича, нам неизвестно. Однако, статья Антоновича на страницах «Русской Мысли» не появилась, и это естественно, ибо если симпатии Антоновича клонились к «неомарксистам», то симпатии Гольцева находились на стороне «марксистов», т. е. народников. Налет народничества не был чужд в 80-е и 90-е годы либеральной «Русской Мысли», и это проявилось в статье, которой она отозвалась на полемику, заинтересовавшую Антоновича. Мы имеем в виду статью Л. Е. Оболенского «Новый раскол в нашей интеллигенции», напечатанную в № 8 «Русской Мысли» за 1895 г.

Письмо Антоновича к Гольцеву воспроизводится нами с оригинала, хранящегося в рукописном отделении Всесоюзной Библиотеки имени В. И. Ленина.

Многоуважаемый
Виктор Александрович

У меня в голове бродит план статьи, которую можно было бы озаглавить так: «Спор марксистов с неомарксистами. Впечатления читателя». В ней я бы изложил дело объективно и вполне беспристрастно, как человек непричастный спору и не задетый в нем. Статья была бы нечто вроде председательского резюме на судебном разбирательстве. Я бы отдал должное обеим сторонам. Не скрою однако же, что по существу я скорее склоняюсь на сторону неомарксистов.

Если ваша редакция согласна будет напечатать такую статью, то я примусь писать ее. Неполучение ответа от вас я буду считать знаком несогласия.

Преданный вам
М. Антонович

Спбург, 11 янв. 1895 г.
Пушкинская, 18

III. ПИСЬМО к В. Л. ЛЬВОВУ-РОГАЧЕВСКОМУ

Это письмо относится к эпизоду, характеризующему нравы дореволюционной печати.

В 1908 г. П. Д. Боборыкин опубликовал в журнале «Минувшие Годы» несколько глав из своих воспоминаний «За полвека». В главе, напечатанной в № 11 этого журнала, Боборыкин вспоминал о той чрезвычайно резкой полемике, которая в середине 60-х годов происходила между «Современником» и «Русским Словом». Указывая на грубость и ругательный характер этой полемики, П. Д. Боборыкин писал: «До сих пор совестно за такой журнал как «Современник», когда вспомнишь, что он не затруднился поместить полемическую статью с знаменитым акростихом, в виде эпиграфа. И далее Боборыкин приводил стихотворение из пяти строк, первые буквы которых составляли весьма непристойное слово.

Это сообщение Боборыкина было подхвачено кадетской газетой «Речь», не потрудившейся проверить его. В № 286 этой газеты А. С. Изгоев, в статье «Литературно-общественные заметки», писал о воспоминаниях Боборыкина: «Между прочим он вспоминает об одном, если не ошибаемся, совершенно забытом, крайне безобразном эпизоде из полемики двух радикальных журналов 60-х годов «Русского Слова» и «Современника». Одну полемическую статью «Современник» снабдил эпиграфом в виде стихотворения акростиха с такой мерзостью, которую услышишь разве ночью на Невском из уст пьяной проститутки. У П. Д. Боборыкина эта гнусная история рассказана довольно подробно».

Прочитав воспоминания Боборыкина и заметку Изгоева, Антонович счел необходимым вступиться за честь «Современника», — да и за свою личную, так как в воспоминаниях Боборыкина речь шла о его собственной статье, напечатанной в № 9 «Современника» за 1864 г. Дело в том, что Антонович действительно использовал для эпиграфа к этой статье «знаменитый», по выражению Боборыкина, акростих, но при этом укоротил его на одну строку, а другую строку совершенно переработал. В результате этой операции приведенное им стихотворение утратило непристойный характер.

Чтобы уличить Боборыкина в клевете, Антонович изготовил фотографический снимок, на котором рядом были воспроизведены соответствующие страницы из воспоминаний Боборыкина и из его собственной статьи в «Современнике». Этот фотографический снимок Антонович разослал различным писателям и общественным деятелям, в том числе покойному литературному критику В. Л. Львову-Рогачевскому[18]. Экземпляр, посланный Львову-Рогачевскому, сохранился в рукописном отделении Всесоюзной Библиотеки имени В. И. Ленина. На обороте его сделана Антоновичем следующая приписка:

Русская печать еще ни разу не была осквернена таким непристойным акростихом, как воспроизведенный на обороте. Этот акростих смастерил и не затруднился предать тиснению почетный академик Императорской Академии Наук г. Боборыкин, ложно приписав его «Современнику», а редакция «Минувших Годов» не затруднилась напечатать его в своем журнале, а кадетская газета «Речь» не затруднилась подтвердить грязную и гнусную клевету академика Боборыкина.

Многоуважаемому Василию Львовичу Львов-Рогачевскому

от М. А. Антоновича

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Мы имеем в виду статью В. Я. Кирпотина. См. его книгу «Публицисты и критики», Л.—М. 1932 г., стр. 73—91.

[2] Страницы, отведенные Антоновичу в «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгерова, т. I, СПБ. 1889 г., стр. 666—682, ни в какой мере не покрывают этого пробела.

[3] Подробно об этом см. в воспоминаниях самого Антоновича и Г. З. Елисеева, изданных в 1933 г. издательством «Academia».

[4] См. там же.

[5] См. об этом в письме Н. А. Некрасова к Г. К. Репинскому от 30 марта 1876 г. и в примечаниях В. Е. Евгеньева-Максимова к этому письму. Н. А. Некрасов. Собрание сочинений, т. V, М.—Л., 1930 г., стр. 569—571.

[6] Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину, М., 1935 г., стр. 31—34.

[7] Это письмо Федосеева к Михайловскому вместе с последующими напечатано полностью в № 7—8 «Литературного Наследства» и в № 1 «Пролетарской Революции» за 1933 г. Письмо кружка харьковских марксистов совместно с другим письмом того же кружка в 1894 г. было напечатано нелегально в виде брошюры под названием «Два письма к Н. К. Михайловскому», перепечатанной в № 23 «Былого» за 1924 г., ср. письмо в редакцию «Былого» Липкина-Череванина, напечатанное в № 25 этого журнала, стр. 271—272.

[8] Николай — он ответил на эту книгу статьей «Апология власти денег, как признак времени», напечатанной в №№ 1 и 2 «Русского Богатства», 1895 г.

[9] В. В. Немецкий социал-демократизм и русский буржуазизм, «Неделя», 1894, №№ 47—49; Чешихин-Ветринский. Модная теория. (По поводу полемики об экономическом материализме). — «Новое Слово». 1894, № 11.

[10] И. Б-ский, Нечто о диалектическом методе. — «Русское Богатство», 1895, № 4, стр. 44.

[11] В. В. Наши направления. СПБ. 1893 г., стр. 137.

[12] По поводу культурных одиночек.—«Русское Богатство», 1893, № 12, стр. 184.

[13] В 1899 г. вышла книга Л. Е. Оболенского, озаглавленная «Изложение и критика идей неомарксизма».

[14] Наши разногласия, стр. 137. (Подчеркнуто мною. — *Б. К.*).

[15] «Русское Богатство», 1893, № 12, стр. 184. Струве, полемизируя со своими противниками, иронически называл их «несомненными марксистами» (в кавычках).— «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». СПБ. 1894, стр. 181.

[16] Памяти Н. Г. Чернышевского. Доклады и речи Н. Ф. Анненского, М. А. Антоновича, А. А. Корнилова, А. С. Посникова и М. И. Туган-Барановского. СПБ. 1910, стр. 15.

[17] В. И. Ленин. Соч., т. I, стр. 275.

[18] Нам известен и другой экземпляр этого снимка, посланный Антоновичем В. И. Семевскому и хранившийся в рукописном отделении Библиотеки Коммунистической Академии.

ХРОНИКА

ТЕКУЩАЯ РАБОТА ДОМА-МУЗЕЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В САРАТОВЕ

В связи с изданием полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского, предпринятого Гослитиздатом к 50-летней годовщине со дня смерти великого критика, исполняющейся в 1939 г., задачей Дома-Музея являются подготовка к печати текстов для этого издания и сверка их по рукописям и корректурам. В текущем году проводится работа по сличению текстов для первых пяти томов. Проверены «Литературные воспоминания», «Автобиографические рассказы», закончена сверка тома «Политика», 1859 г., готовятся тексты литературно-критических работ 1857 г., статей по крестьянскому вопросу 1858 г. и переписки 1846—1875 гг. В процессе подготовки писем были обнаружены два неизданных письма Н. А. Некрасова к Н. А. Добролюбову, которые публикуются в настоящем томе.

Для настоящего тома «Литературному Наследству» Домом-Музеем предоставлены, кроме того, неизданные публикации, редкие портреты и факсимиле.

В мае 1936 г. вышло первое саратовское издание романа «Что делать»? По договоренности с издательством в Доме-Музее была составлена библиография романа за 1863—1936 гг. Она принята к печати для второго издания, намеченного в этом же году.

В связи с юбилеем Н. А. Добролюбова в Доме-Музее была организована выставка, посвященная его жизни и деятельности. В числе экспонатов были представлены рукописи и корректуры статей Чернышевского: «Некролог Добролюбова» и «В изъявление признательности», а также отдельный оттиск статьи «Собеседник Любителей Российского Слова» с автографом Добролюбова: «Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Глубоко уважающий Н. Добролюбов». Из своего рукописного собрания Дом-Музей выслал на Всесоюзную выставку памяти Добролюбова, устраивавшуюся Государственным Литературным Музеем, корректуры «Современного Обозрения» и «Свистка» с поправками редакции «Современника». Научным сотрудником Дома-Музея В. А. Сушицким в Москве, Ленинграде и Горьком были собраны материалы по Добролюбову (коллекция газетных вырезок в количестве 350 экз., иллюстрации и литература).

Из ценных поступлений по Чернышевскому следует отметить: 1) рукопись «Июльская монархия» Н. Г. Чернышевского, полученную через Наркомпрос из Горьковского Литературного Музея, и 2) принадлежавшее Н. Г. Чернышевскому четырехтомное издание «Стихотворений» Некрасова 1879 г. — от проф. Н. К. Пиксанова (Ленинград) в обмен на такое же издание от Н. М. Чернышевской.

В течение зимы 1936 г. в Доме-Музее проходили занятия преподавательницы Саратовского государственного университета А. М. Тихоновой по вопросу о педагогических воззрениях Н. Г. Чернышевского.

Неизданные архивные материалы Дома-Музея были использованы приезжавшим в феврале 1936 г. из Москвы молодым армянским критиком Аздуни для его работы об эстетических воззрениях Чернышевского, которая должна выйти на русском и армянском языках под редакцией Е. И. Ярославского.

Дом-Музей ведет консультацию по всем вопросам, связанным с Чернышевским, его эпохой и литературной и революционной деятельностью. Консультацией Музея пользовались и корреспонденты центральных и местных газет, — например, — в связи с двумя, отмечавшимися в последнее время добролюбовскими юбилеями. Сообщены данные о совместном творчестве Чернышевского и Некрасова по запросу литературоведа А. Я. Максимовича (Ленинград) и о шифрованных лекциях 40-х годов по философии и литературе, записанных Чернышевским, — О. Войтинской (Москва).

В Москве производится расшифровка рукописей Дома-Музея — лекций проф. М. С. Куторги по всеобщей истории, записанных Чернышевским. Эту работу выполняет Н. А. Алексеев.

По запросу Детиздата из Москвы Домом-Музеем выслан фотоматериал для детских изданий по Чернышевскому.

Саратовские школы широко обслуживаются Домом-Музеем при прохождении ими учебных программ по литературе и истории.

В текущем году Митрофаниевская

площадь в Саратове переименована в площадь имени Чернышевского, и на ней проектируется постановка памятника великому саратовцу. В связи с работами саратовских художников над моделями памятников, Дом-Музей предоставлял им консультацию, иконографические материалы и литературу.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В связи с исполняющимся в 1939 г. 50-летием со дня смерти величайшего русского мыслителя домарксистской эпохи Н. Г. Чернышевского, Гослитиздат предпринимает издание полного собрания его сочинений. В него войдут, помимо тех произведений Чернышевского, которые были включены в собрание его сочинений, изданное в 1906 г. его сыном Н. М. Чернышевским, также и те, которые появились в печати позднее, и те, которые до сих пор остаются еще не опубликованными. Кроме того, в это издание будут включены все сохранившиеся дневники Чернышевского и его письма. Таким образом, новое издание будет включать в себе все написанное Чернышевским. При этом большое внимание будет обращено на установление правильного текста произведений Чернышевского, для чего будут широко использованы сохранившиеся рукописи его сочинений, а также корректуры. Этим новое издание будет значительно отличаться от издания 1906 г., в котором в подавляющем большинстве случаев воспроизводился журнальный текст статей Чернышевского, пострадавший в свое время как от редакционной правки, так и от цензурных искажений.

Все издание будет состоять из 16 томов. Один том займут дневники, автобиография и воспоминания Чернышевского. Девять томов будут содержать в себе его произведения на социально-политические, литературно - критические, экономические, исторические и философские темы; в пределах отдельных томов все эти произведения будут расположены в хронологическом порядке, за исключением политических обозрений, которые Чернышевский вел в 1859—1862 годах в «Современнике» и которые займут два отдельных тома нового издания, и «Очерков политической экономии Милля», которые также составят особый том. Затем три тома отводятся беллетристике Чернышевского. В один из них, между прочим, войдет не появлявшаяся до сих пор в печати большая повесть «Отблески сияния», написанная Чернышевским в Сибири. Два тома займут письма Чернышевского. Наконец, последний, XVI том будет иметь справочный характер; в нем будут даны предметный указатель к сочинениям Чернышевского и библиография.

Издание будет включать в себе ряд статей, освещающих жизнь и деятельность Чернышевского и различные стороны его миросозерцания.

СТАТЬИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ПО ЭСТЕТИКЕ

Объединенное Государственное Издательство «Искусство» выпускает в ближайшее время все статьи и работы Н. Г. Чернышевского по эстетике в одной книге. Сюда входят диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), авторецензия Чернышевского на эту диссертацию, предисловие его к третьему не осуществившемуся изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» (1888), статья Чернышевского по поводу выхода в свет первого перевода на русский язык «Поэтики» Аристотеля.

В сборнике будут напечатаны также две малоизвестные статьи Чернышевского: «Критический взгляд на современные эстетические понятия» и «Возвышенное и комическое», не входившие в полное собрание сочинений Чернышевского. Статьи эти, написанные в расчете на опубликование в журнале, имели целью популяризовать ряд положений диссертации Чернышевского. Редакция, вступительная статья и комментарии Н. Богословского.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Н. А. НЕКРАСОВА

В настоящее время развернута широкая работа по подготовке академического издания сочинений Н. А. Некрасова, выпускаемого Гослитиздатом. Задача издания — дать полный текст поэта, освобожденный от цензурных искажений и всех других внешних вмешательств. В томах, посвященных стихотворным про-

изведениям, будут помещены все наиболее существенные варианты, имеющие художественное, политическое или биографическое значение, а также важные для характеристики процесса творчества у Н. А. Некрасова. Каждому тому предшествует вступительная статья. Издание снабжается научным аппаратом и богато иллюстрируется портретами поэта, снимками с его автографов и т. д. Для работы над изданием производятся розыски в ряде архивохранилищ Советского Союза.

В состав главной редакции входят: В. Я. Кирпотин, П. Н. Лепешинский, П. И. Лебедев-Полянский, Н. Л. Мещеряков, Д. О. Заславский, В. Е. Евгеньев-Максимов, К. И. Чуковский, М. М. Эссен. В работе над текстом и комментарием принимают участие: Н. С. Ашукин, Н. Ф. Бельчиков, Г. О. Берлинер, Б. Я. Бухштаб, К. Н. Державин, А. Я. Максимович, Н. А. Пыпин, С. А. Рейсер, А. И Соболева, А. Г. Цейтлин.

Примерный объем издания — 500 печатных листов: 11 томов, по 40—45 листов каждый. Распределение материала по томам следующее:

Том I. Стихотворения 1845—1846 гг.

Том II. Стихотворения 1857—1887 гг.

Том III. «Кому на Руси жить хорошо». — «Современники».

Том IV. Драматические произведения.

Том V. Критические статьи.

Том VI. «Жизнь и похождения Тихона Тросникова».

Том VII. «Макар Осипов» и другие произведения.

Том VIII. «Мертвое озеро».

Том IX. «Три страны света».

Томы X—XI. Письма.

Все издание предполагается окончить в течение трех лет. Томы будут выходить в порядке нумерации.

Отв. редактор *П. И. Лебедев-Полянский*
Зам. отв. редактора *М. Б. Храпченко*
Зав. редакцией *И. С. Зильберштейн*

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ

ПУБЛИКАЦИИ

СООБЩЕНИЯ

ХРОНИКА

В КНИГЕ 90 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Техн. редактор Г. Н. Шевченко. Корректора: С. А. Меринг, Е. А. Лядова. Уполн. Главлита № Б—30506. Сдано в набор 4/VII—1936 г. Подписано к печати 4/I—37 г. Тираж 6.000 экз. Формат бум. 72×110 1/16. В книге 43 7/8 печ. листа. Печ. знаков в печ. листе 68.700. Заказ № 1427. Типография газеты «Правда» им. Сталина, Москва, ул. «Правды», 24.

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. 3-61-80.